Г. В. ПЛЕХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Г. В. ПЛЕХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1956

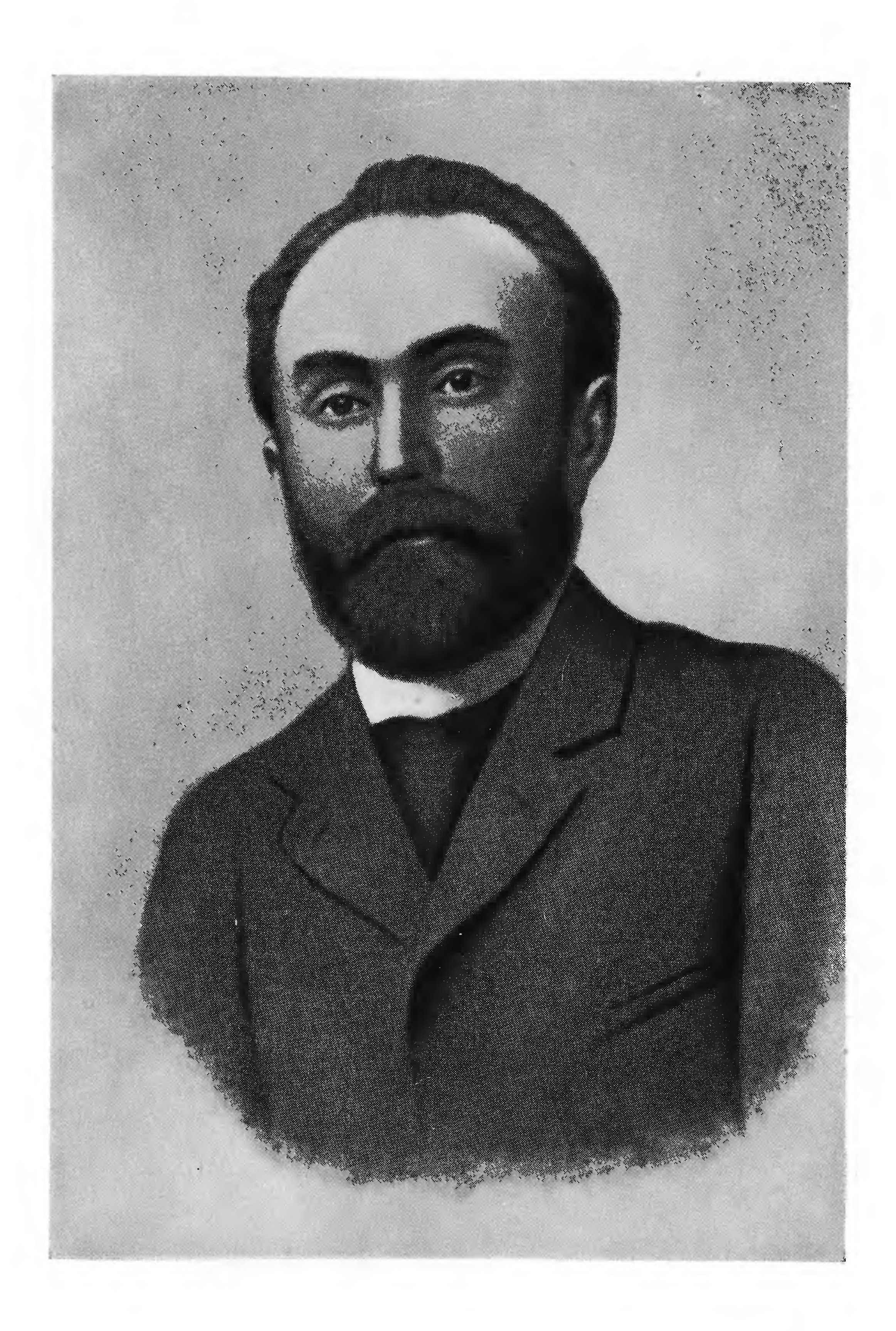
Г. В. ПЛЕХАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ

I

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1956



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Настоящее пятитомное издание произведений Г. В. Плеханова включает его наиболее важные и ценные философские работы.

В первые три тома входят труды, посвященные защите и обоснованию марксизма в процессе борьбы с народничеством, ревизионизмом и махизмом, в IV том входят лучшие работы Плеханова о русской философской и общественно-политической мысли, V том включает сочинения по вопросам литературы и искусства.

Тексты произведений Г. В. Плеханова заново сверены с сохранившимися автографами на русском и иностранных языках, хранящимися в Доме Плеханова при Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, и с прижизненными публикациями.

Каждый том снабжен вступительными статьями, примечаниями фактического характера и указателями имен; кроме того, в V томе печатается предметный указатель ко всем пяти томам.

Издание «Избранных философских произведений» Г. В. Плеханова осуществляется Институтом философии Академии наук СССР при участии Дома Плеханова, под наблюдением редакционной коллегии в составе М. Т. Иовчука, А. Н. Маслина, П. Н. Федосеева, В. А. Фоминой, Б. А. Чагина.

Подготовили тексты и составили примечания Е. С. Коц, И. С. Беленький, С. М. Фирсова, Б. Л. Якобсон.

Г. В. ПЛЕХАНОВ И ЕГО РОЛЬ В ЗАЩИТЕ И ОБОСНОВАНИИ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА

Первый русский марксист Г. В. Плеханов принадлежит к числу крупнейших мыслителей и публицистов. Его выступление в России и на международной арене в 80—90-х годах XIX в. ознаменовалось замечательными трудами по теории и истории марксизма. В своих сочинениях Плеханов защищал, обосновывал и популяризировал учение Маркса и Энгельса, глубоко разрабатывал и конкретизировал вопросы философии марксизма, особенно теории исторического материализма: о роли народных масс и личности в истории, о взаимодействии базиса и надстройки, о роли идеологий и др.; Плеханов многое сделал для обоснования и развития марксистской эстетики.

Большим вкладом Плеханова в развитие научной мысли и передовой культуры явились его лучшие труды по истории философской, эстетической и общественно-политической мысли, особенно по истории материализма, по истории философии в России.

В. И. Ленин относил Плеханова к числу самых знающих философию марксизма социалистов. Его философские труды он называл лучшими в международной марксистской литературе.

«Его личные заслуги,— писал Ленин о Плеханове,— громадны в прошлом. За 20 лет, 1883—1903, он дал массу превосходных сочинений, особенно против оппортунистов, махистов, народников»*. Плеханов оставил богатейшее философское наследие, которое и поныне служит делу защиты марксистской теории, целям борьбы пролетариата против реакционной буржуазной идеологии.

---

* *В. И. Ленин*, Соч., т. 20, стр. 333.

* * *

Начало общественно-политической и литературно-теоретической деятельности Г. В. Плеханова совпало с назреванием в России революционной ситуации, сложившейся к концу 70-х годов XIX в.

Только что окончившаяся русско-турецкая война (1877—1878) принесла русскому народу много тяжелых испытаний. Война наглядно обнажила неизлечимые язвы самодержавно-помещичьего строя, произвол, беззаконие, громадные хищения, плохое снабжение армии и другие пороки военно-административного аппарата. Все это усилило рост возмущения широких народных масс, испытывавших тяжелый гнет царизма, помещиков и капиталистов.

К этому времени в России капитализм был уже господствующей экономической системой. После реформы 1861 г. происходил процесс замены феодальных производственных отношений буржуазными. Капитализм утвердился в промышленности и, все глубже проникая в деревню, порождал расслоение крестьянства. Обезземеливание крестьян создавало армию свободных наемных рабочих для промышленности и помещичье-капиталистического сельскохозяйственного производства. Поддерживаемые самодержавно-помещичьим строем остатки крепостнических отношений в сельскохозяйственном производстве, сохранившиеся в отдельных районах страны элементы натурального хозяйства задерживали рост производительных сил. Капитализм в сельском хозяйстве прокладывал себе путь медленно, мучительно, оставляя на долгие десятилетия господство помещика. В пореформенной деревне преобладало мелкособственническое, малопроизводительное единоличное хозяйство крестьян, страна оставалась преимущественно аграрной.

Развитие капитализма при сохранении всевластия помещиков обостряло все нарастающий антагонизм между трудящимися массами и господствующими классами.

Основная масса крестьянства, подвергаясь двойному гнету—крепостничества и капитала, страдала от малоземелья, остатков крепостничества, капиталистической эксплуатации, разорялась и нищала. На этой почве крестьянское движение против помещиков, сократившееся несколько во второй половине 60-х годов, вновь усилилось с середины 70-х годов.

Положение рабочего класса было также очень тяжелым. Капиталистическая эксплуатация, не имевшая предела, низкая заработная плата, отсутствие законодательства об охране труда, запрещение создавать рабочие организации, полицейский произвол — все это приводило к недовольству и стихийным волнениям в рабочей среде. В середине 70-х годов появились пер-

вые рабочие организации — «Южнороссийский союз рабочих» и «Северный союз русских рабочих», пытавшиеся внести организованность в стихийное рабочее движение.

Рабочее движение в России в то время шло независимо от преобладавшего тогда в российском освободительном движении направления — революционного народничества, создавшего организацию «Земля и Воля». Народничество 70-х годов развивалось под влиянием революционно-демократических идей Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова. Революционные народники сыграли значительную роль в освободительном движении нашей страны при всей ограниченности своего мировоззрения. Они вели самоотверженную борьбу за освобождение крестьян, за уничтожение самодержавия и привилегий дворянства, пытались поднять крестьян на восстание против царского правительства. Кульминационным пунктом политической борьбы революционного народничества против помещиков и царизма в 70-х — начале 80-х годов было движение «Народной воли». Героизм революционеров «Народной воли», их самоотверженное служение народу высоко ценили Маркс и Энгельс. Они отмечали, что в России нарастает революционный кризис, что центр революционного движения начал перемещаться в Россию. В 1882 г. в предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» (перевод Плеханова) они подчеркнули, что «Россия представляет собою передовой отряд революционного движения в Европе»*.

В пореформенный период ширились связи русских революционеров с западноевропейским революционным движением. В течение полувека, с середины XIX столетия, революционная Россия внимательно следила за развитием прогрессивной теоретической мысли на Западе, овладевала революционным опытом борьбы трудящихся западноевропейских стран. Передовые русские люди знакомились с трудами Маркса и Энгельса: на русском языке в 1869 г. был издан «Манифест Коммунистической партии», в 1872 г.—I том «Капитала» Маркса. Русские революционные народники (П. Лавров, Г. Лопатин, В. Засулич и многие другие) вели оживленную переписку с Марксом и Энгельсом по вопросам экономического и политического развития России, русского освободительного движения и идей социализма.

В первые годы своей общественной деятельности Г. В. Плеханов принимал участие в революционных народнических организациях.

Георгий Валентинович Плеханов родился 11 декабря (н. ст.) 1856 г. в с. Гудаловке, Липецкого уезда, Тамбовской губернии.

---

* *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 3.

Отец его — Валентин Петрович Плеханов — был мелкопоместным дворянином. Его мать — Мария Федоровна (родственница В. Г. Белинского), человек передовых взглядов, оказала на сына большое влияние. По окончании Воронежской военной гимназии в 1873 г. Плеханов несколько месяцев учился в Петербурге в Константиновском юнкерском училище, а затем в 1874 г. поступил в Горный институт.

В 1876 г. Плеханов вошел в народнический кружок «бунтарей», влившийся затем в организацию «Земля и Воля». Он явился одним из организаторов первой в России политической демонстрации, состоявшейся в 1876 г. на площади у Казанского собора в Петербурге. В ней впервые приняли участие петербургские рабочие. На демонстрации Плеханов произнес горячую обличительную речь против самодержавия, в защиту идей Чернышевского, находившегося в это время в ссылке. С этого времени Плеханов жил на нелегальном положении. Петербургская публичная библиотека (теперь имени М. Е. Салтыкова-Щедрина) стала его «alma mater», убежищем, где он мог работать.

Молодой Плеханов был страстным поклонником Чернышевского и Белинского, считал их своими подлинными учителями и наставниками. Статьи Белинского поражали Плеханова богатством идейного содержания; высокоидейное творчество и революционный героизм Чернышевского вдохновили Плеханова на борьбу за народное дело. Не случайно Плеханов посвятил впоследствии немало своих работ деятельности и творчеству выдающихся представителей русской революционной демократии — Белинского, Чернышевского, Герцена, Добролюбова.

В первые годы своей деятельности Плеханов был одним из теоретиков народничества. Как агитатор-народник, он дважды «ходил в народ» для подготовки восстания, веря в возможность перехода к социализму через крестьянскую революцию. Вместе с тем его весьма заинтересовало, как он выражался, «рабочее дело». Он вел кружки рабочих, выступал на рабочих собраниях, помогал проводить стачки, публиковал свои статьи и корреспонденции в журнале «Земля и Воля», писал прокламации и листовки о крупных волнениях и стачках рабочих, призывал рабочих к борьбе. Близкое общение с русскими рабочими оказалось весьма плодотворным, оно подготовило Плеханова к уяснению исторической роли рабочего класса в революционном движении. Ясное же понимание этой роли, переход на позиции революционного пролетариата стали возможны в начале 80-х годов в результате основательного изучения Плехановым марксизма и опыта западноевропейского рабочего движения.

С начала 80-х годов, после убийства Александра II народовольцами, руководимыми Андреем Желябовым и Софьей Перовской, в царствование Александра III наступили годы черной реакции. Волна революционного террора народников была отбита. Революционное народничество было разгромлено. В 90-х годах народничество переродилось в либеральное направление, проповедовавшее примирение с царским правительством и отказ от революционной борьбы.

Дважды (в 1877 и 1878 гг.) за свою революционную деятельность Плеханов подвергался арестам, а в 1880 г. ввиду усилившихся преследований вынужден был эмигрировать за границу. К 1882—1883 гг. Плеханов становится убежденным марксистом. В конце 80-х годов он установил личную связь с Ф. Энгельсом.

В 1883 г. в Женеве Г. В. Плехановым, В. И. Засулич, Л. Г. Дейчем, П. Б. Аксельродом и В. Н. Игнатовым была создана первая организация русских марксистов — группа «Освобождение труда», поставившая перед собой задачу пропаганды идей научного социализма путем перевода на русский язык произведений Маркса и Энгельса и критики господствовавших в России народнических учений с точки зрения марксизма. Группа «Освобождение труда» теоретически основала российскую социал-демократию и в значительной мере способствовала росту политической сознательности передовых рабочих России.

В. И. Ленин отмечал, что литературные произведения группы «Освобождение труда», «печатавшиеся без цензуры за границей, стали впервые излагать систематически и со всеми практическими выводами идеи марксизма»*.

Ленин в апреле 1895 г. выезжал за границу для установления связи с группой «Освобождение труда» в целях объединения всей революционной работы русских марксистов. Приезд В. И. Ленина имел большое значение для российского рабочего движения. Группа «Освобождение труда» впервые установила регулярные связи с Россией.

В эмиграции Плеханов (он жил во Франции, в Швейцарии, в Италии), поставивший делом своей жизни распространение революционных идей Маркса и Энгельса, развернул энергичную публицистическую деятельность. Он выступал также с лекциями и рефератами на различные темы. Еще в 1882 г. Плеханов перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса; в 1892 г. он перевел и издал впервые на русском языке брошюру Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» со своими комментариями;

* *В. И. Ленин*, Соч., т. 20, стр. 225.

перевел главу из «Святого семейства» К. Маркса и Ф. Энгельса — «Критическое сражение с французским материализмом».

Уже в начале 80-х годов Плеханов выступил со своими выдающимися и оригинальными работами по теории революционного марксизма, на которых учились и воспитывались марксисты в России.

Ученик и соратник В. И. Ленина М. И. Калинин запечатлел роль Плеханова того периода в следующих ярких словах:

«В период беспросветной реакции, во времена, когда рядовому рабочему с большим трудом и страшными усилиями приходилось приобретать даже первоначальную грамотность, в рабочих кругах уже вращались подпольные издания, принадлежавшие перу Георгия Валентиновича.

Эти произведения открывали новый мир рабочему классу, они звали его на борьбу за лучшее будущее, они учили в ясной, простой, для всех доступной форме основам марксизма; несокрушимою верою в конечную победу идеалов рабочего класса они воспитали уверенность, что все препятствия и трудности по пути к этим идеалам будут легко сметены организованным пролетариатом»*.

Среди социалистов Западной Европы и Америки Плеханов в конце 80-х — начале 90-х годов XIX в. занял видное место и получил международное признание как крупный теоретик марксизма, авторитетный деятель международного рабочего движения. Ряд лет Плеханов представлял Российскую социал-демократическую рабочую партию в Международном социалистическом бюро II Интернационала, постоянно информировал его о положении дел в России. Активное участие принимал он и в политической деятельности немецкой, швейцарской, французской, итальянской социалистических партий, в работе конгрессов и секретариата II Интернационала.

Он писал многочисленные статьи на русские и международные темы, критические рецензии, охватывающие в своей совокупности обширный круг вопросов политики, экономики, философии, истории, литературы, искусства. Эти статьи публиковались главным образом в нелегальных изданиях в России, а также в социалистической печати Германии, Болгарии, Франции, Швейцарии, Италии, Польши и других стран.

Большое значение в идеологической борьбе за революционные основы международного рабочего движения имело выступление Плеханова с критикой анархизма и анархо-синдикализма.

С начала 80-х годов, в условиях значительного влияния на образованную молодежь России анархистских теорий Баку-

* «Известия Петроградского городского Общественного Управления» № 40, 12 июня (30 мая) 1918 г.

нина, Плеханов выступил против анархизма и его авантюристской тактики. Однако в своей критике анархистских взглядов он не раскрыл вопроса об отношении пролетарской революции к государству и вопроса о государстве вообще, за что подвергся критике со стороны В. И. Ленина.

Из среды западноевропейских марксистов не нашлось ни одного, кто поднял бы знамя борьбы против бернштейнианства, — это сделал Плеханов. Он подверг также критике оппортунизм Мильерана, Биссолати и других социалистов. Широко известна его борьба в России против оппортунистического течения — «экономизма» и против буржуазной пародии на марксизм — «легального марксизма». Он немало сделал и для разоблачения эсеров, особенно эсеровской тактики индивидуального террора.

В ходе борьбы против антимарксистских течений в 80—90-е годы Плеханов уделяет большое внимание пропаганде идей научного социализма и экономического учения Маркса. Характеристика научного социализма дается Плехановым в противопоставлении системам утопического социализма Р. Оуэна, Сен-Симона, Фурье, мелкобуржуазному социализму Прудона, народников, анархистов и др. Его работы «Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории», «О современном социализме», «Научный социализм и религия», «Иностранное обозрение», «Предисловие к четырем речам рабочих», «Внутреннее обозрение» и другие, не говоря уже о широко известных работах против народничества, анархизма, «экономизма», бернштейнианства и струвизма, показывают, что Плеханов глубоко исследовал вопросы научного социализма.

В трудах, направленных против буржуазных противников марксизма, Плеханов, анализируя социальную сущность взглядов классиков буржуазной политической экономии А. Смита и Д. Рикардо, защищает экономическое учение Маркса, особо выделяет его революционное учение о прибавочной стоимости, о капитале.

В жизни старшего поколения марксистов Плеханов сыграл большую роль. Он пользовался в то время огромным авторитетом в революционных кругах России.

С конца 90-х — начала 900-х годов наступила новая эпоха в развитии капитализма — эпоха империализма, эпоха революционных потрясений и битв, требовавшая пересмотра старых методов работы и крутой ломки в деятельности социал-демократических партий, всестороннего творческого развития марксистской теории применительно к новым историческим условиям.

Оставаясь активным деятелем международного рабочего движения, защищая и обосновывая марксизм, Плеханов, однако, не уяснил характера новой исторической эпохи, не смог

раскрыть ее закономерностей и специфических особенностей, обобщить новый опыт рабочего движения, вооружить рабочий класс новыми теоретическими выводами и положениями. Осуществление этой исторической задачи выпало на долю В. И. Ленина, поднявшего марксизм на новую, высшую ступень.

В 1903 г., после II съезда РСДРП, Плеханов стал меньшевиком. Переход Плеханова на позиции меньшевизма, его непоследовательность в теории и практике марксизма в этот период его деятельности в немалой мере были обусловлены влиянием реформизма, широко распространившегося в западноевропейском рабочем движении. Плеханов выступал с меньшевистских позиций, боролся против В. И. Ленина и большевиков по важнейшим политическим вопросам марксизма — о роли пролетариата в революции и его тактической линии, об отношении к крестьянству, об оценке революции 1905 г., по вопросу о государстве и т. д. С отходом Плеханова к меньшевизму в политике связаны и его серьезные теоретические ошибки в философии, по ряду вопросов он отступал от последовательного марксизма.

Оставаясь по коренным вопросам политики и тактики рабочего класса на меньшевистских позициях, Плеханов, однако, был сторонником сохранения партии и в 1909—1912 гг. повел борьбу против ликвидаторства, в защиту нелегальной организации партии, поддерживал В. И. Ленина в его борьбе за партию.

Плеханов выступал против августовской конференции ликвидаторов 1912 г. Ленин, подчеркивая это, писал, что Плеханов сказал прямо, что на этой конференции участвовали «*непартийные* и *антипартийные* элементы»*.

В 1908—1912 гг., когда большевики во главе с Лениным вели решительную борьбу против махизма, Плеханов, единственный из теоретиков II Интернационала, выступил со статьями против Богданова, Луначарского, разоблачал вульгаризатора материализма Шулятикова и др. В это время им была написана ценная работа «Основные вопросы марксизма». Плеханов остро критиковал Кроче, Маха, Авенариуса, Петцольдта, Виндельбанда, Риккерта, Бергсона, Ницше и многих других буржуазных философов и социологов, отстаивая философские основы марксизма. В эти годы он защищал против «веховцев» и «религиозных искателей» материалистические и освободительные традиции передовой русской философской мысли. Но после 1912 г. Плеханов стал сторонником «единства» с ликвидаторами. В. И. Ленин писал: «...жаль, что свою большую заслугу борьбы с ликвидаторами во время развала, борьбы с махистами в разгар махизма, он компрометирует теперь проповедью, которой сам

* См. «Коммунист» № 5, 1956 г.

не может разъяснить: с *кем* же единство?.. и на *каких* условиях?»*.

В годы первой мировой войны Плеханов стоял на социал-шовинистических позициях. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. Плеханов, пробыв 37 лет в эмиграции, вернулся в Россию, в Петроград.

Находясь долгие годы за границей, Плеханов был оторван от русского революционного движения. Вернувшись в Россию, он оставался в плену социал-реформистских и социал-шовинистских теорий II Интернационала и не сумел разобраться в сложном переплете и своеобразии общественного развития России. Известно его выступление против ленинского курса на социалистическую революцию. В оценке судеб русской революции он исходил из догм II Интернационала о необходимости постепенного созревания «экономических условий» социализма, о том, что якобы обязателен «высокий уровень» культуры для перехода к социализму, и т. д. Он считал, что Февральская революция 1917 г., как революция буржуазная, должна положить начало длительной эпохе развития капитализма в России. Поэтому к Великой Октябрьской социалистической революции Плеханов отнесся отрицательно, увидев в ней «нарушение всех исторических законов». Но, продолжая отрицать необходимость немедленной социалистической революции в России, Плеханов не вел борьбы против победившего рабочего класса и Советской власти. Умер Г. В. Плеханов 30 мая 1918 г. в санатории Питкеярви в Финляндии, похоронен в Ленинграде на Волковом кладбище, близ могил Белинского и Добролюбова.

* * *

Распространению марксизма в рабочем классе и среди передовой интеллигенции в конце XIX столетия препятствовало проникновение в рабочее и революционное движение буржуазных, антимарксистских теорий. На Западе борьбу против революционного марксизма вели не только буржуазные профессора — идеалисты и эклектики (Брентано, Зомбарт, Шульце-Геверниц и др.), но и шедшие за ними теоретики II Интернационала Бернштейн, Каутский, Хехберг и др. В России, где произведения Маркса и Энгельса в подлинниках были в то время мало известны, не только официальные идеологи помещичье-монархического государства и либеральные буржуазные профессора, но и либеральные народники, а затем легальные «марксисты» и «экономисты» выступали с попытками буржуазной «критики» марксизма, его опошления, явной или скрытой его дискредитации.

---

* См. «Коммунист» № 5, 1956 г.

В этих условиях большое значение приобрели марксистские произведения Плеханова 80—90-х годов XIX в., опубликованные как в русской, так и в иностранной печати, в которых защищались идеи марксизма, обосновывалось и раскрывалось величайшее научное и революционное содержание марксизма.

Плеханов, безгранично веривший в победу идей марксизма, смело и бесстрашно развернул борьбу против различного рода «критиков» и извратителей марксизма. Он первый в России дал блестящий марксистский анализ ошибочных взглядов народников и противопоставил народническим утопиям марксистское мировоззрение, показал историческую роль рабочего класса России, нанеся тем самым сильный удар по народничеству.

Работа Плеханова «Социализм и политическая борьба» (1883), высоко оцененная Лениным, назвавшим ее «первым profession de foi русского социализма», дает не только острую критику идеалистических общественных теорий, но и яркую характеристику научного социализма Маркса и Энгельса, она раскрывает глубокий смысл известного положения марксизма: «Всякая классовая борьба есть борьба политическая», и говорит о необходимости связать революционную борьбу в России с правильно понятым научным социализмом.

Эта брошюра Плеханова была в 90-х годах переведена на польский и болгарский языки.

Последующие произведения Плеханова: «Наши разногласия» (1885), «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895), так же как и работа «Социализм и политическая борьба», расчищали почву для победы марксизма в России и явились в те годы крупнейшими теоретическими работами русских марксистов.

В этих работах Плеханов впервые для России творчески применил марксизм к анализу экономических отношений пореформенной России, выявил назревшие потребности российского революционного движения и политические задачи русского рабочего класса. Он обнажил реакционное существо так называемых «социалистических» взглядов народников, не имеющих ничего общего с научным социализмом.

В книге «Наши разногласия» Плеханов продолжил критику всей теоретической доктрины народников в целом и в особенности критику их экономической «теории» и ошибочных взглядов на крестьянский вопрос в России. В произведении «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» В. И. Ленин назвал «Наши разногласия» «первым социал-демократическим сочинением» русского марксиста. Энгельс высоко оценил этот труд Плеханова*.

* См. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1951, стр. 308—311.

В Лондоне (куда вынужден был выехать Плеханов, высланный из Франции в 1894 г.) была написана одна из его лучших марксистских работ — «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895), о которой Ленин писал, что на ней «воспиталось целое поколение русских марксистов».

По тематике к этому произведению примыкают философский труд Плеханова «Очерки по истории материализма», написанный к 1894 г. и изданный в Штутгарте в 1896 г. на немецком языке, имевший огромный успех за границей, работа «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» (1891) (также вышла впервые на немецком языке — Энгельс назвал ее превосходной) и другие философские труды последующих лет.

Книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» вышла в свет в России легально под псевдонимом Бельтов. Исходя из цензурных соображений, Плеханов дал ей, как он выразился, «умышленно неуклюжее» название «монистический», не указывая, о каком понимании истории — материалистическом или идеалистическом — идет речь. Переведенная на ряд иностранных языков, эта книга вскоре получила широкую известность. Энгельс писал 30 января 1895 г.: «Книга Георгия появилась очень кстати»*. 8 февраля 1895 г. он пишет Плеханову: «Во всяком случае, большой успех уже то, что Вам удалось добиться ее издания *в самой стране*»**.

В этой книге Плеханов останавливается главным образом на вопросах материалистического понимания истории. В полемике с либеральными народниками Михайловским. Кареевым и др. он ставил задачей разоблачить идеализм субъективной социологии.

Названные произведения Г. В. Плеханова и другие его труды этой поры ярко отражают его большую марксистскую эрудицию, глубокое знание истории философской и общественной мысли. В этих произведениях раскрывается историческое подготовление марксизма на базе передовой общественной мысли прошлого, его источники и составные части, освещаются важнейшие проблемы диалектического и исторического материализма, политической экономии, научного социализма. В борьбе с различными видами идеализма, особенно с позитивизмом и кантианством, а также с «экономическим» материализмом Плеханов вносил много нового и оригинального в аргументацию марксистских идей, конкретизировал и развивал положения марксизма.

Лучшие произведения Плеханова, написанные в 80-х и в первой половине 90-х годов, до образования В. И. Лениным «Союза

* «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», стр. 336.
** Там же, стр. 338.

борьбы за освобождение рабочего класса», в пору расцвета марксистской теоретической деятельности Плеханова, входят в первый том настоящего издания его «Избранных философских произведений».

* * *

В борьбе против идеализма, метафизики и реакционных утопий народнического «социализма» Плеханов отстаивал материализм в философии и истории, раскрывал объективный характер законов общественного развития, диалектику исторического процесса.

Свою главную задачу Плеханов видел прежде всего в разъяснении того положения, что марксизм применим к историческим условиям России.

В экономической теории народничества главным являлся вопрос о некапиталистическом пути развития России, вопрос о том, «должна» или «не должна» Россия пройти через «школу» капитализма.

Народники-субъективисты считали, что Россия идет своим самобытным путем, и, поскольку капитализм якобы «искусственно пересажен» в Россию, он для «самобытного» русского экономического строя случаен, является упадком, регрессом. Поэтому надо «задержать», «остановить» развитие капитализма, «прекратить ломку» капитализмом вековых устоев русской жизни. Эта позиция народников была реакционна и направлена по существу на сохранение пережитков феодально-крепостнических отношений.

В своих рассуждениях о невозможности развития капитализма в России народники пытались исказить взгляды Маркса и его последователей в России. Михайловский, например, уверял, что Маркс некритически прилагал свою историческую схему к России и что русские марксисты якобы также некритически переняли эти «готовые схемы» Маркса и игнорируют факты, говорящие о «самобытном пути» России, отличном от капитализма. Михайловский, Воронцов и др. заявляли, что марксизм как теория применим в известной мере лишь к западноевропейским странам и совершенно неприложим к России.

В противоположность народническим оценкам марксизма Плеханов убедительно доказал, что марксизм вполне применим к экономическим и политическим условиям России.

С целью выявления всей ошибочности экономической теории народничества Плеханов сопоставлял условия возникновения и историческую роль капитализма на Западе с условиями развития его в России, выяснял общие предпосылки развития капитализма в различных странах и отсюда делал вывод об ошибочности противопоставления Роосии Западу. Он показал всю

несостоятельность народнического мифа об «особом» характере русского экономического развития. Глубокий марксистский анализ экономических отношений пореформенной России, капиталистического пути развития города и деревни был дан Плехановым в книге «Наши разногласия». Книга эта насыщена историческими фактами, статистическими данными, характеризующими различные области хозяйственной жизни России. В ней хорошо показаны проникновение иностранного капитала в Россию, все возрастающая зависимость мелкой кустарной промышленности от торгового капитала, процесс пролетаризации кустарей и превращения мелкого кустарного производства в домашнюю систему крупного производства. «Капитализм идет своей дорогой,— писал Плеханов,— выбивает самостоятельных производителей из их непрочных позиций и создает в России армию рабочих тем же самым испытанным способом, какой уже практиковался им «на Западе»»*.

Не менее убедительно вскрывалось Плехановым проникновение капитализма и в сельское хозяйство, разложение «устоев крестьянского мира»— общины.

Народники, сражаясь против капитализма с мелкобуржуазных позиций, видели в общине несокрушимый оплот, панацею от всех зол капитализма, основу социалистического преобразования России, позволяющую миновать капитализм. Идеализируя докапиталистические формы жизни, они совершенно неправильно оценивали действительность, выступали, писал Плеханов, как метафизики, не понимающие диалектических противоречий жизни. Они твердили о каком-то «народном», не имеющем внутренних противоречий производстве, а народ представляли как некую застывшую массу. Исторические явления они рассматривали метафизически, вне их действительного развития и изменения.

Народники не хотели видеть ослабления и процесса разложения сельских общин. Плеханов в «Наших разногласиях» на фактах доказал, что сельские общины обнаруживали несомненную живучесть до тех пор, пока они не выходили из условий натурального хозяйства. Они начинали распадаться, но не под влиянием внешних и независимых от них обстоятельств, а в силу внутренних причин, в силу того, что «развитие денежного хозяйства и товарного производства мало-помалу подкапывает общинное землевладение»**.

По глубокому убеждению Плеханова, Россия развивается по капиталистическому пути не потому, что существует какая-то внешняя сила или таинственный закон, толкающий ее на этот

* Настоящее издание, т. I, стр. 244.
** Там же, стр. 256.

путь, как это думают субъективисты, а потому, что нет такой фактической внутренней силы, которая бы могла сдвинуть ее с этого пути. «*За капитализм* вся динамика нашей общественной жизни»,— писал он.

Главный вывод из анализа русской действительности состоял в том, что крупное частнокапиталистическое производство в России расширяется, развивается безостановочно, а народническая иллюзия о неведомом «народном производстве» и другие утопические воззрения рассеиваются самой жизнью.

Плеханов в своих трудах доказывал, что «по внутреннему характеру своей организации сельская община прежде всего стремится уступить место буржуазным, а не коммунистическим формам общежития...». Общине «... предстоит не *активная*, а *пассивная* роль; она не в состоянии *двинуть* Россию на путь коммунизма...»*.

Крупнейшая историческая заслуга Плеханова заключалась в том, что он наряду с исследованием путей экономического развития России марксистски решал вопрос о классовых силах и характере классовой борьбы в России. Для народников была характерна идеализация «народа», они считали крестьянство главной революционной силой и игнорировали роль пролетариата. Плеханов первый в России противопоставил народнической утопии учение об исторической роли русского рабочего класса в освободительной борьбе.

Народническая позиция основывалась на ошибочном представлении о том, будто в России промышленность почти не развивается, ввиду чего незначительная прослойка рабочих якобы не растет.

Приводя убедительные аргументы, Плеханов показал, почему революционеры должны возложить свои надежды именно на пролетариат — растущую силу общества, связанную с наиболее передовой формой производства — с крупным фабрично-заводским производством, а не на крестьянство, которое хотя количественно и преобладало, но с развитием товарного производства неизбежно должно было разделиться «на два враждебных лагеря: эксплуатирующего меньшинства и трудящегося большинства»**.

Плеханов первый в нашей стране доказал, что главную роль в предстоящей революции в России должен сыграть рабочий класс. «Инициативу коммунистического движения может взять на себя лишь рабочий класс наших промышленных центров — класс, освобождение которого может быть достигнуто только путем его собственных сознательных усилий»***.

---

* Настоящее издание, т. I, стр. 347.
** Там же, стр. 288.
*** Там же, стр. 347.

Эта убежденность Плеханова в исторической будущности рабочего класса России ярко проявилась в его выступлении на Международном рабочем социалистическом конгрессе в Париже в 1889 г. Он тогда провозгласил: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!»*.

Вульгарным экономистам, придававшим политическому строю общества лишь самое ничтожное значение, он противопоставлял марксистское положение о том, что везде, где общество расчленено на классы, противоречия интересов этих классов неизбежно приводят их к борьбе за политическое господство. Ошибочно поэтому рекомендовать рабочим вести борьбу только на экономической почве, забывая о политических задачах рабочего класса. Это, доказывал Плеханов, не что иное, как линия отказа от революционной классовой борьбы, от революции, от социализма. Только классовая, политическая борьба против царизма и буржуазии есть единственный путь, на котором может быть разрешена задача исторического освобождения рабочего класса. Она завершается революцией, как самым могущественным проявлением классовой борьбы и средством достижения социально-экономического преобразования общества.

Плеханов оспаривал утопические концепции народничества о том, что Россия стоит непосредственно перед социалистической революцией. Народники исходили из того, что в России якобы нет буржуазии, следовательно, ее минует буржуазная революция, а у русского крестьянства налицо наклонности к коммунизму, поэтому есть благоприятные условия для народной социалистической революции. По мнению Плеханова, без экономических предпосылок социализм невозможен. Предстоящая революция в России может быть только буржуазной. В своих ранних работах Плеханов уделял серьезное внимание крестьянскому вопросу, считал необходимым для рабочих, которые со временем завоюют политическую свободу, вести среди крестьян революционную работу и пропаганду идей научного социализма.

Но, считая, что крестьянство как класс распадается, Плеханов не учел того, что важнейшей задачей буржуазно-демократической революции в России была борьба за уничтожение помещичьего землевладения и что в этой борьбе крестьянство было призвано сыграть огромную прогрессивную роль.

Уже в первых работах Плеханова в ряде случаев говорится о пассивности, политической индифферентности и консервативности крестьянства. Это заблуждение свидетельствовало об

* Настоящее издание, т. I, стр. 419.

имевшейся у него недооценке революционных возможностей крестьянства, которая впоследствии разрослась в ошибочную, меньшевистскую трактовку вопроса о крестьянстве и об отношении к крестьянству социал-демократии.

В начале 80-х годов, когда революционное пролетарское движение в России переживало еще процесс утробного развития, Плеханов блестяще защищал теорию марксизма. Изложенная в книге «Наши разногласия» программа революционной деятельности явилась для того времени значительным шагом вперед в борьбе за распространение марксизма в России. Члены социал-демократических кружков Благоева, Точисского, Бруснева, которые вели тогда практическую работу в России и поддерживали связь с группой «Освобождение труда», высоко оценивали произведения Плеханова, они указывали на значение их в пропаганде революционной теории в условиях разброда и шатаний и просили «как можно больше и скорей» присылать им брошюры (речь шла о «Наших разногласиях» и работе «Социализм и политическая борьба»).

Насущной потребностью того времени являлась разработка программы русских социал-демократов. В 1884 и 1887 гг. Плехановым были написаны два таких проекта программы. Первый проект содержал ряд ошибочных положений: признание индивидуального террора, культ «героев» и другие народнические пережитки. Марксистские кружки (Благоева и др.) в России признали этот проект неудовлетворительным. Второй проект программы был более правильным. В нем говорилось, что целью русских социал-демократов является полное освобождение труда от гнета капитала путем перехода всех средств и предметов производства в общественную собственность, а это будет возможно лишь в результате коммунистической революции. Ленин в статье «Проект программы нашей партии» считал, что в плехановском проекте имеются элементы, совершенно необходимые для программы социал-демократической рабочей партии*.

Работы Плеханова «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» выполнили большую историческую задачу. Первые русские марксисты именно под влиянием этих произведений обратили свои взоры и надежды на рабочий класс, стремились развить его классовое самосознание, создать его революционную организацию — партию, направляли свою деятельность на то, чтобы помочь рабочему классу подняться на борьбу против буржуазно-помещичьего режима. Плеханов «указал русским революционерам их задачу: образование революционной рабочей партии»**. Но зарождение революционной марксистской партии стало возможным лишь в середине 90-х годов.

* См. *В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 212.

** Там же, стр. 242.

В 90-х годах наступил новый период в истории русского марксизма, когда в России началось слияние воедино двух великих сил: рабочего движения и научного социализма. Этот новый период развития марксизма в России связан с именем В. И. Ленина, с деятельностью созданного им «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», который явился зачатком марксистской партии рабочего класса в России.

* * *

Значение теоретической деятельности Г. В. Плеханова как выдающегося философа-марксиста не ограничивается мастерским применением ряда основных положений марксистской теории к историческим условиям России, защитой и обоснованием марксизма в борьбе с его врагами.

В своих философских произведениях Плеханов стремился отстоять, обосновать и популяризировать все, что было внесено Марксом и Энгельсом нового в философию. Величие диалектического и исторического материализма, подчеркивал Плеханов, состоит в том, что он преодолел ограниченность метафизического материализма и идеализма, дал объяснение всем сторонам человеческой жизни.

Плеханов провозгласил, что «появление материалистической философии Маркса — это подлинная революция, самая великая революция, какую только знает история человеческой мысли»*. Он рассматривал материалистическую философию Маркса как неизбежный и закономерный результат развития всей истории общественной мысли, как высшую ступень в развитии философии, видел в революционном мировоззрении Маркса выражение классовых интересов пролетариата.

Плеханов обращал главное внимание на пропаганду исторического материализма и раскрывал его подлинное содержание, что было в те годы насущной необходимостью, так как буржуазные противники марксизма и на Западе и в России пытались низвести исторический материализм до уровня вульгарного «экономического» материализма, подменить его всякого рода антинаучными теориями — расизмом, мальтузианством, теорией «факторов», географическими теориями и др. или вообще замалчивали открытие Марксом материалистического понимания истории.

В работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханов полемизировал с Михайловским, «не заме-

* Настоящее издание, т. II («Философские и социальные воззрения К. Маркса»).

тившим» исторической теории Маркса и, больше того, стремившимся замолчать гениальные идеи Маркса в угоду субъективизму. Плеханов показывал, что многие специалисты по истории, экономике, по истории политических отношений и истории культуры ничего не знают об историческом материализме Маркса, а добытые этими специалистами результаты явно свидетельствуют в пользу теории Маркса. Плеханов убежден, что очень много будет открытий, подтверждающих эту теорию. «А вот насчет г. Михайловского мы убеждены в противном: «субъективной» точки зрения не оправдает ни одно открытие ни через пять лет, ни через пять тысячелетий»*.

Плеханов неоднократно писал, что материалистическое понимание истории, открытое К. Марксом, является одним из величайших завоеваний теоретической мысли XIX столетия, всемирно-исторической заслугой Маркса. До Маркса никто не мог дать правильного, строго научного объяснения истории общественной жизни. Маркс впервые распространил материализм на развитие общества, создал науку об обществе.

При этом Плеханов подчеркивал, что материалистическое понимание истории, являясь одним из самых главных достижений марксизма, составляет лишь часть материалистического миросозерцания Маркса — Энгельса. Ошибочно видеть «важнейший элемент марксизма» только в одном историческом материализме. Материалистическое объяснение истории предполагает материалистическое понимание природы.

Плеханов ярко и убедительно раскрывал органическое единство философской, социологической и экономической теорий Маркса, тесную взаимосвязь основных положений марксизма и характеризовал марксизм как целостное, стройное революционное мировоззрение пролетариата.

Красной нитью в изложении Плехановым материалистических взглядов Маркса на человеческое общество и его историю проходит стремление выделить главное в явлениях общественной жизни, их материальную основу. С этих позиций он анализирует философские взгляды материалистов до Маркса, социалистов-утопистов, социологов и историков Франции XIX в., взгляды Конта, Спенсера, Гегеля, братьев Бауэров, Фихте, Вейзенгрюна и др. и подчеркивает, что гениальное открытие Маркса — материалистическое понимание истории — исправляет коренную ошибку философов и социологов до Маркса, исходивших в анализе общества из идеалистических посылок.

Плеханов показывает, что материалистическое научное объяснение общественно-исторического процесса Марксом имеет

* Настоящее издание, т. I, стр. 686.

одну посылку: объективную основу общественной жизни — экономическую структуру общества.

Глубокое обоснование дает Плеханов марксистскому пониманию общественных законов. Его интересует постановка вопроса о закономерностях развития общества в учениях исторических предшественников марксизма — у французских материалистов XVIII в., утопических социалистов XIX в. Плеханов подчеркивает, что, несмотря на отдельные материалистические догадки, они оставались идеалистами в понимании истории, не умели уловить объективную необходимость и закономерность в развитии общества и тем самым вскрыть корни идейных мотивов человеческой деятельности. Плеханов показал, что именно марксизм впервые дал научное исследование исторического процесса. Марксизм раскрыл объективность законов истории, действующих с силой естественных законов, с железной необходимостью, и показал, что изменения общественных отношений, часто не предвидимые людьми, но необходимо являющиеся в результате их действий, совершаются в соответствии с определенными законами общественной жизни.

Деятельность людей, их идеи и взгляды зависят не от случая. Они подчинены законам исторического развития, а чтобы открыть эти законы, писал Плеханов, должно с помощью диалектико-материалистического метода Маркса изучать факты прошлой жизни человечества. Будущее способен предвидеть только тот, кто понял прошедшее, кто видит преемственность и связь исторических событий, их обусловленность, а не хаос случайностей.

Плеханов высоко оценивал роль диалектики в социальной жизни. В применении к социальным явлениям диалектический метод, указывает он, произвел целую революцию. «Можно без преувеличения сказать, что мы обязаны ему пониманием истории человечества, как *закономерного процесса*»*.

Это значит, что свойства общественной среды так же мало зависят от воли и от сознания людей, как и свойства географической среды, говорил Плеханов. Неправильно искать законы общества в природе, подчеркивал он мысль Маркса.

Отметим, что Плеханов не оставил без критики широко распространенные и поныне псевдонаучные буржуазные «теории», применяющие к обществу биологические закономерности и тем самым сводящие общественный прогресс к биологической эволюции. Он высмеивал и называл утопистами позитивистов, социал-дарвинистов, всех тех, кто мечтал о реформе общественных наук при помощи естествознания, посредством изучения законов физиологии. Люди, смотрящие на общество с этой точки

* *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VIII, стр. 129.

зрения, писал Плеханов, попадают в безвыходное положение, так как физиология, биология, медицина, зоология не в состоянии объяснить специфическую область общественного развития.

Плеханов показал и подчеркнул отличие марксизма от дарвинизма. Дарвину удалось решить вопрос о том, как происходят растительные и животные виды, Маркс же решил вопрос о том, как возникают различные виды общественной организации. Если Дарвин был склонен применять свою биологическую теорию к объяснению социальных явлений, писал Плеханов, то это было ошибочно. Поэтому, когда сам Плеханов написал в работе «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», что марксизм есть дарвинизм в его применении к обществознанию, то он явно допустил неудачную формулировку, отнюдь не выражавшую его действительного взгляда на соотношение марксизма и дарвинизма.

Объективные законы материального производства, законы классовой борьбы — вот ключ к пониманию внутренней логики общественного процесса, всего богатства и многообразия общественных отношений. Именно здесь надо искать причины социальных явлений. Плеханов объясняет, что и другие явления общественной жизни, идеология например, имеют свои специфические закономерности. Для материалиста история человеческой мысли есть закономерный и необходимый процесс. Движение человеческой мысли подчинено также своим особым законам. Никто не отождествляет, например, законов логики с законами товарного обращения. Но марксисты не считают возможным искать в законах мышления, как это делали идеалисты, последней причины, основного двигателя умственного развития человечества. Законы мышления не могут разрешить вопроса — чем обусловливается приток и характер новых впечатлений. Выяснение этих вопросов возможно лишь в результате анализа общественной жизни, ее отражения в сознании человека.

Принципиально важной является защита Плехановым марксистского детерминизма против волюнтаризма. Маркс рассматривал историю человеческого общества как необходимый, закономерный процесс и вместе с тем как продукт деятельности людей. Существует взаимозависимость между объективной и субъективной сторонами общественной жизни. Историческая необходимость не исключает свободы действий людей. Марксисты, изучая объективные условия материального существования людей, тем самым изучают и отношения, складывающиеся между людьми, а также их помыслы, идеалы и стремления. Утверждения субъективистов-волюнтаристов о том, будто человеческая воля и действия людей совершенно свободны, независимы от общест-

венных условий, не состоятельны. Воля на практике является только «как будто бы» свободной, мысль о полной свободе воли есть заблуждение людей. Свобода воли не существует сама по себе, а является следствием познания исторической необходимости, познания законов прогресса. Свобода личности, по Плеханову, заключается не только в знании законов природы и истории, в умении подчиняться этим законам, но и в умении комбинировать их наивыгоднейшим образом.

Столь же ошибочно, говорил Плеханов, искать движущие силы исторического развития вне практической деятельности людей. Буржуазные историки и социологи пытались приписать марксизму абсолютный метафизический детерминизм, утверждали, что, по Марксу, историческая необходимость действует будто бы сама по себе, без всякого участия людей, ибо поскольку признается действие объективной необходимости, то не остается якобы места для свободной деятельности людей.

Плеханов глубоко раскрыл эту фальсификацию марксистских взглядов и опроверг точку зрения, согласно которой действие исторической необходимости якобы носит автоматический характер, доказал, что история совершается именно в результате действий людей.

Он умело опровергал утверждения, что люди подчинены железному закону необходимости, что все их действия предопределены и т. д. «Нет... раз мы *узнали* этот железный закон, от нас зависит свергнуть его иго, от нас зависит сделать *необходимость* послушной рабой *разума*»*, — цитирует Плеханов Маркса.

Диалектический материализм не только учит, что нелепо восставать против экономической необходимости, но и указывает, как использовать ее в практической деятельности. Этим самым устраняется фаталистическая точка зрения, провозглашается великая и непреоборимая сила деятельности людей, человеческого разума, который, познав внутренние законы необходимости, стремится преобразовать действительность, сделать ее разумнее. «Люди делали и должны были делать свою историю *бессознательно*, до тех пор, пока двигательные силы исторического развития действовали за их спиной, помимо их сознания. Раз открыты эти силы, раз изучены законы их действий — люди будут в состоянии взять их в свои собственные руки, подчинять их своему собственному разуму. Заслуга Маркса заключается именно в том, что он открыл эти силы и подверг тщательному научному изучению их действия»**.

---

* Настоящее издание, т. I, стр. 691.

** Там же, стр. 445.

Задача исторического материализма, пояснял Плеханов, заключается в объяснении всей совокупности общественной жизни. Однако, чтобы объяснить весь исторический процесс последовательно, необходимо держаться марксистского принципа — выяснять прежде всего коренную основу общественной жизни. По теории Маркса и Энгельса, этой основой является развитие производительных сил, производство материальных благ. Но, чтобы производить, люди должны установить друг с другом взаимные отношения, которые у Маркса называются производственными отношениями. Совокупность этих отношений и составляет экономическую структуру общества, на основе которой вырастают все другие социальные отношения людей. С точки зрения марксизма, исторический прогресс определяется в последнем счете не человеческой волей, а развитием материальных производительных сил. Развитие их ведет к изменениям экономических отношений. Поэтому историческое исследование должно начинаться с изучения состояния производительных сил данной страны, ее экономики, на почве которой вырастают общественная психология и различные идеологии.

В борьбе с идеализмом Плеханов отверг утверждения Михайловского и Кареева, что якобы «усилия разума» играют решающую роль в развитии производительных сил, средств производства, в процессе создания и применения орудий труда. Он показал, что сама способность производить орудия развивается в процессе воздействия на природу, в процессе добывания средств существования. Действуя на природу, человек изменяет свою собственную природу. «Он развивает все свои способности, а между ними и способность к «деланию орудий». *Но в каждое данное время мера этой способности определяется мерой уже достигнутого развития производительных сил»**.

Установленную Марксом неразрывность взаимоотношений производительных сил и производственных отношений, их единство Плеханов называет коренной причиной социального движения. Диалектику их развития он ясно видит в том, что производственные отношения являются следствием, производительные силы — причиной. Но следствие в свою очередь становится причиной, производственные отношения становятся новым источником, формой развития производительных сил.

Плеханов выясняет и влияние природы — естественной и, по его словам, важнейшей предпосылки человеческой истории — на развитие общества, хотя нередко и переоценивает это влияние. Так, в ранних работах, особенно в произведении «К вопросу о

* Настоящее издание, т. I, стр. 615.

развитии монистического взгляда на историю», он отмечал, что общественные отношения бесконечно сильнее природных условий влияют на исторический процесс. В другой своей ранней работе — в «Очерках по истории материализма» — он писал, что взаимное влияние производительных сил и производственных отношений является причиной социального развития, имеющего свою логику и независимые от естественной среды законы, и что эта внутренняя логика «может стать даже в противоречие с требованиями среды». В этом же плане он высказывается о косвенном влиянии климата, о том, что исторические судьбы народов не находятся в исключительной зависимости от географической среды, ибо «география далеко не все объясняет в истории». Сравнительная стабильность географической среды по отношению к изменчивости исторических судеб народов, пишет Плеханов, подтверждает этот вывод. Это значит, по Плеханову, что зависимость человека от географической среды — величина переменная и изменяется с каждым новым шагом исторического развития. Правильно было и другое его утверждение, что географическая среда способствует или препятствует развитию производительных сил. Однако Плеханов уже в этих своих первых произведениях допускает формулировки, свидетельствующие о преувеличении им роли естественной, географической среды, состояние производительных сил он объясняет свойствами географической среды. Это была уступка так называемому географическому направлению в социологии.

В книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханов пишет о народонаселении как неотъемлемом элементе общественного развития, рост которого, однако, не является коренной причиной общественного прогресса. Он приводит положение Маркса, что абстрактные законы размножения существуют только для животных и растений, тогда как рост (или убыль) населения в человеческом обществе определяется его экономической структурой.

В своих трудах 80—90-х годов Плеханов по-марксистски решает вопрос о роли народных масс и личности в истории в связи с выяснением и обоснованием всемирно-исторической роли пролетариата в революционной классовой борьбе. Позже, в 1898 г., он посвятил этой теме специальный труд. Но и в ранних своих трудах он направлял свою критику против антинаучных теорий Лаврова, Ткачева, Михайловского и других народников по вопросу о роли «героев» в истории. Вслед за братьями Бауэр они проповедовали субъективизм в понимании истории, игнорировали роль народных масс, классов в истории и рассматривали интеллигенцию как самостоятельную общественную силу, играющую якобы первостепенную роль в общественном развитии; с их точки зрения, массы неспособны к сознательным

и организованным действиям: они могут лишь подчиняться и слепо идти за «героями».

Народнические идеологи считали, что прогресс истории осуществляется исключительно критически мыслящими личностями как особой высшей разновидностью человеческого рода. Критически мыслящая личность — это «герой», это тот, кто увлекает «толпу», противостоящую «герою». Толпа в представлении народников — это «чуждая всякого творческого элемента масса, что-то вроде огромного количества нулей, получающих благотворное значение только в том случае, когда во главе их снисходительно становится добрая, «критически мыслящая» единица»*. В другом месте Плеханов отмечал, что толпой народники называют миллионы производителей, из которых «герой будет лепить то, что считает нужным вылепить»**. Это был вреднейший культ личности, «героя», стоящего над массой.

В одном из вариантов к «Очеркам по истории материализма» Плеханов замечательно разъяснял вред культа исторических деятелей. Нередко действия этих людей принимают за причину великих исторических движений. «Вот таким-то образом роль «Моисея», «Авраама», «Ликурга» и т. д. принимает те невероятные размеры, которые поражают нас в философии истории Гольбаха и всех «просветителей» прошлого столетия. История народов превращается в серию «Жизнь замечательных людей»». Поэтому «религия, нравы, обычаи, весь характер народа оказываются сформированными одним человеком, действовавшим по заранее обдуманному плану. Так исчезает,— писал Плеханов,— всякое представление о социальной науке, о законах, от которых зависит человек в историческом развитии». Эта точка зрения, отмечал он, не имеет ничего общего с наукой.

Поскольку народнические идеологи, как правило, не доверяли массам, признавали только «единоборство» одиночек с самодержавием, они, как показывал Плеханов, перешли к вреднейшей тактике индивидуального террора, тормозившей развитие революционной инициативы и активности рабочего класса и крестьянства. Безуспешные попытки вести борьбу против царизма лишь силами героев-одиночек, отрыв от народных масс привели народников к еще более серьезным ошибкам, к эволюции к либерализму. Отдавая себе ясный отчет во вреде культа личности, «героев» для развития массового революционного движения, Плеханов не только подверг критике политическую и теоретическую несостоятельность взглядов народнических идеологов в этом вопросе, высмеял их безмерное самомнение, но

* Настоящее издание, т. I, стр. 605.
** Там же, стр. 769.

вместе с тем дал образцы глубокого проникновения в марксистское учение о законах развития общества, понимания роли масс и личности в истории.

Михайловский, этот «Ахилл субъективной школы», писал Плеханов, воображает, что марксисты «должны говорить лишь о «саморазвитии форм производства и обмена»». «Если вы думаете,— обращался Плеханов к народникам,— что, по мнению Маркса, формы производства могут развиваться «сами собою», то вы жестоко ошибаетесь. Что такое *общественные отношения производства?* Это отношения людей. Как же будут они развиваться без людей?»*. Трудящиеся массы — вот кто двигает развитие производства, утверждает Плеханов.

Если для субъективистов, писал Плеханов, герой действует, а производитель содействует, то, с точки зрения марксизма, производители не содействуют, а действуют. Развитие общества совершается только действиями самих производителей.

На примерах из области общественной жизни он доказывал, что история делается массами, миллионами производителей, а не «героями» по их произволу и фантазии. «Не утопическими планами различных реформаторов обусловливается все растущее теперь рабочее движение, а законами производства и обмена»**.

Отдельным выдающимся личностям субъективисты приписывают такие деяния, осуществить которые могут лишь миллионные массы; не единицы, а народные массы, классы играют решающую роль в историческом развитии, в осуществлении общественного переустройства России. Субъективисты и волюнтаристы, писал Плеханов, не умеют подняться от действий отдельных личностей к действиям масс, к действиям целых общественных классов. Народники, как и буржуазные социологи, склонны видеть в политической деятельности великих людей главную и чуть ли не единственную пружину исторического развития. Они уделяют слишком много внимания генеалогии королей, не оставляя места никакой самодеятельности людских масс.

Внимание историков, писал Плеханов, должна привлекать жизнь народных масс. Народ должен быть героем истории, подчеркивал он. Настоящая история страны — это история народа, история граждан. «...Ни один великий шаг в историческом движении человечества не может совершиться не только без участия людей, но и без участия великого множества людей, т. е. *масс*»***.

---

* Настоящее издание, т. I, стр. 683.
** Там же, стр. 447.
*** *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VIII, стр. 210.

Плеханов отмечал, что «пока существуют «герои», воображающие, что им достаточно просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда им угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, что им вздумается,— царство разума остается красивой фразой, благородной мечтою. Оно начнет приближаться к нам семимильными шагами лишь тогда, когда сама «толпа» станет героем исторического действия и когда в ней, в этой серой «толпе», разовьется соответствующее этому самосознание»*.

Величие философии Маркса, писал Плеханов, состоит в том, что она в отличие от многих философских течений, обрекавших человека на бездеятельность и пассивное восприятие действительности, призывает его к творчеству. Маркс призвал к действию пролетариат — класс, который должен сыграть великую историческую роль в современном обществе. К нему, к пролетариату, революционному классу в полном смысле этого слова, обращаются марксисты. Пролетариат пользуется философской теорией Маркса, как надежным путеводителем в своей борьбе за освобождение. Эта теория вливает в пролетариат беспримерную энергию. К действию сводится вся практическая философия марксизма. Плеханов называл диалектический материализм философией действия.

Но марксизм, придавая решающее значение деятельности масс в историческом развитии, в то же время далек от того, чтобы отрицать роль личности в истории, сводить ее к нулю.

Выдающаяся личность, неразрывно связанная с массой, выражающая ее интересы и стремления, при определенных исторических условиях может выполнить большую общественную роль, пробуждая в массах героическое самосознание, своей прогрессивной деятельностью она ускоряет движение общества. Отсюда «...развитие знания, развитие человеческого сознания является величайшей, благороднейшей задачей мыслящей личности. Licht, mehr Licht!** — вот что нужно прежде всего... Не следует оставлять светильника в тесном кабинете «интеллигенции»!.. Развивайте человеческое сознание... Развивайте самосознание производителей»***.

Значение общественной деятельности выдающейся личности, подчеркивал Плеханов, зависит от того, насколько правильно поняты ею условия развития общества, определяется степенью близости ее к народу, к передовому классу. Но никакой великий человек не может навязать обществу отношений, которые уже не соответствуют состоянию производительных сил.

---

* Настоящее издание, т. I, стр. 693.

** Света, больше света!

*** Настоящее издание, т. I, стр. 692—693.

Таким образом, в середине 90-х годов Плеханов блестяще раскритиковал идеалистический культ личности и разъяснил марксистское учение о роли народа и личности в истории. Марксистские произведения Плеханова помогают и в настоящее время вести борьбу за ликвидацию еще имеющихся пережитков культа личности.

Обосновывая величайшую роль народа в истории, Плеханов стремился доказать, что только революционное движение народа, рабочего класса может свалить такое политическое чудовище, как русское самодержавие, и привести к диктатуре пролетариата, к торжеству социализма. Это имело большое значение для российского освободительного движения, где в 80-х годах были распространены идеи бланкизма и анархизма. Идеи диктатуры пролетариата Плеханов отстаивал в работах «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия» и др. Он указывал, что диктатура пролетариата — первый акт, признак социальной революции. Задача диктатуры пролетариата — не только в разрушении политического господства буржуазии, но и в организации социально-политической жизни. «Всегда и везде,— подчеркивал он,— политическая власть была рычагом, с помощью которого добившийся господства класс совершал общественный переворот, необходимый для его благосостояния...»*.

Встав позднее на меньшевистские позиции, Плеханов хотя и не отказывался открыто от марксистского принципа диктатуры пролетариата, однако поддался реформистским конституционным иллюзиям и устранился от решения конкретных практических вопросов борьбы за диктатуру пролетариата.

В ряду важнейших вопросов исторического материализма, разработанных Плехановым, большое место занимал вопрос о возникновении и развитии идеологии, о происхождении форм общественного сознания и их взаимодействии, вопрос об отношении политической и идеологической надстроек к экономическому базису и т. д.

Как нет ничего застывшего, вечного и неизменного в природе, так и в истории общественной жизни с изменением способа производства изменяются идеи, теории, политические учреждения и т. д., т. е. изменяется вся надстройка. Все это представляет исторический продукт реальной деятельности людей.

В своих работах Плеханов прежде всего обращает внимание на характеристику зависимости развития форм общественного сознания от материального производства. Подробно и обстоятельно подвергает он критике идеалистические теории «саморазвития» идеологий, представления о том, что общее

* Настоящее издание, т. I, стр. 76.

состояние умов и нравов создает якобы не только различные виды искусства, литературы, философии, но и промышленность данного периода, социальную среду. Плеханов разъясняет и убеждает, что лишь материалистическое понимание истории правильно находит реальную причину данного состояния и умов и нравов в производстве материальных благ.

Во взаимодействии общества с природой люди производят материальные блага, создают экономический базис, на почве которого вырастают государственный строй, психология, идеология. Самое направление умственной работы в обществе определяется в конечном счете отношениями людей в производстве. Этот материалистический тезис не отвергает и фактов идеологического и политического влияния зарубежных стран на политику и идеологию данной страны. Исследование взаимоотношения экономики и идеологий внутри страны, выяснение зависимости политического и идейного развития от экономического строя общества Плеханов дополняет исследованием иностранных влиянии на развитие культуры того или иного народа. «Французские философы восхищались философией Локка. Но они шли гораздо дальше своего учителя. Это потому, что тот класс, который они представляли, во Франции ушел в своей борьбе против старого режима гораздо дальше того класса английского общества, стремления которого выразились в философских сочинениях Локка»*. Стало быть, иностранные влияния не могут устранить главного, того, что особенности, своеобразие общественных идей данной страны объясняются в последнем счете коренной внутренней причиной ее развития — степенью развития ее собственных экономических отношений.

Не менее убедительна аргументация Плехановым марксистского положения об обратном влиянии надстроечных форм на экономику. Зависимость политики от экономики не исключает их взаимодействия, влияния политических учреждений на хозяйственную жизнь. Политический строй или содействует развитию производительных сил, или препятствует ему. Данная политическая система затем и создается, чтобы содействовать дальнейшему развитию производительных сил. Если политическая система превращается в препятствие для их развития, то она должна быть устранена.

В эксплуататорских обществах в производственном процессе противостоят друг другу господствующие и подчиненные классы. Взаимные отношения классов, разъяснял Плеханов,— это прежде всего отношения, в которые люди становятся друг к другу в общественном производственном процессе. Отношения классов находят свое выражение в политической организации

* Настоящее издание, т. I, стр. 658.

общества и в политической борьбе. Эта борьба служит источником возникновения и развития различных политических теорий и идеологической надстройки. Только приняв во внимание борьбу классов и изучив ее, можно прийти к пониманию духовной истории общества, к верному выводу о том, что в обществах, разделенных на классы, всегда имеется господствующая идеология, являющаяся идеологией господствующего класса.

К числу неоспоримых заслуг Плеханова относится блестящее опровержение им несостоятельной, но упорно приписываемой марксизму мысли, будто экономические условия всецело, полностью (а не в конечном счете) определяют духовную жизнь, будто любую теорию можно непосредственно вывести из данного экономического состояния. Это вульгарное измышление об историческом материализме Маркса как «экономическом материализме» распространялось в конце XIX в. Михайловским и другими народниками-субъективистами и буржуазными социологами Запада.

Напрасно думает Михайловский, писал Плеханов, что марксист знает одно экономическое, этой *«только и дышит струною»*. Маркс никогда не рассматривал экономического развития данной страны вне связи с теми общественными силами, которые, вырастая на его почве, сами влияют на его дальнейшее направление. В вопросах, касающихся развития идеологий, самые лучшие знатоки экономического развития окажутся подчас бессильными, если не будут обладать некоторым художественным чутьем, чтобы понять, например, сложный процесс развития общественной психологии и ее значение в жизни общества, ее приспособление к экономике, ее связи с идеологией. Крупные писатели Бальзак и Ибсен, отмечал Плеханов, много сделали для объяснения психологии различных классов современного общества. «Будем надеяться, что со временем явится много таких художников, которые будут понимать, с одной стороны, «железные законы» движения «струны», а с другой — сумеют понять и показать, как на «струне», и именно благодаря ее движению, вырастает *«живая одежда» идеологии*»*.

Маркс, доказывал Плеханов, никогда не отрицал важнейшего значения политики и идеологии (нравственных, философских, религиозных, эстетических понятий) в жизни людей. Он только прежде всего выяснял их генезис, находя его в экономических отношениях общества. Затем Маркс прослеживал, как остов экономики покрывается живой плотью социально-политических форм и, наконец,— и это самая интересная, самая увлекательная сторона,— как возникают и развиваются человеческие идеи, чувства, стремления и идеалы.

* Настоящее издание, т. I, стр. 684.

Плеханов показал относительную самостоятельность в развитии идеологии и тем самым опроверг характерную для буржуазных идеологов и для ревизионистов иллюзию абсолютной самостоятельности идеологии. Процесс порождения идеологической надстройки экономическим базисом совершается незаметным для людей образом. Поэтому нередко утрачивается сознание связи, зависимости идеологических отношений от экономических, первые приобретают «самодовлеющий» характер, идеология ошибочно рассматривается как нечто самостоятельное по своей сущности. Наличие относительной самостоятельности в развитии идеологии объясняется, подчеркивал Плеханов, прежде всего преемственностью в развитии каждой идеологической формы. На относительную самостоятельность в развитии идеологий указывает тот факт, что идеологи любого класса активно относятся к идейному наследству предыдущей эпохи, используя достижения предшествующих поколении. «Идеологии каждого данного времени всегда стоят в теснейшей — положительной или отрицательной — связи с идеологиями предшествующего времени»*. С момента разделения материального и духовного труда, возникновения их противоположности выделяются особые отрасли разделения труда в духовном производстве. Идеологии как бы обособляются в относительно самостоятельные области, с присущими им внутренними тенденциями собственного развития. Наличие этих явлений показывает, что относительная самостоятельность идеологий — реальность, исторический факт.

Ошибочно приписывать марксизму мысль, писал Плеханов, будто экономическим положением данного общества можно непосредственно объяснить содержание всех его идей. Идеи, возникающие в одном и том же обществе, часто играют совершенно различную роль.

Глубокие мысли Плеханова о роли и значении идей в развитии общества и поныне представляют огромный интерес. В 80—90-х годах XIX в. народники с их утопическими идеалами, совершенно оторванными от реальной жизни, наносили большой вред революционной борьбе масс своими утверждениями о независимости идей и теорий от экономической, общественной жизни. Разоблачая субъективизм Михайловского и др., Плеханов самостоятельно и оригинально развивает марксистское учение о роли идей и теорий.

Идеалы бывают возвышенные и низменные, правильные и ошибочные. С точки зрения Маркса, показывал Плеханов, идеи, идеалы всегда являются отражением материальных условий существования людей. Правилен лишь идеал, соответствующий

* Настоящее издание, т. I, стр. 666.

той стороне экономической действительности, которая направлена к прогрессу. Метафизик думает, если общественный деятель должен опираться на действительность, это означает, что ему якобы советуют мириться с нею. Но материалист-диалектик указывает, что жизнь классового общества имеет антагонистический характер. Реакционеры опираются на уже отжившую действительность, однако в ней зарождается новая жизнь, действительность будущего, служить которой — значит содействовать торжеству нового.

Марксисты придают огромное значение идеям, идеалам, хотя это и оспаривают народнические социологи. Идеи превращаются в великую силу, но при одном непременном условии: они должны уметь схватить и отобразить действительность, ход истории, отношения классов. Только в этом случае они неодолимы и служат прогрессу. В противном случае они выступают тормозом общественного развития. Класс и его политическая партия могут быть названы революционными только тогда, когда они выражают наиболее прогрессивные общественные направления, являются носителями наиболее передовых идей своего времени, когда они определяют задачи общественной борьбы.

Революционные идеи Плеханов называл «динамитом», который не заменят «никакие взрывчатые вещества в мире»*.

Марксист Плеханов неустанно призывал претворять в жизнь великие идеалы научного социализма. Он писал об исключительной роли революционной теории в классовой борьбе пролетариата. «Ведь без революционной теории,— писал Плеханов,— нет революционного движения, в истинном смысле этого слова»**. Он призывал вносить передовые, выдвигаемые наиболее прогрессивными общественными силами идеи в массы и видел в этом величайший фактор прогресса.

Однако Плеханов не был последовательным проводником этих взглядов на практике. Позднее, став меньшевиком, Плеханов допускал недооценку субъективной стороны революционного движения, принижал роль революционной партии, преуменьшал обратное влияние общественного сознания на экономику, роль идей в развитии общества.

* * *

В обстановке похода буржуазии против марксизма и его философии в конце XIX в. и позднее огромное значение имело выступление воинствующего материалиста Плеханова в защиту

---

* Настоящее издание, т. I, стр. 95.

** Там же.

философских основ марксизма — марксистского материализма и диалектики. Он показывал, что идеологическая буржуазная реакция наступала под знаменем философского идеализма и эклектики. Социальные основы этого похода против материализма Плеханов видел в конечном счете в страхе буржуазии перед появлением революционного пролетариата на всемирно-исторической арене.

Защищая правое дело в философии, Плеханов обличал идеализм в его различных формах: берклеанство, юмизм, фихтеанство, кантианство, шеллингианство, гегельянство, субъективную социологию народничества, показывал родство идеализма и религии.

Особенно ценно было его решительное выступление против помещичье-буржуазной реакции, которая клеветала на диалектический материализм и стремилась исключить его из общего хода прогрессивного развития философии.

Плеханов показал условия возникновения диалектического материализма, раскрыл преемственность в развитии материалистической философии.

Основное в историко-философской концепции Плеханова — это борьба с идеализмом, выявление материалистической традиции в философии. В трудах Плеханова нет, однако, ясно сформулированного понимания диалектическим материализмом предмета философии.

Плеханов защищает диалектику, прослеживает ее развитие в истории философии, изучает и исследует многочисленные системы и школы различных направлений в философии.

При этом он вскрывает идеалистические извращения буржуазными историками философии взглядов материалистов, фальсификацию ими истории материализма, их стремление обойти, замолчать материализм. Плеханов указал на характерное для буржуазных ученых ненаучное изложение истории философии в духе плоской филиации идей, т. е. простой последовательности философских систем, игнорирование ими связи истории идей с историей общества. Он требовал вместе с тем учитывать и преемственность в идейном развитии, видеть связь отдельных философских систем и школ с мыслительным материалом прошлого.

С позиций диалектического материализма Плеханов стремится проследить преемственность идей материализма, а также отличие диалектического материализма от домарксовского материализма и от философии Гегеля. Это было очень ценно, так как в 80-х и 90-х годах в социалистической литературе часто не было еще ясного представления об отличии диалектического материализма от предшествующих материалистических систем. Больше того, нередко взгляды Маркса смешивались со взглядами Гольбаха, Гельвеция. Диалектическому материализму

приписывались слабые стороны метафизического материализма. С другой стороны, проводилась мысль, что диалектический материализм — обломок левогегельянства.

Преемственность и связь между диалектическими материалистами и домарксовскими Плеханов видел прежде всего в защите ими материализма. Родословную диалектического материализма он ведет от Гераклита, Демокрита, Спинозы, французских материалистов, Фейербаха. Плеханов допускал, однако, неточность, называя материализм Маркса родом спинозизма. Но неправильно было бы рассматривать это как отождествление им диалектического материализма с философией Спинозы. Плеханов лишь подчеркивал материалистическую основу связи философских учений Демокрита — Спинозы — Фейербаха — Маркса. Эта связь, по его мнению, выражена в том, что все эти мыслители дали материалистическое решение основного вопроса философии, доказывали примат материального над идеальным.

Отправным пунктом работы Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» является четко выраженный взгляд, что решение основного вопроса философии служит водоразделом между материализмом и идеализмом.

Бытие определяет собой сознание, пропагандирует Плеханов основное положение материализма, неутомимо выступая против всякого рода «синтеза» материализма и идеализма, т. е. дуализма. Бытие, природа — вот первооснова, первоначальный элемент, определяющий все стороны жизни.

Материализмом и идеализмом, говорит Плеханов, исчерпываются важнейшие направления философской мысли. Хотя рядом с ними почти всегда существовали те или другие дуалистические системы, признававшие дух и материю за отдельные самостоятельные субстанции, но дуализм никогда не мог ответить удовлетворительно на неизбежный вопрос о том, каким образом эти две отдельные субстанции, не имеющие между собой ничего общего, могут влиять одна на другую. Всякого рода синтез материалистической и идеалистической точек зрения, показывает Плеханов, приводит к эклектизму. С точки зрения дуализма понять природу исторических явлений невозможно, так как дуализм всегда эклектичен. В пояснение своей мысли он говорит: «Конечно, эклектик все может соединить в своем уме. С помощью эклектического мышления можно соединять Маркса не только с Кантом, но и со средневековыми «реалистами». Что же касается людей, последовательно мыслящих, то им незаконное сожительство Маркса с философией Канта должно представляться чем-то чудовищным в полном смысле этого слова»*.

---

* Настоящее издание, т. I, стр. 485.

Особо большую роль в истории материализма Плеханов отводит французским материалистам XVIII в. Он противопоставляет идеализму понимание французскими материалистами сознания как «естественного явления», как свойства материи, показывает их решительную борьбу против идеалистов, объясняющих сознание сверхъестественными силами и т. д. Плеханов анализирует этику французских материалистов, показывает ее передовой для того времени характер и защищает их от обвинений в «безнравственности» со стороны пошлых буржуазных историков философии. Высоко оценивая борьбу французских материалистов с церковью и религией, он показывает ограниченный, буржуазный характер их взглядов. Однако внимание Плеханова привлекали преимущественно исторические взгляды домарксовских материалистов. Наиболее подробно он останавливается на попытке французских материалистов объяснить господство в обществе определенных идей и нравов, исходя из условий общественной жизни; вместе с тем Плеханов подчеркивает, что, запутавшись в неразрешимых противоречиях, французские материалисты не преодолели идеалистического взгляда на историю.

В полемике с буржуазными историками философии Плеханов защищал последовательность материализма Фейербаха в понимании природы, раскрывал сходство философских взглядов Фейербаха и французских материалистов, видел ограниченность философии Фейербаха в недооценке им диалектики, а также в отсутствии материалистического взгляда на историю. Однако в оценке философии Фейербаха, Спинозы, французских материалистов XVIII в. Плеханов недостаточно подчеркивал характерные для них черты ограниченности — механистичность, созерцательность и т. п.

Плеханов писал, что марксистская философия — диалектический материализм, самая выдающаяся философская система,— монистична. Лишь материализм правильно объясняет явления природы и человеческого общества. Даже в области психологии, науки, занимающейся преимущественно явлениями духа, «мы работаем с бо́льшим успехом тогда, когда принимаем в качестве *первичного* момента природу, а проявления духа рассматриваем в качестве необходимых следствий движения материи»*.

Марксистская материалистическая философия последовательна в решении основного вопроса философии. Принимая внешний мир в качестве первичного, она в то же время рассматривает его как развивающийся и изменяющийся.

В примечаниях к работе Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Плеханов разъясняет

* *Г. В. Плеханов*, Соч., т. VIII, стр. 139.

важнейшие положения диалектического материализма — о вечности материи, об основных формах бытия, о движении, пространстве, времени. Он опровергает кантианское субъективно-идеалистическое понимание пространства, времени, причинности.

Движение — неотъемлемое свойство материи. Чтобы двигаться, чтобы произвести то, что мы называем ощущением, мыслью, материя не нуждается в сверхъестественном двигателе. Новейший материализм, т. е. диалектический материализм, является единственно последовательной и самой передовой философской системой, согласной с данными естественных наук и чуждой мистике.

Плеханов по-марксистски освещал вопросы познания. Исходный пункт познания — внешний мир. Наши представления и понятия о вещах и явлениях внешнего мира имеют объективное содержание.

Материальное — основа психики, идеального. Мышления нет вне человека, мышление — это функция мозга, результат деятельности нервно-психических процессов.

В примечаниях к работе Энгельса «Людвиг Фейербах...» и в книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханов критиковал агностиков — Юма, Канта и др., отрицавших или сомневавшихся в познаваемости внешнего мира.

Существование внешнего мира, писал Плеханов, несомненно. Мои впечатления являются результатом действия на меня внешних предметов, и поэтому они соответствуют и не могут не соответствовать взаимным отношениям вещей вне нас. Отсюда знание предмета — это всегда знание через посредство тех впечатлений, какие он на нас производит. Ощущение, восприятие существующих вне нас предметов — основа познания.

В полном согласии с Энгельсом Плеханов говорил, что кантианское и юмистское учение о непознаваемости внешнего мира лучше всего опровергается опытом и промышленностью, «всякий опыт и всякое производительное действие человека представляет собою *активное* его отношение к внешнему миру». Наука доказывает, что целый ряд явлений можно предусмотреть и вызвать. Это значит, что возможно предусмотреть и действия, которые будут произведены на нас «вещами в себе». Если же мы предусматриваем некоторые действия на нас «вещей в себе», убедительно писал Плеханов, то это значит, что нам известны «по крайней мере некоторые их свойства». А если нам известны некоторые свойства вещей, то мы не имеем права называть эти вещи непознаваемыми.

В ряде работ, прежде всего в труде «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», Плеханов дал яркое изло-

жение марксистского учения об объективной истине. Признание познаваемости внешнего мира он ясно связывал с признанием способности человеческого познания давать объективную истину. Возражая Михайловскому, Карееву и другим субъективистам, категорически отрицавшим существование объективной истины и утверждавшим, будто истинно все то, что удовлетворяет нашей познавательной потребности, т. е. что истина субъективна, Плеханов говорил: истина отыскивается не в сфере субъективности, а в результате всестороннего рассмотрения объективных отношений действительности.

Объективная истина, обобщает он свою аргументацию,— это правильное отражение действительности. Вне нас существуют предметы и явления, их свойства и отношения. Истинны лишь те взгляды, которые правильно отражают стороны действительности и эти отношения; ошибочны — взгляды, искажающие их.

Отрицание объективности истины субъективистами, мотивированное тем, что жизнь развивается через противоречия,— несостоятельно, писал Плеханов. Наличие противоречий в жизни не отрицает объективной истины, а только ведет к ней. Однако путь познания — не прямолинейный путь. Противоречия жизни заставляют более глубоко и всесторонне рассматривать действительность, в результате чего знания о мире становятся более правильными: они дают объективную, абсолютную истину, которую не может устранить никакое дальнейшее развитие познания, никакие дальнейшие противоречия.

В этом подчеркивании возможности познания абсолютной истины была выражена уверенность в безграничности человеческого познания, уверенность, что человеческая мысль не остановится на полпути в своем стремлении познать мир, что новые открытия будут дополнять и подтверждать гениальную теорию Маркса, как новые открытия в астрономии дополняли и подтверждали открытие Коперника.

Нельзя при этом не указать на некоторую путаницу, которую иногда допускал Плеханов в вопросах теории познания. Такова его солидарность со словами Юма, что человек должен верить в существование внешнего мира. Ленин назвал эту фразу несуразной, говоря, что «выражение «вера», хотя и взятое в кавычки, повторенное за Юмом, обнаруживает путаницу терминов у Плеханова...»*.

Наиболее серьезной ошибкой в области теории познания является сформулированное Плехановым в 1892 г. в примечании к первому изданию перевода книги Энгельса «Людвиг Фейербах...» положение о том, что наши ощущения есть иероглифы. Это означало, что ощущения, вызванные действием на нас

* *В. И. Ленин*, Соч., т. 14, стр. 128.

различных форм движущейся материи, не дают точного отображения объективных процессов, которые их порождают, не являются образами внешнего мира. Они лишь условно передают нам связь явлений объективного мира. «Наши ощущения — это своего рода иероглифы, доводящие до нашего сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не похожи на те события, которые ими передаются»*. В этой ошибке Плеханова в известной мере сказалось влияние Гельмгольца.

Плеханов позже представил дело так, будто он допустил здесь лишь терминологическую, словесную ошибку и понимает «все неудобства такой неточности». Однако Ленин счел нужным отметить эту ошибку Плеханова как отступление от материалистической формулировки Энгельса, как уступку агностицизму.

Несмотря на отдельные серьезные ошибки Плеханова в области философии, история марксистской философии многим обязана Г. В. Плеханову. Плеханов обличал антинаучные и реакционные идеалистические воззрения, вскрывал несостоятельность взглядов вульгаризаторов, извращавших философию марксизма, критиковал путаницу эклектиков и позитивистов, отстаивал правоту диалектического материализма.

* * *

Плеханов горячо отстаивал и умело применял к общественной жизни материалистическую диалектику, справедливо считая ее завоеванием марксистской философской мысли. В ней он видел то великое и новое, что наряду с гениальным открытием материалистического понимания истории отличает материализм Маркса от учений его предшественников-материалистов. Плеханов выявляет различные стороны материалистической диалектики и дает яркое изложение теории развития, соотношения эволюции и революции, скачков и др. В этой связи он показывает противоположность марксистского диалектического метода методу Гегеля, а также рассматривает роль гегелевской идеалистической философии как одного из теоретических источников марксизма.

Вопросы материалистической диалектики в 80—90-х годах XIX века освещаются Плехановым в ряде работ: «Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова» (1889) (это было его первым обстоятельным выступлением в защиту материалистической диалектики), «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», в «Очерках по истории материализма», в работах о Белинском

* Настоящее издание, т. I, стр. 501.

и Чернышевском, в статьях против Бернштейна, Струве и других ревизионистов.

Плеханов называл Гегеля титаном идеалистической философской мысли. Великой его заслугой он считал восстановление диалектического метода. Спекулятивная философия Гегеля, для которой действительность является продуктом развития абсолютной идеи, или мирового духа, имела преимущество перед метафизическим материализмом в разработке диалектического метода. Гегелевская философия, отмечал Плеханов, возвеличила диалектический метод. Гегель разъяснял явления действительности с точки зрения их возникновения, развития и уничтожения. «*Все конечное*,— приводит Плеханов слова Гегеля,— *обречено на самоуничтожение*».

Многие противники Гегеля из-за реакционной оболочки его философской системы не заметили прогрессивного новаторского ядра его диалектического метода — учения о развитии. Гегель оказал на научную мысль своего времени плодотворное влияние. Плеханов это очень хорошо разъяснял. Он показывал, что диалектика Гегеля была прогрессивным шагом по отношению к метафизике, несмотря на апелляцию к абсолютной идее, что Гегель оказал большие услуги человеческой мысли. Вместе с тем Плеханов популярно разъяснял положение Маркса и Энгельса о противоречии между методом и системой у Гегеля, вскрывал идеализм и мистику, пронизывающие гегелевскую философию. Он писал о консервативности системы Гегеля, которая противоречит идее развития, диалектическому методу. Если диалектический метод Гегеля требовал развития, то его реакционная система направлена была, писал Плеханов, на оправдание немецкой реакционной государственности того времени. Она пыталась доказать «совершенство» и «вечность» тогдашнего общественного строя Германии.

Одну из ограниченностей диалектики Гегеля Плеханов видел в том, что она обращена лишь в прошлое. «Философия всегда приходит слишком поздно»,— пишет Гегель, и лишь осознает то, что уже совершилось. Конечно, иронизирует Плеханов, философия не может оживить одряхлевший, отживший общественный порядок. Но неужели для философии навсегда должен остаться закрытым этот процесс возникновения нового. Только диалектический материализм, подчеркнул Плеханов, преодолел эту крайность. Идеалистическая диалектика Гегеля несоединима с материализмом, чужда материализму. В философии Маркса она превратилась в свою прямую и полную противоположность.

«*Карл Маркс* сказал о себе с полным правом,— писал Плеханов в работе «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля»,— что его метод представляет собою полную противоположность

методу Гегеля», так как в качестве материалиста Маркс понял диалектику не так, как идеалист Гегель.

В отличие от идеалистической диалектики Гегеля, утверждавшей самопроизвольное движение чистой мысли, отрицавшей по существу развитие природы, развитие материи, марксизм ставит диалектику «с головы на ноги», преобразовывает ее в ее основе и снимает с нее идеалистическое туманное покрывало, которым она была окутана у Гегеля.

Иногда у Плеханова встречаются формулировки, говорящие о недостаточно критическом отношении его к философии Гегеля, однако нельзя это преувеличивать. Заслуга Плеханова в ярком и убедительном противопоставлении марксистского диалектического метода идеалистическому методу Гегеля.

В философии Маркса и Энгельса, подчеркивал Плеханов, диалектический метод и материализм неразрывно соединены друг с другом. Поэтому самая характерная черта современного материализма заключается в диалектическом методе. В этом его существенное отличие от старого, метафизического материализма XVIII столетия. Именно в материализме современное учение о развитии находит себе прочное обоснование. Плеханов называл метод Маркса самым революционным из всех методов, какие когда-либо применялись. Марксистская диалектика — незаменимое орудие познания, с помощью которого вскрываются противоречивые тенденции развития природы и общества.

В этой связи большое место в трудах Плеханова занимает выяснение коренного различия диалектики и метафизики, двух различных методов изучения, подхода к действительности. Диалектика Маркса в отличие от метафизики изучает явления в их противоречивом развитии, в их непосредственной связи и взаимозависимости, в непрерывном и вечном движении.

С позиций единственно научного, диалектического метода Плеханов рассматривал метафизику исторически, в связи с развитием познания. Он выявил научную несостоятельность и реакционность метафизической точки зрения, отрицающей противоречия, скачки, перевороты, признающей лишь количественные изменения. Метафизики — носители вульгарной теории эволюции — снабжают свое учение значительной примесью консерватизма, искажают и самое учение о развитии.

Смысл метафизического взгляда на мир, отмечает Плеханов, состоит в том, что он признает одно количественное изменение вещей и явлений. Развитие для метафизиков представляется в виде постепенного увеличения или уменьшения размеров изучаемого явления. Так же и с уничтожением явления. Под уничтожением подразумевается ими только постепенное уменьшение явления до тех пор, пока оно не станет совсем незаметным.

Но постепенное увеличение и изменение не могут объяснить ни возникновения, ни исчезновения предметов.

Сущность диалектического метода первый объяснил и показал Маркс. Плеханов разъясняет диалектику перехода количественных изменений в качественные путем перерыва постепенности, путем скачков и революционных переворотов, сосредоточивая огонь критики на ограниченности эволюционистской концепции.

Возражая бывшему народнику — ренегату Л. Тихомирову, который отвергал диалектическое развитие, отрицал «насильственные перевороты», скачки в природе и обществе и утверждал, что в «научном смысле» следует говорить лишь о медленном «изменении типа данного явления», Плеханов доказывал, что диалектика не упускает из виду того неоспоримого факта, что во всех моментах изменения действует один и тот же непрерывный процесс, но в этом процессе возникает ряд условий, при которых постепенное изменение должно необходимым образом привести к скачку.

Для вооруженных диалектическим методом социалистов, писал Плеханов, революции есть такие же необходимые моменты в процессе исторического развития, как и эволюция.

Таким образом, обосновывая диалектическое учение о скачках, Плеханов показывает, что природа на каждом шагу опровергает взгляды метафизиков, обнаруживая противоречивость явлений, перерывы постепенности — скачки; тем более переход количества в качество, скачки имеют место в обществе.

С большим мастерством, привлекая много фактов из истории человечества, Плеханов анализирует диалектический процесс перехода количества в качество, процесс скачкообразного движения. Всякий скачок подготовлен предшествующим развитием. Он не может иметь места без достаточной причины, которая заключается в предыдущем ходе общественной жизни. В статьях, особенно направленных против Тихомирова, а в 900-х годах — против Струве, Плеханов дает правильное общетеоретическое толкование вопроса о действии закона перехода количества в качество и обратно.

Плеханов популярно разъясняет закон единства и борьбы противоположностей. Всякое развитие вызывается внутренними противоречиями, есть результат взаимодействия противоположных сторон. Противоречивость всякого явления означает, что оно само из себя развивает те элементы, которые рано или поздно положат конец его существованию, превратят его в его собственную противоположность, ибо все развивается через противоречия, через борьбу противоположных сил. Это — вечный, повсеместный, великий закон противоречия нового и старого, закон отвержения формы, порожденной известным со-

держанием, вследствие дальнейшего роста того же содержания. Ему подчинено развитие и природы и общества.

Выяснение развития как диалектического противоречия в процессах и явлениях действительности не привело, однако, Плеханова к пониманию закона единства и борьбы противоположностей как основного закона диалектики. Признавая этот закон, Плеханов сутью диалектики его не считал. Отличительной чертой диалектики, ее осью он считал скачкообразность развития. И именно поэтому Ленин, высоко ценя защиту Плехановым диалектического метода Маркса, не раз отмечал, что он недостаточно внимания уделил закону единства и борьбы противоположностей — наиболее важному закону объективного мира и познания. Ленин отмечал также, что Плеханов при изложении законов диалектики в целях популярности свел их к сумме примеров и не обратил должного внимания на диалектику как теорию познания марксизма.

Значительную ценность представляет выступление Плеханова в конце 80-х годов за правильное понимание закона «отрицания отрицания»; Плеханов выступал против тех, кто искажал этот закон, видя в нем только проявление пресловутой гегелевской «триады», против Михайловского, например, который, цепляясь за способ выражения Маркса, сводил марксистскую диалектику к гегелевской «триаде». Во всеобщем законе отрицания отрицания Плеханов видел тот принцип, ту специфику диалектики, которая говорит о взаимозависимости между тем, что возникает, и тем, что исчезает. Он решительно защищал Маркса от обвинений в формализме, в следовании гегелевской «триаде» и т. п. Он показал безосновательность утверждений, что гениальное предвидение Маркса относительно исхода капиталистического развития якобы опирается на «триаду». «Триада» никогда не выступала в марксизме в качестве доказательства. Диалектика Маркса не априори, а на основе фактического изучения действительности выявляет имеющиеся противоречивые тенденции в развитии. Не ссылки на «триаду», а научное всестороннее исследование исторического процесса составляет силу исторического материализма. Только так составляется «живое понятие о всех действительных качествах предмета»,— говорил Плеханов, подчеркивая враждебность марксистской диалектики абстрактным схемам.

* * *

Работы Плеханова в защиту диалектического и исторического материализма, блестящие по стилю, полные полемического огня, глубокие по своему содержанию, являются богатым достоянием марксистской литературы. В них оригинально

раскрываются многие коренные проблемы и положения марксистского материализма и диалектического метода, материалистического понимания истории, философии марксизма в целом.

Марксистские труды Г. В. Плеханова были направлены против философской реакции и мракобесия, на осуществление политического и общественного переустройства России и освобождение русского народа и народов других стран от социального порабощения и угнетения. Они служили делу пропаганды пролетарского интернационализма и укрепления тесных связей революционного движения России и Западной Европы. Поэтому они не утратили своего значения для современности.

Именно поэтому В. И. Ленин указывал на необходимость изучать философские работы Плеханова, настаивал на их переиздании и включении «в серию обязательных учебников коммунизма».

В. Фомина.

ИЗБРАННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ
I

СОЦИАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая брошюра может подать повод ко многим недоразумениям или даже неудовольствиям. Лица, сочувствующие направлению «Земли и Воли»[1] и «Черного Передела»[2] (органов, в редактировании которых я принимал участие), могут упрекнуть меня в том, что я отступил от теории так называемого народничества. Сторонникам других фракций нашей революционной партии может не понравиться моя критика дорогих им воззрений. Считаю нелишним поэтому небольшое предварительное объяснение.

Стремление работать *в народе* и для народа, уверенность в том, что «освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса»,— эта *практическая* тенденция нашего народничества дорога мне попрежнему. *Теоретические* же его положения, действительно, кажутся мне во многих отношениях ошибочными. Годы пребывания за границей и внимательного изучения социального вопроса убедили меня, что торжество стихийного народного движения, вроде бунта Ст. Разина или крестьянских войн в Германии, не может удовлетворить социально-политических нужд современной России, что старые формы нашей народной жизни носили в самих себе много зародышей своего разложения и что они не могут «развиться в высшую коммунистическую форму» без непосредственного воздействия на них сильной и хорошо организованной *рабочей* социалистической партии. Поэтому я и думаю, что рядом с борьбой против абсолютизма русские революционеры должны стремиться, по крайней мере, к выработке элементов для создания такой партии в будущем. В этой созидательной деятельности им по необходимости придется перейти на почву современного социализма, так как идеалы «Земли и Воли» не соответствуют

положению промышленных рабочих. И это будет очень кстати теперь, когда теория русской самобытности становится синонимом застоя и реакции, а прогрессивные элементы русского общества группируются под знаменем осмысленного «западничества».

Перехожу к другому пункту моего объяснения. Здесь прежде всего скажу в свою защиту, что я касался не лиц, а мнений и что частные разногласия мои с той или другой социалистической группой нимало не уменьшают моего уважения ко всем искренним борцам за освобождение народа.

Кроме того, так называемое террористическое движение открыло собою новую эпоху в развитии нашей революционной партии — эпоху *сознательной политической борьбы* с правительством. Эта перемена в направлении деятельности наших революционеров делает необходимым пересмотр всех взглядов, унаследованных ими от предыдущего периода. Жизнь требует внимательного пересмотра всего нашего умственного багажа при нашем вступлении на новую почву, и я смотрю на свою брошюру, как на посильный вклад в это дело критики, давно уже начавшееся в нашей революционной литературе. Читатель не забыл еще, вероятно, биографии А. И. Желябова [1], заключающей в себе строгую и часто весьма верную критическую оценку программы и деятельности кружка «Земли и Воли». Очень может быть, что мои критические попытки окажутся менее удачными, но едва ли было бы справедливо признать их менее своевременными.

Г. П.

Женева,
25 октября 1883 г.

Всякая классовая борьба есть борьба политическая.

Карл Маркс[1].

С тех пор как русское революционное движение окончательно выступило на путь открытой борьбы с абсолютизмом, вопрос о политических задачах социалистов сделался самым насущным, самым жгучим вопросом для нашей партии. Из-за него расходились люди, связанные многими годами совместной практической деятельности, из-за него распадались целые кружки и организации. Можно даже сказать, что все русские социалисты временно разделились на два лагеря, державшиеся диаметрально противоположных взглядов на «политику». Как и всегда бывает в подобных случаях, дело не обошлось без крайностей. Одни считали политическую борьбу чуть ли не изменой народному делу, проявлением в нашей революционной интеллигенции буржуазных инстинктов, осквернением чистоты социалистической программы. Другие не только признавали необходимость этой борьбы, но и готовы были в ее мнимых интересах идти на компромиссы с либерально-оппозиционными элементами нашего общества. Некоторые доходили даже до того, что считали вредным для настоящего времени всякое проявление классового антагонизма в России. Таких взглядов держался, например, Желябов, которому «русская революция представлялась,— по словам его биографа,— не исключительно в виде освобождения крестьянского или даже (?) рабочего сословия, а в виде политического возрождения всего русского народа вообще» *. Другими словами, революционное движение против абсолютной монархии сливалось в его представлении с социально-революционным движением рабочего класса во имя своего экономического освобождения; частная, специально русская задача настоящего времени заслоняла собою общую задачу рабочего класса всех цивилизованных стран. Далее этого разногласие идти не могло, и разрыв стал неизбежен.

Время сгладило, однако, крайности и разрешило значительную часть спорных вопросов в удовлетворительном для обеих

* См. брошюру «Андрей Иванович Желябов», стр. 10.

сторон смысле. Мало-помалу все или почти все признали, что начатая политическая борьба должна продолжаться до тех пор, пока широкое освободительное движение в народе и обществе не разрушит здания абсолютизма, как землетрясение разрушает курятник, если можно употребить здесь энергичное выражение Маркса. Но очень многим из наших социалистов борьба эта до сих пор представляется каким-то вынужденным компромиссом, временным торжеством «практики» над «теорией», насмешкой жизни над бессилием мысли. Сами «политики», оправдываясь от сыпавшихся на них упреков, избегали всякой апелляции к основным положениям социализма, а ссылались лишь на неотразимые требования действительности. В глубине души они и сами, повидимому, верили, что им не совсем к лицу политические тенденции, но утешали себя тем соображением, что только в свободном государстве они могут предоставить мертвым хоронить своих мертвецов и, покончивши всякие счеты с политикой, всецело посвятить себя делу социализма. Это смутное убеждение приводило иногда к не лишенным курьеза недоразумениям. Разбирая речь «русского гостя» на Хурском конгрессе [1] и пытаясь оправдаться от мнимого упрека в политиканстве, «Народная Воля» заметила, между прочим, что ее сторонники не социалисты и не политические радикалы, а просто «народовольцы» [2]. Орган террористов полагал, что «на Западе» внимание радикалов исключительно поглощено политическими вопросами, а социалисты, наоборот, знать не хотят «политики». Всякий знакомый с программами западноевропейских социалистов понимает, конечно, насколько ошибочно такое представление по отношению к огромному их большинству. Известно, что социальная демократия Европы и Америки никогда не придерживалась принципа политического «воздержания». Ее сторонники не игнорируют «политики». Они только не представляют себе задач социалистической революции в виде «возрождения всего народа вообще». Они стараются организовать рабочих в особую партию, чтобы отделить таким образом эксплуатируемых от эксплуататоров и дать политическое выражение экономическому антагонизму. Откуда же взялась у нас уверенность в том, что социализм обусловливает собою политический индифферентизм,— уверенность, стоящая в полном противоречии с действительностью? У Шиллера Валленштейн говорит Максу Пикколомини, что человеческий ум широк, между тем как мир узок, и что поэтому мысли легко уживаются в первом, между тем как вещи резко сталкиваются между собою во втором [3]. Должны ли мы сказать про себя, что в нашем мозгу, наоборот, не могут ужиться рядом понятия о таких вещах, которые не только прекрасно уживаются на практике, но и вообще немыслимы вне взаимной связи? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно пре-

Соціализмъ и политическая борьба

[illegible]

Первая страница варианта рукописи «Социализм и политическая борьба».

жде всего привести в ясность те представления о социализме, которые существовали у наших революционеров в эпоху возникновения в их среде политических тенденций. Убедившись в том, что эти представления были ошибочными или отсталыми, мы посмотрим, какое место отводит политической борьбе то учение, которому даже буржуазные его противники не отказывают в названии *научного социализма*. После этого нам останется только сделать в наших общих выводах поправки, неизбежные ввиду тех или других особенностей современного положения дел в России,— и наша тема будет исчерпана; политическая борьба рабочего класса с врагами, принадлежащими к той или иной исторической формации, окончательно обнаружит перед нами свою связь с общими задачами социализма.

I

Социалистическая пропаганда оказала огромное влияние на весь ход умственного развития в цивилизованных странах. Нет почти ни одной отрасли общественной науки, на которую эта пропаганда не повлияла бы в том или ином смысле. Она частью разрушила старые научные предрассудки, частью превратила их из наивного заблуждения в софизм. Понятно, что еще сильнее должно было отозваться влияние социалистической пропаганды на самих сторонниках нового учения. Все традиции прежних «политических» революционеров подверглись беспощадной критике, все приемы общественной деятельности были анализированы с точки зрения «нового Евангелия». Но так как дело научного обоснования социализма было закончено лишь с появлением «Капитала» [1], то понятно, что результаты этой критики далеко не всегда были удовлетворительны. А так как, с другой стороны, в утопическом социализме существовало несколько школ, почти равносильных по своему влиянию, то мало-помалу выработался род какого-то среднего социализма, которого и придерживались люди, не претендовавшие на основание новой школы и не принадлежавшие к числу особенно рьяных сторонников школ, прежде существовавших. «Этот эклектический социализм представляет собою,— как говорит Фр. Энгельс,— различных оттенков смесь из наиболее общепризнанных и наименее глубоких критических замечаний, экономических положений и общественных идеалов различных основателей сект, смесь тем легче получаемую, чем скорее составные части ее утрачивают в потоке дебатов — как камни в ручье — свои острые углы и грани»*[2]. Этот средний социализм,— замечает тот же автор,— господствует до сих пор в головах большин-

* См. «Entwicklung des Sozialismus», S. 18. [«Развитие социализма», стр. 18.]

ства рабочих-социалистов в Англии и Франции *. Мы, русские, могли бы прибавить, что такая же точно смесь господствовала в половине семидесятых годов в умах наших социалистов и представляла тот общий фон, на котором выделялись два крайних направления: так называемых «впередовцев» и «бакунистов»[1]. Первые склонялись к немецкой социал-демократии, вторые представляли собою русское издание анархической фракции Интернационала[2]. Расходясь между собою в очень многом, почти во всем, оба направления сходились — как это ни странно сказать — в отрицательном отношении к «политике». И нужно сознаться, что анархисты были в этом отношении последовательнее русских социал-демократов того времени.

С анархической точки зрения политический вопрос является пробным камнем всякой рабочей программы. Анархисты не только отрицают всякие сделки с современным государством, но исключают из своих представлений о «будущем обществе» все, что напоминает так или иначе государственную идею. «Автономная личность в автономной общине» — таков был и есть девиз всех последовательных сторонников этого направления. Известно, что родоначальник его, Прудон, поставил себе, в своем органе «La voix du peuple»[3], не совсем скромную задачу «сделать по отношению к идее правительства (которую он смешивал с государственной идеей) то же, что сделал Кант по отношению к идее религиозной» **, и дошел в своем антигосударственном рвении до того, что объявил самого Аристотеля «скептиком в вопросе о государстве» ***. Решение поставленной им себе задачи было очень просто и вытекало, если угодно, совершенно логически из экономических учений французского Канта. Прудон никогда не мог представить себе экономического строя будущего иначе, как в форме товарного производства, исправленного и дополненного новой, «справедливой» формой обмена на началах «конституированной стоимости». При всей

* [Примечание к изданию 1905 г.] *Теперь во Франции окончательно восторжествовал марксизм*, основные положения которого признаются, в более или менее искаженном виде, даже «оппортунистами» из лагеря Жореса.

** См. «Confession d'un révolutionnaire», Préface, p. 4. [«Исповедь революционера», предисловие, стр. 4.][1]

*** До какой степени Аристотель был «скептиком в вопросе о государстве», видно из первой главы первой книги его «*Политики*», где он говорит, что «государство есть самая законченная форма общественности», что цель его есть «высшее благо» и что поэтому оно оказывается явлением «естественным в самом высоком смысле этого слова, а человек есть животное, самой природой предназначенное к государственной форме общественности» (B. I, C. I, §§ I—XI немецкого издания Зюземиля 1879 года). Автор «Политики» так же «скептично» относится к государству, как Прудон к товарному производству; первый не мог представить себе иной, высшей формы общественности, второй не подозревал, что продукты могут распределяться между членами общества, не являясь в виде товаров.

«справедливости» этой новой формы обмена она не исключает, разумеется, ни купли, ни продажи, ни долговых обязательств, сопровождающих товарное производство и обращение. Все эти сделки предполагают, конечно, различные договоры, которыми и определяются взаимные отношения обменивающихся сторон. Но в современном обществе «договоры» основываются на общих правовых нормах, обязательных для всех граждан и охраняемых государством. В «будущем обществе» дело должно было происходить несколько иначе. Революция должна была, по мнению Прудона, уничтожить «законы», оставляя одни «договоры». «Не нужно законов, вотированных большинством или единогласно,— говорит он в своей «Idée générale de la Révolution au XIX siécle»*,— каждый гражданин, каждая коммуна и корпорация установят свои особые законы» (р. 259). При таком взгляде на дело политическая программа пролетариата упрощалась до последней возможности. Государство, признающее лишь общие и обязательные для всех граждан законы, не могло служить даже средством для достижения социалистических идеалов. Пользуясь им для своих целей, социалисты лишь укрепляют то зло, с искоренением которого должна начаться «социальная ликвидация». Государство должно «разложиться», открывая, таким образом, «каждому гражданину, каждой коммуне и корпорации» полную свободу издавать «свои собственные законы» и заключать необходимые для них «договоры». Если же анархисты не будут терять времени в период, предшествующий «ликвидации», то «договоры» эти будут заключены в духе «Системы экономических противоречий» [1], и торжество «Революции» будет обеспечено.

Задача русских анархистов упрощалась еще более. «Разрушение государства» (занявшее мало-помалу в анархической программе место рекомендованного Прудоном его «разложения») должно было расчистить путь для развития «идеалов» русского народа. А так как в этих «идеалах» общинное землевладение и артельная организация промыслов занимают очень видное место, то предполагалось, что «автономные» россияне демократического происхождения будут заключать свои «договоры» уже не в духе прудоновской взаимности, а скорее в духе аграрного коммунизма. Как «прирожденный социалист», русский народ не замедлит понять, что одно общинное владение землею и орудиями производства не гарантирует еще желанного «равенства», и вынужден будет взяться за организацию «автономных общин» на совершенно коммунистических основаниях.

Впрочем, русские анархисты — по крайней мере, анархисты так называемого «бунтарского» оттенка — мало задумы-

* [«Общая идея революции в XIX веке».]

вались об экономических последствиях проповедуемой ими народной революции. Они считали своею обязанностью устранить те общественные условия, которые мешали, по их мнению, нормальному развитию народной жизни; но они не спрашивали себя о том, по какому пути пойдет это развитие, освободившись от внешних препятствий. Что эта своеобразная переделка на революционный фасон знаменитого девиза манчестерской школы: laissez faire, laissez passer *, исключала всякую возможность серьезной оценки современного состояния нашей общественно-экономической жизни и уничтожала всякий критерий для определения самого понятия о «нормальном» ходе ее развития — этого также не подозревали ни «бунтари», ни появившиеся впоследствии «народники». Притом же подобная оценка была бы совершенно безнадежной попыткой до тех пор, пока исходной точкой рассуждений наших революционеров оставались учения Прудона. Слабейшею частью этих учений, пунктом их логического грехопадения, является понятие о товаре и меновой стоимости, т. е. именно те посылки, на основании которых только и можно сделать правильное заключение о взаимных отношениях производителей в экономической организации будущего. С точки зрения прудоновских теорий не имеет никакой особенной важности то обстоятельство, что современное русское общинное землевладение отнюдь не исключает товарного производства. Прудонист понятия не имеет о «внутренней, неизбежной диалектике», превращающей товарное производство на известной стадии его развития в — капиталистическое **. Его русскому кузену и в голову не приходило поэтому спросить себя, достаточно ли разъединенных усилий «автономных» лиц, коммун и корпораций для борьбы с этой тенденцией товарного производства, грозящей снабдить в один прекрасный день некоторую часть «прирожденных» коммунистов «благоприобретенными» капиталами и превратить их в эксплуататоров остальной массы населения. Анархист отрицает созидающую роль государства в социалистической революции именно потому, что не понимает задач и условий этой революции.

Мы не можем вступать здесь в подробный разбор ни анархизма вообще, ни «бакунизма» в частности ***. Мы хотим лишь

---

* [предоставьте событиям идти своим чередом]

** См. «Das Kapital», 2. Auflage, S. 607—608. [См. «Капитал», 2 издание, стр. 607—608].[1]

*** Напомним только читателю возражение, сделанное Прудону Риттинггаузеном. «Власть, правительство со всеми его формами,— говорил неутомимый пропагандист теории прямого народного законодательства,— представляют собою лишь *виды* того *рода*, который называется: *вмешательство общества в отношения людей к вещам, а через посредство вещей — и друг к другу*... Я вызываю г. Прудона бросить мне в лицо, как результат

обратить внимание наших читателей на то обстоятельство, что как Прудон, так и русские анархисты были с своей точки зрения вполне правы, возводя «политическое невмешательство» в основной догмат своей практической программы. Социально-политический склад русской жизни, казалось, в особенности оправдывал обязательное для всех анархистов отрицание «политики». Прежде чем выступить на поприще политической агитации, русский «*обыватель*» должен превратиться в *гражданина*, т. е. завоевать себе хоть какие-нибудь политические права, а прежде всего, разумеется, право думать, что хочет, и говорить, что думает. Такая задача сводится на практике к «политической революции», а опыт западной Европы ясно «показал» всем анархистам, что такие революции никакой пользы народу не принесли, не принесут и принести не могут. Соображение же о необходимости политического воспитания народа путем участия его в общественной жизни своей страны не могло иметь места уже потому, что анархисты считают, как мы видели, такое участие не воспитанием, а развращением народных масс: оно развивает в них «веру в государство», а следовательно, и тенденцию к государственности или, как сказал бы покойный М. А. Бакунин, «заражает его официально-общественным ядом, и, во всяком случае, отвлекает его хоть на малое время от единственно ныне полезного и спасительного дела — от бунта» *. Притом же по философии истории наших «бунтарей» выходило, что русский народ целым рядом крупных и мелких движений доказал свои антигосударственные наклонности, а потому и может считаться достаточно зрелым в политическом отношении. Поэтому прочь всякое «политиканство»! Поможем народу в его антигосударственной борьбе, сольем в один революционный поток его разрозненные усилия — и тогда неуклюжее здание государства разлетится в прах, открывая своим падением новую эру социальной свободы и экономического равенства! В этих немногих словах выражалась вся программа нашего «бунтарства».

его умственной работы, следующее заключение: «Нет, не нужно такого вмешательства общества в отношения людей к вещам и друг к другу!». См. «Législation directe par le peuple et ses adversaires», p. 194—195. [«Прямое народное законодательство и его противники», стр. 194—195.] Риттингтаузен думал, что «поставить вопрос таким образом — значит решить его», так как «г. Прудон сам признает *необходимость такого вмешательства*». Но он не предвидел, что ученики пойдут дальше учителя и что теория анархии выродится, наконец, в теорию «социального аморфизма». Современные анархисты не признают никакого вмешательства общества в отношения индивидуумов, как они неоднократно заявляли это на страницах некоторых своих органов.

* См. весьма интересную и характерную брошюру *М. А. Бакунина* «Наука и насущное революционное дело».

В этом беглом обзоре программ различных фракций русских революционеров мы не должны упускать из вида, что взгляды, с точки зрения которых «всякие конституции» являлись, по выражению старого Ф. Г. Якоби, лишь более или менее невыгодной сделкой с чертом,— такие взгляды, говорим мы, были свойственны не одним народникам и анархистам. Если читателю известна полемика Фр. Энгельса с П. Ткачевым *, то он, вероятно, помнит, что редактор «Набата» [2], расходясь с бакунистами по вопросу о практической борьбе, совершенно сходился с ними в основных взглядах на социально-политическое положение нашего отечества. Он рассматривал его через ту же призму русской самобытности и «прирожденных коммунистических наклонностей русского народа» **. Как истинный бланкист [3], он не отрицал, разумеется, «политики», но понимал ее исключительно в форме заговора с целью захвата государственной власти. Эта цель занимала, повидимому, все поле зрения наших тогдашних бланкистов и приводила их ко многим противоречиям. Оставаясь последовательными, они должны были признать, что деятельность их может быть полезна делу прогресса лишь в том исключительном случае, когда направляемый ими удар ни на волос не минует своей цели. Если задуманный захват власти не удастся, если заговор будет открыт или революционное правительство будет низвергнуто либеральной партией, то русский народ не только ничего не выиграет, но, напротив, рискует очень много потерять. В особенности гибелен последний из предположенных случаев. Либералы создадут сильное правительство, борьба с которым будет гораздо труднее, чем борьба против современной «абсолютно нелепой» и «нелепо абсолютной» монархии; а «огонь экономического прогресса» разрушит коренные основы народной жизни. Под его влиянием разовьется обмен, упрочится капитализм, уничтожится самый принцип общины — словом, река времен унесет тот камень, с которого рукой подать до коммунистического неба. В случае неудачи русские бланкисты должны были нанести страшный вред делу народного освобождения и попадали, таким образом, в трагическое положение Вильгельма Телля, рисковавшего жизнью собственного сына. Но так как они едва ли отличались ловкостью мифического швейцарского «крамольника», то русский народ не крикнул бы им:

Стреляй! я не боюсь! [4]

если бы усвоил их взгляд на «коренные основы» своей жизни и был приглашен высказать свое мнение об их программе.

* См. «Offener Brief an Herrn F. Engels» [1].

** Чтобы убедиться в этом, стоит лишь сравнить названное «Письмо к Фр. Энгельсу» с цитированной выше брошюрой М. А. Бакунина.

Такая узкая и безнадежная философия русской истории должна была логически вести к тому поразительному выводу, что экономическая отсталость России является надежнейшим союзником революции, а застой должен красоваться в качестве первого и единственного параграфа нашей «программы-минимум». «Каждый день приносит нам новых врагов, создает новые враждебные нам общественные факторы,— читаем мы в первом, ноябрьском номере «Набата» за 1875 год.— Огонь подбирается и к нашим государственным формам. Теперь они мертвы, безжизненны. Экономический прогресс пробудит в них жизнь, вдохнет в них новый дух, даст им силу и крепость, которых пока еще в них нет» и т. д. Но если Иисусу Навину удалось, по библейскому рассказу, остановить солнце «на десять степеней», то время чудес прошло, и нет ни одной партии, которая могла бы крикнуть: «Стойте, производительные силы, не шевелись, капитализм!». История так же мало обращает внимания на опасения революционеров, как и на реакционные иеремиады. «Экономический прогресс» делает свое дело, не дожидаясь того времени, когда анархисты или бланкисты осуществят свои намерения. Каждая фабрика, основанная в Петербурге, каждый лишний «работничек», принанятый ярославским кустарем, усиливает роковое будто бы для революции «пламя прогресса», а следовательно, и уменьшает вероятность народного торжества. Можно ли назвать революционным такой взгляд на взаимное отношение различных общественных сил в России? Мы думаем, что нет. Чтобы сделаться революционерами по существу, а не по названию, русские анархисты, народники и бланкисты должны были прежде всего революционизировать свои собственные головы, а для этого им нужно было научиться понимать ход исторического развития и стать во главе его, а не упрашивать старуху-историю потоптаться на одном месте, пока они проложат для нее новые, более прямые и торные пути.

Кружок «впередовцев» понимал незрелость и ошибочность вышеизложенных воззрений, и было время, когда он мог получить преобладающее умственное влияние в нашей революционной среде. Это было именно то время, когда практический опыт порядком-таки поистрепал основы старого, анархического народничества и все его сторонники чувствовали, что их программа нуждается в тщательном пересмотре. Тогда последовательная критика всех ее теоретических и практических положений могла сделать приближающийся перелом в движении еще более решительным и бесповоротным. За такую критику удобнее всего было взяться именно «впередовцам», которые, стоя почти целиком на точке зрения социал-демократии, были совершенно свободны от всех народнических традиций. Но, чтобы иметь успех, критика их должна была *не осуждать, а выяснять и обобщать* те

насущные потребности русской жизни, которые все более и более толкали наших революционеров на путь политической борьбы. Между тем «впередовцы» отрицали «политику» так же решительно, как и анархисты. Они не думали, правда, что социализм несовместим с вмешательством в политическую жизнь буржуазного государства, и вполне оправдывали программу западноевропейской социал-демократии. Но они полагали, что возможность открытой организации рабочего класса в особую политическую партию куплена в современном «правовом» государстве слишком дорогою ценой: окончательным торжеством буржуазии и соответствующим эпохе капитализма ухудшением положения рабочих. Они забывали, что при оценке этого положения нужно принимать во внимание не только распределение национального дохода, но и *всю организацию производства и обмена*, не только *среднее количество* потребляемых рабочими продуктов, но и самый *вид*, который принимают эти продукты *, не только *степень* эксплуатации, но и — в особенности — *ее форму*, не только *факт порабощения* рабочих масс, но также и те *идеи* и *понятия*, которые зарождаются и могут зародиться в голове рабочего под влиянием этого факта **. Они едва ли согласились бы с тем, что фабричный рабочий должен оказаться восприимчивее к социализму, чем временнообязанный крестьянин; тем менее признали бы они, что переход, например, от натурального хозяйства к денежному увеличивает возможность сознательного движения рабочих масс во имя своего экономического освобождения. Философско-историческая часть учения Маркса осталась для них непрочитанною главою любимой книги; они слишком верили во всемогущее влияние своей пропаганды, чтобы искать для нее опоры в объективных условиях общественной жизни. И, подобно социалистам утопического периода, они сводили к этой пропаганде всю дальнейшую историю своей страны вплоть до социального переворота. При такой постановке вопроса они могли вместе с анархистами сказать, пародируя известную фразу Прудона,— la révolution est au dessus de la politique ***. Но именно потому они и не могли вывести наше движение из той мертвой точки, в которую оно попало в конце семидесятых годов, благодаря отрицанию всякой политической борьбы, с одной стороны, и невозможности создать при современных политических условиях сколько-нибудь сильную рабочую партию — с другой.

* Т. е. являются ли они в виде товаров или непосредственно потребляются семьею производителя, его господином или, наконец, государством, не являясь вовсе на рынке.

** Просим иметь в виду, что мы говорим не о редакции журнала «Вперед» [1], а о действовавших в России сторонниках этого органа.

*** [революция выше политики.]

Честь сообщения нового размаха нашему движению бесспорно принадлежит «Народной Воле». У всех еще на памяти те нападения, которые вызвали против себя тенденции народовольцев. Пишущий эти строки сам принадлежал к числу решительных противников этого направления, и хотя совершенно признает теперь, что борьба за политическую свободу стала злобою дня современной России, но до сих пор разделяет далеко не все взгляды, высказывавшиеся в «народовольческих» изданиях [1]. Это не мешает ему, однако, признать, что в спорах, происходивших в организации «Земли и Воли» около времени ее распадения [2], народовольцы были совершенно правы, пока они оставались на почве нашего практического опыта. Этот опыт и тогда уже приводил к поразительным и совершенно неожиданным выводам, хотя мы и не смели сделать их именно вследствие их неожиданности. Попытки практической борьбы «против государства» в сущности и тогда уже должны были навести на ту мысль, что русский «бунтарь» непреодолимою силою обстоятельств вынужден направлять свою агитацию не против государства вообще, а только против *абсолютного* государства, воевать не с государственной, а с бюрократической идеей, не во имя полного экономического освобождения народа, а во имя устранения тех тягостей, которыми обременяет народ самодержавное императорство. Конечно, аграрный вопрос лежал в основании всех или почти всех проявлений народного недовольства. Иначе и быть не могло в среде земледельческого населения, где «власть земли» сказывается решительно во всем складе и нуждах частной и общественной жизни. Этот аграрный вопрос настойчиво требовал своего разрешения, но он не вызывал *политического* недовольства. Крестьяне с спокойною уверенностью ожидали решения этого вопроса сверху: они «бунтовались» не во имя земельного передела, а против притеснения администрации, против непомерных тягостей податной системы, против азиатского способа взыскания недоимок и т. д. и т. д. Формулой, обобщавшей большую часть случаев активного протеста, являлось «правовое государство», а не «Земля и Воля», как нам всем казалось в то время. Но если это было так и если революционеры считали своею обязанностью принимать участие в разрозненной и неосмысленной борьбе отдельных общин против абсолютной монархии, то не пора ли было им понять смысл своих собственных усилий и направить их с большею целесообразностью? Не пора ли им было призвать к этой борьбе все прогрессивные живые силы России и, найдя для нее наиболее общее выражение, атаковать абсолютизм в самом центре его организации? Отвечая утвердительно на эти вопросы, «народовольцы» только подводили итог революционному опыту предшествующих лет; поднимая знамя политической борьбы, они

только не пугались этих итогов и сознательно продолжали идти по дороге, на которую мы выступили, имея ошибочное понятие об ее направлении. «Терроризм» совершенно логически вырос из нашего «бунтарства».

Но с появлением «Нар. Воли» логическое развитие нашего революционного движения переходило уже в тот фазис, в котором оно не могло более удовлетворяться народническими теориями доброго старого, т. е. чуждого политических интересов, времени. Примеры перерастания теории практикой очень нередки в истории человеческой мысли вообще и революционной мысли в частности. Внося то или другое изменение в свою тактику, подвергая тем или другим переделкам свою программу, революционеры часто и не подозревают, какому серьезному испытанию подвергают они общепризнанные в их среде учения. Многие из них так и умирают в тюрьмах или на виселицах, вполне уверенные в том, что они действовали в духе именно тех учений, между тем как в сущности они были представителями новых тенденций, возникших на почве старых теорий, но уже переросших их и готовых найти новое теоретическое выражение. Так было и у нас с тех пор, как окрепло «народовольческое» направление. С точки зрения старых народнических теорий направление это не выдерживало критики. Народничество стояло в резком отрицательном отношении ко всякой государственной идее; народовольцы рассчитывали осуществить свои социально-реформаторские планы с помощью государственной машины. Народничество открещивалось от всякой «политики»; народовольцы видели в «демократическом политическом перевороте» самое надежное «средство социальной реформы». Народничество основывало свою программу на так называемых «идеалах» и требованиях крестьянского населения; народовольцы должны обращаться главным образом к городскому и промышленному населению, а следовательно, и отвести интересам этого населения несравненно более широкое место в своей программе. Словом, в действительности «народовольство» было полным и всесторонним отрицанием народничества, и пока спорящие стороны апеллировали к основным положениям последнего, «новаторы» были совершенно неправы: их практическая деятельность стояла в непримиримом противоречии с их теоретическими взглядами. Нужен был полный пересмотр этих взглядов, чтобы придать программе «Народной Воли» характер цельности и последовательности; практическая революционная деятельность ее сторонников должна была, по крайней мере, *сопровождаться* теоретической революцией в умах наших социалистов; взрывая Зимний дворец, нужно было вместе с тем взорвать и наши старые анархические и народнические традиции [1]. Но «ход идей» и здесь отстал от «хода вещей», и пока

еще трудно предвидеть, когда он, наконец, его нагонит. Не решаясь разорвать с народничеством, новая фракция необходимо должна была прибегать к фикциям, приносящим с собою хоть кажущееся разрешение присущих ее программе противоречий. Идея русской самобытности получила новую переработку, и если прежде она вела к полному отрицанию политики, то теперь оказывалось, что самобытность русского общественного развития именно в том и заключается, что экономические вопросы решались и должны решаться у нас путем государственного вмешательства. Весьма распространенное у нас в России незнакомство с экономической историей Запада способствовало тому, что подобного рода «теории» никого не приводили в изумление. Период капиталистического накопления в России противопоставлялся периоду капиталистического производства [1] на Западе, и неизбежное несходство этих двух фазисов развития экономической жизни приводилось как убедительнейшее доказательство, во-первых, нашей самобытности, а во-вторых, обусловленной этой самобытностью целесообразности «народовольческой программы».

Нужно ли прибавлять, что наши революционные писатели, как и большинство русских писателей вообще, смотрели на «Запад» с точки зрения еврейского мальчика в известном рассказе Вейнберга. Бедному школьнику весь свет казался подразделенным на две равные части: «Россию и заграницу», причем достойные внимания черты различия существовали для него лишь между этими «половинами» земного шара,— «заграница» же представлялась ему совершенно однообразным целым. Русские «самобытные» писатели сделали в этой остроумной географической классификации лишь одно нововведение: они подразделили «заграницу» на Восток и Запад и, недолго думая, принялись сравнивать этот последний с нашей «громкой державой», игравшей при этом роль какой-то «Срединной Империи». Историческое развитие Италии отождествлялось, таким образом, с историческим развитием Франции, в экономической политике Англии не усматривалось никакой разницы с экономической политикой Пруссии, деятельность Кольбера валилась в одну кучу с деятельностью Ричарда Кобдена, своеобразно «патриотическая» физиономия Фридриха Листа терялась в толпе «западноевропейских» политико-экономов, старавшихся, по совету Тюрго, «забыть, что существуют на свете государства, разделенные границами и различно организованные». Как все кошки в темноте кажутся серыми и совершенно походят друг на друга, так и общественные отношения различных государств «Запада» утрачивали всякие несходства при отраженном свете нашей самобытности. Очевидно было одно: «Франки» давно уже «обуржуазились», между тем как «храбрые Россы» сохранили

невинность «первых человеков» и в качестве избранного народа идут самобытным путем к своему спасению. Чтобы достигнуть обетованной земли, им нужно лишь неуклонно держаться этой стези самобытности и не удивляться тому, что программы русских социалистов стоят в противоречии с научными положениями западноевропейского социализма, а иногда и со своими собственными посылками!

Типическим образчиком фикций, наскоро придуманных для соглашения практической программы «Народной Воли» с народническими теориями, было известное пророчество о том, что в будущем русском Учредительном собрании 90% депутатов явятся сторонниками социальной революции, если только мы добьемся всеобщего избирательного права. Здесь теория нашей самобытности дошла уже до геркулесовых столбов, за которыми ей грозила гибель со стороны самого простого здравого смысла. Народники «старой веры», твердо держась догмата «самобытности», допускали все-таки, что эта самобытность нуждается еще в некоторой окончательной отделке. Одни находили, что у русского народа находится еще в слишком зачаточном состоянии бугор...— виноваты! — чувство храбрости и независимости; другие стремились к тому, чтобы реализовать самобытное настроение русского народа в виде не менее самобытной революционной организации. Но все одинаково признавали необходимость предварительной работы в народе. Народовольцы пошли далее. В передовых статьях первых же №№ своего журнала они стали развивать ту мысль, что такая работа, во-первых, бесплодна («биться в народе, как рыба об лед») [1], а во-вторых, и излишня, потому что 90% депутатов, сочувствующих социальной революции, более чем достаточно для осуществления стремлений русских народников. Программа «Народной Воли» не могла придать себе народнического характера иначе, как доводя до абсурда все характеристические особенности народнического миросозерцания.

В этом заключается отрицательная заслуга народовольческих фикций. Они будили критическую мысль русских революционеров, представляя им в утрированном виде «самобытные» черты их народнической программы. Но едва ли можно даже заводить речь о положительной заслуге этих фикций. Они укрепляли временно энергию бойцов, нуждавшихся в теоретическом обосновании своей практической деятельности, но, сшитые на живую нитку, они не выдерживали ни малейшего прикосновения серьезной критики и своим падением компрометировали дело борьбы, которая велась под их знаменем. Нанеся своею практическою деятельностью смертельный удар всем традициям правоверного народничества и сделавши так много для развития революционного движения в России, «Народная

Воля» не может найти себе оправдания, да и не должна искать его, помимо современного научного социализма. Но, чтобы стать на эту новую точку зрения, она должна подвергнуть очень серьезному пересмотру свою программу, так как теоретические промахи и пробелы этой программы не могли не придать ей известной практической односторонности.

Прежде чем говорить, в каком смысле должен быть предпринят этот пересмотр, постараемся — согласно нашему плану — выяснить отношение научного социализма к политическим движениям рабочего класса.

II

Но что такое научный социализм? Под этим именем мы разумеем то коммунистическое учение, которое начало вырабатываться в начале сороковых годов из утопического социализма под сильным влиянием гегелевской философии, с одной стороны, и классической экономии — с другой; то учение, которое впервые дало реальное объяснение всему ходу развития человеческой культуры, безжалостно разрушило софизмы теоретиков буржуазии и «во всеоружии знания своего века» выступило на защиту пролетариата. Это учение не только с полною ясностью показало всю научную несостоятельность противников социализма, но, указывая ошибки, оно в то же время давало им историческое объяснение и, таким образом, как сказал некогда Гайм о философии Гегеля, «привязывало к своей триумфальной колеснице каждое побежденное им мнение» [1]. Как Дарвин обогатил биологию поразительно простой и вместе с тем строго научной теорией происхождения видов, так и основатели научного социализма показали нам в развитии производительных сил и в борьбе этих сил против отсталых «общественных условий производства» великий принцип изменения *видов общественной организации*. Едва ли нужно говорить, кого считаем мы основателями этого социализма. Заслуга эта бесспорно принадлежит Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, учение которых именно так относится к современному революционному движению в цивилизованном человечестве, как относилась когда-то, по словам одного из них, передовая немецкая философия к освободительному движению в Германии: оно составляет его *голову*, между тем как пролетариат составляет его *сердце*. Но само собою разумеется, что развитие научного социализма еще не закончено и так же мало может остановиться на трудах Энгельса и Маркса, как теория происхождения видов могла считаться окончательно выработанной с выходом в свет главных сочинений английского биолога. За установлением основных

положений нового учения должна последовать детальная разработка относящихся к нему вопросов, разработка, дополняющая и завершающая переворот, совершенный в науке авторами «Коммунистического Манифеста» *. Нет ни одной отрасли социологии, которая не приобретала бы нового и чрезвычайно обширного поля зрения, усваивая их философско-исторические взгляды. Благотворное влияние этих взглядов и теперь уже начинает сказываться в области истории, права и так называемой первобытной культуры. Но эта философско-историческая сторона современного социализма слишком еще мало известна у нас в России, и потому мы считаем нелишним сделать здесь несколько выписок, знакомящих с нею читателя словами самого Маркса.

Ведя свою родословную, между прочим, «от Канта и Гегеля», научный социализм является тем не менее самым смертельным и решительным противником идеализма. Он изгоняет его из его последнего убежища — социологии, в которой его принимали с таким радушием позитивисты. Научный социализм предполагает «материалистическое понимание истории», т. е. он объясняет духовную историю человечества развитием его общественных отношений (между прочим, под влиянием окружающей природы). С этой точки зрения, как и с точки зрения Вико, «ход идей соответствует ходу вещей», а не наоборот. Главной же причиной того или иного склада общественных отношений, того или иного направления их развития является состояние производительных сил и соответствующая им экономическая структура общества. «В своей общественной жизни люди наталкиваются,— говорит Маркс **,— на известные, необходимые, не зависящие от их воли отношения, именно на отношения производства, соответствующие той или другой ступени развития производительных сил. Вся совокупность этих отношений производства составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют известные формы общественного сознания. Соответствующий материальной жизни способ производства обусловливает собою процессы социальной, политической и духовной жизни вообще. Не поня-

* [Примечание к изданию 1905 г.] Впоследствии гг. «критики Маркса» упрекали нас, «ортодоксов», в том, что мы восставали против всякой попытки дальнейшего развития взглядов Маркса. Читатель видит, что я не обнаруживал склонности к подобному восстанию. Но само собою разумеется, что в качестве ученика Маркса, понимавшего великое значение его теории, я должен был восстать против всякой попытки заменить некоторые положения марксизма старыми, давно отжившими буржуазными «догмами». И эту свою обязанность я исполнил, как мог.

** См. «Zur Kritik der Politischen Oekon.», Vorwort, S. S. IV—VI. [«К критике политической экономии», предисловие, стр. IV—VI.] [1]

тия определяют общественную жизнь людей, но, наоборот, их общественная жизнь обусловливает собою их понятия... Правовые отношения, равно как и формы государственной жизни, не могут быть объяснены ни сами собою, ни так называемым общим развитием человеческого духа, но коренятся в материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII столетия, обозначил именем гражданского общества; анатомию же гражданского общества нужно искать в его экономии... На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в столкновение с существующими отношениями производства, или — говоря юридическим языком — с имущественными отношениями, внутри которых они до тех пор вращались. Из форм, способствующих развитию производительных сил, эти имущественные отношения делаются его тормозами. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономического основания изменяется более или менее быстро вся возвышающаяся на нем огромная надстройка. Ни одна общественная формация не исчезает раньше, чем разовьются все производительные силы, которым она предоставляет достаточно простора; и новые высшие отношения производства никогда не занимают места старых раньше, чем выработаются в недрах старого общества материальные условия их существования. Поэтому можно сказать, что человечество всегда ставит себе лишь исполнимые задачи, ибо, при внимательном рассмотрении, всегда оказывается, что самая задача является лишь там, где материальные условия ее решения уже существуют или находятся в процессе своего возникновения».

Теперь понятно, почему Маркс и Энгельс отзывались с такой презрительной насмешкой об «истинных социалистах» Германии конца сороковых годов [1], ставших в отрицательное отношение к борьбе немецкой буржуазии против абсолютизма и «проповедывавших народной массе, что в этом буржуазном движении она ничего не может выиграть, но рискует все потерять» [2]. Историческое учение Маркса и Энгельса представляет собою настоящую «алгебру революции», как выразился когда-то Герцен о философии Гегеля [3]. Поэтому они сочувствовали «всякому революционному движению против существующих общественных и политических отношений»; потому же они отнеслись с горячим сочувствием и к русскому движению, сделавшему Россию, по их выражению, передовым отрядом европейской революции [4].

Но, несмотря на всю их ясность и недвусмысленность, взгляды Маркса подали, однако, повод ко многим недоразумениям в области революционной теории и практики. Так, например, у нас часто говорят, что теории научного социализма неприме-

нимы к России, потому что они выросли на почве западноевропейских экономических отношений. Учению Маркса подсказывается тот смешной вывод, что Россия должна пройти совершенно те же фазы историко-экономического развития, которые были пройдены Западом. Под влиянием убеждения в неизбежности этого вывода уже не один русский философ, незнакомый ни с Марксом, ни с историей Западной Европы, ополчался на автора «Капитала», обвиняя его в узости и шаблонности взглядов. Но, разумеется, это была борьба с ветряными мельницами. Наши Дон-Кихоты не понимали, что история западноевропейских отношений положена Марксом лишь в основу *истории капиталистического производства*, которое родилось и выросло именно в этой части света. Общие философско-исторические взгляды Маркса имеют ровно такое же отношение к современной Западной Европе, как к Греции и Риму, Индии и Египту. Они обнимают всю культурную историю человечества и могут быть неприменимы к России только в случае их общей несостоятельности. Само собою понятно, что ни автор «Капитала», ни его знаменитый друг и сотрудник не исключают из своего поля зрения экономических особенностей той или другой страны; они только ищут в них объяснения всех ее общественно-политических и умственных движений. Что они не игнорируют значения нашей поземельной общины, видно уже из того обстоятельства, что не далее как в январе 1882 года они не считали возможным сделать решительное предсказание относительно ее будущей судьбы. В предисловии к нашему переводу «Манифеста Коммунистической партии» (Женева 1882 г.) [1] они даже прямо говорят, что русская община может при известных обстоятельствах «непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму землевладения». Эти обстоятельства стоят, по их мнению, в тесной связи с ходом революционного движения на западе Европы и в России. «Если русская революция, — говорят они, — послужит сигналом рабочей революции на Западе, так что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития» (Маниф. комм. партии, VIII). Едва ли хоть одному «народнику» придет в голову отрицать такого рода условность решения вопроса об общине. Едва ли кто-нибудь может утверждать, что гнет современного государства благоприятен для развития или хотя бы для сохранения поземельной общины. Точно так же едва ли хоть один человек, понимающий значение международных отношений в экономической жизни современных цивилизованных обществ, может отрицать, что развитие русской общины «в высшую, коммунистическую форму» тесно связано с судьбою рабочего движения на Западе. Оказывается, таким образом, что во взгляде Маркса на Россию нет ничего противоречащего самой очевидной

действительности, и нелепый предрассудок относительно его крайнего «западничества» лишается всякой тени разумного основания.

Но существует другое недоразумение, которое непосредственно касается интересующего нас вопроса о значении политической борьбы в деле переустройства социальных отношений и коренится в ошибочном понимании взгляда Маркса на роль экономического фактора в развитии человеческой культуры. Взгляд этот часто истолковывался многими в том смысле, что автор «Капитала» придает политическому строю общества лишь самое ничтожное значение, считает его не заслуживающею внимания второстепенною частностью, которая не может служить не только целью, но даже и средством плодотворной деятельности. Нередко и до сих пор можно встретить у нас «марксистов», которые именно на этом основании игнорируют политические задачи социализма. Экономические отношения, говорят они, лежат в основании всякой общественной организации. Изменение этих отношений составляет причину всякого политического переустройства. Чтобы освободиться от ига капитала, рабочий класс должен иметь в виду не следствие, а причину, не политическую, а экономическую организацию общества. Политическая организация не приблизит рабочих к их цели, так как их политическое порабощение будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена экономическая зависимость их от имущих классов. Употребляемые рабочими *средства* борьбы должны быть приведены в соответствие с ее *целью*. Экономическая революция может быть достигнута только путем борьбы на экономической же почве.

При некоторой последовательности понимаемый таким образом «марксизм» должен был бы изменить самый взгляд социалистов на цели и средства социальной революции и вернуть их к знаменитой формуле Прудона: «политическая революция — цель, экономическая революция — средство». Точно так же он должен был бы значительно сблизить, по крайней мере в теории, социалистов-революционеров с последователями «консервативного социализма», который так решительно противится политической самодеятельности рабочего класса [1]. Последний честный и умный представитель этого социализма, Родбертус, именно потому и не сошелся с Лассалем, что знаменитый агитатор старался выдвинуть немецких рабочих на путь самостоятельной политической деятельности. Не Маркс, а Родбертус, не *революционный*, а *консервативный*, *монархический* социализм отрицает значение «политических примесей к экономическим целям» рабочего класса. И консерваторы прекрасно понимают, почему они так делают; но те, которые хотят примирить революционное движение рабочего класса с отрицанием

«политики», те, которые подсказывают Марксу практические тенденции Прудона или даже Родбертуса, наглядно показывают, что они не понимают автора «Капитала» или сознательно извращают его учение. Мы говорим о сознательном извращении, потому что известная книга московского профессора г. Иванюкова есть не что иное, как именно такое сознательное извращение всех следствий, вытекающих из основных положений научного социализма [1]. Книга эта показывает, что наши русские *полицей*-социалисты не прочь эксплуатировать для своих реакционных целей даже такую теорию, под знаменем которой совершается самое революционное движение нашего века. Одно это обстоятельство могло бы сделать необходимым подробное выяснение *политической* программы современного социализма. Мы и приступим теперь к этому выяснению, не пускаясь, однако, ни в какую полемику с гг. Иванюковыми, так как достаточно выяснить истинный смысл той или другой теории, чтобы тем самым опровергнуть умышленные ее искажения. Притом же нас гораздо более интересуют здесь те революционеры, которые при всей искренности своих стремлений слишком еще пропитаны, хотя, быть может, и бессознательно, анархическими учениями и потому готовы видеть в сочинениях Маркса мысли, уместные только в «Общей идее революции в XIX веке» [2]. Критика выводов, сделанных ими из философско-исторических взглядов Маркса, логически приведет нас к вопросу о так называемом *захвате власти* и покажет нам, насколько правы те, которые усматривают в этом акте какое-то преступление против идеи человеческой свободы, а равно и те, которые, наоборот, видят в нем альфу и омегу всего социально-революционного движения.

Посмотрим прежде всего, какое значение имеют понятия о причине и следствии в применении к общественным отношениям.

Если мы толкнем рукой или кием биллиардный шар, то он придет в движение; если мы ударим сталью о кремень, то появится искра. В каждом из этих случаев очень легко определить, какое явление служит причиной и какое — следствием. Но эта легкость решения задачи обусловливается лишь крайнею ее простотою. Если вместо двух одиноко стоящих явлений мы возьмем процесс, в котором одновременно замечается несколько явлений или даже несколько рядов явлений, то дело значительно усложнится. Так, например, горение свечи есть, относительно говоря, довольно сложный процесс, в результате которого является свет и теплота. Казалось бы поэтому, что мы безо всякого риска ошибиться можем назвать выделяемую пламенем теплоту одним из следствий этого химического процесса. Так оно и есть до известной степени. Но если бы каким-нибудь

способом мы ухитрились лишить пламя выделяемой им теплоты, то горение тотчас прекратилось бы, так как интересующий нас процесс не может происходить при обыкновенной температуре. Поэтому оказался бы до известной степени правым и тот, кто сказал бы, что теплота есть *причина* горения. Чтобы не уклоняться от истины ни в ту, ни в другую сторону, мы должны были бы сказать, что теплота, явившаяся в данный момент *следствием* горения, в следующий за тем момент является его *причиной*. Значит, по отношению к процессу горения в продолжение нескольких моментов мы должны сказать, что теплота является *и следствием* его *и причиной*, или, другими словами, *ни следствием, ни причиной*, а просто одним из явлений, вызываемых этим процессом и, в свою очередь, составляющих необходимое для него условие. Возьмем другой пример. Всякому, «даже не обучавшемуся в семинарии», известно, что так называемые растительные процессы человеческого организма оказывают огромное влияние на психические явления. То или другое настроение духа оказывается *следствием* того или другого физического состояния организма. Но раз существует известное настроение духа, то самые растительные процессы часто испытывают на себе его влияние, и оно делается, таким образом, *причиной* тех или других изменений в физическом состоянии организма. Чтобы и здесь не погрешить ни в ту, ни в другую сторону, мы должны сказать, что психические явления и растительная жизнь организма представляют собою два ряда сосуществующих процессов, причем каждый из этих рядов испытывает влияние другого. И если бы какой-нибудь медик стал игнорировать психические влияния на том основании, что душевное настроение человека есть следствие физического состояния его организма, мы сказали бы, что школьная логика лишила его всякой способности к разумной медицинской практике.

Общественная жизнь отличается еще большею сложностью, чем жизнь индивидуального организма. Поэтому в ней еще более заметна относительность понятий о причине и следствии. По учению классической экономии, высота заработной платы определяется, в среднем выводе, уровнем насущнейших потребностей рабочего. Значит, данная высота заработной платы есть *следствие* данного состояния потребностей рабочего. Но, с своей стороны, потребности эти могут повыситься лишь в случае повышения заработной платы, потому что иначе не было бы достаточной причины для изменения их уровня. Следовательно, данная высота заработной платы есть *причина* данного состояния потребностей рабочего. Из этого логического круга нельзя вырваться с помощью школьных категорий причины и следствия. А мы будем попадать в него на каждом шагу наших социологических рассуждений, если забудем, что «причина и

следствие суть понятия, имеющие значение лишь в применении к отдельным случаям; но раз мы рассматриваем этот случай в его общей мировой связи, то причина и следствие совпадают, их противоположность исчезает при созерцании всемирного взаимодействия, в котором причина и следствие постоянно меняются местами, и то, что теперь или здесь — следствие, станет там или тогда причиной, и наоборот» (Фр. Энгельс) *[1].

Сделавши эту оговорку, постараемся определить теперь, в каком смысле нужно понимать причинную связь между экономическими отношениями и политическим строем данного общества.

Чему учит нас в этом случае история? Она показывает нам, что всегда и везде, где процесс экономического развития вызывал расчленение общества на классы, противоречие интересов этих классов неизбежно приводило их к борьбе за политическое господство. Эта борьба возникала не только между различными слоями господствующих классов, но также между этими классами, с одной стороны, и народом — с другой, если только последний был поставлен в условия, хоть немного благоприятные для его умственного развития. В государствах древнего Востока мы видим борьбу между воинами и жрецами; весь драматизм истории античного мира заключается в борьбе аристократии и демоса, патрициев и плебеев; средние века выдвигают горожан, которые стремятся завоевать политическое господство в пределах своих коммун; наконец, современный рабочий класс ведет политическую борьбу с буржуазией, достигшей полного господства в новейшем государстве. Всегда и везде политическая власть была рычагом, с помощью которого добившийся господства класс совершал общественный переворот, необходимый для его благосостояния и дальнейшего развития. Чтобы не заходить далеко, вспомним историю «третьего сословия», этого класса, который с гордостью может смотреть на свое прошлое, полное блестящих завоеваний во всех отраслях жизни и мысли. Едва ли кому-нибудь может прийти в голову упрекнуть буржуазию в отсутствии такта и уменья достигать своих целей наиболее подходящими средствами. Никто не станет также отрицать, что ее стремления имели вполне определенный экономический характер. Это не помешало ей, однако, вступить на путь политической борьбы и политических завоеваний. То с оружием в руках, то путем мирных договоров, то во имя республиканской независимости своих городов, то во имя усиления королевской власти нарождающаяся буржуазия вела в течение целых столетий беспрерывную упорную борьбу с фео-

* См. «Herrn Eugen Dühring's Umwälz. der Wissensch.», S. 6. [«Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом», стр. 6.]

дализмом и уже задолго до французской революции могла с гордостью указывать врагам на свои успехи. «Различны были шансы и неодинаков успех в великой борьбе горожан против феодалов,— говорит историк *,— и не только сумма вольностей, вырванных силою или полученных путем мирного соглашения, была не повсюду одинакова, но даже и при одних и тех же политических формах города пользовались часто различною степенью свободы и независимости». Тем не менее смысл движения был тождествен повсюду и знаменовал собою начало социальной эмансипации третьего сословия и упадка аристократии, светской и духовной **. В общем это движение принесло горожанам «муниципальную независимость, право выбора всех местных властей, точную определенность в повинностях», обеспечило права личности внутри городских коммун ***, дало буржуазии более высокое положение в сословных государствах «старого режима» и рядом постоянных завоеваний привело ее, наконец, к полному господству в современном обществе. Ставя себе совершенно определенные, хотя со временем и изменяющиеся социально-экономические цели, черпая средства для своей дальнейшей борьбы из приобретенных уже выгод своего материального положения, буржуазия не упустила ни одного случая дать правовое выражение достигнутым ею ступеням экономического прогресса и, наоборот, с таким же искусством пользовалась каждым своим политическим приобретением для новых завоеваний в области экономической жизни. Не далее как в половине сороковых годов текущего столетия английская «Лига против хлебных законов» добивалась, по остроумному плану Ричарда Кобдена, усиления своего *политического* влияния в «графствах» ради отмены ненавистной ей «монополии», имевшей, повидимому, исключительно *экономический* характер [1].

История есть величайший диалектик, и если в ходе ее движения разум превращается, по выражению Мефистофеля, в бессмыслицу, а благодеяние становится источником страданий, то не менее часто в историческом процессе следствие становится

* См. «Essai sur l'histoire du Tiers État», par *Aug. Thierry*, p. 33—34. [«Очерк истории третьего сословия» *Ог. Тьерри*, стр. 33—34.]

** Сторонники феодализма прекрасно понимали цели горожан и связь их политических и экономических требований. «Коммуна есть слово новое и гнусное,— говорит аббат Гибер,— и вот что̀ оно означает: люди, обязанные нести повинности, платят своему господину должную ими ренту один только раз в год. Когда они совершают какое-нибудь преступление, они платят установленный законом штраф; а что касается денежных обложений, которым подвергаются обыкновенно крепостные, то они освобождаются от них совершенно». *Laurent*, La féodalité et l'église, p. 546. [*Лоран*, Феодализм и церковь, стр. 546.]

*** Лютихский Статут устанавливает принцип неприкосновенности жилища в следующем энергическом выражении: «*Бедняк в своем жилище— король*». *Laurent*, ibid., p. 548. [*Лоран*, там же, стр. 548.]

причиной, а причина оказывается следствием. Вырастая из экономических отношений современного ему общества, политическое могущество буржуазии, в свою очередь, служило и служит незаменимым фактором дальнейшего развития этих отношений.

Теперь, когда буржуазия близится к окончанию своей исторической роли и пролетариат становится единственным представителем прогрессивных стремлений в обществе, мы можем наблюдать явление, аналогичное выше указанному, хотя и совершающееся при изменившихся условиях. Во всех передовых государствах цивилизованного мира, в Европе так же, как и в Америке, рабочий класс выступает на поприще политической борьбы, и, чем сознательнее относится он к своим экономическим задачам, тем решительнее выделяется он в особую политическую партию. «Так как существующие ныне политические партии всегда действовали лишь в интересах имущих для охранения их экономических привилегий,— читаем мы в программе североамериканской социалистической рабочей партии,— то рабочий класс обязан организоваться в большую рабочую партию, чтобы *добиться политической силы в государстве* и завоевать с ее помощью экономическую независимость, потому что освобождение рабочего класса может быть совершено лишь самими рабочими» *. В том же духе и вполне согласно с программой немецкой социал-демократии высказывается французская рабочая партия, которая признает, что пролетариат должен стремиться к экономической революции «всеми зависящими от него средствами, не исключая и всеобщего избирательного права, превращаемого таким образом из орудия обмана, каким оно было до сих пор, в *орудие освобождения*». Испанская рабочая партия также стремится к «завоеванию политической власти» для устранения препятствий, стоящих на пути к освобождению рабочего класса **.

В Англии, где со времени прекращения чартистского движения [1] борьба пролетариата сосредоточивалась исключительно на экономической почве, политические стремления рабочих начинают снова оживать в последнее время. Не далее как несколько лет тому назад немецкий экономист Луи Брентано с торжеством констатировал в своей книге «Das Arbeitsverhältniss etc.» *** полное исчезновение «социал-демократических» тенденций в Англии и с истинно буржуазным самодоволь-

* *Von Studnitz*, Nordamerikanische Arbeiterverhältnisse, S. 353. [*Фон Штудниц*, Положение рабочих в Северной Америке, стр. 353.]

** Мы цитируем эту программу по книге *Б. Малона*: «Le nouveau parti», t. I, p. 15. [«Новая партия», т. I, стр. 15.]

*** [«Об условиях труда и т. д.».]

ством глубокомысленно философствовал на ту тему, что «в настоящее время Англия снова образует *одну* нацию», что «современные английские рабочие снова составляют часть великой либеральной партии», а не стремятся к захвату государственной власти, чтобы с ее помощью «перестроить общество в своих интересах» (стр. 110)[1]. Опубликованный недавно манифест английской «демократической федерации»[2] показывает, что радость буржуазного экономиста была несколько преждевременна. Демократическая федерация стремится вызвать политическое отделение эксплуатируемых от эксплуататоров и приглашает первую из этих «наций» именно к захвату государственной власти с целью переустройства общества в интересах рабочих. «Пришло время,— говорит названный манифест,— когда народная масса необходимо должна взять в свои собственные руки заведование касающимися ее делами; политическая и социальная сила представляет собою в настоящее время монополию людей, живущих трудом своих сограждан. Землевладельцы и капиталисты, завладевшие верхней палатой и наполняющие нижнюю, стремятся лишь к охранению своих собственных интересов. Возьмите свою судьбу в свои собственные руки, устраните этих богатых паразитов обеих групп и рассчитывайте только на самих себя!» Манифест требует «*полного права голосования для всех взрослых мужчин и женщин*» Соединенного Королевства и других политических реформ, осуществление которых «показало бы только, что мужчины и женщины этой страны стали господами у себя дома». Далее перечисляется — в качестве ближайших требований английской демократической федерации — целый ряд мер, необходимых для развития «здорового, независимого и серьезно образованного поколения, готового организовать труд каждого на пользу всех и *овладеть, наконец, всей социально-политической машиной государства*, в котором перестанут тогда существовать классовые различия и привилегии».

Таким образом, и английский пролетариат снова выступает на тот путь, на который давно уже вышли работники других цивилизованных государств.

Но, подобно тому как буржуазия не только боролась с аристократией на почве существующих уже политических отношений, а стремилась также перестроить эти отношения в своих интересах, пролетариат не ограничивает свою политическую программу захватом современной государственной машины. В его среде все более и более распространяется убеждение в том, что «каждый порядок вещей, определяющий взаимное положение граждан и их имущественные и трудовые отношения, соответствует особой форме правления, которая служит для него средством осуществления и сохранения в одно и то

же время» *. Между тем как представительная (монархическая или республиканская) система была детищем буржуазии, пролетариат требует *прямого народного законодательства* как единственной политической формы, при которой возможно осуществление его социальных стремлений. Это требование рабочего класса занимает одно из первых мест в программе социальной демократии всех стран и стоит в самой тесной связи со всеми остальными пунктами ее программы **. Вопреки Прудону, пролетариат продолжает смотреть на «политическую революцию», как на самое могущественное средство достижения экономического переворота.

Уже одно это свидетельство истории должно было бы предрасположить нас к той мысли, что не ошибочная теория, а верный практический инстинкт лежит в основе политических тенденций различных общественных классов. Если, несмотря на полное несходство в других отношениях, все классы, ведущие сознательную борьбу со своими противниками, начинают на известной стадии своего развития стремиться обеспечить себе политическое влияние, а затем и господство, то ясно, что политический строй общества представляет собою далеко не безразличное условие для их развития. А если мы видим, кроме того, что ни один класс, добившийся политического господства, не имеет причин раскаиваться в своем интересе к «политике»; если, напротив, каждый из них достигал высшей, кульминационной точки своего развития лишь после того, как он приобретал политическое господство, то мы должны признать, что политическая борьба представляет собою такое средство социального переустройства, годность которого доказана историей. Всякое учение, противоречащее этой исторической индукции, лишается значительной доле убедительности, и если бы современный социализм действительно осуждал политические стремления рабочего класса как нецелесообразные, то уже по одному этому он не мог бы называться научным.

Проверим теперь наше наведение дедуктивным путем, принимая философско-исторические взгляды Маркса за посылки для наших выводов.

Представим себе общество, в котором данный класс пользуется полным господством. Он добился этого господства благодаря

* См. «Sozialdemocratische Abhandlungen» von *M. Rittinghausen*, drittes Heft, «Über die Nothwendigkeit der direkten Gesetzgebung durch das Volk». S. 3. [«Социал-демократические статьи» *М. Риттинггаузена*, третий выпуск, «О необходимости прямого народного законодательства», стр. 3.]

** См. программы немецкой и североамериканской рабочих партий. Манифест английской демократической партии также требует «прямого голосования по всем важным вопросам».

преимуществам своего экономического положения, которые открывают, согласно нашим посылкам, путь ко всем другим успехам общественной жизни. В качестве *господствующего* класса он, разумеется, приспособляет общественную организацию к наиболее выгодным условиям своего существования и тщательно устраняет из нее все, что может так или иначе ослабить его влияние. «Господствующий класс каждого данного периода,— справедливо говорит Шеффле,— есть также и творец его права и обычаев. Его члены повинуются лишь инстинкту самосохранения, когда они стараются упрочить свое господство и удержать его на возможно более продолжительное время за своими потомками как необходимое условие их привилегированного положения и средство эксплуатации угнетенных... Почти ни одна часть положительного права не пользуется таким почетом со стороны господствующих сословий данного времени, ни одной не приписывается в такой степени характер «вечных» институтов или даже «священных» основ общества, как той, которая упрочивает сословные права и защищает классовое господство»*. И до тех пор, пока господствующий класс будет носителем наиболее прогрессивных общественных идеалов, созданный им строй будет удовлетворять всем требованиям социального развития. Но как только экономическая история данного общества выдвинет новые элементы поступательного движения, как только его «производительные силы придут в столкновение с существующими отношениями производства или — говоря юридическим языком — с имущественными отношениями, внутри которых они до тех пор вращались», прогрессивная роль данного господствующего класса будет окончена. Из представителя прогресса он сделается заклятым его врагом и, разумеется, воспользуется государственной машиной с целью самообороны. Политическая власть сделается в его руках самым могучим орудием реакции. Чтобы открыть свободный путь развитию производительных сил общества, необходимо устранить тормозящие это развитие имущественные отношения, т. е. произвести, как говорит Маркс, социальную революцию. Но это невозможно до тех пор, пока законодательная власть находится в руках представителей старого порядка, т. е., говоря другими словами, пока она охраняет интересы господствующего класса. Неудивительно поэтому, что новаторы, т. е. представители угнетенного класса или классов, будут стремиться выбить из рук своих противников и обратить против них это страшное оружие. Сама логика вещей выдвинет их на путь политической борьбы и захвата государственной власти,

* См. *Шеффле*, Bau und Leben des soz. Körpers, B. III, S. S. 91 und 102. [«Строение и жизнь социального организма», т. III, стр. 91 и 102.]

хотя они и задаются целью экономического переворота. Лассаль сказал глубокую истину, когда заметил в предисловии к своей «Системе приобретенных прав», что «там, где юридические отношения, переходя в область частного права, теряют, повидимому, всякую связь с политикой, в них *оказывается гораздо более политического*, *чем в самой политике*, потому что они представляют собою тогда элемент *социальный*» *.

В практической жизни дело происходит, конечно, далеко не так скоро, как это можно было бы предположить, рассуждая a priori. Угнетенный класс лишь постепенно уясняет себе связь между своим *экономическим* положением и своею *политическою* ролью в государстве. Долгое время он не понимает во всей ее полноте даже своей экономической задачи. Составляющие его индивидуумы ведут тяжелую борьбу за свое повседневное существование, не задумываясь даже о том, каким сторонам общественной организации обязаны они своим бедственным положением. Они стараются избегать наносимых им ударов, не спрашивая себя, откуда и кем направляются в последнем счете эти удары. В них нет еще классового сознания, в их борьбе против отдельных угнетателей нет никакой руководящей идеи. Угнетенный класс еще не существует *для себя*; он *будет* со временем передовым классом общества, но он еще не *становится* им. Сознательно организованной силе господствующего класса противостоят лишь разрозненные, единичные стремления отдельных личностей или отдельных групп личностей. Так, например, и теперь еще не редкость встретить рабочего, который ненавидит особенно энергичного эксплуататора, но не подозревает еще необходимости борьбы против целого класса эксплуататоров и устранения самой возможности эксплуатации человека человеком.

Мало-помалу процесс обобщения делает, однако, свое дело, и угнетенные начинают сознавать себя классом. Но они еще слишком односторонне понимают особенности своего классового положения: пружины и двигатели общественного механизма в его целом остаются еще скрытыми от их умственных взоров. Класс эксплуататоров представляется им простою совокупностью отдельных предпринимателей, не связанных нитями политической *организации*. На этой ступени развития в понятиях угнетенных, как и в голове профессора Лоренца фон Штейна, не ясна еще связь между «обществом» и «государством». Предполагается, что государственная власть стоит выше антагонизма классов, ее представители кажутся естественными судьями

* См. «System der erworbenen Rechte», Leipzig 1880, erster Theil, Vorrede, S. VII. [«Система приобретенных прав», Лейпциг 1880, первая часть, предисловие, стр. VII.]

и примирителями враждующих сторон. Угнетенный класс относится к ним с полным доверием и приходит в большое удивление, когда обращенные к ним с его стороны просьбы о помощи остаются без ответа. Не останавливаясь на частных примерах, мы заметим только, что подобная путаница понятий обнаруживалась до последнего времени английскими рабочими, которые вели весьма энергичную борьбу на экономической почве и в то же время находили возможным фигурировать в рядах той или другой буржуазной политической партии.

Только на следующей и последней ступени развития угнетенный класс всесторонне выясняет себе свое положение. Теперь он понимает, какая связь существует между обществом и государством, и не апеллирует на притеснения своих эксплуататоров к тем, кто представляет собою политический орган той же эксплуатации. Он знает, что государство есть крепость, служащая оплотом и защитой его притеснителям, крепость, которою можно и должно овладеть, которую можно и должно перестроить в интересах своей собственной защиты, но невозможно обойти, полагаясь на ее нейтралитет. Рассчитывая лишь на самих себя, угнетенные начинают понимать, что «*политическая* самопомощь есть,— как говорит Ланге,—важнейший из всех видов *социальной* самопомощи». Они стремятся тогда к политическому господству, чтобы помочь себе путем изменения существующих социальных отношений и приспособления общественного строя к условиям своего собственного развития и благосостояния. Разумеется, они тоже не вдруг достигают господства; лишь постепенно становятся они грозной силой, исключающей в умах противников всякую мысль о сопротивлении. Долгое время добиваются они лишь уступок, требуют лишь таких реформ, которые дали бы им не господство, а только возможность расти и созревать для будущего господства; реформ, которые удовлетворили бы самые насущные, самые ближайшие их требования и хоть немного расширили бы сферу их влияния на общественную жизнь страны. Только пройдя суровую школу борьбы за отдельные клочки неприятельской территории, угнетенный класс приобретает настойчивость, смелость и развитие, необходимые для решительной битвы. Но, раз приобретя эти качества, он может смотреть на своих противников, как на класс, окончательно осужденный историей; он может уже не сомневаться в своей победе. Так называемая революция есть только последний акт в длинной драме революционной классовой борьбы, которая становится сознательной лишь постольку, поскольку она делается борьбою *политической* *.

---

* [Примечание к изданию 1905 г.] Эти строки были написаны за 15 лет до выступления г. Бернштейна в роли «критика Маркса». Пусть судит

Спрашивается теперь, целесообразно ли поступили бы социалисты, если бы они стали удерживать рабочих от «политики» на том основании, что политический строй общества обусловливается экономическими его отношениями? Конечно, нет. Они лишили бы рабочих точки опоры для их борьбы, отняли бы у них возможность сконцентрировать свои усилия и направить свои удары на созданную их эксплуататорами общественную организацию. Вместо этого рабочим пришлось бы вести партизанскую войну с отдельными эксплуататорами или, самое большее, с отдельными группами этих эксплуататоров, на стороне которых всегда стояла бы организованная сила государства. Именно такую ошибку делали русские социалисты из так называемой интеллигенции, когда они порицали (в № 4 «З. и В.») «Северно-Русский Рабочий Союз» за то, что он выставил в своей программе известные политические требования [1]. Ту же ошибку повторило «Зерно» [2], которое рекомендовало рабочим вести борьбу на экономической почве, добиваться сокращения рабочего дня, повышения заработной платы и т. п., даже убивать шпионов и особенно нелюбимых мастеров и предпринимателей, но ни одним словом не обмолвилось о *политических* задачах русских работников. Это отсутствие синтеза в революционных взглядах и программах наших социалистов не могло не оказать самого вредного влияния на результаты их деятельности. Охраняя политический индифферентизм рабочих как важнейший признак радикализма их экономических требований, мы тем самым оказывали косвенную поддержку современному абсолютизму. Кроме того, обрывая наши программы именно на том пункте, где нужно было подвести политический итог социальным требованиям рабочего класса, мы уменьшали практическое значение этих программ в глазах рабочих, лучше нас понимавших, до какой степени бесплодна разрозненная борьба против отдельных эксплуататоров. К счастью, наше рабочее движение очень рано переросло эту первую фазу своего развития. Ответ «Северно-Русского Рабочего Союза» редакции «Земли и Воли» (см. № 5 этого издания) показал, что, по крайней мере, члены этого Союза раньше нашей «интеллигенции» поняли всю неуместность «политического невмешательства» рабочего класса [3].

Все это прекрасно, скажет иной читатель, но ваша аргументация не попадает в цель. Мы не отрицаем, что рабочему классу было бы *полезно* добиться политического влияния и захватить государственную власть в свои руки; мы утверждаем только, что в настоящее время это *невозможно* для него по мно-

сам читатель, прав ли этот «критик» и его многочисленные единомышленники, упрекающие нас, «ортодоксов», в том, что мы понимаем революцию пролетариата как простую и почти моментальную «катастрофу».

гим причинам. Ваша ссылка на историю буржуазии недоказательна, так как положение пролетариата в буржуазном обществе вовсе не сходно с положением третьего сословия в государствах «старого режима». Сам Маркс признает это несходство и формулирует его следующим образом в «Коммунистическом манифесте». «Под гнетом лежавшего на нем ига средневековый крепостной возвысился,— говорит он,— до степени члена коммуны, подобно тому, как горожанин вырос до буржуа, несмотря на гнет феодального абсолютизма. Напротив, современный рабочий, вместо того, чтобы с прогрессом промышленности улучшать свое положение, опускается все ниже и ниже. Работник становится нищим, и нищета развивается быстрее, чем население и богатство буржуазных стран» [1]. Если каждый прогрессивный шаг буржуазии в области производства и обмена сопровождался «соответствующими политическими завоеваниями», то в этом нет ничего удивительного: всякому известно, что улучшение материального благосостояния того или другого класса сопровождается возрастанием его политического влияния. Но именно тот факт, что политические завоевания буржуазии предполагали увеличение ее богатства,— именно этот факт и заставляет безнадежно смотреть на политические движения рабочего класса. Все более и более превращаясь в «нищих», рабочие должны, повидимому, утратить и ту долю влияния, которую они приобрели в борьбе за интересы буржуазии, «побивая врагов своих врагов,— остатки абсолютной монархии, землевладельцев, непромышленную буржуазию» и т. д. Политическая борьба рабочего класса нецелесообразна, потому что в силу экономического его положения она осуждена на неудачу.

При всей своей внутренней несостоятельности возражение это кажется, однако, на первый взгляд до такой степени решительным, что его невозможно обойти молчанием. Оно является последним основанием аргументации тех сторонников теории политического невмешательства, которые считают себя последователями Маркса *. Поэтому с его устранением теория невме-

* [Примечание к изданию 1905 г.] Это покажется парадоксом, но на самом деле теория политического невмешательства рабочего класса формулирована была Бакуниным *как вывод из материалистического объяснения истории*. Бакунин, бывший горячим сторонником этого объяснения, рассуждал так: если политический строй всякого данного общества основывается на его экономике, то *политическая* революция излишня; она сама явится результатом *экономической* революции. Этот человек, который был когда-то учеником Гегеля и который должен был бы, кажется, изощрить свою логику, никак не мог понять, что результатом экономики является не только всякий данный, *готовый* политический строй, но и всякое новое политическое движение, которое, возникнув на почве данных экономических отношений, в свою очередь, служит необходимым *орудием* их переустройства. На этом *недоразумении* до сих пор строятся все *наиболее серьезные* возражения *анархистов* против *социал-демократов*.

шательства падает окончательно, и политические задачи современного социализма выступают в их истинном свете.

Доля рабочего класса в национальном продукте постоянно уменьшается — это не подлежит ни малейшему сомнению. Он становится беднее не только относительно, но и абсолютно, его доход не только не возрастает в одинаковой прогрессии с доходом других классов общества, но он падает; реальная заработная плата современного пролетария (количество достающихся ему предметов потребления) меньше, чем была плата рабочего 500 лет тому назад [1], — это доказано исследованиями Роджерса, Дюшатлэ [2] и др *. Но отсюда вовсе еще не следует, что в настоящее время экономические условия, менее благоприятны для политического движения рабочего класса, чем были они в четырнадцатом веке. Мы говорили уже выше, что при такого рода оценке экономических условий данной страны нужно принимать во внимание не только распределение национального дохода, но главным образом организацию производства и способ обмена продуктов. Сила зарождавшейся буржуазии заключалась не столько в ее богатстве, сколько в том общественно-экономическом прогрессе, носителем которого она некогда явилась. Не увеличение ее дохода толкнуло ее на путь революционной борьбы и обеспечило возрастание ее политического влияния, а противоречие между вызванными ею к жизни производительными силами и теми условиями, в которых совершались производство и обмен продуктов в феодальном обществе. Сделавшись представительницей прогрессивных требований в этом обществе, она собрала под свое знамя все его недовольные элементы и повела их на борьбу против режима, ненавистного огромному большинству народа. Не деньги, а неразвитое состояние рабочего класса создало ей руководящую роль в этом освободительном движении. Ее богатство, ее и тогда уже относительно довольно высокое общественное положение были, конечно, необходимы для исполнения этой роли. Но чем обусловливалась эта необходимость? Прежде всего невозможностью для нее вести дело разрушения старого порядка без помощи низших слоев населения. Здесь-то и помогло ей ее богатство. Оно принесло ей влияние на ту самую массу, которая должна была сражаться за ее господство. Не будучи богатой, буржуазия не была бы и влиятельной, а без влияния на народ она не победила бы аристократии, потому что она была сильна не собственной силой, а той силой, над которой она уже господствовала и которой она повелевала благодаря своим капиталам. Спрашивается теперь, *возможно ли* для пролетариата такое влияние на какой-нибудь

* [Примечание к изданию 1905 г.] Это касается «теории обнищания», наделавшей столько шума во время «*Бернштейниады*». О ней см. в моей статье «*Критика наших критиков*», в 2—3-й книжке «Зари» [3].

другой класс населения и *нужно ли* оно для его торжества? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы услышать решительное «нет» от всякого, понимающего современное положение рабочего класса. Пролетариату *невозможно* влиять на низшие классы так, как влияла когда-то на него буржуазия, по той простой причине, что нет таких классов, которые стояли бы ниже его; он представляет собою самую последнюю экономическую формацию современного общества. Да ему и *не нужно* добиваться такого влияния, потому что он в то же время есть *самый многочисленный* слой этого общества, потому что вместе с другими слоями трудящегося населения он всегда был именно тою средою, вмешательство которой решало политические споры. Говорим — самый многочисленный класс, потому что все «прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же именно ею и создается. Средние слои, мелкие купцы и промышленники, ремесленники и крестьяне — все они борются против буржуазии, чтобы отстоять свое существование, как средних слоев. Следовательно, они консервативны. Еще того более, они реакционны, они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они имеют революционное значение, то лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не современные, но будущие свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения и становятся на точку зрения пролетариата» [1].

Прежде рабочий класс побеждал, состоя под начальством буржуазии, и только наивно дивился тому странному обстоятельству, что почти все трудности борьбы падают на его долю, между тем как почти все выгоды и почести победы достаются его союзнице. Теперь он не довольствуется этой служебной ролью и обращает против буржуазии ту самую силу, которая некогда принесла ей победу. Но теперь эта сила значительно увеличилась. Она возросла и продолжает возрастать в той же пропорции, в какой совершались и совершаются концентрация капиталов и распространение крупного производства. Она возросла, кроме того, в той самой мере, в какой умножился политический опыт рабочего класса, выведенного самой буржуазией на арену общественной деятельности. Можно ли сомневаться, что пролетариат, оказавшийся некогда достаточно сильным, чтобы разрушить феодальный абсолютизм под руководством буржуазии, будет со временем достаточно силен, чтобы сломить политическое господство буржуазии по своей собственной инициативе? Буржуазия могла победить феодализм лишь благодаря своему богатству, пролетариат победит буржуазию именно потому, что его удел — «нищета» — становится уделом все большей и большей части современного общества.

Но в истории развития буржуазии богатство оказало ей и другую и притом весьма «*производительную* услугу», как выразились бы ее экономисты. Оно дало ей знание, сделало ее самым передовым и образованным слоем тогдашнего общества. Может ли пролетариат приобрести это знание, может ли он быть одновременно и самым бедным и самым развитым из всех общественных классов? Политическое господство невозможно для него вне этого условия, потому что без знания — нет силы!

Мы говорили уже, что сама буржуазия начала политическое воспитание пролетариата. Она заботилась об его образовании, поскольку это было нужно ей для борьбы с ее врагами. Она расшатала его религиозные верования там, где это было необходимо для ослабления политического значения духовенства; она расширила его правовые воззрения там, где ей нужно было противопоставить «естественное» право писаному праву сословного государства. Теперь стал на очередь экономический вопрос, и политическая экономия играет теперь — по выражению одного очень умного немца * — такую же важную роль, какую играло в XVIII столетии естественное право [1]. Захочет ли буржуазия быть руководительницей рабочего класса при исследовании отношений труда к капиталу, этого вопроса из вопросов всей общественной экономии? Она неохотно берет на себя даже эту выгодную для нее роль, потому что поднимать этот вопрос — значит уже угрожать ее господству. Да и *может ли* она выполнить эту роль хотя бы так, как она выполнила ее когда-то по отношению к религии и праву? Нет! Ослепленные интересами своего класса, ее ученые представители давно уже утратили всякую способность к объективному, научному исследованию общественных вопросов. В этом и заключается вся тайна современного упадка буржуазной экономии. Рикардо был последним экономистом, который, оставаясь буржуа до конца ногтей, имел достаточно ума, чтобы понять диаметральную противоположность интересов труда и капитала. Сисмонди был последним экономистом-буржуа, у которого было достаточно чувства, чтобы нелицемерно оплакать этот антагонизм. После них *общие*, теоретические исследования буржуазных экономистов утратили большею частью всякое научное значение. Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить историю политической экономии со времен Рикардо и полюбоваться произведениями Бастиа, Кери, Леруа-Болье или хотя бы современных катедер-социалистов [2]. Из мирных и объективных мыслителей буржуазные экономисты превратились в воинственных охранителей и стражей капитала, направляющих все свои усилия на то, чтобы перестроить с военными целями самое здание науки. Но, несмотря

* [Примечание к изданию 1905 г.] Т. е. Родбертуса.

на эти воинственные упражнения, они отступают беспрерывно и оставляют в руках неприятелей ту научную территорию, на которой они когда-то властвовали бесконтрольно. В настоящее время люди, совершенно чуждые каких бы то ни было «демагогических» стремлений, уверяют, будто рабочие «лучше какого-нибудь Пр. Смита или Фаухера способны усваивать самые абстрактные понятия» в экономической науке. Так думал, например, человек, имя которого пользуется огромным авторитетом среди немецких экономистов, но который с своей стороны питал к ним самое глубокое презрение. «Мы смотрим на рабочих, как на детей, — прибавлял этот человек, — между тем как они переросли уже нас на целую голову» *.

Но нет ли в его словах преувеличения? Может ли рабочий класс понимать «абстрактные» вопросы общественной экономии и социализма, не говорим уже лучше, но так же, как люди, затратившие целые десятки лет на свое образование?

На чем основываются положения современного научного социализма? Представляют ли они собою измышления какого-нибудь досужего благодетеля человеческого рода или являются обобщением тех самых явлений, с которыми мы все так или иначе сталкиваемся в своей ежедневной жизни, объяснением тех самых законов, которыми определяется наше участие в производстве, обмене или просто в распределении продуктов? Кто решит этот вопрос в последнем смысле, тот согласится, что рабочий класс имеет много шансов для правильного понимания «самых абстрактных» законов общественной экономии, для усвоения самых отвлеченных положений научного социализма. Трудность понимания законов той или другой науки обусловливается неполным знакомством с данными, лежащими в основании этих законов. Там, где речь идет лишь об явлениях повседневной жизни, где научный закон обобщает лишь каждому известные случаи, — там люди практического дела не только отлично понимают теоретические положения, но и могут иногда научить самих теоретиков. Спросите сельского хозяина о влиянии отдаленности рынка на цену его продуктов или плодородия почвы на высоту поземельной ренты. Спросите фабриканта о влиянии расширения сбыта на удешевление производства. Спросите рабочего, откуда берется прибыль его предпринимателя... Вы убедитесь, что все эти люди знают Рикардо, никогда не видавши даже обертки его сочинений. А ведь эти вопросы пользуются репутацией весьма сложных и «абстрактных» вопросов; ведь по поводу них пролиты целые моря чернил, написано такое огромное количество томов, что, приступая к изучению экономической науки, можно ужаснуться этих ворохов печатной

* [Примечание к изданию 1905 г.] Я опять имею в виду Родбертуса.

бумаги. И так во всем, во всех частях общественной экономии! Возьмите хоть теорию меновой стоимости. В двух словах вы можете объяснить рабочему, чем и как она определяется; а вот многие из гг. буржуазных экономистов до сих пор не хотят или не могут понять этой весьма простой теории и впадают в спорах о ней в такие грубые логические ошибки, за которые ни один учитель арифметики не постеснялся бы поставить единицу ученику «младшего возраста». Поэтому мы и думаем, что цитированный нами писатель был прав, что в настоящее время единственною понятливою аудиториею по жгучим социальным вопросам может быть только аудитория, состоящая из пролетариев или людей, ставших на точку зрения пролетариата. А раз усвоены основные положения общественной экономии, понимание научного социализма не представляет уже трудности: рабочий и здесь будет следовать лишь указаниям своего практического опыта. Эта сторона дела прекрасно выяснена самим Марксом: «Если пролетариат провозглашает разложение *всего современного порядка*, — читаем мы в его «*Критике гегелевской философии права*», — то он высказывает этим лишь тайну *своего собственного существования*, потому что оно есть *фактическое разложение* этого порядка. Если пролетариат требует *отрицания частной собственности*, то этим он только возводит на степень *общественного принципа* то, что уже возведено в *его* принцип самим обществом, что воплотилось уже в нем, как отрицательный общественный результат, без всякого содействия с его стороны» * [1].

Мы видим, стало быть, что пролетариат не нуждается в материальном богатстве, чтобы развиться до понимания условий своего освобождения. Его нищета, обусловленная *не бедностью и дикостью общества, а недостатками общественной организации*, — *такая* нищета не только не затрудняет, но облегчает понимание этих условий.

Законы распределения продуктов в капиталистическом обществе в высшей степени неблагоприятны для рабочего класса. Но свойственные капитализму организация производства и форма обмена впервые создают и объективную и субъективную возможность эмансипации трудящихся. Капитализм расширяет миросозерцание рабочего, уничтожает все предрассудки, унаследованные им от старого общества; он толкает его на борьбу и в то же время обеспечивает победу, увеличивая его численный состав и предоставляя в его распоряжение экономическую возможность организации царства труда. Развитие техники увеличивает власть человека над природой и поднимает производи-

* См. «Deutsch-Französische Jahrbücher», 1. u. 2. Lieferung, S.S. 81—85. [«Немецко-французский ежегодник», 1 и 2 выпуск, стр. 81—85.]

тельность труда до такой степени, что обязательность его не может послужить препятствием, но, наоборот, явится необходимым условием всестороннего развития всех членов социалистического общества. В то же время характеризующая капитализм социализация *производства* прокладывает путь для обращения в общую собственность его *средств и продуктов*. Акционерные компании, эта высшая в настоящее время форма организации промышленных предприятий, устраняют капиталистов от всякой активной роли в экономической жизни общества и превращают их в трутней, исчезновение которых не может произвести ни малейшего замешательства в ходе этой жизни. «Если деятельному роду майордомов удалось некогда без труда свергнуть с престола обленившуюся королевскую династию, — говорит консерватор Родбертус,— то почему бы живая и энергичная организация рабочих (служебный персонал компаний составляют квалифицированные работники), почему бы такая организация не была в состоянии устранить со временем собственников, превратившихся в простых рантьеров?.. А между тем капитал уже не может свернуть с этой дороги! Переживши период расцвета, капитал превращается в своего собственного могильщика!»

Почему бы, спросим мы, в свою очередь, та самая организация рабочих, которая будет в состоянии «устранить собственников, сделавшихся простыми рантьерами», почему бы такая организация не в состоянии была захватить в свои руки государственную власть и добиться, таким образом, политического господства? Ведь первое предполагает второе: «устранить» собственников может только такая организация, которая в состоянии преодолеть их *политическое* сопротивление.

Но и это не все; существуют другие общественные явления, которые также увеличивают вероятность *политической* победы пролетариата.

«По мере развития крупной промышленности, целые слои господствующего класса переходят в ряды пролетариата, или, по крайней мере, подвергаются опасности потерять свое общественное положение. Они также являются воспитательным элементом в среде пролетариата.

Наконец, в те периоды, когда борьба классов близится к развязке, процесс разложения в среде господствующего класса, внутри всего старого общества, достигает такой сильной степени, что некоторая часть господствующего сословия отделяется от него и примыкает к революционному классу, несущему знамя будущего. Как часть дворянства соединилась некогда с буржуазией, так переходит теперь к пролетариату часть буржуазии, именно буржуа-идеологи, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения» [1].

У негров северной Гвинеи есть одна в высшей степени замечательная легенда. По словам этой легенды, «бог призвал к себе однажды двух сыновей первой человеческой пары. Один из них был белый, другой — чернокожий. Положивши перед ними кучу золота и книгу, бог приказал черному брату, как старшему, выбирать любой из этих предметов. Тот выбрал золото, и младший брат получил, таким образом, книгу. Неизвестная сила немедленно перенесла его тогда вместе с книгой в отдаленную и холодную страну. Но благодаря своей книге он сделался ученым и стал страшен и силен. Старший же брат остался на родине и прожил достаточно долго, чтобы увидеть, насколько наука выше богатства».

Буржуазия обладала когда-то и знанием и богатством. В противоположность черному брату негритянской легенды она вступила во владение и золотом и книгой, потому что бог человеческих обществ, история, не признает прав несовершеннолетних классов и отдает их в опеку их старших братьев. Но настало время, когда обделенный историей рабочий класс вышел из детского возраста и буржуазии пришлось с ним делиться. У нее осталось золото, между тем как ее младший брат получил «книгу», благодаря которой он, несмотря на мрак и холод своих подвалов, стал и теперь уже «силен и страшен». Мало-помалу научный социализм вытесняет буржуазные теории со страниц этой магической книги, и скоро пролетариат прочтет в ней, как завоевать ему материальное довольство. Тогда он сбросит с себя позорное иго капитализма и покажет буржуазии, «насколько наука выше богатства».

III

В первой главе мы старались исторически объяснить возникновение того убеждения, что социализм несовместим ни с какой «политикой». Мы видели, что в основе этого убеждения лежало прудоновско-бакунинское учение о государстве, с одной стороны, и некоторая непоследовательность наших социал-демократов семидесятых годов — с другой. Кроме того, оно встречало поддержку в общем колорите того фона, на котором выделялись оба вышеназванных направления. Фон этот состоял, как мы сказали словами Энгельса, из смеси различных учений различных основателей социалистических сект. Известно, что социалисты-утописты относились совершенно отрицательно к политическим движениям рабочего класса, в которых они видели «лишь слепое неверие в новое Евангелие». Этот отрицательный взгляд на «политику» был занесен к нам вместе с учениями утопистов. Задолго до начала сколько-нибудь сильного революционного движения в России наши социалисты готовы были —

подобно «истинным» социалистам Германии конца сороковых годов (см. «Коммун. Ман.», стр. 32) —«расточать традиционные проклятия либерализму, представительному правлению, буржуазной конкуренции, буржуазной свободе слова, буржуазному праву, буржуазной свободе и равенству», совершенно забывая, что все эти нападки «имеют в виду современное буржуазное общество с соответствующими ему экономическими отношениями и политической организацией», т. е. именно те условия, о завоевании которых только еще должна была пойти речь в нашем отечестве*[1].

В результате всех этих влияний получилась такая твердая уверенность в неуместности всякой политической борьбы, помимо борьбы революционной в узком и вульгарном значении этого слова, что мы стали с предубеждением смотреть на те социалистические партии Западной Европы, которые видели, например, в избирательной агитации могучее средство воспитания и организации рабочих масс. Все сделанные путем этой агитации политические и экономические приобретения казались нам непростительным оппортунизмом, гибельной сделкой с демоном буржуазного государства, равносильной отказу от блаженства в будущей социалистической жизни. Мы и сами не замечали, что наши теории завели нас в заколдованный круг неразрешимых противоречий. Мы считали поземельную общину исходной точкой социально-экономического развития России, и в то же самое время, отказываясь от политической борьбы, мы добровольно лишали себя всякой возможности предохранить эту общину путем государственного вмешательства от разрушительных влияний настоящего времени. Мы должны были, таким образом, оставаться равнодушными зрителями процесса, разрушающего тот самый фундамент, на котором мы хотели строить здание будущего.

Мы видели, однако, что логика событий вывела русское движение на другую дорогу и заставила русских революционеров, в лице партии «Народной Воли», добиваться политического влияния и даже господства как одного из самых могучих факторов экономической революции. Мы видели также, что, выступая на эту дорогу, наше движение вырастало настолько, что социально-политические теории различных разновидностей прудонизма оказались для него слишком узкими и неудобными. Свойственный русской общественной жизни ход вещей пришел в столкновение с ходом господствовавших в нашей революционной среде идей и тем вызвал новое умственное течение.

---

* Сказанное не относится, впрочем, к группе, издававшей «Народное Дело» в Женеве, группе, неоднократно заявлявшей свое отрицательное отношение к «теории политического невмешательства»[2].

Это новое умственное течение, сказали мы далее, до тех пор не отделается от свойственных ему теперь противоречий, пока не сольется с несравненно более глубоким и широким течением современного социализма. Русские революционеры должны стать на точку зрения социальной демократии Запада и разорвать свою связь с «бунтарскими» *теориями* так же, как они уже несколько лет тому назад отказались от «бунтарской» *практики*, вводя новый, *политический* элемент в свою программу. Сделать это им будет нетрудно, если они постараются усвоить себе правильный взгляд на политическую сторону учения Маркса и захотят подвергнуть пересмотру приемы и ближайшие задачи своей борьбы, прилагая к ним этот новый критерий.

Мы видели уже во второй главе, к каким ложным выводам подали повод философско-исторические посылки современного социализма. Сама «Народная Воля» не замечала, повидимому, ошибочности этих выводов и склонна была «даже к защите социологической точки зрения Дюринга о преобладающем влиянии политико-юридического элемента общественного строя на экономический», как выразился П. Л. Лавров, характеризуя новейшие направления в русском революционном движении *. Только этою склонностью и можно объяснить содержащуюся во внутреннем обозрении № 6 «Народной Воли» полемику против каких-то «непосредственных толкователей исторической теории Маркса», основывающих свой взгляд, по словам автора, «главным образом на известной триаде Гегеля», не имеющих «иного индуктивного материала» для своих выводов и объясняющих «Гегелев закон в том смысле, что дурное, просто в своем крайнем развитии, приведет к хорошему» **. Достаточно познакомиться с программой немецких социал-демократов или французских коллективистов, чтобы видеть, как понимают «историческую теорию Маркса» его западноевропейские последователи и, если угодно, «непосредственные толкователи». Со своей стороны, мы можем уверить наших русских товарищей, что эти «толкователи» понимают «Гегелев закон» вовсе не «в том смысле, что дурное, просто в своем крайнем развитии,приведет к хорошему», и к тому же пользуются им как «*индуктивным*

* См. статью «*Взгляд на прошедшее и настоящее русского социализма*», «*Календарь Народной Воли на 1883 год*», стр. 109.

** [Примечание к изданию 1905 г.] Впоследствии этот вздор на разные лады повторяли наши «легальные» критики — Н. Михайловский и братия. Вообще надо заметить, что эти господа в спорах с нами не могли придумать ровно ничего нового сравнительно с тем, что писалось против нас в *нелегальной* литературе. Кто хочет убедиться в этом, пусть прочтет статью г. Тихомирова во 2-й книжке «Вестника Народной Воли» («Чего нам ждать от революции?») и сравнит с теми доводами, которые пришлось, долго спустя, опровергать Бельтову в своей книге [1]. «Нелегальная» мысль давно опередила у нас «легальную».

материалом» лишь при изучении истории немецкой философии, в которой этот закон занимает весьма видное место и из которой его, *во всяком случае*, не выкинешь, как не выкинешь, по народному выражению, слова из песни. Цитированное нами место есть почти буквальное повторение слов Дюринга, упрекавшего Маркса в том, что в его исторической схеме «гегелевское отрицание отрицания играет, за недостатком лучших и более ясных средств, роль повивальной бабки, при помощи которой будущее выйдет из недр настоящего» *. Но эта выходка понесла уже заслуженную кару со стороны Энгельса, разоблачившего все научное ничтожество произведений бывшего берлинского доцента. Зачем же повторять чужие ошибки и становиться на таком шатком основании в отрицательное отношение к величайшей и самой революционной общественной теории XIX века? Ведь без революционной теории нет революционного движения, в истинном смысле этого слова. Всякий класс, стремящийся к своему освобождению, всякая политическая партия, добивающаяся господства, революционны лишь постольку, поскольку они представляют собою наиболее прогрессивные общественные течения, а следовательно, являются носителями наиболее передовых идей своего времени. Революционная по своему внутреннему содержанию идея есть своего рода динамит, которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире. И пока наше движение будет происходить под знаменем отсталых или ошибочных теорий, оно будет иметь революционное значение лишь *некоторыми*, но далеко не всеми своими сторонами. В то же время оно без ведома своих участников будет носить в себе зародыши реакции, которые лишат его и этой доли значения в более или менее близком будущем, потому что, как сказал еще Гейне, всякому

Новому времени новый костюм
Потребен для нового дела.

А ведь настанет же, наконец, оно, это действительно новое время, и для нашего отечества.

Впрочем, неверное понимание тех или других положений современного социализма не составляет еще главного препятствия для окончательного выхода нашего революционного движения на путь, проложенный рабочим классом Запада. Ближайшее знакомство с литературой «марксизма» покажет нашим социалистам, какого могучего оружия лишали они себя, отказываясь понять и усвоить теорию великого учителя «пролетариев всех стран». Они убедятся тогда, что наше революци-

* См. «Kritische Geschichte der Nationaloekonomie und des Sozialismus», dritte Auflage, S. 498. [«Критическая история политической экономии и социализма», третье издание, стр. 498.]

онное движение не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами и новая, высшая точка зрения примирит все существующие у нас фракции, которые правы каждая по-своему, потому что при всей своей односторонности каждая из них выражает известную насущную потребность русской общественной жизни.

Есть другое препятствие для развития нашего движения в только что указанном направлении. Оно заключается в том отсутствии у нас политического глазомера, которое с самого начала движения мешало нашим революционерам привести свои ближайшие задачи в соответствие со своими силами и которое обусловливается не чем другим, как недостатком политического опыта у русских общественных деятелей. Отправлялись ли мы в народ с целью распространения социалистических изданий, селились ли мы в деревнях для организации протестующих элементов нашего крестьянства, вступали ли мы в непосредственную борьбу с представителями абсолютизма, — мы везде повторяли одну и ту же ошибку. Мы всегда преувеличивали свои силы, никогда не принимали в расчет во всей его полноте ожидающего нас сопротивления общественной среды и торопились возвести временно благоприятствуемый обстоятельствами способ действия в универсальный принцип, исключающий все другие способы и приемы. Все наши программы находились благодаря этому в совершенно неустойчивом равновесии, из которого их могла вывести самая незначительная перемена в окружающей обстановке. Чуть не каждые два года меняли мы эти программы и не могли остановиться на чем-либо *прочном*, потому что всегда останавливались на чем-нибудь *узком* и *одностороннем*. Подобно тому как, по словам Белинского, русское общество, не имея еще литературы, пережило уже все литературные направления, русское социалистическое движение, не сделавшись еще движением нашего рабочего класса, успело уже перепробовать все возможные оттенки западноевропейского социализма.

Предпринятая «Народной Волей» борьба с абсолютизмом, выдвигая наших революционеров на более широкий путь деятельности, заставляя их стремиться к созданию действительной *партии*, будет, без всякого сомнения, сильно содействовать устранению односторонности *кружков*. Но, чтобы прекратить эту постоянную смену программ, чтобы отделаться от этих привычек политических номадов и приобрести, наконец, умственную оседлость, русские революционеры должны довести до конца дело критики, начавшееся с возникновением в их среде сознательных политических тенденций. Они должны стать в критическое отношение к той самой программе, которая сделала необходимой критику *всех* прежних программ и теорий. «Партия

Народной Воли» есть дитя переходного времени. Ее программа есть последняя программа, родившаяся в тех условиях, которые делали нашу односторонность неизбежным и потому законным явлением. Расширяя политический горизонт русских социалистов, программа эта сама не свободна еще от односторонности В ней также заметно отсутствие политического глазомера, способности сообразовать ближайшие цели партии с ее действительными или возможными силами. Партия Народной Воли напоминает человека, идущего по настоящей дороге, но еще не имеющего понятия о расстояниях и потому уверенного в том, что он тотчас же может «верст сто тысяч отмахать и нигде не отдыхать». Практика разрушит, разумеется, его иллюзию, но это разрушение может стоить ему очень дорого. Лучше ему самому спросить себя, не принадлежат ли семимильные шаги к области фантазии.

Под хождением семимильными шагами мы разумеем упомянутый уже фантастический элемент в интересующей нас программе, который во втором нумере «Народной Воли» выразился в уверенности относительно социально-революционного (мы не говорим *социалистического*) большинства в будущем русском Учредительном собрании [1], а в № 8—9 проявил себя в рассуждениях о «захвате власти временным революционным правительством» [2]. Мы глубоко убеждены, что этот фантастический элемент в высшей степени вреден для самой «партии Народной Воли». Как партии социалистической, он вреден ей тем, что отвлекает ее от ее непосредственных задач в среде рабочего класса в России; как партии, взявшей на себя инициативу нашего освободительного движения, он вреден ей тем, что всегда будет отталкивать от нее очень много средств и сил, которые могли бы при других условиях притекать к ней из среды так называемого общества. Объяснимся подробнее.

К кому обращается, к кому *может* и должна обращаться «Народная Воля» в своей борьбе с абсолютизмом? «Привлечение в организацию (Народной Воли) *отдельных лиц из крестьянства*, способных к ней примкнуть, — читаем мы в «Календаре Народной Воли» *, — конечно, всегда признавалось очень желательным [3]... Но что касается организации в настоящее время *в массе* крестьянства, то она признавалась в эпоху составления программы совершенной фантазией, и, если не ошибаемся, дальнейшая практика не могла изменить в этом отношении мнений наших социалистов». Быть может, «партия Народной Воли» рассчитывает опереться на более передовой слой нашего трудящегося населения, т. е. на городских рабочих? Она, действитель-

* «Подготовительная работа партии», стр. 129 в примечании. [Курсив Плеханова.]

но, придает весьма большое значение делу пропаганды и организации в их среде, она считает, что «городское рабочее население должно обратить на себя серьезное внимание партии». Но уже самая мотивировка необходимости этого дела показывает, что, по ее понятиям, городские рабочие должны быть лишь одним из элементов нашего революционного движения. Они «имеют особенно важное значение *для революции* как по своему положению, так и по относительно большей развитости, — поясняет нам тот же документ, — успех первого нападения всецело зависит от поведения рабочих и войска». Значит, предстоящая революция не будет рабочей революцией в полном смысле этого слова, но рабочие должны принять в ней участие, так как они «имеют *для нее* особенно важное значение». Какие же другие элементы войдут в это движение? Мы видели уже, что войдет, между прочим, «войско», а в войске «при настоящих условиях пропаганда между солдатами затруднена в такой степени, что на нее едва ли можно возлагать много надежд. Гораздо удобнее воздействие на *офицерство:* более развитое, более свободное, оно более доступно влиянию»! Это, конечно, совершенно справедливо, но не будем пока останавливаться на этом и пойдем далее. Кроме рабочих и «офицерства», партия Народной Воли имеет в виду также либералов и «Европу», по отношению к которой «политика партии должна стремиться к тому, чтобы обеспечить русской революции сочувствие *народов*, вызвать к этой революции симпатии европейского общественного мнения». Для достижения этой цели «партия должна знакомить Европу со всем пагубным значением русского абсолютизма для самой европейской цивилизации, с истинными целями партии, со значением нашего революционного движения как выражения всенародного протеста». Что же касается «либералов», то в отношении к ним «следует, не скрывая своего радикализма, указывать на то, что при современной постановке партионных задач интересы наши и их заставляют совместно действовать против правительства».

Мы видим, таким образом, что партия «Народной Воли» рассчитывает не на один только рабочий и крестьянский классы и даже не главным образом на эти классы. Она имеет в виду также и общество и офицерство, которое в сущности есть «плоть от плоти и кость от костей» того же общества. Она хочет убедить либеральную часть этого общества, что «при современной постановке партионных задач» интересы русского либерализма сходятся с интересами русской социально-революционной партии. Что же она делает, чтобы вселить в русских либералах это убеждение? Она издает, во-первых, программу «Исполнительного Комитета» [1], в которой говорится, что «*народная воля* была бы достаточно хорошо высказана и проведена Учредительным

собранием, избранным свободно, всеобщей подачей голосов, при инструкциях от избирателей». В известном «Письме к Александру III» Исполнительный Комитет также требует «созыва представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями»[1]. Такая программа, действительно, совпадает с интересами русских либералов, и для ее осуществления они, пожалуй, примирились бы и со всеобщим избирательным правом, которого не может не требовать «Исполнительный Комитет». Во всем этом программа названного «Комитета» обнаруживает гораздо бо́льшую зрелость, чем все предшествовавшие ей программы. Но, не говоря уже о таком крупном промахе, как требование свободы сходок, слова, печати и избирательных программ лишь «в виде временной меры»*[2], припомним другие заявления партии «Народной Воли». Орган этой партии поспешил предупредить читающую публику, что большинство депутатов Учредительного собрания будет состоять из сторонников радикального экономического переворота. Мы уже говорили выше, что эта уверенность была не более, как фикцией, придуманной для соглашения несогласимых между собою элементов народовольческой программы. Взглянем теперь на печатное выражение такой уверенности с точки зрения тактики. Спрашивается, разве экономический переворот входит в интересы русского либерализма? Разве наше либеральное общество сочувствует аграрной революции, которой, по словам «Народной Воли», будут добиваться крестьянские депутаты? Западноевропейская история говорит нам весьма убедительно, что там, где «красный призрак» принимал хоть сколько-нибудь грозные формы, «либералы» готовы были искать защиты в объятиях самой бесцеремонной военной диктатуры. Думал ли террористический орган, что наши русские либералы составят исключение из этого общего правила? Если так, то на чем основывал он свое убеждение? Думал ли он также, что современное «общественное мнение Европы» до такой степени проникнуто социалистическими идеями, что будет сочувствовать созыву социально-революционного Учредительного собрания? Или он думал, что, трепеща красного призрака у себя дома, европейская буржуазия будет аплодировать появлению его в России? Само собою разумеется, что ничего подобного он не думал и ничего подобного не забывал. Но зачем же в таком случае было делать это рискованное заявление? Или орган партии «Народной Воли» был до такой степени убежден в неминуемом осуществлении своего пророчества, что считал нужным побудить членов орга-

* См. «Письмо к Александру III», «Календарь Народной Воли», стр. 14.

низации к принятию мер, соответствующих важности ожидаемого события? Но, ввиду того что в том же органе деятельность в народе объявлялась бесплодною, мы думаем, что заявление это имело скорее успокоительный, чем побудительный характер: социально-революционное большинство в Учредительном собрании ожидалось, *несмотря* на то, что названная деятельность напоминает собою теперь «наполнение бездонных бочек Данаид».

Само по себе заявление это могло бы считаться неважным, тем более что «Народная Воля» сама, повидимому, рассталась с преувеличенно радужными надеждами на состав будущей русской Конституанты. Мы думаем так потому, что передовая статья № 8—9 говорит об экономическом перевороте, который, в случае отсутствия социально-революционной инициативы в самом народе, должен быть совершен «временным революционным правительством» ранее созыва Учредительного собрания. Автор статьи совершенно справедливо видит лишь в таком перевороте гарантию того, что «на созванный Земский Собор явятся истинные представители народа». Прежняя иллюзия «Народной Воли» рассеялась, таким образом, окончательно. Но, к сожалению, она исчезла лишь затем, чтобы уступить место новой, еще более вредной для дела самой партии «Народной Воли». Фантастический элемент программы не уничтожился, он принял только новый вид и называется теперь тем самым *«захватом власти временным революционным правительством»*, который должен доставить партии возможность совершить упомянутый экономический переворот. Само собою понятно, что эта новая «постановка партионных задач» ни в коем случае не может внушить ни русским либералам, ни буржуазной Европе мысли о солидарности их интересов с интересами русского революционного движения. Как ни забито, как ни задавлено русское общество, но оно вовсе не лишено инстинкта самосохранения и ни в каком случае не пойдет добровольно навстречу «красному призраку»; указывать ему на такую «постановку» задач партии — значит лишать себя его поддержки и рассчитывать лишь на свои собственные силы. Но настолько ли велики эти силы, чтобы не рискованно было отталкивать от себя такого союзника? Могут ли наши революционеры действительно захватить в свои руки власть и удержать ее хоть на короткое время, или все толки об этом представляют собою не что иное, как выкраивание шкуры зверя, не только еще не убитого, но по обстоятельствам дела и не подлежащего убиению? Вот вопрос, который становится в последнее время злобою дня революционной России...

Спешим оговориться. Предыдущие страницы должны были уже убедить читателя, что мы не принадлежим к числу принципиальных противников такого акта, как захват власти револю-

ционной партией. По нашему мнению, он представляет собою последний и притом совершенно неизбежный вывод из той политической борьбы, которую на известной ступени общественного развития должен начать всякий класс, стремящийся к своему освобождению. Достигший политического господства революционный класс только тогда и сохранит за собою это господство, только тогда и будет в сравнительной безопасности от ударов реакции, когда он направит против нее могучее орудие государственной власти. Den Teufel halte, wer ihn hält!*— говорит Фауст.

Но диктатура класса, как небо от земли, далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев. Это в особенности можно сказать о диктатуре рабочего класса, задачей которого является в настоящее время не только разрушение политического господства непроизводительных классов общества, но и устранение существующей ныне анархии производства, сознательная организация всех функций социально-экономической жизни. Одно *понимание* этой задачи предполагает развитой рабочий класс, обладающий политическим опытом и воспитанием, освободившийся от буржуазных предрассудков и умеющий самостоятельно обсуждать свое положение. *Решение* же ее предполагает, кроме всего сказанного, еще и распространение социалистических идей в среде пролетариата, сознание им своей силы и уверенность в победе. Но *такой* пролетариат *и не позволит* захватить власть даже самым искренним своим благожелателям. Не позволит по той простой причине, что он проходил школу своего политического воспитания с твердым намерением окончить когда-нибудь эту школу и выступить самостоятельным деятелем на арену исторической жизни, а не переходить вечно от одного опекуна к другому; не позволит потому, что такая опека была бы излишней, так как он и сам мог бы тогда решить задачу социалистической революции; не позволит, наконец, потому, что такая опека была бы вредной, так как сознательного участия производителей в деле организации производства не заменит никакая конспираторская сноровка, никакая отвага и самоотвержение заговорщиков. Одна мысль о том, что социальный вопрос может быть на практике решен кем-либо, помимо самих рабочих, указывает на полное непонимание этого вопроса, без всякого отношения к тому, держится ли ее «железный канцлер» [1] или революционная организация. Понявший условия своего освобождения и созревший для него пролетариат возьмет государственную власть в свои собственные руки, с тем чтобы, покончивши с своими врагами, устроить общественную жизнь на началах не *ан*-архии, конечно, которая принесла бы

* [Кто черта держит — тот его держи!]

ему новые бедствия, но *пан*-архии, которая дала бы возможность непосредственного участия в обсуждении и решении общественных дел всем взрослым членам общества. До тех же пор, пока рабочий класс не развился еще до решения своей великой исторической задачи, обязанность его сторонников заключается в ускорении процесса его развития, в устранении препятствий, мешающих росту его силы и сознания, а не в придумывании социальных экспериментов и вивисекций, исход которых всегда более чем сомнителен.

Так понимаем мы вопрос о захвате власти в социалистической революции. Применяя эту точку зрения к русской действительности, мы должны сознаться, что отнюдь не верим в близкую возможность социалистического правительства в России.

«Народная Воля» считает современное «соотношение политических и экономических факторов на русской почве» особенно «выгодным» для социалистов [1]. Мы согласны, что оно более выгодно для них в России, чем в Индии, Персии или Египте, но его, конечно, невозможно и сравнивать с западноевропейскими общественными отношениями. И если «Народная Воля» пришла к своему убеждению, противопоставляя наши порядки не египетским или персидским, а французским или английским, то она впала в очень крупную ошибку. Современное «соотношение» общественных факторов «на русской почве» обусловливает собою невежество и индифферентизм народной массы; когда же такие свойства были выгодны для дела ее освобождения? «Народная Воля» полагает, повидимому, что индифферентизм этот начинает уже исчезать, так как в народе все более и более «пробуждается ненависть к привилегированным, правящим сословиям и настойчивое стремление к радикальному изменению экономических отношений». Но что же выходит из этого стремления? «Ненависть к привилегированным сословиям» еще ровно ничего не доказывает: она не сопровождается часто ни одним лучом политического сознания. Притом же в настоящее время нам нужно строго различать *сословное* сознание от сознания *классового*, так как старые сословные подразделения не соответствуют более экономическим отношениям России и готовятся уступить свое место формальному равенству граждан в «правовом государстве». Если «Народная Воля» взглянет на современное миросозерцание нашего крестьянства с точки зрения развития в нем *классового* и *политического* сознания, то она едва ли будет настаивать на выгодности соотношения наших общественных факторов для дела социального переворота. Ведь не может же она считать «выгодными» для этого дела хотя бы те толки, которые идут в среде крестьянства по поводу ее собственной борьбы с правительством. Как ни сильно сказывается в этих толках «ненависть к правящим классам» [2], но ввиду того, что самое революционное движе-

ние приписывается крестьянами крепостническим проискам дворян и чиновников, «временное революционное правительство» будет находиться в большой опасности, когда народ начнет «отвоевывать экономическое равенство у своих вековых угнетателей и эксплуататоров». Тогда нынешнее соотношение интересующих нас факторов обнаружит, пожалуй, свойства, весьма *невыгодные* для временно восторжествовавших заговорщиков. Да и что значит «отвоевать экономическое равенство»?

Достаточно ли для этого экспроприировать крупных землевладельцев, капиталистов и предпринимателей? Не нужно ли для этого организовать известным образом и самое производство? А если да, то благоприятны ли ей современные экономические отношения России, иначе говоря, много ли шансов на ее успех обещает нам «экономический фактор»? Мы думаем, что нет, и думаем так по следующей причине. Всякая организация предполагает известные, определяемые ее целью и характером свойства организуемого. Социалистическая организация производства предполагает такой характер экономических отношений, который делал бы эту организацию логическим выводом из всего предыдущего развития страны и, следовательно, отличался бы весьма значительной определенностью. Другими словами, социалистическая, как и всякая другая, организация требует соответствующей ей основы. Этой-то основы и нет в современной России. Старые устои народной жизни слишком узки, разнородны и односторонни и, кроме того, слишком уже расшатаны, а новые только еще вырабатываются. Объективные общественные условия производства не созрели еще для социалистической организации, а потому и в самих производителях нет еще ни стремления, ни способности к такой организации: наше крестьянство не может еще ни понять, ни решить этой задачи. Поэтому «временному правительству» придется не «санкционировать», а *совершать* «экономический переворот», если только его не снесет волной народного движения, если только оно встретит достаточно повиновения со стороны производителей.

Но декретами не создашь условий, чуждых самому характеру современных экономических отношений. «Временному правительству» придется мириться с тем, что есть, брать то, что дает ему современная русская действительность в качестве основы его реформаторской деятельности. И на этой-то узкой и шаткой основе здание социалистической организации будет строиться руками правительства, в которое войдут: во-первых, городские рабочие, пока еще мало подготовленные к такой трудной деятельности; во-вторых, представители нашей революционной молодежи, всегда остававшейся чуждой практической

жизни, и, в-третьих, «офицерство», в экономических познаниях которого весьма позволительно усомниться. Мы не хотим делать вполне вероятного предположения относительно того, что рядом со всеми этими элементами во временное правительство проникнут и либералы, которые будут не сочувствовать, а мешать социально-революционной «постановке партионных задач». Мы предлагаем читателю взвесить лишь выше перечисленные обстоятельства и затем спросить себя: много ли вероятности успеха имеет «экономический переворот», начавшийся при этих обстоятельствах? Точно ли выгодно для дела социалистической революции существующее ныне «соотношение политических и экономических факторов на русской почве»? И не принадлежит ли уверенность в выгодности этого соотношения к числу фикций, заимствованных из старого, анархически-бунтарского миросозерцания и доведенных в программе новой, *политической* партии до совершенно уже невозможной крайности? А ведь этой фикцией определяются ближайшие «непосредственные задачи» партии, на ней основывается стремление к немедленному «захвату власти», стремление, пугающее наше общество и придающее односторонний характер всей деятельности наших революционеров!

Нам возразят, быть может, что «Народная Воля» и не думает приступать к социалистической организации общества тотчас же после захвата ею власти, что проектируемый ею «экономический переворот» имеет целью лишь воспитание народа для будущей социалистической революции. Посмотрим, возможно ли такое предположение, и если — да, то какие следуют из него выводы?

Передовая статья № 8—9 «Народной Воли» говорит об экономическом равенстве, которое будет «отвоевано» самим народом, а в случае недостатка в нем инициативы создано временным правительством. Мы говорили уже, что это так называемое экономическое равенство возможно лишь при социалистической организации производства. Но допустим, что «Народная Воля» считает его возможным и при других условиях, что экономическое равенство будет, по ее мнению, достаточно обеспечено переходом земли и орудий производства в собственность трудящихся. Такое мнение было бы не чем другим, как возвратом к старым народническим идеалам «Земли и Воли», и, с экономической точки зрения, обнаруживало бы те же самые слабые стороны, которые свойственны были этим идеалам. Взаимные отношения отдельных общин друг к другу, превращение продуктов труда общинников в товары и связанное с ним капиталистическое накопление грозили бы сделать это «равенство» весьма неустойчивым! При самостоятельности мира, «как экономической и административной единицы», при «широком областном самоуправле-

нии, обеспеченном выборностью всех должностей», и «принадлежности земли народу», которых требует программа Исполнительного Комитета, центральное правительство не *могло бы* принять никаких мер для упрочения этого равенства, если даже и предположить, что оно придумало бы такие меры, которые упразднили бы не только писаные законы Российской империи, но и законы самого товарного производства. Да оно и не захотело бы принимать таких мер, так как оно состояло бы из представителей того «освобожденного экономически и политически народа», идеалы которого в лучшем случае выражались бы словами «Земля и Воля» и не оставляли бы места для какой-либо организации национального производства (мы не говорим уже об *интернациональном*).

Предположим, что ввиду этой опасности «временное правительство» «Народной Воли» не передаст захваченной им власти народным представителям и превратится в постоянное. Тогда ему будет предстоять такая альтернатива: или оно должно будет оставаться равнодушным зрителем медленного разложения созданного им «экономического равенства», или оно вынуждено будет *организовать* национальное производство. Решить эту трудную задачу оно должно будет или в духе современного социализма, чему помешают как его собственная непрактичность, так и современная степень развития национального труда и привычки самих трудящихся, или же оно должно будет искать спасения в идеалах «патриархального и авторитарного коммунизма», внося в эти идеалы лишь то видоизменение, что вместо перувианских «сынов солнца» и их чиновников национальным производством будет заведовать социалистическая каста. Но русский народ и теперь уже слишком развит, чтобы можно было льстить себя надеждою на счастливый исход таких опытов над ним. Несомненно, кроме того, что при такой опеке народ не только не воспитался бы для социализма, но или окончательно утратил бы всякую способность к дальнейшему прогрессу, или сохранил бы эту способность лишь благодаря возникновению того самого экономического *не*равенства, устранение которого было бы непосредственной целью революционного правительства. Мы не говорим уже о влиянии международных отношений и о невозможности перувианского коммунизма даже на востоке Европы XIX или XX столетия.

Впрочем, зачем так много говорить о *результатах* захвата власти нашими революционерами. Вероятен ли, возможен ли самый захват? По нашему мнению, очень, очень мало вероятен; так мало вероятен, что его можно считать совсем невозможным. Наш «мыслящий пролетариат» сделал уже очень много для освобождения своей родины. Он расшатал абсолютизм, пробудил политический интерес в обществе, занес семя социалистической

пропаганды в среду нашего рабочего класса. Он составляет переход от высших классов общества к низшему, обладает образованием первых и демократическими инстинктами второго. Это положение облегчало ему разностороннюю работу агитации и пропаганды. Но то же самое положение дает ему очень мало надежды на успех заговора с целью захвата власти. Для такого заговора недостаточно талантов, энергии и образования: нужны связи, богатство и влиятельное общественное положение заговорщиков. Именно этого-то и недостает нашей революционной интеллигенции. Пополнить этот недостаток она может, лишь вступая в союз с другими недовольными элементами русского общества. Допустим, что ее планы и встретят сочувствие со стороны этих элементов, допустим, что к заговору примкнут богатые землевладельцы, капиталисты, чиновники, штаб- и оберофицеры. Успех заговора станет тогда вероятнее, хотя вероятность эта будет еще очень невелика: припомним только исход большей части известных в истории заговоров. Но главная опасность будет грозить *социалистическому* заговору не со стороны существующего правительства, а со стороны его собственных участников. Вошедшие в него влиятельные и высокопоставленные лица могут быть искренними социалистами лишь в виде «счастливой случайности». Относительно же большей части этих лиц не может быть никаких гарантий в том, что они не пожелают воспользоваться захваченною ими властью для целей, не имеющих ничего общего с интересами рабочего класса. А раз заговорщики отклонятся от социалистической цели заговора, его можно считать не только бесполезным, но даже вредным для социального развития страны; ведь нельзя же из ненависти к абсолютизму сочувствовать успехам «новейших Сэянов» — как выражается Степняк в своей известной книге, — которые захотели бы воспользоваться заговором в своих собственных интересах. Таким образом, результаты заговора социалистической интеллигенции с целью захвата власти в ближайшем будущем станут тем более сомнительными, чем более сочувствия встретит он во влиятельных сферах, т. е. чем вероятнее будет его внешний успех; и наоборот, результаты такого заговора, поскольку речь идет о намерениях его участников, будут тем несомненнее, чем более его сфера ограничится нашей социалистической «интеллигенцией», т. е. чем невероятнее будет его счастливый исход. Все заставляет думать, что в настоящее время русскому социалистическому заговору грозила бы неудача скорее второго, чем первого рода.

Ввиду всего сказанного мы думаем, что единственною нефантастическою целью русских социалистов может быть теперь только завоевание свободных политических учреждений, с одной стороны, и выработка элементов для образования буду-

щей *рабочей социалистической партии* России — с другой. Они должны выставить требование демократической конституции, которая вместе с «правами человека» обеспечила бы рабочим «права гражданина» и дала бы им путем всеобщего избирательного права возможность активного участия в политической жизни страны. Не пугая никого далеким пока «красным призраком», такая политическая программа вызывала бы к нашей революционной партии сочувствие всех, не принадлежащих к систематическим противникам демократии; вместе с социалистами под ней могли бы подписаться очень многие представители нашего либерализма *. И между тем как захват власти той или другой тайной революционной организацией всегда останется лишь делом этой организации и лиц, посвященных в ее планы, агитация в пользу названной программы была бы делом всего русского общества, в котором она усиливала бы сознательное стремление к политическому освобождению. Тогда интересы либералов действительно «заставили» бы их «вместе с социалистами действовать против правительства», потому что либералы перестали бы встречать в революционных изданиях уверения в том, что ниспровержение абсолютизма будет сигналом социальной революции в России. Вместе с тем другая, менее пугливая и более трезвая, часть либерального общества перестала бы видеть в революционерах непрактичных юношей, задающихся несбыточными и фантастическими планами. Этот невыгодный для революционеров взгляд уступил бы место уважению общества не только к их героизму, но и к их политической зрелости. Постепенно это сочувствие перешло бы в активную поддержку или, что вероятнее, в самостоятельное общественное движение, и тогда пробил бы, наконец, час падения абсолютизма. Социалистическая партия играла бы в этом освободительном движении весьма почетную и выгодную роль. Ее славное прошлое, ее самоотвержение и энергия придали бы вес ее требованиям, и она имела бы, по крайней мере, шансы завоевать таким образом *народу* возможность политического развития и воспитания, а *себе* — право открытого обращения к нему со своею проповедью и открытой организации его в особую партию.

Но этого мало. Вернее, это недостижимо без одновременной деятельности другого рода и в другой сфере. Без силы нет и

* [Примечание к изданию 1905 г.] Сочувствие «общества» для нас очень важно, и мы можем — точнее: у нас *было много шансов* — приобрести его, ни на иоту не изменяя своей программе. Но, разумеется, для перехода этой *возможности в действительность* необходим *такт*, которым мы не всегда обладаем. Вот, например, мы иногда пускаемся ругать «капитал» как раз *по тому поводу*,—хотя, конечно, и *не за то*,—что он «бунтует». Маркс никогда не сделал бы такой грубой тактической ошибки. Он нашел бы, что она достойна Карла Грюна и других «истинных социалистов».

права. Всякая конституция — по прекрасному выражению Лассаля — соответствует или стремится прийти в соответствие с *«реальными, фактическими отношениями силы, существующими в стране»*. Поэтому наша социалистическая интеллигенция должна позаботиться о том, чтобы еще в доконституционный период изменить эти фактические отношения русских общественных сил в пользу рабочего класса. В противном случае падение абсолютизма далеко не оправдает надежд, возлагаемых на него русскими социалистами или даже демократами. Требования народа и в конституционной России могут быть оставлены совсем без внимания или удовлетворены лишь настолько, насколько это необходимо для усиления его податной способности, ныне почти совершенно истощенной хищническим характером государственного хозяйства. Сама социалистическая партия, завоевавши либеральной буржуазии свободу слова и действия, может очутиться в «исключительном» положении, подобном положению современной немецкой социал-демократии. В политике на благодарность вчерашних союзников и нынешних врагов может рассчитывать лишь тот, кому невозможно рассчитывать на что-либо более серьезное.

К счастью, русские социалисты могут строить свои надежды на более прочном основании. Они могут и должны надеяться прежде всего на рабочий класс. Сила рабочего, как и всякого другого, класса зависит, между прочим, от ясности его политического сознания, от его сплоченности и организованности. Именно эти элементы его силы и подлежат воздействию нашей социалистической интеллигенции. Она должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении, выяснить ему его политические и экономические интересы, равно как и взаимную связь этих интересов, должна подготовить его к самостоятельной роли в общественной жизни России. Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы в первый же период конституционной жизни России наш рабочий класс мог выступить в качестве особой партии с определенной социально-политической программой. Подробная выработка этой программы, конечно, должна быть предоставлена самим рабочим, но интеллигенция должна выяснить им главнейшие ее пункты, как, например, радикальный пересмотр современных аграрных отношений, податной системы и фабричного законодательства, государственная помощь производительным ассоциациям и т. п. Все это может быть достигнуто лишь путем усиленной работы в среде, по крайней мере, наиболее передовых слоев нашего рабочего класса, путем устной и печатной пропаганды и организации рабочих социалистических кружков. Эти задачи всегда занимали, правда, более или менее видное место в программах наших социалистов, а «Календарь Народной Воли»

может убедить нас в том, что они не были забыты даже в пылу самой ожесточенной борьбы с правительством (смотри «Подготовительную работу партии», рубрику — В, *Городские рабочие*). Но мы предлагаем всякому, знакомому с нашим революционным движением, припомнить и сравнить, сколько сил и средств поглотила разрушительная работа и сколько пошло их на подготовление элементов для будущей *рабочей социалистической партии*. Не виня никого, мы думаем, однако, что распределение революционных сил было слишком односторонне. А между тем мы напрасно стали бы объяснять это свойством самих революционных сил или той рабочей среды, на которую им нужно было воздействовать, согласно их собственной программе. Появление и успех таких изданий, как «Зерно» и «Рабочая Газета» [1], показывают, что наши революционеры не утратили склонности к пропаганде, а наши рабочие не остались к ней равнодушны. Названные издания не избежали, конечно, ошибок, иногда весьма существенных, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главная беда в том, что в издании этих листков не видно той энергии, с какой ведется литературная пропаганда в «интеллигентных» слоях общества, что арестованная типография не заменяется новой, что за невозможностью вести дело издания в России оно не переносится за границу и т. д. Из всех заграничных журналов, а их было у нас немало, только «Работник» [2] и имел в виду читателей из народа, и в этом величайшая заслуга его издателей. Но «Работник» давно уже прекратился, а мы ничего не слыхали о новых попытках в этом роде, хотя бы и с другою программою, более подходящей к изменившимся взглядам русских социалистов. А что издано у нас для рабочих в России, кроме «Зерна» и «Рабочей Газеты»? Ровно ничего. Ни одной книжки, ни одной брошюры *. И это в то время, когда революционное движение обратило на себя всеобщее внимание и народ, с жадностью ловя все слухи и толки, в недоумении спрашивал себя: чего хотят эти люди? Можно ли после этого удивляться тем нелепым ответам на этот вопрос, которыми он довольствуется иногда, за неимением лучших. Повторяем, мы не виним *никого*, но *всем* советуем обратить

* [Примечание к изданию 1905 г.] Отсюда видно, что идея популярного органа совсем не новость в нашей литературе. Но это обстоятельство, разумеется, не помешало ей казаться опасным новшеством многим товарищам *не далее, как накануне нашего второго съезда*, когда я являлся между «искровцами» едва ли не единственным ее сторонником. Теперь эта идея получила уже практическое — более или менее удачное — осуществление. Лучше поздно, чем никогда. Но если бы вы слышали, читатель, какие изумительные выводы приводились против этой идеи в только что указанное, еще недалекое от нас время, вы воскликнули бы, как Фауст: Wie weh, wie weh, wie weh! [Как больно, как больно, как больно!]

внимание на эту сторону дела, чтобы во-время наверстать упущенное *.

Таким образом, борьба за политическую свободу, с одной стороны, и подготовка рабочего класса к его будущей самостоятельной и наступательной роли, с другой, — такова, по нашему мнению, «постановка партионных задач», единственно возможная в настоящее время. Связывать в одно два таких существенно различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития *совпадут* в истории нашего отечества, — *значит отдалять наступление и того и другого*. Но от нас зависит *сблизить* эти два момента. Мы должны последовать прекрасному примеру немецких коммунистов, которые шли, по словам *Манифеста*, «рядом с буржуазией, поскольку она являлась революционной в борьбе своей против абсолютной монархии», и в то же время «ни на минуту не переставали вырабатывать в умах рабочих возможно более ясное сознание враждебной противоположности интересов буржуазии и пролетариата». Поступая таким образом, коммунисты хотели, чтобы «немецкая буржуазная революция послужила лишь непосредственным прологом революции рабочей» [1].

Современное положение буржуазных обществ и влияние международных отношений на социальное развитие каждой цивилизованной страны дают нам право надеяться, что социальное освобождение русского рабочего класса последует очень скоро за падением абсолютизма. Если немецкая буржуазия «*пришла слишком поздно*», то русская запоздала еще более, и господство ее не может быть продолжительным. Нужно только, чтобы русские революционеры, в свою очередь, не «слишком поздно» начали дело подготовки рабочего класса, дело, теперь уже ставшее вполне своевременным и насущным.

Во избежание недоразумений оговоримся. Мы не держимся того взгляда — скорее, как мы видели, навязанного школе Маркса, чем существовавшего в действительности, — взгляда, по которому социалистическое движение не может будто бы встретить поддержки в нашей крестьянской среде до тех пор, пока крестьянин не превратится в безземельного пролетария, а сельская община не разложится под влиянием капитализма. Мы думаем, что — в общем — русское крестьянство отнеслось бы с большой симпатией ко всякой мере, имеющей в виду так называемую «национализацию земли». При возможности сколько-нибудь свободной агитации в его среде** оно отнеслось

* «В истекшем году, — читаем мы в Прибавлении к «Листку Н. В.» № 1 (1883 г., стр. 61), — был целый ряд стачек, которые *благодаря отсутствию организации рабочих* кончались большею частью неудачей»!

** [Примечание к изданию 1905 г.] Т. е. при конституции.

бы с сочувствием и к социалистам, которые не замедлили бы, разумеется, внести требование такого рода мер в свою программу. Но мы не преувеличиваем сил наших социалистов и не игнорируем тех препятствий, того сопротивления среды, с которыми им неизбежно придется считаться в своей деятельности. Поэтому, и *только поэтому*, мы думаем, что им следует на первое время сосредоточить главное свое внимание на промышленных центрах. Современное сельское население, живущее при отсталых социальных условиях, не только менее промышленных рабочих способно к сознательной политической *инициативе*, но и менее их *восприимчиво* к движению, начатому нашей революционной интеллигенцией. Ему труднее усвоить социалистические учения, потому что условия его жизни слишком непохожи на условия, породившие эти учения. К тому же крестьянство переживает теперь тяжелый, критический период. Прежние «стародедовские устои» его хозяйства рушатся, «сама несчастная община дискредитируется в его глазах»,по признанию даже таких «стародедовски» народнических органов, как «Неделя» [1] (см. 39 №, статью г. N. Z. «*В родных местах*»); новые же формы труда и жизни еще только складываются, и этот созидательный процесс обнаруживает наибольшую интенсивность именно в промышленных центрах. Как вода, размывая и разрушая одну часть почвы, образует в других местах новые осадки и отложения, так процесс русского социального развития образует новые общественные формации, разрушая вековые формы отношения крестьян к земле и друг к другу. Эти новые общественные формации носят в себе зародыши нового общественного движения, которое одно только и может положить конец эксплуатации трудящегося населения России. Промышленные рабочие, обладающие бо́льшим развитием, более высокими потребностями и более широким кругозором, чем крестьянство, примкнут к нашей революционной интеллигенции в ее борьбе с абсолютизмом и затем, добившись политической свободы, организуются в рабочую социалистическую партию, которая и должна будет начать систематическую пропаганду социализма в среде крестьянства. Говорим *о систематической пропаганде* потому, что отдельные случаи пропаганды и агитации в крестьянстве, конечно, не должны быть упускаемы и в настоящее время. Едва ли нужно прибавлять, что наши социалисты должны были бы изменить распределение своих сил в народе, если бы в среде крестьянства обнаружилось сильное самостоятельное движение.

Такова «программа», которая самою жизнью подсказывается русской революционной социалистической партии. Сумеет ли она выполнить эту программу? Захочет ли она покинуть фантастические планы и замыслы, которые, надо сознаться, очень

много говорят чувству и воображению? Пока еще трудно отвечать на это с уверенностью. «Объявление об издании «Вестника Народной Воли»» говорит о политических задачах революционной партии лишь в самых общих выражениях [1]. Редакция «Вестника» называет эти цели «совершенно определенными» и не считает, повидимому, нужным снова определять их в своем объявлении. Можно опасаться поэтому, что она не сочтет также нужным спросить себя, соответствуют ли «совершенно определенные условия» современной русской действительности «совершенно определенным целям» партии Народной Воли? В таком случае новый орган оставит неудовлетворенной самую насущную потребность нашей революционной литературы — потребность в критическом пересмотре устаревших программ и традиционных способов действия. Но мы надеемся, что будущее рассеет наши опасения. Нам хочется думать, что новый орган трезво взглянет на те задачи нашей революционной партии, от решения которых зависит ее будущее. Общественная жизнь отнесется к ее современным иллюзиям с тою же беспощадностью, с какой отнеслась она к иллюзиям наших «бунтарей» и пропагандистов. *Лучше теперь же последовать ее указаниям, чем оплачивать впоследствии ее суровые уроки новыми расколами и новыми разочарованиями.*

NOS CONTROVERSES, *par G. Plechanoff*

БИБЛІОТЕКА СОВРЕМЕННАГО СОЦІАЛИЗМА

Выпускъ Третій.

НАШИ РАЗНОГЛАСІЯ

Г. Плеханова.

цѣна 1 руб.

ЖЕНЕВА

Типографія группы „Освобожденіе Труда"

1884

Титульная страница первого издания книги «Наши разногласия».

НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ

ПИСЬМО к П. Л. ЛАВРОВУ

(Вместо предисловия)

Многоуважаемый Петр Лаврович!

Вы недовольны группой «Освобождение Труда». В № 2 «Вестника Народной Воли» Вы посвятили ее изданиям особую заметку, и хотя заметка эта очень невелика, но заключающихся в ней двух с половиной страниц было достаточно для выражения Вашего несогласия с ее программой и Вашего неудовольствия по поводу ее отношения к «партии Народной Воли» [1].

Привыкши издавна уважать Ваши мнения, зная, кроме того, с каким вниманием прислушивается к ним наша революционная молодежь всех оттенков и направлений, я позволю себе сказать несколько слов в защиту группы, к которой Вы отнеслись, как мне кажется, не совсем справедливо.

Я тем более считаю себя вправе сделать это, что в своей заметке Вы говорите главным образом о моей брошюре «*Социализм и политическая борьба*». Ею вызваны Ваши упреки, ее автору удобнее всего и отвечать на них.

Вы находите, что эта брошюра может быть разделена на две части, «к которым,— по Вашему мнению,— Вам приходится отнестись различно». Одна часть этой брошюры, «именно вторая глава, заслуживает такое же внимание, как все серьезные труды по вопросам социализма». Другая, значительная доля ее — говорите Вы — посвящена полемике против прежней и настоящей деятельности партии Народной Воли, заграничным органом которой имеет в виду быть Ваш журнал. И Вы не только не согласны с мнениями, высказанными мною в этой части моей брошюры, но самый факт «полемики против Народной Воли» кажется Вам заслуживающим строгого порицания. Вы думаете, что «не особенно трудно было бы доказать г. Плеханову, что его нападения могут быть встречены весьма вескими

возражениями (тем более, что — может быть, вследствие поспешности — он цитирует неточно)». Вы убеждены также, что моя «собственная программа действия заключает в себе, может быть; гораздо большие недостатки и непрактичности, чем те, в которых я обвиняю партию Народной Воли». Но для указания этих недостатков и непрактичностей Вы, к величайшему моему сожалению, не имеете свободного времени. По Вашим словам, «орган партии «Народной Воли» посвящен борьбе против политических и социальных врагов русского народа»; эта борьба так сложна, что требует от Вас «*всего* Вашего времени, *всех* Ваших трудов». Вам «нет ни досуга, ни охоты» посвящать долю Вашего издания «на полемику против фракций русского революционного социализма, считающих, что для них полемика с Народной Волей более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа». Надеясь, что само время разрешит спорные вопросы в Вашу пользу, Вы не считаете полезным «подчеркивать не особенно значительное разногласие» Ваше с Освободителями труда — как Вам угодно называть нас *— «прямыми ударами, направленными на фракцию, большинство членов которой может быть не сегодня-завтра в рядах *Народной Воли*». Это превращение «Освободителей труда» в народовольцев кажется Вам тем более вероятным, что, по Вашим словам, «сам г. Плеханов, как он указал в предисловии к своей брошюре, совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных убеждениях», и Вы «имеете основание надеяться на новые шаги» с моей стороны «в том же направлении». Дойдя до этого пункта своей «эволюции», пункта, который кажется Вам, повидимому, апогеем возможного в настоящее время развития русского социализма, я сознаю, быть может,— надеетесь Вы — и еще одну сторону практической задачи всякой группы общественной армии, действующей против общего врага: именно, «что расстраивать организацию этой армии — даже если в ней видишь или предполагаешь некоторые недостатки — дозволительно только или врагам *дела* этой армии (из числа которых Вы меня исключаете), или группе, которая сама своею деятельностью, своею

* По поводу этого придуманного Вами названия я позволю себе, мимоходом, заметить следующее: «Освобождение Труда» есть девиз и название нашей группы. Но называть группу «Освобождение Труда» группой «Освободителей труда» — значит грешить против этимологии. Поясню это примером. Ваши сотрудники очень много говорят о «народоправлении»; при некоторой логической последовательности они должны были бы согласиться, что самое название их «партии» — Народная Воля — является не чем иным, как девизом, выражением стремления к такому политическому строю, представление о котором связывается со словом народоправление. Но значит ли это, что они могут претендовать на титул *народоправителей*?

силою и организациею способна стать общественною армией в данную историческую минуту». Но такая роль «находится,— по Вашему мнению,— в далеком, да, пожалуй, и несколько сомнительном будущем» для «Освободителей труда» как таковых, т. е. не завершивших еще цикла своих превращений и изображающих собою в настоящее время нечто вроде народовольческих личинок или куколок.

Таково, многоуважаемый Петр Лаврович, содержание всего сказанного Вами о моей брошюре, переданное почти дословно. Я, быть может, утомил Вас обилием цитат из Вашей собственной заметки, но, с одной стороны, я боялся нового обвинения в том, что я «не точно цитирую», а кроме того, я считал нелишним напомнить читателю Ваши слова во всей их полноте, чтобы таким образом облегчить ему произнесение окончательного приговора по нашему делу. Вы знаете, что читающая публика есть главный, верховный судья во всех спорах, возникающих в свободной «республике слова». Неудивительно поэтому, что каждая из сторон должна принимать все меры для выяснения этой публике истинного характера спорного вопроса.

Изложивши Ваши замечания на мою брошюру и Ваши соображения о принятой группою «Освобождение Труда» тактике по отношению к «партии Народной Воли», я перехожу теперь, многоуважаемый Петр Лаврович, к тем объяснениям, без которых невозможно правильное понимание мотивов, побудивших меня и моих товарищей поступать именно так, а не иначе.

Собственно говоря, я мог бы признать всякий разговор о таких мотивах совершенно излишним, а читатель может найти его очень мало интересным. Как! Разве вопрос о ближайших задачах, тактике и научном обосновании всей деятельности наших революционеров не составляет для нас самого важного, самого насущного вопроса русской общественной жизни? Разве вопрос этот может уже считаться решенным окончательно и безапелляционно? И разве не обязан всякий революционный писатель способствовать выяснению его всеми силами, какими он только обладает, со всем вниманием, на какое он только способен? Или выяснение это может быть признано полезным лишь в том случае, когда в результате его получается то убеждение, что, не обладая непогрешимостью папы, русские революционеры не сделали, однако, ни одной ошибки в своей практической деятельности, ни одного промаха в своих теоретических рассуждениях, что «все обстоит благополучно» как в том, так и в другом отношении? Или люди, не разделяющие этой приятной уверенности, должны быть осуждены на молчание, и чистота их намерений может быть заподозрена всякий раз, когда они берутся за перо, чтобы обратить внимание революционеров на

то, как ведется и как должно быть ведено, по их крайнему разумению, революционное дело? Если Спиноза еще в XVII столетии говорил, что в свободном государстве каждому должно быть предоставлено право думать, что он хочет, и говорить, что он думает, то возможно ли, чтобы это право могло быть подвергнуто сомнению в конце XIX века, в среде социалистической партии хотя бы и самого отсталого государства Европы? Признавая право свободной речи в принципе, занося требование его в свои программы, русские социалисты не могут предоставить *пользование* этим правом лишь той фракции или «партии», которая претендует на гегемонию в данный период революционного движения. Я думаю, что теперь, когда наша легальная литература подвергается самому беспощадному гонению, когда в нашем отечестве, в области мысли, как и во всех других сферах деятельности, «все живое, все честное косится» [1],— я думаю, что в такое время от революционного писателя можно скорее потребовать объяснения его *молчания*, чем *факта появления* того или другого из его произведений. И если Вы согласитесь с этим,— а не согласиться едва ли возможно,— то Вы согласитесь также и с тем, что нельзя же осуждать на лицемерие писателя-революционера, который очень и очень многим должен пожертвовать, по прекрасному выражению Герцена, «человеческому достоинству свободной речи». А если и это так, то можно ли винить его, если он прямо, без обиняков и недомолвок, высказывает то, что думает о тех или других программах революционной деятельности? Я уверен, уважаемый Петр Лаврович, что Вы ответите на этот вопрос отрицательно. За это мне ручается, помимо всего другого, Ваша подпись под «Объявлением об издании Вестника Народной Воли», где на странице VIII мы читаем следующее: «Социализм, как всякая жизненная историческая идея, вызывает многочисленные, хотя не особенно существенные разногласия между своими приверженцами, и много как теоретических, так и практических вопросов в нем остаются спорными. Вследствие большей сложности, бóльших затруднений и меньшей давности в развитии русского социализма более или менее заметные расхождения во взглядах между русскими социалистами, может быть, еще многочисленнее. Но это, повторяем, именно доказывает, что русская социалистическая партия есть партия живая, вызывающая энергическую работу мысли, энергические убеждения среди своих сторонников, партия, не успокоившаяся на догматическом верований в заученные формулы».

Я не понимаю, каким образом редактор, подписавший это объявление, может встречать с неудовольствием литературные произведения группы, разногласия которой с Народной Волей он именно считает «не особенно значительными» («В. Н. В.» № 2,

отд. II, стр. 65, строка 10 снизу); я не могу допустить, чтобы журнал, напечатавший это объявление, мог относиться враждебно к людям, «не успокоившимся на догматическом веровании в заученные формулы». Ведь нельзя же думать, что вышеприведенные строки были написаны лишь для того, чтобы объяснить читателю, почему «программа, поставленная «Вестником Народной Воли», охватывает взгляды, в некоторой мере нетождественные между собою» («Объявл. об изд. В. Н. В.», стр. VII). Нельзя также предполагать, что, поставив себе такую «определенную программу», «В. Н. В.» признает жизненное значение «более или менее заметных расхождений между русскими социалистами» лишь в том случае, когда они «не выходят из пределов» этой программы, «охватывающей взгляды, в некоторой мере нетождественные между собою». Это значило бы быть терпимым лишь по отношению к членам своей собственной церкви, признавать с героями Щедрина, что оппозиция не вредна лишь в том случае, если она не вредит. Такой либерализм, такая терпимость немного отрадного заключали бы в себе для всех русских социалистов-«нонконформистов» [1], которых теперь, повидимому, немало, так как Вы в своей заметке говорите о «фракци*ях*, считающ*их*, что для них полемика против Народной Воли своевременнее» и т. д. Из этих слов явствует, что таких фракций, по крайней мере, две и что «В. Н. В.», «имеющий в виду быть органом объединения всех русских социалистов-революционеров», до сих пор далеко не достиг еще своей цели. Я думаю, что такая неудача должна была бы расширять, а не суживать пределы свойственной его редакции терпимости.

Вы советуете мне не «расстраивать организацию» нашей революционной армии. Но, прежде всего, позвольте мне спросить Вас, о какой «общественной армии» говорите Вы? Если под этой метафорой Вы понимаете организацию «партии Народной Воли», то я никогда не думал, что моя брошюра окажет на нее разрушительное действие, и убежден, что первый спрошенный Вами народоволец успокоит Вас на этот счет. Если же под «расстраиванием организации общественной армии» Вы понимаете привлечение к нашей группе людей, по тем или другим причинам стоявших вне «партии Народной Воли», то от такого привлечения «организация общественной армии» может только выиграть, так как в ее среде появится новая группа, составленная, так сказать, из новобранцев. Кроме того, с каких это пор обсуждение пути, по которому идет та или другая армия, и выражение уверенности в том, что существует другой путь, который вернее и скорее приведет ее к победе, стало считаться «расстраиванием организации этой армии»? Я думаю, что такое смешение понятий возможно только в диких полчищах азиатских деспотий, а никак не

в армиях современных цивилизованных государств. Кому же не известно, что критика тактики, принятой той или другой армией, может повредить разве лишь военной репутации генералов этой армии, которые, пожалуй, не прочь будут «наложить палец молчания» на нескромные уста. Но при чем же здесь «организация армии», да и кто ее предводители? Вы знаете, что такие предводители могут быть или выбранными самими рядовыми, или назначенными сверху. Допустим на минуту, что Исполнительный Комитет играет роль предводителя нашей революционной армии. Спрашивается, обязаны ли повиноваться ему даже те, которые не участвовали в его избрании, а если он назначен сверху, то кто и какую имел власть для этого назначения?

Вы относите нашу группу к «фракциям русского революционного социализма, считающим, что для них полемика с «*Народной Волей*» более своевременна, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа». Позвольте мне спросить Вас, думаете ли Вы, что к числу особенностей русского народа и «данной исторической минуты» относится и то обстоятельство, что борьба «против его эксплуататоров» может быть ведена без распространения идей, в которых выражались бы смысл и тенденция этой борьбы. Мне ли, бывшему бунтарю[1], доказывать Вам, бывшему редактору журнала «Вперед», что рост революционного движения немыслим без распространения наиболее передовых, наиболее здравых — словом, наиболее революционных идей и понятий в соответствующем слое общества? Ваше ли внимание нужно обращать на то обстоятельство, что социализм — «как он выразился» в сочинениях Маркса и Энгельса — представляет собою самое могучее духовное оружие в борьбе со всевозможными эксплуататорами народа? В распространении же учений названных писателей именно и заключается цель моих товарищей, как это ясно высказано в объявлении об издании «*Библиотеки современного социализма*». Что социализм школы Маркса во многом расходится с «русским социализмом, как он выразился» в нашем революционном движении вообще и в «партии Народной Воли» в частности,— это не подлежит ни малейшему сомнению, так как «русский социализм» до сих пор еще носит очень длинную бакунистскую косу за своей спиною. Что русским марксистам нередко приходится поэтому становиться в отрицательное отношение к некоторым «заученным формулам» русского социализма — это также вполне понятно и естественно; но отсюда еще никоим образом не следует, что они борьбу против революционеров предпочитают борьбе против правительства. В «Вестнике Народной Воли» некто г. Тарасов усиливается опровергнуть одно из основных положений историче-

ской теории Маркса *. Статья г. Тарасова занимает первое место, так сказать, передний угол во 2 № «В. Н. В.»[2]. Значит ли это обстоятельство, что г. Тарасов находит, что для него полемика против Маркса «своевременнее, чем борьба с русским правительством и с другими эксплуататорами русского народа»? Или полемика, уместная и «своевременная» под пером дюрингианцев, бакунистов и бланкистов, становится оскорблением величества русской революции, как только возвышают свой голос марксисты? Справедливо ли, скажу больше — объяснимо ли такое отношение со стороны писателя, столько раз заявлявшего о своем согласии с теориями Маркса?

Я хорошо знаю, что решение вопроса о задачах нашей революционной партии с точки зрения названных теорий представляет собою далеко не легкую задачу. Основные положения этих теорий составляют, собственно говоря, лишь «большую посылку» силлогизма, так что люди, одинаково признающие правильность и великое научное значение этой первой посылки, могут соглашаться или расходиться между собою в выводе, смотря по тому, как понимают они вторую, «малую» посылку, роль которой должна играть та или иная оценка современной русской действительности. Я нисколько не удивляюсь поэтому Вашему несогласию с нашей программой, хотя и думаю, что, оставаясь марксистом, Вы не в состоянии были бы «доказать» мне, что «моя» программа заключает в себе «гораздо бо́льшие недостатки и непрактичности», чем те, в которых я «обвиняю партию Народной Воли». Но никакие разногласия в оценке современной русской действительности не объяснят мне и моим товарищам того несправедливого отношения, в какое Вы стали к нам в своей заметке.

Я обращаюсь к беспристрастию читателя. На письменном столе редактора «Вестн. Народн. Воли» лежат две брошюры, изданные группой «Освобождение Труда». Одна из этих брошюр

---

* С г. Тарасовым я еще надеюсь побеседовать особо, по окончании его статьи. Теперь же замечу, что г. Тарасов совсем не понял ни Маркса, ни его «эпигонов» и в своей святой простоте полемизирует в сущности против маленького буржуа Жоржа Молинари, а отнюдь не против великого социалиста Карла Маркса. Точно так же «метод» г. Тарасова приводит меня в большое смущение. Почтенный автор, очевидно, заимствовал его из той же самой буржуазной науки, «банкротство» которой он так неопровержимо доказал в первом № «Вестника»[1]. Как буржуазные писатели для доказательства своих «естественных законов» имели обыкновение изобретать «дикарей», которые, разумеется, ни о чем так не мечтали, как о «сбережении и накоплении капитала», так и г. Тарасов, сознательно уже игнорируя данные современной этнологии, изобретает «дикарей», которые оказываются явными бланкистами и стремятся лишь к «захвату власти» над своими соседями. Этот своеобразно-*индуктивный* метод грозит привести к полному «банкротству» социалистическо-дюрингианскую «науку» г. Тарасова.

представляет собою перевод того сочинения Энгельса, которое уважаемый редактор называет «самым замечательным произведением социалистической литературы за последние годы».

Вторая из этих брошюр, по словам того же редактора, одною своею частью заслуживает «такое же внимание, как и все серьезные труды по вопросам социализма». Другая часть этой брошюры заключает в себе «полемику против прежней и настоящей деятельности Народной Воли», полемику, которая имеет целью доказать этой партии, что, «нанеся своею практическою деятельностью смертельный удар всем традициям правоверного народничества и сделав так много для развития революционного движения в России, партия Народной Воли не может найти оправдания, да и не должна искать его, помимо современного научного социализма» *. И эта-то *одна часть одной части* изданий группы «Освобождение Труда» доказывает, по мнению нашего редактора, что названная группа задается чуть ли не исключительною целью «полемики против Народной Воли» и ради этой цели готова отказаться от борьбы с правительством! При самой незначительной доле беспристрастия читатель согласится, что такое умозаключение от части к целому не оправдывается характером других частей этого целого.

Я не отрицаю полемического или, вернее, критического характера «одной части» своей брошюры. Но что полемика против Народной Воли не являлась исключительной целью даже этой инкриминированной ее части — видно уже из того упущенного Вами, Петр Лаврович, из виду обстоятельства, что моя критика не ограничивалась одним народовольческим периодом русского движения. Я критиковал там и другие его формации. И если уж из факта печатного и притом *мотивированного* выражения моего несогласия с той или другой революционной программой следует, что полемика против этой программы составляет главную цель моей литературной деятельности, то в интересах истины нужно было бы значительно расширить выдвинутое против меня обвинение. Следовало сказать, что главною целью моей литературной деятельности является полемика против анархистов, бакунистов, народников старого толка, народовольцев и, наконец, «марксистов», не понимающих значения политической борьбы в деле эмансипации пролетариата. Кроме того, нужно было бы принять в соображение еще и то обстоятельство, что «другая доля брошюры г. Плеханова посвящена изложению и подтверждению философско-исторической стороны учения Маркса и Энгельса». Тогда было бы ясно, что я виновен в распространении тех революционных взглядов, которые я разделяю, и в

* См. бр. «Социализм и политическая борьба», стр. 20 [стр. 68—69 настоящего издания].

полемике против тех, которые кажутся мне ошибочными. Но и это не все. При внимательном рассмотрении всех обстоятельств дела из него явствовало бы, что мое преступление совершено «по заранее обдуманному намерению», так как еще в «Объявлении об издании Библиотеки современного социализма» я и П. Аксельрод прямо заявляем, что задача наших изданий сводится:

1) К распространению идей научного социализма путем перевода на русский язык важнейших произведений школы Маркса и Энгельса и оригинальных сочинений, имеющих в виду читателей различных степеней подготовки.

2) К критике господствующих в среде наших революционеров учений и разработке важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России.

Таков истинный характер вызвавшего Ваше неудовольствие «деяния». Чтобы сделать хоть один упрек человеку, его совершившему, нужно прежде всего доказать, что теперь не представляется никакой надобности в критике господствующих в нашей революционной среде программ и учений или что эта критика должна превратиться, как выражался когда-то Белинский по другому, конечно, поводу, в «скромную служительницу авторитета, льстивую повторяльщицу избитых общих мест». Но я уже говорил, что едва ли найдется писатель, который решился бы поддерживать такое неслыханное положение, и уж ни в каком случае не Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, станете утверждать, что нашей революционной партии пора «успокоиться на догматическом верований в заученные формулы». А если это так, то

Wozu der Laerm? *

Впрочем, не решаясь вполне отрицать значение критики в нашей революционной литературе, многие думают, повидимому, что не всякая отдельная личность и не всякая группа личностей имеет право критиковать учения и тактику «действующей партии». После выхода в свет моей брошюры мне не раз приходилось слышать замечания в этом смысле. «Партия действия», «традиции Народной Воли», «героическая борьба» — вот фразы, которыми прикрывалась боязнь самомалейшего прикосновения к «заученным формулам» нашего революционного катехизиса. Мое право на выражение моих несогласий с «партией Народной Воли», или, вернее, с ее литературными произведениями, подвергалось оспариванию совершенно независимо от вопроса о том, кто прав — я или публицисты нашей «партии действия». Прислушиваясь к этим нападкам на мою брошюру, я невольно вспоминал аргументацию «Саламанкского баккалав-

* [К чему шуметь?]

ра» [1] дона Иниго-и-Медрозо-и-Комодиос-и-Папаламиендо в знаменитой controverse des mais *.

«Mais, monsieur, malgré toutes les belles choses que vous venez de me dire,— говорил этот диалектик,— vous m'avouerez que votre église anglicane, si respectable, n'existait pas avant dom Luther et avant dom Eccolampade; vous êtes tout nouveaux: donc vous n'êtes pas de la maison!» **. И я спрашивал себя: неужели аргументация, подсказанная великим сатириком своим злейшим врагам, может быть серьезно употреблена в дело русскими революционерами и карикатура католического «баккалавра» станет точным изображением русских диалектиков из революционной среды? Согласитесь, многоуважаемый Петр Лаврович, что нет ничего печальнее такого рода перспективы и что никакие опасения за целость «организации» ровно ничего не значат в сравнении с опасением такого ужасного умственного упадка!

В интересах Народной Воли лежит самое решительное противодействие вырождению нашей революционной литературы в революционную схоластику. А между тем Ваша заметка, многоуважаемый Петр Лаврович, может скорее поддержать, чем ослабить рвение наших революционных «баккалавров». Высказанное Вами убеждение в том, что «расстраивать организацию» революционной армии «дозволительно или врагам *дела* этой армии... или группе, которая сама, своею деятельностью, своею силою и организациею способна стать общественною армиею в данную историческую минуту», Ваше указание на то обстоятельство, что для нашей группы «эта роль находится еще в далеком, да, пожалуй, и несколько сомнительном будущем»,— все это может подать повод к тому выводу, будто, по Вашему мнению, наша группа «в свои лета» хотя и может «сметь свое суждение иметь», но должна старательно припрятывать его каждый раз, когда оно противоречит мнениям редакции того или другого из периодических изданий «партии Народной Воли». Разумеется, такой вывод из сказанного Вами был бы неправильным; но не нужно забывать того обстоятельства, что люди не всегда рассуждают по всем правилам строгой логики.

Самый принцип, высказанный Вами в только что цитированных строках, может вызвать много печальных недоразумений. Эти строки могут послужить совершенно «несвоевременным» avis *** для читателей-нонконформистов. Они могут навести их

* [полемике со всякими «но».]

** [«Но, сударь, несмотря на все сказанные вами замечательные вещи, вы должны признать, что ваша столь почтенная англиканская церковь не существовала до господина Лютера и господина Экколампадия; вы совсем новички: стало быть, вы не принадлежите к нашей семье!»]

*** [предупреждением]

на такие, приблизительно, размышления. Группе, способной стать «общественной армией в данную историческую минуту», *дозволительно* «расстраивать организацию» нашей революционной армии. Тем более «дозволительно» этой последней в качестве заслуженного и испытанного войска «расстраивать организацию» тех «несогласномыслящих» групп, гегемония которых кажется ей делом очень далеким, «да, пожалуй, и несколько сомнительным». Какую же революционную фракцию считает «общественной армией» редакция «Вестника Народной Воли»? Вероятно — «партию Народной Воли». Значит... но вывод ясен, и вывод в высшей степени печальный для групп, которые, подобно нам, полагали до сих пор, что можно критиковать чужие воззрения, но нельзя «расстраивать» чужие организации, а лучше идти с ними «рядом, *поддерживая и пополняя друг друга*» *.

Будущее нашей группы кажется Вам сомнительным. Я сам готов сомневаться в нем, поскольку речь идет о нашей группе, как таковой, а не о тех воззрениях, которые она представляет **.

Дело вот в чем.

Ни для кого не тайна, что наше революционное движение находится теперь в критическом периоде. Террористическая тактика Народной воли поставила перед нашей партией целый ряд в высшей степени жизненных и важных вопросов. Но, к сожалению, они до сих пор остаются неразрешенными. Находившийся у нас в обращении запас бакунистских и прудонистских теорий оказался недостаточным даже для правильной *постановки* этих вопросов. Выгнутая прежде в одну сторону палка перегнулась теперь в другую. Прежнее, лишенное всякого основания отрицание «политики» уступило место столь же мало основательной уверенности во всемогуществе конспираторского «политиканства». Программа петербургской «Нар. Воли» была поставленным на голову бакунизмом с его славянофильским противопоставлением России Западу, с его идеализацией первобытных форм народной жизни, с его верой в социальное чудотворство революционных организаций нашей интеллигенции. Исходные теоретические положения программы остались неизменными, и только практические выводы оказались диаметрально противоположными прежним. Отрекшийся от политического воздержания бакунизм описал дугу в 180 градусов и возродился в виде русской разновидности бланкизма, основывающей свои революционные надежды на экономической отсталости России.

* См. объявление «Об издании «Библиотеки совр. социализма»», стр. 3 в примечании [1].

** [Примечание к изданию 1905 г.] Теперь странно даже и читать эти споры о будущности социал-демократии в России. Теперь она господствует между революционерами и, конечно, была бы еще сильнее, если бы не раздоры в ее собственной среде.

Этот бланкизм пытается теперь создать свою особую теорию и в последнее время нашел довольно полное выражение в статье г. Тихомирова «*Чего нам ждать от революции?*» [1] В этой статье употреблен в дело весь арсенал, каким только располагают русские бланкисты, для защиты своей программы. Г-ну Тихомирову нельзя отказать в умении владеть оружием: он ловко группирует говорящие в его пользу факты, осторожно обходит явления противоположного характера и не без успеха апеллирует к чувствам читателя там, где не надеется подействовать на его логику. Оружие его подновлено, подчищено, подточено. Но присмотритесь к нему внимательнее, и вы увидите, что оружие это есть не что иное, как старомодная шпага бакунизма и ткачевизма, украшенная новым клеймом: реакционных теорий мастер В. В.[2] в Петербурге. Ниже я сделаю некоторые выписки из «*Открытого письма к Фр. Энгельсу*» П. Н. Ткачева, и Вы сами увидите, многоуважаемый Петр Лаврович, что товарищ Ваш повторяет лишь то, что десять лет тому назад было высказано редактором «Набата» и что вызвало резкий ответ Энгельса в небезызвестной Вам брошюре «Soziales aus Russland» *. Неужели же десять лет движения не научили ничему лучшему наших писателей? Неужели «партия Народной Воли» не хочет понять исторического смысла понесенных ею жертв, политического значения своей, поистине геройской, борьбы с абсолютизмом? Находясь вне России, ни я, ни Вы не можем сказать ничего определенного о настроении, господствующем в настоящее время среди народовольцев. Но, насколько можно судить по явлениям, происходящим вне организации «Народной Воли»,— несомненно, что не под ткачевским знаменем суждено возродиться революционному движению. Наша революционная молодежь находится в нерешительном, колеблющемся состоянии, она изверилась в старые способы действия, а множество возникающих в ее среде новых программ и теорий показывает, что ни одна из них, в частности, не в состоянии охватить всех действительных интересов и всех насущных задач нашего движения. Скептицизм вступает в свои права. Народная Воля утрачивает свое прежнее обаяние. Три с лишним года, протекшие со времени дела 1 марта, характеризуются упадком революционной энергии в России. Нельзя оспаривать это печальное явление. Но многие и многие объясняют его, как мне кажется, слишком поверхностным образом. Говорят, что наше движение ослабело под влиянием правительственных преследований. Я слишком верю в «своевременность» русской революции, чтобы удовольствоваться таким шаблонным объяснением. Я думаю, что потенциальная энергия русской революции огромна, непо-

* [«Социальные отношения в России».]

бедима, и что если реакция и поднимает голову, то лишь потому, что мы не умеем перевести эту потенциальную энергию в кинетическую. Общественные задачи современной России не могут найти удовлетворительного решения в традиционной, заговорщицкой программе бланкизма. Мало-помалу эта избитая программа превратится в прокрустово ложе русской революции. Ее призрачным, фантастическим целям будут один за другим принесены в жертву все те способы действия, все те элементы движения, которые составляли его силу, обусловливали его влияние. Террористическая борьба, агитация в народе и в обществе, возбуждение и развитие народной самодеятельности — все это имеет для бланкиста лишь второстепенное, подчиненное значение. Его внимание сосредоточено прежде всего на заговоре с целью захвата власти. Он не заботится о развитии общественных сил, о создании таких учреждений, в результате которых явилась бы невозможность возврата к старому режиму. Он старается лишь скомбинировать готовые уже общественные силы. Он не считается с историей, не стремится понять ее законы и направить сообразно с ними свою революционную деятельность; он просто заменяет историческое развитие своей конспираторской сноровкой *. А так как рост революционных сил России еще далеко не закончен, так как они находятся еще в процессе des Werdens **, то это насильственное прекращение их развития должно иметь очень вредные последствия, упрочивать существование реакции, вместо того чтобы служить делу прогресса. В этом случае может произойти одно из двух. Или будущее русской революции окажется поставленным на карту самого несбыточного из всех — «*социально-революционного*» — заговора, или из недр оппозиционной и революционной России выдвинется новая сила, которая, отодвинув на задний план «партию Народной Воли», возьмет в свои руки дело нашего движения.

Для социалистов было бы очень невыгодно, если бы руководство борьбой перешло в руки наших либералов. Это сразу лишило бы их всего прежнего влияния и на долгие годы отсрочило бы создание социалистической партии в передовых слоях народа. Вот почему мы и указываем нашей социалистической молодежи на марксизм, эту алгебру революции, как я назвал его в своей брошюре, эту «программу», научающую своих приверженцев пользоваться каждым шагом общественного развития в интересах революционного воспитания рабочего класса. И я уверен, что рано или поздно наша молодежь и наши рабочие кружки

* Наглядный пример: один из параграфов устава так называемых нечаевцев прямо говорит, что «общий принцип организации — не убеждать, т. е. *не вырабатывать, а сплачивать те силы, которые уже есть налицо*» [1].

** [становления]

усвоят эту единственно революционную программу. *В этом смысле* «будущее» нашей группы вовсе не «сомнительно», и я не понимаю, откуда берется в этом случае скептицизм у Вас, у писателя, не далее как в том же втором № «Вестника», называющего Маркса «великим учителем, который ввел социализм в его научный фазис, доказал его историческую правомерность и в то же время положил начало организационному единству рабочей революционной партии» [1]. Ведь нельзя же признавать теоретические положения «великого учителя» и умозаключать от них к бакунизму или бланкизму на практике.

Повторяю, между самыми последовательными марксистами возможно разногласие по вопросу об оценке современной русской действительности. Поэтому мы ни в каком случае не хотим прикрывать свою программу авторитетом великого имени *. К тому же мы наперед готовы признать, что она заключает в себе многие «недостатки и непрактичности», как всякий первый опыт применения данной научной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений. Но дело в том, что ни я, ни мои товарищи не имеем пока окончательно выработанной и законченной от первого до последнего параграфа программы [2]. Мы только указываем нашим товарищам *направление*, в котором нужно искать решения интересных им революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и безошибочный критерий, с помощью которого они смогут, наконец, сорвать с себя лохмотья революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами; мы только доказываем, что «наше революционное движение не только ничего не потеряет, но, напротив, очень много выиграет, если русские народники и русские народовольцы сделаются, наконец, русскими марксистами, и новая, высшая точка зрения примирит все существующие у нас фракции»**. Наша программа еще должна быть закончена, и закончена там, на месте, теми самыми кружками рабочих и революционной молодежи, которые станут бороться за ее осуществление. Поправки, дополнения, улучшения этой программы совершенно естественны, неизбежны, необходимы. Мы не боимся критики, а ожидаем ее с нетерпением и уж, конечно, не станем, как Фамусов, затыкать перед нею уши. Представляя действующим в России товарищам этот первый опыт программы русских марксистов, мы не только не желаем сопер-

* [Примечание к изданию 1905 г.] Очень недавно, совсем на днях такое же мое заявление было понято социал-демократической газетой «Пролетарий» за выражение неуверенности в правильности моего мнения. Но дело объясняется иначе. Я никогда не хотел jurare in verba magistri [слепо следовать словам учителя].

** «Социализм и политическая борьба», стр. 56 [стр. 95—96 настоящего издания].

ничать с Народной Волей, но ничего не желаем так сильно, как полного и окончательного соглашения с этой партией. Мы думаем, что партия Народной Воли *обязана* стать марксистской, если только хочет остаться верной своим революционным традициям и желает вывести русское движение из того застоя, в котором оно находится в настоящее время.

Говоря о революционных традициях Народной Воли, я имею в виду не одну только террористическую борьбу, не одни аттентаты [1] и политические убийства. Я говорю о том расширении русла русского движения, которое было необходимым следствием этой борьбы и которое показало нам, до какой степени узки, абстрактны и односторонни были исповедуемые нами в то время теории. Вместе с Александром II динамит убил и эти теории. Но как русский абсолютизм, так и бакунизм во всех его разновидностях только убиты, а не похоронены. Они уже не живут, не развиваются, но они еще продолжают разлагаться и своим разложением заражают всю Россию, от самых консервативных до самых революционных ее слоев. Только здоровая атмосфера марксизма может помочь Народной Воле закончить так блистательно начатое ею дело, потому что, как говорил Лассаль, «с высоких вершин науки можно раньше увидеть зарю рассвета, чем среди обыденной сумятицы». Марксизм укажет нашим «народовольцам», каким образом, привлекая к движению новые, почти еще не затронутые им слои, они могут вместе с тем обойти подводные камни гибельных односторонностей, каким образом, утилизируя прогрессивные стороны назревающей либеральной революции, они могут тем не менее до конца остаться верными делу рабочего класса и социализма. Совершенно чуждые узкого духа сектантства, мы желаем Народной Воле не неудач, а дальнейших успехов, и если мы протягиваем ей *только одну* руку для примирения, то это происходит потому, что другою рукою мы указываем ей на теории современного научного социализма со словами — «*сим победишь*»!

К сожалению, Спенсер совершенно верно замечает, что консерватизм всякой организации прямо пропорционален ее совершенству. Суровая практика борьбы с абсолютизмом выработала крепкую и сильную организацию Народной Воли. Совершенно необходимая и в высшей степени полезная организация эта не составляет исключения из общего правила и препятствует теоретическим успехам партии Народной Воли, стремясь возвести в догмат и увековечить ту программу и те учения, которые могли иметь лишь временное, переходное значение. В конце своей брошюры «*Социализм и политическая борьба*» я выражал надежду, что «*Вестник Народной Воли*» сумеет критически отнестись к теоретическим промахам в программе и практическим пробелам в деятельности Народной Воли. «Нам хочется

думать,— говорил я,— что новый орган трезво взглянет на те задачи нашей революционной партии, от решения которых зависит ее будущее». Я ожидал, что женевский «Вестник» пойдет дальше петербургской «Народной Воли». Но если Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, прочтете внимательно статью г. Тихомирова, то Вы сами убедитесь, что высказанные в ней взгляды представляют собою огромный шаг назад даже по отношению к «Народной Воле». И это совершенно естественно. Теоретические посылки старой программы «Народной Воли» так шатки и противоречивы, что идти вперед, опираясь на них,— значит опускаться вниз. Остается ожидать, что другие, прогрессивные элементы «партии Народной Воли» возвысят, наконец, свой голос и что революционное движение внутри этой партии пойдет, как шло оно всегда и везде, т. е. *снизу*.

А до тех пор, пока этого не случится, мы не перестанем будить общественное мнение наших революционеров, сколько бы ни вызывала наша литературная деятельность нападок, упреков и обвинений, как бы ни было нам тяжело то обстоятельство, что даже Вы, многоуважаемый Петр Лаврович, встречаете эту деятельность с неудовольствием, Вы, на одобрение и сочувствие которого мы еще так недавно могли, казалось нам, рассчитывать. Мы спорим с народовольцами в интересах их собственного дела и надеемся, что они согласятся с нами рано или поздно. Если же искренность наша будет заподозрена, если в нас увидят врагов, а не друзей, мы утешимся сознанием правоты своего дела. Убежденные марксисты, мы останемся верны девизу нашего учителя и пойдем своей дорогой, предоставив людям говорить, что̀ им вздумается [1].

Крепко жму Вашу руку.
Искренно уважающий Вас

Г. Плеханов.

Женева,
22 июля 1884 года.

ВВЕДЕНИЕ

1. В ЧЕМ НАС УПРЕКАЮТ

Сказанное мною выше о нападках, упреках и обвинениях — не пустая фраза. Группа «Освобождение Труда» существует еще очень недавно, а между тем как много пришлось нам услышать возражений, порожденных лишь упорным нежеланием вдуматься в сущность нашей программы; как много недоразумений вызвано было одним желанием подсказать нам мысли и намерения, никогда не приходившие нам в голову! Одни прямо, другие косвенно, намеками и полунамеками, избегая наносить нам «прямые удары», не называя наших имен, но употребляя наши выражения и истолковывая вкривь и вкось наши мысли, изображали нас сухими книжниками, доктринерами, готовыми пожертвовать счастьем и благосостоянием народа в интересах стройности и гармоничности своих высиженных в кабинете теорий. Сами теории эти объявлялись каким-то заморским товаром, распространение которого в России было бы так же вредно для нее, как ввоз английского опия вреден для Китая. Давно уже пора положить конец этой путанице понятий, давно пора выяснить эти более или менее искренние недоразумения!

Я начинаю с самого важного.

В первой главе своей брошюры я сказал несколько насмешливых слов по адресу революционеров, боящихся «буржуазного» экономического прогресса и неизбежно приходящих «к тому поразительному выводу, что экономическая отсталость России является надежнейшим союзником революции, а застой должен красоваться в качестве первого и единственного параграфа нашей программы-минимум». Я говорил там, что русские анархисты, народники и бланкисты могут сделаться «революционерами по существу, а не по названию», лишь «революционизируя свои собственные головы, учась понимать ход исторического развития и становясь в его главе, а не упрашивая старуху-историю потоптаться на одном месте, пока они проложат для нее новые, более прямые и торные пути» *.

* «Социализм и политическая борьба», стр. 12—13 [стр. 63 настоящего издания].

В конце третьей главы той же брошюры я старался убедить своих читателей в том, что «связывать в одно два таких существенно различных момента, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти два момента *совпадут* в истории нашего отечества,— *значит отдалять наступление и того и другого*» *. Я выражал, далее, ту мысль, что «современное сельское население, живущее при отсталых социальных условиях, не только менее промышленных рабочих способно к сознательной политической *инициативе*, но и менее их *восприимчиво* к движению, начатому нашей революционной интеллигенцией...» «К тому же,— продолжал я,— крестьянство переживает теперь тяжелый критический период. Прежние «стародедовские устои» его хозяйства рушатся, сама несчастная община дискредитируется в его глазах, по признанию даже таких «стародедовски»-народнических органов, как «Неделя», новые же формы труда и жизни еще только складываются, и этот созидательный процесс обнаруживает наибольшую интенсивность именно в промышленных центрах».

Эти — и другие, подобные им — места подали повод к тому умозаключению, будто я и мои товарищи, убедившись, что ближайшее будущее принадлежит у нас капитализму, готовы толкать трудящееся население России в железные объятия капитала и считаем «несвоевременной» всякую борьбу народа за свое экономическое освобождение.

В статье «*Чего нам ждать от революции?*» г. Тихомиров, описывая «курьезную роль» тех общественных деятелей, программы которых «лишены связи с жизнью», особенно подробно изображает «трагическое положение» социалистов, думающих, «что для выработки материальных условий, необходимых для возможности социалистического строя, Россия обязательно должна пройти через стадию капитализма». В изображении г. Тихомирова положение это оказывается просто отчаянным, в нем

Что ни шаг, то — ужас!

Нашим социалистам приходится «хлопотать о создании класса, во имя которого они хотят действовать, а для этого приходится желать скорейшей раскассировки тех миллионов рабочего люда, которые существуют в действительности, но, не будучи по несчастью пролетариями, не имеют роли в научной схеме социального прогресса». Но грехопадение этих педантов социализма не может ограничиться сферой «хлопот» и «желаний». Wer A sagt, muss auch B sagen! ** «Будучи последовательным и ставя интересы революции выше своей личной нрав-

* Ibid. [Там же], стр. 76 [стр. 110 настоящего издания].
** [Кто говорит А, должен сказать и Б!]

ственной чистоплотности, социалист тут должен был бы прямо вступить в союз с рыцарями *первоначального накопления*, у которых не дрогнет сердце и рука развивать разные «прибавочные стоимости» и объединять рабочих в единоспасающем положении нищего пролетария». Революционер превращается, таким образом, в сторонника эксплуатации труда, и г. Тихомиров вполне «своевременно» спрашивает — «где же тогда различие между социалистом и буржуа?».

Я не знаю, каких именно «социалистов» имел в данном случае в виду почтенный автор. Он вообще, как заметно, не любит «прямых ударов» и, не указывая своих противников, просто сообщает читателям, что, дескать, «прочие-другие» думают так-то и так-то. Читатель остается в полной неизвестности относительно того, кто же эти *прочие-другие* и точно ли они *думают* то, что *говорит* за них г. Тихомиров. Я не знаю также, разделяют ли читатели его ужас перед положением критикуемых им социалистов. Но затронутый им предмет так интересен, обвинения, выставленные им против *некоторых* социалистов, так сходны с обвинениями, не раз выдвигавшимися против нас самих, отрицательное решение вопроса о капитализме до такой степени определяет собою всю программу г. Тихомирова, все его «ожидания от революции»,— что именно его статья должна послужить *поводом* для возможно более полного и всестороннего выяснения этого вопроса.

Итак, «должна» или «не должна» Россия пройти через «школу» капитализма?

Решение этого вопроса имеет огромную важность для правильной постановки задач нашей социалистической партии. Неудивительно поэтому, что на него давно уже было обращено внимание русских революционеров. До самого последнего времени огромное большинство их склонно было категорически решать его в отрицательном смысле. Я также отдал дань общему увлечению, и в передовой статье 3 № «*Земли и Воли*» я старался доказать, что «история вовсе не есть однообразный механический процесс», что капитализм был необходимым предшественником социализма лишь «на Западе, где поземельная община разрушилась еще в борьбе с средневековым феодализмом»; что у нас, где эта община «составляет самую характерную черту в отношениях нашего крестьянства к земле», торжество социализма может быть достигнуто совсем другим путем: коллективное владение землею может послужить исходным пунктом для организации всех сторон экономической жизни народа на социалистических началах. «Поэтому,— умозаключал я,— главная задача наша заключается в создании боевой народно-революционной организации для осуществления народно-революционного переворота в возможно более близком будущем» [1].

Я поддерживал, таким образом, еще в январе 1879 года то же положение, которое отстаивает г. Тихомиров, правда

Mit ein bischen anderen Worten[1],

теперь, в 1884 г., говоря, что за той «таинственной чертой, где бурлят и пенятся волны исторического потока», т. е., выражаясь проще, за падением современного социально-политического строя, «нас ждет» не царство капитализма, как утверждают «некоторые», а «начало социалистической организации России». Необходимость создания «боевой народно-революционной организации» отходит у г. Тихомирова на второй план и уступает место конспираторской организации нашей интеллигенции, которая должна захватить власть и тем дать сигнал народной революции. В этом случае его взгляды расходятся с моими прежними взглядами ровно настолько, насколько программа «Народной Воли» отличается от программы «Земли и Воли». Но ошибки, сделанные г. Тихомировым по отношению к экономической стороне вопроса, почти «тождественны» с ошибками, сделанными мною в названной статье. Вследствие этого, возражая г. Тихомирову, я должен буду часто делать поправки в той аргументации, которая казалась мне когда-то совершенно убедительной и безапелляционной.

Уже по одному тому, что точка зрения г. Тихомирова не отличается свежестью и новизною, я не могу ограничиться критикой его доводов, а должен рассмотреть по возможности полно все, что говорилось ранее его в пользу отрицательного решения интересующего нас вопроса. Русская литература предшествующих десятилетий дает нам гораздо более ценный критический материал, чем статья «Чего нам ждать от революции?».

2. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

В самом деле, г. Тихомиров не сумел даже правильно поставить этот вопрос.

Вместо того чтобы сказать все, что мог он сказать в пользу возможности положить «начало социалистической организации» на развалинах современного социально-политического строя России, г. Тихомиров посвящает в своей статье чуть не целую главу на критику того «утешения», которое остается у людей, верящих в «историческую неизбежность русского капитализма». Он вообще как-то слишком быстро и неожиданно даже не перешел, а соскочил с той объективной точки зрения, на которой стоял в начале первой главы, где он доказывал, что «логика истории, исторический ход событий и так далее» есть «сила стихийная, своротить которую с выбранного ею пути не может

никто, именно потому, что самый путь выбирается ею не произвольно, а выражает равнодействующую линию, слагающуюся из комбинации тех сил, вне которых общество не заключает в себе ничего реального, способного производить какое-нибудь действие». Спрашивается, остановится ли эта «сила стихийная» перед соображением о *безутешности* русских социалистов? Очевидно, нет. Значит, прежде чем толковать о том, что было бы с русскими социалистами в случае торжества капитализма, нужно было постараться составить себе «правильное представление об этой силе и ее направлении», представление, «обязательное для каждого общественного деятеля, потому что без соответствия с нею — политическая программа не может иметь никакого значения», как в этом нас убеждает тот же г. Тихомиров. Но он предпочитает обратный метод. Он старается прежде всего запугать своих читателей, а потом уже, в «последующих главах», намечает «в общих чертах» те «цели и средства нашей революции», которые позволяют нам верить в возможность отклонить от уст России чашу капитализма. Не говоря пока ничего о том, насколько удачна была его попытка запугивания своих читателей-социалистов, я замечу только, что такой прием аргументации не должен был бы употребляться при решении серьезных общественных вопросов.

По причинам, в рассмотрение которых здесь неуместно было бы вдаваться, русскому интеллигентному человеку пришлось сильно интересоваться «ролью личности в истории». Много писали об этом «проклятом» вопросе, еще больше толковали о нем в разных кружках, а между тем и до сих пор русские общественные деятели часто не умеют даже ограничить сферу *необходимого* от сферы *желательного* и готовы по временам спорить с историей почти так же, как спорил Хлестаков с трактирным слугою. «Ведь нужно же мне что-нибудь есть, ведь этак я могу совсем отощать!»— говорил бессмертный Иван Александрович.— Ведь какой же я после этого буду социалист? Ведь этак мне придется «прямо вступить в союз с рыцарями первоначального накопления!» — воскликнет, пожалуй, иной читатель под влиянием тихомировских запугиваний. Но нужно надеяться, что рассуждение г. Тихомирова о непреодолимой силе «логики истории» будет значительно способствовать устранению этого крупного «промаха незрелой мысли».

Точка зрения группы «Освобождение Труда» с своей стороны ведет, как мне кажется, к устранению такого рода злоупотреблений «субъективным методом в социологии». Для нас желательное вырастает из необходимого и ни в каком случае не заменяет его в наших рассуждениях. Для нас свобода личности заключается в знании законов природы — т. е., между прочим, и истории—и в умении *подчиняться* этим законам, т. е., между

прочим, и *комбинировать их наивыгоднейшим образом.* Мы убеждены, что когда «общество ступило на след естественного закона своего движения, оно не может ни перескочить естественные фазы своего развития, ни устранить их декретами. *Но оно может сократить и облегчить мучения родов»* [1]. В этом «сокращении и облегчении мучений родов» и состоит, по нашему мнению, одна из важнейших задач социалистов, убедившихся в «исторической неизбежности капитализма в России». В *возможности* облегчения этих мучений и должно заключаться их утешение. *Последовательность*, навязываемая им г. Тихомировым, есть, как мы увидим ниже, последовательность метафизика, не имеющего ни малейшего понятия о диалектике общественного развития.

Но не будем уклоняться от нашего предмета.

3. А. И. ГЕРЦЕН

Еще в начале пятидесятых годов А. И. Герцен, доказывая неизбежность социалистической революции на Западе, уже ставил перед нарождающейся русской демократией тот

Вечно тревожный и новый вопрос,

который с тех пор

Столько голов беспокойных томил...
Столько им муки принес

и который послужил поводом, между прочим, и для нашей «полемики против партии Народной Воли».

«Должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития или ее жизнь пойдет по иным законам?» *— спрашивал он в своих «Письмах к Линтону» [2].

«Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений,— спешил ответить знаменитый писатель.— Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников: но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования. Оконченный труд и добытый результат входят в общее достояние всех понимающих — это круговая порука прогресса, майорат человечества... Всякий школьник должен сам найти решение Евклидовых предложений — но какая огромная разница между трудом Евклида, открывшего их, и трудом ученика нашего времени!»... «Россия проделала свою эмбриогению в европейском классе. Дворянство с правительством представляют

* Искандер, «Старый мир и Россия», стр. 31—32.

у нас европейское государство в славянском. Мы прошли все фазисы политического воспитания, начиная от немецкого конституционализма, от английского канцелярского монархизма до поклонения 93 году... Народу русскому не нужно начинать снова этот тяжкий труд. Зачем ему проливать кровь свою для достижения тех полурешений, до которых мы дошли и которых вся важность состояла только в том, что мы через них дошли до иных вопросов, до новых стремлений. Мы за народ отбыли эту тяжелую работу — мы поплатились за нее виселицами, казематами, ссылкою, разорением и нестерпимою жизнью, в которой живем!»

Связующее звено, мост, по которому русский народ может перейти к социализму, Герцен видел, конечно, в общине и связанных с нею особенностях народного быта. «Русский народ собственно стали узнавать,— говорит он,— только после революции 1830 года. С удивлением увидели, что русский человек, равнодушный, неспособный ко всем политическим вопросам,— бытом своим ближе всех европейских народов подходит к новому социальному устройству»... «Сохранить общину и дать свободу лицу, распространить сельское и волостное self-government * по городам и всему государству, сохраняя народное единство,— вот в чем состоит вопрос о будущем России, т. е. вопрос той же социальной антиномии, которой решение занимает и волнует умы Запада» **.

В его уме по временам возникало, правда, сомнение относительно этой исключительной близости русского народа «к новому социальному устройству». В том же «Письме» он спрашивает Линтона — «может, вы скажете на это, что в этом русский народ походит на некоторые азиатские народы, и укажете на сельские общины у индусов, довольно схожие с нашими?». Но, не отвергая нелестного сходства русского народа с «некоторыми азиатскими», он усматривал, однако, между ними весьма, казалось ему, существенные различия. «Не общинное устройство держит азиатские народы в неподвижности, а их исключительная народность, их невозможность выйти из патриархализма, освободиться от рода;— мы не в таком положении. Славянские народы... имеют большую удобовпечатляемость; они легко усваивают себе языки, нравы, обычаи, искусство и технику других народов. Они равно обживаются у Ледовитого океана и на берегах Черного моря». Эта «большая удобовпечатляемость», дающая славянам возможность «выйти из патриархализма, освободиться от рода», и решала весь вопрос, по мнению Герцена. Авторитет его был так велик, предлагаемое им сокращение

* [самоуправление.]
** Ibid. [Там же.]

пути к социализму было так соблазнительно, что русская интеллигенция начала шестидесятых годов мало была склонна скептически относиться к найденному им решению «социальной антиномии» и вовсе, повидимому, не задумывалась над вопросом о том, через какие именно местности пролегает этот исторический проселок и кто же именно поведет им русский народ, «равнодушный, неспособный ко всем политическим вопросам»? Для нее важно было прежде всего найти хоть какую-нибудь философскую санкцию своим радикальным стремлениям, и она довольствовалась на первый раз тем отвлеченным соображением, что никакая философия в мире не может заставить ее примириться с буржуазными «полурешениями».

Но этого отвлеченного соображения было, конечно, недостаточно для начертания практического способа действия, для выработки сколько-нибудь целесообразных приемов борьбы с окружающею обстановкой. Данных для решения этой новой задачи нужно было искать вне философии истории, хотя бы и более строгой и научной, чем философия Герцена. Между ее абстрактными формулами и конкретными нуждами общественной жизни лежала целая пропасть, которую можно было заполнить лишь целым рядом новых, все более и более частных формул, требовавших знакомства опять-таки с целым рядом все более и более сложных явлений. Впрочем, философия оказала в этом случае русской мысли косвенную услугу, познакомив ее с диалектическим методом и научивши ее той столько раз забытой потом истине, что в общественной жизни «все течет», «все изменяется» и что явления этой жизни могут быть поняты лишь в движении, в процессе своего возникновения, развития и исчезновения.

4. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

«*Критика философских предубеждений против общинного землевладения*» была и остается самым блестящим в нашей литературе опытом приложения диалектики к анализу общественных явлений [1]. Известно, какое огромное влияние имела статья эта на развитие нашей революционной интеллигенции. Она укрепила ее веру в общину, *доказавши*, что этот вид землевладения может при известных условиях прямо перейти в коммунистическую форму развития. Но, строго говоря, как сам Н. Г. Чернышевский, так и его последователи делали из «критики философских предубеждений» выводы более широкие, чем это допускалось характером посылок. Найденное Чернышевским решение вопроса о судьбе общины было, в сущности, чисто алгебраическим, да и не могло быть иным, так как он противопоставлял его чисто алгебраическим формулам своих противников. Русские

манчестерцы доказывали, что общинное землевладение необходимо и везде должно уступить мало-помалу место частной поземельной собственности. Такова была выставленная ими схема развития имущественных отношений. Н. Г. Чернышевский доказал, во-первых, что схема эта не охватывает всего процесса развития, так как на известной его стадии общественная собственность снова должна стать господствующей формой; кроме того, он совершенно основательно указывал на то обстоятельство, что нет никаких оснований приписывать неизменную, раз навсегда определенную продолжительность тому историческому промежутку, который отделяет эпоху первобытного коммунизма от времени сознательного переустройства общества на коммунистических началах. Говоря вообще, этот промежуток есть x, который в каждой отдельной стране приобретает особое арифметическое значение в зависимости от комбинации внешних и внутренних сил, определяющих ее историческое развитие. Так как эта комбинация сил необходимо должна быть очень разнообразна, то неудивительно, что интересующий нас x, т. е. продолжительность господства частной собственности, становится в известных случаях бесконечно малой величиной, т. е. может без большой ошибки быть приравнен *нулю*. Таким образом была доказана *абстрактная возможность* непосредственного перехода первобытной общины в «высшую, коммунистическую форму». Но именно благодаря абстрактному характеру *аргументации* этот общий результат философско-исторической диалектики был одинаково применим ко всем странам и народам, сохранившим общинное землевладение,— от России до Новой Зеландии, от сербской задруги до того или другого племени краснокожих индейцев *. Поэтому он оказывался недостаточным для приблизительного хотя бы предсказания будущей судьбы общины в каждой из этих стран, взятой в отдельности. Абстрактная *возможность* еще не есть конкретная *вероятность*; тем менее можно считать ее окончательным доводом там, где речь идет об *исторической необходимости*. Чтобы сколько-нибудь серьезно говорить об этой последней, нужно было бы перейти от алгебры к арифметике и доказать, что в интересующем нас случае — все равно, в России или в государстве ашантиев, в Сербии или на Ванкуверовом острове — x действительно будет равняться *нулю*, т. е. частная собственность должна погибнуть еще в зародыше. Для этого необходимо было бы обратиться к статистике, к оценке внутреннего хода развития данной страны или данного племени и внешних влияний на них, иметь дело уже не

* [Примечание к изданию 1905 г.] В то время еще не было окончательно выяснено, что русская сельская община не имеет ничего общего с первобытным коммунизмом. Теперь это стоит вне сомнения.

с *родом*, а с *видом* или даже *с разновидностью*, не с первобытно-коллективной недвижимой собственностью вообще, а с русской, или сербской, или новозеландской поземельной общиной в частности, принимая в соображение как все враждебные или благоприятные ей влияния, так и то состояние, в которое она пришла в данное время благодаря этим влияниям.

Но на такое исследование мы не находим даже намека в «Критике философских предубеждений против общинного землевладения», в которой Н. Г. Чернышевский имел дело с «философствующими мудрецами». В других же случаях, в которых ему пришлось спорить с «экономизирующими мудрецами», разрушать предубеждения, которые «вытекают из непонимания, забвения или незнания *общих* истин, относящихся к материальной деятельности человека, к производству, труду и общим его законам»,— в этих статьях он также говорил лишь о выгодах коллективного землевладения вообще и получал, таким образом, в результате опять-таки лишь алгебраические формулы, лишь общие экономические теоремы *.

Впрочем, с его стороны это нисколько не удивительно. Критик Милля мог иметь в виду лишь дореформенную общину, еще не вышедшую из условий натурального хозяйства и приведенную к одному знаменателю нивелирующим влиянием крепостного права. Это влияние не устраняло, конечно, свойственных сельской общине «экономических противоречий», но оно держало их в скрытом состоянии и тем доводило их практическое значение до ничтожного минимума. Поэтому Н. Г. Чернышевский мог довольствоваться тем соображением, что у нас «масса народа до сих пор понимает землю, как общинное достояние», что «каждый русский имеет и родную землю, и право на участок ее. И если он сам откажется от этого участка или потеряет его, то за детьми его остается право в качестве членов общины самостоятельно требовать себе участка». Хорошо понимая, что освобождение крестьян поставит их в совершенно новые экономические условия, что «Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе», что «скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции», он заботился лишь о сохранении той формы землевладения, которая помогла бы крестьянину начать новую экономическую жизнь при наиболее выгодных условиях. «Каковы бы ни были ожидаю-

* [Примечание к изданию 1905 г.] Ср. мою статью «Н. Г. Чернышевский» [1], № 1 журнала «Социал-Демократ», Женева 1890 года.

щие Россию преобразования,— писал он еще в апреле 1857 года,— да не дерзнем мы коснуться священного, спасительного обычая, оставленного нам нашею прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием,— да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землею, на это благо, от приобретения которого теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной Европы. Их пример да будет нам уроком».

Мы не пишем здесь разбора всех взглядов Н. Г. Чернышевского на общинное землевладение, а только стараемся оттенить их наиболее характерные черты. Не вступая в неуместные здесь детали, мы скажем только, что выгоды, ожидаемые им от общинного землевладения, могут быть сведены к двум главным пунктам, из которых один относится к области права, а другой— к области сельскохозяйственной техники.

ad. I. «Русское общинное устройство,— говорит он словами Гакстгаузена,— бесконечно важно для России, особенно в настоящее время, в государственном отношении. Все западноевропейские государства страдают одною болезнью, исцеление которой доселе остается *неразрешенной задачей* *,— они страдают пауперизмом, пролетариатством. Россия не знает этого бедствия; она предохранена от него своим общинным устройством. Каждый русский имеет и родную землю, и право на участок ее. И если он сам лично откажется от этого участка или потеряет его, то за детьми его остается право в качестве членов общины самостоятельно требовать себе участка» **.

ad. II. Описавши, по тому же Гакстгаузену, быт уральских казаков, «вся область которых составляет одну общину и в хозяйственном, и в военном, и в гражданском отношениях», Н. Г. Чернышевский замечает: «Если уральцы доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда введены будут в хлебопашество машины, то уральцы будут тогда очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее потребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин». При этом он замечает, впрочем, что рассуждает только для примера о том, «как будут думать уральские казаки в будущее время, которое еще неизвестно когда придет (хотя успехи механики и технологии несомненно доказывают, что такое время придет),— до слишком отдаленного будущего времени нам нет дела: наши пра-пра-правнуки, вероятно, сумеют прожить на свете и своим умом, без наших забот,— довольно будет того, если мы станем заботиться о себе и своих детях» [1].

---

* Курсив принадлежит мне.

** Сочинения *Н. Г. Чернышевского*, т. V. Genève [Женева], 1879. Об общинном владении землею, стр. 135.

Читатель, знакомый с сочинениями Чернышевского, знает, конечно, что такого рода оговорки не мешали ему очень много думать и «заботиться» о будущем времени. Один из снов Веры Павловны наглядно показывает нам, в каком виде рисовались в его воображении социальные отношения «очень отдаленного будущего» [1], так же как практическая деятельность его героини дает нам некоторое понятие о тех способах, которыми можно было содействовать приближению этой счастливой эпохи. Странно было бы поэтому, если бы автор «Что делать?» не поставил дорогой ему формы современного крестьянского землевладения в связь с идеалами будущего, хотя и далекого, но желательного и, главное, неизбежного. И действительно, он не один раз возвращается к этому предмету в своих статьях об общинном землевладении, рассматривая влияние этой формы имущественных отношений на характер и привычки крестьян. Он не согласен, разумеется, с тем мнением, что «община убивает энергию в человеке». Мысль эта «решительно противоречит всем известным фактам истории и психологии», доказывающим, напротив, что «в союзе укрепляется ум и воля человека». Но главное преимущество общинного землевладения заключается в поддержании и воспитании того духа ассоциации, без которого немыслима рациональная экономия будущего. «Введение лучшего порядка дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности... нелегко отказываться хотя бы от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безграничности частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина». Но «то, что представляется утопией в одной стране, существует в другой как факт... те привычки, проведение которых в народную жизнь кажется делом неизмеримой трудности англичанину и французу, существуют у русского как факт его народной жизни... Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта... Мы видим, какие печальные последствия породила на Западе утрата общинной поземельной собственности и как тяжело *возвратить западным народам свою утрату*. Пример Запада не должен быть потерян для нас» *.

Такова сделанная Чернышевским оценка значения общинного землевладения в настоящей и будущей экономической жиз-

* Сочинения, том V, стр. 16—19.

ни русского народа. При всем нашем уважении к великому писателю мы не можем не видеть в ней некоторых промахов и односторонностей. Так, например, «исцеление» западноевропейских государств от «язвы пролетариатства» едва ли можно было признать «неразрешенной задачей» в конце пятидесятых годов, через много лет после появления «Манифеста Коммунистической партии», «Нищеты философии» и «Положения рабочего класса в Англии». Не только «исцеление», но все историческое значение пугавшей Н. Г. Чернышевского «болезни» было указано в трудах Карла Маркса и Фридриха Энгельса с полнотою и доказательностью, остающимися до сих пор образцовыми. Но русский экономист, как это видно по всему, не был знаком с названными сочинениями, а социалистические утопии предшествующего им периода, конечно, оставляли очень много теоретических и практических вопросов без сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Главный же пробел в миросозерцании утопистов обусловливался тем обстоятельством, что «они не видели в пролетариате никакой исторической самодеятельности, никакого свойственного ему политического движения», что они не становились еще на точку зрения борьбы классов и что пролетариат существовал для них лишь в качестве «более других страдающего класса» *. Заменяя «постепенно подвигающуюся вперед классовую организацию пролетариата общественной организацией своего собственного изобретения» и в то же время расходясь между собою по вопросу об основах и характере этой организации будущего, они, естественно, приводили своих русских читателей к той мысли, что самые передовые умы Запада не справились еще с социальным вопросом. К тому же, «сводя дальнейшую историю мира к пропаганде и практическому осуществлению своих реформаторских планов», они не могли удовлетворить своими учениями человека такого сильного критического ума, как Чернышевский. Он должен был самостоятельно искать реальных «исторических условий» освобождения западноевропейского рабочего класса и нашел их, повидимому, в возврате к общинному землевладению. Мы знаем уже, что, по его мнению, «от приобретения этого блага теперь зависит благоденствие земледельческих классов Западной Европы». Но как бы кто ни смотрел на историческое значение *русской* общины, едва ли не для всех социалистов очевидно, что на Западе ее роль безвозвратно покончена и что для западных народов путь к социализму лежал и лежит *от общины через частную собственность*, а не наоборот, не от частной собственности через общину. Мне кажется, что если бы Н. Г. Чернышевский лучше выяснил себе тот «трудный и долгий путь», по которому идет

* «Манифест Коммунистической партии» [1], стр. 36—37.

Запад к «лучшему порядку экономических отношений», если бы он, кроме того, точнее определил экономические условия этого «лучшего порядка», то он увидел бы, во-первых, что «Запад» стремится к обращению средств производства в государственную, а не в общинную собственность, а во-вторых, понял бы, что «язва пролетариатства» сама из себя создает свое лекарство. Он лучше оценил бы тогда историческую роль пролетариата, а это, в свою очередь, дало бы ему возможность шире взглянуть на социально-политическое значение русской общины. Объяснимся.

Известно, что всякую форму общественных отношений можно рассматривать с весьма различных точек зрения. Можно рассматривать ее с точки зрения тех выгод, которые она приносит данному поколению; можно, не довольствуясь этими выгодами, заинтересоваться способностью ее к переходу в другую, высшую форму, более благоприятную экономическому благосостоянию, умственному и нравственному развитию людей; можно, наконец, в самой этой способности к переходу в высшие формы различать две стороны: пассивную и активную, *отсутствие препятствий для перехода* и присутствие живой, внутренней силы, не только *могущей* совершить этот переход, но и вызывающей его как необходимое следствие своего существования. В первом из этих случаев мы рассматриваем данную общественную форму с точки зрения *сопротивления* приносимому извне прогрессу, во втором — с точки зрения *полезной исторической работы*. Для философии истории, равно как и для практического деятеля-революционера, имеют значение лишь те формы, которые способны к большему или меньшему количеству этой полезной работы. Каждая ступень исторического развития человечества интересна именно постольку, поскольку стоящие на ней общества сами из себя, путем внутренней своей самодеятельности, вырабатывают силу, способную разрушить старые формы социальных отношений и построить на их развалинах новое, лучшее общественное здание. Говоря вообще, самое количество препятствий для перехода на высшую ступень развития находится в тесной связи с величиной этой живой силы, потому что она есть не что иное, как результат разложения старых форм общежития. Чем энергичнее процесс разложения, тем большее количество силы им освобождается, тем менее устойчивости сохраняют отжившие социальные отношения. Другими словами, как историка, так и практического революционера интересует не статика, а динамика, не консервативная, а революционная сторона, не гармония, а противоречия общественных отношений, потому что дух этих противоречий есть именно тот дух, который

Stets das Böse will und stets das Gute schafft [1].

Так было до сих пор! Само собою понятно, что так не должно быть всегда и что весь смысл социалистической революции заключается в устранении того «железного и жестокого» закона, по которому противоречия общественных отношений находили лишь временное разрешение, в свою очередь становившееся источником новой безурядицы и новых противоречий. Но совершение этого величайшего из переворотов — этой революции, которая должна сделать, наконец, людей «господами их общественных отношений»,— немыслимо без «наличности» необходимой и достаточной для него исторической силы, порождаемой противоречиями нынешнего буржуазного строя. В передовых странах современного цивилизованного мира сила эта не только находится в наличности, но возрастает ежечасно и ежеминутно. История является, следовательно, в этих странах союзницей социалистов и с постоянно возрастающей быстротою приближает их к преследуемой ими цели. Таким образом, еще один — будем надеяться, *последний* — раз мы видим, что «сладкое» могло выйти лишь из «горького», что для совершения *хорошего* «дела» история должна была, если можно так выразиться, обнаружить *злую* «волю». Экономия буржуазных обществ, совершенно «ненормальная и несправедливая» в области распределения, оказывается гораздо более «нормальной» в сфере развития производительных сил и еще более «нормальной» в сфере производства людей, желающих и способных, говоря словами поэта, «здесь на земле основать царство небесное» [1]. Буржуазия «не только выковала оружие, которое нанесет ей смертельный удар», т. е. не только довела производительные силы передовых стран до такой степени развития, на которой они не могут уже примириться с капиталистической формой производства, «она породила также людей, которые направят это оружие,—современных работников, *пролетариев*».

Из этого следует, что для полной оценки политического значения данной общественной формы необходимо принимать в соображение не только те экономические выгоды, которые она может принести одному или нескольким поколениям, не только пассивную способность ее к усовершенствованию под влиянием какой-нибудь благодетельной внешней силы, но и главным образом ее внутреннюю способность к дальнейшему самостоятельному развитию в желательном направлении. Без такой всесторонней оценки анализ общественных отношений всегда останется неполным и потому ошибочным; данная социальная форма может оказаться вполне рациональной с одной из этих точек зрения, будучи в то же время совершенно неудовлетворительной с другой. И это будет каждый раз, когда нам придется иметь дело с неразвитым населением, не ставшим еще «господином своих общественных отношений». Только объективная революционность

самих этих отношений может вывести отсталых субъектов на путь прогресса. Если же данная форма общежития не обнаруживает этой революционности, если, более или менее «справедливая» с точки зрения права и распределения продуктов, она отличается в то же время большою косностью, отсутствием внутреннего стремления к самоусовершенствованию в данном направлении, то социальному реформатору приходится или проститься со своими планами, или апеллировать к иной, внешней силе, которая могла бы пополнить недостаток внутренней самодеятельности в данном обществе и реформировать его хотя и не против воли его членов, но во всяком случае без их активного и сознательного участия.

Что касается Н. Г. Чернышевского, то он, как кажется, упустил из виду революционное значение западноевропейской «*болезни*» — пауперизма. Нимало не удивительно, что, например, Гакстгаузен, о котором так часто приходилось говорить ему в статьях об общинном землевладении, видел в «пауперизме-пролетариатстве» одну только отрицательную сторону. *Политические* его взгляды были таковы, что революционное значение пролетариата в истории западноевропейских обществ никак не могло быть отнесено им к положительным, выгодным сторонам этой «язвы». Понятно поэтому, что он с восторгом описывал те учреждения, которые могут «предупредить пролетариатство». Но взгляды, вполне понятные и последовательные в сочинениях одного писателя, часто ставят читателя в затруднение, встречаясь в статьях другого. Признаемся, мы не понимаем, какой смысл должны мы вложить в следующие слова Чернышевского о Гакстгаузене. «Как человек практический, он очень верно предугадывал в 1847 году близость страшного взрыва со стороны пролетариев Западной Европы; и нельзя не согласиться с ним, что благодетелен принцип общинного землевладения, который ограждает нас от страшной язвы пролетариатства в сельском населении» * [1]. Здесь речь идет уже не об экономических бедствиях пролетариата, которым, впрочем, ни в чем не уступают бедствия русского крестьянства; не говорится также ничего и о социальных привычках русского крестьянина, с которыми во всяком случае еще поспорит западноевропейский промышленный рабочий своей привычкой к коллективному труду и всевозможным ассоциациям. Нет, здесь речь идет о «страшном взрыве со стороны пролетариев», и Н. Г. Чернышевский даже в этом отношении считает «благодетельным» принцип общинного землевладения, «который ограждает нас от страшной язвы пролетариатства». Нельзя допустить, что отец русского социализма с таким же ужасом относился к политическим движениям рабо-

* Сочинения, том V, стр. 100.

чего класса, как барон фон Гакстгаузен. Нельзя думать, что его мог испугать самый факт восстания пролетариата. Остается предположить, что его смущало поражение, понесенное в 1848 году рабочим классом, что его сочувствие к политическим движениям этого класса отравлялось мыслью о безрезультатности политических революций, о бесплодности буржуазного режима. Такое объяснение кажется если не достоверным, то, по крайней мере, вероятным при чтении некоторых страниц из его статьи «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» [1], именно тех страниц, на которых он выясняет различие демократических стремлений от либеральных. «У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения,— говорит он.— Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве: с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, *для них почти все равно* *. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия, по своей необразованности и материальной скудости, *равнодушны* к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно *к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду*. Демократ из всех политических учреждений непримиримо *враждебен только одному* — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы питают к демократам смертельную неприязнь... либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средств для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. *Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы*. Народ невежествен, и почти во

* В этих выписках курсив повсюду принадлежит мне.

всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими,— скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?.. Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм обречен повсюду на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа» * [1].

Не прошло и десяти лет после появления только что цитированной статьи Н. Г. Чернышевского, как европейский пролетариат в лице передовых своих представителей объявил, что средство достижения своей великой экономической цели он видит в своих политических движениях и что «социальное освобождение рабочего класса немыслимо без политического его освобождения». Необходимость постоянного расширения политических прав рабочего класса и окончательного завоевания им политического господства признана была Международным Товариществом Рабочих. «Первый долг рабочего класса заключается в завоевании себе политического могущества»,— говорит первый Манифест этого Товарищества [2]. Само собою понятно, что рабочее население Англии ближе и способнее к политическому могуществу, чем сибирское «простонародье», и по этому одному никто, кроме прудонистов, не сказал бы в шестидесятых годах, что «Сибирь выше Англии». Но и в то время, когда Н. Г. Чернышевский писал свою статью, т. е. в конце пятидесятых годов, можно было заметить, что в среде «невежественного и безграмотного народа» «почти всех» западноевропейских стран был целый слой — т. е. опять-таки тот же пролетариат, — который не пользовался «правом свободной речи и правом парламентских прений» вовсе не по равнодушию своему к ним, а лишь благодаря реакции, воцарившейся после 1848 г. во всей Европе и озаботившейся прежде всего устранением народа от обладания этими «отвлеченными правами». Разбитый, так сказать, по всей линии, оглушенный ударами реакции, разочаровавшийся в своих радикальных и «демократических» союзниках из среды буржуазных партий, он действительно впал как бы во временную летаргию и мало интересовался общественными вопросами. Но, поскольку он интересовался ими, он не переставал видеть в

* «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X». Русская социально-демократическая библиотека, выпуск третий, стр. 5—8.

приобретении политических прав и в рациональном пользовании ими могучего средства своего освобождения. Даже многие из тех социалистических сект, которые прежде были совершенно равнодушны к политике, стали обнаруживать большой интерес к ней именно в начале пятидесятых годов. Так, например, во Франции фурьеристы сошлись с Риттингаузеном и весьма энергично проповедовали принцип прямого народного законодательства. Что касается Германии, то ни «демократ» Иоганн Якоби со своими приверженцами, ни коммунисты школы Маркса и Энгельса не сказали бы, что для них «почти все равно, каким бы путем ни изменить законы» в смысле уменьшения силы и богатства высших сословий и обеспечения благосостояния низших классов. У них была вполне определенная *политическая* программа, «непримиримо враждебная» далеко не «одной аристократии».

Западноевропейское крестьянство действительно оставалось часто равнодушным ко всяким «отвлеченным правам» и готово было, пожалуй, по временам предпочесть сибирские порядки английским. Но в том-то и дело, что истинные, не буржуазные демократы, т. е. демократы-*социалисты*, обращаются не к крестьянству, а к пролетариату. Западноевропейский крестьянин, как собственник, относится ими к «средним слоям» населения, слоям, которые «имеют революционное значение лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не современные, а будущие свои интересы, *поскольку они покидают свою точку зрения и становятся на точку зрения пролетариата»* *. Это различие очень существенно. Западноевропейские «демократы» только тогда и вышли из бесплодной области политической метафизики, когда научились анализировать понятие о «народе» и стали отличать революционные его слои от консервативных.

Для полноты исследования вопроса об общинном землевладении Н. Г. Чернышевскому нужно было бы взглянуть на дело именно с этой последней, социально-*политической*, точки зрения. Ему нужно было показать, что общинное землевладение не только способно предохранить нас от «язвы пролетариатства», не только представляет много выгодных условий для развития сельскохозяйственной техники (т. е. для машинной обработки больших пространств земли), но и способно создать в России такое же подвижное, такое же восприимчивое и впечатлительное, такое же энергичное и революционное население, как западноевропейские пролетарии. Но этому-то и мешал его взгляд на «народ» «почти всех стран» Западной Европы, как на «невежественную» и в большинстве случаев «безграмотную» массу,

* См. «Манифест Коммунистической партии», стр. 14 моего перевода [1].

равнодушную к «отвлеченным» политическим правам. Недостаточно оттененная в его представлении политическая роль западноевропейского пролетариата не могла напрашиваться на сравнение с политическим будущим русских крестьян-общинников. Пассивность и политический индифферентизм русского крестьянства не могли смущать того, кто не ожидал большой политической самодеятельности от рабочего класса Запада. В этом обстоятельстве лежит одна из причин того, что Н. Г. Чернышевский ограничил свое исследование об общинном землевладении соображениями, относящимися к области права, распределения продуктов, агрономии, но не задался вопросом о политическом влиянии общины на государство и государства на общину.

Этот вопрос так и остался невыясненным. А вследствие этого остался невыясненным и вопрос о способах перехода от общинного земле*владения* к общинной *обработке* и — главное — к окончательному торжеству социализма. Каким образом современная сельская община перейдет в коммунистическую общину или растворится в коммунистическом государстве? Как может содействовать этому революционная интеллигенция? «Что делать» этой интеллигенции? Отстаивать общинное землевладение и вести коммунистическую пропаганду, заводить производительные ассоциации, вроде швейных мастерских Веры Павловны, надеясь, что со временем как эти мастерские, так и сельские общины поймут выгоды социалистического строя и возьмутся за его осуществление? Допустим, что так; но путь этот долог, можно ли поручиться, что он на всем своем протяжении будет прям и гладок, что на нем не встретится непредвиденных препятствий и неожиданных поворотов? А что если правительство будет преследовать социалистическую пропаганду, запрещать ассоциации, отдавать под полицейский надзор и ссылать их членов? Бороться с правительством, завоевать свободу речи, сходок и ассоциаций? Но тогда нужно будет признать, что Сибирь не выше Англии, что «отвлеченные права», о которых «хлопочут либералы», составляют необходимое условие народного развития, нужно, словом, начать политическую борьбу. Но можно ли рассчитывать на ее благоприятный исход, можно ли завоевать сколько-нибудь прочную политическую свободу? Ведь «как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа», а эта масса если не в других странах, то в России не придает никакого значения «праву свободной речи» и ровно ничего не понимает в вопросе о «праве парламентских прений». Если либерализм именно «поэтому обречен на бессилие», то откуда возьмутся силы у социалистов, которые станут бороться за «права, составляющие предмет желаний и хлопот либерализма»? Как выйти из этого затруднения? За-

нести в свою программу вместе с «отвлеченными правами» политической свободы конкретные требования экономических реформ? Но нужно ознакомить народ с этой программой, т е. нужно опять вести пропаганду, а ведя пропаганду, мы опять встречаемся с правительственными преследованиями, а правительственные преследования опять толкают нас на путь политической борьбы, безнадежной вследствие равнодушия народа, и т. д. и т. д.

С другой стороны, очень вероятно, что «уральцы, если доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда будут введены очень сильные машины для хлебопашества, будут очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее употребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах, на сотнях десятин». Очень вероятно также, что «будут рады» и те крестьянские общества, которые «доживут в нынешнем своем устройстве» до введения земледельческих машин. Ну, а чему могут быть рады те земледельцы, которые *не доживут* до этого времени «в нынешнем своем устройстве»? Чему будут рады сельские пролетарии, попавшие в батраки к общинникам? Эти последние сумеют довести эксплуатацию рабочей силы до той же степени интенсивности, на какой она будет стоять в частных хозяйствах. Русский «народ» разделится, таким образом, на два класса: эксплуататоров — *общин* и эксплуатируемых — *личностей*. Какая судьба ожидает эту новую касту париев? Западноевропейский пролетарий, ряды которого постоянно возрастают благодаря концентрации капиталов, может льстить себя тою надеждою, что, раб — сегодня, он станет независимым и счастливым работником завтра; может ли утешать себя такою перспективой русский пролетарий, возрастание численности которого будет замедлено существованием общинного землевладения? Не ожидает ли его рабство без надежды, суровая борьба

Без торжества, без примиренья?

Чью сторону должна будет принять в этой борьбе наша социалистическая интеллигенция? Если она будет отстаивать пролетариат, то не придется ли ей сжечь все, чему она поклонялась, и отталкивать общину, как оплот мелкобуржуазной эксплуатации?

Если такие вопросы не возникали в уме Н. Г. Чернышевского, который писал об общинном землевладении до уничтожения крепостного права и мог надеяться, что развитие сельского пролетариата будет сделано невозможным путем тех или других законодательных постановлений, то неизбежно все или почти все они должны были явиться перед нашими революционерами семидесятых годов, которые знали характер пресловутой реформы 19 февраля. Как ни трудно придумать такие

законы, которые ограждали бы общину от разложения, не налагая вместе с тем самого нестерпимого гнета на весь ход нашей промышленной жизни, как ни трудно сочетать коллективизм крестьянского земле*владения* с денежным хозяйством и с товарным *производством* всех продуктов, не исключая и земледельческих продуктов самих общин, но обо всем этом еще можно было говорить и спорить до 1861 года. Крестьянская же реформа должна была придать такого рода спорам и разговорам вполне определенную подкладку. В своих экскурсиях в область более или менее сомнительного будущего наши революционеры должны были исходить из бесспорных фактов настоящего. А это настоящее имело уже очень мало общего со старой, знакомой Гакстгаузену и Чернышевскому картиной дореформенной крестьянской жизни. «Положение 19 февраля» выбило общину из устойчивого равновесия натурального хозяйства и предало ее во власть всех законов товарного производства и капиталистического накопления. Выкуп крестьянских земель должен был, как мы это увидим ниже, совершаться на основаниях, враждебных принципу общинного землевладения. Кроме того, сохранивши общину в интересах фиска, наше законодательство предоставило, однако, двум третям домохозяев право окончательного раздела общинных земель на подворные участки. Переделы были также затруднены, и в довершение всего на «свободных земледельцев» был наложен совершенно несообразный с их платежными силами гнет податей и повинностей. Все протесты крестьян против «нового крепостного права» были подавлены силою розог и штыков, и «новую» Россию охватила горячка денежных спекуляций. Железные дороги, банки, акционерные компании росли, как грибы. Приведенное выше предсказание Н. Г. Чернышевского относительно предстоящих России «значительных экономических преобразований» исполнилось раньше, чем великий учитель молодежи дошел до места своей ссылки. Александр II был царем буржуазии так же точно, как Николай был солдатским и дворянским царем.

С этими неопровержимыми фактами необходимо было считаться нашей революционной молодежи, отправлявшейся в начале семидесятых годов «в народ» с целью социально-революционной пропаганды и агитации. Теперь имелось в виду уже не освобождение помещичьих крестьян от крепостной зависимости, а освобождение всего трудящегося населения России от ига эксплуатации всякого рода; теперь речь шла уже не о крестьянской «реформе», а об «установлении крестьянского братства, где не будет ни моего, ни твоего, ни барыша, ни угнетения, а будет работа на общую пользу и братская помощь между всеми» * [1].

* См. «Хитрую механику», изд. 1877 г., стр. 47—48.

Чтобы основать такое «крестьянское братство», нужно было обращаться уже не к правительству, не к Редакционной Комиссии и даже не к «обществу», а к самому крестьянству. Предпринимая такое освобождение трудящихся, которое должно быть делом «самих трудящихся», необходимо было с большею точностью исследовать, определить и указать революционные факторы народной жизни, а для этого нужно было перевести на арифметический язык абстрактные, алгебраические формулы, выработанные передовой литературой предшествующих десятилетий, подвести итог всем тем положительным и отрицательным влияниям русской жизни, от совокупности которых зависел ход и исход начинаемого дела. А так как наша молодежь еще из статей Чернышевского знала, что «масса народа до сих пор понимает землю, как общинное достояние, и количество земли, находящейся в общинном владении... так велико, что масса участников, совершенно выделившихся из него в полновластную собственность отдельных лиц, по сравнению с ним незначительна», то именно с общинного землевладения и должно было начаться изучение революционных факторов русской жизни.

Как отразились на общине противоречивые постановления «Положения 19 февраля»? Обладает ли она достаточною устойчивостью для борьбы с неблагоприятными для нее условиями денежного хозяйства? Не ступило ли уже развитие нашей крестьянской жизни на тот путь «естественного закона своего движения», с которого уже не в состоянии будут совратить ее ни строгость законов, ни пропаганда интеллигенции? А если нет, если наш крестьянин-общинник до сих пор может без большого труда усвоить социалистические идеалы, то ведь это пассивное дело усвоения должно сопровождаться энергичным актом осуществления, требующим борьбы с многочисленными препятствиями; способствуют ли условия жизни нашего крестьянства выработке в нем активной энергии, без которой остались бы бесполезными все его «социалистические» *предрасположения?*

Различные фракции нашего движения различным образом решали эти вопросы. Большая часть революционеров готова была согласиться с Герценом в том, что русский народ «равнодушен, не способен» к политике. Но склонность к идеализации народа была так велика, взаимная связь различных сторон общественной жизни была так плохо выяснена в умах наших социалистов, что в этой неспособности «ко всем *политическим* вопросам» видели как бы гарантию против буржуазных «полурешений», как бы доказательство большой способности народа к правильному решению вопросов *экономических*. Интерес и способность к *политике* считались необходимыми лишь для *политических* революций, которые во всей нашей социалистической литературе того времени противополагались «*социальным*»

революциям, как злое начало — доброму, как буржуазный обман — полному эквиваленту за пролитую народом кровь, за понесенные им потери. «Социальной» революции соответствовал, по нашим тогдашним понятиям, интерес к *социальным* же вопросам, который и усматривался в жалобах крестьянства на малоземелье и податные тягости. От сознания народом своих ближайших нужд до понимания «задач рабочего социализма», от горьких сетований на эти нужды до социалистической революции — путь, казалось, был не долог и лежал опять-таки через общину, казавшуюся нам прочной скалой, о которую разбились все волны экономического движения.

Но как одна точка не определяет положения линии на плоскости, так и поземельная община, на идеализации которой сходились все наши социалисты, не обусловливала собою сходства их программ. Все чувствовали, что и в самой общине и в миросозерцании и привычках общинников есть много частью недоделанного и недоконченного, а частью и прямо противоречащего социалистическим идеалам. Способ устранения этих недостатков и служил яблоком раздора для наших фракций.

Впрочем, и в этом отношении была черта, которую можно признать общею всем нашим революционным направлениям.

Этой общей им всем чертой была вера в возможность могущественного, решающего влияния нашей революционной интеллигенции на народ. Интеллигенция играла в наших революционных расчетах роль благодетельного провидения русского народа, провидения, от воли которого зависит повернуть историческое колесо в ту или иную сторону. Как бы кто из революционеров ни объяснял современное порабощение русского народа — недостатком ли в нем *понимания*, отсутствием ли сплоченности и революционной *энергии* или, наконец, полною *неспособностью* его к политической *инициативе*,— каждый думал, однако, что вмешательство интеллигенции устранит указываемую им причину народного порабощения. Пропагандисты были уверены, что они без большого труда научат крестьянство истинам научного социализма. Бунтари требовали немедленного создания «боевых» организаций в народе, не воображая, что оно может встретить какие-либо существенные препятствия. Наконец, сторонники «Набата» полагали, что нашим революционерам стоит только «захватить власть» — и народ немедленно усвоит социалистические формы общежития. Эта самоуверенность интеллигенции уживалась рядом с самой беззаветной идеализацией народа и с убеждением — по крайней мере, большинства наших революционеров — в том, что «освобождение трудящихся должно быть делом самих трудящихся». Предполагалось, что формула эта получит совершенно правильное применение, раз только наша интеллигенция примет народ за объект своего революци-

онного воздействия. О том, что это основное положение устава Международного Товарищества Рабочих имеет другой, так сказать, философско-исторический смысл, что освобождение данного класса может быть его собственным делом лишь в том случае, когда в нем самом является самостоятельное движение во имя своей эмансипации,— обо всем этом наша интеллигенция частью не задумывалась вовсе, а частью имела довольно странное представление. Так, например, в доказательство того, что народ наш сам, без помощи интеллигенции, начал уже понимать условия своего истинного освобождения, приводилось недовольство его реформой 1861 года. В доказательство же его способности к самостоятельному революционному движению ссылались обыкновенно на наши «крестьянские войны», на бунты Разина и Пугачева.

Тяжелый опыт скоро показал нашим революционерам, что от жалоб на малоземелье бесконечно далеко до выработки определенного классового сознания и что от бунтов, происходивших 100 и 200 лет тому назад, нельзя умозаключать к готовности народа восстать в настоящее время. История нашего революционного движения семидесятых годов была историей разочарований в «программах», казавшихся самыми практичными и безошибочными.

Но нас интересует в настоящее время история революционных идей, а не история революционных попыток. Для нашей цели необходимо подвести итог всем тем социально-политическим воззрениям, которые достались нам в наследство от предшествующих десятилетий.

Посмотрим же, что завещала нам в этом случае каждая из главных фракций семидесятых годов.

Поучительнее всего будут для нас теории М. А. Бакунина и П. Н. Ткачева. Программа так называемых пропагандистов, сводившая к распространению социалистических идей всю дальнейшую историю России, вплоть до революции, страдала слишком заметным идеализмом. Они рекомендовали русским социалистам пропаганду так же точно, как рекомендовали бы они ее при случае социалистам польским, сербским, турецким, персидским — словом, социалистам любой страны, лишенной возможности организовать рабочих в открытую политическую партию. Вышеприведенное герценовское сравнение судьбы «Евклидовых положений» с вероятной историей социалистических идей могло бы служить типическим примером их аргументации в пользу своей программы. Они понимали это сравнение, само по себе довольно рискованное, в том абстрактном и одностороннем смысле, что для усвоения раз выработанных социально-политических понятий достаточно субъективной логики людей, не поддерживаемой объективной логикой общественных отношений.

Они сделали мало ошибок в анализе общественных отношений России по той простой причине, что совсем почти не брались за такой анализ.

5. М. А. БАКУНИН

Не так рассуждал Бакунин. Он понимал, что воздействие революционной интеллигенции на народ возможно лишь при наличности известных исторических условий, лишь при существовании в самом народе более или менее сознательного стремления к социалистическому перевороту. Поэтому он исходил из сравнения «народных идеалов» с идеалами нашей интеллигенции, конечно анархического направления.

По его мнению, в русском народе существуют в самых широких размерах те два элемента, на которые мы можем указать, как на необходимые условия социальной революции. «Он может похвастаться чрезмерной нищетою, а также рабством примерным (sic). Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глубоким и страстным отчаянием, выразившимся уже два раза исторически двумя страшными взрывами: бунтом Стеньки Разина и пугачевским бунтом, и не перестающим поныне проявляться в беспрерывном ряде частных крестьянских бунтов» *. Совершить победоносную революцию ему мешает не «недостаток в общем идеале, который был бы способен осмыслить народную революцию, дать ей определенную цель». Если бы такого идеала не было, «если бы он не выработался в сознании народном, по крайней мере в своих главных чертах, то надо было бы отказаться от всякой надежды на русскую революцию, потому что такой идеал выдвигается из самой глубины народной жизни, есть непременным образом результат народных исторических испытаний, его стремлений, страданий, протестов, борьбы и вместе с тем есть как бы образное и общепонятное, всегда простое выражение его настоящих требований и надежд... если народ не выработает сам из себя этого идеала, то никто не будет в состоянии ему его дать». Но «нет сомнения», что такой идеал существует в представлении русского крестьянства, «и нет даже необходимости слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты».

Автор «Государственности и анархии» насчитывает шесть «главных черт» русского народного идеала: три хорошие и три дурные. Присмотримся к этой классификации повнимательнее, так как миросозерцание М. А. Бакунина наложило свой отпечаток на взгляды многих из тех наших социалистов, которые никогда не были его последователями или даже выступали в качестве его противников.

* «Государственность и анархия», примечание А, стр. 7.

«Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее своим трудом. Вторая столь же крупная черта — что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами; третья черта одинаковой важности с двумя предыдущими — это квазиабсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решительно враждебное отношение общины к государству».

«Вот три главные черты, которые лежат в основании русского народного идеала. По существу своему, они вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся за последнее время в сознании пролетариата латинских стран, несравненно ближе ныне стоящих к социальной революции, чем страны германские. Однако русский народный идеал омрачен тремя другими чертами, которые искажают его характер и чрезвычайно (Nota bene) затрудняют и замедляют осуществление его... Эти три затемняющие черты: 1) патриархальность; 2) поглощение лица миром; 3) вера в царя... Можно было бы прибавить в виде четвертой черты христианскую веру, официально-православную или сектаторскую, но... у нас в России этот вопрос далеко не представляет той важности, какую он представляет в Западной Европе»*.

Против этих-то отрицательных черт народного идеала и должны бороться «всеми силами» русские революционеры, и такая борьба «тем возможнее, что она уже существует в самом народе».

Уверенность в том, что сам народ начал уже борьбу против отрицательных «черт» своего идеала, представляла собою очень характерную «черту» всей программы русских бакунистов. Она являлась соломинкой, за которую хватались они, чтобы спастись от логических выводов из их собственных посылок и от результатов сделанного М. А. Бакуниным анализа народного идеала. «Ни лицу, ни обществу, ни народу нельзя дать того, чего в нем уже не существует не только в зародыше, но даже в некоторой степени развития»,— читаем мы в «примечании А», столько раз уже цитированном нами. Оставаясь последовательным, русский бакунист должен был бы «отказаться от всякой надежды на русскую революцию», если бы народ сам не заметил «затемняющих черт» своего идеала и если бы его недовольство этими чертами не достигло уже «некоторой степени развития». Понятно поэтому, что в эту сторону должна была направиться вся диалектическая сила родоначальника русского «бунтарства».

Нужно заметить, кроме того, что в этом пункте М. А. Бакунин был очень недалек от вполне правильной постановки

* «Государственность и анархия», примечание А, стр. 10.

вопроса о шансах социально-революционного движения в России и от серьезного, критического отношения к характеру и «идеалам» нашего народа. Такого критического отношения именно и недоставало русским общественным деятелям. Еще А. И. Герцен поражался отсутствием сколько-нибудь определенной и общепринятой характеристики русского народа. «Иные говорят только о всемогуществе царя, о правительственном произволе, о рабском духе подданных; другие утверждают, напротив, что петербургский империализм не народен, что народ, раздавленный двойным деспотизмом правительства и помещиков, несет ярмо, но не мирится с ним, что он не уничтожен, а только несчастен, и в то же время говорят, что этот самый народ придает единство и силу колоссальному царству, которое давит его. Иные прибавляют, что русский народ — презренный сброд пьяниц и плутов; другие же уверяют, что Россия населена способною и богато одаренною породою людей» *.

С тех пор, как были впервые написаны цитированные мною строки, прошло уже тридцать лет, а между тем и до сих пор, и не только иностранцы, которых имел в виду Герцен, но и русские общественные деятели придерживаются диаметрально противоположных взглядов на характер и «идеалы» русского народа. Нет ничего удивительного, конечно, в том, что всякая партия склонна преувеличивать сочувствие народа к ее собственным стремлениям. Но ни во Франции, ни в Германии, ни в какой-либо другой западной стране нельзя встретить того противоречия во взглядах на крестьянство, какое нас поражает в России. Это противоречие ведет подчас к весьма забавным недоразумениям. Различие в социально-политическом миросозерцании людей самых противоположных направлений определяется часто одним только различием в понимании «народных идеалов». Так, например, г. Катков и г. Аксаков согласились бы с г. Тихомировым в том, что «политическая программа... должна брать народ, каков он есть, и только в этом случае будет способна производить воздействие на его жизнь». Затем редактор «Руси» мог бы принять, что «на 100 миллионов жителей» у нас «приходится 800 000 рабочих, объединенных капиталом», как уверяет г. Тихомиров в своей статье «*Чего нам ждать от революции?*»; редактор же «*Московских Ведомостей*» счел бы, может быть, эту оценку слишком низкой и указал бы на многие неточности в статистических выкладках г. Тихомирова [2]. Тем не менее и тот и другой подписались бы обеими руками под тем мнением, что Россия — страна земледельческая, что к ней неприложимы результаты «анализа общественных отношений, сделанного... в капиталистических странах Европы», что толковать о полити-

* «Русский народ и социализм»[1], Лондон 1858, стр. 7—8.

ческом и экономическом значении русской буржуазии смешно и нелепо, что русские социал-демократы осуждены на «положение поистине трагическое» и что, наконец, говоря о том, «каков есть» народ, нужно иметь в виду именно наше крестьянство. Несмотря, однако, на то, что миросозерцание литературных представителей наших крайних (в различные стороны) партий «охватывает взгляды, в некоторой мере» тождественные между собою, выводы, делаемые ими из своих посылок, оказываются диаметрально противоположными. Пишет о народе г. Тихомиров —и мы с удовольствием узнаем, что, «разочаровываясь в самодержавии царей», народ наш может перейти «только к самодержавию народа», что «в революционный момент наш народ в политическом отношении не может оказаться раздробленным, когда речь зайдет об основном принципе государственной власти. Точно так же он окажется совершенно единодушным в экономическом отношении по вопросу о земле, т. е. по вопросу основному для современного русского производства» (sic). Веселое настроение духа окончательно овладевает нами, когда мы читаем, что «ни по нравственной силе, ни по ясности общественного самосознания, ни по вытекающей отсюда исторической устойчивости мы ни один из наших общественных слоев не можем поставить рядом с крестьянско-рабочим классом», что «впечатление интеллигенции не обманывает ее, и в момент окончательной развязки современной путаницы политических отношений народ, конечно, выступит более сплоченным, чем хотя бы прославленная (кем?) буржуазия» [1].

Мы видим, что народ «хочет хорошо», как уверял когда-то французов один русский писатель [2], и, преисполненные радостью, готовимся уже грянуть— «гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс!», как вдруг нам попадается на глаза «Русь», и мы опускаемся с неба на землю. Оказывается, что народ «хочет» совсем скверно. Он боготворит царя, отстаивает телесные наказания, не помышляет ни о каких революциях и готов немедленно разносить в прах гг. народолюбцев, как только относительно их получится «строгая телеграмма». В ссылках на современную действительность, и даже на историю, здесь, как и в статьях г. Тихомирова, нет недостатка. Что за странность! Обращаемся к известным своим беспристрастием исследователям народной жизни, вроде г. Успенского, и наше разочарование только усиливается. Мы узнаем, что народ наш находится под «властью земли» [3], которая заставляет его довольно логически умозаключать к абсолютизму, не делая даже намека на переход к «самодержавию народа». Тот же г. Успенский убеждает нас, что не только у таких крайних полюсов, как гг. Аксаков и Тихомиров, но и у людей одинаковых, приблизительно, воззрений существуют диаметрально противоположные взгляды на народ.

Чем же обусловливается все это вавилонское столпотворение, вся эта путаница понятий?

Бакунинская классификация различных сторон «народного идеала» дает нам довольно вероятное объяснение. Все дело в том, что г. Тихомиров кладет в основу своих социально-политических рассуждений некоторые положительные «черты» этого идеала (те самые, которые «по существу своему вполне соответствуют идеалу, вырабатывающемуся в сознании пролетариата латинских стран»): «всенародное убеждение, что земля, вся земля, принадлежит народу и что право на пользование ею принадлежит не лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между лицами». И хотя автора статьи «Чего нам ждать от революции?» не особенно обрадовала бы третья черта, «одинаковой важности с двумя предыдущими», т. е. «решительно враждебное отношение к государству», но эта вражда в самой бакунинской классификации является лишь следствием «квазиабсолютной автономии общинного самоуправления», на котором опираются многие надежды г. Тихомирова *. О «затемняющих» чертах народного идеала (патриархальность, поглощение лица миром, «суеверие народа, естественным образом сопряженное в нем с невежеством», нищетою и т. д.) наш автор или ничего не знает, или ничего не хочет сообщить своим читателям. Г-н Аксаков поступает наоборот. Он строит свою аргументацию именно на этих последних «чертах», забывая или умалчивая о противоположных. Статьи г. Успенского также перестают приводить нас в изумление. Он сопоставил Ормузда с Ариманом [1], дурные стороны идеала с хорошими, и пришел в тупой переулок «власти земли», из которого нет, повидимому, выхода ни крестьянину, ни всей России, которая стоит на крестьянине, как земля «на трех китах»; изображенные же им народолюбцы опять-таки видели кто светлые, а кто «несчастные» черты народного характера и идеала, а потому и не могли прийти ни к какому соглашению. Все это совершенно понятно, и нельзя не поблагодарить покойного Бакунина за тот ключ, который он дал нам для понимания односторонности как его собственных последователей, так и большей части наших народников вообще.

Но Бакунин не даром изучал когда-то немецкую философию. Он понимал, что предложенная им классификация «черт народного идеала» — берем ли мы одни хорошие, или одни «несчастные», или, наконец, и счастливые и «несчастные черты» — объясняет только китайскую сторону вопроса. Он понимал, что народ нужно «брать» не «каков он есть», а каким он *стремится*

* «Крестьянство умеет устроить свое самоуправление, умеет принять в мирское владение землю и общественно распоряжаться ею», «В. Н. В.» № 2, стр. 225.

стать и становится под влиянием данного исторического движения. В этом случае Бакунин был гораздо ближе к Гегелю, чем к г. Тихомирову. Он не удовольствовался тем убеждением, что именно «*таков* есть» народный идеал, но озаботился изучением «черт» этого идеала в их развитии, в их взаимном соотношении. Именно в этом пункте он был, как я сказал выше, очень недалек от правильной постановки вопроса. Если бы он надлежащим образом применил диалектический метод к объяснению народной жизни и народного миросозерцания, если бы он лучше усвоил ту «доказанную Марксом несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует... политическому праву», а следовательно, и социально-политическим идеалам «народов», если бы он своевременно вспомнил, что «в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса» *, то мне не пришлось бы, вероятно, спорить с г. Тихомировым, так как от «бакунизма» не осталось бы и следа.

Но Бакунину изменила диалектика, или, вернее, он изменил ей.

Вместо того чтобы исходить из «экономических фактов» в своем анализе социально-политического идеала русского народа, вместо того чтобы ожидать переработки этого *старого* «идеала» от влияния *новых* тенденций в экономической жизни народа, автор «Государственности и анархии» устанавливает совершенно произвольную иерархию «недостатков» народного идеала, стараясь найти такую комбинацию «несчастных» его «черт», при которой одна из них нейтрализируется или даже совершенно уничтожается другою. Это превращает всю его аргументацию в совершенно произвольную игру совершенно произвольными определениями. Автор, бывший, казалось, так недалеко от истины, вдруг удалился от нее на бесконечное расстояние по той простой причине, что он лишь *чувствовал* необходимость диалектической оценки народного миросозерцания, но не сумел или не захотел *сделать* ее. Вместо ожидаемой диалектики явилась на сцену софистика. «Бакунизм» был спасен, но выяснение задач русской революционной интеллигенции не подвинулось ни на один шаг вперед.

Иерархия различных недостатков народного идеала устанавливается таким образом. «Поглощение лица миром и богопочитание царя, собственно, вытекают как естественные результаты... из патриархальности». Сама община оказывается «не чем иным, как естественным расширением семьи, рода» **, а царь —

* «Государственность и анархия», стр. 223—224.

** М. А. Бакунин, очевидно, и не подозревал, что община является в истории раньше патриархата и существует у народов, не имеющих и

«всеобщим патриархом и родоначальником, отцом всей России». Именно «*поэтому* власть его безгранична». Отсюда понятно, что патриархальность оказывается «главным, историческим злом», против которого мы обязаны «бороться всеми силами». Но как бороться против «исторического зла» анархисту, не имеющему «намерения и ни малейшей охоты навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного им самим»? Не иначе, как опираясь на историческое развитие народного идеала. Но способствует ли развитие русского народного идеала устранению из него затемняющей черты патриархальности? Несомненно, и именно вот каким образом: «война против патриархальности ведется ныне чуть ли не в каждой деревне и в каждом семействе, и община, мир до такой степени обратились теперь в орудие ненавистной народу государственной власти и чиновнического произвола, что бунт против последних становится вместе с тем и бунтом против общинного и мирского деспотизма»*. Не смущаясь тем, что борьба против общинного деспотизма не может не пошатнуть самого принципа общинного землевладения, автор считает вопрос окончательно решенным и уверяет, что «остается богопочитание царя», которое «чрезвычайно поприелось и ослабло в самом сознании народном за последние десять или двенадцать лет», даже не потому, что пошатнулась «патриархальность», а «благодаря мудрой и народолюбивой политике Александра II благодушного». После многих испытаний русский народ «начал понимать, что у него нет врага пуще царя». Интеллигенции приходится только поддерживать и усиливать это антицарское направление в народной мысли. В заключение той же интеллигенции рекомендуется бороться против еще одного «главного недостатка», не упомянутого при вышецитированном перечислении черт народного идеала. Недостаток этот, «парализирующий и делающий до сих пор невозможным всеобщее народное восстание в России,— это замкнутость общин, уединение и разъединение крестьянских миров»... Если принять во внимание, что «разъединение крестьянских миров» есть результат того обстоятельства, что «каждая община составляет в себе замкнутое целое, вследствие чего ни

тени «патриархальности». Впрочем, эту ошибку он разделял со многими из своих современников, например с Родбертусом, а пожалуй, и с Лассалем, который в своей схеме истории собственности, «System der erworbenen Rechte», Т. I, S. S. 217—223 [«Система приобретенных прав», ч. I, стр. 217—223], совсем не упоминает о первобытной общине.

[Примечание к изданию 1905 г.] Повторяю, что русская сельская община не имеет ничего общего с первобытной общиной. Но в начале восьмидесятых годов это еще не было установлено.— *Г. П.*

* «Государственность и анархия», примечание А, стр. 19.

одна из общин не имеет, да и не *чувствует* * надобности иметь с другими общинами никакой самостоятельной органической связи», что «соединяются они между собою только посредством батюшки-царя, только в его верховной, отеческой власти», то приходится сознаться, что на интеллигенцию возлагается нелегкая задача. «Связать лучших крестьян всех деревень, волостей и по возможности областей... между собою, и там, где это возможно, провести такую же живую связь между фабричными работниками и крестьянством»... сделать так, «чтобы лучшие или передовые крестьяне каждой деревни, каждой волости и каждой области знали таких же крестьян всех других деревень, волостей, областей»... убедить их в том, что «в народе живет несокрушимая сила, которая могуча только когда она собрана и действует одновременно... и что до сих пор она не была собрана»; связать и организовать «села, волости, области по одному общему плану и с единою целью всенародного освобождения»,— словом, прибавить несколько новых, очень хороших «черт» к народному характеру и идеалу и устранить из них несколько коренных недостатков — это работа, достойная титанов! И за это-то гигантское предприятие приходится браться в том убеждении, что «нужно быть олухом царя небесного или неизлечимым доктринером для того, чтобы вообразить себе, что можно что-нибудь дать народу, подарить ему какое бы то ни было материальное благо или новое умственное или нравственное содержание, новую истину и произвольно дать его жизни новое направление или, как утверждал... покойный Чаадаев, писать на нем, как на белом листе, что угодно» **... Можно ли вообразить более вопиющее противоречие между теоретическими положениями «программы» и намеченными ею практическими задачами?

Людям, не желавшим окончательно разрывать с логикой, оставалось или отказаться от практической части этой программы, удерживая основные ее положения, или преследовать указанные ею практические задачи, стараясь подыскать для них новое теоретическое обоснование. Так оно и вышло впоследствии.

6. П. Н. ТКАЧЕВ

Но рядом с бакунизмом, носившим в своих собственных недрах элементы своего разложения, существовало другое течение в русской революционной партии. Крайне враждебное анархической философии М. А. Бакунина, оно сходилось с ним —

* Курсив принадлежит мне.
** «Государственность и анархия», примечание А, стр. 9.

как я говорил уже в брошюре «Социализм и политическая борьба» — в оценке современной русской действительности. В то же время от многих промахов автора «Государственности и анархии» направление это было застраховано, так сказать, меньшею претенциозностью, низшим логическим типом своей аргументации.

М. А. Бакунин пытался найти оправдание для рекомендуемого им способа действий в самом ходе развития народного миросозерцания, но, употребивши в дело неподходящий критерий, он вынужден был подставить на место исторического развития русской общественной жизни логические скачки своей собственной мысли. П. Н. Ткачев, родоначальник того направления, к которому мы переходим теперь, совсем не задумывался о диалектическом анализе наших общественных отношений. Он умозаключал к своей программе непосредственно от *статики* этих отношений. Современный склад русской жизни казался ему как бы нарочно придуманным для социальной (что, по его терминологии, значило — *социалистической*) революции. Толковать о прогрессе, развитии — значило для него изменять народному делу. «Теперь или очень не скоро, быть может, никогда!» — таков был девиз его органа «Набат». Ту же мысль высказывает он в своей брошюре «Задачи революционной пропаганды в России», она же проходит через каждую строку его «Открытого письма к Энгельсу». Не пускаясь в трудный путь диалектики, он не делал свойственных Бакунину неверных логических шагов, над которыми он так едко смеялся в своей «Анархии мысли». Он был последовательнее Бакунина в том смысле, что тверже держался своих посылок и делал из них более логические выводы. Вся беда заключалась лишь в том, что не только эти посылки, но и та точка зрения, на которую он становился при их выработке, были ниже бакунинских, по той простой причине, что они были не чем иным, как упрощенным бакунизмом, бакунизмом, отказавшимся от всякой попытки создать свою философию русской истории и предавшим такого рода попытки революционной анафеме. Немногих выписок из сочинений Ткачева будет достаточно, чтобы подтвердить все сказанное.

Начнем с «Открытого письма к г. Фридриху Энгельсу».

Письмо это имеет целью «помочь невежеству» Энгельса, доказать ему, что «осуществление социальной революции не встречает в России никаких препятствий» и что «в каждую данную минуту возможно возбудить русский народ к единодушному революционному протесту» *. Способ доказательства этого тезиса так своеобразен, так характерен для истории развития «бедной русской мысли», так важен для понимания и правильной оценки

* «Offener Brief», S. 10. [«Открытое письмо», стр. 10.]

программы «партии Народной Воли», до такой степени предвосхищает всю аргументацию г. Тихомирова, что заслуживает самого серьезного внимания читателей.

По мнению П. Н. Ткачева, было бы ребячеством мечтать о пересаждении на русскую почву «Международной Ассоциации Рабочих». Этому препятствуют социально-политические условия России. «Да будет Вам известно,— говорит он Энгельсу [1],— что мы в России не располагаем ни одним из тех средств революционной борьбы, которые находятся к вашим услугам на Западе вообще и в Германии в частности. У нас нет городского пролетариата, нет свободы прессы, нет представительного собрания, нет ничего, что давало бы нам надежду соединить (при современном экономическом положении) в один хорошо организованный, дисциплинированный рабочий союз... забитую, невежественную массу трудящегося люда»... «У нас немыслима рабочая литература, но если бы создание ее и было возможно, то она оказалась бы бесполезной, так как большинство нашего народа не умеет читать». Личное влияние на народ также невозможно благодаря полицейским постановлениям, преследующим всякое сближение интеллигенции с черным народом. Но все эти неблагоприятные условия, уверяет Энгельса автор письма, «не должны приводить Вас к той мысли, что победа социальной революции более проблематична, менее обеспечена в России, чем на Западе. Ни в каком случае! Если у нас нет некоторых из тех шансов, которые есть у вас, то мы можем указать много таких, которых не хватает у вас».

В чем же заключаются эти шансы? Почему мы можем ждать революции и чего должны ожидать от нее?

«У нас нет городского пролетариата — это, конечно, верно; но зато у нас совсем нет буржуазии. Между страдающим народом и угнетающим его деспотизмом государства у нас нет никакого среднего сословия; наши рабочие должны будут бороться лишь с *политической силой* — *сила капитала* находится у нас еще в зародыше»...

«Наш народ невежествен — это также факт. Но зато он в огромном большинстве случаев проникнут принципами общинного владения; он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции»...

«Отсюда ясно, что, несмотря на свое невежество, народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада, хотя они и образованнее его».

«Народ наш привык к рабству и повиновению — этого также нельзя оспаривать. Но Вы не должны заключать отсюда, что он доволен своим положением. Он протестует, непрерывно протестует против него. В какой бы форме ни проявлялись эти протесты, в форме ли религиозных сект, называемых

расколом, в отказе ли от уплаты податей или в форме восстаний и открытого сопротивления власти,— во всяком случае он протестует, и по временам очень энергично»...

«Правда, эти протесты узки и разрозненны. Но, несмотря на это, они в достаточной мере доказывают, что народу невыносимо его положение, что он пользуется каждым случаем, чтобы дать волю накопившемуся в его груди чувству озлобления и ненависти. И поэтому русский народ можно назвать инстинктивным революционером, несмотря на его кажущееся отупение, несмотря на отсутствие у него ясного сознания своих прав»...

«Наша интеллигентская революционная партия немногочисленна — это также верно. Но зато она не преследует никаких других идеалов, кроме социалистических, а враги ее почти еще бессильнее ее, и это их бессилие идет ей на пользу. Наши высшие сословия не представляют собою никакой силы — ни *экономической* (они для этого слишком бедны), ни политической (они слишком тупы и слишком привыкли во всем полагаться на мудрость полиции). Наше духовенство не имеет никакого значения... Наше государство только издали представляется силой. В действительности его сила — кажущаяся, воображаемая. Оно не имеет корней в экономической жизни народа. Оно не воплощает в себе интересов какого-либо сословия. Оно равномерно давит все классы общества и пользуется равномерною ненавистью со стороны их всех. Они терпят государство, переносят его варварский деспотизм с полным равнодушием. Но это терпение, это равнодушие... является продуктом ошибки: общество создало себе иллюзию о силе русского государства и находится под волшебным ее влиянием». Но немного нужно, чтобы рассеять эту иллюзию. «Два три военных поражения, одновременное восстание крестьян во многих губерниях, открытое восстание в резиденции в мирное время — и ее влияние мгновенно рассеется, и правительство увидит себя одиноким и всеми покинутым».

«Таким образом, мы и в этом отношении имеем более шансов, чем вы (т. е. Запад вообще и Германия в частности). У вас государство отнюдь не мнимая сила. Оно опирается обеими ногами на капитал; оно воплощает в себе известные экономические интересы. Его поддерживает не только солдатчина и полиция (как у нас), его укрепляет весь строй буржуазных отношений... У нас... наоборот — наша общественная форма обязана своим существованием государству, государству, так сказать, висящему в воздухе, государству, которое не имеет ничего общего с существующим социальным порядком, корни которого кроются в прошедшем, но не в настоящем»*.

---

* «Offener Brief», S. S. 4—5—6. [«Открытое письмо», стр. 4—5—6.]

Такова социально-политическая философия П. Н. Ткачева. Если бы как-нибудь по ошибке наборщика под вышеприведенными выписками была поставлена ссылка на статью «Чего нам ждать от революции?», то едва ли сам г.Тихомиров заметил бы эту погрешность: до такой степени копия, появившаяся в свет в апреле 1884 года, похожа на оригинал, вышедший десять лет тому назад. Но увы, что значит слава первого открытия?! Г-н Тихомиров ни единым словом не упоминает о своем учителе! С своей стороны автор «*Открытого письма г. Ф. Энгельсу*» не счел нужным сослаться на «*Государственность и анархию*», вышедшую еще в 1873 году и содержащую ту же самую характеристику русских общественных отношений и те же уверения в том, что русский крестьянин — «коммунист по инстинкту, по традиции». Фр. Энгельс был совершенно прав, говоря в своем ответе Ткачеву, что аргументация этого последнего построена на обычных «бакунистских фразах».

Но к чему же приводит бакунизм, потерявший веру в возможность устранить путем непосредственного влияния «несчастные черты» народного идеала и сосредоточивший свое внимание на том *счастливом* обстоятельстве, что наше *государство* «висит в воздухе» и «не имеет ничего общего с существующим социальным порядком», а «*осуществление социальной революции* не представляет никаких трудностей»? Понятно — к чему. Если «капитал у нас еще в зародыше» и «рабочим приходится бороться лишь с *политическою силою*» царизма, если народ, с своей стороны, «всегда готов» к восстанию, как пушкинский Онегин — к дуэли, то революционная борьба приобретает исключительно «политический» характер. А так как, кроме того, у нас нет возможности «соединить в хорошо организованный, дисциплинированный союз забитую, невежественную массу трудящегося люда», нет возможности создать рабочую литературу и не было бы даже пользы в ее создании, то выходит, что эту политическую борьбу должны вести вовсе не рабочие. Об этом должна позаботиться та самая «немногочисленная интеллигентская революционная партия», сила которой заключается в ее социалистических идеалах и в бессилии ее врагов. Но этому сильному чужим бессилием меньшинству, как по современным русским условиям, так и по самой сущности ее отношений ко всем прочим общественным силам, не остается ничего другого, как создавать тайную организацию и подготовлять coup d'Etat * в ожидании благоприятных для решительного удара обстоятельств: «военных поражений» России, «одновременных бунтов в нескольких губерниях» или «восстания в резиденции». Другими словами, изверившийся в «про-

* [государственный переворот]

гресс» бакунизм самым прямым путем приводит нас к заговору с целью ниспровержения существующего правительства, захвата власти и организации социалистического общества с помощью этой власти и «прирожденных, традиционных» склонностей русского крестьянства к коммунизму. Все это мы и видели в произведениях П. Н. Ткачева гораздо раньше, чем узрели в статье г. Тихомирова.

Но для полного знакомства с программой Ткачева, или, как говорил он, той «фракции, к которой принадлежит все, что есть в нашей революционной интеллигентной молодежи смелого, умного и энергичного», нужно обратиться к другим произведениям редактора «*Набата*», так как «Открытое письмо» заключает в себе лишь уверения в том, что «современный период (русской) истории самый удобный для совершения социальной революции», да указания на такие «общие черты» программы, как «прямое воззвание к народу», создание крепкой революционной организации и строгой дисциплины. Из брошюры же «Задачи революционной пропаганды в России» [1] мы почерпаем ту оригинальную мысль, что «насильственная революция тогда только и может иметь место, когда меньшинство не хочет ждать, чтобы большинство сознало свои потребности, но когда оно решается, так сказать, навязать ему это сознание». Наконец, в сборнике «критических очерков П. Н. Ткачева», изданных под одним общим заглавием «Анархия мысли» [2], мы — в главе, направленной против программы журнала «Вперед» и брошюры «Русской социально-революционной молодежи» [3], — уже прямо встречаемся со следующей альтернативой: «Необходимо выбрать одно из двух: или интеллигенция должна захватить после революции власть в свои руки, или она должна противодействовать, задерживать революцию до той блаженной минуты, когда «народный взрыв» не будет более представлять опасностей, т. е. когда народ усвоит результаты мировой мысли, приобретет недоступные ему знания». Уже из того обстоятельства, что знания признаются «недоступными народу», ясно, куда склоняются симпатии П. Н. Ткачева.

Организация заговора с целью захвата власти становится главною практическою задачею пропаганды газеты, а потом журнала «Набат». Параллельно с этим идет пропаганда террора и возвеличение «так называемого нечаевского заговора» на счет кружков пропагандистов. «Для нас, революционеров, не желающих долее сносить несчастий народа, не могущих долее терпеть своего позорного рабского состояния, для нас, не затуманенных метафизическими бреднями и глубоко убежденных, что русская революция, как и всякая другая революция, не может обойтись *без вешания и расстрела жандармов, прокуроров, министров, купцов, попов* — словом, не может обойтись без

«насильственного переворота», для нас, материалистов-революционеров, *весь вопрос сводится к приобретению силы власти, которая теперь направлена против нас*». Эти строки, напечатанные *в 1878 году* *, когда никто и не думал еще о создании «партии Народной Воли», с достаточною ясностью показывают, где нужно искать источника тех практических идей, пропаганду которых приняла на себя эта партия. Мы думаем поэтому, что редакция «Набата» была по-своему права, когда, констатируя в 1879 году «полнейшее фиаско» хождения в народ, она с гордостью прибавляла: «Мы *первые* указали на неизбежность этого фиаско, мы *первые*... заклинали молодежь сойти с этого гибельного антиреволюционного пути и снова вернуться к традициям непосредственно революционной деятельности и боевой, централистической революционной организации (т. е. к традициям нечаевщины). И наш голос не был голосом вопиющего в пустыне»... «Боевая организация революционных сил, дезорганизация и терроризация правительственной власти — таковы были с самого начала основные требования нашей программы. И в настоящее время эти требования стали, наконец, осуществляться на практике». Увлекшись террористической деятельностью, редакция заявляет даже, что «*в настоящее время наша единственная задача* — терроризировать и дезорганизовать правительственную власть» **[2].

7. РЕЗУЛЬТАТЫ

Ниже мы увидим, какое значение имеют сделанные мною выписки в вопросе о «наших разногласиях». Теперь же взглянем на изложенные нами программы с чисто исторической точки зрения и спросим себя — насколько удовлетворительно был ими поставлен и решен вопрос о состоянии русской общины и о способности русского народа к сознательной борьбе за свое экономическое освобождение?

Мы видели, что как М. А. Бакунин, так и П. Н. Ткачев очень много говорили о коммунистических инстинктах русского крестьянства. Ссылки на эти инстинкты составляют исходную точку их социально-политических рассуждений, главное основание их веры в возможность социалистической революции в России. Но ни автор «Государственности и анархии», ни редактор «Набата» нимало не задумывались, повидимому, над вопросом о том, потому ли существует община, что

* См. журнал «Набат», 1878 год (№ и месяц не обозначены), статью «Революционная пропаганда», стр. L.[1]

** «Набат», 1879 г., №№ 3, 4, 5, стр. 2—3.

народ наш «проникнут принципами общинного землевладения», или потому он «проникнут» этими «принципами», т. е. имеет привычку к общине, что живет в условиях коллективного владения землей? Если бы они внимательнее отнеслись к этому вопросу, ответ на который не может быть сомнительным, то им пришлось бы перенести центр тяжести своей аргументации из области рассуждений о народных «инстинктах» и идеалах в сферу исследований о народном хозяйстве. Тогда им пришлось бы обратить внимание на историю землевладения и вообще права собственности у первобытных народов, на возникновение и постепенный рост индивидуализма в общинах охотничьих, кочевых и земледельческих племен, на социально-политическое влияние этого нового «принципа», становящегося мало-помалу господствующим. Применяя результаты такого рода исследований к России, им пришлось бы сделать оценку тех разлагающих общину условий, значение которых в особенности возросло со времени уничтожения крепостного права. Эта оценка логически привела бы их к попытке определить силу и значение индивидуалистического принципа в хозяйстве современной сельской общины в России. Затем, так как значение этого принципа — под влиянием враждебных коллективизму условий — постоянно возрастает, то им нужно было бы узнать величину ускорения, приобретаемого индивидуализмом в ходе его вторжения в право и хозяйство общинников. Определивши, с возможною в таких случаях точностью, величину этого ускорения, они должны были бы перейти к изучению свойств и развития той силы, с помощью которой они думали не только предупредить торжество индивидуализма и не только восстановить сельскую общину в ее первобытном виде, но и придать ей новую, высшую форму. При этом возник бы очень важный, как мы видели, вопрос о том, явится ли эта сила продуктом внутренней жизни общины или результатом исторического развития внешних условий. Во втором из предположенных случаев интересующая нас сила оказалась бы чисто внешнею силою по отношению к общине, и тогда им прежде всего нужно было бы спросить себя, достаточно ли одних внешних влияний для переустройства экономической и социально-политической жизни данного класса? Покончивши с этим вопросом, пришлось бы немедленно считаться с другим, а именно — где должно искать точку приложения этой силы, в сфере ли *условий жизни* или в области *привычек мысли* нашего крестьянства? В заключение им нужно было бы доказать, что *сила сторонников социализма увеличивается с большей быстротой, чем совершается рост индивидуализма в русской экономической жизни*. Только сделавши это обстоятельство по крайней мере *вероятным*, они могли бы доказать *вероятность* той социальной революции, ко-

торая, по их мнению, не могла встретить в России «*никаких*» затруднений.

В каждом из вышеперечисленных случаев им пришлось бы иметь дело не со статикой, а с динамикой наших общественных отношений, «брать» народ не таким, «каков он есть», а таким, каким он *становится*, рассматривать не неподвижную *картину*, а совершающийся по известным законам *процесс* русской жизни. Им пришлось бы употребить в дело то самое орудие диалектики, которое уже употреблялось Чернышевским для изучения вопроса об общине в самом абстрактном его виде.

К сожалению, ни Бакунин, ни Ткачев не сумели, как мы видели, подойти с этой наиболее важной стороны к вопросу о шансах социальной революции в России. Они довольствовались тем убеждением, что народ наш — «коммунист по инстинкту, по традиции», и если Бакунин обращал должное внимание на слабые стороны народных «традиций» и народного инстинкта, если Ткачев видел, что устранить такого рода слабые стороны можно лишь путем учреждений, а не логических доводов, то все-таки ни тот, ни другой из названных писателей не довели дело анализа до конца. Взывая к нашей интеллигенции, они ожидали социальных чудес от ее деятельности и полагали, что ее преданность заменит народную инициативу, ее революционная энергия займет место внутреннего стремления русской общественной жизни к социалистической революции Народное хозяйство, склад жизни и привычки мысли нашего крестьянства рассматривались ими именно как неподвижная картина, как законченное целое, подлежащее лишь незначительным видоизменениям вплоть до самой социальной революции. В представлении тех самых писателей, которые, конечно, не отказались бы признать современные им формы народной жизни результатом исторического развития, история как бы «останавливала свое течение». От времени выхода в свет «Государственности и анархии» или «Открытого письма к Фр. Энгельсу» вплоть до первого или «второго дня после революции» сельская община должна была, по их мнению, остаться в своем нынешнем виде, от которого так недалек будто бы переход к социализму. Весь вопрос был в том, чтобы поскорее приняться за дело и идти по подлежащей дороге. «Мы не допускаем никаких отсрочек, никакого промедления... Мы не можем и не хотим ждать... Пусть каждый соберет поскорее свои пожитки и спешит отправиться в путь!» — писал редактор «Набата». И хотя по вопросу о направлении этого пути между Бакуниным и Ткачевым были коренные разногласия, но во всяком случае каждый из них был уверен, что если молодежь пойдет по указанному *им* пути, то успеет еще застать общину в состоянии желательной прочности. Хотя «каждый день приносит нам новых врагов,

создает новые враждебные нам общественные формы», но эти новые формы не изменяют взаимного отношения факторов русской общественной жизни. Буржуазия продолжает отсутствовать, государство продолжает «висеть в воздухе». Погромче ударивши «в набат», поэнергичнее взявшись за революционную работу, мы успеем еще спасти «коммунистические инстинкты» русского народа и, опираясь на его привязанность к «принципам общинного землевладения», сумеем совершить социалистическую революцию. Так рассуждал П. Н. Ткачев, так же или почти так же рассуждал и автор «Государственности и анархии».

Наша молодежь читала произведения обоих писателей и, поделившись на фракции, действительно спешила взяться за дело. С первого взгляда может показаться странным, каким образом ткачевская или бакунинская программа могла найти адептов в той самой интеллигентной среде, которая воспитывалась на сочинениях Н. Г. Чернышевского и уже по одному тому должна была выработать привычку к более строгому мышлению. Но дело, в сущности, просто и объясняется отчасти влиянием того же Чернышевского.

Гегель недаром отводил в своей философии такое важное место вопросу о методе, и недаром также те из западно-европейских социалистов, которые с гордостью «ведут свою родословную», между прочим, «от Гегеля и Канта», придают гораздо большее значение *методу* исследования общественных явлений, чем данным его результатам *. Ошибка в результатах *непременно* будет замечена и исправлена при дальнейшем применении правильного метода, между тем как ошибочный метод, наоборот, лишь в редких *частных* случаях может дать результаты, не противоречащие той или другой *частной* истине. Но серьезное отношение к методологическим вопросам возможно лишь в обществе, получившем серьезное философское образование. Русское же общество никогда не могло похвастаться таким образованием. Недостаток философского развития с особенною силою сказался у нас в шестидесятых годах, когда наши «мыслящие реалисты» [1], создавши культ естественных наук, открыли жестокое гонение на философскую «метафизику». Под влиянием этой антифилософской пропаганды последователи Н. Г. Чернышевского не могли усвоить себе приемы его диалектического мышления, а сосредоточивали свое внимание лишь на *результатах* его исследований. В результате же этих исследова-

* «Мы далеко не так нуждаемся в голых результатах, как в *изучении*,— говорит Фр. Энгельс; — мы знаем уже со времени Гегеля, что без ведущего к ним развития — результаты не имеют никакого значения; они хуже, чем бесполезны, если на них прекращается исследование, если они не становятся посылками для дальнейшего развития».

ний являлась, как мы знаем, уверенность в возможности непосредственного перехода нашей общины в высшую, коммунистическую форму общежития. Это убеждение страдало односторонностью уже в силу своей абстрактности, и ученики, оставшиеся верными духу, а не букве сочинений Чернышевского, конечно, не замедлили бы перейти, как я выразился выше, от алгебры к арифметике, от общих отвлеченных рассуждений о *возможных* переходах одних социальных форм в другие к подробному изучению вопроса о современном состоянии и *вероятной* будущей судьбе русской общины в частности. Так называемый «русский» социализм был бы поставлен, таким образом, на совершенно твердую почву. К сожалению, наша революционная молодежь даже и не подозревала, что у ее учителя был какой-то особенный метод мышления. Успокоившись на результатах его исследований, она видела его единомышленников во всех писателях, отстаивавших принцип общинного землевладения, и между тем как сам автор «Критики философских предубеждений» никогда не мог сойтись, например, со Щаповым *, наша молодежь видела в исторических трудах последнего лишь новую иллюстрацию и новые доводы в пользу мнений своего учителя. Тем менее могла она подвергать строгой критике новые революционные учения. П. Н. Ткачев и М. А. Бакунин казались ей людьми совершенно одного направления с Н. Г. Чернышевским. Ученики Гегеля не оставили камня на камне в его системе, строго держась того самого метода, который завещал им великий мыслитель. Они держались духа, а не буквы его системы. Последователи Н. Г.Чернышевского не решались даже подумать о критическом отношении к мнениям своего учителя. Строго держась каждой буквы его писаний, они утратили всякое понятие об их духе. Вследствие этого они не сумели сохранить в чистом виде даже результатов исследований Чернышевского и из смеси их с славянофильскими тенденциями образовали ту своеобразную теоретическую амальгаму, из которой выросло потом наше *народничество*.

Таким образом, предшествующая социалистическая литература завещала нам несколько (не нашедших подражателей) попыток применения диалектического метода к решению важнейших вопросов русской общественной жизни и несколько социалистических программ, из которых одна рекомендовала социалистическую пропаганду, считая русское крестьянство столь же восприимчивым к ней, как и западноевропейский пролетариат; другая настаивала на организации всенародного бунта, а третья, не считая возможной ни пропаганду, ни орга-

* См. книгу Аристова: «А. П. Щапов, жизнь и сочинения», С.-Петербург, стр. 89—92.

низацию, указывала на захват власти революционной партией, как на исходный пункт русской социалистической революции.

Теоретическая постановка революционного вопроса не только не подвинулась вперед со времени Чернышевского, но во многих отношениях отступила назад, к полуславянофильским воззрениям Герцена. Русская революционная интеллигенция начала семидесятых годов не прибавила ни одного серьезного аргумента в пользу отрицательного решения поставленного еще Герценом вопроса о том, «должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития?».

ГЛАВА I

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ

1. РУССКИЙ БЛАНКИЗМ

Теперь прошло уже десять лет со времени появления важнейших из программ семидесятых годов. Десять лет усилий, борьбы и тяжелых иногда разочарований показали нашей молодежи, что организация революционного движения в крестьянстве невозможна при современных русских условиях. Бакунизм и народничество как *революционные* учения отжили свой век и находят теперь радушный прием лишь в *консервативно*-демократическом литературном лагере. Им предстоит или совершенно утратить свои отличительные черты и слиться с новыми, более плодотворными революционными течениями, или застыть в своем старом виде и служить опорой для политической и социальной реакции. Наши пропагандисты старой пробы также сошли теперь со сцены. Не то с теориями П. Н. Ткачева. Хотя в течение целых десяти лет «каждый день приносил нам новых врагов, создавал новые, враждебные нам общественные факторы», хотя социальная революция «встретила» за это время некоторые немаловажные «препятствия», русский бланкизм возвышает теперь свой голос с особенной силой, и, попрежнему уверенный в том, что «современный исторический период особенно благоприятен для совершения социальной революции», он попрежнему обвиняет всех «несогласномыслящих» в умеренности и аккуратности, повторяя на новый лад свою старую погудку: «теперь или очень не скоро, быть может, никогда!», «мы не имеем права ждать», «пусть каждый соберет свои пожитки и спешит отправиться в путь», и так далее и так далее. С этим-то окрепшим и, если можно так выразиться, помолодевшим ткачевизмом и приходится иметь дело всякому, кто хотел бы писать о «разногласиях», существующих в настоящее время в русской революционной среде. С ним тем более придется считаться при исследовании вопроса о «судьбе русского капитализма».

Я уже не один раз говорил, что статья г. Тихомирова «Чего нам ждать от революции?» представляет собою лишь новое, дополненное, хотя в то же время во многих отношениях ухуд-

шенное издание социально-политических воззрений П. Н. Ткачева. Если я не ошибся в распознавании характеристических черт русского бланкизма, то литературная деятельность «партии Народной Воли» сводится к повторению на разные лады ткачевских учений. Разница лишь в том, что для Ткачева «переживаемый нами момент» относился к началу семидесятых годов, а для публицистов «партии Народной Воли» он совпадает с концом того же и началом следующего десятилетия. При полном отсутствии того, что немцы называют «историческим смыслом», русский бланкизм с большою легкостью переносит и будет переносить это понятие об особенно благоприятном для социальной революции «моменте» с одного десятилетия на другое. Оказавшись лжепророком в восьмидесятых годах, он с достойным лучшей участи упорством возобновит свои пророчества через десять, через двадцать, через тридцать лет и будет возобновлять их вплоть до того времени, когда рабочий класс поймет, наконец, условия своего социального освобождения и будет встречать его проповедь самым гомерическим хохотом. Для пропаганды бланкизма благоприятен каждый исторический момент, кроме момента, действительно благоприятного для социалистической революции.

Но пора точнее определить употребляемые мною выражения. Что такое бланкизм вообще? Что такое русский бланкизм?

П. Л. Лавров надеется, как мы видели, что «большинство членов» группы «Освобождение Труда» «может быть не сегодня-завтра в рядах Народной Воли». Он утверждает, что «сам г. Плеханов совершил уже достаточно значительную эволюцию в своих политико-социальных убеждениях, чтобы мы имели основание надеяться на новые шаги с его стороны в этом же направлении» [1]. Если «партия Народной Воли» стоит, поскольку можно судить об этом по ее литературным произведениям, на точке зрения бланкизма, то выходит, что и моя «эволюция» совершается «в этом же направлении». Проповедуемый мною в настоящее время марксизм представляет собою, следовательно, лишь чистилище, через которое должна пройти моя социалистическая душа для окончательного успокоения в лоне бланкизма. Так ли это? Будет ли такого рода «эволюция» прогрессивной? Как представляется этот вопрос с точки зрения современного научного социализма?

«Бланки прежде всего политический революционер,— читаем мы в одной статье Энгельса [2], — социалист лишь по своим чувствам, симпатизирующий народу в его страданиях, но не имеющий своей особой социалистической теории и не предлагающий никаких определенных мер социального переустройства. В своей политической деятельности он был, главным образом, так называемым *«человеком дела»*, убежденным в том, что

небольшое число хорошо организованных людей, выбравши подходящий момент и произведя революционную попытку, может увлечь народную массу одним — двумя успехами и совершить, таким образом, победоносную революцию. В царствование Луи Филиппа он мог организовать это ядро, конечно, лишь в виде тайного общества, и тогда произошло то, что всегда происходит при заговоре. Составляющие его люди, утомившись вечной сдержанностью и напрасными обещаниями, что дело скоро дойдет до решительного удара, потеряли, наконец, всякое терпение, перестали повиноваться, и тогда оставалось одно из двух: или дать распасться заговору, или начинать революционную попытку без всякого внешнего повода. Такая попытка и была сделана (12 мая 1839 г.), и была подавлена в самом начале. Впрочем, этот заговор Бланки был единственный, который не был открыт полицией.

Из того, что Бланки всякую революцию представлял себе в виде Handstreich * небольшого революционного меньшинства, сама собою следует необходимость революционной диктатуры после удачного переворота; конечно, диктатуры не целого революционного класса, пролетариата, но небольшого числа тех, которые совершили Handstreich и которые сами еще ранее того подчинялись диктатуре одного или немногих избранных.

Читатель видит,— продолжает Энгельс,— что Бланки есть революционер старого поколения. Подобные представления о ходе революционных событий слишком уже устарели для немецкой рабочей партии, да и во Франции могут встретить сочувствие лишь со стороны наименее зрелых или наименее терпеливых рабочих».

Мы видим, таким образом, что социалисты новейшей, научной школы смотрят на бланкизм, как на устаревшую уже точку зрения. Переход из марксизма в бланкизм, конечно, не невозможен,— чего не бывает на свете? — но он ни в каком случае не будет признан ни одним из марксистов прогрессом в «политико-социальных убеждениях» кого-либо из их единомышленников. Только с точки зрения бланкиста такая «эволюция» может быть признана прогрессивной. И если почтенный редактор «Вестника Народной Воли» не изменил самым коренным образом своих воззрений на социализм школы Маркса, то его пророчество относительно группы «Освобождение Труда» должно привести всякого беспристрастного читателя в совершенное недоумение.

Мы видим, кроме того, из приведенных слов Энгельса, что ткачевское понимание «насильственной революции» как чего-то «навязанного» меньшинством большинству есть не что иное, как

* [вспышки]

бланкизм, который можно было бы назвать самым чистопробным, если бы редактор «Набата» не вздумал доказывать, что в России социализм не нужно даже навязывать большинству, коммунистическому «по инстинкту, по традиции».

Отличительной чертою русской разновидности бланкизма является, таким образом, лишь заимствованная у Бакунина идеализация русского крестьянства. Перейдем теперь к воззрениям г. Тихомирова и посмотрим, подходят ли они под это определение или представляют собою новую разновидность «русского социализма».

2. Л. ТИХОМИРОВ

Я утверждаю, что в них нет решительно ничего нового, кроме нескольких исторических, логических и статистических ошибок.

Эти ошибки, действительно, представляют собою нечто новое, оригинальное, характеристичное лишь для миросозерцания г. Тихомирова. Ни бланкизм вообще, ни русский бланкизм в частности не играли никакой роли в их возникновении и в их своеобразной «эволюции».

Появление их вызвано причиною чисто отрицательного свойства: незнанием, которое вообще играет довольно видную роль в генезисе социально-политических понятий нашей интеллигенции, а в статье г. Тихомирова достигает совсем уже нескромных размеров.

Читателю нетрудно будет проверить справедливость нашего отзыва, если он потрудится вместе с нами над распутыванием скомканной и во многих местах оборванной нити «самобытных» рассуждений нашего автора.

Начнем с истории революционных идей в России и на Западе.

«Еще немного лет назад,— говорит г. Тихомиров,— социалисты, исходя из анализа общественных отношений, сделанного их учителями в капиталистических странах Европы, признавали политическую деятельность скорее вредною в интересах собственно народной массы, так как полагали, что конституция будет у нас орудием организации буржуазии, каким является в Европе. На основании этих соображений в среде наших социалистов можно было даже встретить мнение, что из двух зол самодержавный царь для народа все-таки лучше, нежели царь конституционный. Другое направление, так называемое либеральное, имело противоположный характер» и т. д. *

* «Вестник Народной Воли» № 2, стр. 231.

Русские социалисты «признавали политическую деятельность скорее вредною... исходя из анализа..., сделанного их учителями в капиталистических странах Запада». О каком «анализе» говорит г. Тихомиров? Каких учителей имеет он в виду? С кого он «портреты пишет, где разговоры эти слышит»? Известно, что западноевропейская социалистическая мысль, «исходя из анализа..., сделанного в капиталистических странах Европы», представляла и до сих пор представляет «два типа отношений к вопросу о политической деятельности». Последователи Прудона проповедуют политическое воздержание и советуют следовать ему вплоть до «другого дня после революции». Для них «политическая революция — цель, экономическая революция — средство». Поэтому они хотят начинать с экономического переворота, полагая, что при современных условиях политическая деятельность «скорее вредна в интересах собственно народной массы» и что конституция является лишь «орудием организации буржуазии». Другое направление «имело противоположный характер». Уже «Deutsch-Französische Jahrbücher» * [1] , вышедшие в Париже в 1844 году, наметили в общих чертах *политическую* задачу рабочего класса. В 1847 году Маркс писал в своей «Misère de la philosophie»: «Не говорите, что социальное движение исключает движение политическое. Никогда не бывает политического движения, которое не было бы в то же время и социальным. Только при таком порядке вещей, при котором не будет классов и антагонизма классов, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*» **. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс опять возвращаются к тому же вопросу, доказывают, что «*всякая классовая борьба есть борьба политическая*», и самым едким образом смеются над теми «истинными социалистами», по мнению которых — как и по мнению г. Тихомирова — конституция «является в Европе» лишь «орудием организации буржуазии». По мнению авторов «Манифеста», социализм, выступавший против освободительного движения буржуазии, «утрачивал свою педантическую невинность» и становился орудием *политической и социальной реакции*. Та же самая мысль повторялась затем много раз в других произведениях как самих авторов *Манифеста*, так и их последователей. Можно сказать, что почти каждый нумер каждой социал-демократической газеты каждой европейской страны воспроизводит эту мысль в том или другом виде. Карл Маркс и марксисты сделали все, чтобы выяснить свои социально-политические взгляды и показать неосновательность прудонистской «программы».

* [«Немецко-французский ежегодник»]

** «Misère de la philosophie», pp. 177—178. [«Нищета философии», стр. 177—178.][2]

И после такой-то блестящей литературной деятельности, деятельности, открывающей собою новую эпоху в истории социалистической мысли «Европы», мы слышим, что русские социалисты отрицали целесообразность политической борьбы лишь потому, что «исходили из анализа, сделанного их учителями в капиталистических странах Запада»! Можно ли серьезно говорить теперь о каком-нибудь другом «анализе общественных отношений» Западной Европы, кроме анализа, заключающегося в сочинениях Маркса и Энгельса? Это уместно было бы лишь в историческом сочинении, трактующем об ошибках и односторонностях предшественников Маркса. Но г. Тихомиров или совсем незнаком с литературой марксизма, или понял ее так же, как г. Иванюков, «банкротство» которого было возвещено и отчасти доказано в первой книжке «Вестника» [1]. Русские социалисты говорили о вреде политической деятельности не потому, что они вообще «исходили из анализа общественных отношений» Западной Европы, а потому, что они исходили из ошибочного, мелкобуржуазного «анализа» Прудона. Но все ли они были прудонистами? Все ли они придерживались учения Бакунина, этого, так сказать, реформатора прудонизма? Кому же не известно, что далеко не все! П. Н. Ткачев точно так же, как и решительно все западноевропейские бланкисты, исходя, впрочем, не из «анализа, сделанного в капиталистических странах Европы», а из традиций французского якобинства, жесточайшим образом нападал на принцип «политического воздержания». Разве П. Н. Ткачев не писал именно «еще немного лет тому назад»? Разве его мнения не должны быть занесены в историю русской революционной мысли? Г. Тихомиров сделал бы очень рискованный шаг, решившись ответить на последний вопрос утвердительно: а что если его собственная философия действительно окажется лишь новым изданием философии Ткачева? Ведь сравнение очень легко сделать каждому читателю.

Но одни ли бакунисты и бланкисты существовали «еще немного лет тому назад» в русском революционном движении? Не было ли других направлений? Не было ли писателей, которые знали, что конституция «является в Европе»... «орудием организации» *не только* буржуазии, но и еще другого класса, интересов которого социалисты не могут игнорировать, не изменяя своему знамени? Мне кажется, что — были, и были именно в лагере противников Ткачева, который, восставая против той мысли, что политическая деятельность «скорее вредна в интересах собственно народной массы», требовал, однако, или всего, или ничего — или захвата власти социалистами, или политического застоя России. Когда на этом основании он вздумал припугнуть русских социалистов призраком капита-

лизма и буржуазной конституции, то вот что ответил ему один известный русский писатель, обращаясь к нашей «социально-революционной молодежи»: «Вам говорят, что революция необходима для России теперь или она не осуществится никогда. Вам рисуют картину развивающейся у нас буржуазии и говорят вам, что с ее развитием борьба станет труднее, что революция будет невозможна. Очень плохо думает автор о вашей сообразительности, если думает, что вы поддадитесь на его аргументы»... «Какое основание думать, что борьба народа с буржуазией в России была бы немыслима, если бы, действительно, в России установились формы общественной жизни, подобные формам заграничной? *Разве не развитие буржуазии именно вызвало пролетариат к борьбе?* Разве не во всех странах Европы раздаются громко призывы к близкой социальной революции? Разве не сознает буржуазия опасность, которая грозит ей от рабочих и все приближается?.. Наша молодежь вовсе не так отрезана от мира, чтобы вовсе не знать этого положения дел, и люди, желающие уверить ее, что господство буржуазии было бы непоколебимо у нас, чересчур рассчитывают на ее недостаток знания, *рисуя ей фантастическую картину Европы*».

Ясно, что автор этих строк никоим образом не считает конституцию «орудием организации» одной только «буржуазии», каким она «является в Европе», по словам г. Тихомирова. Прав или неправ этот автор — пусть г. Тихомиров судит, как хочет, но нельзя было не упомянуть о нем, говоря о «типах отношений» нашей «интеллигентной мысли» к вопросу о политической деятельности. Если цитируемый нами автор — нынешний соредактор г. Тихомирова П. Л. Лавров * — и не признавал целесообразности политической борьбы в России, то уж ни в каком случае не потому, что «исходил» из бакунистского анализа «общественных отношений в капиталистических странах Европы». Со стороны г. Тихомирова совершенно непростительно такое невнимание к литературной деятельности его уважаемого товарища.

Впрочем, будем беспристрастны, постараемся указать смягчающие его вину обстоятельства. Чем объясняется это невнимание? Почему г. Тихомиров заносит всех русских социалистов недавнего прошлого в список бакунистов и умалчивает о литературной деятельности П. Л. Лаврова, забывает о Ткачеве уже теперь, когда «башмаков еще не износили» контрабандисты, доставлявшие «Набат» в Россию? По очень простой причине. «Ничто не ново под луною», утверждают скептики. И если эту мысль нельзя признать безусловно верною, то несомненно

---

* См. его брошюру «Русской социально-революционной молодежи»[1], стр. 22—24.

все-таки, что во многих программах «русского социализма» решительно «ничто не ново». А между тем сторонникам этих программ очень приятно заявить, что их направление было первым «гласным проявлением» такого-то и такого-то «сознания». Чтобы доставить себе подобное удовольствие, остается лишь кое-что позабыть в истории русского революционного движения и кое-что прибавить к ней от себя. Тогда будет ясно, что «наша интеллигентная мысль» представляла собою какую-то заблудшую овцу, пока не появилась данная программа; но, с тех пор как авторы этой программы произнесли свое «да будет свет», начался «величественный восход солнца», как выражается Гегель об эпохе французской революции [1]. Надлежащая точка зрения была найдена, заблуждения были рассеяны, истина — открыта. Удивительно ли, что люди, которым приятный самообман дороже «тьмы горьких истин», соблазняются такого рода перспективой и, забывая о своих предшественниках и современниках, приписывают своей «партии» открытие таких приемов борьбы, которые часто не были не только открыты, но даже *поняты* ею правильным образом?

Г-н Тихомиров увлекся именно такими шаблонными приемами исторического исследования. Ему хотелось показать, что хотя «в общей массе русская революционная интеллигенция», вопреки знаменитому «анализу», и «не могла отрешиться от борьбы против политического гнета», но все это, однако, «делалось только невольно и само собой. Идея действительной равноправности политического и экономического элементов в партионной программе нашла себе ясное и громкое признание только с появлением Народовольства» * (которому наш автор бьет челом и большою буквой). Чтобы доказать свое положение, г. Тихомиров и приписал всем русским социалистам взгляды, разделявшиеся только бакунистами. Так как эти последние считали политическую деятельность «скорее вредною», а народовольцы признали ее скорее полезною, то ясно, что честь первого открытия пользы политической деятельности принадлежит «народовольству». Упоминать о Ткачеве было неудобно, потому что тогда обнаружилось бы, что он проповедовал именно того рода «равноправность политического и экономического элементов в партионной программе», которая «нашла ясное и громкое признанье» будто бы «только с появлением народовольства». Упоминать о литературных произведениях своего соредактора г. Тихомиров также не нашел «своевременным», так как для их критики и оценки пришлось бы стать на точку зрения, совершенно непривычную для человека, до сих пор воображающего, что нет другого «анализа общественных отно-

* «В. Н. В.», № 2, стр. 232.

шений» Западной Европы, кроме анализа, «сделанного» Прудоном и прудонистами, Бакуниным и бакунистами.

Г-н Тихомиров «сделал» для возвеличения своей партии все возможное и прихватил даже немножко невозможного. Он решился, например, утверждать, что «бывшие основатели *Черного Передела*» принадлежали когда-то к числу «самых ярых противников конституции». А между тем если бы он руководствовался в своих исторических изысканиях стремлением к истине, а не интересами «партионной политики», то он не забыл бы, что в первом же № «*Черного Передела*», в «Письме к бывшим товарищам» [1], высказывается следующий взгляд на конституцию, далеко не соответствующий его представлению о «бывших основателях» названного органа: «*Не подумайте, пожалуйста, товарищи, что я вообще против конституции, против политической свободы*,— говорит автор этого письма.— Я слишком уважаю человеческую личность, чтобы быть против политической свободы... Говорить, что идея политической свободы для народа вещь непонятная, ненужная,— не резон. Она (т. е. политическая свобода) для него такая же необходимая потребность, как и для интеллигентного. Разница в том, что эта потребность у народа срастается с другими, более насущными, основными потребностями экономического свойства. Эти-то последние должна принять в резон каждая социально-революционная партия, если она желает, чтобы политическая свобода была вполне обеспечена и гарантирована от узурпаций и искажений враждебных ей элементов».

В этих строках есть кое-какие неточности в выражениях, неправильности в определении понятий. Но заключить из них, что «основатели Черного Передела» были «противниками конституции», да еще противниками «самыми ярыми», может лишь человек, или окончательно распростившийся с логикой, или сознательно игнорирующий факты в интересах своей «партии», или, наконец, совсем не знающий этих фактов, т. е. не знающий той самой истории революционных идей в России, о которой он трактует «с ученым видом знатока».

Но, быть может, основатели «Черного Передела» изменили свои взгляды на конституцию впоследствии? Посмотрим. Под редакцией этих «основателей» вышло два №№ названного органа. Мы знаем уже, какие взгляды на политическую свободу заключаются в первом №; что же находим мы во втором?

«Конечно, не нам, отрицающим всякое подчинение человека человеку, оплакивать падение абсолютизма в России; не нам, которым борьба с существующим режимом стоила таких страшных усилий и стольких тяжелых потерь, желать его продолжения,— читаем мы в передовой статье этого №. *Мы знаем цену политической свободы* и можем пожалеть лишь о том,

что и русская конституция отведет ей недостаточно широкое место. Мы приветствуем всякую борьбу за права человека, и чем энергичнее ведется эта борьба, тем более мы ей сочувствуем... Но кроме выгод, которые несомненно принесет с собою политическая свобода, *кроме задач ее завоевания*, есть другие выгоды и задачи; и забывать о них невозможно именно в настоящее время, когда общественные отношения так заострились и когда поэтому нужно быть готовым ко всему» [1].

Таким ли языком говорят «самые ярые противники конституции»?

В программе «Черного Передела» были, конечно, весьма существенные ошибки. Их было в ней не меньше, чем в программе «партии Народной Воли». Но с успехом критиковать эти ошибки можно только с точки зрения научного социализма, а вовсе не с точки зрения «народовольских» публицистов. Эти последние страдают тем же самым недостатком, каким страдали когда-то «основатели Черного Передела»,— именно неумением критически отнестись к социально-политическим формам нашей народной жизни. Люди, мирящиеся с идеализацией этих форм и строящие на ней свои практические планы, обнаруживают более последовательности, умозаключая к программе «Черного Передела», чем подписываясь под программой «партии Народной Воли».

Пусть г. Тихомиров попробует доказать противное.

Впрочем, у него едва ли хватит на это времени. Ему нужно будет раньше показать, чем отличается его революционное миросозерцание от миросозерцания П. Н. Ткачева, чем отличается социально-политическая философия статьи «Чего нам ждать от революции?» от социально-политической философии «Открытого письма к Фр. Энгельсу». Пока он не выполнит этой трудной задачи, рассуждения его об историческом значении «народовольства» будут лишены всякого значения. Читатель может признать, что *действия* «народовольцев» были героическими, а *теории* их были из рук вон плохими и, главное, совсем не новыми; другими словами, он может сказать, что народовольцы-террористы были героями, а народовольцы-писатели людьми... не стоявшими на высоте своей задачи. Этого вывода не пошатнет даже ссылка на тот факт, что «социалисты в народовольстве первый раз доросли до значения партии, и притом партии, быть может, наиболее сильной в стране». Если бы в этих словах не было и тени преувеличения, то и тогда из них можно было бы сделать лишь тот вывод, что бывают времена, когда, несмотря на ошибочные и незрелые теории, энергичные партии могут «дорасти» до преобладающего влияния в стране. Но и только. Умозаключать от влияния той или другой партии к безошибочности ее теорий могут лишь люди, совер-

шенно незнакомые с историей. «Народовольство» не ново даже в том отношении, что ход его идей далеко отстал от «хода вещей», им самим «чинимых». Мало ли было партий, не понимавших исторического значения своей деятельности, мало ли было фикций, совершенно не соответствующих смыслу «партионных» действий? Из того, что индепенденты [1] дорастали временно «до значения партии... быть может, наиболее сильной в стране», еще нельзя выводить, что в их религиозных учениях было более здравого смысла и логики, чем в учениях других партий. А ведь индепендентам удалось даже «захватить власть», что пока только обещают сделать русские бланкисты.

Пока наш автор станет собирать материалы для более прочного возвеличения политической философии «народовольства», мы будем иметь достаточно времени для обстоятельного изучения статьи «Чего нам ждать от революции?» и всестороннего определения миросозерцания г. Тихомирова [2].

Мы знаем уже, что он или сам недостаточно хорошо знаком, или не хотел давать своим читателям случай хорошо познакомиться с новейшей историей социализма вообще и «русского социализма» в частности. Перейдем теперь к его рассуждениям об истории вообще и об истории капитализма в частности.

В эти поучительные рассуждения он вдается по следующему неожиданному поводу:

«Политическая борьба,— говорит он,— сделалась таким безапелляционным выводом русской жизни, которого отрицать никто не решается. Но, не решаясь на это, некоторая часть социалистов точно так же не может привести этот вывод в связь с привычными теоретическими взглядами и в попытках отыскать ее приходит к искусственным построениям, совершенно искажающим смысл политической борьбы, предпринятой «Народной Волей».

Какая же это «некоторая часть социалистов» и что это за «привычные» их взгляды? На предыдущих страницах статьи г. Тихомирова мы прочли, что «еще немного лет назад социалисты... признавали политическую деятельность скорее вредною в интересах собственно народной массы». Мы решили тогда, что, по мнению г. Тихомирова, все русские социалисты «еще немного лет назад» были бакунистами, так как он не упомянул ни единым словом о других направлениях. Мы узнали также, что «народовольство» заметило ошибку русских социалистов и помогло им «понять характер исторического развития России». Теперь оказывается, что «некоторая часть» русских социалистов не может разделаться со своими «привычными взглядами» и приходит к выводам, «совершенно искажающим» смысл деятельности народовольцев. Очевидно, г. Тихомиров имеет в виду русских бакунистов, не успевших «понять характер

развития России»? Так говорила бы логика, но не совсем так говорит наш автор.

«Исходя из мысли, что Россия должна будто бы неизбежно пройти через фазис капиталистического развития, чтобы стать способной к восприятию и осуществлению идей социализма, они (т. е. социалисты, принадлежащие к упомянутой «некоторой части») стараются увлечь русских революционеров на путь борьбы чисто политической, исключительно за конституцию, оставив, как невозможную фантазию, всякую мысль одновременно с переворотом политическим достигнуть в большей или меньшей степени переворота экономического».

«Какой, с божьей помощью, поворот!» — воскликнем мы словами Щедрина; но, к сожалению, этот лирический порыв не разрешит терзающих нас «проклятых вопросов». Откуда же взялась эта «некоторая часть» русских социалистов, и — что еще удивительнее — откуда взяла она свои «привычные взгляды», если «еще немного лет назад» *все* русские социалисты отрицали целесообразность политической борьбы? Каким образом люди, не придающие значения этой борьбе, могут «исходить из мысли, что Россия должна... неизбежно пройти через фазис капиталистического развития»? Эта мысль может быть верною, может быть ошибочною, но она, во всяком случае, мысль *новая* и никаким образом не относится к «привычным» теоретическим взглядам никакой «части русских социалистов», за это ручается нам как история вопроса о капитализме в России вообще, так и историческая ссылка самого г. Тихомирова. А если эта мысль новая, то основывается она, вероятно, на каких-нибудь новых «теоретических взглядах», бывших неизвестными или несимпатичными русским социалистам «еще немного лет назад». А если в русской социалистической мысли возникло новое направление, то его следовало назвать, определить, указать его генезис, а не отделываться полунамеками на какие-то «привычные теоретические взгляды», ровно ничего не объясняющие в данном случае.

Впрочем, мы уже заметили выше, что г. Тихомиров не любит «прямых ударов» и нимало не походит на Святослава, который, ополчаясь на того или другого из своих врагов, говорил ему заранее: «Иду на тя». Г-н Тихомиров «идет» на своих противников без предварительного объявления войны. Это, конечно, дело его вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят.

Недоумевая, однако, «зачем же так секретно» поступает наш автор, мы должны «своим умом» дойти до решения в высшей степени интересного для нас вопроса о новом течении в русском социализме. Мы сами отказались от многих старых, «привычных теоретических взглядов» русских социалистов,— как знать, может быть, мы и сойдемся с разбираемыми г. Тихо-

мировым новаторами. Правда, они непривлекательны в изображении г. Тихомирова, но ведь «сколько раз твердили миру», что нужно выслушивать и противную сторону!

3. ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

По мнению «социалистов этой формации», стремление к экономическому перевороту «только вредно, потому что пугает либералов «красным призраком» и лишает нас их содействия при борьбе за конституцию».

Эти слова о «красном призраке» звучат чем-то знакомым. В какой статье, в какой брошюре они встречаются? Ба! Да ведь я употребил это выражение в своей брошюре «Социализм и политическая борьба», где я говорил, что народовольцы пугают наше общество красным призраком.

Что если все сказанное г. Тихомировым есть не что иное, как притча, в которой под «некоторой частью социалистов» нужно понимать группу «Освобождение Труда», а под «привычными теоретическими взглядами» — взгляды членов этой группы? Но нет, это было бы слишком уже комично.

В самом деле, разве группа «Освобождение Труда» отказывалась когда-нибудь от «всякой мысли одновременно с переворотом политическим достигнуть в *большей или меньшей степени* переворота экономического»? Какой вздор! Мы не верим только в ту своеобразную теорию, по которой дело известного *класса* может быть совершено — «в большей или меньшей степени» — кружком. Мы говорим только, что если адвокат может представлять своего клиента *на суде*, то никакой Комитет — Исполнительный, Распорядительный или как бы там его ни называли — не может представлять рабочего класса *в истории;* что освобождение этого класса *должно быть его собственным делом* и что для совершения этого дела ему нужно приобрести политическое воспитание, понять и усвоить идеи социализма. Мы думаем, что возможность экономического освобождения рабочего класса возрастает прямо пропорционально быстроте и интенсивности этого процесса воспитания и усвоения. Наша социалистическая интеллигенция, со стороны которой было бы ребячеством даже задумываться о совершении экономического переворота собственными силами, может, однако, оказать рабочим неоценимую услугу, подготовляя их к воплощению в жизнь «общей идеи рабочего сословия» [1]. Уже в первом литературном произведении группы «Освобождение Труда», в брошюре «Социализм и политическая борьба», ясно сказано, что наша интеллигенция «должна стать руководительницей рабочего класса в предстоящем освободительном движении,

выяснить ему его политические и *экономические интересы*, равно как и взаимную связь этих интересов. Она должна позаботиться о том, чтобы еще в доконституционный период *изменить фактические отношения русских общественных сил в пользу рабочего класса*... Она должна всеми силами стремиться к тому, чтобы в первый же период конституционной жизни России наш рабочий класс мог выступить в качестве особой партии с определенной социально-политической программой. Подробная выработка этой программы должна быть предоставлена самим рабочим, но интеллигенция должна выяснить им главнейшие ее пункты, как, например, *радикальный пересмотр современных аграрных отношений, податной системы и фабричного законодательства*, государственная помощь производительным ассоциациям и т. п.» *. Похоже ли все это на отказ от «всякой мысли одновременно с политическим переворотом достигнуть в большей или меньшей степени экономического переворота»? Надеюсь, что — нет; а так как г. Тихомиров слишком умный человек, чтобы не понять таких простых вещей, и слишком добросовестный писатель, чтобы сознательно извращать их значение, то, очевидно, под «некоторой частью социалистов» он разумел не группу «Освобождение Труда», а под «привычными теоретическими взглядами» — не взгляды, изложенные в брошюре «Социализм и политическая борьба».

По всей вероятности, и упоминание о «красном призраке» заимствовано им не из моей брошюры. Если бы это было так, то я мог бы не без основания упрекнуть г. Тихомирова в том, что он «неточно цитирует». Говоря о «красном призраке», я не рекомендовал нашим социалистам отказаться от «стремления» достигнуть «в большей или меньшей степени переворота экономического». Я рекомендовал им отказаться от «стремления» болтать о близости экономического переворота в то время, когда ими не сделано ничего или сделано очень мало для действительного осуществления такого переворота и когда уверенность в его близости может основываться лишь на самой ребяческой идеализации народа. Я противопоставлял болтовню о красном призраке действительной работе на пользу экономической эмансипации рабочего класса, как в этом может убедиться всякий, кто прочтет 71 и следующие страницы моей брошюры, на которых встречается, между прочим, указание на пример немецких коммунистов 1848 года [1]. Или г. Тихомиров обвинит самого Маркса в том, что он отказывался некогда от «всякой мысли одновременно с политическим переворотом достигнуть в большей или меньшей степени переворота экономического»?

* «Социализм и политическая борьба», стр. 84—85 [стр. 108 настоящего издания].

Положим, наш автор, как это видно по всему, очень плохо знаком с западноевропейской социалистической литературой, но такое вопиющее невежество было бы уже совершенно непростительно. Нет, очевидно, не мою брошюру и не мои слова о «красном призраке» имел в виду г. Тихомиров.

Но раз зашла речь об этом призраке, не мешает объяснить подробнее, по какому случаю я упомянул о нем в своей брошюре.

В конце передовой статьи № 6 «Народной Воли» мы читаем следующее обращение к нашему так называемому обществу:

«Мы, *действующие в интересах общества*, убеждаем это общество выйти, наконец, из малодушной апатии; мы заклинаем его возвысить голос за свои интересы, за интересы народа, за жизнь своих детей и братьев, систематически преследуемых и убиваемых» *.

В «Календаре Народной Воли» [1] я прочел, что «в отношении к либералам следует, не скрывая своего радикализма, указывать на то, что при современной постановке партионных задач *интересы наши* и их заставляют совместно действовать против правительства» **.

В то же время убеждение г. Тихомирова в том, что за падением абсолютизма нас ждет «начало социалистической организации России», было не первым «гласным» проявлением надежд «партии Народной Воли». Под этим «началом социалистической организации России» разумелись не те успехи рабочей программы-минимум, которые Маркс называет первой победой экономии труда над экономией капитала, а — «социальная революция» во вкусе «Набата». Для убеждения читателей в возможности такой революции было придумано учение об особенно будто бы благоприятном для нее соотношении политического и экономического факторов на русской почве.

Наконец, агитационное влияние террористической борьбы, «предпринятой» партией Народной Воли, распространялось гораздо более на «общество», чем на «народ», в тесном смысле этого слова.

Ввиду всего этого я и спрашивал себя — кого же обманывает «партия Народной Воли»: самое себя или «общество»? Каким софистом нужно быть для того, чтобы убедить «либералов», что «современная постановка партионных задач», т. е. социальная (не говорю *социалистическая*) революция во вкусе Ткачева, «заставляет их» (либералов) действовать «совместно» с народовольцами против правительства? Где водятся «либералы», до такой степени наивные, что они могли бы не

---

* Цитирую по первому заграничному изданию.

** «Календарь», 129.

заметить белых ниток этой софистики? Во всяком случае не в России. «Убеждая» наше общество «выйти, наконец, из малодушной апатии», «Народная Воля» уверяет его вместе с тем, что, выходя из апатии и разрушая абсолютизм, оно *непосредственно* работает на пользу социальной революции. Пропаганда «Народной Воли», рассуждал я, не может иметь успеха в нашем обществе.

С другой стороны, террористическая борьба при всей своей бесспорной важности не имеет решительно ничего общего с «началом социалистической организации России». Что же сделано «Народной Волей» для подготовления такой организации? Создавала ли она тайные революционные кружки в народной среде? Но почему же ничего не слышно о таких кружках? Вела ли она социалистическую пропаганду в народе? Но где же созданная ею народная литература? Кроме весьма плохо редижированной «Рабочей Газеты» [1], мы не знаем ровно ничего. Это значит, что «начало социалистической организации» России «ждет» партию «Народной Воли», так сказать, без всякого приглашения со стороны этой последней. А на такую любезность истории едва ли можно рассчитывать. «Народная Воля» собирается пожать то, чего не сеяла, отыскивает социальную революцию, так сказать, произрастающую в диком состоянии. Она направляет ружье в одного зайца и думает, что убивает другого. Ее *ожидания* «от революции» совсем не соответствуют тому, что *сделано* ею для этой революции. А если это так, то не пора ли согласовать выводы с посылками и понять, что террористическая борьба есть борьба за политическую свободу и ничего более? Не пора ли признать, что эта борьба велась главным образом «в интересах общества», как в этом признается № 6 «Народной Воли»? Не пора ли перестать пугать общество появлением «красного призрака» с той стороны, с которой никогда не может показаться красное знамя рабочего класса? Толки об этом логически невозможном появлении вредны не по одному тому, что «лишают нас содействия» либералов «при борьбе за конституцию». Они вселяют в нас ни на чем не основанную уверенность в том, что социалистическая революция «ждет» нас помимо всяких усилий с нашей стороны, отвлекают наше внимание от самого важного пункта: *организации рабочего класса для борьбы с его настоящими и будущими врагами*. Таков, и только таков, был смысл сказанного мною о «красном призраке».

Во Франции накануне войны 1870 года были люди, которые кричали, что французские войска не «встретят препятствий» по дороге в Берлин, и очень мало думали о вооружении и продовольствии солдата [2]. Были в ней и другие люди, которые говорили, что, не пугая никого призраком «дяди», следует за-

няться прежде всего организацией военных сил страны. Кто лучше понимал интересы своего отечества?

Но мое объяснение увлекло меня в сторону. Я хотел изучать тихомировскую философию истории, а перешел к объяснениям по поводу «красного призрака».

«Некоторая часть социалистов» своей либеральной программой и своими «привычными теоретическими взглядами» должна вывести нас на истинный путь и вернуть к интересующему нас «сюжету».

Что еще говорит эта «некоторая часть» и как побивает ее г. Тихомиров?

По словам нашего автора, эта «часть» почти ограничивается в своей аргументации вышеприведенными рассуждениями о конституции и страшном призраке. Она даже не позаботилась объяснить свое «чрезмерное пристрастие к конституции». Это зловредное пристрастие «является несколько непонятным, как вообще все эти (какие это *все?*) программы, и в целом производит впечатление чего-то недоговоренного, не вполне определившегося. Они, однако, порождаются одной общей точкой зрения, уже вполне определенной». Хорошо хоть это; какая же точка порождает «все эти программы», т. е., между прочим, и программу «некоторой части» социалистов? Очень плохая, потому что она «создает направление», имеющее «разлагающее влияние на революционную партию».

«Мы говорим о том направлении, которое считает историческою неизбежностью русский капитализм и, мирясь с этим якобы неизбежным фактом, утешает себя мыслью, что без прохождения через школу капитализма Россия не могла бы стать способной к осуществлению социалистического строя».

Это, положим, не ново, так как на предыдущей странице мы читали, что «некоторая часть социалистов» исходит из мысли, что «Россия должна будто бы неизбежно пройти через фазис капиталистического развития» и т. д. Общая точка зрения, «порождающая *все эти* программы», оказывается не чем иным, как исходной точкой *одной из этих* программ. Но если это не ново и не совсем логично, то, несомненно, интересно. Теперь становится ясной причина «чрезмерного пристрастия к конституции» некоторой части наших социалистов. «В самом деле, для чего нам нужна конституция? — спрашивает г. Тихомиров.— Ведь не для того же, чтобы дать буржуазии новые средства для организации и дисциплинирования рабочего класса посредством обезземеления, штрафов и зуботычин. Таким образом, броситься прямо в омут головой может лишь человек, вполне преклонившийся перед неизбежностью и необходимостью капитализма в России». «Некоторая часть социалистов» преклонилась перед этой неизбежностью, и, раз согре-

пивши, таким образом, в мыслях своих, она уже не может остановиться на наклонной плоскости греха и порока. Мало того, что она обнаруживает «пристрастие к конституции», позорное в глазах всякого правоверного бакуниста, она начинает или начнет в весьма непродолжительном времени снисходительно относиться к «обезземелению, штрафам и зуботычинам» в противоположность г. Тихомирову, который не хочет ни буржуазии, ни обезземеления, ни штрафов, ни зуботычин. Но зачем же нужны все эти ужасы «некоторой части социалистов»? Дело ясное. «При настоящем положении России, русского капитализма, русского фабричного рабочего пропаганда политической борьбы должна временно приводить человека, верующего в историческую необходимость капитализма, к полному отказу от социализма. Рабочий, способный к классовой диктатуре, почти не существует. Стало быть, политической власти ему не доставишь. Не гораздо ли выгоднее временно совершенно оставить социализм, как бесполезную и вредную помеху ближайшей и необходимой цели? Так рассудит человек последовательный и умеющий собой жертвовать». Теперь известно, откуда являются штрафы и зуботычины, хотя и не совсем еще очевидно — суждено ли им существовать лишь в напуганном воображении г. Тихомирова или действительно перейти в программу «некоторой части социалистов».

Ниже мы постараемся решить этот важный вопрос, а теперь поспешим вернуться к г. Тихомирову, который вступает теперь в генеральное сражение с социалистами, убежденными в исторической неизбежности русского капитализма.

4. Л. ТИХОМИРОВ В БОРЬБЕ С ГРУППОЙ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

«Не основана ли аргументация его сторонников (т. е., по-видимому, сторонников капитализма) на целом ряде софизмов?» — спрашивает он читателя.

«Нам указывают на Францию, на Германию (а на Англию не указывают? «Некоторая часть социалистов», очевидно, слона-то и не приметила), где капитализм объединил рабочих. Стало быть, он необходим и для объединения наших. Совершенно таким же способом аргументируют сторонники рабства. Они также указывают на роль рабства в первобытной истории, где оно приучило дикого к труду, дисциплинировало аффекты человека и усилило производительность труда. Все это совершенно справедливо. Но следует ли из этого, чтобы миссионер в центральной Африке (где рабство и без того уже существует,

напомню я г. Тихомирову) занялся обращением негров в рабство или чтобы педагог применил систему рабского принуждения к воспитанию детей?»

Читатель поспешит согласиться, конечно, что не «следует», и г. Тихомиров, заранее уверенный в его ответе, продолжает свою аргументацию. «История человечества идет подчас самыми невероятными путями. Мы уже не верим в десницу божию, направляющую каждый шаг человечества и указывающую ему наиболее скорые и верные пути к прогрессу. Напротив, эти пути в истории бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными из всех, какие можно придумать. Случалось, конечно, что исторический факт, вредный и задерживающий развитие людей одними сторонами своими, другими, напротив, служил делу прогресса. Таково было и значение рабства. Но эта школа не лучшая и не единственная. Современная педагогия доказала, что рабское принуждение — это самый худший изо всех способов приучения к труду... Точно так же по вопросу о развитии крупного производства — позволительно усомниться, чтобы пути истории были в этом отношении лучшими и навеки для всех народов единственно возможными... Совершенно верно, что в истории некоторых европейских народов капитализм, породивши массу зла и несчастий, имел, однакоже, одним из своих последствий нечто и хорошее, а именно создание крупного производства, посредством которого подготовил до некоторой степени (?!) почву для социализма. Но ниоткуда не следует, чтобы другие страны, например Россия, не имели для развития крупного производства других путей... Все заставляет думать, что тот способ обобществления труда, к которому был способен капитализм,— один из самых худших, потому что он, действительно подготовляя во многом возможность социалистического строя, в то же время другими своими сторонами во многом отдаляет момент его наступления. Так, например, капитализм наряду с механическим сплачиванием рабочих развивает среди них конкуренцию, подрывающую их нравственное единство; точно так же он стремится держать рабочих на гораздо более низком уровне развития, чем это возможно по общему состоянию культуры; точно так же он прямо отучает рабочих от всякого контроля за общим ходом производства и т. д. Все эти вредные стороны капиталистического обобществления труда не подрывают окончательно значения хороших сторон, но во всяком случае бросают в колесо истории целый ряд толстых палок, без сомнения замедляющих ее движение к социалистическому строю».

Я не без цели сделал эту огромную выписку из статьи г. Тихомирова. Именно эти страницы и показывают нам оригинальную сторону философско-исторической теории нашего автора.

П. Н. Ткачев, полемизируя с Энгельсом, так сказать, головою выдавал «Запад» своему западноевропейскому противнику. «Ваши теории основаны на западных отношениях, мои — на наших русских; вы правы по-западноевропейски, я прав по-русски»,— говорила каждая строка его «Открытого письма». Г-н Тихомиров идет далее. С точки зрения своего «чистого» русского разума он критикует ход западноевропейского развития, производит целое следствие о «ряде толстых палок», брошенных «в колесо истории» и «без сомнения замедляющих ее движение к социалистическому строю». Он держится, повидимому, того убеждения, что истории свойственно самостоятельное движение в направлении «к социалистическому строю», совершенно независимое от отношений, созданных тем или другим ее периодом, в данном случае периодом капитализма. Роль последнего в этом «движении истории» — второстепенная и даже довольно сомнительная. «Действительно подготовляя во многом возможность социалистического строя», капитализм «в то же время другими своими сторонами отдаляет момент его наступления». Но что же сообщает истории это «движение»? Ведь г. Тихомиров «не верит уже в десницу божию», которая с успехом могла бы разрешить роковой для его философии истории вопрос о «первом толчке». Как жаль, что эта оригинальная теория «производит впечатление чего-то недоговоренного, не вполне определившегося».

Ах, уж этот г. Тихомиров! Любит же он, как видно, потолковать о материях важных! Шутка ли, в самом деле, это убеждение в том, что «история идет подчас самыми невероятными путями», эта уверенность в том, что эти «пути бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными из всех, какие *можно придумать*»! Он наверное скоро «придумает», если уже не «придумал», и для «Запада» другой путь к социализму, менее кривой и рискованный, чем путь, по которому шли эти страны, родившие Ньютона, Гегеля, Дарвина, Маркса, но, к сожалению, слишком легкомысленно удалившиеся от Святой Руси и ее самобытных теорий. Г-н Тихомиров неспроста, очевидно, заявляет, что «позволительно усомниться, чтобы пути истории были в этом отношении (т. е. в отношении перехода к социализму) лучшими» и т. д. Не смущайтесь скромностью этого сомнения! Г-н Тихомиров касается здесь знаменитого вопроса о том, лучший ли наш мир «из всех, какие можно придумать» или он страдает некоторою «рискованностью»? Нельзя не пожалеть о том, что наш автор ограничивает свои исследования de optimo mundo * одной областью истории. Он, наверное, привел бы своих читателей к благодетельному сом-

* [о лучшем из миров]

нению в том, что ход развития нашей планеты был самым лушим «из всех, какие можно придумать». Интересно было бы знать — жив ли еще maître Pangloss, бывший преподаватель метафизико-теологико-космоло-нигологии в вестфальском замке Тундер-тен-Тронк? [1] Почтенный доктор был, как известно, оптимистом и не без успеха доказывал, что «пути истории» были лучшими «из всех, какие можно придумать». На знаменитый вопрос о том, не могла ли история римской культуры обойтись без насилия, испытанного целомудренной Лукрецией[2], он ответил бы, конечно, отрицательно. Г-н Тихомиров — скептик и сочтет «позволительным усомниться» в правильности панглоссовского решения этого вопроса. Подвиг Секста, наверное, кажется ему «рискованным» и самым худшим «из всех, какие можно придумать». Такое разногласие могло бы подать повод к весьма назидательным для потомства философским прениям.

Для нас, очень мало интересующихся *возможной* историей *возможного* Запада *возможной* Европы и совсем уже равнодушных к тем историческим «путям», какие «мог бы придумать» тот или другой досужий метафизик,— для нас важно здесь то обстоятельство, что г. Тихомиров не понял смысла и значения одного из важнейших периодов *действительной* истории *действительного* Запада *действительной* Европы. Сделанная им оценка капитализма не удовлетворила бы даже самых крайних славянофилов, давно уже предавших своей *восточной* анафеме всю *западную* историю. Эта оценка полна самых вопиющих логических противоречий. На одной странице статьи «Чего нам ждать от революции?» мы читаем о «могучей культуре Европы», культуре, которая «дает тысячи средств возбудить любознательность дикаря, развить его потребности, наэлектризовать его нравственно» и т. д., а на следующей — нас, русских дикарей, «наэлектризованных нравственно» этими строками, тотчас же погружают в холодную воду вышеупомянутого скептицизма. Оказывается, что «капитализм, породивши массу зла и несчастий, имел, однакоже, одним из своих следствий *нечто и хорошее*, а именно создание крупного производства, посредством которого подготовил *до некоторой степени* почву для социализма». Все «заставляет» г. Тихомирова думать, что тот способ обобществления труда, к которому был способен капитализм,— один из самых худших и т. д. <Словом, г. Тихомиров стоит перед вопросом об исторической роли капитализма в таком же недоумении, в каком стоял известный генерал перед вопросом о шарообразности земли:

Говорят, земля шарообразна,
Готов я это допустить,

Хоть, признаюсь, что как-то безобразно,
Что должен я на шаре жить...>*

Под влиянием этой скептической философии у нас возникает масса «нерешенных вопросов». Мы спрашиваем себя, существовала ли «могучая культура Европы» в докапиталистический период, и если нет, то не капитализму ли она обязана своим возникновением, а если — да, то почему г. Тихомиров мимоходом только упоминает о крупном производстве, приписывая ему лишь «механическое сплачивание рабочих»? Если египетский фараон Хеопс для постройки своей пирамиды «механически сплачивал» сотни тысяч рабочих, то похожа ли его роль в истории Египта на роль капитализма в истории Запада? Нам кажется, что разница лишь количественная: положим, Хеопсу удалось «механически сплотить» гораздо меньше рабочих, но зато он наверное «породил» меньшую «массу зла и несчастий». Как думает об этом г. Тихомиров? Точно так же и римские латифундии, своим «механическим сплачиванием» закованных в цепи рабочих «породивши массу зла и несчастий», вероятно, «подготовили до некоторой степени почву» для перехода античного общества к социализму? Что скажет нам тот же г. Тихомиров? В его статье мы не находим ответа на эти вопросы, и

Die Brust voll Wehmuth,
Das Haupt voll Zweifel...[1]

мы поневоле обращаемся к западным писателям. Не разрешат ли они наших сомнений?

5. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАПИТАЛИЗМА

«Буржуазия (а следовательно, и капитализм, г. Тихомиров, не так ли?) играла в истории в высшей степени революционную роль»,— читаем мы в «Манифесте Коммунистической партии».

«Всюду, где она достигла господства, буржуазия разрушила все старые, патриархально-идиллические отношения. Она безжалостно разорвала пестрые феодальные нити, связывавшие человека с его повелителями, и не оставила между людьми никакой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В холодной воде эгоистического расчета потопила она порывы набожной мечтательности, рыцарского воодушевления и мещанской сентиментальности...

---

* [Примечание к изданию 1905 г.] Строки, стоящие в скобках, были выпущены мною в первом издании по совету В. И. Засулич, которая находила их слишком резкими. Теперь можно надеяться, что их резкость ничему не повредит, и я восстановляю их здесь.— *Г. П.*

Буржуазия разоблачила ту ленивую неподвижность, которая составляла естественное дополнение грубого средневекового проявления силы, до сих пор восхищающего реакционеров. Только она показала, какие плоды может приносить человеческая деятельность. Чудеса ее искусства существенно отличаются от египетских пирамид, римских водопроводов и готических соборов, ее завоевания не имеют ничего общего с переселениями народов и крестовыми походами.

Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянных переворотов в орудиях производства, в его организации, а следовательно, во всех общественных отношениях. Неизменное сохранение старых способов производства было, напротив, первым условием существования всех предшествовавших ей промышленных классов. Постоянные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечное движение и вечная неуверенность — отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Все прочные, окаменелые отношения, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и представлениями, — разрушаются, все вновь образовавшиеся оказываются устарелыми прежде, чем успевают окостенеть. Все сословное и неподвижное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения и свое жизненное положение.

Своей эксплуатацией всемирного рынка буржуазия преобразовала в космополитическом духе производство и потребление всех стран. К великому огорчению реакционеров она лишила промышленность национальной почвы. Старые национальные отрасли производства уничтожены или уничтожаются с каждым днем. Они вытесняются новыми отраслями промышленности, ведение которых является вопросом жизни для всех цивилизованных наций, теми отраслями промышленности, которые обрабатывают не местные только сырые продукты, но произведения самых отдаленных стран. В свою очередь, фабричные продукты этой новой промышленности потребляются не только внутри страны, но и во всех частях света. Прежние, удовлетворявшиеся с помощью местных продуктов, потребности заменились новыми, для удовлетворения которых необходимы произведения отдаленнейших стран и разнообразнейших климатов. Прежняя национальная замкнутость и самодовольство уступают место всестороннему обмену и всесторонней взаимной зависимости народов. Этот всесторонний обмен распространяется также и на произведения умственного труда. Плоды умственной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и более невозмож-

ными, и из многих национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература.

Быстрым усовершенствованием орудий производства и бесконечно облегченными средствами сообщения буржуазия толкает на путь цивилизации все, даже самые варварские народы. Низкие цены товаров являются в ее руках тою тяжелой артиллерией, с помощью которой разрушает она все китайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть варваров к иностранцам. Она заставляет все нации принять буржуазные способы производства, под угрозой полного их разорения; она заставляет их усвоить так называемую цивилизацию, т. е. сделаться буржуа. Словом, она творит новый мир, по своему образу и подобию.

Буржуазия подчинила деревню господству города. Она вызвала к жизни огромные города, в высокой степени увеличила городское население, сравнительно с сельским, и вырвала, таким образом, значительную часть жителей страны из отупляющей обстановки деревни. И рядом с этим подчинением деревни городу она поставила варварские и полуварварские страны в зависимость от цивилизованных, крестьянские народы — от народов буржуазных, Восток — от Запада.

Менее чем во сто лет своего господства, буржуазия создала более могущественные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествующие поколения, вместе взятые. Подчинение человеку сил природы, машины, применение химии к земледелию и промышленности, пароходы, железные дороги, электрические телеграфы, эксплуатация целых частей света, приспособление рек для судоходства, целые, как бы из земли выросшие населения... в каком из предшествующих поколений могли предполагать, что подобные производительные силы таятся в недрах общественного труда?» [1]

Так понимают значение капитализма «революционеры по логике и чувству», Карл Маркс и Фр. Энгельс. А как понимают его умные и образованные *консерваторы?*

Почти так же. «Акционерные предприятия (высшая фаза развития капитализма, не так ли, г. Тихомиров?)... имеют свою историческую миссию,— читаем мы в одном из писем Родбертуса к Р. Мейеру,— они должны дополнить дело рук божиих, прорыть перешейки там, где всемогущий забыл или считал несвоевременным сделать это, соединить под морским дном или через морскую поверхность страны, разъединенные морем, пробуравить высокие горы и т. д. и т. д. Пирамиды и финикийские каменные постройки не могут идти в сравнение с тем, что сделает еще акционерный капитал», и т. п. [2]

Таково общее культурно-историческое значение капита-

лизма. А каково влияние его, в частности, на рабочих, на их умственный склад, на их нравственные привычки?

С какими рабочими пришлось иметь дело капитализму в начале его развития? «Не трудно догадаться, каков был умственный и нравственный характер этого класса,— читаем мы у Энгельса об английских ткачах.— Отрезанные от больших городов, до такой степени отрезанные, что старые люди, жившие вблизи городов, никогда там не бывали, пока машины не лишили их дохода и не вынудили искать заработка в городах,— они стояли на моральном и интеллектуальном уровне земледельцев... они видели в своем сквайре своего естественного опекуна, они обращались к нему за советами, предоставляли на его решение свои маленькие распри и питали к нему все то уважение, которое создается такими патриархальными отношениями... Короче, тогдашние английские промышленные рабочие жили и думали так же, как это и теперь еще можно встретить кое-где в Германии *: отсталыми и оторванными от внешнего мира, без умственной деятельности и без сильных колебаний в их положении. Они редко умели читать и еще реже писать, аккуратно посещали церковь, не занимались политикой, не конспирировали, не мыслили, услаждались телесными упражнениями, с величайшим благоговением слушали чтение библии и прекрасно уживались с высшими классами общества, благодаря своей нетребовательности. Но, именно, поэтому они были умственно мертвы (слушайте, слушайте, г. Тихомиров!), жили лишь своими мелкими, частными интересами, своими прялками и садиками, и ничего не знали о том сильном движении, которое происходило тогда в человечестве. Им приходилась по душе их растительная жизнь, и *без промышленной революции* (т. е. капитализма, г. Тихомиров) они никогда не вышли бы из этого романтического и чувствительного, но не достойного человека, существования. Они были не людьми, а только рабочими машинами в руках немногих аристократов, которым принадлежала до тех пор руководящая роль в истории; промышленная революция сделала только вывод из этого положения, окончательно превращая рабочих в машины и лишая их последней тени самостоятельности, но в то же время возбуждая их к умственной деятельности и завоеванию человеческого существования» [1]. Она, эта промышленная революция в Англии, вырвала рабочих «из их апатии по отношению к общечеловеческим интересам» и «втолкнула их в водоворот истории» **.

Так говорит Энгельс, которого буржуазные экономисты обвиняют в том, что он слишком радужными красками

* Писано в начале сороковых годов.

** «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», S. S. 13—14. [«Положение рабочего класса в Англии», стр. 13—14.]

изображал положение рабочих в докапиталистический период и слишком мрачно описал то же положение в период капитализма. Такими обвинениями изобилует, например, книга Бруно Гильдебранда «Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft» *.

Но что нам Запад с его лжемудрецами, как сказал бы г. Аксаков, послушаем Моисея и пророков, почитаем самого Бакунина.

«Со времени Возрождения и Реформации вплоть до революции буржуазия (благодаря нарождающемуся капитализму, г. Тихомиров, или нет?) если не в Германии, то в Италии, Франции, Швейцарии, Англии, Голландии была героем и представителем революционного гения истории. Из ее недр вышла бо́льшая часть свободных мыслителей XVIII века, религиозные реформаторы двух предшествующих столетий и апостолы человеческой эмансипации, включая сюда и немецких деятелей прошлого века. Она одна, опираясь, конечно, на могучую руку верившего в нее народа, сделала революцию 1789 и 1793 годов. Она провозгласила падение королевской власти и церкви, братство народов, права человека и гражданина. Вот ее права; они бессмертны!» **

И ввиду этих-то бессмертных заслуг западноевропейского капитализма человек Востока, г. Тихомиров, не может отказаться от своего славянофильского презрения к Западу и, лениво позевывая, заявляет, что этот путь развития все-таки был не лучший из всех, «какие можно придумать»! Во всей истории буржуазии он видит лишь «массу зла» и «механическое сплачивание рабочих». В этом «сплачивании» заключается для него все значение «крупного производства». Говоря о рабстве, он еще упоминает о вызванном им увеличении производительности труда; переходя же к капитализму, он даже не намекает на те «как бы волшебством созданные могущественные средства производства», которые одни только и могли подготовить победу пролетариата! О влиянии капитализма на развитие философии, общественного и частного права, философии истории, естествознания и литературы он не имеет ни малейшего представления. А между тем это влияние не подлежит сомнению, и было время, когда русские писатели понимали влияние классовых отношений в обществе (а чем же, как не капитализмом, создано отношение классов в *современном* обществе?) на ход развития наук вообще и философской мысли в частности. «Политические теории, да и всякие вообще философские учения создавались всегда под

* [«Политическая экономия настоящего и будущего».]

** «Dieu et l'Etat», Genève 1882, pp. 92—93. [«Бог и государство», Женева 1882, стр. 92—93.]

сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали их авторы, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ,— говорит Н. Г. Чернышевский *...— Философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем». Или г. Тихомиров полагает, что политические и философские системы эпохи капитализма ниже соответствующих систем средних веков? Или он думает, что свойственные капитализму теории были хуже тех, какие он сам может «придумать»? Пусть же в таком случае он «придумывает» их сколько угодно, пусть продолжает игнорировать историю западноевропейской культуры! В этой распре редактора «Вестника Народной Воли» с Западом первый потеряет очень много, а последний ровно ничего.

Впрочем, не г. Тихомирова нужно считать зачинщиком этой распри. Наш автор повторяет по этому вопросу лишь сказанное в разных статьях г. В. В., который вообще склонен, как известно, суживать культурно-историческое значение западного капитализма и, наоборот, преувеличивать то же значение современной русской «власти», «не имеющей солидного противника в обществе» и потому «могущей не опасаться тех факторов прогресса, с которыми вели непрерывную войну западноевропейские правительства» **. Пересмотрите внимательно всю полную бесконечных повторений и потому довольно объемистую книгу о «Судьбах капитализма в России», и вы не встретите других указаний на значение капитализма, кроме указания на «обобществление труда», которое в свою очередь приравнивается к «объединению рабочих» и развитию в них тех или других симпатичных г. В. В. чувств. И эта-то узкая и односторонняя оценка целиком перенесена г. Тихомировым в свою статью, на ней-то основывает он свои *ожидания* «от революции»! Наш автор забыл, как видно, прекрасный совет, данный Лассалем одному из своих противников: «учитесь, учитесь, но только не по журнальным статьям».

Русские писатели не довольствуются своей до нелепости узкой философией истории капитализма. Они подвергают эту форму производства своему анализу и, так сказать, своим умом находят свойственные ему противоречия. Но какие! Эти противоречия не разрешаются исторической диалектикой путем замены старой социальной формы новой, выросшей в недрах первой из самого, повидимому, последовательного развития

* «Антропологический принцип в философии», стр. 2—3 [1].
** «Судьбы капитализма в России», предисловие, стр. 6.

лежащего в ее основе принципа. Это не те противоречия, исторический смысл которых выражается словами Гете —

Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage [1].

Это — противоречия, не имеющие *никакого* исторического смысла и вытекающие лишь из того отношения мелкобуржуазного наблюдателя к предмету его наблюдений, которое может быть выражено словами: «десять раз примерь, один раз отрежь». Это своего рода эклектизм, который во всем видит хорошую и дурную сторону, одобряет первую, осуждает вторую и грешит лишь тем, что не видит никакой органической связи между «светлыми» и «затемняющими» чертами данной исторической эпохи. Капитализм мог бы сказать таким критикам словами Фейербаха: «ты осуждаешь мои недостатки, но знай, что ими обусловливаются мои достоинства». Русские писатели применяют в этом случае к историческим категориям метод Прудона, который видел задачу диалектики в указании хороших и дурных сторон каждой *экономической* категории. «Il veut être la synthèse,— замечает о нем Маркс,— il est une erreur composée»*.

Говорят, что Прудон был одно время учеником Бакунина. Не у одного ли общего учителя заимствовал он метод, общий ему со многими русскими критиками капитализма?

Блестящим представителем этого метода «сложной ошибки» может служить опять-таки тот же г. Тихомиров, который, указавши хорошую сторону капитализма — сплачивание рабочих, немедленно переходит к указанию темных его сторон. Мы видели уже, в какой степени соответствует действительности его «похвала» капитализму. Неудивительно, если и высказанное им порицание оказывается ни на чем не основанным.

«Капитализм наряду с механическим сплачиванием рабочих развивает среди них конкуренцию, подрывающую их нравственное единство»...

Г-ну Тихомирову хочется, очевидно, «придумать» такой переходный путь к социализму, который не знал бы конкуренции. Оставляя в стороне вопрос о роли конкуренции в существовании экономической категории, называемой меновой стоимостью и приводящей труды различных специалистов к одному общему знаменателю простого человеческого труда, без понятия о котором немыслимы были бы сознательные коммунистические тенденции, обратим внимание на указанную нашим автором *дурную* сторону конкуренции. Здесь мы прежде всего заметим, что «подрывать» можно лишь то, что существует

* [«Он хочет быть синтезом, но оказывается не более как совокупной ошибкой»[2].]

в действительности, а не в симпатиях и «ожиданиях» г. Тихомирова. Существовало ли нравственное единство рабочих в докапиталистический период? Мы уже знаем, что нет. В самую цветущую пору цехового производства существовало «нравственное единство» рабочих одной ассоциации или — самое большее — *одной отрасли труда* в пределах весьма ограниченной местности; понятия же о рабочем, как рабочем, сознания единства всего производительного класса никогда не существовало *. Капитализм подорвал, разрушил, устранил «нравственное единство» патентованных *специалистов* и создал на его месте нравственное единство *«пролетариев всех стран»*, что и было достигнуто им путем конкуренции. Почему же г. Тихомиров так нападает на нее? Мы видели уже, что, по его мнению, история имеет какое-то самостоятельное, абстрактное «движение к социалистическому строю»; раз дано такое «движение», можно уже безнаказанно «критиковать» все те двигатели и пружины, которые впервые привели передовое человечество «к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свои взаимные отношения и свое жизненное положение».

Капитализм «стремится держать рабочих на гораздо более низком уровне развития, чем это возможно по общему состоянию культуры».

Эта фраза кажется целиком выхваченною из протоколов Эйзенахского конгресса немецких катедер-социалистов, по мнению которых социальный вопрос сводится к вопросу о поднятии *рабочих* на более высокий «уровень развития». Но катедер-социалисты знают, чего они требуют, хотя до сих пор еще, несмотря на все свои усилия, они не решили, как достичь требуемого. Они понимают всемирно-историческое, революционное значение современного пролетариата и хотят подорвать это значение своими паллиативами, навязать рабочим девиз Родбертуса — «monarchisch, national, sozial» **. Под более высоким уровнем развития они разумеют несколько более высокую и

* «Хотя все рабочие, к каким бы профессиям они ни принадлежали, имеют в сущности одни интересы,— говорит Симон о средневековых рабочих союзах,— и потому должны были бы образовать одну всеобщую ассоциацию... но вместо того дух антагонизма брал верх над духом общественности, и между рабочими не переставало господствовать разделение. Начало битв, в которые вступали члены различных ассоциаций, восходит ко времени возникновения самих ассоциаций... Ввиду этой смертельной борьбы, не имеющей никакого разумного основания, можно подумать, что слова: человек человеку — волк, сказаны были философом именно в виду членов этих враждебных ассоциаций». «Etude historique et morale sur le compagnonage», par *G. Simon*, Paris 1853, p. p. 43—44. [«Очерки по истории и морали союзов подмастерьев» *Ж. Симона*, стр. 43—44]. Нужно сознаться, что капитализму было очень нетрудно «подорвать» такое «нравственное единство рабочих» предшествующего ему периода!

** [«монархический, национальный, социальный».]

обеспеченную заработную плату и гораздо бо́льшую ограниченность, несравненно меньшую отзывчивость рабочего класса. Они знают, что «железный закон» заработной платы [1] есть смертный приговор современному обществу и не прочь *позолотить* этот закон для отмены приговора. Они предвидят, что если дело останется в его современном положении, то скоро пролетариат возьмет *все*, и потому они всеми силами стремятся заставить его променять предстоящее ему первенство за чечевичную похлебку. Они хотят буржуазии без пролетариата. Но чего хочет г. Тихомиров? В каком из предшествующих капитализму исторических периодов рабочий класс стоял на более высоком уровне развития, чем в настоящее время? Было ли так в античном мире, в эпоху рабства, или в средние века, в эпоху крепостничества? Или г. Тихомиров сравнивает буржуазное общество с «будущим», социалистическим? Если так, то, конечно, он прав в том смысле, что общественный строй «будущей всемирно-исторической эпохи» приведет развитие человека в большее соответствие с созданными цивилизацией производительными силами. Но, не говоря уже о том, что обвинять капитализм в том, что он не социализм,— значит не понимать исторического генезиса социализма, мы заметим г. Тихомирову, что он по обыкновению запутался в терминологии. Социалистическое общество немыслимо, разумеется, без трудящихся, но можно наверное сказать, что в нем не будет *рабочих*: рабочий предполагает предпринимателя-капиталиста, землевладельца и т. д. совершенно так же, как раб предполагает рабовладельца, а серв — феодального господина. Изречение г. Тихомирова сводится в таком случае к тому удивительному положению, что современные рабочие стоят на более низком уровне развития, чем рабочие того общества, в котором совсем нет рабочих.

Или г. Тихомиров сравнивает положение рабочих в капиталистическом обществе с положением их при тех социальных отношениях, «какие можно придумать» в качестве переходных ступеней к социализму? Если так, то пусть он «придумывает» в добрый час такие отношения, мы прочтем его *выдумку* с большим интересом. Но пусть он не слишком уж сильно увлекается вымыслом, пусть не забывает он, что нужно различать *степень* культуры от ее *типа* и что если степень материальной культуры современного пролетария очень невысока, то тем не менее она все-таки остается культурой самого высшего типа из всех, до сих пор существовавших. Мы не говорим уже об умственной и нравственной культуре этого класса, стоящего по своему развитию несравненно выше производительных классов всех предшествовавших периодов. Пусть г. Тихомиров обратит серьезное внимание на это развитие, которого

не заменят ни первобытные формы землевладения и производства, ни строгая дисциплина, созданная тем или другим «Комитетом» в революционных организациях разночинцев.

«Точно так же» капитализм «прямо отучает рабочих от всякого контроля за общим ходом производства и т. д.».

На это неожиданное обвинение капитализм мог бы ответить русской поговоркой: «чем богат, тем и рад». Он не может приучать рабочих к контролю «за общим ходом производства» по той простой причине, что такого контроля он и сам не знает. Промышленные кризисы обусловливаются, между прочим, именно отсутствием этого контроля. Но, спрашивается, мыслим ли такой контроль вне социалистического общества? Пусть г. Тихомиров попробует доказать, что — да, тогда мы потолкуем с ним обстоятельнее. Теперь же повторим ему, что обвинять капитализм в том, что он не есть социализм,— значит обвинять историю в том, что она не начала прямо с осуществления программы «Манифеста Коммунистической партии», вместо своего «*движения* к социалистическому строю».

Многим читателям весь этот спор о значении западного капитализма может показаться совершенно излишним.— Нам интересен не Запад, а Россия, скажут они, зачем же так долго останавливаться на оценке исторического развития Запада? Пусть г. Тихомиров кое-что просмотрел, кое-что перепутал в этом вопросе. Какое отношение имеет это к нашим домашним делам?

Самое непосредственное. Г-н Тихомиров «критикует» западный капитализм с совершенно определенною практическою целью выработки программы для русской социально-революционной партии. Он «ждет» известных благ «от революции», между прочим, на основании своей оценки западноевропейской истории. Верна эта оценка — основательны и его ожидания; и наоборот: обнаруживает эта оценка полное незнакомство с историей Запада и с приемами современной философско-исторической критики — самые «ожидания» г. Тихомирова оказываются крайне легкомысленными. Поэтому я и посвятил много страниц выяснению той путаницы, которая с удобством уместилась на двух страницах (238 и 239) 2 № «Вестника». Покончивши с нею, мы можем перейти к русским вопросам.

6. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА НА ЗАПАДЕ

«Не сотворяйте же себе кумира из частного предпринимательского капитала,— восклицает г. Тихомиров, возвратившись из своей философско-исторической экскурсии, — тем паче, что большой еще вопрос, сумеет ли такого рода капитал

сделать для России хоть то (!), что сделал для Европы. Наше современное положение значительно разнится от положения европейских стран в момент, когда они начали организовывать национальное производство на основе частного капитала. Там частный предприниматель имел перед собою громадные рынки и не имел особенно страшной для себя конкуренции. У нас совсем нет рынков, и частный предприниматель в каждом начинании встречает непосильную конкуренцию европейского и американского производства» [1].

Все эти соображения нашего автора опять не принадлежат ему, а заимствованы у г. В. В. Но, не вдаваясь, однако, в их генеалогию, посмотрим, насколько они основательны. Здесь перед нами опять вырастает трудная и неблагодарная задача распутывания самой невероятной путаницы фактов и понятий.

Прежде всего мы спросим г. Тихомирова, почему он нападает именно на *«частный»* предпринимательский капитал и ничего не упоминает о других видах того же *предпринимательского* капитала? Почему он, по выражению Родбертуса, предпочитает блондинов брюнетам? Думает ли он, что *государственный* предпринимательский капитал в руках железного канцлера лучше частного капитала в руках Борзига или Круппа?

Или он противопоставляет частный предпринимательский капитал такому же капиталу рабочих ассоциаций? Но почему же он не оговорил в таком случае, что симпатии его к предпринимательскому капиталу, не принадлежащему частным лицам, простираются лишь на одну разновидность этого капитала? Да и можно ли симпатизировать этой разновидности без новых и весьма существенных оговорок?

Германская [2] социал-демократия требует государственного кредита для рабочих ассоциаций, но она по опыту знает, что они могут иметь успех, т. е. не выродиться в эксплуататоров чужого труда, лишь под условием строгого контроля на основе социалистических принципов. Представительницей такого контроля могут и должны явиться рабочие социалистические партии. Таким образом, кто говорит о государственном кредите рабочим ассоциациям,— говорит об упрочении влияния рабочей партии или предлагает меру, могущую повести за собою лишь раскол в среде пролетариата и упрочение влияния буржуазии или правительства. Г-н В. В. не боится этого последнего исхода, и потому он смело обращается к «существующей власти» со своими реформаторскими проектами. Г-н Тихомиров принадлежит к непримиримым врагам абсолютизма и в то же время весьма скептически относится к возможности возникновения у нас буржуазного режима и рабочей социалистической партии. Поэтому его планы создания рабочих промышленных товариществ — планы, о которых, впрочем, мы

благодаря его запутанной терминологии *можем лишь догадываться*,— относятся к тому более или менее далекому будущему, когда «захват власти революционерами» послужит «исходным пунктом революции». А так как нам придется еще много говорить об этом захвате и о возможных его последствиях, то мы и не будем останавливаться здесь на рассмотрении условий, при которых русские рабочие промышленные товарищества могут способствовать делу социализма. Теперь же, поставив г. Тихомирову на вид неясность и неопределенность его экономической терминологии, перейдем к его историческим противопоставлениям.

Что «наше современное положение значительно разнится от положения европейских стран в момент, когда они (оне) начали организовывать национальное производство на основе частного капитала»,— эта мысль не подлежала бы сомнению, если бы была хоть сколько-нибудь сносно формулирована. Каждый школьник знает, что во всей истории нет двух фактов, совершившихся при вполне тождественной обстановке; неудивительно поэтому, что каждый исторический период каждой страны «значительно разнится» от соответствующего периода всякой другой страны. Но именно вследствие этого можно apriori сказать, что шаблонное противопоставление России «Западу» теряет всякий человеческий смысл, если не сопровождается целым рядом оговорок, поправок и дополнений, так как под Западом Европы понимается не одна, а много весьма различных стран. Г-н Тихомиров не видит надобности в этих дополнениях. Он противопоставляет «современное положение России» тому «*моменту*» в истории «европейских стран, когда они начали организовывать национальное производство на основе частного капитала». Но, не говоря уже о том, что нельзя «организовать национальное производство на основе частного капитала» и что полная анархия, т. е. отсутствие какой-нибудь организации, составляет отличительную черту «национального производства» капиталистических стран; даря г. Тихомирову эти логические и терминологические промахи, мы спросим его, точно ли в один «момент» было положено начало капиталистического производства «в европейских странах»? Не было ли, напротив, таких «моментов» ровно столько, сколько было «европейских стран», вступавших на путь капитализма? А если да, то не разнились ли «значительно» эти исторические «моменты» один от другого? Было ли похоже начало английского капитализма на начало капитализма в Германии? Поскольку нам известно, совсем непохоже, так непохоже, что в свое время и в Германии возникло мнение, будто эта страна совсем не имеет данных для развития крупной обрабатывающей промышленности и должна навсегда остаться земледельческою страною.

Люди, державшиеся этого мнения, ссылались именно на то обстоятельство, что «современное» им положение Германии «значительно разнится» и т. д. Что скажет нам г. Тихомиров об этом вопросе вообще и об этих лжепророках в частности?

В брошюре «Социализм и политическая борьба» я говорил о тех русских писателях, которые оказываются приверженцами географической школы, основанной еврейским мальчиком в рассказе Вейнберга. «Русские самобытные писатели,— говорил я,— сделали лишь одно нововведение в остроумной географической классификации бедного школьника: они подразделили «заграницу» на Восток и Запад и, недолго думая, принялись сравнивать этот последний с Россией, игравшей при этом роль какой-то Срединной Империи». Когда я писал эти строки, мне и в голову не приходило, что такого рода нелепости могут быть повторены на страницах органа, редактируемого, между прочим, П. Л. Лавровым. Теперь я вижу, что сам соредактор г. Лаврова оказывается последователем еврейского мальчика и валит в одну кучу какого-то «придуманного» им «момента» целый ряд в высшей степени сложных и «значительно» разнообразных исторических явлений. «Вестнику Народной Воли» суждено, как видно, во многом и во многом обмануть ожидания своих читателей!

Впрочем, у г. Тихомирова есть в этом случае смягчающее обстоятельство. Он введен был в свою ошибку убеждением в том, что в «европейских странах», в известный уже нам исторический «момент», «частный предприниматель имел перед собою громадные рынки и не имел особенно страшной для себя конкуренции», между тем как «у нас совсем почти нет рынков». Если бы это было справедливо, то его противопоставление России Западу имело бы достаточное основание. Как бы ни были различны условия, при которых нарождался капитализм в каждой из «европейских стран», но между ними была бы одна в высшей степени важная общая черта, не повторяющаяся в современной России: присутствие «громадных рынков» для сбыта. Это счастливое для «европейских стран» обстоятельство должно было бы придать совсем иную окраску экономической истории Запада. Вся беда в том, что г. Тихомиров, или, вернее, автор, из статей которого он почерпнул это убеждение, жестоко ошибается. В названных странах частный предприниматель вовсе *не* имел перед собою «громадных рынков». Буржуазия *создала* рынки, а не застала их *готовыми*. В предшествовавший ей феодально-ремесленный период не было не только «громадных рынков», но и вообще не существовало рынков в новейшем смысле этого слова: тогда обменивался лишь избыток, остаток от собственного потребления производителя, ремесленники же работали *по заказу* для данного лица в данной местности, а не

для сбыта на рынке. Кто имеет хоть малейшее понятие об экономических отношениях средних веков, тот не будет оспаривать сказанного. Точно так же всякий, «даже не обучавшийся в семинарии», поймет, что спрос, а вместе с ним и рынки могли расти лишь рядом с производством, будучи вызываемы этим последним и вызывая его в свою очередь. «Чаще всего потребности родятся прямо из производства или из порядка вещей, основанного на производстве. Всемирная торговля зиждется почти всецело на потребностях не личностей, а производства» *. Современный же, действительно «громадный», всемирный рынок характеризуется именно тем, что на нем не потребление вызывает производство, а наоборот. «Крупная промышленность, вынуждаемая самими находящимися в ее распоряжении орудиями производить в постоянно возрастающих размерах, не может ожидать спроса, производство предшествует потреблению, предложение вынуждает спрос» **.

Что Западная Европа не имела «особенно страшной конкуренции» в период возникновения капитализма — это можно признать для краткости неоспоримым, хотя нередкое в то время запрещение ввоза в «европейские страны» продуктов восточной промышленности и показывает, что западные мануфактуры боялись азиатской конкуренции. Но «особенно страшными» конкурентами западноевропейских производителей были те же западноевропейские производители. Это перестанет казаться парадоксом, когда мы припомним, что капитализм начал развиваться в различных «европейских странах» далеко не в один и тот же «момент», как это думает г. Тихомиров. Когда развитие промышленности доходило в одной из этих стран до известной степени интенсивности, когда представители капитала достигали такой силы и такого влияния, что могли делать законодательство орудием своих целей,— оказывалось, что «частный предприниматель в каждом начинании встречает непосильную конкуренцию» со стороны соседних стран. Тогда начиналась агитация в пользу государственного вмешательства. История XVII столетия с его тарифами, служащими предметом дипломатических переговоров, с его коммерческими войнами, требовавшими колоссальных для того времени расходов, наглядно показывает нам, какие огромные усилия должны были делать «европейские страны» для приобретения этих будто бы готовых рынков. Дело шло не только о завоевании внешних рынков, но и об отстаивании рынка внутреннего. Нужно ли иллюстрировать эту, казалось бы, всем известную историю примерами? Это будет, пожалуй, нелишним ввиду невежества наших доморощенных и самобытных экономистов. Начнем с Франции.

* «Misère de la philosophie», p. 16. [«Нищета философии», стр. 16.][1]
** Ibid., p. 48. [Там же, стр. 48.][2]

Кольбэр «видел, что Франция получала из-за границы гораздо более товаров, чем посылала туда; что, несмотря на существование турецких и лионских мануфактур, Италия продолжала доставлять шелковые изделия, золотые и серебряные ткани, золотую пряжу; что Венеция ежегодно получала от нее несколько миллионов за свои зеркала и кружева; что Англия, Голландия, Испания снабжали ее шерстяными товарами, пряностями, красками, кожами и мылом... Он видел... что большие компании и колонии, которые пытался завести Ришелье, были разорены, что вся морская торговля Франции была еще в руках англичан и голландцев. Чтобы помешать этому вторжению во французские порты, уже Фукэ установил налог в пятьдесят су с тонны товаров, привезенных на иностранных судах, и постоянные жалобы голландцев доказывали Кольбэру, что его предшественник нанес им чувствительный удар. Таково было положение. Кольбэр задался целью изменить его в пользу Франции, освободить нацию от всякого коммерческого рабства и поднять ее путем развития промышленности до уровня наиболее цветущих наций» и т. д. *. Он так усердно принялся за дело, что тарифом 1667 года прямо хотел «уничтожить» голландскую торговлю. «Англичане и голландцы отвечали ему тем же; спор о тарифе послужил поводом к войне 1672 года, и наконец Нимвегенский мир [1] вынудил Францию восстановить тариф 1664 года» **.

Мы видим, что Франция вовсе не «имела перед собою» громадных рынков, ей нужно было еще завоевать их с помощью целесообразной экономической политики, дипломатических переговоров и даже оружия. Кольбэр рассчитывал только на «время и большое прилежание», благодаря которым Франция могла, по его мнению, стать «учительницей наций, дававших ей уроки».

Известно, что покровительственная и запретительная политика Франции не прекратилась с прекращением влияния Кольбэра так же точно, как она не ему обязана была первым своим возникновением. Лишь после Версальского мира [2] французское правительство делает в 1786 году первый шаг в направлении к свободе торговли. Но эта попытка оказалась неблагоприятной для французской промышленности. По трактату с Англией 1786 года за шерстяные и хлопчатобумажные ткани, фарфоровые, фаянсовые, глиняные и стеклянные изделия

---

* *Levasseur*, «Histoire des classes ouvrières en France», t. 2, p. p. 174—175. [*Левассер*, «История трудящихся классов во Франции», т. 2, стр. 174—175.]

** См. *Henry W. Farnam*, «Die innere französische Gewerbepolitik von Colbert bis Turgot», S. 17. [*Генри У. Фэрнэм*, «Внутренняя промышленная политика Франции от Кольбэра до Тюрго», стр. 17.]

взималось лишь 12% стоимости в каждой из договорившихся стран; на металлические изделия: железные, стальные, медные и т. п., пошлина равнялась 10%; ткани из льна и конопли были обложены пошлиной по тарифу, установленному для наиболее благоприятствуемых наций; но Англия, будучи в состоянии производить все эти продукты на 30, 40, 50% дешевле, чем французские фабриканты, скоро стала хозяйничать на французском рынке. Вот почему избиратели 1789 года почти единогласно требовали более энергического покровительства французской промышленности. Правительства реставрации и июльской монархии также придерживались строго покровительственного тарифа. Для обеспечения сбыта французских товаров колониям было запрещено торговать с какою-либо другой страной, кроме метрополии. Лишь с 1860 года начинается поворот в пользу свободной торговли, но и этот поворот вызывает очень сильную оппозицию в стране и порицается, между прочим, Прудоном. Наконец, не далее как в 1877 г. боязнь английской конкуренции вызывает со стороны протекционистов образование «Ассоциации для защиты национального труда». Тариф 1882 года представляет собою компромисс между требованиями покровительства и стремлениями к свободной торговле, обнаруживаемыми главным образом представителями коммерческого капитала *.

Такова история «громадных рынков», бывших в распоряжении французских капиталистов. Слышал ли о ней что-нибудь г. Тихомиров?

А Германия, на которую «указывает» нашему автору «некоторая часть социалистов»?

Здесь дело стояло не лучше. Здесь также «частный предприниматель в каждом своем начинании» встречал «непосильную конкуренцию» более передовых стран. Известно, что немецкий капитализм имеет сравнительно недавнее происхождение. Не только в предшествующие столетия, но даже в начале нынешнего века Германия не могла даже и думать о конкуренции с Францией или Англией. Возьмем для примера Пруссию. В 1800 году Пруссия совершенно запрещает ввоз иностранных шелковых, полушелковых и хлопчатобумажных изделий. В предшествующие 80 лет правительство на одни только шелковые фабрики в Берлине, Потсдаме, Франкфурте-на-Одере и Кепенике издержало более десяти милл. талеров (из чего г. Тихомиров может с ясностью видеть, что не одно русское правительство употребляло усилия для «организации» национального производства «под началом буржуазии»). Но

* См. «Histoire du commerce français» par Ch. Périgot, Paris 1884. [См. «Историю французской торговли» *Ш. Периго*, Париж 1884.]

французские и английские изделия были настолько лучше прусских, что запрещение иностранного ввоза обходилось контрабандой, которой не могли истребить никакие строгие меры законодательства. Победы Наполеона лишают Пруссию возможности спасать свои мануфактуры за «стеною» запретительного тарифа. Вместе с вторжением французских войск начинается наплыв французских товаров в завоеванные местности. В начале декабря 1806 года завоеватели требуют пропуска всех французских товаров, с оплатой лишь невысокой таможенной пошлины, во все части Пруссии, занятые наполеоновской армией. Напрасно прусское правительство ставит им на вид, что туземная промышленность не может вынести конкуренции французских фабрикантов. Напрасно доказывает оно, что берлинские фабрики держались до тех пор лишь благодаря покровительственному тарифу, с падением которого население окончательно обнищает и фабричные рабочие пойдут по миру. Победоносные полководцы буржуазной Франции отвечают, что ввоз в страну французских товаров представляет «естественное следствие» завоевания. Таким образом, рядом с политической борьбой правительств шла экономическая борьба народов, или, вернее, тех слоев народов, в руках которых и до сих пор сосредоточиваются средства производства. Рядом с борьбой армий шла борьба фабрикантов, рядом с соперничеством полководцев шла конкуренция товаров. Французской буржуазии нужно было овладеть новым рынком, прусская — всеми силами стремилась отстоять тот, который был в ее руках благодаря покровительственному тарифу. Где же здесь готовые «громадные рынки»? Когда вслед за объявлением войны 1813 года прусские промышленники избавились, наконец, от своих французских конкурентов, у них явились новые, еще более опасные противники. Падение континентальной системы открыло английским товарам доступ на европейские рынки. Огромное количество их наводнило Пруссию. Дешевизна их делала конкуренцию с ними невозможною для местных производителей, при той невысокой пошлине, какой были обложены теперь товары дружественных и нейтральных государств. Жалобы прусских фабрикантов снова заставляют правительство ограничить ввоз в Пруссию, по крайней мере, хлопчатобумажных изделий *. С тех пор до настоящего времени правительство Пруссии, да и всей вообще Германии, не решается отказаться от покровительственного тарифа, опасаясь «непосильной конкуренции» более передовых стран. И если русские бланкисты захватят власть еще при жизни Бисмарка, то железный канцлер не от-

* «Die neuere Nationaloekonomie» von *Dr. Moritz Meyer*. [«Новейшая политическая экономия» *д-ра Морица Мейера*.]

кажется, вероятно, открыть им тайну своей торговой политики и убедит наших журналистов, что «громадные рынки» не растут и никогда не росли на деревьях.

Перейдем к Америке.

«Северно-американские колонии в отношении промышленности были поставлены своей метрополией в такую полную зависимость, что в них не должны были иметь места никакие роды промышленности, кроме домашнего производства и обыкновенных ремесл. В 1750 году основанная в Массачузетсе шляпная фабрика обратила на себя такое внимание парламента и вызвала такую ревность с его стороны, что все роды фабрик (в колониях, конечно) были объявлены вредными учреждениями (common nuisances). Еще в 1770 году великий Чатам, обеспокоенный первыми попытками фабричного производства в Новой Англии, заявил, что ни один гвоздь не должен быть изготовлен в колониях» [1]. Во время войны за независимость благодаря разрыву с Англией «фабрики всякого рода получили сильный толчок», что, в свою очередь, повлияло на земледелие и повело к увеличению ценности земли. «Но так как после парижского мира конституция штатов мешала выработке общей торговой системы и тем открывала свободный доступ английским фабрикатам, конкуренции которых не могли вынести только что возникшие фабрики Северной Америки, то промышленное процветание страны исчезло еще скорее, чем возникло.— По совету новых теоретиков,— говорил после один оратор в конгрессе об этом кризисе, — мы покупали там, где могли купить всего дешевле, и наши рынки были наводнены чужими товарами. *Наши мануфактуристы были разорены*, наши купцы обанкротились, и все эти причины так вредно повлияли на земледелие, что наступило общее обесценение землевладения, а с ним и банкротство наших землевладельцев» [2].

Мы видим отсюда, что была в свое время гроза и на американское производство, «непосильная конкуренция» которого угрожает теперь русскому «частному предпринимателю». Какие же громоотводы придумали американцы? Убедило ли их это в том, что их положение «значительно разнится от положения европейских стран в момент, когда они начали организовывать национальное производство на основе частного капитала»? Отказались ли они от крупной промышленности? Ничуть не бывало. Наученные горьким опытом, они повторили лишь старую историю охранения своего внутреннего рынка от иностранной конкуренции. «Конгресс был осажден петициями ото всех штатов в пользу покровительственных мер для туземной промышленности», и уже в 1789 году был обнародован тариф, сделавший значительные уступки местным фабрикантам в этом смысле. Тариф 1804 года пошел еще далее в этом направ-

лении, и, наконец, после нескольких колебаний в противную сторону строго покровительственный тариф 1828 года окончательно обеспечил американских производителей от английской конкуренции *.

Еще раз, где же те «громадные» рынки, о которых говорит г. Тихомиров? Я совершенно согласен, что указываемый им ход развития западноевропейского капитализма должен быть признан более «прямым» и наименее «рискованным»: чем рискует «частный предприниматель», имея «перед собой громадные рынки»? Но г. Тихомиров, с своей стороны, должен согласиться, что этот ход развития «придуман» им или, вернее, его учителем в интересах доктрины и не имеет ничего общего с действительной историей Запада. Дело происходило там до такой степени иначе, что Фридрих Лист устанавливает даже особый закон, по которому каждая страна может выступить на поприще борьбы на всемирном рынке, лишь давши окрепнуть своей промышленности, путем господства на своем внутреннем рынке. По его мнению, «переход каждой нации от дикого состояния к пастушескому и от пастушеского — к земледельческому, равно как и первые шаги земледелия, лучше всего совершаются под влиянием свободной торговли». Затем, «переход земледельческих народов в класс земледельческо-мануфактурно-торговых наций мог бы лишь в том случае совершиться при свободе торговли, *если бы* во всех нациях, призванных к развитию мануфактурной силы, *один и тот же жизненный процесс совершался в одно и то же время*, если бы нации не ставили друг другу никаких препятствий на пути экономического развития, если бы они не мешали успехам друг друга войной и таможенными системами. Но так как нации, достигшие превосходства в мануфактурах, торговле и мореплавании, видели в этих успехах самое действительное средство для приобретения и упрочения политического влияния на другие нации, то они (т. е. передовые нации) и стремились создать такие учреждения, которые были и до сих пор остаются рассчитанными на то, чтобы обеспечить этим нациям монополию в мануфактурах и торговле и воспрепятствовать успехам отсталых народов. Совокупность этих учреждений (запрещение ввоза и пошлины на него, ограничения судоходства, премии за вывоз и т. д.) называется таможенной системой. Под влиянием более ранних успехов других наций, таможенной системы чужих стран и войн более отсталые нации оказы-

---

* См. «Das nationale System der politischen Oekonomie», von *Friedrich List*, zweite Auflage, 1842, B. I, Kap. 9. Ср. также «Geschichte der Nationaloekonomie» von *Eisenhart*, III. Buch, 2. Kapitel. [См. «Национальную систему политической экономии» *Фридриха Листа*, второе издание, 1842, т. I, гл. 9. Ср. также «Историю политической экономии» *Эйзенгарта*, III книга, 2 глава.]

ваются вынужденными искать в самих себе средств для перехода от земледельческого состояния к мануфактурному; они должны ограничить торговлю с передовыми странами — поскольку она мешает этому переходу — посредством собственной таможенной системы. Эта последняя оказывается поэтому вовсе не выдумкой спекулятивных голов, как это утверждают некоторые, а естественным следствием стремления наций гарантировать прочность своего существования и прогресса или даже своего преобладающего влияния. Но это стремление может быть признано законным и разумным, лишь поскольку оно *не мешает* экономическому развитию обнаруживающей его нации, *а, напротив, способствует* ему и не противоречит более высокой цели человечества — будущей всемирной конфедерации» *.

Так говорил Фридрих Лист, хорошо понимавший интересы современного ему немецкого капитализма и грешивший лишь некоторою высокопарностью в определении будущих, «более высоких целей человечества», которые для буржуазии сводятся не ко «всемирной федерации», а к ожесточенной борьбе на всемирном рынке. Лист не смущался ни обвинением его взглядов в отсталости, ни указанием на невозможность для Германии приобрести сколько-нибудь счастливые шансы будущей борьбы на всемирном рынке. На первое возражение он отвечал, что он вовсе не безусловный противник свободной торговли, так как требует лишь временных для нее ограничений, и притом стоит за нее в пределах германского таможенного союза. На второе возражение он отвечал критикой самой теории рынков или, вернее, условий их завоевания. Он указывал на то обстоятельство, что отсталые страны могут и должны заключать между собою союзы для совместной борьбы против более сильных врагов, что эти отсталые страны должны озаботиться заведением собственных колоний. «Каждая промышленная нация должна стремиться к тому, чтобы вступить в непосредственный обмен со странами жаркого пояса, и если мануфактурные нации второго разряда понимают свои интересы, они должны действовать так, чтобы ни одна нация не приобретала преобладающего влияния в области колониальных владений» **. Возможность заведения новых колоний он подтверждал указанием на то, что до сих пор еще огромное число удобных местностей жаркого пояса не утилизировано в этом отношении европейцами.

В то время, когда Лист вел свою агитацию, очень многие сомневались в возможности возникновения в Германии крупной обрабатывающей промышленности. Теперь уже никто в этом не

* «Das nationale System» etc., S. S. 18—19. [«Национальная система» и т. д., стр. 18—19.]

** *List*, ibid., S. S. 560—561. [*Лист*, там же, стр. 560—561.]

сомневается, а между тем предложенная им программа экономической политики и до сих пор не выполнена окончательно. Лишь теперь поднимается в Германии вопрос о заведении колоний. Действительность превзошла его ожидания. Для упрочения немецкой крупной промышленности достаточно было одной части его программы.

Теперь не только ни один скептик не спрашивает, возможна ли крупная обрабатывающая промышленность в отечестве Листа, по г. Тихомирову «указывают», между прочим, «на Германию, где капитализм объединил рабочих» и где «частный предприниматель» имел будто бы перед собою «громадные рынки». До такой степени забылись первые трудные шаги этой страны на поприще капитализма! А много ли времени прошло с тех пор, как писал Лист? Всего полстолетия, всего в пять раз больше того периода, в течение которого русские бланкисты делают бесплодные усилия для «захвата власти». Что̀ если бы Маркс, Энгельс и их последователи, проникшись тем убеждением, что нужно брать народ, «как он есть», и что немецким коммунистам сороковых годов нужно было, по картинному выражению г. Тихомирова, «еще только хлопотать о создании класса, во имя которого они хотели действовать», что̀ если бы Маркс и Энгельс, говорю я, махнули рукой на «Запад» и решили, что «исходным пунктом» социальной революции в Германии должен быть «захват власти» силами тогдашнего «Союза коммунистов»?[1] Что̀ если бы они направили к этой цели всю свою деятельность? Далеко ли была бы теперь немецкая социал-демократия? А ведь вопрос о таком «захвате власти» вовсе не представляет собою исключительной черты русского движения. Он поднимался даже в «Союзе коммунистов» и вызвал разделение его на две фракции: Маркса — Энгельса, с одной стороны, и Виллиха — Шаппера — с другой.

История этого разделения так поучительна, что не мешает рассказать ее читателям[2].

«Со времени поражения революции 1848—1849 года, партия пролетариата на континенте лишилась всего, чем обладала она в течение этой короткой эпохи: свободы прессы, слова и права ассоциаций, т. е. легальных средств организации партии. После 1849 года, как и перед 1848, перед пролетариатом был только один путь,— путь тайных союзов... Одна часть таких тайных союзов имела своею непосредственною целью ниспровержение существующей государственной власти. Это было уместно во Франции, где пролетариат был побежден буржуазией и где нападение на существующее правительство было равносильно нападению на буржуазию». Другая часть этих тайных обществ действовала в таких странах, как Германия, «где и буржуазия, и пролетариат одновременно находились под гне-

том полуфеодальных правительств, где, следовательно, победоносная борьба против существующей власти должна была не лишить буржуазию господства, а, напротив, передать его в ее руки или в руки так называемых средних сословий»,— в таких странах передовые представители пролетариата, не отказываясь от участия в предстоящей революции, видели свою ближайшую цель не в захвате власти, а в подготовке рабочей партии будущего. Такова, между прочим, была цель «Союза коммунистов», в котором главная роль принадлежала Марксу и Энгельсу. «Союз коммунистов был поэтому не обществом заговорщиков, а обществом, стремившимся к тайной организации пролетариата, потому что немецкий пролетариат находился под интердиктом, был лишен *огня и воды*, печати, слова и ассоциаций». Само собою понятно, что такого рода деятельность, «которая имела в виду выработку не *правительственной, а оппозиционной партии будущего*», заключала в себе мало привлекательного для людей мало развитых и нетерпеливых, и тогда «от *Союза коммунистов* отделилась фракция, которая требовала если не действительных заговоров, то хоть заговорщицкой внешности и прямого союза с демократическими героями дня». Мотивы этого разрыва, который многими приписывался личным ссорам вождей обеих фракций, следующим образом мотивировались самими участниками этих событий.

По словам Маркса, «меньшинство (фракция Виллиха и Шаппера) ставит на место критического миросозерцания — догматическое, на место материалистического — идеалистическое. Вместо действительных отношений оно принимает свою собственную волю за главный революционный двигатель. Между тем как мы говорим рабочим: вы должны пережить еще 5, 20, 50 лет гражданской войны и народных движений, и притом не только для того, чтобы изменить существующие отношения, но также и для того, чтобы перевоспитать самих себя, стать способными к господству; меньшинство говорит наоборот: мы должны теперь же достичь господства, или нам не остается ничего делать. Между тем как мы именно немецким рабочим указываем на неразвитое состояние немецкого пролетариата, вы самым плоским образом льстите национальному чувству и сословным предрассудкам немецкого ремесленника *, что, конечно, представляет собою гораздо более популярный прием. ...Подобно демократам, вы подставляете на место революционного развития революционные фразы» и т. д. и т. д.

* Впрочем, едва ли даже фракция Шаппера издавала когда-нибудь воззвания, вроде известной прокламации на малорусском языке по поводу антиеврейских беспорядков, с которой редакция «Народной Воли» заявила свою полную солидарность и которая представляет собою именно самую плоскую лесть национальным предрассудкам русского народа [1].

С своей стороны, Шаппер так формулировал свои воззрения.

«Я действительно высказывал атакованное здесь воззрение, потому что я вообще держусь его с энтузиазмом. Весь вопрос заключается в том — мы ли начнем рубить головы, или их отрубят нам. Сначала восстанут рабочие во Франции, а затем и мы в Германии. Если бы это было не так, то мне действительно не оставалось бы ничего делать. Но если наши планы осуществятся, то мы можем принять меры, которые обеспечат господство пролетариата (как г. Тихомиров обещает принять меры, которые обеспечили бы России «народоправление»,— заметим мы в скобках). Я с фанатизмом держусь этого взгляда, центральный же комитет (фракции Маркса) хочет противного» и т. д.

Этот спор происходил 15 сентября 1850 г., когда произошел окончательный разрыв между названными фракциями. Каждая из них взялась за свою работу. Виллих и Шаппер стали готовиться к захвату власти, Маркс и Энгельс продолжали подготовлять «оппозиционную партию будущего». Прошло 15 лет, и эта «партия будущего» стала грозою буржуазии всех народов и стран, взгляды авторов «Коммунистического Манифеста» были усвоены десятками тысяч рабочих. А что сделали Виллих и Шаппер? Удался ли им немедленный «захват власти»? Все знают, что нет, но не все знают, что тот же «фанатический» Шаппер очень скоро должен был убедиться в несбыточности своих планов и даже «много лет спустя, умирающий, за день до своей смерти», не мог говорить о своих неудавшихся затеях без «едкой иронии» *.

Фракции вроде виллих-шапперовской представляют собою естественный результат неразвитости общественных отношений. Они появляются и могут иметь некоторый успех в период очень неразвитого состояния пролетариата и самых первых попыток его добиться своего освобождения. «Революционная литература, сопутствовавшая этим первым движениям пролетариата, по содержанию своему, необходимо являлась реакционной»,— как говорит «Манифест Коммунистической партии». Когда под влиянием более развитых отношений в передовых странах вырабатывается, наконец, серьезная социалистическая литература, то она частью подвергается более или менее своеобразным переделкам в странах, считающих свою отсталость признаком «самобытности», частью дает повод к неверным истолкованиям и реакционным практическим программам. Не только в Рос-

* См. «Enthüllungen über den Kommunisten-Process zu Köln» von ***Karl Marx***, 2 издание, из которого мы заимствуем все вышеприведенные подробности. [«Разоблачения о кельнском процессе коммунистов» *Карла Маркса*.]

сии, но также и в Польше, и вообще на всем Востоке Европы, мы и теперь еще встречаем или можем встретить «социальных революционеров» во вкусе Виллиха и Шаппера *. Само собою разумеется, что дальнейшее развитие европейского Востока также дискредитирует их «ожидания от революции», как оно дискредитировало ожидания Виллиха — Шаппера в Германии.

* [Примечание к изданию 1905 г.] Эти строки были написаны в то время, когда мы еще не могли выяснить себе направления «органа международной социально-революционной партии» (?) «Walka Klas» [1]. В настоящее же время, после появления трех номеров этого органа, можно с уверенностью сказать, что он поставил своею главною задачей пропаганду «теорий» во вкусе Виллиха — Шаппера. Впрочем, о свойственных такому направлению теориях нужно говорить с большою осторожностью, так как, по замечанию Маркса, «Partei Schapper — Willich hat nie auf die Ehre Anspruch gemacht eigne Idee zu besitzen. Was ihr gehört ist, das eigentümliche Missverständniss fremder Ideen, die sie als Glaubensartikel fixirt und als Phrase sich angeeignet zu haben meint». [«Партия Шаппер — Виллиха никогда не претендовала на честь иметь собственные идеи. Ей принадлежит лишь своеобразное непонимание чужих идей, которые она по-своему устанавливает как символ веры и усваивает себе как фразу».][2]

ГЛАВА II

КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ

1. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Мы знаем теперь, что каждая отсталая страна может на первое время, до переполнения внутреннего рынка, устранять «непосильную конкуренцию» своих более развитых соседей путем таможенной системы. Соображение г. Тихомирова о том, что у нас совсем почти нет рынков, теряет таким образом значительную часть своего удельного веса. Для отсталых стран вопрос может быть формулирован лишь таким образом: успеет ли — и на сколько именно успеет — западный капитализм втянуть их в свой водоворот, прежде чем уступит место высшей форме общественности? Чтобы ответить на него, нужно внимательно взвесить современное состояние каждой такой страны в отдельности. С своей стороны мы сделаем это в следующей главе, а теперь вернемся к г. Тихомирову и посмотрим, как делает он этот анализ.

Всякий, следивший за нашими общественными течениями последнего времени, знает, конечно, что именно в сторону обеспечения внутреннего рынка и направляются усилия наших «частных предпринимателей». Это стремление встречает себе поддержку как в правительственных сферах, так и в прессе, а также и в той среде, которую не признать «интеллигенцией» можно лишь на основании своеобразной терминологии г. Тихомирова. Немало наших профессоров и ученых группируются уже под этим знаменем. Тем не менее дело русского капитализма кажется г. Тихомирову очень трудным, «если не вовсе безнадежным». По его мнению, «промышленность развивается туго. Она постоянно жалуется на недостаток интеллигентных и энергичных сил». Это, конечно, до некоторой степени справедливо; но указывает ли это обстоятельство на «безнадежность стремлений русского капитализма»? Не обусловливается ли «тугое развитие» русской промышленности влиянием современного политического гнета? Что свободные учреждения составляют необходимое условие капитализма на известной стадии его развития — это давно уже известно каждому, как в «Европе», так и в России, где еще в пятидесятых годах раздавались голоса, тре-

бовавшие свободы ради успехов промышленности. Г-н Тихомиров мог бы с большою для себя пользою прочитать речь покойного И. Бабста «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала», произнесенную в июне 1856 г. в торжественном собрании казанского университета. Эта речь помогла бы ему понять, каким образом тот же самый капитализм, который прячется сначала под «мантию самодержца», приходит мало-помалу в противоречие с интересами абсолютной монархии и начинает фрондировать, разумеется по-своему, умеренно и аккуратно. «Трудно себе представить, до какой степени дурная администрация, отсутствие безопасности, произвольные поборы, грабительство, дурные учреждения действуют гибельно на бережливость, накопление, а вместе с тем и на умножение народного капитала,— говорит названный экономист.— Междоусобные войны, борьба политических партий, нашествия, мор, голод не могут иметь того гибельного влияния на народное богатство, как деспотическое и произвольное управление. Чего не перенесли благословенные страны Малой Азии, каких не испытали они переворотов — и постоянно вновь обращались в земной рай, покуда не скрутила их турецкая администрация. Что было с Францией в XVIII столетии, когда над земледельческим народонаселением тяготела безобразная система налогов и когда, вдобавок еще, под видом последних каждый чиновник мог смело и безнаказанно грабить? Против воров и разбойников есть управа, но что же делать с органами и служителями верховной власти, считающими свое место доходным производством? Тут иссякает всякая энергия труда, всякая забота о будущем, об улучшении своего быта... капиталы, М. Г., и накопление их, тогда только исполняют настоящее свое назначение, *когда открыта полная и свободная стезя для их деятельности*». Напрасно г. Тихомиров ссылается на то обстоятельство, что «царствование Александра II было сплошною попыткой монархии восстановить свою прочность путем организации России под началом (?) буржуазии», как на аргумент в пользу мысли о безнадежности стремлений русского капитализма. История французской абсолютной монархии, начиная с Генриха IV, была также почти «сплошною попыткой» поддержать прочность старого государственного строя путем организации Франции «под началом буржуазии». Уже на собрании Генеральных Штатов 1614 года дворянство жалуется на это в самых недвусмысленных выражениях. Мы говорили уже выше, какие заботы прилагал министр Людовика XIV к промышленному развитию Франции. В XVIII веке, накануне революции, создается целая школа экономистов, которые проповедуют солидарность интересов капитализма и абсолютной монархии, провозглашают буржуазный принцип

«laissez faire, laissez passer» * и указывают в то же время на Китай, как на образец политического устройства. Монархия всеми силами старается приспособиться к новым условиям, поскольку это возможно без отказа от абсолютной власти. На самом краю своего гроба, при открытии Генеральных Штатов 1789 года, она, устами Людовика XVI осуждая «иллюзии», обещает удовлетворить все «разумные» требования страны. Но неумолимая логика вещей показывает неожиданным, даже для многих и многих буржуа, образом, что самым «разумным», хотя и не всеми сознанным требованием страны было падение абсолютизма. Политические идеалы физиократов [1] оказались самою несбыточною утопией. И эту невозможность сочетания абсолютизма с дальнейшим развитием буржуазии понимали очень многие современники физиократов. Укажем хоть на социалиста Мабли и его «Doutes proposées aux philosophes économistes» **. В его время буржуазия, как класс, не задумывалась еще о «захвате» верховной политической власти в стране; но он не говорил, подобно г. Тихомирову, что «если бы она имела достаточно силы, она сделала бы это теперь». Он знал, что бывают исторические эпохи, в которые сила и политическое сознание данного класса растут с такой же быстротой, как уровень речной воды после вскрытия льда. Он знал также, что сила каждого класса есть понятие относительное, определяющееся, между прочим, степенью падения его предшественника и уровнем развития его наследника. При неразвитости народа французская буржуазия являлась единственным классом, способным к господству. Абсолютизм мешал дальнейшему развитию Франции под ее руководством и потому был осужден на погибель. Буржуазия возмутилась против того самодержавия, под «мантией» которого она доросла до «крамолы». Мабли предвидел этот исход и, несмотря на свои коммунистические идеалы, сознавал, что ближайшее будущее принадлежит буржуазии.

Если бы не только общественным классам, но даже философским и политическим теориям можно было отказывать в значении и будущности на том основании, что все они развиваются некоторое время под эгидой принципа, не совместного с их дальнейшим развитием, то нам пришлось бы отрицать всю человеческую культуру и «придумывать» для нее новые, менее «рискованные пути». Разве философия не зародилась в недрах и на счет теологии? «Единство, подчинение, свобода суть те три отношения, в которые постоянно становилась философия христианской эпохи к церковной теологии»,— говорит Фридрих

* [«предоставьте событиям идти своим чередом».]
** [«Сомнения, выдвинутые перед философами-экономистами».]

Ибервег в своей истории философии *, и этот порядок взаимных отношений знания и веры может быть признан всеобщим законом, если мы с своей стороны прибавим, что «свобода» расчищает себе путь лишь посредством самой ожесточенной борьбы за существование. Каждый новый общественный или философский принцип зарождается в недрах — и потому на счет питательных соков — старого, ему *противоположного*. Умозаключать отсюда к «безнадежной» судьбе нового принципа — значит не знать истории.

Наши самобытники, действительно, знают ее очень плохо. Слушая рассуждения манчестерцев [1] о вреде государственного вмешательства и зная в то же время, что русские капиталисты очень падки на такое вмешательство, поскольку оно выражается в покровительственном тарифе, субсидиях, гарантиях и т. п., русские доморощенные социологи заключают отсюда, что путь развития нашего капитализма диаметрально противоположен ходу развития капитализма западноевропейского: на Западе буржуазия говорит только о «невмешательстве», у нас — только о субсидиях и гарантиях. Но если бы гг. В. В. и К° не верили на слово экономистам манчестерской школы и хоть на время оторвались бы от своих «самобытных» источников, то они узнали бы, что не всегда и не везде западноевропейская буржуазия стояла за принцип невмешательства у себя дома и еще того менее стояла за него в колониях. Узнавши это, они увидели бы, что их противоположения лишаются почти всякого смысла. Известно, что коренная ошибка буржуазных экономистов манчестерской школы именно в том и заключается, что они возводят в вечные и неизменные «естественные законы» те принципы, которые имеют лишь преходящее значение. Не разделяя «ожиданий» буржуазных экономистов от будущего, многие русские самобытники убеждены, однако, в правильности их взглядов на прошлое. Они верят, что в истории Запада государственное вмешательство и правительственная поддержка никогда не были нужны западноевропейской буржуазии и ничего, кроме вреда, ей не приносили. В этом-то и состоит главный недостаток наших самобытных теорий и программ. Г-н В. В. верит на слово манчестерцам и считает лишним хоть немного ознакомиться с экономической историей Европы. Г-н Тихомиров верит на слово г. В. В. и в возрастании влияния интересов русской буржуазии на экономическую политику последнего двадцатипятилетия («царствование Александра II было сплошною попыткою» и т. д.) видит главный признак слабости и мертворожденности русского капитализма.

---

* «Grundriss der Geschichte der Philosophie», III Th., S. 2. [«Очерк истории философии», III часть, стр. 2.]

До г. В. В., сторонника абсолютизма и уже по одному тому злейшего реакционера, нам нет никакого дела. Но, признаемся, нас очень огорчает легковерие редактора революционного органа.

Что интересы русской буржуазии приходят теперь в непримиримое противоречие с интересами абсолютизма — это знает всякий, следивший хоть с некоторым вниманием за ходом русской жизни в последнее десятилетие *. Что та же самая буржуазия умеет, однако, извлекать пользу из существующего режима и потому не только поддерживает некоторые его стороны, но и целиком стоит за него в известных своих слоях — это также неудивительно. Развитие данного общественного класса есть слишком сложный процесс, чтобы по некоторым частным сторонам его можно было умозаключать обо всем его направлении. Наша буржуазия переживает теперь важную метаморфозу: у нее развились легкие, которые требуют уже чистого воздуха политического самоуправления, но в то же время у нее не атрофировались еще и жабры, с помощью которых она продолжает дышать в мутной воде разлагающегося абсолютизма. Корни ее сидят еще в почве старого режима, но верхушка ее достигла уже развития, указывающего на необходимость и неизбежность пересадки. Кулаки до сих пор продолжают обогащаться благодаря хищническому характеру нашего государственного хозяйства; но крупные заводчики, фабриканты, торговцы и обуржуазившиеся земледельцы понимают уже, что приобретение политических прав необходимо для их благосостояния. За это нам ручаются нередкие в последнее десятилетие петиции правительству, в одной из которых наши крупные промышленники и торговцы просили даже правительство не принимать никаких финансовых мер без совещания с представителями крупного капитала. Какова тенденция такой петиции? Не показывает ли она, что гибельное влияние абсолютизма самым наглядным и осязательным образом отражается на доходах торгово-промышленных компаний? Не говорит ли она нам, что система личного воздействия каждого отдельного предпринимателя на министров и министерства — путем всякого рода «ходатайств», пожертвований «на патриотизм» и откровенных подкупов — становится уже недостаточной и недействительной и потому стремится уступить место организованному и законному участию промышленного класса в управлении страною? С. С. Поляков и до сих пор может находить, что подкупленные им министры лучше ответственных, конституционных министров [1]. Но конкуренты его

* [Примечание к изданию 1905 г.] Нынешнее поведение русской буржуазии доказывает, что указанное мною противоречие было в самом деле непримиримо.

превосходительства, побежденные им с помощью приношений и взяток, наверное, не разделяют его воззрений. Политический режим, выгодный для отдельных *личностей*, становится невыгодным для предпринимательского *класса* в его целом. Представители этого класса, конечно, не выходят на улицу, не строят баррикад, не издают даже подпольных листков. Но буржуазия вообще не любит таких «рискованных» средств. Даже и в Западной Европе она лишь в самых редких случаях первая поднимала знамя восстания; большею же частью она лишь исподволь расшатывала ненавистный ей порядок и пожинала плоды побед народа, который боролся «против врагов своих врагов». Что же касается тайной политической пропаганды, то какая же она была бы буржуазия, если бы не понимала значения разделения труда? Она предоставляет вести это дело так называемой интеллигенции, не отвлекаясь сама от задач своего материального обогащения. Она знает, что ее дело «верное» и что начатая нашей интеллигенцией политическая борьба рано или поздно очистит поле для ее господства. Разве итальянская буржуазия не предоставляла революционерам таскать из печи каштаны политического освобождения и объединения и разве не она теперь питается этими каштанами?

А если революционеры «захватят власть» и сделают социальную революцию? В это она не верит, да скоро перестанут верить и сами революционеры. Скоро они все поймут, что если люди развертывают зонтики, когда идет дождь, то из этого еще не следует, что дождь может быть вызван развернутыми зонтиками; скоро они убедятся, что если «захват» политической власти есть неизбежное следствие развития рабочего, как и всякого другого класса, то отсюда еще никак нельзя заключить, что достаточно «революционерам из привилегированной среды» захватить власть, чтобы сделать трудящееся население России способным к совершению социалистического переворота. Скоро все наши социалисты поймут, что служить интересам народа можно лишь, организуя и подготовляя народ к *самостоятельной борьбе* за эти интересы.

Но для русской буржуазии как нельзя более выгодна уверенность некоторых наших революционеров в ее бессилии. Она и сама, пожалуй, готова повторять их песню. Она даже делает это при каждом удобном случае. Возьмем хоть вопрос о числе наших промышленных рабочих. По словам нашего автора, в России «на 100 000 000 населения приходится всего 800 000 рабочих, объединенных капиталом»; к тому же это относительно ничтожное число рабочих «у нас... не возрастает, а, быть может, даже (!) совсем стоит на одной цифре». Заметивши, что *«не возрастает»* и значит именно *«стоит на одной цифре»*, проследим генезис этого убеждения.

2. ЧИСЛО РАБОЧИХ

Г-н Тихомиров повторяет здесь слова г. В. В., которому принадлежит честь констатирования численного застоя нашего рабочего класса. Для г. В. В. все значение капитализма сводится к «объединению рабочих»; понятно, почему он употребил так много усилий для доказательства того положения, что число наших рабочих «стоит на одной цифре». Раз доказано это положение, доказана и неспособность капитализма хоть в каком-нибудь смысле содействовать успехам русской культуры. Люди, знающие, что роль капитализма не ограничивается одним «объединением рабочих», знают также, что констатируемый г. В. В. факт все еще ничего не доказывал бы даже в том случае, если бы он был верен. Люди же, знакомые со статистикой современной России, знают, кроме того, что не верен и самый факт. В самом деле, как доказывает его г. В. В.? Из одной статьи «Вестника Европы» он «почерпнул следующую таблицу, касающуюся истории русских фабрик и заводов, не обложенных акцизом» [1]:

	Число рабочих	Число фабрик	Сумма произв. в руб.	Производ. на 1 раб. в руб.
В 1761 г. было	7.839	200	2.122.000	около 300
» 1804 » »	95.202	2.423	26.750.000	
» 1842 » »	455.827	6.930	97.865.000	
» 1854 » »	459.637	9.444	151.985.000	» 330
» 1866 » »	393.371	16.451	342.910.000	» 870

Из этих данных г. В. В. заключает, что с 1842 года, т. е. с тех пор как Англия разрешила свободный вывоз машин, а главным образом с 1854 развитие русского производства начало следовать развитому им «закону», т. е. что «рядом с увеличением его (капитала) оборотов идет уменьшение числа рабочих,— производство расширяется не вширь, а вглубь» *. Так ли это? Не совсем.

Чтобы найти «закон» развития русского производства, нужно брать во внимание все русское производство в его целом, а не отдельные его части. Почему же г. В. В. строит свой вывод лишь на данных, относящихся к «фабрикам и заводам, не обложенным акцизом»? Этого не знаем ни мы, ни, вероятно, г. Тихомиров, повторяющий чужие слова без надлежащей критики. А между тем, пока этот вопрос остается без ответа, найденный

* См. «Судьбы капитализма в России», стр. 26—27.

г. В. В. «закон» будет стоять лишь на одной ноге. В истории западноевропейского капитализма можно найти немало примеров «расширения производства не вширь, а вглубь». Во Франции, по словам Моро дэ Жоннеса, общая сумма стоимости продуктов шерстяного производства возросла в период времени от 1811 до 1850 года на 74%, количество употребляемых в нем станков увеличилось почти вдвое, число же занятых им рабочих «уменьшилось на 15 000» *. Доказывает ли это, что число французских рабочих, начиная с 1811 года, «стоит на одной цифре» или даже уменьшается? Нисколько; убыль их в одной отрасли производства возмещается прибылью в других; в четыре десятилетия, предшествующие 1850 году, капитализм, несомненно, вовлек в свой водоворот огромную массу рабочих, хотя, конечно, не доставил им обеспеченного заработка, как в этом хотят уверить читающую публику буржуазные экономисты. Г-ну В. В. нужно было доказать, что подобное же явление не имело места в России, тем более что именно с сороковых годов у нас получили быстрое развитие некоторые производства, обложенные акцизом.

Сделал ли он это? Он не мог этого сделать, потому что приводимые им цифровые данные не годятся ни для каких серьезных выводов; цифры, относящиеся, например, к 1842 году, просто-напросто несоизмеримы с цифрами, относящимися ко второй половине шестидесятых годов: они собирались различными учреждениями, при помощи различных приемов и потому имеют неодинаковую степень достоверности. До 1866 года в основании статистических исчислений лежали преимущественно сведения министерства финансов, доставляемые самими фабрикантами и большею частью очень неточные. До 1861 года заводы, обложенные акцизом, вовсе не входили в счет. И, наконец, только в 1866 году, благодаря стараниям центрального статистического комитета, получаются уже более точные цифры. Г-н В. В. поступил бы осторожнее, если бы совсем не строил никаких законов на шатком основании такой «статистики». Но, не говоря уже об этом, приводимые им цифры не сходятся с данными центрального статистического комитета, т. е. единственными данными, заслуживающими хоть некоторого доверия. По сведениям этого комитета, общая цифра рабочих, занятых «мануфактурной промышленностью» в Европейской России (не считая Царства Польского и Финляндии), равнялась *829 573*. По различным же группам производства она распределялась следующим образом:

* «Statistique de l'industrie de la France», p. 34. [«Статистика французской промышленности», стр. 34.]

		Рабочих
По обработке	волокн. веществ	294.866
» »	дерева	14.639
» »	животных продуктов	38.757
» »	минеральных продуктов	49.332
» »	металлов	128.058
» »	химических произв.	13.628
» »	табаку	26.116
» »	питательных продуктов	262.026
» »	разных производств	3.052*

«О чем поют эти цифры»? — спросим мы словами г. В. В. Прежде всего о том, что даже в производствах, не обложенных акцизом, число рабочих было в 1866 г. гораздо выше той цифры, которая должна была свидетельствовать в пользу его «закона».

Но и эти цифры неточны, и они ниже действительности. В прибавлении к главе о мануфактурной промышленности гг. издатели «Военно-Статистического Сборника» сознаются, что «в указателе к выставке (1870 года) и в атласе Тимирязева» они «встретили много фабрик и заводов, которых не оказывалось в прежних источниках». Страницы 913—914 «Сборника», напечатанные мелким, крайне убористым шрифтом, целиком заняты перечислением таких фабрик. В этом новом списке упоминаются лишь такие предприятия, производство которых не ниже 25 000 рублей, большая же часть его говорит о фабриках, производство которых превышает 100 000 р. с. Но и атлас г. Тимирязева был не полон. По заявлению г. Скальковского, основанному на словах «многих фабрикантов», помещенные в этом атласе цифры «оказываются все-таки далекими от истины» даже после поправок, сделанных в них гг. Алафузовым и Александровым **.

И это совершенно понятно. Именно с 1842 года, т. е. со времени разрешения свободного вывоза машин из Англии, многие «не обложенные акцизом отрасли нашего производства получили сильное развитие и «вширь» и «вглубь». С этих пор, например, только и начинают развиваться наши бумагопрядильни. Этому развитию «отчасти содействовало и то, что в 1841 году... у нас была возвышена пошлина на привозную пряжу». И хотя пошлина эта была отменена в 1850 году, тем не менее успех русского бумагопрядения был уже обеспечен, собственная пряжа стала все более и более вытеснять привозную. Какой переворот произошел в нашей бумажной фабрикации в какие-нибудь сорок лет, о том можно судить из следующих цифр:

В 1824—1825 гг. было привезено	74 268	п.	сырца
	2.400 000	»	пряжи
» 1844 г. » »	590 000	»	сырца
	600 000	»	пряжи
» 1867 г. » »	3.394 000	»	сырца
	186 804	»	пряжи

* См. «Военно-Статистический Сборник», выпуск IV, Россия, СПБ 1871 г., стр. 322—325.

** См. «Стенографический отчет заседаний 3-го отделения первого всероссийского съезда фабрикантов, заводчиков» и т. д., стр. 37.

А что этот «переворот» вызван был расширением нашей капиталистической промышленности после 1842 г., между прочим, и «вширь», видно из того обстоятельства, что многие ткацкие, бумажные и другие фабрики датируют у нас с очень недавнего времени. «Развитие бумагопрядения отразилось и в дальнейшей обработке бумажной пряжи. Ткацкие крестьянские станки из тесных изб мало-помалу начали переходить в просторные светелки с 10 и более станами, на которых *работали*, кроме хозяина, и *наемные люди*. ...Наконец, получили совершенно новый вид белильное, красильное и набивное производства. *Из домашних и ремесленных заведений по этим частям образовались настоящие фабрики*, из которых некоторые в короткое время сравнялись с заграничными» *. В «одном из наименее промышленных уездов Московской губернии», именно Клинском, по словам г. Эрисмана, «наибольшее число существующих теперь мелких ткацких фабрик было основано в конце 60-х и начале 70-х годов. Бумагопрядильня Балина и Макарова (432 рабочих обоего пола) была основана в 1840 году; самоткацкая бумажная фабрика Каулена, Капустина и Красногорова (776 чел. обоего пола) — в 1849 году; шелкоткацкая и ковровая фабрика Фландепа (275 раб.) — в 1856 году; самоткацкая бумажная фабрика Кашаева (от 500 до 700 раб.) — в 1864 году. Спичечное производство получило свое начало в 1863 году устройством первого завода Захарова (на 2 его завода 90 чел.; на зав. Штрама 60). Приблизительно в то же время значительно расширилась начавшаяся уже выделка опоек устройством нескольких новых заводов в Стешине. Что касается развития фабричной промышленности в уезде в течение 70-х годов, то о ней можно судить по следующим цифрам, показывающим число *тех из осмотренных нами* фабрик и заводов, которые заведомо устроены *после 1871 года*:

Ткацких фабрик	16
Отбельных и красильных заведений	3
Красильных заведений	3
Кожевенных заводов	3
Зеркальных заведений	6
Сандальная мельница	1
Бахромное заведение	1
Механический завод	1
Паточный завод	1
Картофельно-терочный завод	1
Спичечный завод	1
Химический завод	1
Сапожное заведение	1

* «Военно-Статистич. Сборн.», выпуск IV, стр. 378.

«В действительности число фабричных заведений, основанных после 1871 года, а в особенности количество мелких ткацких фабрик, устроенных в 1870-х годах, значительно больше, нежели здесь показано, так как, во-первых, мы не посетили всех мелких заведений и, следовательно, ничего не можем сказать о времени их основания, во-вторых же — даже в осмотренных нами заведениях мы не всегда получали точные сведения о времени их возникновения.

Кроме того, надобно заметить, что и в настоящее время (1880 г.) в Клинском уезде устраиваются новые фабрики. Так, например, товарищество Кашаева расширяет свое производство, устраивая бумагопрядильную фабрику; Ф. О. Захаров выстроил новый спичечный завод при г. Клине; при сельце Щекине, Троицкой волости, возникло новое грохотоплетное заведение, принадлежащее крестьянину Никифору Павлову; паровой лесопильный завод при Завидовской станции Ник. жел. дороги расширил свое производство; наконец, при Солнечногорской станции устроен завод Фришмака, изготовляющий колесную мазь» *.

«О чем поют» эти факты, заимствованные из экономической жизни одного из наименее промышленных уездов Московской губ.? Ни в каком случае не о том, что число фабричных рабочих «стоит на одной цифре». Скорее всего они поют о том, что наши самобытные писатели употребляют слишком уже самобытные приемы для доказательства русской самобытности. Это — вообще; а г. Тихомирову они напевают о том, что в основе его программы лежит слишком поверхностное знакомство с современным состоянием нашей промышленности. Г-н Тихомиров совершенно ошибается, если серьезно думает, что у нас «количество фабрично-заводских рабочих не превышает 800 000 человек». Для фабрик и заводов Европейской России (не считая, конечно, Царства Польского) число это, по официальным сведениям, действительно «не превышает» указанного г. Тихомировым числа: в 1879 году оно равнялось 711 097, причем сюда *не вошло, однако, число рабочих на винокуренных заводах.* Но г. Тихомиров забыл, что эта «цифра» относится лишь к обрабатывающей промышленности. Он совсем не принял в расчет горнозаводских рабочих. А между тем в горнозаводской промышленности рабочих в том же 1879 году было 282 959 человек, а в следующем, 1880 году число это *увеличилось* почти на десять тысяч. В сумме получается 1 003 143. Но можно ли признать эту цифру точной хоть приблизительно? Не забудем, что это

* «Сборник статистических сведений по Московской губ. Отдел санитарной статистики», т. III, выпуск I, Эрисман, «Исследование фабричных заведений Клинского уезда», Москва 1881 г., стр. 7—8.

официальные цифры, которые собираются нашей администрацией и которым сама эта администрация дает насмешливое название «министерских цифр». Мы уже знаем, что еще издатели «Военно-Статистического Сборника» указывали на то обстоятельство, что получаемые таким образом цифры «бóльшею частью неполны и ниже действительности». На «Первом Всероссийском Съезде фабрикантов, заводчиков и лиц, интересующихся отечественной промышленностью», в заседании 3 отделения Съезда, 29 мая 1870 года, также было констатировано, что «существующий способ собирания статистических сведений о промышленности исключительно путем срочных ведомостей, доставляемых земскою полицией, *до крайности неудовлетворителен*» и что собранные таким образом статистические данные значительно ниже действительности. По мнению Н. С. Ильина, «что у нас *нет статистики* ни промышленной, ни торговой,— это такие известные истины, которые каждый знает» *. Эта неполнота и неточность остаются неоспоримым фактом и в настоящее время. В цитированном уже исследовании г. Эрисмана мы читаем (стр. 6), что, по собранным им сведениям, «*число рабочих оказалось вдвое больше, нежели оно показано в ведомости исправника*». Это зависит, по его словам, «главным образом от того, что владельцы фабрик и заводов, будучи спрошены официальным путем о количестве рабочих на принадлежащих им заведениях, *почти всегда показывают значительно меньше действительности*». Есть ли какие-нибудь основания думать, что при более точном статистическом исследовании мы не встретили бы того же и в других уездах и губерниях России? А если нет, то ведь и общую сумму фабрично-заводских рабочих нужно будет увеличить почти «вдвое». Что это предположение едва ли грешит преувеличением, видно из прений, имевших место на упомянутом уже «Съезде фабрикантов». По словам г. А. Б. фон Бушена, некоторые из фабрикантов «прямо сознавались ему, что они *наполовину уменьшают действительность*». Г-н Т. С. Морозов, представитель одной из крупнейших в России фирм, сообщил, что «когда полиция собирает сведения, то, например, большой фабрикант велит приказчику: напиши так, как было прошлый год; и доставляются подобные сведения из году в год, штука в штуку, в течение десяти лет, тогда как и количество вырабатываемого материала и число рабочих — все изменилось. Чиновник все пишет, что ему ни скажут; он не знает дела». По словам г. М. П. Сыромятникова, «*есть много примеров*, что уменьшают производительность *вдвое* и не мелкие, но очень солидные производители; *иногда уменьшат* свои

* См. Стенографический отчет заседаний 3-го отделения названного Съезда, стр. 47 и 54.

показания *и в десять раз.* Это факт достоверный». Просим читателей не забывать, что все эти разоблачения делаются самими фабрикантами, для которых вопрос о такого рода проделках есть все-таки «вопрос деликатный». Что же нам думать о писателях, не только строящих свои социально-политические теории на данных, неточность которых очевидна a priori, но продолжающих утверждать, что «число фабричных рабочих стоит на одной цифре», даже после того, как сами фабриканты объяснили им весьма несложную причину этого явления? В лучшем случае мы должны признать, что эти писатели не знают предмета, о котором рассуждают!

Но зачем же прибегают фабриканты к указанным хитростям? «Большая часть,— отвечает г. фон Бушен,— показывает неправду умышленно, из боязни обложения какими-нибудь сборами... некоторые прямо заявляли, что некоторые земства облагают фабрики налогами пропорционально числу *станков, рабочих* и т. п., следовательно, есть прямой расчет показывать меньше». Когда являются собиратели статистических сведений, «заводчик говорит — да они, вероятно, от земства, должно быть, хотят обложить каким-нибудь сбором по числу рабочих, и делает распоряжение, чтобы показали рабочих вдвое меньше» *.

Отсюда мы с ясностью видим, каким образом для русской буржуазии оказывается выгодной уверенность наших революционеров в ее экономическом бессилии. Опасаясь подоходного налога и всяких других напастей на свои капиталы, наши «частные предприниматели» всеми силами стараются скрыть действительные размеры своего производства. Наши революционеры с поразительною наивностью принимают их охи и вздохи за чистую монету, ни на минуту не сомневаются в точности выставляемых ими данных, строят на них целые теории о «соотношении сил на русской почве» и распространяют в нашей молодежи ошибочное представление о формах эксплуатации русского народа. Но именно тем самым наши революционеры играют в руку «рыцарей первоначального накопления» и капиталистического производства.

Впрочем, несправедливо было бы обвинять «Вестник Народной Воли» в распространении таких ошибочных понятий. Главная вина «Вестника» заключается в том, что он постоянно противоречит себе, что, по евангельскому выражению, правая рука его не ведает о том, что творит левая. Г-н Тихомиров уверяет читателей в том, что русская «промышленность развивается туго». В статье же «Положение рудокопов и заводских рабочих на Урале», написанной «*по личным наблюдениям*» и помещенной

* Ibid., стр. 31. [Там же, стр. 31.]

в том же 2 № «Вестн. Нар. Воли», мы встречаем совершенно противоположное. Автор этой статьи «уверен», что если его читатели видели когда-нибудь «разные локомотивы, сеялки, веялки и пр. и пр. крупные машины, сделанные у нас в России, нашими рабочими», то у многих из них, читателей «Вестника», вырывалось следующее восклицание: «Каково!! Да, да, чорт дери! * Россия исполинскими шагами идет вперед! Ведь еще, так сказать, вчера в России ничего не могли по этой части сделать не только хорошо, но даже мало-мальски сносно... Ведь еще каких-нибудь 50 лет назад у нас считалось чуть ли не десять заводов на всю Россию, а теперь? теперь на одном Урале одних железоделательных считается чуть ли не 200, а сколько в Петербурге, в Москве и пр. пр. Да это еще что, дайте нам только свободу... В каких-нибудь 10—15 лет после этого число заводов у нас удвоилось бы, и самое производство, техника улучшилась бы» и т. д. Автор статьи думает, что это несколько растянутое «восклицание» выражает действительное положение дел «верно». По его словам,— а его слова основываются, как мы знаем, на «личных наблюдениях» — мы «в последнее время в этом (т. е. в промышленном) отношении сделали громадные успехи: число заводов все увеличивается, техника улучшается (вот тебе и «развивается туго»!). Последняя наша выставка [1] показала, что некоторые наши металлические заводы стоят почти наравне с лучшими заводами Европы» **. Извольте разобраться во всей этой путанице! Кому верить: г. Тихомирову или человеку, «лично наблюдавшему» развитие нашей промышленности? В довершение курьеза заметим, что когда этому последнему «приходится читать» написанные не по личным наблюдениям «статьи какого-нибудь нашего ученого или неученого писателя о положении наших рабочих, то, кроме горького смеха», они в нем «ничего не вызывают». Воображаю, как мефистофелевски расхохотался он, прочитавши сообщение г. Тихомирова о «тугом» развитии нашей промышленности!

Но оставим *экономические противоречия* «Вестника Народной Воли» и возвратимся к г. Тихомирову: в настоящее время часть интересует нас больше целого.

Мы показали нашему автору, что сообщенные им данные не соответствуют даже «официальной правде». Мы привели, кроме того, данные, на основании которых можно быть уверенным, что эта «официальная правда», в свою очередь, не соответствует действительности. Теперь мы скажем ему, что он просто-напросто не умеет обращаться даже с теми неверными статисти-

---

* Само собою разумеется, что мы не отвечаем за красоту слога цитируемого нами автора.

** «В. Н. В.» № 2, стр. 155—156.

ческими цифрами, какие находятся в его распоряжении, так как оперирует с величинами, совершенно несоизмеримыми. По его словам, в нашей «стране на 100 миллионов жителей приходится 800 000 рабочих, объединенных капиталом» — отношение весьма неблагоприятное для нашей промышленности. Но цифра 100 000 000 (точнее — 101 342 242) выражает собою население всей империи, т. е. не только Европейской России (76 589 965), но Царства Польского (7 319 980), Финляндии (2 060 782), Кавказа с Карской и Батумской областями (6 254 966), Сибири (3 965 192), Средней Азии (5 151 354). Количество же рабочих указано г. Тихомировым на основании полицейских данных, относящихся только к одной Европейской России, и притом исключительно к одной «мануфактурной промышленности». Что сказать о таких приемах сравнительного статистического исследования?

3. КУСТАРИ

Но это не все. Приводя свои цифры, он имеет в виду рабочих, «объединенных капиталом», находящихся «в более или менее значительной зависимости от буржуазии» и т. д. Знает ли он, что число таких рабочих гораздо выше вероятного числа фабрично-заводских рабочих, собственно так называемых? В этой зависимости находится огромное число кустарей, утративших почти всякую самостоятельность и очень успешно «объединяемых» капиталом. На это обстоятельство было указано уже в «Военно-Статистическом Сборнике», вышедшем в 1871 году. Более новые исследования вполне подтверждают эти указания. Так, например, от г. В. С. Пругавина мы узнаем, что «*в одной* Московской губернии количество ткачей-кустарников простирается до 50 000 человек. Между тем из всего громадного ткацкого района Московской губернии на выставку явилось в качестве экспонентов *всего лишь 12 кустарей*... Причина этого факта заключается главным образом в том, что *громадная масса ткачей-кустарников работает не на себя*, а на более или менее крупных хозяев, которые раздают крестьянам на дома сырой материал производства. Словом, *в ткацких промыслах господствует домашняя система крупного производства*»*. Во Владимирской губернии «чрезвычайно разнообразные» ткацкие промыслы играют в высшей степени важную роль в экономической жизни населения. В *одной* бывшей Опаринской *волости*, Александровского уезда, одним шерстя-

* *В. С. Пругавин*, «Кустарь на выставке 1882 года», Москва 1882 г., стр. 9.

ным производством «занято 22 селения, в которых работает 1296 человек». Стоимость ежегодно производимого кустарями продукта — 155 000 рублей. Что же, находятся эти кустари вне более или менее полной зависимости от буржуазии? К сожалению, нет. «Обращаясь к экономике промысла, мы встречаем здесь прежде всего тот факт, что масса кустарей лишена самостоятельного кустарного хозяйства и работает на мастеров или фабрикантов». Дело зашло в этом отношении так далеко, что «в производстве краски, где самостоятельный кустарь получает в 1½ раза больше, чем зависимый промышленник, *число работающих на себя производителей равно лишь 9% общего числа кустарей»* *.

Что шерстяное кустарное производство стало уже на «путь естественного движения» капитализма — видно как из самой «экономики» этого промысла, так и из неравенства, создаваемого им в среде крестьян. «Шерстяной промысел, с его резкими переходами от полного застоя к оживлению во время войны, познакомил их (кустарей), по крайней мере более крупных производителей, с промышленной спекуляцией, со всеми прелестями ажиотажа, с быстрым обогащением и еще более быстрыми крахами... Разбогатевшие фабриканты ** прежде всего торопятся воздвигнуть палаты по 9—15 окон в каждом этаже. В деревне Корытцеве такие дома составляют половину. В Опаринском округе при виде каменного или вообще большого дома вы можете быть уверены, что здесь живет мастерок-фабрикант» ***.

Наибольшее развитие во Владимирской губ. получил бумаготкацкий промысел. «В одном Покровском уезде работает более 7000 ткацких станков, вырабатывающих ежегодно товара на 2½ милл. руб. В Александровском уезде бумажное производство охватило 120 селений, в которых работает слишком 3000 ткацких станков». Но и здесь обнаруживается указанный выше процесс превращения кустарного промысла в капиталистическую систему крупного производства. «Интересно проследить,— говорит г. В. С. Пругавин,— в рассматриваемом промысле постепенный процесс перехода мелкой кустарной формы производства в крупную, самоткацкую. Между этими двумя экономическими формами производства существует много переходных; говорить о них — значит рассматривать постепенный процесс капитализации кустарного ткачества. В Покровском уезде мы встречаем, например, в бумажном производстве всевозможные формы промышленных единиц. Господствующей

* Ibid., стр. 10. [Там же, стр. 10.]
** Просим заметить, что они выходят из тех же крестьян.
*** Ibid., стр. 11. [Там же, стр. 11.]

формой является до сих пор кустарная изба. В настоящее время в Покровском уезде работает на домах 4903 станка, а на самоткацких — 3200 станков. Переходными же ступенями являются светелки, в которых сосредоточены 2330 станов и которые от 6—10 станов достигают размеров настоящих фабрик — в 100 и более станов. На таких крупных ручных светелках зависимость ткача от фабриканта выражается резче, чистый заработок кустаря меньше, условия работы менее благоприятны, чем в мелких промышленных единицах. Еще шаг — и мы в области самоткацкого производства, где кустарь-ткач уже окончательно превратился в деятельного рабочего. *Число крупных светелок в Покровском уезде постоянно возрастает, и часть их в самое последнее время уже перешла к самоткацкой работе.* Число мелких самостоятельных ткачей-кустарников очень ограничено. В Александровском уезде *их совсем нет.* В Покровском уезде число их не превышает 50 чел. Хотя крупные светелки по существу ничем не отличаются от мелких, тем не менее большие размеры этих светелок и постоянное возрастание их в количественном отношении несомненно указывают на тенденцию и постепенное фактическое приближение чисто кустарной формы бумаготкацкого производства к форме крупной, фабричной, к типу капиталистической организации народного труда»*.

Перейдем к другим уездам той же Владимирской губернии.

«Экономическая организация бумажного ткачества в Юрьевском уезде,— читаем мы в другом труде того же В. С. Пругавина,— в общем сходна с той, которую мы наблюдали в Александровском и Покровском уездах. Как в двух раньше рассмотренных нами уездах, экономические условия бумажного производства вылились здесь в форму домашней системы крупного производства... 98,95% всего производимого в Юрьевском уезде бумажного товара вырабатывается путем домашней системы *крупного производства*, и только 1,05% приходится на долю»... вы думаете самостоятельных кустарей? Нет, «на долю мелких самостоятельных фабрикантов» **.

Вообще во всей северо-западной части Владимирской губернии «прядильные и ткацкие фабрики заняли собою почти все свободные руки, и народонаселение здешнее почти все обратилось в фабричных рабочих, так что мелкие ручные производства здесь представляются не более, как *последними остатками* некогда сильной кустарной промышленности.

* Ibid., стр. 13. [Там же, стр. 13.]

** Общее количество станов в Юрьевском уезде равняется 5 690, из них на крупных хозяев работает 5 630, на мелких фабрикантов — 60. Что остается на долю самостоятельных производителей? См. «Сельская община, кустарные промыслы и земледельческое хозяйство Юрьевского уезда, Влад. губ.», Москва 1884, стр. 60—61.

Конечно, обладание землей еще сохранило крестьянину этого края *некоторые* черты земледельца, в особенности в тех местностях, где земля плодородна, но его подчинение капиталу едва ли слабее, чем и всякого бездомного фабричного рабочего... Многие чистые кустарники, при всей своей кажущейся самостоятельности в производстве, вполне зависят от перекупщиков, которые в сущности являются фабрикантами-заказчиками, только без фирм»*.

В Шуйском бумаготкацком округе еще в конце шестидесятых и начале семидесятых годов, «с открытием новых механических ткацких заведений, сельское население очень быстро начало стягиваться на большие фабрики и переходить в чисто фабричный класс рабочих. Таким образом, сельский труд ткачей окончательно утрачивает и ту последнюю тень самостоятельности, какою он пользовался при работе в «светелке», этих низких, смрадных сараях, уставленных станами и битком набитых рабочими обоего пола и возраста»**.

Ошибочно было бы думать, что указанные факты имеют место *лишь* в Московской и Владимирской губерниях. В Ярославской губернии мы видим совершенно то же самое. Еще Н.Ф. Штукенберг в своем «Описании Ярославской губернии»*** говорил о ткачах села Великого, которых он насчитывал 10 000 человек, как о самостоятельных производителях. Он писал этот очерк на основании данных М. В. Дел, относившихся к сороковым годам. В то время и «до 1850 года полотняное производство в селе Великом носило чисто крестьянский, кустарный характер. Каждая крестьянская изба была полотняною фабрикою. Но в 1850 году *крестьянин* этого села Лакалов устроил ткацкие станки и стал скупать в Тульской губ. пряжу, часть которой отдавал для тканья крестьянам. Примеру Лакалова последовали многие другие, и таким образом стали образовываться полотняные фабрики. На Великосельских фабриках ежегодно раздавалось крестьянам, не только своим, но и костромским и владимирским, пряжи до 30 000 пуд. В одном с. Великом выделывалось крестьянами в 1867 году до 100 000 кусков... За несколько лет назад в с. Великом полотняным производством занимались только женщины, но теперь, с введением самолетов (усовершенствованных ткацких станков), ткачество сделалось почти исключительно принадлежностью мужчин и

* См. «Статистический Временник Российской Империи», выпуск III, Материалы для изучения кустарной промышленности и ручного труда в России, СПБ 1872, стр. 198.

** Ibid., стр. 200. [Там же, стр. 200.]

*** Статистические труды Штукенберга, статья X, «Описание Ярославской губ.», СПБ 1858.

мальчиков, начиная с 10 лет» *. Эта последняя перемена означает, что ткачеству отведена уже более важная роль при распределении занятий между членами крестьянской семьи. И действительно. Льнопрядение и тканье полотен составляют теперь «главный промысел крестьян в местности, окружающей село Великое». Какую роль играет *фабрика* в *кустарном* ткачестве крестьян, видно из того обстоятельства, что «с развитием в этой местности льнопрядильных и льнотрепальных фабрик, равно как и заводов для беления полотен химическим способом, льняная промышленность развивается там с каждым годом» **.

В Костромской губернии льнопрядение и ткачество доставляли и доставляют «заработки крестьянам обоего пола, в особенности в селениях Кинешемского, Нерехотского, Костромского и Юрьевецкого уездов». Но и здесь беда в том, что «с развитием льнопрядильных фабрик выделка льняных изделий из домашней пряжи почти совсем упала в крае, так как крестьяне убедились в невозможности соперничать с фабричным приготовлением пряжи и стали тщательнее обделывать и продавать самый лен, не превращая его в домашнюю пряжу и *свое* полотно».

Не нужно забывать, что домашнее ткачество давало иногда занятие целой крестьянской семье в течение 9 месяцев, т. е. трех четвертей года. Куда же понесет свой труд эта семья теперь, когда «со введением самоткацких машин и механического прядения ручное ткачество и ручная аппретура изделий уменьшились более чем наполовину»? Понятно — куда. «Крестьяне предпочитают работу на ближайших фабриках домашнему производству ткацких изделий»***.

Некоторые отрасли кустарного производства Калужской губернии, повидимому, составляют исключение из общего, указываемого нами, правила. Там крестьянские ткацкие побивают большие купеческие фабрики. Так, например, ленточное и тесемочное производства «возникли в Малоярославском уезде с учреждением в 1804 г. бумажно-тесемочной фабрики к. Малютина, производство которой с 20 000 руб. достигло в 1820 г. до 140 000 руб., по случаю устройства мельничных станков Рошэ, на которых 1 работник может зараз ткать 50 лент или тесемок. Но когда такие же станки стали вводиться и в окрестных крестьянских ткацких, то производство Малютинской фабрики упало в 1860 г. до 24 000 р., и наконец эта фабрика совсем закрылась». Наши самобытники умозаключат отсюда, что русскому кустарю не страшна конкуренция капиталиста. Но такое умозаключение будет столь же легкомысленным, как

* См. цитированный уже выпуск «Временника», стр. 149—150.

** См. «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства», прил. I, отд. II, стр. 166.

*** Ibid., стр. 170—171. [Там же, стр. 170—171.]

и все прочие их попытки установления тех или других экономических «законов». Во-первых, если бы над Малютинской фабрикой и действительно восторжествовал самостоятельный кустарь, то нужно было бы еще доказать, что торжество это может быть продолжительным. История ткацкого промысла той же губернии дает сильный повод к сомнению. Открытая в 1830 г. первая бумаготкацкая фабрика в имении П. М. Губина также не могла выдержать конкуренции деревенских производителей, и кустарный промысел процветал до 1858 г. Но «с этого времени стали вводиться *механические* самоткацкие фабрики, с паровыми двигателями, которые, в свою очередь, начали вытеснять ручной ткацкий труд. Так, в Медынском уезде работало прежде до 15 000 ручных станков, в настоящее же время работает только 3 000» *. Кто поручится нам, что и в области тесемочного и ленточного производства новые улучшения техники не перетянут чашки весов на сторону крупных капиталистов? Ведь прогресс промышленности неизменно сопровождается относительным возрастанием постоянной части капитала, в высшей степени гибельным для мелких производителей. Кроме того, большой ошибкой было бы думать, что в приведенных нами случаях борьба шла между самостоятельными производителями, с одной стороны, и капиталистами — с другой. Губинскую фабрику подорвали не самостоятельные производители, а «наибольшие ткацкие заведения в крестьянских избах», тотчас понизившие «*задельную фабричную плату*». Борьба шла между крупным и мелким капиталом, причем этот последний восторжествовал путем увеличения эксплуатации трудящихся. То же самое было и в тесемочно-ленточном производстве. Станки Рошэ приобретались «мастерками», а не самостоятельными кустарями. Ткач, ленточник и тесемочник все более и более утрачивают всякую тень самостоятельности, так что им приходится выбирать лишь между местным фабрикантом и «мастерками», которые «берут основу у московских фабрикантов, ткут из нее материю на своей домашней фабрике за *поаршинную плату* или раздают для этого другим крестьянам и затем отправляют готовую работу к фабриканту». Многие из этих мастерков ведут довольно крупное, по-своему, дело и превращаются в настоящих «фабрикантов». В Малоярославском уезде 2 бумаготкацкие «кустарные фабрики» занимают до 40 рабочих; 5 бумаготесемочных крестьянских фабрик в Овчининской и Неделинской волостях имеют 145 станков при 163 рабочих; бумаголенточная фабрика в Овчининской волости — 7 станков и 8 рабочих и т. д. **. В Московской губернии в «кустарном» парчевом

* «Доклад» и т. д., отдел II, стр. 158—159.
** «Доклад», отд. II, стр. 158—159.

производстве существуют «крестьянские парчевые фабрики с оборотом на сотни тысяч рублей» *.

«О чем поют эти цифры» и факты? Г. Пругавина они убедили в том, что «кустарное ткачество фатальным образом, хотя и медленно, переходит в крупную форму производства». Но можно ли ограничить этот вывод одним ткачеством? Увы! Есть немало других отраслей кустарного производства, в которых только слепой не заметит того же самого процесса.

Вот перед нами башмачный промысел Александровского уезда Влад. губ. В этом промысле «значительные размеры основного и оборотного капитала и ничтожная роль мелких мастерских в производстве, строго проведенное в крупных заведениях детальное разделение труда и незначительные размеры затрат из общей суммы оборота на покупку труда — все это с поразительною ясностью свидетельствует, что мы имеем дело с производством, которое переходит из стадии ремесла на степень мануфактуры» **.

А вот кустари-кожевники, которые «все более уменьшаются в числе», и причиною этого уменьшения является конкуренция со стороны крупных заводов. «Заводы благодаря лучшим условиям, как материальным, так и техническим, имеют возможность работать лучше и дешевле кустарей. Не подлежит никакому сомнению, что кустарям-кожевникам трудно устоять перед конкуренцией заводского производства, более удовлетворяющего потребностям времени».

Вот, наконец, производство картофельного крахмала и патоки. В Московской губернии «промысел этот сосредоточивается в 43 селениях, в которых насчитывается 130 заведений, из них 117 крахмальных и 13 паточных. Здесь нет еще крупных фабрик, какие мы видим в ткацких округах, но кустарное производство и здесь начинает принимать капиталистический характер. В этом промысле весьма видную роль играет наемный труд: так, в 29,8% всех заведений исключительно он представляет рабочую силу, на 59,7% он участвует в производстве наравне с членами хозяйской семьи***, и только 10% обходится почти без его помощи. Причины этого факта кроются в значительной величине основного капитала, непосильного для большинства крестьян».

Кузнечный промысел Новгородской, Тверской и всех тех губерний, в которых он играет сколько-нибудь важную роль в

* «Статистический Временник», вып. 3, стр. 308.

** *В. С. Пругавин*, «Кустарь на выставке», стр. 28.

*** Каково положение работников в этих семьях-предпринимателях, видно из следующих слов г. Эрисмана: «Сын владельца зеркального заведения, будучи нами спрошен, занимается ли он в подводной (т. е. натиранием ртутью зеркальных стекол), ответил: «нет, мы себя не портим», *Эрисман*, Ibid., стр. 200. [Там же, стр. 200.]

крестьянском быту, все мелкое металлическое производство Нижегородской губ. также показывают окончательную потерю всякой самостоятельности производителями *. Кустари не испытали еще здесь конкуренции крупного промышленного капитала, но роль эксплуататора отлично исполняют свой брат-крестьянин или купцы, от которых производители получают сырой материал и которым они передают готовый продукт.

В Нижегородской губернии «есть немало таких местностей, где целые общества живут исключительно ручными произведениями и по условиям жизни мало чем разнятся от фабричных рабочих. Таковы известные селения Павлово, Ворсма, Богородское, Лысково и некоторые волости и селения Семеновского и Балахнинского уездов»**. Рабочие не «объединены» здесь капиталом, но они несомненно *закабалены* ему и составляют, так сказать, иррегулярную армию капитализма. Зачисление их в регулярное войско является лишь делом времени и хозяйского расчета.

Современное положение кустарей так неустойчиво, что часто потеря самостоятельности начинает угрожать производителям единственно вследствие улучшения способов производства. Так, например, кустарь И. Н. Костыльков изобрел четыре машины для производства гребней. Они в весьма значительной степени увеличивают производительность труда и сто́ят, собственно говоря, очень недорого. Тем не менее г. Пругавин выражает весьма справедливое опасение того, что «они произведут весьма крупное изменение в области экономической организации гребенного производства», разумеется, в смысле подрыва самостоятельности производителей. Г-н Пругавин полагает, что следовало бы «прийти в этом случае на помощь массе кустарей-гребенщиков, дать им возможность овладеть машинами на началах коллективизма». Конечно, было бы очень хорошо сделать это; но вопрос в том, *будет* ли это сделано? Нынешние власть предержащие, как известно, очень мало сочувствуют «началам коллективизма», а мы решительно не знаем — скоро ли у нас будут власти, симпатизирующие таким началам, скоро ли, например, у кормила правления станет «партия Народной Воли», которая положила бы «начало социалистической организации России». А пока эта партия будет лишь толковать о захвате власти, дело может измениться только в худшую сторону: нынешние кандидаты в пролетарии завтра могут совсем стать таковыми. Можно ли игнорировать этот факт при изуче-

* См. статью о «Кузнечном промысле в Уломской волости, Череповецкого уезда, Новгородской губ.», в цитированном уже «Докладе».
** «Статистич. Врем. Российской Империи», вып. 3, стр. 83.

нии экономических отношений современной России? Число кустарей равняется у нас нескольким *миллионам*, и многие отрасли кустарного промысла частью переходят, частью совсем уже перешли в домашнюю систему крупного производства. По сведениям, собранным еще за 1864 год, «приблизительное число рабочих, занятых по деревням выделкою бумажных изделий из пряжи на счет фабрикантов (только одних таких рабочих!), было 350 000 человек». Говорить после этого, что число наших промышленных рабочих не превышает 800 000,— значит изучать Россию лишь с помощью статистических упражнений письмоводителей, становых приставов и квартальных надзирателей.

4. КУСТАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

До сих пор наши кустари остаются еще крестьянами. Но какие это крестьяне! Из так называемого подспорного промысла кустарное производство превратилось во многих местах в главную доходную статью крестьянина. Это ставит земледелие в зависимое, подчиненное положение. На нем отражаются все колебания нашей промышленности, все перипетии ее развития. По словам того же г. Пругавина, *«расстройство крестьянского хозяйства»* ткачей Владимирской губернии является неизбежным следствием наших промышленных кризисов. При такой зависимости земледелия от промышленного труда не нужно быть пророком, чтобы предсказать время окончательного падения крестьянского хозяйства ткачей: оно совпадает с переходом «домашней системы крупного производства» в систему фабричную. Прежний кустарь должен будет бросить одну часть своих занятий, чтобы не лишиться их обеих. И он, конечно, предпочтет бросить землю, которая в промышленной полосе России далеко не оплачивает лежащих на ней податей и повинностей. Факты отказа крестьян от земледелия и теперь уже имеют место.

По словам г. А. Исаева, упомянутое выше село Великое «давно уже перестало быть деревней. Из всего числа домохозяев (до 700) только 10—15 обрабатывают землю, большинство же не умеет владеть ни сохой, ни даже косой... Эти 10—15 домохозяев и крестьяне ближайших к Великому селений арендуют у великоселов всю общественную землю с платою 1 руб. за десятину пашни (при такой высоте «поземельной ренты» нетрудно и совсем отказаться от земли, заметим мы мимоходом). Низкому уровню хлебопашества вполне соответствует и положение скотоводства: едва на 3 двора приходится 1 корова и 1 лошадь... Великосел утратил облик крестьянина».

Да и в одном ли селе Великом мы можем наблюдать процесс этой утраты? Еще «Военно-Статистический Сборник» констатировал тот факт, что хлопчатобумажная кустарная промышленность «во многих местах есть занятие побочное; но есть местности, где оно является главным и даже единственным»*. Точно так же «сапожничество служит теперь главным средством существования для кимрских крестьян и отодвинуло земледелие на второй план. В Кимрском районе обращают внимание исследователя много запущенных полос земли; упадок земледелия невольно бросается в глаза»,— сообщает нам г. Пругавин. Как истый народник, он утешает себя тем соображением, что «в данном случае следует винить не столько самый промысел, сколько те неблагоприятные условия, в каких находится земледельческий труд», и что большинство кустарей «*еще не окончательно* бросило землю». Но, во-первых, цитированный уже «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства» показывает, вопреки г. Пругавину, что именно большинство кимрских крестьян «бросило землю» окончательно**, а во-вторых, все сказанное им по этому поводу представляет собою довольно сомнительное утешение. Кем бы и чем бы ни было вызвано падение земледелия, оно представляет собою существующий факт, благодаря которому многие кустари могут скоро совсем вырваться из-под «власти земли». Конечно, теперь еще можно было бы замедлить этот процесс, поставивши земледелие в лучшие условия. Но здесь опять-таки является вопрос — кто же поставит его в эти условия? Существующее правительство? Оно не хочет. Революционная партия? Она еще не может. А до тех пор, пока солнце взойдет, роса очи выест, пока наши революционеры будут иметь силу для осуществления своих реформаторских планов, от крестьянского земледелия многих местностей может остаться лишь одно воспоминание.

Упадок земледелия и разложение старых «устоев» крестьянского мира представляют собою неизбежное следствие развития кустарного производства, конечно при настоящих, *действительных*, а не при тех *возможных* условиях, которыми утешаются наши Маниловы и которые неизвестно еще когда будут. Так, например, в Московской губ. «частые сношения (кустарей) с московским торговым миром действуют разлагающим

* Стр. 384.

** «В этом селении всех крестьянских и бобыльских дворов считается до 670, и только не более 70 домохозяев занимается хлебопашеством, пользуясь всею принадлежащею селению землею» (сапожным промыслом они уже не занимаются). «Доклад», отд. II, стр. 153. Сведения эти сообщены «старшиною и крестьянами Кимрской волости».

образом на обычно-правовые отношения. Мир совершенно не вступается в семейные разделы, а вершит их старшина или волостной суд «*по закону*», детей отец делит *по завещанию*... после смерти мужа бездетная вдова лишается недвижимой собственности (дома), которая переходит к родственникам мужского поколения, а сама получает $^1/_7$ часть»*. Каким образом тот же кустарный промысел, дойдя до известной степени развития, стремится подорвать земледелие, видно из примера крахмально-паточного производства. «Характерным фактом в районе рассматриваемого промысла является *крайне неравномерное распределение между домохозяевами надельной земли*... Так, в деревне Цибино, Бронницкого уезда, 44,5% всей земли, нарезанной на 166 домохозяев, находятся в руках всего только 18 заводчиков (из *крестьян*), причем на каждого из них приходится по 10,7 душевых наделов, между тем как 52 исправных домохозяина владеют всего 172 душевыми наделами, или по 3,3 надела на двор. Понятно, что, чем более будет увеличиваться доходность промысла... тем более будет у заводчиков побуждений захватывать в свои руки по возможности большее количество земли, и весьма возможно, что и те 35 домохозяев, которые обрабатывают теперь свои наделы наймом, при повысившихся арендных ценах найдут более выгодным отказаться от обработки своих наделов и передадут их заводчикам. Совершенно те же явления встречаются и в других селениях, в которых более или менее развит крахмально-паточный промысел».

5. КУСТАРЬ И ФАБРИКА

Но довольно, мы не пишем исследование о кустарной промышленности в России. Мы хотим лишь указать на бесспорные факты, самым неотразимым образом свидетельствующие о переходном состоянии нашего народного хозяйства. В то время как люди, сделавшие из защиты народных интересов главную цель своей жизни, закрывают глаза на самые многознаменательные явления, капитализм идет своей дорогой, выбивает самостоятельных производителей из их непрочных позиций и создает в России армию рабочих тем же самым испытанным способом, какой уже практиковался им «на Западе». «С экспроприацией прежде самостоятельных крестьян и отнятием у них средств производства идет уничтожение сельских побочных промыслов, процесс отделения мануфактуры от земледелия. Однако, собственно мануфактурный период не ведет еще ни

* *Пругавин*, «Кустарь на выставке».

к каким радикальным преобразованиям. Нужно помнить, что мануфактура лишь понемногу овладевает национальным производством и что в ее основании лежат городские ремесла и сельские домашние, побочные промыслы. Если в известных пунктах, в известных отраслях производства, она уничтожает эти последние, то она *вызывает их к существованию в другом месте*, потому что она нуждается в них для обработки сырого материала... Она *создает*, поэтому, новый класс мелких сельских производителей, который занимается земледелием, как побочной отраслью, главным же образом занят промышленным трудом, произведения которого прямо или через посредство купцов продает мануфактурам... Только крупная промышленность с ее машинами дает капиталистическому земледелию прочную основу, окончательно экспроприирует огромное большинство сельского люда и заканчивает отделение земледелия от сельской домашней промышленности»*. Мы переживаем в настоящее время именно этот процесс постепенного охватыванья нашей национальной промышленности мануфактурой. И именно этот процесс «*вызывания к существованию*» или, по крайней мере, временного оживления многих отраслей мелкой кустарной промышленности дает г. В. В. et cons. возможность с кажущимся успехом доказывать, что у нас не имеет места «капитализация кустарного промысла»**. Ничтожная плата, за которую кустари продают свой труд, несколько замедляет переход к крупной машинной индустрии. Но как в этом явлении, так и в его несомненных последствиях нет и не может быть ничего *самобытного*. «Удешевление рабочей силы посредством

* «Das Kapital», 2. Aufl., S. 779—780. [«Капитал», 2 изд., стр. 779—780.]

** Каким образом совершается указанный процесс, понятно для всякого, усвоившего сущность домашней системы крупного производства. На всякий случай приводим пояснительные факты. «Ситцевые фабриканты набивают обыкновенно или чужие ткани по заказу посторонних лиц, или свой собственный товар, закупив пряжу и отдавая ее для ткачества по разным местам». Успешное ведение дел ситцевыми фабрикантами должно вести к усилению раздачи пряжи «по разным местам, а следовательно, и к развитию мелкой кустарной промышленности. Кустарное хлопковое производство достигло обширного развития *при участии многих купцов капиталистов*, которые, закупив бумажную пряжу, либо снуют ее в своих заведениях и потом отпускают ткачам, либо, не снованную, передают мастерам, которые, занимаясь одним только снованием и раздачею пряжи по деревням, служат посредниками между капиталистами и ткачами», «Военно-Статистический Сборник», вып. IV, стр. 381 и 384—385. Фирма «Саввы Морозова сыновья», занимающая 18 310 постоянных рабочих, имеет их, кроме того, 7 490 «на стороне». Эти «сторонние» рабочие суть не что иное, как кустари, обязанные своим существованием крупной промышленности. Такого рода факты, стоящие к капитализму в самом недвусмысленном отношении, умиляют тем не менее народников до забвения простейших истин политической экономии.

простого злоупотребления трудом женщин и малолетних, простого хищничества по отношению ко всем нормальным условиям труда и жизни, равно как и основывающееся на этом удешевление товаров и вообще капиталистическая эксплуатация,— наталкивается, наконец, на известные, неустранимые более естественные пределы. Как скоро достигнут этот пункт... бьет час введения машин и быстрого превращения изолированной домашней работы (или также мануфактуры) в фабричное производство»*. Мы видели, что этот час пробил уже для уездов Шуйского бумаготкацкого округа. Скоро пробьет он и в других промышленных местностях. Раздача работы «на дома» выгодна для капиталистов лишь до тех пор, пока промышленный труд является побочным, подспорным занятием кустаря. Доход от земледелия позволяет работнику довольствоваться невероятно низкою платою. Но как только прекращается этот доход, как только хлебопашество окончательно вытесняется промышленным трудом, капиталисту приходится довести заработную плату до уровня знаменитого минимума потребностей трудящегося. Тогда ему становится выгоднее эксплуатировать рабочих на фабрике, где самая коллективность труда усиливает его производительность. Тогда-то и наступает эра крупной машинной промышленности.

Бумагопрядильное и ткацкое производства являются, как известно, самыми передовыми отраслями современной капиталистической индустрии. Вот почему в них оказывается уже почти совершенно законченным процесс, еще только начинающийся, а пожалуй, и совсем еще не начавшийся в некоторых других производствах. В то же время явления, имевшие место в наиболее усовершенствованных отраслях промышленности, могут и должны считаться пророческими по отношению к другим ее сферам. Совершившееся там вчера может совершиться здесь сегодня, завтра или вообще в самом недалеком будущем **.

6. УСПЕХИ РУССКОГО КАПИТАЛИЗМА

Г-н Тихомиров не признает успехов русского капитализма. Мы и сами готовы сказать нашей буржуазии: «что делаешь, делай скорей». Но, «к сожалению или к счастью», она не нуждается в понуканиях. Еще г. А. Исаев, возражая на книгу русского «штатс-социалиста», обратил внимание читателей на

* «Kapital», S. 493—494. [«Капитал», стр. 493—494.]

** [Примечание к изданию 1905 г.] Впоследствии эти мои мысли были недурно развиты в некоторых исследованиях г. Туган-Барановского.

нашу обрабатывающую промышленность[1]. По его мнению, недавняя всероссийская выставка может служить лучшим ответом на преждевременные ликования по поводу печальных будто бы «судеб капитализма в России».— «Стоит развернуть класс волокнистых веществ,— говорил он,— от него так и запахнет миллионами. Даже по выделке полотна мы имеем немало фабрик, производящих на 1—1,5 милл. в год. А в классе изделий из хлопчатой бумаги 1 милл. является совершенно ничтожной цифрой. Даниловская мануфактура производит на 1,5 милл. в год, Гюбнер — на 3, Каретниковы — на 5,5, 2 фирмы Барановых — на 11,товарищество Ярославской мануфактуры — на 6 милл., Прохоровых — на 7, Кренгольмской мануфактуры — до 10 милл. и т. д. Сахарные заводы представляют нам также громадное производство на 5,6,8 милл. Даже табачное производство имеет миллионеров своими представителями... А цифры за 1878—1882 гг. показывают нам крупное расширение производства, пошатнувшегося в год русско-турецкой войны». Эти и многие другие факты привели г. Исаева к тому заключению, что «крупное частнокапиталистическое производство в России развивается безостановочно»*. Да и не один г. Исаев держится такого взгляда. Последняя всероссийская выставка убедила г. В. Безобразова, что в нашей промышленности «прогресс истекшего десятилетия (со времени петербургской выставки 1870 года) очевиден; сравнительно с положением дел 25 лет тому назад этот прогресс нашей промышленности — в особенности мануфактурной — громаден: она неузнаваема во многих отношениях... Вместе с улучшением качества наших продуктов нужно отметить еще огромное расширение, замечаемое во всех отраслях нашей промышленности в течение последних 25 лет. Это расширение особенно заметно в последнее десятилетие, со времени окончания кризиса, вызванного уничтожением крепостного права и турецкой войной. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить фактуры наших фабрикантов со сведениями, сообщаемыми последней официальной статистикой нашего министерства финансов. Эта статистика относится к 1877 году. Сравнение цифр мануфактурного производства за 1877 и 1882 годы (цифры последнего по фактурам) показывает страшное увеличение количества продуктов за этот пятилетний период: во многих больших предприятиях оно удвоилось**. Очень большое число фабрик основано в эти последние 5 лет. Первое место принадлежит промышленности,

* «Юридический Вестник», январь 1883 г., ст. «Новости экономической литературы», стр. 102.

** При этом сравнении нужно, конечно, принимать в расчет уже указанную выше неточность и неполноту нашей официальной статистики, на

обрабатывающей волокнистые вещества (шелк, сукна, льняные и бумажные ткани). Наша хлопчатобумажная промышленность получила огромное развитие; некоторые из ее продуктов могут быть поставлены наряду со всем, что есть наиболее совершенного и прекрасного в Европе»*. Эти выводы людей науки вполне подтверждаются цитированным выше корреспондентом «Вестника Народной Воли», лично наблюдавшим «громадные успехи» крупного производства в нашем отечестве. Наконец, то же самое говорят иностранцы, писавшие и пишущие о России. Некоторые отрасли нашей промышленности и теперь уже ставятся ими наряду с западноевропейскими. Таково, например, производство сахара, которое, по словам Ед. де Молинари, стоит «au premier rang de l'industrie de l'Europe»**. В 1877 году русский рафинад явился даже на заграничных рынках, именно во Франции. Наряду с такими фактами стремление и прилив иностранных *производительных* капиталов в страну есть верный признак того, что капитализм встречает в ней удобное поле для своего дальнейшего развития. А мы видим, что иностранные капиталисты с большою нежностью посматривают на Россию и не упускают случая основать в ней новые промышленные предприятия. Какой смысл имело бы это стремление, если бы промышленность действительно развивалась так «туго», как это кажется г. Тихомирову? Но в том-то и дело, что это мнение отстаивается главным образом в интересах доктрины, для торжества которой наши самобытные писатели готовы игнорировать целый ряд фактов самого недвусмысленного характера. «Тугое развитие» свойственно не столько русскому капиталистическому производству, сколько тем из наших революционеров, программы которых никак не могут прийти в соответствие с нашей современной действительностью.

А капиталистическое накопление, обращение денег в стране, кредитные операции? Их успехи поистине громадны. До 1864 года у нас почти совсем не было частных кредитных учреждений; в этом году «капитал Государственного Банка доходил до 15 милл. руб., да разными лицами было внесено на проценты

основании которой определяются размеры производств в 1877 году. Но в общем выводы г. Безобразова подтверждаются и личными его наблюдениями. «Я сам,— говорит он,— мог констатировать это увеличение нашей мануфактурной промышленности во время моего путешествия по московскому промышленному округу».

* «Economiste français», 26 Août 1882, «Lettres de Russie» par *Wlad. Besobrasoff.* [«Французский экономист», 26 августа 1882, «Письма из России» *Влад. Безобразова.*]

** [«на первом месте в европейской промышленности».] См. «Journal des Economistes», Juillet 1883, «L'industrie du sucre en Russie». [«Экономический журнал», июль 1883 г., «Сахарная промышленность в России».]

262,7 милл. руб.; из этих сумм на нужды торговли было употреблено всего 42 милл. руб. (23,7 милл. выданы были под векселя, да 18,6 милл. в ссуды под процентные бумаги)». Прошло 13 лет, и положение дела стало неузнаваемо. «К 1877 году капитал всех кредитных учреждений составлял уже 167,8 милл руб., да разными лицами было внесено на проценты (%, текущий счет, срочные вклады и пр.) 717,5 милл. руб., т. е. капитал возрос на 1018%, текущие счета, вклады и пр.— на 173%, вместе же — на 220%, следов., эти суммы более чем утроились. Вместе с тем и распределение их совершенно изменилось. В 1864 году в ссуды и под векселя из этих сумм было выдано только 15%, к 1877 году они были почти все помещены в ссудах и векселях, именно 96%... Ссуды возросли с 1864 до 1877 года с 18,6 на 337,9 милл. руб., или на 1829%. Рост учетной операции, торговой в тесном смысле, был еще сильнее за то же время: с 23,7 милл. руб. сумма учетных векселей увеличилась до 500 милл. руб., т. е. на 2004%!! Вместе с увеличением всей суммы денег, вложенных на проценты, подвижность их более чем удвоилась. В 1863 году сумма вложенных денег обернулась менее двух раз; в 1876 году она уже обернулась 4,75 раза».

«Кредит и железные дороги ускоряют обращение натурального хозяйства в денежное. Денежное же хозяйство — хозяйство товарное — есть хозяйство капиталистическое; следовательно, и кредит и железные дороги ускоряют переворот хозяйственных условий производства, при которых производители являются собственниками орудий производства, в такие условия, где производители становятся наемными рабочими»*.

7. СБЫТ

Приведенные факты не нуждаются в дальнейших комментариях. Ясно, внятно, убедительно говорят они, что, по крайней мере, по отношению к промышленности обрабатывающей нам пора уже перестать закрывать глаза перед действительностью, пора уже убедиться, что действительность эта имеет очень мало общего с теми наивными иллюзиями, которые характеризовали народнический период нашего движения. Пора иметь мужество сказать себе, что в названной сфере не только ближайшее будущее, но и настоящее принадлежит у нас капитализму. Все условия обмена, все отношения производства все более и более складываются в благоприятном для него смысле.

* *Николай —он,* Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, «Слово», 1880, кн. 10, стр. 86—135.

Что же касается сбыта, то мы уже говорили, что вопрос о нем вовсе не так уже неразрешим, как это думает г. В. В. и его эпигоны. Переход всякой страны от натурального хозяйства к денежному необходимо сопровождается огромным расширением ее внутреннего рынка, и, без всякого сомнения, этот рынок всецело достанется у нас нашей буржуазии. Но это еще не все. Предусмотрительный капиталист предвидит уже его переполнение и спешит приобрести рынки внешние. Некоторые из русских товаров найдут, конечно, сбыт и на Западе, а другие отправятся на Восток, в сопровождении «белых» и других генералов, имеющих патриотическую миссию «упрочения нашего влияния в Средней Азии».— На последнем съезде наших заводчиков и фабрикантов недаром обсуждался вопрос о «мерах для развития торговых сношений с Балканским полуостровом» и о заключении «торговых трактатов с Азией». В этом направлении были уже сделаны практические попытки, и нет оснований ожидать, что им суждено окончиться неудачей. Сношения с Востоком — не новость для русских предпринимателей, и хотя иностранная конкуренция часто тяжело отзывалась на их интересах, но ошибочно было бы думать, что страны, ранее других выступившие на путь капитализма, имеют или могут навсегда сохранить монополию наиболее дешевого провоза, наименее дорогого производства и наилучшего качества товаров. Франция позже Англии выступила на этот путь, а между тем успела же она отвоевать себе почетное место на международном рынке. То же можно сказать, сопоставляя Германию с Францией, и т. д. На «Западе» есть много стран, которым так же, как и России, трудна промышленная борьба с наиболее передовыми государствами, а между тем никому из революционных писателей этих стран и в голову не приходило «самобытничать» на манер наших народников. Правда, современные производительные силы далеко опережают в своем росте возможность расширения сбыта, международный рынок близится к окончательному переполнению, периодические кризисы стремятся перейти в один сплошной хронический кризис. Но пока еще не наступило такое время, ничто не мешает появлению на рынке новых конкурентов, опирающихся на какие-нибудь физические особенности своей страны или исторические условия своего общественного развития: дешевизну рабочих рук, сырого материала и т. п. Можно сказать более: появление таких конкурентов именно и приблизит час падения капитализма в наиболее развитых странах. Конечно, торжество рабочего класса в Англии или во Франции необходимо отразится на развитии всего цивилизованного мира, оно сократит господство капитализма в остальных странах. Но и это все дело будущего, отделенного от нас более или менее длинным промежутком

времени, в течение которого наш капитализм может стать и, как мы видели, становится полновластным хозяином России. Довлеет дневи злоба его, и что бы ни сулила нам в будущем предстоящая Западу социалистическая революция, злобой нынешнего дня является у нас все-таки капиталистическое производство*.

---

* [Примечание к изданию 1905 г.] Отсюда видно, что я никогда не разделял той теории, которая была придумана нашими народниками — а из их сочинений перешла даже в «*Британскую энциклопедию*» — и согласно которой в России невозможно развитие капитализма, так как эта страна не имеет рынков. Мой взгляд на этот вопрос изложен был, вскоре после выхода «*Наших разногласий*», в другом месте следующими словами: По учению теоретика народничества, г. В. В., «появление на всемирном рынке новых конкурентов, в лице новых стран, должно считаться отныне невозможным, так как рынок этот окончательно завоеван более передовыми государствами. Поэтому В. В. сомневается в будущности русского капитализма. ...Теория В. В. не лишена известной доли остроумия, но, к сожалению, обнаруживает полнейшее незнакомство с историей. Было время, когда на всемирном рынке почти исключительно господствовала Англия и это господство отсрочивало решительное столкновение английского пролетариата с буржуазией. Монополия Англии была нарушена появлением на всемирном рынке Франции и Германии, а теперь монополия Западной Европы подрывается конкуренцией Америки, Австралии и даже Индии, что, конечно, поведет к заострению взаимных отношений между пролетариатом и буржуазией в Европе. Мы видим отсюда, что теория г. В. В. совсем не подтверждается действительным ходом событий. Г-н В. В. думает, что, раз добившись господства на всемирном рынке, более развитые в промышленном отношении страны окончательно закрывают доступ к нему менее развитым странам и *тем толкают эти последние на путь социальной реформы*, каковая *реформа и должна быть предпринята* будто бы стоящим выше классовых интересов *правительством*, например правительством его императорского величества самодержца всероссийского. Факты же показывают совсем обратное. Они говорят нам, что менее развитые страны не стоят на одном месте, а постепенно расчищают себе путь на всемирный рынок и своею конкуренцией *толкают более развитые страны на путь социальной революции, которая будет совершена сознавшим свою классовую задачу пролетариатом*, опирающимся на свои собственные силы и захватившим политическую власть в свои собственные руки» [1].

Теперь я прибавлю, что мои соображения были как нельзя лучше подтверждены дальнейшим развитием всемирного хозяйства и что в их пользу можно было бы привести множество данных как из относящихся к этому вопросу английских синих книг, так и из отчетов английских консулов. Замечу также, что, с другой стороны, я никогда не был сторонником той теории рынков вообще и кризисов в частности, которая, как зараза, распространилась в нашей легальной литературе марксизма в девяностых годах. По смыслу этой теории, главным пропагандистом которой надо признать г. Тугана-Барановского[2], *перепроизводство* оказывается невозможным, а кризисы объясняются простою диспропорциональностью в распределении средств производства. Эта теория очень отрадна для буржуазии, которую она приводит к тому отрадному убеждению, что производительные силы капиталистического общества никогда не перерастут свойственных ему отношений производства. И неудивительно, что один из лучших теоретиков современной буржуазии, г. Вернер Зомбарт, отнесся к ней с большою нежностью в своем реферате, прочитанном 15 сентября 1903 г.

на съезде «*Союза Социальной Политики*» в Гамбурге (см. Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik über die Lage der in der Seeschiffahrt beschäftigten Arbeiter und über die Störungen im deutschen Wirtschaftsleben während der Jahre 1900 ff. Leipzig 1903, S. 130). Удивительно только то, что г. В. Зомбарт считает выдающегося русского ученого Тугана-Барановского отцом этой будто бы новой теории. Настоящим отцом этого совсем не нового учения был *Жан Баттист Сэй*, в «курсе» которого она и изложена с достаточной полнотой. Очень интересно то обстоятельство, что в этом отношении буржуазная экономия возвращается на точку зрения вульгарного экономиста, которого она избегает называть, как бы уступая похвальному чувству стыдливости. Кроме г. Тугана-Барановского, у нас теорию Ж. Б. Сэя проповедовал г. Владимир Ильин в «Заметке по вопросу о теории рынков» («Научное Обозрение», январь 1899 г.) и в книге о «Развитии капитализма в России». В этом последнем сочинении г. Владимир Ильин обнаруживает, впрочем, значительный *эклектизм*, свидетельствующий о том, что в нем не всегда молчала теоретическая совесть марксиста[1].

ГЛАВА III

КАПИТАЛИЗМ И ОБЩИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

1. КАПИТАЛИЗМ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Но главной, единственной основою нашего общественного хозяйства является земледелие, говорят обыкновенно г. В. В. и К°. Развитию капиталистического хозяйства в этой области, приложению к земле «частного предпринимательского капитала» мешает община, которая была и остается несокрушимым оплотом против капитализма. Крупное земледельческое хозяйство у нас не только не вытесняет собою мелкого, но, наоборот, все более и более уступает ему дорогу. Крупные землевладельцы и арендаторы спекулируют лишь на повышении поземельной ренты, отдавая в руки мужика все земледельческое хозяйство. Крестьянское же хозяйство должно вести к торжеству крестьянских, а не капиталистических форм производства.

Хотя во всей этой аргументации ошибки довольно тесно перепутаны с истиной, но заключающаяся в ней истина ни в каком случае не убедительна. Земледелие почти повсюду является наиболее отсталой отраслью национального производства, отраслью, которой капитализм начинал овладевать лишь после того, как он прочной ногой утверждался в промышленности, собственно так называемой: «Только крупная промышленность, с ее машинами, дает капиталистическому земледелию твердую основу». Не логично поэтому заключать к отсутствию или даже полной невозможности буржуазных отношений производства в данной стране на том основании, что отношения эти еще не успели охватить земледелия. Г-ну Тихомирову кажется, например, что в период великой революции французская буржуазия была так сильна, что могла помешать фактическому установлению самодержавия народа*. А между тем вплоть до самой революции приложению «частного предпринимательского капитала» к земле препятствовали многочисленные остатки феодальных отношений, земледелие было в страшном упадке, поземельные собственники предпочитали жить в городах, сдавая свои земли «половникам» или арендаторам из среды

* «Вестник Нар. Воли», ст. «Чего нам ждать от революции?», стр. 251.

буржуазии; эти последние так же, как и наши современные «Разуваевы», вовсе не думали о правильной земледельческой культуре, в свою очередь передавали арендованные земли крестьянам и заботились лишь о возможно более выгодных условиях такой передачи*. Помешало ли это обстоятельство победе буржуазии и торжеству капитализма во Франции? Если нет, то почему у нас оно окажет не только более сильное, но, как думают народники, решающее влияние на все наши отношения производства? Во Франции в то время уже не было общины? Прекрасно. Но как во Франции, так и во всей «западной Европе» был феодальный режим, были в свое время цехи, которые сильно затрудняли развитие капитализма, «стесняли производство, а не облегчали его». Эти «цепи» не остановили, однако, хода общественно-экономического развития. Наступила пора, когда «их нужно было разбить, и они были разбиты». Чем застрахована от такой же судьбы русская община?

Г-н Николай —он, гораздо основательнее знакомый с нашим пореформенным хозяйством, чем все русские революционные и консервативные самобытники, вместе взятые, не колеблется признать, что само «Положение» (о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости) было у нас «лебединою песнью старого процесса производства» и что последовавшая за ним деятельность законодательства, *направленная в совершенно противоположную сторону*, «по результату оказала *более существенное влияние* на весь народный хозяйственный быт», чем крестьянская реформа. По мнению этого писателя, «приложению капитала к земле, исполнению его исторической миссии у нас мешает «Положение», наделившее производителей орудиями труда. Капиталистическому же хозяйству способствует вся пореформенная государственно-хозяйственная деятельность. ...Течение капиталистическое, однако, *видимо пересиливает*. Все данные говорят в пользу того, что все бо́льшая и бо́льшая часть производителей экспроприируется: уменьшение доли производителя в продукте и увеличение доли капиталиста, происходящее на наших глазах, заставляет все бо́льшую и бо́льшую часть первых бросать землю, не «обряжать» ее. При этом и в самой общине происходит весьма любопытное явление: нехозяйственным хозяевам общество начинает отводить худшую землю (все равно не обрабатывают ее), сроки же переделов земли хозяйственных домов все увеличиваются и увеличиваются, так что мы присутствуем при акте превращения общинного пользования в — индивидуальное»**. Господин Тихомиров

* «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века», *Н. Кареев*, Москва 1879, гл. II, стр. 117 и след.
** *Николай —он*, «Очерки», стр. 132—136.

совершенно игнорирует выводы замечательного исследования г. Николая —она и упрямо твердит, что у нас «во владении крестьян до сих пор находится 120 628 246 дес. земли»*. Он забывает, что сущность дела заключается не в юридических *нормах*, а в экономических *фактах*. Факты же эти показывают, что во многих и многих местностях община настолько уже искажена неблагоприятными ей влияниями, что из средства защиты производителей против капиталистической эксплуатации она превращается уже в могучее орудие этой последней. Чтобы не быть голословными, возьмем опять народ, «каков он есть», взглянем с этой стороны на современную русскую действительность.

Но предварительно — несколько общих земечаний об истории первобытного аграрного коммунизма.

2. ОБЩИНА

Если послушать наших народников, то действительно можно подумать, что русская община представляет собою совершенно исключительную по своей прочности организацию. «Ни междоусобия удельного времени, ни иго монгольское, ни кровавая эпоха Ивана Грозного, ни смутные годы междуцарствия, ни реформы Петра и Екатерины, вносившие в русскую жизнь начала западноевропейской культуры,— ничто не поколебало, не изменило этого заветного учреждения крестьянской жизни,— говорит один из самых легковоспламеняющихся народников, г. К—н, в книге о «формах землевладения у русского народа»,— его не могло стереть крепостное право;

* [Примечание к изданию 1905 г.] В то время, когда я писал эти строки, была напечатана только первая часть исследования г. Н.—она. В своем законченном виде оно появилось лишь в 1893 году и далеко не оправдало тех ожиданий, которые возлагались на него мною, да — как сейчас увидит читатель — и не одним мною. Г-н Н.—он в последнем счете оказался таким же утопистом, какими были гг. В. В., Пругавин, Тихомиров и т. д. Правда, данных у него было несравненно больше, чем у них; но обработаны эти данные были до последней степени односторонне и служили только для подтверждения предвзятых утопических идей, основывавшихся на совершенно неправильном понимании теории стоимости Маркса. Работа г. Н.—она произвела на очень хорошо расположенного Энгельса весьма неприятное впечатление. В одном из своих писем ко мне Энгельс говорит, что он потерял уже всякую веру в то поколение русских людей, к которому принадлежал г. Н.—он, так как, о чем бы ни заговорили эти люди, они непременно сведут речь «на святую Русь», т. е. обнаружат славянофильские предрассудки. Главный упрек, делаемый Энгельсом г. Н.—ону, состоял в том, что тот не понимает революционного значения переживаемого Россией экономического переворота [1].

на его уничтожение не повлияли ни добровольные выходы крестьян на новые земли, ни принудительные выселения» и т. д. и т. д. — словом,

Века проходили, все к счастью стремилось,
Все в мире по нескольку раз изменилось [1],

а русская община оставалась неизменной и неизменимой. К сожалению, славословие это, при всем его бесспорном красноречии, ровно ничего не доказывает. Сельские общины обнаруживают несомненную живучесть до тех пор, пока они не выходят из условий натурального хозяйства. «Простой производительный механизм этих общин, довольствующихся своими собственными продуктами и постоянно воспроизводящихся в одной и той же форме, а в случае разрушения вновь возникающих на том же самом месте, под тем же самым именем,— этот механизм открывает нам тайну неизменного состояния азиатских обществ, находящихся в таком резком противоречии с беспрерывною сменою государств и династий. Структура основного экономического элемента этих обществ остается нетронутою бурями политического горизонта»*.

Но тот же самый основной элемент варварских обществ, стойко выдерживающий бури политических революций, оказывается бессильным и беззащитным перед логикой экономической эволюции. Развитие денежного хозяйства и товарного производства мало-помалу подкапывает общинное землевладение**.

* «Das Kapital», 2. Aufl., S. 371. [«Капитал», изд. 2, стр. 371.][2].

** Влияние денежного хозяйства на разложение первобытного коммунизма прекрасно обрисовано г. Г. Ивановым (Успенским) в применении к семейной общине.

«В настоящее время,— говорит г. Иванов («Из деревенского дневника», «Отеч. Записки», сентябрь 1880, стр. 38—39),— в жизни крестьянских семейств есть такое безмерное скопище неразрешимых и трудных задач, что если еще и держатся крепко большие крестьянские семейства (я говорю о подгородных), то только, так сказать, соблюдением внешнего ритуала, а внутренней правды уже мало. Довольно часто мне приходится сталкиваться с одним из таких больших крестьянских семейств. Во главе семьи стоит старуха лет 70, женщина крепкая, по-своему умная и опытная. Но весь ее опыт почерпнут в крепостном праве и касается хозяйства исключительно земледельческого, где участвует своими трудами весь дом, причем весь доход идет в руки старухи, а она уже распределяет его по своему усмотрению и общему согласию Но вот прошла шоссейная дорога, и вдруг кадушка капусты, распродаваемая извозчикам, стала приносить столько доходу, что сделалась выгоднее целого года работы на пашне, положим, одного человека. Вот уже явное нарушение в одинаковости труда и заработка. Прошла машина, телята стали дорожать, потребовались в столицу. Один из сыновей пошел в извозчики и в полгода заработал больше всей семьи, работавшей в деревне год. Другой брат пожил дворником в Петербурге, получая в месяц по 15 руб., чего бывало не получал и в год. А младший брат с сестрами целую весну, целое лето драли корье и не выработали третьей части того, что выработал извозчик в два месяца... И вот, благодаря этому, хотя по виду в семье все ладно, все несут в нее «поровну»

К этому присоединяется разрушающее влияние государства, которое самою силою обстоятельств вынуждается к поддержанию принципа индивидуализма. На этот путь выводят его как собственные все более и более растущие нужды, так и давление высших сословий, интересы которых враждебны общинному принципу. Развитие денежного хозяйства, в свою очередь являющееся следствием развития производительных сил, т. е. роста общественного богатства, вызывает к жизни новые общественные функции, поддержание которых немыслимо было бы с помощью прежней системы взимания налогов натурою. Нужда в деньгах заставляет правительство поддерживать все те мероприятия и все те принципы общественного хозяйства, которые увеличивают прилив денег в страну и ускоряют пульс общественно-экономической жизни. Но эти отвлеченные принципы общественного хозяйства существуют не сами по себе, а представляют лишь общее выражение действительных интересов известного — именно торгово-промышленного — класса. Выделившийся частью из прежних общинников, частью из лиц других сословий, класс этот существенно заинтересован в том, чтобы мобилизовать как недвижимую собственность, так самих собственников, поскольку эти последние являются работниками. Принцип общинного землевладения препятствует достижению каждой из этих целей. Вот почему оно и становится предметом сначала антипатии, а затем и более или менее решительных нападений со стороны нарождающейся буржуазии. Но и эти удары не сразу разрушают общину. Ее гибель подготовляется постепенно. Долгое время внешние отношения общинников остаются, повидимому,

---

плод своих трудов, но на деле не то: дворник «скрыл» от маменьки четыре красные бумажки, а извозчик скрыл еще того больше. Да и как тут поступить иначе? Эта вот девушка ободрала себе до крови руки и целое лето билась с корьем, чтобы выработать пять целковых, а извозчик выработал 25 в одну ночь за то только, что попутался с господами по Питеру часов с 12 вечера до белого света. Кроме того, авторитет старухи еще значил бы и значил бы очень много, если-бы заработок семьи был исключительно результатом земледельческого труда. В этом деле она, точно, авторитет; но спрашивается: что же такое может она смыслить в дворницком, извозчицком и в других новых заработках? Что она тут понимает и что может присоветовать? Авторитет ее поэтому чисто фиктивный и если значит что-нибудь, то для остающихся дома баб, да и бабы очень хорошо знают, что мужья их относятся к старухе с почтением и покорностью только по виду, так как вполне подробно знают достатки своих мужей, знают, много ли кем от нее скрыто, и сами скрывают эти тайны наикрепчайшим образом. Авторитет главы фиктивный, и фиктивны все семейно-общинные отношения; у всякого скрыто нечто от старухи, представительницы этих отношений, скрыто для себя. Умри старуха, и большая семья эта не продержится даже в том виде, как теперь, и двух дней. Все захотят более искренних отношений, и это желание непременно приведет к другому — жить каждому по своему достатку: сколько кто добыл, тем и пользуйся».

совершенно неизменными, между тем как внутренний характер общины переживает тяжелые метаморфозы, которые и приводят ее, наконец, к полному разложению. Этот процесс совершается порой в течение очень продолжительного времени, но, раз дойдя до известной степени интенсивности, он уже не может быть остановлен никакими «захватами власти» со стороны того или другого тайного общества. Единственный серьезный отпор торжествующему индивидуализму может быть дан лишь теми общественными силами, которые вызываются к существованию самим процессом разложения общины. Ее члены, когда-то равные по своему имущественному положению, по своим правам и обязанностям, подразделяются благодаря указанному процессу на два слоя. Один тяготеет к городской буржуазии, стремясь слиться с ней в один класс эксплуататоров. В руках этого привилегированного слоя скопляется мало-помалу вся мирская земля. Другой слой частью выкидывается из общины и, оторванный от земли, несет свои рабочие руки на рынок, а частью образует новую категорию общинников-париев, эксплуатация которых облегчается, между прочим, удобствами, представляемыми общинной организацией. Только там, где исторические обстоятельства вырабатывают новый экономический базис для переустройства общества в интересах этого низшего класса; только тогда, когда класс этот начинает сознательно относиться к коренным причинам своего рабства и к существенным условиям своего освобождения,— только там и только тогда можно, не впадая в маниловщину, «ждать» новой социальной революции. Этот новый процесс также совершается лишь мало-помалу, но, раз начавшись, он точно так же доходит до своего логического конца с неуклонностью астрономических явлений. Социальная революция опирается в этом случае не на «возможный» успех заговорщиков, а на верный и неотразимый ход общественной эволюции.

Mutato nomine de te fabula narratur*,— можем сказать мы, обращаясь к русской общине. Именно недавним развитием в России денежного хозяйства и объясняется та прочность, которая обнаруживалась *до последнего времени* нашей общиной и которая *до сих пор* продолжает умилять людей, слабоватых в деле мышления. До уничтожения крепостного права почти все общественное, а в значительной степени и государственное хозяйство России было хозяйством натуральным, в высшей степени благоприятным сохранению поземельной общины. Вот почему этой последней и не могли разрушить политические события времен удельно-вечевого уклада и московской централизации, петровских реформ и «барабанного просве-

* [В басне говорится о тебе — стоит только изменить имя.]

щения» петербургских самодержцев. Как ни тяжело отзывались на народном благосостоянии многие из этих событий, но несомненно, что сами они в последнем счете являлись не предвестниками коренных переворотов в общественном хозяйстве, а лишь следствием тех взаимных отношений, в которых стояли между собою отдельные общины. В основе московского деспотизма лежали именно те «вековые устои народной жизни», которыми восхищаются наши народники. Это одинаково ясно понимали и реакционный бар. Гакстгаузен и революционный агитатор Бакунин. Будь Россия изолирована от экономических и политических влияний западноевропейской жизни, трудно было бы и предвидеть, когда история подкопает, наконец, экономический фундамент ее политического устройства. Но влияние международных отношений ускорило естественный, хотя и медленный, процесс развития денежного хозяйства товарного производства. Реформа 19 февраля была необходимой уступкой новому экономическому течению и, в свою очередь, придала ему новую силу. Община не сумела, да и не могла приспособиться к новым условиям. Ее организм надломился, и только ослепленные люди не замечают теперь признаков его разложения. Вот факты.

3. РАЗЛОЖЕНИЕ НАШЕЙ ОБЩИНЫ

Процесс разложения нашей сельской общины отражается даже на внешнем ее виде. «Я долго стоял у околицы погоста, всматриваясь в наружный вид деревень (расположенных внизу, под горой),— говорит г. Н. Златовратский.— Какое разнообразие, однако! Тут куча изб, очевидно дряхлых, двуоконных, крытых соломой. ...Здесь, напротив, новые, трехоконные избы, с большими проулками между ними, крыты тесом, а между ними мелькают даже зеленые железные крыши с флюгерами на трубах. А вот третья — длинная, извивающаяся, как червяк, где рядом с хоромами зажиточного кулака торчит, чуть поднимаясь от земли, не то шалаш, не то конура»*. Этому очень живописному по внешности разнообразию соответствует разнообразие цифр, выражающих бюджеты отдельных хозяйств. По словам г. Златовратского, избранная им для изучения община заключала в себе, «несмотря на очень небольшой объем, довольно крайние ступени экономического неравенства, от *сиденья на капиталах*, погрызывая целыми днями орехи, до гусарихи (вдовы солдата-гусара), бедствующей

* *Н. Златовратский*, «Деревенские будни», С.-Петербург 1880 г., стр. 9.

с целой оравой ребятишек; притом эта деревня очень ясно делилась на *красную сторону* и *холодную сторону*». А между тем эта община «представляла собою тот средний тип современной *новой* деревни, к которому или стремятся приблизиться все вообще русские деревни, или некоторые успели уже шагнуть далеко дальше в том же направлении, т. е. в направлении дезорганизации устоев деревни старой, как представительницы принципа труда и экономического равенства». Г. Златовратский знает, что есть еще такие деревни, «и много еще их есть, где вы чувствуете и видите крепкие, несокрушимые основы» старого общинного быта. «Но больше этих деревень *было*, чем *есть*»*. Теперь же в деревне все более и более укрепляется то, что автор «Будней» называет «атмосферой деревенского двоедушия и двуличия» и что составляет неизбежное следствие разложения общины на несколько различных слоев с совершенно непримиримыми интересами.

С одной стороны, вы видите «добродушного» *хозяйственного мужичка*, «который имеет надел всего только на одну душу, а между тем обрабатывает три, четыре, даже пять наделов своих собратьев, которые не в силах их тянуть»; с другой стороны, перед вами именно эти «малосильные» хозяева, «чернота», «беднота» и т. д., которые «или сами же в качестве наемщиков работают у своего арендатора, или совсем заколачивают свои избы и уходят на сторону, бог весть куда, никогда, другой раз, даже не заявляясь в свою родную общину». И таких бедняков немало. В № 2922 «Нового Времени», от 18 апреля текущего года, мы прочитали следующее многозначительное сообщение: «Вот факт, достоверность которого засвидетельствована официально. Из 9 079 024 дворов в сельских обществах России (за исключением Привислинского и Прибалтийского краев) насчитывается 2 437 555 дворов безлошадных. Это значит, что из четырех дворов крестьянских в одном нет лошади. Но крестьянин, не имеющий лошади, уже не может быть самостоятельным земледельцем-хозяином. Это значит, что четвертую часть сельского населения России надобно исключить из числа земледельцев, ведущих самостоятельное хозяйство»**.

* «Деревенские будни», стр. 191.

** Сведения эти заимствованы газетой из книги «Конская перепись в 1882 г.».

Указанный здесь средний вывод подтверждается частными исследованиями по отдельным губерниям и уездам. Так, например, даже для Тамбовской, вообще более или менее зажиточной, губернии мы имеем следующие данные:

	Спасский уезд	Темниковский
Хозяйств безлошадных . .	21%	21,6%
» однолошадных . .	41%	42,9 %
» 2 и 3 лошадных	33%	31,3%

Крестьянин же, не могущий вести самостоятельное хозяйство, есть кандидат на звание пролетария, кандидат, утверждение которого в этом звании должно состояться в самом скором времени. Избегая пока непосредственной эксплуатации крупного капиталиста-предпринимателя, такой крестьянин находится уже, однако, в полной зависимости от мелкого ростовщического капитала деревенских кулаков, или даже просто «умственных хозяев». Как обращаются «умственные хозяйственные мужички» с обнищавшими сообщинниками, видно из цитированной уже книги г. Златовратского.

«— А эти вот заколоченные-то избы «воздушному» народу принадлежат?— спрашивает автор своих собеседников.

— Воздушному... вполне! — улыбнулись собеседники:— потому летает, как птица! Все сидит, все крепится, перемогается как ни то на десятине-то своей, а потом — фю! и улетел... Попросит соседа, чтобы у него паспорта не задержали, взять его надел в аренду, *Христом богом еще просит*, водкой напоит и денег обязуется присылать в приплату — только сделай милость, возьми! Ну и берут... нам это, хозяйственным мужичкам, на руку... случается так — вернется назад, и хочется взять землю-то — да взяться за нее нечем: к рендателю же на свою землю в батраки наймется... Все ведь это кого чем господь пошлет!..»

Нравится ли вам, читатель, община таких «хозяйственных мужичков»? Если да, то ваши вкусы едва ли схожи в этом случае со вкусами «воздушного народа», который «христом богом просит», чтобы его развязали с землею. И заметьте, что этот «народ» совершенно прав по-своему. Разница между вашими и его симпатиями обусловливается тем очень простым обстоятельством, что симпатичная вам община совсем непохожа на ту, с которой приходится иметь дело «воздушному народу». В вашем воображении рисуется та идеальная община, которая *может* явиться после революции во вкусе народников или на-

---

	Моршанский		Борисоглебский	
Хозяйств безлошадных . .	21,6%	50,5%	18%	46%
» однолошадных . .	28,9%		28%	

(Смотри ст. г. *Григорьева*, «Земско-статистические исследования по Тамбовской губернии, «Русская Мысль», сентябрь 1884, стр. 79). В Покровском уезде Владимирской губ. (Кудыкинский район) «безлошадные составляют 24% всех домохозяев. В Юрьевском уезде той же губернии процент безлошадных не особенно велик, но зато мы находим здесь весьма много домов, имеющих всего одну лошадь. А такого рода семьи бесспорно должны быть отнесены к числу слабых, мало способных к земледелию». Впрочем, в некоторых районах того же уезда (Никульская волость) безлошадные составляют от 19 (помещичьи крестьяне) до 24 процентов (крестьяне государственные) всего числа домохозяев. В Спасской волости домохозяева, лично обрабатывающие землю, составляют только 73%.

родовольцев. Воздушный же народ имеет дело с тою *действительной* общиной, в которой утвердился уже его непримиримый антагонист, «хозяйственный, умственный мужичок», самодовольно повторяющий — «у нас чернота не держится... у нас ей вздоху нет... кабы не *они*, так разве нам можно было бы жить? Кабы не этот воздушный народ, так нам бы весьма утеснительно было... А вот теперь, как поспустишь от мира этого воздушного народу достаточно, оно тебе и свободно»*. Мир, «спускающий от себя» черноту, есть мир кулаков и эксплуататоров. Не имеющий «вздоху» воздушный народ бежит от него, как от ярма.

Но умственный мужичок не всегда увольняет «черноту» даром. Забравши «в один надел — четыре», принадлежащих его разорившимся односельчанам, он требует от последних еще «придачи». Отсюда-то и рождаются удивительные договоры, вроде нижеследующего, увековеченного г. Орловым: «1874 года. Ноябрь 13. Я, нижеподписавшийся, Московской губернии, Волоколамского уезда, деревни Курвиной, дал сию расписку своему обществу крестьян дер. Курвиной в том, что я, Григорьев, отдаю в общественное пользование землю — надел на три души, *за что я, Григорьев, обязуюсь уплачивать в год 21 руб.* и означенные деньги должен высылать ежегодно к первому апреля, кроме паспортов, на которые я должен высылать особо, также на посылку оных, в чем и подписуюсь». Что этот случай не может быть единственным, видно из сравнения платежей, лежащих на крестьянских наделах, с арендной платой за них. В среднем выводе по 12 уездам Московской губ. размер платежей, лежащих на душевом наделе, равняется 10 руб. 45 коп., средняя же арендная цена душевого надела не превышает 3 руб. 60 коп. Таким образом, средняя приплата со стороны владельца за сдаваемый в аренду душевой надел доходит до 6 руб. 80 коп. «Встречаются, конечно, и такие случаи, когда надел сдается по цене, окупающей лежащие на нем платежи,— говорит г. Орлов,— но такие случаи крайне редки, а потому их можно считать исключением, общим же правилом является бóльшая или меньшая приплата к арендной цене надела. Понятно теперь, почему у крестьян, по их собственному выражению, нет зависти на мирскую землю»**. Кто знаком с прекрасным исследованием г. Янсона о крестьянских наделах и платежах, тот знает, что в большей части России существует указываемое г. Орловым несоответствие между доходностью душевых наделов и общей суммой лежащих на них платежей.

* «Деревенские будни», стр. 203—204.

** «Сборник статистических сведений по Московской губ.», Отдел хозяйственной статистики, т. IV, выпуск I, Москва 1879, стр. 203—204.

Очень часто несоответствие это достигает размеров поистине ужасающих. В Новгородской губернии «платежи с десятины земли для отдельных групп плательщиков по отношению их к нормальному доходу с этих земель составляют:

С земель крестьян государственных	....	160%
С земель крестьян собственников:		
бывших удельных	....	161%
бывших помещичьих	....	180%
временнообязанных	....	210%

При неблагоприятных же условиях, т. е. при дополнительных платежах с крестьян-собственников, при малых наделах и при высоких общих повинностях для временнообязанных крестьян, платежи эти достигают:

для выкупившихся крестьян до	....	275%
для временнообязанных до	......	565%»*.

В общем, сопоставляя данные, собранные в XXII т. «Трудов податной комиссии», с данными, заключающимися в докладе комиссии сельскохозяйственной, г. Николай — он нашел, что «государственные удельные крестьяне в 37 губерниях (не считая, след., западных) Европейской России платят из чистого дохода, даваемого землею, 92,75%, т. е. на всякие нужды из земельного дохода им остается 7,25%. Платежи же бывших помещичьих крестьян по отношению к чистому доходу с их земли выражаются 198,25, т. е. они не только отдают весь свой доход с земли, но должны еще приплачивать столько же из сторонних заработков». Отсюда следует, что «спущенная миром» чернота в большей части случаев должна ежегодно платить известную сумму денег за право отказа от надела и свободного передвижения. Этот бесспорный вывод подтверждается фактами всюду, где экономические отношения крестьян подвергались сколько-нибудь внимательному изучению. Так, например, в супесчаном районе Юрьевского уезда Владимирской губ., по словам г. В. С. Пругавина, «скудная, неблагодарная надельная почва представляется бременем для хозяйства, земля является мачехой для крестьян. Здесь надел не только не окупает лежащих на нем платежей, но сдающий землю должен приплачивать еще от себя 8—10 р. за каждый надел, так как средняя арендная цена душевого участка земли в этом районе равняется 4—5 рублям в год»**. Подавленная бременем налогов, разоренная «мачехой-землей», деревенская «чернота» попадает в самое безвы-

* «Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства» и т. д., отд. III, стр. 6.

** *В. С. Пругавин*, «Сельская община» и т. д. Юрьевского уезда, Владимирской губ., Москва 1884 г., глава III, стр. 93—95.

ходное положение. С одной стороны, она не может по недостатку средств возделывать землю, которою она владеет; с другой стороны, существующие законоположения запрещают ей отказываться от землевладения, не приносящего ничего, кроме убытков. Куда ведет такое положение дел? Очень ясно. По словам г. Орлова, так называемые пустырники, т. е. домохозяева, забросившие свою землю, «выделяются в особую группу и становятся как бы отверженными, изгнанными из мира; община раскалывается на две части, из которых каждая становится во враждебное отношение к другой: хозяева смотрят на пустырников как на тяжелое бремя, так как им по круговой поруке большею частью приходится отвечать за последних, с которых обыкновенно взять бывает нечего; пустырники же, окончательно разорившись и переставши заниматься хлебопашеством, принуждены бывают со своими семьями уходить *на сторону* для заработков, а между тем, не пользуясь своими наделами, должны платить все лежащие на них подати, иначе мир не выдаст им паспорта и притом «стегает» их в волостном правлении за неплатежи; *очевидно, мир в глазах пустырников является обузою, бичом, тормозом*». Понятно, что «связь между двумя указанными частями общины чисто внешняя, искусственная, фискальная; с уничтожением этой связи должно по необходимости произойти *окончательное распадение означенных групп*: община будет состоять из одних хлебопашцев; пустырники же, не имея средств вновь завести хозяйство и исподволь отвыкая от него, окончательно обратятся в безземельных, которыми фактически они являются и теперь»*.

На известной стадии разложения общины неизбежно почти наступает такое время, когда беднейший слой общинников начинает восставать против этой формы землевладения, сделавшейся его «бичом и тормозом». Во Франции в конце прошлого века беднейшие крестьяне требовали часто «раздела общинных земель, так как или, не имея скота, не пользовались ими, или надеялись завести самостоятельное хозяйство, но в таком случае *имели против* себя фермеров и вообще самостоятельных хозяев, которые посылали на эти земли скот»**. Иногда имело, правда, место и обратное явление, т. е. бедные желали сохранения общинных пастбищ, а богатые захватывали их в свое исключительное пользование, но во всяком случае несомненно, что деревенская коммуна являлась ареной самой ожесточенной борьбы материальных интересов. Антагонизм занял место первобытной солидарности***. Такой же антагонизм замечается

* *Орлов*, «Сборн. статистич. свед»., стр. 55.

** *Кареев*, Ibid., стр. 132 [там же стр. 132].

*** Une commune est presque toujours divisée par la différence des esprits qui la gouvernent et qui opposent leurs vues particulières au bien

теперь, как мы видели, и в русских деревнях, причем стремление бедных к выходу из общины замечается на более ранних ступенях ее разложения. Пахотные земли, например, в Московской губ. не успели еще перейти в частную собственность, а между тем гнет государственных налогов ставит уже беднейшую часть крестьян во враждебное отношение к общине. «В тех общинах, в которых не имеется благоприятных условий для земледельческого хозяйства... крестьяне среднего состояния стоят за сохранение мирского владения; крестьяне же крайних состояний, т. е. *наиболее и наименее состоятельные, сочувственно относятся к замене мирского владения подворно-наследственным»* *. Кулаки и «пустырники» одинаково стремятся разорвать свою связь с общиной.

Как сильно распространено такое стремление? Мы знаем уже, что оно обнаруживается там, где «не имеется благоприятных условий для земледельческого хозяйства всех дворов», там, где «часть дворов постепенно беднеет, слабеет, а затем и совсем расстраивает свое земледельческое хозяйство, перестает заниматься хлебопашеством, обращается исключительно к сторонним промыслам и, таким образом, разрывает свою непосредственную связь с мирскою землею». Всюду, где встречается такое положение дел, стремление бедняков к разрыву с общиною настолько естественно, что оно представляет собою или уже существующий факт, или дело очень близкого будущего. Там, где существует причина, не замедлит обнаружиться и следствие.

Мы знаем также, что большинство наших общин поставлено не только в неблагоприятные, но просто в невозможные условия. Наше хозяйство, как общегосударственное, так и специально *народное*, покоится теперь на самом ненадежном основании. Чтобы разрушить это основание, не нужно ни чудес, ни неожиданностей: к этому ведут нас самая строгая логика вещей, самое естественное отправление функций современного нашего общественно-экономического организма. Фундамент разрушается просто от тяжести и несоразмерности частей построенного на нем здания.

Как быстро теряет равновесие хозяйство беднейшей части общинников, видно отчасти из приведенных выше данных о числе безлошадных крестьянских дворов, а отчасти — и притом с большей ясностью — из следующих многозначительных фактов. В Подольском уезде «по переписи 1869 года из 33 802 душевых наделов не обрабатывалось 1 750, т. е. 5%; в переводе на деся-

---

général [Раздел общинных земель является почти всегда следствием того, что господствующая верхушка противопоставляет свои частные интересы общим], цитировано у Кареева, стр. 135.

* *Орлов*, стр. 289—290.

тины это значит, что из 68 544 десятин пахотной крестьянской земли запущено было 3 564 дес. Точные данные о необработанных наделах в 1877 году собраны только по трем волостям, где они дают 22,7% запущенной пашни. Не имея оснований считать эти волости чем-то исключительным и предполагая поэтому, что и в остальной части уезда господствует запущение в тех же размерах*, мы найдем, что количество необрабатываемой земли с $3^1/_2$ тысяч десятин возвысилось до $15^1/_2$, т. е. увеличилось в 4—5 раз. *И это в 8 лет!* Это приблизительное определение количества запущенной пашни находит себе подтверждение в сведениях о числе хозяев, не обрабатывающих своих наделов»**. И действительно, между тем как в 1869 г. число таких хозяев составляло 6,9% получивших надел дворов, в 1877 году *оно возросло до 18%*. Это средняя цифра для всего уезда. В некоторых отдельных местностях возрастание числа не занимающихся земледелием домохозяев шло еще быстрее. В Кленовской волости оно поднялось с 5,6% (в 1869 г.) до 37,4% в 1877 году! Но и это еще не предельная величина. В одиннадцати селениях, взятых исследователями как пример, мы находим, что в указанный промежуток времени скотоводство сократилось на 20,6%, число же забросивших земледелие возросло с 12,3% до 54,3%, т. е. «бóльшая половина населения принуждена в 1877 г. искать заработка вне земледелия». В лучше обставленных местностях того же уезда, в тех селениях, где, по словам исследователей, земледелие «процветает», процент необрабатывающих землю все-таки возрос больше чем вдвое: с 4 в 1869 г. до 8,7 в 1877 году. Таким образом, это относительное «процветание» только замедляет разрыв крестьянина с землею, но вовсе не устраняет его. Общая, роковая для крестьянина, тенденция нашего народного хозяйства остается неизменной.

Но, может быть, этот уезд составляет исключение из общего правила? Едва ли. Другие уезды Московской губернии, равно как и другие губернии Европейской России, находятся в аналогичном положении. В Серпуховском уезде количество не занимающихся хлебопашеством хозяев простирается до 17%, в Верейском — 16%. В Гжатском уезде Смоленской губ. «есть селения, в которых оставлено земли наполовину и даже до $^3/_4$; ...крестьянское полеводство вообще в уезде сократилось на четвертую часть»***. Не плодя цитат и выписок, мы смело можем, по крайней мере, к половине России применить ска-

* Читатель тотчас увидит, что это предположение вполне основательно.

** «Московская губ. в трудах ее земских статистиков». «Отеч. Записки», 1880 г., кн. 5, стр. 22.

*** Сведения эти относятся еще к 1873 г. См. «Доклад» сельско-хоз. ком. Дополнение, ст. о «Земледелии», стр. 2.

занное г. Орловым о Московской губернии: «Возникают резкие противоположности в имущественном состоянии крестьянского населения: *громадный процент крестьян постепенно теряет всякую возможность вести самостоятельное хозяйство и обращается в разряд безземельных и бездомных*, а вместе с этим незначительный процент крестьян с каждым годом увеличивает степень своего имущественного благосостояния»*. А это значит, что, по крайней мере, половина сельских общин в России является бременем для общинников.

Сами народники хорошо сознают неотразимость этого вывода. В брошюре «Социализм и политическая борьба» мы цитировали уже г. N. Z., по мнению которого «несчастная община дискредитируется в глазах народа»**. Г. Златовратский также говорит где-то, что община дорога теперь лишь деревенским старичкам да городской интеллигенции. Наконец, сам г. В. В. признает, что «община распадается как добровольный союз, остается «общество» в административном смысле, группа лиц, насильственно связанных круговой порукой, т. е. ответственностью каждого за ограниченность сил всех плательщиков, и неспособность фиска понять эту ограниченность. Все выводы, когда-то доставляемые общиной, исчезли, остались лишь неудобства, связанные с принадлежностью к обществу»***. Так называемая несокрушимая основа народного быта ежедневно и ежечасно сокрушается давлением государства. Капитализм мог бы, пожалуй, и не вступать в активную борьбу с этой «Непобедимой Армадой»[1], она и без того разрушается о подводные камни малоземелья и налоговых тягостей.

Но, махнувши рукой на современную, *действительную* общину, народники не перестают петь дифирамбы общине абстрактной, общине an und für sich, **** общине *возможной* при известных благоприятных условиях. Они твердят, что община разрушается под влиянием внешних, не зависящих от нее обстоятельств, что ее разложение *несамопроизвольно* и прекратится с устранением современного государственного гнета. На эту сторону их аргументации нам и нужно обратить теперь внимание.

Наши народники в огромном большинстве случаев отличаются поистине умилительною кротостью. Забота об избавлении общины от ее современного «египетского пленения» охотно возлагается ими на то самое правительство, усердием которого доведена до нищеты чуть не вся Россия. Гнушаясь политикой, как «буржуазной» забавой, презирая конститу-

* *Орлов*, Ibid, стр. 1. [там же, стр. 1.]

** См. «Неделю», № 39, 1883 г., ст. «В родных местах».

*** «Экономический упадок России», «Отеч. Записки», 1881 г., кн. 9, стр. 149.

**** [в себе и для себя]

ционные стремления, как несогласные с народным благом, наши легальные общинофилы стараются убедить правительство, что поддержка пресловутых «устоев» лежит в его собственных интересах. Само собою разумеется, что голос их остается голосом вопиющего в пустыне. Кот Васька слушает, да ест, да время от времени прихлопывает те газеты и журналы, которые слишком уже надоедают ему разъяснением его «правильно понятых интересов». Бесспорная мораль знаменитой басни оказывается аксиомой и в области социально-политической жизни.

Вопрос об избавлении крестьянского хозяйства от неблагоприятных ему условий сводится, таким образом, к вопросу об избавлении России от гнета абсолютизма. С своей стороны мы думаем, что эта политическая эмансипация нашего отечества станет возможной лишь в результате того перераспределения народных сил, которое несомненно будет вызвано и уже вызывается разложением некоторой части наших сельских общин. Но об этом речь впереди. Теперь же мы сделаем уступку народникам, забудем о *действительной* и поговорим о *возможной* общине.

4. ИДЕАЛЬНАЯ ОБЩИНА НАРОДНИКОВ

Все предыдущие доводы наши основывались на том предположении, что русская община надолго останется под бременем непосильных для нее налогов и малоземелья. Взглянем теперь на дело с другой стороны. Допустим, что, благодаря тем или другим обстоятельствам, общине удастся избавиться от этого бремени. Спрашивается, не остановится ли тогда ее начавшееся уже разложение? И не помчится ли она тогда к коммунистическим идеалам с быстротой и неудержимостью гоголевской тройки?

В настоящее время общая сумма платежей, лежащих на крестьянских наделах, в большинстве случаев далеко превышает доходность этих наделов. Отсюда происходит весьма естественное стремление некоторой части крестьян развязаться с землею, приносящею им лишь отрицательную ренту. Вообразим теперь обратный случай. Представим себе, что совершена серьезная реформа нашей податной системы и что лежащие на крестьянской земле платежи стали значительно ниже ее доходности. Этот предполагаемый нами общий случай и теперь уже существует в виде отдельных исключений. И теперь есть общины, в которых земля не является бременем для крестьянина, в которых она приносит ему, напротив, некоторый, хотя и небольшой, доход. Тенденции, обнаруживаемые такими общинами, должны показать нам, какую судьбу имела бы старинная форма нашего крестьянского землевладения в том случае, если бы *все*

общины попали в такие, сравнительно благоприятные условия. Посмотрим же, какие надежды, какие ожидания может возбудить в нас пример этих привилегированных общин.

В «Сборнике статистических сведений по Московской губ.» мы находим следующее в высшей степени важное указание. «Общие переделы мирских полей повторяются тем чаще, чем *выше* размер платежей, лежащих на мирской земле, чем в большем несоответствии находятся они (платежи) с доходностью земли. Если ценность платежей не выше доходности мирского надела, то переделы повторяются через длинные промежутки времени, простирающиеся до 15—20 и более лет; если, наоборот, размер платежей превышает доходность земли, то промежутки между переделами бывают более короткими, и притом переделы повторяются тем чаще, чем значительнее несоответствие между ценностью платежей и доходностью земли, при равенстве всех других условий»*. То же самое явление было замечено г. Личковым в Рязанской губернии. Смысл этого явления очень понятен: оно показывает нам, что уменьшение лежащих на крестьянской земле платежей вызвало бы стремление к удлинению сроков переделов. Впрочем, выражаясь точнее, нужно сказать, что уменьшение платежей только *увеличило бы* это стремление, так как оно существует уже и в настоящее время. «Сопоставление по отдельным уездам средних чисел, выражающих промежутки времени между общими переделами с числами частости переделов, указывает на тенденцию к удлинению сроков переделов, а следовательно, к уменьшению числа переделов, т. е. большей продолжительности владения»**. Та же тенденция указана в «Докладе» сельскохозяйственной комиссии по отношению к другим губерниям Европейской России. Многие из наших народников очень сочувственно относятся к такой тенденции. По их мнению, она даст возможность устранить или ослабить некоторые сельскохозяйственные неудобства, неразрывно связанные с коренными переделами общинной земли. Это справедливо, но беда в том, что неудобные следствия общинного принципа устраняются в этом случае такими средствами, которые ведут к подрыву самого принципа и очень напоминают лечение головной боли посредством ампутации головы. Удлинение сроков переделов есть один из признаков предстоящего разложения общины. Всюду, где эта форма землевладения исчезла под напором возрастающего индивидуализма, исчезновение ее совершалось путем довольно продолжительного процесса приспособления *общины* к народившимся потребностям в *индивидуальной* недвижимой собственности.

* «Сборник стат. свед.», т. IV, стр. 200.
** Ibid., стр. 158. [Там же, стр. 158.]

Фактические отношения здесь, как и везде, опережали *юридические*: земля, составлявшая собственность целой общины, все дольше и дольше оставалась в руках данного, обрабатывавшего ее семейства, пока, наконец, удлинение сроков переделов не подготовляло почву для полного устранения отживших правовых норм. Причина этого явления очень понятна и легко обнаруживается при сколько-нибудь внимательном изучении процесса индивидуализации недвижимой собственности.

Деревенская община представляет собою не более, как *одну из ступеней разложения первобытного коммунизма**. Коллективная собственность на землю не могла не возникнуть в тех обществах, которые не знали никаких других видов собственности. «Историк-этнограф,— справедливо говорит г. Ковалевский,— станет искать древнейших форм общения имуществ не у осевших уже племен, а у бродячих звероловов и рыболовов и видеть *в общинном землевладении* первых *не более, как перенесение на недвижимое имущество тех правовых идей* и *учреждений*, которые под гнетом необходимости возникли у отдельных племен в ту эпоху, когда единственным средством к пропитанию было занятие звериным и рыбным промыслами»**. Таким образом, относящиеся к *движимой* собственности «правовые идеи и учреждения» оказывали решающее влияние на характер собственности *недвижимой*. Это влияние не только не ослабело, но еще более возросло в то́ время, когда движимая собственность приняла индивидуальный характер. Но зато оно приняло теперь противоположное направление. Прежде движимая собственность стремилась придать недвижимой коллективный характер, потому что сама она принадлежала не отдельным лицам, а целому племени. Теперь, наоборот, она подрывает *общинную* недвижимую собственность, потому что сама она принадлежит не целой общине, а отдельным лицам. И это несомненное влияние движимой собственности на недвижимую с особенною силою сказывается там, где, как в земледелии, самая сущность хозяйственного предприятия требует одновременного употребления в дело объектов как частной, так и коллективной собственности. Хлебопашцу нужна, во-первых, земля, поступающая в его пользование лишь на известное время, а во-вторых,— удобрение, семена́, рабочий скот и орудия труда, составляющие его частную собственность. В этой-то точке соприкосновения двух родов собственности разлагающее влияние индивидуализма достигает наивысшей степени, и победа тем скорее клонится на его сторону, чем более возрастает в земледельческой куль-

* [Примечание к изданию 1905 г.] Повторяю, теперь уже доказано фискальное происхождение нашей общины.

** «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения», стр. 27.

туре значение предметов движимой (частной) собственности, т. е. чем более труда, удобрения и ухода требует данная категория общинных земель. Вот почему огороды и вообще приусадебные земли, подвергающиеся наиболее старательной обработке, раньше других переходят в подворно-наследственное владение, между тем как дольше других в общинной собственности остаются выгоны и пустоши, требующие разве лишь огораживания для охраны пасущегося на них скота. Между этими двумя крайностями другие общинные угодья располагаются в порядке возрастающей или убывающей сложности их обработки.

Таким образом, удлинение сроков переделов есть естественное следствие возрастающей тщательности в обработке земельных угодий.

Вот несколько примеров в пояснение сказанного.

В Заозерской сельской общине (Новгородской губ.) «все пахотные поля разделяются на два вида — 1) *степенные поля* и 2) пашни». Первые переходят от одного домохозяина к другому только во время коренных переделов, происходящих только при ревизии; поля второго рода, *пашни*, «каждый год под осень делятся между домохозяевами». Это различие обусловливается тем обстоятельством, что «*степенные поля* удобряются обыкновенно навозом» и «крестьяне довольны большими промежутками времени от передела до передела», потому что, по их собственным словам, «нужно получить свою пользу от земли, *а то на кой черт я буду хорошо работать на своей полосе, если завтра другому отдай*». Более тщательная обработка ведет к большей продолжительности владения, которая в свою очередь естественно распространяется и на другие виды общинных угодий, почему-либо имеющие в глазах крестьян большую ценность, хотя и не требующие никаких специальных затрат на свою обработку. В той же Заозерской общине сенокосы, как и поля, подразделяются на несколько разрядов, причем сенокосы лучшего разряда, «обширные поемные луга» по реке Хоринке, «поступают только в коренной передел»*.

То же самое и еще более рельефно выраженное явление мы встречаем в Торховской общине Тульской губернии. *Те из домохозяев этой общины, «которые удобряют свои полосы, крепко за них держатся и только в крайнем случае решаются уступить их другому домохозяину»*.

В Михайловском уезде Рязанской губернии «крестьяне не делят навозных полей».

---

* См. «Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины», издание Вольного Экономического и Русского Географического Обществ, С.-Петербург 1880, стр. 257—265.

В Мценском уезде Орловской губернии «при переделах одну полосу земли оставляют неделимою, чтобы ее каждый мог удабривать. Это называется навозниками. Такого навозника, никогда не переделяемого, приходится на крестьянина сажен 5».

В Курмышском уезде Симбирской губ. «в последние годы (писано в начале семидесятых годов) переделы полей делаются на более долгие сроки, вследствие чего земледелие улучшается и удобрение полей навозом входит в общее употребление»*.

Связь между удлинением сроков переделов и улучшением обработки полей выясняется вышеприведенными примерами до очевидности. Не остается никакого сомнения в том, что домохозяева очень неохотно расстаются с землей, обработка которой потребовала от них каких-нибудь специальных затрат. Это стремление к возможно более продолжительному удержанию в своих руках раз полученной в надел полосы значительно ослабело бы, конечно, если бы все члены общины имели материальную возможность одинаково удобрять свои поля. «Если бы все или, по крайней мере, значительное большинство дворов одинаково исправно могли бы заниматься хлебопашеством, то большой разницы между полосами не могло бы быть, и общие переделы полей были бы ни для кого не обременительны»,— говорили г. Орлову крестьяне Московской губернии. Но такое равенство само по себе очень непрочно в сельской общине, где на *мирской земле ведется подворное хозяйство*, где каждый самостоятельный общинник на свой собственный страх и риск обрабатывает полученную им в надел землю. Количество скота, качество сельскохозяйственных орудий, рабочие силы семьи представляют собою переменные величины, значительно разнообразящие доходы отдельных дворов. Развитие промышленности вокруг или внутри общины открывает новые пути для заработка, но вместе с тем и новые источники неравенства. Один двор совсем не имеет возможности «работать на стороне», другой получает оттуда значительную часть своего дохода. Один домохозяин, занимаясь кустарной промышленностью, становится «мастерком», эксплуататором членов своей собственной общины, другому суждено попасть в более многочисленный разряд эксплуатируемых. Все это, разумеется, отражается на хозяйственной способности различных дворов. Наконец, не все дворы переносят с одинаковой легкостью гнет государственных налогов. Таким-то образом община распадается на «красную» и «холодную» стороны — на слой богатых, «хозяйственных мужичков» и слой бедняков, превращающихся

* «Доклад сельскохозяйственной комиссии», Приложение I, отд. I, глава 2, Общинное и участковое пользование землею.

мало-помалу в «пустырников». Тогда переделы становятся в высшей степени невыгодными для исправных хозяев. Последним приходится «трудиться не на себя, а на своих малосильных и неисправных соседей». Само собою понятно, что зажиточные крестьяне стараются избежать этой печальной для них необходимости; они начинают очень несочувственно относиться к переделам. Мы можем сказать поэтому, что *неравенство, необходимо возникающее в общине, в известный более или менее ранний период ее существования также необходимо ведет к удлинению сроков переделов.*

Но на этом дело не останавливается. С удлинением сроков переделов неравенство между общинниками не только не исчезает, но, напротив, еще более усиливается. Домохозяева, имеющие возможность лучше обрабатывать свои наделы, не боятся теперь, что земля их «завтра» же перейдет в другие руки. Они возделывают ее с большим старанием, не останавливаются перед затратами на ее улучшение. Эти заботы, естественно, вознаграждаются лучшими урожаями. Хорошо обработанная полоса исправного домохозяина приносит больший доход, чем еле вспаханные наделы деревенской «черноты»*. Благодаря этому в общине повторяется старая, но вечно новая история, рассказанная в притче о талантах: исправные домохозяева становятся еще «исправнее», бедняки — еще беднее. Зажиточные домохозяева образуют между собою оборонительный и наступательный союз против «черноты», за которой остается еще право голоса при решении мирских дел и которая может потребовать переверстки. Желая во что бы то ни стало сохранить за собою лучше обработанные полосы общинной земли и не решаясь или не будучи в состоянии установить подворно-наследственное владение, зажиточные крестьяне прибегают к следующей, весьма остроумной мере. Они выделяют свои земли в особый участок, из которого наделы отводятся лишь исправным домохозяевам. «Мирское поле разбивается на две неравные части: одна, состоящая из лучших ярусов, идет в надел исправным хлебопашцам и обрабатывается ими; другая, состоящая из худших ярусов, поступает в надел бесхозяйным дворам и лежит в пустырях»**. Бедняки лишаются, таким образом, всякой надежды когда-нибудь получить в свое распоряжение хорошо обработанную землю своих счастливых соседей. Община

* В Спасской волости, Юрьевского уезда, Владим. губ., «при посеве 12 мер ржи на душу нажинают 6 сотен снопов, намолачивают 5 мер с сотни». Таков средний урожай. В частности, он неодинаков у крестьян различной степени благосостояния. Самый бо̀льший урожай бывает «у зажиточных крестьян — по 10 сотен снопов на душу, умолот *6 мер с сотни*», самый меньший «у бобылок — 200—300 снопов, по *3—4 меры* умолота». *Пругавин*, «Сельская община» и т. д., стр. 15.

** *Орлов*, «Формы крестьянского землевладения», стр. 55.

радикально изменяет свой характер: из оплота и опоры беднейших своих членов она становится источником окончательного их разорения. *Удлинение сроков переделов, явившееся как результат неравенства между общинниками, ведет лишь к усилению неравенства и окончательному подрыву сельской общины.*

Добиваясь осуществления своих требований, наши реформаторы полагают, что они работают для упрочения «вековых устоев, выдержавших» и проч. и проч., т. е., переводя с народнического языка на общечеловеческий,— для сохранения общинного землевладения. Но жизнь готовит им немало самых неприятных неожиданностей. Увеличение наделов и уменьшение податей приведет к тому, что крестьяне станут «дорожить» землею; а там, где ею «дорожат», не любят переделов и стремятся удлинять их сроки; а там, где удлиняются сроки переделов, возрастает неравенство между общинниками, крестьяне исподволь и самою логикою вещей подготовляются к подворно-наследственному владению. Словом, мера, рекомендуемая как средство сохранения общины, только увеличит ту неустойчивость ее равновесия, которая и теперь уже поражает беспристрастного наблюдателя; эта мера будет настоящим подарком данайцев для общины. Нужно сознаться, что только с помощью очень пылкой фантазии и довольно крупной дозы невежества можно строить какие-нибудь реформаторские планы на шатком основании бытовой формы, находящейся в таком безвыходном и противоречивом положении.

Противоречия, свойственные данной социальной форме, неизбежным и роковым образом отражаются на образе мыслей и на поведении ее сторонников. Наши народники-легалисты, столь плодовитые на всякого рода рецепты для поддержания и упрочения «вековых устоев русского народного быта», не замечают, что фактически они все более и более становятся выразителями интересов той части крестьянства, которая является представительницей индивидуалистического принципа и кулацкой наживы.

Толки о народном кредите и умиление перед так называемыми «мирскими» арендами помещичьих земель могут служить новыми примерами близорукого отношения к интересам общины. В сущности, как мирская аренда, так и мелкий поземельный кредит нисколько не упрочивают дорогих нашим народникам «устоев» и даже прямо подрывают общинный принцип. Мы еще вернемся к этому предмету, но прежде считаем нужным покончить с другими, уже затронутыми нами причинами разложения общины.

Мы знаем уже, что крестьяне стоят за удлинение сроков переделов мирской земли в интересах лучшей ее обработки.

Они не хотят *«хорошо работать»* на той полосе, которая может скоро перейти в чужие руки. Хорошая обработка земли предполагает затрату не только живого труда работника, но и мертвых продуктов его прошлого труда, тех средств производства, которые в буржуазной экономии носят название капитала.

Эти затраты «капитала» окупаются в более или менее продолжительный период времени. Одни уже через год или через несколько лет сполна возвращаются собственнику в виде увеличенного дохода с его земли; другие требуют, напротив, весьма продолжительного времени для своего оборота. Первые называются затратами оборотного, вторые — затратами постоянного капитала. Само собою понятно, что чем более будут возрастать затраты постоянного капитала в крестьянском земледелии, тем более будет усиливаться у богатых и зажиточных домохозяев стремление удерживать свои наделы в течение возможно более длинного срока. Унаваживание земли — не бог знает какая затрата, а между тем мы видим, что и оно уже вызывает у некоторой части нашего крестьянства враждебное отношение к переделам. «Это дурно, потому: у меня три коровы, а у него один петух»,— отзываются о переверстках земли крестьяне Сенгилевской волости[1] Юрьевского уезда*. Что же будет со введением более рациональных способов хозяйства, интенсивной культуры, многопольной системы? Общинное землевладение, несомненно, явится серьезным препятствием для их упрочения. Оно и теперь уже ведет к таким ненормальным явлениям, как отказ от удобрения пахотных полей. В Калужской губ. некоторые «крестьяне почти все удобрение вывозят на конопляники, а поля свои очень мало удобряют из опасения, что при переделе удобренная полоса перейдет к другому хозяину». В Московской губ. «вывозка навоза на пашню останавливается года за 3 до передела». В Кинешемском уезде Костромской губ. «есть примеры, что зажиточные крестьяне продают накопленное удобрение», не решаясь, по указанным причинам, вывозить его в поле. В Тульской губ. «у крестьян, не вышедших еще на выкуп и остающихся до времени на оброчной повинности, поля с каждым годом приходят к истощению, по случаю неудобрения, ибо навоз не вывозят на поля уже десятый год и хранят его до раздела земли». Наконец, в Сызранском уезде Симбирской губ. «из многих сведений о сдаточных ценах явствует, что наемная цена земли при общинном землевладении (при сдаче целыми наделами), в среднем выводе, вдвое ниже наемной цены земли, находящейся в личной собственности, при подворном владении. Это факт,

* *Пругавин*, «Сельская община», стр. 40—41.

не подлежащий сомнению; удостовериться в этом легко из книг, сделок и договоров в волостных правлениях.

Объясняется он тем, что просто самая обработка земли при тех незначительных делянках, которые приходятся на долю каждого домохозяина, весьма неудобна; факт этот вполне сознается наиболее зажиточной и развитой частью крестьянского населения, и он вызвал, с своей стороны, два явления, которые следует признать самыми характеристичными для определения настоящего положения крестьянского землевладения. Во-первых, в некоторых селениях (Кравкове, Головине, части сел Федрина и Загарина) состоялись приговоры о разделении общинной земли на подворные участки. Во-вторых, в весьма многих селениях отдельные домохозяева вносят выкуп за свои наделы и требуют выдела их из общинной земли. Подобные случаи встречаются в селах Репьевке, Самойкине, Окуловке и многих других; они встречались бы гораздо чаще, если бы было поболее порядка в крестьянском управлении, теперь же некоторая неясность закона, усиливаемая еще недостатками крестьянского управления, невольно задерживает случаи выкупа»*.

Но этим не исчерпываются неудобства общинного землевладения. Связанная с ним обязательность севооборота также немало затрудняет усовершенствование земледелия.

Возможны ли радикальные улучшения земледелия, например, в Торховской общине Тульской губ., где «*ни огораживать своих полей, ни изменять системы полеводства не дозволяется*», или в Погореловской общине Костромской губ., где «ведется трехпольная, *обязательная для всех*, система полеводства»? Такие общины вовсе не составляют исключения; напротив, существующие в них порядки могут быть признаны общим правилом, основанным на том простом соображении, что в случае огораживания полей или изменения системы полеводства каким-нибудь членом общины «пришлось бы для одного всем стесниться в выпуске скота на пар и на жнивье»**. По заявлению старшины и крестьян Тихоновской волости Калужского уезда, «ни одна хозяйственная работа не может быть выполнена так, как бы желательно было отдельному домохозяину: троить пар, когда все только двоят, ему не позволят, потому что пар служит выгоном для скота; посеять озимую рожь раньше других он по той же причине не может; начать сенокос он должен тоже в одно время с другими, ибо косить нельзя до раздела покосов, а косить после других нельзя, потому что перегонят с парового поля скот; и так решительно

* «Доклад» сельскохозяйственной комиссии, прилож. I, отд. I, гл. 2: условия хозяйства крестьян.

** «Сборник материалов для изучения сельской поземельной общины», стр. 161 и 234.

во всех работах встречаются подобные препятствия». Нечего и говорить о введении новых культурных растений. Это невозможно, если они «высеваются позже наших растений, по снятии которых мирской скот все вытопчет»*. Поэтому можно сказать, что совершенно неизбежна борьба между общиною, с одной стороны, и общинниками, видящими выгоду в изменении системы полеводства *и имеющими необходимые для того* средства. И нетрудно предсказать, на чью сторону склонится победа: «богатый бедного всегда засилит»,— говорят крестьяне; в данном же случае богатое меньшинство будет «засиливать» бедняков с помощью самого страшного оружия, какое когда-либо создавалось историей, т. е. с помощью усовершенствованных средств производства.

Много бумаги исписано было нашими народниками для доказательства того положения, что община сама по себе, т. е. по сущности лежащего в ее основе принципа, не враждебна никаким усовершенствованиям в земледелии. Стоит только всем членам данной общины взяться за такие усовершенствования, а еще лучше — ввести коллективную обработку полей, говорили они, и дело не только не затруднится, но, напротив, будет значительно облегчено отсутствием частной собственности на землю. Это, конечно, справедливо, но ведь мало ли *возможностей*, переход которых в *действительность* мыслим лишь при известных, *невозможных* в данное время условиях?

Ах, кабы на цветы да не морозы,
И зимой бы цветы расцветали!—

справедливо говорит песня. Но возможно ли, чтобы в нашем климате зимой не было морозов? Нет? Ну так и цветы не расцветут зимою иначе как в теплицах. Наши крестьяне *могли бы* есть устрицы и запивать их шампанским, *если бы... если бы* имели для этого средства. Неотвязный вопрос о средствах всегда был холодной водою, охлаждавшей порывы пылкой маниловской фантазии. Если бы *все* наши крестьяне имели средства не только для обработки своих полей по усовершенствованным системам, но просто для поддержания традиционного трехпольного хозяйства, то у нас не было бы и того аграрного вопроса, над решением которого так усердно и так безуспешно трудятся гг. народники. Действительность говорит, что таких средств у огромной части нашего крестьянства нет, а раз их нет, то ни отдельным домохозяевам, ни всему государству нет ни охоты, ни основания откладывать улучшение земледельческой культуры до тех пор, пока «поправится» большинство общинников: ведь наша допотопная соха и без того

* «Доклад». Услов. хоз. кр.

уже довольно подгадила нам в борьбе за рынок, хотя бы с американцами, не откладывающими употребления паровых плугов до золотого века братства и равенства.

Мы можем сказать, следовательно, что *введение усовершенствованных способов земледелия явится новым фактором разложения нашей общины*, если только каким-нибудь чудом не исчезнет неравенство, уже существующее в современной, «пореформенной» деревне. Но о чудесах ниже.

Что же такое, однако, это усовершенствованное земледелие? Представляет ли оно собою отрицательное условие общественного развития, продукт окружающих земледельца неблагоприятных влияний или, напротив, является оно результатом устранения этих неблагоприятных влияний, следствием повышения уровня материального благосостояния крестьян? Нам кажется, что второе предположение вернее первого. Теперь большинство крестьян очень бедно, а круговая порука грозит разорением даже зажиточному их меньшинству. Понятно, что им теперь не до интенсивной культуры. Но поставьте их в лучшие условия, снимите давящий их податной гнет — и сама круговая порука перестанет быть грозою богатых крестьян: меньше несостоятельных общинников — меньше и ответственности за них. Уверенная в своем будущем, зажиточная часть крестьянства задумается о серьезных улучшениях в земледелии. Но тогда-то и столкнется она с общиной, тогда-то и придется вступить ей с нею в смертельную борьбу. Перед нами опять вырастает, следовательно, тот вывод, что улучшение материального благосостояния крестьян увеличит неустойчивость общинного землевладения, сделает более частым явление, и теперь уже встречающееся, например, в Тамбовской губ., где «богатеющие крестьяне заводят владение участковое, а пока они бедны, держатся владения общинного, с переделом полей»*. Плох, плох наш больной! Он истощен теперь до такой степени, что разлагается заживо, и в то же время все питательные вещества, рекомендуемые нашими легальными народниками-гомеопатами как средство восстановления его сил, могут только ускорить начавшееся разложение.

Но не пора ли нам кончить с общиной? Не указаны ли уже нами все факторы ее разложения? О нет! Таких факторов много, очень много. Все принципы современного хозяйства, все пружины современной экономической жизни находятся в непримиримой вражде с общиною. Вследствие этого надеяться на ее дальнейшее самостоятельное «развитие» так же странно, как странно надеяться на долговечность и дальнейшее размножение вытащенной на берег рыбы. Дело не в том, на какой

* «Доклад» С. К. Пр. I, отд. II, стр. 178.

крюк посажена рыба, а в том — приспособлены ли ее дыхательные органы к окружающей атмосфере. Атмосфера же современного денежного хозяйства убивает нашу архаическую форму землевладения, подкапывает ее в самом корне. Хотите иллюстраций? Вот они.

Мы видели уже, как разрушительно влияет денежное хозяйство на семейную общину. Поищем теперь примера влияния его на сельскую общину, собственно так называемую.

5. ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вот перед нами выкупная операция, долженствующая подарить Россию новым сословием крестьян-собственников. Некоторые общины уже успели выкупить свои земли. Как же отразилось это на их внутреннем складе?

«Еще в Сборнике статистических сведений по Тамбовской губернии,— говорит г. Л. С. Личков*,— между прочим, указано было В. И. Орловым на то, что система *выкупа земель чрезвычайно сильно влияет на уничтожение между крестьянами земельных переделов*, утверждая и распространяя в крестьянстве взгляды на выкупаемую землю, как на *личную, неотъемлемую их собственность*... Такое же явление мне и моим товарищам по собиранию статистических сведений удалось подметить и в Рязанском уезде».

Нужно сознаться, что г. Личкову удалось подметить в высшей степени любопытное и поучительное явление. «В Рязанском уезде,— говорит он,— состоящие на выкупе крестьяне *совсем не переделяют* своих земель в тех общинах, *где землею дорожат*, тогда как временнообязанные, и особенно государственные, производят земельные переделы. Собственники же делят землю только там, где землей не дорожат, т. е. где приходится делить в сущности не землю, а приносимые ею тягости... Весьма характерно, что во всех выкупных общинах, где земля поделена по живым душам, распределение это сделано *не после, а до* или *при* самом выходе на выкуп (*обыкновенно с тем, чтобы никогда уже более не делить*). После же выхода на выкуп *ни в одной общине*, за исключением тех, где плохая земля только обременяет крестьян,— ни в одной, говорю я, не было передела земли, несмотря на явную неравномерность в ее распределении. Как ни прискорбно, а приходится все-таки признать как этот, так и другие факты, *характеризующие совсем не мирское настроение крестьянских интересов*,— приходится потому, что

* См. его статью «Выкупная операция, как разрушитель общины», «Дело» № 11, 1881.

всякому факту надо глядеть прямо в глаза, не прикрашивая его вредящими делу фразами».

Тенденция выкупленных крестьянами земель к переходу в частную, вернее — подворную, собственность замечается не в одной только Рязанской губернии. То же явление обнаруживается и в других местностях.

В Крестецком уезде Новгородской губ. «около половины бывших помещичьих крестьян, вышедших на выкуп, мирским приговором определили разделить всю землю чересполосно, по душам, а переделы навсегда уничтожить». Такие же случаи указаны «Докладом сельскохозяйственной комиссии» и для Калужской губернии. В деревне Старухине, Тульской губернии, «общинная земля не переделялась со времени реформы». В случае же частных переверсток число душ, «получивших надел при реформе», служит нормой для дележа. Даже «при разделе *семьи* считаются те же души, *не принимая во внимание малолетних*. Усадебная земля совсем не переделяется и переходит к семье». Общинный принцип сделал, как мы видим, немало уступок индивидуализму в этой деревне крестьян-*собственников*, несмотря на то, что, по словам г-жи Ел. Якушкиной, они видят в общинном землевладении «единственное средство против обезземеления». Объективная логика вещей оказывается сильнее субъективной логики крестьянина. Но здесь между этими родами логики все-таки происходит еще борьба, существует разногласие, а вот в Борокской общине (Псковской губ.), состоящей на выкупе с 1864 года, субъективная логика большинства давно уже заключила самый тесный союз с объективной логикой денежного хозяйства. На требование бедняками нового передела им отвечают, что «хотя ныне владеющие лишними наделами владеют ими и не по праву (не по числу душ), но все-таки они очистили эти наделы податью (выкупные платежи), а следовательно, и несправедливо было бы взять от них эти наделы»*. В другой деревне той же местности произошел такой характерный случай: «один крестьянин принял подкидыша и просил мир нарезать в общем поле надел; тогда приемный отец выкупил этот участок за 100 руб., т. е. *исключил его навсегда из передела*». Выкуп земли и здесь оказался враждебным общинному землевладению.

Этот случай переводит нас к вопросу о выкупе надела не целым миром, а отдельными его членами. Такая операция допускается законом и нередко имеет место в действительности. Иногда крестьяне, окончательно выкупившие свой надел, продолжают владеть им на прежнем мирском начале, но иногда они противятся переделам, и тогда мир принужден считаться с

* См. названный выше «Сборник», статью г. *П. Зиновьева*, стр. 308.

ними, как с собственниками. В селе Сорогужине, Влад. губ., Юрьевского уезда, «есть три дома полных собственников, окончательно выкупивших свой надел, из них двое безусловно согласились на коренной передел со всеми его последствиями (перемена места по жребию, уменьшение земельных участков и т. п.), а один потребовал добавления своего надела, и мир отвел ему недостающую землю прирезкою с краев каждого поля»*. В д. Хорошевке и с. Николаевском, той же губернии, «есть полные собственники, и мир намерен им *выделить*, хотя и чересполосно, *полный надел* в том размере, как они выкупили его»**. Иногда, наоборот, мир препятствует выделу собственников, и тогда самый выкуп замедляется. Так, например, в Тамбовской губ. «выкупить отдельно свои наделы многие крестьяне желают, но общества не допускают такого выкупа, чтобы не освободить богатых крестьян от круговой поруки». Иногда выкупившим свои наделы домохозяевам мир отводит отдаленные и неудобные участки. Вот почему в Харьковской губ. «крестьяне гораздо более покупают чужих земель, чем выкупают свои»***

Этих фактов достаточно, чтобы показать, до какой степени неустойчивым становится равновесие общинных отношений благодаря выкупной операции. Правда, окончательный юридический переход к подворно-наследственному владению не только не является необходимым *непосредственным* результатом выкупа, но, наоборот, составляет редкое относительно явление. Крестьянин консервативен вообще, а в своих отношениях к земле в особенности. Но это не изменяет дела. Взаимные отношения членов выкупившей свои земли общины только по названию напоминают собою деревенский «мир» доброго старого времени — времени натурального хозяйства, крепостного права и отсутствия всяких путей сообщения. В основу распределения земли кладется уже не потребность в ней того или другого хозяина, не количество рабочих сил в его семье, наконец, даже не налоги и не повинности. Новые птицы поют новые песни. Крестьяне-собственники не любят переделов и не смущаются нуждою своих соседей. Деревенские старики охают и жалуются на «избалованность» народа, интеллигенция вздыхает еще усерднее, и, с сокрушением видя, что «повреждение нравов» неудержимо проникает в деревню, она надеется лишь на «революцию», которая все поправит, все загладит и возвратит общине свежесть времен Гостомысла. Но что же удивительного в этом явлении, столь печальном для деревенских «старичков» и для столичных

---

* *Пругавин*, «Сельская община», стр. 19.
** Ibid., стр. 48. [Там же, стр. 48.]
*** «Доклад» С. К. Отд. II.

народников? Ровно ничего. «Нравы» не испортились, они только получили другую экономическую подкладку. В прежнее время земля была царская, «божья», какая вам угодно, но только не купленная. Крестьянину достаточно было добиться принятия его в общину, чтобы получить на пользование землею право, ограниченное, иногда, лишь пределами его собственной рабочей силы. А община и вовсе была господином занятой ею территории, она распоряжалась всюду, куда ее топор, коса и соха ходили. Крепостное право сковало и принизило земледельца, но не изменило его отношения к земле. «Мы ваши, а земля наша»,— говорили крестьяне помещикам. Но вот пришло время, когда крестьяне перестали быть барскими, но зато и земля перестала быть крестьянскою. Ее нужно выкупать, платить за нее деньги. Что такое деньги? Это прежде всего товар, и притом совершенно особенного свойства, товар, за который покупаются все другие товары, который служит мерилом и выражением их стоимости. Само собою понятно, что этот особенный товар не может быть исключен из действия общих законов товарного производства и обращения. Напротив, он является носителем этих законов, он распространяет их действие всюду, куда забрасывает его случайность той или другой меновой сделки. Но каковы же законы товарного производства? Что такое товар и откуда он берется? Товарное производство развивается лишь в том обществе, где средства, а следовательно, и продукты производства составляют частную собственность производителя; без этого условия никакое разделение труда недостаточно было бы для его возникновения. Таким образом, товарное производство представляет собою следствие развития *частной собственности*. Деньги, естественно вырастающие из обмена товаров, так же точно предполагают *частного собственника*, как предполагает его, говоря вообще, весь процесс товарного производства. Отдельные члены общины могут приобрести деньги лишь в обмен за те или другие предметы их *частной собственности*, хотя бы собственностью этого рода и являлись продукты обработки *общинной* земли. Эти-то деньги крестьянин и должен платить теперь в виде выкупа.

Но «деньги родят деньги», между прочим и в том смысле, что купленные за них средства производства и предметы обработки сами составляют уже *меновую стоимость*, эквивалентную заплаченной за них денежной сумме и способную к новому превращению в деньги, по желанию приобретателя. Следовательно, предметы, купленные тем или другим лицом, должны составлять его частную собственность. Такова бесспорная логика денежного хозяйства. Эта-то логика и вступает в борьбу с традицией общинного землевладения. Выкупная операция приводит крестьянский мир к противоречию, разреши-

мому лишь посредством окончательного разрушения общины. В силу привычки, предания, а частью и сознательного убеждения он стремится сохранить старый *коллективный* принцип *владения* землею, после того как способ *приобретения* этой земли стал всецело основываться на новом, денежном, *индивидуалистическом* принципе. Само собою понятно, что стремление это неосуществимо, что невозможно передать в коллективную собственность мира предметов, приобретенных в обмен за частную собственность отдельных домохозяев.

«Хотя по *Положению о выкупе* крестьянские наделы выкупаются в общинную собственность,— говорит г. Личков,— тем не менее уплата выкупа, по обычаю (т. е. в силу фактов, которые всегда сильнее всяких юридических норм, тем более всяких юридических противоречий), в большинстве общин производится *членами* общины, *сообразно количеству* земли. По мере уплаты величина выкупной платы с каждым годом уменьшается. Последствием этого может оказаться вот что: усердно платившие выкуп, иногда даже в течение двух-трех десятков лет, могут лишиться при переделе значительной доли выкупленной ими земли, и, наоборот, не платившие ничего могут получить землю даром. Иными словами, каждый новый взнос части выкупной суммы, повидимому увеличивая собою права платящего на выкупаемую землю, *тем самым* приближает его к тому времени, когда он фактически *лишится* этих потом и кровью заработанных прав при первом же переделе земель общины. Понятно, что мужик не мог не заметить этого практического противоречия». Мы уже видели, что противоречие это разрешается уничтожением переделов и закреплением земли за теми членами общины, которые платили за нее выкуп.

К январю 1883 года выкуплено было 20 353 327 дес. крестьянской земли. А так как во владении крестьян всей земли считается 120 628 246 дес., то на основании предыдущего мы можем сказать, что выкупная операция успела уже поставить в условия, несовместимые с общинным принципом, *шестую часть* крестьянских земель.

До какой степени несовместим принцип общинного землевладения с *выкупом* или покупкой земли на деньги — ясно из следующего. В Московской губ. некоторые крестьянские общества, помимо надельной земли, имеют еще «дарственную землю», т. е. полученную в дар при выходе на волю от своих бывших помещиков. За исключением одной только деревни, «владение дарственной землею везде общинное». В тех же случаях, когда крестьянские общества *покупают* помещичьи земли, «владение доставшимися каждому двору долями устанавливается всегда подворно-наследственное, при котором каждый двор получает право свободного распоряжения и отчуждения

части или всей своей доли посредством продажи, дарения и т. п. Таким образом, размер доли каждого двора, участвовавшего в покупке земли, остается постоянным»*.

Точно так же и в Псковской губ.: в тех случаях, когда крестьяне «приобретают имения, чему есть немало примеров», владение устанавливается «необщинное».

Но и этим дело не ограничивается. Г-н Николай — он справедливо замечает, что «выкуп вынуждает производителя обращать все бо́льшую и бо́льшую часть продукта своего труда в товар и, следовательно, все более и более упрочивать основы капиталистического хозяйства».

Из сказанного ясно, до какой степени наивны народники, видящие в развитии мелкого поземельного кредита средство упрочения общины и борьбы против капитализма. По своему обыкновению, они рекомендуют как раз те меры, которые могут только ускорить торжество ненавистных им буржуазных отношений. С одной стороны, «все проекты, стремящиеся улучшить материальное положение производителя, основанные на кредите, не только не могут улучшить этого положения, но, совсем напротив, улучшая положение немногих, ухудшают положение большинства». С другой стороны, купленные земли всегда, а выкупленные очень часто — и чем лучше земля, тем чаще — переходят в личное владение приобретателя.

В случае аренды помещичьих или казенных земель крестьянский мир также превращается в компанию ответственных друг за друга пайщиков, в которой распределение арендованной земли совершается сообразно количеству внесенных денег. При чем же здесь община, при чем «вековые устои»?

Впрочем, не одни только мирные народники умиляются перед фактами весьма сомнительного значения. Таким «прекраснодушием» могут похвалиться даже и террористы. Г. Тихомиров, например, в своей войне против людей, убежденных в «неизбежности русского капитализма», указывает на то обстоятельство, что «количество земель, принадлежащих крестьянам, медленно, но постоянно возрастает». Он считает, повидимому, этот факт настолько многознаменательным, что не сопровождает его никакими комментариями. Но после всего сказанного нами о значении денежного хозяйства в истории разложения общины мы имеем право считать возрастание крестьянского землевладения фактом, по крайней мере, очень двусмысленным. Действительность вполне оправдывает наш скептицизм.

В Московской губернии количество купленных крестьянами земель «увеличилось за 12 лет с 17 680 десятин до 59 741». Мы видим здесь, стало быть, именно указываемое г. Тихомировым «медленное, но постоянное» возрастание. Прекрасно.

* *Орлов*, «Формы крестьянского землевладения в Москов. губ.».

Как же распределяется эта новая земля между крестьянами? Из 59 741 десятины «31 858 дес. принадлежит *всего 69 владельцам*, т. е. выходит из размеров крестьянского хозяйства, а 10 428 десятин состоит из владений, *превышающих 100 десятин*»*. Как понимать такого рода «крестьянское землевладение»? Доказывает ли оно, что буржуазный строй не может иметь места в России? О г. Тихомирове можно сказать в этом случае то же, что говорил когда-то Прудон об Ад. Смите: он видит и не понимает, он рассказывает и не разумеет смысла своего рассказа!

Теперь пора нам кончать с общиной. Мы изложили свой взгляд на ее историю вообще и на положение ее в России в частности. Мы подтверждали свои слова фактами и примерами, заставляли часто говорить за нас самих народников. Наше исследование по необходимости было бегло и поверхностно. Мы не только не могли перечислить всех подтверждающих нашу мысль и уже замеченных исследователями *явлений*, но пределы нашего труда не позволили нам указать даже на все те очень важные теперь в жизни земледельца тенденции, развитие которых несовместимо с общинным принципом. И, несмотря на все это, мы можем сказать, что наши положения не были голословными. *Приведенных* примеров, *указанных* тенденций совершенно достаточно для защиты наших положений. Серьезное сомнение невозможно. Всякий беспристрастный наблюдатель видит, что наша община переживает тяжелый кризис, что самый этот кризис близится к концу и первобытный аграрный коммунизм готовится уступить место личному или подворному владению. Многоразличны виды этого владения, часто внедряется оно в деревню под покровом привычных общинных отношений. Но старая форма не в силах изменить новое содержание: она сама должна будет примениться к нему или погибнуть окончательно. И этот переворот, совершающийся все с большей и большей интенсивностью, этот процесс разложения, с каждым днем распространяющийся и «вширь», и «вглубь», охватывающий все более и более широкое пространство, вносит коренные изменения в привычки и миросозерцание крестьян. В то время как наши славянофильствующие революционеры утешаются тем соображением, что «три четверти» наших фабричных рабочих «вовсе не пролетарии, а половина работает на фабриках временно и чуть не случайно»**, сами крестьяне отлично сознают, что современная община далеко не такова, как была прежде, и что связь земледельца с землею разрывается все более и более. «Бегут молодые-то, друг мой сладкий, бегут от земли... Город их смущает»,— говорят крестьяне в «Деревенских буднях» г. Златовратского. И действительно,

* *В. В.*, «Судьбы капитализма», стр. 136.

** «Чего нам ждать от революции?», стр. 228 и 236, «В. Н. В.» № 2.

город все более и более подчиняет себе деревню, он вносит в нее свою «цивилизацию», свою погоню за наживою, свой антагонизм между богатыми и бедными; он возвышает одних, принижает других, создает «образованного» кулака и целую армию «воздушного народа», игнорирует иеремиады деревенских старичков и безжалостно вырывает почву из-под ног наших реформаторов и революционеров старого, так сказать, физиократического пошиба. Здесь-то, на отношении к этому процессу коренной переделки наших деревенских «устоев», и выясняется все бессилие того миросозерцания, которое Маркс и Энгельс заклеймили названием *метафизического*. «Для метафизика вещи и их умственные образы, т. е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: да — да, нет — нет, что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует или не существует, для него предмет не может быть самим собою и одновременно быть чем-нибудь другим»[1]. Именно таково миросозерцание и приемы мысли г. Тихомирова. Для него «народ» есть застывшее, неизменное, раз навсегда данное понятие, для него община «существует или не существует», для него крестьянин-общинник «не может быть самим собою и одновременно быть чем-нибудь другим», т. е. в данном случае представителем принципа индивидуализма, невольным, но зато и неудержимым разрушителем общины. Г-н Тихомиров «мыслит законченными непосредственными противоположениями», ему непонятно, как можно признавать полезное действие капитализма и в то же время организовать рабочих для борьбы с ним, как можно отстаивать принцип коллективизма и в то же время видеть торжество прогресса в разложении одного из конкретных проявлений этого принципа. В качестве «человека последовательного и умеющего собою жертвовать» наш метафизик полагает, что людям, убежденным в «исторической неизбежности русского капитализма», остается лишь поступать на службу к «рыцарям первоначального накопления». Его аргументация может быть классическим образчиком метафизического мышления. «Рабочий, способный к классовой диктатуре, почти не существует. Стало быть, политической власти ему не доставишь. Не гораздо ли выгоднее временно совершенно оставить социализм, как бесполезную и вредную помеху ближайшей и необходимой цели?» Г-н Тихомиров не понимает, что рабочий, неспособный к классовой диктатуре, может ежегодно и ежедневно становиться все более и более способным к ней и что рост этой способности в значительной степени зависит от воздействия людей, понявших смысл исторического развития.

Речь нашего автора «состоит из: да — да, нет — нет, что сверх того, то от лукавого».

«Этот способ мышления кажется нам, на первый взгляд, потому вполне верным, что он присущ так называемому здравому смыслу. Но здравый человеческий смысл, почтенный спутник в домашнем обиходе, между четырьмя стенами, переживает крайне удивительные приключения лишь только он пускается в далекий путь исследования»[1].

Мы знаем уже, какие «удивительные приключения» пережил здравый смысл г. Тихомирова во время своих странствований в области посылок: от него не оставалось часто и слабого воспоминания. Но история этого здравого смысла есть в конце концов тоже диалектическая история. Он не существует и существует в одно и то же время. Он разбивается о подводные камни посылок и, несмотря на это, он, как воскресший Рокамболь, снова является во всей красе на более торной дороге умозаключений.

Мы не упустим, конечно, случая опять встретиться с этим веселым спутником. Но теперь нам нужно приостановиться, чтобы запомнить направление пути, уже пройденного нами по инициативе г. Тихомирова.

6. МЕЛКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

Мы видели, что в области обрабатывающей промышленности крупное капиталистическое производство развивается теперь «безостановочно»; что, вооруженное силою капитала и могуществом современной техники, оно все более и более сбивает с позиции, побеждает и покоряет мелких производителей. Мы сказали затем, что к услугам крупного производства всецело готов внутренний рынок, да и на международном для него закрыты далеко не все пути и выходы. Мы заключили отсюда, что в этой сфере не только ближайшее будущее, но и настоящее принадлежит капитализму. Но мы вспомнили, что народники видят в общине несокрушимый оплот против капитализма в нашей стране, где главная доля народного труда обращена до сих пор на земледелие. Тогда мы обратились к общине и постарались изучить ее современное положение. Это изучение привело нас к тому выводу, что община разрушается под гнетом налогов, разлагается под влиянием денежного хозяйства и обнаружившегося в ней неравенства, что во многих местностях России, далекая от своего прежнего назначения охранять и защищать интересы всех своих членов без исключения, она превращается в общину кулаков, разрушение которой принесло бы лишь выгоду закабаленной ими деревенской голи. Не довольствуясь этим результатом, мы постарались определить,

какое значение имели бы те реформы, на которые возлагается так много надежд нашими народолюбцами. Мы убедились, что эти реформы только увеличили бы уже начавшееся в общине разложение и что она ни в каком случае не может служить оплотом против тех условий производства, которые и теперь уже нанесли ей столько неизлечимых ран. Нам остается теперь сказать два слова о мелком крестьянском земледелии, чтобы иметь право сделать свой окончательный вывод по вопросу о капитализме.

Большою ошибкою было бы думать, что так называемая «ликвидация крупного земледелия» спасет нас от капитализма. Во-первых, «ликвидация» эта может оказаться лишь временным, переходным явлением, а во-вторых, само мелкое земледелие стремится принять буржуазный характер. Та же самая американская конкуренция, перед которой пасуют наши крупные землевладельцы, наложит свою печать и на крестьянина. Превращая наше хлебопашество в производство хлебного *товара*, она подчинит все отношения земледельцев неумолимым законам товарного производства. А эти неумолимые законы ведут к тому, что на известной стадии своего развития товарное производство ведет к эксплуатации производителя, создает капиталиста-предпринимателя и пролетария-работника. Таким образом, вопрос о мелком или крупном земледелии сводится для России лишь к вопросу о торжестве крупной или мелкой буржуазии. Старинные основы крестьянского хозяйства не только не упрочатся «ликвидацией крупного земледелия», но, наоборот, еще более пострадают благодаря полному перенесению в крестьянскую среду всех противоречий товарного производства. Крестьянское сословие тем скорее разложится на два враждебных лагеря: эксплуатирующего меньшинства и трудящегося большинства.

7. ВЫВОД

Если после всего сказанного мы еще раз спросим себя — пройдет ли Россия через школу капитализма, то, не колеблясь, можем ответить новым вопросом — почему же бы ей и не окончить той школы, в которую она *уже поступила?*

Все наиболее новые, а потому и наиболее влиятельные течения нашей общественной жизни, все наиболее знаменательные факты в области производства и обмена имеют один несомненный и бесспорный смысл: они не только расчищают дорогу капитализму, но и сами являются необходимыми и в высшей степени важными моментами его развития. *За капитализм* вся динамика нашей общественной жизни, все те силы, которые развиваются при движении социального механизма и, в свою очередь, определяют направление и скорость его движения. *Против*

капитализма лишь более или менее сомнительные интересы некоторой части крестьянства да та сила инерции, которая по временам так больно дает себя чувствовать развитым людям всякой отсталой, земледельческой страны. Но крестьяне недостаточно сильны, чтобы защищать свои действительные интересы; с другой стороны, они часто недостаточно заинтересованы, чтобы энергично отстаивать старые принципы своего общежития. Главный поток русского капитализма пока еще невелик; еще не много таких мест в России, где отношения нанимателя к работнику совершенно соответствовали бы общераспространенному представлению об отношениях труда к капиталу в капиталистическом обществе; но в этот поток со всех сторон направляется такое множество мелких и крупных ручейков, ручьев и речек, что общая масса направляющейся к нему воды огромна, и быстрый, сильный рост потока не подлежит сомнению. Его уже нельзя остановить, еще менее можно его высушить; остается лишь регулировать его течение, если мы не хотим, чтобы он принес нам один только вред, если мы не отказываемся от надежды хотя отчасти подчинить стихийную силу природы разумной деятельности человека.

Но что же делать в таком случае нам, русским социалистам, привыкшим думать, что наше отечество обладает какой-то хартией самобытности, выданной ему историей за никому, впрочем, не известные заслуги?

Нетрудно ответить на этот вопрос.

Все непонятые законы общественного развития действуют с неотразимою силой и слепою жестокостью законов природы. Но узнать тот или другой закон природы или общественного развития — значит уже, во-первых, уметь избегать столкновения с ним, а следовательно, и напрасной траты сил, а во-вторых,— быть в состоянии регулировать его приложение так, чтобы извлекать из него пользу. Эта общая мысль всецело применяется к интересующему нас частному случаю. Нам нужно воспользоваться в интересах революции и трудящегося населения совершающимся в России социально-экономическим переворотом. Для нас не должно остаться потерянным то в высшей степени важное обстоятельство, что социалистическое движение началось у нас уже в то время, когда капитализм был еще в зародыше. Эта особенность русского исторического развития не придумана славянофилами и славянофильствующими революционерами. Она составляет бесспорный, всем известный факт, который принесет огромную пользу делу нашего рабочего класса, если только русские социалисты не растратят своей умственной и нравственной энергии на постройку воздушных замков в стиле удельно-вечевой эпохи.

ГЛАВА IV

КАПИТАЛИЗМ И НАШИ ЗАДАЧИ

1. ХАРАКТЕР ПРЕДСТОЯЩЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

Сказанное в конце предыдущей главы нуждается в пояснении. Самые недвусмысленные взгляды подают повод к ошибочным истолкованиям, если только такие истолкования служат для защиты чьей-нибудь «программы». Мы должны ставить точки над *i*, потому что, не видя таких точек, наши противники могут по «недоразумению» принять *i* за фиту или ижицу. Всегда лучше самому сделать вывод из своих посылок, чем полагаться в этом случае на добрую волю другого. Кроме того, русские программные вопросы до такой степени исключительно приурочивались к нашей «самобытности», что нельзя считать напрасной тратой времени попытку рассмотрения этих вопросов с той точки зрения, с которой *самобытность* оказывается лишь славянофильством, или «без лести преданным»[1], или взбунтовавшимся и перебежавшим в революционный лагерь. Верна или не верна такая точка зрения, правильно или не правильно рассуждают люди, ее держащиеся, — несомненно, во всяком случае, что несправедливо было бы упрекать их в повторении давно уже всем известных и давно уже многим надоевших «теорий».

Итак, что же именно делать «некоторой части социалистов», убедившейся в «исторической неизбежности русского капитализма»? Какую действительную пользу для дела русского рабочего класса можно извлечь из того обстоятельства, что начало социалистического движения почти совпало у нас с падением экономических порядков доброго старого времени? Вот вопросы, на которые мы необходимо должны ответить.

Мы не позабудем этой обязанности. Но слово принадлежит пока не нам; оно осталось, как помните, за г. Тихомировым, и он должен воспользоваться им по всем законам, божеским и человеческим. Мы довольно коротко и с большою для нас пользой ознакомились с общими основаниями его философско-исторической и социально-политической теории. Для вразумления непонимающих и для побиения «несогласномыслящих» г. Тихомиров заставил пройти перед нами старуху-историю,

с ее «невероятными путями», западную Европу, с ее капитализмом, и, наконец, матушку Русь, с ее китайской неподвижностью и поземельной общиной. Он уяснил нам и прошлое и настоящее. Но можем ли мы удовольствоваться этим? Откажемся ли мы заглянуть в будущее?

Что сулит России это будущее?

Нам казалось, что прежде всего — торжество буржуазии и начало политической и экономической эмансипации рабочего класса. Такой исход казался нам самым вероятным ввиду многих и многих фактов. Мы исследовали современное положение нашего народного хозяйства и решили, что не спасут его старинных основ никакие реформы. Но мы рассуждали так, забывая что «история человечества идет подчас самыми невероятными путями». Г-н Тихомиров твердо помнит это основное положение своей философско-исторической теории, и потому в своих экскурсиях в область будущего он не смущается невероятностью изображаемой им картины. Последуем же за ним и посмотрим, не окажется ли народовольская революция действительнее народнических реформ.

На нашей дороге нас ждет, во-первых, очень приятное известие. России предстоит революция, «мы идем к катастрофе». Это очень приятно, хотя, право, невольно чувствуешь страх, когда г. Тихомиров начинает разъяснять смысл и без того грозной картины высоким «штилем» во вкусе старика Державина. Попытки правительства затормозить революционное движение страны «только ускоряют наступление того страшного и торжественного момента, когда Россия с размаху (!) войдет в полосу революционного разрушения, как низвергается река», и пр. Хорошо пишет г. Тихомиров! Но соловья не накормишь баснями, хотя бы это были басни самого дедушки Крылова. Спора нет: «полоса революционного разрушения» была бы счастливой полосой в истории нашего отечества; но нам все-таки интересно узнать, что может принести России революция, что «нас ждет за этой таинственной чертой, где бурлят и пенятся волны исторического потока»?

«Начало социалистической организации»,— отвечает г. Тихомиров, вопреки мнению «некоторых», полагающих, что нас ждет «царство капитализма».

Как игру судьбы постичь! Вот уж поистине невероятная старуха эта история! Водила она, водила «Запад» по всевозможным мытарствам своих «путей» — и все-таки до сих пор еще не развязала его с капиталистическим производством; нас же она оставляла в покое, не двигала с места в течение целых столетий, а теперь сразу хочет перевести в высший класс своей школы. За какие же это добродетели? Не за то ли, что мы все это время смирно сидели и не приставали к ней с теми

нескромными вопросами, на которые такой большой мастер «свободоязычный» Запад?

Впрочем, мы сами начинаем впадать в непозволительное «свободоязычие». Наш скептицизм совсем неуместен ввиду того, что история любит подчас пройтись невероятным путем, как Хлестаков любил иногда «прочесть что-нибудь смешное». Credo, quia absurdum! [1]

Признавая вполне вероятными самые невероятные прихоти взбалмошной старухи, мы все-таки позволим себе спросить — какими средствами обладает история для выполнения обещания, сделанного за нее г. Тихомировым? Через какие страны проходит путь, ведущий нас к «началу социалистической организации»?

Как отвечает на этот вопрос наш автор, что говорит редактируемый им «Вестник»?

Просим читателя не забывать, что программа «Вестника Народной Воли» «охватывает элементы, в некоторой мере нетождественные между собою». Каждый из этих элементов отстаивает свое существование, каждый стремится жить и развиваться, не всегда без ущерба для своего антагониста. Отсюда — противоречия и невозможность составить себе ясное представление о программе этого журнала. Очевидно одно: г. Тихомиров не считает себя связанным не только тем, что говорит его соредактор, но даже и тем, что говорит он сам, в тех случаях, когда соло сменяется дуэтом и к его голосу присоединяется голос почтенного П. Л. Лаврова. Так, например, по словам г. Лаврова, партия «Нар. Воли» «направляет *все свои силы** (курсив наш) против главного врага, мешающего сколько-нибудь рациональному приступу к решению задачи»[2], следующим образом формулированной одним из членов нашей группы**: «помочь нашему рабочему классу выработаться в сознательную общественную силу, восполнить до некоторой степени недостаток его исторического опыта и вместе с ним бороться за освобождение всего трудящегося населения России». Если действительность соответствует тому, что говорит почтенный автор «Исторических Писем», то настоящая задача партии «Народной Воли» сводится к расчищению пути для русской социал-демократии будущего. Вместе с тем роль названной партии оказывается чисто отрицательной. Она не подготовляет элементов для организации русской рабочей партии, но «направляет *все свои силы против главного врага*», мешающего не только решению, но даже и приступу к решению подобной задачи. Какого же

---

* См. «В. Н. В.» № 2, отд. II, стр. 67.

** В. З. [3] в предисловии к переводу брошюры *Ф. Энгельса* «Развитие научного социализма», стр. IX.

врага имеет в виду г. Лавров? Всякий согласится, что таким врагом может быть в настоящее время только абсолютизм, сковывающий все живые силы России; тем более должны признать это народовольцы, не один раз печатно высказавшие ту мысль, что в нашем отечестве не политический строй опирается на известного рода экономические отношения, а, наоборот, эти последние обязаны своим существованием абсолютизму. Но если это так, то «Народная Воля» борется ни более ни менее, как за политическое освобождение своей родины, и «начало социалистической организации России» естественно отодвигается к тому времени, когда русский рабочий класс сложится, наконец, в сознательную общественную силу. Говоря иначе, партия «Народной Воли» есть партия *конституционная* прежде всего и главным, если не исключительным, образом, так как в сторону разрушения абсолютизма она «направляет теперь все свои силы». Кажется так? Или, быть может, «Народная Воля» не отличается таким «пристрастием к конституции»? Но тогда как же понимать деятельность, сводящуюся к борьбе против абсолютизма для «возможного осуществления» в будущем социал-демократической задачи? Некоторые народовольческие писатели действительно не отличаются большим пристрастием к слову *конституция* и уверяют, что партия их стремится к «народоправлению». Но между народоправлением и демократической конституцией разница так же велика, как между мокроступами и калошами, т. е. ограничивается заменой неуклюжего русского слова общепринятым иностранным. Кроме того, во всяком цивилизованном обществе демократия или, если угодно, народоправление опять-таки предполагает хоть некоторую политическую подготовку народа, если только «народоправление» не означает правления кружка людей, спекулирующих на *народную волю*. Значит, и демократическая конституция — цель не столь еще близкая, и достижимая лишь путем сплочения производительного класса в особую демократическую партию. Но у нас в России «главный враг» мешает даже «сколько-нибудь рациональному приступу» к решению социально-политических задач рабочего класса. Значит, долой «врага»! Да здравствует «пристрастие» к политической свободе, а следовательно, и к конституции! Деятельность партии «Народной Воли» приобретает ясный и определенный смысл.

К таким логическим выводам приходим мы, читая библиографическую заметку П. Л. Лаврова. Здесь все ясно, хотя, быть может, и не все симпатично тому или другому читателю. К сожалению, библиографических заметок недостаточно для уяснения тенденций «социально-политического» журнала, и мы коснулись здесь заметки г. Лаврова лишь потому, что она

содержит прямой ответ нашей группе. Руководящие же статьи и непосредственные заявления редакции «Вестника» только запутывают вопрос о действительном направлении этого органа. Возьмите «Объявление» об его издании и прочтите строки, относящиеся к способу осуществления общих целей социализма[1]: вы подумаете, что имеете дело с «убежденными» социал-демократами.— «Эти общие всем социалистам цели,— говорят гг. редакторы,— могут быть достигнуты *лишь одним путем* (заметьте это, читатель!): рабочий класс (городской и сельский) должен *постепенно сплачиваться и организоваться* в общественную силу, соединенную общими интересами и стремлениями к общим целям; эта сила в процессе сплочения должна *постепенно подрывать* существующий экономический и политический порядок, скрепляя вследствие самой борьбы свою организацию и вырастая в могуществе, пока ей удастся окончательно низвергнуть существующий порядок». Авторы «Объявления» прибавляют даже, что «в сознании необходимости этого пути сходятся социалисты-революционеры *всех стран*». Ввиду этого можно думать, что «русский социализм, как он выразился в партии «Народной Воли», есть ни более ни менее, как русская социал-демократия. «Объявление» выясняет, по-видимому, задачи народовольческой партии еще яснее, чем библиографическая заметка г. Лаврова, и еще ближе, чем она подходит ко взглядам «мыслящих социалистов» всех цивилизованных стран. Известно, однако, что русские люди часто имеют две мерки, два критерия для оценки общественных явлений: один для «Запада», а другой для домашнего обихода. Никогда не отказываясь симпатизировать наиболее передовым идеалам «Европы», русский человек часто ухитряется прибавить такое многозначительное «но» к своему исповеданию общечеловеческой веры, что дорогие ему идеалы превращаются в нечто совершенно неузнаваемое. Само собою разумеется, что без такого «но» не обходится и занимающее нас «Объявление»; понятно также, что нельзя сказать ничего решительного о программе «Вестника», пока не совершится трудный переход ее с Запада на Восток. Взглянем же на «Объявление» с этой опасной стороны, и взглянем внимательнее, так как авторы его русские суть и ничто русское им, вероятно, не чуждо.

«Но программа русского социализма,— читаем мы на той же V странице «Объявления»,— в *настоящую* минуту при *данных* условиях не может ограничиться этими общими стремлениями социализма. Перед каждою общественною группою история поставила в наше время эти самые задачи в иной форме, сообразно экономическим, юридическим и культурным условиям среды. Партия Народной Воли убедилась, что перед под-

данными Российской империи эти задачи поставлены теперь неизбежно в форме *необходимости изменения политического строя России* для возможности дальнейшего здорового развития всякой прогрессивной партии, в *том числе* (курсив принадлежит нам) и партии социалистической»... Поэтому «рядом с социалистическими целями, составляющими сущность программы русской социалистической партии, в эту программу входит ближайшая задача: подготовить и ускорить изменение политического строя России».

Нужно сознаться, что уже это первое «но», сопровождающее изложение «общих социалистических целей русской социалистической партии», отличается большою неясностью и неопределенностью. Настоящее уравнение со многими неизвестными! Читатель остается в полном недоумении относительно того, что́ понимает редакция под «изменением политического строя России»? «Народоправление» ли это, упоминаемое гг. Тихомировым и К. Т.[1], или низвержение «главного врага» и т. д., т. е. попросту падение абсолютизма? И почему эта «ближайшая задача» стоит «*рядом* с общими социалистическими целями», а не вытекает из них в порядке логической последовательности? Обо всем этом можно только догадываться. Многие из наших догадок будут вероятны, но ни одна не будет бесспорной. В самом деле, редакция говорит, что желательное для нее «изменение» должно дать «возможность дальнейшего здорового развития всякой прогрессивной партии, в том числе и партии социалистической». Какие же это *другие* «прогрессивные партии»? Очевидно, буржуазные. Но «здоровое развитие» буржуазных партий в области политики немыслимо без соответствующего ему «дальнейшего здорового развития» в сфере экономической. Значит, буржуазное развитие будет прогрессивным для России явлением? Повидимому, именно это выходит из слов редакции. Что касается до нас, то мы, с некоторыми, весьма, впрочем, существенными оговорками, готовы согласиться с этим мнением. Но дело не в нас, а в одном из авторов «Объявления», г. Тихомирове, который, как мы уже знаем, рекомендует своим читателям «не сотворять себе кумира из частного предпринимательского капитала». Из сказанного им о том, что именно «сумеет такого рода капитал сделать для России», выходит, что «дальнейшее здоровое развитие» буржуазных партий будет для нее, пожалуй, чистым убытком. Да и «Объявление» торопится заявить, что социалистическая партия (как и все другие партии, заметим мы мимоходом) считает себя «представительницею истинного и единственно возможного прогресса». Значит, нет никаких других прогрессивных партий? Но тогда при чем же здесь их «дальнейшее здоровое развитие»?

Если, по мнению русской социалистической партии, «изменение политического строя России» должно произойти в интересах прогрессивных партий и в то же время никаких других прогрессивных партий, кроме социалистической, не существует, то названное «изменение» совершится исключительно в интересах этой последней. Другими словами, предстоящая революция должна повести, по крайней мере, к торжеству уже упомянутого «народоправления», т. е. к политическому господству «рабочего класса, городского и сельского». Но ведь «социалисты-революционеры всех стран» сходятся «в сознании» той истины, что рабочий класс может лишь «постепенно подрывать существующий экономический и *политический* порядок», а следовательно, также «постепенно» приближать время своего господства. Точно так же «социалисты-революционеры всех стран» согласны, по словам редакции, в том, что к социалистической революции можно прийти «лишь одним путем» — путем постепенного сплачивания и организации рабочего класса в «общественную силу» и т. д. Может быть, «Вестник Народной Воли» видит в такой организации главную задачу русских социалистов? Но мы знаем уже, что в современной России, по мнению г. Лаврова, существует некий «главный враг», мешающий «сколько-нибудь рациональному приступу к решению такой задачи». А пока не решена эта задача, невозможна и социалистическая революция, невозможно и народоправление. Значит, не их имеет в виду редакция, говоря об «изменении политического строя России»? Но что же, наконец, понимает она под этим таинственным изменением? Не ту ли самую конституцию, «пристрастие» к которой «несколько непонятно» г. Тихомирову? Каким прогрессивным партиям создает «Народная Воля» «возможность дальнейшего здорового развития»? Не партии ли «частного предпринимательского капитала»?

Как все ясно было на «Западе», и как все потемнело на Востоке! И все это затмение получилось благодаря одному только «но», сопровождающему изображение «общих целей социализма». Что за таинственная сила в этом коротеньком словечке? Дело очень просто.

Именно с интересующего нас пункта и начинается тот процесс, благодаря которому составные элементы программы «Вестника» оказываются «в некоторой (и даже очень значительной) мере нетождественными между собою». Восток вступает в борьбу с Западом, как только оканчивается изложение «общих целей социализма» и *единственного* пути, ведущего к их осуществлению. И эта-то борьба, глухая и скрытая в начале, доходит до полного разгара в статье «Чего нам ждать от революции?». Запад берется в ней «под сомнение». По поводу его истории г. Тихомиров вдается в длинные и довольно «риско-

ванные» рассуждения о «рискованных» и «невероятных путях» истории вообще, и в конце концов указанный «Объявлением» *единственный* путь к победе социализма превращается в стереотипное издание программы покойного «Набата», дополненное лишь некоторыми иллюстрациями самобытности г. Тихомирова. Все изменяется до неузнаваемости, все превращается в свою противоположность по сю сторону маленького «но», отделяющего западную территорию редакционного миросозерцания от восточной, или, вернее, взгляды, находящиеся в общинном владении гг. редакторов, от взглядов, составляющих частную собственность г. Тихомирова. И вся эта транссубстанциация совершается с помощью нескольких новых «но», выловленных из статей П. Н. Ткачева. Само собою разумеется, что аргумент, неубедительный в устах редактора «Набата», не станет убедительнее на страницах «Вестника Народной Воли». Но встреча со старым знакомым всегда приятна, и уже по одному этому мы не устояли бы перед искушением остановить внимание читателя на аргументации г. Тихомирова.

Как истинный последователь Бланки — или, вернее, Ткачева — г. Тихомиров, приступая к обсуждению тех или других революционных вопросов, прежде всего стремится поставить на место исторического развития свою собственную волю, заменить инициативу *класса* инициативой *комитета*, превратить в дело тайной организации дело всего рабочего населения страны. Нелегко совершать такие фокусы на глазах людей, хоть немного затронутых пропагандой современного социализма, хоть наполовину убежденных в том, что «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Поэтому наш автор и старается доказать, что дело Исполнительного Комитета будет всенародным делом не только в смысле *интереса*, но также в смысле *воли* и *сознания*. Вынужденный согласиться, что *историческое развитие* мало способствовало до сих пор выработке социалистического сознания и *революционных* (а не *бунтовских* только) тенденций в русском народе, он с тем бо́льшим усердием убеждает нас в прочности и непоколебимости *доисторических форм* русского быта и миросозерцания.

Экономическая революция, к которой близится Запад после продолжительного и трудного движения, оказывается очень близкой к нам благодаря нашему вековому застою. Но так как некоторое знакомство с историей может вызвать сомнение в подобной близости, то читателям и ставится на вид, что исторические пути «бывали иной раз слишком кривыми и наиболее рискованными из всех, какие можно придумать». Своеобразность излюбленной нашими бакунистами схемы русского общественного развития становится, таким образом, как бы некоторым ручательством за ее вероятность. Подобным же

образом обходится необходимость придания *классового характера* борьбе за экономическое освобождение рабочих.

Противопоставление России Западу и здесь с успехом разрешает все трудности. На Западе существуют классы, резко разграниченные экономически, сильные и сплоченные политически. Самое государство является там результатом классовой борьбы и ее орудием в руках победителей. Поэтому овладеть государственной властью там можно, лишь противопоставивши классу класс, лишь победивши победителей. У нас — не то, у нас отношение общества к государству прямо противоположно западноевропейскому. У нас не борьба классов обусловливает данный государственный строй, а, наоборот, этот строй вызывает к жизни те или другие классы с их борьбой и антагонизмом. Если бы государство решилось изменить свою политику, то лишенные его поддержки высшие классы были бы осуждены на гибель, а народные начала первобытного коллективизма получили бы возможность «дальнейшего здорового развития». Но правительство Романовых не хочет и не может отказаться от своих дворянско-буржуазных традиций, между тем как мы и хотим и можем сделать это, мы одушевлены идеалами экономического равенства и «народоправления». Поэтому долой Романовых, и да здравствует наш *комитет*! — вот неизменная схема российско-якобинской аргументации, встречается ли она в оригинале, т. е. в «письме к Фридриху Энгельсу», или в «списке», т. е. в статье «Чего нам ждать от революции?»

Мы говорили уже, что основные посылки ткачевской программы заимствованы из того же источника, из которого черпали свою политическую мудрость и русские анархисты. Бакунинские теории легли в основу учений обеих фракций. Но этим не ограничилось, как известно, влияние Бакунина. Он имел учеников и на «Западе», т. е. в тех самых странах, которые так охотно противопоставлялись им России. И замечательно, что западные последователи автора «Государственности и анархии» приписывают государству такую же преобладающую роль в истории отношений своих, «западноевропейских», классов, какую гг. Ткачев и Тихомиров отводят ему лишь в России, так сказать, «не в пример» прочим странам. «Уничтожьте правительственную диктатуру,— говорит Артур Арну, обращаясь к французским рабочим,— и у вас останутся только подобные друг другу люди, только экономические силы, равновесие которых немедленно восстановится вследствие самого простого закона статики. ...Итак, государством, одним только государством, причиняется ваша нищета и слабость, равно как сила и дерзость ваших врагов»*. Западные анархисты

* «L'État et la révolution», p. 65. [«Государство и революция», стр. 65.]

рассуждают в этом случае смелее и последовательнее русских бакунистов и ткачевистов. В истории решительно всех стран доводится ими до нуля значение того экономического фактора, который, по мнению их русских «компаньонов», осужден на бездействие только в России. Отличительная черта русской самобытности превращается, таким образом, в космополитический призрак анархического невежества. Объективное условие развития одной страны оказывается субъективным недостатком, логическим промахом «некоторой части социалистов» всех цивилизованных народов.

Утрачивая вследствие этого значительную долю своей самобытности, рассуждения русских якобинцев не лишаются, однако, своей поучительности. Не говоря ничего нового о том, *как надо* смотреть на нашу действительность, они собственным примером прекрасно показывают, *как не надо* смотреть на нее, *как не надо* истолковывать ее характерные стороны.

По обычной манере русских якобинцев, г. Тихомиров старается доказать своим читателям, что — как выражался когда-то Ткачев — «переживаемый нами момент особенно благоприятен для социальной революции». Он подвергает анализу современное соотношение всех общественных сил на русской почве и приходит к тому выводу, что из предстоящей революции ничего, кроме «начала социалистической организации России», выйти не может. За доказательствами ему не пришлось идти далеко. «Письмо к Ф. Энгельсу» представляет собою концентрированный экстракт российско-якобинской аргументации, сохранивший в течение целых десяти лет всю прелесть свежести и новизны для многих и многих читателей. Стоит только развести этот экстракт в горячей воде красноречия, и из него получатся все свойственные г. Тихомирову «ожидания от революции». Приглядимся поближе к этому упрощенному способу приготовления «новой» программы. Начнем с «фактора» политического.

Что заключается на этот конец в ткачевском консерве?

Читатель помнит, конечно, обширные выписки, сделанные нами выше из «Открытого письма к Фр. Энгельсу». Он не забыл ткачевской уверенности в том, что хотя «у нас нет городского пролетариата, но зато у нас совсем нет буржуазии. Между страдающим народом и угнетающим его государством у нас нет никакого среднего сословия». Это-то отсутствие буржуазии и ложится в основу всех политических рассуждений г. Тихомирова.

По его словам, наша буржуазия ничтожна в экономическом, бессильна в политическом смысле. Что же касается народа, то у него «есть некоторые пункты, на которых он не может разбиться на группы, а, напротив, всегда представляется вполне

единодушным» (стр. 251). Первым из этих пунктов оказываются «представления относительно верховной власти». Дело в том, что «верховная власть, по воззрениям народа, есть представительство общенародное, а отнюдь не классовое. Только несокрушимою прочностью такого убеждения поддерживалась власть самих царей». Этим-то убеждением в общенародном характере нашей верховной власти и укрепляется вера г. Тихомирова в недалекое торжество народоправления. Переход к последнему от самодержавия царей «не составляет чего-нибудь оригинального (?). Французский народ так же точно от идеи о самодержавном короле, способном говорить l'état c'est moi*, перешел без затруднения (?!) к идее о peuple souverain**. Господство самодержавного народа там не могло фактически установиться, благодаря силе буржуазии»; у нас нет буржуазии, поэтому ничто не мешает у нас торжеству народоправления, «если только самодержавие не продержится достаточно долго для того, чтобы дать буржуазии время окрепнуть до такой степени, которая необходима для организации всего нашего производства на капиталистических началах». Но «едва ли Россия в современном хаотическом состоянии может ждать, пока буржуазия сложится сама настолько, чтобы уметь привести этот хаос к какому-нибудь порядку, хотя бы даже буржуазному»... Потому, «если мы доживем до крушения существующего строя раньше этого, то буржуазия не имеет никаких данных захватить политическую власть».

Мы видим отсюда, что «переживаемый нами момент», действительно, очень благоприятен для социальной революции; с одной стороны, «едва ли Россия может ждать», а с другой — и власть-то захватить, кроме народа, да, пожалуй, революционной партии, решительно некому. П. Н. Ткачев был совершенно прав, говоря, что социальная революция будет «теперь или очень нескоро, быть может, никогда». Но в таком случае неправ был П. Л. Лавров, называвший это уверение спекуляцией на невежество русских читателей.

Мы видим также, что по вопросу о «политическом факторе» разогревание ткачевских доводов не причинило больших хлопот г. Тихомирову. Ему оставалось только дополнить частным примером общие рассуждения П. Н. Ткачева о силе западной — и бессилии русской буржуазии. Таким примером и послужила для него великая революция, благодаря которой французский народ, наверное, сделался бы самодержавным, если бы этому не помешала сила буржуазии.

«Счастливы люди, у которых есть *абсолютный принцип*,—

* [государство — это я]
** [самодержавном народе.]

говорил Н. Г. Чернышевский.— Им не нужно ни наблюдать фактов, ни думать: у них заранее готово лекарство для всякой болезни и для всякой болезни одно и то же лекарство, как у знаменитого доктора, каждому пациенту говорившего — purgare et clystirizare*... Подобными талисманами обладают многие. Для «значительного лица», к которому обратился Акакий Акакиевич по поводу пропажи шинели, талисманом было «распечь». Для экономистов отсталой школы таким же талисманом служит прелестный девиз: «*невмешательство государства*». Наконец, прибавим мы от себя, для «русских социалистов», не менее отсталой школы, роль этого талисмана играет «буржуазия». Ссылка на ее слабость или совершенное отсутствие решает все самые трудные вопросы прошедшего, настоящего и будущего времени. Г-н Тихомиров занимает не последнее место между счастливыми обладателями этого философского камня. Почему во Франции не установилось «самодержавие народа»? Потому, что этому помешала «сила буржуазии». Почему у нас оно установится, когда народ «разочаруется в самодержавии царей»? Потому, что у нас слаба буржуазия. Почему на Западе единственным путем для осуществления «общих всем социалистам целей» является медленный и постепенный путь организации рабочего класса, городского и сельского, «в сознательную общественную силу», между тем как у нас «говорят иногда», что «захват власти революционерами» может послужить «исходным пунктом революции», которая, в свою очередь, послужит исходным пунктом «социалистической организации России»? Опять-таки потому, что у нас очень слаба сильная на Западе буржуазия. Purgare et clystirizare,— как упрощается теория медицины, как облегчается медицинская практика этим талисманом! К сожалению, общественные вопросы несколько сложнее вопросов медицины, и потому даже родственные мольеровскому доктору публицисты должны были бы запастись более хитрыми талисманами. Можно держать пари, что ключ, находящийся в распоряжении «русских социалистов», не отопрет им дверей ко многим историческим вопросам. Почему испанский народ, разочаровавшись «в самодержавии царей», не перешел «без затруднения» к идее о самодержавном народе? Положим, Испания есть одна из самых «западных» стран Европы, но ведь и сам г. Тихомиров не решится приписать большой силы испанской буржуазии, в особенности начала нынешнего столетия. К тому же и «принципы общинного землевладения» были и остаются, как это показали недавние исследования г. Лучицкого, гораздо более распространенными в Испании, чем в какой-либо другой еретической

* [принимать слабительное и ставить клистир.]

стране[1]. Как ни бейся, а тихомировским ключом не отопрешь этой двери!

Мы позволим себе прийти на помощь «русским социалистам» в этом затруднительном обстоятельстве. Если ум хорошо, а два еще лучше, то с таким же правом можно сказать, что два талисмана лучше одного, хотя бы и хорошего. Так вот, почему бы им не прибавить к «буржуазии» еще какого-нибудь не менее магического слова — скажем, католицизма, протестантизма или вообще *не*православного вероисповедания. Положим, этот талисман не нов и довольно-таки поистерся в руках славянофилов консервативного направления, но все-таки он едва ли не универсальнее «буржуазии». Ведь большой еще вопрос, точно ли у нас нет буржуазии и точно ли она — если и есть — «слабее» буржуазии всех западных стран, всех периодов «разочарования народа в самодержавии царей»; православие же составляет несомненный, «истинно и крепко русский» признак, совершенно чуждый европейскому Западу. С помощью его очень легко было бы решить вопрос о том, что помешало «фактическому установлению господства самодержавного народа» в Испании двадцатых годов, вовсе не имевшей сильной буржуазии. Довольно было бы сослаться на католичество. Право, попробовали бы, господа!

Впрочем, мы далеки от мысли унижать значение тихомировского талисмана; мы не только знаем цену ему, но и сами хотим попробовать применить его к делу. Почему на Западе «мыслящие» социалисты знают, о чем они говорят, и не вносят тихомировской путаницы в разбираемые ими вопросы? Не потому ли, что «западная» буржуазия сильнее нашей? Очень на то похоже! Там, где сильна буржуазия, велико и экономическое развитие страны, ясны и определенны все социальные отношения. А там, где ясны социальные отношения, нет места и фантастическому решению политических вопросов; вот почему «на Западе» только совсем уже безнадежным в умственном отношении людям свойственна та «анархия мысли», которая характеризует часто даже «убежденных и мыслящих социалистов» России. Итак, если г. Тихомиров пишет из рук вон плохие публицистические статьи, то в этом нужно винить не его, а слабость нашей буржуазии. Читатель видит, что любимый ключик нашего автора открывает подчас очень хитрые ларчики.

Не составляя чего-нибудь «оригинального», доводы г. Тихомирова поражают тем не менее своею «рискованностью». Откуда заключил г. Тихомиров, что верховная власть есть, по народным понятиям, «*представительство*»? Мы полагали до сих пор, что нынешние «представления народа относительно верховной власти» объясняются тем, что он не имеет решительно никакого понятия о представительстве. Подданные персидского шаха,

египетского хедива и китайского императора имеют такие же нелепые предрассудки относительно своей верховной власти, как и русские крестьяне. Следует ли отсюда, что персы, египтяне и китайцы с такою же легкостью перейдут к «идее о peuple souverain»? Если так, то чем более удаляемся мы на Восток, тем более приближаемся к торжеству народоправления. Далее, почему думает г. Тихомиров, что, «разочаровавшись в самодержавии царей», народ наш может стать лишь сторонником своего собственного самодержавия? Разве ошибочное понятие о сущности абсолютизма гарантировало когда-нибудь отдельную личность или целый народ от ошибочных представлений о сущности ограниченной монархии или буржуазной республики? «Против государства классового, если только этот характер его делается сколько-нибудь заметным, единодушно станут миллионы народа»,— говорит г. Тихомиров. Но в том-то и дело, что сознание недостатков настоящего еще не дает народу правильного понятия о будущем. Разве абсолютная монархия не была у нас, как и везде, «классовым государством»? Ведь сам г. Тихомиров признает в нашей истории «существование дворянства *как сословия действительно господствующего*», по крайней мере, с «указа о вольности» [1]. И разве народ не объяснял именно влиянием и даже прямым заговором бар и чиновников всех невыгодных для него постановлений нашего законодательства, всех произвольных и стеснительных распоряжений администрации? А если это так, то классовый характер нашей монархии был очень заметным. Полагаем, что протест против классового государства проходит красною нитью через всю нашу историю. Против него, действительно, «восставали миллионы», хотя, к сожалению, далеко не так «единодушно», как это предсказывает г. Тихомиров относительно будущего. И что же вышло из этих протестов? Уничтожили они «классовое государство», привели они народ к тому убеждению, что действительная «верховная власть» не соответствует его политическим идеалам? Если нет, то что же гарантирует нас от продолжения той же печальной истории и при конституционной монархии? Разочарование народа «в самодержавии царей»? Но от чего же спасет оно народ, чему оно помешает? Ведь слабая сторона политического миросозерцания народа заключается, по словам г. Тихомирова, в выводах, а не в посылках. Если верить нашему автору, то русский народ хорошо знает, какою *должна быть* верховная власть; он требует, чтобы она была «представительством общенародным», и путается лишь в тех случаях, когда ему приходится определить, соответствует ли его идеалам данный вид государственного устройства? Заметивши одну ошибку, он может впасть в другую, не менее печальную и грубую. Он может не знать, при каких условиях его собственные верховные права

перестанут быть пустым и лицемерным словом, завесой, прикрывающей политическое господство высших классов. Допускает ли г. Тихомиров, что русский народ действительно *может* не знать упомянутых условий? Что касается нас, то мы нимало не поколеблемся ответить на этот вопрос утвердительно: не только может, но даже наверное не знает. А если не знает, то будет ошибаться, а если будет ошибаться — и поскольку будет ошибаться,— не осуществит и приписываемых ему Тихомировым идеалов, т. е. не будет самодержавным. Г-н Тихомиров считает подобные политические неудачи народа возможными лишь на «Западе» и немыслимыми на его излюбленном Востоке, в странах, спасенных заботливой историей от язвы капитализма. Это было бы резонно и утешительно, если бы политические представления народа не были тесно связаны с экономическим его развитием. К сожалению, связь эта несомненна, и народ разочаровывается «в самодержавии царей» лишь там, где экономические отношения его утрачивают свой первобытный характер и становятся более или менее буржуазными; но одновременно с этим начинает приобретать силу и буржуазия, т. е. становится невозможным и непосредственный переход к самодержавию народа. Г-н Тихомиров утешает нас, правда, соображениями о самобытном развитии России. Но, во-первых, никакие исторические особенности данной страны не избавляют ее от действия общих социологических законов, а во-вторых, мы знаем уже, что экономическая действительность современной России вовсе не подтверждает политических парадоксов редактора «Вестника Народной Воли». Разочарование народа в самодержавии царей только начинает казаться *вероятным*, между тем как возрастающее разложение общины и проникновение в народную жизнь буржуазных принципов стало уже несомненным и неоспоримым фактом. Что если такого рода параллель удержится и в будущем? Ведь ко времени полного разрыва народа с царизмом буржуазия может стать всесильной. Откуда же возьмется у нас тогда «народоправление»?

Заметим г. Тихомирову, что мы противополагаем народное самодержавие господству буржуазии единственно потому, что ему самому угодно было сделать это. В сущности же мы думаем, что такое противоположение может иметь смысл только в исключительных случаях. Политическое самодержавие народа вовсе не гарантирует его от экономического порабощения и не исключает возможности развития в стране капитализма. Цюрихский кантон есть один из самых демократических и в то же время один из самых буржуазных кантонов Швейцарии. Демократическая конституция становится средством социальной эмансипации народа только в том случае, когда естественный ход развития экономических отношений делает невозможным продол-

жение господства высших классов. Так, например, в передовых странах производство все более и более принимает коллективный характер, между тем как индивидуальное присвоение его продуктов предпринимателями вызывает целый ряд болезненных потрясений во всем общественно-экономическом организме. Народ начинает понимать причину этих потрясений и потому, наверное, воспользуется рано или поздно политическою властью для своего экономического освобождения. Но вообразим иной фазис общественного развития, представим себе страну, в которой крупная промышленность только стремится еще к господству, между тем как товарное производство уже легло в основу ее хозяйства; другими словами, перенесемся в страну мелкой буржуазии. Какие экономические задачи должен будет решать «самодержавный народ в этом случае»? Прежде всего и исключительно — задачу обеспечения интересов мелких индивидуальных производителей, так как именно этот класс составляет большинство народа. Но, идя по этой дороге, не минуешь ни капитализма, ни господства крупной буржуазии, так как сама объективная логика товарного производства заботится о превращении мелких индивидуальных производителей в наемных рабочих, с одной стороны, и буржуа-предпринимателей — с другой. Когда совершится такое превращение, рабочий класс, разумеется, воспользуется всеми политическими средствами для смертельной борьбы с буржуазией. Но тогда взаимные отношения общественных классов станут резко определенными, место «народа» займет рабочий класс, и народное самодержавие превратится в диктатуру пролетариата.

Отсюда следует, что степень подготовки данного народа к истинной и неподдельной демократии определяется степенью его экономического развития. Определенность экономических отношений обусловливает не меньшую определенность в группировке политической, антагонизм труда и капитала вызывает борьбу рабочих партий с буржуазными. Развитие же производительных сил приближает эту борьбу к концу и обеспечивает торжество пролетариата. Так было и есть во всех «западных» странах.

Но гг. славянофильствующим революционерам не хочется, чтобы точно так же было и в России. Подобно тому как русский крестьянин не любит писаных законов и стремится обделать всякое дело по-своему, «по душе», русский интеллигентный человек боится законов исторических и апеллирует к самобытности, к «субъективному методу в социологии» и т. п., т. е. в сущности к той же «душе». Рассматриваемая с точки зрения «души», история получает совершенно своеобразную окраску. Она представляется не чем иным, как рядом интриг злых против добрых, причем наступлению «царства божия» на земле мешает только сила

первых и слабость вторых. Само собою понятно, что именно вследствие своей испорченности злые не могут установить между собою прочного и продолжительного союза. Они борются не только с добрыми, но и между собою, образуют фракции и фракции[1], вырывают друг у друга «кормило правления». Это междоусобие в лагере злых идет, разумеется, на пользу добрых, для которых особенно выгодным оказывается тот «момент», когда одна фракция злых уже не в силах удержать власть в своих руках, между тем как другие фракции еще недостаточно сильны для ее захвата. Тогда счастие становится возможным и близким, и нужно только небольшое усилие со стороны добрых, чтобы установить, по крайней мере, «народоправление». Добрый и чувствительный по существу, «русский социализм, как он выразился» в статьях П. Н. Ткачева и г. Тихомирова, любит льстить себя тою надеждою, что в «переживаемый нами момент» Россия находится именно в этом периоде междуцарствия злых и порочных, истощения абсолютизма и бессилия буржуазии.

На предыдущих страницах мы немало потратили труда на разрушение этой наивно-оптимистической стороны русского революционного миросозерцания. Но так как г. Тихомиров все-таки будет более склонен согласиться со своим учителем, П. Н. Ткачевым, чем с нами, своим политическим противником, то мы авторитету редактора «Набата» противопоставим авторитет товарища нашего автора по редактированию «Вестника Народной Воли». Г. Лавров не откажется, вероятно, от солидарности с мыслями, высказанными в руководящей статье 27 № «Вперед!». Автор этой прекрасной статьи утверждает, что «в России пышно и быстро разрастается капиталистический строй со всеми последствиями», что «этого не отрицают защитники современного порядка точно так же, как и его противники», и что, наконец, социалисты видят в этих явлениях лишь «фатальный процесс, который может излечиться только одним путем: *самое развитие капиталистического строя должно вызвать* и подготовить переворот, который унесет этот строй». Г-н Лавров может вполне основательно спросить г. Тихомирова — куда же девались русский капитализм и русская буржуазия, несомненно существовавшие в период издания лондонского «двухнедельного обозрения»? И если ему удастся убедить своего товарища в том, что капитализм не иголка и что он не мог затеряться в сутолоке русской жизни, то г. Тихомиров и сам увидит, с какой стороны грозит опасность русскому «народоправлению», долженствующему будто бы непосредственно заменить собою царское самодержавие. Там, где «пышно и быстро развивается капиталистический строй со всеми своими последствиями», буржуазия всегда может иметь достаточно силы, чтобы помешать — как это было, по

словам г. Тихомирова, во Франции — фактическому установлению «господства самодержавного народа».

Если автор цитируемой нами статьи 27 № «Вперед!» был прав, говоря о быстром развитии в России капитализма, то не прав г. Тихомиров, полагающий, что именно современные наши экономические отношения в высшей степени благоприятствуют возможности положить «начало социалистической организации в нашем отечестве». Рассуждения его и в этом случае представляют собою лишь легкие вариации на ткачевско-бакунинские темы.

П. Н. Ткачев писал, как мы знаем, Энгельсу: «Народ наш невежествен — это... факт. Но зато он в огромном большинстве случаев проникнут принципами общинного землевладения; он, если можно так выразиться, коммунист по инстинкту, по традиции».

Верное эхо Ткачева, г. Тихомиров уверяет, что «в народных понятиях и привычках находится в наличности достаточно элементов для успешной организации его сил. Крестьянин умеет устроить свое самоуправление, умеет принять в мирское владение землю и общественно ею распоряжаться» *. Из факта существования общинного землевладения в России редактор «Набата» делал тот вывод, что, несмотря на свое невежество, народ наш стоит гораздо ближе к социализму, чем народы Запада. Редактор «Вестника Народной Воли» не решился последовать за своим учителем до таких крайних умозаключений, но он, разумеется, не преминул напомнить читателям, что «право народа на землю и общественный характер этого орудия труда сознается нашим крестьянином не менее отчетливо, чем сознается европейским пролетарием его право на фабрику проприетера». Плохо знакомый с исторической философией современного социализма, г. Тихомиров никак не может понять той простой истины, что для социалистической революции важно не только сознание «европейским пролетарием его права на фабрику проприетера». Римские пролетарии также довольно ясно сознавали когда-то «свое право» на латифундии богачей, возникшие путем захвата государственных земель и экспроприации мелких собственников; но если бы им удалось реализировать свое право, то никакого социализма из этого никоим бы образом не вышло. Социалистическая революция подготовляется и облегчается не тем или другим способом *владения*, а развитием производительных сил и *организацией производства*. В придании этой организации общественного характера и заключается исторически-подготовительное значение капитализма, сведенное г. Тихомировым, со слов г. В. В., к «механическому сплачиванию рабочих». Ни

* «В. Н. В.» № 2, стр. 255.

П. Н. Ткачев, ни г. В. В., ни г. Тихомиров, наконец никто из народников и бакунистов не потрудился доказать нам, что русский народ так же «отчетливо понимает» необходимость *общественной организации производства*, как понимает ее «европейский пролетарий». А между тем в ней-то и все дело. Г. Тихомирову следует запомнить раз навсегда, что не организация производства определяется юридическими нормами, а юридические нормы определяются организацией производства. Порукой в этом служит нам вся социальная история всех народов, не исключая даже диких и самобытных. А если это так и если капитализм действительно не имеет у нас места, то, сравнивая Россию с Западом, нужно брать за точку исхода не следствие, а причину, не господствующий тип земле*владения*, а преобладающий характер земле*делия*, его организацию и предстоящие в ней перемены: ведь от этих перемен зависят судьбы самих форм поземельного владения. Пусть же г. Тихомиров попробует доказать нам, что в нашем земледелии господствует теперь та же тенденция, что и в крупной машинной промышленности капиталистических стран, т. е. стремление к планомерной организации в пределах, по крайней мере, целого государства. Если ему удастся эта попытка, то экономическая сторона его ожиданий от революции получит весьма серьезное значение. В противном же случае все его политико-экономические соображения и сопоставления сведутся опять-таки к избитому приему решения всех наших общественных вопросов, так сказать, по методу исключения буржуазии; начало же «социалистической организации России» потеряет всякую связь с «недалеким от нас моментом» предстоящей нам «катастрофы» и снова отодвинется в более или менее туманную даль.

Достаточно ли сказанного нами? Если нет, то мы опять обратимся к помощи многоуважаемого П. Л. Лаврова. «Для огромного большинства русского народа, —говорит превосходная статья 27 № «Вперед!»,— унаследованное чувство солидарности общинного мира или артели в разных ее формах ограничивается самыми тесными пределами, за которыми начинается область соперничества и борьбы за существование между голодающими и притесненными со всех сторон группами. В этом большинстве старинная традиция, что земля принадлежит земледельцу, старинная ненависть к ближайшим эксплуататорам народного труда... не могла формулироваться в сознание необходимости экономического коммунизма, этому большинству не может быть ясна громадная разница, которая произошла бы для будущего общества, если бы при удачном народном взрыве экономический переворот ограничился бы *перераспределением* имущества (нужно было бы сказать — средств производства), а не безусловным признанием его общности». Цити-

руемый нами автор справедливо полагает, что «перераспределение имуществ, вместо их общности, неизбежно поведет к выработке нового разделения классов, нового эксплуататорства и, следовательно, к воссозданию буржуазного общества в новой форме». И действительно: так называемое «всенародное право на землю» нисколько не обусловливает общности движимых средств производства, а потому допускает неравенство в их распределении и эксплуатацию бедных богатыми. Именно разлагающее влияние движимой частной собственности и привело к разложению первобытных форм коллективизма.

Что скажет по этому поводу бывший редактор «Вперед!»? Продолжает ли он признавать справедливость только что приведенной аргументации или он «совершил» настолько «значительную эволюцию в своих социально-политических убеждениях», что разделяет теперь несовместимые с этой аргументацией взгляды П. Н. Ткачева и г. Тихомирова?

Прямой и категорический ответ на этот вопрос имел бы в высшей степени важное значение. В самом деле, если сознание народом своего «права на землю» не может послужить достаточно прочным фундаментом для заложения «начала социалистической организации России», то все практические выводы г. Тихомирова утрачивают всякий смысл и всякое значение. Если в народе неясно сознание насущнейших условий своего экономического освобождения, то немыслимо и самое освобождение, а следовательно, и захват власти революционерами не может «послужить исходным пунктом» ожидаемой г. Тихомировым антибуржуазной революции. Нужно, значит, говорить не о том, «чего нам *ждать* от революции», а о том, что нам *делать* для нее, как выяснить народу понимание ее задач, как предотвратить или направить на пользу народа торжество буржуазии, каким образом достигнуть того, чтобы «самое развитие капиталистического строя вызвало и подготовило переворот, который унесет этот строй»?

«Некоторая часть социалистов» советовала нашей «революционной молодежи» заняться пропагандой в среде промышленных рабочих. Г-н Тихомиров воспользовался всеми ошибками и всем невежеством наших полицейских статистиков, чтобы доказать непрактичность этого совета. По его мнению, численность рабочего класса наших промышленных центров слишком незначительна для того, чтобы на этом слое нашего трудящегося населения могли основываться какие-либо социально-революционные надежды. Из сказанного им по этому поводу можно было бы заключить, что наш автор стоит на старонароднической точке зрения, игнорирующей город и возвеличивающей деревню. Но и эта догадка основательна только отчасти. Г-н Тихомиров действительно возвеличивает деревню, но всякий внима-

тельный читатель немедленно поймет, что деревне «не поздоровится от этаких похвал». В самом деле, идеализация бывает различного рода и ведет за собою различные практические выводы. Народники недавнего прошлого идеализировали народ отчасти с тою целью, чтобы подвинуть самих себя и всю нашу интеллигенцию на революционную деятельность в его среде. Усильте эту идеализацию еще на одну степень, и вы придете к тому убеждению, что благодаря своим общинным тенденциям народ наш вовсе не нуждается ни в каких воздействиях со стороны социалистической интеллигенции. Роль последней становится в таком случае чисто разрушительной. Она сводится на устранение внешних препятствий, мешающих осуществлению народных идеалов. Именно с такой идеализацией народа мы встречаемся в статье г. Тихомирова. «В революционный момент наш народ не может оказаться раздробленным, когда зайдет речь об основном принципе государственной власти,— решил наш автор.— Точно так же он окажется единодушным в экономическом отношении по вопросу о земле... Для того чтобы собрать массы в огромную силу вокруг этих двух пунктов, *не нужно никакой особенной пропаганды;* нужно только, чтобы народ знал, о чем идет дело». Доведенная до крайнего своего выражения, идеализация народа лишает народническую деятельность всякого смысла и значения. Но зато тем более возрастает значение заговора. Социальная революция,— рассуждает заговорщик,— задерживается благодаря влиянию современного правительства. Устраните это влияние — и в результате вашей разрушительной деятельности необходимо должно явиться «начало социалистической организации России». В политической борьбе «власть принадлежит тому, кто имеет возможность в каждый данный момент выставить на защиту своего дела наибольшее количество живой человеческой силы». Нет надобности осведомляться о том, из какого класса выходит эта сила. «Получать» ее «в свое распоряжение можно различно». Можно даже «покупать своих бойцов или выгонять на защиту свою посредством какого-нибудь экономического давления» *. Тем более можно вербовать их из каких угодно классов общества. Успех дела зависит лишь от искусного направления «полученных» сил сообразно целям заговорщиков. Вот почему г. Тихомиров «говорит иногда» о захвате власти революционерами, как «об исходном пункте революции». Этот вывод логически вытекает из всех посылок нашего автора.

Вся беда в том, что посылки г. Тихомирова не выдерживают критики, что в народе не все обстоит благополучно даже по вопросу о «двух главных пунктах» и что есть еще и другие пунк-

* «В. Н. В.» № 2, «Чего нам ждать от революции?», стр. 250.

ты, игнорирование которых может привести революционеров лишь к тяжелому разочарованию. А вместе с посылками падают, разумеется, и выводы, дорогие г. Тихомирову, но мало благоприятные для успехов социалистического движения в России. Сентиментальный туман ложной и напускной идеализации народа исчезает, и действительность снова выступает перед нами с своими насущными требованиями. Мы видим, что невозможно надеяться на сколько-нибудь удачный исход русского революционного движения без «особенной пропаганды» в народной среде. Мы убеждаемся, что нашим революционерам невозможно довольствоваться программой Ткачева и не мешает вспомнить о программе журнала «Вперед!». Но мы все еще не решили, в какой мере желателен разрыв их с традициями нашего бланкизма. Очень интересно было бы в этом затруднительном случае определенно узнать авторитетное мнение г. Лаврова.

2. «ЗАХВАТ ВЛАСТИ»

Впрочем, мы можем отчасти предугадать это мнение. Почтенный редактор, наверное, не одобряет того обстоятельства, что г. Тихомиров «иногда говорит о захвате власти революционерами, как об исходном пункте революции». П. Н. Ткачев также имел привычку «иногда говорить» о таком захвате и этим вызвал сильное порицание со стороны г. Лаврова. Редактор «Вперед!» счел даже нужным предостеречь нашу революционную молодежь от союза с *ложными друзьями*. «Есть революционные кружки,— писал он,— которые говорят, что они хотят блага народа, что они имеют в виду осуществить это благо путем революции, но революции не народной». Для таких кружков вся философия революции сводится, конечно, к захвату власти. «Другие хотят диктатуру лишь временную, только для того, чтобы распустить войско, *снять* верхний слой противников и сойти со сцены, оставив народ решить свою судьбу. Третьи мечтают передать эту диктатуру, когда они совершат свое дело, Земскому Собору из народных представителей или местным собраниям и т. д. и т. д. Общее у всех революционеров этого рода — революция, произведенная меньшинством, при более или менее продолжительной диктатуре этого меньшинства». В качестве редактора г. Лавров заявил, что его журнал «никогда не сочтет возможным допустить *без возражения* на свои страницы теорию революционной диктатуры меньшинства, так называемую якобинскую теорию». Названная теория подвергалась остракизму по следующим, довольно уважительным причинам.

«История доказала, и психология убеждает нас, что всякая неограниченная власть, всякая диктатура портит самых лучших

людей и что даже гениальные люди, думая облагодетельствовать народы декретами, не могли этого сделать. Всякая диктатура должна окружать себя принудительною силою, слепо повинующимися орудиями; всякой диктатуре приходилось насильственно давить не только реакционеров, но и людей, просто несогласных с ее способами действия; всякой захваченной диктатуре пришлось истратить более времени, усилий, энергии на борьбу за власть с ее соперниками, чем на осуществление своей программы помощью этой власти. *О сложении же диктатуры, захваченной насильно какой-либо партией (т. е. о том, что диктатура послужит лишь «исходным пунктом революции», не правда ли, г. редактор?), можно мечтать лишь до ее захвата;* в борьбе партий за власть, в волнении явных и тайных интриг, каждая минута вызывает новую необходимость сохранить власть, выказывает новую невозможность оставить ее. Диктатуру вырывает из рук диктаторов лишь новая революция»... «Неужели наша революционная молодежь согласна служить подножием трона нескольких диктаторов, которые и *при самых самоотверженных намерениях могут быть лишь новыми источниками общественных бедствий,* но которые, всего вероятнее, будут даже не самоотверженные фанатики, но страстные честолюбцы, жаждущие власти для самой власти, жаждущие власти для себя?..»

«Если действительно доля нашей молодежи стоит за диктатуру, за захват власти меньшинством,— продолжал почтенный редактор,— то органом *этой* доли «Вперед!» никогда не будет; ...пусть борются русские якобинцы против правительства; мы им мешать не будем, но партия народной социальной революции станет всегда их врагом, едва один из них протянет руку к власти, которая принадлежит народу и больше никому» *.

Предсказание П. Л. Лаврова исполнилось в точности. Журнал «Вперед!», действительно, «никогда не был» органом русских якобинцев. Правда, сам П. Л. Лавров сделался редактором органа «этой доли молодежи». Но это уже дело другое, нас здесь не касающееся.

В настоящую минуту нас интересует следующее соображение. Автор «Исторических Писем» нигде не заявлял, что он изменил свои взгляды на захват власти; поэтому мы можем с уверенностью сказать, что один из редакторов «Вестника Народной Воли» относится к такому захвату крайне отрицательно. Нас радует подобная уверенность: приятно согласиться во мнениях с известным и уважаемым писателем, а мы можем сказать, что

* «Русской социально-революционной молодежи», редактора журнала «Вперед!», Лондон 1874, стр. 40—43.

совершенно разделяем его мысли о захвате власти, хотя и пришли к своему убеждению несколько иным путем. Мы всегда стремились обращать главное внимание не на субъективную, а на объективную сторону дела, не на мысли и чувства отдельных личностей — хотя бы эти личности носили даже диктаторское звание,— а на социальные условия, с которыми им приходится считаться, на внутренний смысл тех общественных задач, за решения которых они берутся. Мы не потому говорим против захвата власти, что «всякая диктатура нортит самых лучших людей»,— это вопрос, едва ли окончательно разрешенный «историей и психологией». Но мы думаем, что если «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих», то никакая диктатура ничего не сделает там, где рабочий класс, «городской и сельский», не подготовлен к социалистической революции. А такая подготовка идет обыкновенно параллельно с развитием производительных сил и соответствующей им организации производства. Вот почему мы и задавались вопросом — насколько современные экономические отношения России оправдывают программы людей, стремящихся к захвату власти и обещающих совершить с ее помощью целый ряд социально-политических чудес? Есть ли у этих людей более физической возможности исполнить свои обещания, чем у синицы, собиравшейся зажечь море? И мы пришли к отрицательному ответу. В брошюре «Социализм и политическая борьба» мы подробно объяснили, почему мы считаем такой ответ единственно возможным в настоящее время. Не разбирая прямо наших доводов, г. Тихомиров также коснулся в разбираемой статье этого вопроса, причем кинул в «некоторую часть социалистов» некоторою частью употребленных нами выражений. Но аргументация нашего автора по обыкновению очень неубедительна; да он не всегда и гонится за убедительностью. По временам он совершенно перестает доказывать и только утверждает, так сказать, декретирует те или другие положения, как будто бы он «захватил» уже «власть» над умами своих читателей. Так, например, прикрикнувши на людей, считающих физически невозможным захват власти силами современной революционной партии, и обвинивши их в «перетасовке понятий», он противопоставляет их доводам следующее... заявление: «Не подлежит сомнению, что вопрос о захвате власти всякою революционною силою определяется, прежде всего, тем, достаточно ли дезорганизовано, расшатано и непопулярно существующее правительство, и если все эти данные имеются в наличности — государственный переворот не представляет ничего невозможного и даже особенно трудного» *. Не останавливаясь долее на этом интересном

* «В. Н. В.» № 2, стр. 255.

вопросе, он прямо переходит к обсуждению шансов «удержания власти» нашими революционерами. Волей-неволей, всем «несогласномыслящим» приходится мириться с не совсем обычным лаконизмом автора. Помиримся с ним и мы, тем более что истина некоторых положений автора на этот раз действительно «не подлежит сомнению». Но даже и в этом случае весьма уместно будет спросить: кто же «перетасовывает понятия» — г. Тихомиров или его противник? Во-первых, «государственный переворот» далеко не то же самое, что «захват власти всякою революционною силою». Там, где «существующее правительство дезорганизовано, расшатано и непопулярно», государственный переворот не только «не представляет ничего невозможного», но просто почти неизбежен, а вследствие этого, разумеется, и не «особенно» труден. Но это еще не значит, что «всякая революционная сила» может стать на место свергнутого правительства, захватить потерянную им власть. Государственный переворот может быть совершен совокупным действием многих «сил», враждебных между собою, но тем не менее революционных по отношению к существующему порядку. Тогда и «власть» достанется не одной из этих сил, а общей их равнодействующей, воплощенной в новом, временном или постоянном, правительстве. Для каждой же из них в отдельности «вопрос о захвате власти» не только не разрешится, но еще более усложнится таким исходом: вместо слабого и непопулярного противника им придется спорить за власть с соперниками свежими, бодрыми, еще не утомленными борьбой и имеющими за себя голос некоторой части нации. Все это ясно, как божий день. А если ясно, то можно ли приурочивать интересующий нас вопрос о захвате власти «партией Народной Воли» исключительно к непрочности существующего правительства, к вероятности государственного переворота? Позволительно ли так подменять понятия, совершенно различные по своему смыслу и содержанию?

Но, скажут нам, вы придаете «государственному перевороту» совсем не тот смысл, в каком употребляет это выражение г. Тихомиров. Он понимает под ним не только падение существующего и организацию нового правительства; он предполагает, что вся эта революция совершится путем удачного заговора в среде известной, определенной, симпатичной ему революционной партии. Заговор есть предприятие тайное, начинаемое без ведома всех тех, кто мог бы соперничать с заговорщиками после переворота. Когда маленький Наполеон задумывал свой «государственный переворот», то ему и в голову не приходило открывать свои намерения орлеанистам или легитимистам, а еще того менее решился бы он просить у них помощи и содействия. Добыча, приобретенная силами одних бонапартистов, целиком и досталась бонапартистам; соперникам оставалось

только злобствовать и сожалеть о том, что не они задумали и выполнили это удалое предприятие. То, что сделал пресловутый племянник, может быть сделано и искренними революционерами. Неужели одно только зло имеет привилегию успеха? Неужели орудие, доказавшее свою годность в руках политических авантюристов, откажется служить людям, искренно преданным благу своей родины?

Если г. Тихомиров действительно понимает «государственный переворот» в этом последнем смысле, то он прибегает к «перетасовке понятий», еще более грубой, чем мы думали ранее. Что дает ему право так неожиданно и беззастенчиво подменять общую, абстрактную возможность данною, конкретною действительностью? Разве *возможное* в общем смысле не оказывается сплошь и рядом невозможным в применении к тому или другому частному случаю? И потому разве позволительно, рекомендуя русской революционной партии путь заговора, ограничиваться общими фразами о том, что организовать удачный заговор не «особенно трудно» там, где правительство дезорганизовано и непопулярно? Разве русские революционеры представляют собою заговорщиков вообще, без костей и плоти, стоящих вне всех тех условий, которые превращают возможное для одних в фантастическое и невозможное для других? Разве шансы успеха заговора не определяются свойствами среды, к которой принадлежат его участники, и разве свойства среды не влияют на стремления и цели заговорщиков? Стоит только взглянуть на нашу революционную среду с этой точки зрения— и общие фразы о не «особенной трудности» успешного заговора совершенно потеряют всякий смысл.

К какому классу, к какому слою общества принадлежало и принадлежит до сих пор огромное большинство наших революционеров? К так называемому мыслящему пролетариату. О политических свойствах этого слоя мы уже подробно говорили в брошюре «Социализм и политическая борьба», и мы очень жалеем, что г. Тихомиров не счел нужным опровергнуть наши соображения. «Наш мыслящий пролетариат,— писали мы,— сделал уже очень много для освобождения своей родины. Он расшатал абсолютизм, пробудил политический интерес в обществе, занес семя социалистической пропаганды в среду нашего рабочего класса. Он составляет переход от высших классов общества к низшим, он обладает образованием первых и демократическими инстинктами последнего. Это положение облегчало ему его разностороннюю работу агитации и пропаганды. Но то же самое положение дает ему очень мало надежды на успех заговора с целью захвата власти. Для такого заговора недостаточно талантов, энергии и образования; нужны связи, богатство и влиятельное положение заговорщиков. Именно

этого и недостает нашей революционной интеллигенции. Пополнить этот недостаток она может, лишь вступая в союз с другими недовольными элементами русского общества. Допустим, что ее планы и встретят сочувствие со стороны этих элементов, допустим, что к заговору примкнут богатые землевладельцы, чиновники, штаб- и обер-офицеры. Успех заговора станет тогда вероятнее, хотя вероятность эта будет еще очень невелика: припомним только исход большей части известных в истории заговоров. Но главная опасность будет грозить социалистическому заговору не со стороны существующего правительства, а со стороны его собственных участников. Вошедшие в него влиятельные и высокопоставленные лица могут быть искренними социалистами только в виде «счастливой случайности». Относительно же большей части из них не может быть никаких гарантий в том, что они не пожелают воспользоваться захваченною ими властью для целей, не имеющих ничего общего с интересами рабочего класса... Таким образом, *результаты заговора* социалистической интеллигенции, с целью захвата власти в ближайшем будущем, *станут тем более сомнительными, чем более сочувствия встретит он во влиятельных сферах, т. е. чем вероятнее будет его внешний успех;* и наоборот, результаты такого заговора — поскольку речь идет о намерениях его участников — будут тем несомненнее, чем более его сфера ограничится нашею социалистической интеллигенцией, т. е. чем невероятнее будет его счастливый исход» [1]. Понятно ли сказанное? Правы ли мы были, говоря, что наш нигилист-отщепенец, очень полезный как революционный фермент в общественной среде, не захватит власти, потому что этому препятствует его социальное положение? Бонапарт был не нигилист, а и ему, для его государственного переворота, понадобилось сначала стать ни более ни менее, как во главе исполнительной власти республики. Далее. Вероятно ли, что если нигилист и перетянет на свою сторону достаточное число лиц, влиятельных и занимающих важные посты, что если за ним и пойдут всякого рода «белые генералы», то не он воспользуется их общественным положением, а они воспользуются его самоотверженностью и обратят весь заговор в орудие для своих личных целей? Нам скажут, быть может, что высокое общественное положение не всегда же бесповоротно развращает человека, что и под генеральским мундиром может биться преданное народу сердце. Мы вполне допускаем это, но не перестаем бояться данайцев [2]. Какие гарантии будут у революционеров относительно преданности и искренности высокопоставленных участников заговора? Личная известность этих господ центральному комитету? А чем уверит нас комитет в безошибочности своего выбора? Можно ли довольствоваться такими гарантиями в столь важном деле, как судьба рабочего

класса целой страны? Здесь-то и обнаруживается различие между точками зрения социал-демократов, с одной стороны, и бланкистов — с другой. Первые требуют объективных гарантий успеха своего дела, гарантий, которые заключаются для них в развитии сознания, самодеятельности и организации в среде рабочего класса; вторые довольствуются гарантиями чисто субъективного свойства, отдают дело рабочего класса в руки отдельных лиц и комитетов, приурочивают торжество дорогой им идеи к вере в личные свойства тех или других участников заговора. Будут заговорщики честны, смелы и опытны — восторжествует социализм; недостанет у них решимости или уменья — победа социализма отодвинется на время, быть может короткое, если явятся новые, более умелые заговорщики; а быть может, и бесконечно долгое, если таких заговорщиков не будет. Все подводится здесь к случаю, уму, уменью и воле отдельных единиц *.

И пусть не говорят нам, что современные русские бланкисты не отрицают значения подготовительной деятельности в среде рабочего класса. Никакое сомнение невозможно на этот счет после того, как «Календарь Нар. Воли» объявил, что городское рабочее население имеет «особенно важное значение *для* революции» (стр. 130). Но есть ли на свете хоть одна партия, которая не признавала бы, что рабочий класс может оказать ей важную помощь в достижении ее целей? Современная политика железного канцлера ясно показывает, что такого сознания

---

* Впрочем, это не совсем так. Иногда объективные условия успеха представляются заговорщику в виде каких-нибудь физических или метеорологических воздействий. Так, например, в одной из книжек «Набата» помещена статья о заговоре генерала Малэ [1]. Из этой статьи видно, что в 1812 году революция не имела во Франции места лишь потому, что в ночь с 22 на 23 октября этого года совершенно некстати и неожиданно пошел сильный дождь. Вам это кажется невероятным, читатель? Прочтите нижеследующую выписку и судите сами. «Когда все было кончено, Малэ хотел было немедля отправиться в ближайшую казарму, но дождь лил, как из ведра, и заговорщики вздумали его переждать. Пришлось ждать до 3-х часов — это было роковою ошибкою. Ночью заговор имел все шансы удаться, так как светская власть и военная не имели бы времени столковаться между собою. Заговорщики пропустили удобную минуту», а вследствие этого, и только вследствие этого, не удался и самый заговор.

Как бы кто ни смотрел на такие объяснения исторических судеб народов, несомненно во всяком случае, что они не дают нам никакой возможности сколько-нибудь трезвого предвидения общественных явлений, т. е., другими словами, исключают всякую попытку серьезного обсуждения программных вопросов.

Известное уже нам тихомировское «начало социалистической организации России» также, повидимому, будет отменено в случае ненастной погоды. Вообще сильные дожди тем вреднее для торжества социализма, чем более дело этого последнего приурочивается к успехам того или другого комитета и отвлекается от соображений о степени социально-политического развития рабочего класса данной страны.

не лишено даже прусское юнкерство. Теперь все обращаются к рабочим, но не все говорят с ними одинаковым голосом, не все отводят им одинаковую роль в своих политических программах. Это различие заметно даже на социалистах. Для демократа Якоби основание одного рабочего союза имело более важное культурно-историческое значение, чем битва при Садовой [1]. Бланкист, конечно, вполне согласится с этим мнением. Но согласится единственно потому, что не битвы, а революционные заговоры являются в его глазах главными двигателями прогресса. Если же вы предложите ему выбрать между рабочим союзом и «кающимся дворянином» [2] в лице какого-нибудь начальника дивизии, то он едва ли задумается предпочесть второго первому. Да оно и понятно. Как ни важны «для революции» рабочие, но высокопоставленные заговорщики еще того важнее, без них нельзя ступить шагу, и часто весь исход заговора может зависеть от поведения того или другого «превосходительства» *. С точки зрения социал-демократа истинно революционное движение настоящего времени возможно только в среде рабочего класса; с точки зрения бланкиста революция только частью опирается на рабочих, имеющих для нее «важное», но не главное значение. Первый полагает, что *революция* имеет «особенно важное значение» *для рабочих;* по мнению второго, *рабочие* имеют, как мы знаем, особенно важное значение *для революции.* Социал-демократ хочет, чтобы рабочий *сам сделал* свою революцию; бланкист требует, чтобы рабочий *поддержал* революцию, начатую и руководимую за него и от его имени другими, положим хоть гг. офицерами, если вообразить нечто вроде заговора декабристов. Сообразно с этим изменяется и характер деятельности и распределение сил. Один обращается главным образом к рабочей среде, другие имеют с ней дело только между прочим и когда этому не мешают многочисленные, сложные, непредвидимые и все более и более возрастающие нужды начатого вне ее заговора. Это — различие огромной практической важности; именно им-то и объясняется враждебное отношение социал-демократов к заговорщицким фантазиям бланкистов.

3. ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «НАРОДНОЙ» РЕВОЛЮЦИИ

Но будем сговорчивы. Допустим невероятное: предположим, что «власть» действительно оказалась в руках наших современных революционеров. К чему приведет их такая удача?

* Сообщенная в «Набате» история заговора генерала Малэ подробно выясняет «важность для революции» начальников «частей» или даже простых офицеров. «Для приведения в исполнение задуманного им плана Малэ нужно было заручиться помощью по крайней мере двух офицеров, способных, ловких, воодушевленных, подобно ему, ненавистью к императору», и т. д.

Послушаем нашего автора. «Ближайшая и первая задача победоносного временного правительства состоит в том, чтобы явиться на помощь народной революции. Захваченная государственная власть должна быть употреблена для того, чтобы повсюду революционизировать народные массы и организовать их власть, а это такая задача, при выполнении которой революционеры стоят на твердой почве. Тут временное правительство даже ничего не творит, а только разрешает силы, существующие в народе и даже находящиеся в состоянии сильнейшего напряжения... Временное правительство не имеет тут нужды ни приневоливать народную массу, ни учить ее. Оно только помогает ей с чисто внешней стороны» *.

Так говорит г. Тихомиров, рассуждая о роли «временного правительства, вынужденного захватить власть».

Он убежден, что эта «чисто внешняя» помощь народу приведет «к началу социалистической организации России». Если мы припомним его родословную, то увидим, что подобная уверенность нисколько не удивительна с его стороны и перешла к нему просто по закону наследственности. Бакунин «роди» Ткачева, Ткачев роди Тихомирова и братьев его. И если ближайшие литературные предки нашего автора держались того убеждения, что «народ всегда готов» к социальной революции, то потомку их вполне естественно верить в такую готовность народа, по крайней мере, в «переживаемый нами момент». Нужно удивляться не г. Тихомирову, который, стыдясь открыто признать свое происхождение, все-таки свято хранит предания своих духовных отцов. Нужно удивляться тем читателям, которые, отказавшись от теорий Бакунина и Ткачева, воображают, что г. Тихомиров предлагает им нечто более новое, более серьезное и осуществимое. Для таких читателей критика есть пустое слово, а последовательность — самое бессодержательное понятие!

Людям, действительно и бесповоротно покончившим с бакунинско-ткачевскими фантазиями, указанная уверенность г. Тихомирова покажется решительно ни на чем не основанной. Такие люди понимают, что социалистическая революция предполагает целый ряд мер для социалистической организации производства. И уже по одному этому «чисто внешняя» помощь революционного правительства никоим образом не может быть признана достаточной для удачного исхода такой революции. Кроме того, социалистическая организация производства предполагает два условия, без «наличности» которых за нее невозможно и браться. Первое из этих условий имеет объективный характер и заключается в экономических отношениях страны.

* «Вестн. Нар. Воли», № 2, стр. 255—256.

Другое условие — чисто субъективное и относится к самим производителям: недостаточно одной объективной, экономической возможности перехода к социализму; нужно, чтобы рабочий класс понял и сознал эту возможность. Эти два условия находятся в тесной взаимной связи. Экономические отношения влияют на экономические понятия людей. Экономические понятия людей влияют на их образ действия, на общественные, а следовательно, и экономические отношения. И так как мы «не верим» уже ни в «десницу божию», ни во врожденные идеи, то нам остается предположить, что «порядок идей определяется порядком вещей» и что взгляды людей на окружающую их экономическую действительность обусловливаются свойствами самой этой действительности. Этими же свойствами определяются и наклонности различных классов, консервативные в один, революционные в другой исторический период. Известный класс возмущается против окружающей его действительности, становится в противоречие с нею лишь в том случае, когда она «разделяется на ся», когда в ней самой обнаруживаются те или другие противоречия. Характер, ход и исход начавшейся против нее борьбы определяется характером этих противоречий. В капиталистических странах одним из главных экономических противоречий является противоречие между общественным характером производства, с одной стороны, и индивидуальным присвоением предпринимателями его средств, орудий, а следовательно, и продуктов — с другой. При полной невозможности отказа от общественной организации производства единственным средством разрешения этого противоречия является приведение юридических норм в соответствие с экономическими фактами, передача орудий и объектов труда в собственность общества, которое распределяло бы продукты сообразно с потребностями трудящихся. И это противоречие, равно как неотложная необходимость его разрешения, все более и более входит в сознание страдающих от него людей. Рабочий класс все более и более становится склонным и готовым к социалистической революции. Мы не раз уже повторяли ту доказанную Марксом истину, что указанное выше противоречие неизбежно возникает на известной ступени развития товарного производства. Но товарное производство, как и все в мире, имеет не только конец, но и начало. Оно не только подготовляет новый общественный строй благодаря свойственным ему противоречиям, но и само было когда-то ново, само возникло из противоречий своего предшественника. Известно, что товарному производству предшествовало натуральное хозяйство и первобытный коллективизм. Главнейшей причиной возникновения противоречий в первобытных общинах была свойственная им ограниченность, не допускавшая приложения коммунистического принципа к межобщин-

ным отношениям. Эти отношения повели к развитию *обмена*, продукты общественного труда стали товарами и в этом новом своем качестве оказали разлагающее влияние на внутреннюю организацию самой общины. Та ступень разложения первобытного коллективизма, которая носит название сельской общины, характеризуется, как мы знаем, тем противоречием, что на *общественной земле* хлебопашество ведется в ней *отдельными домохозяевами*. Это ведет к развитию частной собственности, к новому усилению товарного производства, а вместе с тем и к зарождению свойственных этому последнему противоречий, т. е. к эксплуатации труда капиталом. Итак, товарное производство близится к концу благодаря противоречию между общественной организацией производства и индивидуалистическим способом присвоения. Наоборот, оно развивается благодаря противоречию между индивидуальным характером хозяйства и общественным характером присвоения одного из самых главных средств производства — земли. Теперь мы спросим г. Тихомирова — какую из ступеней развития товарного производства переживает Россия? Какое из указанных нами противоречий свойственно ее экономическим отношениям? Если первое,— то не имеет смысла противопоставление России Западу, а следовательно, и своеобразный характер русских «социально-революционных» программ. Если второе,— то каким путем остановит революционное правительство дальнейшее развитие товарного производства? Какими средствами разрешит оно противоречия, свойственные нашей сельской общине?

Захват власти революционерами может иметь два исхода.

Или временное правительство действительно ограничится «чисто внешней» помощью народу, и, ничему его не уча, ни к чему не приневоливая, оно предоставит ему самому устроить свои экономические отношения.

Или, не полагаясь на народную мудрость, оно удержит в своих руках захваченную власть, и само примется за организацию социалистического производства.

В брошюре «Социализм и политическая борьба» мы говорили уже о каждом из этих исходов. Теперь нам остается только повторить и развить высказанные там мысли.

Г-н Тихомиров избавил нас от необходимости подробно говорить о втором из предположенных нами случаев. Он и слышать не хочет о «деспотизме коммунистического правительства». Он требует, чтобы временное правительство «помогало» народу «с чисто внешней стороны», чтобы оно «организовало народ временно и лишь настолько, насколько его (т. е. народное) самодержавие может быть осуществлено при тех условиях». Как ни темна эта последняя фраза, но если она имеет какой-нибудь смысл, то означает решительный отказ от всякой попытки

насаждать социализм посредством декретов «захватившего власть» тайного общества. Наконец, наш автор прямо заявляет, что временное правительство должно пользоваться властью «разумеется, не для создания социалистического строя». Это, конечно, опять очень большая нескладица, потому что смешно социалистическое — хотя бы и временное — правительство, не пользующееся своею властью для создания социалистического строя. Но, как бы там ни было, очевидно, что г. Тихомиров серьезно убежден в том, что временному правительству не нужно будет «ничего творить, а только разрешать силы, уже существующие в народе». Посмотрим же, к чему может привести такого рода «разрешающая» деятельность.

Наш автор не объяснил, как долго протянется тот период времени, в течение которого временное правительство будет «организовать власть народных масс». Он не сообщил также, что означает эта организация в переводе с мистического «наречия» его партии на литературный русский язык. Ни одним словом не обмолвился он о том, каким образом правительство захватившей власть «партии Нар. Воли» будет заменено правительством, «народом выбираемым, контролируемым и сменяемым». Нам остается поэтому самим выбирать наиболее вероятную из всех возможных догадок. Восточные страны отличались до сих пор лишь дворцовыми революциями или такими народными движениями, в которых было очень мало сознательных политических действий. Чтобы сколько-нибудь наглядно представить себе вероятный ход русской революции, мы, волей-неволей, должны предположить, что при всей своей самобытности она все-таки совершится хоть отчасти на западный манер. А на Западе дело происходило обыкновенно таким образом. Выдвинутое переворотом временное правительство, продолжая поддерживать революцию против реакционных посягательств, созывало учредительное собрание, в руки которого и передавало судьбу страны. Выработавши новую конституцию, учредительное собрание создавало правительство постоянное, соответствующее наиболее энергичным требованиям всей страны или некоторых ее классов. Само собою разумеется, что новое правительство оставалось *постоянным* лишь до новой революции или до новой переделки конституционного здания страны.

Вообразим теперь, что, захвативши власть, «партия Народной Воли» останется верна обещаниям г. Тихомирова и, ни к чему не приневоливая русский народ, созовет его представителей в учредительное собрание. Допустим, что выборы произойдут при самых благоприятных для революционеров условиях, что к ним приступят лишь после «обеспечения экономической независимости народа», т. е. после экспроприации крупных землевладельцев и предпринимателей. Допустим даже, что времен-

ное правительство установит сословный и классовый ценз и признает политическую правоспособность лишь за крестьянами, ремесленниками и пролетариями умственного и физического труда. Допустим, наконец, что временное правительство сумеет отстоять, а учредительное собрание — упрочить «политическую независимость» народа. Это последнее будет делом тем более трудным, чем скорее настанет предсказываемый г. Тихомировым революционный момент; от того же г. Тихомирова мы знаем, что даже при бессилии буржуазии народоправление возможно только в том случае, когда народ достаточно разочаруется в самодержавии царей. Отсюда следует, что если ко времени революционного взрыва упомянутое разочарование не будет достаточно сильно, то не будет и народоправления и совершившаяся революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перувианской империи, т. е. к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке. Но мы не будем пессимистами, примем в соображение, что Россия «едва ли может ждать», и предположим, что ввиду такой крайности наше отечество поторопится покончить с самодержавием. Мы до такой степени уступчивы, что готовы признать наилучший исход наиболее вероятным, готовы допустить, что у нас установится самый чистый вид «народоправления», т. е. прямое народное законодательство. Мы спросим только, можно ли «ждать», что самодержавный народ немедленно положит «начало социалистической организации России»?

Мы давно знаем, что

...Wo die Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein [1],

но мы просим читателя вдуматься в значение слов *социалистическая организация производства* и для большей наглядности представить себе вероятные решения на этот счет русского самодержавного народа.

Собрание представителей вынуждено будет апеллировать к его приговору во всех важных законодательных вопросах.

Оно спросит его, одобряет ли и утверждает ли он совершенную временным правительством экспроприацию крупных собственников? И он ответит, конечно, утвердительно. Земля, рудники, заводы и фабрики будут признаны собственностью государства.

Но перемена собственника не означает еще перемены в организации производства. Вопрос об *экспроприации* приведет к вопросу об *эксплуатации* конфискованных имуществ.

Самодержавному народу нужно будет организовать на новый лад все свое хозяйство, производство и распределение всех своих продуктов.

Какой вид организации признает он необходимым? Выскажется ли за коммунизм большинство нашего крестьянства?

Этого не «ждет» и сам г. Тихомиров. Находясь на своей настоящей или на недалекой от нее ступени развития, народ не захотел бы, да и не сумел бы устроить коммунистическое хозяйство.

Даже по отношению к хлебопашеству народ, наверное, удержал бы ныне существующую организацию производства. На общественной земле хозяйство попрежнему велось бы отдельными дворами. А мы знаем уже, к чему ведет это противоречие. Оно создает неравенство, способствует развитию товарного производства, а следовательно, и новых противоречий, с ним неразрывно связанных. История разложения общины и возникновения различных общественных классов повторилась бы в новом виде и в более широком масштабе. Наши народники и народовольцы относят обыкновенно разложение общины на счет враждебного ей сословного и «классового» государства. Но после всего сказанного на этот счет в предыдущей главе нам не нужно останавливаться на опровержении или — лучше сказать — на выяснении истинного смысла этого довода. Современная наука не оставляет ни малейшего сомнения относительно того, что неравенство возникает в первобытных общинах прежде, чем сами эти общины организуются в государство. Далекое от того, чтобы быть *первоначальной причиной* возникновения неравенства, государство само является в истории его *продуктом*. Впоследствии и государство начинает, конечно, оказывать свое действие на экономические отношения, разрушать первобытный коммунизм. Но тот, кто желает в корне уничтожить неравенство (а не желая этого, нельзя быть и социалистом),— тот должен обращать главное внимание не на производную, а на коренную его причину. Очень непоследовательно было бы со стороны такого человека стремиться уничтожить ту разновидность государства, которая *усиливает* неравенство, и оставлять неприкосновенными те экономические отношения, которые *создают* как самое неравенство, так и «классовое» государство. Но именно такою-то непоследовательностью и страдало бы временное социалистическое правительство, не задающееся целью ни «учить» народ, «ни приневоливать его» к социалистической организации. Предоставляя дело этой организации совершенно неподготовленным к ней производителям и ограничиваясь помощью народу «с чисто внешней стороны», оно в самом лучшем случае срубило бы только ствол, оставляя нетронутым поддерживающий его корень. Бывшие члены такого правительства обнаружили бы большую наивность, если бы стали удивляться тому, что на месте старого, уже подгнившего ствола вырос новый, более сильный и крепкий.

Повторяем, если бы у нас действительно установилось народоправление, то самодержавный народ на вопрос, нужна ли ему земля и следовало ли отобрать ее у помещиков, ответил бы: да, нужна, и отобрать ее следовало. На вопрос же, нужно ли ему «начало социалистической организации», сначала ответил бы, что он не понимает, о чем его спрашивают, а затем, с большим трудом понявши, в чем дело, ответил бы — нет, мне этого не нужно. А так как экспроприация крупных землевладельцев вовсе не равносильна «началу социалистической организации», то в результате захвата власти революционерами не было бы никакого социализма *. Вышло бы то, что невольно напророчил сам г. Тихомиров, говоря, что временное правительство воспользовалось бы своею властью «вовсе не для создания социалистического строя». Мы имели бы перед собой ту же самую сельскую общину, которую имеем и теперь. Вся разница свелась бы к тому, что эта община, имея приблизительно втрое больше земли, чем имеет она в настоящее время, стала бы, может быть, разлагаться медленнее, а следовательно, и медленнее очищать место для высших форм общежития.

А дальнейшее самостоятельное развитие общины? Да ее развитие и заключается в ее разложении! Кто оспаривает это, тот должен доказать противное, должен указать нам если не исторические примеры перехода сельской общины в коммунистическую, то, по крайней мере, тенденцию к такому переходу, тенденцию, находящуюся не в головах наших народников, а в самой организации общины и во всей динамике ее земледельческого хозяйства. Мы знаем, где, как и почему первобытные коммунистические общины превращались в общины отдельных домохозяев. Но мы не знаем, почему и как наша русская община перейдет в коммунистическую. Любя побеседовать подчас с народниками, мы не могли, конечно, остаться в неизвестности относительно того факта, что две-три общины завели у нас коллективную обработку полей. Отличившийся такою добродетелью хутор Грековка был одно время на устах решительно у всех «друзей народа» и своим примером разрешал, казалось, весь социальный вопрос в России. Но если бы крестьяне этого знаменитого хутора подверглись когда-нибудь преследованию за коммунистические наклонности, то защитнику их нетрудно было бы доказать, что обвинитель решительно ничего не смыслит в коммунистических учениях. От общественной обработки полей немногим ближе до коммунизма, чем от общественной работы на барщине или от «общественных запашек», вводившихся

* [Примечание к изданию 1905 г.] Этого до сих пор не хотят понять наши нынешние «социалисты-революционеры», старательно воскрешающие наши старые «революционные» предрассудки.

при Николае Павловиче с помощью штыков и розог. Как ни глуп был «незабвенный» император, но и ему не приходило в голову думать, что общественные запашки могут вызвать самостоятельное движение общины к коммунизму. Центр тяжести вопроса заключается не в том, как работают домохозяева — вместе или поодиночке, а в том, существуют ли отдельные хозяйства и стремятся ли они слиться в одно коммунистическое целое. Хутор Грековка не обнаружил такого стремления. Составляющие его домохозяева продолжали быть собственниками продуктов, обращаемых ими в товары. А раз они не уничтожали товарного свойства своих продуктов, то можно математически доказать, что сильнейшая тенденция этой общины клонилась в сторону капитализма, а отнюдь не коммунизма.

Коллективная обработка полей — вещь очень хорошая и полезная; но странно было бы думать, что она может послужить главным соединительным путем между современной общиной и коммунистическими идеалами. Она может играть роль разве лишь мелкой «питательной ветви», впадающей в большую дорогу, которая идет совсем по другому направлению. Она сослужила бы очень большую службу на Западе, где значение ее свелось бы к тому, что, приучая крестьян к коллективному труду, она уменьшила бы их сопротивление коммунистической революции, инициатива которой принадлежала бы городскому и сельскому пролетариату. Но на этом и остановились бы представляемые ею выгоды. Во всяком историческом, как и в механическом, движении часть движущей силы идет на преодоление сопротивления. Уменьшить сопротивление — значит освободить соответствующую долю связанной им силы, ускорить движение. Вымостите грязную улицу, смажьте машину — и вы уменьшите труд лошади, везущей повозку, вы сократите необходимый расход на топливо. Но ни один механик не вообразит, что машина придет в движение лишь потому, что уменьшилось трение ее частей, ни одному извозчику не придет в голову выпрягать лошадь, добравшись до хорошей мостовой. Человек, вообразивший или сделавший что-нибудь подобное, был бы всеми признан за сумасшедшего. И в таком приговоре не было бы ни малейшей несправедливости. Чтобы вызвать движение, нужна активная, а не пассивная сила, положительное, а не отрицательное условие. То же и с общиной. Коллективная обработка полей хороша в том случае, когда существует активная сила, вызывающая и ускоряющая ее переход в высшую форму общежития. На Западе роль такой силы сыграл бы пролетариат, начавший коммунистическую революцию совсем в другой области — в области крупного производства и земледелия, на заводах, на фабриках, на больших фермах. Сила пролетариата создавалась и направлялась бы вполне определенными экономи-

ческими отношениями, существующими вне и помимо общины. Ну, а у нас-то, в мужицком государстве, созданном народовольческой революцией,— у нас-то откуда взялась бы такая активная сила? Из среды самих крестьян? Г-ну Тихомирову кажется, как мы знаем, что история имеет какое-то самостоятельное «движение к социализму». Ему позволительно думать, что такое самостоятельное «движение» обнаружится и в среде крестьянства. Но мы оставим г. Тихомирова и поговорим с менее легковерными читателями. Эти последние согласятся, по крайней мере, с тем, что *экономические* тенденции каждого класса определяются характером тех экономических условий, в которых он живет. Наш крестьянин живет в условиях товарного производства, а в товарном производстве продукт господствует над производителем и предписывает ему свои законы. А законы товарного производства таковы, что прежде всего способствуют развитию капитализма и капиталистических, а вовсе не коммунистических тенденций. Откуда же возьмется стремление к коммунизму у нашего крестьянина?

Ясно ли это? Нет? Перейдем от рассуждения к сравнению. У донских казаков теперь столько земли, сколько было бы ее у наших крестьян после народной (народовольческой тож) революции. Ее приходится почти по 30 дес. на душу. Земля эта принадлежит не отдельным лицам, даже не отдельным общинам, а всему «славному войску». Спрашивается: обнаруживают ли донские казаки склонность заводить коммунистическое хозяйство? Насколько нам известно, не коммунистические, а буржуазные стремления все более и более усиливаются в их среде. Может быть, это будет отнесено насчет «разлагающего влияния государства»? Ну, так ведь было время, когда влияние это почти равнялось нулю; почему же тогда не переходили они к коммунизму? Им мешал военный быт? Вообразите же себе, что казаки, совсем избавленные от военной службы, целиком предались мирным занятиям. Что было бы в таком случае? Мы скажем вам — что: тогда-то и началось бы усиленное разложение существующих в среде казаков остатков первобытного коммунизма, тогда-то и приблизилось бы царство казацкой буржуазии...

Многоземелье не спасло казаков от возникновения неравенства, а с ним и эксплуатации бедного богатым. Совсем напротив: многоземелье само способствовало возникновению неравенства *. Покойный профессор Беляев, несмотря на свою сильно славянофильскую окраску, прекрасно понимал роль многоземелья в истории возникновения классов. «Конечно, в древней

---

* [Примечание к изданию 1905 г.] Сказанное здесь подтверждено было несколько лет спустя замечательным исследованием г. Бородина об уральском казачьем войске.

России земли было очень много, несравненно больше тогдашних потребностей, и каждый желающий мог свободно занимать огромные пространства диких полей и лесов, никому не принадлежащих, *что, конечно, и делали те, у кого были средства»* *. Но средства были не у всех одинаковы, а потому не все занимали одинаковое количество земли; некоторые даже совсем не занимали ее, потому что совсем не имели средств для ее расчистки и обработки. Отсюда — неравенство в доходах, зависимость бедных от богатых. Несомненно также, что в некоторых случаях «свободное занятие и разработка земли не замедлили повести к понятию о поземельной собственности». Эта сторона дела хорошо выяснена у М. Ковалевского в его книге об общинном землевладении [1]. До последнего времени существовало в земле войска Донского — а в Кубанской области, быть может, и теперь существует — право свободного занятия невозделанных земель; и именно оно-то и позволяло богатым обогащаться еще более, оно-то и кинуло на эту девственную почву первые зародыши борьбы классов.

Но преобразованное революцией государство помешало бы у нас такому обороту дела, скажет иной читатель.

Трудно наперед сказать, что сделало бы народное государство в том или другом частном случае, но, имея понятие об экономических условиях жизни большинства граждан, нетрудно предвидеть общее направление его хозяйственной политики. Согласно «ожиданиям» самого г. Тихомирова, созданное революцией государство было бы государством крестьянским по преимуществу. Крестьянин, не желающий и не умеющий положить «начало социалистической организации» у себя в общине, не сумел бы и не пожелал бы заводить такую организацию в гораздо более широких государственных пределах. Экономическая политика народного государства была бы столь же мало коммунистической, как и политика отдельных, составляющих его крестьянских общин. Само собою разумеется, что оно постаралось бы устранить злоупотребления, могущие возникнуть при раздаче общественной земли в обработку отдельным лицам или группам лиц. Но оно никогда не решилось бы отбирать у более зажиточных домохозяев принадлежащих им запасов и орудий. Точно так же оно считало бы справедливым и естественным ограничение права земледельца на землю лишь мерою его труда и *средств*, составляющих, конечно, его частную собственность. Если у крестьянина действительно есть какие-нибудь идеалы общественного устройства, то, несомненно, в них играет важную роль такое земельное раздолье, благодаря которому каждый может занимать свободную землю всюду, куда его «топор,

* «Крестьяне на Руси», 2 изд., Москва 1879, стр. 19.

коса и соха ходит». «Народная революция» дала бы возможность хоть отчасти осуществить этот идеал; осуществление же его повело бы, как мы знаем, к неравенству между земледельцами. Раз получивши такой толчок, неравенство сумело бы, разумеется, дойти до своего логического конца и свести «на нет» все результаты «народной революции».

Далее. Крестьянское государство, конечно, оставило бы неприкосновенным не только торговый, но в значительной степени и промышленный капитал. Это допускает, повидимому, сам г. Тихомиров, полагающий, что народная революция только *обессилила бы* «и без того слабые дворянство и буржуазию». «Обессилить» не значит уничтожить. Нужно ли говорить, к каким последствиям привело бы существование торгово-промышленного капитала? Г. Тихомиров полагает, что обнаружению этих последствий помешало бы опять-таки то же народное правительство. Но мы заметим ему, что не все то, что кажется вредным социалисту, является таким в глазах крестьянина, а следовательно, и крестьянского правительства. Между тем как мы с г. Тихомировым вообще против «частного предпринимательского капитала», крестьянин возмущается лишь некоторыми приложениями капиталистического принципа и ничего не имеет против него по существу. Он вполне признает возможность *частной* предпринимательской наживы. А если это так, то против нее не будет ничего иметь и «народное» правительство. В лучшем случае его радикализма хватит на борьбу с крупным капиталом фабриканта, но оно даже не задумается о том, чтобы положить предел «хозяйской» эксплуатации вообще. Следовательно, вот уже второй фактор разложения созданного революцией «относительного равенства». Г. Тихомиров думает, что фактор этот будет обессилен «изъятием земли из области эксплуатации». Но мы знаем уже, что земля не совсем будет «изъята» из нее: народное правительство допустит и неравенство в ее распределении и возможность принанять «работничка» из числа разорившихся домохозяев. *Крестьянские* «идеалы» легко мирятся с *батрачеством*. Кроме того, всякому, понимающему дело, известно, что только так называемый мелкобуржуазный социализм надеется помочь народу «обессиливанием» буржуазии или «изъятием из области эксплуатации» того или другого из средств производства в частности. Да и он-то питает эту надежду лишь потому, что интересующий его «народ» есть мелкая буржуазия, которая только выиграла бы от «обессиления» крупной. Мелкобуржуазный социализм тем и отличается, что его реформаторские планы оставляют нетронутым товарное производство. Но отсюда-то и проистекает его полное теоретическое и практическое бессилие. Истинно революционное рабочее движение настоящего времени не имеет ничего общего с трусливыми фанта-

зиями мелкого мещанства. К сожалению, «русский социализм, как он выразился»... в статье г. Тихомирова, стоит в этом случае гораздо ближе к мелкобуржуазному, чем к рабочему социализму. Подобно первому, он также не доводит своих революционных проектов до уничтожения товарного производства. Он предоставляет позаботиться об этом будущей, послереволюционной «истории государства российского». Совершенно игнорируя значение экономической эволюции при анализе своих революционных посылок, он возлагает на нее преувеличенные надежды, как только заходит речь о результатах рекомендуемого им переворота. Он взывает к *революции* там, где она немыслима без предшествующей *эволюции*, он апеллирует к *эволюции* там, где она невозможна без коренной *экономической революции*. Он хочет быть революционным по преимуществу и оказывается половинчатым и нелогичным по существу *. Скоро увидим мы, откуда заимствовал он эту характерную черту, обращающую в ничто все его революционные фразы.

Стремясь убедить своих читателей в том, что народное правительство сумеет парализовать вредные последствия половинчатости предстоящей экономической революции, г. Тихомиров так изображает вероятный ход будущего социального развития России.

«Правительство, ответственное за ход дел в стране, заинтересованное в ее благосостоянии, от которого зависит и его собственная популярность, без сомнения, принуждено будет употреблять меры к повышению производительности труда, а между прочим, и к организации крупного производства... Выгода и необходимость крупного производства слишком очевидны, а во многих случаях оно даже неизбежно. Это легко понять массе народа. Сверх того (и это в особенности интересно, заметим мы от себя), частная предприимчивость, заторможенная на поприще капиталистического производства, обратится со всех сторон (какая идиллия, подумаешь!) на разъяснение народу выгод и удобства общественного производства... Мы не говорим уже о влиянии на народ социалистической интеллигенции... Почему же таким путем не может мало-помалу создаваться переход общины в ассоциацию, *организация обмена между общинами и союзами общин*, самый союз нескольких общин в целях того или другого производства, пока социалистический строй, развиваясь мало-помалу и все более вытесняя частное хозяйство, не охватит, наконец, всех отправлений страны». Затем «наступление социалистического переворота если не во всей Европе, то, по крайней мере, в некоторых ее странах... поставит

* [Примечание к изданию 1905 г.] Это опять может быть целиком применено к нынешним «социалистам-революционерам».

Россию в почти безусловную необходимость организовать свой международный обмен на тех же (т. е. на социалистических) началах, а стало быть, почти навяжет нам *социалистическую организацию* и в сфере *внутреннего обмена*» (стр. 258—259). Так «представляется» этот вопрос г. Тихомирову. Прежде чем рассматривать его по существу, мы сделаем два мимоходных замечания.

Наш автор возлагает большие надежды на влияние русской социалистической интеллигенции и западноевропейской рабочей революции. Мы также признаем значение этого влияния, но думаем, что оно не может быть безусловным. Во-первых, откуда взял г. Тихомиров, что после крестьянской революции у нас будет «беспрепятственно нарождаться» не только социалистическая, но и вообще какая-либо «интеллигенция» в нынешнем смысле этого слова? В настоящее время наша социалистическая, как и всякая другая интеллигенция происходит главным образом из чиновничьей, помещичьей, купеческой и поповской среды, т. е. из среды высших классов, видящих в образовании средство к карьере. Создавая карьеристов, наши университеты создают, между прочим, и революционеров. Но и карьеристы и революционеры составляют собою продукт существования бюрократического государства и высших классов. Это до такой степени несомненно, что сознание своего «буржуазного» происхождения и заставляло наших революционеров, с одной стороны, толковать о своем «долге народу», а с другой — систематически противопоставлять себя этому последнему. «Социалистическая интеллигенция» сознает, что она есть не более, как одна из веток, выросших на общем стволе чиновничьего и «классового» государства. Г. Тихомиров хочет подрубить этот ствол и в то же время надеется, что дорогая ему ветка не только не засохнет, но будет нарождаться «беспрепятственно». Это напоминает известный анекдот о малороссе, который, подрубивши поддерживавший его сук, очень удивился своему падению. Или, быть может, г. Тихомиров думает, что после «народной революции» социалистическая интеллигенция будет «беспрепятственно нарождаться» из среды самого крестьянства? Если это так, то мы боимся, что он ошибается.

К чему сводится значение «ожидаемой» им революции? К аграрному перевороту, к экспроприации крупных землевладельцев, к возможности дать крестьянам наделы втрое большие против нынешних, к уничтожению податного гнета. Полагает ли г. Тихомиров, что такое увеличение наделов убедит крестьян в необходимости высшего образования, что оно заставит: *их самих* — посылать своих детей в университеты, а *их правительство* — поддерживать и учреждать высшие учебные заведения?

Большое количество земли настолько *упростит* положение крестьянства, настолько увеличит значение лишних рабочих рук в его семье, что оно не увидит ни надобности, ни возможности тратить большое количество денег и времени на высшее образование.

Университеты нужны чиновничьему государству, буржуазии, дворянству, наконец нужны будут пролетариату, который без высшего научного образования не управится с поступившими в его распоряжение производительными силами; в царстве же крестьянских общин университеты будут роскошью, мало привлекательною для практичных домохозяев. Но допустим, что крестьянам «легко понять» значение высшего образования. Припомним, кроме того, что после «народной революции» останется и буржуазия и дворянство; положим, что и та и другое будут «обессилены» ровно настолько, насколько это нужно для того, чтобы, не вредя народу экономически, они имели возможность посылать своих детей в высшие школы. Почему думает г. Тихомиров, что эти школы будут рассадниками *социалистической* интеллигенции? В Швейцарии мы как раз видим, с одной стороны, зажиточное крестьянство, с другой — довольно «бессильную», т. е. мелкую, буржуазию. Много ли социалистов выходит из швейцарских школ, где действительно обучается немало крестьянских детей?

Но ведь «легко понять» швейцарским крестьянам выгоды социалистической организации производства?

Да вот подите — легко, а не понимают! И слышать не хотят о социализме, не помогают и остатки общинного землевладения и знаменитые артельные сыроварни!

Выгоды социалистического общежития так очевидны, что, казалось бы, их «легко понять» всякому. Но только социалисты утопического периода могли не знать, что действительное понимание социализма идет лишь рядом с настоятельною экономическою необходимостью. В крестьянском же государстве такая необходимость может представиться лишь в виде редкой случайности.

Ну, а ныне существующая интеллигенция? — спросит читатель,— разве не может она, переживя народную революцию, посвятить свои силы «на служение народу, на организацию его труда и его общественных отношений»?

Много ли таких «интеллигентов»? Много ли, извините, понимают они сами? Что сделают они против неумолимой логики товарного производства?

Их усилиям поможет западноевропейская революция? О ней-то мы и хотим теперь побеседовать.

Западноевропейская революция будет могущественна, но не всесильна. Чтобы оказать решительное влияние на другие

страны, социалистические государства Запада должны будут иметь какие-нибудь проводники для такого влияния. «Международный обмен» — могучий, но опять-таки не всесильный проводник. Европейские страны ведут деятельные торговые сношения с Китаем; но едва ли можно быть уверенным, что рабочая революция на Западе в очень скором времени «навяжет» Китаю «социалистическую организацию в сфере внутреннего обмена». Почему? Потому, что «социальная конструкция» Китая очень уже затрудняет решительное влияние на него европейских идей и учреждений. То же можно сказать о Турции, Персии и т. д. А что такое представляет «социальная конструкция» блистательной Порты? Прежде всего — крестьянское государство, в пределах которого сохранилась не только сельская община, но и задруга, по схеме наших народников, гораздо более близкая к социализму. И, несмотря на это, несмотря ни на какие «народные» революции в пределах Турецкой империи, невозможно думать, что европейскому пролетариату без труда удастся «навязать» социализм турецким гражданам, хотя бы и славянского происхождения. Здесь опять-таки нужно различать между активной силой обстоятельств, *толкающих* народы к социализму, и отрицательными условиями, *только облегчающими* переход к нему. Объективная логика внутренних отношений крестьянских государств вовсе не «навязывает» им «социалистической организации в сфере внутреннего обмена»; навязывание же ее «с чисто внешней стороны» не может увенчаться успехом. Европейская рабочая революция несомненно и очень сильно повлияет на все те страны, в которых хоть некоторые слои граждан будут походить на европейский рабочий класс по своему экономическому положению, по своему политическому воспитанию и по привычкам мысли. Наоборот, ее влияние будет сравнительно слабо там, где таких слоев не окажется. Февральская революция отразилась почти во всех странах, схожих с Францией по своей «социальной конструкции». Но поднятая ею волна разбилась на пороге крестьянской Европы. Смотрите, как бы не повторилось того же и с будущей революцией пролетариата!

«Смысл басни сей таков», что Запад — Западом, а Россия — Россией, или, другими словами, на чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай. Как бы ни было могущественно возможное влияние европейской революции, но мы должны позаботиться о создании тех условий, которые сделали бы это влияние действительным. Половинчатая же крестьянско-мещанская революция г. Тихомирова не только не создаст таких условий, но уничтожит даже и те из них, которые существуют уже в настоящее время.

В этом случае, как и во всех прочих, «ожидания» г. Тихомирова полны противоречий. Западное влияние на Россию кажется

ему возможным благодаря «международному обмену». Отсюда следует, что чем сильнее будет этот обмен, тем скорее Запад «навяжет» нам «социалистическую организацию в сфере внутреннего обмена». Но развитие наших международных торговых сношений предполагает развитие у нас торговли, товарного производства. А чем более будет развиваться товарное производство, тем более будет разрушаться то «относительное экономическое равенство», которое явится результатом народной революции, тем более затруднится «социалистическая организация в сфере внутреннего обмена», затруднится, по крайней мере, до поры до времени, т. е. до тех пор, пока развитие товарного производства не дойдет до своего логического конца. Но в таком случае потеряет всякий смысл совершившаяся «народная революция».

Итак, если после «переворота» мы вернемся к натуральному хозяйству, то у нас будет «относительное равенство», но зато и Запад не в состоянии будет влиять на нас вследствие слабости международного обмена. Если же у нас будет развиваться товарное производство, то Западу будет трудно влиять на нас, потому что очень сильно расшатается наше «относительное равенство» и Россия превратится в страну мелкой буржуазии. В этом заколдованном кругу суждено вращаться ожиданиям г. Тихомирова от Запада. Вот что значит быть метафизиком, вот что значит рассматривать предметы «один после другого и один независимо от другого»!

Mein theuerer Freund, ich rath'euch drum
Zuerst Collegium logicum[1].

И эти-то противоречивые надежды на Запад питает тот самый человек, который всю новейшую историю Европы подозревает в «рискованности» и «невероятности»! Поистине, collegium logicum был бы очень полезен для г. Тихомирова!

Покончив с этими замечаниями, перейдем к главному содержанию вышеприведенной выписки.

4. КОЛЕБАНИЯ Л. ТИХОМИРОВА МЕЖДУ БЛАНКИЗМОМ И БАКУНИЗМОМ

В своих проектах социалистической организации России г. Тихомиров является бакунистом чистейшей воды. Правда, он *не* уничтожает государства, но его государство помогает процессу названной организации «с чисто внешней стороны», оно не *создает* элементов такого процесса, оно «только поддерживает их». Ближайший литературный предок г. Тихомирова, П. Н. Ткачев, полагал, что, захвативши власть, меньшинство должно

«навязать» социализм большинству. Правительство г. Тихомирова «без всякой насильственности» *облегчает* народу организацию общественного производства, причем «приходит на помощь *только такому движению*, которое *не может не возникать в стране самостоятельно*». В своих рассуждениях о настоящем г. Тихомиров был верным учеником Ткачева. Его «ожидания» от будущего представляют собою случай идейного атавизма, возврата к теориям более отдаленного духовного предка.

Анархист Артур Арну писал, как мы знаем: уничтожьте государство, и экономические силы придут в равновесие вследствие простого закона статики[1]. Г. Тихомиров говорит: уничтожьте *современное* государство, экспроприируйте крупных собственников, и экономические силы России начнут «самостоятельно» приходить в равновесие. Первый апеллирует к «закону статики», второй — к «народным понятиям и привычкам», т. е. к тому же «народному идеалу», о котором мы знаем из сочинений М. А. Бакунина. Артур Арну метит в «государство» и не замечает, что его «критика» касается лишь государства современного, буржуазно-централистического. Г-н Тихомиров хочет создать государство «народное» — и придумывает новый вид мелкобуржуазного государства, такого государства, которое, не отказываясь окончательно от принципа laissez faire, laissez passer*, т. е., ничего «не создавая», умеет, однако, «поддерживать» самостоятельное «движение истории» нашего отечества к социалистическому строю.

Бакунизм — не система, это ряд противоречий, которые распределяются между гг. бакунистами и анархистами сообразно общей совокупности «понятий и привычек» каждого из них.

Наш автор выбрал ту своеобразную разновидность бакунизма, которая выродилась в «программу» П. Н. Ткачева. Но он не остался до конца верным этой программе. Ему слишком памятны были наставления «первоучителя», он не забыл, что хотя «народ наш явным образом нуждается в помощи», но в то же время «нужно быть олухом царя небесного», чтобы «пытаться учить народ чему бы то ни было или стараться дать его жизни новое направление». И вот он решился придумать такое революционное правительство, которое помогло бы народу «с чисто внешней стороны», которое, не стремясь «ни приневоливать народную массу, ни учить ее», направило бы тем не менее ее дело к благополучному окончанию.

Мы спрашивали г. Тихомирова — чем отличается социально-политическая философия его статьи от философии «Открытого письма к Фр. Энгельсу»? Теперь нам самим нетрудно будет ответить на этот вопрос. Она отличается бледностью и робостью

* [предоставьте событиям идти своим чередом]

мысли, стремлением согласить несогласимое. Что же сказать о бледной копии, если самый оригинал мог, по словам Энгельса, увлекать только «зеленых гимназистов»?

М. А. Бакунин проповедовал непримиримую ненависть ко всякому государству и советовал нашим революционерам не захватывать власти, ибо всякая власть — от дьявола. П. Н. Ткачев находил, что им нужно захватить власть и надолго удержать ее в своих руках. Г-н Тихомиров выбрал золотую середину. Он думает, что захват власти «легко может оказаться полезным и необходимым», но он полагает в то же время, что революционерам следует не *удерживать* власть на неопределенное время, а только *подержать* ее, пока не начнется народная революция.

Из этого неудобного положения между двумя стульями может быть только два выхода. Наш автор может сесть или на бакунинский, или на ткачевский стул; он может сделаться анархистом, может стать решительным последователем (а не тайным только учеником) П. Н. Ткачева. Но едва ли удастся ему вдохнуть в «народовольскую программу» действительно новое содержание, едва ли удастся ему доказать, что та или другая новая идея нашла «признание только с появлением народовольства». Никогда еще бессодержательный эклектизм не рождал новых могучих теорий, никогда еще робкое нерешительное колебание между двумя старыми «программами» не открывало новой эпохи в истории революционных идей той или другой страны!

Итак, г. Тихомиров будет последователем Ткачева в «первый день революции» и превратится в бакуниста немедленно по истечении ее медового месяца.

Но что же такое бакунизм в его применении к «lendemain de la révolution»? * Повторяем, бакунизм — не система. Это смешение социалистических теорий «латинских стран» с русскими крестьянскими «идеалами», народного банка Прудона — с сельской общиной, Фурье — со Стенькой Разиным.

Такая именно смесь характеризует собою тот «род процесса обобществления труда», который рекомендует нашему отечеству г. Тихомиров и которого не только «нигде и никогда не бывало», но «нигде и никогда» не может быть.

Об этом «процессе» можно без преувеличения сказать словами Фамусова:

Тут все есть, если нет обмана!

Тут есть и община, есть и «переход общины в ассоциацию», есть и «организация *обмена* между общинами и союзами общин», есть даже, кроме всего этого, «самый союз *нескольких* общин в целях *того* или *другого производства*»; словом, сюда целиком

* [«другому дню революции».]

вошла пресловутая бакунинско-анархическая «организация производителей снизу вверх». Если читатель имеет понятие об этой «организации», то он не нуждается в дальнейших доказательствах тихомировского бакунизма. Если же ему не случилось ознакомиться с анархическими теориями (что, конечно, и не составляет особенной потери), то мы рекомендуем ему прочитать небольшую брошюру известного когда-то Гильома — «Idées sur l'organisation sociale»*. Ознакомившись с предлагаемым в этой брошюрке «процессом обобществления труда», он увидит, что революционные теории русских самобытников находятся в очень близком родстве с теориями европейских анархистов.

Русскому интеллигентному человеку трудно уйти от влияния «Запада». Объявляя «неприменимыми» к своей стране наиболее передовые теории Европы, русский общественный деятель не спасает этим своей самобытности, а только переносит свои симпатии с серьезного образца на карикатуру. Г-н В. В. оказывается родным братом императорско-королевских «штатс-социалистов», г. Тихомиров — поставленным на голову анархистом.

Но такое неудобное положение нашего автора мало благоприятствует последовательности его мысли. Вот почему он и не доходит до тех выводов, до которых доходил когда-то М. А. Бакунин. Даже самые смелые порывы «революционной фантазии» г. Тихомирова не простираются до уничтожения *выгод предпринимателя*. При организации «общественного» производства «предприниматель, как инициатор и способный распорядитель (от такой мотивировки не отказался бы и сам Бастиа), приобретает все-таки некоторые выгоды, меньшие, конечно, чем в настоящее время, но единственно ему доступные в то время» **. Эта часть проекта «социалистической организации России» как-то невольно напоминает, с одной стороны, ревнивое отношение мелкобуржуазного социалиста к большим «выгодам» крупного предпринимателя, а с другой — рекомендованное Фурье распределение дохода между трудом, капиталом и талантом. Недаром мы говорили, что некоторые разновидности «русского социализма» представляют собою не более, как смесь Фурье со Стенькой Разиным.

Однако во всем этом нет, по крайней мере, обмана, подумает читатель.

Обмана действительно нет, но есть *самообман*. Нет даже самомалейших дурных намерений, но есть огромная доля наивности. И заключается она не в чем ином, как в толках о «*социалистической* организации *обмена*». Для всякого понимающего дело эта последняя есть абсурд, «сапоги в смятку». Только мел-

* [«Размышления о социальной организации».]
** «В. Н. В.» № 2, ст. «Чего нам ждать» и т. д., стр. 258.

кобуржуазные последователи мелкобуржуазного Прудона могли принимать эту нелепость за нечто возможное и желательное. Но зато о Прудоне и говорили, что он столько же понимает в диалектике, сколько дровосек в ботанике. Созданный пролетариатом общественный строй не может иметь ничего общего с *обменом*, он будет знать только распределение продуктов по *потребностям* трудящихся. Некоторые непоследовательные коммунисты находят более удобным распределение, соответствующее участию работника в производстве. Нетрудно было бы обнаружить слабые стороны такого требования*. Тем не менее даже предъявляющие его люди понимали и понимают невозможность «обмена» в социалистическом государстве.

Кто говорит — обмен, говорит — товар; кто оставляет товар — тот предполагает все свойственные товару противоречия. И опять-таки только анархисты могли думать, со слов Прудона, что существует философский камень, дающий возможность устранить из «социалистического обмена» все заключающиеся в обыкновенном обмене «буржуазные» противоречия.

Такого камня нет и быть не может, потому что *обмен* есть коренное неотъемлемое свойство буржуазного производства, а буржуазное производство есть необходимое следствие *обмена*. Карл Маркс еще в конце пятидесятых годов прекрасно выяснил эту сторону дела и тем оставил далеко назади современного движения науки мелкобуржуазные теории анархистов и бакунистов всех цветов и оттенков [1]. Нужно не знать азбуки революционного социализма, чтобы основывать свои ожидания «от революции» на социалистической организации обмена.

В другом месте нам уже приходилось говорить об этом вопросе**, но он так интересен, что не мешает еще раз повторить сказанное. Для наибольшей удобопонятности мы оставим на этот раз отвлеченные формулы науки и ограничимся простыми, наглядными примерами.

Социалистический обмен есть обмен без денег, непосредственный обмен продуктов один на другой, сообразно количеству труда, затраченного на их производство. В таком виде вышла идея этого обмена из головы Прудона, который, впрочем, лишь повторял в этом случае гораздо ранее его сделанную ошибку.

Вообразим теперь, что «на другой день после революции» нашим бакунистам удалось убедить в выгодах социалистической организации обмена уже знакомую нам Торховскую об-

* [Примечание к изданию 1905 г.] Разумеется, это требование несостоятельно лишь как *идеал*, а как *переходная* мера оно может оказаться вполне уместным.

** [Примечание к изданию 1905 г.] Я имел здесь в виду свое изложение и критику экономического учения Родбертуса.

щину Тульской губ. Общинники решились «положить начало» такой организации и опубликовали свое решение в каких-нибудь «Народных Ведомостях». На их призыв откликнулись архангельские рыболовы, новгородские гвоздари, кимрские сапожники, тульские самоварщики и московские портные, все — артельные, «мирские» люди. Они также прониклись новыми принципами обмена под влиянием «беспрепятственно нарождающихся» бакунистов. Сказано — сделано, «договор» заключен, и нужно только привести его в действие. По уборке хлебов наши крестьяне-прудонисты приступают к обмену. Они посылают несколько четвертей хлеба в Архангельск и получают оттуда рыбу; отправляют несколько возов картофеля в Кимры и вывозят оттуда сапоги. Портным они предлагают пшено, гвоздарям — крупу и прочее. Каждый из этих продуктов посылается не на удачу, а в силу предварительного условия. Далеконько и хлопотно будет возить все эти предметы, их, наверное, можно было бы выгоднее сбыть на соседнем рынке, но наши «мужички» — люди идейные и готовы стоять за новый принцип обмена, хотя бы он и обошелся, что называется, «себе дороже». Итак, обмен совершен, и у наших общинников есть гвозди, рыба, сапоги, самовары и готовое платье. Но дело в том, что этими продуктами удовлетворяются далеко не все потребности крестьянина. Ему нужно еще множество других предметов потребления, нужны земледельческие орудия, удобрение, скот и проч. Производители всех этих вещей не хотят вступать в социалистический обмен, потому ли, что читали Маркса и смеются над экономическими «открытиями» Прудона, или потому, что не доросли еще и до прудоновской премудрости и остаются обыкновенными товаропроизводителями. Ведь и сам г. Тихомиров предполагает, что рекомендуемый им «социалистический» строй будет развиваться лишь «мало-помалу». Что же остается в таком случае делать нашим торховским прудонистам? Каким образом могут они удовлетворить те многочисленные потребности, которые не удовлетворяются с помощью «социалистического» обмена? У них один только выход: им остается *покупать* недостающие предметы. В таком же положении окажутся портные, которые не могут, конечно, жить одним пшеном, гвоздари, не могущие просуществовать одной крупою. Словом, рядом с «справедливым», социалистическим обменом будет существовать старый, так сказать, языческий обмен на деньги. К этим «проклятым деньгам» (maudit argent) придется прибегать даже в сделках между прозелитами прудонизма. Если кимрским сапожникам нужен картофель лишь в количестве, воплощающем в себе x дней труда, между тем как торховцам требуется столько пар сапог, сколько можно приготовить в течение вдвое большего числа дней, то разность должна быть покрыта деньгами, буде

кимряки не пожелают ни овса, ни сена, ни соломы, ни каких-либо других земледельческих продуктов. А это легко может случиться, если оправдается предсказание г. Пругавина и кимрские сапожники опять обратятся к земледелию, с «улучшением его условий». Что же выйдет? Организуясь лишь «мало-помалу», производители-прудонисты будут иметь против себя огромную массу производителей старой экономической «веры», и ничтожный «прогресс», достигнутый с помощью «социалистической организации обмена», будет всегда с огромным избытком перевешиваться тем регрессом в «относительном равенстве», который составляет неизбежное следствие товарного производства и обыкновенного, «буржуазного» обмена. Порок будет пересиливать добродетель, буржуазные отношения станут брать верх над прудоновским социализмом. Окруженные мелкобуржуазным большинством, сами прудонисты станут «развращаться», тем более что их собственное богатство будет в значительной степени состоять из денег старой «эксплуататорской» породы. Искусившись наживой, кимряки могут послать торховцам сапоги на картонной подошве, за что торховцы не преминут отплатить им полусгнившей «картошкой». «Враг силен» вообще, а в данном случае сила его будет опираться на непреодолимую логику товарного производства, господствующего даже в среде вступивших в «социалистический обмен» общин. С трудом созданные союзы будут распадаться, прудонисты превратятся в обыкновенных мелкобуржуазных производителей, и воспитанной на бакунизме интеллигенции нужно будет снова и снова приниматься за свою неблагодарную работу пропаганды новых экономических принципов. Сказка про белого бычка, сизифова работа! И эту-то сизифову работу г. Тихомиров задает русским социалистам единственно для того, чтобы как можно более приблизить царство социализма, чтобы не идти к нему медленным и трудным путем капитализма. Вот что значит поспешишь — людей насмешишь.

По вопросу о «социалистической организации в сфере внутреннего обмена» нужно, как и в вопросе о международной торговле, иметь в виду одно из двух: или народная революция вернет нас к натуральному хозяйству, и тогда у нас «социалистический обмен» будет медленно развиваться, потому что будет очень слаб обмен вообще; или она сохранит и ныне уже существующую тенденцию к все большему и большему разделению труда, к полному отделению хлебопашества от промышленности, и тогда социалистическая организация обмена будет представлять собою крайне трудную задачу вследствие большой сложности производительного механизма страны. А между тем медленное развитие социалистической организации обмена лишает ее даже того смысла, который видят в ней ее сторонники. Чтобы

уединить от разлагающего влияния денежного хозяйства *одну только сельскую общину*, нужно, чтобы ей удалось организовать социалистический обмен *со всеми* теми *производителями*, продукты которых соответствуют различным ее потребностям. В противном случае ее уродливый денежно-социалистический организм задохнется в собственном противоречии. Но одна община не в состоянии снабдить земледельческими продуктами *всех* производителей *всех* нужных ей предметов потребления. Этим производителям придется или покупать часть необходимого им сырья и, в свою очередь, вести уродливое денежно-безденежное хозяйство, что посадит на мель их социалистические планы; или дожидаться того блаженного времени, когда число прудонистских сельских общин возрастет до необходимого и достаточного уровня. С наступлением этого блаженного момента получится возможность организовать первую минимальную производительно-меновую ячейку. Но что значит одна такая ячейка в громадном экономическом организме русского государства? Она сама будет задыхаться в окружающей ее атмосфере конкуренции. Она будет изображать собою каплю меда в бочке дегтя. Рядом с ней и против нее будут действовать все производители-язычники; ей будут на каждом шагу подставлять ногу «дворянство и буржуазия», хотя и «обессиленные», но все-таки не уничтоженные «народной» революцией. Как вы думаете, читатель, скоро ли при таких условиях «социалистический строй охватит, наконец, все отправления страны»? Мы думаем, что, по крайней мере, очень и очень нескоро. А ведь — повторяем — г. Тихомиров указывает «такого рода процесс обобществления труда» исключительно в видах быстроты и натиска на историю. Путь, избранный социал-демократией всех цивилизованных стран, кажется ему слишком «умеренным и аккуратным». Наш автор пошел «напрямик» и завяз в трясине мелкобуржуазных реформ, чуждых какой бы то ни было последовательности, оригинальности или смелости.

Но не будем уклоняться. Предположим, что дело социалистической организации обмена идет быстро и успешно. Посмотрим, к чему приведет практическое применение его принципов.

Торховская сельская община вступила в союз с ассоциацией кимрских сапожников. Обмен их продуктов совершается на началах «конституированной стоимости», мерилом которой служит труд, и один только труд. Прудон торжествует. Но практичные и «исправные» торховские «домохозяева» поднимают вопрос о том, какого рода труд должен служить мерою стоимости? Более идеально настроенные кимряки (сапожники всегда немножко философы) не затрудняются ответом. Они говорят, что мерою стоимости должен служить труд вообще, абстрактный человеческий труд. Однако «свободные хлебопашцы» не

унимаются. Они говорят, что не знают такого труда и что хотя «по-ученому» он, быть может, и существует, но они имеют дело с конкретным, определенным сапожным трудом Петра, Ивана, Федора или целой ассоциации Петров, Иванов, Федоров. Их обуревают «буржуазные» сомнения, и они полагают, что давать тем больше хлеба кимрякам, чем дольше они провозятся с сапогами,— значит учреждать премию за неумелость, медленность и неповоротливость. Доведенные до отчаяния мужицкою недогадливостью, сапожники оставляют Прудона и апеллируют, как им кажется, к самому Марксу. Они говорят, что мерою стоимости их продуктов должен служить «общественно необходимый труд», тот средний труд, который необходим на производство сапог при данном развитии техники. Но и этот аргумент не побеждает упорства торховцев. Им непонятно, каким образом можно определить, сколько именно такого общественно необходимого труда заключается в труде пристающих к ним сапожников. Тогда эти последние ищут спасения в Родбертусе и с торжеством приносят его брошюру «Der Normalarbeitstag» *, а также и переписку его с архитектором Петерсом из Шверина. Померанский экономист доказывает, что всегда есть возможность определить, сколько именно может и должен сделать средний работник в данной отрасли производства. Эта-то средняя производительность труда и должна считаться трудом общественно необходимым. Кто может превзойти эту норму — получает больше, кто не достигает ее — получает меньше; вопрос исчерпывается, повидимому, окончательно.— Постойте, однако, восклицают поколебавшиеся было торховцы. Допустим, что есть возможность определить среднюю производительность и вашего и нашего труда. Будем надеяться, что за это дело возьмется государство, «способствующее» социалистической организации обмена. Положим, что на пару сапог нужно два дня труда. Но рядом с вашей ассоциацией существует огромное количество других сапожников. Эти производят на сбыт, да и вы, отославши нам 30 пар сапог в год, вывозите целые тысячи их на рынок. Вообразите, что предложение сапог превышает спрос на них. Тогда понизится их меновая стоимость, потому что каждая пара сапог будет представлять собою лишь полтора или три четверти дня общественно необходимого труда. Думаете ли вы, что мы будем давать вам прежнее количество хлеба? Это для нас очень невыгодно, а вы знаете, что своя рубашка ближе к телу. Если, наоборот, сапог будет приготовлено слишком мало, то *вам* не будет расчета отдавать их нам по прежней «справедливой», социалистической цене. Вообще нам кажется, что в основе справедливости лежит утилитарный принцип и

* [«Нормальный рабочий день»]

что не может быть признана «справедливою» сделка, приносящая убыток одной из сторон. При современных же колебаниях товарных цен нет никакой возможности уравновесить наши взаимные интересы, так как только посредством этих колебаний и определяется отношение индивидуального труда отдельных производителей — или совокупного труда целой ассоциации производителей — к *труду общественно необходимому*. Поэтому, до тех пор пока товарный рынок будет диктовать нам условия нашего социалистического обмена, весь наш «договор» будет праздным переливанием из пустого в порожнее. Польза от него будет так же велика, как если бы мы согласились писать свои счеты римскими цифрами вместо арабских. Вы, сапожники, давно уже известны не только пьянством, но и большою склонностью к фантазиям; мы же — мужички умственные и на вздор тратить времени не намерены.

— Но ведь неудобства социалистического обмена будут существовать лишь до тех пор, пока к нему не согласятся приступить все производители,— ответят сапожники.— Раз наступит такой момент, ничто не помешает социалистическому обмену охватить всех отправлений страны.

— Ну, это еще улита едет, когда-то будет,— возражают хлебопашцы.— Если все согласятся на это, что ж, и мы от мира не отказчики. А до тех пор нам неспособно.

Исполнение «договора» отсрочивается, таким образом, на неопределенное время, в течение которого товарное производство идет своим чередом и подкапывает «относительное равенство».

Из всего этого следует, что время «социалистической организации в сфере внутреннего обмена» наступит лишь тогда, когда будет возможность устранить все указанные его противоречия. А это возможно будет лишь в том случае, когда *труд каждого отдельного лица примет общественный характер*. А это будет лишь тогда, когда весь общественный производительный механизм будет представлять собою одно планомерное целое. Но тогда «организация обмена» окажется пятым колесом в телеге, потому что всякий обмен имеет смысл лишь до тех пор, пока производительный механизм общества состоит из отдельных, не связанных органически частей, т. е. когда труд производителя имеет не общественный, а индивидуальный характер. Ни родовая, ни семейная община не знали «внутреннего обмена» и не нуждались в его организации по той простой причине, что в основании их лежало *организованное производство*. Если они нуждались в чем-нибудь, то разве лишь в тех или других *нормах распределения*; но при современном развитии производительных сил и эти нормы могут быть приурочены к одному принципу — человеческим потребностям. Прогулявшись по пути «социали-

стической организации обмена», мы опять возвращаемся к своему исходному пункту. Мы опять приходим к вопросу о том, каким образом явится в России *социалистическая организация производства?* Мы видели, что его не станет заводить ни временное, ни постоянное народное правительство; мы видели также, что к нему не ведет ни общинное владение землею, ни общинная обработка полей. Теперь мы убедились, кроме того, что к нему не ведет и «социалистическая организация в сфере внутреннего обмена». А ведь г. Тихомиров пророчил нам «начало социалистической организации России»; в этом заключался весь смысл его «народовольской» революции. Каким же образом осуществится его пророчество?

Нужно верить, восклицает г. Тихомиров, верить «в народ, в свои собственные силы, в революцию».

«Верую, господи, помози моему неверию!» Мы знаем, что вера — прекрасная вещь, что «верою движется мореплаватель, когда, вручив судьбу свою утлому древу, непостоянное стремление волн предпочитает твердейшей стихии, земле». Но тот же самый боговдохновенный отец, который делает эту апологию веры, мог бы рассказать, в какое неустойчивое равновесие попадает вера, приходя в противоречие с разумом. Тихомировская же «вера» сильно страдает этим роковым противоречием. Он верит в *свою*, полубакунистскую, полуткачевскую, революцию лишь потому, что его разум вполне удовлетворяется ткачевско-бакунистской философией. Но едва только возрастет требовательность его разума — от *этой* его веры не останется и следа. Он поймет тогда, что он жестоко заблуждался, считая позволительным толковать об экономической революции без малейшего знакомства с азбукой экономической науки, т. е. с понятием о деньгах, товаре и обмене.

Впрочем, по этому последнему поводу мы не станем особенно упрекать нашего автора. Мы скажем: вера его спасла его. Он ошибался лишь потому, что «верил» в Ткачева и Бакунина; виноват не он, а «соблазнившие» его.

Нам важен общий вывод из всего предыдущего, вывод, который может быть формулирован так: *все тихомировские ожидания «от революции» представляют собою одно сплошное недоразумение и возврат передовой русской мысли на избитую дорогу бакунизма.* Но «что было, то быльем поросло, а что будет, то будет не по-старому, а по-новому», как говорит народная песня. Дискредитированный в семидесятых годах, бакунизм не оживет в восьмидесятых. Воскресить его не удастся «витиям» и более «громким», чем г. Тихомиров.

Те из читателей, которым покажется убедительным этот вывод, могут сделать нам новое и последнее возражение. Они могут сказать нам, что вся наша аргументация основывается на

том предположении, что г. Тихомиров только *подержит* власть в своих руках, а не *удержит* ее на более долгое время. Что будет, если революционеры последуют указаниям Ткачева, а не Тихомирова, если оправдается мнение П. Л. Лаврова, который уже десять лет тому назад говорил, что «диктатуру вырывает из рук диктаторов только новая революция»?

5. ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАХВАТА ВЛАСТИ СОЦИАЛИСТАМИ

Что будет тогда? О, тогда произойдет позорнейшее фиаско русской социалистической партии! Она вынуждена будет взяться за дело такой «организации», для которой у нее не хватит ни сил, ни понимания. Все соединится для того, чтобы нанести ей поражение: собственная неподготовленность, вражда высших сословий и сельской буржуазии, равнодушие народа к ее *организаторским* планам, общая неразвитость наших экономических отношений. Русская социалистическая партия даст лишь новый исторический пример для подтверждения мысли, высказанной Энгельсом по поводу крестьянской войны в Германии. «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость овладеть властью в то время, когда движение еще не достаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. *Возможное* для такого вождя зависит не от его воли, а от уровня, достигнутого противоположностью интересов различных классов, уровня, в свою очередь, зависящего от степени развития материальных условий существования, отношений производства и обмена. С другой стороны, то, что такой вождь *должен* делать то, чего требует от него его собственная партия, также зависит не от него, но в то же время и не от степени развития классовой борьбы и не от ее условий; он остается связанным своими прежними доктринами и требованиями, которые также вытекают не из взаимного положения общественных классов в *данный момент*, не от *временных*, более или менее случайных отношений производства и обмена,— но обусловливаются способностью этого вождя к пониманию общих результатов социального и политического движения. Таким образом, перед ним неизбежно вырастет неразрешимая дилемма: что он *может* сделать — противоречит всем его предыдущим поступкам, его принципам и непосредственным интересам его партии; что он *должен* был бы делать — оказывается неисполнимым. Словом, он будет вынужден отстаивать не свою собственную партию, не свой собственный класс, а тот класс, для господства которого уже созрело движение. Он должен будет в

интересах именно этого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделываться от своего собственного класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными интересами. Кто раз попал в это ложное положение — тот пропал безвозвратно» [1].

Отсюда следует, что очень заблуждается г. Тихомиров, воображающий, что захват власти революционерами послужил бы «исходным пунктом революции». Совершенно наоборот: такой «захват» послужил бы лишь сигналом реакции. Он не упрочил бы влияния передовых сил страны, но, истощивши их первой, бесплодной попыткой, он обеспечил бы торжество консервативных и реакционных партий. Русская революция не только отклонилась бы от дорогого и единственно понятного нашим якобинцам образца французской революции, но представляла бы своим ходом прямую противоположность этой последней. Между тем как до известного времени каждая новая волна французской революции выносила на историческую арену новую, более крайнюю партию, наши доморощенные якобинцы свели бы к нулю соответствующий период русской революции. Разбитые и дискредитированные, они удалились бы со сцены под градом вражеских обвинений и насмешек, а оставшиеся без руководителей, нестройные и несплоченные массы народа не смогли бы одолеть систематического сопротивления своих неприятелей. Народные восстания в самом лучшем случае окончились бы лишь низвержением остатков старого режима, не принеся трудящемуся классу тех реформ, которые касаются его интересов прямым и непосредственным образом.

По замечанию Маркса, великие события дважды повторяются в истории: в первый раз они являются трагедией, во второй — фарсом [2]. История французских якобинцев представляет собою величественную, полную жгучего интереса трагедию. История же заговорщицких планов новейших бланкистов (русских и иностранных), *несмотря на героизм* отдельных личностей, остается фарсом, трагикомизм которого заключается в полной неспособности действующих лиц понять смысл и характер предстоящей рабочей революции.

ГЛАВА V

ИСТИННЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

1. СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ И «ЗУБОТЫЧИНЫ»

Итак, «русский социализм, как он выразился в партии Народной Воли», до тех пор останется чуждым великим задачам европейского социализма, пока он не покинет безвозвратно своего промежуточного положения между анархизмом Бакунина и бланкизмом Ткачева, т. е. пока он не признает бесплодности теоретических построений г. Тихомирова.

Но так как эти построения представляют собою последнюю, отчаянную попытку оживить наши революционные теории доброго старого времени, то, возвысившись до такого признания, наш социализм перестанет быть *«русским»* и сольется со всемирным социализмом, «как он выразился» в сочинениях Маркса, Энгельса и отчасти Лассаля.

Его сторонники поймут тогда, что:

1) *Коммунистическая* революция рабочего класса никоим образом не может вырасти из того мещанско-крестьянского социализма, проповедниками которого являются в настоящее время почти все наши революционеры.

2) По внутреннему характеру своей организации сельская община прежде всего стремится уступить место буржуазным, а не коммунистическим формам общежития.

3) При переходе к этим последним ей предстоит не *активная*, а *пассивная* роль; она не в состоянии *двинуть* Россию на путь коммунизма; она может только *менее сопротивляться* такому движению, чем мелкое подворное землевладение.

4) Инициативу коммунистического движения может взять на себя лишь рабочий класс наших промышленных центров — класс,

5) Освобождение которого может быть достигнуто только путем его собственных сознательных усилий.

Раз понявши эти простые истины, русские социалисты «из привилегированной среды» оставят всякие помыслы о захвате власти, предоставляя его нашей рабочей социалистической партии будущего. Их усилия направятся тогда лишь *к созданию*

такой партии и к устранению всех условий, неблагоприятных для ее роста и развития.

Само собою понятно, что такого рода деятельность не может иметь ничего общего с тем объединением рабочего класса посредством «обезземеления, штрафов и зуботычин», о котором говорит г. Тихомиров, как об исходе, единственно возможном в настоящее время для русских социал-демократов [1]. Одной этой выдумки было бы достаточно для увековечения литературного имени нашего автора, если бы она, подобно всем прочим его выводам, не отличалась полным отсутствием оригинальности. Наш автор и в этом случае повторил лишь то, что давно уже говорилось и печаталось нашими легальными и нелегальными народниками. Даже беллетристы «мужиковствующего» направления отводили марксистам в своих произведениях роль каких-то приспешников капитализма. Года два тому назад г. Эртель поместил в «Вестнике Европы» повесть «Волконская барышня» [2]. В этом забавном произведении фигурируют и либеральный землевладелец, и просвещенный буржуа, и народник — занимающийся отчасти собиранием песен, а отчасти амурами с героиней повести — и, наконец, марксист, посвятивший свои силы на усовершенствование земледельческой культуры в имении либерала-помещика. Эртелевский марксист не любит, правда, «штрафов и зуботычин», но он приходит в восторг при одной мысли о приобретении помещиком какой-нибудь новой машины, не говорим уже завода или фабрики. Он так проникся интересами капитализма, что немедленно заключает тесный и братский союз с упомянутым уже просвещенным буржуа, как только этот последний приезжает в гости к его патрону. Такая «программа», действительно, не заключает в себе ничего привлекательного, но в этом не виноват ни марксизм вообще, ни упомянутый марксист в частности. Этот последний мог придумать лишь такую программу, какой угодно было наградить его г. Эртелю. Давно уже замечено, что яблоко недалеко падает от яблони и что герои беллетристических произведений не бывают догадливее их авторов. В подтверждение этой старой истины можно было бы привести то новое доказательство, что сам эртелевский народник говорит целый ряд ни с чем не сообразных вещей, например, в разговоре с марксистом, которого он уверяет, что теперь Марксу «пришел карачун» вследствие появления каких-то новых статей в каких-то русских журналах (уж не статей ли г. В. В. в «Отеч. Записках»?). Если читатель примет в соображение эту истину, то, снимая вину с «марксиста», он тем более снисходительно должен будет отнестись к самому марксизму, преступление которого заключается лишь в том, что его не в силах были понять и оценить русские самобытники.

При сколько-нибудь внимательном отношении к вопросу очевидно, что социал-демократы не только никогда и нигде не могут быть союзниками буржуазии в деле порабощения рабочих, но, наоборот, только они и могут организовать серьезный отпор капиталистической эксплуатации. Для наглядности опять обратимся к практическому примеру. Припомним современное положение ткачей-кустарников и посмотрим, как могут и должны отнестись к ним различные социалистические фракции.

Об анархистах говорить много нечего. Они рекомендовали бы кустарям «пропаганду действием», посоветовали бы им взорвать тот или другой трактир, изувечить того или другого фабриканта. Никакого систематического образа действий не может указать программа, главной особенностью которой является отрицание всякой логической последовательности, всякой системы. Для нас интереснее бланкисты. На родине Бланки, во Франции, последователи этого замечательного человека представляют собою людей систематического образа действий лишь постольку, поскольку программа их утрачивает свои отличительные свойства и сливается с программой «рабочей партии», как это мы видим в выборной агитации, в пропаганде классовой борьбы и т. д. и т. д. В тех же случаях, когда бланкисты сохраняют во всей неприкосновенности свой «особый отпечаток», их образ действий теряет всякую руководящую нить и сводится к формуле — «шумим, братец, шумим!» [1] Сегодня они агитируют в пользу поднесения почетного револьвера Березовскому[2], завтра требуют уничтожения постоянной армии, послезавтра горячатся по поводу «Искупительной Капеллы» и т. п. Такого рода «шумная» деятельность, разумеется, невозможна для русских последователей Бланки, т. е. для явных или тайных сторонников «Набата». В России агитационная деятельность бланкистов по необходимости сводится главнейшим образом к «террору»; организационная — к созданию тайных обществ заговорщиков. Спрашивается, какую роль может играть при этом кустарь, как таковой, т. е. не затерявшийся среди интеллигенции, а остающийся при своем ремесле и при всех тех отношениях к капиталу, которые навязаны ему историей? В террористической борьбе могут принимать участие только отдельные личности. Приглашать же кустарей к сплочению в одну рабочую партию теперь несвоевременно, так как «рабочий, способный к классовой диктатуре, почти не существует, стало быть, политической власти ему не доставишь» и т. д. Ткачам остается уповать на будущее и поддерживать революционную партию в ее стремлении к захвату власти, в той надежде, что результатом такого захвата будет «начало социалистической организации России»:

Вот приедет барин,
Барин нас рассудит! [3]

Но «барин» может опоздать своим приездом, он может совсем не приехать, может подвергнуться изгнанию тотчас по приезде, не успевши положить знаменитое «начало». Какую же практическую, непосредственную пользу принесет кустарям революционное движение? Уяснит ли оно им их собственное положение, научит ли оно их дружному, организованному отстаиванию своих интересов?

Нет, не научит! А если и научит, то лишь случайно и мимоходом, так как главные усилия бланкистов направляются вовсе не в сторону социалистической пропаганды между рабочими. Мы уже видели, что тихомировская революция надеется собрать народные силы вокруг таких «пунктов», для уяснения которых «не нужно никакой особенной пропаганды». А между тем для серьезной и действительно успешной борьбы кустарей с их эксплуататорами необходима именно «особенная пропаганда». Отсюда следует, что при всем своем желании «брать народ, как он есть» русские бланкисты не могут не игнорировать целого ряда его практических нужд и потребностей.

В какое положение станет к кустарям русский социал-демократ, так часто и так настойчиво обвиняемый в фантазерстве и непрактичности? Зная, что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих и что степень капиталистической эксплуатации определяется, между прочим, уровнем потребностей и развития эксплуатируемых, он постарается побудить рабочих к самостоятельной борьбе против капитала. Так как разрозненные усилия рабочих отдельных фабрик и мастерских не могут обеспечить удачного исхода такой борьбы, то ему нужно будет сообщить ей классовый характер. Для этого ему придется энергично и настойчиво вести ту «особенную пропаганду», которая называется пропагандой социализма. Но мы знаем уже, что всякая классовая борьба есть борьба политическая. Поэтому пропаганда нашего социал-демократа должна будет немедленно принять *социально-политический* характер. Он скажет рабочим: «возвышение уровня вашего материального благосостояния возможно лишь при решительном вмешательстве со стороны государства. Одним из вас, именно тем, которые почти окончательно стали уже фабричными рабочими, оно может и должно помочь прежде всего путем законодательного ограждения интересов взрослых работников, женщин и детей; те же из вас, мелкое самостоятельное производство которых еще борется против капитализма, могут упрочить свое положение лишь посредством кредита, выдаваемого государством рабочим ассоциациям. Но не всякое государство возьмет на себя роль вашего союзника. Государство будет всецело на вашей стороне лишь тогда, когда оно всецело будет вашим, рабочим государством. К этой цели и должны быть направлены все ваши

усилия. А пока эта цель не достигнута, вы должны *заставлять* делать вам уступки даже враждебное вам государство. Не забывайте притом, что уступки эти будут тем решительнее, чем решительнее вы будете их требовать, чем сильнее будет ваша партия. Создавайте же такую партию, сплачивайтесь в одну грозную и дисциплинированную силу. Когда вам удастся одержать окончательную победу, тогда вы совсем сбросите иго капитала, а до той поры вы будете держать его хоть в какой-нибудь узде и предохраните, по крайней мере, себя и своих детей от физического, нравственного и умственного вырождения. У вас есть только два выхода из вашего современного положения: или борьба, или полное подчинение капиталу. Я зову с собою тех, которые хотят бороться!».

Как вы думаете, читатель, не будет ли такого рода деятельность наиболее практичною из всех возможных? Вы скажете, что успехи ее будут слишком медленны и неверны. Допустим, что так; но другие роды деятельности сулят еще менее верные успехи. Ни анархическая «пропаганда действием», ни бланкистские заговоры ни на шаг не подвинут классовой борьбы в России, а от хода этой борьбы только и зависит эмансипация рабочих.

Социал-демократ, конечно, сделает лишь то, что *может*; но преимущество его положения заключается в том, что *он может сделать для рабочего класса гораздо больше*, чем всякий другой «социалист-революционер». Он внесет в рабочий класс *сознание*, без которого невозможно начало серьезной борьбы с капиталом. А раз внеся это сознание, он придаст революционному движению такую силу, прочность и интенсивность, о каких невозможно и мечтать, оставаясь при старых «программах».

И заметьте, что нашему социал-демократу вовсе не нужно «хлопотать (характерное для русского человека выражение!) о создании класса, во имя которого он хочет действовать». Только при полном незнании экономических отношений современной России можно быть в неведении относительно того бесспорного обстоятельства, что класс этот частью создан, частью все скорее и скорее *создается* неумолимым ходом общественного развития. Только при полном непонимании исторической роли всенивеллирующего капитала можно сравнивать положение нашего рабочего класса с более или менее исключительным положением нашего «дворянства» [1]. Французским англоманам конца прошлого и начала нынешнего столетия не удалось пересадить на свою почву аристократических учреждений Англии; но французская рабочая партия может, нимало не впадая в утопию, держаться той же самой программы, что и английская демократическая федерация. Откуда такое различие?

Это секрет, который, впрочем, без труда откроет сам г. Тихомиров, если он внимательно прочтет хотя бы «Манифест Коммунистической партии». Рекомендуя ему это замечательное произведение, мы с своей стороны скажем еще несколько слов о задачах социалистов того «направления, которое считает историческою неизбежностью русский капитализм» и к которому принадлежим мы сами.

Наиболее обыкновенным доводом против этого направления — доводом если не «от разума», то *от сердца* — является указание на невозможность быстрого развития революционного движения в России в том случае, если шансы его будут приурочены лишь к силе и росту русского рабочего класса. Это-то соображение и возбуждает, с одной стороны, склонность к самобытным программам, а с другой — уже упомянутое опасение того, что самим революционерам придется, пожалуй, определиться на службу русскому капиталу. Этот довод не замедлят, конечно, выставить и против нашей аргументации.

Мы считаем поэтому нелишним обратить внимание читателей на странную непоследовательность людей, от которых приходится слышать возражения, подобные только что приведенному. Именно эта непоследовательность наглядно показывает, что многие из так называемых учеников Чернышевского усвоили одни результаты его исследований, не составивши себе ни малейшего понятия о методе своего учителя.

Когда заходит речь о вероятной судьбе русского капитализма или об его влиянии на наши политические отношения, то народники начинают обыкновенно с указания на то несомненное будто бы обстоятельство, что капитализм наш находится на той же ступени развития, на какой стоял он «в западной Европе» более века тому назад. Из этого делается тот вывод, что целое столетие должно пройти прежде, чем капитализм сослужит нашей истории ту же «службу», которую он сослужил истории «Запада». Это долго; а так как наша интеллигенция давно уже привыкла подставлять на место революционного развития свою революционную волю, то она обращает свои взоры на общину и ссылается на доказанную Чернышевским возможность непосредственного перехода ее в социалистическую форму общежития. Таким образом, она апеллирует к вероятности *полного устранения* одной из фаз общественного развития — в значительной степени потому, что не понимает возможности *сокращения продолжительности* этой фазы. Ей и на мысль не приходит, что полное устранение данного исторического периода есть лишь частный случай его сокращения и что, доказывая возможность первого, мы тем самым, и притом в гораздо более сильной степени, подтверждаем вероятность второго.

Мы видели уже выше, на примере П. Н. Ткачева, что эта грубая логическая ошибка легла в основание программы наших бланкистов. Но, к сожалению, ее повторяют не одни бланкисты.

Очень и очень многие думают, что социальная революция может совершиться в России «теперь или очень нескоро, быть может, никогда», т. е., другими словами, или на основе наших современных экономических отношений, или на основе того строя, создание и упрочение которого отходит в самую туманную даль. Но мы знаем уже — и этому учит нас история той же западной Европы,— что для капитализма труден был только первый шаг и что его непрерывное движение от «Запада» к Востоку совершается с постоянно возрастающим ускорением. Не только развитие русского капитализма не может быть так же медленно, как было оно, например, в Англии, но и самое существование его не может иметь такой продолжительности, какая выпала на его долю в «западноевропейских странах». Наш капитализм отцветет, не успевши *окончательно* расцвесть, за это ручается нам могучее влияние международных отношений. Но что дело подвигается тем не менее к его более или менее полному торжеству — в этом также невозможно сомневаться. Ни голословные отрицания уже существующего факта, ни скорбные возгласы по поводу распадения старых, «вековых» форм народного общежития — ничто не остановит страны, «ступившей на след естественного закона своего развития». Но это развитие может быть более или менее медленным, роды окажутся более или менее мучительными — в зависимости от комбинации всех общественных и международных отношений данной страны. Более или менее благоприятный для рабочего класса характер такой комбинации в свою очередь зависит от поведения людей, понявших смысл предстоящей их стране эволюции. Развитие капитализма в Германии застало рабочий класс на более высокой ступени развития, чем в Англии или во Франции, а потому и отпор капиталистической эксплуатации в этой стране был быстрее и решительнее. Немецкие коммунисты и не думали определяться на службу капитализму. Они знали, что более или менее близкая победа рабочего класса зависит, между прочим, от влияния на этот класс людей, понявших смысл исторического развития. Они деятельно взялись за пропаганду в рабочей среде, и успех превзошел их ожидания. Почему бы нам нельзя было последовать их примеру?

Фабрикант так же немыслим без рабочего, как античный «господин» был, по замечанию Аристотеля, немыслим без раба. Развитие буржуазии предполагает развитие рабочего класса; исторический рост капитализма представляет собою двусторонний процесс, причем на каждой из его сторон группируется соответствующий общественный класс. В целом каждый из этих

классов прикован к своему месту «крепче, чем цепи Вулкана приковывали Прометея к скале». В капиталистическом обществе товар господствует над производителем и предписывает ему его поведение. Но для отдельных личностей есть возможность сознательного выбора между каждым из противоположных полюсов. К таким личностям принадлежат наши так называемые «интеллигентные люди». От их собственного нравственного и умственного развития будет зависеть то или другое отношение их к делу рабочего класса. И никакие софизмы не могут дать нравственного оправдания социалисту, перебежавшему в лагерь эксплуататоров. Да и софизмы-то, возможные в этом случае, настолько жалки и бессильны, что ни на минуту не могут показаться убедительными человеку, умеющему правильно построить хоть один силлогизм.

Лишь при свойственной нашим самобытникам прямолинейности и угловатости воззрений возможны толки о логической необходимости личного участия социалиста в процессе капиталистического развития страны. Самобытник привык подставлять на место исторического развития свою собственную волю, привык довольствоваться догматическим миросозерцанием вместо критического. Он рассуждает так: капитализм неизбежен как переходная фаза; поэтому необходимы люди, которые создавали бы капиталистические отношения. А между тем я не могу уже служить рыцарям первоначального накопления, я не могу «грабить рабочего с чистой совестью и энергией». Что если будет много подобных мне людей? Что если *все* проникнутся моими взглядами? Тогда не будет капитализма, который неизбежен как переходная фаза, и т. д. Бедный самобытник попадает, таким образом, в настоящий логический круг посылок, за которым следуют новые концентрические круги умозаключений. Не лучше ли «временно отречься от социализма и приложить свои силы к расширению и укреплению капитализма, если он так безусловно необходим»! «С какой стати,—говорит г. Тихомиров,— мы будем самого рабочего напитывать социалистическими идеями, отвлекающими в этом классе лучшие силы от стремления к капиталистической карьере, которую никто не совершает успешнее, чем выходцы из самих рабочих?» [1] Мы успеем вернуться к социализму, когда капитализм исполнит свою историческую миссию, и т. д. Самобытник вечно живет в мире готовых и резко определенных фактов и понятий, не имея ни малейшего представления о *процессе возникновения* этих фактов и понятий. Поэтому, управляясь кое-как с каждым из них в отдельности, он совершенно теряет из виду их взаимную связь и зависимость.

Он исходит из того предположения, что без развития капитализма невозможно успешное распространение социалистиче-

ских идей. Но, стремясь как можно скорее привести к абсурду взгляды своих противников, он немедленно забывает это предположение и начинает толковать о том, что быстрое распространение социалистических идей помешает развитию капитализма. Он соглашается признать одно явление следствием, другое— причиной; но он опасается, что следствие явится раньше причины и тем помешает ей обнаружить свое действие, т. е. вызвать это самое следствие. Наш самобытник попадает, таким образом, в ту самую яму абсурда, которую он так старательно рыл своим противникам. Этим последним остается лишь вытаскивать его на божий свет с помощью следующего весьма простого рассуждения.

Они скажут ему: если бы успешное распространение социалистических идей во всей массе народа мыслимо было без того коренного переворота в жизненных отношениях, который вызывается капитализмом, то не нужно было и толковать о каких бы то ни было переходных фазах нашего общественного развития. Эти фазы имеют для нас значение именно потому, что расчищают почву для социалистической пропаганды. Поэтому смешно было бы опасаться того, что нынешняя наша пропаганда остановит развитие капитализма в нашей стране. Но, с другой стороны, нелепо было бы и оставлять эту пропаганду, так как самая возможность ее есть указание на то, что история уже подготовила для нее некоторую часть почвы. Чем скорее возделаем мы эту часть, тем скорее совершится наше историческое развитие, тем меньше жертв и усилий будет стоить нашему народу окончание предстоящего ему пути. Мы не хотим идти против истории, но мы не хотим и отставать от нее ни на один шаг. По выражению Чернышевского, мы не жалеем ни о чем, отживающем свое время; но мы ни на минуту не хотим откладывать дело, которое теперь уже оказывается своевременным и возможным. Мы беремся за пропаганду наших идей, будучи в состоянии математически доказать, что каждый шаг на пути общественного развития России приближает время торжества этих идей и облегчает нашу дальнейшую работу.

Мы различаемся с вами в том, что, между тем как развитие современных экономических отношений все более и более удаляет вас от ваших *общинных* идеалов, *наши коммунистические* идеалы все более и более приближаются к нам благодаря тому же самому развитию. Вы напоминаете человека, который, отправляясь на север, попал в поезд, везущий его на юг; мы же знаем свою дорогу и садимся в тот исторический поезд, который на всех парах везет нас к нашей цели. Правда, вас смущает принятое нами направление, вам кажется, что социалист не может сочувствовать развитию буржуазных способов производства. Но это происходит от того, что ваша логика слишком уже самобытна.

Вы воображаете, что, оставаясь верным своим идеалам, социалист везде и всюду должен препятствовать развитию капитализма. В этом случае вы опять рассуждаете самым примитивным образом: помешать развитию капитализма, говорите вы,— значит повредить интересам предпринимателей; а так как интересы последних диаметрально противоположны интересам рабочих, то все, вредящее капиталу, принесет пользу труду. Вы и не подозреваете, что капитализм противоположен *не только следующему* за ним, *но и предыдущему* звену в цепи исторического развития, что он ведет борьбу не только с революционными попытками пролетариата, но также и с реакционными стремлениями дворянства и мелкого мещанства. Вы горите ненавистью к капиталу и готовы нападать на него где и когда угодно. Это усердие часто заставляет вас сочувствовать тем поражениям капитализма, которые могут быть выгодны *одним только реакционерам*. Программа вашего «русского социализма» совпадает в таком случае с программой немецких «социал-консерваторов», и от прогрессивных ее тенденций не остается и следа. Чтобы избежать таких жалких метаморфоз, вам нужно, наконец, проникнуться диалектическим взглядом на историю. Вы одновременно должны поддерживать капитализм в его борьбе с *реакцией* и быть непримиримыми врагами того же капитализма в борьбе его с рабочей *революцией* будущего. Только такая программа достойна партии, считающей себя представительницей самых передовых стремлений своего века. Чтобы стать на эту точку зрения, вам опять-таки нужно оставить свое нынешнее положение какого-то промежуточного вещества между различными классами и слиться с рабочими.

2. ПРОПАГАНДА В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

Но возможно ли такое слияние в настоящее время? Возможна ли вообще пропаганда в рабочей среде при современных политических условиях?

Невозможность есть частный случай трудности. Трудности же, переходящие по временам и в невозможность, бывают двух родов. Один род трудностей зависит от личных свойств деятелей, от преобладающего характера их стремлений, взглядов и наклонностей. Этот род трудностей создается общественной средой через посредство индивидуумов, и потому оттенки его также разнообразны, как разнообразны свойства отдельных личностей. *Трудное* для Гольденберга было *легким* для Желябова, невозможное для человека с одним складом характера и убеждений кажется необходимым, а потому возможным, хотя, быть может, и трудным, для другого человека, с иными привычками, иными воззрениями [1]. Невозможным объявляется часто

не то, что невозможно само по себе, а то, что, по мнению данного лица, приносит выгоды, не вознаграждающие сделанных усилий. Оценка же выгод, приносимых данным политическим делом, целиком зависит от взгляда на это дело самого деятеля. Г-н В. В., убежденный в том, что само правительство возьмется за желательную для него, г-на В. В., организацию национального производства, естественно, будет считать излишними и нецелесообразными те жертвы и усилия, которых будет стоить в настоящее время пропаганда в рабочей среде. Точно так же заговорщик, рассчитывающий главным образом на тот или другой «комитет», без большой внутренней борьбы объявит невозможной пропаганду среди рабочих, только *важных*, по его мнению, «для революции», но далеко не представляющих собою исключительных представителей революции [1]. Не так будет рассуждать социал-демократ, убежденный в том, что не рабочие нужны *для революции*, а революция нужна *для рабочих*. Для него пропаганда в рабочей среде будет главной целью его усилий, и он не откажется от нее, не испытавши всех средств, которые находятся в его распоряжении, не сделавши всех усилий, на которые он способен. И чем более будет проникаться истинно социалистическими взглядами наша революционная интеллигенция, тем возможнее и легче будет казаться ей деятельность между рабочими по той простой причине, что тем сильнее будет стремиться она к такого рода деятельности.

Мы не хотим, да и не могли бы, обманывать кого бы то ни было. Всем известно, сколько трудностей и преследований ожидает теперь у нас пропагандиста и народного агитатора. Но не нужно преувеличивать этих трудностей. Все без исключения роды революционной деятельности сильно затруднены у нас теперь полицейскими преследованиями, но это еще не значит, что белый террор достиг своей цели, т. е. «вырвал крамолу с корнем». Действие вызывает противодействие, преследование порождает самоотверженность, и, как бы ни были энергичны реакционные меры правительства, революционер всегда сумеет обойти их, если только направит в эту сторону надлежащую долю энергии. Было время, когда взрыв Зимнего дворца и подкоп на Малой Садовой показались бы вещью несбыточною и неосуществимою самим революционерам [2]. Но нашлись люди, которые совершили невозможное, осуществили неосуществимое. Неужели проявление подобной же настойчивости немыслимо в других сферах революционной деятельности? Неужели шпионы, преследующие «террористов», менее искусны и многочисленны, чем шпионы, охраняющие нашу рабочую среду от «лжеучений социализма и коммунизма»? Это может утверждать только тот, кто решил во что бы то ни стало отговориться от неприятной для него работы.

Что касается свойств самой рабочей среды, то они вовсе не оправдывают мрачных предсказаний наших пессимистов. Собственно говоря, за пропаганду в рабочей среде у нас почти никогда не брались сколько-нибудь последовательно и систематически. Опыт показал, однако, что даже разрозненных усилий нескольких десятков человек было достаточно для сообщения сильного толчка революционной самодеятельности нашего рабочего класса. Пусть читатель припомнит Северно-Русский Рабочий Союз, его социал-демократическую программу и его организацию, очень обширную для тайного общества. Этот союз распался, но, прежде чем винить в этом рабочих, наша интеллигенция должна припомнить, много ли было сделано ею для его поддержания [1]. А поддержать его было возможно и вовсе не так трудно. В своем «Письме в редакцию Земли и Воли» представители союза даже определяли вид желательной и необходимой для них помощи. Они просили содействия при устройстве тайной типографии для издания рабочего органа. Исполнение этой просьбы признано было несвоевременным со стороны «интеллигентного» общества «*Земля и Воля*». Главные усилия наших «интеллигентных» социалистов были тогда направлены совсем в другую сторону. Результатом этих усилий было не поддержание рабочих, а усиление полицейских преследований, обрушившихся, между прочим, и на рабочие организации. Мудрено ли, что, предоставленный исключительно своим силам в непривычном для него деле конспирации, Рабочий Союз был разбит на более мелкие части, не связанные между собою единством плана и действия. Но эти мелкие кружки и кучки социалистов-рабочих до сих пор не переставали существовать в наших промышленных центрах; нужно только немного убежденности, энергии и настойчивости, чтобы опять сплотить их в одно внушительное целое.

Само собою понятно, что тайные рабочие общества не составляют еще рабочей партии. В этом смысле совершенно правы те люди, которые говорят, что наша программа рассчитана более на будущее, чем на настоящее. Но что же из этого следует? Значит ли это, что мы не должны немедленно же браться за ее выполнение? Рассуждающие так самобытники опять попадают в безвыходный круг умозаключений. Широкое рабочее движение предполагает хоть временное торжество в данной стране хоть отчасти только свободных учреждений. Но завоевать эти учреждения, в свою очередь, невозможно без политической поддержки наиболее передовых слоев народа. Где же выход? Западноевропейская история разрывала этот заколдованный круг путем медленного политического воспитания рабочего класса. Но наши революционеры как нельзя более боятся медленности кропотливой старухи. Они хотят революции как можно

скорей и во что бы то ни стало. Ввиду этого остается только удивляться, как не вспомнят они пословицы — любишь кататься, люби и саночки возить, пословицы, политический смысл которой сводится к тому бесспорному положению, что всякий желающий поскорее добиться свободы должен стараться заинтересовать рабочий класс в борьбе с абсолютизмом. Развитие политического смысла рабочего класса есть один из главных видов борьбы против «главного врага, мешающего сколько-нибудь рациональному приступу» к делу создания у нас рабочей партии на западноевропейский манер. В самом деле, что значат уверения историков в том, что в такой-то исторический период буржуазия или — что почти то же самое — общество боролось в такой-то стране против абсолютизма? Ни более ни менее, как то, что буржуазия толкала и вела рабочий класс на борьбу или, по крайней мере, рассчитывала на его поддержку. До тех пор, пока ей не была обеспечена такая поддержка, она была труслива, потому что была бессильна. Что сделала против Наполеона III республиканская буржуазия, заслуженным образом лишенная поддержки рабочего класса? Ей оставалось выбирать между безнадежным героизмом и лицемерным одобрением совершившемуся факту. Когда являлось мужество у революционной буржуазии 1830 и 1848 годов? Когда рабочий класс уже одерживал верх на баррикадах. Наше «общество» не может еще рассчитывать на такую поддержку рабочих; оно не знает даже, на кого направит свое ружье рабочий-инсургент: на защитников абсолютной монархии или на сторонников политической свободы. Отсюда его робость и нерешительность, отсюда овладевшее им теперь тяжелое и безнадежное уныние. Но измените положение дел, обеспечьте нашему «обществу» поддержку одних только городских предместий, — и вы увидите, что оно знает, чего хочет, и умеет говорить с властью языком, достойным гражданина. Припомним петербургские стачки 1878—1879 годов. Слух об этих стачках интересовал далеко не одних социалистов. Они стали событием дня, ими интересовался чуть ли не весь интеллигентный и мыслящий Петербург [1]. Вообразите теперь, что в стачках выразился не только антагонизм интересов нанимателей и рабочих данной фабрики, но также и начинающийся политический разлад петербургского рабочего *класса* с абсолютной монархией. Обращение полиции со стачечниками дало немало поводов к проявлению такого разлада. Представьте же себе, что рабочие Новой Бумагопрядильни требовали не только повышения заработной платы для себя, но также известных политических прав для всех русских граждан. Буржуазия увидела бы тогда, что ей нужно серьезнее, чем прежде, считаться с требованиями рабочих. Кроме того, все те ее либеральные слои, экономическим интересам которых успех стачеч-

ников не грозил бы прямым и непосредственным образом, почувствовали бы, что их политические требования приобрели, наконец, твердую почву и что поддержка рабочего класса делает гораздо более вероятным счастливый исход борьбы с абсолютизмом. Политическое движение рабочих вдохнуло бы новую уверенность в сердца всех сторонников политической свободы. Сами народники обратили бы, может быть, свое внимание на новых бойцов из народной среды и перестали бы, пожалуй, бесплодно и безнадежно ныть по поводу разрушения дорогих им «устоев»*.

Спрашивается теперь, кто же, если не революционная интеллигенция, мог бы способствовать политическому развитию рабочего класса? Во время стачек 1878—1879 гг. сама эта уверенная в себе интеллигенция не могла похвалиться ясностью своего политического сознания. Поэтому и стачечники не могли услышать от нее чего-нибудь поучительного насчет связи экономических интересов рабочего класса с его политическими правами. Много и теперь путаницы в головах нашей «революционной молодежи». Но будем надеяться, что путаница эта уступит, наконец, место теориям современного научного социализма и перестанет парализовать успехи нашего революционного движения. А раз придет такое счастливое время, то и рабочие кружки не замедлят стать на правильную политическую точку зрения. Борьба с абсолютизмом войдет тогда в новый и последний фазис; поддержанные рабочей массой, политические требования передовой части нашего «общества» получат, наконец, столь давно ожидаемое удовлетворение.

Если бы смерть Александра II сопровождалась волнением рабочих в главных городах России, то результаты ее, наверное, были бы гораздо более решительными. Но широкая агитация в рабочей среде немыслима без помощи предварительно созданных в ней и возможно более многочисленных тайных организаций, которые подготовляли бы умы рабочих и руководили бы их движением. Поэтому можно сказать, что без серьезной деятельности в рабочей среде, а следовательно, и без сознательной поддержки со стороны тайных рабочих организаций самые смелые подвиги террористов останутся не более, как блестящими вылазками. «Главный враг» будет только поражен, но не уничтожен ими; а это значит, что *террористическая* борьба не достигнет своей цели, так как единственной ее целью должно быть полное и беспощадное уничтожение абсолютизма.

Итак, политическое положение современной России не только не вынуждает нас к отказу от деятельности среди рабо-

* [Примечание к изданию 1905 г.] События последнего года служат блестящим подтверждением всему здесь сказанному — пролетариат разбудил политическое сознание русского «общества».

чих, но, наоборот, *лишь посредством такой деятельности можем мы избавиться от невыносимого гнета абсолютизма.*

Взглянем теперь на дело с другой стороны. Предыдущее изложение лишний раз подтвердило нам ту истину, что рабочий класс очень важен «для революции». Но социалисту нужно подумать прежде всего о том, чтобы революция была полезна для трудящегося населения его страны. Оставляя пока в стороне крестьянство, мы заметим, что рабочий класс извлечет тем бóльшую пользу из своей политической борьбы, чем яснее будет для него связь между его экономическими нуждами и политическими правами. В «западноевропейских странах» пролетариат очень часто боролся против абсолютизма под знаменем и под верховным руководством буржуазии. Отсюда являлась умственная и нравственная зависимость его от вожаков либерализма, вера в исключительную святость либеральных девизов, убеждение в неприкосновенности буржуазного порядка. В Германии понадобилась вся энергия и все красноречие Лассаля, чтобы только *подорвать* духовную связь рабочих с прогрессистами. Наше «общество» лишено такого влияния на рабочий класс, и социалистам нет ни нужды, ни выгоды создавать его заново. Они должны указать рабочим их собственное, рабочее знамя, дать им вожаков из их собственной, рабочей среды, короче, должны позаботиться о том, чтобы не буржуазное «общество», а тайные рабочие организации приобрели господствующее влияние на умы рабочих. Этим в значительной степени ускорится образование и рост русской рабочей социалистической партии, которая сумеет завоевать себе почетное место среди других партий, после того как она еще в пеленках способствовала падению абсолютизма и торжеству политической свободы.

Чтобы содействовать, таким образом, умственной и политической самостоятельности русского рабочего класса, нашим революционерам не нужно прибегать к каким-либо искусственным мерам, становиться в сколько-нибудь ложное или двусмысленное положение. Им нужно только проникнуться принципами современной социальной демократии и, не ограничиваясь политической пропагандой, постоянно внушать своим слушателям, что «экономическое освобождение есть великая цель, которой всякое политическое движение подчинено как средство». Усвоивши эту мысль, наш рабочий класс сам уже сумеет пройти между Сциллой и Харибдой — между политической реакцией государственного социализма и экономическим шарлатанством либеральной буржуазии.

Способствуя образованию рабочей партии, наши революционеры будут делать самое плодотворное, самое важное дело, какое только можно указать «передовому человеку» современ-

ной России. Одна лишь рабочая партия способна разрешить все те противоречия, которые осуждают теперь нашу интеллигенцию на теоретическое и практическое бессилие. Мы уже видели, что наиболее осязательным из этих противоречий является в настоящее время необходимость низвержения абсолютизма и невозможность сделать это без поддержки народа. Тайные рабочие организации разрешат это противоречие, привлекая к политической борьбе наиболее развитые слои народа. Но этого мало. Возрастая и укрепляясь под защитой свободных учреждений, русская рабочая социалистическая партия разрешит другое, не менее важное противоречие, на этот раз экономического свойства. Всем известно, что современная сельская община должна уступить место коммунизму или окончательно разложиться. В то же время экономическая организация общины не имеет тех пружин, которые толкали бы ее на путь коммунистического развития. *Облегчая* переход нашего крестьянства к коммунизму, община не может, однако, сообщить ему необходимой для такого перехода *инициативы*. Напротив, развитие товарного производства все более и более подрывает старый общинный принцип. И нет у нашей народнической интеллигенции возможности одним решительным движением устранить это коренное противоречие. На ее глазах некоторая часть сельских общин падает, разрушается, становится «бичом и тормозом» беднейшей части общинников. Как ни печально для нее это явление, но она решительно не в силах помочь ему в настоящее время. Между «народом» и народолюбцами нет решительно никакой связи. Разлагающаяся община остается сама по себе, ее интеллигентные печальники — сами по себе, и ни та, ни другие не в состоянии положить конец этому печальному положению дел. Как же выйти из этого противоречия? Неужели нашей интеллигенции приходится махнуть рукой на всякую попытку практической деятельности и утешаться «утопиями» во вкусе г. Г. Успенского? Ничуть не бывало! Наши народники могут спасти, по крайней мере, некоторую часть сельских общин, если только они пожелают апеллировать к диалектике нашего общественного развития. Но и такая апелляция возможна только при посредстве рабочей социалистической партии.

Разложение нашей общины представляет собою бесспорный и несомненный факт. Но быстрота и интенсивность этого процесса различны в различных местностях России. Чтобы совершенно остановить его там, где община сохранила наибольшую свежесть и прочность, наши народники должны воспользоваться теми силами, которые освобождаются при распадении общины в наиболее промышленных губерниях. Силы эти суть не что иное, как силы нарождающегося пролетариата. Они, и только они, могут послужить связующим звеном между крестьянством и

социалистической интеллигенцией; они, и только они, могут пополнить историческую пропасть, отделяющую «народ» от «образованной» части населения. Через них и с их помощью социалистическая пропаганда проникнет, наконец, во все закоулки деревенской России. Кроме того, своевременно сплоченные и организованные в одну рабочую партию, они могут послужить главным оплотом социалистической агитации в пользу экономических реформ, предохраняющих общину от повсеместного разложения. А когда придет час окончательной победы рабочей партии над высшими сословиями, то опять-таки она, и только она, возьмет на себя инициативу социалистической организации национального производства. Под ее влиянием — а при случае и давлением — сохранившиеся сельские общины действительно начнут переходить в высшую, коммунистическую форму. Тогда выгоды, представляемые общинным землевладением, станут *действительными*, а не только *возможными*, и народнические мечты о самобытном развитии нашего крестьянства осуществятся по отношению, по крайней мере, к некоторой его части.

Таким образом, *силы, освобождающиеся при разложении общины в некоторых местностях России, могут предохранить ее от полного разложения в других местностях.* Нужно только уметь правильно и своевременно утилизировать и направить эти силы, т. е. как можно скорее организовать их в социал-демократическую партию.

Но мелкие поземельные собственники окажут сильное сопротивление социалистическим тенденциям рабочей партии, — возразят самобытники. — Всего вернее, что — да; но зато будет кому и бороться с этим сопротивлением. Появлению класса мелких собственников соответствует возрастание численности и силы революционного пролетариата, который придаст, наконец, жизнь и движение нашей тяжеловесной государственной машине. Сопротивление не страшно там, где есть способная победить его историческая сила; точно так же, как и наоборот: предполагаемое отсутствие сопротивления — далеко не радостная вещь там, где народ не способен *начать* социалистическое движение, где героические усилия отдельных личностей разбиваются об инерцию темной и невежественной массы.

Кроме того, нужно иметь в виду, что та же самая рабочая партия будет служить у нас проводником для западных влияний. Рабочий не останется глух к движению европейского пролетариата, как это легко могло бы случиться с крестьянином. Соединенные же силы внутреннего и международного движения будут более чем достаточны для победы над реакционными стремлениями мелких собственников.

Итак, еще раз: *возможно-более скорое образование рабочей партии есть единственное средство разрешения всех экономических и политических противоречий современной России.* На этой дороге нас ждут успех и победа; все же другие пути ведут лишь к поражению и бессилию.

А террор? — восклицают народовольцы. А крестьянство? — кричат, с другой стороны, народники. Ради ваших отдаленных планов вы готовы помириться с существующей реакцией, — умозаключают одни; как узкий доктринер, вы жертвуете реальными интересами ради торжества вашей доктрины, — ужасаются другие. Но мы попросим у своих противников несколько минут терпения и постараемся ответить хоть на некоторую часть сыплющихся на нас упреков.

Во-первых, мы нисколько не отрицаем ва́жной роли террористической борьбы в современном освободительном движении. Она естественно выросла из наших социально-политических условий. И так же естественно должна способствовать изменению их в лучшую сторону. Но взятый сам по себе так называемый террор только разрушает силы правительства, очень мало способствуя сознательной организации сил его противников. Террористическая борьба не расширяет сферы нашего революционного движения; напротив, она сводит его к героическим действиям небольших партизанских кучек. После нескольких блестящих успехов наша революционная партия видимо ослабела от сильного напряжения и не может уже оправиться без притока свежих сил из новых слоев населения. Мы рекомендуем ей обратиться к рабочему классу, как самому революционному из всех классов современного общества. Значит ли это, что мы советуем ей прекратить на время активную борьбу с правительством? Не только — нет, но, напротив, мы указываем ей возможность сделать эту борьбу более широкой, более разносторонней, а потому и более успешной. Но само собою разумеется, что мы не можем смотреть на дело рабочего движения лишь с точки зрения важности рабочих «для революции». Мы хотим обратить самое торжество революции на пользу рабочего населения нашей страны, а потому считаем необходимым содействовать его умственному развитию, его сплочению и организации. Мы вовсе не хотим, чтобы тайные рабочие организации превратились в тайные питомники для разведения террористов из рабочей среды. Но мы хорошо понимаем, что политическое освобождение России совершенно совпадает с интересами рабочего класса, и потому думаем, что существующие в его среде революционные кружки должны содействовать политической борьбе нашей интеллигенции путем пропаганды, агитации, а подчас и открытой уличной борьбы. Несправедливо было бы целиком взваливать на плечи рабочего класса все трудности освободи-

тельного движения, но вполне справедливо и целесообразно было бы привлечь к нему, между прочим, и рабочих.

Есть другие слои населения, которые с гораздо бо́льшим удобством могут взять на себя террористическую борьбу с правительством. Но, помимо рабочих, нет другого такого слоя, который в решительную минуту мог бы повалить и добить раненное террористами политическое чудовище. Пропаганда в рабочей среде не устранит необходимости террористической борьбы, но зато она создаст ей новые, небывалые до сих пор шансы *.

Сказанное относится к террористам. Побеседуем теперь с народниками.

Их огорчают все те программы, в которых не отводится главного места революционной деятельности в крестьянской среде. Но хотя такого рода деятельность и составляет все содержание их собственной программы, однако от этого обстоятельства

Немного выиграл народ
И легче нет ему покуда!

Начиная с конца семидесятых годов, т. е. со времени разделения общества «Земля и Воля», революционная деятельность в крестьянской среде не только не расширялась, но суживалась все более и более. В настоящее время ее без большой ошибки можно приравнять к нулю. А между тем за все это время не было недостатка в людях, полагающих, что центр тяжести всего нашего революционного движения немедленно должен быть перенесен в крестьянскую среду. Откуда это противоречие? Несправедливо было бы подозревать народников в бездеятельности, трусости и нерешительности. Остается думать, что они поставили себе задачу, неисполнимую при настоящих условиях, что не с крестьянства должна начинать наша интеллигенция свое революционное слияние с народом. И мы действительно так думаем. Но это далеко не значит, что мы *не придаем значения* революционной деятельности в крестьянской среде. Мы констатируем факт и стараемся понять его истинный смысл, убежденные в том, что, понявши причину своей неудачи, наши народники сумеют избежать ее в будущем. Нам кажется, что именно образование рабочей партии избавит нас от того противоречия, благодаря которому в течение последних семи лет в России могли существовать только совершенно чуждые народу народники.

* [Примечание к изданию 1905 г.] На основании этого места говорили впоследствии, что группа «Освобождение Труда» сочувствовала «терроризму». Но эта группа с самого начала своего существования находила, что рабочим терроризм *неудобен*; высказываться против террористической борьбы интеллигенции было тогда безусловно бесполезно: интеллигенция верила в террор, как в бога.

Каким образом сделает это рабочая партия — видно уже из предыдущего изложения. Но не мешает сказать еще несколько слов по этому поводу.

Чтобы влиять на многочисленную темную массу, необходим известный минимум сил, без которого все старания отдельных личностей не пойдут дальше самых ничтожных результатов. Наша революционная интеллигенция не обладает таким необходимым минимумом сил, потому-то ее революционные усилия в крестьянской среде и не оставили по себе почти ровно никакого следа. Мы указываем ей на промышленных рабочих, как на промежуточный слой, способный помочь ее слиянию с «народом». Значит ли это, что мы игнорируем крестьянство? Нисколько. Это значит, напротив, что мы ищем более действительных способов для воздействия на него.

Далее. Кроме известного минимума сил для влияния на данную среду необходима хоть некоторая общность между характером этой среды и характером обращающихся к ней деятелей. Ни по привычкам мысли, ни по способности к физическому труду наша революционная интеллигенция не имеет ничего общего с крестьянством. Промышленный рабочий и в этом случае составляет середину между крестьянином и «студентом». Он должен поэтому послужить связующим звеном между ними.

Наконец, не нужно упускать из виду и еще одно, далеко не маловажное обстоятельство. Что бы ни говорили об исключительно будто бы земледельческом характере современной России, несомненно, однако, что «деревня» не может привлечь к себе всех сил нашей революционной интеллигенции. Это немыслимо уже по одному тому, что не в деревне, а в городе вербуются силы этой интеллигенции, что не в деревне, а в городе ищет убежище революционер, подвергшийся полицейским преследованиям, хотя бы даже за пропаганду в крестьянской среде. Наши главные города являются поэтому центрами, в которых всегда находится налицо более или менее значительный контингент сил революционной интеллигенции. Само собою понятно, что интеллигенция не может не испытывать на себе влияний города, что она не может не жить его жизнью. С некоторых пор жизнь эта стала принимать политический характер. И мы знаем, что, несмотря на самые «народнические» программы, наша интеллигенция не могла удержаться против течения, вынуждена была взяться за политическую борьбу. Пока у нас нет рабочей партии, «городские» революционеры поневоле обращаются «к обществу», так что фактически они являются его революционными представителями. «Народ» отодвигается на задний план, а этим не только замедляется установление связи между ним и интеллигенцией, но нарушается и существовавшая прежде связь между «сельскими» и «городскими» революционерами из самой ин-

теллигенции. Отсюда — взаимное непонимание, разногласия, расхождения. Не то было бы, если бы политическая борьба в городах приняла главным образом рабочий характер. Тогда городские и сельские революционеры различались бы между собою лишь *по месту*, а вовсе не *по сущности* своей деятельности, и те и другие были бы представителями *народного* движения в различных его видах, и социалистам не было бы необходимости жертвовать своею жизнью в интересах чуждого их взглядам *«общества»*.

Такое согласие не представляет собою несбыточной утопии. Его очень нетрудно осуществить на деле. Если в настоящее время нельзя насчитать десятка народников, поселившихся в деревне в силу своей программы, по долгу службы *революции*, то немало образованных и искренних демократов живет в деревне по долгу службы *государству*, в силу своей профессии. Многие из этих людей не сочувствуют нашей политической борьбе *в ее нынешнем виде* и в то же время не берутся за систематическую революционную работу в крестьянстве по той простой причине, что не видят партии, с которой они могли бы соединить свои усилия, один же, как известно, в поле не воин. Начните социально-политическое движение в рабочей среде, и вы увидите, что эти сельские демократы мало-помалу перейдут на точку зрения социал-демократии и, в свою очередь, послужат связующим звеном между городом и деревней.

Тогда наши революционные силы будут распределяться следующим весьма простым образом: в деревню пойдут все те, кого вынуждают к этому профессиональные обязанности. Само собою разумеется, что таких будет немало. В то же время люди, имеющие возможность поселиться в городах или промышленных центрах, направят свои усилия на рабочую среду и постараются сделать из нее авангард русской социал-демократической армии.

Такова наша программа. Она не жертвует деревней в интересах города, не игнорирует крестьянства ради промышленных рабочих. *Она ставит своей задачей организацию социально-революционных сил города для вовлечения деревни в русло всемирно-исторического движения.*

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь мы позволим себе сказать несколько заключительных слов читателю.

Во всем, что касается защиты нашей *точки зрения*, мы хотели бы апеллировать к его уму, а не к чувству. Дорожа исключительно интересами истины, мы сумеем примириться с нею даже в том случае, если она разойдется с самыми дорогими нам убеждениями. Поэтому мы просим читателя только об одном: пусть критикует он наши доводы с тем вниманием, которого заслуживают затронутые нами революционные вопросы. Одобрит или не одобрит он предложенное нами решение этих вопросов,— во всяком случае, русская революционная мысль только выиграет от нового пересмотра достигнутых ею результатов.

Но есть другая сторона дела, касающаяся не сущности наших взглядов, а избранной нами формы их изложения. Нас — или, лучше сказать, *меня* — могут обвинить в излишней резкости, во враждебном отношении к фракциям, сослужившим немаловажную службу революционному делу и потому, несомненно, заслуживающим уважения.

Знакомые уже мне «баккалавры» могут пойти еще далее и обвинить меня во враждебном отношении ко всей русской революции.

Во всем, что касается *этого* вопроса, я считаю нелишним обратиться к тому чувству читателя, которое называется чувством справедливости и беспристрастия.

Теперь, в заключительной главе, как и в начале, в «Письме к П. Л. Лаврову», я могу с полной искренностью повторить, что желаю «Народной Воле» не неудач, а дальнейших успехов. И если я так резко отнесся к литературным упражнениям одного из ее представителей, то на это были свои достаточные причины, не имеющие решительно ничего общего с враждебным отношением к революции или к какой-либо из революционных фракций*.

* [Примечание к изданию 1905 г.] Надо заметить еще вот что. Мне было хорошо известно, что г. Тихомиров уже задолго до появления его статьи «Чего нам ждать от революции?» совершенно «разочаровался» в программе «Народной Воли». Поэтому ее отстаивание им принимало характер крайне возмутительного лицемерия.

Прежде всего нужно иметь в виду, что революционер не есть революция и что *теории революционеров* далеко не всегда и не во всех своих частях могут быть названы *революционными теориями*.

Я нисколько не отрицаю важного и полезного значения совершенных народовольцами революционных действий; но я истолковываю их не так, как делают это официальные представители «партии». Я вижу их в том свете, который неприятно раздражает глаза «народовольских» публицистов. Мой взгляд на значение этих действий достаточно выяснился еще в брошюре «Социализм и политическая борьба», где я говорил, что «Народная Воля не может найти оправдания, да и не должна искать его помимо современного научного социализма».

Г-ну Тихомирову угодно было высказать на этот вопрос другой взгляд, по его мнению, более правильный и революционный.

Огорченный тем, что «в некоторых слоях социалистов»... «политическая демократическая идея»... «приняла формы, которые извращают самую сущность ее», он решился поправить дело и в статье «Чего нам ждать от революции?» постарался приурочить деятельность своей партии к теориям Бакунина и Ткачева. Благодаря такому обороту официальные теории «партии Народной Воли» перестали быть революционными теориями и без малейшего вреда для революции могли быть подвергнуты такой же резкой критике, как и все другие проявления все более и более усиливающейся теперь русской литературной реакции.

Реакционные теории вообще непривлекательны; но они не опасны до тех пор, пока выступают под своим собственным знаменем. Вредной отравой, настоящим умственным ядом они становятся лишь тогда, когда начинают прикрываться революционным знаменем. В таком случае противником революции является не тот, кто сдергивает с них революционную маску, а тот, кто остается равнодушным зрителем вольной или невольной литературной подделки.

Я не способен, да и не стремлюсь к такому равнодушию. Ненавидя реакцию вообще, я тем более ненавижу ее, когда она призывает к себе людей во имя революции. И я не могу признать себя виновным в излишней резкости по отношению к г. Тихомирову до тех пор, пока мне не докажут следующих двух положений:

1) Что теории г. Тихомирова не представляют собою нового издания учений Бакунина и Ткачева.

2) Что эти последние учения не могут быть признаны реакционными, по сравнению с научным социализмом Карла Маркса.

Пусть же противники мои постараются доказать эти положения, не торопясь обвинять меня в оскорблении величества русской революции. Я сам объявлю свою резкость неуместной, если доводы их будут убедительны.

Но для этого необходимо, между прочим, чтобы за основу спора были взяты те самые положения г. Тихомирова, которые послужили поводом к моей полемике против него. Общее направление «*Вестника Народной Воли*» так неясно и неопределенно, что бакунинско-ткачевские тенденции статьи «Чего нам ждать от революции?» не могут помешать появлению марксистских тенденций в статьях других сотрудников, а пожалуй,— как ни трудно ожидать этого,— и в новых статьях г. Тихомирова. Нет ничего невозможного в том, что наш автор вспомнит о той части программы «Вестника», которая лежит по ту сторону рокового «но», и напишет несколько красноречивых страниц об *единственном* пути, ведущем к достижению общих «социалистических целей». Но такая перемена фронта не ослабит реакционного значения разобранной нами статьи и докажет только, что наш автор не имеет никаких определенных воззрений.

Читателей, более беспристрастных, чем защитники г. Тихомирова, я прошу помнить, что можно от души сочувствовать не только революции вообще, но и революционной «партии Народной Воли» в частности и в то же время думать, что насущнейшей задачей этой партии, первым, самым необходимым ее успехом должен быть *безусловный разрыв с ее нынешними теориями.*

Напрасно думают сторонники «Народной Воли», что такого рода разрыв был бы изменой памяти героев русской террористической борьбы. Наиболее выдающиеся террористы начали с критического отношения к общепризнанным в их время «программам» революционеров. Почему же люди, идущие по их стопам, не могут предпринять дела такой же критики по отношению к «программам» своего времени; почему думают они, что критическая мысль Желябова должна остановиться перед догматическим миросозерцанием г. Тихомирова?

Вот вопрос, о котором стоит подумать нашим молодым народовольцам *.

* [Примечание к изданию 1905 г.] Я так и не дождался серьезного ответа на свою книгу. В пятом номере «Вестника Народной Воли» появилась, правда, маленькая библиографическая заметка [1], в которой говорилось, что возражать мне значило бы прежде всего говорить о моей *личности.* Кроме этого *намека*, который, очевидно, хотел быть *злым*, редакция «Вестника» не сказала *ровно ничего* в защиту тихомировских ожиданий от революции, а спустя несколько лет сам г. Тихомиров заявил, что эти ожидания несбыточны, и признался, что уже со времени своего приезда за границу он считал свою «партию» *трупом.* Это было неожиданным, но весьма многознаменательным заключением всего нашего спора. Мне оставалось только подвести итог, что я и сделал в статье «Неизбежный поворот», напечатанной в сборнике «Социал-демократ», и в брошюре «Новый защитник самодержавия, или горе г. Тихомирова», Женева 1889 г.[2]

ПРОГРАММА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

Группа «*Освобождение труда*» задается целью пропаганды социалистических идей в России и выработки элементов для организации русской рабочей *социалистической партии.*

Сущность ее воззрений может быть выражена в следующих немногих положениях *:

I. Экономическое освобождение рабочего класса будет достигнуто лишь путем перехода в коллективную собственность трудящихся всех средств и продуктов производства и сообразной с общественными потребностями организации всех функций социально-экономической жизни.

II. Современное развитие техники в цивилизованных обществах не только дает *материальную возможность* такой организации, но и делает *ее необходимою и неизбежною* для разрешения противоречий, препятствующих спокойному и всестороннему развитию этих обществ.

III. Эта радикальная экономическая революция повлечет за собою самые коренные изменения во всем складе общественных и международных отношений.

Устраняя борьбу классов путем уничтожения самих классов; делая невозможной и ненужной экономическую борьбу индивидуумов путем устранения товарного производства и связан-

* Примечание 1. Предлагаемая нами на суд товарищей программа отнюдь не рассматривается нами как нечто совершенно законченное, не подлежащее никаким частным изменениям и дополнениям. Напротив, мы готовы внести в нее всякие поправки, если только они не противоречат основным понятиям научного социализма и соответствуют практическим выводам, вытекающим из этих понятий по отношению к деятельности социалистов в России.

ной с ним конкуренции; короче, устраняя борьбу за существование между личностями, классами и целыми обществами, она делает излишними все те общественные органы, которые развились в многовековый период этой борьбы за существование в качестве ее орудий.

Не вдаваясь в утопические фантазии относительно общественной и международной организации будущего, можно теперь уже предсказать уничтожение важнейшего из органов хронической борьбы внутри обществ — именно *государства, как политической организации, противостоящей обществу* и охраняющей главным образом интересы его господствующей части. Точно так же и теперь уже можно предвидеть международный характер предстоящей экономической революции. Современное развитие международного обмена продуктов делает необходимым участие в этой революции всех цивилизованных обществ.

Поэтому социалистические партии всех стран признают международный характер современного рабочего движения и провозглашают принципы международной солидарности производителей.

Группа «*Освобождение труда*» также признает великие принципы бывшей «*Международной Ассоциации Рабочих*» и тождество интересов трудящихся всего цивилизованного мира.

IV. Внося *сознательность* туда, где господствует ныне *слепая экономическая необходимость*, заменяя современное господство *продукта* над *производителем* господством *производителя* над *продуктом*, социалистическая революция упрощает и осмысливает все общественные отношения, предоставляя вместе с тем каждому гражданину реальную возможность непосредственного участия в обсуждении и решении всех общественных дел.

Это непосредственное участие граждан в заведовании всеми общественными делами предполагает устранение современной системы политического представительства и замену ее *прямым народным законодательством*[1].

В своей современной борьбе социалисты должны иметь в виду эту необходимую политическую реформу и всеми зависящими от них средствами добиваться ее осуществления.

Это тем более необходимо, что политическое самовоспитание и господство рабочего класса составляют необходимое предварительное условие его экономического освобождения. Только вполне *демократическое* государство может свершить экономический переворот, сообразный с интересами производителей и требующий разумного участия их в организации и регулировании производства.

В настоящее время рабочий класс передовых стран все более и более выясняет себе необходимость указанного социально-политического переворота и организуется в особую партию труда, враждебную всем партиям эксплуататоров.

Совершаясь на началах *«Международной Ассоциации Рабочих»*, организация эта имеет, однако, прежде всего в виду завоевание рабочими политического господства внутри каждого из соответствующих государств. «Пролетариат каждой страны, естественно, должен прежде всего покончить с своей собственной буржуазией».

Это вносит элемент разнообразия в программы социалистических партий различных государств, заставляя каждую из них сообразоваться с общественными условиями своей страны.

Само собою понятно, что практические задачи, а следовательно, и программы социалистов должны иметь более своеобразный и сложный характер в тех странах, в которых капиталистическое производство не сделалось еще господствующим и где трудящиеся массы находятся под двойным игом — развивающегося капитализма и отживающего патриархального хозяйства.

В этих странах социалистам приходится одновременно организовывать рабочий класс для борьбы с буржуазией и вести войну против вредных — как для развития рабочего класса, так и для благосостояния всего народа — остатков старых, добуржуазных общественных отношений.

Русские социалисты находятся именно в таком положении. Трудящееся население России непосредственно несет на себе всю тяжесть огромной машины полицейско-деспотического государства и в то же время переживает все бедствия, свойственные эпохе капиталистического *накопления*, а местами — в наших промышленных центрах — оно испытывает уже гнет капиталистического *производства*, не ограниченный еще ни сколько-нибудь решительным государственным вмешательством, ни организованным противодействием самих рабочих. Современная Россия страдает, — как говорил когда-то Маркс о западе европейского континента,— не только от развития капиталистического производства, но и от недостатка этого развития.

Одним из вреднейших следствий этого отсталого состояния производства было и есть до сих пор неразвитое состояние среднего класса, который не способен у нас взять на себя *инициативу* борьбы с абсолютизмом.

Социалистической интеллигенции пришлось поэтому стать во главе современного освободительного движения, прямой задачей которого должно быть создание свободных политических учреждений в нашем отечестве, причем социалисты с своей

стороны должны стараться доставить рабочему классу возможность активного и плодотворного участия в будущей политической жизни России [1].

Первым средством для достижения этой цели должна быть агитация в пользу демократической конституции, обеспечивающей:

1) Право быть избирателем и избираемым как в Законодательное Собрание, так и в провинциальные и общинные органы самоуправления всякому гражданину, не приговоренному судом за известные, строго определенные законом *позорные* действия к потере политической правоспособности *.

2) Определенную законом денежную плату народным представителям, позволяющую выбирать их из бедных классов населения.

3) Неприкосновенность личности и жилища граждан.

4) Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний и ассоциаций.

5) Свободу передвижения и занятий.

6) Полную равноправность всех граждан, независимо от религии и племенного происхождения **.

7) Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа.

8) Пересмотр всего нашего гражданского и уголовного законодательства, уничтожение сословных подразделений и наказаний, несовместных с достоинством человека.

Но цель эта останется недостигнутой, политическая самодеятельность рабочих будет немыслима, если падение абсолютизма застанет их в совершенно неподготовленном и неорганизованном состоянии.

Поэтому на социалистической интеллигенции лежит обязанность организации рабочих и посильной *подготовки* их к борьбе как с современной правительственной системой, так и с будущими буржуазными партиями.

Она должна *немедленно взяться за организацию* рабочих наших промышленных центров,— как передовых представителей всего трудящегося населения России,—в связанные между собою тайные кружки с определенной социально-политической программой, соответствующей современным нуждам всего русского производительного класса и основным задачам социализма.

---

* Примечание 2. К числу таких действий могут быть отнесены, например, *подкупы при выборах*, вопиющие притеснения нанимателем своих работников и т. п.

** Примечание 3. Этот пункт логически заключается в 4 §, требующем, между прочим, полной свободы совести; но мы считаем нужным оттенить его ввиду того, что теперь существуют у нас целые слои населения, как, например, *евреи*, не пользующиеся даже теми жалкими «правами», которые предоставлены другим «обывателям».

Понимая, что подробности такой программы могут быть выработаны лишь в будущем и притом самим рабочим классом, призванным к участию в политической жизни и сплотившимся в особую партию, группа *«Освобождение труда»* полагает, что главнейшими пунктами *экономического отдела* рабочей программы должны быть *требования*:

1) Радикального пересмотра наших аграрных отношений, т. е. условий выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ. Предоставления права отказа от надела и выхода из общины тем из крестьян, которые найдут это для себя удобным, и т. п. [1]

2) Устранения современной податной системы и установления прогрессивного подоходного налога.

3) Законодательного регулирования отношений рабочих (городских и сельских) к предпринимателям и организации соответствующей *инспекции с представительством от рабочих*.

4) Государственной помощи производительным *ассоциациям*, организующимся во всевозможных отраслях земледелия, добывающей и обрабатывающей промышленности (крестьянами, горными, фабричными и заводскими рабочими, кустарями и т. д.) [2].

Группа *«Освобождение труда»* убеждена, что не только успех, но и самая возможность такого осмысленного движения русского рабочего класса в огромной степени зависит от указанной выше работы интеллигенции в его среде.

Но названная группа полагает, что сама интеллигенция должна предварительно стать на точку зрения современного научного социализма, лишь постольку удерживая народнические традиции, поскольку они не противоречат его положениям.

Ввиду этого группа «Освобождение труда» задается целью пропаганды современного социализма в России и подготовки рабочего класса к сознательному социально-политическому движению; этой цели она и посвящает все свои силы, призывая нашу революционную молодежь к помощи и содействию.

Преследуя эту цель всеми зависящими от нее средствами, группа «Освобождение труда» в то же время признает необходимость террористической борьбы против абсолютного правительства [3] и расходится с партией «Нар. Воли» лишь по вопросам о так называемом захвате власти революционной партией и о *задачах непосредственной деятельности социалистов в среде рабочего класса*.

Группа «Освобождение труда» *нимало не игнорирует крестьянства, составляющего огромнейшую часть трудящегося населения России*. Но она полагает, что работа интеллигенции, в особенности при современных условиях социально-политической борьбы, должна быть прежде направлена на более развитой

слой этого населения, каким и являются промышленные рабочие. Заручившись сильной поддержкой со стороны этого слоя, социалистическая интеллигенция может с гораздо большею надеждой на успех распространить свое воздействие и на крестьянство, в особенности если она добьется к тому времени свободы агитации и пропаганды. Само собою, впрочем, разумеется, что распределение сил наших социалистов *должно будет измениться, если в крестьянстве обнаружится самостоятельное революционное движение*, и что даже в настоящее время люди, находящиеся в непосредственном соприкосновении с крестьянством, могли бы своей деятельностью в его среде оказать важную услугу социалистическому движению в России. Группа «Освобождение труда» не только не оттолкнет от себя таких людей, но приложит все старание, чтобы согласиться с ними в основных положениях программы [1].

Женева, 1884 г.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Русские социал-демократы, подобно социал-демократам других стран, стремятся к полному освобождению труда от гнета капитала. Такое освобождение может быть достигнуто путем перехода в общественную собственность всех *средств и предметов* производства, перехода, который повлечет за собою:

а) устранение современного товарного производства (т. е. купли и продажи продуктов на рынке) и

б) замену его новой системой общественного производства по заранее составленному плану ввиду удовлетворения потребностей как целого общества, так и каждого из его членов в пределах, допускаемых состоянием производительных сил в данное время.

Эта коммунистическая революция вызовет самые коренные изменения во всем складе общественных и международных отношений.

Заменяя современное господство продукта над производителем господством производителя над продуктом, она внесет сознательность туда, где господствует ныне слепая экономическая необходимость; упрощая и осмысливая все общественные отношения, она вместе с тем предоставит каждому гражданину реальную экономическую возможность непосредственного участия в обсуждении и решении всех общественных дел.

Это непосредственное участие граждан в заведовании общественными делами предполагает устранение современной системы политического представительства и замену ее *прямым народным законодательством* [1].

Кроме того, теперь уже можно предвидеть международный характер предстоящей экономической революции. При совре-

менном развитии международного обмена упрочение этой революции возможно лишь при участии в ней всех или, по крайней мере, нескольких цивилизованных обществ. Отсюда вытекает *солидарность интересов производителей всех стран*, признанная и провозглашенная еще Международным Товариществом Рабочих.

Но так как освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих, так как интересы труда в общем диаметрально противоположны интересам эксплуататоров и так как поэтому высшие классы всегда будут препятствовать указанному переустройству общественных отношений,— то неизбежным предварительным его условием является *захват рабочим классом политической власти в каждой из соответствующих стран*. Только это временное господство рабочего класса может парализовать усилия контрреволюционеров и положить конец существованию классов и их борьбе.

Эта политическая задача вносит элемент разнообразия в программы социал-демократов различных государств, сообразно общественным условиям каждого из них в отдельности.

Практические задачи, а следовательно, и программы социал-демократов, естественно, должны иметь более сложный характер в тех странах, где современное капиталистическое производство только стремится еще стать господствующим и где трудящиеся массы находятся под двойным игом — развивающегося капитализма и отживающего патриархального хозяйства. В таких странах социал-демократам приходится добиваться как переходных ступеней таких форм общественного устройства, которые уже теперь существуют в передовых странах и необходимы для дальнейшего развития рабочей партии. Россия находится именно в таком положении. Капитализм сделал в ней громадные успехи со времени отмены крепостного права. Старая система натурального хозяйства уступает место товарному производству и тем самым открывает огромный внутренний рынок для крупной промышленности. Патриархальные, общинные формы крестьянского землевладения быстро разлагаются, община превращается в простое средство закрепощения государству крестьянского населения, а во многих местностях она служит также орудием эксплуатации бедных общинников богатыми. В то же время, приурочивая к земле интересы огромной части производителей, она препятствует их умственному и политическому развитию, ограничивая их кругозор узкими пределами деревенских традиций. Русское революционное движение, торжество которого послужило бы прежде всего на пользу крестьянства, почти не встречает в нем ни поддержки, ни сочувствия, ни понимания. Главнейшая опора абсолютизма заключается именно в политическом безразличии и умственной отсталости крестьянства.

Необходимым следствием этого является бессилие и робость тех образованных слоев высших классов, материальным, умственным и нравственным интересам которых противоречит современная политическая система. Возвышая голос во имя народа, они с удивлением видят, что он равнодушен к их призывам. Отсюда — неустойчивость политических воззрений, а временами уныние и полное разочарование нашей интеллигенции[1].

Такое положение дел было бы вполне безнадежно, если бы указанное движение русских экономических отношений не создавало новых шансов успеха для защитников интересов трудящегося класса. Разложение общины создает у нас новый класс промышленного пролетариата. Более восприимчивый, подвижной и развитой, класс этот легче отзывается на призыв революционеров, чем отсталое земледельческое население. Между тем как идеал общинника лежит назади, в тех условиях патриархального хозяйства, необходимым политическим дополнением которых было царское самодержавие, участь промышленного рабочего может быть улучшена лишь благодаря развитию новейших, более свободных форм общежития. В лице этого класса народ наш впервые попадает в экономические условия, общие всем цивилизованным народам, а потому только через посредство этого класса он и может принять участие в передовых стремлениях цивилизованного человечества. На этом основании русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии. Рост и развитие такой партии встретит, однако, в современном русском абсолютизме очень сильное препятствие.

Поэтому борьба против него обязательна даже для тех рабочих кружков, которые представляют собой теперь зачатки будущей русской рабочей партии. Низвержение абсолютизма должно быть их первой политической задачей.

Главным средством политической борьбы рабочих кружков против абсолютизма русские социал-демократы считают агитацию в среде рабочего класса и дальнейшее распространение в ней социалистических идей и революционных организаций. Тесно связанные между собой в одно стройное целое, организации эти, не довольствуясь частными столкновениями с правительством, не замедлят перейти в удобный момент к общему, решительному на него нападению, причем не остановятся и перед так называемыми террористическими действиями, если это окажется нужным в интересах борьбы[2].

Целью борьбы рабочей партии с абсолютизмом является завоевание демократической конституции, обеспечивающей:

1) Право быть избирателем и избираемым как в Законодательное Собрание, так и в провинциальные и общинные органы самоуправления всякому гражданину, не приговоренному

судом за известные, строго определенные законом позорные действия к потере политической правоспособности.

2) Определенную законом денежную плату народным представителям, позволяющую выбирать их из бедных классов населения.

3) Всеобщее, светское, даровое и обязательное образование, причем государство должно снабжать бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями.

4) Неприкосновенность личности и жилища граждан.

5) Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний и ассоциаций.

6) Свободу передвижения и занятий.

7) Полную равноправность всех граждан, независимо от религии и племенного происхождения.

8) Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа.

9) Пересмотр всего нашего гражданского и уголовного законодательства, уничтожение сословных подразделений и наказаний, несовместимых с достоинством человека.

Опираясь на эти основные политические требования, рабочая партия выдвигает [1] ряд ближайших экономических требований, как, например:

1) Радикального пересмотра наших аграрных отношений, т. е. условий выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ. Предоставления права отказа от надела и выхода из общины тем из крестьян, которые найдут это для себя удобным, и т. п. [2]

2) Устранения современной податной системы и установления прогрессивного подоходного налога.

3) Законодательного регулирования отношений рабочих (городских и сельских) к предпринимателям и организации соответствующей *инспекции с представительством от рабочих* [3].

4) Государственной помощи производительным *ассоциациям*, организующимся во всевозможных отраслях земледелия, добывающей и обрабатывающей промышленности (крестьянами, горными, фабричными и заводскими рабочими, кустарями и т. д.) [4].

Эти требования настолько же благоприятны интересам крестьянства, как и интересам промышленных рабочих; поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит себе широкий путь для сближения с земледельческим населением. Выброшенный из деревни в качестве обедневшего члена общины пролетарий вернется в нее социал-демократическим агитатором. Его появление в этой роли изменит безнадежную теперь судьбу общины. Ее разложение неотвратимо лишь до тех пор, пока само это разложение не создаст новой народной силы, могущей поло-

жить конец царству капитализма. Такой силой явится рабочая партия и увлеченная ею беднейшая часть крестьянства.

Примечание. Как видно из вышесказанного, русские социал-демократы полагают, что работа интеллигенции, в особенности при современных условиях социально-политической борьбы, должна быть прежде направлена на более развитой слой трудящегося населения, каким и являются промышленные рабочие. Заручившись сильной поддержкой со стороны этого слоя, социал-демократы могут с гораздо большей надеждой на успех распространить свое воздействие и на крестьянство, в особенности в то время, когда они добьются свободы агитации и пропаганды. Само собой, впрочем, разумеется, что даже в настоящее время люди, находящиеся в непосредственном соприкосновении с крестьянством, могли бы своей деятельностью в его среде оказать важную услугу социалистическому движению в России. Социал-демократы не только не оттолкнут от себя таких людей, но приложат все старание, чтобы согласиться с ними в основных принципах и приемах своей деятельности [1].

НОВЫЙ ЗАЩИТНИК САМОДЕРЖАВИЯ, ИЛИ ГОРЕ г. Л. ТИХОМИРОВА

(Ответ на брошюру «Почему я перестал быть революционером».)

ОТ АВТОРА

Предлагаемая брошюра выходит позже, чем следовало. Болезнь помешала мне покончить с ней своевременно. Однако я все-таки выпускаю ее, потому что грехопадение г. Тихомирова до сих пор продолжает быть вопросом дня для многих читателей.

Божи, 3 марта 1889 года.

I

Если бы г. Тихомиров отличался неразборчивым славолюбием Герострата, то он, конечно, благословил бы тот день и час, когда ему пришло в голову написать брошюру «Почему я перестал быть революционером». Она обратила на него всеобщее внимание. Его и прежде немалая известность возросла в огромной степени. Но г. Тихомиров не принадлежит к числу людей, способных удовольствоваться славой безумного грека [1]. Он стремится *поучать*, а не *удивлять*, или, если хотите, ему нужно *удивить* читателя *поучительностью* своей истории и необычайной зрелостью своих политических тенденций, теми «вполне сложившимися идеями общественного порядка и твердой государственной власти», которые «издавна отличали» его в революционной среде*. Конечно, и он не отказывается бичевать себя за свои прошлые революционные заблуждения. Подобного отказа не допускает «вполне сложившийся» ритуал обращения революционера на путь истины. Но г. Тихомиров весьма ловко проделывает неизбежный обряд самобичевания. Делая вид, что заносит руку на самого себя, он исхитряется хлестнуть своих бывших товарищей, революционеров вообще, ту революционную «кружковщину», которая могла временно «связать и положить»

* «Почему я перестал быть революционером», стр. 11.

даже его, столь замечательного человека. Приличие соблюдается вполне, а в то же время самобичевание не только не причиняет нашему кающемуся автору никакой боли, но является для него приятным упражнением, которое дает ему возможность порисоваться перед публикой. Иной вульгарный потрясатель основ кается с грубым простодушием совершенно неблаговоспитанного человека. «Я, в своем неистовстве, не раз называл дураком священную особу его императорского величества»,— говорил, например, один из подсудимых по делу Петрашевского. Это не совсем изящно и совсем не расчетливо. Приятно ли его величеству выслушивать подобные признания? А ведь все дело в том, чтобы склонить его к милосердию. Г-н Тихомиров ведет себя иначе. Он недаром много писал на своем веку: он умеет владеть словом. Он так хитроумно слагает свой покаянный псалом, что тот одновременно представляет собою и победную песнь по случаю одоления г. Тихомировым революционной гидры и хвалебный гимн в честь русского самодержавия... а также, кстати, и в честь самого г. Тихомирова. Растроганному и примиренному монарху остается лишь заключить своего блудного сына в свои августейшие объятия, прижать его некогда буйную головушку к своей жирной груди и распорядиться насчет заклания упитанного тельца для торжественного празднества. «Бестия наш брат, русский человек!» — воскликнул однажды Белинский [1]. Ему следовало сказать: «Бестия наш брат, писатель!».

Говоря серьезно, мы не знаем, насколько жирен телец, которого собираются заколоть по случаю пробуждения верноподданнических чувств в сердце г. Тихомирова. Но что уже делаются некоторые приготовления к празднеству — это показывает зависть, обуявшая добрых, никогда не бунтовавших сынов русского самодержца. Чувство это нашло свое выражение на страницах «Русского вестника» [2], который упорно не желает помириться с г. Тихомировым и сердито ворчит на «петербургские канцелярии» за их слишком снисходительное отношение к бывшему террористу. Не помогли, значит, и комплименты Каткову! Надо думать, что попечительное начальство не замедлит вразумить редакцию названного журнала, напомнив ей мораль притчи о блудном сыне. Тем не менее выходки «Русского вестника» все-таки отравят г. Тихомирову приятную минуту примирения с «твердой властью».

Если бы не «Русский вестник», то г. Тихомиров считал бы себя счастливейшим из смертных. Он чрезвычайно доволен собою и своей метаморфозой. Он «приглашает колеблющихся и нерешительных» обратить на нее большое внимание, и, заранее уверенный в их восторженных одобрениях, он дарит их целой коллекцией советов, содержащих в себе замечательно оригинальные и дельные мысли. Он говорит им, что нужно учиться,

думать, не увлекаться фразами и т. п. Представим же себе, что мы принадлежим к числу «колеблющихся и нерешительных» и «обратим внимание» на пережитую нашим автором метаморфозу. История этой метаморфозы рассказана в брошюре «Почему я перестал быть революционером».

II

«У нас, да и не только у нас,— говорит г. Тихомиров,— глубоко укоренилась мысль, будто мы живем в каком-то «периоде разрушения», который, как веруют, кончится страшным переворотом, с реками крови, треском динамита и т. п. Засим — предполагается — начнется «период созидательный». Эта социальная концепция совершенно ошибочна и, как уже замечалось, составляет просто политическое отражение старых идей Кювье и школы внезапных геологических катастроф [1]. На самом деле, в действительной жизни, разрушение и созидание идут рука об руку и даже немыслимы одно без другого. Разрушение одного явления происходит, собственно, оттого, что в нем, на его месте, созидается нечто другое, и, наоборот, формирование нового есть не что иное, как разрушение старого» *.

Заключающаяся в этих словах «концепция» не поражает большою ясностью, но во всяком случае смысл их может быть сведен к двум положениям:

1) «У нас, да и не только у нас» революционеры не имеют никакого понятия об *эволюции*, о постепенном «изменении типа явлений», как выражается г. Тихомиров в другом месте.

2) Если бы они имели понятие об эволюции, о постепенном «изменении типа явлений», то не воображали бы, «будто мы живем в каком-то периоде разрушения».

Посмотрим сначала, как обстоит дело на этот счет *не у нас*, т. е. на Западе.

В настоящее время там существует, как известно, революционное движение рабочего класса, который стремится к своему экономическому освобождению. Спрашивается: удалось ли теоретическим представителям этого движения, т. е. *социалистам*, согласить свои революционные стремления со сколько-нибудь удовлетворительной теорией общественного развития?

На этот вопрос, не колеблясь, ответит утвердительно всякий, кто имеет хоть какое-нибудь понятие о современном социализме. Все серьезные социалисты в Европе и Америке держатся учения Маркса, а кому же не известно, что это учение есть прежде всего учение о развитии человеческих обществ? Маркс был горячим сторонником «революционной деятельности». Он глубоко

* «Почему я перестал быть революционером», стр. 13.

сочувствовал *всякому* революционному движению, направленному против существующих общественных и политических порядков. Можно, если угодно, не разделять столь «разрушительных» симпатий; но уж, конечно, из существования их нельзя делать того вывода, что воображение Маркса было «фиксировано на насильственных переворотах», что он забывал о социальной эволюции, о медленном, постепенном развитии. Маркс не только не забывал об эволюции, но, напротив, открыл многие из важнейших ее законов. В его уме история человечества впервые сложилась в одну стройную нефантастическую картину. Он первый показал, что *экономическая эволюция ведет к политическим революциям*. Благодаря ему современное революционное движение получило ясно намеченную цель и строго выработанную теоретическую основу. Но если это так, то почему же г. Тихомиров воображает, что несколькими бессвязными фразами об общественном «созидании» он может показать несостоятельность революционных стремлений, «у нас, да и не только у нас» существующих? Не потому ли, что он не дал себе труда понять учение современных социалистов?

Г-н Тихомиров чувствует теперь отвращение к «внезапным катастрофам» и «насильственным переворотам». Это в конце концов его дело: в этом случае он не первый и не последний. Но напрасно он думает, что «внезапные катастрофы» невозможны ни в природе, ни в человеческих обществах. Во-первых, «внезапность» подобных катастроф есть представление относительное. *Внезапное* для одного может быть вовсе *не* внезапным для другого: солнечные затмения наступают внезапно для невежды и вовсе не внезапно для астронома. Совершенно так же и революции, эти политические «катастрофы», случаются «внезапно» для невежд и для великого множества самодовольных филистеров, но очень часто бывают совсем не внезапными для человека, отдающего себе отчет в окружающих его общественных явлениях. Во-вторых, если бы г. Тихомиров попробовал взглянуть на природу и на историю с точки зрения усвоенной им теперь теории, то его ожидал бы целый ряд самых поразительных сюрпризов. Он твердо запомнил, что природа скачков не делает, что, покидая мир революционных фантазий и опускаясь на почву действительности, можно «в научном смысле» говорить только о медленном «изменении типа данного явления», а между тем природа скачет, не слушая никаких филиппик против «внезапности». Г-н Тихомиров прекрасно знает, что «старые идеи Кювье» ошибочны и что «внезапные геологические катастрофы» представляют собою не более, как ученую выдумку. Он беззаботно проживает, положим, на юге Франции, не предвидя ни тревог, ни опасностей. И вдруг — землетрясение, подобное случившемуся там года два назад. Почва колеблется, дома разрушаются, жители бегут, объятые ужасом, ну,

словом, происходит настоящая «катастрофа», означающая невероятное легкомыслие в матери-природе! Наученный горьким опытом, г. Тихомиров внимательно проверяет свои геологические понятия и приходит к тому выводу, что медленное «изменение типа явлений» (в данном случае состояния земной коры) не исключает «переворотов», которые с известной точки зрения могут, пожалуй, показаться «внезапными» или «насильственными»*.

Г-н Тихомиров кипятит воду, которая не перестает быть водой, не увлекается никакими внезапностями, нагреваясь от нуля до 80 градусов. Но вот она нагрелась до рокового предела и вдруг — о, ужас! — «внезапная катастрофа»: вода превращается в пар, как будто бы воображение ее было «фиксировано на насильственных переворотах».

Г-н Тихомиров *охлаждает* воду, и тут опять повторяется та же странная история. Постепенно изменяется температура воды, причем вода не перестает быть водою. Но вот охлаждение дошло до нуля, и вода превращается в лед, совершенно не помышляя о том, что «внезапные перевороты» представляют собою «ошибочную концепцию».

Г-н Тихомиров наблюдает развитие одного из насекомых, переживающих метаморфозы. Медленно совершается процесс развития куколки, и до поры до времени она остается куколкой. Наш мыслитель потирает руки от удовольствия. «Здесь все идет хорошо,— думает он. — Ни общественный, ни животный организм не испытывает таких внезапных переворотов, какие мне пришлось заметить в неорганическом мире. Возвышаясь до создания живых существ, природа остепеняется». Но скоро радость его уступает место огорчению. В один прекрасный день куколка совершает «насильственный переворот» и является на свет божий в виде бабочки. Таким образом, г. Тихомирову приходится убедиться, что и органическая природа не застрахована от «*внезапностей*».

Точно так же если г. Тихомиров когда-нибудь серьезно «обратит внимание» на свою собственную «эволюцию», то он, наверное, и в ней найдет подобную точку поворота или «перево-

* Из того, что наука опровергла геологические учения Кювье, еще не следует, что она вообще показала невозможность геологических «катастроф» или «переворотов». Этого она не могла показать, не противореча таким общеизвестным явлениям, как извержение вулканов, землетрясения и т. п. Задача науки заключалась в том, чтобы объяснить эти явления как продукт накопленного действия тех естественных сил природы, медленное влияние которых мы в малых размерах можем наблюдать в каждое данное время. Иначе сказать, геология должна была объяснить *революции*, переживаемые земной корой, с помощью *эволюции* этой коры. С подобной же задачей приходилось считаться и общественной науке, которая в лице Гегеля и Маркса решила ее так же удачно, как и геология.

рота». Он припомнит, какая именно капля переполнила чашу его впечатлений и превратила его из более или менее колеблющегося *защитника* «революции» в ее более или менее искреннего *противника*.

Мы с г. Тихомировым упражняемся в арифметическом сложении. Мы берем число *пять* и, как люди солидные, «*постепенно*» прибавляем к нему по единице: шесть, семь, восемь... До девяти все обстоит благополучно. Но как только мы решаемся увеличить это последнее число еще на единицу, с нами происходит несчастье: наши *единицы*

Вдруг, без всяких причин благовидных

превращаются в *десяток*. Такое же горе приходится нам пережить при переходе от *десятков* к *сотне*.

Музыкой мы с г. Тихомировым совсем заниматься не станем: там слишком много всяких «внезапных» переходов, и это обстоятельство может привести в расстройство все наши «концепции».

На все запутанные рассуждения г. Тихомирова о «насильственных переворотах» современные революционеры могут победоносно возразить одним простым вопросом: как же прикажете быть с теми переворотами, которые уже имели место в «действительной жизни» и которые во всяком случае представляют собою «периоды разрушения»? Объявить ли нам их nuls et non avenus * или считать делами таких пустых и вздорных людей, на поступки которых серьезному «социологу» не стоит обращать внимания? Но ведь как там ни смотри на эти явления, а надо же признать, что случались в истории насильственные перевороты и политические «катастрофы». Почему г. Тихомиров думает, что допускать возможность подобных явлений в будущем — значит иметь «ошибочные социальные концепции»?

История скачков не делает! Это совершенно верно. Но, с другой стороны, верно также и то, что история наделала множество «скачков», совершила массу насильственных «переворотов». Примеры таких переворотов бесчисленны. Что же значит это противоречие? Оно означает только то, что первое из этих положений формулировано не совсем точно, а потому и понимается многими неправильно. Следовало бы сказать, что история не делает неподготовленных скачков. Ни один скачок не может иметь места без достаточной причины, которая заключается в предыдущем ходе общественного развития. Но так как это развитие никогда не останавливается в прогрессирующих обществах, то можно сказать, что история постоянно занимается подготовкой скачков и переворотов. Она прилежно и неуклонно делает это дело, она работает медленно, но результаты ее работы (скачки и политические катастрофы) неотвратимы и неизбежны.

* [недействительными и не имевшими места]

Медленно совершается «изменение типа» французской буржуазии. Горожанин эпохи регентства [1] не похож на горожанина времен Людовика XI, но в общем он все-таки остается верен типу буржуа старого режима. Он сделался богаче, образованнее, требовательнее, но не перестал быть roturier *, который всегда и всюду должен давать дорогу аристократу. Но вот наступает 1789 г., буржуа гордо подымает голову; проходит еще несколько лет, и он становится господином положения, да ведь каким образом становится! — «с реками крови», с громом барабанов, с «треском пороха», если не динамита, в то время еще не изобретенного. Он заставляет Францию пережить настоящий «период разрушения», нимало не заботясь о том, что со временем найдется, может быть, педант, который объявит насильственные перевороты «ошибочной концепцией».

Медленно изменяется «тип» русских общественных отношений. Исчезают удельные княжества, бояре окончательно подчиняются царской власти и становятся простыми членами служилого сословия. Москва покоряет татарские царства, приобретает Сибирь, присоединяет к себе половину южной Руси, но все-таки остается старой азиатской Москвою. Является Петр и совершает «насильственный переворот» в государственной жизни России. Начинается новый, европейский период русской истории. Славянофилы ругали Петра антихристом именно за «внезапность» сделанного им переворота. Они утверждали, что в своем реформаторском рвении он позабыл об эволюции, о медленном «изменении типа» общественного строя. Но всякий мыслящий человек легко сообразит, что петровский переворот был необходим в силу пережитой Россией исторической «эволюции», что он был *подготовлен ею*.

Количественные изменения, постепенно накопляясь, переходят, наконец, в качественные. Эти переходы совершаются скачками и не могут совершаться иначе. Политические постепеновцы всех цветов и оттенков, Молчалины, возводящие в догмат умеренность и аккуратность, никак не могут понять этого обстоятельства, давно уже прекрасно выясненного немецкой философией. В этом случае, как и во многих других, полезно припомнить взгляд Гегеля, которого, конечно, трудно было бы обвинить в пристрастии к «революционной деятельности». «Когда хотят понять *возникновение* или *исчезновение* чего-либо, — говорит он,— то воображают обыкновенно, что уясняют себе дело посредством представления о *постепенности* такого возникновения или уничтожения. Однако изменения бытия совершаются не только путем перехода одного количества в другое, но также путем перехода качественных различий в количественные, и

* [простолюдином]

наоборот,— того перехода, который *прерывает постепенность*, ставя на место одного явления другое, качественно отличное от него. В основе учения о постепенности лежит представление о том, что возникающее уже существует в действительности и незаметно лишь благодаря своим малым размерам. Точно так же, говоря о постепенном уничтожении, воображают, будто небытие данного явления или то новое явление, которое должно занять его место, уже существует, хотя пока еще незаметно... Но таким образом устраняется всякое понятие о возникновении и уничтожении... Объяснять возникновение или уничтожение постепенностью изменения значит сводить все дело к скучной тавтологии и представлять себе возникающее или уничтожающееся уже в готовом виде, т. е. *уже возникшим или уничтожившимся*»*. Значит, если вам нужно объяснить возникновение государства, то вы просто-напросто воображаете себе микроскопическую государственную организацию, которая, постепенно изменяясь в своем объеме, дает, наконец, «обывателям» почувствовать свое осуществление. Точно так же, если вам нужно объяснить исчезновение первобытных родовых отношений, то вы даете себе труд вообразить маленькое небытие этих отношений,— и дело в шляпе. Само собою разумеется, что с такими приемами мышления в науке далеко не уедешь. Одна из величайших заслуг Гегеля заключается в том, что он очистил ученье о развитии от подобных нелепостей. Но какое дело г. Тихомирову до Гегеля и до его заслуг! Он раз навсегда затвердил, что западные теории к нам неприменимы.

Вопреки мнению нашего автора о насильственных переворотах и политических катастрофах, мы с уверенностью скажем, что в настоящее время история подготовляет в передовых странах чрезвычайно важный переворот, относительно которого есть все основания думать, что он совершится насильственно. Он будет состоять в изменении способа распределения продуктов. Экономическая эволюция создала колоссальные производительные силы, которые для своего употребления в дело требуют совершенно определенной организации производства. Они применимы только в крупных промышленных предприятиях, основанных на коллективном труде, на общественном производстве.

Но в резком противоречии с этим общественным способом *производства* стоит индивидуальное *присвоение* продуктов, выросшее при совершенно иных экономических условиях, в эпоху процветания мелкой промышленности и мелкой земельной культуры. Продукты общественного труда работников поступают, таким образом, в частную собственность предпринимателей. Этим

* «Wissenschaft der Logik» [1], erster Band, S. S. 313—314. Мы цитируем по нюренбергскому изданию 1812 года.

коренным экономическим противоречием обусловливаются все другие общественные и политические противоречия, замечаемые в современных обществах. И это коренное противоречие становится все более и более интенсивным. Предприниматели не могут отказаться от общественной организации производства, потому что в ней заключается источник их богатства. Напротив, конкуренция заставляет их распространять эту организацию на другие отрасли промышленности, в которых она прежде не имела места. Крупные промышленные предприятия убивают мелких производителей и таким образом увеличивают численность, а следовательно, и силу рабочего класса. Роковая развязка приближается. Чтобы устранить вредное для них противоречие между способом производства продуктов, с одной стороны, и способом их распределения — с другой, рабочие должны будут овладеть политической властью, которая фактически находится теперь в руках буржуазии. Если угодно, вы можете сказать, что рабочие должны будут совершить «политическую катастрофу». *Экономическая эволюция* роковым образом ведет к *политической революции*, а эта последняя будет в свою очередь источником важных изменений в экономическом строе общества. Способ *производства* продуктов медленно и постепенно принимает общественный характер. Соответствующий ему способ *присвоения их* явится результатом насильственного переворота.

Так происходит историческое движение *не у нас*, а на Западе, о социальном быте которого г. Тихомиров не имеет никакой «концепции», хотя и занимался «наблюдением могучей французской культуры».

Насильственные перевороты, «реки крови», топоры и плахи, порох и динамит — все это весьма печальные «явления». Но что же прикажете делать, если они неизбежны? Сила всегда играла роль повивальной бабки, когда рождалось новое общество. Так говорил Маркс, и так думал не один он. Историк Шлоссер был убежден, что только «огнем и мечом» совершаются великие перевороты в судьбе человечества *. Откуда же является эта печальная необходимость? Кто виной?

Иль силе правды
На земле не все доступно?[1]

---

* Основательное знание истории, повидимому, располагало Шлоссера даже к принятию старых геологических взглядов Кювье. Вот что говорит он по поводу проектов реформ Тюрго, до сих пор приводящих в умиление филистеров: «Эти проекты заключают в себе все существенные выгоды, которые приобрела Франция впоследствии посредством революции. Только революцией они могли быть достигнуты, потому что министерство Тюрго в своих ожиданиях обнаруживало слишком сангвинико-философский дух: оно надеялось, вопреки опыту и истории, единственно своими

Нет, пока еще не все. И происходит это благодаря различию классовых интересов в обществе. Одному классу полезно или даже существенно необходимо перестроить известным образом общественные отношения. Другому — полезно или даже существенно необходимо противиться такому переустройству. Одним оно сулит счастье и свободу, другим грозит отменой их привилегированного положения, грозит прямо уничтожить их, как привилегированный общественный класс. А какой же класс не борется за свое существование, не имеет чувства самосохранения? Выгодный данному классу общественный строй кажется ему не только справедливым, но даже единственно возможным. По его мнению, пытаться изменить этот строй — значит разрушать основы всякого человеческого общежития. Он считает себя призванным охранять эти основы хотя бы даже силою оружия. Отсюда — «реки крови»; отсюда — борьба и насилие.

Впрочем, социалисты, размышляя о предстоящем общественном перевороте, могут утешать себя тою мыслью, что чем больше распространятся их «разрушительные» учения, тем развитее, организованнее и дисциплинированнее будет рабочий класс, а чем развитее, организованнее и дисциплинированнее будет рабочий класс, тем меньших жертв потребует неизбежная «катастрофа».

Притом же торжество пролетариата, положив конец всякой эксплуатации человека человеком, а следовательно, и разделению общества на класс эксплуататоров и класс эксплуатируемых, сделает гражданские войны не только излишними, но даже и прямо невозможными. Тогда человечество будет двигаться одной «силой правды» и не будет иметь надобности в аргументации с помощью оружия.

III

Перейдем теперь к России.

Западные социалисты держатся ученья Маркса. Между русскими революционерами до последнего времени преобладали социалисты-народники. Отличие западного социалиста, т. е. *социал-демократа*, от социалиста-народника состоит в том, что первый обращается к рабочему классу и рассчитывает только на рабочий класс, второй — давно уже обращается к одной «интеллигенции», т. е. к самому себе, и рассчитывает только на

предписаниями переменить социальное устройство, образовавшееся в течение времени и скрепленное прочными связями. Радикальные преобразования *как в природе*, так и в истории возможны не прежде, как по уничтожении всего существующего огнем, мечом и разрушением». «История восемнадцатого столетия», русский перевод, 2-е издание, СПБ 1868, т. III, стр. 361. Удивительный фантазер этот ученый немец,— скажет г. Тихомиров.

интеллигенцию, т. е. только на самого себя. Социал-демократ как нельзя более боится попасть в изолированное, а потому ложное положение, при котором голос его перестал бы доходить до массы пролетариата и оказался бы голосом вопиющего в пустыне. Социалист-народник, не имея никакой поддержки в народе, даже и не подозревает ложности своего положения; он добровольно удаляется в пустыню, заботясь единственно о том, чтобы его голос долетал до его собственных ушей и радовал его собственное сердце. Рабочий класс, как он представляется социал-демократу, есть могучая, вечно подвижная, неугомонная сила, которая одна только и может теперь вести общество по пути прогресса. Народ, как он представляется социалисту-народнику,— это неуклюжий, черноземный богатырь, способный сотни лет оставаться неподвижным на своих пресловутых «устоях». В этой неподвижности нашего Ильи Муромца социалист-народник видит не недостаток, а весьма большую заслугу. Он не только не огорчается ею, но просит у истории одной милости: не сталкивать русского богатыря с его уже порядочно-таки просиженных устоев вплоть до той счастливой поры, когда он, добрый социалист-народник, управившись с капитализмом, царизмом и прочими вредными «влияниями», довольный и сияющий, явится к Илье Муромцу и почтительно доложит: Monsieur est servi! Кушать подано! Богатырю останется лишь единым духом осушить для аппетита чару зелена вина в полтретья ведра и спокойно усесться за приготовленную для него общественную трапезу... Социал-демократ внимательно изучает законы и ход исторического развития. Русский социалист-народник, много и охотно мечтая о том народном развитии, которое начнется когда-то со временем, на том свете, «на другой день после революции», знать не хочет той невымышленной экономической эволюции, которая ежедневно и ежечасно происходит в современной России. Социал-демократ плывет по течению истории. Напротив, историческое течение уносит социалиста-народника все далее и далее от его «идеалов». Социал-демократ *опирается* на эволюцию; русский социалист-народник *отпирается* от нее посредством всевозможных софизмов.

Более того. Сто-двести лет тому назад община была бесконечно прочнее, чем в настоящее время. Поэтому социалисту-народнику ужасно хотелось бы украдкой перевести на сто или двести лет назад часы истории *.

* Под социалистами-народниками мы понимаем всех тех социалистов, по мнению которых община должна составлять главный экономический базис социалистической революции в России. В этом смысле народниками нужно признать и «народовольцев». И они сами признавали себя таковыми. В «Программе Исполнительного комитета» они прямо называют себя социалистами-народниками [1].

Отсюда следует, что в применении к русским социалистам-народникам отзыв г. Тихомирова совершенно верен; они действительно не умели согласить этих двух понятий: *эволюция* и *революция*.

Только наш автор не счел нужным прибавить, что он был самым главным, самым плодовитым литературным выразителем этого направления в нашей революционной партии. Он долго и упорно боролся в своих статьях против всякой попытки установить разумную связь между требованиями русских революционеров и неотвратимым ходом русского общественного развития. Сельская община, с одной стороны, и «интеллигенция» — с другой, всегда были предельными понятиями, дальше которых не шел «революционизм» г. Тихомирова.

Но само собой разумеется, что революционерам данной страны нельзя безнаказанно игнорировать ее эволюции. Горький опыт немедленно показал это русским социалистам-народникам. Они не всегда обращались только к самим себе, не всегда возлагали свои упования на одну только «интеллигенцию». Было время, когда они пытались поднять «народ», под именем которого понимался, конечно, крестьянин, этот носитель общинных идеалов и представитель общинной солидарности. Но, как и следовало ожидать, крестьянин остался глух к их революционным призывам, так что они поневоле должны были попытаться сделать революцию своими собственными силами. Но что могли сделать они с этими силами? У них никогда не было ни малейшей возможности вступить в открытую борьбу с правительством. Политические манифестации второй половины семидесятых годов весьма убедительно дали почувствовать «интеллигенции», что ее сил недостаточно даже для победы над дворниками и городовыми. При таком положении дел и при указанных взглядах русских социалистов-народников у них не было другого пути, кроме так называемого у нас террора, или, как выражается г. Тихомиров, *единоличного бунта*. Но «единоличный бунт» не может свергнуть никакого правительства. «Защитники политических убийств очень редко, полагаю, сознают, что настоящую силу терроризма в России составляет бессилие революции»,— ехидно замечает наш автор. И это совершенно справедливо. Напрасно только он воображает, что нужен был его «созидательный» ум для открытия столь простой истины. На нее указывали в эпоху Липецкого и Воронежского съездов те из наших революционеров, которым хотелось удержать старую программу «Земли и Воли» [1]. Они были совершенно правы, когда говорили, что без поддержки со стороны хоть некоторой части народной массы невозможно никакое революционное движение. Но, оставаясь на старой, народнической точке зрения, они не могли иметь даже и смутного представления о том, какой

же способ деятельности в состоянии обеспечить нашей революционной партии плодотворное влияние на массу, а следовательно, и предохранить ее от неизбежного при террористической борьбе обессиления. В то же время «террористическая борьба» имела одно неоспоримое преимущество над всеми старыми программами: фактически она во всяком случае была борьбой за политическую свободу, о которой и слышать не хотели революционеры старого закала.

Раз ступивши на почву политической борьбы, социалисты-народники лицом к лицу столкнулись с вопросом об *эволюции*. Для социалиста завоевание политической свободы не может быть последним шагом его революционной деятельности. Права, гарантируемые гражданам современным парламентаризмом, являются в его глазах не более, как промежуточной станцией на пути к его главной цели, т. е. к переустройству экономических отношений. Между завоеванием политических прав и переустройством названных отношений необходимо должен пройти известный промежуток времени. Спрашивается: не изменится ли и если — да, то в каком смысле изменится русская общественная жизнь в течение этого промежутка? Не поведет ли конституционный порядок к разрушению старых, дорогих социалистам-народникам устоев крестьянской жизни? Чтобы удовлетворительно ответить на этот вопрос, необходимо было подвергнуть критике главнейшие положения народничества.

Нетрудно было бы отметить в нашей революционной литературе все более и более возраставшее сознание необходимости уяснить, наконец, связь между русской *революцией* и русской *эволюцией*. Г-н Тихомиров, который был, как мы уже сказали, самым упорным из наших революционных староверов и усердно охранял усвоенную им народническую догматику от вторжения всякой новой мысли,— даже г. Тихомиров испытал на себе влияние этой переходной эпохи. Брошюра «Почему я перестал быть революционером» содержит в себе весьма недвусмысленные указания на этот счет. Рассказывая историю пережитого им превращения, г. Тихомиров упоминает об одной статье, написанной им для № 5 «Вестника Народной воли», но не одобренной товарищами по изданию, а потому не напечатанной. По его словам, он развивал в этой статье то положение, что «*только известная эволюция в народной жизни может создавать почву для революционной деятельности*»... «*мой революционизм*, — говорит он, — *именно и отыскивал эту эволюцию, этот исторический процесс изменения типа, чтобы действовать сообразно с нею*»*.

Что же нашел «революционизм» г. Тихомирова?

«Я требую единения партии со страною, — вещает наш

* Стр. 13—14 его брошюры.

автор. — Я требую уничтожения террора и выработки великой национальной партии... но тогда для чего же самые заговоры, восстания, перевороты? Такая партия, о создании которой я хлопотал, очевидно, сумела бы выработать систему улучшений, совершенно возможных и явно плодотворных, а стало быть, нашла бы силы и способность показать это и правительству, которое не потребовало бы ничего лучшего, как стать самому во главе реформы»*.

Очевидно, что, «отыскивая» *эволюцию*, «революционизм» г. Тихомирова, «захлопотавшись», обронил *революцию*, от которой не осталось и следа в его нынешних взглядах. Это печально, но в этом есть своя *неизбежная логика*. Человеку, ни за что не хотевшему отказаться от идеализации допотопных экономических отношений русской деревни, естественно было кончить идеализацией царизма, этого естественного политического плода названных отношений. Нынешние взгляды г. Тихомирова представляют собою не более, как логический, хотя и весьма некрасивый вывод из теоретических посылок социалистов-народников, которые он всегда считал неоспоримыми.

Но, с другой стороны, несомненно также, что вывод этот не имеет решительно ничего общего с какой бы то ни было *эволюцией*.

Г-н Тихомиров искал эволюции там, где ее никогда не бывало и где поэтому и невозможно было найти ее.

Что такое «единение партии со страной»? Во всякой стране, вышедшей из ребяческого возраста, существуют классы или сословия, интересы которых частью различны, а частью и вовсе противоположны. Никакая партия не может примирить этих интересов; поэтому никакая партия не может объединиться со страной *в ее целом*. Всякая партия может быть выразительницей интересов только известного класса или известного сословия. Это не значит, конечно, что всякая партия осуждена представлять в политике лишь эгоистические интересы того или другого класса. В каждую данную историческую эпоху есть класс, торжество которого связано с интересами дальнейшего развития страны. Служить интересам страны можно лишь, содействуя торжеству этого класса. Следовательно, «единение партии со страною» может иметь только один разумный смысл: единение партии с классом, являющимся в данное время носителем прогресса. Но слова г. Тихомирова вовсе не имеют подобного смысла. Он всегда отрицал, а теперь тем более отрицает существование каких бы то ни было классов в нашем отечестве.

Различие классовых интересов создается ходом общественного развития, *исторической эволюции*. Понять различие клас-

* Стр. 12—13.

совых интересов — значит понять ход исторического развития, и, наоборот, не понимать его — значит не иметь ни малейшего понятия об историческом развитии, значит оставаться в той теоретической темноте, в которой все кошки серы и как две капли воды похожи одна на другую. И если пребывающий в подобном сумраке писатель тем не менее говорит вам об эволюции, то вы можете быть уверены, что он принимает за эволюцию нечто ей совершенно противоположное.

Но, даже оставив в стороне все эти соображения, нельзя не задать г. Тихомирову следующего интересного вопроса. Почему он думает, что раз партии удалось бы «соединиться» со страною, то правительство «не потребовало бы ничего лучшего, как самому стать во главе реформы», требуемой этой партией? Наш автор помнит, вероятно, что ровно сто лет тому назад был такой случай: представители третьего сословия одной страны выражали интересы огромного большинства ее населения; они «выработали систему улучшений совершенно возможных и явно плодотворных». Но правительство этой страны не пожелало «стать во главе реформы» и принялось «хлопотать» о том, как бы задавить ее с помощью иностранного войска. Это не помешало, конечно, реформе войти в жизнь, но «хлопоты» правительства кончились самым плачевным для него образом. Впрочем, г. Тихомиров, повидимому, думает, что правительство такого самобытного государства, как Россия, непременно пошло бы в подобном случае своей самобытной дорогой и что поэтому пример других стран нам не указ.

Наш автор искал путей для объединения партии со страною и по ошибке попал на путь, который привел его к соединению с абсолютизмом. Но что же общего между развитием России и интересами самодержавия?

«Я смотрю на вопрос о самодержавной власти так,— читаем мы на странице 25-й тихомировской брошюры.— Прежде всего она составляет в России (какова она есть) явление, которое совершенно бесполезно обсуждать. Это такой результат русской истории, который не нуждается ни в чьем признании и никем не может быть уничтожен, пока существуют в стране десятки и десятки миллионов, которые в политике не знают и не хотят знать ничего другого»

Г-н Тихомиров старался понять смысл русской «эволюции». Чтобы с успехом решить эту задачу, ему нужно было уяснить себе не только, *какова есть Россия*, но, главное, *какою она становится*, в каком смысле «изменяется тип» ее общественных отношений. Кто не обращает внимания на эту сторону дела, тот имеет право говорить лишь о *застое*, а не о *развитии*. Но именно на эту сторону дела и не обратил внимания г. Тихомиров. Поэтому с ним случилось то же, что случается со всеми людьми

«охранительного» направления. Они воображают, что имеют в виду «страну» «*какова она есть*», а на самом деле их умственные взоры устремлены на «страну», какою она *была* когда-то и какою в значительной своей части она *уже не есть* в данное время. Их охранительные «мечты» основываются на идеализации старых, уже отживших экономических и политических отношений.

Заговорите с г. Тихомировым об экономических отношениях России. Он скажет вам: община — это «такой результат русской истории, который не нуждается ни в чьем признании, пока десятки и десятки миллионов в экономии не знают и не хотят знать ничего другого». Но в этом маленьком словечке *пока* и заключается вся суть вопроса. Человек, велеречиво толкующий об *эволюции*, не должен ограничиваться ссылкой на настоящее время. Если он хочет убедить нас, что община имеет прочное будущее, он должен показать, что вышеуказанное «*пока*» не осуждено на скорую гибель, что община не носит в себе и никогда, или по крайней мере долго, не будет носить в себе элементов своего разложения. Точно так же, если он хочет убедить нас в прочном будущем русского самодержавия, он должен показать, что в наших общественных отношениях нет таких факторов, под влиянием которых «десятки и десятки миллионов», быть может, скоро и слышать не захотят о самодержавии. «Пока» — это крайне неопределенное выражение, это — *икс*, который может быть равен миллиону, а может быть недалек от нуля. Определить свойства *икса* и составляло задачу нашего эволюциониста. Но подобная задача была ему не по плечу. До краев наполненный «самобытностью», он всегда жил в таких натянутых отношениях с наукой, идущей к нам, как известно, с Запада, что ему решительно не под силу серьезное решение каких бы то ни было вопросов.

Определяя политические взгляды русского народа, г. Тихомиров говорит о России *какова она есть* или, лучше сказать, какою она ему представляется. Но его взоры бесповоротно устремляются в *прошлое*, когда он переходит к вопросу о том, не мешает ли существование самодержавия успехам русской «культуры». Всякому не предубежденному и не софистизирующему человеку очевидно, что вопрос этот может быть формулирован лишь таким образом: препятствует или содействует современный абсолютизм, «*каков он есть*», дальнейшему развитию России? Г-н Тихомиров предпочитает иную постановку вопроса. Он указывает на абсолютизм, *каков он был*, по его мнению, когда-то. «Можно ли до такой степени забывать свою собственную историю, чтобы восклицать: «какая культурная работа при царях!» (так восклицают, к огорчению г. Тихомирова, многие русские люди). Да разве Петр не царь? А есть ли во всемирной истории эпоха более быстрой и широкой культурной

работы?—горячится наш автор.—Разве не царица Екатерина II? Разве не при Николае развивались все общественные идеи, какими до сих пор живет русское общество? Наконец, много ли республик, которые в течение 26 лет сделали бы так много улучшений, как сделал император Александр II? На все такие факты у нас только и находятся жалкие фразы, вроде того, что это сделано «вопреки самодержавию». Но если бы даже и так: не все ли вам равно, «благодаря» или «вопреки», коль скоро прогресс, и очень быстрый, оказывается возможен?»*.

Но позвольте же спросить вас, о премудрый сторонник эволюции, неужели вы не понимаете того простого обстоятельства, что настоящее может быть не похоже на прошлое и что пример Петра, Екатерины или даже Александра II вовсе не указ для Александра III или Николая II? Петр старался заставить Россию сделаться просвещенной страной; Александру III хотелось бы вернуть ее в варварское состояние. Россия может поставить двадцать новых памятников Петру и в то же время находить, что Александр III заслуживает только виселицы. Зачем же сворачивать на Петра Великого, когда речь идет только об Александре толстом?

Кроме того, как понимать ссылку на царствование Николая? «При Николае развились многие из тех идей, которыми до сих пор живет русское общество». Это правда, но не сердитесь, г. Тихомиров, и позвольте спросить вас, какова была при этом роль Николая, этого «гвардейского папы всех реакций»? Представьте себе, что происходит война между кошками и мышами. Мыши находят, что кошки сильно вредят их благосостоянию, и всячески стараются покончить с кошачьим вопросом. Вдруг является Рейнеке-Лис и, лукаво виляя своим пушистым хвостом, обращается к мышам с такой речью: «Неразумные и неблагодарные мыши, я решительно не понимаю, можно ли до такой степени забывать собственную историю, чтобы восклицать: «Какое благосостояние при кошках?» Но разве Васька не кот? Разве Машка не кошка? Но разве не при Ваське число ваше размножилось до такой степени, что хозяин обитаемого вами дома должен был позаботиться о покупке новых мышеловок? Правда, Васька старательно истреблял вас, но вы все-таки размножились, и не все ли вам равно: размножились ли вы благодаря Ваське или вопреки ему!» Что должны были бы отвечать мыши подобному сикофанту?

«Величайший прогресс литературы совместим с Самодержавной Монархией»,— уверяет г. Тихомиров (стр. 26). Но это, право, слишком уже бес...церемонно! Или он думает, что его читатели не знают истории многострадальной русской литерату-

* Стр. 25.

ры? Но кто же не помнит Новикова и Радищева, отведавших когтей просвещенной Екатерины; ссылки Пушкина при «благословенном» Александре; Полежаева, загубленного «незабвенным» Николаем; Лермонтова, сосланного за стихотворение, не заключавшее в себе ничего опасного для «основ»; Шевченка, изнывавшего под солдатской шинелью; Достоевского, который без всякой вины был сначала приговорен к смертной казни, а затем, «помилованный», сослан на каторгу, заключен в «Мертвый дом», где два раза подвергался телесному наказанию; Белинского, которого лишь смерть спасла от знакомства с жандармами? Или г. Тихомиров полагает, что его читатели забыли ссылку Щапова, Михайлова, погибшего в Сибири, Чернышевского, остававшегося там более двадцати лет; Писарева, просидевшего в крепости лучшие годы своей жизни; современных русских писателей, между которыми редко можно встретить независимого человека, не побывавшего под надзором полиции или в местах различной степени отдаленности; наконец, все неистовства русской цензуры, рассказам о которых не хотят верить люди, не знающие, что такое наша «Самодержавная Монархия»? Беспощадное преследование всякой живой мысли красной нитью проходит через всю историю русского императорства, и наша литература неслыханно дорогой ценой заплатила за свое развитие *«вопреки»* самодержавию. Это известно всем и каждому, и мы советуем г. Тихомирову распространяться о чем ему угодно, писать торжественные оды на тему: «гром победы раздавайся, веселися храбрый росс», но оставить в покое русскую литературу. Достаточно вспомнить о ней, чтобы почувствовать самую жгучую ненависть к нашим самодержцам!

Когда-то Греч, возражая на книгу Кюстина о николаевской России, утверждал, что в Петербурге можно так же свободно писать, как в Париже или в Лондоне [1]. Рассуждения г. Тихомирова о процветании русской литературы под эгидой самодержавной власти представляют собою не более, как дальнейшее развитие смелой мысли Греча. По выходе брошюры «Почему я перестал быть революционером» многие подумали, что г. Тихомиров желает изобразить из себя нового Каткова, одаренного умом более «созидательным», чем ум покойного редактора «Московских ведомостей» [2]. Но это ошибка. При внимательном отношении к делу ясно, что г. Тихомирову не давала спать слава Греча. И нужно сознаться, что этого последнего напоминает вся писательская манера г. Тихомирова. Новейшим Катковым ему быть не суждено, но у него есть все данные для того, чтобы сделаться новейшим Гречем, конечно в несколько уменьшенных размерах.

Не все ли нам равно, «вопреки» или «благодаря» царям совершается наше общественное развитие! Нет, г. Тихомиров,

далеко не все равно! Для нас не все равно, если наши учебные заведения отдаются во власть Толстых, Деляновых, Руничей и Магницких. Для нас не все равно, если доступ в них ограничивается, если, по манию царской руки, в каждую данную минуту их могут совсем закрыть, дав обучающемуся в них юношеству «фельдфебелей в Вольтеры». Для нас не все равно, если нашими студентами заселяют северные и восточные окраины и если в настоящее время, отпустив сына в высшее учебное заведение, родители смотрят на него, как на почти уже погибшего. Для нас не все равно, если в нашем самодержавно-полицейском государстве ежегодно по крайней мере пятая часть «обывателей» (крестьян) подвергается телесным наказаниям при взыскании податей. Для нас не все равно, если за малейший протест против адских фабричных порядков рабочие испытывают беззаконные преследования со стороны администрации, а когда вздумается нашему самодержцу, то могут быть преданы даже военному суду, как это неоднократно бывало при Николае. Все это для нас далеко не все равно. Самодурство самодержцев обходится нам слишком дорого. Было время, когда и для вас это было далеко не все равно, г. Тихомиров. И знаете ли что? Если в вас сохранилась хоть капля человечности, вы невольно и несмотря на свойство вашей «эволюции» еще не раз вспомните это время, как самую благородную пору вашей жизни.

По мнению г. Тихомирова, если нашу учащуюся молодежь окружают опасности, то в этом виноваты «подстрекатели», вовлекающие ее в политику. «Студенческое вмешательство в политику дает наиболее вредные последствия в форме разных демонстраций, когда чуть ли не в 24 часа из-за грошевого протеста против какого-нибудь несчастного инспектора погибает для страны несколько сотен молодых, незаменимых сил». Заметим, во-первых, что одно дело «студенческое вмешательство в политику», а другое дело — так называемые студенческие истории. Для студентов есть другие способы «вмешиваться в политику», помимо борьбы с инспекторами. Во-вторых, мы покорнейше попросим г. Тихомирова сказать нам, кто же виноват в гибели этих действительно дорогих и поистине незаменимых сил? Не виновато ли в ней правительство, способное губить сотни молодых людей «из-за грошевого протеста против какого-нибудь несчастного инспектора»? Замечательно, что даже в изображении г. Тихомирова абсолютизм наш является каким-то Змеем Горынычем, по отношению к которому вся политическая мудрость состоит лишь в том, чтобы не попасться ему в лапы.

О, конечно, «для страны» было бы в миллионы раз лучше, если бы наша молодежь могла спокойно учиться и развиваться! Кто спорит против этого? Но, к сожалению, у нее не будет такой возможности, пока не погибнет, наконец, та политическая си-

стема, которая губит ныне ее молодые силы. Правительство никогда не простит ей «вмешательства в политику», а она никогда не воздержится от такого вмешательства. В борьбе за политическую свободу учащаяся молодежь везде и всюду принимала самое деятельное участие. Филистерам, осуждавшим ее за это, Жорж Санд давно уже и вполне верно возразила: если все, что есть лучшего и благородного в молодежи, направляется против существующего строя, то это служит лучшим доказательством его негодности.

Но г. Тихомирову хотелось бы отвлечь от политической борьбы не одну только учащуюся молодежь. Он советует забыть о ней всем, даже самым престарелым своим читателям, а в виде выхода указывает им на «культурную работу»... с дозволения начальства. По его словам, никакие департаменты препон и препятствий не могут *воспрепятствовать* подобной работе. «Каково бы ни было правительство,— говорит он,— оно может отнять у народа все, что угодно представить, но не возможность культурной работы, предполагая, что народ к ней способен». Это отрадно; одна беда: мы никак не можем догадаться, что это за удивительная «работа», которой, так сказать, ни моль не точит, ни ржа не ест и которой мы спокойно будем заниматься даже в том случае, когда правительство отнимет у нас *«все, что угодно представить»?* Распространение просвещения есть, например, самая культурная из всех культурных работ. Но эту работу всегда может «отнять» у нас правительство, и сам г. Тихомиров, конечно, знает много примеров подобного отнятия. Литературная деятельность также должна быть признана культурной работой. Но, как и это хорошо известно г. Тихомирову, каждому из нас правительство легко может запретить ее во всякое время. О какой же «работе» говорит наш автор? О постройке железных дорог, о споспешествовании успехам «отечественной промышленности»? Но и в этом случае дело зависит от бюрократического произвола. Правительство всегда может не разрешить вашего предприятия или убить его тяжелым налогом, нелепым тарифом и т. п. Много ли у нас останется, раз правительство «отнимет все, что угодно представить»? (По правде сказать, оно уже и теперь недалеко от этого.)

Нам кажется, что г. Тихомирову следовало бы быть откровеннее со своими читателями и без всяких уверток обратиться к ним с теми утешительными словами, с какими стоики обращались когда-то к рабам: ваши господа могут отнять у вас все, что угодно представить, но они не в силах лишить вас внутренней свободы вашего «я»; для разумного же человека только эта внутренняя свобода и имеет значение. Наверное, многие сумели бы понять всю справедливость этого философского соображения.

Если на долю русского «интеллигентного» человека выпадет молодость, бурная в политическом отношении, и если ему в более зрелом возрасте захочется отдохнуть и пожить в свое удовольствие, то он начинает вздыхать о «культурной работе». В чем должна состоять она — этого он и сам хорошенько не знает. Из его сбивчивых объяснений обыкновенно понятно только одно: весьма значительная часть будущей «работы» пойдет на охранение и сохранение его «культурной особы». Помилуйте, у нас дорог каждый образованный человек,— уверяет будущий культуртрегер, избегая при этом смотреть вам прямо в глаза. Иначе сказать, он до такой степени хорош и поучителен в своей «интеллигентности», что, взирая на него, русский народ уже тем самым излечится от многих болезней, подобно тому как евреи исцелялись в пустыне, взирая на медного змия. Эту-то «работу» изображения из себя российского медного змия и рекомендует своим читателям г. Тихомиров. Человек, увлекавшийся некогда славой Робеспьера или Сен-Жюста, делает теперь вид, что увлекается доблестными примерами образцового помещика Костанжогло или ангельски доброго откупщика Муразова [1].

Но, говоря о такой работе, он не должен был ссылаться на историю. Напоминая читателям о Петре, Екатерине и Александре II, наш автор сделал большую неосторожность. Вникнув в смысл указанных им примеров, читатель может сказать себе так: много или мало было «культурной работы» в царствование того или другого из названных лиц, но, поскольку она действительно имела место «в стране», она состояла в переустройстве общественных отношений сообразно с наиболее вопиющими нуждами того времени. Спрашивается: способен ли теперь царизм, «каков он есть», взять на себя почин полезного и сообразного с нуждами *нашего* времени переустройства русских общественных отношений? Говорят, что самое необходимое переустройство этих отношений заключается в ограничении царской власти. Возьмется ли царь за эту «культурную работу»? Опасные это мысли, г. Тихомиров! Читатель, задавший себе подобный вопрос, недалек от совершенной неблагонамеренности. Но этого мало; некоторые читатели могут пойти еще дальше и предаться, например, такого рода «разрушительным» размышлениям: Реформы Александра II вызваны были крымским погромом, который навязал нам программу преобразований, безусловно необходимых для самосохранения России как европейской страны. Основанием всех других реформ было тогда уничтожение крепостного права. Оно, кроме общих экономических соображений, было предпринято еще и потому, что ежегодно возраставшее число крестьянских бунтов заставляло опасаться народного восстания. Отсюда следует, повидимому, тот вывод, что, когда мы захотим заставить царя взяться за «культурную

работу», мы должны припугнуть его восстанием и уж, конечно, припугнуть серьезно, т. е. не ограничиваться словами, а на самом деле готовиться к восстанию. А это значит, что революционная деятельность есть та же культурная работа, но только с другой стороны. И этот последний род «культурной работы» в сущности выгоден для самих самодержцев. Побуждаемые опасностью восстания, они с большей легкостью будут превращаться в «освободителей». Для того чтобы Александр II задумался о реформах, нужно было то отчаянное положение России, при котором Николаю оставалось лишь покончить самоубийством. Революционеры примирят царей с неизбежной перспективой «культурной работы»; тогда и царские самоубийства окажутся, может быть, излишними.

Видите ли, г. Греч, в какой соблазн вводите вы своих читателей? Как же это вы ведете себя так необдуманно? А еще хвалитесь тем «отпечатком положительности», который будто бы всегда «отличал» вас! Зачем вы сунулись в историю? Ограничились бы превознесением той любезной вашему сердцу «культурной работы», которая нимало не касается общественных отношений и которая сторицею вознаградит нас за все злоключения даже в том случае, если абсолютизм отнимет у храбрых россов все, «что угодно представить».

Наш новейший Греч и сам знает, как мало трудолюбия обнаруживают русские монархи на поприще исторической «культурной работы». Поэтому он хочет подействовать на наш патриотизм, указывая на русские «национальные задачи», разрешить которые может, по его мнению, только «прочное правительство». В известном смысле наш царизм, кажется, никогда не имел недостатка в «прочности», но много ли способствовало это обстоятельство разрешению наших культурных задач? Припомним хоть ближайшую к нам историю восточного вопроса.

Нам говорили, что наши «национальные задачи» требуют освобождения Молдавии и Валахии. Мы боролись за это освобождение, а когда оно состоялось, то наш абсолютизм сумел сделать из румын наших врагов. Восстановлять их против России — значило ли содействовать разрешению русских «национальных задач»?

Нам говорили, что освобождение Сербии необходимо ввиду наших «национальных задач». Мы содействовали ему, а царская политика толкнула сербов в объятия Австро-Венгрии. Подвинуло ли это вперед решение названных задач?

Нам говорили, что в интересах России необходимо освобождение Болгарии. Немало русской крови было пролито по этому поводу, а теперь, благодаря политике нашего «твердого» и «прочного» правительства, болгары ненавидят нас, как своих злейших притеснителей. Выгодно ли это России? [1]

Для решения национальных задач всякой данной страны необходимо прежде всего одно условие: «прочное» согласие политики ее правительства с ее национальными интересами. А у нас этого-то условия и нет, да и быть не может, потому что наша политика находится в полнейшей зависимости от августейших фантазий. Воюет Елизавета с Фридрихом прусским — и Россия обязана думать, что война ведется ради ее национальных задач. Но вот вступает на престол Петр III, который, еще будучи наследником, изменнически вел себя по отношению к России, — и русские солдаты, только что сражавшиеся *против* Фридриха, немедленно переходят *на его сторону*, и русские обыватели обязаны думать, что такого перехода требуют их национальные задачи? А то пусть г. Тихомиров припомнит самодержавные проказы Павла или Николая, который думал, что главнейшая национальная задача России состоит в неукоснительном исполнении роли европейского жандарма. Что выиграла Россия от похода в Венгрию? Спустя несколько лет после этого похода Незабвенный, разговаривая с одним поляком, спросил его: кто был в Польше самым глупым королем после Яна Собеского? И когда его собеседник не знал, что ответить,— я, сказал он, потому что я также некстати спас Вену. Но ведь глупость его величества, польского короля и русского императора, не могла же не отражаться самым вредным образом на национальных интересах России.

Важнейшая из всех наших национальных задач состоит в завоевании свободных политических учреждений, благодаря которым силы нашего отечества перестали бы, наконец, быть игрушкой в руках какого-нибудь коронованного Кита Китыча[1]. Говоря о национальных задачах России, апологеты самодержавия прежде всего невольно напоминают ей именно об этой задаче.

Наш автор пишет, что только «отчаянный романтизм революционеров» позволяет им «третировать русских наследственных самодержцев, как позволительно третировать какого-нибудь узурпатора. Русский царь не похищал своей власти, он получил ее от торжественно избранных предков, и до сих пор огромное большинство народа ни единым звуком не показало своего желания отобрать у Романовых их полномочий». Чтобы еще более выставить величие царской власти, г. Тихомиров указывает на то обстоятельство, что русская церковь, признаваемая огромным большинством населения, «освящает» царя «званием своего светского главы» *.

Сделаем, прежде всего, маленькое замечаньице: не церковь решила «освятить» русского царя званием своего светского гла-

* Стр. 16.

вы, а русский царь по собственному побуждению и в интересах своей власти решил преподнести себе сие почетное звание. В этом нет большого преступления, но зачем же г. Тихомиров искажает историю?

Далее, о каких это Романовых говорит он? Было время, когда на русском престоле, точно, сидели Романовы. Нельзя сказать, чтобы эта династия была избрана в силу каких-нибудь особенно «торжественных» соображений. Некоторые историки уверяют, будто бояре стояли за «Мишу Романова» потому, что тот был «разумом слабенек» и они надеялись забрать его в руки. Поговаривают также, будто избранный царь давал в свою очередь «торжественные» обещания уважать права «страны». Но определенного на этот счет ничего не известно, и по поводу избрания Романовых приходится сказать словами гр. А. Толстого:

Свершилося то летом;
Но был ли уговор,
История об этом
Молчит до этих пор [1].

Как бы то ни было, Романовы, действительно, были выбраны, и русские цари могли бы ссылаться на народное избрание, если бы они действительно принадлежали к этой династии. Но она давно уже не существует. По смерти Елизаветы вступил на престол Петр Гольштейн-Готторпский, и от брака его с принцессой Ангальт-Цербстской ни в каком случае не могло произойти Романовых, даже если допустить законное происхождение Павла, которое категорически отрицает сама Екатерина в своих «*Записках*». В избрании Петра Гольштейнского «страна» не принимала решительно никакого участия. Правда, по женской линии он находился в родственных отношениях к угасшей династии, но ведь если на этом основании его и его потомков величать Романовыми, то нужно называть так же и детей, например, принца Эдинбургского, а это, кажется, еще никому не приходило в голову. Для русских революционеров, конечно, все равно, кого ни свергнуть с престола: Романовых или Гольштейн-Готторпских,— но еще раз: зачем же искажать историю?

Русских царей нельзя третировать как узурпаторов! Вот новость! А мы всегда думали, что их нельзя третировать *иначе, как узурпаторов*. Мы думали так потому, что русские цари сами нередко третировали своих предшественников как узурпаторов. Помнит ли г. Тихомиров историю XVIII века? Помнит ли он восшествие на престол Елизаветы и Екатерины второй? Одно из двух: или ces dames * *узурпировали* царскую власть, или, если они поступили законно, то их предшественники были

* [эти дамы]

узурпаторами. Павел всегда называл поступок Екатерины *узурпацией*, и говорят, что Николай разделял его мнение на этот счет. Помнит ли г. Тихомиров об убийстве Павла? Помнит ли он, что в этом деле можно бы обвинить Александра «благословенного», по крайней мере, «в знании и недонесении»? Как назвать человека, который вступил на престол посредством заговора против своего отца и императора? Конечно, русским революционерам все равно, имеют ли они дело с царями «божьей милостью» или с царями милостью «лейбкампанцев» [1] и прочих преторианцев. Но еще и еще раз, зачем же искажать историю, зачем говорить о законном переходе власти «от предков», зачем «фантазировать» о святости трона, загаженного всевозможнейшими преступлениями?

Или г. Тихомиров думает, что его читатели не знают русской истории, и спекулирует на их невежестве, или он сам не знает ее и, что называется, не спросясь броду, суется в воду.

Муж многоопытный, губит тебя твоя храбрость!

И такого-то храброго защитника не понял и не оценил «Русский вестник»! Он уверяет, что г. Тихомиров не сказал ничего нового. Но откуда же взять это новое, если вы, господа, исчерпали решительно все, что можно сказать в пользу абсолютизма? А кроме того, уверение «Русского вестника» не совсем справедливо. В брошюре г. Тихомирова есть совершенно новый прием отпугивания людей от революционной деятельности. Вот он, этот драгоценный плод тихомировской оригинальности. «Влияние самого образа жизни,— говорится на стр. 18 его брошюры,— чрезвычайно неблагоприятно для террориста-заговорщика... Господствующее над всем сознание — это сознание того, что не только нынче или завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть. Единственная возможность жить при таком сознании — это *не думать* о множестве вещей, о которых, однако, нужно думать, если хочешь остаться человеком развитым. Привязанность сколько-нибудь серьезная и какого бы то ни было рода есть в этом состоянии истинное несчастье. Изучение какого бы ни было вопроса, общественного явления и т. п. немыслимо. План действия мало-мальски сложный, мало-мальски обширный, не может прийти даже в голову. Всех поголовно (исключая 5—10 единомышленников) нужно обманывать с утра до ночи, от всех скрываться, во всяком человеке подозревать врага». Словом, жизнь заговорщика-террориста есть «жизнь травленого волка», а борьба его против правительства есть борьба, «принижающая» его самого.

Что, каково сравнение? Недурен оборот? — спросим мы словами Некрасова. Вдумайтесь в смысл этих доводов, и вы увидите, что г. Тихомиров вовсе не так прост, как он часто кажет-

ся. В России существует суровая беспощадная сила, которая гнетет нас и отнимает у нас «все, что угодно представить». Мы протестуем против этой силы по одиночке,— она стирает нас в порошок. Мы организуемся, чтобы бороться систематически, и в результате этой борьбы, которая, как нам казалось, должна была освободить нас, получается наше собственное «*принижение*». Мораль очевидна: если не хочешь «*принижаться*», не протестуй, подчинись власти, от бога установленной, «смирись, гордый человек!».

Этот вывод, повидимому, непосредственно применим только к террористам, но если основательны его посылки, то *всякая революционная борьба* в России должна быть признана «принижающей», потому что всем революционерам без различия приходится «*бороться*» со шпионами и примириться с мыслью о возможности погибнуть «не только нынче или завтра, но каждую секунду». Однако прав ли наш автор? К счастью, нет, далеко не прав, не только неправ, но говорит нечто совершенно противоположное истине, и достаточно небольшого внимания читателя, чтобы тихомировская софистика разлетелась, как дым.

Начнем с небольшой, но необходимой поправочки. Революционеры *борются* не со шпионами, а с русским правительством, *которое преследует их с помощью* «очей царевых», *сыщиков и провокаторов*. Подобный прием борьбы против революционеров действует самым «принижающим» образом именно на правительство. Об этом умалчивает г. Тихомиров, но это ясно само собою*. Что же касается революционеров, то как могут отражаться на них шпионские преследования? Прежде всего, в каждом из них эти преследования должны поддерживать сознание того, «что не только нынче или завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть» за свои убеждения. Не всякий в состоянии перенести постоянное присутствие подобной мысли. В истории тайных обществ любой страны можно найти примеры слабости, робости, «принижения» и даже полного падения. Но, к несчастью деспотизма, не все революционеры таковы. На людей более сильных постоянные преследования оказывают совсем противоположное влияние: они развивают в них не *боязнь* преследований,

* Стоит только припомнить похороны Судейкина, чтобы видеть, в какую унизительную близость к шпионам ставит наших царей их способ борьбы против революционеров. Во время знаменитого гатчинского «сиденья»[1] Александра III мы прочли, не помним уже в какой газете, что августейшая семья устроила на Рождество елку... для чинов дворцовой полиции. Государыня всемилостивейше изволила собственноручно раздавать этим чинам подарки. После такой любезности по отношению к *явной* полиции никто не удивился бы, если бы на Святой неделе появилось в газетах известие о том, что Их Величества братски христосовались с представителями *тайной* полиции, или попросту со шпионами, своими «ближайшими единомышленниками».

а полную и постоянную *готовность погибнуть* в борьбе за правое дело. И эта готовность поддерживает в них такое настроение, о каком мирные филистеры, никогда не возбуждавшие подозрения ни в одном шпионе, не имеют даже приблизительного понятия. Все личное, все эгоистическое отходит на задний план или, вернее, совершенно забывается,— остается лишь общий политический интерес, «одной лишь думы власть, одна, но пламенная страсть». Человек возвышается до героизма. И таких людей было немало в нашем революционном движении. Посмотрите, что пишет Кеннан, познакомившийся с нашими ссыльными в Сибири. «То, что я увидал и узнал в Сибири, затронуло затаенные струны моего сердца, открыло мне целый мир новых ощущений, во многих отношениях очистило и возвысило мои нравственные понятия,— говорит он в одном из своих писем, цитируемых г-жей Dawes* в августовской книжке американского журнала «The Century»** за 1888 год. — Я познакомился там с характерами воистину героическими, столь же высокого типа, как самые высокие, известные нам из истории человечества. Я видел там людей мужественных и сильных, с бесконечною готовностью к жертве и гибели за свои убеждения... Я отправился в Сибирь с сильными предубеждениями против политических изгнанников; уезжая, я расставался с ними, сжимая их в своих объятиях, с глазами, полными слез» [1]. Что скажет об этих людях г. Тихомиров? «Принижающая» борьба со шпионами, очевидно, не имела на этих людей никакого принижающего влияния. Ах, г. Греч, г. Греч, слона-то вы и не заметили!

Что говорить! Гораздо лучше было бы, если бы революционерам не приходилось подвергаться преследованиям шпионов. Но ведь это уже зависит от правительства. Тихомиров сделал бы нам большую услугу, если бы он внушил нашим правящим сферам, что не всякие средства хороши в борьбе против революционеров и что «царевы очи» выглядят очень непривлекательно.

Касательно обманов, которыми будто бы «с утра до ночи» приходится заниматься революционерам, мы можем поставить г. Тихомирову такое соображение. Мы не знаем, много ли народу он обманул, когда считался революционером. Очень возможно, что много. Его собственные признания показывают, что во время издания «Вестника Народной воли» его литературная деятельность была *обманом* читателей; он тогда уже не верил в дело, которое защищал. Но из этого вовсе не следует, что *все* революционеры по самой силе вещей должны быть обманщиками. Печальный пример г. Тихомирова для них не указ. Революционная деятельность требует только *сохранения*

* [Дауэс]
** [«Век»]

тайны, а от сохранения тайны до *обманов* еще очень далеко. Тайны могут быть у самого правдивого человека, не сказавшего во всю свою жизнь ни одного лживого слова, и такой человек имеет полнейшее нравственное право посвящать в них *только* своих «единомышленников». Неужели г. Греч не понимает этого?

Но удивительнейшая вещь, читатель: русский абсолютизм так чудовищен, что даже сам обратившийся на путь истины г. Тихомиров не выдерживает своей роли верноподданного писателя. После всяких натяжек и софизмов, измышленных в защиту царской власти, он совершенно неожиданно начинает иронизировать, впадая в тон Щедрина. «Источник власти законодательной и исполнительной — по русским законам — есть Государь страны,— пишет он.— В странах республиканских этим источником являются избиратели. Та и другая форма имеет свои преимущества, но в обоих случаях политическое действие, из какого бы источника не (ни) исходило, проявляется не иначе, как посредством известных учреждений (иногда, например, таких «учреждений», как баррикады, г. Тихомиров). Эти учреждения в России представляют не менее способов к деятельности, чем в другой стране. У нас есть Государственный Совет, Сенат, министерства, с разными добавочными органами, вроде Департамента торговли и мануфактур и целого ряда постоянно существующих комиссий» (стр. 31). За эту едкую насмешку можно простить нашему автору много прегрешений против логики и здравого смысла, хотя, конечно, не против политической порядочности.

IV

Изо всего написанного нами читатель, может быть, сделает то заключение, что мы не признаем никаких заслуг за нашим деспотизмом. Но это было бы не совсем верно. И за русским деспотизмом есть несомненные исторические заслуги, и главнейшая из них та, что он занес в Россию семя своей собственной гибели. Правда, он был вынужден к этому соседством с Западной Европой, но он все-таки сделал это и заслуживает самой искренней признательности с нашей стороны.

Старая московская Русь отличалась совершенно азиатским характером. Он бросается в глаза как в экономическом быте страны, так и во всех нравах и во всей системе государственного управления. Москва была своего рода Китаем, но этот Китай находился не в Азии, а в Европе. Отсюда — то существенное различие, что, между тем как настоящий Китай всеми силами отбивался от Европы, наш московский Китай еще со времен Ивана Грозного с оружием в руках стремился прорубить себе в нее хоть маленькое окошечко. Петру удалось решить эту великую задачу. Он совершил огромный переворот, спасший

Россию от окостенения. Но царь Петр мог сделать лишь то, что было доступно царской власти. Он завел постоянное, по-европейски вооруженное войско и европеизировал систему нашего государственного управления. Словом, к азиатскому туловищу Московской Руси «царь-плотник» приделал европейские руки. «На социальной основе, восходившей чуть ли не к одиннадцатому столетию, явилась дипломатия, постоянная армия, бюрократическая иерархия, промышленность, удовлетворявшая вкусам роскоши, школы, академии» и проч., прекрасно говорит Рамбо об этом периоде нашей истории. Сила новых, европейских рук, оказывая России большие услуги в ее международных сношениях, невыгодно отражалась на многих сторонах ее внутреннего быта. Вздернув Россию, по выражению Пушкина, «на дыбы», великий царь раздавил народ под бременем налогов и довел деспотизм до неслыханной степени могущества. Все учреждения, хоть отчасти сдерживавшие царскую власть, были уничтожены, все предания и обычаи, хоть немного охранявшие его достоинство, были забыты, и тотчас по смерти Петра начинаются те «лейб-кампанские» шалости, благодаря которым история русского императорства долгое время была, по выражению одного итальянского писателя, трагедией nel un lupanar *. Петровская «реформа» нравилась нашим царям и царицам больше всего потому, что она страшно усилила самодержавную власть. Что же касается до начатой Петром «культурной работы», то они отбояривались от нее до последней возможности, и нужны были потрясающие события для того, чтобы русские монархи вспоминали о русской «культуре». Так, несчастный исход крымской войны заставил, как мы уже сказали, вспомнить о ней Александра II. Крымский погром показал, какое огромное расстояние отделяет нас от Западной Европы. Между тем как мы почивали на лаврах, пожатых во время наполеоновских войн, и возлагали все свои надежды на азиатское терпение нашего солдата да на молодецкие свойства русского штыка, передовые народы Европы сумели воспользоваться всеми успехами новейшей техники. Волей-неволей приходилось пошевеливаться и нам. Государству нужны были новые средства, новые источники доходов. Но для того, чтобы найти их, необходимо было уничтожить крепостное право, сильно стеснявшее тогда наше промышленное развитие. Александр II сделал это, и после 19 февраля 1861 г. можно было сказать, что наш абсолютизм совершил в пределах земных все земное.

С начала шестидесятых годов в России стали назревать новые общественные потребности, которых самодержавие не может удовлетворить, не переставши быть самодержавием.

---

* [в доме терпимости.]

Дело в том, что европейские руки мало-помалу оказали огромное влияние на туловище нашего общественного организма. Из азиатского оно само стало постепенно превращаться в европейское. Для поддержания учреждений, заведенных Петром в России, нужны были, во-первых, деньги, во-вторых, деньги и, в-третьих, деньги. Выбивая их из народа, правительство тем самым содействовало развитию у нас товарного производства. Затем для поддержания тех же учреждений нужна была хоть какая-нибудь фабрично-заводская промышленность. Петр положил начало этой промышленности в России. Сначала — и совершенно сообразно своему происхождению — эта промышленность находилась в совершенно подчиненных, служебных отношениях к государству. Она была закрепощена на службе у него, подобно всем прочим общественным силам в России. Она сама держалась крепостным трудом крестьян, приписанных к фабрикам и заводам. Но тем не менее она все таки делала свое дело, причем ей сильно помогали все те же международные отношения. Успехи русского экономического развития в период времени, протекший от Петра до Александра II, лучше всего видны из того обстоятельства, что тогда как реформы Петра *требовали усиления крепостной зависимости крестьян*, реформы Александра II *немыслимы были без ее уничтожения*. В 28 лет, отделяющие нас от 19 февраля 1861 года, русская промышленность так быстро двигалась вперед, что отношения ее к государству изменились самым существенным образом. Когда-то совершенно *подчиненная ему*, она стремится теперь *подчинить его себе*, поставить его в служебные к себе отношения. Нижегородское ярмарочное купечество в одной из челобитных, почти ежегодно подаваемых им правительству, наивно называет министерство финансов органом торгово-промышленного сословия. Предприниматели, прежде не умевшие шагу ступить без указаний правительства, требуют теперь, чтобы правительство следовало *их* указаниям. Те же нижегородские купцы выражают скромное желание, чтобы меры, могущие повлиять на состояние нашей промышленности, принимались не иначе, как с одобрения представителей от их «сословия». В деле русского экономического развития песенка абсолютизма оказывается, таким образом, уже спетой. Его опека не только уже *не* нужна, но прямо *вредна* нашей промышленности. И недалеко то время, когда наше «торгово-промышленное сословие», испытав тщетность кротких увещаний, вынуждено будет более строгим голосом напомнить царизму о том, что tempora mutantur et nos mutamur in illis *.

* [времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.]

У нас обыкновенно думают, что раз правительство вводит покровительственный таможенный тариф и не скупится на субсидии той или иной акционерной компании, то, значит, наша буржуазия не имеет никаких

Г-н Тихомиров, когда-то превозносивший «настоящего» крестьянина как грозную революционную силу, указывает теперь на его реакционные свойства, как на нечто само собою подразумевающееся. Именно «мужичка» имеет он в виду, когда говорит, что десятки и десятки миллионов населения не хотят у нас слышать ни о чем, кроме царизма. Подобно прокурору в шуточном стихотворении «Речь Железовского»[1], он готов умильным голосом воскликнуть теперь:

Христу благодарение,
В мужичке для нас спасение.

И действительно, мужичок спас бы г. Тихомирова и его нынешних «единомышленников», если бы г. Тихомиров и его нынешние единомышленники могли спасти мужичка, завещанного нам добрым старым временем. Но «его не спасет никакая уж сила».

причин быть недовольной им. Это взгляд совершенно ошибочный. Одних добрых намерений в этом случае, как и во всех других, еще недостаточно: нужно *уменье*, а его-то и нет у нашего правительства. И. С. Аксаков, которого в этом случае вдохновляло наше московское купечество, утверждал, например, в своей «Руси» (от 30 октября 1882 г.), что все усилия наших купцов и промышленников найти новые внешние рынки для сбыта своих товаров «не только встречают слабую поддержку со стороны русской администрации, но, можно сказать, беспрестанно парализуются отсутствием ясно сознанной общей торговой политики в нашем правительстве». Отсутствие это он объяснял тем совершенно верным соображением, что «таков уж наш бюрократический строй, в котором все части управления распределены по ведомствам, в ущерб целому, и каждое ведомство чуть не государство в государстве». В доказательство он приводит такие доводы: «Министерство финансов, например, вырабатывает и устанавливает целую систему поощрений и поддержек русской промышленности и торговли, между прочим, и тариф для ввозимых в Россию иностранных товаров, а железнодорожные управления, которыми ведает другое министерство, министерство путей сообщения, устанавливают такой провозный железнодорожный тариф, который приводит тарифные комбинации министерства финансов к совершенному нулю и покровительствует иностранной торговле в ущерб русской. А третье министерство, внутренних дел, ведающее не искусственные, а натуральные дороги, запускает и доводит до непроездности важный старинный торговый тракт, а министерство иностранных дел вдруг заключит какой-либо трактат без внимательного соображения с русскими торговыми интересами (хоть бы допустив, например, в Берлинском трактате обязательство для Болгарии руководиться турецким тарифом, самым неблагоприятным для России и самым благоприятным для Англии с Австрией, и т. д. и т. д.)». В следующем номере «Руси» Аксаков утверждал, что всякое ограждение интересов русской промышленности нашим предпринимателям приходилось брать «просто с боя, т. е. после долгих и упорных настоятельств». Там же, по поводу вопроса о кавказском транзите, редактор славянофильского органа, которого, повторяем, вдохновляли в этом случае московские фабриканты, говорит, что «наш промышленный мир», недовольный направлением, приданным этому вопросу в Петербурге, «пристыжен, смущен, скорбит духом и уже утратил всякую надежду на энергическую поддержку русских национальных (sic!) интересов в петербургской официальной сфере». Кажется, ясно!

Развитие товарного и капиталистического производства радикально изменило быт трудящегося населения России. Наш московский и петербургский деспотизм опирался на неразвитость сельского населения, которое жило при экономических условиях, восходивших, по вышеприведенному выражению Рамбо, чуть ли не к XI веку. Капитализм привел к полному расстройству наших старых патриархальных деревенских отношений. Г. И. Успенский, с фотографической верностью изобразивший «настоящего» мужика в своих очерках, признается, что этому мужику уже недолго жить на свете, что старые деревенские порядки разлагаются, что в деревне образуются два новые «сословия»: буржуазия и пролетариат, который по мере своего возникновения покидает деревню и идет в города, в промышленные центры, на фабрики и заводы.

Что развитие пролетариата революционизирует общественные отношения — это известно всякому, даже не обучавшемуся в семинарии. Все знают, какую роль играл рабочий класс в новейшей истории Европы. В современном европейском обществе, где господствующие классы представляют отвратительнейшее зрелище лицемерия, лжи, разврата, обмана, биржевых спекуляций и политической подкупности, он является единственной опорой и единственной надеждой всех искренних и мыслящих сторонников прогресса.

В нашем отечестве образование этого класса имеет еще большее значение. С его появлением изменяется самый характер русской культуры, исчезает наш старый, *азиатский* экономический быт, уступая место новому, *европейскому*. Рабочему классу суждено завершить у нас великое дело Петра: довести до конца процесс *европеизации России*. Но рабочий класс придаст совершенно новый характер этому делу, от которого зависит самое существование России как цивилизованной страны. Начатое когда-то *сверху*, железной волей самого *деспотичного* из русских *деспотов*, оно будет закончено *снизу*, путем *освободительного* движения самого *революционного* изо всех классов, какие только знала история. Герцен замечает в своем «Дневнике», что в России, собственно говоря, нет народа, а есть только коленопреклоненная толпа и палач. В лице рабочего класса в России создается теперь *народ* в европейском смысле этого слова. В его лице трудящееся население нашего отечества впервые встанет во весь рост и позовет к ответу своих палачей. Тогда пробьет час русского самодержавия.

Таким образом, неотвратимый ход исторического развития разрешает все те противоречия, которые характеризовали у нас положение не только революционной, но и вообще всякой «интеллигенции». Русская «интеллигенция» сама есть плод, хотя правда, совершенно нечаянный, петровского переворота, т. е.

начавшегося с тех пор обучения молодежи в «школах и академиях». Устроенные более или менее по-европейски, школы эти прививали обучавшемуся в них юношеству многие европейские понятия, которым на каждом шагу противоречили русские порядки и прежде всего практика самодержавия. Понятно поэтому, что часть русских образованных людей, не удовлетворяясь величественной перспективой табели о рангах, становится в оппозиционное отношение к правительству. Так образовался у нас слой, обыкновенно называемый интеллигенцией. Пока этот слой существовал на социальной основе, восходившей чуть ли не к одиннадцатому столетию, до тех пор он мог «бунтовать» и увлекаться какими ему угодно утопиями, но не мог ровно ничего изменить в окружающей его действительности. В общем ходе русской жизни этот слой был слоем «лишних людей», он весь представлял собою какую-то *«умную ненужность»*, как выразился Герцен о некоторых из принадлежавших к нему разновидностях. С разрушением старой экономической основы русских общественных отношений, с появлением у нас рабочего класса дело изменяется. Идя в рабочую среду, неся науку к работникам, пробуждая классовое сознание пролетариев, наши революционеры из «интеллигенции» могут стать могучим фактором общественного развития,— они, которые нередко в полном отчаянии опускали руки, напрасно меняя программу за программой, как безнадежный больной напрасно бросается от одного медицинского снадобья к другому. Именно в среде пролетариата русские революционеры найдут себе ту *«народную»* поддержку, которой у них не было до последнего времени. *Сила* рабочего класса спасет русскую «революцию» от *обессиления*, о котором теперь с довольной улыбкой на устах говорят г. Тихомиров и его «единомышленники». «Единоличные бунты», действительно, не способные разрушить какую бы то ни было политическую систему (а всякое движение *одной* «интеллигенции» есть не более, как известное число «единоличных бунтов»), эти единоличные бунты сольются с массовым *«бунтом» целого класса*, как отдельные ручейки сливаются с широкою рекою.

Теперь есть еще время, теперь *пока еще не поздно*. Поймет ли наша «интеллигенция» свое положение, сумеет ли она войти в ту благодарную роль, которую отводит для нее история?

Поймет или нет, но события ждать ее не станут. Отсутствие союзников из «интеллигенции» не помешает нашему рабочему классу сознать свои интересы, понять свои задачи, выдвинуть вожаков из своей собственной среды, создать свою собственную, *рабочую интеллигенцию*. *Такая интеллигенция* не изменит его делу, не оставит его на произвол судьбы.

Нужно, однако, еще раз заметить, что в своей борьбе с самодержавием рабочий класс будет, по всей вероятности, не один,

хотя, разумеется, только он один способен придать ей решительный оборот. Само положение дел необходимо будет толкать на *посильную для нее* борьбу всю нашу буржуазию, т. е. наше «общество», наш торгово-промышленный мир, наших помещиков, этих дворян в мещанстве, и, наконец, даже деревенское «третье сословие».

Колупаевы и Разуваевы [1] до такой степени нелепы и консервативны, что на первый взгляд кажется, будто они призваны служить в будущем незыблемой основой «порядка». Со временем они действительно войдут в эту роль, но они по необходимости должны предварительно пережить свой «период бурных стремлений».

Наша финансовая система основана на закрепощении крестьянина государству, которое берет от него «все, что угодно представить», руководствуясь нехитрым соображением: «ён достанет!» [2]. Всевыносящий «ён» долго оправдывал эту лестную для него уверенность, но теперь и его удивительная способность к «доставанию» приходит в упадок. Как мы уже сказали, «ён» переживает процесс дифференциации, превращаясь в пролетария, с одной стороны, и в кулака — с другой. Так как из легкомысленных пролетариев не много может выбить самое усердное и бдительное начальство, то тяжесть лежащих на общине податей все более и более падает на зажиточных общинников. Правда, те стараются вознаградить себя присвоением брошенных пролетариями участков; однако нетрудно понять, что они по отношению к податям и налогам ни в каком случае не могут являть из себя таких бессребренников, каким был добрый старый «ён». В своем простодушии «ён» мечтал лишь о том, чтобы вести самостоятельное хозяйство, и когда ему удавалось это — а при старых порядках это удавалось ему в огромнейшем большинстве случаев,— его можно было закрепостить государству, отбирая все известные и неизвестные экономистам категории дохода, кроме самой жалкой заработной платы. Кулак не может удовольствоваться такой платой. Он должен отдать ее своему батраку, а для себя ему нужно обеспечить *приличную прибыль*. Но это немыслимо без коренных изменений в русском финансовом хозяйстве, изменений, которые будут под силу лишь представителям всей страны. И не нужно быть пророком, чтобы наперед знать, что по этому поводу произойдут сильные неудовольствия между кулаком и его «батюшкой-царем».

Так русский абсолютизм подготовлял и подготовляет свою собственную гибель. Недалеко то время, когда он сделается совершенно невозможным в России, и уж, конечно, не много найдется у нас образованных людей, которые пожалеют об этом. Можно и даже полезно спорить относительно того, какими путями добиваться нам политической свободы. Но между честными

и развитыми людьми не может быть вопроса о том, нужна ли нам эта свобода? «Мы достаточно знаем, что такое наш старый абсолютизм. Поэтому прочь всякие компромиссы! Прочь всякая нерешительность! За горло его, и колено ему на грудь!»*.

V

В заключение еще два слова по поводу нашего Греча. Читатель видит теперь, в чем должен был состоять и в чем будет состоять прогресс наших революционных теорий. Как мы заметили выше, наши социалисты-народники всевозможных фракций и направлений до партии «Народной воли» включительно *не опирались* на эволюцию, а *отпирались* от нее всевозможными софизмами. Их учения представляли собою идеализацию того экономического строя, который — будь он в действительности так прочен и непоколебим, как им казалось,— навсегда осудил бы их на полное бессилие. Критика народничества была поэтому первым и необходимым шагом вперед по пути дальнейшего развития нашего революционного движения. Если г. Тихомирова серьезно огорчало неуменье русских революционеров согласить эволюцию с революцией, то ему стоило лишь взяться за эту критику. Он поступил как раз наоборот. Он не критиковал народничество, он только довел до крайности его основные положения. Ошибки, лежавшие в основе народнического миросозерцания, достигли в его голове таких колоссальных размеров, что он разве в шутку может называть себя «работником прогресса» (мирного или не мирного — это в данном случае все равно). Короче, если народники исходили из некоторых ошибочных положений, то г. Тихомиров, доведя до уродства эти ошибочные положения, счастливо исходит теперь прямо из абсурда. Но недалеко уедет он на этом коне!

Такова печальная история «революционизма» нашего автора. Этот «революционизм» долго пребывал в полном теоретическом одиночестве, но пришло время, когда он увидел, что ему «не добро быть едину», и пожелал вступить в законный брак с той или другой теорией эволюции. Несколько лет «отыскивал» он себе подходящую партию и, наконец, с любовью остановил свои взоры на теории «единения партии со страной». Сия весьма скромная с виду девица, выдававшая себя за самую настоящую, так сказать, столбовую теорию эволюции, оказалась, во-первых, злою женой, вогнавшей в гроб «революционизм» г. Тихомирова, а во-вторых,— самозванкой, не имеющей ничего общего ни с каким учением о социальном развитии.

И г. Тихомиров воображает, что в этой истории очень много

* Слова Лассаля из его речи «Was nun?». [«Что же теперь?»] [1]

поучительного! Она поучительна, но только в самом нелестном для него смысле.

Он воображает, что, прочитавши брошюру «Почему я перестал быть революционером», всякий читатель скажет себе: это ясно само собою, автор был революционером лишь по вине других, лишь благодаря тому, что все наши образованные люди отличаются крайне нелепыми привычками мысли, а перестал быть революционером г. Тихомиров благодаря выдающимся особенностям своего «созидательного» ума и замечательной глубине своего патриотизма. Но — увы! — такого заключения не сделал даже «Русский вестник».

В жалобах г. Тихомирова на неприятности, пережитые им от революционеров по поводу его «эволюции», сквозит гордое сознание своего превосходства. Он умнее других; другие не поняли, не оценили и ужасно обижали его в то время, когда должны были бы аплодировать ему.

Но г. Тихомиров жестоко ошибается. Своей «эволюцией» он обязан лишь своей *неразвитости*. Горе от ума не его горе. Его горе есть *горе от невежества*.

И этот-то человек, имеющий о социализме ровно столько же понятия, сколько его имеет любой писец петербургского полицейского участка, долгое время считался пророком и истолкователем какого-то особого «русского» социализма, который он охотно противопоставлял западноевропейскому! Революционная молодежь внимала его рассуждениям, считая его продолжателем дела Желябова и Перовской. Теперь она видит, каков был этот мнимый продолжатель. Измена г. Тихомирова заставила наших революционеров критически отнестись к его *особе*. Но этого мало. Они обязаны теперь критически проверить все, *что писал* г. Тихомиров во все продолжение восьмидесятых годов, когда он, сам не веря тому, что говорил, считал, однако, нужным выступать в литературе в качестве революционера *. Много вздору наговорил, много вопросов запутал в течение этого времени г. Тихомиров. И пока мы не разберемся в этой путанице, до тех пор мы, даже разорвав с ним всякие сношения и оценивши его по заслугам, все-таки не избавимся от *теоретической тихомировщины*, *от которой нам*, *однако*, *необходимо избавиться*.

Теперь прощайте, г. Тихомиров. Да пошлет вам здоровья наш православный бог, а наш самодержавный бог да наградит вас генеральским чином!

---

* См. стр. 8 его брошюры. «Верой и правдой, по совести и убеждению» г. Тихомиров «прослужил» революционному делу лишь «до почти конца 1880 года». С этих отдаленных времен у него оставалась одна лишь «формальная» верность знамени. Но это не помешало ему написать множество рассуждений на революционные темы, рассуждений, которые, по его словам, составляют «более 600 страниц мелкого шрифта».

РЕЧЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РАБОЧЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ В ПАРИЖЕ

(14—21 июля 1889 г.)

[ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ]

Вам, может быть, странно видеть на этом рабочем конгрессе представителей России,— России, где рабочее движение до сих пор, к сожалению, слишком слабо. Но мы думаем, что революционная Россия во всяком случае не только не должна держаться в стороне от новейшего социалистического движения Европы, но что, наоборот, теперешнее сближение ее с ним принесет большую пользу делу всемирного пролетариата. Вам всем знакома роль русского абсолютизма в истории Западной Европы. Русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью защищать и поддерживать европейскую реакцию от Пруссии до Италии и Испании. Было бы напрасной тратой слов говорить здесь о той роли, которую, например, Николай играл в 1848 и 1849 гг.; ясно как день, что падение русского абсолютизма равносильно торжеству международного революционного движения во всей Европе. Спрашивается только, при каких условиях революционное движение в России может одержать победу над русским абсолютизмом?

Некоторые писатели, фантазия которых значительно превышает их социально-экономические сведения, рисуют Россию страной вроде Китая, которая по своей экономической структуре ничего не имеет общего с Западом. Это совершенно ложно. Старые хозяйственные основы России находятся в процессе полного разложения. Наша сельская община, столь любезная некогда даже некоторым социалистам, а на деле составлявшая главную опору нашего абсолютизма, все более и более делается в руках сельской буржуазии орудием для эксплуатации большинства земледельческого населения. Беднейшая часть крестьянства вынуждена переселяться в города и промышленные центры;

а одновременно с этим крупная фабричная промышленность растет, поглощая процветавшую некогда кустарную промышленность в деревнях. Побуждаемое нуждой в деньгах, наше самодержавное правительство всеми силами содействует этому процессу развития капитализма в России. Нам, социалистам, эта сторона его деятельности может доставить только удовольствие, потому что этим путем оно само копает себе яму. Пролетариат, образующийся вследствие разложения сельской общины, нанесет смертельный удар самодержавию. Если оно, несмотря на героические усилия русских революционеров, до сих пор не побеждено в России, то это объясняется изолированностью революционеров от народной массы. Силы и самоотвержение наших революционных *идеологов* могут быть достаточны для борьбы против царей как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом как политической системой. Задача нашей революционной интеллигенции сводится поэтому, по мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!

[ВТОРОЙ ВАРИАНТ]

Граждане!

Так как записалось большое число ораторов и конгресс может им поэтому уделить мало времени для их докладов об экономическом и политическом положении представляемых ими стран, то я постараюсь по возможности ограничить свой отчет о рабочем движении в России.

Вам, может быть, странно видеть на этом конгрессе представителей России,— России, где рабочее движение далеко не так развито, как в других странах Западной Европы. Но мы, русские социал-демократы, думаем, что революционная Россия во всяком случае не только не должна держаться в стороне от остальной рабочей и социалистической Европы, но что, наоборот, теперешнее сближение ее с ним принесет большую пользу всемирному социалистическому движению.

Вам всем известна гнусная роль, которую русский абсолютизм играл до настоящего времени в истории Западной Европы.

Русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью поддерживать реакцию во всех странах — от Пруссии до Италии и Испании.

Было бы напрасной тратой слов говорить здесь о той роли, которую печальной памяти император Николай играл в известных событиях 1848 г.

Вот почему торжество революционного движения в России было бы торжеством европейских рабочих.

Поэтому важно выяснить, каким образом и при каких условиях возможно это торжество революционного движения в России.

Оно возможно, граждане,— и в этом мы твердо убеждены — лишь при том условии, если русские революционеры сумеют завоевать сочувствие самого народа.

Но до тех пор, пока наше движение будет оставаться движением идеологов и учащейся молодежи, оно, быть может, будет опасно лично для царей, но не будет представлять никакой опасности для царизма, как политической системы.

Чтобы ниспровергнуть и окончательно сокрушить царизм, мы должны опираться на более революционный элемент, нежели учащаяся молодежь, и этот элемент, имеющийся налицо в России,— это класс пролетариев, класс революционный по своему тяжкому экономическому положению, революционный по самой сущности своей.

Некоторые экономисты, одаренные слишком пылкой фантазией, обнаруживающие больше доброй воли, нежели солидных знаний, рисуют Россию как бы своего рода европейским Китаем, который по своей экономической структуре ничего не имеет общего с Западной Европой. *Это совершенно ложно.* Старые хозяйственные основы России находятся ныне в процессе полного разложения. Наша сельская община, о которой так много говорили даже в социалистической печати, но которая на деле составляла опору русского абсолютизма,— эта хваленая община все более и более делается орудием для капиталистической эксплуатации в руках богатых крестьян, между тем как бедные покидают деревни и уходят в большие города и промышленные центры. Одновременно с этим крупная фабричная промышленность растет, поглощая процветавшую некогда кустарную промышленность в деревнях.

Самодержавное правительство всеми силами усугубляет это положение и содействует, таким образом, процессу развития капитализма в России. Нам, социалистам и революционерам, эта сторона его деятельности может доставить только удовольствие, потому что этим путем оно само подготовляет свою гибель.

Промышленный пролетариат, сознание которого начинает пробуждаться, нанесет смертельный удар самодержавию, и тогда вы увидите на своих конгрессах его *непосредственных* представителей рядом с делегатами более передовых стран.

А пока наша задача состоит в том, чтобы вместе с вами отстаивать дело международного социализма, всеми средствами распространять учение социал-демократии среди русских рабочих и повести их на штурм твердыни самодержавия.

А в заключение повторяю — и настаиваю на этом важном пункте: революционное движение в России восторжествует только как *рабочее движение* или же никогда не восторжествует!

К ШЕСТИДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ ГЕГЕЛЯ

Шестьдесят лет тому назад, 14 ноября 1831 года, скончался человек, которому бесспорно и всегда будет принадлежать одно из самых первых мест в истории мысли. Между теми науками, которые у французов называются «sciences morales et politiques»*, нет ни одной, которая не испытала на себе могучего и в высшей степени плодотворного влияния гегелевского гения. Диалектика, логика, история, право, эстетика, история философии и история религии приняли новый вид благодаря толчку, полученному ими от Гегеля.

Гегелевская философия воспитала и закалила мысль таких людей, как Штраусс, Бруно Бауэр, Фейербах, Фишер, Ганс, Лассаль и, наконец, Энгельс и Маркс. Еще при жизни своей Гегель пользовался огромной, всемирной славой; после его смерти, в промежуток времени от тридцатых до сороковых годов, почти всеобщее увлечение его философией приняло еще более острый характер; но затем началась быстрая реакция: Гегеля стали третировать, по выражению Маркса, так же, как честный Мендельсон третировал во время Лессинга Спинозу, т. е. как «дохлую собаку»[1]. Интерес к его философии совсем исчез в «образованных» слоях; в ученом же мире он ослабел настолько, что до сих пор никто из специалистов по истории философии даже не подумал о том, чтобы определить и указать «остающуюся стоимость» Гегелевой философии в тех многоразличных отраслях знания, которые затрагивались ею. Чем объясняется такое отношение к Гегелю, мы отчасти увидим ниже; теперь же заметим только, что в недалеком будущем можно ожидать нового оживления интереса к его философии и особенно к его

* [«науками нравственными и политическими»]

философии истории. Огромные успехи рабочего движения, вынуждающие так называемые образованные классы интересоваться той теорией, под знаменем которой оно совершается, заставят эти классы заинтересоваться также историческим происхождением этой теории.

А раз они заинтересуются этим, они скоро придут к Гегелю, который превратится, таким образом, в их глазах из «философа реставрации» в родоначальника самых передовых теперь идей.

И вот почему можно наперед предсказать, что хотя интерес к Гегелю и оживится в образованных классах, но что они уже никогда не будут относиться к нему с той глубокой симпатией, какую они питали к нему лет шестьдесят тому назад в странах немецкой культуры. Напротив, буржуазные ученые с жаром примутся за «критический пересмотр» философии Гегеля, и много докторских дипломов приобретено будет в борьбе с «крайностями» и с «логическим произволом» покойного профессора.

Конечно, от подобного «критического пересмотра» наука выиграет только то, что снова и снова обнаружат свою теоретическую несостоятельность ученые защитники капиталистического порядка, подобно тому как уже обнаружили они ее в области политической. Но недаром говорят, что всегда полезно «рыться вокруг корней истины». Возрождение интереса к гегелевской философии послужит для беспристрастных людей поводом к самостоятельному изучению его сочинений, а это будет хотя и нелегкой, но чрезвычайно плодотворной умственной работой. У Гегеля очень многому научатся те, которые действительно стремятся к знанию.

В предлагаемой статье мы хотим сделать попытку оценить философско-исторические взгляды великого немецкого мыслителя. В общих чертах это уже сделано рукою мастера в превосходных статьях Энгельса «Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie»*, напечатанных в «Neue Zeit»[1] и потом появившихся в виде отдельной брошюры. Но мы думаем, что названные взгляды Гегеля вполне заслуживают более подробного рассмотрения.

Значение Гегеля в общественной науке определяется, прежде всего, тем, что он смотрел на все ее явления с точки зрения процесса des Werdens (становления), т. е. с точки зрения их возникновения и уничтожения. Многим может показаться, что это очень небольшая заслуга, так как иначе, кажется, и нельзя смотреть на общественные явления. Но, во-первых, и до сих пор еще эта точка зрения, как мы увидим ниже, далеко не понятна многим из тех, которые считают себя «*эволюционистами*»; во-вторых, во времена Гегеля от нее еще дальше были люди, зани-

---

* [«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»]

мавшиеся общественными науками. Достаточно припомнить тогдашних социалистов и экономистов. Социалисты смотрели тогда на буржуазный порядок, как на очень вредный, правда, но тем не менее совершенно *случайный* продукт человеческих *заблуждений*. Экономисты восхищались им и не находили достаточно слов для его восхваления, но и им представляется он не более как плодом *случайного* открытия *истины*. Дальше этого *абстрактного противопоставления истины заблуждению* не шли ни те, ни другие, хотя в учениях социалистов были уже *зачатки* более правильного взгляда на вещи.

Для Гегеля подобное абстрактное противопоставление истины заблуждению было одною из тех нелепостей, в которые так часто попадает «рассудочное» мышление. Ж.-Б. Сэй считал бесполезным изучение истории политической экономии, потому что до Адама Смита все экономисты проповедовали ошибочные теории. Для Гегеля философия была лишь умственным выражением своего времени.

Каждая в данное время «превзойденная» философия была *истинной для своего времени*, и уже по одному этому Гегель не мог отбрасывать прежние философские системы, как старый и никуда не годный хлам. Напротив, по его словам, «последняя по времени философия есть результат всех предшествовавших философий и потому должна заключать в себе принципы их всех» («Enzyklopädie»*, § 13)[1]. В основании такого взгляда на историю философии лежало, конечно, чисто идеалистическое соображение о том, что «руководитель этой духовной работы (т.е. работы философской мысли.—*Г. П.*) есть единый живой дух, мыслящая природа которого заключается в том, чтобы приходить к самосознанию и, раз достигнув его, немедленно возвышаться над достигнутою ступенью и идти далее» (Ibid.).**

Но самый последовательный материалист не откажется признать, что каждая данная философская система есть лишь умственное выражение своего времени***. И если, возвращаясь к истории политической экономии, мы спросим себя, с какой точки зрения мы должны смотреть на нее в настоящее время, то немедленно увидим, насколько мы ближе к Гегелю, чем к Ж.-Б. Сэю. Вот, например, с точки зрения Сэя, т. е. с точки зрения абстрактной противоположности между истиной и заблуждением, меркантильная система, или даже система физиократов, должна была представляться, и действительно представлялась, не более как случайно попавшею в человеческие

* [«Энциклопедия»]
** [Там же.]
*** Конечно, она может быть, и всегда бывает, отражением только *известной стороны* своего времени. Но это не изменяет дела по существу.

головы нелепостью. Но мы знаем теперь, до какой степени каждая из названных систем являлась необходимым продуктом своего времени.

«Если монетарная и меркантильная системы рассматривают всемирную торговлю и непосредственно в нее впадающие ветви национального труда как единственные истинные источники богатства или денег, то надо принять в соображение, что в ту эпоху величайшая часть национального производства двигалась еще в феодальных формах и служила своим производителям непосредственным источником существования. Продукты по большей части не превращались в товары, а потому не превращались и в деньги, не вступали в материальный круговорот общественной жизни, не представлялись, поэтому, воплощением абстрактного труда и на самом деле вовсе не составляли буржуазного богатства... Сообразно подготовительной стадии буржуазного производства, эти непризнанные пророки крепко держались за осязаемую и блестящую форму меновой стоимости, за ее форму всеобщего товара в противоположность всем особенным товарам» (Karl Marx, «Zur Kritik der politischen Oekonomie», Berlin 1859, S. 138—139)*[1]. Спор физиократов с их противниками Маркс объясняет как спор о том, какой род труда создает прибавочную стоимость (Ibidem, S. 35)**[2]. Не правда ли, это был вопрос весьма «своевременный» для буржуазии, которая готовилась тогда стать всем?

Но не одна философия представляется Гегелю естественным и необходимым продуктом своего времени; так же смотрит он и на религию и на право. И притом нужно заметить, что и философия, и право, и религия, и искусство, и даже техника («technische Geschicklichkeit»)*** находятся, по Гегелю, в теснейшей взаимной связи: «только при данной религии может существовать данная форма государственного устройства, и только при данном государственном устройстве может существовать данная философия и данное искусство»****[3]. Это опять может показаться чем-то тривиальным: кто же не знает, как тесно связаны одна с другой все стороны и все проявления народной жизни? Теперь это известно каждому школьнику. Но Гегель не так понимал эту взаимную связь различных сторон и проявлений народной жизни, как понимают ее до сих пор многие «образованные» люди и школьники. Связь эта представляется им в виде простого

* [Карл Маркс, «К критике политической экономии», Берлин 1859, стр. 138—139.]

** [Там же, стр. 35]

*** [«техническое мастерство»]

**** «Philosophie der Geschichte», dritte Auflage, Berlin 1848, Einleitung, S. 66. [«Философия истории», третье издание, Берлин 1848, Введение, стр. 66.]

взаимодействия названных сторон и проявлений, причем, во-первых, самое взаимодействие это остается совершенно невыясненным, а во-вторых,— и это главное — совершенно забывается о том, что должен быть один общий источник, из которого берут начало все эти находящиеся во взаимодействии стороны и проявления. Таким образом, эта система взаимодействия оказывается ни на чем не основанной, висящей в воздухе: право влияет на религию, религия влияет на право, а каждая из них и обе они вместе влияют на философию и на искусство, которые в свою очередь, действуя друг на друга, действуют также и на право, и на религию, и т. д. Так гласит действительно общеизвестная мудрость. Положим, что мы можем удовольствоваться таким изложением дела для каждого данного времени. Но ведь у нас остается еще вопрос о том, чем обусловливалось историческое развитие религии, философии, искусства, права и т. д. вплоть до данной исторической эпохи.

В ответ на этот вопрос указывают обыкновенно все на то же *взаимодействие*, которое, таким образом, перестает, наконец, объяснять что бы то ни было; или указывают какие-нибудь случайные причины, влияющие на ту или другую сторону народной жизни и не имеющие между собою ничего общего; или, наконец, все дело сводится к субъективной логике людей; говорится, например, что философская система Фихте логически вытекла из философской системы Канта, философия Шеллинга логически вытекла из философии Фихте, а философия Гегеля — из философии Шеллинга. Так же «логически» объясняется смена различных школ в искусстве. Здесь есть, несомненно, своя доля истины. Жаль только, что она ровно ничего не объясняет. Мы знаем, что иногда переход от одной философской системы или от одной школы в искусстве к другой совершается очень быстро, в течение нескольких лет, иногда же для него требуются целые столетия. Откуда происходит это различие? Логическая филиация идей совершенно его не объясняет. Не объясняют ничего и указания общеизвестной школьной мудрости на взаимодействие и на случайные причины. Но «образованные» люди этим не смущаются. Наговорив глубокомысленных вещей по поводу взаимодействия различных сторон народной жизни, они довольствуются этим «проявлением» их собственного глубокомыслия и перестают думать как раз там, *где строгое научное мышление впервые входит всецело в свои права*. Гегель был, как небо от земли, далек от подобного глубокомыслия. «Когда довольствуются тем, что рассматривают данное содержание с точки зрения взаимодействия,— говорит он,— то это... представляет собою прием крайне бедный в смысле понимания; тогда имеют дело просто с сухим фактом и требование посредствования, сказывающееся там, где речь заходит о нахождении причинной связи, остается

Zu Hegel's sechzigstem Todestag.

Von G. Plechanow.

Vor sechzig Jahren, am 14. November 1831, verstarb ein Mann, dem unstreitig und für immerdar einer der hervorragendsten Plätze in der Geschichte des menschlichen Gedankens gesichert ist. Unter den Wissenschaften, welche die Franzosen „sciences morales et politiques" nennen, giebt es keine einzige, die nicht vom Genie Hegel's in mächtiger und höchst fruchtbarer Weise beeinflußt worden wäre. Die Dialektik, die Logik, die Geschichte, das Recht, die Aesthetik, die Geschichte der Philosophie und Religion, — alle diese Wissenschaften haben eine neue Gestalt angenommen, dank dem Anstoß, den ihnen Hegel gegeben hat. Die Hegel'sche Philosophie hat den Geist solcher Männer großgezogen und gestählt, wie David Strauß, Bruno Bauer, Feuerbach, Vischer, Gans, F. Lassalle und endlich Engels und Marx. — Schon bei Lebzeiten war Hegel ein in der ganzen zivilisirten Welt gefeierter Denker. Nach seinem Tode, im Zeitraum zwischen den dreißiger und vierziger Jahren, nahm der fast allgemeine Enthusiasmus für seine Philosophie noch viel großartigere Dimensionen an. Darauf aber trat eine jähe Reaktion ein. Man begann Hegel so zu behandeln, wie — um mit Marx zu reden — „der brave Mendelssohn zu Lessing's Zeit den Spinoza behandelt hat, nämlich als ‚todten Hund'." Das Interesse für

Страница из статьи «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» (из журнала «Neue Zeit»).

неудовлетворенным. Недостаточность приема, заключающегося в рассмотрении явления с точки зрения взаимодействия, состоит в том, что отношение взаимодействия, вместо того чтобы служить эквивалентом понятия, само еще должно быть понято, и это достигается тем, что обе взаимодействующие стороны признаются моментом чего-то третьего, высшего, а не принимаются за непосредственно данные»*. Это значит, что, говоря, например, о различных сторонах народной жизни, мы должны, не довольствуясь указанием на их взаимодействие, искать их объяснения в чем-то новом, «высшем», т. е. в том, чем обусловливается как самое существование их, так и возможность их взаимодействия.

Где же искать этого нового, «высшего»?

Гегель отвечает, что его надо искать в свойствах народного духа. И это вполне логично с его точки зрения. Для него вся история есть лишь «изложение и осуществление всеобщего духа». Движение всеобщего духа совершается *ступенями*. «...Каждая ступень, как отличная от других, имеет свой собственный, определенный принцип. Таким принципом является в истории... особый народный дух. В свойствах народного духа конкретно выражаются все стороны народного сознания и народной воли, всей его действительности; они налагают свою печать на его религию, на его политический строй, на его нравственность, на его право, на его обычаи, а также на его науку, на его искусство и на его технику. Все эти частные свойства объясняются общими свойствами народного духа, равно как и, наоборот, эти общие свойства могут быть выведены из изучаемых историей фактических частностей народного быта»**.

Нет ничего легче, как сделать здесь то блестящее открытие, что приведенный взгляд Гегеля на всемирную историю пропитан *идеализмом чистейшей воды*. Это бросается в глаза, как выразился бы Гоголь, всякому, даже не обучавшемуся в семинарии. Точно так же нет ничего легче, как ограничить «критику» гегелевской философии истории презрительным пожатием плеч по поводу ее крайнего идеализма. Так и поступают нередко люди, которые сами не способны ни к какому последовательному мышлению,— люди, которые недовольны материалистами за то, что те — материалисты, недовольны идеалистами за то, что те — идеалисты, и чрезвычайно довольны собою, потому что их собственное миросозерцание будто бы свободно от всяких крайностей, между тем как на самом деле оно есть просто-напросто совершенно непереваренный и совершенно неперева-

* «Enzyklopädie», § 156, Zusatz. [«Энциклопедия», § 156, Прибавление.] [1]

** «Philosophie der Geschichte», Einleitung, S. 79. [«Философия истории», Введение, стр. 79.] [2]

римый винегрет из идеализма и материализма. Философия Гегеля имеет, во всяком случае, то неоспоримое достоинство, что в ней нет ни атома *эклектизма*. И если ее ошибочная идеалистическая основа действительно дает себя чувствовать слишком часто; если она ставит слишком тесные пределы движению гениальной мысли великого человека, то именно это обстоятельство и должно заставить нас отнестись к философии Гегеля с величайшим вниманием; именно оно-то и делает ее в высшей степени поучительной. Идеалистическая философия Гегеля сама в себе заключает самое лучшее, самое неопровержимое доказательство несостоятельности идеализма. Но в то же время она учит нас последовательности в мышлении, и кто с любовью и со вниманием пройдет ее суровую школу, тот навсегда получит спасительное отвращение от эклектического винегрета...

Если мы знаем теперь, что всемирная история вовсе не есть «изложение и осуществление всемирного духа», то еще не значит, что мы можем удовольствоваться ходячими рассуждениями на ту тему, что политический строй всякого данного народа влияет на его нравы, а нравы его влияют на его конституцию и т. п. Мы должны согласиться с Гегелем, что и нравы и политическое устройство происходят из одного общего источника. Каков именно этот источник, на это указывает нам современное материалистическое объяснение истории, о котором мы заметим пока только то, что гг. эклектики понимают его с таким же трудом, с каким они проникают в тайны диаметрально противоположных ему идеалистических взглядов Гегеля.

Каждый раз, когда Гегель принимается за характеристику какого-нибудь великого исторического народа, он обнаруживает всесторонние знания и огромную проницательность; он дает поистине блестящие и в то же время глубоко поучительные характеристики, рассыпая мимоходом целый ряд самых ценных замечаний о различных сторонах истории данного народа. Он увлекает вас, и вы готовы забыть, что имеете дело с идеалистом, вы готовы признать, что он действительно «die Geschichte nimmt, wie sie ist»*, что Гегель строго следует своему правилу: «держаться исторической, эмпирической почвы». Но зачем нужна Гегелю эта историческая, эмпирическая почва? Затем, чтобы определить *свойства духа* данного народа. Дух данного народа есть, как мы уже знаем, не больше как ступень в развитии всеобщего духа; свойства же этого последнего выводятся вовсе не из изучения всемирной истории; понятие о нем *вносится в ее изучение* как совершенно готовое, со всех сторон законченное понятие. Отсюда происходит вот что: пока история не противоречит понятию о всеобщем духе и «законам» развития

* [«историю берет такою, какова она есть»]

этого духа, она берется «как она есть»; Гегель «держится исторической, эмпирической почвы». Но когда история не то что противоречит «законам» развития всеобщего духа, а просто выходит из колеи этого предполагаемого развития, является чем-то не предусмотренным гегелевской *логикой*, она оставляется без внимания. Такое отношение к истории, повидимому, должно было бы, по крайней мере, спасать Гегеля от противоречий с самим собою. Но на деле выходит не так. Гегель далеко не свободен от противоречий. Вот довольно яркий пример. Гегель в следующих выражениях говорит о религиозных представлениях индийцев.

«Любовь, небо,— словом, все духовное,— с одной стороны, проходит через фантазию индийца, а с другой стороны, все мыслимое им представляется ему в столь же чувственном виде, и он... погружается в это чувственное. Предметы религиозного поклонения представляют собою поэтому или созданные искусством чудовищные образы, или же естественные вещи. Каждая птица, каждая обезьяна есть бог, совершенно общее существо. Индийцы не способны смотреть на предмет с точки зрения рассудочных определений, потому что для этого нужна уже рефлексия»*.

На основании этой характеристики Гегель считает поклонение животным за естественное следствие того обстоятельства, что дух *индийского народа* представляет собою одну из низших *ступеней* в развитии *всеобщего духа*. Древние персы, обоготворявшие свет, а также «солнце, луну и пять других светил», признававшихся ими за «почтенные образы Ормузда», ставятся Гегелем выше индийцев. Но вот посмотрите, что говорит тот же Гегель о поклонении животным у древних египтян.

«Культ (египтян) состоит преимущественно из поклонения животным... Для нас поклонение животным отвратительно; мы можем привыкнуть к обоготворению неба, но нам чуждо почитание животных. И, однако, несомненно, что народы, поклоняющиеся солнцу и другим светилам, нисколько не выше тех, которые обоготворяли животных; наоборот, потому что в животном мире египтяне созерцали внутреннее, непостижимое»**

То же самое поклонение животным получает, в глазах Гегеля, совершенно различное значение, смотря по тому, идет ли речь об индийцах или об египтянах. Почему же это так? Неужели индийцы обоготворяли животных действительно совсем на другой лад, чем египтяне? Нет, тут просто дело в том, что египетский народный «дух» представляет собою «*переход*» к гре-

* «Philosophie der Geschichte», S. 192, 193. [«Философия истории», стр. 192, 193] [1].

** Ibid., S. 258. [Там же, стр. 258.] [2]

ческому, занимает сравнительно высокую ступень в гегелевской классификации, и потому Гегель не хочет уличать его в тех же слабостях, в которых был уличен низко поставленный индийский народный дух. Точно так же совсем иначе относится Гегель к *кастам*, смотря по тому, встречается ли он с ними в Индии или в Египте. Индийские касты «становятся естественными различиями», а потому личность в Индии еще меньше умеет ценить себя, чем в Китае, где существует незавидное равенство всех перед деспотом. Об египетских кастах мы узнаем, что они «не окаменели, а находятся во взаимной борьбе и во взаимном соприкосновении: они часто разлагаются и опять возникают». Но уже из того, что́ сам Гегель говорит о кастах в Индии, видно, что и там не совсем отсутствовали их взаимная борьба и их взаимное соприкосновение. В этом случае, как и в вопросе о поклонении животным, Гегелю приходится в интересах довольно произвольной логической конструкции придавать совершенно различное значение совершенно аналогическим явлениям общественной жизни. Но это еще не все. Ахиллесова пята идеализма обнажается перед нами в особенности там, где Гегелю приходится иметь дело с переходом центра тяжести исторического движения от одного народа к другому или с изменением *внутреннего* состояния данного народа. В таких случаях, естественно, возникает вопрос о причине таких переходов и изменений, и Гегель, как идеалист, ищет ответа в свойствах того самого *духа*, осуществление которого и составляет, по его мнению, историю. Он спрашивает себя, например, почему древняя Персия склонилась к упадку, между тем как Китай и Индия продолжают существовать. Ответу предшествует у него следующее замечание:

«Прежде всего надо устранить тот предрассудок, что продолжительность существования указывает на какое-либо превосходство: неразрушимые горы вовсе не лучше быстро отцветающей розы».

Этого предварительного замечания, разумеется, ни в коем случае нельзя считать ответом. Далее идут такие рассуждения:

«В Персии начинается принцип свободного духа в его противоположности с естественностью; это естественное существование поэтому отцветает, склоняется к упадку; в персидском царстве действует принцип отделения от природы, а потому оно стоит выше, чем миры, подчиненные природе*. В этом сказалась естественная необходимость прогресса; дух открыл себя и должен себя исполнить. Китаец имеет значение только как мертвец; индиец умерщвляет сам себя, погружается в Браму[1], умирает заживо в состоянии полной бессознательности или яв-

* Т. е. китайский и индийский «мир».

ляется богом в силу своего рождения *; там нет никакого изменения, никакого прогресса, потому что движение вперед возможно только тогда, когда дух достигает самостоятельности. Со светом персов ** начинается духовное созерцание, в котором дух расстается с природой, поэтому (sic!) мы находим здесь впервые... что предметность остается свободной, т. е. что различные народы *** не угнетаются, а сохраняют свое богатство, свои учреждения, свою религию. И именно это было слабой стороной Персии в сравнении с Грецией» ****.

Во всем этом длинном рассуждении только самые последние строки, касающиеся внутренней организации персидского царства как причины слабости, обнаруженной Персией в ее столкновении с Грецией,— только эти последние строки и могут быть названы попыткой объяснения исторического факта падения Персии. Но эта попытка объяснения имеет очень мало общего с идеалистическим объяснением истории, которого держался Гегель: слабость внутренней организации Персии стоит в очень сомнительной связи со «светом персов». Там же, где Гегель остается верен *идеализму*, он в лучшем случае делает то, что закутывает в идеалистическое покрывало тот самый факт, который требует объяснения. Совершенно такое же крушение терпит у него идеализм повсюду. Возьмем еще вопрос о внутреннем разложении Греции. Греческий мир был, по Гегелю, миром красоты и «прекрасной моральной нравственности» *****. Греки были превосходными, глубоко преданными своему отечеству и способными на всякое самоотвержение людьми. Но они совершали великие подвиги «без рефлексии».

Для грека отечество было необходимостью, без которой он не мог бы жить. Только позже софисты ввели принципы; явилась субъективная рефлексия, моральное самосознание, учение о том, что каждый должен поступать согласно своему убеждению. С этих пор и началось разложение вышеупомянутой «прекрасной, моральной нравственности» греков; «самоосвобождение внутреннего мира» привело к упадку Грецию. Одной из сторон этого внутреннего мира было *мышление*. Следовательно, мы сталкиваемся здесь с тем интересным и историческим явлением, что сила мышления действует, между прочим, как «принцип развращения». Такой взгляд заслуживает внимания уже по одному тому, что он гораздо глубже прямолинейного взгляда просветителей, для которых успехи мысли всякого данного народа

* В качестве брамина.

** Которому поклонялись древние персы.

*** Входившие в состав персидского царства.

**** «Philosophie der Geschichte», S. 270—271. [«Философия истории», стр. 270—271.] [1]

***** Известно, что Гегель отличал *мораль от нравственности*.

непременно и непосредственно должны вести к «прогрессу». Но тем не менее остается открытым вопрос о том, откуда же взялось это «самоосвобождение внутреннего мира»? Идеалистическая философия Гегеля отвечает, что «дух мог только на короткое время остановиться на точке зрения прекрасной моральной нравственности». Но это, разумеется, опять вовсе не ответ, а лишь перевод вопроса на философский язык Гегелева идеализма. Гегель и сам как будто чувствует это и потому спешит прибавить, что «принцип разложения *открыл себя* прежде всего во внешнем политическом развитии — как в войнах греческих государств между собою, так и в борьбе различных факций[1] в городах» *. Тут мы становимся уже на *конкретную* историческую почву. Борьба «факций» внутри городов, по словам самого Гегеля, была продуктом *экономического* развития Греции, т. е., иными словами, борьба политических партий была лишь выражением возникших в греческих городах *экономических противоречий*. А если мы припомним, что и пелопоннесская война[3] была, как это видно из Фукидида, лишь распространившеюся на всю Грецию борьбой классов, то мы без труда придем к тому заключению, что причин разложения Греции нужно искать в *ее экономической* истории **. Таким образом, Гегель подсказывает нам материалистическое понимание истории, хотя для него самого борьба классов в Греции является лишь как проявление «принципа разложения». Выражаясь терминами Гегеля, можно сказать, что *материализм оказывается истиной идеализма*. И с такими неожиданностями мы сплошь и рядом встречаемся в гегелевской философии истории. Величайший из *идеалистов* как будто задался целью расчистить поле для *материализма*. Говорит ли он о средневековых городах, он, отдавши должную дань идеализму, рассматривает их историю, с одной стороны, как борьбу горожан с духовенством и дворянством, а с другой — как борьбу различных слоев граждан между собою, «богатых горожан с простым народом» ***; говорит ли он о реформации [5], он опять сперва открывает нам тайны «всеобщего духа», а потом делает следующее, совершенно неожиданное в устах идеалиста замечание насчет распространения протестантства [6]:

* «Philosophie der Geschichte», S. 323. [«Философия истории» стр. 323.] [2]

** Lacedaemon «besonders wegen der Ungleichheit des Besitzes herunterkam» [«Главной причиной упадка Лакедемона было имущественное неравенство»],— прямо говорит сам Гегель[4].

*** Гегель замечает: «Присматриваясь к этой беспокойной и изменчивой внутренней жизни городов, к постоянной взаимной борьбе факций, мы с удивлением видим, что, с другой стороны, там высоко процветала промышленность, равно как и сухопутная и морская торговля. Тот же самый принцип жизненности, который питался этой внутренней возбуждённостью, вызывал это процветание».

«В Австрии, в Баварии, в Богемии реформация сделала большие успехи, и хотя говорят: когда истина раз проникла в сердца людей, то ее уже нельзя вырвать оттуда, но реформация была побеждена здесь силой оружия хитрости или убеждения. *Славянские народы были земледельческими* народами (курсив Гегеля), а земледелие ведет к появлению господ и подчиненных. В земледелии главная роль принадлежит природе; человеческая сноровка и субъективная деятельность находят себе при этой работе, вообще говоря, меньше места. Поэтому славяне медленнее и с большим трудом приходят к субъективному самосознанию и к сознанию общего, и они не могли принять участия в начавшемся освобождении» *.

Этими словами Гегель прямо говорит нам, что в экономической деятельности данного народа нужно искать объяснения его религиозных взглядов и всех тех освободительных движений, которые возникают в его среде. Но этого еще мало. Государство, которое и по идеалистическому объяснению Гегеля есть «осуществление нравственной идеи, нравственного духа, обнаруживающего себя, как себе самой ясную субстанциональную волю, мыслящую и знающую себя и исполняющую то, что она мыслит и знает» **,— государство у Гегеля само оказывается не чем иным, как *продуктом экономического развития.*

«Действительное государство,— говорит он,— и действительное правительство возникают только тогда, когда уже есть налицо различие сословий, когда очень большими становятся богатство и бедность и когда появляется такое положение, что большинство уже не в состоянии удовлетворять свои потребности привычным для него способом» ***.

Точно так же историческое возникновение *брака* стоит у Гегеля в тесной связи с *экономической* историей человечества.

«Истинное начало и первое основание государств вполне основательно отнесено было, вместе с *установлением брака*, к возникновению земледелия, так как земледелие ведет за собою... частную собственность, и в непостоянном ищущая себе поддержки непостоянная жизнь дикаря приходит к спокойствию частного права и к обеспеченному удовлетворению потребностей, а вместе с тем ограничение половой любви браком превращает половые отношения в *продолжительный* союз; удовлетворение нужд становится *заботой о семье*, а владение — *семейным имуществом*» ****.

---

* «Philosophie der Geschichte», S. 506. [«Философия истории», стр. 506.] [1]

** «Philosophie des Rechts», § 257. [«Философия права», § 257.] [2]

*** «Philosophie der Geschichte», Einleitung, S. 106. [«Философия истории», Введение, S. 106.] [3]

**** «Philosophie des Rechts», § 203, Anmerkung. [«Философия права», § 203, Примечание.] [4]. Нечего и говорить о том, что при тогдашнем состоя-

Мы могли бы привести еще очень много примеров подобного рода. Но так как место не позволяет нам этого, то мы ограничимся указанием на значение, придаваемое Гегелем «географической основе всемирной истории».

О значении географической среды для исторического развития человечества писано было много и *до* и *после* Гегеля. Но как до Гегеля, так и после него исследователи часто грешили тем, что имели в виду исключительно только *психологическое* или даже *физиологическое* влияние окружающей природы на человека, совершенно забывая об ее влиянии на состояние общественных *производительных сил и, через них*, на все вообще социальные отношения людей, со всеми их идеологическими надстройками *. Если не в частностях, то в *общей постановке вопроса* Гегель совершенно избежал этой огромной ошибки. По Гегелю, есть три характерные различия географической среды: 1) безводная плоская возвышенность с ее большими степями и равнинами; 2) низменные долины, прорезанные большими реками; 3) прибрежные земли, находящиеся в непосредственной связи с морем.

В первых преобладает скотоводство; во вторых — *земледелие*; в третьих — торговля и ремесла. Сообразно этим основным различиям различно складываются и общественные отношения людей, населяющих эти местности. Обитатели плоских возвышенностей — например, *монголы* — ведут патриархальную кочевую жизнь и не имеют истории в собственном смысле этого слова. Только время от времени, собираясь большими массами, обрушиваются они, как буря, на культурные страны, повсюду оставляя за собою опустошение и разрушение **. Культурная жизнь начинается в долинах, обязанных рекам своим плодородием. «Такой долиной является Китай, Индия... Вавилония... и Египет. В этих странах возникают великие империи, образуются большие государства. Это потому, что земледелие, господствующее здесь как основной принцип существования индивидуумов, приурочено к правильной смене времен года и к соответствующим этому правильным занятиям; там являются поземельная собственность и связанные с нею правовые отношения...»[2] Но населяющие низменные долины земледельческие

нии науки взгляд Гегеля на первоначальную историю семьи и собственности не мог отличаться большою определенностью, но важно то, что он уже чувствует, где надо искать ключа к ней.

* Так, например, Монтескье в своем «Esprit des lois» [«Дух законов»] нередко пускался в рассуждения о влиянии природы на физиологию человека. Такого рода влиянием пытается он объяснить многие исторические явления [1].

** «Плоские возвышенности ведут к узким горным долинам, обитаемым спокойными горными народами, пастухами, занимающимися отчасти и земледелием. Таковы швейцарцы, — говорит Гегель.— Такие же народы встречаются и в Азии, но в общем они не имеют значения».

народы отличаются большею косностью, неподвижностью, замкнутостью; они не умеют пользоваться для взаимных сношений всеми теми средствами, которые предоставляет в их распоряжение природа. Этот недостаток чужд народам, населяющим прибрежные страны. Море не разделяет людей, а соединяет их. Вот почему именно в прибрежных странах культура, а с нею и развитие человеческого сознания, достигает наивысшей степени развития. За примерами ходить недалеко: достаточно указать на древнюю Грецию *.

Читателю известна, может быть, вышедшая в 1889 г. книга Л. Мечникова «La civilisation et les grands fleuves historiques» **. У Мечникова встречаются несомненные уклонения в сторону идеализма, но в общем он все-таки стоит на материалистической точке зрения. И что же? Взгляд этого *материалиста* на историческое значение географической среды почти совершенно сходится со взглядами *идеалиста* Гегеля, хотя Мечников, вероятно, очень удивился бы, если бы услышал о существовании подобного сродства.

Влиянием географической среды Гегель объясняет отчасти и возникновение неравенства в среде более или менее первобытных обществ. Так, он указывает, что в *досолоновской* Аттике [2] различие сословий (под сословиями он понимает различные более или менее зажиточные слои населения: жителей равнин, обитателей холмов и обитателей берегов. — *Г. П.*) покоится на различии местностей. И несомненно, что различие местностей и связанное с ним различие *занятий* должны были оказать большое влияние на *экономическое* развитие первобытных обществ. К сожалению, эта сторона дела далеко не всегда принимается в соображение современными исследователями.

Гегель едва ли много занимался *политической* экономией; но его гениальный ум и здесь, как и во многих других областях, помог ему схватить самую характерную и самую существенную сторону явлений. Гегель яснее всех современных ему экономистов, не исключая даже Рикардо, понимал, что в обществе, основанном на частной собственности, рост богатства на одной стороне непременно должен сопровождаться ростом бедности на другой. Он категорически говорит это как в своей «Philosophie der Geschichte» ***, так и в особенности в «Philosophie des Rechts» ****. По его словам, эта *диалектика*, означающая такое понижение уровня жизни большинства населения, благодаря которому оно уже не может удовлетворять правильным образом

* «Philosophie der Geschichte», Einleitung. [«Философия истории», Введение.]

** [«Цивилизация и великие исторические реки».] [1]

*** [«Философии истории».]

**** [«Философии права».]

свои потребности, и концентрирующая богатства в сравнительно немногих руках, необходимо должна вести к такому состоянию, при котором гражданское общество, несмотря на *избыток богатства, недостаточно богато, т. е.* не имеет средств, достаточных для того, чтобы устранить избыток бедности и подонков населения (des Pöbels)*[1].

Вследствие этого гражданское общество** видит себя вынужденным выйти из своих собственных пределов и искать новых рынков, обращаться ко всемирной торговле и колонизации. Изо всех современников Гегеля только Фурье отличался такою же ясностью взгляда и так хорошо понимал диалектику буржуазных экономических отношений.

Читатель обратил, вероятно, внимание на то, что пролетариат для Гегеля есть не более как «Pöbel», неспособный пользоваться «духовными преимуществами» гражданского общества. Гегель не подозревал, до какой степени современный пролетариат отличался от пролетариата античного мира, положим, хоть от римского пролетариата: он не знал, что в новейшем обществе лежащий на рабочем классе гнет непременно вызывает противодействие этого класса и что в этом обществе пролетариату суждено в умственном отношении далеко опередить буржуазию. Но ведь всего этого не знали и социалисты-утописты, для которых пролетариат тоже был не более как «Pöbel», достойный всякого сострадания и участия, но неспособный ни к какой инициативе. Только *научный* социализм сумел понять великое историческое значение современного пролетариата.

Резюмируем сказанное. В качестве идеалиста Гегель не мог смотреть на историю иначе, как с идеалистической точки зрения; он употребил все силы своего гениального ума, все колоссальные средства своей диалектики для того, чтобы придать сколько-нибудь научный характер идеалистическому пониманию истории. Его попытка оказалась неудачной. Его самого как будто не удовлетворяли добытые им результаты, и он часто вынужден был с туманных высот идеализма спускаться на конкретную почву экономических отношений. *Всякий раз, когда он обращался к ней, экономия снимала его с тех мелей, на которые заводил его идеализм. Экономическое развитие оказывалось тем prius'ом***, который обусловливает собою весь ход истории.*

Этим самым дано было дальнейшее направление науке. Совершившийся после смерти Гегеля переход к материализму не мог быть простым возвратом к наивному метафизическому

* «Philosophie der Geschichte», S. 285. [«Философия истории», стр. 285.]; «Philosophie des Rechts», § 243. [«Философия права», § 243 и сл.]

** Тут он имеет в виду преимущественно Англию.

*** [первым, изначальным]

материализму XVIII века. В интересующей нас здесь области, т. е. в области объяснения истории, материализм должен был прежде всего обратиться *к экономии. Поступить иначе — значило бы пойти не вперед, а назад сравнительно с философией истории Гегеля*.

Материалистическое понимание природы еще не означает материалистического понимания истории. Материалисты прошлого столетия смотрели на историю глазами идеалистов, и притом очень наивных идеалистов. Поскольку они занимались историей человеческих обществ, они старались объяснить ее *историей мысли*. Для них знаменитое положение Анаксагора «разум (Nus) правит миром» сводилось к тому положению, что человеческий *рассудок правит историей*. Печальные страницы человеческой истории относились ими именно на счет ошибок рассудка. Если население данной страны терпеливо несет бремя деспотизма, то это происходит единственно потому, что оно еще не поняло преимуществ свободы. Если оно суеверно, то это происходит потому, что оно обмануто жрецами, которые придумали религию для своей собственной выгоды. Если человечество страдает от войн, то потому, что оно не умело понять их убыточности. И так во всем. «*Ход идей определяется ходом вещей*»,— говорил еще в начале прошлого века замечательный мыслитель Ж.-Б. Вико. Материалисты думали как раз наоборот: ход вещей в обществе определяется ходом идей, а этот последний определяется... ну хотя бы правилами формальной логики и накоплением знаний.

Абсолютный идеализм Гегеля был очень далек от этого наивного идеализма просветителей. Когда Гегель повторил с Анаксагором, что разум правит миром, то в его устах это вовсе не значило, что миром правит мысль человека. Природа есть система разума, но это не значит, что природа одарена сознанием. «Движение солнечной системы совершается по неизменным законам; эти законы представляют собою разум этой системы, но ни солнце, ни планеты, обращающиеся вокруг него сообразно этим законам, не сознают этого» *.

Человек одарен сознанием, он ставит определенные цели для своих действий; но отсюда еще не следует, что история идет так, как того хотят люди. В результате каждого человеческого действия всегда есть непредвиденная сторона, и именно эта сторона часто — вернее, почти всегда — составляет самое существенное приобретение истории, именно она-то и ведет к осуществлению всеобщего духа.

«Во всемирной истории из человеческих действий выходит еще иное, чем то, к чему они стремились»: Они поступают так,

* «Philosophie der Geschichte», S. 15—16. [«Философия истории», стр. 15—16.] [1]

как этого требуют их интересы, а в результате этого получается нечто новое, нечто такое, что заключалось, правда, в их действиях, но чего не было в их сознании и в их намерениях *. Государство, народы и отдельные личности преследуют свои частные интересы, свои особые цели.

С этой стороны они являются, бесспорно, *сознательными*, *мыслящими* деятелями. Но, сознательно преследуя свои частные цели (которые тоже обыкновенно бывают проникнуты известными общими стремлениями к добру и праву), они бессознательно осуществляют цели всеобщего духа.

Цезарь стремился к единовластию в Риме, это была его личная цель, но единовластие было в то время исторической необходимостью; поэтому, осуществляя свою личную цель, Цезарь сослужил службу всемирному духу. В этом смысле можно сказать, что исторические деятели, как и целые народы, являются *слепыми орудиями духа*. Он заставляет их работать на себя, выставляя перед ними приманки в виде их частных целей и подгоняя их шпорою *страсти*, без которой не делается ничего великого в истории.

По отношению к людям здесь нет никакого мистицизма «бессознательного». Деятельность людей непременно отражается в их головах, но не этим отражением обусловливается историческое движение. *Ход вещей* определяется не *ходом идей*, а чем-то посторонним, независимым от человеческой воли, скрытым от человеческого сознания.

Случайность человеческого произвола и человеческого усмотрения уступает место *законосообразности*, т. е., следовательно, и *необходимости*. В этом заключается несомненное преимущество «*абсолютного* идеализма» сравнительно с наивным идеализмом французских просветителей. Абсолютный идеализм относится к этому последнему идеализму, как монотеизм относится к фетишизму и волшебству. Волшебство не оставляет никакого места законосообразности в природе: оно предполагает, что «ход вещей» ежеминутно может быть нарушен вмешательством волшебника. Монотеизм приписывает богу установление законов природы, но он признает (по крайней мере, на высшей ступени своего развития, когда он перестает мириться с чудесами), что ход вещей определяется этими раз навсегда установленными законами. Этим он отводит широкое место науке. Точно так же и абсолютный идеализм, ища объяснения исторического движения в чем-то независимом от человеческого произвола, поставил перед наукой задачу законосообразного объяснения исторических явлений, а разрешение этой задачи устраняет всякую надобность в *гипотезе духа*, которая оказалась совершенно несостоятельной в деле этого объяснения.

* «Philosophie der Geschichte», S. 35. [«Философия истории», стр. 35.][1]

Если взгляд французских материалистов прошлого столетия на ход истории сводился к тому положению, что человеческий рассудок правит историей, то их ожидания от будущего могли быть выражены словами: отныне все будет устроено и приведено в порядок просвещенным рассудком, *философией*. Замечательно, что абсолютный идеалист Гегель отводил философии гораздо более скромную роль.

«Что касается *поучения* насчет того, каким должен быть мир,— читаем мы в предисловии к «Philosophie des Rechts»,— то философия всегда приходит слишком поздно. Как мировая *мысль*, она является лишь после того, как действительность закончила процесс своего образования и приняла уже законченный вид... Когда философия начинает писать серыми красками на сером фоне действительности, нельзя уже вернуть молодость, ее можно только познать; сова Минервы вылетает лишь в сумерки» *.

Здесь Гегель, несомненно, идет слишком далеко. Совершенно соглашаясь с тем, что «философия» не может оживить одряхлевший, отживший общественный порядок, можно спросить Гегеля, что же, однако, мешает ей указать нам — разумеется, лишь в общих чертах — характер *нового* общественного порядка, идущего на смену старому? «Философия» рассматривает явления в процессе их становления. А в процессе становления есть две стороны: возникновение и уничтожение. Эти две стороны можно рассматривать как разделенные во времени. Но как в природе, так и в особенности в истории процесс становления есть, в каждое данное время, *двойной процесс*: уничтожается старое *и в то же время* возникает из его развалин *новое*. Неужели для «философии» навсегда должен остаться закрытым этот процесс возникновения нового? «Философия» познает то, что *есть*, а не то, что должно было бы быть, по мнению того или другого. Но что же есть в каждое данное время? Есть именно *отживание старого* и зарождение нового. Если философия познает только отживающее старое, то познание *одностороние*, она не способна выполнить свою задачу познания сущего. Но это противоречит уверенности Гегеля во всемогуществе познающего разума.

Новейший материализм чужд подобной крайности. На основании того, что есть и *что отживает свой век*, он умеет судить о том, что *становится*. Но не следует забывать, что наше понятие о том, что *становится*, существенно отлично от того понятия *о быть долженствующем* (sein sollenden), против которого направлены приведенные слова Гегеля о сове Минервы. Для нас то, что *становится*, есть необходимый результат того, что *отживает свой век*. Если мы знаем, что становится именно *то*, а не *другое*, то и этим мы обязаны объективному процессу

* «Philosophie des Rechts», S. XXIII—XXIV. [«Философия права», стр. XXIII—XXIV.] [1]

общественного развития, которое подготовляет нас к познанию *становящегося*. Мы не противопоставляем своего *мышления* окружающему нас *бытию*.

Но не так смотрели на дело те люди, с которыми полемизировал Гегель. Они воображали, что мышление может как угодно видоизменять естественный ход развития бытия. Потому они не находили нужным изучать его ход и считаться с ним. Их представление о том, что *должно быть*, составлялось не на основании изучения окружающей их действительности, а на основании тех суждений о справедливом и нормальном общественном порядке, которые были у них в данное время. Но эти суждения подсказывались им не чем иным, как тою же окружающею действительностью (преимущественно ее *отрицательною* стороною). Опираться на них значило в сущности руководствоваться указаниями той же действительности, но указаниями, взятыми без всякой критики, без всякой попытки проверить их изучением подсказавшей их действительности. Это было то же самое, как стараться ознакомиться с предметом, смотря не прямо на этот предмет, а на отражение его в выпуклом зеркале. Ошибки и разочарования были неизбежны. И чем более забывали люди о происхождении своих представлений о «долженствующем быть» из окружающей их действительности, чем более верили они, что, вооружившись этими представлениями, они могут поступать с действительностью как им вздумается, тем значительнее оказывалось расстояние между тем, к чему они стремились, и тем, к чему они приходили. Как далеко современное буржуазное общество от того царства разума, о котором мечтали французские просветители! Игнорируя действительность, люди не освобождались от влияния ее законов: они только лишили себя возможности предусмотреть действие этих законов и воспользоваться ими для своих целей. Но именно поэтому цели их оказывались недостижимыми. Стоять на точке зрения просветителей — значило не идти дальше абстрактной противоположности между *свободой и необходимостью*.

На первый взгляд кажется, что если в истории господствует необходимость, в ней нет уже места для свободной деятельности человека. Эта огромная ошибка была исправлена немецкой идеалистической философией. Уже Шеллинг показал, что при правильном взгляде на дело *свобода оказывается необходимостью, необходимость — свободою**. Гегель окончательно разрешил ан-

* Шеллинг замечает, что свобода немыслима без необходимости: «Denn wenn keine Aufopferung möglich ist ohne die Ueberzeugung, dass die Gattung, zu der man gehört, nie aufhören könne fortzuschreiten, wie ist denn diese Ueberzeugung möglich, wenn sie einzig und allein auf die Freiheit gebaut ist? Es muss hier etwas sein, das höher ist, denn menschliche Freiheit, und auf welches allein im Wirken und Handeln sicher gerechnet

тиномию между свободой и необходимостью. Он показал, что мы свободны лишь постольку, поскольку познаем законы природы и общественно-исторического развития и поскольку *мы, подчиняясь им*, опираемся на них. Это было величайшее приобретение как в области философии, так и в области общественной науки,— приобретение, которым в полном его объеме воспользовался, однако, только современный, диалектический, материализм.

Материалистическое объяснение истории предполагает диалектический метод мышления. Диалектика была известна и до Гегеля. Но Гегель сумел воспользоваться ею так, как никто из его предшественников. В руках гениального идеалиста она становится могучим орудием познания всего существующего. «Диалектика,— говорит Гегель,— составляет... душу научного исследования и является единственным принципом, с помощью которого содержание науки получает *имманентную связь и необходимость*... Уклонение от абстрактно рассудочных определений кажется нашему обычному сознанию заповедью

---

werden kann; ohne welches nie ein Mensch wagen könnte, eine Handlung von grossen Folgen zu unternehmen, da selbst die vollkommenste Berechnung derselben durch den Eingriff fremder Freiheit so durchaus gestört werden kann, dass aus seiner Handlung etwas ganz anderes resultieren kann, als er beabsichtigte. Die Pflicht selbst kann mir nicht gebieten, in Ansehung der Folgen meiner Handlungen ganz ruhig zu sein, sobald sie entschieden hat, wenn nicht mein Handeln zwar von mir, d. h. von meiner Freiheit, die Folgen meiner Handlungen aber, oder das, was sich aus ihnen für mein ganzes Geschlecht entwickeln wird, gar nicht von meiner Freiheit, sondern von etwas ganz Anderem und Höherem abhängig sind». «System des transzendentalen Idealismus». Schelling's Werke, III Band, Stuttgart und Augsburg 1858, S. 595. [«Можно ли идти на самопожертвование, не питая убеждения, что тот биологический род, к которому ты принадлежишь как особь, никогда не остановится в своем победном движении вперед; а из чего иного может вытечь это убеждение, как не единственно и исключительно из обладания нами свободой? Здесь мы должны найти нечто такое, что возвышалось бы над человеческой свободой и на незыблемость единственно чего мы могли бы рассчитывать во всей нашей деятельности и во всем поведении; без такого момента никто никогда не пошел бы на дело, чреватое крупными следствиями, ибо даже при самом совершенном учете последних они все же всегда могут быть настолько видоизменены вмешательством со стороны других, столь же свободных существ, что из всего нашего поступка вытечет нечто совсем иное, нежели нами замышлявшееся. Самый долг принять то или иное решение может приказать мне оставаться совершенно спокойным в отношении следствий моих поступков только в том случае, если мое поведение зависит от меня, т. е. от моей свободы, но следствия моих поступков или то, что разовьется из них для всего моего рода, зависят отнюдь не от моей свободы, а от чего-то совсем другого и более высокого». «Система трансцендентального идеализма», Сочинения Шеллинга, т. III, Штутгарт и Аугсбург 1858, стр. 595.] [1].

простого благоразумия,— по правилу: живи и жить давай другим, причем все представляется одинаково хорошим. Но суть дела заключается в том, что конечное ограничивается не только извне, а должно быть уничтожено и перейти в свою противоположность в силу своей собственной, внутренней природы» *. До тех пор, пока Гегель остается верен диалектическому методу, он является в высшей степени прогрессивным мыслителем. «Мы говорим, что все вещи (т. е. все конечное как таковое) должны предстать перед судом диалектики, и этим самым мы определяем ее как всеобщую, непреоборимую силу, которая должна разрушить все, как бы оно ни казалось устойчивым». Поэтому Гегель совершенно прав, когда говорит, что серьезное усвоение и ясное понимание диалектики есть дело чрезвычайной важности. Диалектический метод — это самое главное научное орудие, которое досталось в наследство от немецкого идеализма его преемнику, современному материализму.

Однако материализм не мог воспользоваться диалектикой в ее идеалистическом виде. Необходимо было прежде всего освободить ее от мистического покрова.

Величайший из всех материалистов, человек, который ничуть не уступал Гегелю в гениальной силе ума, настоящий последователь великого философа, *Карл Маркс* сказал о себе с полным правом, что его метод представляет собою полную противоположность методу Гегеля. «Для Гегеля логический процесс, который превращается у него, под именем идеи, в самостоятельного субъекта, есть демиург действительности, которая составляет только его внешнее проявление. Для меня же как раз наоборот: идеальное есть переведенное и переработанное в человеческой голове материальное» **.

Благодаря Марксу материалистическая философия возвысилась до цельного, гармонического и последовательного миросозерцания. Мы уже знаем, что материалисты прошлого столетия оставались весьма наивными идеалистами в области истории. Маркс же изгнал идеализм и из этого последнего его убежища. Точно так же, как Гегель, он видел в истории человечества законосообразный процесс, независимый от человеческого произвола; точно так же, как Гегель, он рассматривал все явления в процессе их возникновения и исчезновения; точно так же, как Гегель, он не удовлетворился метафизическим, бесплодным объяснением исторических явлений, и, наконец, точно так же, как Гегель, он старался свести к общему и единому *источнику* все действующие и взаимодействующие силы в обществен-

* «Enzyklopädie», § 81 und Zusatz. [«Энциклопедия», § 81 и Дополнение.] [1]

** «Das Kapital», Vorwort, 2 Auflage, S. XIX. [«Капитал», Предисловие, изд. 2., стр. XIX.] [2]

ной жизни. Но он нашел этот источник не в абсолютном духе, а в том самом экономическом развитии, к которому — как мы видели выше — вынужден был прибегать и Гегель в тех случаях, когда идеализм даже в его сильных и искусных руках оказывался бессильным и негодным оружием. Но то, что у Гегеля является случайной, более или менее гениальной догадкой, становится у Маркса строго научным исследованием.

Современный диалектический материализм несравненно лучше идеализма уяснил себе ту истину, что люди делают историю бессознательно: с его точки зрения исторический ход определяется в последнем счете не человеческой волей, а развитием материальных производительных сил. Материализм знает также, *когда* начинает летать «сова Минервы», но в полете этой птицы, как и во многом другом, он не видит ничего таинственного. Он сумел применить к истории найденное идеализмом отношение между свободой и необходимостью. Люди делали и должны были делать свою историю *бессознательно*, до тех пор, пока двигательные силы исторического развития действовали за их спиной, помимо их сознания. Раз открыты эти силы, раз изучены законы их действий — люди будут в состоянии взять их в свои собственные руки, подчинять их своему собственному разуму. Заслуга Маркса заключается именно в том, что он открыл эти силы и подверг тщательному научному изучению их действия. Современный диалектический материализм, который, по мнению филистеров, должен превратить человека в автомат, открывает на самом деле в первый раз в истории путь к царству свободы и сознательной деятельности. Но войти в это царство возможно только путем коренного изменения нынешней общественной деятельности. Филистеры сознают или, по крайней мере, предчувствуют это. Именно потому материалистическое объяснение истории причиняет им столько досады и столько огорчения; и потому же ни один филистер не может и не хочет ни понять, ни усвоить Марксову теорию во всей ее полноте. Гегель смотрел на пролетариат, как на *толпу*. Для Маркса и для марксистов пролетариат — великая сила, носитель будущего. Только один пролетариат способен усвоить учение Маркса (об исключениях мы не говорим), и мы видим, как он в самом деле все больше и больше проникается его содержанием.

Филистеры всех стран сильно шумят о том, что в литературе марксизма, кроме «Капитала», нет ни одного значительного произведения. Но это во-первых, неверно, во-вторых, если бы даже это и было верно, то это ничего не доказывало бы. Разве возможно говорить о застое мысли в то время, когда мысль каждый день подчиняет себе целые массы последователей, когда она открывает перед целым общественным классом новые и широкие перспективы?

Гегель с энтузиазмом говорит об афинском народе, перед которым игрались трагедии Эсхила и Софокла, к которому Перикл обращал свои речи и из среды которого «вышли личности, ставшие классическими образцами для всех столетий». Мы понимаем энтузиазм Гегеля. И тем не менее надо заметить, что афинский народ был *народом рабовладельцев*. Не к рабам обращался Перикл, и не для них предназначались великие творения искусства. В наше время наука обращается к работникам, и мы имеем полное право с восторгом смотреть на современный рабочий класс, к которому обращаются самые глубокие мыслители и перед которым выступают самые талантливые ораторы. Только теперь, наконец, заключен тесный и неразрывный союз между наукой и работниками — союз, который положит начало великой и плодотворной эпохе во всемирной истории.

Иногда говорят, что точка зрения диалектики тождественна с точкой зрения эволюции. И нет сомнения в том, что эти два метода имеют точки взаимного соприкосновения. Тем не менее между ними существует весьма глубокое и значительное различие, которое, надо признаться, далеко не в пользу учения об эволюции. Современные эволюционисты снабжают свое учение значительною примесью консерватизма. Им хочется доказать, что как в природе, так и в истории скачков не бывает. Со своей стороны диалектика очень хорошо знает, что как в природе, так и в человеческой мысли и истории скачки *неизбежны*. Но она не упускает из виду и того неоспоримого факта, что во всех моментах изменения действует один и тот же *непрерывный процесс*. Она лишь старается уяснить себе тот ряд условий, при которых постепенное изменение должно необходимым образом привести к скачку*.

---

* Гегель с поразительной ясностью показал, до какой степени нелепо объяснять явления только с точки зрения их постепенного изменения. Он говорит: «Bei der Allmäligkeit des Entstehens liegt die Vorstellung zu Grunde, dass das Entstehende schon sinnlich oder überhaupt wirklich vorhanden, nur wegen seiner Kleinheit noch nicht wahrnehmbar, so wie bei der Allmäligkeit des Verschwindens, dass das Nichtsein oder das Andere an seine Stelle tretende gleichfalls vorhanden, nur noch nicht bemerkbar sei; — und zwar vorhanden nicht in dem Sinne, dass das Andere in dem vorhandenen Anderen an sich enthalten, sondern dass es als Dasein, nur unbemerkbar, vorhanden sei; es wird damit das Entstehen und Vergehen überhaupt aufgehoben... und der wesentliche oder der Begriffsunterschied in einen äusserlichen blossen Grössenunterschied verwandelt. Das Begreiflichmachen eines Entstehens oder Vergehens aus der Allmäligkeit der Veränderung hat die der Tautologie eigene Langweiligkeit, weil es das Entstehende oder Vergehende schon vorher ganz fertig hat, und die Veränderung zu einer blossen Aenderung eines äusserlichen Unterschiedes macht, wodurch sie in der That nur eine Tautologie ist». «Wissenschaft der Logik», Nürenberg 1812, B. I, S. 313—314. [«В основании предположения о постепенности возникновения лежит представление о том, что *возникающее* уже до своего возникновения наличествует чувственно или вообще *в действительности* и лишь

С точки зрения Гегеля *утопии* имеют симптоматическое значение в истории: они обнаруживают противоречия, свойственные данной эпохе. Такую же оценку дает утопиям диалектический материализм. Не утопическими планами различных реформаторов обусловливается все растущее теперь рабочее движение, а законами производства и обмена. И именно потому, в противоположность ко всем прошлым столетиям, в настоящее время выступают в качестве утопистов не реформаторы, а все те общественные деятели, которые стремятся остановить колесо истории. И наиболее характерной особенностью нашей эпохи является то обстоятельство, что не реформаторы, а их противники прибегают *к утопиям*. Утопические защитники существующей некрасивой действительности хотят убедить себя и других в том, что она обладает сама по себе всеми совершенствами и что поэтому следует лишь устранить из нее те или другие накопившиеся злоупотребления. По этому поводу нам невольно приходят в голову те соображения, которые были высказаны Гегелем по поводу реформации. «Реформация явилась,— говорит он,— следствием *деморализации церкви*. Но деморализация церкви была не случайным явлением, она была не только результатом *злоупотребления* властью и господством. Обыкновенно считают злоупотребление *причиной* деморализации. При этом предполагается, что основа хороша, вещь сама по себе совершенна, и только страсти, субъективные интересы, вообще случайная воля людей пользуется благом как средством для удовлетворения личных стремлений, а поэтому остается только устранить случайности...Такая точка зрения спасает вещь и объявляет зло чем-то посторонним. Но если вещью злоупотребляют случайным образом, то это частность; но совсем другое дело, когда речь заходит о таком всеобщем и великом зле в такой великой и всеобщей вещи, как церковь» *. Нет ничего удивительного в том, что Гегель пользуется незначительной долей симпатии

вследствие своей малости *еще не может быть воспринимаемо*, равно как в основании предположения о постепенности исчезновения лежит представление о том, что *небытие* или то *другое*, которое занимает место исчезнувшего, также уже *наличествует*, но *еще не может быть замечено*, и притом наличествует не в том смысле, что в наличном другом это другое содержится *в себе*, а в том смысле, что оно *наличествует как существование*, но лишь незаметно. Этим упраздняются вообще возникновение и прехождение... и существенное или понятийное различие — [превращают] во внешнее различие, в различие исключительно по величине.— Способ делать понятным возникновение или прехождение предположением о постепенности изменения имеет в себе скуку, свойственную тавтологии; он уже заранее имеет совершенно готовым возникающее или преходящее и делает изменение изменением исключительно внешнего различия, так что вследствие этого оно на самом деле есть только тавтология». «Наука логики», Нюренберг 1812, т. I, стр. 313—314.] [1]

* «Philosophie der Geschichte», S. 497—498. [«Философия истории», стр. 497—498.] [2]

у всех тех, кто любит апеллировать к «случайным» прорехам там, где речь идет о коренном изменении самой «вещи». Их в ужас приводит смелый, радикальный дух, которым проникнута философия Гегеля.

Было время, когда против Гегеля восставали те, кто более или менее принадлежал к новаторскому лагерю. Их отталкивало от философа его филистерское отношение к прусской действительности того периода. Эти противники Гегеля сильно ошибались: из-за реакционной *оболочки* они не заметили в этой системе ее новаторского *ядра*. Но, как бы там ни было, антипатия этих людей к великому мыслителю исходила из благородных мотивов, заслуживающих всякого уважения. В наше время осуждают Гегеля ученые представители буржуазии, и осуждают потому, что понимают или, по крайней мере, инстинктивно чувствуют новаторский дух его философии. По этой же причине теперь любят умалчивать о заслугах Гегеля; ему с большой охотой противопоставляют Канта, и почти всякий приват-доцент считает себя призванным превознести систему «кенигсбергского мыслителя». Мы охотно отдаем должное Канту и не оспариваем его заслуг. Но нам кажется весьма подозрительным то обстоятельство, что склонность буржуазных ученых к критицизму вызвана не его сильными, а его слабыми сторонами. Свойственный этой системе *дуализм* больше всего привлекает современных буржуазных идеологов. А дуализм особенно удобная вещь в области «нравственности». С его помощью можно строить самые заманчивые идеалы, можно предпринимать самые смелые путешествия в «лучший мир», нисколько не помышляя о том, чтобы воплотить эти «*идеалы*» в *действительность*. Чего же лучше? В идеале можно, например, всецело уничтожить существование классов, устранить эксплуатацию одного класса другим, а в действительности выступить в качестве защитника классового государства и т. п. На ходячее утверждение, будто идеал не может быть осуществлен в действительности, Гегель смотрел, как на величайшее оскорбление человеческому разуму. «Что разумно, то действительно, что действительно, то разумно». Это положение, как известно, подало повод к многим и многим недоразумениям не только в Германии, но и за пределами ее, в особенности же в России. Причины этих недоразумений следует искать в неясном понимании того значения, которое Гегель придавал словам «*разум*» и «*действительность*». Казалось бы, что если бы даже этим словам дать обычное вульгарное толкование, то и в этом случае должно бросаться в глаза новаторское содержание первой половины этого положения — «что разумно, то действительно». В применении к истории эти слова не могут означать ничего другого, кроме непоколебимого убеждения в том, что все разумное не остается чем-то «*потусторон-*

ним», а должно *перейти* в действительность. Без такого многообещающего убеждения новаторская мысль потеряла бы всякое практическое значение. По Гегелю, история представляет собою проявление и осуществление всемирного духа (т. е. разума) во времени. Каким же образом объяснить с этой точки зрения постоянную смену общественных форм? Эту смену возможно объяснить лишь в том случае, если принять в соображение, что в процессе исторического развития «безумством становится разум и злом благое». С разумом, который перешел в свою противоположность, т. е. стал безумием, не следует, по мнению Гегеля, церемониться. Когда Цезарь захватил государственную власть, он нарушил римскую конституцию. Подобное нарушение было, повидимому, тяжким преступлением. Противники Цезаря имели, повидимому, все основания смотреть на себя, как на защитников права, потому что стояли на законной почве. Но то право, которое они брали под свою защиту, «было формальное право, лишенное живого духа и оставленное богами». Нарушение этого права являлось, таким образом, преступлением лишь с формальной стороны, и поэтому нет на самом деле ничего легче, как оправдать нарушителя римской конституции — Юлия Цезаря.

О судьбе Сократа, который был осужден как враг господствующей морали, Гегель высказывается таким образом: «Сократ — герой, так как он сознательно познал и высказал высший принцип. Высший принцип имеет абсолютное право... Таково вообще положение героев во всемирной истории: через них восходит новый мир. Новый принцип стоит в противоречии к существующему принципу, вследствие чего он кажется разрушительным. По этой же причине кажется также, что герои насильственно нарушают законы. Индивидуально они обречены на гибель, но их принцип, хотя бы и в другом виде, продолжает свое действие и подкапывает существующее» *. Сказанное здесь в достаточной степени ясно само по себе. Дело, однако, станет еще яснее, если принять во внимание, что, по Гегелю, выступают на сцену всемирной истории не только герои, не только единичные личности, но также и целые народы, коль скоро они являются носителями нового всемирно-исторического принципа. В таких случаях поле деятельности, на которое простирается право народов, чрезвычайно обширно: «Против этого его абсолютного права — быть носителем данной ступени развития всемирного духа — дух других народов бесправен. Время этих народов прошло. Поэтому они больше не принадлежат ко всемирной истории» **.

* «Geschichte der Philosophie», B. II, S. 120. [«История философии», т. II, стр. 120.] [1]

** «Philosophie des Rechts», § 347. [«Философия права», § 347.] [2]

Мы знаем, что носителем нового всемирно-исторического принципа выступает в настоящее время не какой-либо отдельный народ, а определенный общественный класс. Но мы останемся верны духу философии Гегеля, если скажем, что по отношению к этому классу все остальные общественные классы постольку войдут во всемирную историю, поскольку сумеют оказать ему поддержку.

Неудержимое, ни перед чем не останавливающееся стремление к великой исторической цели — таков завет великой германской идеалистической философии.

[ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ («ОТ ПЕРЕВОДЧИКА») И ПРИМЕЧАНИЯ ПЛЕХАНОВА К КНИГЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА «ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ»]

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Выпуская в свет перевод замечательного сочинения Энгельса о Фейербахе, мы позволим себе сказать несколько слов о том значении, которое оно может иметь для русских читателей.

Торжествующая реакция облекается у нас теперь, между прочим, и в философский наряд, как об этом свидетельствует, например, журнал «*Вопросы философии и психологии*»[1]. Отрицательное направление шестидесятых годов третируется как нечто весьма легкомысленное и неосновательное, а гг. Астафьевы, Лопатины и подобные им любомудры признаются значительными философскими величинами (см. например, что повествует о «Философии у русских» г. Я. Колубовский в прибавлении к своему русскому переводу «*Истории новой философии*» Ибервега-Гейнце)[2]. Русским социалистам неизбежно придется считаться с этой философской реакцией, а следовательно, и заниматься философией. В этой области, как и в экономии, как и в политике, Маркс и Энгельс будут самыми надежными их руководителями. Предлагаемая же брошюра составляет самый полный свод философских взглядов этих мыслителей.

Брошюра написана крайне сжато. Нам пришлось снабдить ее некоторыми пояснительными примечаниями. Более длинные из них отмечены цифрами и помещены в конце книги. Туда же отнесены и два приложения, из которых одно («Карл Маркс о Фейербахе») находится и в немецком издании, а другое («Карл Маркс о французском материализме») заимствовано из сочинения Маркса — Энгельса: «Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, gegen Bruno Bauer und Comp.», Frankfurt a. M. 1845 («Святое семейство, или критика критической критики, против Бруно Бауэра и компании»). Но наше заимствование

сделано не непосредственно, так как названная книга представляет величайшую библиографическую редкость[1]. Глава о французском материализме переведена нами из известного социал-демократического журнала «Neue Zeit», где она была перепечатана несколько лет тому назад[2].

Полемика Маркса и Энгельса против «Бруно Бауэра и компании» (о Б. Бауэре см. прим. 4) составляет целую эпоху в истории всемирной литературы. Это первое решительное выступление новейшего диалектического материализма против идеалистической философии. Чрезвычайно важное и по своему историческому значению и по содержанию (насколько мы могли судить по нѐкоторым знакомым нам отрывкам), оно и теперь могло бы еще сыграть большую роль в России, где даже самые передовые писатели упорно продолжают держаться идеалистической точки зрения на общественную жизнь. Мы охотно содействовали бы появлению этой книги на русском языке, если бы она находилась в нашем распоряжении. Но когда это будет, мы не знаем и довольствуемся пока переводом одной из ее глав*. Эта глава, имеющая тесную связь с тем, что говорит Энгельс о Фейербахе, представляет собою довольно законченное целое, а по богатству мыслей она далеко оставляет за собою относящиеся к материализму нового времени многочисленные страницы в известном сочинении Ланге[4]. Мы особенно обращаем внимание читателей на указываемую Марксом связь между утопическим социализмом XIX века и французским материализмом XVIII столетия.

Сочинение Энгельса о Фейербахе вызвано было книгой Штарке о том же писателе[5]. Но в нем так мало говорится об этой книге, что и мы не считаем нужным касаться ее в предисловии. Необходимые сведения читатели найдут в 5-м примечании.

Июнь 1892 г.

Г. Плеханов.

---

* [Примечание к изданию 1905 г.] Теперь эта книга вошла во второй том сделанного Мерингом издания «Gesammelte Schriften von K. Marx und Fr. Engels, 1841 bis 1850»[3]. [Собрание сочинений *К. Маркса* и *Фр. Энгельса*, 1841 до 1850].

[ПРИМЕЧАНИЯ ПЛЕХАНОВА К КНИГЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА «ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ...»]

(1)[1] Автор имеет в виду ряд статей Гейне о Германии, появившихся первоначально в «Revue des deux Mondes» и вышедших затем отдельной книгой (предисловие к ее первому изданию помечено декабрем 1834 г.). Читатель найдет этот замечательный труд Гейне[2] в полном собрании его сочинений. К сожалению, русский перевод его страшно обезображен цензурой.

Новейший Аристофан относился к современной ему философии совсем не так, как относился гениальный грек к «софистам». Он не только *понимал* революционное значение немецкой философии, но и горячо *сочувствовал* ей именно ввиду ее революционного значения. Впрочем, в своей книге о Германии Гейне гораздо больше распространяется о революционном, <— очень преувеличенном им,> — значении Канта (его «Критики чистого разума»), чем Гегеля. Решительнее высказался он о Гегеле уже в сороковых годах. В сохранившемся отрывке его первого (и единственного) письма «О Германии» мы находим юмористический обмен мыслей автора с «царем философии». «Однажды, когда я обнаружил некоторое смущение по поводу слов: «все существующее разумно», он как-то странно засмеялся и заметил: ведь они означают также, что все разумное *должно* существовать. Затем он тревожно осмотрелся и успокоился, убедившись, что его слышал только Генрих Беер»[3]. Кто такой Генрих Беер, в данном случае все равно. Здесь следует заметить только, что, по мнению Гейне, Гегель сам понимал революционное значение своей философии, но боялся обнаружить его. Насколько верен такой взгляд на Гегеля — это опять другой вопрос, ответ на который дается, между прочим, и в предлагаемой брошюре. Но несомненно, что сам Гейне совсем не принадлежал к числу тех ограниченных и близоруких людей, которые боялись *выводов*, вытекающих из философии Гегеля. В приведенной беседе не без умысла изменено знаменитое положение Гегеля: вместо *действительного* говорится вообще о *существующем*. Гейне, очевидно, хотел показать, что даже в том вульгарном виде, который приняло это

положение в устах людей, мало посвященных в тайны гегелевской философии, оно неизменно сохраняет *свой революционный смысл*.

(2)[1] Известно, что вопрос о том, как понимать гегелевское учение о разумности всего «действительного», играл большую роль в наших философских кружках второй половины тридцатых и начала сороковых годов. Благодаря ему В. Г. Белинский, самая светлая голова между всеми русскими писателями, пережил, можно сказать, целую трагедию. Его статьи о Менцеле и о Бородинской годовщине[2] полны самых резких выходок против людей, позволяющих себе осуждать «действительность», т. е. окружающие их общественные отношения. Впоследствии он очень не любил вспоминать об этих статьях, считая их позорной ошибкой. В своем страстном отрицании гнусных российских порядков он уже не стеснялся никакими философскими соображениями о их будто бы разумности. Люди, писавшие после него в том же направлении, не считали нужным возвращаться к Гегелю и проверять те теоретические посылки, из которых исходил гениальный критик в эпоху своих охранительных увлечений. Им казалось, что в этих посылках нет ничего, кроме ошибок. Такого взгляда держатся «передовые» русские писатели и в настоящее время. Верен ли этот взгляд?

В «Былом и Думах» Герцен рассказывает, каким логическим путем он обошел ту теоретическую заставу, которую представляет из себя, на первый (и надо заметить: совершенно неправильный, крайне поверхностный) взгляд, учение о «разумности» всего «действительного». Он решил, что это учение есть просто новая формулировка закона достаточной причины. Но закон достаточной причины вовсе не ведет к оправданию всякого данного общественного строя. Если в истории России была достаточная причина для возникновения и роста деспотизма, то и освободительное движение декабристов, очевидно, тоже имело свою достаточную причину. Если в этом смысле «разумен» был деспотизм, то не менее «разумно» было и стремление покончить с ним раз навсегда. Поэтому, решил Герцен, учение Гегеля является скорее теоретическим оправданием всякой освободительной борьбы. Это настоящая алгебра революции[3].

Герцен был совершенно прав в смысле окончательного вывода. Но он пришел к нему ошибочным путем. Поясним это примером.

«Римская республика была действительна,— говорит Энгельс, развивая мысль Гегеля,— но так же действительна была и сменившая ее римская империя». Спрашивается: почему же империя сменила республику? Закон достаточной причины ручается нам только за то, что этот факт не мог быть беспричинным. Но он не дает ни малейшего указания относительно того, где надо

искать причины или причин данного факта. Может быть, республика уступила место империи потому, что у Цезаря было больше военного таланта, чем у Помпея; может быть, потому, что Кассий и Брут наделали ошибок; может быть, потому, что очень ловок и хитер был Октавий, а может быть, и еще по каким-нибудь случайным причинам. Гегель не довольствуется подобными объяснениями. По его мнению, случайность есть лишь оболочка, под которой скрывается необходимость. Конечно, и понятие о необходимости можно истолковать очень поверхностно; можно сказать, что падение римской республики сделалось необходимым потому и только потому, что Цезарь победил Помпея. Но у Гегеля это понятие имело другой, несравненно более глубокий смысл. Когда он называл данное общественное явление необходимым, то у него это значило, что оно подготовлено всем предыдущим ходом развития той страны, в которой оно совершается. В этом ходе и следует искать его причин или его причины. Следовательно, если пала римская республика, то дело объясняется не талантом Цезаря и не ошибками Брута или какого-нибудь другого человека, или какой-нибудь группы людей, а тем, что во внутренних отношениях Рима произошли какие-то перемены, благодаря которым стало невозможным дальнейшее существование республики. Какие же именно перемены? На такого рода вопросы сам Гегель часто давал неудовлетворительные ответы. Но не в этом дело. Важно то, что взгляд Гегеля на общественные явления гораздо глубже взгляда тех людей, которые знают только одно: *нет действия без причины*. Но и это еще не все. Гегель оттенял еще более глубокую и еще более важную истину. Он говорил, что всякая данная совокупность явлений в процессе своего развития *сама из себя* создает те силы, которые ведут к ее отрицанию, т. е. исчезновению, что, следовательно, всякий данный общественный строй в процессе своего исторического развития *сам из себя* создает те общественные силы, которые разрушают его и заменяют новым. Отсюда сам собою вытекает, хотя и не оттеняется Гегелем, следующий вывод: если я отрицательно отношусь к данному общественному строю, то мое отрицание «*разумно*» только в том случае, когда оно совпадает с тем объективным процессом отрицания, который происходит в собственных недрах этого строя, т. е. когда этот строй утрачивает свой исторический смысл, вступает в противоречие с теми общественными нуждами, которым он обязан своим возникновением.

Попробуем теперь применить эту точку зрения к тем общественным вопросам, которые волновали русскую образованную молодежь тридцатых годов. Русская «действительность» — крепостное право, деспотизм, всемогущество полиции, цензура и проч. и проч. — казалась ей гнусной, несправедливой. Она

с невольным сочувствием вспоминала о недавней тогда попытке декабристов изменить к лучшему наши общественные отношения. Но она — по крайней мере, самые даровитые люди в ее среде — уже не довольствовалась ни отвлеченным революционным отрицанием XVIII-го века, ни кичливым и себялюбивым отрицанием романтиков. Благодаря Гегелю она стала уже гораздо требовательнее. Она говорила себе: «докажи разумность своего отрицания, оправдай его объективными законами общественного развития, или откажись от него, как от личной прихоти, как от ребяческого каприза». Но оправдать отрицание русской действительности внутренними законами развития самой этой действительности значило решить такую задачу, которая не по силам была бы самому Гегелю. Возьмем хоть русское крепостное право. Оправдать отрицание этого права значило показать, что оно *само себя* отрицает, т. е. что оно уже не удовлетворяет тех общественных нужд, в силу которых оно некогда возникло. Каким же общественным нуждам обязано было своим возникновением русское крепостное право? Экономическим нуждам государства, которое умерло бы от истощения, если бы не закрепостило крестьянина. Следовательно, надо было показать, что в XIX веке крепостное право стало уже слишком плохим средством удовлетворения экономических нужд государства, что оно не только не удовлетворяло этих нужд, а прямо мешало их удовлетворению. Все это убедительнейшим образом показала впоследствии Крымская война. Но, повторяем, *показать это теоретически* не в состоянии был бы сам Гегель. По прямому смыслу его философии выходило, что причины исторического движения всякого данного общества коренятся в его внутреннем развитии. Этим правильно указывалась важнейшая задача общественной науки. Но Гегель сам противоречил, да и не мог не противоречить, этому глубоко верному взгляду. «Абсолютный» идеалист, он считал логические свойства «*идеи*» основной причиной всякого развития. Свойства идей оказывались, таким образом, коренной причиной исторического движения. И всякий раз, когда перед ним вырастал великий исторический вопрос, Гегель ссылался прежде всего на эти свойства. Но ссылаться на них значило покидать историческую почву и добровольно лишать себя всякой возможности найти действительные причины исторического движения. Как человек величайшего, поистине гениального ума, Гегель сам чувствовал, что дело идет не совсем ладно, что его объяснения, собственно говоря, ровно ничего не объясняют. Поэтому, отдав должную дань «*идее*», он торопился спуститься на конкретную историческую почву, ища реальных причин общественных явлений уже не в свойствах идей, а в них самих, в тех самых явлениях, исследованиями которых он занимался в данное время. При этом

он высказывал часто самые гениальные догадки (подмечая *экономические* причины исторического движения). Но гениальные догадки все-таки оставались не более как догадками. Лишенные прочной, систематической основы, они не играли серьезной роли в исторических взглядах Гегеля и гегельянцев. Поэтому в то время, когда они высказывались, на них не обращали почти никакого внимания.

Великая задача, указанная Гегелем общественной науке XIX века, оставалась нерешенной: действительные, внутренние причины исторического движения человечества оставались ненайденными. И само собой понятно, что не в России мог явиться человек, способный найти их. Общественные отношения России были слишком неразвиты, общественный застой был слишком прочен в ней для того, чтобы эти искомые причины могли выступить в ней на поверхность общественных явлений. Они были найдены Марксом и Энгельсом на Западе, при совершенно иной социальной обстановке. Но и это случилось несколько позже, а в то время, о котором идет речь, гегельянцы-отрицатели и там путались еще в противоречиях идеализма. После всего сказанного понятно, почему молодые русские последователи Гегеля начали полным примирением с русской «действительностью», которая, к слову сказать, была так гнусна, что сам Гегель никогда не признал бы ее «действительной»: не оправданное теоретически, их отрицательное отношение к ней лишалось в их глазах всякого разумного права на существование. Отказываясь от него, они самоотверженно и бескорыстно приносили свои общественные стремления в жертву философской добросовестности. Но, с другой стороны, сама действительность заботилась о том, чтобы заставить их взять назад эту жертву. Ежедневно и ежечасно мозоля им глаза своей гнусностью, она *вынудила их* стремиться к отрицанию во что бы то ни стало, т. е. даже к такому отрицанию, которое не имело под собой удовлетворительной теоретической основы. И они, как известно, уступили настояниям действительности. Распростившись с «философским колпаком» Гегеля, Белинский принялся горячо нападать на те самые порядки, которые он оправдывал еще так недавно. И это, разумеется, было очень хорошо с его стороны. Но надо сознаться, что, поступая так, гениальный писатель понижал уровень своей *теоретической требовательности*, признавал себя, а в своем лице и всю передовую русскую мысль *несостоятельным должником по отношению к теории*[1]. Это не помешало ему высказывать по временам в высшей степени глубокие взгляды на русскую общественную жизнь. Так, например, в одном из своих писем конца сороковых годов он говорит, что только буржуазия, т. е. что только капитализм, создаст почву для серьезного и успешного отрицания безобразной русской действительности[2].

Но в общем он все-таки держится в своем отрицании *утопического* взгляда на общественные явления. Подобного же взгляда держались Чернышевский, «субъективные» писатели конца шестидесятых и начала семидесятых годов и революционеры <той же эпохи и> всевозможных направлений. И замечательно, что, чем дальше подвигалось дело, чем больше забывался Гегель, тем меньше сознавали русские отрицатели, что их общественные взгляды ведут свою родословную от некоторого теоретического грехопадения. Наши «субъективные» писатели возвели научную несостоятельность в догмат. Они старательно писали и переписывали русской общественной мысли свидетельство о теоретической бедности, воображая, что изготовляют для нее самый лестный и драгоценный документ. Но так не могло продолжаться вечно. Одних неудач революционного движения семидесятых годов достаточно было для того, чтобы русская общественная мысль перестала восхищаться своей собственной несостоятельностью. Теоретическая задача, неразрешимая для русских философских кружков сороковых годов, оказалась очень легко разрешимой после того, как Маркс «перевернул вверх дном» гегелевскую философию, т. е. поставил ее на материалистическую основу. Маркс открыл внутренние причины исторического движения человечества. Оставалось только взглянуть с его точки зрения на русские общественные отношения. Это и сделали социал-демократы, часто совершенно независимо один от другого приходившие к одним и тем же взглядам на русскую жизнь. В лице социал-демократов русская общественная мысль вошла, наконец, в общее русло научной мысли XIX-го века. Теоретическое грехопадение старых западников было искуплено: для отрицания русской действительности была *в ней самой* найдена непоколебимая объективная *основа*. <Ср. мою статью «Zu Hegel's sechszigstem Todestage» в «Neue Zeit», XI, 1891, и мою речь «В. Г. Белинский», Женева 1898> [1].

(3)[2] В 1827 году гегельянец Геннинг стал издавать «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik» («Летописи научной критики») для распространения и защиты взглядов своего учителя. Но Геннинг держался консервативного направления; его журнал не удовлетворял молодых гегельянцев. В 1838 году А. Руге и Т. Эхтмейер основали «Галлеские летописи немецкой науки и немецкого искусства» («Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst»), которые по перенесении издания в 1841 году в Лейпциг получили название «Deutsche Jahrbücher» («Немецкие летописи»). И в религиозном и в политическом отношении «Немецкие летописи» держались радикального направления. В 1843 г. они были запрещены в Саксонии, и тогда А. Руге вместе с Марксом решился издавать их в Париже под именем «Немецко-французских летописей» («Deutsch-Fran-

zösische Jahrbücher»). В числе их сотрудников были Фридрих Энгельс и Г. Гейне. К сожалению, вышла только одна книжка «Немецко-французских летописей», содержащая в себе первый и второй выпуски. В этой книжке были, между прочим, напечатаны замечательные статьи Маркса: «Einleitung zur Kritik der Hegel'schen Rechtsphilosophie» («Введение в критику гегелевской философии права»,—по-русски издано в Женеве в 1888 году) и «Zur Judenfrage» («К вопросу о евреях») и не менее замечательная статья Энгельса «Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie» («Очерки для критики политической экономии», перепечатано в «Neue Zeit», № 8, девятый год издания)[1].

«Rheinische Zeitung»[2] («Рейнская газета») основана была в Кельне Кампгаузеном, Ганземанном и их единомышленниками. Маркс был ее деятельнейшим и талантливейшим сотрудником. В ⟨половине октября⟩ 1842 года он сделался ее редактором. В то время он не был еще социалистом[3], но и тогда уже так резко нападал на правительство, что под его руководством газета просуществовала только несколько месяцев. ⟨№ от 17 марта 1843 года вышел с краткой заметкой: «Нижеподписавшийся заявляет, что он, вследствие *нынешних цензурных условий*, вышел из редакции «Рейнской газеты». *Д-р Маркс*». (Курсив в подлиннике) 31-го марта того же года выход газеты должен был прекратиться в силу правительственного постановления, состоявшегося еще 25 января. Редакция прекратила ее издание за несколько дней до этого срока, именно 28 марта.⟩ Впрочем, Маркс был почти рад ее запрещению. Предыдущая литературная деятельность показала ему недостаточность его *экономических* сведений, и он стремился пополнить их; кара, обрушившаяся на «Кельнскую газету»[4], дала ему возможность запереться на время в ученом кабинете. Когда Маркс снова выступил на поприще литературной и политической деятельности, он уже обладал не только обширным запасом недостававших ему прежде знаний, но, что важнее всего, он имел новый взгляд на экономическую науку, составивший эпоху в ее истории.

⟨Наиболее замечательные из статей Маркса, появившихся в этой газете, изданы недавно Ф. Мерингом в «Gesammelte Schriften von Karl Marx und Fr. Engels, 1841 bis 1850», т. I, стр. 208—321. Для русского читателя эти статьи до сих пор не утратили своего публицистического интереса. Излишне прибавлять, что они очень важны для истории умственного развития самого Маркса.⟩[5]

В июне 1848 года Маркс, при участии Энгельса, Фрейлиграта, Вильгельма Вольфа (памяти которого посвящен «Капитал»), основал в том же Кельне «Новую Рейнскую газету». В ней Маркс и его главнейшие сотрудники выступают уже вполне убежденными социалистами в новейшем смысле этого слова,

т. е. в том смысле, который придали ему их же работы. «Новая Рейнская газета», даже по признанию врагов, была самым замечательным литературным явлением своего времени. Но о ней можно и должно сказать больше этого: с нею не может сравниться ни одна из социалистических газет, существовавших как *до* нее, так и *после*. Она была запрещена в июне 1849 г. за открытый призыв к «неповиновению власти», тогда уже быстро оправлявшейся от ударов, нанесенных ей революцией[1].

(4)[2] Благодаря заботливости цензуры упоминаемые Энгельсом взгляды Штрауса и Б. Бауэра до сих пор мало известны русской читающей публике. Мы считаем поэтому не лишним изложить их здесь в немногих словах.

Дело вот в чем. Если вы убеждены, что так называемое священное писание продиктовано самим богом (духом святым), избиравшим себе в секретари то того, то другого святого мужа, то вы не допустите даже и мысли о том, что в названном писании могут быть какие-нибудь <ошибки и> несообразности. Все, что рассказывается там, имеет для вас значение самого бесспорного факта. Искушая Еву, змий произносит речь, достойную вкрадчивого и искушенного жизнью иезуита. Это несколько странно; но для бога нет ничего невозможного: кажущаяся странность служит лишь новым образчиком его всемогущества. Известная Валаамова ослица вступает в беседу со своим седоком. Это опять не совсем обыкновенное явление; но для бога и т. д. и т. д., по той же, раз навсегда установленной формуле. Вера не смущается ничем, <даже нелепостью: credo quia absurdum>. Вера есть «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых, т. е. уверенность в невидимом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем». А для религиозного человека всемогущество бога, творца и господина природы, есть именно то, чего он *«желает»* всего больше. Все это было бы очень хорошо, очень трогательно и даже очень прочно, если бы человек, борясь с природой за свое существование, не был вынужден вкушать от «древа познания добра и зла», т. е. постепенно изучать *законы* этой самой *природы*. Раз вкусив от опасного «древа», он уже не так легко поддается влиянию вымысла. Если он по старой привычке и продолжает верить во всемогущество бога, то его вера принимает уже другой характер: бог отходит назад, так сказать, за кулисы мира, а на первый план выступает природа с ее вечными, железными, неизменными законами. Но чудо непримиримо с законосообразностью: законосообразность не оставляет места для чудес; чудеса отрицают законосообразность. Спрашивается теперь; как же могут относиться к библейским рассказам о чудесах люди, доросшие до понятия о неизменных законах природы? Они вынуждены *отрицать* их. Но отрицание принимает различные виды, смотря по складу и ходу

той общественной жизни, в которой совершается данное умственное течение.

Французские просветители XVIII-го века просто смеялись над библейскими рассказами, считая их проявлением невежества или даже шарлатанства. Это резкое, отрицательное отношение к Библии подсказывалось французам той борьбой, которую вело тогда в их стране третье сословие против «привилегированных» вообще и против духовенства в частности. В протестантской Германии того же времени дело обстояло иначе. Во-первых, само духовенство играло в ней со времени реформации совсем не такую роль, какая принадлежала ему в католических странах; во-вторых, «третье сословие» Германии было еще очень далеко тогда от мысли о борьбе против «старого порядка». Эти обстоятельства наложили свою печать на всю историю немецкой литературы XVIII века. Между тем как во Франции образованные представители третьего сословия пользовались каждым новым выводом, ⟨каждой новой гипотезой⟩ науки как оружием в борьбе с представлениями и понятиями, выросшими на почве отживших общественных отношений, в Германии речь шла не столько о том, чтобы *истребить* старые предрассудки, сколько о том, чтобы *согласить* их с новыми открытиями. Для революционно настроенных французских просветителей религия была плодом *невежества и обмана*. Для немецких сторонников просвещения — даже для самых передовых из них ⟨,например для Лессинга⟩ — она была «*воспитанием человеческого рода*». Сообразно с этим и Библия являлась в их глазах не такой книгой, к которой можно было относиться отрицательно и насмешливо. Они старались «*просветить*» эту книгу, придать новый смысл ее рассказам, привести их в соответствие с «духом времени». И вот началось самое усердное терзание Библии. В Ветхом Завете бог «говорит» чуть не на каждой странице. Но это не значит, что он говорил в самом деле. Это лишь одно из тех переносных выражений, на которые так падки восточные люди. Когда мы читаем, что бог сказал то или другое, мы должны понимать это в том смысле, что он внушил те или другие идеи тому или другому из своих верных подданных. То же и со змием-искусителем, то же и с Валаамовой ослицей. Эти животные вовсе не говорили в действительности. Они лишь навели на известные мысли своих будто бы собеседников. В Троицын день совершилось, как известно, сошествие на апостолов святого духа в виде огненных языков. Это опять лишь переносное выражение. Автор или авторы «Деяний святых апостолов» хотели сказать этим лишь то, что апостолы испытали тогда сильный припадок религиозного чувства. Впрочем, по истолкованиям других «просвещенных» исследователей, дело происходило несколько иначе. Сошедшие на апостолов огненные языки представляли

собою совершенно естественное явление: именно — электрические искры. Точно так же, если Павел ослеп, идя по дороге в Дамаск, то это объясняется естественным влиянием грозы; а если старец Анания исцелил его прикосновением своих рук, то ведь известно, что у стариков часто бывают очень холодные руки, а холод уменьшает воспаление. Если Иисус воскресил многих мертвецов, то это объясняется тем простым обстоятельством, что он имел дело не с трупами, а с живыми организмами, находившимися в обмороке. Его собственная смерть на кресте была лишь мнимою смертью. По истолкованию довольно известного в свое время д-ра Паулуса*, Иисус сам был удивлен (voll Verwunderung) своим неожиданным возвращением к жизни. Наконец, о вознесении его на небо не может быть речи уже по одному тому, что и сами евангелисты выражаются на этот счет крайне неопределенно: они говорят, что он был взят на небо (Марк); но не значит ли это, что на небо взята его душа *после его смерти*? Да и с какой стати вздумали бы евангелисты рассказывать вещи, которым не мог бы поверить ни натуралист, ни астроном, «могущий точно рассчитать, как много времени надо пушечному ядру для того, чтобы долететь до... Сириуса»?

Излишне доказывать, что *подобная* критика евангелий совершенно несостоятельна, что она свидетельствует именно об отсутствии истинно критического отношения к вопросу у ее представителей. ⟨Она могла быть хороша и полезна как *первый шаг*. Но за первым шагом, сделанным еще Спинозой, должен был следовать второй, а этого-то *второго* шага и не сделали немецкие просветители.⟩ Вся заслуга Штрауса (1808—1874) заключается в том, что он положил конец бесплодным попыткам «сделать невероятное вероятным, исторически мыслимым то, чего не было в истории». Штраус видел в евангельских рассказах не повествования (более или менее точные, более или менее искаженные) о действительных событиях, а лишь *мифы*, бессознательно сложившиеся в недрах христианских общин и отражавшие собою мессианические идеи того времени, в которое они возникли. Подобно этому и речи Иисуса — и особенно самые возвышенные из них, приводимые в так называемом евангелии от Иоанна,— казались Штраусу плодом позднейшего творчества. В своей новейшей обработке «Жизни Иисуса» он так излагает свой тогдашний взгляд на возникновение евангельских мифов:

«В качестве ключа к евангельским повествованиям о чудесах, а равно и ко многим другим евангельским рассказам, противо-

* Издавшего в 1800—1804 годах свой «Evangeliencommentar» [«Комментарий к Евангелию»], а в 1828 году «Das Leben Jesu» [«Жизнь Иисуса»], которую мы и имеем в виду в нижеследующих ссылках на Паулуса.

речащим историческому взгляду, я предложил... понятие о *мифе*. Напрасно было бы, говорил я, искать естественных объяснений для таких, например, фактов, о каких сообщают нам рассказы о звезде, явившейся восточным мудрецам, о преображении, о чудесном насыщении несколькими хлебами нескольких тысяч человек и т. п.; но так как, с другой стороны, нельзя допустить, что такие сверхъестественные явления действительно совершались, то остается признать подобные рассказы вымыслами. На вопрос, почему же во время возникновения наших евангелий сочинялись об Иисусе такого рода рассказы, я отвечал прежде всего указанием на тогдашние ожидания Мессии. Я говорил, что после того, как сначала небольшое, а затем все более и более возраставшее число людей стало признавать Иисуса за Мессию, эти люди прониклись уверенностью в том, что с ним должно было случиться все то, чего ожидали от Мессии, основываясь на ветхозаветных пророчествах, прообразах и их ходячих объяснениях. Как бы ни было хорошо известно, что Иисус родился в Назарете, но в качестве Мессии и сына Давидова он все-таки должен был родиться в Вифлееме, потому что так пророчествовал Михей. Предание могло сохранить очень резкие отзывы Иисуса о страсти его земляков к чудесам. Но так как первый освободитель народа Моисей делал чудеса, то их должен был совершать и последний его освободитель, Мессия, т. е. Иисус. Исаия предсказывал, что, когда явится Мессия, откроются очи слепых, глухие станут слышать, хромые будут скакать, как олени, и развяжутся языки косноязычных. Таким образом, было с точностью известно, какие именно чудеса должен был совершить Иисус, т. е. Мессия. Вот почему первые христианские общины не только могли, но и должны были сочинять рассказы об Иисусе, сами не сознавая, однако, что они их сочиняют!.. Такой взгляд ставит происхождение христианских мифов на одну доску с тем, что мы встречаем в истории возникновения прочих религий. В том-то и заключаются новейшие успехи науки в области мифологии, что она поняла, как возникают мифы, представляющие собою не сознательное и намеренное измышление отдельного лица, а продукт общего сознания целого народа или религиозного общества. Конечно, кто-нибудь первый должен высказать это общее убеждение. Миф не есть оболочка, в которую мудрец для пользы и назидания невежественной толпы прячет известную идею. В мифе идея возникает лишь вместе с рассказом, существует лишь в виде рассказа и в своем чистом виде непонятна самим рассказчикам...

Но чем более евангельские мифы принимают, по крайней мере отчасти, новый и самостоятельный характер, тем труднее представить себе, чтобы их авторы не сознавали, что выдают собственные вымыслы за действительные происшествия. Тот,

кто первый сообщил о рождении Иисуса в Вифлееме, мог добросовестно верить в это, так как пророк Михей предсказал пришествие Мессии из Вифлеема. Иисус же был Мессией и, следовательно, должен был родиться в Вифлееме. Напротив, тот, кто первый сообщил, что в момент смерти Иисуса разодралась завеса в храме (Мат. 27, 51), должен был, казалось бы, сознавать, что рассказывает нечто такое, чего он не видал, о чем он ни от кого не слыхал, что выдумал он сам. Но именно в этом случае переносное выражение вроде находящегося в «Послании к евреям» (10, 19), где говорится, что смерть Иисуса открыла нам путь через завесу храма во святая святых, легко могло быть понято слушателем в буквальном смысле, и, таким образом, рассказ мог возникнуть без всякого участия сознательного вымысла. Так же точно рассказ о призвании четырех апостолов в ловцы человеков мог быть передаваем в том виде, что ловля, на которую звал их Иисус, была гораздо производительнее их прежнего малодоходного занятия, а из этого, при дальнейшем переходе из уст в уста, легко мог сам собою сложиться рассказ о чудесной рыбной ловле (Лука, 5). Данные, из которых складывается рассказ о воскресении Христа, тоже кажутся на первый взгляд одним из двух: или истинными происшествиями, или несомненной и сознательной ложью. Но и тут при внимательном рассмотрении оказывается, что дело обстоит не так. В споре с христианином еврей мог сказать: не диво, что гроб оказался пустым, когда вы украли из него тело.— «Мы украли?— возражал христианин.— Как могли мы сделать это, когда вы усердно сторожили гроб». Он говорил так, потому что так предполагал, но следующий рассказчик, с его слов, передавал уже с гораздо большею уверенностью: «гроб сторожили»; потом стали говорить, что его и запечатали, так как о печати упоминает Даниил, львиная пещера которого служила прообразом гроба Иисусова... Или еврей мог сказать: «он, может быть, и являлся вам, но являлся, как бестелесный призрак с того света». «Как бестелесный призрак?— возражал христианин:— да у него были еще раны от гвоздей (для христианина это само собою разумелось), он показывал их».— При последующей передаче могли прибавить уже и ощупывание ран: подобные рассказы могли слагаться совершенно добросовестно, совершенно противореча в то же время исторической истине»*.

Взгляд Штрауса, без всякого сомнения, был огромным шагом вперед по сравнению с вышеприведенными взглядами его предшественников. Но нетрудно видеть, что и он не чужд был до-

* Das Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet von David Friedrich Strauss, dritte Auflage, Leipzig 1874, S. S. 150—155. [«Жизнь Иисуса», обработанная для немецкого народа Давидом Фридрихом Штраусом, изд. 3, Лейпциг 1874, стр. 150—155.][1]

вольно значительных недостатков. «Те изменения, которым подвергаются исторические события, проходя чрез устное предание, указанный Штраусом рост мифов, одним словом, народная христианская легенда объясняет лишь черты, общие всем евангелиям, или те их разноречия, которые, отличаясь случайным и непроизвольным характером, не обнаруживают резко обозначенной тенденции и не составляют постоянной принадлежности кого-нибудь одного из них. Но когда мы, наоборот, видим, что некоторые характеристические черты приводятся в одном из евангелий и отсутствуют в остальных, мы не можем объяснить их мотивами, свойственными всей христианской легенде вообще; мы вынуждены приписать их влиянию частных мнений и интересов самого автора данной книги или той христианской группы, выразителем которой он явился. А когда эти особые черты проявляются не только в некоторых отдельных местах данного сочинения; когда все оно, повидимому, написано именно затем, чтобы оттенить их как можно сильнее; когда ими определяется и распределение материала, и хронология, и второстепенные частности рассказа, и самый слог; когда в сочинении встречаются длинные речи и разговоры, обыкновенно не сохраняемые легендой,— а все эти обстоятельства поражают нас в четвертом и, хотя в меньшей степени, в третьем евангелии,— тогда мы можем быть уверены, что имеем дело не с простым письменным изложением религиозной легенды, а с сознательным творчеством писателя»*. Следовательно, мифологическая теория Штрауса объясняет далеко не все то, что должна была объяснить. Впоследствии сам Штраус убедился в этом. В своей новейшей обработке «Жизни Иисуса» он отвел уже значительно больше места «сознательному творчеству писателей». Но в то время, о котором идет речь у Энгельса, т. е. в сороковых годах, он еще не заметил слабой стороны своего взгляда, на которую резче всех напал Бруно Бауэр.

Бауэр (1809—1882) упрекал Штрауса в склонности к *мистическому и сверхъестественному*, так как в его теории мифов «непосредственно действует общее, род, религиозная община, предание» и не остается места для *посредствующей деятельности самосознания*. «Ошибка Штрауса,— говорил он,— состоит не в том, что он указывал на известную общую силу (т. е. силу предания), а в том, что эта сила действует у него исключительно только в общем виде, прямо из недр своей всеобщности. Это представляет собою религиозный взгляд, веру в чудесное, воспроизведение религиозных представлений на точке зрения кри-

* Ed. Zeller, Christian Baur et l'école de Tubingue, traduit par Ch. Ritter, Paris 1883; p. 98. [Эд. Целлер, Христиан Баур и Тюбингенская школа, пер. Ш. Риттера, Париж 1883, стр. 98.]

тики, религиозную грубость и неблагодарность по отношению к самосознанию»...Противоположность взглядов Штрауса, с одной стороны, и Бауэра — с другой, есть «противоположность рода и самосознания, субстанции и субъекта»*, т. е., другими словами, Штраус указывает на бессознательное возникновение евангельских рассказов, а Бауэр говорит, что они в историческом процессе своего образования прошли чрез сознание людей, *намеренно сочинявших* их ради той или другой религиозной цели. Это весьма заметно в так называемом евангелии Иоанна**, который создал совершенно особого Иисуса, совсем непохожего на Иисуса других евангелий. Но и остальные евангелисты далеко не были чужды подобного сочинительства. Так называемый Лука перекраивает и перешивает по-своему евангелие, сочиненное так называемым Марком, а так называемый Матфей, писавший позже их обоих, весьма бесцеремонно обращается и с Лукой и с Марком, стараясь согласить их между собою и приспособить их повествования к религиозным взглядам и стремлениям своего времени. Но ему так и не удается решить эту не совсем легкую задачу. Он запутывается в целом ряде самых нелепых противоречий. Вот один из многих примеров. Матфей говорит, что после своего крещения Иисус был отведен духом в пустыню для того, чтобы там его искушал дьявол. Спрашивается: зачем же духу, т. е. богу, нужно было испытывать Иисуса посредством дьявола? «Ведь он мог же знать, что тот, которого он только что (при крещении.— *Г. П.*) назвал своим возлюбленным сыном, недоступен искушениям»***. Но дело в том, что Матфей просто запутался в своем повествовании. «Ему не хотелось просто списать рассказы своих предшественников; он старался объяснить их и обнаружить их внутреннюю связь»****. У Луки и у Марка он прочел, что дух отвел Иисуса в пустыню, где тот и был искушаем дьяволом. Стало быть, решил он, дух затем и отвел Иисуса в пустыню, чтобы там испытать его с помощью дьявола. Так и рассказал он в своем евангелии, не заметив, в какое нелепое положение попадает у него всеведущий бог, находящий нужным испытывать своего собственного сына. А вот еще более яркий пример. Исаия «пророчествует» о «гласе вопиющего в пустыне» («уготовайте путь Господу»). Чтобы сбылось «реченное от пророков», Марк и Матфей

* Die gute Sache der Freiheit, Zürich und Wintertur. 1842, S. S. 117—118. [Правое дело свободы, Цюрих и Винтертур. 1842, стр. 117—118.] [1]

** Теперь уже всеми признано, что апостол Иоанн не был его автором.

*** Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, zweite Auflage, Leipzig 1846, I Band, S. 213. [Критика евангельской истории синоптиков, изд. 2, Лейпциг 1846, т. I, стр. 213.]

**** Ibid., S. 214. [Там же, стр. 214.]

заставляют Иоанна Крестителя проповедовать в «пустыне». Матфей даже точно обозначает, в какой именно пустыне: в *Иудейской*. Потом он, очевидно повторяя слова Марка и Луки, сообщает, что к Иоанну стекалось много кающихся, которых он и крестил в Иордане. Но достаточно взглянуть на карту Палестины, чтобы увидеть, что Иоанн не имел решительно никакой физической возможности крестить кающихся в Иордане, проповедуя в Иудейской пустыне: она лежит далеко от этой реки*. ⟨Подобные ошибки приходится признать *личными* промахами рассказчика.⟩

Выбирая у различных евангелистов отдельные, почему-либо поразившие их черты из жизни Иисуса, верующие, а то и просто сентиментальные люди составляют для своего духовного обихода более или менее привлекательный образ «искупителя», соответствующий их понятиям, вкусам и наклонностям. Уже критика Штрауса очень затруднила эту выделку мозаичного Христа. Бауэр своей критикой евангелий** грозил сделать ее совершенно невозможной: он совсем не признавал исторического Иисуса. Понятно поэтому, какой ужас нагнал он на благочестивых и «почтенных» людей. Его лишили права преподавания на богословском факультете (он был приват-доцентом названного факультета в Бонне), его резко осуждали в целом ряде брошюр, статей и факультетских докладных записок. Но Германия сороковых годов XIX столетия уже не похожа была на Германию XVIII века. Приближалась революционная буря 1848 года; возбуждение передовых слоев немецкого народа росло, что называется, не по дням, а по часам; литературные представители этих слоев нимало не смущались тем обстоятельством, что выводы их критики идут вразрез с установившимися понятиями; напротив, они все более и более проникались склонностью к отрицанию. На нападки своих «почтенных» противников Б. Бауэр ответил очень резко, причем не щадил ни религии вообще, ни «христианского государства». Еще резче спорил его брат, Эдгар, который за свою изданную в 1844 году в Берне книгу «Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat» («Спор критики с церковью и государством») был посажен в крепость. Разумеется, подобный полемический прием со стороны защитников порядка не может быть признан очень похвальным, но надо сознаться, что в этом сочинении Эдгар Бауэр зашел так

* Ibid., S. 143. [Там же, стр. 143.]

** Первое издание: «Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker», I und II Band, Leipzig 1841. «Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker und des Iohannes», III und letzter Band, Braunschweig 1842. [«Критика евангельской истории синоптиков», т. I и II, Лейпциг 1841. «Критика евангельской истории синоптиков и Иоанна», т. III и последний, Брауншвейг 1842.]

далеко, что его взгляды и теперь еще могли бы запугать многих и многих «передовых» представителей русской литературы. Он не признавал ни бога, ни частной собственности, ни государства. Он зашел так далеко, что дальше уже *некуда* было идти в отрицательном направлении. Впрочем, нет, мы ошибаемся: можно и должно было сделать еще один, *и самый решительный*, шаг в этом направлении: можно и должно было поставить вопрос, насколько прочно оружие критики? Насколько основательна она в своем отрицании? Или, иначе, насколько освободилась она сама от тех предрассудков, на которые она нападала? Этим вопросом и задались люди, пошедшие еще дальше братьев Бауэров,— Маркс и Энгельс в своей книге «Die Heilige Familie» («Святое семейство»)[1]. Оказалось, что «критическая критика» обеими ногами стояла на почве того же идеализма, против которого она так жестоко воевала. И в этом состоял ее главнейший недостаток. Пока Б. Бауэр, опираясь на права «самосознания», разбирал евангельские рассказы, он мог нанести много тяжелых ударов освященным временем предрассудкам; но когда он вместе с своим братом перешел к критике «государства» и к оценке таких великих событий, каковы были французские события конца прошлого и начала нынешнего века, у него получились частью прямо ошибочные, а частью вообще неосновательные и неубедительные выводы. Да иначе и быть не могло. Сказать, что данная общественная форма противоречит моему «самосознанию», еще не значит определить ее историческое значение. А не оценив ее значения, нельзя ни правильно понять ее, ни бороться против нее с серьезной надеждой на успех. Маркс и Энгельс сделали как раз то, что подсказывалось всем ходом развития философской мысли XIX столетия: распростившись с идеализмом, надо было распроститься и с самодержавием «самосознания»; надо было найти и указать те причины, которыми определяется оно *в свою очередь*. Удачно ли выполнили Маркс и Энгельс взятую на себя задачу, об этом здесь не место распространяться, об этом пусть судят читатели на основании их сочинений. Заметим только, что отвлеченный радикализм братьев Бауэров во многом напоминает наш российский «субъективный метод в социологии»: те же беспрестанные ссылки на «критику», на «критический дух» (который у нас называется «критической мыслью»); то же неуменье вдуматься в тот *критический* процесс, который происходит *в недрах самих общественных отношений* и который определяет собою «самосознание» людей. Очень интересно и весьма поучительно было бы провести в особой статье параллель между доводами, приводимыми Эдгаром Бауэром («Der Streit der Kritik», viertes Kapitel) против Гегеля, с одной стороны, и возражениями, выдвинутыми против Спенсера Ник. Михайловским,— с другой[2]. Такая параллель

показала бы, до какой степени мало нового в пресловутом субъективном методе. Она показала бы также, что вся оригинальность русских субъективных социологов сводится к бессознательному повторению чужих ошибок, давно уже замеченных и исправленных западноевропейскими мыслителями.

(5)[1] Не имея ни нужды, ни возможности вдаваться здесь в подробности относительно жизни Фейербаха, мы ограничимся несколькими строками, заимствуемыми из «*Истории новой философии*» Ибервега-Гейнце[2] (стр. 394 русск. пер.). «Сын знаменитого криминалиста Ансельма Фейербаха, он родился в 1804 г., изучал сначала богословие и... сделался приверженцем Гегеля. Перебравшись в 1824 г. в Берлин, он слушал самого Гегеля и скоро совсем отдался философии. В 1828 г. он стал читать лекции в Эрлангене, с 1836 г. жил в деревушке Брукберге между Анбахом и Байрейтом, с 1869 г. в Рейхенберге, возле Нюренберга, в стесненных обстоятельствах, и умер в 1872 г.»

Содержание его «*Сущности христианства*»[3] также может быть изложено в немногих словах[4].

«Религия,— говорит Фейербах,— есть бессознательное самосознание человека». В религии человек обоготворяет самого себя, свою собственную «*сущность*». Сущность бога есть сущность человека, или, лучше сказать, сущность человека, очищенная, освобожденная от ограниченности отдельного лица. «Совершенство бога,— говорит Лейбниц в своей «Теодицее»,— есть совершенство наших душ, но он обладает им во всей его полноте... в нас есть *некоторое* могущество, *некоторые* знания, *некоторая* доброта, богу *вполне* присущи все эти свойства». Это совершенно верно и значит лишь то, что «*все свойства бога суть человеческие свойства*». Но религиозный человек *не сознает*, что он обоготворяет свою собственную сущность. Он объективирует ее, т. е. «созерцает и почитает, как другое, отличное от него, самостоятельное существо». Религия есть раздвоение человека, разрыв его с самим собою. Из этого вытекает двоякий вывод.

Во-первых, Гегель совершенно извращал истину, когда говорил: «то, что человек знает о боге, есть знание бога о самом себе», или, иначе, «бог познает себя в человеке». На самом деле выходит как раз наоборот: человек познает себя в боге, и то, «что человек знает о боге, есть знание человека о самом себе». Свойства бога изменяются сообразно тому, как думает и чувствует человек. «Какова стоимость человека, такова — и не более того — стоимость его бога... религия есть торжественное разоблачение скрытых сокровищ человека... открытое исповедание его любовных тайн». Всякий шаг вперед в религии есть шаг вперед в познании человеком самого себя. Христос, воплотившийся бог, есть «бог, лично знакомый людям... счастливая уверенность в том, что бог существует, и существует в том самом

виде, в каком чувству нужно и хочется, чтобы он существовал... Поэтому только во Христе осуществляется последнее желание религии, раскрывается тайна религиозного чувства (разумеется, раскрывается свойственным религии образным языком); что в боге было *сущностью*, стало *явлением* в Христе... В этом смысле христианская религия может быть названа абсолютной религией». Восточные религии, например индийская, тоже говорят о воплощениях бога. Но в них эти воплощения совершаются слишком часто и «именно потому лишаются своего значения». Воплотившийся бог не становится в них *личностью*, т. е. *человеком*, так как без личности нет человека.

Во-вторых, так как в религии человек имеет дело с самим собою, как с посторонним, отдельным, противоположным ему существом; так как она есть лишь *бессознательное* самосознание человека, то она неизбежно приводит к целому ряду противоречий. Когда верующий человек говорит: бог есть любовь, он говорит в сущности только то, что любовь выше всего на свете. Но в его религиозном сознании любовь принижается до степени *свойства* отдельного существа, *бога*, который имеет значение и независимо от любви. Вера в бога становится для религиозного человека непременным условием любовного, сердечного отношения к ближнему. Он ненавидит атеиста во имя той самой любви, которую проповедует и обоготворяет. Так извращает взаимные отношения людей вера в бога, извращающая отношение человека к своей собственной сущности. Она становится источником фанатизма и всех связанных с ним ужасов. Она проклинает во имя спасения, она свирепствует во имя блаженства. Бог есть иллюзия. Но это крайне вредная иллюзия: она связывает разум, убивает естественную склонность человека к истине и добру... Поэтому *доросший до самосознания разум* должен *уничтожить ее*. И ему нетрудно сделать это. Ему надо только вывернуть наизнанку все отношения, создаваемые религией. То, что в религии является *средством* (например, добродетель, служащая средством приобретения вечного блаженства), должно стать *целью*; то, что в религии является подчиненным, второстепенным делом, *условием* (например, любовь к ближнему — *условие* божеского к нам расположения), должно стать главным делом, *причиной*. «*Справедливость, истина, добро заключают свое священное основание в самих себе, в своем качестве. Для человека нет существа выше человека*».

<В 1902 г. редакция журнала «Mouvement Socialiste»* предприняла целую enquête** по вопросу об отношении социалистических партий разных стран к *клерикализму*[1]. Вопрос этот

* [«Социалистическое движение»]
** [анкету]

имеет теперь самое очевидное *практическое* значение. Но для его правильного решения необходимо предварительно выяснить себе другой, преимущественно *теоретический* вопрос: *вопрос об отношении научного социализма к религии.* Этот последний вопрос почти совсем не разбирается в международной социалистической литературе наших дней. И это составляет большой пробел в ней, объясняющийся именно «*практичностью*» большинства нынешних социалистов. Говорят: религия — частное дело. Это верно, но верно только в известном, ограниченном смысле. Разумеется, социалистическая партия всякой данной страны поступила бы очень *нерасчетливо*, если бы отказалась принять в свои ряды человека, признающего ее программу и готового трудиться для осуществления этой программы, но в то же время сохраняющего известные религиозные предрассудки. Однако еще более нерасчетливо поступила бы всякая партия, если бы отказалась от теории, лежащей в основе ее программы. А теория — современный *научный социализм* — отвергает религию, как порождение ошибочного взгляда на природу и на общество, и осуждает ее, как препятствие для всестороннего развития пролетариев. Мы *не имеем права* закрыть двери своей организации перед человеком, зараженным религиозной верой; но мы *обязаны* сделать все зависящее от нас для того, чтобы разрушить в нем эту веру или, по крайней мере, чтобы помешать нашему религиозному товарищу — конечно, помешать духовным оружием — распространить свой предрассудок в рабочей среде. Последовательное социалистическое миросозерцание совершенно несогласимо с религией. Неудивительно поэтому, что основатели научного социализма относились к ней с резким отрицанием. Энгельс писал: «Мы хотим устранить с нашего пути все то, что является нам под знаменем сверх-человеческого и сверхъестественного... Поэтому, мы раз навсегда объявляем войну религии и религиозным представлениям»[1]. В свою очередь Маркс называл религию тем опием, которым высшие классы стараются усыпить народное сознание, и говорил, что уничтожение религии, как мнимого счастья народа, есть требование его действительного счастья. И тот же Маркс замечал: «Критика религии разочаровывает человека для того, чтобы он думал и действовал, устраивал свою жизнь, как избавленный от чар, отрезвленный человек, чтобы он двигался вокруг самого себя, т.-е. вокруг своего истинного солнца»[2].

Это до такой степени верно, что теперь у нас вернулись в лоно религиозного верования все те бывшие «марксисты», которые в силу своих буржуазных стремлений не желают и не могут желать полного отрезвления пролетариата[3].〉

(6)[4] Энгельс употребляет слова «беллетристика, беллетристический» не в том смысле, в каком их употребляют теперь в

России. Отсюда может выйти недоразумение: «как же это,—спросит читатель,— «истинный» социализм выродился в непривлекательную беллетристику? Вероятно, его последователи писали плохие тенденциозные романы и повести?». Но дело в том, что немцы относят к беллетристике (так назыв. schönen Wissenschaften) не только поэзию (Dichtkunst), но и красноречие (Redekunst). Поэтому вырождение истинного социализма в беллетристику означает вырождение его в непривлекательную риторику, как выразился бы русский писатель. Напомним, что еще у Белинского слово «беллетристика» имело не то значение, которое придается ему у нас теперь.

<О немецком, или «истинном», социализме см. Фр. Меринга «Geschichte der deutschen Socialdemocratie». I. Theil, SS. 199—203[1] (первого издания). Более подробно направление это характеризовано Мерингом в его пояснительных примечаниях к изданным им сочинениям Маркса и Энгельса («Aus dem literarischen Nachlass»* и т. д., т. II, стр. 349—374). Книга профессора Адлера «Geschichte der ersten sozialpolitischen Bewegungen in Deutschland»** интересна в этом случае главным образом заключающимися в ней выписками из сочинений «истинных» социалистов, особенно М. Гесса и К. Грюна. Наилучшая характеристика этого последнего заключается в статье Маркса: «Karl Grün: Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien oder die Geschichtsschreibung des wahren Sozialismus»***[2], появившейся первоначально в «Westfälischen Dampfboot»[3], август — октябрь 1847 г., и перепечатанной потом в «Neue Zeit», 1899—1900, №№ 1—6. Наконец,— last not least**** — надо помнить и относящиеся к истинному социализму немногие, но чрезвычайно содержательные и правдивые, хотя и очень резкие страницы «Манифеста Коммунистической партии» (гл. III, стр. 29—33 моего перевода в издании 1900 г.)[4]. Печатавшиеся в «Neue Zeit» (1895—1896, №№ 37 и 28 и 1896—1897, №№ 34—35) статьи г. Струве утратили теперь почти всякий интерес. Первая из них излагает содержание двух статей Маркса, из которых одна целиком издана теперь Мерингом (статья о Германе Криге, «Aus dem literarischen Nachlass», II. B., SS. 415—445), а другая (о Карле Грюне) перепечатана в вышеуказанных №№ «Neue Zeit»; вторая статья г. П. Струве, «Studien und Bemerkungen zur Entwickelungsgeschichte des wissenschaftlichen Sozialismus»*****, посвя-

* [«Из литературного наследия»]

** [«История первых социально-политических движений в Германии»]

*** [«Карл Грюн: Социальное движение во Франции и Бельгии, или историография истинного социализма»]

**** [последнее по счету, но не по важности]

***** [«Этюды и заметки к вопросу об истории развития научного социализма»]

щена вопросу об *«истории идеи борьбы классов»*. Тут у него Лоренц фон Штейн является первым провозвестником этой идеи, по крайней мере в немецкой литературе. Г-н Струве думает, что Маркс заимствовал ее у Штейна. Это ни на чем не основанная и совершенно невероятная догадка. Чтобы подкрепить ее, г. Струве нужно было бы доказать, что во время выхода книги Л. фон Штейна о французском социализме Марксу оставались совершенно неизвестны сочинения французских историков времен реставрации, которые уже твердо держались точки зрения борьбы классов. Г-н Струве этого не доказал и никогда не докажет. (Читателю, интересующемуся этим вопросом, я позволю себе указать на мое предисловие к «Манифесту Коммунистической партии», изд. 1900 г.) Статья г. Струве интересна теперь с одной только стороны: она показывает нам, как высоко стоял, несмотря на все недостатки своего мышления и на все пробелы своего образования, г. Струве в 1896—1897 гг. сравнительно с тем уровнем, до которого он спустился в своем *«Освобождении»*[1]. Что человек «развился из обезьяны»,— это весьма отрадно; но нет ничего печальнее обратной метаморфозы: от человека к «обезьяне»...

«Истинные» немецкие социалисты *в теории* грешили тем, что не имели никакого понятия об экономии вообще и о борьбе классов в частности; *на практике* их самый тяжелый грех состоял в отрицательном отношении к *«политике»*. Под нападками Карла Грюна на тогдашнее либеральное движение немецкой буржуазии охотно подписался бы теперь любой из наших охранителей. Маркс крайне строго осудил эту огромную ошибку; в этом состоит одна из его многочисленных заслуг. Но, осуждая истинных социалистов, следует помнить, что вопрос об отношении социализма к политике неправильно решался социалистами-утопистами *всех стран*. Россия не представляет собою исключения из общего правила: наши народники и народовольцы тоже очень плохо справлялись с этим вопросом. Мало того: Даже *теперь* между русскими *социал-демократами* распространяются довольно странные взгляды насчет политических задач рабочего класса. Достаточно напомнить толки о *захвате власти* социал-демократами во время предстоящей нам теперь *буржуазной* революции. Сторонники такого захвата забывают о том, что диктатура рабочего класса будет возможна и уместна только там, где речь пойдет о *социалистическом* перевороте. Эти сторонники (группирующиеся вокруг газеты «Пролетарий»)[2] возвращаются к политической точке зрения покойного *«народовольства»*. Основатели научного социализма смотрели на вопрос о захвате власти иначе. «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии,— говорит Энгельс в своей

книге «Der deutsche Bauernkrieg» *,— является вынужденная необходимость овладеть властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. *Возможное* для такого вождя зависит не от его воли, а от уровня, достигнутого противоположностью интересов различных классов, уровня, в свою очередь, зависящего от степени развития материальных условий существования, отношений производства и обмена. С другой стороны, то, что такой вождь *должен* делать то, чего требует от него его собственная партия, также зависит не от него, но, в то же время, и не от степени развития классовой борьбы и не от ее условий: он остается связанным своими прежними доктринами и требованиями, которые также вытекают не из взаимного положения общественных классов в *данный момент*, не от *временных*, более или менее случайных, отношений производства и обмена, но обусловливаются способностью этого вождя к пониманию общих результатов социального и политического движения. Таким образом, перед ним неизбежно вырастает неразрешимая дилемма: то, что он *может* сделать, противоречит всем его предыдущим поступкам, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он *должен* был бы делать, оказывается неисполнимым. Словом, он будет вынужден отстаивать не свою собственную партию, не свой собственный класс, а тот класс, для господства которого уже созрело движение. Он должен будет, в интересах именно этого движения, отстаивать интересы чуждого ему класса и отделываться от своего собственного класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными интересами. Кто раз попал в это ложное положение, тот пропал безвозвратно»[1] (цитировано у меня в «Наших разногласиях», стр. 288—289).

Ленину и окружающим его ницшеанцам и махистам очень полезно было бы подумать об этом. Но есть основания опасаться, что эти «сверхчеловеки» утратили способность к мышлению>[2].

(7)[3] Что значит «отрицать возможность познания мира» или «не считать возможным полное его познание»? Мы сейчас увидим это.

Я ни на минуту не могу усомниться в своем собственном существовании; за него ручается мне ничем не отразимое внутреннее убеждение. «Рассуждая здраво,— прибавит, пожалуй, читатель,— можно бы, кажется, допустить, что у вас нет никаких оснований сомневаться и в существовании той бумаги, на которой вы пишете эти строки». В другое время я и не буду сомневаться в нем, но теперь на меня напала охота пофилософствовать,

* [«Крестьянская война в Германии»]

а для философа не всегда убедительны ходячие «здравые рассуждения». Я спрашиваю читателя: о каком *существовании* бумаги вы говорите? Если вы полагаете, что она существует *вне* меня, принадлежит к числу предметов, входящих в состав так называемого внешнего мира, то я поставлю вам новый вопрос:— Как узнаете вы о существовании этих предметов? ⟨Что ручается вам за существование внешнего мира?⟩ Вам говорят о нем ваши внешние чувства, вам свидетельствуют о нем ваши *ощущения*: вы *видите* эту бумагу и *осязаете* этот письменный стол. Это бесспорно. Но ведь это значит, что вы имеете дело, собственно говоря, *не с предметами, а с ощущениями* и с вырастающими на их основе представлениями. К существованию предметов вы только умозаключаете на основании ощущений. Но чем докажете вы *правильность* подобного умозаключения? Вы думаете, что предметы *причиняют* ощущения. Но, оставляя в стороне вопрос о том, насколько состоятельно ваше представление о *причине* вообще, я попрошу вас объяснить мне, почему вы так уверены, что причина ваших ощущений лежит *вне вас*, а не *в вас самих*. Правда, вы привыкли подразделять свои ощущения на два разряда: 1) те, причина которых лежит в вас самих; 2) те, которые причиняются внешними предметами. Но ведь *только* привыкли. Откуда вы знаете, что это привычное подразделение ощущений не есть следствие свойств вашего «*я*», которое сознает себя лишь постольку, поскольку оно бессознательным актом творчества создает и противопоставляет себе, *в самом себе*, внешний мир — «не *я*»? Мне кажется более вероятным, что именно так и есть на самом деле и что не существует никакого внешнего мира, мира, находящегося вне моего «*я*».

Пока вы возмущаетесь моей «софистикой», я продолжаю философствовать. Но теперь я покидаю точку зрения *субъективного идеализма*, наиболее видным представителем которого был Фихте, и превращаюсь в *скептика*.

Я открываю книгу Юма «*Исследование о человеческом рассудке*» и читаю вам следующие отрывки из ее XII главы [1]. «Конечно, простой, естественный инстинкт заставляет людей верить свидетельству своих внешних чувств... Следуя этому слепому и могучему инстинкту, они всегда будут относить к внешним предметам образы, получаемые ими от внешних чувств, и никогда не усомнятся в том, что эти образы составляют изображение этих предметов». Но если бы философия захотела *доказать*, что инстинкт не обманывает людей, то она попала бы в величайшее затруднение. Решительный довод мог бы быть заимствован только из опыта; но «здесь опыт молчит и должен молчать»: мы имеем дело только с представлениями и никогда не будем в состоянии проверить их связь с предметами. Поэтому разум не дает никаких оснований для признания подобной связи.

Этим, разумеется, не надо смущаться. Все подобного рода соображения составляют лишь бесплодную игру ума. Сам скептик смутился бы, если бы его спросили: чего, собственно, он хочет, чего добивается с помощью своих остроумных доводов? «Человек должен действовать, умозаключать и верить», хотя он и не может, несмотря на все свои усилия, иметь полную уверенность насчет последней основы своих действий и своих умозаключений. Но в философии все-таки не следует упускать из виду эту невозможность. Надо помнить, что область доступного для нас познания мира ограничивается довольно узкими пределами. Ведь мы даже не в состоянии понять истинную природу *причинной связи* одного явления с другим. Мы тысячу раз видели, что камень падает на землю. Поэтому мы *верим*, что он всегда будет падать на нее, если какая-нибудь опора не воспрепятствует его падению. Но наша вера основывается лишь *на привычке*. Разум не делает и не может сделать ее обязательной. Он не ручается нам за то, что так называемый нами закон природы неизменен.

Пойдем дальше. Припомним основное положение философии Канта, испытавшего на себе влияние юмовского скептицизма. Вне нас существуют какие-то предметы. Но какие именно — мы не знаем. Мы, действительно, имеем дело только со своими собственными ощущениями и с образами предметов, вырастающими в нас на их основе. Но ощущение, а следовательно и образ предмета, есть равнодействующая двух сил: свойств предметов, производящих на нас известное впечатление и свойств того приемника, который получает эти впечатления, свойств нашего «я», которое группирует их известным образом, так сказать, расставляет и связывает их *сообразно своей собственной природе*. Уже из одного этого видно, что наши представления о предметах не могут быть похожи на вызывающие их предметы, что иное дело — наши представления, а иное дело — *вещи как они существуют сами по себе*. Но это еще не все. Мы сказали, что наше «*я*» группирует впечатления, производимые на нас внешними предметами (недоступными для нас вещами самими по себе) *сообразно своей собственной природе*. Но как же оно группирует их, как оно расставляет их и связывает? Мы видим вещи *в пространстве*. Спрашивается: существует ли пространство само по себе? *Опыт* не может ответить прямо на этот вопрос. А что касается рассудка, то предположение о пространстве, существующем *вне нас* и независимо от нас, приводит его к противоречивым выводам; остается предположить, что пространство (равно как и *время*) есть не что иное, как *форма нашего созерцания* (или воззрения, как выражаются некоторые русские писатели), и что, следовательно, оно не имеет ровно никакого отношения к вещам самим по себе (к *ноуменам*). От представлений перейдем к *понятиям* и возьмем хоть понятие о *причине*.

Очень возможно, что мы ошибаемся, когда говорим, что явление *А* есть причина явления *В*. Но мы не ошибаемся, когда говорим вообще, что между явлениями существует причинная связь. Устраните понятие о причине, и у вас останется лишь хаос явлений, в котором вы ровно ничего не поймете. Но в том-то и дело, что устранить это понятие *невозможно*. Оно обязательно для нас, оно есть *одна из форм нашего мышления*. Мы не станем пересчитывать других его форм. Скажем только, что, как формы *нашего мышления*, они утрачивают всякий смысл, едва только мы заговариваем о вещах как они существуют сами по себе, *независимо* от нашего мышления. Другими словами, так называемые нами законы природы простираются лишь на мир явлений (феноменов), существующий в нашем сознании, а ноумены (вещи сами по себе) вовсе не подчинены этим законам.

Таким образом, в учении Канта о мире явлений есть два элемента: 1) субъективный *идеалистический* элемент: форма нашего созерцания или мышления, вообще познания; 2) *реалистический* элемент: тот неопределенный материал, который дают нам ноумены и который перерабатывается нашим сознанием. Кант называет свою философию *трансцендентальным идеализмом*. Так как к миру ноуменов неприложимо наше понятие об естественной необходимости, то его *можно* — кому угодно — считать царством полной свободы. В этом мире *могут* найти себе убежище все те призраки — бог, бессмертие души, свобода воли,— которые не уживаются с понятием о законосообразности. Кант, воевавший с этими призраками в «Критике чистого разума», складывает перед ними оружие в «Критике практического разума», т. е. там, где речь идет о действии, а не об отвлеченном умозрении.

Эта двойственность (этот *дуализм*) составляет Ахиллесову пяту кантовского идеализма. Впрочем, несостоятельность его ясно видна даже с точки зрения кантовских посылок.

〈Так, например, что такое *явление* по смыслу кантовой философии? Это равнодействующая двух факторов:

1) действия на наше *я* тех предметов (ноуменов), которые существуют *вне нас** и известны нам не сами по себе, а только через посредство производимых ими на нас впечатлений;

---

* В § 32 известного сочинения Канта «Prolegomena zu einer jeden Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können» [«Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки»], вышедшего *после* его «Критики чистого разума», мы читаем: «In der That, wenn wir die Gegenstände der Sinne, wie billig, als blosse Erscheinungen ansehen, so gestehen wir hierdurch doch zugleich, dass ihnen ein Ding an sich selbst zu Grunde liege; ob wir dasselbe gleich nicht, wie es an sich beschaffen sei, sondern nur seine Erscheinung, d. i. die Art, wie unsere Sinne von diesem unbekannten Etwas affiziert werden, kennen». («В самом деле, если — как и следует — мы считаем предметы наших внешних чувств

2) свойств нашего *я*, перерабатывающего сообразно этим свойствам впечатления, получаемые им от вещи самой по себе.

Но если явление вызывается действием на нас вещи самой по себе, то это значит, что действие этой вещи есть *причина явления*. А между тем — по учению того же Канта — *категория причинности применима только в пределах мира явлений и неприменима к вещи самой по себе*. Из этого очевидного противоречия, на которое было указано еще в немецкой философской литературе конца XVIII века, есть только два выхода: *или* мы продолжаем утверждать, что категория причинности неприменима к вещам самим по себе, и, следовательно, отвергаем ту мысль, что явление вызывается *действием на нас* вещи самой по себе; *или же* мы продолжаем находить эту мысль правильной и тогда признаем, что категория причинности применима к вещам самим по себе. В первом случае мы прямой дорогой идем к *субъективному идеализму*, потому что если вещь сама по себе *не* действует на нас, то мы ничего не знаем об ее существовании и самое представление о ней должно быть объявлено ненужным, т. е. излишним, в нашей философии; во втором случае мы вступаем на *путь материализма*, потому что ведь и материалисты никогда не утверждали, что мы знаем, каковы вещи сами по себе, т. е. независимо от их действия на нас, а только утверждали, что эти вещи известны нам именно потому, что они действуют на наши органы чувств, и именно в той мере, в какой они на них действуют. «Нам неизвестны ни сущность, ни истинная природа материи,— говорит Гольбах,— хотя по ее действию на нас мы можем судить о некоторых ее свойствах... Для нас материя есть то, что так или иначе действует на наши чувства» *[2]. Если Ланге писал в своей «*Истории материализма*» (т. I, стр. 349 русского перевода, где речь идет именно о Гольбахе), что «материализм упрямо принимает мир чувственной видимости за мир действительных предметов»[3], то это объясняется только тем, что он «упрямо» *не понимал материализма*. Но как бы там ни было, а вопрос о непознаваемости внешнего мира в обоих из указанных мною случаев получает *положительное* решение. В самом деле,

---

простыми явлениями, то этим самым мы признаем, однако, что в основе их лежит вещь сама по себе, хотя мы и не знаем ее свойств, а знаем только тот способ, которым она действует на наши чувства»)[1].

* Еще решительнее высказывается в этом смысле английский материалист Джозеф Пристлей (см., например, его «Disquisitions relating to Matter and Spirit», vol. I, second edition, Birmingham MDCCLXXXII, p. 134). [«Исследования о материи и духе», т. I, второе издание, Бирмингам 1782, стр. 134.] Правда, согласно духу своей разновидности материализма, довольно близкого с «энергетикой» Оствальда, Пристлей заходит *слишком* далеко, но здесь нам это безразлично.

если мы перейдем на точку зрения субъективного идеализма, то нам будет ясно, что наше *я* способно познать им же самим создаваемое *не-я*. А если мы предпочтем сделаться материалистами, то при некотором размышлении мы должны будем прийти к тому убеждению, что если мы — благодаря действию на нас вещей самих по себе — *знаем некоторые свойства этих вещей*, то нам, вопреки Гольбаху, до *некоторой* степени *известна* и *их природа*: ведь *природа* вещи обнаруживается именно в ее *свойствах*. Ходячее противопоставление природы свойствам совершенно несостоятельно, а между тем именно это противопоставление завело теорию познания в те схоластические дебри, в которых заблудился Кант и в которых продолжают беспомощно блуждать все нынешние противники материализма. Гете чутьем гениального поэта-мыслителя лучше «трансцендентального идеалиста» Канта и даже лучше материалиста Гольбаха понял, где истина. Он сказал:

Nichts ist innen, Nichts ist draussen,
Denn was innen, das ist aussen.
So ergreifet ohne Säumniss
Heilig öffentlich Geheimniss...[1]

В этих немногих словах заключается, можно сказать, вся «гносеология» материализма; но ни этих слов, ни материалистической теории познания до сих пор не могут понять те схоластики, которые толкуют о непознаваемости внешнего мира.

Гегель чрезвычайно ясно обнаружил ту логическую — или, если вы предпочитаете, *гносеологическую* — ошибку, которая лежит в основе всех рассуждений о том, что вещи сами по себе недоступны нашему познанию. Мы, действительно, лишены всякой возможности ответить на вопрос, что такое вещь сама по себе. И это по очень простой причине: вопрос: «*что такое*?» предполагает, что данная вещь имеет свойства, которые должны быть указаны; этот вопрос сохраняет какой-нибудь смысл *единственно только при этом предположении*. Но «philosophical people» *, толкующий о непознаваемости вещей самих по себе, *заранее отвлекается ото всех свойств вещи* и этим отвлечением делает *вопрос нелепым*, а потому и *ответ невозможным*. Кантовский трансцендентальный идеализм, говорит Гегель, «переносит в сознание все свойства вещей, как по отношению к форме, так и по отношению к содержанию. Понятно, что с этой точки зрения единственно от меня, от субъекта, зависит то обстоятельство, что древесный лист кажется мне зеленым, а не черным, сахар сладким, а не горьким и что когда часы бьют два, я воспринимаю их удары последовательно, а не одновременно и что

* [«философствующий»].

я не считаю первого удара ни причиной, ни следствием второго» и т. д. («Wissenschaft der Logik», I Band, I Abth., S. 55; II Abth. S. 150[1]. *Пристлей* в своих Disquisitions, а также в своей полемике с Прайсом[2] раньше Гегеля высказал много весьма дельных замечаний о том, что, собственно, следует понимать под словом: *познание*).

Но позвольте, возражает читатель, да разве же цвет или звук не есть нечто совершенно субъективное? Разве ощущение звука или цвета похоже на тот род движения, которым оно вызывается, по учению современного естествознания?— Конечно, не похоже. Но если *железо* при различных *температурах* имеет различный *цвет*, то на это есть *объективная причина*, не зависящая от свойств моей «духовной» организации. Наш знаменитый физиолог Сеченов был совершенно прав, когда писал, что «всякому чувствуемому нами колебанию или переходу звука, по силе, высоте и продолжительности, соответствует совершенно определенное видоизменение звукового движения в действительности. Звук и свет как ощущения суть продукты организации человека; но корни видимых нами форм и движений, равно как слышимых нами модуляций звуков, лежат вне нас в действительности» («*Предметная мысль и действительность*» в сборнике «*Помощь голодающим*», изд. «Русск. Вед.», стр. 188). Сеченов прибавляет: «*каковы бы ни были внешние предметы сами по себе, независимо от нашего сознания,— пусть наши впечатления от них будут лишь условными знаками,— во всяком случае, чувствуемому нами сходству и различию знаков соответствует сходство и различие действительное*. Другими словами: *сходства и различия, находимые человеком между чувствуемыми им предметами, суть сходства и различия действительные*» (там же, стр. 207)[3]. Это опять верно. Нужно только заметить, что г. Сеченов не вполне точно выражается. Когда он допускает, что наши впечатления являются лишь условными знаками вещей самих по себе, то он как будто признает, что вещи сами по себе имеют какой-то неизвестный нам «вид», недоступный нашему сознанию. Но ведь «*вид*» есть именно только результат действия на нас вещей самих по себе; *помимо этого действия они никакого «вида» не имеют*. Поэтому противопоставлять их «вид» — как он существует в нашем сознании — тому их «виду», какой они будто бы имеют на самом деле,— значит не отдавать себе отчета в том, какое понятие связывается со словом: вид. На такой неточности терминологии основывается, как сказано выше, вся «гносеологическая» схоластика кантианства. Я знаю, что г. Сеченов не склонен к этой схоластике: я уже сказал, что *его* теория познания совершенно правильна, но мы не должны делать своим философским противникам такие терминологические уступки, которые мешают нам вполне точно выразить свои собственные

мысли. Я еще и потому делаю эту оговорку, что в примечании к первому изданию моего перевода этой брошюры Энгельса я сам выражался еще не совсем точно и только впоследствии почувствовал все неудобства такой неточности.

Итак, вещи сами по себе никакого «вида» не имеют. Их «вид» существует только в сознании тех субъектов, на которых они действуют. Теперь спрашивается, кто же эти субъекты? Люди? Нет, не только люди, а все те организмы, которые, благодаря известным особенностям своего строения, имеют возможность так или иначе *«видеть»* внешний мир. Но строение этих организмов неодинаково; поэтому и внешний мир имеет для них неодинаковый «вид»: я не знаю, как «видит» улитка; но я уверен, что она «видит» не так, как люди. Из этого не следует, однако, что свойства внешнего мира имеют только субъективное значение. Вовсе нет! Если человек и улитка движутся от точки A к точке B, то и для человека и для улитки прямая линия одинаково будет кратчайшим расстоянием между этими точками: если бы оба эти организма пошли по ломаной линии, то *им пришлось бы затратить больше работы на свое передвижение.* Значит, *свойства пространства* имеют *также объективное значение*, хотя и представляются различно организмам, стоящим на различных ступенях развития.

Это еще не все. Что такое *для меня* улитка? Часть внешнего мира, действующего на меня известным образом, обусловленным моей организацией. Стало быть, если я допускаю, что улитка так или иначе «видит» внешний мир, то я вынужден признать, что тот «вид», в каком представляется внешний мир улитке, сам обусловливается свойствами этого реально существующего мира. Таким образом, отношение объекта к субъекту, бытия к мышлению, этот, как говорит Энгельс, основной вопрос новейшей философии, представляется нам в совершенно новом свете. Противопоставление субъекта объекту исчезает: *субъект* становится также и *объектом*, *материя* (припомните определение Гольбаха: «для нас материя есть то, что так или иначе действует на наши чувства») оказывается при известных условиях одаренной *сознанием.* Это чистейший материализм; но это единственный сколько-нибудь удовлетворительный и не противоречащий науке ответ на вопрос об отношении субъекта к объекту.

Далее. Кант ставит свою теорию познания вне всякой связи с тем *учением о развитии*, которое господствует в нынешней науке и обоснованию которого он сам так много содействовал своим сочинением «Allgemeine Theorie und Geschichte des Himmels» *[1]. Это большой недостаток, объясняющийся, конечно,

* [«Общая теория и история неба».]

состоянием современной Канту биологии, но ясно сознаваемый теперь некоторыми биологами, очень высоко ставящими кантову философию. Для примера укажу на интересную статью профессора Рейнке «Kants Erkenntnisslehre und die moderne Biologie» в «Deutsche Rundschau»* за июль прошлого, 1904, года.

Рейнке находит, что современное естествознание, и особенно биология, не уживается с кантовским учением «об априорных свойствах человеческого рассудка».

Кант говорит, как мы знаем, что категория причинности неприменима *к вещам самим по себе*, а применима только *к явлениям*, и это потому, что причинность привносится в явления нашим рассудком, что она есть *априорный* закон природы. Вообще, по Канту, рассудок служит источником всякого порядка в природе, так как он диктует ей свои законы. Вот это-то и смущает Рейнке. «Существует ли такое a priori,— спрашивает он и отвечает так:— человек с самого рождения своего, следовательно раньше всякого опыта, вынужден свойствами своего рассудка думать согласно категории причинности и представлять себе явления во времени и в пространстве (Рейнке называет время и пространство тоже категориями; это не описка, а своеобразное понимание учения о категориях, на котором я здесь останавливаться не стану); но точно так же он по свойствам своей организации вынужден дышать, двигаться, принимать пищу и т. д. Так как человек составляет часть природы, то он подлежит ее великому закону — закону *приспособления* к условиям своего существования. И было бы совершенно нелепо думать, что этот закон приспособления предписывается природе нашим рассудком. Но этому закону подчиняются также и *духовные* свойства организмов, которые ведь также относятся к природе; они также развиваются с развитием организма. Все формы приспособления организма к окружающей его среде — легкие, жабры и т. д.— даются организму также a priori, как и формы мышления. Обе эти группы свойств организма получаются им по наследству и развиваются по мере развития его из клеточки, в которой таких свойств совсем незаметно. Если мы зададимся вопросом о том, как приобретены они были данным видом животных, то нам придется обратиться к истории развития земли, но если мы возьмем отдельную особь — человека или какое-нибудь другое животное,— то все ее свойства, как физические, так и духовные, даны ей a priori».

Так рассуждает Рейнке. Эти его рассуждения интересны и справедливы, но кантовское a priori получает благодаря ему совсем новый вид. И едва ли Рейнке встретил бы одобрение со

* [«Учение Канта о теории познания и современная биология» в «Немецком обозрении»]

стороны самого Канта. Достаточно сказать, что Рейнке отказывается признать за временем, пространством и причинностью исключительно субъективный характер. Напротив. «Аналогия с приспособлением телесных форм приводит меня к тому выводу,— говорит он,— что априорные законы мышления совсем не существовали бы, если бы они... не соответствовали реальностям вне нас». Это звучит совсем уже материалистически, хотя Рейнке, принадлежащий к числу столпов современного *неовитализма*, конечно, не материалист. И, разумеется, нынешние неокантианцы вроде Когена, Лассвица или даже Риля ни за что не согласятся с тем, что говорит Рейнке об a priori. Но современная биология не оставляет их в покое.

«Я не знаю,— говорит другой немецкий писатель,— как справляются с учением о развитии те философы, которые придерживаются кантовской теории познания. Для Канта человеческая душа была данной, в своих элементах неизменной величиной. Для него речь шла только о том, чтобы определить ее априорное имущество и вывести из него все остальное, а не о том, чтобы показать происхождение этого имущества. Но если мы исходим из той аксиомы, что человек постепенно развился из комочка протоплазмы, то нужно будет из элементарных жизненных проявлений клеточки вывести как раз то, что для Канта было основой... всего мира явлений» (P. Beck, «Die Nachahmung und ihre Bedeutung für Psychologie und Völkerkunde», Leipzig 1904, S. 33) *. Но в том-то и дело, что кантианцы до сих пор вовсе и не задумывались над тем, согласима ли их теория познания с учением о развитии, и даже очень удивлялись, когда кто-нибудь предлагал им подумать об этом. Я помню, как презрительно пожимали плечами мои приятели-кантианцы, когда я в споре с Конр. Шмидтом выставил против Канта те соображения, которые выставляет П. Бек в вышеприведенной мною цитате. Но истина берет свое, и теперь даже такой, можно сказать, неисправимый кантианец, как Виндельбанд, оказался вынужденным спросить себя, может ли признавать «феноменальность» времени (die Phaenomenalität der Zeit) тот, кто придерживается теории развития (см. его статью «Nach hundert Jahren» в сборнике «Zu Kant's Gedächtniss», Berlin 1904, S.S. 17—18) **.

Виндельбанд находит, что тут наука ставит перед кантианством «трудную проблему». Но «проблема» в данном случае не «трудна», а просто-напросто *неразрешима*.

Развитие совершается *во времени*, а между тем, по Канту, время есть только субъективная форма созерцания. Если я

* [*П. Бек*, «Подражание и его значение в психологии и этнологии», Лейпциг 1904, стр. 33.]

** [«К столетию» ...«Памяти Канта». Берлин 1904, стр. 17—18.]

придерживаюсь философии Канта, то я противоречу сам себе, говоря о том, что было *до меня*, т. е. тогда, когда не было меня, а значит, также и форм моего созерцания: пространства и времени. Правда, из этого затруднения ученики Канта пытались выйти с помощью указания на то, что у Канта речь идет о формах созерцания и мышления не отдельного человека, а всего человечества. Но это указание ничему не помогает, а только создает новые затруднения.

Во-первых, я должен признать одно из двух: *или* другие люди существуют *только в моем представлении*, и в таком случае их не было до меня и не будет после моей смерти; *или же* они существуют *вне меня* и независимо от моего сознания, в этом случае мысль об их существовании до меня и после меня не заключает в себе, конечно, ничего противоречивого; но именно теперь-то и возникают для кантовой философии новые, непреодолимые затруднения. Если люди существуют *вне меня*, то это «*вне меня*», очевидно, и есть то, что благодаря строению моего мозга представляется мне *пространством*. Стало быть, пространство не есть только субъективная форма созерцания; стало быть, ему тоже соответствует некоторое объективное «an sich» («само по себе»). Если люди жили *до меня* и будут жить *после меня*, то этим «*до меня*» и «*после меня*», очевидно, опять соответствует какое-то «an sich», не зависящее от моего сознания и только отражающееся в этом сознании в форме времени. Стало быть, и *время не только субъективно*. Наконец, если люди существуют вне меня, то они принадлежат к числу тех вещей самих по себе, о возможности познания которых мы, материалисты, спорим с кантианцами. И если *их* поступки способны так или иначе обусловливать *мои* действия, а мои действия способны влиять на их поступки — что неизбежно должен допустить тот, кто признает, что человеческие общества и развитие их культуры существуют не только в его сознании,— то ясно, что категория причинности применима к реально существующему внешнему миру, т. е. к миру ноуменов, к вещам самим по себе. Словом, другого выхода нет: *или субъективный идеализм*, последовательно приводящий к *солипсизму* (т. е. к признанию того, что другие люди существуют лишь в моем представлении), *или* отказ от кантовских посылок, отказ, логическим завершением которого должен быть переход на точку зрения *материализма*, как я это показал еще в моем споре с Конрадом Шмидтом[1].

Пойдем еще дальше. Перенесемся мысленно в ту эпоху, когда на земле существовали только весьма отдаленные предки человека,— например, во вторичную эпоху. Спрашивается, как обстояло *тогда* дело с пространством, временем и с причинностью? *Чьими* субъективными формами были они в то время?

Субъективными формами ихтиозавров? И *чей рассудок* диктовал *тогда* свои законы природе? Рассудок археоптерикса? На эти вопросы философия Канта *не может дать ответа*. И она должна быть отвергнута, как совершенно несогласимая с современной наукой.

Идеализм говорит: *без субъекта нет объекта*. История земли показывает, что *объект существовал гораздо раньше, чем появился субъект*, т. е. гораздо раньше, чем появились организмы, обладающие заметною степенью сознания. Идеалист говорит: *рассудок диктует природе ее законы*. История органического мира показывает, что «рассудок» появляется лишь на высокой ступени лестницы развития. А так как это развитие может быть объяснено только законами природы, то выходит, что природа продиктовала рассудку его законы. Теория развития *обнаруживает истину материализма*.

История человечества есть частный случай *развития вообще*. Поэтому в сказанном заключается и ответ на вопрос о том, можно ли соединить учение Канта с материалистическим объяснением истории. Конечно, эклектик все может соединить в своем уме. С помощью эклектического мышления можно соединять Маркса не только с Кантом, но и со средневековыми «реалистами». Что же касается людей, последовательно мыслящих, то им незаконное сожительство Маркса с философией Канта должно представляться чем-то чудовищным в полном смысле этого слова.

Кант говорит в своей «*Критике практического разума*», что величайшая обязанность философа быть *последовательным*, но что именно это-то обыкновенно встречается реже всего. Это его замечание невольно вспоминается как по поводу его самого, так и по поводу тех подмастерьев и учеников философии, которые хотят соединить его с Марксом.

«Критики Маркса» — и в их числе упомянутый выше armer Konrad* — много и громко кричали, будто Энгельс обнаружил полное непонимание Канта, когда сказал, что учение о непознаваемости внешнего мира лучше всего опровергается опытом и промышленностью. На самом деле Энгельс был безусловно прав. Всякий опыт и всякое производительное действие человека представляет собою *активное* его отношение ко внешнему миру, намеренное вызывание известных явлений. А так как явление есть плод действия на меня вещи самой по себе (Кант говорит: *аффицирования* меня этою вещью), то, совершая опыт или занимаясь производством того или другого продукта, я заставляю вещь самое по себе «аффицировать» мое «я» известным, заранее определенным мною образом. Следовательно, я знаю, по крайней

* [бедняга Конрад]

мере, некоторые ее свойства: именно те, через посредство которых я заставляю ее действовать. Но это еще не все. Заставляя эту вещь действовать на меня известным образом, я становлюсь к ней в отношение *причины*. А Кант говорит, что категория причины не имеет никакого отношения к «вещам самим по себе»; следовательно, здесь опыт опровергает его еще лучше, чем опровергал он сам себя, когда говорил, что категория причины относится лишь к *явлениям* (а не к вещам самим по себе), и в то же время утверждал, что вещь «сама по себе» действует на наше «*я*», т. е. служит *причиною* явлений. А из этого опять следует, что очень ошибался Кант, когда говорил, что «формы нашего мышления» (категории, или «основные понятия рассудка», например причинность, взаимодействие, существование, необходимость) суть только «*априорные формы*», т. е. что вещи в себе не подлежат причинному отношению, взаимодействию и т. п. В действительности основные формы нашего мышления не только вполне соответствуют тем отношениям, которые существуют между вещами в себе, но и *не могут не соответствовать* им, потому что иначе сделалось бы невозможным наше существование вообще, а следовательно, и существование наших «форм мышления». Правда, мы очень способны ошибаться в изыскании этих основных форм, мы можем принять за категорию то, что вовсе не есть категория. Но это вопрос другой, прямого отношения сюда не имеющий. По его поводу мы ограничимся одним замечанием: когда мы говорим о познаваемости внешнего мира, мы вовсе не хотим сказать этим, что первый встречный философ имеет о нем правильное понятие.

Хорошо, пусть неправ Кант, пусть его дуализм не выдерживает критики. Но ведь самое существование внешних предметов все-таки остается недоказанным. Как вы покажете, что неправ Юм, что неправы субъективные идеалисты, например Берклей, взгляды которого вы изложили в начале этого примечания?

На вопрос о субъективном идеализме я и отвечать не считаю нужным. Чей ум может удовлетвориться этой философией, логически приводящей, как я сказал выше, к *солипсизму*, с тем спорить бесполезно; но того можно и должно попросить быть последовательным. А последовательность для такого человека заключается, например, в отрицании даже акта своего собственного рождения: солипсист, не признающий ничего, кроме своего «я», разумеется, сделал бы большую логическую ошибку — настоящее умственное salto mortale *,— если бы допустил, что его мать существует или существовала не только в его представлении. Притом же никто не «ощущал» себя в процессе своего

* [смертельный прыжок]

рождения; поэтому солипсист не имеет ровно никакого основания называть себя «рожденным женщиной». Но подобным идеализмом удовлетворится разве только ум несчастного Поприщина. Такой идеализм есть не что иное, как приведение к нелепости того критицизма, который сомневается в познаваемости внешнего мира. Человек должен действовать, умозаключать и верить в существование внешнего мира, говорил Юм. Нам, материалистам, остается прибавить, что такая «вера» составляет необходимое предварительное условие мышления *критического* в лучшем смысле этого слова, что она есть неизбежное *salto vitale* * философии[1]. Основной философский вопрос решается не противопоставлением «*я*» «*не-я*», т. е. внешнему миру: такое противопоставление способно завести лишь в тупой переулок абсурда. Для решения названного вопроса необходимо выступить за пределы «*я*» и рассмотреть, как относится «*он*» (организм, обладающий сознанием) к окружающему его *внешнему миру*. Но как только вопрос принимает этот — единственный рациональный — вид, тотчас же становится очевидно, что «субъект» вообще, а следовательно и мое «я», не только не диктует законов объективному миру, но представляет собою лишь составную часть этого мира, *рассматриваемую с другой стороны*, со стороны мысли, а не со стороны протяжения, как сказал бы Спиноза, который был несомненным материалистом, хотя его и отказываются признать таковым историки философии **.

Этим решительным шагом мысли разрубается также и весь гордиев узел юмова скептицизма. Само собою разумеется, что, пока я сомневаюсь в существовании внешних предметов, до тех пор и вопрос о причинной связи *между ними* по необходимости остается передо мною в том виде, какой он принял у Юма: я имею право говорить только о последовательности моих собственных впечатлений, неизвестно откуда берущихся. Но когда работа моей мысли убеждает меня, что сомнение в существовании внешнего мира приводит мой ум к нелепости, и когда *я — уже не «догматически», а «критически»* — объявляю существование внешнего мира несомненным, тогда я тем самым признаю, что мои впечатления являются результатом действия на меня внешних предметов, т. е. приписываю причинности объективное значение.

Разумеется, при известном настроении мыслителя указанное мною salto vitale мышления может показаться ему неправомер-

* [жизненный прыжок]

** Ср. Фейербаха: «Was für mich, oder subjectiv, ein reingeistiger, immaterieller, unsinnlicher Akt, ist an sich, oder objectiv, ein materieller, sinnlicher». (Что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, объективно, есть акт материальный, чувственный. Werke [Сочинения], II, 350.)[2]

ным, и он почувствует себя расположенным вернуться к Юму. Но точка зрения Юма осуждает мысль на полную неподвижность: сам Юм покидал ее всякий раз, когда, желая мыслить, он начинал «верить» в существование внешнего мира. Вот почему возврат к Юму представляет собою, по справедливому замечанию Энгельса, шаг назад сравнительно с материализмом. В настоящее время такой шаг назад делают, между прочим, *эмпириомонисты*, философию которых Риль совершенно правильно называет возобновлением философии Юма («Zur Einleitung in die Philosophie der Gegenwart», Leipzig 1903, S. 101 *).>

(8)[1] По этому поводу можно заметить, пожалуй, что и химия и биология в конце концов сведутся, вероятно, к молекулярной механике[2]. Но читатель видит, что Энгельс говорит не об этой механике, которой не имели, да и не могли иметь в виду французские материалисты, равно как и Декарт, их учитель, в деле построения «*животной машины*». Каковы были те механические причины, к которым прибегал Декарт для объяснения явлений, совершающихся в животном организме, можно видеть хотя бы из первой части его сочинения «*О страстях*» («Des passions en général etc.»)[3]. А до какой степени мало вязалось механическое мировоззрение французских материалистов с историческим взглядом на природу, лучше всего показывает знаменитая книга «Système de la Nature» («Система природы»)[4]. В шестой главе первой части этой книги авторы ее сталкиваются с вопросом *о происхождении человека*. Хотя мысль о постепенном его (*зоологическом*) развитии и не кажется им «*противоречивой*», но по всему видно, что она является в их глазах весьма мало вероятной «догадкой». Если бы кто-нибудь восстал против подобной догадки; если бы кто-нибудь сказал им, что «природа действует с помощью известной суммы общих и неизменных законов» (как будто общие и неизменные законы противоречат развитию!!); если бы к этому прибавили, что «человек, четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют от века и остаются вечно неизменными», то авторы «не воспротивились бы и этому»: они заметили бы только, что и этот взгляд не противоречит тем истинам (механического материализма), которые они излагают. В конце концов они выходят из затруднений с помощью таких соображений: «Человеку не дано знать все; ему не дано знать свое происхождение; ему не дано проникнуть в сущность вещей и дойти до первых причин; но он способен иметь разум и добрые намерения, он способен чистосердечно признать, что не знает того, чего знать не может, и не ставить непонятных слов и нелепых предположений на место своего незнания» («Syst. de la Nat.», лондонское издание 1781 г., ч. I, стр. 75)[5].

* [«К введению в философию настоящего». Лейпциг 1903, стр. 101.]

Предостережение для тех, которые любят пофилософствовать о «границах познания природы».

Недостатком «*разума*» авторы «Системы природы» объясняют все исторические злоключения человечества. «Народы не знали истинных оснований власти, они не смели требовать счастья от своих правителей, которые обязаны были доставить им его... Неизбежным следствием подобных мнений явилось вырождение политики в роковое искусство жертвовать счастьем всех капризу одного или нескольких привилегированных» и т. д. (Там же, стр. 291) [1]. При таких взглядах можно было с успехом бороться против существующих «привилегий», но нельзя было и думать о научном понимании истории. <Подробнее об этом см. у Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и в моей книге «Beiträge zur Geschichte des Materialismus»*.>

(9)[2] Что такое категорический императив? Почему так презрительно говорит о нем Энгельс? Неужели только потому, что он подсказывает слишком высокие идеалы? <Нет, не потому.>

Что такое идеал? «Идеал, отвечает филистер, это цель, к которой мы нравственно обязаны стремиться, но которая стоит так высоко, что мы никогда ее не достигнем». Из этого у филистера вытекает тот чрезвычайно приятный для него вывод, что «вера в идеал» совместима с такими поступками, которые по меньшей мере не имеют ничего общего с «идеалом». В семидесятых годах в России бывали такие «идеальные» жандармские офицеры, которые, арестуя «нигилиста», уверяли его, что социализм, действительно, очень хорошая вещь, что лучше социализма и придумать ничего невозможно, но что в то же время идеал недостижим, что, живя на земле, приходится о земном и думать, а «земное» требует, чтобы он, идеальный жандармский офицер, «сыскав, представил» не менее идеального нигилиста, и вот он «ищет и представляет». Жандармы, всего вернее, лгали, когда говорили о своем стремлении к «идеалу». Но возьмем другой пример. Наши «легальные» народники стремились к своим «идеалам» совершенно искренно. Посмотрите, однако, что выходило из их искреннего к ним отношения. Их общественным идеалом был свободный «народ», самостоятельно развивающийся без всяких препятствий со стороны правительства и высших сословий. И правительство и высшие сословия совершенно стирались, если не совершенно уничтожались в народническом идеале. Что же делали народники для осуществления своего идеала? Иногда просто плакали о разложении «устоев» («плакали над цифрами», по выражению Г. И. Успенского)[3]. Иногда советовали правительству увеличить крестьянские наделы и уменьшить

* [«Очерки по истории материализма».]

податной гнет. Иногда — это были уж самые последовательные и непримиримые — «садились на землю». Но все это совсем не приближало русской действительности к народническому идеалу. Вот почему народники плакали не только над цифрами, но и над самими собою. Они сознавали полное бессилие своих идеалов. Но откуда же происходило это бессилие? Дело ясно: у них не было *никакой органической связи между идеалами и действительностью*. Действительность шла в одну сторону, а идеалы шли в другую, а лучше сказать — оставались на одном месте, продолжали «*сидеть на земле*» вместе с гг. легальными народниками, так что расстояние между идеалами и действительностью все более и более увеличивалось, вследствие чего идеалы с каждым днем становились бессильнее и бессильнее. Вот над *такими* идеалами, разумеется, посмеялся бы Энгельс, как смеялся и Гегель. Но насмешка относилась бы тут не к возвышенности идеалов, а именно к их *бессилию*, к их оторванности от общего хода русского движения. Энгельс посвятил всю свою жизнь чрезвычайно высокой цели: освобождению пролетариата. У него тоже был «идеал»; но он не был оторван навеки от действительности. Его идеал это была та же действительность, но *действительность завтрашнего дня*, действительность, которая будет иметь место не потому, что Энгельс идеален, а потому, что свойства нынешней действительности таковы, что из нее по ее собственным, внутренним законам должна развиться та действительность завтрашнего дня, которую можно назвать идеалом Энгельса. Люди неразвитые могут спросить нас: если все дело в свойствах действительности, то при чем же тут Энгельс, чего он вмешивается в неотвратимый исторический процесс со своими идеалами? разве без него не обойдется дело? *С объективной стороны* положение Энгельса представляется так: в процессе перехода из одной своей формы в другую действительность захватила его как одно из необходимых орудий предстоящего переворота. *С субъективной стороны* выходит, что Энгельсу приятно это участие в историческом движении, что он считает его своим долгом и великой задачей своей жизни. Законы общественного развития так же мало могут осуществляться без посредства людей, как законы природы без посредства материи. Но это вовсе не значит, что «*личность*» может игнорировать законы общественного развития. В самом лучшем случае она будет наказана за это тем, что станет в положение смешного Дон-Кихота.

<В своем известном сочинении «*Wirtschaft und Recht*»* Штаммлер выражал большое недоумение по поводу того, что социал-демократы, с одной стороны считают революцию про-

* [«Хозяйство и право»]

летариата *неизбежной*, а с другой — находят нужным содействовать наступлению этой революции. По его мнению, это так же странно, как создавать партию для содействия астрономически неизбежным лунным затмениям[1]. Но такое его замечание показывает, как, впрочем, и вся его книга, что он совсем не понял той *материалистической* философии, которая лежит в основе современного социализма. Еще Д. Пристлей совершенно правильно говорит: «Though the chain of events is necessary, our *own determinations* and *actions* are necessary links of that chain». Т. е.: хотя цепь событий необходима, но наши решения и действия составляют необходимое звено этой цепи (Disquisitions, vol. I, p. 110). Кант считал Пристлея фаталистом. Но где же тут фатализм? Его нет и следа, как на это указывал сам Пристлей в своем споре с Прайсом.

Теперь поговорим о категорическом императиве. Что это такое? Кант называет императивами правила, имеющие «признак долженствования». Императив может быть *условным* или *категорическим*. Условный императив определяет волю только по отношению к данному, желательному действию. *Категорический* императив определяет волю *независимо* от той или другой искомой цели; он определяет волю как таковую «даже прежде, чем я спрошу себя, имею ли я способность, достаточную для произведения искомого действия, или что мне надо делать, чтобы произвести его». Кроме признака долженствования категорический императив имеет, стало быть, и признак безусловной *необходимости*. Если кому-нибудь скажут, что надо работать и копить деньги на черный день, то это будет *условный императив*: человек должен копить деньги только в том случае, если он не хочет бедствовать на старости лет и не имеет возможности обеспечить себя от бедности другим путем. А вот правило *не давать ложных обещаний* касается только воли человека как таковой и нисколько не зависит от тех целей, которые преследует данный человек. Этим правилом хотение определяется a priori. И это есть *категорический* императив. «Следовательно,— говорит Кант,— практические законы относятся только к воле, независимо от того, что создается путем ее причинности, и от последней... можно отрешиться, чтобы иметь эти законы чистыми» («Критика практического разума», перевод Н. М. Соколова, СПБ. 1897, стр. 21)[2].

Есть, собственно, только один категорический императив, который гласит: *поступай лишь согласно такому правилу, которое ты мог бы желать возвести в общий закон* («Grundlegung zur Methaphysik der Sitten», Leipzig 1897, S. 44)[3].

В пояснение своей мысли Кант приводит несколько примеров. Данное лицо до такой степени несчастно, что жизнь стала ему в тягость, и оно спрашивает, позволительно ли ему наложить

на себя руки. Где искать ответа на этот вопрос? В категорическом императиве. Что было бы, если бы самоубийство сделалось общим законом? Было бы то, что прекратилась бы жизнь. Стало быть, самоубийство несогласно с нравственностью. Еще пример. Кто-нибудь вверил другому человеку на хранение свое имущество. Спрашивается: позволительно будет этому другому лицу утаить его? И этот вопрос кажется Канту также легко разрешимым с помощью категорического императива: если бы все люди утаивали вверенное им имущество, то никто не стал бы и вверять его. Третий пример. Зажиточный человек легко мог бы помогать беднякам, но отказывается делать это. Не противоречит ли это нравственному долгу? Противоречит: никто не может желать, чтобы такое поведение стало общим правилом, так как каждый может очутиться в затруднительном положении.

Эти примеры хорошо разъясняют мысль Канта, но они же обнаруживают и ее несостоятельность. Еще Гегель справедливо заметил[1], что пример со вверенным имуществом неубедителен, так как ведь можно спросить себя: что же за беда, если вещи не будут отдаваться на хранение? А если бы кто-нибудь ответил указанием на то, что тогда труднее стало бы сберегать имущество и что сама собственность сделалась бы в конце концов невозможной, то ведь можно спросить также: а зачем нужна собственность? В учении Канта нет, по словам Гегеля, ни одного нравственного закона, который был бы ясен сам по себе, без дальнейших рассуждений и без противоречий, независимо от других определений. Это справедливо, и это особенно заметно на примере с самоубийством. В самом деле, ведь в нем речь идет о самоубийстве не всех людей вообще, а только таких, которые разбиты тяжелой жизненной борьбою, самоубийство же таких людей еще не прекратило бы жизни.

Гегель говорит, кроме того, что у Канта каждый определенный нравственный закон есть пустое утверждение, ничего не говорящая тавтология, соответствующая формуле $A = A$: вверенное имущество есть вверенное имущество, собственность есть собственность. Это тоже вполне справедливо и вполне понятно. Для Канта просто-напросто не существовали те вопросы, которые Гегель противопоставляет его «пустым утверждениям»: что за беда, если вещи не будут отдаваться на хранение? зачем собственность? и т. д. *Идеал Канта*, его «Царство целей» («Reich der Zwecke», см. «Grundlegung», стр. 58[2]), *был отвлеченным идеалом буржуазного общества, нормы которого представлялись Канту непререкаемыми велениями* «практического разума». Кантова мораль есть буржуазная мораль, переведенная на язык его философии, главным недостатком которой была, как мы уже видели, полная неспособность справиться с вопросами

развития. Чтобы подтвердить это, я остановлюсь на третьем из приведенных выше и заимствованных у Канта же примеров. Но предварительно я попрошу читателя заметить, что Кант был решительным противником утилитарной нравственности. По его мнению, принцип счастья не заключает в себе никаких других основ для определения воли, кроме тех, которые присущи способности желания; но разум, определяющий волю, не может считаться с этой низшей способностью. Он настолько отличается от нее, что даже малейшая примесь проистекающих из нее побуждений «лишает его силы и преимуществ, так же как малейшая эмпирическая примесь, как условие в математической демонстрации, понижает и уничтожает все действие демонстрации» («Критика практического разума», стр. 27). Принцип нравственности заключается в независимости от желаемого предмета.

Эта независимость от желаемого предмета издавна подавала повод к шуткам и эпиграммам (см. например, 388—389 «Ксении» Шиллера-Гете)[1]. Я не могу передавать их здесь *. Я хочу только сказать, что третий из вышеприведенных примеров Канта может быть признан убедительным *только в том случае, если мы станем на точку зрения утилитарной нравственности и заставим наш «практический разум» принимать в соображение нашу «способность желания»*: ведь, по Канту, я потому должен помогать другим, что у меня самого может оказаться надобность в помощи с их стороны. Чего утилитарней? Кроме того, я хочу обратить внимание читателя на то обстоятельство, что, возражая утилитаристам, Кант всегда имеет в виду принцип *«личного счастья»*, который он справедливо называет *принципом себялюбия.* И именно потому он не умеет справиться с основным вопросом морали. На самом деле, в основе нравственности лежит стремление не к *личному счастью*, а к *счастью целого*: племени, народа, класса, человечества. *Это* стремление не имеет ничего общего с *эгоизмом.* Напротив, оно *всегда предполагает* бо́льшую или меньшую степень *самопожертвования.*

---

* Впрочем, вот одна из Ксений:

G e w i s s e n s k r u p e l.

Gerne dien'ich den Freunden, doch thu'ich es leider mit Neigung
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

D e c i s u m.

Da ist kein andrer Rat, du musst suchen sie zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebietet [2].

(Т. е. У г р ы з е н и е с о в е с т и: Охотно служу я своим друзьям; но, к сожалению, я делаю это с удовольствием, и я боюсь, что я недобродетелен. Р е ш е н и е: Другого выхода нет: возненавидеть их и делать с отвращением то, что повелевает тебе долг.)

И так как социальные чувства могут передаваться от поколения к поколению и усиливаться путем естественного подбора (см. очень дельные замечания Дарвина на этот счет в его книге о происхождении человека)[1], то самоотвержение может принять иногда такой вид, как будто бы оно было делом «автономной воли», чуждой всякой примеси «способности желания». Но это бесспорное обстоятельство нимало не исключает *утилитарной основы* этой возвышенной способности. Если бы самоотвержение не было полезно данному обществу, классу или, наконец, данному животному виду в его борьбе за существование (напомним, что социальные чувства свойственны *не только* человеку), то оно было бы чуждо особям, принадлежащим к этому обществу, классу или виду. Вот и все. Данная особь родится с априорной «способностью к самоотвержению», точно так же как родится она — по вышеприведенному (в примечании седьмом) замечанию Рейнке — с «априорною» способностью к дыханию и пищеварению; но в этой «априорности» нет ничего таинственного: она постепенно образовалась в длинном-длинном процессе развития.

С точки зрения развития и общественной пользы легко разрешаются те вопросы, с помощью которых Гегель ниспровергал нравственные законы Канта: для чего нужно хранение имущества? зачем собственность? и т. д. Но — повторяю — в учении о морали еще ярче, чем в теории познания, обнаруживается неуменье Канта и его последователей стать на точку зрения развития. И здесь так же часто, как и по поводу кантовой теории познания, приходится вспоминать собственные слова Канта: «величайшая обязанность философа быть *последовательным*, но именно это-то обыкновенно встречается реже всего».

Современник Канта Якоби, восставая против его учения о нравственности, говорил в письме к Фихте: «да, я атеист и безбожник, желающий, в противовес воле, которая ничего не желает, лгать, как лгала Дездемона, умирая; я хочу лгать и обманывать, как Пилад, выдававший себя за Ореста; убивать, как Тимолеон; нарушать закон и клятву, как Эпаминонд и Иоанн де Витт; совершить самоубийство, как Оттон; ограбить храм, как Давид, и даже срывать колосья в субботу только потому, что я голоден, и закон создан для человека, а не человек для закона». Это очень хорошо, и Гегель был совершенно прав, когда находил эти мысли Якоби «вполне чистыми, так как выражение их в первом лице «я есмь», «я хочу» не может мешать их объективности»[2]. Но ведь та — вполне правильная — мысль, что закон для человека, а не человек для закона, дает *непоколебимое основание для утилитарной морали, понимаемой в ее истинном, т. е. объективном, значении.*〉

(10)[3] Еще Гегель заметил, что нелепо смотреть с точки зрения морали на исторические события (см. его «Чтения по философии

истории», стр. 67 1-го изд. 9-го тома полного собр. его сочинений). Но наши «передовые писатели» до сих пор не понимают справедливости этого замечания (о котором они, правда, едва ли даже и слышали). Они самым искренним образом скорбят о повреждении нравов, сопровождающем разложение старых «устоев» народной жизни, устоев, на которых выросли целые леса розог и целые горы зуботычин. Фабричный пролетариат является в их глазах вместилищем всяческих пороков. Научный социализм смотрит на дело иначе. Что развитие капиталистического производства неизбежно ведет за собою то, что можно назвать деморализацией трудящихся, т. е. прежде всего разрыв с установившеюся, вековечною нравственностью,— это знали представители научного социализма гораздо раньше, чем это заметили «передовые» русские писатели (см., напр., книгу Энгельса «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», Leipzig 1845, стр. 120 и след.*). Но Энгельс не мечтал о возобновлении патриархальных отношений, а что всего важнее — он понимал, как из «*безнравственности*» фабричного пролетариата вырастает новая «*нравственность*», нравственность *революционной борьбы с существующим порядком вещей*, которая в конце концов создаст новый общественный строй, где уже не будут «развращаться» трудящиеся, потому что исчезнут *источники* их «развращения» (стр. 256 и след.). Современное состояние русской «передовой» мысли можно выразить так: мы даже представления не имеем о том, что знала действительно передовая мысль Запада еще полстолетия назад. Поистине, есть от чего в отчаяние прийти!

<Эти строки написаны были в 1892 году, когда еще продолжались наши споры с *нелегальным* народничеством (сохранившимся в виде остатков «народовольства») и только еще подготовлялась наша полемика с *легальными* народниками, особенно обострившаяся во второй половине девяностых годов. Теперь нашим «передовым» писателям некогда скорбеть о разложении «старых устоев», и теперь они уже не сожалеют о появлении у нас *пролетариата:* сама жизнь показала им теперь, как велико революционное значение этого класса; и «передовая» печать щедро расточает теперь ему комплименты. *Лучше поздно, чем никогда*,— говорит пословица; но я скажу: лучше было бы рано, чем поздно. Если бы наши «передовые» люди раньше отказались от своего нелепого взгляда на пролетариат, как на простую «*язву*», и если бы они, отказавшись от этого взгляда, способствовали всеми силами развитию самосознания этого класса, то пресловутая «*черная сотня*» не играла бы той опасной политической роли, которую она играет. Упорное и продолжительное отстаивание «передовой» интеллигенцией

* [«Положение рабочего класса в Англии», Лейпциг 1845, стр. 120 и сл.][1]

народнических предрассудков поистине составляет ее *политическое преступление*, за которое строго наказывает ее теперь неумолимая история. >

(11)[1] Что касается первобытного общества, то исторические взгляды Маркса блестяще подтверждены исследованиями *Моргана* (см. его сочинение «Древнее общество» [2], появившееся первоначально на английском языке; теперь существует немецкий, <русский> и, если не ошибаемся, польский переводы). Некоторые недобросовестные критики утверждают, что выводы Моргана относительно родового быта основываются лишь на изучении общественной жизни краснокожих Северной Америки. Достаточно прочитать его книгу, чтобы убедиться в полнейшей несостоятельности подобных «критических» замечаний. Точно так же достаточно было бы обстоятельно, т. е. из первых источников, ознакомиться с историей античного мира, чтобы увидеть, до какой степени неоспоримо все то, что говорят о ней Морган и Энгельс (см. сочинение этого последнего «Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats», т. е. «Происхождение семьи, частной собственности и государства»)[3]. <Но, несмотря на недоброжелательное отношение многих ученых к труду Моргана, гениальные мысли этого человека не пропали для современной этнологии. В Северной Америке под его влиянием возникла целая школа этнологов, труды которых печатаются в ежегодных — чрезвычайно замечательных — «reports»* смитсонианского института и дают много драгоценнейшего материала для материалистического объяснения истории первобытного общества. В Европе к числу сочинений, основывающихся на исследованиях Моргана, нужно отнести прежде всего ценные работы нашего немецкого товарища Г. Кунова о системах родства у австралийских негров, об общественном строе в Мексике и в государстве Инков и, наконец, о матриархате в связи с развитием производительных сил у «диких» племен[4]. Впрочем, говоря об Европе, приходится признать, что здесь влияние собственно моргановских идей до сих пор еще сравнительно очень слабо. Но несомненно, что и здесь «народоведение» все чаще и чаще прибегает к чисто материалистическим объяснениям общественных явлений. Я не думаю, чтобы такой исследователь, как Карл фон ден Штейнен, интересовался историческим материализмом; по крайней мере, в его работах нет даже намека на то, что он хоть немного знаком с этой теорией. Но в его поучительной книге «Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens», Berlin 1894 **, от начала до конца неизменно—и в большинстве

---

* [докладах]

** [«Среди первобытных народов Центральной Бразилии», Берлин 1894]

случаев удачно — применяется именно тот метод, который рекомендуется «экономическими» материалистами [1]. Даже Ратцель, который считает нужным оправдываться от упрека в материализме (см. его «Völkerkunde», II, S. 631)*, ставит развитие «духовной» культуры в причинную зависимость от развития культуры «материальной». Он говорит: «Сумма культурных приобретений у каждого народа на каждой ступени развития составляется из *материальных* и *духовных* приобретений. Эти приобретения делаются неодинаковыми средствами, не с одинаковой легкостью и не в одно время... В основе духовных культурных приобретений лежат материальные» (там же, том I, стр. 17) [2]. Это тот же исторический материализм, но только не продуманный до конца и потому отчасти непоследовательный, отчасти наивный. И с совершенно таким же, так сказать, естественно выросшим и потому наивным и более или менее непоследовательным материализмом встречаемся мы во множестве сочинений, посвященных вопросам о развитии тех или других специальных областей первобытной «культуры», или, выражаясь языком Маркса, тех или других *идеологий.* Так, например, исследование первобытного *искусства* твердой ногой стало на *материалистическую* почву; в подтверждение этого можно было бы привести длинный список сочинений, появившихся в Европе и в Соединенных Штатах Северной Америки, но я ограничусь указанием на существующие и в русском переводе работы Гроссе «Die Anfänge der Kunst» и Бюхера «Arbeit u. Rhythmus» [3]. Интересно, что эта последняя работа вышла из-под пера человека, взгляд которого на основные причины общественного развития прямо противоположен материалистическому взгляду (как это видно из того, что Бюхер писал о взаимном отношении *игры* и *труда*). Но, видно, от влияния истины не всегда можно уйти теперь даже буржуазному ученому, которому неприятно признать ее вследствие тех или других предрассудков. По всему видно, что мы быстро приближаемся теперь к тому времени, когда в общественной науке повторится то же, что мы уже теперь наблюдаем в естествознании: все явления будут объясняться материалистически, а основная мысль материализма будет отвергаться, как несостоятельная. Чем объясняется такое двойственное отношение к материализму, понять не трудно: последовательное материалистическое миросозерцание есть *миросозерцание революционное по преимуществу*, а «образованные классы» западных стран совсем не склонны теперь к революции. Что я не клевещу на «образованные классы», говоря это, видно, между прочим, из интересной книжки американца Эдвина Р. А. Зелигмэна: «The economic Interpretation of

* [«Народоведение», II, стр. 631]

History», New-York 1902*. Профессор Зелигмэн прямо говорит, что исторический материализм очень вредит себе в глазах ученых своей тесной связью с социализмом (см. стр. 90 его книги) и своими будто бы нелепыми преувеличениями («absurd exaggerations»), к числу которых принадлежит его отрицательное отношение к религии вообще и к христианству в частности (см. всю четвертую главу названной книги)[1]. Так как Зелигмэн считает материалистическое объяснение истории правильным и так как он хотел бы добиться признания его правильности другими учеными, то он старается доказать, что можно держаться материалистического объяснения истории и не разделять тех атеистических и социалистических выводов, к которым приходило до сих пор огромнейшее большинство его сторонников. Надо сознаться, что Зелигмэн по-своему прав: *при известной непоследовательности* предлагаемая им логическая операция, очевидно, возможна. И для общественной науки было бы полезно, если бы буржуазные ученые послушались совета, данного им Зелигмэном: отказываясь от «преувеличений» современного марксизма, они, разумеется, делали бы большую ошибку. Но, совершенно отвергая исторический материализм, они делают уже не одну ошибку, а многое множество их; из двух зол первое было бы, стало быть, все-таки меньшим...

Но как бы там ни было, а покойный Н. Михайловский жестоко ошибался, когда утверждал в своем споре с «русскими учениками Маркса», что исторический материализм по своей внутренней несостоятельности не способен привлечь к себе внимание ученого мира. Теперь внимание ученого мира со всех сторон привлекается к нему, и хотя буржуазные ученые по вышеуказанной причине в большинстве случаев пока еще очень мало склонны к признанию его научных достоинств, но теперь даже специалисты по *географии* нередко говорят о нем в специальных работах и, например, некоторые члены берлинского географического общества потратили уже немало пороху в борьбе с ним. Это — отрадное и весьма немаловажное знамение времени〉.

---

* [«Экономическое понимание истории», Нью-Йорк 1902]

[ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ]

КОНЕЦ 6-го ПРИМЕЧАНИЯ

О немецком «истинном социализме» см. в «Манифесте Коммунистической партии» Маркса—Энгельса (в 1882 г. в Женеве вышел новый перевод его на русский язык), а также у Адлера («*не того*» Адлера, не вожака австрийских социал-демократов), в его «Geschichte der ersten sozialpolitischen Bewegungen in Deutschland» *. Из этой же книги — впрочем далеко не удовлетворительной — читатель узнает также о деятельности *Карла Грюна*. «Истинный» немецкий социализм был одной из разновидностей утопического социализма, но в нем не было и следа тех глубоких мыслей, которыми на каждом шагу блещут сочинения таких утопистов, как Р. Оуэн, С.-Симон и Фурье. Сторонники «истинного социализма» *восставали* против «*политики*» и *совершенно не понимали, что такое борьба классов*. Известно, что этим последним грехом до сих пор грешат некоторые русские, не менее «истинные» социалисты. Насчет «политики» мы все рассуждаем теперь иначе, чем рассуждали «истинные» социалисты: мы все признаем ее необходимой. Но это еще не значит, что все мы правильно на нее смотрим. Кто противопоставляет социализм политике, кто не понимает, что всякая классовая борьба есть борьба политическая, кто говорит, например: «займемся *сперва* политикой, повалим самодержавие, а потом уже перейдем к социализму»,— тот ни на волос не возвысился еще над взглядами утопических социалистов, тот не понимает политики рабочего класса и тот, наверное, будет отстаивать такую политику, которая не имеет решительно никакого прямого отношения к политическим задачам социалистов.

КОНЕЦ 7-го ПРИМЕЧАНИЯ

Так, например, мы знаем, что по учению Канта вещи сами по себе, действуя на нас, дают материал, перерабатываемый нашим сознанием. Но, как справедливо замечает Иберверг (стр. 233 русского перевода его «Истории философии нового

* [«История первых социально-политических движений в Германии».]

времени»), «действие включает в себе временность и причинность, за которыми, как формами a priori, с другой стороны, Кант признает значение только в пределах мира явлений, а не по ту сторону его». Можно было бы указать немало других противоречий подобного же рода, но, разумеется, не в этом кратком примечании.

На тему о непознаваемости «вещей в себе» охотно распространяются теперь некоторые немецкие и русские «философы». Им кажется, что они высказывают при этом необыкновенно глубокие истины. Но это большая ошибка. Гегель совершенно верно заметил, что «вещь сама по себе» есть не что иное, как отвлечение от всяких определенных свойств, пустая абстракция, о которой нельзя *ничего знать* именно потому, что она есть отвлечение от всякой определенности. Мы не знаем, что такое вещи в себе... Конечно, нет! Вопрос «что такое?» предполагает известные свойства вещи, которые должны быть указаны; а раз *мы отвлекаемся от всех свойств вещи*, мы, конечно, не можем ответить на вопрос, какова она, так как в этом вопросе содержится уже невозможность ответа. Трансцендентальный идеализм «переносит» в сознание все свойства вещей, как по отношению к форме, так и по отношению к содержанию. Понятно, что с этой точки зрения единственно от меня, от субъекта, зависит то обстоятельство, что древесный лист кажется мне зеленым, а не черным, солнце круглым, а не четвероугольным, сахар сладким, а не горьким и что когда часы бьют *два*, я воспринимаю их удары последовательно, а не одновременно и что я не считаю первого удара ни причиной, ни следствием второго и т. д. (Wissenschaft der Logik, I Bd., I Abth., S. 55, II Abth., S. 150 *).

Но позвольте, возражает читатель, да разве же цвет или звук не есть нечто совершенно субъективное, разве ощущение цвета или звука есть то же самое, что причиняющее его движение? Совсем нет, но «*всякому чувствуемому нами колебанию или переходу звука, по силе, высоте и продолжительности, соответствует совершенно определенное видоизменение звукового движения в действительности*. Звук и свет как ощущения суть продукты организации человека; но корни видимых нами форм и движений, равно как слышимых нами модуляций звуков, лежат вне нас в действительности» (Сеченов, «Предметная мысль и действительность» в сборнике «Помощь голодающим», изд. «Р. Вед.», стр. 188). И вообще, «каковы бы ни были внешние предметы сами по себе, независимо от нашего сознания,— пусть наши впечатления от них будут лишь условными знаками, — во всяком случае, чувствуемому нами сходству и различию знаков соответствует сходство и различие действительное. Дру-

* [Наука логики. Т. I, отд. I, стр. 55, отд. II, стр. 150]

гими словами: сходства и различия, находимые человеком между чувствуемыми им предметами, суть сходства и различия действительные» (Сеченов, там же, стр. 207). Этого нельзя опровергнуть, а следовательно, нельзя говорить и о *непознаваемости* вещей самих по себе, если бы даже кто и вздумал говорить об этих «вещах» после того, как Гегель показал *логическое* происхождение этих будто бы вещей.

Наши ощущения — это своего рода иероглифы [1], доводящие до нашего сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не похожи на те события, которые ими передаются. Но они могут *совершенно верно* передавать как самые события, так — и это главное — и те отношения, которые между ними существуют. Энгельс говорит, что теория Канта лучше всего опровергается опытом и промышленностью. Как понимать это, отчасти показывают приведенные нами слова Сеченова. Но не мешает, может быть, *несколько* дольше остановиться на этом вопросе. Всякий *опыт* и всякая *промышленность*, т. е. производство нужных человеку вещей, преднамеренное вызывание известных *явлений*, есть *активное* отношение человека к природе. И это активное отношение проливает на нее новый свет, гораздо более яркий, чем тот, который дается *пассивным* восприятием впечатлений. В самом деле, пользуясь своим знанием законов природы, человек может строить электрическую железную дорогу. Это значит, что он сам, *намеренно*, вызывает известные явления (переход электричества в движение, собственно так называемое, и проч.). Но что такое явление по смыслу Кантовой философии? Это равнодействующая двух сил: 1) нашего «*я*», 2) действия, производимого на это «*я*» вещью самой по себе. Следовательно, вызывая известное явление, я заставляю эту «вещь» действовать на мое «я» известным, заранее определенным мною образом. Следовательно, *я знаю, по крайней мере, некоторые ее свойства*: именно те, чрез посредство которых я заставляю ее действовать. Но это еще не все. Заставляя эту вещь действовать на меня известным образом, я становлюсь к ней в отношение *причины*. А Кант говорит, что категория причины не имеет никакого отношения к «вещам самим по себе»; следовательно, здесь опыт опровергает еще лучше, чем опровергал он сам себя, когда говорил, что категория причины относится лишь к *явлениям* (а не к вещам самим по себе), и в то же время утверждал, что «вещь сама по себе» действует на наше «*я*», т. е. служит *одной из причин* явлений. А из этого следует, что очень ошибался Кант, когда говорил, что «формы нашего мышления» (категории, или «основные понятия рассудка», например причинность, взаимодействие, существование, необходимость) суть только «*априорные формы*», т. е. что вещи в себе не подлежат причинному отношению, взаимодействию и т. п.

В действительности основные формы нашего мышления не только вполне соответствуют тем отношениям, которые существуют между вещами в себе, *но и не могут не соответствовать* им, потому что иначе сделалось бы невозможным наше существование вообще, а следовательно, и существование наших «форм мышления». Правда, мы очень способны ошибаться в изыскании этих основных форм, мы можем принять за категорию то, что вовсе не есть категория. Но это вопрос другой, прямого отношения сюда не имеющий. По его поводу мы ограничимся одним замечанием: когда мы говорим о тождестве основных форм бытия и мышления, мы вовсе не хотим сказать этим, что первый встречный философ имеет о них вполне правильное понятие.

Хорошо, пусть неправ Кант, пусть его дуализм не выдерживает критики. Но ведь самое существование внешних предметов все-таки остается недоказанным. Как вы докажете, что неправы субъективные идеалисты, что неправ, например, *Беркли*, взгляды которого вы изложили в начале этого примечания? Можно доказать и это: прочтите хоть относящиеся сюда работы *Ибервега*.

КОНЕЦ 9-го ПРИМЕЧАНИЯ

Что касается категорического императива Канта... но надо ли говорить о нем? Ведь любая история философии объяснит это лучше, чем сделаем это мы в немногих строках нашего примечания. Прочтите хоть стр. 245—256 русского перевода «Истории философии нового времени» Ибервега-Гейнце. А кому интересно знать, как именно осмеивался категорический императив Гегелем, тому мы рекомендуем в особенности стр. 550—581 (первого издания немецкого подлинника) «*Феноменологии Духа*». Нам, собственно, хотелось только заметить, что если Энгельс относится презрительно к «неосуществимым идеалам», то это происходит у него не от филистерской склонности мириться со всяким данным общественным порядком; что он презирает только маниловщину, которой немало было, между прочим, и у Канта. Наша цель, мы думаем, достигнута.

КОНЕЦ 11-го ПРИМЕЧАНИЯ

Роль экономических нужд и отношений в истории древнего Востока прекрасно выяснена в книге Л. И. Мечникова «La civilisation et les grands fleuves historiques» («Цивилизация и великие исторические реки»), хотя ее покойный автор и не задавался прямо этой целью. Впрочем, роль названных нужд и от-

ношений резко бросается в глаза уже и в обширной «Histoire ancienne de l'Orient» («Древняя история Востока») Ленормана[1]. По части средневековой истории и происхождения средневековых учреждений укажем, например, на Огюстэна Тьерри, Гизо, Маурера и отчасти Фюстель де Куланжа. Наконец, значение экономических отношений и вытекающей из них борьбы классов в новейшей истории с поразительной ясностью выступает наружу в превосходнейшем сочинении Маркса «Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte» («18 Брюмера Луи Бонапарта»)[2]. Мы не говорим уже о «Капитале», который в высшей степени замечателен также и как историческое сочинение. Вообще всякий шаг вперед в исторической науке дает новые доказательства в пользу «экономического материализма». Отсюда и происходит то обстоятельство, что многие историки и писатели открывают теперь «независимо от Маркса» (т. е. не имея ни малейшего представления об его теории)— вернее, видят в очень туманной дали — небольшие клочки давно открытой Америки. Но что подобная «независимость» от важнейшей исторической теории нашего времени не остается для них безнаказанной, показывает хотя бы переведенная на русский язык книга Жиро Тэлона об истории семьи[3].

Историческая теория Маркса должна еще будет лечь в основу многих и многих частных исторических исследований. Ее значение во всей его полноте далеко еще не ясно теперь даже для многих марксистов. Но когда «философы» вроде г. Пауля Барта (см. его «Geschichtsphilosophie Hegel's und der Hegelianer» *) с удивлением спрашивают, в каких же, собственно, сочинениях доказывается справедливость теории Маркса, то они этим обнаруживают только свое невежество или недостаток у них силы суждения, недостаток, который Кант справедливо признавал совершенно неизлечимым.

---

* [«Философия истории Гегеля и гегельянцев»]

БУРЖУА ПРЕЖНИХ ВРЕМЕН

«Несчастье почти всех людей и народов проистекает от несовершенства их законов и от слишком неравномерного распределения богатств. В большинстве государств имеется только два класса граждан: один класс, нуждающийся в самом необходимом, и другой, задыхающийся от избытка. Первый класс может удовлетворять свои потребности только непосильным трудом. Труд есть физическое страдание для всех, а для некоторых — мучительная пытка. Второй класс утопает в роскоши, но изнывает зато от скуки. А скука почти столь же страшное зло, как и бедность. Поэтому большинство государств населено одними несчастными. Что нужно сделать для того, чтобы вернуть им счастье? Уменьшить богатство одних и увеличить богатство других; поставить неимущего в такое благоприятное положение, *при котором он мог бы, работая семь или восемь часов, с избытком удовлетворять свои потребности и потребности своей семьи. Тогда он станет счастлив, по крайней мере настолько, насколько это для него возможно*» [1].

Так рассуждал свыше ста лет тому назад Гельвеций, который убежден был в том, что «если вообще труд рассматривается как зло, то происходит это потому, что в большинстве государств необходимые средства для существования добываются только непосильным трудом, потому, что представление о труде в силу этого всегда связывается с представлением о страдании» [2]. «Умеренный труд, — прибавлял он, — есть вообще самое счастливое использование времени, какое только мы можем сделать, если не удовлетворяем никаких других потребностей и не отдаемся никаким другим чувственным наслаждениям, которые, без сомнения, при всей своей яркости наименее долговечны» [3].

Бесспорно, что Гельвеций был убежденным буржуа. Право собственности было для него «*первым и самым священным из всех прав*». Но буржуа времен Гельвеция не были похожи на современных буржуа. Буржуазия была тогда способна на благородные стремления. Борясь против духовенства и дворянства, против «власть имущих», против «вельмож» и «привилегированных», она боролась за дело всего человечества. Идеалом ее просвещенных представителей отнюдь не было такое общество, в котором несколько тысяч капиталистов живут потом миллионов рабочих. Напротив, философы XVIII века мечтали об обществе, состоящем из неравных по богатству собственников, но в котором все независимы и каждый работает за свой счет. Это была неосуществимая мечта. Она противоречила всем законам капиталистического производства.

Но пока философы лелеяли эту мечту, они не могли стать защитниками эксплуататоров. И очень часто они говорили последним довольно неприятные вещи.

Итак, уже Гельвеций понимал, что интересы предпринимателей противоречат интересам всей «нации» в целом. «В известном отношении ничто так не противоречит национальному интересу,—говорил он,—как наличие слишком большого количества людей, лишенных собственности. Между тем ничто не соответствует больше интересам купечества. Чем больше неимущих, тем ниже оно оплачивает их труд... А в торговой стране купечество часто является *действительной силой*»[1] (Гельвеций хочет сказать — в стране *с капиталистическим производством*).

Другой философ революционной буржуазии, Гольбах, возмущался строем, при котором «целые нации должны работать, обливаться потом, орошать землю слезами для того только, чтобы питать прихоти, роскошь, фантазии, извращенные вкусы кучки безумцев, горстки бесполезных людей, которые не могут быть счастливы, ибо их расстроенное воображение не знает больше никаких пределов».

Гельвеций предвидел уже, каковы будут моральные последствия борьбы за существование, происходящей в буржуазном обществе.

Он говорил, что во всех странах, где «существует денежное обращение», возникает стремление обогащаться во что бы то ни стало. Но «страсть к обогащению не может распространяться на все классы граждан, не порождая в то же время у правящих классов *склонности к воровству и к злоупотреблениям*».

И тогда начинают с жадностью хвататься «за сооружение гаваней, за вооружение, за учреждение торговых компаний, за войны, предпринимаемые, как любят выражаться, ради чести нации,— словом, за всякий предлог к грабежу. В государстве

сразу появляются все пороки, эти порождения алчности, заражают постепенно всех членов его и приводят в конце концов государство к гибели»[1].

Так более века тому назад предсказаны были тунисские и панамские скандалы.

Обстоятельства сильно изменились со времени Гельвеция. В наши дни всякий уважающий себя буржуа считает своим священным долгом ополчаться против восьмичасового рабочего дня и всех других требований эксплуатируемых. Тогда как производительные силы современных обществ развиваются в неслыханных размерах, господа эксплуататоры и слышать не хотят о каком бы то ни было облегчении труда рабочих. И, в то время как благодаря «страсти к обогащению» развращенность буржуазии превосходит все, что только может создать воображение ее врагов, нас пытаются убедить, что буржуазный мир — наилучший из миров.

Попадемся ли мы на удочку сикофантов буржуазии?

Рабочий день, о котором мечтал когда-то Гельвеций и которого требует в наше время рабочий класс всего мира, не сделает рабочего «*счастливым, по крайней мере, настолько, насколько это для него возможно*». Но он даст ему новое оружие в борьбе за его полное и окончательное освобождение.

Гельвеций не знал «лекарства» против «зла», которое он предвидел. Мы же знаем такое лекарство, и притом лекарство верное: *это диктатура пролетариата как средство и социалистическая организация производства как цель.*

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МОНИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА ИСТОРИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ И ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Мною исправлены здесь только *описки и опечатки*, закравшиеся в первое издание. Я не счел себя вправе изменять что-нибудь в моих *доводах* по той простой причине, что эта моя книга — *полемическое* произведение. Изменить что-нибудь в содержании полемического произведения — значит выступить против своего противника с новым оружием, заставляя его бороться с помощью старого. Это прием непозволительный вообще, а в данном случае еще менее позволительный потому, что моего главного противника, Н. К. Михайловского, уже нет в живых [1].

Критики наших взглядов утверждали, что эти взгляды, во-первых, неверны сами по себе; во-вторых, особенно ошибочны в применении к России, которой суждено будто бы пойти в экономической области своим самобытным путем; в-третьих, плохи тем, что предрасполагают своих сторонников к бездеятельности, «квиетизму». Этот последний упрек вряд ли решится кто-нибудь повторить в настоящее время. Второй упрек также на виду у всех опровергнут всем ходом развития русской экономической жизни за последнее десятилетие. А что касается первого упрека, то достаточно ознакомиться хотя бы только с *этнологической* литературой последнего времени, чтобы убедиться в справедливости *нашего объяснения истории*. Всякое серьезное сочинение по «первобытной культуре» непременно должно прибегать к нему всякий раз, когда заходит речь о причинной связи явлений общественной и духовной жизни «диких» народов. Для примера укажу на классическое сочинение фон ден Штейнена «Unter den Naturvölkern Zentral-Braziliens» *.

* [«Среди первобытных народов Центральной Бразилии».]

Но само собой разумеется, что здесь я не могу распространяться об этом предмете.

Некоторым из моих критиков я отвечаю в прилагаемой статье «Несколько слов нашим противникам», которую я опубликовал под псевдонимом и потому говорю в ней о своей книге, как о сочинении другого лица, воззрения которого являются также и моими[1]. Но эта статья ничего не возражает г. Кудрину, который выступил против меня в «Русском Богатстве» уже после ее появления[2]. По поводу г. Кудрина я скажу здесь два слова.

Самым серьезным из его направленных против исторического материализма доводов может показаться тот отмечаемый им факт, что одна и та же религия — например, буддизм — исповедуется иногда народами, стоящими на весьма различных ступенях экономического развития. Но этот довод кажется основательным только на первый взгляд. Наблюдение показало, что в таких случаях «одна и та же» религия *существенно изменяет свое содержание* соответственно степени экономического развития исповедующих ее народов.

Хочется мне ответить г. Кудрину еще и вот на что. Он нашел у меня ошибку в переводе греческого текста Плутарха (см. примеч., стр. 619—620) и делает несколько весьма язвительных замечаний по ее поводу[3]. Но на самом деле я в этой ошибке «не причинен». Находясь в путешествии во время издания моей книги, я послал в Петербург рукопись, в которой цитата из Плутарха не была сделана, а только отмечены были те *параграфы*, которые следовало процитировать. Одно из лиц, имевших отношение к изданию,— *и окончившее едва ли не ту же классическую гимназию*, в которой учился ученый г. Кудрин,— перевело указанные мною параграфы и... сделало указанную г. Кудриным ошибку. Это, конечно, жаль. Но надо и то сказать, эта ошибка была единственным промахом, в котором могли уличить нас наши противники. Нужно же было и им получить какое-нибудь нравственное удовлетворение. Так что по «человечеству» я даже радуюсь этому промаху.

Н. Бельтов.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ XVIII ВЕКА

«Если вы ныне,— говорит г. Михайловский [1],— встретите молодого человека... который даже с несколько излишней торопливостью заявит вам, что он «материалист», то это не значит, чтобы он был материалистом в общефилософском смысле, в каком у нас в старину были поклонники Бюхнера и Молешотта. Очень часто ваш собеседник ни малейше не интересуется ни метафизическою, ни научною стороною материализма и даже весьма смутное понятие об них имеет. Он хочет сказать, что он последователь теории экономического материализма, да и то в особенном, условном смысле...» *

Мы не знаем, с какого рода молодыми людьми встречался г. Михайловский. Но его слова могут дать повод думать, что учение представителей «экономического материализма» лишено всякой связи с материализмом «в общефилософском смысле». Верно ли это? В самом ли деле «экономический материализм» так узок и беден по содержанию, как это кажется г. Михайловскому?

Ответом послужит краткий очерк истории этого учения.

Что такое «материализм в общефилософском смысле»?

Материализм есть прямая противоположность *идеализма*. Идеализм стремится объяснить все явления природы, все свойства материи теми или иными свойствами *духа*. Материализм поступает как раз наоборот. Он старается объяснить психические явления теми или другими свойствами *материи*, той или другой организацией человеческого или вообще животного *тела*. Все те философы, в глазах которых первичным фактором является *материя*, принадлежат к лагерю *материалистов*; все же те, которые считают таким фактором *дух*,— *идеалисты*. Вот все, что можно сказать о материализме вообще, о «материализме в общефилософском смысле», так как время возводило на его основном положении самые разнообразные надстройки, которые придавали материализму одной эпохи совершенно иной вид сравнительно с материализмом другой.

---

* «Русское Богатство», январь 1894 года, отд. II, стр. 98.

Материализм и идеализм исчерпывают важнейшие направления философской мысли. Правда, рядом с ними почти всегда существовали те или другие *дуалистические* системы, признававшие *дух* и *материю* за отдельные, самостоятельные *субстанции. Дуализм* никогда не мог ответить удовлетворительно на неизбежный вопрос о том, каким образом эти две отдельные субстанции, не имеющие между собою ничего общего, могут влиять одна на другую. Поэтому наиболее последовательные и наиболее глубокие мыслители всегда склонялись к *монизму*, т. е. к объяснению явлений с помощью *какого-нибудь одного основного принципа* (monos по-гречески значит единый). Всякий последовательный *идеалист* есть монист в такой же степени, как и всякий последовательный *материалист*. В *этом* отношении нет никакой разницы, например, между Берклеем и Гольбахом. Один был последовательным *идеалистом*, другой не менее последовательным *материалистом*, но и тот и другой одинаково были *монистами*; и тот и другой одинаково хорошо понимали несостоятельность *дуалистического*, до сих пор едва ли не наиболее распространенного, *миросозерцания*.

В первой половине нашего столетия в философии господствовал *идеалистический* монизм; во второй половине его в *науке*, с которой тем временем совершенно слилась *философия*, восторжествовал *материалистический* монизм, далеко, впрочем, не всегда последовательный и откровенный.

Нам нет надобности излагать здесь всю историю материализма. Для нашей цели достаточно будет рассмотреть его развитие начиная со второй половины прошлого века. Да и здесь нам важно будет иметь в виду преимущественно одно—правда, самое главное — его направление, т. е. материализм Гольбаха, Гельвеция и их единомышленников.

Материалисты этого направления вели горячую полемику с официальными мыслителями того времени, которые, ссылаясь на едва ли хорошо понятого ими Декарта, утверждали, что у человека существуют известные *прирожденные*, т. е. являющиеся независимо от опыта, *идеи*. Оспаривая этот взгляд, французские материалисты, собственно говоря, только излагали учение Локка, который уже в конце XVII века доказывал, что *врожденных идей не существует* (no innate principles). Но, излагая его учение, французские материалисты придали ему более последовательный вид, ставя точки над такими i, которых Локк не хотел касаться в качестве благовоспитанного английского либерала. Французские материалисты были бесстрашными, последовательными до конца *сенсуалистами*, т. е. они рассматривали все психические функции человека как *видоизменения ощущений*. Бесполезно проверять здесь, насколько в том или другом случае доводы их удовлетворительны с точки зрения

Н. Бельтовъ.

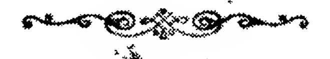
КЪ ВОПРОСУ

О РАЗВИТІИ

МОНИСТИЧЕСКАГО ВЗГЛЯДА НА ИСТОРІЮ

Отвѣтъ гг. Михайловскому, Карѣеву и комп.

Audiatur et altera pars.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).
1895.

Титульная страница первого издания книги
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

нынешней науки. Само собою понятно, что французские материалисты не знали многого из того, что известно теперь каждому школьнику: достаточно напомнить химические и физические взгляды Гольбаха, который был, однако, хорошо знаком с естествознанием *своего* времени. Но у французских материалистов была та неоспоримая и незаменимая заслуга, что они мыслили последовательно с точки зрения *современной им науки*, а это все, чего можно и должно требовать от мыслителей. Неудивительно то, что наука нашего времени ушла дальше французских материалистов прошлого века; но важно то, что *противники этих философов были отсталыми людьми уже по отношению к тогдашней науке*. Правда, историки философии обыкновенно противопоставляют взглядам французских материалистов взгляд Канта, которого, разумеется, странно было бы упрекать в недостатке знаний. Но это противопоставление совсем не основательно, и не трудно было бы показать, что и Кант и французские материалисты стояли в сущности на одной точке зрения, но пользовались ею различно и потому приходили к различным выводам сообразно с различиями в свойствах тех общественных отношений, под влиянием которых они жили и мыслили. Мы знаем, что это мнение найдут парадоксальным люди, привыкшие верить на слово историкам философии. Мы не имеем возможности подтверждать его здесь обстоятельными доводами, но не отказываемся сделать это, если этого захотят наши противники.

Как бы то ни было, но всем известно, что французские материалисты рассматривали всю психическую деятельность человека как видоизменение *ощущений* (sensations transformées). Рассматривать психическую деятельность с этой точки зрения— значит считать все представления, все понятия и чувства человека результатом *воздействия на него окружающей среды*. Французские материалисты так и смотрели па этот вопрос. Они беспрестанно, очень горячо и совершенно категорически заявляли, что человек со всеми своими взглядами и чувствами есть то, что делает из него окружающая его среда, т. е., во-первых, *природа*, а во-вторых, *общество*. «L'homme est tout éducation» (человек целиком зависит от воспитания),— твердит Гельвеций, понимая под словом «воспитание» всю совокупность общественного влияния. Этот взгляд на человека, как на плод окружающей среды, был главной теоретической основой *новаторских требований* французских материалистов. В самом деле, если человек зависит от окружающей его среды, если он обязан ей *всеми* свойствами своего характера, то он обязан ей, между прочим, и своими недостатками; следовательно, если вы хотите бороться с его недостатками, вы должны надлежащим образом видоизменить окружающую его среду, и притом именно *обще-*

ственную среду, потому что природа не делает человека ни злым, ни добрым. Поставьте людей в разумные общественные отношения, т. е. в такие условия, при которых инстинкт самосохранения каждого из них перестанет толкать его на борьбу с остальными; согласите интерес отдельного человека с интересами всего общества — и добродетель (vertu) явится сама собою, как сам собою падает на землю камень, лишенный подпоры. Добродетель надо не *проповедовать*, а *подготовлять* разумным устройством общественных отношений. С лёгкой руки консерваторов и реакционеров прошлого века мораль французских материалистов до сих пор считают *эгоистическою* моралью. Сами они гораздо вернее определяли ее, говоря, что она всецело переходит у них в *политику*.

Учение о том, что духовный мир человека представляет собою плод окружающей среды, нередко приводило французских материалистов к выводам, неожиданным для них самих. Так, например, они говорили иногда, что взгляды человека не имеют ровно никакого влияния на его поведение и что поэтому распространение тех или других идей в обществе не может ни на волос изменить его дальнейшую судьбу. Ниже мы покажем, в чем заключалась ошибочность такого мнения, теперь же обратим внимание на другую сторону воззрений французских материалистов.

Если идеи всякого данного *человека* определяются окружающей его средой, то идеи *человечества*, в их историческом развитии, определяются развитием общественной среды, *историей общественных отношений*. Следовательно, если бы мы задумали нарисовать картину «прогресса человеческого разума» и если бы мы не ограничились при этом вопросом — «*как?*» *(как именно совершалось историческое движение разума?)*, а поставили себе совершенно естественный вопрос— «*почему?*» *(почему же совершалось оно именно так, а не иначе?)*, то мы должны были бы начать с истории среды, с истории развития общественных отношений. Центр тяжести исследования перенесся бы, таким образом, по крайней мере на первых порах, в сторону исследования законов общественного развития. Французские материалисты вплотную подошли к этой задаче, но не сумели не только разрешить ее, а даже правильно поставить.

Когда у них заходила речь об историческом развитии человечества, они забывали свой сенсуалистический взгляд на «человека» вообще и, подобно всем «просветителям» того времени, твердили, что *мир* (т. е. общественные отношения людей) *управляется мнениями* (c'est l'opinion qui gouverne le monde)*.

* «Я называю мнением результат массы распространенных в нации истин и заблуждений; результат, обусловливающий собою ее суждения, ее уважение или презрение, ее любовь или ненависть, ее склонности и

В этом заключается коренное противоречие, которым страдал материализм XVIII века и которое в рассуждениях его сторонников распадалось на целый ряд второстепенных, производных противоречий, подобно тому как банковый билет разменивается на мелкую монету.

Положение. Человек со всеми своими *мнениями* есть плод *среды* и преимущественно общественной среды. Это неизбежный вывод из основного положения Локка: *no innate principles — нет врожденных идей.*

Противоположение. *Среда* со всеми своими свойствами есть плод *мнений*. Это неизбежный вывод из основного положения исторической философии французских материалистов: *c'est l'opinion qui gouverne le monde* *.

Из этого коренного противоречия вытекали, например, следующие производные противоречия.

Положение. Человек считает хорошим те общественные отношения, которые для него полезны; он считает дурными те отношения, которые для него вредны. *Мнения людей определяются их интересами*: «L'opinion chez un peuple est toujours déterminée par un intérêt dominant»,— говорит Сюар («мнение данного народа всегда определяется господствующим в его среде интересом»)**. Это даже не *вывод* из учения Локка, это простое повторение его слов: «No innate practical principles... Virtue generally approved; not because innate, but because profitable... Good and Evil... are nothing but Pleasure or Pain, or that which occasions or procures Pleasure or Pain to us». («Нет врожденных нравственных идей... Добродетель одобряется людьми не потому, что она врождена им, а потому, что она им выгодна. Добро и зло... суть не что иное, как удовольствие или страдание или то, что причиняет нам удовольствие или страдание»)***.

Противоположение. Данные отношения кажутся людям полезными или вредными в зависимости от общей системы мнений этих людей. По словам того же Сюара, всякий народ «ne veut, n'aime, n'approuve que ce qu'il croit être utile» (всякий народ «любит, поддерживает и оправдывает лишь то, что считает полезным»). Следовательно, в последнем счете все опять сводится к мнениям, которые управляют миром.

привычки, ее недостатки и достоинства, словом — ее нравы. Это-то мнение и правит миром». *Suard*, Mélanges de Littérature, Paris, An XII, t. III, p. 400. [*Сюар*, Литературная смесь, Париж, год XII, т. III, стр. 400.]

* [мнение правит миром.]

** *Suard*, t. III, p. 401. [Сюар, т. III, стр. 401.]

*** «Essay concerning human understanding», B. I, ch. 3; B. II, ch. 20, 21, 28. [«Опыт о человеческом разуме», кн. I, гл. 3; кн. II, гл. 20, 21, 28.]

Положение. Очень ошибаются те, которые думают, что религиозная мораль — например, заповедь о любви к ближнему — хотя отчасти содействовала нравственному улучшению людей. Такого рода заповеди, как и вообще идеи, совершенно бессильны над людьми. Все дело в общественной среде, в общественных отношениях*.

Противоположение. Исторический опыт показывает нам, «que les opinions sacrées furent la source véritable des maux du genre humain»**, и это совершенно понятно, потому что, если мнения вообще управляют миром, то ошибочные мнения управляют им, как кровожадные тираны.

Легко было бы удлинить список подобных противоречий французских материалистов, унаследованных от них многими современными нам «материалистами в общефилософском смысле». Но это было бы излишне. Приглядимся лучше к общему характеру этих противоречий.

Есть противоречия и противоречия. Когда г. В. В. противоречит себе на каждом шагу в своих «Судьбах капитализма» или в первом томе «Итогов экономического исследования России»[1], то его логические грехи могут иметь значение разве лишь как «человеческий документ»: будущий историк русской литературы, указав эти противоречия, должен будет заняться чрезвычайно интересным в смысле общественной психологии вопросом о том, почему они, при всей своей несомненности и очевидности, оставались незаметны для многих и многих читателей г. В. В. В непосредственном смысле противоречия этого писателя бесплодны, как известная смоковница. Есть другого рода противоречия Столь же несомненные, как и противоречия г. В. В., они отличаются от этих последних тем, что не усыпляют человеческую мысль, не задерживают ее развития, а толкают ее дальше, и толкают иногда так сильно, что по своим последствиям оказываются плодотворнее самых стройных теорий. О таких противоречиях можно сказать словами *Гегеля:* «Der Widerspruch ist das Fortlei-

* Это положение не раз повторяется в «Système de la Nature» [«Системе природы»] *Гольбаха.* Его же выражает Гельвеций, говоря: «Допустим, что я распространил самое нелепое мнение, из которого вытекают самые отвратительные выводы; если я ничего не изменил в законах, я ничего не изменю и в нравах» («De l'Homme», Section VII, ch. IV). [«О человеке», раздел VII, гл. IV.] Его же не раз высказывает в своей «Correspondance Littéraire» [«Литературной корреспонденции»] Гримм, долго живший в среде французских материалистов, и Вольтер, воевавший с материалистами. В своем «Philosophe ignorant» [«Невежественном философе»], как и во множестве других сочинений, «фернейский патриарх» доказывал, что еще ни один философ никогда не повлиял на поведение своих ближних, так как они руководствуются в своих поступках обычаями, а не метафизикой.

** [«религиозные мнения были истинным источником бедствий человеческого рода»]

Наши Разногласія

Часть II

Выпускъ I:

Наша "легальная" литература въ борьбѣ съ марксизмомъ.

Титульная страница предполагавшегося зарубежного издания «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», начатого набором в 1894 г. под заглавием: «Наши разногласия», ч. 2, вып. 1, «Наша «легальная» литература...»

tende» (противоречие ведет вперед). Именно к их числу принадлежат противоречия французского материализма XVIII столетия.

Остановимся на коренном их противоречии: *мнения людей определяются средою; среда определяется мнениями*. О нем приходится сказать, как Кант говорил о своих «антиномиях»: *положение* столь же справедливо, как и *противоположение*. В самом деле, не подлежит никакому сомнению, что мнения людей определяются окружающей их общественной средои. Так же несомненно и то, что ни один народ не помирится с таким общественным порядком, который противоречит всем его взглядам: он восстанет против такого порядка, он перестроит его по-своему. Стало быть, правда и то, что мнения управляют миром. Но каким же образом два положения, верные сами по себе, могут противоречить друг другу? Дело объясняется очень просто. Они противоречат друг другу лишь потому, что мы рассматриваем их с неправильной точки зрения: с этой точки зрения кажется — и непременно должно казаться,— что если верно положение, то ошибочно противоположение, и наоборот. Но раз вы найдете правильную точку зрения, противоречие исчезнет, и каждое из смущавших вас положений примет новый вид: окажется, что оно дополняет, точнее, *обусловливает* собою другое положение, а вовсе не исключает его; что если бы неверно было *это* положение, то неверно было бы и *другое* положение, казавшееся вам прежде его антагонистом. Как же найти такую правильную точку зрения?

Возьмем пример. Часто говорили, особенно в XVIII веке, что государственное устройство всякого данного народа обусловливается нравами этого народа. И это совершенно справедливо. Когда исчезли старые республиканские нравы римлян, республика уступила место монархии. Но, с другой стороны, не менее часто утверждали, что нравы данного народа обусловливаются его государственным устройством. Это также не подлежит никакому сомнению. В самом деле, откуда у римлян, например, времен Гелиогабала взялись бы республиканские нравы? Не ясно ли до очевидности, что нравы римлян времен империи должны были представлять собою нечто противоположное старым республиканским нравам? А если ясно, то мы приходим к тому общему выводу, что государственное устройство обусловливается нравами, нравы же — государственным устройством. Но ведь это противоречивый вывод. Вероятно, мы пришли к нему вследствие ошибочности того или другого из наших положений. Какого же именно? Ломайте себе голову, сколько хотите, вы не откроете неправильности ни в том, ни в другом; они оба безупречны, так как действительно нравы каждого данного народа влияют на его государственное устрой-

ство и в этом смысле являются его *причиной*, а с другой стороны, они обусловливаются государственным устройством и в этом смысле оказываются его *следствием*. Где же выход? Обыкновенно в такого рода вопросах люди довольствуются открытием *взаимодействия*: нравы влияют на конституцию, конституция на нравы,— все становится ясно, как божий день, а люди, не удовлетворяющиеся подобной ясностью, обнаруживают достойную всякого порицания склонность *к односторонности*. Так рассуждает у нас в настоящее время почти вся наша интеллигенция. Она смотрит на общественную жизнь *с точки зрения взаимодействия*: каждая сторона жизни влияет на все остальные и в свою очередь испытывает влияние всех остальных. Только такой взгляд и достоин мыслящего «социолога», а кто, подобно марксистам, допытывается каких-то более глубоких причин общественного развития, тот просто не видит, до какой степени сложна общественная жизнь. Французские просветители тоже склонялись к этой точке зрения, когда ощущали потребность привести в порядок свои взгляды на общественную жизнь, разрешить одолевавшие их противоречия. Самые систематические умы между ними (мы не говорим здесь о *Руссо*, у которого вообще мало общего с просветителями) не шли дальше. Так, например, такой точки зрения взаимодействия держится Монтескье в своих знаменитых сочинениях: «Grandeur et Décadence des Romains» и «De l'Esprit des lois» *. И это, конечно, справедливая точка зрения. *Взаимодействие бесспорно существует между всеми сторонами общественной жизни*. К сожалению, эта справедливая точка зрения объясняет очень и очень немногое по той простой причине, что она не дает никаких указаний насчет *происхождения взаимодействующих сил*. Если государственное устройство само предполагает те нравы, на которые оно влияет, то очевидно, что не ему обязаны эти нравы своим первым появлением. То же надо сказать и о нравах; если они уже предполагают то государственное устройство, на которое они влияют, то ясно, что не они его создали. Чтобы разделаться с этой путаницей, мы должны найти тот исторический фактор, который произвел, и нравы данного народа и его государственное устройство, а тем *создал и самую возможность их взаимодействия*.

* [«Величие и упадок римлян» и «О духе законов».] Гольбах в своей «Politique naturelle» [«Естественной политике»] стоит на точке зрения взаимодействия между нравами и государственным устройством. Но так как ему приходится там иметь дело с практическими вопросами, то эта точка зрения заводит его в заколдованный круг: чтобы улучшить нравы, надо усовершенствовать государственное устройство, а чтобы улучшить государственное устройство, надо улучшить нравы. Гольбаха выводит из этого круга воображаемый, желанный всем просветителям bon prince [добрый государь], который, являясь как deus ex machina [чудотворец], разрешает противоречие, улучшая и нравы и государственное устройство.

Если мы найдем такой фактор, мы откроем искомую правильную точку зрения, и тогда мы без всякого труда разрешим смущающее нас противоречие.

В применении к коренному противоречию французского материализма это означает вот что: очень ошибались французские материалисты, когда, противореча своему обычному взгляду на историю, они говорили, что идеи не значат *ничего*, так как среда значит *все*. Не менее ошибочен и этот обычный взгляд их на историю (c'est l'opinion qui gouverne le monde)*, объявляющий мнения главной основной причиной существования всякой данной общественной среды. Между мнениями и средой существует несомненное взаимодействие. Но научное исследование не может остановиться на признании этого взаимодействия, так как взаимодействие далеко не объясняет нам общественных явлений. Чтобы понять историю человечества, т. е. в данном случае историю его мнений, с одной стороны, и историю тех общественных отношений, через которые оно прошло в своем развитии,— с другой, надо возвыситься над точкой зрения взаимодействия, надо открыть, если это возможно, тот фактор, который определяет собою и развитие *общественной среды* и *развитие мнений*. Задача общественной науки XIX века заключалась именно в открытии этого фактора.

Мир управляется мнениями. Но ведь мнения не остаются неизменными. Чем обусловливаются их изменения? «Распространением просвещения»,— отвечал еще в XVII веке *Ламот ле Вайе*. Это — самое отвлеченное и самое поверхностное выражение мысли о господстве мнении над миром. Просветители XVIII века крепко за него держались, дополняя его иногда меланхолическими рассуждениями о том, что судьба просвещения, к сожалению, вообще мало надежна. Но у наиболее талантливых из них уже заметно сознание неудовлетворительности такого взгляда. Гельвеций замечает, что развитие знаний подчиняется известным законам и что, следовательно, существуют какие-то скрытые, неизвестные причины, от которых оно зависит. Он делает в высшей степени интересную, до сих пор не оцененную по достоинству попытку объяснить общественное и умственное развитие человечества *материальными его нуждами*. Эта попытка окончилась, да по многим причинам и не могла не окончиться, неудачей. Но она осталась как бы завещанием для тех мыслителей следующего века, которые захотели бы продолжить дело французских материалистов.

* [мнение правит миром]

ГЛАВА ВТОРАЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОРИКИ ВРЕМЕН РЕСТАВРАЦИИ [1]

«Один из важнейших выводов, которые можно сделать на основании изучения истории,— это тот, что правительство есть самая действительная причина характера народа; что достоинства и недостатки наций, их энергия или их слабость, их таланты, их просвещение или их невежество почти никогда не бывают следствием климата или свойств данной расы; что природа дает *все всем*, а правительства сохраняют или уничтожают в подчиненных им людях те качества, которые составляют первоначально общее достояние человеческого рода». В Италии не произошло изменений ни в климате, ни в расе (прилив варваров был слишком незначителен, чтобы изменить ее свойства): «природа была та же для итальянцев всех времен; изменялись только правительства,— и эти перемены всегда предшествовали изменениям национального характера или сопровождали их».

Так оспаривал *Сисмонди* учение, ставящее историческую судьбу народов в исключительную зависимость от географической среды *. Его возражения не лишены основательности. Действительно, *география* далеко не все объясняет в истории именно потому, что эта последняя есть *история*, т. е. потому, что, по выражению Сисмонди, правительства изменяются, несмотря на то, что географическая среда остается неизменной. Но это мимоходом; нас интересует здесь совсем другой вопрос.

Читатель заметил уже, вероятно, что, сопоставляя неизменность географической среды с изменчивостью исторических судеб народов, Сисмонди приурочивает эти судьбы к одному основному фактору: «*к правительству*», т. е. *к политическому строю данной страны*. Характер народа всецело определяется характером правительства. Правда, категорически высказав это положение, Сисмонди тотчас же и весьма существенно смягчает его:

---

* «Histoire des Républiques italiennes du moyen âge», nouvelle édition, t. I, Paris, Introduction, p. p. V—VI. [«История средневековых итальянских республик», новое издание, т. I, Париж, Введение, стр. V—VI.]

политические перемены, говорит он, предшествовали изменениям национального характера *или сопровождали их.* Тут уже выходит, что характер правительства иногда определяется характером народа. Но в этом случае историческая философия Сисмонди сталкивается с знакомым уже нам противоречием, смущавшим французских просветителей: нравы данного народа зависят от его политического устройства; политическое устройство зависит от нравов. Сисмонди так же мало был способен разрешить это противоречие, как и просветители: он принужден был поочередно класть в основу своих рассуждений то один, то другой член этой антиномии. Но как бы то ни было, раз остановившись на одном из них, именно на том, который гласит, что характер народа зависит от его правительства, он придавал понятию «правительство» преувеличенно широкое значение: оно охватывало у него *решительно все свойства данной социальной среды*, все особенности данных общественных отношений. Точнее будет сказать, что у него решительно все свойства данной социальной среды являются делом «правительства», результатом политического устройства. Это точка зрения XVIII века. Когда французские материалисты хотели кратко и сильно выразить свое убеждение относительно всемогущего влияния окружающей среды на человека, они говорили: c'est la législation qui fait tout (все зависит от законодательства). А когда у них заходила речь о законодательстве, они имели в виду почти исключительно *политическое законодательство, государственный строй.* Между сочинениями знаменитого *Ж.-Б. Вико* есть маленькая статейка, озаглавленная: «Опыт системы юриспруденции, в которой гражданское право римлян объясняется их политическими революциями» *. Хотя этот «опыт» написан был в самом начале XVIII столетия, но выраженный в нем взгляд на отношение гражданского права к государственному строю господствовал до французской реставрации; просветители все сводили к «политике».

* Мы переводим название статейки с французского и спешим заметить при этом, что сама статейка известна нам лишь по некоторым французским извлечениям из нее. Мы не могли достать ее итальянского подлинника, так как она, насколько мы знаем, была напечатана лишь в одном издании соч. Вико (1818 г.); ее уже нет в шеститомном миланском издании 1835 г. Впрочем, в данном случае важно не то, *как исполнил* Вико свою задачу, а то, *какую именно задачу он себе ставил.*

Предупредим здесь, кстати, один упрек, который нам поторопятся, вероятно, сделать догадливые критики: «вы безразлично употребляете выражение «просветители» и «материалисты»,— скажут нам,— а между тем далеко не все «просветители» были материалистами; многие из них, например хоть Вольтер, горячо восставали против материалистов». Это так; но, с другой стороны, еще Гегель показал, что восстававшие против материализма просветители сами были лишь *непоследовательными материалистами* [1].

Но политическая деятельность «законодателя» есть во всяком случае деятельность *сознательная*, хотя, разумеется, и не всегда целесообразная. Сознательная деятельность человека зависит от его *«мнений»*. Таким образом, французские просветители незаметно для себя возвращались к мысли о *всемогуществе мнений* даже в том случае, когда хотели ярко выразить мысль о *всемогуществе среды*.

Сисмонди стоит еще на точке зрения XVIII века *. Более молодые французские историки держатся уже других взглядов.

Ход и исход французской революции с ее сюрпризами, ставившими в тупик самых «просвещенных» мыслителей, явились до последней степени наглядным опровержением мысли о всемогуществе мнений. Тогда многие совсем разочаровались в силе «разума», а другие, не поддавшиеся разочарованию, стали тем более склоняться к принятию мысли о всемогуществе *среды* и к изучению хода *ее* развития. Но и на среду стали смотреть во время реставрации с новой точки зрения. Великие исторические события так насмеялись и над *«законодателями»* и над политическими конституциями, что теперь уже странно казалось приурочивать к этим последним, как к основному фактору, все свойства данной общественной среды; теперь политические конституции стали рассматривать как нечто производное, как *следствие*, а не как *причину*.

«Бо́льшая часть писателей, ученых, историков или публицистов,— говорит *Гизо* в своих «Essais sur l'histoire de France»**,— старалась объяснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации политическими учреждениями этого общества. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, учреждения являются следствием; общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием; и, вместо того чтобы о состоянии народа судить по формам его правительства, надо, прежде всего, исследовать состояние народа, чтобы судить, каково должно было быть, каково могло быть его правительство... Общество, его состав, образ жизни отдельных лиц, в зависимости от их социального положения, отношения различных классов лиц — словом, *гражданский быт людей* (l'état des personnes),— таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как жили народы, и публициста, желающего знать, как они управлялись» ***.

* Он начал работать над историей итальянских республик еще в 1796 году.

** [«Очерках истории Франции».] Первое издание их вышло в 1821 году.

*** «Essais», dixième édition, Paris 1860, p.p. 73—74. [«Очерки», изд. 10, Париж 1860, стр. 73—74.]

Это взгляд, прямо противоположный взгляду Вико. У того история гражданского права объясняется политическими революциями, у Гизо политический строй объясняется гражданским бытом, т. е. гражданским правом. Но французский историк идет еще дальше в анализе «общественного состава». По его словам, у всех народов, явившихся на историческую сцену после падения западной Римской империи, *«гражданский быт»* людей находился в тесной связи с *поземельными отношениями* (état des terres), а потому изучение их поземельных отношений должно предшествовать изучению их гражданского быта: *«Чтобы понять политические учреждения, надо изучить различные слои, существующие в обществе, и их взаимные отношения. Чтобы понять эти различные общественные слои, надо знать природу поземельных отношений»**. С этой точки зрения Гизо и изучает историю Франции первых двух династий. Она является у него историей борьбы различных слоев тогдашнего общества. В своей истории английской революции он делает новый шаг вперед, изображая это событие как борьбу буржуазии против аристократии и молчаливо признавая, таким образом, что для объяснения политической жизни данной страны надо изучить не только ее поземельные отношения, но и все ее имущественные отношения вообще **.

Такой взгляд на политическую историю Европы далеко не был тогда исключительной принадлежностью Гизо. Его разделяли многие другие историки, из которых мы укажем на *Огюстэна Тьерри* и *Минье*.

---

* Ibid., p.p. 75—76. [Там же, стр. 75—76.]

** Борьба религиозных и политических партий в Англии XVII века «прикрывала собой социальный вопрос, борьбу различных классов за власть и влияние. Правда, в Англии эти классы были не так резко разграничены и не так враждебны друг к другу, как в прочих странах. Народ не забыл, что сильные бароны боролись не только за свою собственную, но и за народную свободу. Сельские дворяне и городские буржуа в продолжение трех столетий вместе заседали в парламенте именем английских общин. Но в течение последнего века произошли большие изменения относительной силы различных классов общества, не сопровождавшиеся соответственными изменениями в политическом устройстве... Буржуазия, сельское дворянство, фермеры и мелкие землевладельцы, очень многочисленные в тогдашних деревнях, не имели на ход общественных дел того влияния, которое соответствовало бы важности их общественной роли. Они выросли, но не возвысились. Отсюда в этом слое, равно как и в других слоях, лежавших ниже его, явился могущественный дух самолюбия, готовый схватиться за первый встречный повод для своего бурного проявления». «Discours sur l'histoire de la révolution d'Angleterre», Berlin 1850, p.p. 9—10. [«Рассуждение об истории английской революции», Берлин 1850, стр. 9—10.]— Ср. у того же автора все шесть томов, относящиеся к истории первой английской революции, и очерки жизни различных общественных деятелей того времени. Гизо редко покидает там точку зрения борьбы классов.

В своих «Vues des révolutions d'Angleterre» * Ог. Тьерри изображает историю английских революций как борьбу буржуазии с аристократией. «Всякий тот, чьи предки принадлежали к числу завоевателей Англии,— говорит он о первой революции,— покидал свой замок и ехал в королевский лагерь, где и занимал положение, соответствующее его званию. Жители городов толпами шли в противоположный лагерь. Тогда можно было сказать, что армии собирались: одна — во имя *праздности* и *власти*, другая — во имя *труда* и *свободы*. Все праздношатающиеся, каково бы ни было их происхождение, все те, которые искали в жизни лишь достающихся без труда наслаждений, становились под королевские знамена, защищая интересы, подобные их собственным интересам; и, наоборот, те из потомков прежних завоевателей, которые занимались тогда промышленностью, присоединялись к партии общин» **.

Религиозное движение того времени было, по мнению Тьерри, лишь отражением положительных житейских интересов. «С обеих сторон война велась за положительные интересы. Все остальное было внешностью или предлогом. Люди, отстаивавшие дело *подданных*, были по большей части пресвитерианами, т. е. они не хотели никакого подчинения, даже в религии. Те, которые примыкали к противной партии, принадлежали к англиканскому[1] или католическому исповеданию; это потому, что даже в религиозной области они стремились к власти и к обложению людей налогами». Тьерри цитирует при этом следующие слова Фокса из его «History of the reign of James the Second»***: «на все религиозные мнения виги [2] смотрели глазами политиков. Даже ненависть их к папизму вызывалась не столько суевериями или так называемым идолопоклонством этой непопулярной секты, сколько ее стремлениями установить абсолютную власть в государстве».

По мнению Минье, «общественное движение определяется господствующими интересами. Посреди различных препятствий это движение стремится к своей цели, останавливается, раз она достигнута, и уступает место другому движению, которое сначала не заметно и обнаруживается только тогда, когда становится преобладающим. Таков был ход развития феодализма. Феодализм существовал в нуждах людей, еще не существуя фактически,— первая эпоха; во вторую эпоху он существовал фактически, постепенно переставая соответствовать нуждам, отчего прекратилось, наконец, и его фактическое существо-

* [«Обзоры английских революций»]

** «Dix ans d'études historiques» [«Десять лет исторических исследований»], шестой том полного собрания сочинений Тьерри, издание десятое, стр. 66.

*** [«Истории правления Якова Второго»]

вание. Еще ни одна революция не совершалась другим путем» *.

В своей истории французской революции Минье смотрит на события именно с точки зрения «нужд» различных общественных классов [1]. Борьба этих классов составляет у него главную пружину политических событий. Разумеется, такой взгляд не мог быть по вкусу эклектикам даже в то доброе старое время, когда их головы работали много больше, чем работают теперь. Эклектики упрекали сторонников новых исторических теорий в *фатализме*, в пристрастии к *системе* (esprit de système). Как всегда бывает в таких случаях, эклектики вовсе не замечали действительно слабых сторон новых теорий, но зато с тем большей энергией нападали на их бесспорно сильные стороны. Впрочем, это старо, как мир, и потому мало интересно. Гораздо интереснее то обстоятельство, что эти новые взгляды защищал *сенсимонист Базар*, один из самых блестящих представителей тогдашнего социализма.

Базар не считал безупречной книгу Минье о французской революции. Ее недостатком было в его глазах, между прочим, то, что она изображает описываемое событие как отдельный факт, стоящий без всякой связи с «той длинной цепью усилий, которая, свергнув старый общественный порядок, должна была облегчить установление нового строя». Но в книге есть и несомненные достоинства. «Автор задался целью характеризовать те партии, которые одна после другой направляют революцию, обнаружить связь этих партий с различными общественными классами, показать, какая именно цепь событий ставит их одну за другой во главе движения и как, наконец, они исчезают». Тот самый «дух системы и фатализма», который эклектики ставили в упрек историкам нового направления, выгодно отличает, по мнению Базара, работы Гизо и Минье от произведений «историков-литераторов (т. е. историков, заботящихся лишь о красоте «стиля»), которые, при всей своей многочисленности, ни на шаг не подвинули вперед историческую науку со времени XVIII века» **.

Если бы Огюстэна Тьерри, Гизо или Минье спросили, нравы ли данного народа создают его государственное устройство или же, наоборот, его государственное устройство создает его нравы, каждый из них ответил бы, что как ни велико и как ни бесспорно взаимодействие между нравами народа и его государственным

* «De la féodalité, des institutions de St.-Louis et de l'influence de la législation de ce prince», Paris 1822, p.p. 76—77. [«О феодализме учреждений Людовика Святого и о влиянии законодательства этого государя», Париж 1822, стр. 76—77.]

** «Considérations sur l'histoire», в IV ч. «Producteur». [«Рассуждения об истории», в IV ч. «Производителя».]

устройством, но в последнем счете и те и другое обязаны своим существованием третьему, глубже лежащему фактору: «*гражданскому быту людей, их имущественным отношениям*». Таким образом, противоречие, в котором путались философы XVIII века, было бы разрешено, и всякий беспристрастный человек признал бы, что Базар прав, что наука сделала шаг вперед в лице представителей новых исторических взглядов.

Но мы уже знаем, что упомянутое противоречие есть лишь частный случай коренного противоречия общественных взглядов XVIII века: 1) человек со всеми своими мыслями и чувствами есть плод среды; 2) среда есть создание человека, плод его «мнений». Можно ли сказать, что новые исторические взгляды разрешили это коренное противоречие французского материализма? Посмотрим, как объясняли себе французские историки времен реставрации происхождение того гражданского быта, тех имущественных отношений, внимательное изучение которых одно только и могло, по их мнению, дать ключ к пониманию исторических событий.

Имущественные отношения людей принадлежат к области их *правовых* отношений; собственность есть, прежде всего, правовой институт. Сказать, что ключ к пониманию исторических явлений надо искать в имущественных отношениях людей,— значит сказать, что этот ключ лежит в учреждениях права. Но откуда берутся эти учреждения? Гизо совершенно справедливо говорит, что политические конституции были *следствием*, прежде чем стать причиной; что общество прежде создало их, а потом уже стало видоизменяться под их влиянием. Но разве нельзя сказать то же самое и по адресу имущественных отношений? Разве они не были в свою очередь следствием, прежде чем стать причиной? Разве общество не должно было создать их прежде, чем испытать на себе их решительное влияние? На эти вполне резонные вопросы Гизо отвечает в высшей степени неудовлетворительно.

У народов, явившихся на историческую сцену после падения западной Римской империи, гражданский быт стоит в тесной причинной связи с землевладением*: отношение человека к земле определяло его общественное положение. В течение всей эпохи феодализма все общественные учреждения обусловли-

* Стало быть, *только* у новейших народов? Это ограничение тем более странно, что уже греческие и римские писатели видели тесную связь гражданского и политического быта своих стран с поземельными отношениями. Впрочем, это странное ограничение не помешало Гизо поставить падение Римской империи в связь с ее государственным хозяйством. См. его первый «Опыт»: «Du régime municipal dans l'empire romain au V-me siécle de l'ère chrétienne». [«О муниципальном строе в Римской империи в пятом веке христианской эры».]

вались в последнем счете поземельными отношениями. Что же касается этих отношений, то они, по словам того же Гизо, «первоначально, в первое время после нашествия варваров», определялись общественным положением землевладельцев: «земля получала тот или другой характер, смотря по тому, в какой степени был силен землевладелец» *. Но чем же определялось в таком случае общественное положение землевладельцев? Чем определялась «первоначально, в первое время после нашествия варваров», бо́льшая или меньшая степень свободы, бо́льшая или меньшая степень могущества землевладельцев? Прежними политическими отношениями в среде варваров-завоевателей? Но ведь Гизо уже сказал нам, что политические отношения — следствие, а не причина. Чтобы понять политический быт варваров в эпоху, предшествовавшую падению Римской империи, мы должны были бы, согласно совету нашего автора, изучить их гражданский быт, их социальный строй, отношения различных классов в их среде и проч.; а такое изучение опять привело бы нас к вопросу о том, чем определяются имущественные отношения людей, чем создаются существующие в данном обществе формы собственности. И понятно, что мы ничего не выиграли бы, если бы для объяснения положения различных общественных классов мы стали ссылаться на относительные степени их свободы и могущества. Это был бы не ответ, это было бы повторение вопроса в новом виде, с некоторыми подробностями.

Вопрос о происхождении имущественных отношений едва ли даже возникал в голове Гизо в виде строго и точно поставленного научного вопроса. Мы видели, что не считаться с ним ему было совершенно невозможно, но уже запутанность тех ответов, которые он давал на него, свидетельствует о неясности его формулировки. В последнем анализе развитие форм собственности объяснялось у Гизо до крайности туманными ссылками на *человеческую природу*. Неудивительно, что этот историк, которого эклектики обвиняли в излишней систематичности воззрений, сам оказался порядочным эклектиком, например, в своих сочинениях по истории цивилизации [1].

Ог. Тьерри, рассматривавший борьбу религиозных сект и политических партий с точки зрения *«положительных интересов»* различных общественных классов и страстно сочувствовавший борьбе третьего сословия против аристократии, объяснял происхождение этих классов и сословий *завоеванием*. «Tout cela date d'une conquête, il y a une conquête là dessous» (все это пошло со времен завоевания; под всем этим лежит завоевание), —

* Т. е. владение землею имело тот или другой *правовой* характер, иначе сказать,— обладание ею было связано с большей или меньшей степенью зависимости, смотря по силе и свободе землевладельца. L. c., p. 75. [Цит. соч., стр. 75.]

говорит он о классовых и сословных отношениях у новейших народов, о которых у него исключительно идет речь. Эту мысль он без устали развивает на разные лады как в публицистических статьях, так и в позднейших, ученых своих сочинениях. Но уже не говоря о том, что «завоевание» — политический международный акт — возвращало Тьерри к точке зрения XVIII века, который объяснял всю общественную жизнь деятельностью законодателя, т. е. политической власти, всякий факт завоевания неизбежно возбуждает вопрос: почему же социальные последствия его были именно те, а не иные? Прежде нашествия германских варваров Галлия уже пережила римское завоевание. Социальные последствия *этого* завоевания были очень отличны от тех, которые были вызваны завоеванием *германским*. Социальные последствия завоевания Китая монголами очень мало похожи на социальные последствия завоевания Англии норманнами. Откуда берутся подобные различия? Сказать, что они определяются различиями в социальном строе различных народов, сталкивающихся между собою в разные времена,— значит не сказать ничего, потому что остается неизвестным, чем же определяется этот социальный строй. Ссылаться по поводу этого вопроса на какие-нибудь прежние завоевания — значит вертеться в заколдованном круге. Сколько ни перечисляйте завоеваний, вы все-таки придете в конце концов к тому неизбежному заключению, что в общественной жизни народов есть какой-то x, какой-то неизвестный фактор, который не только не обусловливается завоеванием, но который, напротив, *обусловливает собою последствия* завоеваний и даже часто, а может быть, и всегда,—и *самые завоевания*, являясь коренной причиной международных столкновений. Тьерри в своей «Истории завоевания Англии норманнами» сам указывает на основании старых памятников те побуждения, которые руководили англосаксами в их отчаянной борьбе за свою независимость. «Мы должны бороться,— говорит один из их герцогов,— какова бы ни была опасность, потому что тут дело идет не о признании нового господина... а совсем о другом. Предводитель норманнов роздал уже наши земли своим рыцарям и всем людям, которые по большей части уже и признали себя за это его вассалами. Они захотят воспользоваться этими пожалованиями, если норманнский герцог станет нашим королем, а он вынужден будет отдать в их власть наши земли, наших жен, наших дочерей: все это им обещано уже заранее. Они хотят разорить не только нас, но и наших потомков, они хотят отнять у нас землю наших предков» и т. д. С своей стороны Вильгельм Завоеватель говорит своим спутникам: «Сражайтесь храбро, убивайте всех; если мы победим, мы все разбогатеем. То, что приобрету я, приобретете вы все, что завоюю я, завоюете вы; если у меня будет земля,

будет земля и у вас»*. Тут как нельзя более ясно, что завоевание не было само себе целью, что «под ним» лежали известные «положительные», т. е. *экономические, интересы*. Спрашивается, что же придало этим интересам тот вид, который они тогда имели? Отчего и туземцы и завоеватели склонялись именно к феодальному, а не к какому-нибудь другому землевладению? «Завоевание» ничего не объясняет в этом случае.

В «Histoire du tiers état»** того же Тьерри[2] и во всех его очерках по истории внутренних отношений Франции и Англии мы имеем уже довольно полную картину исторического движения буржуазии. Достаточно ознакомиться хотя бы с этой картиной, чтобы видеть, до какой степени неудовлетворителен взгляд, приурочивающий к завоеванию происхождение и развитие данного социального строя: ведь это развитие шло совершенно вразрез с интересами и желаниями феодальной аристократии, т. е. завоевателей и их потомков.

Можно без всякого преувеличения сказать, что сам Ог. Тьерри позаботился о том, чтобы своими историческими исследованиями опровергнуть свой собственный взгляд на историческую роль завоеваний ***.

У Минье — та же путаница. Он говорит о влиянии землевладения на политические формы. Но от чего зависят, почему развиваются формы землевладения в ту или другую сторону, этого Минье не знает. В последнем счете и у него формы землевладения приурочиваются к *завоеванию* ****.

Он чувствует, что и в истории международных столкновений мы имеем дело не с отвлеченными понятиями — «завоеватели», «завоеванные», а с людьми, обладающими живою плотью, имеющими определенные права и общественные отношения, но и здесь его анализ идет не далеко. «Когда два народа, живя на одной почве, смешиваются друг с другом,— говорит он,— они утрачивают свои слабые стороны и сообщают свои сильные стороны один другому» *****.

* «Histoire de la conquête» и т. д., Paris, t. I, p. p. 296 et 300 [1]. [«История завоевания» и т. д., Париж, т. I, стр. 296 и 300.]

** [«История третьего сословия»]

*** Интересно, что уже сен-симонисты видели *эту* слабую сторону исторических взглядов Тьерри. Так, Базар в цитированной выше статье замечает, что завоевание в действительности оказало на развитие европейского общества гораздо меньше влияния, чем думает Тьерри. «Всякий понимающий законы развития человечества видит, что роль завоевания совершенно подчиненная». Но в этом случае Тьерри ближе к взглядам своего бывшего учителя Сен-Симона, чем Базар: у Сен-Симона история Западной Европы с XV столетия рассматривается с точки зрения развития экономических отношений, а средневековый общественный строй объясняется просто как продукт завоевания.

**** См. «De la féodalité», p. 50. [«О феодализме», стр. 50.]

***** См. «De la féodalité», p. 212. [«О феодализме», стр. 212.]

Это неглубоко, да и не совсем ясно.

Поставленный лицом к лицу с вопросом о происхождении имущественных отношений, каждый из названных французских историков времен реставрации, наверное, попытался бы, подобно Гизо, выйти из затруднения с помощью более или менее остроумных ссылок на *«человеческую природу»*.

Взгляд на «человеческую природу», как на высшую инстанцию, в которой решаются все «казусные дела» из области права, морали, политики, экономии, был целиком унаследован писателями XIX века от просветителей предшествовавшего столетия.

Если человек при своем появлении на свет не приносит с собою готового запаса врожденных «практических идей»; если добродетель уважается не потому, что она прирождена людям, а потому, что она полезна, как утверждал Локк; если принцип общественной пользы есть высший закон, как говорит Гельвеций; если человек есть мерило вещей всюду, где речь идет о взаимных человеческих отношениях,— то совершенно естественно умозаключить, что природа человека и есть та точка зрения, с которой мы должны судить о пользе или вреде, о разумности или бессмысленности данных отношений. С этой точки зрения и обсуждали просветители XVIII столетия как существовавший тогда общественный строй, так и те реформы, которые были для них желательны. Человеческая природа является у них главнейшим доводом в спорах с их противниками. До какой степени было велико в их глазах значение этого довода, прекрасно показывает, например, следующее рассуждение *Кондорсэ*: «Идеи справедливости и права складываются непременно одинаковым образом у всех существ, одаренных способностью ощущать и приобретать идеи. Поэтому они будут одинаковы». Правда, бывает, что люди их искажают (les altèrent). «Но всякий правильно рассуждающий человек так же неизбежно придет к известным идеям в морали, как и в математике. Эти идеи представляют собою необходимый вывод из той неоспоримой истины, что люди суть существа ощущающие и мыслящие» [1]. В действительности общественные взгляды французских просветителей не выводились, разумеется, из этой более чем тощей истины, а подсказывались им окружающей их средою. «Человек», которого они имели в виду, отличался не только способностью к ощущению и мышлению: его «природа» требовала определенного буржуазного порядка (сочинения Гольбаха заключают в себе как раз те требования, которые впоследствии были осуществлены Учредительным Собранием); она предписывала свободу торговли, невмешательство государства в имущественные отношения граждан (laissez faire, laissez passer!) *

* [предоставьте событиям идти своим чередом] Правда, не всегда. Иногда во имя той же природы философы советовали «законодателю согла-

и проч. и проч. Просветители смотрели на человеческую природу через призму данных общественных нужд и отношений. Но они не подозревали, что история поставила перед их глазами какую-то призму; они воображали, что их устами говорит сама «природа человека», понятая и оцененная, наконец, просвещенными представителями человечества.

Не все писатели XVIII века имели одинаковое понятие о человеческой природе. Подчас они очень сильно расходились между собою на этот счет. Но все они одинаково были убеждены, что только правильный взгляд на эту природу может дать ключ к объяснению общественных явлений.

Выше мы сказали, что многие из французских просветителей замечали уже известную законосообразность в развитии человеческого разума. На мысль об этой законосообразности их наводила прежде всего *история литературы*: «какой народ,— спрашивали они,— не был прежде поэтом, а потом уже мыслителем?» *. Чем же объясняется такая последовательность? Общественными нуждами, которыми определяется даже развитие языка,— отвечали просветители. «Искусство говорить, как и все искусства, есть плод общественных нужд и интересов»,— доказывал аббат Арно в речи, только что упомянутой нами в примечании [1]. Общественные нужды изменяются, а потому изменяется и ход развития «искусств». Но чем же определяются общественные нужды? Общественные нужды, нужды людей, составляющих общество, определяются природой человека. Следовательно, в этой природе надо искать и объяснения того, а не иного хода умственного развития.

Чтобы играть роль верховного мерила, человеческая природа, естественно, должна была считаться раз навсегда данной, *неизменной*. Просветители действительно считали ее такою, как это мог видеть читатель из вышеприведенных слов Кондорсэ. Но если человеческая природа неизменна, то как же можно объяснить ею ход умственного или общественного развития человечества? Что такое процесс всякого развития? Ряд изменений. Можно ли эти изменения объяснять с помощью чего-то неизменного, раз навсегда данного? Оттого ли меняется переменная величина, что постоянная остается неизменной? Про-

---

живать имущественные неравенства». Это — одно из многочисленных противоречий французских просветителей. Но нам здесь нет до него дела. Нам важно лишь то, что отвлеченная *«природа человека»* в каждом данном случае являлась доводом в пользу совершенно конкретных стремлений тех или других слоев общества и притом исключительно *буржуазного* общества.

* *Гримм*, Correspondance littéraire [«Литературная корреспонденция»] за август 1774 г. Ставя этот вопрос, Гримм только повторяет мысль аббата Арно, которую этот последний развил в речи, произнесенной им во Французской академии.

светители сознавали, что — *нет*, и, чтобы выйти из затруднения, указывали, что сама *постоянная* величина оказывается в известных пределах изменчивой. Человек переживает различные возрасты: детство, юность, зрелое состояние и проч. В эти различные возрасты нужды его не одинаковы: «В детстве человек живет чувствами, воображением и памятью; он ищет одной забавы, нуждается лишь в песнях и сказках. Потом наступает возраст страстей; душа требует потрясений и волнений. Потом развивается мыслительная способность, развивается разум, который в свою очередь требует упражнения, деятельность которого распространяется на все, что способно затронуть любознательность».

Так развивается отдельный человек: эти переходы обусловливаются его природой; и именно потому, что они в его природе, они замечаются и в духовном развитии *всего человечества*; ими, этими переходами, объясняется то, что народы начинают эпосом, а кончают философией *.

Легко видеть, что подобного рода «объяснения», не объясняя ровно ничего, лишь придавали известную картинность описанию хода умственного развития человечества (сравнение всегда ярче оттеняет свойства описываемого предмета). Легко видеть также, что, давая подобные объяснения, мыслители XVIII века вращались в уже знакомом нам заколдованном круге: среда создает человека; человек создает среду. В самом деле, с одной стороны, выходит, что умственное развитие человечества, т. е., другими словами, развитие человеческой природы, объясняется общественными нуждами, а с другой — выходит, что развитие общественных нужд объясняется развитием человеческой природы.

Это противоречие не было устранено, как мы видим, и французскими историками времен реставрации: оно лишь приняло у них новый вид.

* *Suard*, loc. cit., p. 383. [*Сюар*, цит. соч., стр. 383.]

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СОЦИАЛИСТЫ-УТОПИСТЫ

Если человеческая природа неизменна и если, зная ее основные свойства, можно выводить из них математически достоверные положения в области морали и общественной науки, то нетрудно придумать такой общественный строй, который, вполне соответствуя требованиям человеческой природы, именно поэтому будет *идеальным общественным строем*. Уже материалисты XVIII века охотно пускаются в исследования на тему о *совершенном законодательстве* (législation parfaite). Эти исследования представляют собою *утопический элемент* в литературе просвещения *.

Социалисты-утописты первой половины XIX столетия всей душой отдаются таким исследованиям.

Социалисты-утописты этой эпохи всецело держатся антропологических взглядов французских материалистов. Точно так же, как материалисты, они считают человека плодом окружающей его общественной среды ** и точно так же, как материалисты, они попадают в заколдованный круг, объясняя изменчивые свойства среды неизменными свойствами *человеческой природы*.

Все многочисленные утопии первой половины нашего века представляют собой не что иное, как попытки придумать совершенное законодательство, принимая *человеческую природу* за

* У Гельвеция, в его книге «De l'Homme» [«О человеке»], есть подробный проект такого «совершенного законодательства». Было бы в высшей степени интересно и поучительно сравнить эту утопию с утопиями первой половины XIX века. Но, к сожалению, и историки социализма и историки философии до сих пор были чужды всякой мысли о подобном сопоставлении. Что касается специально историков философии, то они, к слову сказать, третируют Гельвеция самым непозволительным образом. Даже спокойный и умеренный Ланге не находит для него другой характеристики, кроме «поверхностный Гельвеций». Абсолютный идеалист Гегель отнесся справедливее всех к абсолютному материалисту Гельвецию.

** «Да, человек есть то, что делает из него всемогущее общество или всемогущее воспитание, принимая это слово в самом широком его смысле, т. е. понимая под ним не только школьное или книжное воспитание, но воспитание, даваемое нам людьми и вещами, событиями и обстоятельствами,— воспитание, влияние которого на нас начинается с колыбели и не прекращается ни на минуту». (*Кабэ*, Voyage en Icarie [Путешествие в Икарию], издание 1848 г., стр. 402.)

верховное мерило. Так, *Фурье* берет за точку отправления анализ человеческих *страстей*; так, *Р. Оуэн* в своем «Outline of the rational system of society»* исходит из *«основных принципов науки о человеческой природе»* («first Principles of Human Nature») и утверждает, что «рациональное правительство» должно прежде всего «определить человеческую природу» (ascertain what Human Nature is); так, *сен-симонисты* заявляют, что их философия основывается на новом понятии о человеческой природе (sur une nouvelle conception de la nature humaine) **; так, фурьеристы говорят, что придуманная их учителем общественная организация представляет собой ряд неоспоримых выводов из неизменных законов человеческой природы ***.

Разумеется, взгляд на человеческую природу, как на верховное мерило, не мешал различным социалистическим школам очень сильно расходиться между собой в определении свойств этой природы. Например, по мнению сен-симонистов, «планы Оуэна до такой степени противоречат склонностям человеческой природы, что тот род популярности, которым они, повидимому, пользуются в настоящее время (писано в 1825 г.), кажется на первый взгляд вещью необъяснимой» ****. В полемической брошюре Фурье «Pièges et charlatanisme des deux sectes Saint-Simon et Owen, qui promettent l'association et le progrès» ***** можно найти немало резких указаний на то, что и сен-симонистское учение противоречит всем склонностям человеческой природы. Теперь, как и во время Кондорсэ, оказыва-

---

* [«Очерк рациональной общественной системы»]

** См. «Le Producteur», t. I, Paris 1825, Introduction. [«Производитель», т. I, Париж 1825, Введение.]

*** «Mon but est de donner une *Exposition Elémentaire*, claire et facilement intelligible, de l'organisation sociale, déduite par Fourier des lois de la nature humaine». (*V. Considérant*, Destinée Sociale, t. I, 3-me édition, Déclaration).— Il serait temps enfin de s'accorder sur ce point: est il á propos, avant de faire des lois, de s'enquérir de la véritable nature de l'homme, afin d'harmoniser la loi, qui est par elle-même modifiable, avec la nature, qui est immuable et souveraine?» «Notions élementaires de la science sociale de Fourier, par l'auteur de la Défense du Fouriérisme» (*Henri Gorsse*, Paris 1844, p. 35). [«Моя цель — дать элементарное, ясное и легко доступное пониманию представление о социальной организации, выведенной Фурье из законов человеческой природы». (*В. Консидеран*, Социальная судьба, т. I, изд. 3, Декларация).— «Пора было бы, наконец, прийти к соглашению по следующему пункту: нужно ли, прежде чем создавать законы, осведомиться насчет подлинной природы человека, чтобы привести в гармонию закон, который сам по себе способен к изменению, с природой, которая неизменна и суверенна?» ««Элементарные понятия о социальной науке Фурье»; книга написана автором защиты фурьеризма» (*Анри Горсс*, Париж 1844, стр. 35.)]

**** «Producteur», t. I, p. 139. [«Производитель», т. I, стр. 139.]

***** [«Уловки и шарлатанство двух сект — Сен-Симона и Оуэна, которые сулят ассоциацию и прогресс»]

лось, что сойтись в определении человеческой природы много труднее, чем определить ту или другую геометрическую фигуру.

Поскольку социалисты-утописты XIX века держались точки зрения *человеческой природы*, постольку они лишь повторяли ошибки мыслителей XVIII столетия,— грех, которым грешила, впрочем, вся современная им общественная наука *. Но у них заметно сильное стремление вырваться из тесных пределов отвлеченного понятия и опереться на конкретную почву. Замечательнее других в этом отношении работы *Сен-Симона*.

Между тем как французские просветители чаще всего смотрели на историю человечества, как на ряд более или менее счастливо сложившихся случайностей **, Сен-Симон ищет в истории прежде всего *законосообразности*. Наука о человеческом обществе может и должна стать столь же строгой наукой, как и естествознание. Мы должны изучить факты прошлой жизни человечества для того, чтобы открыть в них законы его *прогресса*. *Будущее* способен предвидеть только тот, кто понял *прошедшее*. Ставя таким образом задачу общественной науки, Сен-Симон обратился в особенности к изучению истории Западной Европы со времен падения Римской империи. Насколько новы и широки были его взгляды, видно из того, что его ученик О. Тьерри мог совершить чуть не целый переворот в разработке

* Мы уже показали это по отношению к историкам времен реставрации. Очень легко было бы показать это и по отношению к экономистам. Защищая буржуазный общественный порядок против реакционеров и социалистов, экономисты защищали его именно как порядок, наиболее соответствующий человеческой природе. Усилия найти отвлеченный «закон народонаселения» — выходили ли они из социалистического или буржуазного лагеря — тесно связаны были со взглядом на «человеческую природу», как на основное понятие общественной науки. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить относящееся сюда учение Мальтуса, с одной стороны, и учение Годвина или автора примечаний к Д.- С. Миллю — с другой [1]. И Мальтус и его противники одинаково ищут единого, так сказать абсолютного, закона народонаселения. Современная нам политическая экономия смотрит иначе: она знает, что каждая фаза общественного развития имеет *свой особый* закон народонаселения. Но об этом ниже.

** В этом отношении чрезвычайно характерен упрек, который Гельвеций делает Монтескье: «В своей книге о причинах величия и падения Рима Монтескье недостаточно оценил значение счастливых случайностей в истории этого государства. Он впал в ошибку, слишком свойственную мыслителям, которые хотят объяснить все, и в ошибку кабинетных ученых, которые, забывая природу людей, приписывают народным представителям неизменные политические виды и единообразные принципы. А между тем часто один человек руководит по своему усмотрению этими важными собраниями, которые называются *сенатами*». («Pensées et réflexions» CXL, в III томе «Oeuvres complètes de Helvétius», Paris MDCCCXVIII.) [«Мысли и размышления» CXL, в III томе «Полного собрания сочинений Гельвеция», Париж MDCCCXVIII.] Не напоминает ли это вам, читатель, модной теперь в России теории «героев и толпы»? [2] Подождите, дальнейшее изложение не раз еще покажет, как мало оригинального в российской «социологии».

французской истории. Сен-Симон держался того мнения, что и Гизо заимствовал у него свои воззрения. Оставляя нерешенным этот вопрос о теоретической собственности, мы заметим, что Сен-Симон умел дальше проследить пружины внутреннего развития европейских обществ, чем современные ему *историки-специалисты*. Так, если и Тьерри, и Минье, и Гизо указывали на имущественные отношения, как на основу всего общественного строя, то Сен-Симон, чрезвычайно ярко и впервые осветивший историю этих отношений в новой Европе, пошел дальше, спросив себя: отчего же именно эти, а не какие-либо другие отношения играют столь важную роль? Ответа надо искать, по его мнению, в *нуждах промышленного развития*: «до XV столетия светская власть находилась в руках дворянства, и это было полезно, потому что дворяне были тогда самыми способными промышленниками. Они руководили земледельческими работами, а земледельческие работы были тогда единственным родом важных промышленных занятий» *. На вопрос, почему же нужды промышленности имеют такое решающее значение в истории человечества, Сен-Симон отвечал: потому, что производство есть цель всякого общественного союза (le but de l'organisation sociale, c'est la production). Он придавал такое значение производству, что отождествлял *полезное* с производительным (l'utile — c'est la production) ** и категорически заявлял, что la politique... c'est la science de la production ***.

Казалось бы, что логическое развитие таких взглядов должно было привести Сен-Симона к тому выводу, что законы производства и суть те законы, которыми определяется в последнем счете общественное развитие и изучение которых должно составлять задачу мыслителя, старающегося предвидеть будущее. Местами он как будто приближается к этой мысли, но только местами и только приближается.

Для производства необходимы орудия труда. Эти орудия не даются природой в готовом виде, они изобретаются человеком. Изобретение и даже простое употребление данного орудия предполагает в производителе известную степень умственного развития. Развитие «промышленности» представляется поэтому безусловным результатом умственного развития человечества. Кажется, что мнение, «просвещение» (lumières) и здесь безраздельно правит миром. И чем более выясняется важная роль промышленности, тем более подтверждается, повидимому, этот

* «Opinions littéraires, philosophiques et industrielles», Paris 1825, p. p. 144, 145 [«Литературные, философские и экономические взгляды», Париж 1825, стр. 144, 145]; сравни также «Catéchisme politique des industriels». [«Политический катехизис промышленников».]

** [полезное — это производство]

*** [политика...— это наука о производстве.]

взгляд философов XVIII века. Сен-Симон держится его еще последовательнее, чем французские просветители, так как, считая решенным вопрос о происхождении идей из ощущений, он имеет меньше поводов задумываться о влиянии среды на человека. Развитие знаний является у него основным фактором исторического движения *. Он старается открыть законы этого развития; так, он устанавливает тот самый закон трех фазисов: *теологического*, *метафизического и позитивного*, который впоследствии Огюст Конт с большим успехом выдал за свое собственное «открытие» **. Но и эти законы объясняются у него в конце концов *свойствами человеческой природы*. «*Общество состоит из индивидуумов*,— говорит он,— *поэтому развитие общественного разума может быть лишь воспроизведением развития индивидуального разума в большем масштабе*». Отправляясь от этого основного положения, он считает свои «законы» общественного развития окончательно выясненными и доказанными всякий раз, когда ему удается найти в подтверждение их удачную аналогию в развитии индивидуума. Он утверждает, например, что роль *власти* в общественной жизни сведется со временем к *нулю* ***. Постепенное, но зато постоянное уменьшение

* Сен-Симон доводит идеалистический взгляд на историю до последней крайности. У него не только *идеи* («принципы») являются последней основой *общественных отношений*, но между идеями главная роль отводится «научным идеям» — «научной системе мира»,— из которых вытекают религиозные идеи, в свою очередь обусловливающие собою *нравственные понятия людей*. Это *интеллектуализм*, господствующий в то же самое время и в среде немецких философов, но принимающий у них совсем другой вид.

** Литтрэ сильно восставал против Гюббара, когда тот указал на это... заимствование. Он приписывал Сен-Симону лишь «закон двух фазисов»: теологического и научного. Флинт, приведя это мнение Литтрэ, замечает: «Он прав, говоря, что закон трех фазисов не упоминается ни в одном из сочинений Сен-Симона» («Philosophy of History in France and Germany», Edinburgh and London MDCCCLXXIV, p. 158). [«Философия истории во Франции и Германии», Эдинбург и Лондон MDCCCLXXIV, стр. 158.] Мы противопоставим этому замечанию следующую выписку из Сен-Симона: «Какой астроном, физик, химик или физиолог не знает, что в каждой отрасли науки человеческий ум, прежде чем перейти от чисто теологических идей к позитивным, долго держится метафизики? Не создается ли у каждого, кто занимался историей наук, твердого убеждения в том, что это промежуточное состояние полезно и безусловно неизбежно для перехода?» («Du système industriel», Paris MDCCCXXI, préface, p.p. VI—VII). [«О промышленной системе», Париж MDCCCXXI, предисловие, стр. VI—VII.] Закон трех фазисов имел такую важность в глазах Сен-Симона, что он готов был объяснять им чисто политические явления, например господство «легистов и метафизиков» во время французской революции. Флинту было бы нетрудно «открыть» это, прочитавши внимательно сочинения Сен-Симона. Но, к сожалению, гораздо *легче написать ученую историю человеческой мысли, чем изучить действительный ход ее развития*.

*** Эту мысль заимствовал у него впоследствии и исказил Прудон, построивший на ней свою теорию *анархии*.

этой роли есть один из законов развития человечества. Как же доказывается им этот закон? Главный довод в его пользу есть ссылка на индивидуальное развитие людей: в низшей школе ребенок обязан безусловно слушаться старших; в средней и высшей — элемент *послушания* постепенно отходит на задний план, чтобы окончательно уступить место *самостоятельному* действию в зрелом возрасте. Как бы кто ни смотрел на историю «власти», всякий согласится теперь, что здесь, как и везде, сравнение — не доказательство. Эмбриологическое развитие всякого данного *неделимого* (*онтогенезис*) представляет много аналогий с историей того *вида*, к которому принадлежит это неделимое: *онтогенезис* дает много важных указаний относительно *филогенезиса*. Но что сказали бы мы теперь о биологе, который вздумал бы утверждать, что в онтогенезисе надо искать последнего объяснения филогенезиса? Современная биология поступает как раз наоборот: она объясняет эмбриологическую историю *неделимого* историей *вида*.

Апелляция к человеческой природе придавала совершенно своеобразный вид всем «законам» общественного развития, формулированным как самим Сен-Симоном, так и его учениками.

Она заводила их в заколдованный круг.— *История человечества объясняется его природой*. Но откуда узнаем мы природу человека? *Из истории*.— Ясно, что, вращаясь в этом круге, нельзя понять ни природы человека, ни его истории, а можно делать лишь те или другие отдельные, более или менее глубокие замечания относительно той или другой области общественных явлений. Сен-Симон сделал несколько тонких, иногда поистине гениальных замечаний, но его главная цель — найти для «политики» твердую научную основу — осталась недостигнутой.

«Верховный закон прогресса человеческого разума,— говорит Сен-Симон,— подчиняет себе все, надо всем господствует; люди для него только орудия... И хотя эта сила (т. е. этот закон) исходит от нас (dérive de nous), мы столь же мало можем избавиться от ее влияния или подчинить ее себе, как изменить по своему произволу действие силы, заставляющей землю вращаться вокруг солнца. Мы только и можем, что сознательно подчиняться этому закону (нашему истинному провидению), отдавая себе отчет в том движении, которое он нам предписывает, вместо того чтобы подчиняться ему слепо. Заметим мимоходом, что именно в этом и будет заключаться шаг вперед, который суждено совершить философскому сознанию нашего века» *.

Итак, человечество совершенно подчинено закону своего собственного умственного развития; оно не могло бы избежать

* «*L'organisateur*» [«Организатор»], стр. 119, IV т. соч. Сен-Симона, составляющего XX т. полн. собр. соч. Сен-Симона и Анфантэна.

его влияния даже в том случае, если бы оно того пожелало. Рассмотрим внимательнее это положение и для наглядности возьмем закон трех фазисов. Человечество шло от теологического мышления к метафизическому, от метафизического к позитивному. Этот закон действовал с силою механических законов.

Очень может быть, что это и так, но, спрашивается, как понимать ту мысль, что человечество *даже при желании* не могло бы изменить действие этого закона? Значит ли это, что оно не могло бы избежать метафизики даже в том случае, если бы оно сознало преимущества позитивного мышления еще в конце теологического периода? Очевидно — нет; а если нет, то не менее очевидно, что есть какая-то неясность в самом взгляде Сен-Симона на законосообразность умственного развития. В чем же заключается эта неясность? Откуда она происходит?

Заключается она в *самом противопоставлении закона желанию изменить его действие*. Раз явилось у человечества подобное желание, оно само составляет факт из истории его умственного развития, и закон должен охватить этот факт, а не приходить с ним в столкновение. Пока мы допускаем возможность такого столкновения, мы еще не уяснили себе самого понятия о законе, и мы непременно попадем в одну из двух крайностей: или покинем точку зрения законосообразности и станем на точку зрения *желательного*, или совершенно упустим желательное — вернее сказать, *желаемое* людьми данной эпохи — из нашего поля зрения и тем придадим *закону* какой-то мистический оттенок, превратим его в какой-то фатум. Именно таким фатумом является «закон» у Сен-Симона и вообще у утопистов, поскольку они говорят о законосообразности. Заметим кстати, что когда русские «субъективные социологи» ополчаются на защиту «личности», «идеалов» и прочих хороших вещей, они воюют именно *с утопическим*, неясным, неполным и потому несостоятельным учением об «естественном ходе вещей». Наши социологи даже как будто и не слыхали, в чем заключается *современное научное понятие о законосообразности общественно-исторического процесса*.

Откуда взялась утопическая неясность в понятии о законосообразности? Она произошла из указанного уже нами коренного недостатка того взгляда на развитие человечества, которого держались утописты,— да, как мы уже знаем, и не они одни. История человечества объяснялась природой человека. Раз дана эта природа, даны и законы исторического развития, дана, как сказал бы Гегель, *an sich* уже вся история. Человек так же мало может вмешиваться в ход своего развития, как мало может он перестать быть человеком. *Закон* развития является в виде провидения.

Это исторический фатализм, являющийся в результате учения, которое считало успехи знания — следовательно, сознательную деятельность человека — основной пружиной исторического движения.

Но пойдем дальше.

Если ключ к пониманию истории дается изучением природы человека, то мне важно не столько фактическое изучение истории, сколько правильное понимание именно этой природы. Раз я усвоил верный взгляд на нее, я теряю почти всякий интерес к общественной жизни, *как она есть*, и сосредоточиваю все свое внимание на общественной жизни, *как она должна быть сообразно природе человека.* Фатализм в истории нисколько не мешает утопическому отношению к действительности на практике. Напротив, он содействует ему, обрывая нить научного исследования. *Фатализм вообще нередко идет рука об руку с самым крайним субъективизмом.* Фатализм сплошь и рядом объявляет неотвратимым законом истории свое собственное настроение. Именно о фаталистах можно сказать словами поэта:

Was sie den Geist der Geschichte nennen
Ist nur der Herren eigner Geist *.

Сен-симонисты утверждали, что та доля общественного продукта, которая достается эксплуататорам чужого труда, постепенно уменьшается. Такое уменьшение являлось в их глазах важнейшим законом экономического развития человечества. В доказательство они ссылались на постепенное понижение уровня *процента* и *поземельной ренты*. Если бы они держались в этом случае приемов строго научного исследования, они должны были бы найти экономические причины указываемого ими явления, и для этого им нужно было бы внимательно изучить производство, воспроизведение и распределение продуктов. Сделай они это, они увидели бы, может быть, что понижение уровня процента или даже поземельной ренты, если оно действительно имеет место, вовсе еще не доказывает уменьшения доли собственников. Тогда их экономический «закон» получил бы, конечно, совершенно другую формулировку. Но им было не до того. Уверенность во всемогуществе таинственных законов, вытекающих из природы человека, направила работу их мысли совершенно в другую сторону. Тенденция, до сих пор преобладавшая в истории, может только усилиться в будущем, говорили они: постоянное уменьшение доли эксплуататоров необходимо

* [То, что они называют духом истории,
Есть лишь собственный дух этих господ.]

закончится полным ее исчезновением, т. е. исчезновением самого класса эксплуататоров. Предвидя это, мы теперь же должны придумать новые формы общественного устройства, в которых уже совсем не будет места эксплуататорам. На основании других свойств человеческой природы видно, что эти формы должны быть таковы и таковы... План общественного переустройства изготовляется очень скоро: чрезвычайно важная научная мысль о законосообразности общественных явлений разрешается парой утопических рецептов...

Подобные рецепты считались тогдашними утопистами самой важной задачей мыслителя. То или другое положение политической экономии само по себе не важно. Оно приобретает значение ввиду тех практических выводов, которые из него вытекают. Ж. Б. Сэй спорит с Рикардо о том, чем определяется *меновая стоимость* товаров. Очень может быть, что это важный вопрос с точки зрения специалистов. Но еще важнее знать, чем *должна* определяться стоимость, а об этом специалисты, к сожалению, и не думают. Подумаем мы за специалистов. Человеческая природа внятно говорит нам то и то. Раз мы начинаем прислушиваться к ее голосу, мы с удивлением видим, что важный в глазах специалистов спор в сущности не очень важен. Можно согласиться с Сэем, потому что из его положений вытекают выводы, вполне согласные с требованиями человеческой природы. Можно согласиться и с Рикардо, потому что и его взгляды, будучи правильно истолкованы и дополнены, могут только подкрепить эти требования. Так утопическая мысль бесцеремонно вмешивается в те научные прения, значение которых остается для нее темным. Так образованные и богато одаренные от природы люди, например *Анфантэн*, решали спорные вопросы тогдашней политической экономии.

Анфантэн написал немало политико-экономических исследований, которых нельзя считать серьезным вкладом в науку, но которых нельзя и игнорировать, как это делают до сих пор историки политической экономии и социализма. Экономические работы Анфантэна имеют свое значение как интересный фазис в истории развития социалистической мысли. Но каково отношение его к спорам экономистов, достаточно показывает следующий пример.

Известно, что *Малтус* настойчиво и, к слову сказать, очень неудачно оспаривал теорию ренты *Рикардо*. Анфантэн думает, что истина, собственно, на стороне первого, а не второго. Но он не оспаривает и теории Рикардо: он не считает этого нужным. По его мнению, все «рассуждения о природе ренты и о действительном относительном повышении или понижении части, отнимаемой собственником у работника, должны были бы свестись к одному вопросу: какова природа тех отношений, которые

должны в интересах общества существовать между удалившимся от дел производителем (так называет Анфантэн землевладельцев) и производителем активным (т.е. фермером)? Когда эти отношения станут известны, достаточно будет выяснить те средства, которые приведут к установлению таких отношений; при этом надо будет принять в соображение и современное состояние общества; но, тем не менее, всякий другой вопрос (т. е. помимо вопроса, поставленного выше) был бы второстепенным и только мешал бы тем комбинациям, которые должны содействовать употреблению в дело названных средств» *.

Главнейшая задача политической экономии, которую Анфантэн предпочитал бы называть *«философской историей промышленности»*, заключается в указании как взаимных отношений различных слоев производителей, так и отношений всего класса производителей к другим общественным классам. Эти указания должны основываться на изучении исторического развития промышленного класса, причем в основе такого изучения должно лежать «новое понятие о человеческом роде», т. е., другими словами, о природе человека **.

У Мальтуса оспаривание теории ренты Рикардо тесно вязалось с оспариванием очень известной — как у нас говорят теперь — трудовой теории стоимости. Мало вникая в сущность спора, Анфантэн торопится разрешить его утопическим дополнением (как у нас говорят теперь, *поправкой*) к учению о ренте Рикардо: «Если мы хорошо понимаем эту теорию,— говорит он,— то следовало бы, кажется, прибавить к ней, что... работники платят (т. е. платят в виде ренты) некоторым людям за отдых, которому те предаются, и за право пользоваться средствами производства».

Под работниками Анфантэн понимает здесь также, и даже преимущественно, фермеров-предпринимателей. То, что он говорит об их отношении к землевладельцам, совершенно верно. Но все сводится в его «поправке» лишь к более резкому выражению явления, прекрасно известного и Рикардо. К тому же резкое выражение это (А. Смит выражается подчас еще резче) не только не решает вопроса ни о стоимости, ни о ренте, а совершенно устраняет его из поля зрения Анфантэна. Но для него эти вопросы и не существовали: его интересовало исключительно будущее общественное устройство; ему важно было убедить

* В статье «Considérations sur la baisse progressive du loyer des objets mobiliers et immobiliers», «Producteur», t. I, p. 564. [«Рассуждения о прогрессивном понижении арендной платы за движимое и недвижимое имущества», «Производитель», т. I, стр. 564.]

** См. в особенности статью «Considérations sur les progrès de l'économie politique», «Producteur», t. IV. [«Рассуждения о прогрессе и политической экономии», «Производитель», т. IV.]

читателя в том, что *не должна* существовать частная собственность на средства производства. Анфантэн прямо говорит, что если бы не такого рода практические вопросы, то все ученые споры о стоимости были бы простым препирательством о словах. Это, так сказать, *субъективный метод* в политической экономии.

Утописты нигде прямо не рекомендовали этого «метода». Но что они были очень склонны к нему, доказывается, между прочим, тем, что Анфантэн упрекал Мальтуса (!) в излишней *объективности*. Объективность была будто бы главным недостатком этого писателя. Кто знаком с сочинениями Мальтуса, тот знает, что именно объективности-то (свойственной, например, Рикардо) и был всегда чужд автор «Опыта о законе народонаселения». Мы не знаем, читал ли Анфантэн самого Мальтуса (все заставляет думать, что, например, взгляды Рикардо были известны ему лишь по тем выпискам, которые делали из него французские экономисты), но если бы и читал, то едва ли он оценил бы их по их истинному достоинству, едва ли он сумел бы показать, что действительность противоречит Мальтусу. Занятый соображениями относительно того, что должно было быть, Анфантэн не имел ни времени, ни охоты внимательно вдумываться в то, что есть. «Вы правы,— готов он был сказать первому встречному сикофанту [1],— в современной общественной жизни дело происходит как раз так, как вы его описываете, но вы чересчур *объективны*; взгляните на вопрос с гуманной точки зрения, и вы увидите, что наша общественная жизнь должна быть перестроена заново».

Утопический дилетантизм вынужден делать теоретические уступки всякому более или менее ученому защитнику буржуазного порядка. Утопист, чтобы загладить возникающее у него сознание своего бессилия, утешает себя, упрекая своих противников в объективности: положим, дескать, вы ученее меня, но зато я добрее. Утопист не опровергает ученых защитников буржуазии; он лишь делает к их теориям «примечания» и «поправки».

Подобное же, совершенно утопическое, отношение к общественной науке бросается внимательному читателю в глаза на каждой странице сочинений «субъективных» социологов. Нам еще много придется говорить о нем. Приведем пока два ярких примера.

В 1871 году вышла диссертация покойного Н. Зибера: «Теория ценности и капитала Рикардо в связи с позднейшими дополнениями и разъяснениями». В предисловии автор благосклонно, но только мимоходом говорит о статье г. Ю. Жуковского «Смитовское направление и позитивизм в экономической науке» (статья эта появилась еще в «Современнике» 1864 года). По

поводу этого мимоходного отзыва г. Михайловский замечает: «Мне приятно вспомнить, что в статье «О литературной деятельности Ю. Г. Жуковского» я отдал большую справедливость заслугам нашего экономиста. Я указал именно, что г. Жуковский давно уже высказал мысль о необходимости возвращения к источникам политической экономии, в которых имеются все данные для правильного решения основных вопросов науки,— данные, совершенно извращенные современною школьною политическою экономией. Но я тогда же указал, что честь права «первого занятия» этой идеи, оказавшейся после столь плодотворной в сильных руках Карла Маркса, принадлежит в русской литературе не г. Жуковскому, а другому писателю, автору статей «Экономическая деятельность и законодательство» («Современник» 1859 г.), «Капитал и труд» (1860 г.), примечаний к Миллю и проч.[1] Кроме старшинства по времени, разница между этим писателем и г. Жуковским может выразиться наглядным образом так. Если, например, г. Жуковский обстоятельно и строго научно, даже несколько педантически, доказывает, что труд есть мера ценности и что всякая ценность производится трудом, то автор упомянутых статей, не упуская из вида теоретической стороны дела, напирает преимущественно на логический практический вывод из нее: будучи производима и измеряема трудом, всякая ценность должна принадлежать труду» *. Не нужно быть большим знатоком политической экономии, чтобы знать, что «автор примечаний к Миллю» совсем не понял той теории стоимости, которая впоследствии получила такое блестящее развитие «в сильных руках Маркса». И всякий знающий историю социализма человек понимает, *почему* этот автор, вопреки уверению г. Михайловского, именно «упустил из виду теоретическую сторону дела» и увлекся соображениями о том, по какой норме *должны* обмениваться продукты в благоустроенном обществе. Автор примечаний к Миллю смотрел на экономические вопросы с точки зрения *утописта*. Это было совершенно естественно в его время. Но очень странно, что г. Михайловский не сумел расстаться с этой точкой зрения в семидесятых годах (да не расстался и после, иначе он поправил бы свою ошибку в новом издании своих сочинений), когда легко усвоить, даже из популярных сочинений, более правильный взгляд на вещи. Г-н Михайловский не понял того, что говорил о ценности «автор примечаний к Миллю». Это произошло потому, что и он *«упустил из вида теоретическую сторону дела», увлекшись «логическим практическим выводом из нее»*, т. е. соображением о том, что «всякая ценность должна принадлежать труду». Мы уже знаем, что увлечение практи-

* Сочинения Н. К. Михайловского, том II, изд. 2-е. С.-Петербург 1888 г., стр. 239—240.

ческими выводами всегда вредно отзывалось на теоретических рассуждениях утопистов. А насколько стар «вывод», сбивший с толку г. Михайловского, показывает то обстоятельство, что его делали из теории стоимости Рикардо еще *английские утописты двадцатых годов* [1]. Но в качестве утописта г. Михайловский не интересуется даже историей утопий.

Другой пример. Г-н В. В. в 1882 г. так объяснял появление своей книги «Судьбы капитализма в России»:

«Предлагаемый сборник составлен из статей, печатавшихся в разных журналах. Выпуская их отдельным изданием, мы придали им лишь внешнее единство, несколько иначе расположили материал, выкинули повторения (далеко не все; их очень много осталось в книге г. В. В. — *Г. П.*). Содержание их осталось прежнее; новых фактов и аргументов приведено не много; и если тем не менее мы решаемся вторично предлагать свои работы вниманию читателя, то делаем это с единственной целью — одновременностью нападения всем арсеналом на его миросозерцание заставить интеллигенцию обратить внимание на поднятый вопрос (картина: г. В. В. «*всем арсеналом*» нападает на миросозерцание читателя, и устрашенная интеллигенция сдается на капитуляцию, обращает внимание и проч.— *Г. П.*), вызвать наших ученых и присяжных публицистов капитализма и народничества на изучение закона экономического развития России — основу всех остальных проявлений жизни страны. Без знания этого закона невозможна систематическая и успешная общественная деятельность, а господствующие у нас представления о ближайшем будущем России вряд ли могут быть названы законом (*представления*... могут быть названы *законом?!* — *Г. П.*) и вряд ли способны дать практическому миросозерцанию прочную основу». (Предисловие, стр. 1.)

В 1893 г. тот же г. В. В., успевший уже сделаться «присяжным», хотя — увы! — все еще не «ученым», публицистом народничества, оказывается, уже далек от мысли о том, что закон экономического развития составляет «основу всех остальных проявлений жизни страны». Теперь он «всем арсеналом» нападает на «миросозерцание» людей, имеющих такое «воззрение», теперь он думает, что в этом «воззрении исторический процесс, вместо производного человека, обращается в силу производящую, а человек — в его послушное орудие» *; теперь он считает социальные отношения «производным духовного мира человека»** и чрезвычайно подозрительно относится к учению о закономерности общественных явлений, противопоставляя ему «научную философию истории профессора истории Н. И. Кареева»

* «Наши направления», С.-Петербург 1893 г., стр. 138.
** L. cit., стр. 9, 13, 140 и многие другие.

(разумейте, языци, и покоряйтеся, яко с нами сам г. профессор!) *.

Какой, с божьей помощью, поворот! Что его вызвало? А вот что. В 1882 году г. В. В. искал «*закона* экономического развития России», воображая, что этот закон будет лишь научным выражением его собственных, г. В. В., «*идеалов*». Он был даже уверен, что нашел такой «закон», именно «закон» мертворожденности русского капитализма. Но после этого он недаром прожил целых одиннадцать лет. Он должен был, хотя и не вслух, сознаться, что мертворожденный капитализм все более и более развивается. Вышло так, что развитие капитализма стало едва ли не самым неоспоримым «законом экономического развития России». И вот г. В. В. поторопился выворотить наизнанку свою «философию истории»: он, искавший «закона», стал говорить, что подобное искание есть совершенно праздное препровождение времени. Русский утопист не прочь опереться на «закон»; но он тотчас же отрекается от него, как Петр от Иисуса, если только «закон» идет вразрез с тем «идеалом», подкреплять который ему надлежит не токмо за страх, но и за совесть. Впрочем, г. В. В. и теперь не навсегда поссорился с «законом». «Естественное стремление к систематизации воззрений должно бы привести русскую интеллигенцию к построению самостоятельной схемы эволюции экономических отношений, соответствующей потребностям и условиям развития нашей страны; и такая работа, без сомнения, будет сделана в самом недалеком будущем». («Наши направления», стр. 114). «Строя» свою «самостоятельную схему», русская интеллигенция, очевидно, будет предаваться тому же занятию, какому предавался г. В. В. в «Судьбах капитализма», ища «закона». Когда схема будет найдена,— а г. В. В. божится, что ее найдут в самом недалеком будущем,— наш автор столь же торжественно помирится с законосообразностью, как помирился евангельский отец со своим блудным сыном. Забавники! Само собою разумеется, что даже в то время, когда г. В. В. все еще искал «закона», он не отдавал себе ясного отчета в том, какой смысл может иметь это слово в применении к общественным явлениям. Он смотрел на «закон», как смотрели на него утописты двадцатых годов. Только этим и можно объяснить то, что он надеялся открыть закон развития *одной страны* — России. Но зачем он приписывает свои приемы мысли русским марксистам? Он ошибается, если думает, что они в своем понятии о законосообразности общественных явлений не пошли дальше утопистов. А что он думает это, показывают все его возражения против них. Да и не он один так думает; думает так сам «профессор истории» г. Кареев; думают так все противники «марксизма».

* Там же, стр. 143 и след.

Они сначала припишут марксистам утопический взгляд на законосообразность общественных явлений, а потом побивают этот взгляд с более или менее сомнительным успехом. Настоящая борьба с ветряными мельницами!

Кстати, об ученом «профессоре истории». Вот в каких выражениях рекомендует он субъективную точку зрения на историческое развитие человечества: «Если в философии истории мы интересуемся вопросом о прогрессе, то этим самым дается выбор существенного содержания науки, ее фактов и их группировки. Но факты не могут быть ни выдуманы, ни поставлены в придуманные отношения (стало быть, ни в выборе, ни в группировке не должно быть ничего произвольного? Стало быть, группировка должна вполне соответствовать объективной действительности? Да! Слушайте! — *Г. П.*), и изображение хода истории с известной точки зрения останется объективным в смысле верности изображения. Тут является на сцену субъективизм иного рода: творческий синтез может создать целый идеальный мир норм, мир должного, мир истинного и справедливого, с которым будет сравниваться действительная история, т. е. объективное изображение ее хода, сгруппированное известным образом с точки зрения существенных перемен в жизни человечества. На основе этого сравнения возникает оценка исторического процесса, которая, однако, также не должна быть произвольна. Нужно доказать, что сгруппированные факты, как они нам даны, действительно имеют то значение, которое мы им приписываем, ставши на известную точку зрения, принявши известный критерий для их оценки».

У Щедрина «маститый московский историк», хвалясь своей объективностью, говорит: мне все равно, Ярослав Изяслава побил или Изяслав Ярослава. Г-н Кареев, создавший себе «целый идеальный мир норм, мир должного, мир истинного и справедливого», чужд такого рода объективности. Он сочувствует, положим, Ярославу, и хотя он не позволит себе изобразить его поражение в виде его победы («факты не могут быть выдуманы»), но он оставляет за собой драгоценное право пролить слезу-другую по поводу печальной участи Ярослава, не может удержаться от проклятия по адресу его победителя, Изяслава. Трудно возразить что-нибудь против *такого* «субъективизма». Но напрасно г. Кареев изображает его в таком обесцвеченном и потому обезвреженном виде. Изображать его так — значит не понимать его истинной природы, топить ее в воде сентиментальной фразеологии. В действительности отличительная черта «субъективных» мыслителей заключается в том, что «мир должного, мир истинного и справедливого» стоит у них вне всякой связи с объективным ходом исторического развития: здесь — «*должное*», там — «*действительное*», и эти

две области отделены одна от другой целой пропастью — той пропастью, которая отделяет у дуалистов мир материальный от мира духовного [1]. Задача общественной науки XIX столетия заключалась, между прочим, в том, чтобы построить мост через эту, повидимому бездонную, пропасть. Пока мы не построим этого моста, до тех пор мы по необходимости будем закрывать глаза на *действительное*, сосредоточив все свое внимание на «*должном*» (как это делали, например, сен-симонисты), отчего, разумеется, лишь замедлится осуществление этого «*должного*», так как затруднится приобретение правильного взгляда на него.

Мы уже знаем, что историки времен реставрации, в противность просветителям XVIII столетия, рассматривали политические учреждения всякой данной страны как результат ее гражданского быта. Этот новый взгляд до такой степени распространился и усилился в то время, что доходил в применении к практическим вопросам до странных, теперь уже почти непонятных нам крайностей. Так, Ж. Б. Сэй утверждал, что политические вопросы не должны интересовать экономиста, потому что народное хозяйство может одинаково хорошо развиваться даже при диаметрально противоположных политических порядках. Эту мысль Сэя с похвалой отмечает Сен-Симон, влагая в нее, правда, несколько более глубокое содержание. За весьма немногими исключениями, все утописты XIX века разделяют такой взгляд на «политику».

Теоретически этот взгляд ошибочен в двух отношениях. Во-первых, державшиеся его люди забывали, что в общественной жизни, как и всюду, где мы имеем дело с *процессом*, а не с отдельным явлением, следствие в свою очередь становится причиной, а причина оказывается следствием; короче, они покидали здесь, очень некстати, ту самую точку зрения *взаимодействия*, которою в других случаях, и тоже некстати, ограничивался их анализ; во-вторых, если *политические* отношения являются следствием *социальных*, то непонятно, каким образом до крайности различные следствия (политические учреждения диаметрально противоположного характера) могут быть вызваны одной и той же причиной — одинаковым состоянием «богатства». Очевидно, что тут самое понятие о причинной связи политических учреждений страны с ее экономическим состоянием остается еще до крайности туманным. И действительно, нетрудно было бы показать, как туманно оно у всех утопистов.

На практике эта туманность вела за собой двоякого рода последствия. С одной стороны, утописты, так много говорившие об *организации труда*, готовы были подчас повторять старый девиз XVIII века — «laissez faire, laissez passer». Так, Сен-Симон, видевший в организации промышленности величайшую задачу XIX столетия, говорит: «l'industrie a besoin d'être gou-

vernée le moins possible» (промышленность нуждается в том, чтобы ею управляли как можно меньше) *. С другой стороны, утописты — опять-таки с некоторыми исключениями, принадлежащими более позднему времени,— были совершенно равнодушны к текущей политике, к политическим вопросам дня.

Политический строй есть следствие, а не причина. Следствие всегда остается следствием, не становясь в свою очередь причиной. Отсюда следует почти прямой вывод, что «политика» не может служить средством осуществления общественно-экономических «идеалов». Понятна поэтому психология утописта, отворачивающегося от политики. Но на что же рассчитывали они в деле осуществления своих планов общественного преобразования? Что лежало в основе их практических упований? *Все и ничто*. *Все* — в том смысле, что они безразлично ожидали помощи с самых противоположных сторон. *Ничто* — в том, что все их надежды были совсем неосновательны.

Утописты воображали себя чрезвычайно практичными людьми. Они ненавидели «доктринеров» [1], и все самые громкие их принципы они, не задумываясь, приносили в жертву своим idées fixes **. Они не были ни либералами, ни консерваторами, ни монархистами, ни республиканцами; они безразлично готовы были идти *и с* либералами, *и с* консерваторами, *и с* монархистами, *и с* республиканцами, лишь бы осуществить свои «*практические*» и, как им казалось, чрезвычайно *практичные* планы. Из старых утопистов в этом отношении особенно замечателен Фурье. Он, как гоголевский Костанжогло [2], старался всякую дрянь употребить в дело. То он соблазнял ростовщиков перспективой огромных процентов, которые им станут приносить их капиталы в будущем обществе; то он взывал к любителям дынь и артишоков, прельщая их отличными дынями и артишоками будущего; то он уверял Луи Филиппа, что у принцесс Орлеанского дома, которыми теперь пренебрегают принцы крови, отбоя не будет от женихов при новом общественном строе. Он хватался за каждую соломинку. Но, увы! Ни ростовщики, ни любители дынь и артишоков, ни «король-гражданин», что называется, и ухом не вели, не обращали ни малейшего внимания на самые, казалось бы, убедительные расчеты Фурье. Его практичность оказалась заранее осужденной на неудачу, безотрадной погоней за *счастливой случайностью*.

---

* Просветители XVIII века совершенно так же противоречили себе, хотя их противоречие обнаруживалось с другой стороны. Они стояли за невмешательство государства и тем не менее временами требовали от законодателя мелочной регламентации. Просветителям тоже была неясна связь «политики» (у них считавшейся *причиной*) с хозяйством (считавшимся у них *следствием*).

** [навязчивым идеям.]

Погоней за счастливой случайностью усердно занимались еще просветители XVIII века. Именно в надежде на такую случайность и старались они всеми правдами и неправдами вступать в дружеские сношения с более или менее просвещенными «законодателями» и аристократами того времени. Обыкновенно думают, что раз человек сказал себе: мнение правит миром, то у него уже нет поводов унывать насчет будущего: la raison finira pas avoir raison *. Но это не так. Когда, каким путем восторжествует разум? Просветители говорили, что в общественной жизни все зависит в конце концов от «законодателя». Поэтому они и уловляли законодателей. Но те же просветители хорошо знали, что характер и взгляды человека зависят от воспитания и что, вообще говоря, воспитание не предрасполагало «законодателей» к усвоению просветительных учений. Поэтому они не могли не сознавать, что мало надежды на законодателей. Оставалось уповать на счастливую случайность. Вообразите, что у вас есть огромный ящик, в котором очень много черных шаров и два-три белых. Вы вынимаете шар за шаром. В каждом отдельном случае у вас несравненно меньше шансов вынуть белый шар, нежели черный. Но, повторив операцию достаточное число раз, вы вынете, наконец, и белый. То же и с «законодателями». В каждом отдельном случае несравненно вероятнее, что законодатель будет против «философов», но явится же, наконец, и согласный с философами законодатель. Этот сделает все, что предписывает разум. Так, *буквально так*, рассуждал Гельвеций **[1]. *Субъективно-идеалистический взгляд на историю* («мнения правят миром»), *повидимому отводящий такое широкое место свободе человека, на самом деле представляет его игрушкой случайности*. Вот почему этот взгляд в *сущности очень безотраден*.

Так, например, мы не знаем ничего безотраднее взглядов утопистов конца XIX века, т. е. русских народников и субъективных социологов. У каждого из них есть готовый план спасения общины, а с нею и крестьянства вообще, у каждого — своя «формула прогресса». Но, увы! Жизнь идет своим ходом, не обращая внимания на их формулы, которым не остается ничего другого, как тоже прокладывать себе свой, независимый от жизни путь в области абстракции, фантазий и логических злоключений. Вот, например, послушаем Ахилла субъективной школы, г. Михайловского:

* [разум в конечном счете восторжествует.]

** «Dans un temps plus ou moins long il faut, disent les sages, que toutes les possibilités se réalisent: pourquoi désesperer du bonheur futur de l'humanité?» [«В более или менее отдаленном будущем,— говорят мудрецы,— все возможности должны осуществиться: зачем же отчаиваться в будущем счастье человечества?»]

«Рабочий вопрос в Европе есть вопрос революционный, ибо там он требует *передачи* условий (?) труда в руки работника, экспроприации теперешних собственников. Рабочий вопрос в России есть вопрос консервативный, ибо тут требуется только *сохранение* условий труда в руках работника, гарантия теперешним собственникам их собственности. У нас под самым Петербургом... в местности, испещренной фабриками, заводами, парками, дачами, существуют деревни, жители которых живут на *своей* земле, жгут *свой* лес, едят *свой* хлеб, одеваются в армяки и тулупы *своей* работы из шерсти *своих* овец. Гарантируйте им прочно это свое, и русский рабочий вопрос решен. А ради этой цели можно все отдать, если как следует понимать значение прочной гарантии. Скажут: нельзя же вечно оставаться при сохе и трехпольном хозяйстве, при допотопных способах фабрикации армяков и тулупов. Нельзя. Из этого затруднения существует два выхода. Один, одобряемый практическою точкою зрения, очень прост и удобен: поднимите тариф, распустите общину, да, пожалуй, и довольно,— промышленность, наподобие английской, как гриб вырастет. Но она съест работника, экспроприирует его. Есть и другой путь, конечно гораздо труднее, но легкое разрешение вопроса не значит еще правильное. Другой путь состоит в развитии тех отношений труда и собственности, которые уже существуют в наличности, но в крайне грубом, первобытном виде. Понятно, что цель эта не может быть достигнута без широкого государственного вмешательства, первым актом которого должно быть законодательное закрепление общины»*

Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каким идти! [1]

Нам сдается, что все рассуждение нашего автора сильно пахнет дынями и артишоками. И едва ли обманывает нас обоняние. Чем грешил Фурье в деле с дынями и артишоками? Тем, что вдавался в «субъективную социологию». Объективный социолог спросил бы себя: есть ли какое-нибудь вероятие, что увлекутся нарисованною мной картиной любители дынь и артишоков? Он спросил бы себя затем: в состоянии ли любители дынь и артишоков изменить существующие общественные отношения и данный ход их развития? Всего вернее, что он ответил бы себе отрицательно на каждый из этих вопросов и потому не стал бы и времени тратить на беседу с «любителями». Но так

* Сочинения Н. К. Михайловского, т. II, изд. 2-е, стр. 102—103.

поступил бы *объективный* социолог, т. е. человек, основывающий все свои расчеты на данном законосообразном ходе общественного развития. Субъективный же социолог изгоняет *законосообразность* во имя *«желательного»*, и потому для него не остается другого выхода, как уповать на случайность. На грех и из палки выстрелишь — вот единственное утешительное соображение, на которое может опереться добрый субъективный социолог.

На грех и из палки выстрелишь. Но ведь палка о двух концах, и неизвестно, каким концом она стреляет. Наши народники и, если можно так выразиться, субъективисты перепробовали уже великое множество палок (даже соображение об удобстве взимания недоимок при общинном землевладении являлось иногда в роли магической палки). В огромном большинстве случаев палки оказывались к роли ружья совершенно неспособными, а когда случайно и стреляли, то пули попадали в самих гг. народников и субъективистов. Припомним крестьянский банк. Каких надежд не возлагали на него в смысле укрепления «устоев»! Как ликовали гг. народники при его открытии, и что же вышло? Палка выстрелила именно в ликовавших; теперь они сами признают, что крестьянский банк [1] — учреждение во всяком случае очень полезное — только разлагает «устои»; а это признание равносильно сознанию в том, что они, ликовавшие, были — по крайней мере, в течение некоторого времени — также и праздноболтавшими [2].

— Но ведь банк разлагает устои только потому, что его устав и его практика не вполне соответствуют нашей идее. Если бы была целиком проведена наша идея, то результаты были бы совсем другие...

— Во-первых, вовсе не другие: банк во всяком случае содействовал бы развитию денежного хозяйства, а денежное хозяйство непременно подрывало бы «устои». А во-вторых, когда мы слышим эти бесчисленные «если», нам все почему-то кажется, что у нас под окном разносчик выкрикивает: «вот дыни, артишоки хоро-о-шие!».

Уже в двадцатых годах нынешнего столетия французские утописты неустанно указывали на «консервативный» характер придуманных ими реформ. Сен-Симон прямо пугал и правительство и, как говорят у нас, общество народным восстанием, которое должно было рисоваться тогда в воображении «консерваторов» в виде страшного, всем живо памятного движения *санкюлотов*. Но из этого пуганья, разумеется, ничего не вышло, и если история действительно дает нам какие-нибудь *уроки*, то одним из самых поучительных оказывается тот, который свидетельствует о полнейшей непрактичности всех планов всех будто бы практичных утопистов.

Когда, указывая на консервативный характер своих планов, утописты старались склонить правительство к их осуществлению, они в подтверждение своей мысли представляли обыкновенно обзор исторического развития своей страны за более или менее продолжительную эпоху — обзор, из которого явствовало, что тогда-то и тогда-то были сделаны «ошибки», придавшие совершенно новый и до крайности нежелательный вид всем общественным отношениям. Правительству стоило только сознать и исправить эти «ошибки», чтобы немедленно водворить на земле чуть-чуть что не царство небесное.

Так, Сен-Симон уверял Бурбонов, что до революции главной отличительной чертой внутреннего развития Франции был союз монархии и промышленников. Этот союз был одинаково выгоден для обеих сторон. Во время революции правительство, *по недоразумению*, пошло против законных требований промышленников, а промышленники, *по столь же печальному недоразумению*, восстали против монархии. Отсюда — все зло последующего времени. Но теперь, когда корень зла открыт, дело очень легко поправимо, так как промышленникам стоит только примириться на известных условиях с правительством. Это и было бы самым разумным *консервативным* выходом из многочисленных затруднений обеих сторон. Излишне прибавлять теперь, что ни Бурбоны, ни промышленники не последовали благому совету Сен-Симона.

«Вместо того, чтобы твердо держаться наших вековых традиций; вместо того, чтобы развивать принцип тесной связи средств производства с непосредственным производителем, унаследованный нами; вместо того, чтобы воспользоваться приобретениями западноевропейской науки и приложить их для развития формы промышленности, основанной на владении крестьянством орудиями производства; вместо того, чтобы увеличить производительность его труда сосредоточением средств производства в его руках; вместо того, чтобы воспользоваться не формою производства, а самою его организациею, как она является в Западной Европе... вместо всего этого мы стали на путь совершенно противоположный. Мы не только не воспрепятствовали развитию капиталистических форм производства, несмотря на то, что они основаны на экспроприации крестьянства, но, напротив того, всеми силами постарались содействовать коренной ломке всей нашей хозяйственной жизни — ломке, приведшей к голоду 1891 года» *. Так печалуется г. *Н.— он*, рекомендуя «обществу» поправить эту ошибку, решив «крайне трудную», но не «невозможную» задачу: «развить производительные силы населения в такой форме, чтобы ими могло пользоваться не незначительное

* *Николай — он*, Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, С.-Петербург, 1893 г., стр. 322—323.

меньшинство, а весь народ»*. Все дело в том, чтобы поправить «ошибку».

Интересно, что г. Н.— он воображает себя как нельзя более чуждым всяких утопий. Он поминутно ссылается на людей, которым мы обязаны научной критикой утопического социализма [1]. Все дело в экономии страны, повторяет он кстати и некстати вслед за этими людьми, все зло оттуда: «поэтому средство для устранения зла, раз оно найдено, должно заключаться именно также в изменении самых условий производства». В пояснение — опять ссылка на одного из критиков утопического социализма: «средства эти не должны быть изобретаемы головой, но помощью мысли они должны быть найдены в наличных материальных условиях производства».

Но в чем же заключаются те *«материальные условия производства», которые подвинут общество решить или хотя бы только понять задачу, предлагаемую ему г. Н. — оном?* Это остается тайной не только для читателей, но, конечно, и для самого автора, который своей «задачей» очень убедительно показал, что в своих *исторических* взглядах он остается чистокровным утопистом, несмотря на цитаты из сочинений совсем не утопических писателей **.

Можно ли сказать, что планы Фурье противоречили «материальным условиям» современного ему производства? Нет, не только не противоречили, но целиком основывались, даже в недостатках своих, на этих условиях. Но это не помешало Фурье быть утопистом, потому что, раз обосновав свой план с «помощью мысли» на материальных условиях современного ему производства, *он не сумел приурочить к тем же условиям его осуществление и потому совершенно без толку приставал с «великой задачей» к таким общественным слоям и классам, которые в силу*

* *Николай — он*, Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства, С.-Петербург, 1893 г., стр. 343.

** Сообразно с этим и практические планы г. Н.— она представляют собою почти буквальное повторение тех «требований», которые давно уже и, разумеется, совершенно бесплодно предъявляли наши *утописты-народники*, например в лице г. Пругавина. «Конечными же целями и задачами общественно-государственной деятельности (как видите, тут не забыто ни общество, ни государство) в области фабричного хозяйства должны служить: с одной стороны, выкуп в пользу государства всех орудий труда и предоставление последних народу во временное, арендное пользование; с другой — установление такой организации условий производства (г. Пругавин хочет сказать просто: производства, но, по обычаю всех русских писателей, с г. Михайловским во главе, он употребляет выражение— «*условия* производства», не понимая, что оно значит), в основании которой лежали бы потребности народа и государства, а не интересы рынка, сбыта и конкуренции, что имеет место при товарно-капиталистической организации экономических сил страны» (*В. С. Пругавин*, Кустарь на выставке, Москва 1882, стр. 15). Пусть читатель сравнит это место со сделанной выше выпиской из книги г. Н.— она.

тех же материальных условий не могли иметь ни склонности браться за ее решение, ни возможности решить ее. Г-н Н.— он грешен этим грехом столько же, сколько Фурье или нелюбимый им Родбертус: скорее всего, он напоминает именно Родбертуса, потому что ссылка г. Н.— она на вековые устои как раз в духе этого консервативного писателя.

Для вразумления «общества» г. Н.— он указывает на устрашающий пример Западной Европы. Подобными указаниями наши утописты издавна старались придать себе вид людей положительных, не увлекающихся фантазиями, а только умеющих пользоваться «уроками истории». Но и этот прием *совсем не нов.* Уже французские утописты пытались устрашить и образумить своих современников *примером Англии*, где «огромное расстояние отделяет предпринимателя от рабочего» и где над этим последним тяготеет иго особого рода деспотизма. «Прочие страны, следующие за Англией по пути промышленного развития,— говорил «Producteur» [1],— должны понять, что следует постараться помешать подобному порядку возникнуть на их собственной почве» *. Единственной действительной помехой возникновению английских порядков в других странах могла служить сен-симонистская «организация работы и работников» **. С развитием рабочего движения во Франции главным театром мечтаний о миновании капитализма становится *Германия*, которая в лице своих утопистов долго и упорно противопоставляет себя «Западной Европе» (den westlichen Ländern). В западных странах, говорили немецкие утописты, носителем идей новой общественной организации является рабочий класс, у нас — образованные классы (то, что называется в России *интеллигенцией*). Именно немецкая «интеллигенция» считалась призванной отвратить от Германии чашу капитализма ***. Капитализм так страшен был немецким утопистам, что они для минования его

* T. I, p. 140. [«Производитель», т. I, стр. 140.]

** Об этой организации смотри в «Globe» [2] 1831—1832 гг., где она подробно изложена даже с подготовительными, переходными реформами.

*** «Unsere Nationalökonomen streben mit allen Kräften Deutschland auf die Stufe der Industrie zu heben, von welcher herab England jetzt die andern Länder noch beherrscht. England ist ihr Ideal. Gewiss: England sieht sich gern schön an; England hat seine Besitzungen in allen Welttheilen, es weiss seinen Einfluss aller Orten geltend zu machen, es hat die reichste Handels- und Kriegsflotte, es weiss bei allen Handelstraktaten die Gegenkontrahenten immer hinters Licht zu führen, es hat die spekulativsten Kaufleute, die bedeutendsten Kapitalisten, die erfindungsreichsten Köpfe, die prächtigsten Eisenbahnen, die grossartigsten Maschinenanlagen; gewiss, England ist, von dieser Seite betrachtet, ein glückliches Land, aber—es lässt sich auch ein anderer Gesichtspunkt bei der Schätzung Englands gewinnen und unter diesem möchte doch wohl das Glück desselben von seinem *Unglück* bedeutend überwogen werden. England ist auch das Land, in welchem das Elend auf die höchste Spitze getrieben ist, in welchem jährlich Hunderte notorisch Hungers sterben, in welchem die Arbeiter zu Fünfzig-

готовы были в крайнем случае помириться с полным застоем. Торжество конституционного порядка,— рассуждали они,— повело бы к господству денежной аристократии. Поэтому пусть лучше не будет конституционного порядка *. Германия не

---

tausenden zu arbeiten verweigern, da sie trotz all'ihrer Mühe und Leiden nicht so viel verdienen, dass sie nothdürftig leben können. England ist das Land, in welchem die Wohlthätigkeit durch die Armensteuer zum *äusserlichen* Gesetz gemacht werden musste. Seht doch ihr, Nationalökonomen, in den Fabriken die wankenden, gebückten und verwachsenen Gestalten, seht die bleichen, abgehärmten schwindsüchtigen Gesichter, seht all' das geistige und das leibliche Elend, und ihr wollt Deutschland noch zu einem zweiten England machen? England konnte nur durch Unglück und Jammer zu dem Höhepunkt der Industrie gelangen, auf dem es jetzt steht, und Deutschland könnte nur durch *dieselben* Opfer *ähnliche* Resultate erreichen, d. h. erreichen, dass die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden». «Triersche Zeitung», 4 Mai 1846, перепечатано в первом томе обозрения, выходившего под редакцией *М. Гесса*, под названием: «Der Gesellschaftsspiegel. Die gesellschaftliche Zustände der civilisierten Welt», Band I, Iserlohn und Elberfeld 1846. [«Наши экономисты изо всех сил стремятся поднять Германию на ту ступень промышленного развития, с которой Англия еще сейчас господствует над другими странами. Англия — их идеал. Конечно: Англия охотно любуется собой; Англия имеет свои владения во всех частях света, она умеет повсеместно утвердить свое влияние, она обладает самым богатым торговым и военным флотом, она знает, как при заключении торговых договоров провести своих контрагентов, она является обладательницей самых оборотистых купцов, самых крупных капиталистов, самых изобретательных голов, самых великолепных железных дорог, самого совершенного технического оборудования. Конечно, если рассматривать Англию с этой точки зрения,— она счастливая страна, но существует еще другая точка зрения, с которой счастье этой страны, пожалуй, в значительной степени перекрывается ее *несчастьем*. Англия в то же время страна, в которой нищета доведена до высшего предела, в которой ежегодно сотни людей, как известно, умирают от голода, в которой рабочие десятками тысяч отказываются от работы, так как, несмотря на все свои труды и страдания, они не зарабатывают столько, чтобы обеспечить себе самое скудное существование. Англия — страна, в которой благотворительность, в виде налога в пользу бедных, пришлось превратить в *формальный* закон. Взгляните же, экономисты, на шатающиеся, сутулые, сгорбленные фигуры, взгляните на бледные, грустные, чахоточные лица, взгляните на всю их духовную и физическую убогость, и неужели вы захотите после этого сделать Германию второй Англией? Только через беды и несчастья смогла Англия достигнуть такого расцвета промышленности, и только через *такие же* жертвы смогла бы Германия достигнуть *аналогичных* результатов, другими словами, достигнуть того, чтобы богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее». («Трирская газета» от 4 мая 1846 г.)...]

* «Sollte es den Constitutionellen gelingen,— говорил Бюхнер,— die deutschen Regierungen zu stürzen und eine allgemeine Monarchie oder Republik einzuführen, so bekommen wir hier einen Geldaristokratismus, wie in Frankreich, und lieber soll es bleiben, wie es jetzt ist» См. Georg Büchners sämmtliche Werke, изд. под редакцией Францоза, S. 122. [«Если бы конституционалистам удалось свергнуть германские правительства и установить общую монархию или республику, то мы имели бы денежную аристократию, как во Франции, и лучше пусть остается так, как было до сих пор». См. *Георг Бюхнер*, Собрание сочинений, изд. под редакцией Францоза, стр. 122.]

миновала капитализма. Теперь о том же миновании толкуют русские утописты. Так путешествуют утопические идеи от Запада к Востоку, всюду являясь предвозвестницами победы того самого капитализма, против которого они восстают и борются. Но чем далее забираются они на Восток, тем более изменяется их историческое значение. Французские утописты были в свое время смелыми, гениальными *новаторами*; немецкие оказались гораздо ниже их; русские же способны теперь только пугать западных людей своим допотопным видом.

Интересно, что еще у французских просветителей является мысль об избежании капитализма. Так, Гольбах сильно сокрушается о том, что торжество конституционного порядка в Англии повело к полному господству *de l'intérêt sordide des marchands* *. Его очень печалит то обстоятельство, что англичане неустанно ищут новых рынков. Такая погоня за рынками отвлекает их от философии. Гольбах осуждает также существующее в Англии неравенство имуществ. Ему, как и Гельвецию, хотелось бы подготовить торжество разума и равенства, а не купеческих интересов. Но ни Гольбах, ни Гельвеций и ни один из просветителей не мог противопоставить тогдашнему ходу вещей ничего, кроме панегириков разуму и правоучительных наставлений по адресу du «peuple d'Albion»**. В этом отношении они были так же бессильны, как наши, современные нам, русские утописты.

Еще одно замечание — и мы покончим с утопистами. Точка зрения *«человеческой природы»* вызвала в первой половине XIX века то злоупотребление *биологическими* аналогиями, которое и до сих пор дает очень сильно чувствовать себя в западной социологической, а особенно в русской quasi-социологической литературе.

Если разгадки всего исторического общественного движения надо искать в природе человека и если, как справедливо заметил еще Сен-Симон, общество состоит из индивидуумов, то природа индивидуума и должна дать ключ к объяснению истории. Природу индивидуума изучает *физиология* в обширном смысле этого слова, т. е. наука, охватывающая также и *психические явления*. Вот почему физиология в глазах Сен-Симона и его учеников являлась основой *социологии*, которую они называли *социальной физикой*. В изданных еще при жизни Сен-Симона и при его деятельнейшем участии «Opinions philosophiques, littéraires et industrielles»*** напечатана чрезвычайно интересная, к сожалению не оконченная, статья анонимного *доктора*

* [гнусного интереса купцов.]
** [«народа Альбиона»[1].]
*** [«Философские, литературные и экономические взгляды».]

медицины под заглавием «De la physiologie appliquée à l'amélioration des institutions sociales» (О физиологии в применении к улучшению общественных учреждений). Автор рассматривает *науку об обществе* как составную часть «*общей физиологии*», которая, обогатившись наблюдениями и опытами «*специальной физиологии*» над индивидуумами, «предается соображениям высшего порядка». Индивидуумы являются для нее «лишь органами общественного тела», функции которого она изучает «*подобно тому, как специальная физиология изучает функции индивидуумов*». Общая физиология изучает (автор говорит — *выражает*) законы общественного существования, с которыми и должны сообразоваться писаные законы. Впоследствии буржуазные социологи, например Спенсер, пользовались учением об общественном организме для самых консервативных выводов. Но цитируемый нами доктор медицины прежде всего *реформатор*. Он изучает «общественное тело» в видах *общественного переустройства*, так как только «*социальная физиология*» и тесно связанная с нею «*гигиена*» дают «положительные основы, на которых можно построить требуемую современным состоянием цивилизованного мира систему общественной организации». Но, как видно, социальная физиология и гигиена не много дали пищи реформаторской фантазии автора, потому что в конце концов он видит себя вынужденным обратиться к *медикам*, т. е. людям, имеющим дело с индивидуальными организмами, прося их дать обществу «*в виде гигиенического рецепта*» «систему социального устройства».

Этот взгляд на «*социальную физику*» впоследствии пережевывал, или, если хотите, развивал, О. Конт в различных своих сочинениях. Вот что говорил он об общественной науке еще в молодости, когда сотрудничал в сен-симонистском «Producteur»*: «Общественные явления, как явления человеческие, без сомнения, должны быть отнесены к числу явлений физиологических. Но хотя социальная физика должна поэтому иметь свою точку отправления в индивидуальной физиологии и быть с нею в постоянной связи, ее надо тем не менее рассматривать и разрабатывать как совершенно отдельную науку по той причине, что различные поколения людей прогрессивно влияют одно на другое. Держась чисто физиологической точки зрения, нельзя как следует изучить это влияние, оценке которого должно быть отведено в социальной физике *главное* место» **.

Посмотрите же, в какие безвыходные противоречия попадают люди, смотрящие на общество с этой точки зрения.

* [«Производитель»]

** «Considérations sur les sciences et les savants» в первом томе «Producteur» [«Рассуждение о науках и ученых» в первом томе «Производителя»], стр. 355—356.

Во-первых, поскольку «социальная физика» имеет «своей точкой отправления» индивидуальную физиологию, она строится на чисто *материалистической* основе: в физиологии нет места *идеалистическому* взгляду на предмет. Но та же социальная физика должна главным образом заниматься оценкой прогрессивного влияния одного поколения на другое. Данное поколение влияет на последующее, передавая ему как те знания, которые оно унаследовало от предыдущих поколений, так и знания, приобретенные им самим. «Социальная физика» рассматривает, следовательно, развитие человеческого рода с точки зрения развития знания и вообще «просвещения» (lumières). Это уже чисто идеалистическая точка зрения XVIII века: *мнения правят миром*. «Тесно связав», по совету Конта, эту идеалистическую точку зрения с чисто материалистической точкой зрения индивидуальной физиологии, мы оказываемся *дуалистами* чистой воды, и нет ничего легче, как проследить вредное влияние этого дуализма на социологические воззрения хотя бы того же Конта. Но это не все. Ведь еще мыслители XVIII века замечали, что в развитии знаний есть известная законосообразность. Конт крепко держится за такую законосообразность, выдвигая на первый план пресловутый закон трех фазисов: теологического, метафизического и позитивного.

Но почему же развитие знаний проходит именно через эти три фазиса? Такова уж природа человеческого ума, отвечает Конт: «По своей природе (par sa nature) человеческий ум проходит повсюду, где он действует, через три различных теоретических состояния» *. Прекрасно; ну, а для изучения «природы» нам приходится обратиться к индивидуальной физиологии, а индивидуальная физиология не дает нам достаточного объяснения, и мы опять сошлемся на «поколения», а «поколения» отошлют нас к «природе». Это называется наукой, но науки тут нет и следа: тут есть только бесконечное движение в безвыходном круге.

Наши, будто бы оригинальные, «субъективные» социологи целиком стоят на точке зрения французского утописта двадцатых годов.

«Еще под влиянием Ножина,— повествует о себе г. Михайловский,— и отчасти под его руководством, я заинтересовался вопросом о границах биологии и социологии и возможностью их сближения... Не могу достаточно высоко оценить пользу, доставленную мне общением с кругом идей Ножина, но в них было все-таки много случайного, частью потому, что они в самом Ножине еще только развивались, частью по малому знакомству его с областью естествознания. Я получил от Ножина

* Там же, стр. 304.

собственно только толчок в известном направлении, но толчок сильный, решительный и благотворный. Не помышляя о специальных занятиях биологией, я, однако, много читал по указанию Ножина и как бы по его завещанию. Эта новая струя чтения бросила своеобразный и чрезвычайно меня занимавший отблеск на тот значительный, хотя и беспорядочный, а частью просто негодный материал, фактический и идейный, которым я запасся раньше» *.

Ножин выведен г. Михайловским в его очерках «Вперемежку» под именем Бухарцева. Бухарцев «мечтал о реформе общественных наук при помощи естествознания и выработал уже обширный план ее». Каковы были приемы этой реформаторской деятельности, видно из следующего. Бухарцев, взявшись перевести на русский язык с латинского обширный трактат по зоологии, снабжает перевод своими примечаниями, куда рассчитывает «вложить результаты всех своих самостоятельных работ», а к примечаниям делает новые примечания, «социологического» характера. Г-н Михайловский услужливо знакомит читателя с одним таким примечанием второго этажа: «Я вообще не могу в моих дополнениях к Ван дер Гевену слишком вдаваться в теоретические соображения и выводы относительно применения всех этих чисто анатомических вопросов к решению вопросов общественно-экономических. Поэтому я опять только обращаю внимание читателя на то, что вся моя анатомическая и эмбриологическая теория имеет главною своею целью отыскание законов физиологии общества, и потому все мои дальнейшие сочинения будут, конечно, основаны на научных данных, излагаемых мною в этой книге» **.

Анатомическая и эмбриологическая теория «имеет главной целью отыскание законов физиологии общества»! Это очень нескладно сказано, но тем не менее очень характерно для социолога-утописта. Он строит анатомическую теорию, опираясь на которую он собирается прописать ряд «гигиенических рецептов» окружающему его обществу. К этим рецептам и сводится у него общественная «физиология». Общественная «физиология» Бухарцева есть, собственно, не «физиология», а уже знакомая нам «гигиена», не наука о том, что есть, а наука о том, что должно было бы быть на основании... «анатомической и эмбриологической теории» того же Бухарцева.

Хотя Бухарцев и списан с Ножина, но все-таки он представляет собой до известной степени продукт художественного творчества г. Михайловского (если только можно говорить о *художественном* творчестве в применении к цитируемым очеркам). Поэтому и нескладное примечание его, может быть, никогда не

* «Литература и жизнь», «Русская Мысль», 1891 г., кн. IV, стр. 195.

** Соч. Н. К. Михайловского, т. IV, изд. второе, стр. 265—266.

существовало в действительности. В таком случае оно тем более характерно для г. Михайловского, который говорит о нем с большим почтением.

«Мне случалось все-таки встречать в литературе прямое отражение идей незабвенного друга-учителя»,— говорит Темкин, от имени которого ведется рассказ. Идеи Бухарцева-Ножина отражал и отражает г. Михайловский.

Г. Михайловский имеет свою «формулу прогресса». Эта формула гласит: «Прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов» *.

Каково может быть научное значение этой формулы? Объясняет ли она историческое движение общества? Говорит ли она, как оно совершалось и почему оно совершалось так, а не иначе? Нисколько, да и не в том ее «главная цель». Она говорит не о том, как шла история, а о том, как она должна была бы идти, чтобы заслужить одобрение г. Михайловского. Это «гигиенический рецепт», придуманный утопистом на основании «точных исследований законов органического развития». Это именно то, чего искал медик сен-симонист.

...«Мы сказали, что исключительное употребление в социологии метода объективного равнялось бы, если бы оно было возможно, складыванию аршин с пудами, из чего, между прочим, следует не то, что объективный метод должен быть совершенно удален из этой области исследований, а только то, что высший контроль должен здесь принадлежать субъективному методу»**.

«Эта область исследований» есть именно «физиология» *желательного общества*, область утопии. Нечего и говорить, что употребление в ней «субъективного метода» очень облегчает работу «*исследователя*». Но основывается это употребление совсем не на каких-нибудь «законах», а на «чарованьи красных вымыслов»; кто раз поддался ему, тот не восстанет даже и против применения в одной и той же «области», правда, на разных правах, обоих методов, субъективного и объективного, хотя подобная методологическая путаница есть настоящее «складывание аршин с пудами» ***.

* Соч. Н. К. Михайловского, т. IV, изд. второе, стр. 186—187.

** Там же, стр. 185.

*** Впрочем, уже самые выражения: «объективный метод», «субъективный метод»—представляют собою огромную, по крайней мере, терминологическую путаницу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Материалисты XVIII века были твердо уверены, что им удалось нанести смертельный удар идеализму. Они смотрели на него, как на устарелую, навсегда покинутую теорию. Но уже в конце того века начинается реакция против материализма, а в первой половине XIX столетия сам материализм попадает в положение системы, которую все считают устарелой, окончательно похороненной. Идеализм не только снова воскресает к жизни, но и получает небывалое, поистине блестящее развитие. На это были, конечно, свои общественные причины, но мы, не касаясь их здесь, рассмотрим только, имел ли *идеализм* XIX века какие-нибудь преимущества перед *материализмом* предыдущей эпохи и если да, то в чем эти преимущества заключаются.

Французский материализм обнаруживал поразительную, просто мало вероятную ныне, слабость всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться с вопросами развития в природе или в истории. Возьмем хоть *происхождение человека*. Хотя мысль о *постепенном развитии* этого вида и не казалась материалистам «*противоречивой*», но они считали такую «догадку» очень мало вероятной. Авторы «Système de la nature» (см. шестую главу первой части) говорят, что если бы кто-нибудь восстал против подобной догадки, если бы кто-нибудь возразил, «что природа действует с помощью известной суммы общих и неизменных законов», и прибавил при этом, что «человек, четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют от века и остаются вечно неизменными», то они «не воспротивились бы и этому». Они заметили бы только, что и такой взгляд не противоречит излагаемым ими истинам. «Человеку не дано знать все: ему не дано знать свое происхождение»,— вот все, что говорят в конце концов авторы «Système de la nature» по поводу этого важного вопроса.

Гельвеций как будто больше склоняется к мысли о постепенном развитии человека. «Материя вечна, но формы ее изменчивы»,— замечает он, напоминая, что и теперь человеческие по-

роды видоизменяются действием климата *. Он даже вообще считает изменчивыми все животные виды. Но эта здравая мысль формулируется им очень странно. У него выходит, что причины «несходства» между различными видами животных и растений лежат *или* уже в свойстве их «зародышей», *или* в различии окружающей их среды, в различии их «воспитания» **.

Наследственность исключает таким образом *изменчивость*, и наоборот. Приняв теорию изменчивости, мы должны, следовательно, предположить, что из каждого данного «зародыша» может получиться при надлежащей обстановке любое животное или растение: из зародыша дуба, например, — бык или жирафа. Само собой разумеется, что *подобная* «догадка» не могла пролить света на вопрос о происхождении видов и сам Гельвеций, раз высказав ее мимоходом, уже не возвращается к ней ни разу.

Столь же плохо умели объяснить французские материалисты и явления *общественного* развития. Различные системы «законодательства» изображаются ими исключительно как плод сознательной творческой деятельности «законодателей»; различные религиозные системы — как плод хитрости жрецов и т. д.

Это бессилие французского материализма перед вопросами развития в природе и в истории делало очень бедным его философское содержание. В учении о природе содержание это сводилось к борьбе против одностороннего понятия *дуалистов* о материи; в учении о человеке оно ограничивалось бесконечным повторением и некоторым видоизменением локковского положения: *нет врожденных идей*. Как ни полезно было такое повторение в борьбе против отживших нравственных и политических теорий, серьезное научное значение оно могло иметь только в том случае, если бы материалистам удалось применить свою мысль к объяснению духовного развития человечества. Мы уже сказали выше, что некоторые, очень замечательные попытки сделаны были в этом направлении французскими материалистами (т. е., собственно, Гельвецием), но что они окончились неудачей (а если бы они удались, то французский материализм оказался бы очень сильным в вопросах развития), и материалисты в своем взгляде на историю стали на чисто идеалистическую точку зрения: *мнения правят миром*. Лишь по временам, лишь очень редко материализм врывался в их исторические рассуждения в виде замечаний на ту тему, что один какой-нибудь шальной атом, попавший в голову «законодателя» и причинивший

---

* «Le vrai sens du système de la nature», à Londres 1774, p. 15. [«Истинный смысл системы природы», Лондон 1774, стр. 15.]

** «De l'homme», Oeuvres complètes de Helvetius, Paris 1818, t. II, p. 120. [«О человеке», Полное собрание сочинений Гельвеция, Париж 1818, т. II, стр. 120.]

в ней расстройство мозговых отправлений, может на целые века изменить ход истории. *Такой* материализм был в сущности *фатализмом* и не оставлял места для предвидения событий, т. е., иначе сказать, для сознательной исторической деятельности мыслящих личностей.

Неудивительно поэтому, что способным и талантливым людям, не вовлеченным в ту борьбу общественных сил, в которой материализм являлся страшным теоретическим оружием крайней левой партии, это учение казалось *сухим, мрачным, печальным.* Так отзывался о нем, например, Гёте [1]. Чтобы этот упрек перестал быть заслуженным, материализм должен был покинуть сухие, отвлеченные рассуждения и попытаться понять и объяснить с своей точки зрения «живую жизнь», сложную и пеструю цепь конкретных явлений. Но в своем тогдашнем виде он не способен был решить эту великую задачу, и ею овладела *идеалистическая философия.*

Главным, конечным звеном в развитии этой философии является гегелевская система, поэтому мы и будем указывать преимущественно на нее в нашем изложении.

Гегель называл *метафизической* точку зрения тех мыслителей — безразлично, идеалистов или материалистов,— которые, не умея понять процесса развития явлений, поневоле представляют их себе и другим как застывшие, бессвязные, неспособные перейти одно в другое. Этой точке зрения он противопоставил *диалектику*, которая изучает явления именно в их развитии и, следовательно, в их взаимной связи.

По Гегелю, диалектика есть *принцип всякой жизни.* Нередко встречаются люди, которые, высказав известное отвлеченное положение, охотно признают, что, может быть, они ошибаются и что, может быть, правилен прямо противоположный взгляд. Это благовоспитанные люди, до конца ногтей проникнутые «*терпимостью*»: живи и жить давай другим,— говорят они своему рассудку. Диалектика не имеет ничего общего со скептической терпимостью светских людей, но и она умеет соглашать прямо противоположные отвлеченные положения. Человек смертен, говорим мы, рассматривая смерть как нечто коренящееся во внешних обстоятельствах и совершенно чуждое природе живого человека. Выходит, что у человека есть два свойства: во-первых, быть живым, а во-вторых, быть также и смертным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что *жизнь* сама носит в себе зародыши *смерти* и что вообще всякое явление *противоречиво* в том смысле, что оно само из себя развивает те элементы, которые рано или поздно положат конец его существованию, превратят его в его собственную противоположность. Все течет, все изменяется, и нет силы, которая могла бы задержать это постоянное течение, остановить это вечное движе-

ние: нет силы, которая могла бы противиться диалектике явлений. Гёте олицетворяет диалектику в образе духа[1]:

In Lebensfluthen, in Thatensturm
Wall'ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab —
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff'ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid *.

В данную минуту движущееся тело находится в данной точке, но в то же время находится и вне ее, потому что, если бы оно находилось *только* в ней, оно, по крайней мере на это мгновение, стало бы *неподвижным*. Всякое движение есть диалектический процесс, живое противоречие, а так как нет ни одного явления природы, при объяснении которого нам не пришлось бы в последнем счете апеллировать к движению, то надо согласиться с Гегелем, который говорил, что *диалектика есть душа всякого научного познания*. И это относится не только к познанию природы. Что означает, например, старый афоризм: *summum jus summa injuria*? ** То ли, что справедливее всего мы поступаем тогда, когда, отдавши дань праву, мы в то же время отдадим должное и бесправию? Нет, так рассуждает только «пошлый опыт, ум глупцов». Этот афоризм означает, что всякое отвлеченное право, дойдя до своего логического конца, превращается в бесправие, т. е. в свою собственную противоположность. «Венецианский купец» Шекспира служит этому блестящей иллюстрацией[2]. Взгляните теперь на экономические явления. Каков логический конец «свободного *соперничества*»? Каждый предприниматель стремится побить своих соперников, остаться единоличным хозяином рынка. И, конечно, нередки случаи, когда какому-нибудь Ротшильду или Вандербильту удается счастливо осуществить это стремление. Но это показывает, что свободное соперничество ведет к монополии, т. е. к отрицанию соперничества, т. е. к своей собственной противо-

---

* В буре деяний, в волнах бытия
Я подымаюсь,
Я опускаюсь...
Смерть и рождение —
Вечное море;
Жизнь и движение
В вечном просторе...
Так на станке преходящих веков
Тку я живую одежду богов.
(Пер. *Н. Холодковского.*)

** [высшее право — высшее бесправие.]

положности. Или посмотрите, к чему ведет прославленный нашей народнической литературою так называемый *трудовой принцип собственности*. Мне принадлежит только то, что создано моим трудом. Это как нельзя более справедливо. И не менее справедливо то, что я употребляю созданную мною вещь по своему свободному усмотрению: я пользуюсь ею сам или меняю ее на другую вещь, почему-либо более для меня желательную. Столь же справедливо, наконец, и то, что я пользуюсь вымененною мною вещью опять-таки по своему свободному усмотрению — как мне приятнее, лучше, выгоднее. Положим теперь, что я продал продукт моего собственного труда за деньги, а деньги употребил на наем работника, т. е. купил чужую рабочую силу. Воспользовавшись этой чужой силой, я оказываюсь владельцем стоимости, которая значительно выше стоимости, израсходованной мною на ее покупку. Это, с одной стороны, очень справедливо, так как ведь уже признано, что я могу пользоваться вымененною вещью как мне лучше и выгоднее, а с другой стороны, это очень несправедливо, потому что я эксплуатирую *чужой* труд и тем отрицаю тот принцип, который лежал в основе моего понятия о справедливости. Собственность, приобретенная моим личным трудом, родит мне собственность, созданную трудом другого. Summum jus summa injuria. И такая injuria самою силою вещей порождается в хозяйстве чуть ли не каждого зажиточного кустаря, чуть не каждого исправного сельского домохозяина *.

Итак, *каждое явление действием тех самых сил, которые обусловливают его существование, рано или поздно, но неизбежно превращается в свою собственную противоположность.*

Мы сказали, что идеалистическая немецкая философия смотрела на все явления с точки зрения их развития и что это-то

* Г-ну Михайловскому кажется непонятным это вечное и повсюдное господство диалектики; все изменяется, кроме законов диалектического движения, говорит он с ехидным скептицизмом. Да, это именно так, отвечаем мы, и если вас это удивляет, если вы хотите оспаривать этот взгляд, то помните, что вам придется оспаривать основную точку зрения современного естествознания. Чтобы убедиться в этом, вам достаточно припомнить те слова Пляйфайра, которые Ляйелль взял эпиграфом к своему знаменитому сочинению «Principles of Geology»: «Amid the revolutions of the globe, the economy of Nature has been uniform and her laws are the only things that have resisted the general movement. The rivers and the rocks, the seas and the continents have been changed in all their parts; but the laws which direct these changes, and the rules to which they are subject, have remained invariably the same». [«Принципы геологии»: «В то время как земной шар претерпевал перемены, устройство природы пребывало единообразным и единственно ее законы противостояли общему движению. Реки и скалы, моря и континенты изменялись во всех своих частях; но законы, управляющие этими изменениями, и правила, которым они подчинены, остались неизменно одними и теми же».]

и значит смотреть на них *диалектически*. Нужно заметить, что *метафизики* умеют искажать и самое учение о развитии. Они твердят, что ни в природе, ни в истории скачков не бывает. Когда они говорят о *возникновении* какого-нибудь явления или общественного учреждения, они представляют дело так, как будто это явление или учреждение было когда-то очень маленьким, совсем незаметным, а потом постепенно подрастало. Когда речь идет об *уничтожении* того же явления и учреждения, предполагается, наоборот, постепенное его уменьшение, продолжающееся до тех пор, пока явление станет совсем незаметным в силу своих микроскопических размеров. Понимаемое таким образом развитие ровно ничего не объясняет; оно предполагает существование тех самых явлений, которые оно должно объяснить, и считается лишь с совершающимися в них *количественными изменениями*. Господство метафизического мышления было когда-то так сильно в естествознании, что многие натуралисты иначе и не могли представить себе развитие, как именно в виде такого постепенного увеличения или уменьшения размеров изучаемого явления. Хотя уже со времен Гарвея было признано, что «*все живое развивается из яйца*», но с таким развитием из яйца, очевидно, не связывалось никакого точного представления, и открытие сперматозоидов тотчас послужило поводом к возникновению теории, по которой в семенной клеточке уже заключается готовое, совершенно развившееся, но микроскопически маленькое животное, так что все «*развитие*» его сводится *к росту*. Совершенно так рассуждают теперь мудрые старцы, а в их числе многие знаменитые европейские социологи-эволюционисты, о «развитии», например, политических учреждений: история скачков не делает: va piano...

Немецкая идеалистическая философия решительно восстала против такого уродливого понятия о развитии. Гегель язвительно осмеивал его и неопровержимо доказал, что и в природе и в человеческом обществе *скачки* составляют такой же необходимый момент развития, как и постепенные количественные изменения. «Изменения бытия,— говорит он,— состоят не только в том, что одно количество переходит в другое количество, но также и в том, что качество переходит в количество, и наоборот; каждый из переходов этого последнего рода составляет *перерыв постепенности* (ein Abbrechen des Allmählichen) и дает явлению новый вид, качественно отличный от прежнего. Так, вода при охлаждении твердеет не постепенно... а сразу; уже охладившись до точки замерзания, она остается жидкостью, если только сохраняет спокойное состояние, и тогда достаточно малейшего толчка, чтобы она вдруг сделалась твердой... В мире нравственных явлений... имеют место такие же переходы количественного в качественное, или, иначе сказать, различия в

качествах и там основываются на количественных различиях. Так, *немножко меньше*, *немножко больше* составляет ту границу, за которой легкомыслие перестает быть легкомыслием и превращается в нечто совершенно другое, в преступление... Так, государства при прочих равных условиях получают различный качественный характер лишь вследствие различий в величине. Данные законы и данное государственное устройство приобретают совершенно другое значение с расширением территории государства и численности его граждан...» *.

Современные натуралисты прекрасно знают, как часто изменения количества ведут к изменениям качества. Почему одна часть солнечного спектра производит в нас ощущение красного цвета, другая — зеленого и т. д.? Физика отвечает, что тут все дело в числе колебаний частиц эфира. Известно, что число это изменяется для каждого спектрального цвета, возрастая от красного к фиолетовому. Это не все. Напряжение теплоты в спектре увеличивается по мере приближения к наружному краю красной полосы и достигает наибольшей степени на некотором расстоянии от нее по выходе из спектра. Выходит, что в спектре имеются особого рода лучи, которые уже не светят, а только греют. Физика и здесь говорит, что качества лучей изменяются вследствие изменения числа колебаний частиц эфира.

Но и это не все. Солнечные лучи производят известное химическое действие, как это показывает, например, линяние материй от солнца. Наибольшей химической силой отличаются фиолетовые и так называемые за-фиолетовые лучи, которые уже не вызывают в нас светового ощущения. Различие в химическом действии солнечных лучей объясняется опять-таки не чем иным, как количественными различиями в колебаниях частиц эфира: *количество переходит в качество.*

То же подтверждает химия. Озон имеет другие свойства, чем обыкновенный кислород. Откуда это различие? В молекуле озона иное число атомов, чем в молекуле обыкновенного кислорода. Возьмем три углеводородистых соединения: CH_4 (болотный газ), C_2H_6 (димэтил) и C_3H_8 (мэтил-этил). Все они составлены по формуле: n атомов углерода и $2n+2$ атома водорода. Если n равно единице, вы имеете болотный газ; если n равно двум, получается димэтил; если n равно трем, является мэтил-этил. Таким образом составляются целые ряды, о значении которых вам расскажет любой химик, и все эти ряды единогласно подтверждают положение старых диалектиков-идеалистов: *количество переходит в качество.*

* «Wissenschaft der Logik» [«Наука логики»], первое издание, ч. I, книга I, стр. 313—314.

Теперь мы узнали уже главнейшие отличительные признаки диалектического мышления, но читатель чувствует себя неудовлетворенным. А где же знаменитая *триада*, спрашивает он, та триада, в которой заключается, как известно, вся суть гегелевской диалектики? Извините, читатель, мы не говорили о триаде по той простой причине, что она *вовсе не играет у Гегеля той роли, которую ей приписывают* люди, не имеющие никакого понятия о философии этого мыслителя, изучавшие ее, например, по «*учебнику уголовного права*» г. Спасовича *. Полные святой простоты, эти легкомысленные люди убеждены, что вся аргументация немецкого идеалиста сводилась к ссылкам на триаду; что с каким бы теоретическим затруднением ни сталкивался старик, он с спокойной улыбкой предоставлял другим ломать над ним свои бедные, «непосвященные» головы, а сам немедленно строил силлогизм: все явления совершаются по триаде; я имею дело с явлением; следовательно, обращусь к триаде **. Это просто *сумасшедшие пустяки*, как выражается один из персонажей Каронина, или *неестественное празднословие*, если вам больше нравится щедринское выражение. Ни в одном из 18 томов сочинений Гегеля «*триада*» ни разу не играет роли *довода*, и кто хоть немного знаком с его философским учением, тот понимает, что она никоим образом *не могла играть ее*. У Гегеля триада имеет такое же значение, какое она имела еще у Фихте, философия которого существенно отличается от гегелевской. Понятно, что

* «Мечтая о карьере адвоката,— рассказывает г. Михайловский,— я с жаром, хотя и без всякого порядка, читал разные юридические сочинения. В том числе был учебник уголовного права г. Спасовича. В этом сочинении есть краткий обзор различных философских систем в их отношении к криминалистике. Я в особенности поразился знаменитою триадой Гегеля, в силу которой наказание так грациозно становится примирением противоречия между правом и преступлением. Известна соблазнительность трехчленной формулы Гегеля в ее разнообразнейших приложениях... неудивительно, что я был пленен ею в учебнике г. Спасовича. Неудивительно, что затем потянуло и к Гегелю и ко многому другому...» («Русская Мысль», 1891, кн. III, отд. II, стр. 188). Жаль, очень жаль, что г. Михайловский не сообщает, в каких размерах удовлетворил он свое тяготение «к Гегелю». По всему видно, что он не далеко пошел в этом отношении.

** Г-н Михайловский уверяет, что покойный Н. Зибер, доказывая в своих спорах с ним неизбежность капитализма в России, «употреблял всевозможные аргументы, но при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого трехчленного диалектического развития» («Русская Мысль», 1892, кн. VI, отд. II, стр. 196). Он уверяет также, что все, как он выражается, пророчество Маркса относительно исхода капиталистического развития опирается лишь на «триаду». О Марксе мы поговорим ниже, а о Н. Зибере заметим, что нам приходилось не раз беседовать с покойным, и ни разу не слышали мы от него ссылок на «диалектическое развитие». Он не раз сам говорил, что ему совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Конечно, на мертвых все валить можно, и потому показание г. Михайловского неопровержимо.

только круглое невежество может считать главным отличительным признаком одной философской системы признак, свойственный *по меньшей мере* двум совершенно различным системам.

Нам очень жаль, что «триада» отвлекает нас от нашего изложения, но, заговорив о ней, надо кончить. Посмотрим же, что это за птица.

Всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою противоположность; но так как новое, противоположное первому явление также в свою очередь превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет *формальное сходство с первой*. Оставим пока вопрос о том, насколько соответствует действительности такой ход развития; допустим, что ошибались люди, думавшие, что — совершенно соответствует; во всяком случае ясно, что «триада» только *вытекает* из одного из положений Гегеля, но сама вовсе не служит ему основным положением. Это очень существенная разница, потому что, если бы триада фигурировала в качестве основного положения, то под ее «сенью» действительно могли бы искать защиты люди, отводящие ей такую важную роль, но так как она в этом качестве не фигурирует, то за нее могут прятаться разве лишь такие, которые *слышали звон, да не знают, откуда он*.

Само собою разумеется, что положение дел не изменилось бы в сущности ни на иоту, если бы, не прячась за «триаду», диалектики «при малейшей опасности» укрывались «под сенью» того положения, что всякое явление превращается в свою собственную противоположность. Но и так никогда не поступали они, и не поступали потому, что указанное положение вовсе не исчерпывает их взгляда на развитие явлений. Они говорят, например, кроме того, что в процессе развития количество переходит в качество, а качество в количество. Следовательно, им приходится считаться и с качественной и с количественной стороной процесса; а это предполагает внимательное отношение к его *действительному*, *фактическому* ходу; а это значит, что они не довольствуются *отвлеченными выводами из отвлеченных положений* или, по крайней мере, не должны довольствоваться такими выводами, если хотят остаться верными своему миросозерцанию.

«На каждой странице своих сочинений Гегель постоянно и неустанно указывал, что философия тождественна с *совокупностью эмпирии*, что философия ничего не требует так настойчиво, как углубления в эмпирические науки... Фактически материал без мысли имеет только относительное значение, мысль без фактического материала является простой химерой... Философия есть то *сознание*, к которому приходят относительно самих себя эмпирические науки. Она не может быть ничем иным» [1].

Вот какой взгляд на задачу мыслящего исследователя вынес *Лассаль* из изучения гегелевской философии *: философы должны быть специалистами в тех науках, которым они хотят помочь в достижении «самосознания». Кажется, от специального изучения предмета очень далеко до легкомысленной болтовни во славу «триады». И пусть не говорят нам, что Лассаль был не «настоящий» гегельянец, что он принадлежал к «левым» и резко упрекал «правых» в том, что они занимались лишь отвлеченными построениями. Ведь человек прямо говорит вам, что он заимствовал свой взгляд непосредственно от Гегеля.

Впрочем, вы, может быть, захотите отвести показание автора «*Системы приобретенных прав*», подобно тому как отводят на суде показания родственников. Мы спорить и прекословить не станем; мы вызовем в качестве свидетеля совсем постороннего человека, автора «Очерков гоголевского периода».

Просим внимания: свидетель будет говорить долго и, по своему обыкновению, умно.

«Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевой системы; но должно согласиться, что принципы, выставленные Гегелем, действительно, были очень близки к истине, и некоторые стороны истины были выставлены на вид этим мыслителем с истинно поразительною силою. Из этих истин открытие иных составляет личную заслугу Гегеля; другие хотя и принадлежат не исключительно его системе, а всей немецкой философии со времен Канта и Фихте, но никем до Гегеля не были формулированы так ясно и высказываемы так сильно, как в его системе.

Прежде всего укажем на плодотворнейшее начало всякого прогресса, которым столь резко и блистательно отличается немецкая философия вообще и в особенности Гегелева система от тех лицемерных и трусливых воззрений, какие господствовали в те времена (начало XIX века) у французов и англичан: «Истина — верховная цель мышления; ищите истины, потому что в истине — благо; какова бы ни была истина, она лучше всего, что неистинно; первый долг мыслителя: не отступать ни перед какими результатами; он должен быть готов жертвовать истине самыми любимыми своими мнениями. Заблуждение — источник всякой пагубы; истина — верховное благо и источник всех других благ». Чтобы оценить чрезвычайную важность этого требования, общего всей немецкой философии со времен Канта, но особенно энергически высказанного Гегелем, надобно вспом-

* См. его «System der erworbenen Rechte», zweite Auflage, Leipzig 1880. Vorrede, S S. XII—XIII. [«Система приобретенных прав», изд. 2, Лейпциг 1880, Предисловие, стр. XII—XIII.]

нить, какими странными и узкими условиями ограничивали истину мыслители других тогдашних школ: они принимались философствовать не иначе, как затем, чтобы «оправдать дорогие для них убеждения», т. е. искали не истины, а поддержки своим предубеждениям; каждый брал из истины только то, что ему нравилось, а всякую неприятную для него истину отвергал, без церемонии признаваясь, что приятное заблуждение кажется ему гораздо лучше беспристрастной правды. Эту манеру заботиться не об истине, а о подтверждении приятных предубеждений немецкие философы (особенно Гегель) прозвали «субъективным мышлением» (Святители! Да уж не за то ли ругают Гегеля схоластиком наши субъективные мыслители? — *Автор.*), философствованием для личного удовольствия, а не ради живой потребности истины. Гегель жестоко изобличал эту пустую и вредную забаву. (Слушайте! Слушайте!) Как необходимое предохранительное средство против поползновения уклониться от истины в угождение личным желаниям и предрассудкам был выставлен Гегелем знаменитый «диалектический метод мышления». Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать: нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-помалу являлось полное, всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям (De te fabula narratur!)*. Таким образом, добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, и потому Гегель признал; что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление,— что эти общие отвлеченные изречения неудовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулою: «отвлеченной истины нет; истина конкретна», т. е. опреде-

* [О тебе басня рассказывается.]

лительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» *.

Итак, с одной стороны, нам говорят, что отличительной чертой Гегелевой философии было самое внимательное исследование действительности; самое добросовестное отношение ко всякому данному предмету; изучение его среди его живой обстановки, при всех тех обстоятельствах времени и места, которые обусловливают или сопровождают его существование. Показание Н. Г. Чернышевского тождественно в этом случае с показанием Ф. Лассаля. А с другой стороны, нас хотят уверить, что эта философия была пустой схоластикой, весь секрет которой состоял в софистическом употреблении «триады». В этом случае показание г. Михайловского совершенно согласно с показанием г. В. В. и целого легиона других современных российских писателей. Чем объяснить это разногласие свидетелей? Объясняйте чем хотите, но помните, что Лассаль и автор «Очерков гоголевского периода» *знали* ту философию, о которой говорили, а гг. Михайловский, В. В. и братия, наверное, не дали себе труда изучить хотя бы какое-нибудь одно сочинение Гегеля.

И заметьте, что при характеристике диалектического мышления автор «Очерков» ни одним словом не коснулся триады. Как же это он не заметил того самого слона, которого г. Михайловский и компания так упорно и так торжественно выставляют

---

* *Чернышевский*, Очерки гоголевского периода русской литературы, СПБ. 1892, стр. 258—259. В особом примечании автор «*Очерков*» прекрасно поясняет, что, собственно, означает это рассмотрение всех обстоятельств, от которых зависит данное явление. Мы приведем и это примечание. «Например: «благо или зло дождь»? — это вопрос отвлеченный; определенно отвечать на него нельзя, иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надо спрашивать определенно: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь,— полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был очень полезен».— «Но в то же лето, когда настала пора уборки хлеба, целую неделю шел проливной дождь,— хорошо ли было это для хлеба?». Ответ также ясен и также справедлив: «Нет, этот дождь был вреден». Точно так же решаются в Гегелевой философии все вопросы. «Пагубна или благотворна война?» Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идет дело; все зависит от обстоятельств времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; Марафонская битва [1] была благодетельнейшим событием в истории человечества.— Таков смысл аксиомы: «отвлеченной истины нет; истина — конкретна»; конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни)» [2].

напоказ всем зевакам? Еще раз: помните, что автор «Очерков гоголевского периода» знал философию Гегеля, а г. Михайловский и К° не имеют о ней ни малейшего понятия.

Может быть, читателю угодно припомнить кое-какие другие отзывы автора «Очерков гоголевского периода» о Гегеле? Может быть, он укажет нам на знаменитую статью «*Критика философских предубеждений против общинного землевладения*»? В этой статье говорится именно о триаде, и, повидимому, она выставляется главным коньком немецкого идеалиста. *Но это только повидимому*. Рассуждая об истории собственности, автор утверждает, что в третьей, высшей фазе своего развития она вернется к своей исходной точке, т. е. что частная собственность на землю и средства производства уступит место общественной. Такой возврат, говорит он, есть общий закон, проявляющийся во всяком процессе развития. Аргументация автора есть в данном случае, действительно, не что иное, как ссылка на триаду. И в этом заключается ее существенный недостаток: *она отвлеченна*; развитие собственности рассматривается без отношения ее к конкретным историческим условиям; поэтому и доводы автора остроумны, блестящи, но неубедительны; они только поражают, удивляют, но не убеждают. Но виноват ли Гегель в этом недостатке аргументации автора «Критики философских предубеждений»? Как вы думаете, была ли бы аргументация автора отвлеченна, если бы он рассмотрел предмет именно так, как, по его собственным словам, Гегель советовал рассматривать все предметы, т. е. держась почвы действительности, взвешивая все конкретные условия, все обстоятельства времени и места? Кажется, что нет; кажется, что тогда-то именно и не было бы в статье указанного нами недостатка. Но в таком случае, чем же был порожден недостаток? Тем, что автор статьи «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», оспаривая отвлеченные доводы своих противников, позабыл благие советы Гегеля, *оказался неверен методу* того самого мыслителя, на которого он ссылался. Нам жаль, что в полемическом увлечении он сделал такую ошибку. Но еще раз, виноват ли Гегель в том, что в этом случае автор «Критики философских предубеждений» не сумел воспользоваться его методом? С каких это пор философские системы оцениваются не по их внутреннему содержанию, а по тем ошибкам, которые случается делать ссылающимся на них людям?

И, опять-таки, как ни настойчиво ссылается автор названной статьи на триаду, он и там не выставляет ее главным коньком диалектического метода; она и там является у него не основой, а разве что неоспоримым следствием. Основа, главная отличительная черта диалектики указывается у него в следующих словах: «*Вечная смена форм, вечное отвержение формы*,

рожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания... — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто научился применять его ко всякому явлению,— о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие», и т. д. [1]

«Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием»...— диалектики действительно смотрят на такую смену, на такое «отвержение форм», как на великий, вечный, повсеместный закон. В настоящее время этого убеждения не разделяют с ними только представители некоторых отраслей общественной науки, не имеющие мужества взглянуть истине прямо в глаза, старающиеся отстоять, хотя бы с помощью заблуждения, дорогие им предрассудки. Тем более должны мы ценить заслуги великих немецких идеалистов, которые уже с самого начала нынешнего столетия неустанно твердили о вечной смене форм, о вечном их отвержении, вследствие усиления породившего эти формы содержания.

Выше мы оставили «*пока*» без рассмотрения вопрос о том, точно ли всякое явление превращается, как это думали немецкие идеалисты-диалектики, в свою собственную противоположность. Теперь, надеемся, читатель согласится с нами, что, собственно, этот вопрос можно и *совсем* не рассматривать. Когда вы применяете диалектический метод к изучению явлений, вам необходимо помнить, что *формы вечно меняются вследствие «высшего развития их содержания»*. Этот процесс отвержения форм вы должны проследить во всей его полноте, если хотите исчерпать предмет. Но будет ли новая форма противоположна старой,— это вам покажет опыт, и знать это наперед вовсе не важно. Правда, именно на основании исторического опыта человечества всякий понимающий дело юрист скажет вам, что всякое правовое учреждение рано или поздно превращается в свою собственную противоположность: ныне оно способствует удовлетворению известных общественных нужд; ныне оно полезно, необходимо именно ввиду этих нужд. Потом оно начинает все хуже и хуже удовлетворять эти нужды; наконец, оно превращается в *препятствие* для их удовлетворения: из *необходимого* оно становится *вредным* — и тогда оно уничтожается. Возьмите что хотите — историю литературы или историю видов, и всюду, где есть развитие, вы увидите подобную диалектику. Но все-таки кто, пожелав вникнуть в сущность диалектического процесса, начал бы именно с проверки учения *о противоположности* явлений, стоящих рядом в каждом данном процессе развития, тот подошел бы к делу с ненадлежащего конца.

В выборе точки зрения для такой проверки всегда оказалось бы очень много *произвольного*. Надо взглянуть на этот вопрос

с его объективной стороны, иначе сказать, надо выяснить себе, что́ такое неизбежная смена форм, обусловливаемая развитием данного содержания? Это та же самая мысль, только выраженная другими словами. Но при проверке ее уже нет места произволу, потому что точка зрения исследователя определяется *самим характером форм и содержания*.

По словам Энгельса, заслуга Гегеля заключается в том, что он первый взглянул на все явления с точки зрения их *развития*, с точки зрения их возникновения и уничтожения [1]. «Первый ли он это сделал, можно спорить,— говорит г. Михайловский, — но во всяком случае не последний, и нынешние теории развития — эволюционизм Спенсера, дарвинизм, идеи развития в психологии, физике, геологии и т. д. — не имеют ничего общего с гегельянством» *.

Если современное естествознание на каждом шагу подтверждает гениальную мысль Гегеля о переходе количества в качество, то можно ли сказать, что оно не имеет ничего общего с гегельянством? Правда, Гегель не был «*последним*» из говоривших о таком переходе, но это именно по той же причине, по какой Дарвин не был «последним» из людей, говоривших об изменяемости видов, а Ньютон не был «последним» ньютонистом. Что прикажете? Таков уж ход развития человеческого разума! Выскажете вы *правильную мысль*, и вы наверное не будете «последним» из защищавших ее; скажете *вздор* — и хотя люди очень лакомы до него, но вы все-таки рискуете оказаться «последним» его защитником и носителем. Так, по нашему скромному мнению, г. Михайловский сильно рискует оказаться «последним» сторонником «субъективного метода в социологии». Говоря откровенно, мы не видим повода печалиться о таком ходе развития разума.

Мы предлагаем г. Михайловскому, который «может спорить» обо всем на свете и о многом прочем, опровергнуть следующее наше положение: всюду, где является идея развития,— «в психологии, физике, геологии и т. д.» — она непременно имеет много «общего с гегельянством», т. е. в каждом новейшем учении о развитии непременно повторяются некоторые общие положения Гегеля. Говорим *некоторые*, а не *все*, потому что многие из современных эволюционистов, будучи лишены надлежащего философского образования, понимают «эволюцию» *отвлеченно, односторонне*. Пример: уже упомянутые выше господа, уверяющие, что ни природа, ни история скачков не делают. Такие люди очень много выиграли бы от знакомства с *логикой* Гегеля. Пусть опровергнет нас г. Михайловский, но только пусть не забывает он, что нельзя опровергнуть нас, зная

* «Русское Богатство», 1894, кн. 2, отд. II, стр. 150.

Гегеля лишь по «учебнику уголовного права» г. Спасовича да по «Истории философии» Льюиса. Надо потрудиться изучить самого Гегеля.

Говоря, что современные учения эволюционистов всегда имеют очень много «общего с гегельянством», мы не утверждаем, что нынешние эволюционисты заимствовали свои взгляды у Гегеля. Совсем напротив. Часто они имеют о нем столь же ошибочное представление, какое имеет г. Михайловский. И если тем не менее их теории, хотя отчасти, и именно там, где они оказываются верными, являются новой иллюстрацией «гегельянства», то это обстоятельство лишь оттеняет поразительную силу мысли немецкого идеалиста: люди, никогда не читавшие его, силою фактов, очевидным смыслом «действительности» вынуждены говорить так, как говорил он. Большего торжества нельзя и придумать для философа: его игнорируют *читатели*, но его взгляды подтверждает *жизнь*.

До сих пор еще трудно сказать, насколько взгляды немецких идеалистов непосредственно повлияли в указанном направлении на немецкое естествознание, хотя несомненно, что в первой половине нынешнего века даже натуралисты в Германии занимались в течение университетского курса философией, и хотя *такие* знатоки биологических наук, как Геккель, с уважением отзываются теперь об эволюционных теориях некоторых натурфилософов. Но философия природы была слабой стороной немецкого идеализма. Его сила заключалась в *теориях, касавшихся различных сторон исторического развития*. А что касается этих теорий, то пусть г. Михайловский припомнит, — если знал когда-нибудь,— что именно из школы Гегеля вышла вся та блестящая плеяда мыслителей и исследователей, которая придала совершенно новый вид изучению религии, эстетики, права, политической экономии, истории, философии и так далее. Во всех этих «дисциплинах» в течение некоторого — самого плодотворного — периода не было ни одного выдающегося работника, не обязанного Гегелю своим развитием и свежими взглядами на свою науку. Думает ли г. Михайловский, что и против этого «можно спорить»? Если да, то пусть он попробует.

Говоря о Гегеле, г. Михайловский старается «сделать это так, чтобы быть понятным для людей, не посвященных в тайны «философского колпака Егора Федоровича», как непочтительно выражался Белинский, подняв знамя восстания против Гегеля» [1]. Он берет «для этого» два примера из книги Энгельса «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» *. (Почему же не из самого Гегеля? Так удобнее было бы поступить писателю, «посвященному в тайны» и т. д.)

* [«Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом»]

«Зерно овса попадает в благоприятные условия: оно пускает росток и тем самым, *как таковое*, как зерно, *отрицается*; на его месте возникает стебель, который есть *отрицание* зерна; растение развивается, приносит плоды, т. е. новые зерна овса, и когда эти зерна созревают, стебель погибает: он, *отрицание* зерна, сам *отрицается*. И затем тот же процесс «отрицания» и «отрицания отрицания» повторяется бесчисленное число (sic!) раз. В основании этого процесса лежит *противоречие*: зерно овса есть зерно и в то же время *не* зерно, так как всегда находится в действительном или возможном развитии». Г-н Михайловский, разумеется, «может спорить» против этого. Вот как переходит у него в *действительность* эта привлекательная *возможность*.

«Первая ступень, ступень зерна, есть тезис — положение; вторая, вплоть до образования новых зерен, есть антитезис — противоположение; третья — есть синтезис, или примирение (г. Михайловский решил писать популярно и потому не оставляет греческих слов без объяснения или перевода); все вместе составляет триаду, или трихотомию. И такова судьба всего живущего: оно возникает, развивается и дает начало своему повторению, после чего умирает. Громадная масса единичных проявлений этого процесса тотчас же, конечно, встает в памяти читателя, и закон Гегеля оказывается оправданным на всем органическом мире (мы теперь дальше не идем). Если, однако, мы вглядимся в наш пример несколько ближе, то увидим крайнюю поверхностность и произвольность нашего обобщения. Мы взяли зерно, стебель и опять зерно или, вернее, группу зерен. Но ведь прежде, чем приносить плод, растение цветет. Когда мы говорим об овсе или другом злаке, имеющем хозяйственное значение, мы можем иметь в виду зерно посеянное, солому и зерно собранное, но этими тремя моментами считать жизнь растения исчерпанною — не имеет никакого резона. В жизни растения момент цветения сопровождается чрезвычайным и своеобразным напряжением сил, а так как цветок не непосредственно из зерна возникает, то, придерживаясь даже терминологии Гегеля, мы получаем не трихотомию, а, по крайней мере, тетрахотомию, четверное деление: стебель отрицает зерно, цветок отрицает стебель, плод отрицает цветок. Пропуск момента цветения имеет важное значение еще вот в каком отношении. Во времена Гегеля, может быть, и позволительно было брать зерно за исходный пункт жизни растения, а с хозяйственной точки зрения позволительно, пожалуй, это и теперь делать: хозяйственный год начинается посевом зерна. Но жизнь растения не с зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаем, что зерно есть нечто очень сложное по строению и само составляет продукт развития клеточки и что нужные для размножения клеточки образуются именно в момент цветения. Таким образом, в примере жизни

растения и исходный пункт взят произвольно и неверно, и весь процесс искусственно и опять-таки произвольно втиснут в рамки трихотомии» *. Вывод: «*пора бы перестать верить, что овес растет по Гегелю*» [1].

Все течет, все изменяется! В наше время, т. е. когда пишущий эти строки занимался в годы своего студенчества естественными науками, овес рос «по Гегелю», а ныне «*мы очень хорошо знаем*», что это вздор; теперь «nous avons changé tout cela» **. Но полно, хорошо ли «мы знаем» то, о чем «мы» говорим?

Г-н Михайловский излагает заимствованный им у Энгельса пример с овсяным зерном совсем не так, как он изложен у самого Энгельса. Энгельс говорит: «зерно, как таковое, уничтожается, оно *отрицается*, его место занимает выросшее из него растение, отрицание зерна. Но каков нормальный круговорот жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и производит, наконец, снова овсяные зерна ***; когда зерна созревают, стебель отмирает, отрицается в свою очередь. Как результат этого отрицания отрицания мы получаем опять овсяное зерно, но уже не одно, а сам-десять, сам-двадцать, сам-тридцать» **** [2]. Отрицанием зерна является у Энгельса *целое растение*, в круговорот жизни которого входит, между прочим, и *цветение* и *оплодотворение*. Г-н Михайловский «отрицает» слово растение, ставя на его место слово *стебель*. Стебель, как известно, составляет *только часть* растения, и, разумеется, *отрицается* другими его частями: *omnis determinatio est negatio* *****. Но именно потому-то г. Михайловский и «отрицает» выражение Энгельса, заменяя его своим собственным: стебель отрицает зерно, кричит он, цветок отрицает стебель, плод отрицает цветок; тут, по крайней мере, тетрахотомия! Конечно, г. Михайловский, но все это доказывает только то, что в споре с Энгельсом вы не отступаете даже... как бы это помягче сказать? — не отступаете даже перед «*моментом*»... *видоизменения слов вашего противника*. Это прием несколько... «субъективный».

Раз «момент» подмена совершил свое дело, ненавистная триада разлетается, как карточный домик. Вы пропустили момент цветения, упрекает российский «социолог» немецкого социалиста, а «пропуск момента цветения имеет важное значение». Читатель видел, что «момент цветения» пропущен не Энгельсом, а г. Михайловским при изложении мысли Энгельса; он знает

* «Русское Богатство», цит. книжка, II отд., стр. 154—157.

** [мы все это изменили.]

*** У Энгельса речь идет, собственно говоря, о ячменном, а не об овсяном зерне; но это, конечно, несущественно.

**** «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» [«Переворот в науке, произведенный г. Евгением Дюрингом»], 1-е издание, первая часть, стр. 111—112.

***** [всякое определение есть отрицание.]

также, что такого рода «пропускам» в литературе придается важное, хотя и совершенно отрицательное значение. Г-н Михайловский и тут пустил в дело некрасивый «момент». Но что же делать? «Триада» так ненавистна, победа так приятна, а «люди, совершенно не посвященные в тайны» известного «колпака», так легковерны!

Мы все невинны от рожденья,
Все нашей честью дорожим;
Но ведь бывают столкновенья,
Что просто нехотя грешим... [1]

Цветок есть орган растения и, как таковой, так же мало отрицает растение, как голова г. Михайловского отрицает г. Михайловского. Но «плод», т. е., точнее, оплодотворенное яйцо, есть действительно отрицание данного организма в качестве исходной точки развития новой жизни. Энгельс и рассматривает круговорот жизни растения от начала развития его из оплодотворенного яйца до *воспроизведения* им оплодотворенного яйца. Г-н Михайловский с ученым видом знатока замечает: «жизнь растения не с зерна начинается. Мы теперь очень хорошо знаем» и проч.— коротко сказать, мы знаем теперь, что яйцо оплодотворяется во время цветения. Энгельс, конечно, знает это не хуже г. Михайловского. Но что же это показывает? Если угодно г. Михайловскому, мы заменим *зерно* — *оплодотворенным яйцом*, но это не изменит смысла жизненного круговорота растения, не отвергнет «триады». Овес все-таки будет расти «по Гегелю».

Кстати. Допустим на минуту, что «момент цветения» ниспровергает все доводы гегельянцев. Как прикажет поступить г. Михайловский с бесцветковыми растениями? Неужели он оставит их во власти триады? Это напрасно, потому что триада будет иметь в таком случае огромное число подданных.

Но этот вопрос мы задаем, собственно, только, чтобы выяснить себе мысль г. Михайловского. Сами же мы остаемся при том убеждении, что от триады не отобьешься даже «цветком». Да и одни ли мы так думаем? Вот что говорит, например, специалист-ботаник *Ф. Ван-Тигэм:* «Какова бы ни была форма растения и к какой бы группе оно ни принадлежало благодаря этой форме, его тело происходит от другого тела, которое существовало раньше его и от которого оно отделилось. В свою очередь оно отделяет от своей массы в известное время известные части, которые становятся точкой отправления, зародышами новых тел, и т. д. Словом, оно воспроизводится так же, как и родится: диссоциацией» *. Из-

* «Traité de Botanique» par *Ph. Van-Tieghem*, 2-me édition, première partie, Paris 1891, p. 24. [*Ф. Ван-Тигэм*, «Трактат о ботанике», изд. 2, ч. I, Париж 1891, стр. 24.]

вольте видеть! Почтенный ученый, член института, профессор в музее естественной истории, а рассуждает, как истый гегельянец: начинается — говорит — диссоциацией и опять приходит к ней. И ни слова о «моменте цветения»! Мы и сами понимаем, что очень огорчительно должно быть это для г. Михайловского, но делать нечего: истина, как известно, выше Платона.

Допустим еще раз, что «момент цветения» ниспровергает триаду. Тогда, «придерживаясь терминологии Гегеля, мы получаем не трихотомию, а, по крайней мере, тетрахотомию, четверное деление». «Терминология Гегеля» напоминает нам об его «Энциклопедии». Мы развертываем первую ее часть и оттуда узнаем, что есть много случаев, когда *трихотомия* переходит в *тетрахотомию*, и что вообще трихотомия господствует, собственно, лишь в области духа *. Выходит, что овес растет «*по Гегелю*», как в этом уверяет Ван-Тигэм, а Гегель мыслит об овсе *по г. Михайловскому*, как за это ручается «*Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse*» **. Чудеса да и только! «Она к нему, а он ко мне, а я к буфетчику Петруше»...

Другой пример, заимствованный у Энгельса г. Михайловским для вразумления «непосвященных», касается учения Руссо [2].

«По Руссо, люди в естественном состоянии и дикости были равны равенством животных. Но человек отличается способностью к совершенствованию, и это совершенствование началось возникновением неравенства, а затем каждый дальнейший шаг цивилизации был противоречив: «повидимому, это были шаги к усовершенствованию отдельного человека, в действительности же они вели к упадку человеческого рода... Металлургия и земледелие — вот два искусства, открытие которых произвело великую революцию. С точки зрения поэта, золото и серебро, а с точки зрения философа, железо и хлеб цивилизовали людей и погубили человеческий род». Неравенство продолжает развиваться и, достигнув своего апогея, обращается в восточных деспотиях опять во всеобщее равенство всеобщего ничтожества, т. е. возвращается к своей исходной точке, а затем дальнейший процесс таким же порядком приводит к равенству общественного договора».

Так г. Михайловский передает приведенный Энгельсом пример. Как это само собою ясно, он «может спорить» и тут.

«Можно бы кое-что заметить по поводу изложения Энгельса, но нам важно только знать, что́ именно в трактате Руссо («Dis-

* «Enzyklopädie», Erster Teil, § 230, Zusatz [1]. [«Энциклопедия», ч. I, § 230, Добавление.]

** [«Энциклопедия философских наук в кратком очерке».]

cours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes») * ценится Энгельсом. Он не касается вопроса о том, верно или неверно понимает Руссо ход истории, он интересуется только тем, что Руссо «мыслит диалектически»: усматривает *противоречие* в самом содержании прогресса и располагает свое изложение так, что его можно подогнать под гегельянскую формулу *отрицания* и *отрицания отрицания*. И действительно можно, хотя Руссо и не знал гегельянской диалектической формулы».

Это только первое, аванпостное нападение на «гегельянство» в лице Энгельса. Далее идет атака sur toute la ligne **.

«Руссо, не зная Гегеля, мыслил по Гегелю, диалектически. Почему именно Руссо, а не Вольтер, не первый встречный? Потому, что все люди по самой природе своей мыслят диалектически. Однако выбран именно Руссо, человек, резко выделявшийся из среды современников не только по своим дарованиям— в этом отношении ему не уступят многие,— а по самому складу своего ума и характеру миросозерцания. Столь исключительное явление не следовало, казалось бы, брать для проверки на нем всеобщего правила. Но у нас своя рука владыка. Руссо интересен и важен прежде всего потому, что он первый с достаточной резкостью показал *противоречивость* цивилизации, а противоречие составляет непременное условие диалектического процесса. Надо, однако, заметить, что противоречие, усмотренное Руссо, не имеет ничего общего с противоречием в гегельянском смысле слова. Гегелевское противоречие состоит в том, что каждая вещь, находясь в постоянном процессе движения, изменения (и именно последовательно тройственным путем), есть в каждую данную единицу времени «она» и вместе с тем «*не она*». Если оставить в стороне обязательные три стадии развития, то противоречие является здесь просто как бы подкладкою изменений, движения, развития. Руссо также говорит о процессе изменений. Но отнюдь не в самом факте изменений усматривает он противоречие. Значительная часть его рассуждений как в «Discours sur l'inégalité» ***, так и в других сочинениях может быть резюмирована так: умственный прогресс сопровождался нравственным регрессом. Очевидно, диалектическое мышление тут решительно ни при чем: тут нет «отрицания отрицания», а есть только указание на единовременное существование добра и зла в данной группе явлений, и все сходство с диалектическим процессом держится на *слове* «противоречие». Это, однако, только одна сторона дела. Энгельс видит, кроме того, в рассу-

* [«Рассуждение о происхождении и основах неравенства между людьми»]

** [по всей линии.]

*** [«Рассуждение о неравенстве»]

ждении Руссо явственную трихотомию: за первобытным равенством следует его отрицание — неравенство, затем наступает отрицание отрицания — равенство всех в восточных деспотиях перед властью хана, султана, шаха. «Эта последняя степень неравенства и есть крайняя точка, завершающая круг и возвращающая нас к нашей исходной точке» [1]. Но история на этом не останавливается, развивает новые неравенства и т. д. Приведенные в кавычках слова суть подлинные слова Руссо, и они-то особенно дороги для Энгельса, как очевидное свидетельство, что Руссо мыслит по Гегелю» *.

Руссо «резко выделялся из среды современников». Это справедливо. Чем выделялся? Тем, что мыслил *диалектически*, между тем как его современники были почти сплошь *метафизиками*. Его взгляд на происхождение неравенства есть *именно диалектический взгляд*, хотя г. Михайловский и отрицает это.

По словам г. Михайловского, Руссо лишь указал на то, что умственный прогресс сопровождался в истории цивилизации нравственным регрессом. Нет, Руссо указал не только на это. У него умственный прогресс являлся *причиной* нравственного регресса. В этом можно было бы убедиться, даже не читавши сочинений Руссо: достаточно было бы припомнить на основании предыдущей выписки, какую роль играла у него обработка металлов и земледелие, совершившие великую революцию, разрушившие первобытное равенство. Но кто читал самого Руссо, тот не забыл, конечно, следующего места из его «Discours sur l'origine de l'inégalité» **: «Il me reste à considérer et à rapprocher les différents hasards qui ont pu perfectionner la raison humaine en détériorant l'espèce, rendre un être méchant en le rendant sociable...» (Мне остается сделать оценку и сближение тех различных случаев, которые могли усовершенствовать человеческий разум, внося порчу в человеческий род, сделать данное животное злым, делая его общественным...).

Это место особенно замечательно тем, что оно прекрасно освещает взгляд Руссо на способность человеческого рода к прогрессу. Об этой особенности немало говорили и его «современники». Но у них она являлась таинственной силой, которая сама из себя творит успехи разума. По Руссо, эта способность «*никогда не могла развиваться сама собою*». Для своего развития она нуждалась в постоянных толчках со стороны. Это одна из важнейших особенностей *диалектического* взгляда на умственный *прогресс* сравнительно со взглядом *метафизическим*. Нам придется еще говорить о ней впоследствии. Теперь для нас важно то, что при-

---

* Все эти выписки взяты из цитированной уже книжки «Русского Богатства».

** [«Рассуждение о неравенстве»]

веденное место как нельзя более ясно выражает мнение Руссо насчет причинной связи нравственного *регресса* с умственным *прогрессом* *. А это очень важно для выяснения взгляда этого писателя на ход цивилизации. У г. Михайловского выходит так, что Руссо просто указал «противоречие» да, может быть, пролил по его поводу несколько благородных слез. На самом деле Руссо считал это противоречие основной пружиной исторического развития цивилизации. Основателем гражданского общества и, следовательно, могильщиком первобытного равенства был человек, оградивший участок земли и сказавший: «он принадлежит мне», иначе сказать, основанием гражданского общества служит собственность, которая вызывает столько споров между людьми, вызывает в них столько жадности, так портит их нравственность. Но возникновение собственности предполагало известное развитие *«техники и знаний»* (de l'industrie et des lumières). Таким образом, первобытные отношения погибли именно благодаря этому развитию: но в то время, когда это развитие привело к торжеству частной собственности, первобытные отношения людей с своей стороны находились уже в таком состоянии, что их дальнейшее существование стало *невозможно* **. Если судить о Руссо по тому, как изображает указанное им *«противоречие»* г. Михайловский, можно подумать, что знаменитый женевец был не более как плаксивым «субъективным социологом», который в лучшем случае способен был придумать высоконравственную «формулу прогресса» для уврачевания ею человеческих бедствий. На самом деле Руссо более всего ненавидел именно такого рода «формулы» и побивал их всякий раз, когда к этому представлялся случай.

Гражданское общество возникло на развалинах первобытных отношений, оказавшихся неспособными к дальнейшему существованию. Эти отношения заключали в себе зародыш своего собственного отрицания. Доказывая это положение, Руссо как бы заранее иллюстрировал мысль Гегеля: всякое явление само себя уничтожает, превращается в свою противоположность. Рассуждение Руссо о деспотизме может считаться новой иллюстрацией этой мысли.

Судите же сами, как много понимания Гегеля и Руссо обнаруживает г. Михайловский, говоря: «очевидно, диалектическое мышление тут решительно ни при чем», и наивно предполагая,

* Для сомневающихся есть еще одна выписка: «J'ai assigne ce premier degré de la décadence des moeurs au premier moment de la culture des lettres dans tous les pays du monde». Lettre à M. l'abbé Raynal, Oeuvres de Rousseau, Paris 1820, t. IV, p. 43. [«Я приписал эту первую ступень падения нравов первому моменту развития науки во всех странах мира». Письмо к г. аббату Рейналю, Сочинения Руссо, Париж 1820, т. IV, стр. 43.]

** См. начало второй части «Discours sur l'inégalité». [«Рассуждение о неравенстве».]

что Энгельс произвольно зачислил Руссо по диалектическому ведомству лишь на том основании, что тот употребил выражения: «противоречие», «круг», «возвращение к исходной точке» и т. д.

Но почему же Энгельс сослался на Руссо, а не на кого другого? «Почему именно Руссо, а не Вольтер, не первый встречный? Потому что ведь все люди, по самой природе своей, мыслят диалектически»...

Ошибаетесь, г. Михайловский,— далеко не все: вас первого Энгельс никогда не принял бы за диалектика. Ему достаточно было бы прочесть вашу статью «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» [1], чтобы бесповоротно отнести вас к числу неисправимых метафизиков.

О диалектическом мышлении Энгельс говорит: «Люди мыслили диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, подобно тому, как они говорили прозой гораздо раньше появления слова проза. Закон отрицания, который и в природе, и в истории, а также, пока он остается непознанным, и в наших головах осуществляется бессознательно, был Гегелем только впервые резко формулирован» *. Как видит читатель, здесь речь идет о бессознательном диалектическом мышлении, от которого еще очень далеко до сознательного. Когда мы говорим: *«крайности сходятся»*, мы, сами того не замечая, высказываем диалектический взгляд на вещи; когда мы движемся, мы, опять-таки не подозревая этого, занимаемся прикладной диалектикой (мы уже сказали выше, что движение есть осуществленное противоречие). Но ни движение, ни диалектические афоризмы еще не спасают нас *от метафизики в области систематической мысли.* Напротив. История мысли показывает, что в течение долгого времени метафизика все более и более усиливалась — и необходимо должна была усиливаться — на счет первобытной наивной диалектики: «Разложение природы на отдельные ее части, распределение различных явлений и предметов природы по определенным классам, исследование внутренних свойств органических тел, в связи с разнообразием их органического строения,— все это было основой тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось естествознание в последние четыре столетия. Но вместе с тем эта же причина наделила нас привычкой брать явления и предметы природы в их обособленности, вне их великой совокупной связи, и притом не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменяющиеся, а как вечно неизменные, не как живые, а как мертвые.

* «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung etc.», 2. Aufl., S. 134 [2]. [«Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом», изд. 2, стр. 134.]

И этот-то способ исследования, перенесенный Бэконом и Локком из естествознания в философию, причинил характеристическую односторонность последних столетий — *метафизическое мышление*».

Так говорит Энгельс, от которого мы узнаем также, что «хотя и в новой философии диалектика имела блестящих представителей (Декарт и Спиноза), но, особенно под влиянием английской философии, она все более и более склонялась к... метафизическому способу мышления, почти исключительно овладевшему также и французами XVIII века, по крайней мере, в их специально философских трудах. Вне этой области они смогли, однако, оставить нам высокие образцы диалектики: припомним только «*Племянника Рамо*» Дидро и сочинение Руссо «*О происхождении неравенства между людьми*»*.

Кажется, ясно, почему Энгельс говорит о Руссо, а не о Вольтере и не о первом встречном. Мы не смеем думать, что г. Михайловский не прочел той самой книги Энгельса, которую он цитирует, из которой берет разбираемые им «примеры». И если г. Михайловский пристает к Энгельсу «с первым встречным», то остается предположить одно: наш автор и здесь пускает в ход уже знакомый нам «момент» подмена, «момент»... целесообразного искажения слов своего противника. Эксплуатация подобного «момента» могла показаться ему тем более удобной, что книга Энгельса не переведена на русский язык и не существует для читателей, не знающих по-немецки [2]. Тут у нас «своя рука владыка». Тут новое искушение, и опять «*мы нехотя грешим*».

О, неужели, боги, вас веселит,
Коль *наша честь* кувырком-кувырком полетит **.

Но отдохнем от г. Михайловского. Вернемся к немецким идеалистам *an und für sich* ***.

Мы сказали, что *философия природы* была слабою стороною этих мыслителей, главных заслуг которых надо искать в *различных областях философии истории*. Теперь мы прибавим, что иначе и быть не могло в то время. Философия, называвшая себя наукой наук, всегда имела в себе много «*светского содержания*», т. е. всегда занималась многими собственно научными вопросами. Но в различные времена «светское содержание» ее было различно. Так,— чтобы ограничиться здесь примерами из истории новой философии, — в XVII веке философы преиму-

* Там же, стр. 4—6 [1].
** Пусть не винит наш читатель за цитаты из «Прекрасной Елены». Мы недавно перечитали статью г. Михайловского «Дарвинизм и оперетки Оффенбаха» и находимся под сильным ее впечатлением.
*** [в себе и для себя.]

щественно занимались вопросами математики и естественных наук. Философия XVIII века воспользовалась для своих целей естественно-научными открытиями и теориями предыдущей эпохи, но сама она занималась естественными науками разве в лице Канта; во Франции на первый план выступили тогда *общественные вопросы*. Те же вопросы продолжали главным образом занимать собою, хотя и с другой стороны, и философов XIX столетия. *Шеллинг*, например, прямо говорил, что он считает *решение одного исторического вопроса важнейшей задачей трансцендентальной философии*. Каков был этот вопрос, мы скоро увидим.

Если все течет, все изменяется; если всякое явление само себя отрицает; если нет такого полезного учреждения, которое не стало бы, наконец, вредным, превратившись таким образом в свою собственную противоположность, то выходит, что нелепо искать «совершенного законодательства», что нельзя придумать такое общественное устройство, которое было бы *лучшим* для всех веков и народов: все хорошо на своем месте и в свое время. Диалектическое мышление исключало *всякие утопии*.

Оно тем более должно было исключать их, что *«человеческая природа»*, этот будто бы постоянный критерий, которым, как мы видели, неизменно пользовались и просветители XVIII века и социалисты-утописты первой половины XIX столетия, испытала общую судьбу всех явлений: она сама была признана *изменчивой*.

Вместе с этим исчез и тот наивно-идеалистический взгляд на историю, которого также одинаково держались и просветители и утописты и который выражается в словах: *разум, мнения правят миром*. Конечно, разум, говорил Гегель, правит историей, но в том же смысле, в каком он правит движением небесных светил, т. е. в смысле *законосообразности*. Движение светил законосообразно, но они не имеют, разумеется, никакого представления об этой законосообразности. То же и с историческим движением человечества. В нем, без всякого сомнения, есть свои законы; но это не значит, что люди сознают их и что таким образом, человеческий разум, наши знания, наша «философия» являются главными факторами исторического движения. Сова Минервы начинает летать только ночью. Когда философия начинает выводить свои серые узоры на сером фоне, когда люди начинают вдумываться в свой собственный общественный строй, вы можете с уверенностью сказать, что этот строй отжил свое время и готовится уступить место новому порядку, истинный характер которого опять станет ясен людям лишь после того, как сыграет свою историческую роль: сова Минервы опять вылетит только ночью [1]. Нечего и говорить, что периодические воздушные путешествия мудрой птицы очень полезны: они даже

совершенно необходимы. Но они ровно ничего не объясняют; они сами нуждаются в объяснении и, наверное, подлежат ему, потому что в них есть *своя законосообразность*.

Признание законосообразности в полете совы Минервы легло в основание совершенно нового взгляда на историю умственного развития человечества. Метафизики всех времен, всех народов и всех направлений, раз усвоив известную философскую систему, считали ее безусловно истинной, а все другие системы безусловно ложными. Они знали только *отвлеченную противоположность* между отвлеченными представлениями: *истина, заблуждение*. Поэтому история мысли была для них лишь хаотическим сплетением частью грустных, частью смешных ошибок, дикая пляска которых продолжалась вплоть до того блаженного времени, когда придумана была, наконец, истинная философская система. Так смотрел на *историю* своей науки еще Ж.-Б. Сэй, этот метафизик из метафизиков. Он не советовал изучать ее, потому что в ней нет ничего, кроме заблуждений. Идеалисты-*диалектики* смотрели на дело иначе. *Философия есть умственное выражение своего времени*, говорили они; каждая философия истинна для своего времени и ошибочна для другого.

Но если разум правит миром только в смысле *законосообразности* явлений; если не идеи, не знание, не «просвещение» руководят людьми в их, так сказать, общественном домостроительстве и в их историческом движении, то где же человеческая свобода? Где та область, в которой человек «судит и выбирает», не теша себя, как ребенок, праздной забавой, не служа игрушкой в руках посторонней ему, хотя, может быть, и не слепой силы?

Старый, но вечно новый вопрос *о свободе и необходимости* возникал перед идеалистами XIX века, как возникал он перед метафизиками предшествовавшего столетия, как возникал он решительно перед всеми философами, задававшимися вопросами об *отношении бытия к мышлению*. Он, как сфинкс, говорил каждому из таких мыслителей: *разгадай меня, или я пожру твою систему!*

Вопрос о свободе и необходимости и был тот вопрос, решение которого *в применении к истории* Шеллинг считал величайшей задачей трансцендентальной философии. Решила ли его, как решила его эта философия?

И заметьте: для Шеллинга, как и для Гегеля, вопрос этот представлял трудности в применении именно к *истории*. С точки зрения чисто *антропологической* он уже мог считаться решенным.

Тут необходимо пояснение, и мы дадим его, прося читателя отнестись к нему внимательно ввиду огромной важности предмета.

Магнитная стрелка обращается к северу. Это происходит от действия особой материи, которая сама подчиняется известным законам: законам *материального мира*. Но для стрелки незаметны движения этой материи; она не имеет о них ни малейшего представления. Ей кажется, что она обращается к северу совершенно независимо от какой-либо посторонней причины, просто потому, что ей приятно туда обращаться. Материальная *необходимость представляется ей* в виде ее собственной, *свободной духовной деятельности* [1].

Этим примером *Лейбниц* хотел пояснить свой взгляд на свободу воли. Подобным же примером поясняет свой совершенно тождественный взгляд *Спиноза* [2].

Некоторая внешняя причина сообщила камню известное количество движения. Движение продолжается, конечно, в течение известного времени и после того, как причина перестала действовать. Это продолжение его *необходимо по законам материального мира*. Но вообразите, что камень мыслит, что он сознает свое движение, доставляющее ему удовольствие, но не знает его причины, не знает даже, что вообще есть для него какая бы то ни было внешняя причина. Как представится в таком случае камню его собственное движение? Непременно как результат его собственного желания, его собственного свободного выбора; он скажет себе: я движусь, потому что хочу двигаться. «Такова и та человеческая свобода, которою так гордятся все люди. Сущность ее сводится к тому, что люди сознают свои стремления, но не знают внешних причин, вызывающих эти стремления. Так, дитя воображает, что оно свободно желает того молока, которое составляет его пищу...».

Многим даже из нынешних читателей такое объяснение покажется *«грубо материалистическим»*, и они удивятся, как мог давать его Лейбниц, идеалист чистой воды. Они скажут к тому же, что и вообще сравнение не доказательство и что еще менее доказательно фантастическое сравнение человека с магнитной стрелкой или с камнем. На это мы заметим, что сравнение перестанет быть фантастическим, как только мы припомним явления, каждодневно совершающиеся в *человеческой голове*. Уже материалисты XVIII века указывали на то обстоятельство, что каждому волевому движению в мозгу соответствует известное движение мозговых фибр. То, что по отношению к магнитной стрелке или к камню является фантазией, становится бесспорным фактом по отношению к мозгу: совершающееся по роковым законам необходимости движение материи действительно сопровождается в нем тем, что называется свободной деятельностью мысли. А что касается довольно естественного на первый взгляд удивления по поводу материалистического рассуждения идеалиста Лейбница, то нужно помнить, что, как мы

уже говорили, все последовательные идеалисты были *монистами*, т. е. что в их миросозерцании совсем не было места для той непереходимой пропасти, которая отделяет материю от духа согласно воззрениям *дуалистов*. По мнению дуалиста, данный агрегат материи может оказаться способным к мышлению только в том случае, если в него вселится частица духа: материя и дух в глазах дуалиста — две совершенно самостоятельные субстанции, не имеющие ничего общего между собою. Сравнение Лейбница покажется ему диким по той простой причине, что магнитная стрелка никакой души не имеет. Но представьте себе, что вы имеете дело с человеком, который рассуждает так: стрелка — действительно нечто совершенно материальное. Но что такое сама материя? Я думаю, что она обязана своим существованием духу, и не в том смысле, что она *создана духом*, а в том, что она сама есть *тот же дух*, но только существующий в другом виде. Этот вид не соответствует его истинной природе, он даже прямо противоположен ей, но это не мешает ему быть видом существования духа, потому что по самой природе своей дух должен превращаться в свою собственную противоположность.— Вас может удивить и это рассуждение, но вы во всяком случае согласитесь, что человек, признающий его убедительным, человек, видящий в материи лишь *«инобытие духа»*, не смутится теми объяснениями, которые материи приписывают функции духа или функции этого последнего ставят в тесную зависимость от законов материи. Такой человек может принять *материалистическое объяснение* психических явлений и в то же время придать ему (с натяжками или без натяжек — это другой вопрос) строго *идеалистический смысл*. Так и поступали немецкие идеалисты.

Психическая деятельность человека подчинена законам материальной необходимости. Но это нимало не уничтожает человеческой свободы. Законы материальной необходимости сами суть не что иное, как законы деятельности духа. *Свобода предполагает необходимость, необходимость целиком переходит в свободу*, и потому свобода человека в действительности несравненно шире, чем полагают дуалисты, которые, стремясь отграничить *свободную* деятельность от *необходимой*, тем самым отрывают от *царства свободы* всю ту — даже по их мнению очень широкую — область, которую они отводят *необходимости*.

Так рассуждали идеалисты-диалектики. Как видит читатель, они крепко держались за «магнитную стрелку» Лейбница; только стрелка эта совершенно преображалась, так сказать, одухотворялась в их руках.

Но преображение стрелки еще не разрешало всех затруднений, связанных с вопросом об отношении свободы к необходимости. Положим, что отдельный человек совершенно свободен,

несмотря на свое подчинение законам необходимости, более того — именно *вследствие* этого подчинения. Но в обществе, а следовательно и в истории, мы имеем дело не с индивидуумом, а с целой массой индивидуумов. Спрашивается: не нарушается ли свобода *каждого* свободою *остальных?* Я вознамерился сделать то и то, например осуществить истину и справедливость в общественных отношениях. Это мое намерение *свободно* принято мною, и не менее *свободны* будут те мои действия, с помощью которых я буду стараться осуществить его. Но мои ближние мешают мне в преследовании моей цели. Они восстали против моего намерения так же *свободно*, как я его принял. И так же *свободны* их направленные против меня действия. Как я преодолею создаваемые ими препятствия? Разумеется, я буду спорить с ними, убеждать, может быть, даже упрашивать или стращать их. Но как знать, приведет ли это к чему-нибудь? Французские просветители говорили: la raison finira par avoir raison *. Но ведь для того, чтобы мой разум восторжествовал, мне нужно, чтобы мои ближние признали его *также и своим* разумом. А какие у меня основания надеяться на это? Поскольку их деятельность свободна — а она совершенно свободна,— поскольку неведомыми мне путями материальная *необходимость* перешла в *свободу* — а она, по предположению, *целиком перешла в нее*,— постольку поступки моих сограждан ускользают от всякого предвидения. Я мог бы надеяться предвидеть их только при том условии, если бы я мог рассматривать их так, как я рассматриваю все другие явления окружающего меня мира, т. е. как *необходимые* следствия *определенных причин*, которые уже известны или могут быть известны мне. Иначе сказать, моя свобода не была бы пустым словом только в том случае, если бы ее *сознание* могло сопровождаться *пониманием причин*, вызывающих *свободные* поступки моих ближних, т. е. если бы я мог рассматривать их со стороны их *необходимости*. Совершенно то же могут сказать мои ближние о *моих* поступках. А это что означает? Это означает, что *возможность свободной (сознательной) исторической деятельности всякого данного лица сводится к нулю в том случае, если в основе свободных человеческих поступков не лежит доступная пониманию деятеля необходимость.*

Мы видели, что метафизический французский материализм приводил собственно к *фатализму*. В самом деле, если судьба целого народа зависит от одного шального атома, то нам остается только скрестить на груди руки, потому что мы решительно не в состоянии и никогда не будем в состоянии ни предвидеть такие проделки отдельных атомов, ни предупреждать их.

* [разум в конечном счете всегда окажется прав.]

Теперь мы видим, что *идеализм может привести к такому же фатализму.* Если в поступках моих сограждан нет ничего необходимого или если они недоступны моему пониманию со стороны их необходимости, то мне остается уповать на благое провидение: самые разумные мои планы, самые благородные мои желания разобьются о совершенно непредвиденные действия миллионов других людей. Тогда, по выражению Лукреция, *изо всего может выйти все.*

И интересно, что, чем более идеализм стал бы оттенять сторону свободы в *теории*, тем более он вынужден был бы сводить ее на нет в области *практической деятельности*, где он не в силах был бы совладать со *случайностью, вооруженной всей силою свободы.*

Это прекрасно понимали идеалисты-диалектики. В *их* практической философии *необходимость является вернейшим, единственным надежным залогом свободы.* Даже нравственный долг не может успокоить меня относительно результатов моих действий, говорил Шеллинг, если результаты эти зависят только от свободы. «*В свободе должна быть необходимость*» [1].

Но о какой же собственно необходимости может идти речь в этом случае? Едва ли много утешения принесет мне постоянное повторение той мысли, что известные волевые движения необходимо соответствуют известным движениям мозгового вещества. На таком отвлеченном положении нельзя построить никаких практических расчетов, а дальше мне нет и хода с этой стороны, потому что голова моего ближнего не стеклянный улей, а его мозговые фибры не пчелы и я не мог бы наблюдать их движения даже в том случае, если бы я твердо знал — а мы все еще далеки от этого,— что вот вслед за таким-то движением такого-то нервного волокна последует такое-то намерение в душе моего согражданина. Надо, стало быть, подойти к изучению необходимости человеческих действий с другой стороны.

Тем более надо, что сова Минервы вылетает, как мы знаем, только вечером, т. е. что общественные отношения людей *не представляют собой плода их сознательной деятельности.* Люди сознательно преследуют свои частные, личные цели. Каждый из них сознательно стремится, положим, к округлению своего состояния, а из совокупности их отдельных действий выходят известные общественные результаты, которых они, может быть, совсем не желали и, наверное, не предвидели. Зажиточные римские граждане скупали земли бедных земледельцев. Каждый из них знал, конечно, что благодаря его действиям такие-то Туллий и Юлий становятся безземельными пролетариями. Но кто из них предвидел, что латифундии погубят республику, а с нею и Италию? Кто из них отдавал, кто *мог*

дать себе отчет относительно исторических последствий своего приобретательства? Никто не мог, никто не отдавал. А между тем последствия были: благодаря латифундиям погибла и республика и Италия.

Из сознательных свободных поступков отдельных людей необходимо вытекают неожиданные для них, непредвиденные ими последствия, касающиеся всего общества, т. е. влияющие на совокупность взаимных отношений тех же людей. *Из области свободы мы переходим таким образом в область необходимости*.

Если несознаваемые людьми общественные последствия их индивидуальных действий ведут к изменению общественного строя, что происходит всегда, хотя далеко не одинаково быстро, то перед людьми вырастают новые индивидуальные цели. Их свободная сознательная деятельность необходимо приобретает новый вид. *Из области необходимости мы опять переходим в область свободы.*

Всякий необходимый процесс есть процесс законосообразный. Изменения общественных отношений, непредвидимые людьми, но необходимо являющиеся в результате их действий, очевидно, совершаются по определенным законам. Теоретическая философия *должна открыть их*.

Изменения, вносимые в жизненные цели, в свободную деятельность людей изменившимися общественными отношениями,— очевидно, тоже. Другими словами: *переход необходимости в свободу тоже совершается по определенным законам, которые могут и должны быть открыты теоретической философией*.

А раз теоретическая философия исполнит эту задачу, она даст совершенно новую, непоколебимую основу философии *практической*. Раз мне известны законы общественно-исторического движения, я могу влиять на него сообразно моим целям, не смущаясь ни проделками шальных атомов, ни тем соображением, что мои соотечественники в качестве существ, одаренных свободной волей, готовят мне каждую данную минуту целые вороха самых удивительных сюрпризов. Я, разумеется, не в состоянии буду поручиться за каждого отдельного соотечественника, особенно если он принадлежит к «интеллигентному классу», но в общих чертах мне будет известно направление общественных сил, и мне останется только опереться на их равнодействующую для достижения моих целей.

Итак, если я могу прийти, например, к тому отрадному убеждению, что в России, не в пример прочим странам, восторжествуют «устои», то лишь постольку, поскольку мне удастся понять действия доблестных «россов» как действия законосообразные, рассмотреть их с точки зрения необходимости, а не

с точки зрения свободы. «*Всемирная история есть прогресс в сознании свободы*,— говорит Гегель,— *прогресс, который мы должны понять в его необходимости*» [1].

Далее. Как бы хорошо мы ни изучили «природу человека», мы все-таки будем очень далеки от понимания тех общественных результатов, которые вытекают из действий отдельных людей. Положим, что мы признали вместе с экономистами старой школы, что стремление к наживе есть главный отличительный признак человеческой природы. Будем ли мы в состоянии предвидеть те формы, которые примет это стремление? При данных, определенных, известных нам общественных отношениях — да; но эти данные, определенные, известные нам общественные отношения сами будут изменяться под напором «человеческой природы», под влиянием приобретательской деятельности граждан. В какую сторону изменятся они? Это нам будет так же мало известно, как и то новое направление, которое примет стремление к наживе при новых, изменившихся общественных отношениях. Совершенно в таком же положении очутимся мы, если вместе с немецкими катедер-социалистами станем твердить, что природа человека не исчерпывается одним стремлением к наживе, что у него есть также и «общественное чувство» (Gemeinsinn). Это будет новая погудка на старый лад. Чтобы выйти из неизвестности, прикрываемой более или менее ученой терминологией, нам от изучения *природы человека* надо перейти к изучению *природы общественных отношений*, нам надо понять эти отношения как законосообразный, необходимый процесс. А это возвращает нас к вопросу: *от чего зависит, чем определяется природа общественных отношений?*

Мы видели, что ни материалисты прошлого века, ни социалисты-утописты не дали удовлетворительного ответа на этот вопрос. Удалось ли разрешить его идеалистам-диалектикам?

Нет, не удалось и им, и не удалось именно потому, что они были *идеалистами*. Чтобы выяснить себе их взгляд, припомним вышеупомянутый спор о том, что́ от чего зависит — конституция от нравов или нравы от конституции. Гегель справедливо замечал по поводу этого спора, что вопрос в нем поставлен совершенно неправильно, так как в действительности хотя нравы данного народа, несомненно, влияют на его конституцию, а конституция — на нравы данного народа, но и те и другие представляют собою результат чего-то «*третьего*», некоторой особой силы, которая создает и нравы, влияющие на конституцию, и конституцию, влияющую на нравы. Но какова, по Гегелю, эта особая сила, эта последняя основа, на которой держится и природа людей и природа общественных отношений? Эта сила есть «*понятие*» или — что то же — «*идея*», осуществ-

лением которой является вся история данного народа. *Каждый народ осуществляет свою особую идею*, а каждая особая идея, идея каждого отдельного народа, представляет собою ступень в развитии *абсолютной идеи*. История оказывается, таким образом, как бы прикладною логикой: объяснить известную историческую эпоху — значит показать, какой стадии логического развития абсолютной идеи она соответствует. Но что же такое эта «абсолютная идея»? Не что иное, как олицетворение нашего собственного логического процесса. Вот что говорит о ней человек, сам основательно прошедший школу идеализма, сам страстно увлекавшийся им, но уж рано заметивший, в чем заключается коренной недостаток этого философского направления [1].

«Когда я, на основании знакомства с действительными яблоками, грушами, земляникой, миндалем, вырабатываю в себе представление: «*плод*»; когда я затем иду дальше и *воображаю*, что мое... отвлеченное представление «плод» существует вне меня и даже составляет *истинную* сущность груш, яблок и т. д., то я, выражаясь языком *умозрительной философии*, объявляю «плод» «*субстанцией*» груш, яблок, миндаля и т. д. Я говорю: для груши несущественно то обстоятельство, что она является в виде груши, для яблока несущественно быть яблоком. Существенно в них... мною от них же отвлеченное представление: «плод». И я объявляю яблоки, груши, миндаль и т. д. простыми видами существования — modi «плода». Мой конечный, опирающийся на внешние чувства рассудок отличает, конечно, яблоко от груши, а грушу от миндаля, но мой спекулятивный разум объявляет эти различия неважными, несущественными, он видит в яблоке то же, что и в груше, в груше то же, что и в миндале — «*плод*». Различные действительные плоды рассматриваются им лишь как плоды-*призраки*, истинной сущностью, «субстанцией» которых является «плод».

Ясно, что, идя по этому пути, не наживешь большого богатства знаний. Минералог, который умел бы только повторять, что все минералы в сущности представляют собою «*минерал*», был бы минералогом только в своем собственном воображении... Поэтому умозрительная философия, делающая из различных действительных плодов единый отвлеченный «плод», чтобы прийти к какому-нибудь положительному содержанию, должна пытаться тем или другим способом снова перейти от «плода», от «*субстанции*» к различным действительным грешным плодам: к яблоку, к груше, к миндалю и т. д. Но заставить отвлеченное представление «*плод*» породить действительные плоды так же трудно, как легко создать это представление на основании знакомства с действительными плодами. Не покинув абстракции, нельзя прийти к тому, что составляет ее прямую противополож-

ность. Поэтому умозрительный философ и покидает ее, но покидает на особый *умозрительный*, *мистический лад*... Он только повидимому возвышается над абстракцией. Он рассуждает так:

Если яблоко, груша, миндаль, земляника на самом деле суть не что иное, как «*субстанция*», «*плод*», то спрашивается, почему же «плод» является мне то яблоком, то грушей, то миндалем; откуда берется этот призрак *разнообразия*, который сильно противоречит моему умозрительному представлению *единства*, «*субстанции*», «*плода*»?

Это происходит оттого, отвечает умозрительный философ, что «плод» есть не мертвая, безразличная, неподвижная, а живая, сама из себя развивающаяся, подвижная сущность. Разнообразие действительных грешных плодов имеет значение не только для моего конечного рассудка, но и для самого «плода», для умозрительного разума. Различные грешные плоды представляют собою различные проявления жизни единого плода... в яблоке «плод» дает себе яблоковидное, в груше — грушевидное бытие... Он полагает себя в виде яблока, груши, миндаля; различия, существующие между этими плодами, суть лишь саморазличение «плода», и именно потому различные плоды являются различными членами *процесса жизни* «*плода*»...»

Все это очень едко, но вместе с тем безусловно справедливо. Олицетворяя наш собственный мыслительный процесс в виде абсолютной идеи и ища в этой идее разгадки всех явлений, идеализм тем самым заводил себя в тупой переулок, из которого выбраться можно было, только покинув «идею», т. е. *распростившись с идеализмом*. Вот, например, объясняют ли вам сколько-нибудь природу магнетизма следующие слова Шеллинга: «Магнетизм есть общий акт одушевления, внедрения единства во множество, понятия в различие. То самое вторжение субъективного в объективное, которое в идеальном... есть самосознание, является здесь выраженным в бытии» [1]. Не правда ли, эти слова ровно ничего не объясняют? Так же мало удовлетворительны подобные объяснения и в области *истории*. Отчего пала Греция? Оттого, что та идея, которая составляла принцип греческой жизни, центр греческого духа (*идея прекрасного*), могла быть лишь очень непродолжительной фазой в развитии всемирного духа [2]. Подобные ответы только повторяют вопрос в положительной и притом напыщенной, ходульной форме. Гегель, которому принадлежит только что приведенное объяснение падения Греции, как будто и сам чувствует это и спешит дополнить свое идеалистическое объяснение ссылкой на экономическую действительность древней Греции: «*Лакедемон пал главным образом вследствие неравенства имуществ*»,— говорит он. И так поступает он не только там, где дело касается Греции. Это,

можно сказать, его неизменный прием в философии истории: сначала несколько туманных ссылок на свойства абсолютной идеи, а затем — гораздо более пространные и, конечно, гораздо более убедительные указания на характер и развитие имущественных отношений у того народа, о котором идет речь. Собственно в объяснениях этого последнего рода нет уже ровно ничего идеалистического, и, прибегая к ним, Гегель, говоривший, что «*идеализм оказывается истиной материализма*», подписывал свидетельство о бедности именно идеализму, как бы молчаливо признавая, что в сущности дело обстоит совсем наоборот, что *материализм оказывается истиной идеализма*.

Впрочем, *материализм*, к которому подходил здесь Гегель, был совершенно неразвитый, зачаточный материализм, немедленно снова переходивший в *идеализм*, как только оказывалось нужным объяснить, откуда же берутся те или другие имущественные отношения. Правда, и тут Гегелю случалось нередко высказывать совершенно материалистические взгляды. Но, говоря вообще, имущественные отношения рассматриваются им как осуществление правовых понятий, которые развиваются своей собственной внутренней силой.

Итак, что же мы узнали об идеалистах-диалектиках?

Они покинули точку зрения человеческой природы и благодаря этому отделались от утопического взгляда на общественные явления, стали рассматривать общественную жизнь как необходимый процесс, имеющий свои собственные законы. Но окольным путем олицетворения процесса нашего логического мышления (т. е. одной из сторон *человеческой природы*) они вернулись к той же неудовлетворительной точке зрения, и *потому им осталась непонятной истинная природа общественных отношений*.

Теперь опять маленькое отступление в область нашего домашнего, российского любомудрия.

Г-н Михайловский слышал от г. Филиппова, который в свою очередь слышал от американца Фрэзера, что вся философия Гегеля сводится к «*гальваническому мистицизму*». Уже из того, что мы сказали о задачах, которые ставила себе идеалистическая немецкая философия, читатель видит, как вздорно мнение Фрэзера. Гг. Филиппов и Михайловский сами чувствуют, что их американец «хватил через край»: «Достаточно вспомнить преемственный ход и влияние (на Гегеля) предыдущей метафизики, начиная с древних, с Гераклита...» — говорит г. Михайловский, тут же прибавляя, однако: «Тем не менее указания Фрэзера в высшей степени интересны и, несомненно, заключают в себе известную долю истины». Надо сознаться, хотя нельзя не признаться... Щедрин давно уже осмеял эту «формулу». Но что прикажете делать его бывшему сотруднику, г. Михайловскому,

который взялся истолковать «непосвященным» философа, известного ему только понаслышке? Поневоле будешь повторять с ученым видом знатока ничего не говорящие фразы...

Вспомним, однако, «преемственный ход» развития немецкого идеализма. «Опыты гальванизма производят впечатление на всех мыслящих людей Европы, в том числе и на молодого тогда немецкого философа Гегеля,— говорит г. Михайловский.— Гегель создает колоссальную метафизическую систему, гремящую на весь мир, так что от нее нет прохода даже на берегах Москвы-реки»... Тут дело изображается так, как будто Гегель непосредственно от физиков заразился «гальваническим мистицизмом». Но ведь система Гегеля представляет собою лишь дальнейшее развитие взглядов Шеллинга; ясно, что зараза должна была подействовать прежде на этого последнего. Она и подействовала, успокоительно отвечает г. Михайловский, или г. Филиппов, или Фрэзер: «Шеллинг и особенно некоторые врачи, бывшие его учениками, довели учение о полярности до последней крайности». Хорошо. Но предшественником Шеллинга был, как известно, Фихте. Как на него повлияла гальваническая зараза? На этот счет ничего не говорит г. Михайловский: вероятно, он думает, что никак не повлияла. И он совершенно прав, если действительно так думает: чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать одно из первых философских сочинений Фихте: «*Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre*», Leipzig 1794 *. В этом сочинении никакой микроскоп не откроет влияния «гальванизма», а между тем и там фигурирует та же самая пресловутая «триада», которая, по мнению г. Михайловского, составляет главный отличительный признак Гегелевой философии и родословную которой Фрэзер, будто бы с «значительной долей истины», ведет от «опытов Гальвани и Вольты»... Надо сознаться, что все это очень странно, хотя и нельзя не признаться, что все-таки Гегель и проч. и проч.

Читатель уже знает, как смотрел Шеллинг на магнетизм. Недостаток немецкого идеализма заключается совсем не в том, что в его основе лежало будто бы излишнее, неосновательное, принявшее мистическую форму увлечение естественно-научными открытиями того времени, а, как раз наоборот, в том, что он все явления природы и истории старался объяснить с помощью олицетворенного им процесса мышления.

В заключение — отрадное известие. Г-н Михайловский нашел, что «метафизика и капитализм находятся в теснейшей связи между собой; что, говоря языком экономического материализма, метафизика есть необходимая составная часть «надстройки» над капиталистической формой производства, хотя в то же время

* [«Основы всего наукоучения», Лейпциг 1794.]

капитал поглощает, приспособляет к себе все технические приложения враждебной метафизике науки, основывающейся на опыте и наблюдении». Г-н Михайловский обещает поговорить об «этом любопытном противоречии» когда-нибудь в другой раз. Поистине «любопытно» будет исследование г. Михайловского! Подумайте сами: то, что он называет метафизикой, получило блестящее развитие в древней Греции и в Германии XVIII и первой половины XIX века. До сих пор думали, что древняя Греция вовсе не была капиталистической страной, а в Германии указанного времени капитализм только что начал развиваться. Исследование г. Михайловского покажет, что с точки зрения *«субъективной социологии»* это совсем неверно, что именно древняя Греция и Германия времен Фихте — Гегеля были классическими странами капитализма. Вы видите теперь, «почему сие важно». Пусть же поторопится наш автор опубликовать свое замечательное открытие. Спой, светик, не стыдись!

ГЛАВА ПЯТАЯ

СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Несостоятельность идеалистической точки зрения в деле объяснения явлений природы и общественного развития должна была заставить и действительно заставила *мыслящих* людей (т. е. *не* эклектиков, *не* дуалистов) вернуться к материалистическому взгляду на мир. Но новый материализм не мог уже быть простым повторением учений французских материалистов конца XVIII века. Материализм воскрес, обогащенный всеми приобретениями идеализма. Важнейшим из этих приобретений был *диалектический метод*, рассмотрение явлений в их развитии, в их возникновении и уничтожении. Гениальным представителем этого нового направления был *Карл Маркс*.

Маркс не первый восстал против идеализма. Знамя восстания было поднято *Людвигом Фейербахом*. Затем, несколько позже Фейербаха, выступили на литературную сцену *братья Бауэры*, взгляды которых заслуживают особенного внимания со стороны современного русского читателя.

Взгляды Бауэров были реакцией против идеализма Гегеля. И тем не менее они сами были насквозь пропитаны очень поверхностным, односторонним, эклектическим идеализмом.

Мы видели, что великим немецким идеалистам не удалось понять истинную природу, найти реальную основу общественных отношений. Они видели в общественном развитии необходимый, законосообразный процесс, и в этом случае они были совершенно правы. Но когда заходила речь об основном двигателе исторического развития, они обращались к абсолютной идее, свойства которой должны были дать последнее, самое глубокое объяснение этого процесса. В этом заключалась слабая сторона идеализма, против которой и направилась прежде всего философская революция: крайнее левое крыло гегелевской школы решительно восстало против «абсолютной идеи».

Абсолютная идея существует (если, конечно, существует) вне времени и пространства и уж во всяком случае вне головы каждого отдельного человека. Воспроизводя в своем историческом развитии ход логического развития абсолютной идеи,

человечество повинуется чуждой ему, вне его стоящей силе. Восставая против абсолютной идеи, молодые гегельянцы восстали прежде всего во имя самодеятельности людей, во имя конечного человеческого разума.

«Умозрительная философия,— писал Эдгар Бауэр,— очень ошибается, говоря о разуме, как о некоторой отвлеченной, абсолютной силе... Разум не есть объективная, отвлеченная сила, по отношению к которой человек представлял бы собою лишь нечто субъективное, случайное, преходящее; нет, господствующая сила есть именно сам человек, его самосознание, а разум есть лишь сила этого самосознания. Следовательно, нет никакого абсолютного разума, а есть лишь разум, вечно видоизменяющийся с развитием самосознания; он вовсе не существует в окончательном виде, он вечно видоизменяется» *.

Итак, нет абсолютной идеи, нет отвлеченного разума, а есть только самосознание людей, конечный, вечно изменяющийся человеческий разум. Это вполне справедливо; против этого не стал бы спорить даже г. Михайловский, который, как мы уже знаем, против всего «может спорить»... с более или менее сомнительным успехом. Но странное дело! Чем более мы оттеняем эту справедливую мысль, тем затруднительнее становится наше положение. У старых немецких идеалистов к абсолютной идее приурочивалась законосообразность всякого процесса в природе и в истории. Спрашивается: к чему будем приурочивать мы эту законосообразность, разрушив ее носительницу, абсолютную идею? Положим, что по отношению к природе удовлетворительный ответ может быть дан в нескольких словах: мы приурочиваем ее к свойствам материи. Но по отношению к истории дело выходит далеко не так просто: господствующей силой в истории оказывается человеческое самосознание, вечно изменяющийся, конечный человеческий разум. Есть ли какая-нибудь законосообразность в развитии этого разума? Эдгар Бауэр ответил бы, разумеется, утвердительно, потому что для него человек, а следовательно и его разум, вовсе не был, как мы видели, чем-то случайным. Но если бы вы попросили того же Бауэра выяснить вам свое понятие о законосообразности в развитии человеческого разума, если бы вы спросили его, например, почему в данную историческую эпоху разум развивался так, а в другую иначе, то не получили бы от него, собственно говоря, никакого ответа. Он сказал бы вам, что «вечно развивающийся человеческий разум создает общественные формы», что «исторический разум есть движущаяся сила всемирной истории» и что поэтому всякий

* «Der Streit der Kritik mit Kirche und Staat», von *Edgar Bauer*, Bern 1844, S. 184. [*Эдгар Бауэр*, «Спор критики с церковью и государством», Берн 1844, стр. 184.]

данный общественный строй оказывается отжившим свой век, как только разум делает новый шаг в своем развитии*. Но все эти и тому подобные уверения были бы не ответом на вопрос, а блужданием вокруг вопроса о том, отчего человеческий разум делает новые шаги в своем развитии и почему он делает их в ту, а не в другую сторону. Вынужденный вами считаться именно с этим вопросом, Э. Бауэр поспешил бы отделаться бессодержательной ссылкой на свойства конечного, вечно изменяющегося человеческого разума, подобно тому как старые идеалисты отделывались ссылкой на свойства абсолютной идеи.

Считать разум движущей силой всемирной истории и объяснять его развитие какими-то особыми, ему самому присущими внутренними свойствами значило превращать его в нечто безусловное или, другими словами, воскрешать в новом виде ту самую абсолютную идею, которую только-что объявили похороненной навеки. Главнейшим недостатком этой воскресшей абсолютной идеи было то обстоятельство, что она мирно уживалась с самым абсолютным дуализмом, точнее сказать, даже непременно предполагала его. Так как процессы природы не обусловливаются конечным, вечно изменяющимся человеческим разумом, то у нас оказывается налицо две силы: в природе — материя, в истории — человеческий разум, и нет моста, который соединил бы движение материи с развитием разума, царство необходимости с царством свободы. Вот почему мы и сказали, что взгляды Бауэра были насквозь пропитаны очень поверхностным, односторонним, эклектическим идеализмом.

Мнение правит миром,— так говорили французские просветители. Так же говорили, как мы видим, и братья Бауэры, восставшие против гегелевского идеализма. Но если мнение правит миром, то главными двигателями истории являются те люди, мысль которых критикует старые и создает новые мнения. Братья Бауэры действительно так и думали. Сущность исторического процесса сводилась для них к переработке «критическим духом» существующего запаса мнений и обусловленных этим запасом форм общежития. Эти взгляды Бауэров были целиком перенесены в русскую литературу автором «Исторических писем» [1], который, впрочем, говорил уже не о критическом «духе», а о критической «мысли», по той причине, что говорить о духе было запрещено «Современником».

Раз вообразив себя главным архитектором, демиургом [2] истории, «критически мыслящий» человек тем самым выделяет себя и себе подобных в особую, высшую разновидность человеческого рода. Этой высшей разновидности противостоит чуждая критической мысли *масса*, способная лишь играть роль глины

* L. c., S. 185. [Цит. соч., стр. 185.]

в творческих руках «критически мыслящих» личностей,— «*героям*» противостоит «*толпа*». Как ни любит герой толпу, как ни полон он сочувствия к ее вековой нужде, к ее беспрерывным страданиям,— он не может не смотреть на нее сверху вниз, не может не сознавать, что все дело в нем, в герое, между тем как толпа есть чуждая всякого творческого элемента масса, что-то вроде огромного количества нулей, получающих благотворное значение только в том случае, когда во главе их снисходительно становится добрая, «критически мыслящая» единица. Эклектический идеализм братьев Бауэров был основою страшного, можно сказать, отвратительного самомнения «критически мыслящей» немецкой «интеллигенции» сороковых годов, а в настоящее время он через посредство своих российских сторонников порождает тот же недостаток и в интеллигенции России. Беспощадным врагом и обличителем этого самомнения явился Маркс, к которому мы теперь и переходим.

Маркс говорил, что противопоставление «критически мыслящих» личностей «массе» есть не более как карикатура гегелевского взгляда на историю — взгляда, который в свою очередь был лишь спекулятивным следствием старого учения о противоположности духа и материи. «Уже у Гегеля абсолютный дух истории * относится к массе, как к материалу, находя свое истинное выражение лишь в *философии*. Однако у него философ является лишь органом, через посредство которого творец истории, абсолютный дух, приходит к самосознанию, *по окончании движения*. Этим по окончании движения являющимся сознанием и ограничивается участие философа в истории, потому что действительное историческое движение абсолютный дух вызывает бессознательно **. Таким образом, философ приходит post festum.— Гегель непоследователен вдвойне: во-первых, тем, что он, по учению которого абсолютный дух только в философии достигает самосознания, а следовательно, и существования, отказывается признать абсолютным духом действительного философа, индивидуума; а во-вторых, тем, что у него абсолютный дух только *повидимому* делает историю. В самом деле, так как абсолютный дух только в лице философа и только post festum сознает себя творческим духом, то его фабрикация истории существует лишь в сознании, в мнении и представлении философа, т. е. только в спекулятивном воображении. Г. Бруно Бауэр устраняет непоследовательность Гегеля ***. Во-первых,

* То же, что абсолютная идея.

** Читатель не забыл вышеприведенного выражения Гегеля: сова Минервы начинает летать только вечером.

*** Бруно Бауэр — старший брат упоминавшегося выше Эдгара Бауэра, автор знаменитой в свое время «Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker». [«Критики евангельской истории синоптиков».]

он объявляет критику абсолютным духом, а себя самого критикой. Подобно тому, как элемент критики изгоняется из массы,— элемент массы изгоняется из критики. Поэтому критика видит себя воплощенной не в *массе*, а в маленькой *горсточке* избранников, в г. Бауэре и его учениках. Далее, г. Бауэр устраняет другую непоследовательность Гегеля: он уже не довольствуется ролью гегелевского духа, творящего историю лишь в области фантазии и *post festum:* он *сознательно* играет роль *всемирного духа*, в противоположность к массе остального человечества; он уже в настоящем становится к ней в *драматическое* отношение; он сочиняет и творит историю по зрелом размышлении, с заранее обдуманным намерением. По одну сторону стоит масса, этот *материальный*, пассивный, неодухотворенный и неисторический элемент истории; по другую сторону — дух, критика, г. Бруно и комп., в качестве активного элемента, от которого исходит всякое *историческое* действие. Акт общественного преобразования сводится к *мозговой деятельности* критической критики» *.

Эти строки производят странную иллюзию: кажется, что они написаны не пятьдесят лет, а какой-нибудь месяц тому назад и направлены не против немецких левых гегельянцев, а против русских «субъективных» социологов. Иллюзия еще больше усиливается по прочтении следующего отрывка из статьи Энгельса:

«Самодовлеющая критика естественно не должна признавать историю, как она действительно совершалась, потому что это значило бы именно признать пошлую массу в ее совершенной массовидности, между тем как дело идет как раз об искуплении массы от массовидности. Поэтому история освобождается от ее массовидности, и критика, свободно относящаяся к своему предмету, кричит истории: ты должна была идти так и так! Законы критики имеют обратное действие; до ее декретов история шла совсем иначе, чем она оказывается шедшей после них. Поэтому так называемая действительная, массовидная история значительно отличается от критической» **.

О ком говорится в этом отрывке? О немецких писателях сороковых годов или же о некоторых современных нам «социологах», с апломбом рассуждающих на ту тему, что, дескать, католик

---

* «Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Consorten» von *F. Engels* und *K. Marx*. Frankfurt a. Main 1845, S. 126—128. [«Святое семейство или критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании» *Ф. Энгельса* и *К. Маркса*. Франкфурт-на-Майне 1845, стр. 126—128.] Книга эта представляет собою сборник статей Энгельса и Маркса, направленных против различных взглядов «критической критики». Цитированное место заимствовано из статьи Маркса [1] против статьи Бруно Бауэра. У Маркса же взята приведенная в предыдущей главе страница.

** Там же, стр. 6 [2].

представляет себе ход исторических событий на один лад, протестант — на другой, монархист — на третий, республиканец — на четвертый и что поэтому хорошему субъективному человеку не только можно, но и должно придумать для себя, для своего душевного обихода такую историю, которая вполне соответствовала бы наилучшему из идеалов? Неужели Энгельс предвидел наши российские благоглупости? Нисколько! Он, разумеется, и не думал о них, и если его ирония на расстоянии полувека попадает не в бровь, а в глаз нашим субъективным мыслителям, то дело объясняется тем простым обстоятельством, что в нашем субъективном вздоре нет решительно ничего оригинального: он представляет собою не более как лубочный «суздальский» снимок с карикатуры той самой «гегельянщины», против которой он так неудачно воюет...

С точки зрения «критической критики» все великие исторические столкновения сводились к столкновению *идей*. Маркс замечает, что *идеи* «посрамлялись» всякий раз, когда они не совпадали с реальными, экономическими интересами того общественного слоя, который является в данное время носителем исторического прогресса. Только понимание этих интересов и может дать ключ к пониманию действительного хода исторического развития.

Мы уже знаем, что и французские просветители не закрывали глаз на интересы, что и они не прочь были обращаться к ним для объяснения данного состояния данного общества. Но у них этот взгляд на решающее значение *интересов* являлся лишь видоизменением «формулы» — мнения правят миром: у них выходило, что и самые интересы людей зависят от их мнений и изменяются с изменением этих последних. *Такое* истолкование значения интересов представляет собою торжество идеализма в его применении к истории. Оно далеко оставляет за собою даже немецкий диалектический идеализм, по смыслу которого у людей являются новые материальные интересы всякий раз, когда абсолютной идее оказывается нужным сделать новый шаг в своем логическом развитии. Маркс понимает значение материальных интересов совершенно иначе.

Обыкновенному русскому читателю историческая теория Маркса кажется каким-то гнусным пасквилем на человеческий род. У Г. И. Успенского — если не ошибаемся, в «Разорении»— есть старуха чиновница, которая даже в предсмертном бреду упорно повторяет гнусное правило всей своей жизни: «в карман норови, в карман!». Русская интеллигенция наивно думает, будто Маркс приписывает это гнусное правило всему человечеству; будто он утверждает, что чем бы ни занимались сыны человеческие, они всегда, исключительно и сознательно, «*норовили в карман*». Бескорыстному русскому «интеллигенту»

подобный взгляд, естественно, столь же «несимпатичен», как «несимпатична» теория Дарвина какой-нибудь титулярной советнице, которая думает, что весь смысл этой теории сводится к тому возмутительному положению, что вот, дескать, она, почтенная чиновница, представляет собою не более как наряженную в чепчик обезьяну. В действительности Маркс так же мало клевещет на «интеллигентов», как Дарвин — на титулярных советниц.

Чтобы понять исторические взгляды Маркса, нужно припомнить, к каким результатам пришла философия и общественно-историческая наука в период, непосредственно предшествовавший его появлению. Французские историки времен реставрации пришли, как мы знаем, к тому убеждению, что «гражданский быт» — «имущественные отношения» составляют коренную основу всего общественного строя. Мы знаем также, что к тому же выводу пришла, в лице Гегеля, и идеалистическая немецкая философия — пришла против воли, вопреки своему духу, просто в силу недостаточности, несостоятельности идеалистического объяснения истории. Маркс, усвоивший себе все результаты научного знания и философской мысли своего времени, вполне сходится относительно указанного вывода с французскими историками и с Гегелем. Я убедился, говорит он, что «правовые отношения и государственные формы не объясняются ни своей собственной природой, ни так называемым общим развитием человеческого духа, но коренятся в материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов XVIII века, называл «гражданским обществом», анатомию же гражданского общества надо искать в его экономии» [1].

Но от чего же зависит *экономия* данного общества? Ни французские историки, ни социалисты-утописты, ни Гегель не могли ответить на это сколько-нибудь удовлетворительно. Они — прямо или косвенно — все ссылались на человеческую природу. Великая научная заслуга Маркса заключается в том, что он подошел к вопросу с диаметрально противоположной стороны, что он на самую природу человека взглянул как на вечно изменяющийся результат исторического движения, причина которого лежит *вне* человека. Чтобы существовать, человек должен поддерживать свой организм, заимствуя необходимые для него вещества из *окружающей его внешней природы*. Это заимствование предполагает известное действие человека на эту внешнюю природу. Но, «действуя на внешнюю природу, человек изменяет свою собственную природу». В этих немногих словах содержится сущность всей исторической теории Маркса, хотя, разумеется, взятые сами по себе, они не дают о ней надлежащего понятия и нуждаются в пояснениях.

Франклин назвал человека «животным, делающим орудия». Употребление и производство орудий, действительно, составляет отличительную черту человека. Дарвин оспаривает то мнение, по которому только человек и способен к употреблению орудий: он приводит много примеров, показывающих, что в зачаточном виде употребление их свойственно многим млекопитающим. И он, разумеется, совершенно прав с своей точки зрения, т. е. в том смысле, что в пресловутой «природе человека» нет ни одной черты, которая не встречалась бы у того или другого вида животных, и что поэтому нет решительно никакого основания считать человека каким-то особенным существом, выделять его в особое «царство». Но не надо забывать, что *количественные различия переходят в качественные*. То, что существует *как зачаток* у одного животного вида, может стать *отличительным признаком* другого вида животных. Это в особенности приходится сказать об употреблении орудий. Слон ломает ветви и отмахивается ими от мух. Это интересно и поучительно. Но в истории развития вида *«слон»* употребление веток в борьбе с мухами, наверное, не играло никакой существенной роли: слоны не потому стали слонами, что их более или менее слоноподобные предки обмахивались ветками. Не то с человеком *.

Все существование австралийского дикаря зависит от его бумеранга, как все существование современной Англии зависит от ее машин. Отнимите от австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он по необходимости изменит весь свой образ жизни, все свои привычки, весь свой образ мыслей, всю свою «природу».

Мы сказали: сделайте *земледельцем*. На примере земледелия ясно видно, что процесс производительного воздействия человека на природу предполагает не одни только орудия труда. Орудия труда составляют только часть средств, необходимых для производства. Вот почему точнее будет говорить не о развитии *орудий труда*, а вообще о развитии *средств производства, производительных сил*, хотя совершенно несомненно, что самая важная роль в этом развитии принадлежит или, по крайней мере, принадлежала до сих пор (до появления важных *химических* производств) именно *орудиям труда*.

---

* «So thoroughly is the use of tools the exclusive attribute of man, that the discovery of a single artificially shaped flint in the drift or cave-breccia, is deemed proof enough that man has been there».— «Prehistoric Man», by *Daniel Wilson*, vol. I, p. 151—152, London 1876. [«Пользование орудиями везде является столь исключительной особенностью человека, что обнаружение в наносах или в пещерной брекчии хотя бы одного искусственно отточенного камня считается достаточным доказательством того, что здесь жил человек». «Доисторический человек» *Даниэля Вильсона*, т. I, стр. 151—152, Лондон 1876.]

В орудиях труда человек приобретает как бы новые органы, изменяющие его анатомическое строение. С того времени, как он возвысился до их употребления, он придает совершенно новый вид истории своего развития: прежде она, как у всех остальных животных, сводилась к видоизменениям его естественных органов; теперь она становится прежде всего *историей усовершенствования его искусственных органов*, *роста его производительных сил*.

Человек — *животное, делающее орудия*, — есть вместе с тем и *общественное животное*, происходящее от предков, живших в течение многих поколений более или менее крупными стадами. Для нас не важно здесь, почему наши предки стали жить стадами,— это должны выяснить и выясняют *зоологи*,— но с точки зрения философии истории в высшей степени важно отметить, что с тех пор, как искусственные органы человека стали играть решающую роль в его существовании, сама общественная жизнь его стала видоизменяться в зависимости от хода развития его производительных сил.

«Многоразличные отношения, в которые становятся люди при производстве продуктов, не ограничиваются отношением их к природе. Производство возможно лишь при известного рода совместности и обоюдности действий производителей. Чтобы производить, люди вступают в определенные взаимные связи и отношения, и только внутри и через посредство этих общественных связей и отношений возникают те воздействия людей на природу, которые необходимы для производства»*.

Искусственные органы, орудия труда, оказываются, таким образом, органами не столько индивидуального, сколько *общественного человека*. Вот почему всякое существенное их изменение ведет за собой перемены в общественном устройстве.

«В зависимости от характера производительных средств изменяются и общественные отношения производителей друг к другу, изменяются отношения их совместной деятельности и их участия во всем ходе производства. С изобретением нового военного орудия, огнестрельного оружия, необходимым образом изменилась вся внутренняя организация армии, равно как и все те взаимные отношения, в которых стоят входящие в состав армии личности и благодаря которым она представляет собою организованное целое; наконец, изменились также и взаимные отношения целых армий. Общественные отношения производителей, общественные отношения производства меняются, следовательно, с изменением и развитием материальных средств производства, т. е. производительных сил. Отношения производ-

---

* «Lohnarbeit und Kapital» [«Наемный труд и капитал»] *Карла Маркса*[1].

ства в их совокупности образуют то, что называется общественными отношениями, обществом, и притом обществом, находящимся на определенной исторической ступени развития,— обществом с определенным характером. Такие своеобразные совокупности отношений производства представляют собою античное общество, феодальное общество, буржуазное общество, и каждый из этих видов общественной организации соответствует, в свою очередь, известной ступени развития в истории человечества» *.

Излишне прибавлять, что не менее своеобразные совокупности отношений производства представляют собою и более ранние ступени человеческого развития. Так же излишне повторять, что и на этих более ранних ступенях состояние производительных сил имело решающее влияние на общественные отношения людей.

Здесь мы должны остановиться, чтобы рассмотреть некоторые, на первый взгляд довольно убедительные, возражения.

Первое состоит вот в чем.

Никто не оспаривает важного значения орудий труда, огромной роли производительных сил в историческом движении человечества,— говорят нередко марксистам, — но орудия труда изобретаются и употребляются в дело человеком. Вы сами признаете, что пользование ими предполагает сравнительно очень высокую степень умственного развития. Каждый новый шаг в усовершенствовании орудий труда требует новых усилий человеческого ума. Усилия ума — *причина*, развитие производительных сил — *следствие*. Значит, ум есть главный двигатель исторического прогресса, значит, правы были люди, утверждавшие, что миром правят мнения, т. е. правит человеческий разум.

Нет ничего естественнее такого замечания, но это не мешает ему быть неосновательным.

Бесспорно, употребление орудий труда предполагает высокое развитие ума в животном-человеке. Но посмотрите, какими причинами объясняет это развитие современное естествознание.

«Человек никогда не достиг бы господствующего положения в мире без употребления рук, этих орудий, столь удивительно послушных его воле»,— говорит Дарвин **. Это не новая мысль,— ее высказал уже Гельвеций. Но Гельвеций, не умевший стать твердой ногой на точку зрения развития, не умел придать сколько-нибудь вероятный вид своей собственной мысли. Дарвин выдвинул на ее защиту целый арсенал доводов, и

* Там же [1].

** «La descendance de l'homme etc.», Paris 1881, p. 51. [«Происхождение человека и т. д.», Париж 1881, стр. 51.]

хотя все они, разумеется, имеют лишь гипотетический характер, но в своей совокупности они достаточно убедительны. Что же говорит Дарвин? Откуда взялись у quasi-человека его нынешние, совершенно человеческие руки, имевшие столь замечательное влияние на успехи его «разума»? Вероятно, они образовались в силу некоторых особенностей *географической среды*, сделавших полезным физиологическое разделение труда между передними и задними конечностями. Успехи «разума» явились *отдаленным следствием* этого разделения и — опять-таки при благоприятных внешних условиях — стали в свою очередь *ближайшей причиной* появления у человека искусственных органов, употребления орудий. Эти новые искусственные органы оказали его умственному развитию новые услуги, а успехи «разума» опять отразились на органах. Тут перед нами длинный процесс, в котором причина и следствие постоянно меняются местами. Но ошибочно было бы рассматривать этот процесс с точки зрения *простого взаимодействия*. Чтобы человек мог воспользоваться уже достигнутыми успехами своего «разума» для усовершенствования своих искусственных орудий, т. е. *для увеличения своей власти над природой*, он должен был находиться в *известной* географической среде, способной доставить ему: 1) материалы, необходимые для усовершенствования; 2) предметы, обработка которых предполагала бы усовершенствованные орудия. Там, где не было металлов, собственный разум общественного человека ни в каком случае не мог вывести его за пределы «периода шлифованного камня»; точно так же для перехода к пастушескому и земледельческому быту нужны были известная фауна и флора, без наличности которых «разум» остался бы неподвижным. Но и это не все. Умственное развитие первобытных обществ должно было идти тем скорее, чем больше было взаимных сношений между ними, а эти сношения были, конечно, тем чаще, чем разнообразнее были географические условия обитаемых ими местностей, т. е., следовательно, чем менее были сходны продукты, произведенные в одной местности, с продуктами, производимыми в другой *. Наконец, всем известно, как важны в этом отношении естественные пути сообщения; уже Гегель говорил, что горы разделяют людей, реки и моря их сближают **.

---

* В известной книге фон Марциуса о первобытных обитателях Бразилии [1] можно найти несколько интересных примеров, показывающих, как важны самые, повидимому, незначительные особенности местностей в деле развития взаимных сношений между их обитателями.

** Впрочем, относительно моря надо заметить, что оно не всегда сближает людей. Ратцель («Antropo-Geographie», Stuttgart 1882, стр. 92) [«Антропо-география», Штутгарт 1882, стр. 92] справедливо замечает, что на известной низкой стадии развития море является *абсолютной* гра-

Географическая среда оказывает не менее решительное влияние и на судьбу более крупных обществ, на судьбу государств, возникающих на развалинах первобытных родовых организаций. «Не абсолютное плодородие почвы, а ее дифференцирование, разнообразие ее естественных произведений составляет естественную основу общественного разделения труда и заставляет человека, в силу разнообразия окружающих его естественных условий, разнообразить свои собственные потребности, способности, средства и способы производства. Необходимость установить общественный контроль над известной силой природы для ее эксплуатации в больших размерах, для ее подчинения человеку посредством организованных человеческих усилий, играет самую решительную роль в истории промышленности. Таково было значение регулирования воды в Египте, в Ломбардии, в Голландии или в Персии и в Индии, где орошение посредством искусственных каналов приносит земле не только необходимую воду, но в то же время в ее иле минеральное удобрение с гор. Тайна промышленного процветания Испании и Сицилии при арабах заключается в канализации» *.

ницей, т. е. делает невозможными какие бы то ни было сношения между разделенными им народами. С своей стороны сношения, возможность которых обусловливается первоначально исключительно свойствами географической среды, накладывают свою печать на физиономию первобытных племен. Островитяне сильно отличаются от обитателей континентов. «Die Bevölkerungen der Inseln sind in einigen Fällen völlig andere als die des nächst gelegenen Festlandes oder der nächsten grösseren Insel; aber auch wo sie ursprünglich derselben Rasse oder Völkergruppe angehören, sind sie immer weit von derselben verschieden; und zwar, kann man hinzusetzen, in der Regel weiter als die entsprechenden festländischen Abzweigungen dieser Rasse oder Gruppe untereinander» (*Ratzel*, l. c., S. 96). [«Народы, населяющие острова, в отдельных случаях полностью отличаются от народов близлежащего континента или же ближайшего большого острова; и даже там, где они первоначально принадлежали к одной и той же расе или группе народов, они все же всегда резко отличаются от этой расы; добавим, что, как правило, они больше отличаются друг от друга, чем соответствующие ответвления этой расы или группы, живущие на континенте» (*Ратцель*, цит. соч., стр. 96).] Тут повторяется тот же закон, что и в образовании животных видов и разновидностей.

* *Маркс*, Das Kapital. Dritte Auflage, S. 524—526 [1]. [*Маркс*, Капитал, изд. 3, стр. 524—526.] В примечании (стр. 526) Маркс прибавляет: «Одним из естественных оснований государственной власти над лишенными взаимной связи маленькими производительными организмами Индии было регулирование притока воды. Магометанские владыки Индии поняли это лучше, чем их английские преемники». С приведенным в тексте мнением Маркса сопоставим мнение новейшего исследования: «Unter dem, was die lebende Natur dem Menschen an Gaben bietet, ist nicht der Reichtum an Stoffen, sondern der an Kräften oder, besser gesagt, Kräfteanregungen am höchsten zu schätzen». (*Ratzel*, l. cit., S. 343.) [«Среди всех даров, которые живая природа дает человеку, наибольшую ценность имеет не материальное богатство, а богатство в силах, или, выражаясь лучше, в побуждениях к развитию сил». (*Ратцель*, цит. соч., стр. 343.)]

Таким образом, *только благодаря некоторым особенным свойствам географической среды наши антропоморфные предки могли подняться на ту высоту умственного развития, которая была необходима для превращения их в toolmaking animals. И точно так же только некоторые особенности той же среды могли дать простор для употребления в дело и постоянного усовершенствования этой новой способности «делания орудий»*. В историческом процессе развития производительных сил способность человека к «деланию орудий» приходится рассматривать прежде всего как *величину постоянную*, а окружающие внешние условия употребления в дело этой способности — как *величину постоянно изменяющуюся* *.

Различие результатов (*ступеней культурного развития*), достигнутых различными человеческими обществами, объясняется именно тем, что окружающие условия не позволили различным человеческим племенам в одинаковой мере употребить в дело свою способность «изобретать». Есть школа антропологов, приурочивающая различие названных результатов к различным свойствам *человеческих рас*. Но взгляд этой школы не выдерживает критики: он представляет собою лишь новую вариацию старого приема объяснения исторических явлений ссылками на «человеческую природу» (т. е. здесь ссылками на

* «Мы должны остерегаться, — говорит Л. Гейгер,— приписывать размышлению слишком большое участие в происхождении орудий. Открытие первых, в высшей степени важных орудий произошло, конечно, случайно, как и многие великие открытия новейшего времени. Они были, конечно, скорее найдены, чем изобретены. К этому взгляду я пришел в особенности в силу того обстоятельства, что названия орудий никогда не производятся от их обработки, что они (т. е. названия) никогда не имеют генетического характера, а происходят от того употребления, которое дается орудиям. Так, в немецком языке Scheere (ножницы), Säge (пила), Hacke (кирка) суть предметы, обрезывающие (scheeren), пилящие (sägen), рубящие (hacken). Этот закон языка должен тем более обращать на себя внимание, что названия приспособлений, которые не представляют из себя орудий, образуются генетическим, пассивным путем от того материала или той работы, из которой или благодаря которой они возникают. Например, мех, как вместилище для вина, во многих языках первоначально обозначает содранную с животного шкуру: немецкому Schlauch соответствует английское slough — змеиная шкура. Греческое ascós — одновременно мех, в смысле вместилища, и звериная шкура. Тут, стало быть, язык вполне явственно показывает нам, как и из чего приготовлено приспособление, именуемое мехом. Не то по отношению к орудиям; и они первоначально, если основываться на языке, не были вовсе изготовлены; так, первым ножом мог явиться случайно найденный и, я бы сказал, играючи пущенный в дело заостренный камень». (*L. Geiger*, Die Urgeschichte der Menschheit im Lichte der Sprache. Mit besonderer Beziehung auf die Entstehung des Werkzeugs, S. 36—37. В сборнике: «Zur Entwickelungs geschichte der Menschheit», Stuttgart 1878.) [*Л. Гейгер*, «Первобытная история человечества в свете языка, в которой специальное внимание уделяется происхождению орудий труда», стр. 36—37. В сборнике: «К истории развития человечества», Штутгарт 1878.]

природу расы) и по своей научной глубине не далеко ушел от взглядов мольеровского доктора, глубокомысленно изрекшего: опий усыпляет потому, что имеет свойство усыплять (раса отстала потому, что имела свойство отставать).

Действуя на природу вне его, человек изменяет свою собственную природу. Он развивает все свои способности, а между ними и способность к «деланию орудий». *Но в каждое данное время мера этой способности определяется мерой уже достигнутого развития производительных сил.*

Раз орудие труда становится предметом производства, самая возможность, равно как бо́льшая или меньшая степень совершенства его изготовления, целиком зависит от тех орудий труда, с помощью которых оно выделывается. Это понятно всякому и без всяких пояснений. Но вот что, например, может показаться на первый взгляд совсем непонятным: Плутарх, упомянув об изобретениях, сделанных Архимедом во время осады Сиракуз римлянами, находит нужным *извинить* изобретателя: философу, конечно, неприлично заниматься такого рода вещами, рассуждает он, но Архимеда оправдывает крайность, в которой находилось его отечество. Мы спрашиваем: кому придет теперь в голову искать обстоятельств, смягчающих вину Эдисона? Мы не считаем теперь постыдным — совсем напротив! — употребление человеком в дело его способности к механическим изобретениям, а греки (или, если хотите, римляне), как видите, смотрели на это совсем иначе. Оттого ход механических открытий и изобретений должен был совершаться у них — и действительно совершался — несравненно медленнее, чем у нас. Тут как будто опять выходит, что *мнения правят миром*. Но откуда взялось у греков такое странное «мнение»? Происхождения его нельзя объяснить свойствами человеческого «разума». Остается припомнить их общественные отношения. Греческие и римские общества были, как известно, обществами *рабовладельцев*. В таких обществах весь физический труд, все дело производства достается на долю рабов. Свободный человек *стыдится* такого труда, и потому, естественно, устанавливается презрительное отношение даже к важнейшим изобретениям, касающимся производительных процессов и, между прочим, к изобретениям механическим. Вот почему Плутарх смотрел на Архимеда не так, как мы смотрим теперь на Эдисона *. Но почему же в Греции установилось рабство?

* «Основателями (этой механики)... явились Эвдокс и Архит, которые дали геометрии более пестрое и интересное содержание, игнорируя, ради непосредственно осязаемых и технически важных применений этой науки, ее отвлеченные и недоступные графическому изображению проблемы... А когда Платон с негодованием указал им, что они уничтожают величие геометрии, которая в их руках удаляется от предметов бесте-

Не потому ли, что греки в силу некоторых промахов своего «разума» считали рабский строй наилучшим? Нет, не потому. Было время, когда и у греков не было рабства, и тогда они вовсе не считали рабовладельческого общественного строя естественным и неизбежным. Потом возникло у греков рабство и постепенно стало играть все более и более важную роль в их жизни. Тогда изменился и взгляд на него греческих граждан: они стали отстаивать его как совершенно естественное и безусловно необходимое учреждение. Но почему же возникло и развилось у греков рабство? Вероятно, по той же самой причине, по какой возникало и развивалось оно и в других странах на известной стадии их общественного развития. А эта причина известна: она заключается в состоянии производительных сил. В самом деле, для того, чтобы мне из побежденного неприятеля выгоднее было сделать раба, чем жаркое, нужно, чтобы продуктом его подневольного труда могло поддерживаться не только его собственное, а, по крайней мере отчасти, и мое существование,— другими словами, нужна известная степень развития находящихся в моем распоряжении производительных сил. Именно через эту дверь и входит рабство в историю. Рабский труд мало благоприятствует развитию производительных сил; при нем оно подвигается крайне медленно, но все-таки оно подвигается, и наступает, наконец, такой момент, когда эксплуатация рабского труда оказывается менее выгодной, чем эксплуатация труда свободного. Тогда рабство *отменяется* или постепенно *отмирает*. Ему указывает на дверь то самое развитие производительных сил, которое ввело его в историю *. Таким

лесных и отвлеченных и обращается к предметам чувственным, нуждающимся в грубой ремесленной обработке, то механика, изгнанная из математики, отделилась от нее и, не пользуясь долгое время никаким вниманием со стороны философии, сделалась одной из вспомогательных наук военного искусства». (*Plutarchi* Vita Marcelli, edit. Teubneriana, C. Sintenis, Lipsiae 1883, Cap. XIV, p. p. 135—136.) [*Плутарха* Жизнь Марцелла, изд. Тейбнер, Лейпциг 1883, гл. XIV, стр. 135—136.] Как видит читатель, взгляд Плутарха был далеко не нов в то время.

* Известно, что в течение долгого времени русские крестьяне сами могли иметь, и нередко имели, крепостных. Состояние крепостного не могло быть приятно крестьянину. Но при тогдашнем состоянии производительных сил России ни один крестьянин не мог находить это состояние ненормальным. Запасшийся деньжонками «мужичок» так же естественно задумывался о покупке крепостных, как римский вольноотпущенник стремился к приобретению рабов. Восставшие под предводительством Спартака рабы вели войну с своими господами, но не с рабством; если бы им удалось завоевать себе свободу, они при благоприятных обстоятельствах сами и с самою спокойною совестью сделались бы рабовладельцами. Невольно вспоминаются при этом, приобретая новый смысл, слова Шеллинга: *свобода должна быть необходима.* История показывает, что любой из видов свободы является только там, где он становится экономической необходимостью.

образом, мы, возвращаясь к Плутарху, видим, что его взгляд на изобретения Архимеда был обусловлен состоянием производительных сил в его время. А так как взгляды такого рода, несомненно, имеют огромное влияние на дальнейший ход открытий и изобретений, то мы тем более можем сказать, что *у каждого данного народа, в каждый данный период его истории дальнейшее развитие его производительных сил определяется состоянием их в рассматриваемый период* [1].

Само собою разумеется, что всюду, где мы имеем дело с открытиями и изобретениями, мы имеем дело и с «разумом». Без разума открытия и изобретения были бы так же невозможны, как невозможны они были до появления на земле человека. Излагаемое нами учение вовсе не упускает из виду роли разума; оно только старается объяснить, почему разум в каждое данное время *действовал так, а не иначе*; оно не пренебрегает успехами разума, а только старается найти для них достаточную причину.

Против того же учения стали охотно делать в последнее время другое возражение, которое мы предоставим изложить г. Карееву:

«С течением времени,— говорит этот писатель, с грехом пополам изложив историческую философию Энгельса,— Энгельс дополнил свой взгляд новыми соображениями, которые внесли в него существенное изменение. Если ранее он признавал за основу материального понимания истории только исследование экономической структуры общества, то позднее он признал равносильное значение и за исследованием семейного устройства, что случилось под влиянием нового представления о первобытных формах брачных и семейных отношений, заставившего его принять в расчет не один только процесс производства продуктов, но и процесс воспроизведения человеческих поколений. В данном отношении влияние шло, в частности, со стороны «Древнего общества» Моргана» * и проч. [2]

Итак, если раньше Энгельс «признавал за основу материального (?) понимания истории исследование экономической структуры общества», то позднее, «признав равносильное значение» и проч., он, собственно говоря, перестал быть «экономическим» материалистом. Г-н Кареев излагает это происшествие тоном беспристрастного историка, а г. Михайловский по поводу его «скачет и играет», но оба они говорят в сущности одно и то же и оба повторяют то, что раньше их сказал крайне поверхностный немецкий писатель Вейзенгрюн в своей книге «Entwickelungsgesetze der Menschheit» **[3].

* См. «Экономический материализм в истории» — «Вестник Европы», август 1894 г., стр. 601.

** [«Законы развития человечества».]

Вполне естественно, что такой замечательный человек, как Энгельс, внимательно следя в течение целых десятилетий за научным движением своего времени, очень существенно «дополнял» свой основной взгляд на историю человечества. Но есть дополнения и дополнения, как есть «fagot et fagot» *. В данном случае весь вопрос в том, *изменились ли взгляды* Энгельса в силу вносимых в них «дополнений»; был ли он действительно вынужден признать рядом с развитием «производства» действие другого фактора, будто бы «равносильного» первому? Легко ответить на этот вопрос всякому, у кого есть хоть маленькая охота отнестись к нему внимательно и серьезно.

Слоны отмахиваются иногда от мух ветками, говорит Дарвин. Мы заметили по этому поводу, что тем не менее эти ветки не играют в жизни слонов никакой существенной роли, что слон не потому стал слоном, что пользовался ветками. Но слон размножается. У самца слона существует известное отношение к самке. У самца и самки существует известное отношение к детенышам. Ясно, что не «ветками» созданы эти отношения: они созданы общими условиями жизни этого вида, условиями, в которых роль «ветки» так бесконечно мала, что ее без всякой ошибки можно приравнять *к нулю*. Но вообразите, что в жизни слона ветка начинает приобретать все более и более важное значение в том смысле, что она начинает все более и более влиять на склад тех общих условий, от которых зависят все привычки слонов, а наконец и самое их существование. Вообразите, что ветка приобрела, наконец, *решающее* влияние в деле создания этих условий,— тогда придется признать, что ею определяется в последнем счете и отношение слона к самке и к детенышу. Тогда придется признать, что было время, когда «семейные» отношения слонов развивались самостоятельно (в смысле отношения их к ветке), но что потом наступило такое время, когда они стали определяться «веткою». Будет ли что-нибудь странное в таком признании? Ровно ничего, кроме странности самой гипотезы относительно неожиданного приобретения веткой решающего значения в жизни слона. Мы и сами знаем, что по отношению к слону эта гипотеза не может не показаться странной; но в применении к истории *человека* дело обстоит иначе.

Человек лишь постепенно выделился из животного мира. Было время, когда в жизни наших человекоподобных предков орудия играли такую же ничтожную роль, какую играет ветка в жизни слона. В течение этого очень долгого времени отношения человекоподобных самцов к человекоподобным самкам, равно как и отношение тех и других к их человекоподобным де-

* [«вещь вещи рознь».]

тенышам, определялись общими условиями жизни этого вида, не имеющими к *орудиям труда* никакого отношения. От чего зависели тогда «семейные» отношения наших предков? Объяснить это должны натуралисты. Историку тут делать пока еще нечего. Но вот орудия труда начинают играть все более и более важную роль в жизни человека, производительные силы все более и более развиваются, и наступает, наконец, такой момент, когда они приобретают решительное влияние на весь склад общественных, т. е., между прочим, и семейных, отношений. Тут уже начинается *дело историка*: он должен показать, как и почему изменялись семейные отношения наших предков в связи с развитием их производительных сил, как развивалась семья в зависимости от экономических отношений. Но понятно, что, раз он возьмется за дело такого объяснения, ему при изучении первобытной семьи придется считаться не с одной только экономией; ведь люди размножались и раньше того, когда орудия труда приобрели решающее значение в человеческой жизни; ведь и раньше этого времени существовали какие-то семейные отношения, которые определялись общими условиями существования вида — homo sapiens *. Что же, собственно, придется тут делать историку? Ему придется, во-первых, потребовать формулярный список этого вида у натуралиста, сдающего ему с рук на руки дальнейшее изучение развития человека; ему придется, во-вторых, пополнять этот список «собственными средствами». Другими словами, ему придется взять «семью» как она создалась, скажем, в зоологический период развития человечества и затем показать, какие изменения были внесены в нее в течение *исторического* периода под влиянием развития производительных сил, вследствие изменений в экономических отношениях. Вот только это и говорит Энгельс. И мы спрашиваем: когда он говорит это, изменяет ли он хоть немного свой «первоначальный» взгляд на значение производительных сил в истории человечества? Принимает ли он рядом с действием этого фактора действие какого-то другого, «равносильного» ему? Кажется, ничего не изменяет, кажется, ничего такого не принимает. Ну, а если нет, то почему же толкуют об изменении его взглядов гг. Вейзенгрюн и Кареев, почему скачет и играет г. Михайловский? Вернее всего, что по причине собственного легкомыслия.

«Но ведь странно же сводить историю семьи к истории экономических отношений, хотя бы в течение того, что вы называете историческим периодом»,— хором кричат наши противники. Может быть, странно, а может быть, и не странно: об этом можно спорить, скажем мы словами г. Михайловского.

* [мыслящий человек.]

И мы не прочь поспорить с вами, господа, но только с одним условием: в течение спора ведите себя серьезно, внимательно вдумывайтесь в смысл наших слов, не приписывайте нам ваших собственных измышлений и не торопитесь с открытием у нас таких противоречий, которых ни у нас, ни у наших учителей нет и никогда не было. Согласны? Очень хорошо, давайте спорить.

Нельзя объяснять историю семьи историей экономических отношений,— говорите вы: это узко, односторонне, ненаучно. Мы утверждаем противное и обращаемся к посредничеству специальных исследователей.

Вам, конечно, знакома книга Жиро-Тэлона: «Les origines de la famille»? * Мы развертываем эту знакомую вам книгу и находим там, например, такое место:

«Причины, которые вызвали возникновение внутри первобытного племени (Жиро-Тэлон говорит, собственно, «внутри орды» — de la horde) обособленных семейных групп, повидимому, связываются с ростом богатства этого племени. Введение в употребление или открытие какого-нибудь хлебного растения, приручение какого-нибудь нового вида животных могли быть достаточною причиной коренных преобразований в диком обществе: все великие успехи в цивилизации всегда совпадали с глубокими изменениями в экономическом быте населения» (стр. 138) **.

Несколькими страницами далее:

«Повидимому, переход от системы женского родства к системе родства мужского в особенности ознаменовался столкновениями юридического характера на почве права собственности» (стр. 141).

Еще далее: «Организация семьи, в которой преобладает мужское право, повсюду, кажется мне, вызвана была действием силы столько же простой, как и стихийной... *действием права собственности*» (стр. 146).

Вам известно, конечно, какое значение в истории первобытной семьи приписывает Мак-Леннан убийству детей женского пола? Энгельс, как известно, относится очень отрицательно к исследованиям Мак-Леннана; но тем интереснее для нас в данном случае ознакомиться со взглядом этого последнего на причину, вызвавшую появление детоубийства, которое будто бы оказало столь решительное влияние на историю семьи.

«Для племен, окруженных врагами и, при слабом развитии техники, лишь с трудом поддерживающих свое существование, сыновья являются источником силы как в смысле защиты,

* [«Происхождение семьи».]
** Мы цитируем по французскому изданию 1874 г.

так и в смысле добывания пищи, дочери — источником слабости» *.

Что же вызвало, по мнению Мак-Леннана, убийство первобытными племенами детей женского пола? Недостаток средств существования, слабость производительных сил, так как, будь у этих племен достаточно пищи, то, вероятно, не стали бы они убивать своих девочек из боязни, что со временем придут неприятели и, пожалуй, убьют их или возьмут в плен.

Повторяем, Энгельс не разделяет взгляда Мак-Леннана на историю семьи, да и нам он кажется очень неудовлетворительным; но для нас важно здесь то, что и Мак-Леннан грешит тем же грехом, в котором упрекают Энгельса: и он ищет в состоянии производительных сил разгадки истории семейных отношений.

Продолжать ли нам наши выписки, цитировать ли Липперта, Моргана? Мы не видим в этом надобности: кто читал их, тот знает, что в этом отношении они такие же грешники, как Мак-Леннан или Энгельс. Не без греха в этом случае, как известно, и Спенсер, социологические воззрения которого не имеют, однако, ровно ничего общего с «экономическим материализмом».

Этим последним обстоятельством можно воспользоваться, конечно, для полемических целей и сказать: ну вот, видите! Стало быть, можно же сходиться с Марксом и Энгельсом по тому или другому отдельному вопросу и не разделять их общей исторической теории! Конечно, можно. Весь вопрос только в том, на чьей стороне окажется при этом логика.

Пойдем дальше.

Развитие семьи определяется развитием права собственности, говорит Жиро-Тэлон, прибавляя, что все вообще успехи цивилизации совпадают с изменениями в экономическом быте человечества. Читатель, вероятно, и сам заметил, что Жиро-Тэлон держится совсем не точной терминологии: у него понятие «право собственности» как бы покрывается понятием «экономический быт». Но ведь право есть право, а экономия есть экономия, и не годится смешивать эти два понятия. Откуда взялось данное право собственности? Может быть, оно возникло под влиянием экономии данного общества (гражданское право служит всегда лишь выражением экономических отношений, говорит Лассаль), а может быть, оно обязано своим происхождением какой-нибудь совершенно другой причине. Тут надо продолжать анализ, а не прерывать его именно в тот момент, когда он приобретает особенно глубокий, наиболее жизненный интерес.

---

* «Studies in ancient history,— primitive marriage», by *John Ferg. Mac-Lennan*, p. 75. [*Джон Ферг. Мак-Леннан*, «Исследования по древней истории,— первобытный брак», стр. 75.]

Мы уже видели, что французские историки времен реставрации не нашли удовлетворительного ответа на вопрос о происхождении права собственности. Г-н Кареев в своей статье «Экономический материализм в истории» касается немецкой исторической школы права. Не мешает и нам припомнить взгляды этой школы.

Вот что говорит о ней наш профессор: «Когда в начале нынешнего столетия в Германии возникла так называемая «историческая школа права» [1], начавшая рассматривать право не как неподвижную систему юридических норм, какою оно представлялось прежним юристам, а как нечто движущееся, изменяющееся, развивающееся, то в этой школе обнаружилась сильная тенденция противопоставить исторический взгляд на право, как единственно и исключительно верный, всем другим возможным в этой области точкам зрения: историческое воззрение никогда не допускало существования научных истин, применяемых ко всем временам,— т. е. того, что на языке новой науки носит название общих законов,— и даже прямо отрицало эти законы, а с ними и общую теорию права во имя идеи о зависимости права от местных условий — зависимости, конечно, существующей везде и всегда, но не исключающей начал, общих всем народам» *.

В этих немногих строках очень много...— как бы это выразиться? — скажем хоть, неправильностей, против которых воспротестовали бы представители и сторонники исторической школы права. Так, например, они сказали бы, что когда г. Кареев приписывает им отрицание «того, что на языке науки носит название общих законов», то он или умышленно искажает их взгляд, или самым неприличным для «историософа» образом путается в понятиях, смешивая те «законы», которые подлежат ведению истории права, с теми, которыми определяется историческое развитие народов: существования законов этого последнего порядка никогда не думала отрицать историческая школа права, она именно старалась найти такие законы, хотя ее усилия и не увенчались успехом. Но самая причина ее неудачи чрезвычайно поучительна, и если бы г. Кареев дал себе труд вдуматься в нее, то — кто знает? — может быть, он и выяснил бы себе, наконец, *«сущность исторического процесса»*.

В XVIII веке историю права склонны были объяснять действием «законодателя». Историческая школа резко восстала против этой склонности. Савиньи еще в 1814 году так формулировал новый взгляд: «Совокупность этого взгляда сводится вот к чему: всякое право возникает из того, что, по общеупотребительному, не совсем точному выражению, называется *обычным*

* «Вестник Европы», июль 1894 г., стр. 12.

правом, т. е. оно порождается сначала обычаем и верованием народа, а потом уже юриспруденцией; таким образом, оно повсюду создается внутренними, незаметно действующими силами, а не произволом законодателя» *.

Этот взгляд Савиньи развил впоследствии в своем знаменитом сочинении: «System des heutigen römischen Rechts» **. «Положительное право,— говорит он здесь,— живет в общем сознании народа, и потому мы можем также назвать его *народным правом*... Но этого ни в каком случае не надо также понимать в том смысле, что право создано отдельными членами народа по их произволу... Положительное право создается духом народа, живущим и действующим в его отдельных членах, и потому положительное право не случайно, а по необходимости является одним и тем же правом в сознании отдельных лиц» ***.

«Если мы,— продолжает Савиньи,— зададимся вопросом о происхождении государства, то должны будем в такой же мере стараться объяснить его себе высшею необходимостью, действием внутренней пластической силы, как и происхождение права вообще; и мы говорим это не только вообще о существовании государства, но о том особом виде, который государство принимает у каждого отдельного народа» ****.

Право возникает таким же «невидимым образом», как и язык, а живет оно в общем народном сознании не в виде «отвлеченных правил, а в виде живого представления правовых институтов в их органической связи», так что, когда в этом является надобность, отвлеченное правило выделяется, в своей логической форме, из этого общего представления, «посредством некоторого искусственного процесса (durch einen künstlichen Prozess)» *****.

Нам нет здесь никакого дела до практических стремлений исторической школы права; что же касается ее *теории*, то уже на основании приведенных слов Савиньи мы можем сказать, что она представляет собою:

1) реакцию против того распространенного в XVIII веке взгляда, что право создается произволом отдельных лиц («законодателей»); попытку найти научное объяснение истории права, понять эту историю как необходимый, а потому закономерный процесс;

* «Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft», von *D. Friedrich Carl von Savigny.* Dritte Auflage, Heidelberg 1840 [*Д. Фридрих Карл фон Савиньи*, О призвании нашей эпохи к законодательству и правовой науке, изд. 3, Гейдельберг 1840.] (первое издание 1814), S. 14.

** [«Система современного римского права».]

*** Erster Band, S. 14—15 [первый том, стр. 14—15] (берлинское издание 1840 г.).

**** Ibid., S. 22. [Там же, стр. 22.]

***** Ibid., S. 16. [Там же, стр. 16.]

2) попытку объяснить этот процесс, исходя из совершенно *идеалистической точки зрения*: «народный дух», «народное сознание» есть последняя инстанция, к которой апеллировала историческая школа права.

У Пухты идеалистический характер взглядов этой школы выражается еще резче.

Первобытное право у Пухты, как и у Савиньи, есть обычное право. Но как возникает обычное право? Часто высказывается то мнение, что это право создается житейской практикой (Uebung), но это лишь частный случай материалистического взгляда на происхождение народных понятий. «Справедлив как раз обратный взгляд: житейская практика есть лишь последний момент, в ней лишь выражается и воплощается возникшее право, живущее в убеждении сынов данного народа. Привычка влияет на убеждение лишь в том смысле, что оно благодаря ей становится сознательнее и прочнее» *.

Итак, убеждение народа относительно того или другого правового института создается независимо от житейской практики, ранее «привычки». Откуда же берется это убеждение? Оно вытекает из глубины народного духа. Данный склад этого убеждения у данного народа объясняется особенностями данного народного духа. Это очень темно, так темно, что тут нет и признака научного объяснения. Пухта и сам чувствует, что дело тут обстоит не совсем ладно, и старается поправить его таким рассуждением: «Право возникает невидимым путем. Кто мог бы взять на себя проследить те пути, которые ведут к возникновению данного убеждения, к его зачатию, к его росту, к его расцвету, к его проявлению? Те, которые брались за это, исходили по большей части из ошибочных представлений» **.

«По большей части...». Значит, существовали же и такие исследователи, исходные представления которых были правильны. К каким же заключениям относительно генезиса народноправовых взглядов пришли эти люди? Надо думать, что это осталось тайной для Пухты, потому что он не идет ни на шаг дальше бессодержательных ссылок на свойства народного духа.

Ничего не выясняет и вышеприведенное замечание Савиньи относительно того, что право живет в общем народном созна-

* «Cursus der Institutionen», Erster Band, Leipzig 1841, S. 31. [«Курс институций», т. 1, Лейпциг 1841, стр. 31.] В примечании Пухта сильно восстает против эклектиков, стремящихся согласить противоположные взгляды на происхождение права, и восстает в таких выражениях, что невольно является вопрос: да уж не предвидел ли он появления г. Кареева? Но, с другой стороны, надо сказать и то, что в Германии времен Пухты было достаточно и своих эклектиков: чего-чего другого, а умов этого рода везде и всегда непочатый угол.

** Ibid., S. 28. [Там же, стр. 28.]

нии не в виде отвлеченных правил, а «в виде живого представления правовых институтов в их органической связи». И нетрудно понять, что, собственно, побудило Савиньи сделать нам это несколько запутанное сообщение. Если бы мы предположили, что право существует в сознании народа «в виде отвлеченных правил», то этим самым, во-первых, мы столкнулись бы с «общим сознанием» юристов, которые отлично знают, как туго схватывает народ эти отвлеченные правила, а во-вторых, наша теория происхождения права приняла бы слишком уж невероятный облик. Выходило бы, что, прежде чем вступить в какие бы то ни было практические отношения друг с другом, прежде чем приобрести какой бы то ни было житейский опыт, люди, составляющие данный народ, вырабатывают себе определенные правовые понятия, запасшись которыми, как странник сухарями, они и пускаются в область житейской практики, выступают на исторический путь. Этому, разумеется, никто не поверит, и вот Савиньи устраняет «отвлеченные правила»: право существует в народном сознании не в виде определенных понятий; оно представляет собой не коллекцию уже готовых кристаллов, а более или менее насыщенный раствор, из которого, «когда в этом является надобность», т. е. при столкновении с житейской практикой, осаждаются потребные юридические кристаллы. Такой прием не лишен своей доли остроумия, но само собою разумеется, что он нимало не приближает нас к научному пониманию явлений.

Возьмем пример.

У эскимосов, по словам Ринка, почти нет правильной собственности; но, поскольку может быть речь о ней, он насчитывает три ее вида:

«1) Собственность, принадлежащая союзу нескольких семей, например зимние жилища...

2) Собственность, принадлежащая одной или, самое большее, трем родственным семьям, например летние палатки и все, что относится к домашнему хозяйству, как: лампы, бочки, деревянные блюда, каменные горшки и т. п.; лодка или *умиак*, служащий для перевозки всех этих предметов вместе с палаткою, сани с собаками... наконец, запас зимней провизии...

3) Частная собственность отдельных лиц... одежда, оружие и орудия, или все то, что человек сам лично употребляет в дело. Этим вещам приписывается даже какая-то таинственная связь с их собственником, напоминающая связь между душою и телом. Ссужать эти вещи кому-нибудь другому не в обычае» *.

* «Tales and Traditions of the Eskimo», by *Dr. Henry Rink*, p.p. 9 and 30. [*Д-р Генри Ринк*, «Сказания и предания эскимосов», стр. 9 и 30.]

Постараемся представить себе происхождение этих трех видов собственности с точки зрения старой исторической школы права.

Так как, по словам Пухты, убеждения предшествуют житейской практике, а не вырастают на почве привычки, то надо предположить, что дело происходило таким образом: прежде чем жить в зимних домах, прежде даже чем начать их строить, эскимосы пришли к убеждению, что, раз заведутся у них зимние дома, они должны будут принадлежать союзу нескольких семей; точно так же убедились наши дикари, что раз заведутся у них летние палатки, бочки, деревянные блюда, лодки, горшки, сани и собаки, то все это должно будет составлять собственность одной семьи или, самое большее, трех родственных семей; наконец, не менее твердое убеждение было у них относительно того, что одежда, оружие и орудия должны составлять личную собственность и что даже ссужать этих вещей не следует. Прибавим к этому, что, вероятно, все эти «убеждения» существовали не в виде отвлеченных правил, а «в виде живого представления правовых институтов в их органической связи» и что из этого раствора правовых понятий осаждались потом — «когда в этом являлась надобность», т. е. по мере столкновения с зимними жилищами, с летними палатками, с бочками, с каменными горшками, с деревянными блюдами, лодками, санями и собаками,— нормы обычного эскимосского права в их более или менее «логической форме». Свойства же упомянутого правового раствора определялись таинственными свойствами эскимосского духа.

Это вовсе не научное объяснение; это простые Redensarten *, как говорят немцы.

Та разновидность идеализма, которой придерживались сторонники исторической школы права, оказалась в деле объяснения общественных явлений еще менее состоятельной, чем гораздо более глубокий идеализм Шеллинга и Гегеля.

Как вышла наука из того тупого переулка, в котором очутился идеализм? Послушаем одного из замечательнейших представителей современного сравнительного правоведения — г. М. Ковалевского.

Указав на то, что общественный быт первобытных племен носит на себе печать коммунизма, г. Ковалевский (слушайте, г. В. В.: это тоже «профессор») говорит:

«Если мы спросим себя о действительных основаниях такого порядка, если мы захотим узнать причины, которые заставляли наших первобытных предков и еще заставляют современных дикарей держаться более или менее резко выраженного комму-

* [пустые слова]

низма, нам надо будет в особенности узнать первобытные способы производства. Ибо распределение и потребление богатств должно определяться способами их создания. А на этот счет вот что говорит этнография: у охотничьих и рыболовных народов добывание пищи производится обыкновенно большими группами (en hordes)... В Австралии охота на кенгуру производится вооруженными отрядами из нескольких десятков и даже сотен туземцев. То же происходит в северных странах при охоте на оленя... Не подлежит сомнению, что человек не способен в одиночку поддерживать свое существование; он нуждается в помощи и поддержке, и его силы удесятеряются ассоциацией... Таким образом, мы видим в начале общественного развития общественное производство и, как необходимое естественное следствие этого, общественное потребление. Этнография изобилует фактами, доказывающими это» *.

Приведя идеалистическую теорию Лерминье [1], по которой частная собственность является из самосознания личности, г. Ковалевский продолжает:

«Нет, это не так. Не потому первобытный человек приходит к мысли о личном присвоении отесанного камня, который служит ему оружием, или шкуры, которая покрывает его тело. Он приходит к этой мысли вследствие применения своих индивидуальных сил к производству предмета. Кремень, служащий ему топором, отесан его собственными руками. На охоте, которою он занимается вместе с многочисленными товарищами, он нанес последний удар животному, и потому шкура этого животного становится его личной собственностью. Обычное право дикарей отличается большою точностью на этот счет. Оно заботливо предусматривает, например, тот случай, когда преследуемое животное пало под совместными ударами двух охотников: в этом случае шкура животного присуждается тому охотнику, стрела которого проникла ближе к сердцу. Оно предусматривает также и тот случай, когда уже раненое животное было добито случайно подвернувшимся охотником. Приложение индивидуального труда логически порождает, следовательно, и индивидуальное присвоение. Мы можем проследить это явление через всю историю. Тот, кто посадил фруктовое дерево, становится его собственником... Позднее воин, завоевавший известную добычу, становится ее исключительным

* *M. Kovalevsky*, Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété. Stockholm 1890, p. p. 52—53. [*М. Ковалевский*, Картина происхождения и эволюции семьи и собственности. Стокгольм 1890, стр. 52—53.] В книге покойного *Н. Зибера* «Очерки первобытной экономической культуры» читатель найдет множество фактов, как нельзя более ясно показывающих, что способы присвоения определяются способами производства.

собственником, так что семья его уже не имеет на нее никаких прав; точно так же семья жреца не имеет прав на те жертвы, которые приносятся верующими и поступают в его личную собственность. Все это одинаково хорошо подтверждается и индийскими законами и обычным правом южных славян, донских казаков или древних ирландцев. И важно именно не ошибиться относительно истинного принципа такого присвоения, являющегося результатом применения личных усилий к добыванию известного предмета. В самом деле, когда к личным усилиям человека присоединяется помощь его ближних... добытые предметы уже не становятся частной собственностью» *.

После всего сказанного понятно, что предметами личного присвоения раньше всего становятся оружие, одежда, пища, украшение и т. п. «Уже с первых шагов приручения животных собаки, лошади, кошки, рабочий скот составляют важнейший фонд присвоения личного и семейного...» **. Но до какой степени организация производства продолжает влиять на способы присвоения, показывает, например, такой факт: у эскимосов охота на китов совершается в больших лодках, большими отрядами; служащие для этой цели лодки составляют общественную собственность, а маленькие лодки, служащие для перевозки предметов семейной собственности, сами принадлежат отдельным семьям или, «самое большее,— трем родственным семьям».

С появлением земледелия земля делается также предметом присвоения. Субъектами поземельной собственности становятся более или менее крупные кровные союзы. Это, разумеется, один из видов *общественного* присвоения. Как объяснить его происхождение? «Нам кажется,— говорит г. Ковалевский,— что причины его лежат в том же самом общественном производстве, которое повело за собою некогда присвоение большей части движимых предметов» ***.

Нечего и говорить, что, раз возникнув, *частная* собственность вступает в противоречие с более древним способом *общественного* присвоения. Там, где быстрое развитие производительных сил открывает все более и более широкое поле для «единоличных усилий», общественная собственность довольно быстро исчезает или продолжает свое существование в виде, так сказать, *рудиментарного* института. Ниже мы увидим, что этот процесс разложения первобытной общественной собственности в разные времена и в разных местах по самой естественной, *материальной* необходимости должен был отличаться большим разнообразием. Теперь же мы отметим лишь тот общий

* Ibid., p. 95. [Там же, стр. 95.]
** Ibid., p. 57. [Там же, стр. 57.]
*** Ibid., p. 93. [Там же, стр. 93.]

вывод современной науки права, что *правовые понятия* — убеждения, как сказал бы Пухта,— всюду *определяются способами производства*.

Шеллинг говорил когда-то, что явление магнетизма надо понимать как внедрение «субъективного» в «объективное». Все попытки найти идеалистическое объяснение для истории права представляют собою не более как дополнение, «Seitenstück», к идеалистической натурфилософии. Это все те же, иногда блестящие, остроумные, но всегда произвольные, всегда неосновательные, рассуждения на тему о самодовлеющем, *саморазвивающемся* духе.

Правовое убеждение уже по одному тому не могло *предшествовать* житейской практике, что если бы оно не *выросло из нее*, то оно явилось бы совершенно *беспричинным*. Эскимос стоит за личное присвоение одежды, оружия и орудий труда по той простой причине, что такое присвоение гораздо удобнее и что оно подсказывается *самими свойствами вещей*. Чтобы научиться хорошо владеть своим оружием, своим луком или бумерангом, первобытный охотник должен *примениться к нему*, хорошо изучив все его индивидуальные особенности, и по возможности *применить его* к своим собственным индивидуальным особенностям *. Частная собственность здесь в порядке вещей гораздо более, чем какой-либо другой вид присвоения, и потому дикарь «убежден» в ее преимуществах: он, как мы знаем, даже приписывает орудиям индивидуального труда и оружию какую-то таинственную связь с их собственником. Но его убеждение выросло на почве житейской практики, а не предшествовало ей и обязано своим происхождением не свойствам его

* Известно, что тесная связь между охотником и его оружием существует у всех первобытных племен. «Der Jäger darf sich keiner fremden Waffen bedienen» [«Охотник не должен пользоваться никаким чужим оружием»],—говорит Марциус о первобытных обитателях Бразилии, тут же поясняя, откуда взялось у этих дикарей такое «убеждение»: «Besonders behaupten diejenigen Wilden, die mit dem Blasrohr schiessen, dass dieses Geschoss durch den Gebrauch eines Fremden verdorben werde, und geben es nicht aus ihren Händen». («Von dem Rechtszustande unter den Ureinwohnern Brasiliens». München 1832, S. 50.) [«В особенности те дикари, которые стреляют из духовой трубки, утверждают, что это оружие портится, когда им пользуется чужеземец, и они не выпускают его из своих рук». («О правовых отношениях среди аборигенов Бразилии», Мюнхен 1832, стр. 50.)]

«Die Führung dieser Waffen (лук и стрелы) erfordert eine grosse Geschicklichkeit und beständige Uebung. Wo sie bei Wilden Völkern im Gebrauche sind, berichten uns die Reisenden, dass schon die Knaben sich mit Kindergeräten im Schiessen üben». (*Oskar Peschel*, Völkerkunde, Leipzig 1875, S. 190.) [«Пользование этим оружием (лук и стрелы) требует большой сноровки и постоянного упражнения. Путешественники сообщают, что там, где оружие употребляется дикими народами, уже мальчики упражняются в стрельбе из детского оружия». (*Оскар Пешель*, Народоведение, Лейпциг 1875, стр. 190.)]

«духа», а свойствам тех вещей, с которыми он имеет дело, и характеру тех способов производства, которые неизбежны для него при данном состоянии его производительных сил.

До какой степени житейская практика предшествует правовому «убеждению», показывает множество существующих в первобытном праве символических действий. Способы производства изменились, изменились с ними и взаимные отношения людей в производительном процессе, изменилась житейская практика, а «убеждение» сохранило свой старый вид. Оно противоречит новой практике, и вот появляются фикции, символические знаки, действия, единственная цель которых заключается в формальном устранении этого противоречия. С течением времени противоречие устраняется, наконец, существенным образом: на почве новой экономической практики складывается новое правовое убеждение.

Недостаточно констатировать появление в данном обществе частной собственности на те или другие предметы, чтоб тем самым уже определить характер этого института. Частная собственность всегда имеет пределы, которые всецело зависят от экономии общества. «В диком состоянии человек присваивает себе лишь вещи, непосредственно ему полезные. Излишек, хотя бы он и был приобретен трудом его рук, уступается им обыкновенно безвозмездно другим: членам семьи или клана, или племени»,— говорит г. Ковалевский. Совершенно то же самое говорит Ринк об эскимосах [1]. Откуда же возникают такие порядки у диких народов? По словам г. Ковалевского, они обязаны своим происхождением тому, что дикари незнакомы со *сбережением* *. Это не совсем ясное выражение неудачно особенно потому, что им очень злоупотребляли вульгарные экономисты. Тем не менее понятно, в каком смысле употребляет его наш автор. «Сбережение» действительно незнакомо первобытным народам по той простой причине, что им неудобно, прямо сказать, невозможно практиковать его. Мясо убитого зверя может быть «сбережено» лишь в незначительной степени: оно портится и тогда становится совершенно негодным для употребления. Конечно, если бы его можно было продать, то очень легко было бы «сберечь» вырученные за него деньги. Но деньги еще не существуют на этой стадии экономического развития. Следовательно, сама экономия первобытного общества ставит тесные пределы развитию духа «бережливости». Кроме того, сегодня мне посчастливилось убить большое животное и я поделился его мясом с другими, а завтра (охота дело неверное) я вернулся с пустыми руками и со мною делятся добычей другие члены моего рода. Обычай делиться является, таким образом,

* L. с., р. 56. [Цит. соч., стр. 56.]

чем-то вроде взаимного страхования, без которого было бы совершенно невозможно существование охотничьих племен. Наконец, не надо забывать, что у таких племен частная собственность существует лишь в зачаточном состоянии, преобладает же собственность *общественная*; привычки и обычаи, выросшие на этой почве, в свою очередь ставят пределы произволу личного собственника. Убеждение и здесь следует за экономией.

Связь правовых понятий людей с их экономическим бытом хорошо выясняется тем примером, который охотно и часто приводил в своих сочинениях Родбертус. Известно, что древние римские писатели энергично восставали против *ростовщичества*. Катон-цензор находил, что ростовщик вдвое хуже вора (так и говорил старик: ровно вдвое). В этом отношении с языческими писателями совершенно сходились отцы христианской церкви. Но — замечательное дело! — и те и другие восставали против процента, приносимого *денежным* капиталом. К ссудам же натурой и к *лихве, приносимой ими*, они относились несравненно мягче. Почему эта разница? Потому, что именно денежный, ростовщический капитал производил страшное опустошение в тогдашнем обществе, потому, что именно он *«губил Италию»*. Правовое «убеждение» и здесь шло рука об руку с экономией.

«Право есть чистый продукт необходимости или, точнее, нужды,— говорит Пост,— напрасно стали бы мы искать в нем какой бы то ни было идеальной основы» *. Мы сказали бы, что это совершенно в духе новейшей науки права, если бы наш ученый не обнаруживал довольно значительного и очень вредного по своим последствиям смешения понятий.

Говоря вообще, всякий социальный союз стремится выработать такую систему права, которая бы наилучше удовлетворяла его нуждам, которая была бы наиболее полезна для него в данное время. То обстоятельство, что данная совокупность правовых учреждений полезна или вредна для общества, никоим образом не может зависеть от свойств какой бы то ни было или чьей бы то ни было «идеи»: *оно зависит*, как мы видели, *от тех способов производства и от тех взаимных отношений между людьми, которые создаются этими способами*. В этом смысле у права нет и не может быть *идеальной* основы, так как основа его всегда *реальна*. Но *реальная основа* всякой данной системы права не исключает *идеального отношения к ней* со стороны членов данного общества. Взятое в целом, общество только выиграет от такого отношения к ней его членов. Наоборот,

* «Der Ursprung des Rechts. Prolegomena zu einer allgemeinen vergleichenden Rechtswissenschaft», von *Dr. Alb. Herm. Post*. Oldenburg 1876, S. 25. [*Д-р Альб. Герм. Пост*, «Происхождение права. Пролегомены к всеобщей сравнительной науке права», Ольденбург 1876, стр. 25.]

в переходные его эпохи, когда существующая в обществе система права уже не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие дальнейшего развития производительных сил, передовая часть населения может и должна идеализировать *новую систему учреждений*, более соответствующую «духу времени». Французская литература полна примерами такой идеализации нового, наступающего порядка вещей.

Происхождение права из «*нужды*» исключает «*идеальную*» основу права только в представлении тех людей, которые привыкли относить *нужды* к области *грубой материи* и противопоставлять эту область «чистому», чуждому всяких нужд «духу». В действительности «идеально» только то, что полезно людям, и всякое общество при выработке своих *идеалов* руководствуется только своими нуждами. Кажущиеся исключения из этого неоспоримо общего правила объясняются тем, что *вследствие развития общества его идеалы* нередко отстают от его *новых нужд* *.

Сознание зависимости общественных отношений от состояния производительных сил все более и более проникает в современную общественную науку, несмотря на неизбежный эклектизм множества ученых, несмотря на их идеалистические предрассудки. «Подобно тому как сравнительная анатомия возвысила на степень научной истины латинскую поговорку: «*по когтям узнаю льва*», так народоведение может от вооружения данного народа с точностью умозаключить к степени его цивилизации», — говорит уже цитированный нами Оскар Пешель **,—... «Со способом добывания пищи теснейшим образом связано расчленение общества. Всюду, где человек соединяется с человеком, является известная власть. Слабее всего общественные узы у бродячих охотничьих орд Бразилии. Но и им приходится защищать свои области, и они нуждаются по крайней мере в военном предводителе... Пастушеские племена

* Пост именно принадлежит к числу людей, которые далеко еще не покончили с идеализмом. Так, например, у него родовой союз соответствует охотничьему и кочевому быту; с появлением же земледелия и связанной с ним оседлости родовой союз уступает место «Gaugenossenschaft» (мы сказали бы: соседской общине). Кажется, ясно, что человек ищет ключа к объяснению истории общественных отношений не в чем ином, как в развитии производительных сил? В отдельных случаях Пост почти всегда верен такому направлению. Но это не мешает ему смотреть на «im Menschen schaffend ewigen Geist» [«вечный творческий дух, живущий в человеке»], как на основную причину истории права. Этот человек как будто нарочно создан для того, чтобы радовать г. Кареева.

** L. c., p. 139. [Цит. соч., стр. 139.] — Когда мы делали эту выписку, нам представилось, что г. Михайловский быстро поднимается с своего места, восклицая: «Я могу спорить против этого: китайцы могут быть вооружены английскими ружьями. Позволительно ли на основании этих ружей судить о степени их цивилизации?» Очень хорошо, г. Михайловский, от английских ружей нелогично умозаключать к китайской цивилизации; от них надо заключать именно к английской цивилизации.

находятся по большей части под властью патриархальных владык, так как стада принадлежат обыкновенно одному господину, которому служат его соплеменники или прежде независимые, а впоследствии обедневшие обладатели стад. Пастушескому образу жизни преимущественно, хотя и не исключительно, свойственны великие передвижения народов как на севере Старого Света, так и в южной Африке; напротив, история Америки знает только частные нападения диких охотничьих племен на привлекательные для них нивы культурных народов. Целые народы, покидая свои прежние места жительства, могли совершать большие, продолжительные походы лишь в сопровождении своих стад, которые доставляли им в пути необходимую пищу. Кроме того, степное скотоводство само побуждает к перемене пастбищ. С оседлым же образом жизни и земледелием тотчас является стремление воспользоваться трудом рабов... Рабство рано или поздно ведет к тирании, так как тот, кто имеет наибольшее число рабов, может с их помощью подчинить своему произволу слабейших... Разделение на свободных и рабов есть начало сословного разделения общества» *.

У Пешеля много соображений такого рода. Одни из них совершенно справедливы и очень поучительны; против других «можно спорить» не одному только г. Михайловскому. Но для нас важны здесь не частности, а общее направление мысли Пешеля. А это общее направление совершенно совпадает с тем, которое мы заметили уже у г. Ковалевского: в *способах производства, в состоянии производительных сил ищет он объяснения истории права и даже всего общественного устройства.*

А это именно и есть то, что давно уже и настоятельно советовал делать Маркс людям общественной науки. А в этом и заключается в значительной степени, хотя и не вполне (читатель ниже увидит, почему мы говорим: не вполне), смысл того знаменитого предисловия к «*Zur Kritik der politischen Oekonomie*» **, которому так не повезло у нас в России, которое было так страшно и так странно плохо понято большинством русских писателей, читавших его в подлиннике или в извлечениях.

«В общественном производстве своей жизни люди наталкиваются на известные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — *отношения производства*, которые соответствуют определенной степени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих отношений производства составляет *экономическую структуру* общества, реальную основу, на которой возвышается юридическая и политическая надстройка» [1].

* L. c., p. p. 252—253. [Цит. соч., стр. 252—253.]

** [«К критике политической экономии»]

Гегель говорит о Шеллинге, что у этого философа основные положения системы остаются неразвитыми и абсолютный дух является неожиданно, *как пистолетный выстрел* (wie aus der Pistole geschossen). Когда средний русский интеллигент слышит, что у Маркса «все сводится к экономической основе» (иные говорят просто: «к экономическому»), он теряется, как будто над его ухом неожиданно выстрелили из пистолета: «да почему же к экономическому?» — спрашивает он в тоске и недоумении. «Слов нет, важно и экономическое (особенно для бедных крестьян и рабочих). Но ведь не менее же важно и умственное (особенно для нас, для интеллигенции)». Предыдущее изложение, надеемся, показало читателю, что недоумение среднего российского интеллигента происходит в этом случае лишь оттого, что он, интеллигент, всегда был несколько беззаботен насчет «*особенно важного*» для него «*умственного*». Когда Маркс говорил, что «*анатомию гражданского общества надо искать в его экономии*», он вовсе не думал смущать ученый мир неожиданными выстрелами: он лишь давал прямой и точный ответ на «проклятые вопросы», мучившие мыслящие головы в *течение целого века*.

Французские материалисты, последовательно развивая свои сенсуалистические взгляды, пришли к тому выводу, что человек со всеми своими мыслями, чувствами и стремлениями составляет продукт окружающей его общественной среды. Чтобы идти дальше в применении материалистического взгляда к учению о человеке, надо было решить вопрос о том, чем же обусловливается строение общественной среды и каковы законы ее развития. Французские материалисты не умели ответить на этот вопрос и тем самым вынуждены были изменить себе, вернуться на старую, ими столь резко осужденную *идеалистическую* точку зрения: они говорили, что среда создается «*мнением*» людей. Не довольствуясь этим поверхностным ответом, французские историки времен реставрации поставили себе целью анализировать общественную среду. Результатом их анализа был тот чрезвычайно важный для науки вывод, что *политические конституции* коренятся в *социальных отношениях*, а социальные отношения определяются *состоянием собственности*. Вместе с этим выводом перед наукой возникал новый вопрос, не разрешив которого она не могла двинуться дальше: *от чего же зависит состояние собственности*? Разрешение этого вопроса оказалось не по силам французским историкам времен реставрации, и они вынуждены были отговариваться от него ровно ничего не объясняющими соображениями о свойствах человеческой природы. Жившие и действовавшие одновременно с ними великие идеалисты Германии — Шеллинг и Гегель — уже хорошо понимали неудовлетворительность точки зрения

человеческой природы. Гегель едко подсмеивался над нею. Они понимали, что ключ к объяснению исторического движения человечества надо искать *вне* природы человека. Это было большой заслугой с их стороны, но, чтобы эта заслуга оказалась вполне плодотворной для науки, надо было показать, *где же именно следует искать этого ключа*. Они искали его *в свойствах духа*, в логических *законах развития абсолютной идеи*. Это было коренной ошибкой великих идеалистов, возвращавшей их окольным путем к *точке зрения человеческой природы*, так как абсолютная идея — мы уже видели это — есть не что иное как олицетворение нашего логического процесса мышления. Гениальное открытие Маркса исправляет эту коренную ошибку идеализма, тем самым нанося ему смертельный удар: состояние собственности, а с ним и все свойства социальной среды (в главе об идеалистической философии мы видели, что и Гегель вынужден был признавать решающее значение «состояния собственности») определяются не свойствами абсолютного духа и не характером человеческой природы, а теми взаимными отношениями, в которые люди по необходимости становятся друг к другу «в общественном процессе производства своей жизни», т. е. в своей борьбе за существование. Маркса часто сравнивали с Дарвином,— сравнение, приводящее в смешливое настроение гг. Михайловского, Кареева и братию их. Ниже мы скажем, в каком смысле надо понимать это сравнение, хотя, вероятно, и без нас уже видят это многие читатели; теперь же мы позволим себе, не во гнев нашим субъективным мыслителям, другое сравнение.

До Коперника астрономия учила, что земля есть неподвижный центр, вокруг которого обращаются солнце и другие небесные светила. С помощью этого взгляда невозможно было объяснить очень многие явления небесной механики. Гениальный поляк подошел к делу их объяснения с совершенно противоположной стороны: он предположил, что не солнце вращается вокруг земли, а, наоборот, земля вокруг солнца, и правильная точка зрения была найдена, и многое стало ясно из того, что было неясно до Коперника.— До Маркса люди общественной науки исходили из понятия о человеческой природе; благодаря этому оставались неразрешимыми важнейшие вопросы человеческого развития. Учение Маркса придало делу совершенно другой оборот: *между тем как человек, для поддержания своего существования,*— сказал Маркс,— *воздействует на природу вне его, он изменяет свою собственную природу* [1]. Следовательно, дело научного объяснения исторического развития надо начинать с противоположного конца: надо выяснить, каким образом совершается этот процесс производительного воздействия человека на внешнюю природу. По своей великой важности для науки это открытие может быть смело поставлено наряду с

открытием Коперника и вообще наряду с величайшими, плодотворнейшими научными открытиями.

Собственно говоря, до Маркса общественная наука была гораздо более лишена твердой основы, чем астрономия до Коперника. Французы называли и называют все науки, имеющие дело с человеческим обществом, sciences morales et politiques *, в отличие от «sciences», «*наук*» в собственном смысле этого слова, которые признавались и признаются единственно точными науками. И надо сознаться, что до Маркса общественная наука не была и не могла быть точной. Пока ученые апеллировали к человеческой природе как к верховной инстанции, они по необходимости должны были объяснять общественные отношения людей их взглядами, их *сознательною деятельностью*; но сознательная деятельность есть такая деятельность человека, которая необходимо должна представляться ему деятельностью *свободной*. Свободная же деятельность исключает *понятие о необходимости*, т. е. законосообразности, а законосообразность есть необходимая основа всякого научного объяснения явлений. *Представление о свободе заслоняло собою понятие о необходимости и тем мешало развитию науки*. Эту аберрацию можно до сих пор с поразительной ясностью наблюдать в «социологических» произведениях «субъективных» русских писателей.

Но мы уже знаем: *свобода должна быть необходимостью*. Заслоняя понятие о необходимости, представление о свободе само сделалось до крайности тусклым и очень мало утешительным. Выгнанная в дверь необходимость влетала в окно; исходя из представления о свободе, исследователи поминутно наталкивались на необходимость и приходили в конце концов к печальному признанию ее рокового, неотразимого, ничем не преоборимого действия. К их ужасу, свобода оказывалась вечной, беспомощной и безнадежной данницей, бессильной игрушкой в руках слепой необходимости. И поистине трогательно то отчаяние, в которое приходили по временам самые ясные, самые благородные идеалистические головы. «Уже в течение нескольких дней я каждую минуту берусь за перо,— говорит Георг Бюхнер,— но не могу написать ни слова. Я изучал историю революции. Я чувствовал себя как бы раздавленным ужасным фатализмом истории. Я вижу в человеческой природе отвратительную заурядность, в человеческих же отношениях — непреодолимую силу, принадлежащую всем вообще и никому в частности. Отдельная личность есть лишь пена на поверхности волны, величие — лишь случай, власть гения — лишь кукольная комедия, смешное стремление бороться против железного закона, который в лучшем случае можно лишь узнать, но

* [моральные и политические науки]

который невозможно подчинить своей воле» *. Можно сказать, что уже для избежания таких припадков вполне, впрочем, законного отчаяния стоило хоть на время покинуть старую точку зрения и попытаться *освободить свободу*, апеллируя к этой же самой, глумящейся над нею *необходимости;* следовало еще раз пересмотреть выдвинутый уже идеалистами-*диалектиками* вопрос о том, не вытекает ли свобода из необходимости, не составляет ли эта последняя единственной твердой основы, единственной прочной гарантии, неизбежного условия человеческой свободы.

Мы увидим, к чему приводит подобная попытка у Маркса. Но предварительно постараемся выяснить себе его исторические взгляды так, чтобы у нас не оставалось на их счет уже никаких недоразумений.

На почве данного состояния производительных сил слагаются известные отношения производства, которые получают свое идеальное выражение в правовых понятиях людей и в более или менее «отвлеченных правилах», в неписаных обычаях и писаных законах. Доказывать это нам уже нет надобности: это, как мы видели, доказывает за нас современная наука права (пусть читатель припомнит, что говорит по этому поводу г. Ковалевский). Но не мешает взглянуть на это дело с другой, именно вот с какой стороны. Раз мы выяснили себе, каким образом правовые *понятия* людей создаются их *отношениями производства,* нас уже не удивят следующие слова Маркса: «Не сознание людей определяет их бытие (т.-е. форму их общественного существования), а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». Теперь мы уже знаем, что, по крайней мере, по отношению к одной области сознания это действительно так и почему это так. Нам остается только решить, всегда ли это так, и если да, то почему же это всегда так? Будем держаться пока тех же правовых понятий.

«На известной ступени своего развития *производительные силы* общества вступают в противоречие с существующими в этом обществе *отношениями производства*, или, выражая то же самое юридическим языком,— с отношениями собственности, внутри которых они развивались до сих пор. Из форм, *содействовавших* развитию производительных сил, эти отношения превращаются в *препятствие* для их развития. Тогда наступает эпоха общественного переворота».

Общественная собственность на движимость и недвижимость возникает вследствие того, что она удобна, больше того —

* В письме к невесте, писанном в 1833 г.[1] *Примечание для г. Михайловского:* Это не тот Бюхнер, который проповедовал материализм в «общефилософском смысле»; это его рано умерший брат, автор знаменитой трагедии «Смерть Дантона».

необходима для процесса первобытного производства. Она поддерживает существование первобытного общества, она содействует дальнейшему развитию его производительных сил, и люди держатся за нее, они считают ее естественной и необходимой. Но вот, *благодаря этим отношениям собственности и внутри их*, производительные силы развились настолько, что открылось более широкое поле для приложения индивидуальных усилий. Теперь общественная собственность становится в некоторых случаях *вредной* для общества, она препятствует дальнейшему развитию его производительных сил, и потому она уступает место *личному присвоению:* в правовых учреждениях общества совершается более или менее быстрый переворот. Этот переворот необходимо сопровождается переворотом в правовых понятиях людей: люди, которые прежде думали, что хороша только общественная собственность, стали думать теперь, что в некоторых случаях лучше единоличное присвоение. Впрочем, нет, мы выражаемся неточно, мы изображаем как два отдельных процесса то, что совершенно неразделимо, что представляет лишь две стороны одного и того же процесса: *вследствие развития производительных сил должны были измениться фактические отношения людей в процессе производства, и эти новые фактические отношения выразились в новых правовых понятиях.*

Г-н Кареев уверяет нас, что материализм так же односторонен в применении к истории, как и идеализм. И тот и другой представляют собою, по его мнению, лишь «моменты» в развитии полной научной истины. «За первым и вторым моментами надлежит наступить третьему моменту: односторонности тезиса и антитезы найдут свое примирение в синтезе, как выражение полной истины» *. Это будет очень интересный синтез. «В чем будет заключаться такой синтез,— прибавляет г. профессор,— я пока говорить не стану». Жаль! К счастью, наш «историософ» не очень строго соблюдает эту наложенную им самим на себя заповедь молчания. Он немедленно дает понять, в чем будет заключаться и откуда вырастет та полная научная истина, которая со временем будет понята, наконец, всем просвещенным человечеством, а пока известна лишь г. Карееву. Она вырастет из следующих соображений: «Каждая человеческая личность, состоя из тела и души, ведет двоякую жизнь — физическую и психическую, не являясь перед нами ни исключительно плотью с ее материальными потребностями, ни исключительно духом с его потребностями интеллектуальными и моральными. И у тела и у души человека есть свои потребности, ищущие своего удовлетворения и ставящие отдельную личность в различное от-

* «Вестник Европы», июль 1894 г., стр. 6.

ношение к внешнему миру, т. е. к природе и другим людям, т. е. к обществу, и эти отношения бывают двоякого рода» *.

Что человек состоит из души и тела, это «синтез» справедливый, хотя и не то чтобы уже очень новый. Если г. профессор знаком с историей новейшей философии, то он должен же знать, что об него, об этот самый синтез, она обламывала свои зубы в течение целых столетий, не будучи в состоянии справиться с ним как следует. И если он воображает, что этот «синтез» откроет ему «сущность исторического процесса», то сам г. В. В. должен будет согласиться, что с его «профессором» происходит что-то неладное и что не г. Карееву суждено стать Спинозой «историософии».

С развитием производительных сил, ведущих к изменению взаимных отношений людей в общественном процессе производства, изменяются все отношения собственности. Но ведь еще Гизо говорил нам, что в отношениях собственности коренятся политические конституции. Это вполне подтверждается новейшей наукой. Кровный союз уступает место территориальному союзу именно вследствие перемен, возникших в отношениях собственности. Более или менее крупные территориальные союзы сливаются в организмы, называемые государствами, опять-таки вследствие уже совершившихся перемен в отношениях собственности или вследствие новых нужд общественного производственного процесса. Это прекрасно выяснено, например, по отношению к крупным государствам Востока **. Не менее хорошо выяснено это и по отношению к античным государствам ***. И вообще нетрудно показать это по отношению ко всякому данному государству, о происхождении которого у нас есть достаточно сведений. При этом нужно только не суживать, умышленно или неумышленно, взгляд Маркса. Мы хотим сказать вот что.

Данным состоянием производительных сил обусловливаются *внутренние* отношения данного общества. Но ведь этим же состоянием обусловливаются и *внешние его отношения* к другим обществам. На почве этих внешних отношений у общества

---

* «Вестник Европы», июль 1894 г., стр. 7.

** См. книгу покойного Л. Мечникова о *«великих исторических реках»* [1]. В этой книге автор в сущности лишь подвел итог тем выводам, к которым пришли наиболее авторитетные историки-специалисты, например Ленорман. Элизэ Реклю в предисловии к названной книге говорит, что взгляд Мечникова составит эпоху в истории науки. Это неверно в том смысле, что этот взгляд не нов: еще Гегель высказывал его самым определенным образом. Но несомненно, что наука чрезвычайно много выиграет, если будет последовательно держаться его.

*** См. книгу *Моргана* «Ancient society» [«Древнее общество»] и книгу *Энгельса* «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

являются *новые нужды*, для удовлетворения которых вырастают *новые органы*. При поверхностном взгляде на дело взаимные отношения отдельных обществ представляются как ряд «политических» действий, не имеющих прямого отношения к экономии. В действительности в основе междуобщественных отношений лежит именно *экономия*, определяющая собою как действительные (а не внешние только) поводы к междуплеменным и международным отношениям, так и их результаты. Каждой ступени в развитии производительных сил соответствует своя система вооружения, своя военная тактика, своя дипломатия, свое международное право. Конечно, можно указать много случаев, в которых международные столкновения не имеют прямого отношения к экономии. И никому из последователей Маркса не придет в голову оспаривать существование таких случаев. Они говорят только: не останавливайтесь на поверхности явлений, спускайтесь глубже, спросите себя, на какой почве выросло данное международное право? Что создало возможность данного рода международных столкновений? — и вы придете в конце концов к экономии. Правда, рассмотрение отдельных случаев затрудняется тем, что в борьбу вступают нередко общества, переживающие *неодинаковые фазисы экономического развития*.

Но тут нас прерывает хор проницательных противников. «Хорошо,— кричат они,— допустим, что политические отношения коренятся в экономических. Но раз даны политические отношения, они — откуда бы ни взялись — в свою очередь влияют на экономию. Следовательно, тут существует взаимодействие и ничего, кроме взаимодействия».

Это возражение не придумано нами. До какой степени оно ценится противниками «экономического материализма», показывает следующее «истинное происшествие».

Маркс в своем «Капитале» приводит факты, показывающие, что английская аристократия пользовалась своей политической властью для того, чтобы обделывать свои делишки по части землевладения. Доктор Пауль Барт, написавший «критический опыт» под названием: «Die Geschichtsphilosophie Hegel's und der Hegelianer», ухватился за это, чтобы упрекнуть Маркса в противоречии [1]: сами же, дескать, признаете, что тут существует взаимодействие; а для доказательства того, что взаимодействие действительно существует, наш доктор ссылается на книгу Штэрнега, писателя, много сделавшего для исследования экономической истории Германии. Г-н Кареев думает, что «страницы, посвященные в книге Барта критике экономического материализма, могут быть указаны в качестве образчика того, как следует решать вопрос о роли экономического фактора в истории». Само собою разумеется, что он не пре-

минул указать читателям на возражения Барта и на авторитетное заявление Инамы-Штэрнега, «который даже формулирует такое общее положение, что взаимодействие между политикой и хозяйством является основной чертой развития всех государств и всех народов». Надо хоть немного разобраться в этой путанице.

Во-первых, что, собственно, говорит Инама-Штэрнег? По поводу каролингского периода экономической истории Германии он делает следующее замечание: «Взаимодействие между политикой и хозяйством, составляющее основную черту развития всех государств и всех народов, можно проследить здесь самым точным образом. Политическая роль, выпадающая на долю данного народа, оказывает решительное влияние на дальнейшее развитие его сил, на склад и выработку его социальных учреждений; точно так же внутренняя сила, присущая народу, и естественные законы ее развития определяют собою меру и род его политической деятельности. Совершенно так политическая система Каролингов не менее повлияла на социальный строй, на хозяйственные отношения, в которых народ жил в то время, чем стихийные силы народа, его хозяйственная жизнь повлияли на направление этой политической системы, наложив на нее своеобразную печать» *. И только. Это немного, но это немногое считается достаточным для того, чтобы опровергнуть Маркса.

Припомним теперь, во-вторых, что говорит Маркс об отношении экономии к праву и политике.

«Правовые и политические учреждения складываются на почве фактических отношений людей в общественном процессе производства. До поры, до времени эти учреждения *содействуют* дальнейшему развитию производительных сил народа, процветанию его экономической жизни». Это точные слова Маркса, и мы спрашиваем первого встречного добросовестного человека, заключается ли в этих словах отрицание значения политических отношений в развитии экономии и опровергают ли Маркса те люди, которые напоминают ему об этом значении? Не правда ли, что такого отрицания у Маркса нет и следа и что указанные люди ровно ничего не опровергают? До такой степени — правда, что считаться приходится с вопросом не о том, опровергнут ли Маркс, а о том, отчего же так плохо его поняли? А на этот вопрос мы можем ответить только французской пословицей: la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a**.

---

* «Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingenperiode», Leipzig 1889, Band I, S. 233—234. [«История германского хозяйства до конца периода Каролингов», Лейпциг 1889, т. I, стр. 233—234.]

** [самая красивая девушка в мире не может дать больше того, что она имеет.]

Критики Маркса не могут превзойти ту меру понимания, которая отпущена им благодетельной натурой *.

Взаимодействие между политикой и экономией существует. Это так же несомненно, как и то, что г. Кареев не понимает Маркса. Но существование взаимодействия запрещает ли нам идти дальше в деле анализа общественной жизни? Нет, думать так — значило бы почти то же самое, что вообразить, будто непонимание, обнаруживаемое г. Кареевым, может помешать *нам* добраться до правильных «историософических» понятий.

Политические учреждения влияют на хозяйственную жизнь. Они *или содействуют* развитию этой жизни, *или препятствуют* ему. Первый случай нисколько не удивителен с точки зрения Маркса, так как данная политическая система затем и создается, *чтобы содействовать дальнейшему развитию производительных сил* (сознательно или бессознательно создается — для нас в данном случае решительно все равно). Второй случай нисколько не противоречит этой точке зрения, так как исторический опыт показывает, что, раз данная политическая система перестает соответствовать состоянию производительных сил, раз она превращается в препятствие для их дальнейшего развития, она начинает клониться к упадку и, наконец, устраняется. И мало того, что этот случай не противоречит учению Маркса: он наилучшим образом его подтверждает, потому что именно он показывает, в каком смысле экономия господствует над политикой, каким образом развитие производительных сил опережает политическое развитие народа.

---

* Маркс говорит: «*Всякая классовая борьба есть борьба политическая*». *Следовательно,— умозаключает Барт,— политика, по-вашему, совсем не влияет на экономию, а между тем вы сами же приводите факты, показывающие... и прочее.*— Браво,— восклицает г. Кареев,—вот это я называю образцом того, как надо спорить с Марксом! «Образец» г. Кареева вообще обнаруживает удивительную силу мысли. «Руссо,— говорит образец,— жил в обществе, где до крайности были доведены сословные различия и привилегии, где все подчинены были всемогущему деспотизму; и однако, заимствованный из древности метод рационального построения государства — метод, которым пользовались также Гоббс и Локк,— привел Руссо к созданию идеала общества, основанного на всеобщем равенстве и самодержавии народа. Этот идеал совершенно противоречил существовавшему во Франции строю. Теория Руссо была осуществлена Конвентом на практике; стало быть, философия повлияла на политику, а через ее посредство и на экономию». (L. с., р. 58.) [Цит. соч., стр. 58.]

Как вам нравится эта блестящая аргументация, в интересах которой Руссо, сын бедного женевского республиканца, оказался продуктом аристократического общества? Оспаривать г. Барта —значит вдаваться в повторения. Но что сказать о г. Карееве, рукоплещущем Барту? Ах, г. В. В., плох, ей-богу, плох ваш «профессор истории»! Советуем вам совершенно бескорыстно: ищите себе нового «профессора».

Экономическая эволюция ведет за собою правовые перевороты. Нелегко понять это *метафизику*, который, хотя и кричит о взаимодействии, привык рассматривать явления одно после другого и одно независимо от другого. Напротив, без труда понимает это человек, хоть немного способный к *диалектическому* мышлению. Он знает, что *количественные изменения*, постепенно накопляясь, *приводят*, наконец, к *изменениям качества* и что эти изменения качества представляют собою моменты *скачков, перерывов постепенности*.

Тут уже наши противники не выдерживают и произносят свое «слово и дело» [1]: да ведь так рассуждал *Гегель*,— кричат они. Так *поступает вся природа*,— отвечаем мы.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Применительно к истории эту пословицу можно видоизменить так: сказка сказывается очень просто, а дело делается до крайности сложно. Ведь это легко сказать: развитие производительных сил ведет за собою перевороты в правовых учреждениях! Перевороты эти представляют собою сложные процессы, в течение которых интересы отдельных членов общества группируются самым прихотливым образом. Одним выгодно поддерживать старые порядки, и они отстаивают их всеми зависящими от них средствами. Для других старые порядки стали уже вредны и ненавистны, и они нападают на них со всею тою силою, какою они располагают. И это еще не все. Интересы новаторов тоже далеко не всегда одинаковы: одним важнее одни реформы, другим — другие. Споры возникают в самом лагере реформаторов, борьба усложняется. И хотя, по справедливому замечанию г. Кареева, человек состоит из души и тела, борьба за самые несомненные материальные интересы необходимо ставит перед спорящими сторонами самый несомненно духовный вопрос: *вопрос о справедливости*. Насколько противоречит ей старый порядок? Насколько согласны с нею новые требования? Эти вопросы неизбежно возникают в умах борющихся, хотя борющиеся не всегда назовут справедливость просто справедливостью, а, может быть, олицетворят ее в виде какой-нибудь человекоподобной или даже звероподобной богини. Так, вопреки заклятию, наложенному на них г. Кареевым, «тело» порождает «душу»: *экономическая* борьба вызывает *нравственные* вопросы, а «душа» при ближайшем рассмотрении оказывается «телом»: *«справедливость» староверов* нередко оказывается *интересом эксплуататоров*.

Те же самые люди, которые с такой поразительной находчивостью приписывают Марксу отрицание значения политики, утверждают, будто он не придавал ровно никакого значения ни нравственным, ни философским, ни религиозным, ни эстетическим понятиям людей, везде и всюду видя одно «экономиче-

ское». Это опять неестественное празднословие, как выражался Щедрин. Маркс не отрицал *«значения»* всех этих понятий, он только выяснил их генезис.

«Что такое электричество? — Особый род движения. Что такое теплота? — Особый род движения. Что такое свет? — Особый род движения. А, так вот как! Вы, стало быть, не придаете значения ни свету, ни теплоте, ни электричеству? У вас все одно движение; какая односторонность, какая узость понятий!» Именно так, именно узость, господа. Вы прекрасно поняли смысл учения о превращении энергии.

Всякая данная ступень развития производительных сил необходимо ведет за собою *определенную группировку людей* в общественном производительном процессе, т. е. *определенные отношения производства*, т. е. *определенную структуру всего общества*. А раз дана структура общества, нетрудно понять, что ее характер отразится вообще на всей *психологии* людей, на всех их привычках, нравах, чувствах, взглядах, стремлениях и идеалах. Привычки, нравы, взгляды, стремления и идеалы необходимо должны приспособиться к образу жизни людей, к их *способу добывания себе пропитания* (по выражению Пешеля). *Психология общества всегда целесообразна по отношению к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею*. Тут повторяется то же явление, которое еще греческие философы замечали в природе: целесообразность торжествует по той простой причине, что нецелесообразное самым характером своим осуждено на гибель. Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономии, к условиям его жизни? Очень выгодно, потому что привычки и взгляды, не соответствующие экономии, противоречащие условиям существования, помешали бы отстаивать это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма. Но сказать, что органы животных должны соответствовать условиям их существования,— значит ли это сказать, что органы не имеют значения для животного? Совершенно наоборот. Это значит — признать их колоссальное, их *существенное значение*. Только очень слабые головы могут понять дело иначе. Вот то же самое, как раз то же самое, господа, и с психологией. Признавая, что она приспособляется к экономии общества, Маркс тем самым признавал ее огромное, ничем не заменимое значение.

Разница между Марксом и, например, г. Кареевым сводится здесь к тому, что этот последний, несмотря на свою склонность к «синтезу», остается дуалистом чистейшей воды. У него — тут экономия, там — психология; в одном кармане — душа, в другом — тело. Между этими субстанциями есть взаимодей-

ствие, но каждая из них ведет свое самостоятельное существование, происхождение которого покрыто мраком неизвестности *. Точка зрения Маркса устраняет этот дуализм. У него *экономия общества* и его *психология* представляют две стороны одного и того же явления «производства жизни» людей, их борьбы за существование, в которой они группируются известным образом, благодаря данному состоянию производительных сил. Борьба за существование создает их *экономию;* на ее же почве вырастает и их *психология*. Экономия сама есть нечто производное, как психология. И именно потому *изменяется* экономия всякого прогрессирующего общества: новое состояние производительных сил ведет за собою новую экономическую структуру, равно как и новую психологию, новый «дух времени». Из этого видно, что только в популярной речи можно говорить об экономии, как о *первичной причине* всех общественных явлений. Далекая от того, чтобы быть первичной причиной, она сама есть следствие, «функция» производительных сил.

А теперь следуют обещанные в примечании пункты. «И у тела, и у души есть свои потребности, ищущие своего удовлетворения и ставящие отдельную личность в различное отношение к внешнему миру, т.-е. к природе и к другим людям... Отношение человека к природе, в зависимости от физических и духовных потребностей личности, создает поэтому, с одной стороны, разного рода искусства, направленные на то, чтобы обеспечить материальное существование личности, с другой стороны — всю умственную и нравственную культуру...»[1]. Материалистическое отношение человека к природе коренится в потребностях тела, в свойствах материи. В потребностях тела надо отыскивать «причины звероловства, скотоводства, земледелия, обрабатывающей промышленности, торговли и денежных операций».— По здравому рассуждению это, конечно, так: ведь не будь у нас тела, зачем нам понадобились бы скоты и звери, земля и машины, торговля и золото? Но, с другой стороны, надо и то сказать: что̀ такое тело без души? Не более, как материя, а ведь материя мертва. Ведь сама она ничего создавать не может, если в свою очередь не состоит из души и тела. Стало быть, ловит зверей, приручает скотов, обрабатывает землю, торгует и заседает в банках материя не своим умом, а по указанию души. Стало быть, в душе надо искать последней причины возникновения материалистического отношения человека к природе.

* Не подумайте, что мы клевещем на почтенного профессора. Он с большой похвалой приводит мнение Барта, по которому «право ведет самостоятельное, хотя и не независимое существование». Вот эта-то «самостоятельность, хотя и не независимость» и мешает г. Карееву познать «сущность исторического процесса». Как именно мешает, тому сейчас, в *тексте*, последуют пункты.

Стало быть, у души тоже есть двойственные потребности; стало быть, она тоже состоит из души и тела, а это выходит как-то очень несообразно. Да это не все. Невольно берет «сомнение» и вот еще по какому поводу. По г. Карееву выходит, что на почве телесных потребностей вырастает материалистическое отношение человека к природе. Но точно ли это? К одной ли природе? Г-н Кареев помнит, может быть, как аббат Гибэр проклинал стремившиеся к своему освобождению от феодального ига городские общины, эти «гнусные» учреждения, единственной целью существования которых было будто бы уклонение от справедливого исполнения феодальных повинностей. Что тут говорило в аббате Гибэре: «тело» или «душа»? Если «тело», то, опять говорим, стало быть, оно тоже состоит из «тела» и «души»; а если «душа», то, стало быть, она состоит из «души» и «тела», ибо она обнаружила в рассматриваемом случае очень мало того бескорыстного отношения к явлениям, которое, по словам г. Кареева, составляет отличительную особенность «души». Вот тут и разбирайся! Г-н Кареев скажет, может быть, что в аббате Гибэре говорила собственно душа, но говорила под диктовку тела и что то же происходит при занятиях звероловством, банками и т. д. Но, во-первых, чтобы диктовать, тело опять должно состоять из тела и души, а во-вторых, грубый материалист может заметить: ведь вот говорит же душа под диктовку тела, стало быть, то обстоятельство, что человек состоит из души и тела, еще ровно ни за что не ручается: может быть, во всей истории душа только и делала, что говорила под диктовку тела? Г-н Кареев, конечно, возмутится таким предположением и станет опровергать «грубого материалиста». Мы твердо уверены, что победа останется на стороне почтенного профессора, но много ли помощи окажет ему в этой борьбе то бесспорное обстоятельство, что человек состоит из души и тела?

Да и это еще не все. Мы прочитали у г. Кареева, что на почве духовных потребностей личности вырастают: «мифология и религия... литература и художества» и вообще — «теоретическое отношение к внешнему миру (да и к самому себе), к вопросам бытия и познания», равно как и «бескорыстное творческое воспроизведение внешних явлений (да и собственных своих помыслов)». Мы поверили г. Карееву. Но... есть у нас знакомый студент-технолог, который с жаром занимается техникой обрабатывающей промышленности, «теоретического» же отношения у него ко всему перечисленному г. профессором не замечается. У нас и явился вопрос: да уж не состоит ли наш приятель из одного тела? Просим г. Кареева поскорее разрешить это мучительное для нас и обидное для молодого, чрезвычайно даровитого, может быть даже гениального, технолога сомнение!

Если рассуждение г. Кареева имеет какой-нибудь смысл, то только вот какой: у человека есть потребности высшего и низшего порядка, есть эгоистические стремления, есть альтруистические чувства. Это самая бесспорная истина, совершенно неспособная, однако, лечь в основу «историософии». Дальше бессодержательных, давно уже избитых рассуждений на тему о природе человека с нею не пойдешь: она и сама есть не более, как такое рассуждение.

Пока мы беседовали с г. Кареевым, наши проницательные критики успели поймать нас на противоречии с самим собою, а главное, с Марксом. Мы сказали, что экономия не есть первичная причина всех общественных явлений, а в то же время мы утверждаем, что психология общества приспособляется к его экономии,— первое противоречие. Мы говорим, что экономия и психология общества представляют две стороны одного и того же явления, а между тем сам Маркс говорит, что экономия есть реальная основа, на которой возвышаются идеологические надстройки,— второе противоречие, тем более печальное для нас, что тут мы расходимся с человеком, взгляды которого взялись излагать. Объяснимся.

Что основная причина общественно-исторического процесса есть развитие производительных сил — это мы говорим слово в слово с Марксом, так что здесь никакого противоречия не имеется. Следовательно, если оно где-нибудь существует, то только по вопросу об отношении экономии общества к его психологии. Посмотрим же, существует ли оно.

Пусть читатель припомнит, как возникает частная собственность. Развитие производительных сил ставит людей в такие отношения производства, при которых личное присвоение некоторых предметов оказывается более удобным для производительного процесса. Сообразно с этим изменяются правовые понятия первобытного человека. *Психология* общества приспособляется к его *экономии*. На данной *экономической основе* роковым образом возвышается соответствующая ей *идеологическая надстройка*. Но с другой стороны, каждый новый шаг в развитии производительных сил ставит людей в их повседневной житейской практике в новые взаимные положения, не соответствующие отживающим отношениям производства. Эти новые, небывалые положения необходимо отражаются на психологии людей, очень сильно ее изменяют. В каком же направлении? Одни члены общества отстаивают старые порядки, это люди застоя. Другие — те, которым невыгоден старый порядок,— стоят за поступательное движение; их психология видоизменяется в направлении *тех отношений производства, которыми заменятся* со временем *старые, отживающие экономические отношения*. Приспособление психо-

логии к экономии, как видите, продолжается, но медленная психологическая эволюция *предшествует* экономической революции *.

Раз совершилась эта революция, устанавливается полное соответствие между психологией общества и его экономией. Тогда на почве новой экономии происходит полный расцвет новой психологии. В течение некоторого времени это соответствие остается ненарушимым; оно даже все более и более упрочивается. Но мало-помалу показываются ростки нового разлада: психология передового класса по указанной выше причине опять переживает старые отношения производства: ни на минуту не переставая приспособляться к экономии, она опять приспособляется к *новым* отношениям производства, составляющим зародыш экономии будущего. Ну, разве же это не две стороны одного и того же процесса?

До сих пор мы иллюстрировали мысль Маркса главным образом примерами из области имущественного права. Это право есть, несомненно, та же идеология, но идеология первого, так сказать, низшего порядка. Как надо понимать взгляд Маркса на идеологию высшего порядка: на науку, на философию, на искусство и т. д.?

В развитии этих идеологий экономия является основой в том смысле, что общество должно достигнуть известной степени благосостояния для того, чтобы выделить из себя известный слой людей, посвящающих свои силы исключительно научным и прочим подобным занятиям. Далее, вышеприведенный взгляд *Платона* и *Плутарха* показывает, что самое *направление* умственной работы в обществе определяется *его отношениями производства*. О науках еще Вико сказал, что они вырастают из общественных нужд. По отношению к такой науке, как политическая экономия, это ясно для всякого, кто хоть немного знаком с ее историей. Граф Пеккио справедливо заметил, что политическая экономия в особенности подтверждает то правило, что практика всегда и везде предшествует науке **. Конечно, и

* По существу это тот же самый психологический процесс, который переживает теперь европейский пролетариат: его психология уже приспособляется к новым будущим отношениям производства.

** «Quand'essa cominciava appena a nascere nel diciasettesimo secolo, alcune nazioni avevano già da più secoli fiorito colla loro sola esperienza, da cui poscia la scienza ricavò i suoi dettami».— («Storia della Economia publica in Italia etc.», Lugano 1829, p. 11.) [«До того момента, когда она (политическая экономия) начала только зарождаться в семнадцатом веке, некоторые нации уже в течение нескольких веков преуспевали, опираясь только на свой практический опыт. Этот опыт потом и использовала наука для своих положений».— («История политической экономии в Италии и т. д.», Лугано 1829, стр. 11).]

Дж.-С. Милль повторяет: «In every department of human affairs Practice long precedes Science... The conception, accordingly, of political Economy as a branch of Science, is extremely modern; but the subject with

это можно истолковать в очень отвлеченном смысле; можно сказать: «ну, разумеется, для науки нужен опыт, и, чем больше опыта, тем полнее наука». Дело не в том. Сравните экономические взгляды Аристотеля или Ксенофонта со взглядами Адама Смита или Рикардо, и вы увидите, что между экономической наукой древней Греции, с одной стороны, и экономической наукой буржуазного общества — с другой, существует не только *количественная*, но и *качественная* разница: совсем иная точка зрения, совсем иное отношение к предмету. Чем объясняется эта разница? Да просто тем, что *изменились самые явления:* отношения производства в буржуазном обществе не похожи на античные отношения производства. Различные отношения в производстве создают различные взгляды в науке. Мало этого. Сравните взгляды Рикардо со взглядами какого-нибудь Бастиа, и вы увидите, что эти люди различно смотрят на отношения производства, оставшиеся *по своему общему характеру* неизменными,— на *буржуазные* отношения производства. Почему это? Потому, что в эпоху Рикардо эти отношения только еще расцветали, только еще упрочивались, а во время Бастиа они уже начали клониться к упадку. Различные состояния тех же самых отношений производства необходимо должны были отразиться на взглядах тех людей, которые их защищали.

Или возьмем науку государственного права. Как, почему развивалась ее теория? «Научная разработка государственного права,— говорит профессор Гумплович,— начинается лишь там, где господствующие классы приходят между собой в столкновение по поводу принадлежащей каждому из них сферы власти. Так, первая большая политическая борьба, с которой мы встречаемся во второй половине европейских средних веков, борьба между светской и духовной властью, борьба между императором и папой, дает первый толчок развитию немецкой науки государственного права. Вторым спорным политическим вопросом, внесшим раздвоение в среду господствующих классов и давшим толчок публицистической разработке соответствующей части государственного права, был вопрос об избрании императоров» * и т. д.

---

which its inquiries are conversant has in all ages necessarily constituted one of the chief practical interests of mankind». «Principles of political Economy», London 1843, t. I, p. 1. [«Во всех областях человеческой деятельности практика задолго предшествует науке... Таким образом, понимание политической экономии, как отрасли науки, возникло совсем недавно. Но предмет ее исследований необходимо представлял собою во все эпохи один из главных практических интересов человечества».— «Начала политической экономии», Лондон 1843, т. I, стр. 1.]

* «Rechtsstaat und Sozialismus». Innsbruck 1881, S.S. 124—125. [«Правовое государство и социализм», Иннсбрук 1881, стр. 124—125.]

Что такое взаимные отношения классов? Это прежде всего именно те отношения, в которые люди становятся друг к другу в общественном производительном процессе: *отношения производства.* Эти отношения находят свое выражение в политической организации общества и в политической борьбе разных классов, а эта борьба служит толчком для возникновения и развития различных *политических теорий:* на экономической основе необходимо возвышается соответствующая ей идеологическая надстройка.

Но и это все идеологии если не первого, то во всяком случае и не самого высшего порядка. Как обстоит дело, например, с философией, с искусством? Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны сделать некоторое отступление.

Гельвеций исходил из того положения, что l'homme n'est que sensibilité *. С этой точки зрения ясно, что человек будет избегать неприятных ощущений и стараться приобрести приятные. Это неизбежный, естественный эгоизм чувствующей материи. Но если это так, то каким образом возникают у человека совершенно бескорыстные стремления: любовь к истине, героизм? Такова была задача, которую нужно было разрешить Гельвецию. Он не сумел разрешить ее, а чтобы выпутаться из затруднения, он просто зачеркнул тот самый x, ту самую неизвестную величину, определить которую он взялся. Он стал говорить, что нет ни одного ученого, который бескорыстно любил бы истину, что каждый человек видит в ней лишь путь к славе, а в славе — путь к деньгам, а в деньгах — средство доставления себе приятных физических ощущений, например, для покупки вкусной пищи или belles esclaves **. Нечего и говорить, насколько несостоятельны такие объяснения. В них сказалась лишь отмеченная нами выше неспособность французского *метафизического* материализма справляться с *вопросами развития*.

Отцу современного *диалектического* материализма приписывают такой взгляд на историю человеческой мысли, который был бы не чем иным, как повторением метафизических рассуждений Гельвеция. Взгляд Маркса на историю, например, философии часто понимается приблизительно так: если Кант занимался вопросами трансцендентальной эстетики, если он говорил о категориях рассудка или об антиномиях разума, то у него это одни фразы: ему в действительности вовсе не интересны были ни эстетика, ни антиномии, ни категории; ему нужно было только одно: доставить классу, к которому он принадлежал, т. е. немецкой мелкой буржуазии, как можно больше

* [человек есть лишь чувствительность.]
** [прекрасных невольниц.]

вкусных блюд и «прекрасных невольниц». Категории и антиномии казались ему прекрасным средством для этого, вот он и стал «разводить» их.

Нужно ли уверять, что это совершеннейшие пустяки?! Когда Маркс говорит, что данная теория соответствует такому-то периоду экономического развития общества, то он вовсе не хочет сказать этим, что мыслящие представители класса, господствовавшего в течение этого периода, сознательно подгоняли свои взгляды к интересам своих более или менее богатых, более или менее щедрых благодетелей.

Сикофанты были, разумеется, всегда и везде, но не они двигали вперед человеческий разум. Те же, которые действительно двигали его, заботились об истине, а не об интересах сильных мира сего *.

«На различных формах собственности,— говорит Маркс,— на общественных условиях существования возвышается целая надстройка различных своеобразных чувств и иллюзий, взглядов и понятий. Все это творится и формируется целым классом на почве материальных условий его существования и соответствующих им общественных отношений». Процесс возникновения идеологической надстройки совершается *незаметным для людей образом*. Они рассматривают эту надстройку не как временный продукт временных отношений, а как нечто естественное и обязательное по своей собственной сущности. Отдельные лица, взгляды и чувства которых складываются под влиянием воспитания и вообще окружающей обстановки, могут быть преисполнены самого искреннего, вполне *самоотверженного отношения* к тем взглядам и к тем формам общежития, которые исторически возникли на почве более или менее *узких классовых интересов*. То же и с целыми партиями. Французские демократы 1848 г. выражали стремления мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия, естественно, стремилась отстоять свои классовые интересы. Но «было бы, однако, ограниченностью думать,— говорит Маркс,— что мелкая буржуазия сознательно стремится отстоять эгоистический классовый интерес. Наоборот, она полагает, что *частные* условия ее освобождения представляют собою общие условия, при которых только и может быть достигнуто спасение современного общества и устранена борьба классов. Точно так же не следует думать, будто все представители мелкой буржуазии — лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и личному положению они могут быть, как небо от земли, далеки от лавочников. Представителями мелкой буржуазии их делает то обстоятельство, что их мысль

* Это не мешало им иной раз побаиваться сильных. Так, например, Кант говорил о себе: «Никто не заставит меня сказать противное тому, что я думаю, но я не решусь сказать *все*, что я думаю».

не выходит за пределы житейской обстановки мелкой буржуазии, и что, поэтому, они приходят к тем же задачам и решениям в теории, к которым мелкий буржуа приходит, благодаря своим материальным интересам и своему общественному положению, на практике. Таково вообще отношение между политическими и литературными представителями данного класса, с одной стороны, и самим этим классом — с другой» *.

Это Маркс говорит в своей книге о *coup d'état* ** Наполеона III [1]. В другом своем произведении он, может быть, еще лучше выясняет нам психологическую диалектику *классов*. Речь идет у него о той освободительной роли, которую иногда приходится играть отдельным классам.

«Ни один класс не может сыграть этой роли, не вызвав на время энтузиазма в себе и в массе. В течение этого времени он братается со всем обществом, его признают *всеобщим представителем*, ему сочувствуют, как таковому; в течение этого времени права и требования этого класса действительно являются правами и требованиями всего общества, а сам он — головой этого общества и его сердцем. Только во имя всеобщих прав общества отдельный класс может требовать себе господства надо всеми другими. Чтобы взять приступом эту роль

---

* Доказывая, что условия жизни (les circonstances) влияют на организацию животных, Ламарк делает замечание, которое полезно будет напомнить здесь во избежание недоразумений. «Тот, кто не пойдет дальше буквального смысла моих слов,— говорит он,— припишет мне ошибочный взгляд. Ибо, каковы бы ни были условия жизни, они не вызывают в форме и организации животных никакого непосредственного изменения». Благодаря значительным переменам в условиях жизни у животных являются новые, отличные от прежних, нужды. Если эти новые нужды остаются постоянными или существуют очень продолжительное время, то они ведут к появлению новых *привычек*. «А раз новые условия жизни... привели к появлению у животных новых *привычек*, т. е. побудили их к новым действиям, ставшим привычными,— в результате окажется предпочтительное упражнение одних органов и иногда полное отсутствие упражнения для других частей, ставших бесполезными». Усиление упражнения или отсутствие его не останутся без влияния на *строение* органов, а следовательно, и всего организма. (*Lamarque*, Philosophie zoologique etc., nouvelle édition par Charles Martin, 1873, t. I, p. p. 223—224.) [*Ламарк*, Философия зоологии и т. д., новое издание Шарля Мартэна, 1873, т. I, стр. 223—224.] Вот так же надо понимать и влияние экономических и вытекающих из них других нужд на психологию народа. Тут происходит медленный процесс приспособления вследствие упражнения или неупражнения; а наши противники «экономического» материализма воображают, будто, по мнению Маркса, люди при появлении у них новых нужд тотчас же и умышленно перестраивают свои взгляды. Понятно, что это кажется им нелепостью. Но сами же они и придумали эту нелепость: у Маркса нет ничего подобного. Вообще возражения этих мыслителей напоминают нам следующую победоносную аргументацию одного священника против Дарвина: «Дарвин говорит: бросьте курицу в воду, у нее вырастет плавательная перепонка. Я же утверждаю, что курица просто потонет».

** [о перевороте]

освободителя и вместе с тем политического эксплоататора всех общественных сфер в интересах своей собственной сферы, недостаточно энергии и духовной самоуверенности. Чтобы одно сословие явилось как бы охватывающим все общество, для этого нужно, чтобы все общественные недуги были, наоборот, сконцентрированы в каком-нибудь другом классе, нужно, чтобы известное сословие явилось сословием, вызывающим всеобщее отвращение, олицетворением того, что всех стесняет... Чтобы одно сословие явилось сословием-освободителем par excellence, нужно, чтобы какое-нибудь другое сословие явилось в общем сознании, наоборот, сословием-поработителем. Отрицательно-универсальное значение французского дворянства и духовенства обусловило положительно-универсальное значение соседнего с ними и стоявшего против них класса буржуазии» *.

После этого предварительного объяснения уже не трудно выяснить себе взгляд Маркса на идеологии высшего порядка, например на философию и на искусства. Но для большей наглядности мы сопоставим его со взглядом И. Тэна:

«Чтобы понять данное художественное произведение, данного артиста, данную группу артистов,— говорит этот писатель,— надо с точностью представить себе общее состояние умов и нравов их времени. Там лежит последнее объяснение; там находится первая причина, определяющая собою все остальное. Эта истина подтверждается опытом. В самом деле, если мы проследим главные эпохи истории искусства, мы найдем, что искусства появляются и исчезают вместе с известными состояниями умов и нравов, с которыми они связаны. Например, греческая трагедия — трагедия Эсхила, Софокла и Еврипида — является вместе с победой греков над персами, в героическую эпоху небольших городских республик, в момент того великого напряжения, благодаря которому они завоевали свою независимость и установили свою гегемонию в цивилизованном мире. Эта трагедия исчезает вместе с этой независимостью и этой энергией, когда измельчание характеров и македонское завоевание отдают Грецию во власть иностранцев.— Точно так же готическая архитектура развивается вместе с окончательным установлением феодального порядка в эпоху полувозрождения одиннадцатого столетия, в то время, когда общество, избавленное от норманских набегов и от разбойников, устанавливается более прочным образом: она исчезает в то время, когда военный режим более или менее крупных баронов разлагается в конце XV столетия вместе со

* «Deutsch-Französische Jahrbücher», Paris 1844, статья: «Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung», p. 82 [1]. [«Немецко-французский ежегодник», Париж 1844, статья: «К критике гегелевской философии права, Введение», стр. 82.]

всеми теми нравами, которые из него вытекали, вследствие возникновения новейших монархий.— Подобно этому голландская живопись расцветает в тот славный момент, когда благодаря своему упорству и своему мужеству Голландия окончательно сбрасывает испанское иго, успешно борется с Англией, становится самым богатым, самым промышленным, самым цветущим государством Европы; она падает в начале XVIII века, когда Голландия спускается до второстепенной роли, уступив первую Англии, и становится просто банком, торговым домом, содержимым в величайшем порядке, мирным и благоустроенным, в котором человек может вести спокойную жизнь благоразумного буржуа, не имеющего честолюбивых замыслов, не испытывающего глубоких потрясений. Наконец, подобно этому и французская трагедия появляется в то время, когда при Людовике XIV прочно установившаяся монархия несет с собою господство приличий, придворную жизнь, блеск и элегантность прирученной аристократии, и исчезает, когда дворянское общество и придворные нравы упраздняются революцией... Как натуралисты изучают физическую температуру для того, чтобы понять появление того или другого растения, овса или маиса, сосны или алоэ, точно так же надо изучать моральную температуру для того, чтобы объяснить появление того или другого вида искусства: языческой скульптуры или реалистической живописи, мистической архитектуры или классической литературы, сладострастной музыки или идеалистической поэзии. Произведения человеческого духа, как и произведения живой природы, объясняются только их средою» *.

Со всем этим безусловно согласится любой последователь Маркса: да, именно всякое художественное произведение, как и любую философскую систему, можно объяснить состоянием умов и нравов данного времени. Но чем объясняется это общее состояние умов и нравов? Последователи Маркса думают, что оно объясняется общественным строем, свойствами социальной среды. «Всякое изменение в положении людей ведет к изменению в их психике» **,— говорит тот же Тэн. И это справедливо. Спрашивается только, чем же вызываются изменения в положении общественного человека, т. е. в общественном строе? Только по этому вопросу «экономические материалисты» расходятся с Тэном.

Для Тэна задача истории как науки есть в последнем счете «*психологическая задача*». Общее состояние умов и нравов создает у него не только различные виды искусства, литературы и

* «Philosophie de l'art», deuxième édition. Paris 1872, p. p. 13—17. [«Философия искусства», изд. 12, Париж 1872, стр. 13—17.]

** «Philosophie de l'art dans les Pays-Bas», Paris 1869, p. 96. [«Философия искусства в Нидерландах», Париж 1869, стр. 96.]

философии, но и *промышленность данного народа*, все его общественные учреждения. А это значит, что социальная среда имеет свою последнюю причину в «состоянии умов и нравов».

Таким образом, выходит, что *психика* общественного человека определяется его *положением*, а его *положение* определяется его *психикой*. Это уже знакомая нам антиномия, с которой никак не могли справиться просветители XVIII века. Тэн не разрешил этой антиномии. Он только дал в ряде замечательных произведений множество блестящих иллюстраций ее первого положения — тезиса: *состояние умов и нравов определяется социальной средой*.

Французские современники Тэна, оспаривавшие его эстетическую теорию, выдвигали вперед *антитезис: свойства социальной среды определяются состоянием умов и нравов* *. Подобный спор можно вести до второго пришествия, не только не разрешая роковой антиномии, но даже не замечая ее существования.

Только историческая теория Маркса разрешает антиномию и тем приводит спор к благополучному окончанию или, по крайней мере, дает *возможность* благополучно закончить его людям, имеющим уши, чтобы слышать, и головной мозг, чтобы размышлять.

Свойства социальной среды определяются состоянием производительных сил в каждое данное время. Раз дано состояние производительных сил, даны и свойства социальной среды, дана и соответствующая ей психология, дано и взаимодействие между средой, с одной стороны, и умами и нравами — с другой. Брюнэтьер совершенно прав, говоря, что мы не только приспособляемся к среде, но и приспособляем ее к своим нуждам. Вы спросите, откуда же берутся нужды, *не* соответствующие

---

* «Nous subissons l'influence du *milieu* politique ou historique, nous subissons l'influence du milieu social, nous subissons aussi l'influence du milieu physique. Mais il ne faut pas oublier que si nous la subissons, nous pouvons pourtant aussi lui resister et vous savez sans doute qu'il y en a de mémorables exemples... Si nous subissons l'influence du milieu, un pouvoir que nous avons aussi, c'est de ne pas nous laisser faire, ou pour dire encore quelque chose de plus, c'est de conformer, c'est d'adapter le milieu lui-même à nos propres convenances». (*F. Brunetière*, L'évolution de la critique depuis la renaissance jusqu'à nos jours. Paris 1890, p.p. 260—261.)

[«Мы подвергаемся влиянию политической или исторической среды, мы подвергаемся влиянию социальной среды, мы подвергаемся также влиянию физической среды. Но не надо забывать, что, если мы и подвергаемся ему, мы в то же время можем противостоять этому влиянию, и вы, конечно, знаете тому памятные примеры... Если мы подвергаемся влиянию среды, то мы обладаем также способностью не поддаваться ему, больше того, мы можем приноровлять, приспособлять самую среду к собственным нашим потребностям». (*Ф. Брюнэтьер*, Эволюция критики с времен Ренессанса до наших дней, Париж 1890, стр. 260—261.)]

свойствам окружающей нас среды? Они порождаются в нас — и, говоря это, мы имеем в виду не только материальные, но и все так называемые духовные нужды людей — все тем же историческим движением, все тем же развитием производительных сил, благодаря которому всякий данный общественный строй рано или поздно оказывается неудовлетворительным, устарелым, требующим радикальной перестройки, а может быть, и прямо годным только на слом. Мы уже указали выше на примере правовых учреждений, каким образом психология людей может опережать данные формы их общежития.

Мы уверены, что по прочтении этих строк многие, даже благосклонные к нам читатели вспомнили массу примеров, массу исторических явлений, которые, повидимому, никак нельзя объяснить с нашей точки зрения. И читатели готовы уже сказать нам: «вы правы, но не вполне: правы также, и тоже не вполне, люди, держащиеся противоположных вашим взглядов: и вам и им видна только половина истины». Но подождите, читатель, не ищите спасения в *эклектизме*, не усвоив себе всего того, что может дать *современный монистический*, т. е. *материалистический*, взгляд на историю.

До сих пор наши положения по необходимости были очень отвлеченны. Но мы уже знаем: *отвлеченной истины нет*, *истина всегда конкретна*. Нам надо придать нашим положениям более конкретный вид.

Так как почти каждое общество подвергается влиянию своих соседей, то можно сказать, что *для каждого общества существует* в свою очередь *известная общественная*, *историческая среда*, *влияющая на его развитие*. Сумма влияний, испытываемых каждым данным обществом со стороны его соседей, никогда не может быть равна сумме тех же влияний, испытываемых в то же самое время другим обществом. Поэтому *всякое общество живет в своей особой исторической среде*, *которая может быть — и действительно часто бывает — очень похожа на историческую среду*, *окружающую другие народы*, *но никогда не может быть и никогда не бывает тождественна с нею*. Это вносит чрезвычайно сильный элемент разнообразия в тот процесс общественного развития, который с нашей прежней, отвлеченной точки зрения представлялся до крайности схематичным.

Пример. Родовой союз есть форма общежития, свойственная всем человеческим обществам на известной ступени их развития. Но влияние исторической среды очень разнообразит судьбы рода у различных племен. Оно придает самому роду тот или другой, так сказать, индивидуальный характер, оно замедляет или ускоряет его разложение, оно в особенности разнообразит процесс этого разложения. Разнообразие же в процессе разложения рода обусловливает собою разнообразие тех форм об-

щежития, которым родовой быт уступает свое место. До сих пор мы говорили: развитие производительных сил ведет к появлению частной собственности, к исчезновению первобытного коммунизма. Теперь мы должны сказать: характер частной собственности, возникающей на развалинах первобытного коммунизма, разнообразится влиянием исторической среды, окружающей каждое данное общество. «Внимательное изучение форм азиатской, особенно индийской, общинной собственности показало бы, как из различных форм первобытной общины вытекают различные виды ее разложения. Так, например, различные типы римской и немецкой частной собственности могли бы быть выведены из различных форм индийской общины» *.

Влияние исторической среды, окружающей данное общество, сказывается, конечно, и на развитии его идеологий. Ослабляют ли, и если да, то в какой мере ослабляют иностранные влияния зависимость этого развития от экономической структуры общества?

Сравните Энеиду с Одиссеей или французскую классическую трагедию с классической трагедией греков. Сравните русскую трагедию XVIII века с классической французской трагедией. Что вы увидите? Энеида есть лишь подражание Одиссее, классическая трагедия французов есть лишь подражание греческой трагедии; русская трагедия XVIII века сотворена, хотя и неумелыми руками, по образу и подобию французской. Везде — подражание, но подражатель отделяется от своего образца всем тем расстоянием, которое существует между обществом, породившим его, *подражателя*, и обществом, в котором жил *образец*. И заметьте, что мы говорим не о бо́льшем или меньшем совершенстве *отделки*, а о том, что составляет *душу* художественного произведения. На кого похож расиновский Ахилл: на грека, только что вышедшего из варварского состояния, или на маркиза — talon rouge — XVII столетия? О действующих лицах Энеиды замечали, что они являются римлянами времен Августа. Правда, о действующих лицах русских так называемых трагедий XVIII века трудно сказать, что они выводят перед нами русских людей того времени, но самая негодность их свидетельствует о состоянии русского общества. Они выводят перед нами *его незрелость* [1].

Еще пример. Локк, несомненно, был учителем огромного большинства французских философов XVIII века (Гельвеций называл его величайшим метафизиком всех веков и народов). И, однако, между Локком и его французскими учениками как раз то самое расстояние, которое отделяло английское общество

* «Zur Kritik der politischen Oekonomie», S. 10, Anmerkung. [«К критике политической экономии», стр. 10, Примечание.]

времен «glorious revolution» от французского общества, каким оно было за несколько десятилетий до «great rebellion» французского народа [1].

Третий пример. «Истинные социалисты» Германии 40-х годов ввозили свои идеи прямиком из Франции. И, однако, на эти идеи, можно сказать, уже на границе налагалось клеймо того общества, в котором им предстояло распространяться.

Итак, *влияние литературы одной страны на литературу другой прямо пропорционально сходству общественных отношений этих стран. Оно совсем не существует, когда это сходство равняется нулю.* Пример: африканские негры до сих пор не испытали на себе ни малейшего влияния европейских литератур. *Это влияние односторонне, когда один народ по своей отсталости не может ничего дать другому ни в смысле формы, ни в смысле содержания.* Пример: французская литература прошлого века, влияя на русскую литературу, не испытывала на себе ни малейшего русского влияния. Наконец, *это влияние взаимно, когда вследствие сходства общественного быта, а следовательно, и культурного развития каждый из двух обменивающихся народов может что-нибудь заимствовать у другого.* Пример: французская литература, влияя на английскую, в свою очередь испытывала на себе ее влияние.

Псевдоклассическая французская литература [2] очень нравилась в свое время английской аристократии. Но английские подражатели никогда не могли сравняться со своими французскими образцами. Это потому, что все усилия английских аристократов не могли перенести в Англию тех общественных отношений, при которых расцвела французская псевдоклассическая литература.

Французские философы восхищались философией Локка. Но они шли гораздо дальше своего учителя. Это потому, что тот класс, который они представляли, во Франции ушел в своей борьбе против старого режима гораздо дальше того класса английского общества, стремления которого выразились в философских сочинениях Локка.

Когда — как, например, в Европе нового времени — мы имеем целую систему обществ, чрезвычайно сильно влияющих одно на другое, тогда *развитие идеологий* в каждом из этих обществ усложняется так же сильно, как усложняется его *экономическое развитие* под влиянием беспрестанного торгового обмена с другими странами.

Мы имеем тогда как бы одну литературу, общую всему цивилизованному человечеству. Но как зоологический род подразделяется на виды, так эта всемирная литература подразделяется на литературы отдельных народов.

<Каждое литературное течение, каждая философская идея приобретает свой особый оттенок, иногда почти новый смысл, в каждой из отдельных цивилизованных стран> *.

Когда Юм приехал во Францию, французские «философы» приветствовали его как своего единомышленника. Но вот однажды, обедая у Гольбаха, этот несомненный единомышленник французских философов заговорил об «естественной религии». «Что касается до атеистов,— сказал он,— то я не допускаю их существования: я никогда не встречал ни одного». «Вам очень не везло до сих пор,— возразил ему автор «Системы природы»,— на первый раз вы видите здесь, за столом, семнадцать атеистов». Тот же самый Юм имел решительное влияние на Канта, которого он, по собственному признанию этого последнего, пробудил от его *догматической дремоты*. Но философия Канта значительно отличается от философии Юма. Тот же самый фонд идей приводит к воинствующему атеизму французских материалистов, к религиозному индифферентизму Юма, к «практической» религии Канта. Дело в том, что религиозный вопрос в Англии того времени играл не ту роль, какую играл он во Франции, а во Франции не ту, какую в Германии. А это различие в значении религиозного вопроса обусловливалось тем, что в каждой из этих стран общественные силы находились не в том взаимном отношении, в каком находились они в каждой из остальных. Одинаковые по своей *природе*, но неодинаковые по степени развития, общественные элементы различно сочетались в различных европейских странах и тем причиняли то, что в каждой из них было очень своеобразное «*состояние умов и нравов*», выразившееся в национальной литературе, в философии, в искусстве и т. д. Вследствие этого один и тот же вопрос мог до страсти волновать французов и оставлять холодными англичан, к одному и тому же доводу передовой немец мог относиться с почтением, а передовой француз с горячей ненавистью. Чему обязана немецкая философия своими колоссальными успехами? Немецкой действительности, отвечает Гегель: французам некогда заниматься философией, жизнь толкает их в практическую сферу (zum Praktischen), немецкая же действительность более разумна, и немцы могут спокойно совершенствовать теорию (beim Theoretischen stehen bleiben). В сущности эта мнимая разумность немецкой действительности сводилась к бедности немецкой социальной и политической жизни, не оставлявшей образованным немцам того времени другого выбора, как или служить в качестве чиновников непривлекательной «действительности» (пристроиться к «практическому»), или искать утешения в *теории*, сосредоточивать в этой области всю силу

* [Настоящая фраза имеется только в первом издании.]

страсти, всю энергию мысли. Но если бы уходящие в «практическое» более передовые страны не толкали вперед теоретической мысли немцев, если бы они не пробуждали их от их «догматической дремоты», то никогда это отрицательное свойство — бедность социальной и политической жизни — не породило бы этого колоссального положительного результата: блестящего расцвета немецкой философии.

У Гёте Мефистофель говорит: «Vernunft wird Unsinn, Wohlthat — Plage» *. В применении к истории немецкой философии почти можно отважиться на такой парадокс: бессмыслица породила разум, бедствие оказалось благодетельным.

Но, кажется, мы можем покончить с этой частью нашего изложения. Резюмируем сказанное в ней.

Взаимодействие существует в международной жизни, как и во внутренней жизни народов; оно вполне естественно и безусловно неизбежно, но тем не менее, *само по себе*, оно еще ровно ничего не объясняет. Чтобы понять взаимодействие, надо выяснить себе свойства взаимодействующих сил, а эти свойства не могут найти себе последнее объяснение в факте взаимодействия, как бы ни изменялись они благодаря ему. В нашем случае качества взаимодействующих сил, свойства влияющих один на другой общественных организмов объясняются в последнем счете уже известной нам причиной: *экономической структурой этих организмов, которая определяется состоянием их производительных сил.*

Теперь излагаемая нами историческая философия приняла, надеемся, уже несколько более конкретный вид. Но она все еще отвлеченна, она все еще далека от «живой жизни». Нам надо сделать новый шаг в направлении к этой последней.

Сначала мы говорили об «обществе», потом перешли ко взаимодействию обществ. Но ведь общества по своему составу не однородны; ведь мы уже знаем, что разложение первобытного коммунизма ведет к неравенству, к возникновению классов, имеющих различные, часто совершенно противоположные интересы. Мы уже знаем, что классы ведут между собою почти беспрерывную, то скрытую, то явную, то хроническую, то острую борьбу. И эта борьба оказывает огромное, в высшей степени важное влияние на развитие идеологий. Можно без преувеличения сказать, что мы ничего не поймем в этом развитии, *не приняв в соображение классовой борьбы.*

«Хотите ли вы узнать — если так можно выразиться — истинную причину трагедии Вольтера? — спрашивает Брюнэтьер.— Ищите ее, во-первых, в личности Вольтера, а особенно в тяготевшей над ним необходимости сделать нечто отличное от

* [«Безумством мудрость стала, злом — благое».]

того, что уже сделали Расин и Кино, и в то же время идти по их следам. О романтической драме, о драме Гюго и Дюма, я позволю себе сказать, что ее определение целиком заключается в определении вольтеровской драмы. Если романтизм не хотел делать того или другого на театральных подмостках, то это потому, что он хотел сделать обратное классицизму... В литературе, как и в искусстве, после влияния личности главнейшим действием является действие одних произведений на другие. Иногда мы стремимся соперничать с нашими предшественниками в их собственном жанре — и таким путем упрочиваются известные приемы, создаются школы, устанавливаются традиции. Иногда же мы стараемся делать иначе, чем делали они,— и тогда развитие приходит в противоречие с традицией, появляются новые школы, преобразуются приемы» *.

Оставляя пока в стороне вопрос о роли личности, мы заметим, что давно уже пора было вдуматься в «действие одних произведений на другие». Решительно во всех идеологиях развитие совершается путем, указанным Брюнэтьером. Идеологи одной эпохи *или* идут по следам своих предшественников, развивая *их* мысли, применяя *их* приемы и только позволяя себе «соперничать» с ними, *или* же они восстают против старых идей и приемов, *вступают в противоречие с ними. Органические* эпохи, сказал бы Сен-Симон, сменяются *критическими*. Достойны замечания особенно последние.

Возьмите любой вопрос, например вопрос о деньгах. Для меркантилистов деньги были богатством par excellence **: они приписывали деньгам преувеличенное, почти исключительное значение. Люди, восставшие против меркантилистов, вступив «*в противоречие*» с ними, не только исправили их исключительность, но и сами, по крайней мере наиболее рьяные из них, впали в исключительность, и именно в прямо противоположную крайность: деньги — это просто условные знаки; сами по себе они не имеют ровно никакой стоимости. Так смотрел на деньги, например, Юм. Если взгляд меркантилистов можно объяснить неразвитостью товарного производства и обращения в их время, то странно было бы объяснять взгляды их противников просто тем, что товарное производство и обращение развилось очень сильно. Ведь это последующее развитие ни на минуту не превращало денег в условные, лишенные внутренней стоимости знаки. Откуда же произошла исключительность взгляда Юма? Она произошла из факта борьбы, из «*противоречия*» с меркантилистами. Он хотел «сделать обратное» меркантилистам, подобно тому как романтики «хотели сделать обратное» класси-

* L. c., p.p. 262—263. [Цит. соч., стр. 262—263.]
** [по преимуществу]

кам. Поэтому можно сказать — подобно тому как Брюнэтьер говорит о романтической драме,— что юмовский взгляд на деньги целиком заключается во взгляде меркантилистов, будучи *его противоположностью*.

Другой пример: философы XVIII столетия резко и решительно борются против всякого мистицизма. Французские утописты все более или менее проникнуты религиозностью. Чем вызван был этот возврат к мистицизму? Неужели такие люди, как автор «Нового христианства»[1], имели менее «lumières» *, чем энциклопедисты? Нет, lumières у них было не меньше, и, говоря вообще, воззрения их были очень тесно связаны с воззрениями энциклопедистов; они происходили от них по самой прямой линии, но они вступили с ними «в противоречие» по некоторым вопросам, т. е. собственно по вопросу об общественной организации, и у них явилось стремление «сделать обратное» энциклопедистам; их отношение к религии было простою противоположностью отношения к нему «философов»; их взгляд на нее уже заключался во взгляде этих последних.

Возьмите, наконец, историю философии: во Франции второй половины XVIII века торжествует *материализм*; под его знаменем выступает крайняя фракция французского tiers état **. В Англии XVII века материализмом увлекаются защитники старого режима, аристократы, сторонники абсолютизма. Причина и здесь ясна. Те люди, с которыми находились «в противоречии» английские аристократы времен реставрации, были крайними религиозными фанатиками; чтобы «сделать обратное» им, *реакционерам* пришлось дойти до *материализма*. Во Франции XVIII века было как раз наоборот: за религию стояли защитники *старого* порядка, и к *материализму* пришли крайние революционеры. Такими примерами полна история человеческой мысли, и все они подтверждают одно и то же: *чтобы понять «состояние умов» каждой данной критической эпохи, чтобы объяснить, почему в течение этой эпохи торжествуют именно те, а не другие учения, надо предварительно ознакомиться с «состоянием умов» в предыдущую эпоху; надо узнать, какие учения и направления тогда господствовали*. Без этого мы совсем не поймем умственного состояния данной эпохи, как бы хорошо мы ни узнали ее экономию.

Но и этого не надо понимать отвлеченно, как привыкла все понимать русская «интеллигенция». Идеологи одной эпохи никогда не ведут со своими предшественниками борьбы sur toute la ligne ***, по всем вопросам человеческих знаний и обществен-

---

* [знаний]
** [третьего сословия.]
*** [по всей линии]

ных отношений. Французские утописты XIX века совершенно сходились с энциклопедистами во множестве антропологических взглядов; английские аристократы времен реставрации были совершенно согласны с ненавистными им пуританами во множестве вопросов, например гражданского права, и т. д. Психологическая территория подразделяется на провинции, провинции на уезды, уезды на волости и общины, общины представляют собою союзы отдельных лиц (т. е. отдельных вопросов). Когда возникает «противоречие», когда вспыхивает борьба, ее увлечение охватывает обыкновенно только отдельные провинции — если не отдельные уезды,— лишь отраженным действием охватывая соседние области. Нападению подвергается прежде всего та провинция, которой *принадлежала гегемония* в предыдущую эпоху. Лишь постепенно «бедствия войны» распространяются на ее ближайших соседей, на вернейших союзников атакованной провинции. Поэтому надо прибавить, что при выяснении характера всякой данной критической эпохи необходимо узнать не только общие черты психологии предшествующего органического периода, но также и индивидуальные особенности этой психологии. В продолжение одного исторического периода гегемония принадлежит религии, в продолжение другого — политике и т. д. Это обстоятельство неизбежно отражается на характере соответствующих критических эпох, из которых каждая, смотря по обстоятельствам, или продолжает формально признавать старую гегемонию, внося новое, *противоположное* содержание в господствующие понятия (пример: первая английская революция), или же совершенно отрицает их, и гегемония переходит к новым провинциям мысли (пример: французская литература просвещения). Если мы вспомним, что эти споры из-за гегемонии отдельных психологических провинций распространяются и на их соседей, и притом распространяются в различной мере и в различном направлении в каждом отдельном случае, то мы поймем, до какой степени здесь, как и везде, нельзя останавливаться на отвлеченных положениях.

«Все это, может быть, и так,— возражают наши противники,— но мы не видим, при чем здесь классовая борьба, и нам сильно сдается, что вы, начав за ее здравие, кончаете за упокой. Вы сами признаете теперь, что движения человеческой мысли подчиняются каким-то особым законам, не имеющим ничего общего с законами экономии или с тем развитием производительных сил, которым вы прожужжали нам уши».— Спешим ответить.

Что в развитии человеческой мысли, точнее сказать, в *сочетании человеческих понятий и представлений, есть свои особенные законы* — этого, насколько нам известно, не отрицал

ни один из «экономических» материалистов. Никто из них не отождествлял, например, законов логики с законами товарного обращения. Но тем не менее ни один из материалистов этой разновидности не находил возможным искать в законах мышления последней причины, *основного двигателя* умственного развития человечества. Именно это-то отличает *в выгодную сторону* «экономических материалистов» от идеалистов и особенно от эклектиков.

Раз желудок снабжен известным количеством пищи, он принимается за работу согласно общим законам желудочного пищеварения. Но можно ли с помощью этих законов ответить на вопрос, почему в ваш желудок ежедневно отправляется вкусная и питательная пища, а в моем она является редким гостем? Объясняют ли эти законы, почему одни едят слишком много, а другие умирают с голоду? Кажется, что объяснения надо искать в какой-то другой области, в действии законов иного рода. То же и с умом человека. Раз он поставлен в известное положение, раз дает ему окружающая среда известные впечатления, он сочетает их по известным общим законам (причем и здесь результаты до крайности разнообразятся разнообразием получаемых впечатлений). Но что же ставит его в такое положение? Чем обусловливается приток и характер новых впечатлений? Вот вопрос, которого не разрешить никакими законами мысли.

Далее. Вообразите, что упругий шар падает с высокой башни. Его движение совершается по всем известному и очень простому *закону механики*. Но вот шар ударился о наклонную плоскость. Его движение видоизменяется по другому, тоже очень простому и всем известному *механическому закону*. В результате у нас получается ломаная линия движения, о которой можно и должно сказать, что она обязана своим происхождением соединенному действию обоих упомянутых законов. Но откуда взялась наклонная плоскость, о которую ударился шар? Этого не объясняет ни первый, ни второй закон, ни их соединенное действие. Совершенно то же и с человеческой мыслью. Откуда взялись те обстоятельства, благодаря которым ее движения подчинились соединенному действию таких-то законов? Этого не объясняют ни отдельные ее законы, ни их совокупное действие.

Обстоятельств, обусловливающих движение мысли, надо искать там же, где искали их французские просветители. Но мы теперь уже не останавливаемся у того «предела», «прейти» который не могли они. Мы не только говорим, что человек со всеми своими мыслями и чувствами есть продукт общественной среды; мы стараемся *понять генезис этой среды*. Мы говорим, что свойства ее определяются такими-то и такими-то, вне человека лежащими и до сих пор от его воли не зависевшими причинами. Многообразные изменения *в фактических взаимных отношениях*

людей необходимо ведут за собою перемены в «состоянии умов», *во взаимных отношениях идей, чувств, верований.* Идеи, чувства и верования сочетаются по своим особым законам. Но эти законы приводятся в действие внешними обстоятельствами, не имеющими ничего общего с этими законами. Там, где Брюнэтьер видит лишь влияние одних литературных произведений на другие, мы видим, кроме того, глубже лежащие взаимные влияния общественных групп, слоев и классов; там, где он просто говорит: явилось противоречие, людям захотелось сделать обратное тому, что делали их предшественники, — мы прибавляем: а захотелось потому, что явилось новое противоречие в их *фактических отношениях*, что выдвинулся новый общественный слой или класс, который уже не мог жить так, как жили люди старого времени.

Между тем как Брюнэтьер знает только то, что романтикам хотелось противоречить классикам, Брандес старается объяснить их склонность к «противоречию» положением того общественного класса, к которому они принадлежали. Вспомните, например, что говорит он о причине романтического настроения французской молодежи во время реставрации и при Луи Филиппе.

Когда Маркс говорит: «*Чтобы одно сословие явилось сословием освободителем par excellence, нужно, чтобы какое-нибудь другое сословие явилось в общем сознании, наоборот, сословием-поработителем*»[1], — он тоже указывает особый, и притом очень важный, закон развития общественной мысли. Но этот закон действует и может действовать только в обществах, разделенных на классы; он не действует и не может действовать в первобытных обществах, где нет ни классов, ни их борьбы.

Вдумаемся в действие этого закона. Когда известное сословие является всеобщим поработителем в глазах остального населения, тогда и идеи, господствующие в среде этого сословия, естественно представляются населению идеями, достойными лишь поработителей. Общественное сознание вступает «в противоречие» с ними; оно увлекается *противоположными* идеями. Но мы уже сказали, что такого рода борьба никогда не ведется по всей линии: всегда остается известная часть идей, одинаково признаваемых и революционерами и защитниками старого порядка. Самая же сильная атака направляется на те идеи, которые служат выражением самых вредных в данное время сторон отживающего строя. По отношению к *этим* сторонам идеологи-революционеры испытывают непреодолимое желание «*противоречить*» своим предшественникам. По отношению же к другим идеям, хотя бы и выросшим на почве старых общественных отношений, они остаются часто совершенно равнодушными, а иногда продолжают, по традиции,

держаться за эти идеи. Так, французские материалисты, ведя борьбу против философских и политических идей старого режима (т. е. против духовенства и дворянской монархии), оставили почти нетронутыми старые *литературные* предания. Правда, и здесь эстетические теории Дидро явились выражением новых общественных отношений. Но здесь борьба была очень слаба, потому что главные силы сосредоточились на другом поле *. Здесь знамя восстания было поднято лишь после и притом такими людьми, которые, горячо сочувствуя свергнутому революцией старому режиму, должны были бы, повидимому, сочувствовать и тем литературным взглядам, которые сложились в золотое время этого режима. Но и эта кажущаяся странность объясняется началом «противоречия». Как вы хотите, например, чтобы Шатобриан сочувствовал старой эстетической теории, когда Вольтер — ненавистный, зловредный Вольтер!— был одним из ее представителей.

Der Widerspruch ist das Fortleitende **,— говорит Гегель. История идеологий как будто лишний раз показывает, что не ошибся старый «метафизик». Подтверждает она, повидимому, и переход количественных изменений в качественные. Но мы просим читателя не огорчаться этим и выслушать нас до конца.

До сих пор мы говорили, что, раз даны производительные силы общества, дана и его структура, а следовательно, и его психология. На этом основании можно было приписать нам ту мысль, что от экономического положения данного общества можно с точностью умозаключить к складу его идей. Но это не так, потому что идеологии каждого данного времени всегда стоят в теснейшей — положительной или отрицательной — связи с идеологиями предшествующего времени. «Состояние умов» всякого данного времени можно понять только в связи с состоянием умов предшествующей эпохи. Конечно, ни один класс не станет увлекаться такими идеями, которые противоречат его стремлениям. Каждый класс всегда прекрасно, хотя и бессознательно, приспособляет к своим экономическим нуждам свои «идеалы». Но это приспособление может произойти различным образом, и почему оно совершается так, а не иначе, это объясняется не положением данного класса, взятого в отдельности, а всеми частностями отношения этого класса к его антагонисту (или к его антагонистам). С появлением классов *противоречие* становится не только *двигающим*, но и *формирующим* началом ***.

* В Германии борьба литературных взглядов, как известно, шла с гораздо большей энергией, но здесь внимание новаторов не отвлекалось политической борьбой.

** [Противоречие ведет вперед]

*** Казалось бы, какое отношение к борьбе классов имеет история такого искусства, как, положим, архитектура, а между тем и она тесно

Но какова же роль личности в истории идеологий? Брюнэтьер придает индивидууму огромное значение, *независимое* от среды. *Гюйо* утверждает, что гений всегда творит что-нибудь новое *.

Мы скажем, что в области общественных идей гений опережает своих современников в том смысле, что *он ранее их схватывает смысл новых, нарождающихся общественных отношений*. Следовательно, здесь невозможно и говорить о независимости гения от среды. В области естествознания гений открывает законы, действие которых, конечно, не зависит от общественных отношений. Но роль общественной среды в истории всякого великого открытия сказывается, во-первых, в подготовке того запаса знаний, без которого ни один гений ровно ничего не сделает, а во-вторых, в направлении внимания гения в ту или другую сторону **. В области искусства гений дает наилучшее выражение преобладающей эстетической склонности данного общества или данного общественного класса ***.

связана с этой борьбой. См. *Эд. Корруайэ*, L'architecture gothique [Готическая архитектура], особенно в четвертой части: «L'architecture civile». [«Гражданская архитектура».]

* «Il introduit dans le monde des idées et des sentiments, des types nouveaux». («L'art au point de vue sociologique», Paris 1889, p. 31.) [«Он вводит в мир идей и чувств новые типы». («Искусство с социологической точки зрения», Париж 1889, стр. 31.)]

** Впрочем, только формально существует здесь двойственный характер влияния. Всякий данный запас знаний накоплен именно потому, что общественные нужды побуждали людей к его накоплению, направляли их внимание в соответствующую сторону.

*** А до какой степени эстетические склонности и суждения всякого данного класса зависят от его экономического положения, это знал еще автор «Эстетических отношений искусства к действительности». Прекрасное есть жизнь,— говорил он,— и пояснял свою мысль такими соображениями:

«Хорошая жизнь, «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка будет довольно плотна,— это также необходимое условие сельской красавицы; светская «полувоздушная красавица» кажется поселянину решительно «невзрачной», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цве-

Наконец, во всех этих трех областях влияние общественной среды сказывается в доставлении меньшей или большей возможности развития гениальных способностей отдельных лиц.

Конечно, мы никогда не сумеем объяснить влиянием среды всю *индивидуальность* гения, но это еще ничего не доказывает.

Баллистика умеет объяснить движение артиллерийского снаряда. Она умеет предвидеть его движение. Но она никогда не сумеет сказать вам, на сколько именно частей разорвется данный снаряд и куда именно полетит каждый отдельный осколок. Однако этим нимало не ослабляется достоверность тех выводов, к которым приходит баллистика. Нам нет надобности становиться на идеалистическую (или на эклектическую) точку зрения в баллистике: с нас совершенно достаточно механических объяснений, хотя — кто спорит? — эти объяснения и оставляют темными для нас «индивидуальные» судьбы, величину и форму отдельных осколков.

Странная ирония судьбы! То самое начало противоречия, на которое с таким жаром ополчаются, как на пустую выдумку «метафизика» Гегеля, наши субъективисты, как будто сближает нас avec nos chers amis les ennemis *. Если Юм отрицает внутреннюю стоимость денег ради противоречия с меркантилистами; если романтики создали свою драму только для того,

тущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в конечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества,— жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии... Здоровье, правда, никогда не может потерять цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья,— вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделия и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она много жила?» (См. в сборнике «Эстетика и поэзия», стр. 6—8) [1].

* [с нашими дорогими друзьями-недругами.]

«чтобы сделать обратное» тому, что делали классики, то объективной истины нет: есть только истинное для меня, для г. Михайловского, для князя Мещерского и т. д. Истина субъективна, истинно все то, что удовлетворяет нашей познавательной потребности.

Нет, это не так! Начало противоречия не разрушает объективной истины, а только ведет нас к ней. Правда, путь, которым оно заставляет идти человечество, вовсе *не прямолинейный путь*. Но и в механике известны такие случаи, когда то, что проигрывается на расстоянии, выигрывается на скорости: тело, двигающееся по *циклоиде*, иногда скорее доходит от одной точки до другой, ниже лежащей, чем если бы оно двигалось по *прямой* линии. «Противоречие» является там, и только там, где есть борьба, где есть движение; а там, где есть движение, мысль идет *вперед*, хотя бы и окольными путями. Противоречие с меркантилистами привело Юма к ошибочному взгляду на деньги. Но движение общественной жизни, а следовательно и человеческой мысли, не остановилось на точке, которой оно достигло во время Юма. Оно поставило нас в «противоречие» с Юмом, и это противоречие дало в результате правильный взгляд на деньги. И этот правильный взгляд, результат всестороннего рассмотрения действительности, есть уже *объективная истина*, которой не устранят никакие дальнейшие противоречия. Еще автор примечаний к Миллю с одушевлением говорил:

То, что жизнью взято раз,
Не в силах рок отнять у нас...

В применении к знанию это безусловно верно. Никакой рок не в силах отнять теперь у нас ни открытий Коперника, ни открытия превращения энергии, ни открытия изменяемости видов, ни гениальных открытий Маркса.

Общественные отношения видоизменяются; видоизменяются с ними и научные теории. В результате этих изменений является, наконец, всестороннее рассмотрение действительности, следовательно, и объективная истина. Ксенофонт имел иные экономические взгляды, чем Жан-Батист Сэй. Взгляды Сэя, наверное, показались бы Ксенофонту нелепостью; Сэй объявлял нелепостью взгляды Ксенофонта. А мы знаем теперь, откуда взялись взгляды Ксенофонта, откуда взялись взгляды Сэя, откуда взялась их односторонность. И это знание есть уже объективная истина, и никакой «рок» не сдвинет уже нас с этой открытой, наконец, правильной точки зрения.

— Но ведь не остановится же человеческая мысль на том, что вы называете открытием или открытиями Маркса? — Конечно, нет, господа! Она будет делать новые открытия, которые будут дополнять и подтверждать эту теорию Маркса, как новые

открытия в астрономии дополняли и подтверждали открытие Коперника.

«Субъективный метод» в социологии есть величайшая нелепость. Но всякая нелепость имеет свою достаточную причину, и мы, скромные последователи великого человека, можем не без гордости сказать: мы знаем достаточную причину этой нелепости. Вот она.

«Субъективный метод» открыт впервые не г. Михайловским и даже не «ангелом школы», т. е. не автором «Исторических писем». Его придерживались еще Бруно Бауэр и его последователи,— тот самый Бруно Бауэр, который родил автора «Исторических писем», того самого автора «Исторических писем», который родил г. Михайловского и братьев его.

«Объективность историка есть, подобно всякой объективности, не больше, как простая болтовня. И вовсе не в том смысле, что объективность есть недостижимый идеал. До объективности, т. е. до взгляда, свойственного большинству, до миросозерцания массы, историк может только *унизиться*. А раз он поступает так, он перестает быть творцом, он работает из-за поштучной платы, он становится наемником своего времени» *.

Эти строки принадлежат Шелиге, который был рьяным последователем Бруно Бауэра и над которым так едко смеялись Маркс и Энгельс в книге «Die Heilige Familie»**. Поставьте в этих строках «социолога» вместо «историка», замените «художественное творчество» истории творчеством общественных «идеалов» — и вы получите «субъективный метод в социологии».

Вдумайтесь в психологию идеалиста. Для него «мнения» людей суть основная, последняя причина общественных явлений. Ему кажется, что по свидетельству истории осуществлялись в общественных отношениях нередко самые нелепые мнения. «Почему же,— рассуждает он,— не осуществиться и моему мнению, которое, слава богу, далеко от нелепости. Раз существует известный идеал, существует, по крайней мере, возможность общественных преобразований, желательных с точки зрения этого идеала. Что же касается до проверки этого идеала посредством какого-нибудь объективного мерила, то она невозможна, так как подобного мерила не существует: мнения большинства не могут же служить мерилом истины».

Итак, есть возможность известных преобразований, потому что их призывают мои идеалы, потому что я считаю эти преоб-

* Die Organisation der Arbeit der Menschheit und die Kunst der Geschichtschreibung Schlosser's, Gervinus's, Dahlmann's und Bruno Bauer's, von *Szeliga*. Charlottenburg 1846, S. 6. [*Шелига*, Организация труда человечества и искусство историографии Шлоссера, Гервинуса, Дальмана и Бруно Бауэра, Шарлоттенбург 1846, стр. 6.]

** [«Святое семейство».]

разования полезными. Считаю же я их полезными потому, что мне хочется считать их такими. За исключением объективного мерила, у меня нет другого критерия, кроме моих желаний. Нраву моему не препятствуй! — вот последний довод субъективизма. Субъективный метод есть *reductio ad absurdum* * идеализма, а по пути, разумеется, и эклектизма, так как на голову этого паразита обрушиваются все ошибки объедаемых им «хороших господ» философии.

С точки зрения Маркса невозможно противопоставление «*субъективных*» взглядов личности взглядам «толпы», «большинства» и т. д., как чему-то *объективному*. Толпа состоит из людей, а взгляды людей всегда «*субъективны*», так как те или другие взгляды составляют одно из свойств *субъекта*. Объективны не взгляды «толпы», объективны те *отношения* в природе или обществе, *которые выражаются в этих взглядах*. Критерий истины лежит не во мне, а в отношениях, существующих вне меня. *Истинны* взгляды, правильно представляющие эти отношения; *ошибочны* взгляды, искажающие их. *Истинна* та естественно-научная теория, которая верно схватывает взаимные отношения явлений природы; *истинно* то историческое описание, которое верно изображает общественные отношения, существовавшие в описываемую им эпоху. Там, где историку приходится изображать борьбу противоположных общественных сил, он неизбежно будет сочувствовать той или другой, если только сам не превратился в сухого педанта. В этом отношении он будет *субъективен* независимо от того, сочувствует он *меньшинству* или *большинству*. Но такой субъективизм не помешает ему быть *совершенно* объективным историком, если только он не станет *искажать те реальные экономические отношения, на почве которых выросли борющиеся общественные силы*. Последователь же «субъективного» метода забывает об этих *реальных отношениях*, и потому он не может дать ничего, кроме своего драгоценного сочувствия или своей страшной антипатии, и потому он поднимает большой шум, упрекая своих противников в оскорблении нравственности всякий раз, когда ему говорят, что этого мало. Он чувствует, что не может проникнуть в тайну реальных общественных отношений, и потому всякий намек на их объективную силу кажется ему оскорблением, насмешкой над его собственным бессилием. Он стремится потопить эти отношения в воде своего нравственного негодования.

С точки зрения Маркса оказывается, стало быть, что идеалы бывают всякие: и низменные, и возвышенные, и правильные, и ошибочные. *Правилен идеал, соответствующий экономической*

* [доведение до абсурда]

действительности. Субъективисты, слышащие это, скажут, что если я стану приспособлять мои идеалы к действительности, то я сделаюсь жалким прислужником «ликующих». Но они скажут это единственно потому, что они в своем качестве метафизиков не понимают двойственного, *антагонистического* характера всякой действительности. «*Ликующие*» *опираются на уже отживающую действительность*, под которой зарождается *новая* действительность, действительность будущего, служить которой — значит содействовать торжеству «*великого дела любви*».

Читатель видит теперь, соответствует ли «*действительности*» то представление о марксистах, согласно которому они *не придают никакого значения идеалам*. Это представление оказывается *прямой противоположностью* «*действительности*». Если говорить в смысле «идеалов», то надо сказать, что теория Маркса есть *самая идеалистическая теория, которая когда-либо существовала в истории человеческой мысли*. И это одинаково верно как по отношению к ее чисто *научным*, так и по отношению к ее *практическим* задачам.

«Что прикажете делать, если г. Маркс не понимает значения самосознания и его силы? Что прикажете делать, если он так низко ценит сознанную истину самосознания?»

Эти слова были написаны еще в 1847 г. одним из последователей Бруно Бауэра *, и хотя ныне уже не говорят языком сороковых годов, но дальше Опица и до сих пор не пошли господа, упрекающие Маркса в игнорировании элемента мысли и чувства в истории. Все они до сих пор убеждены, что Маркс очень низко ценит силу человеческого самосознания; все они на разные лады твердят одно и то же **. В действительности Маркс считал объяснение человеческого «*самосознания*» важнейшей задачей общественной науки.

Он говорил: «Главный недостаток материализма, до фейербаховского включительно, состоял до сих пор в том, что он рассматривал действительность, предметный, воспринимаемый внешними чувствами мир, лишь в форме *объекта* или в форме *созерцания*, а не в форме *конкретной человеческой деятельности*,

* «Die Helden der Masse. Charakteristiken». Herausgegeben von *Theodor Opitz*. Grünberg 1848, S. 6—7. [«Герои массы. Характеристики». Издано *Теодором Опитц*. Грюнберг 1848, стр. 6—7.] Очень советуем г. Михайловскому прочитать это сочинение. Он встретит в нем множество своих *оригинальных* мыслей.

** Впрочем, нет, не все: никому еще не приходило в голову побивать Маркса указанием на то, что «человек состоит из души и тела». Г-н Кареев оригинален вдвойне: 1) никто до него не спорил так с Марксом, 2) никто после него, наверное, не будет так спорить с ним. Из этого примечания г. В. В. увидит, что и мы умеем воздавать должное его «профессору».

не в форме *практики*, не *субъективно*. Поэтому *деятельную* сторону, в противоположность материализму, развивал до сих пор идеализм, но развивал отвлеченно, так как идеализм естественно не признает конкретной деятельности как таковой» [1]. Вдумывались ли вы, господа, в эти слова Маркса? Мы скажем вам, что они означают.

Гольбах, Гельвеций и их последователи направляли все свои усилия к тому, чтобы доказать возможность материалистического объяснения природы. Даже отрицание врожденных идей не вело этих материалистов дальше рассмотрения человека как члена животного царства, как *matière sensible* *. Они не пытались разъяснить *историю человека* с своей точки зрения, а если и пытались (Гельвеций), то их попытки окончились неудачей. Но человек становится *«субъектом» только в истории*, потому что только в ней развивается его *самосознание*. Ограничиваться рассмотрением человека как члена животного царства — значит ограничиться рассмотрением его как *«объекта»*, упустить из вида его историческое развитие, его общественную «практику», конкретную человеческую деятельность. Но упустить из вида все это — значит сделать материализм *«сухим, мрачным, печальным»* (Гёте). Мало того, это значит сделать его — и мы уже показали это выше — *фаталистическим*, осуждающим человека на полное подчинение слепой материи. Маркс заметил этот недостаток французского, и даже фейербаховского, материализма и поставил себе задачей *исправить* его. Его «экономический» материализм является ответом на вопрос, как развивается *«конкретная деятельность»* человека, как в силу ее развивается его *самосознание*, как складывается *субъективная сторона истории*. Когда будет хоть отчасти решен этот вопрос, материализм перестанет быть сухим, мрачным, печальным, он перестанет уступать идеализму первое место при объяснении деятельной стороны человеческого существования. Тогда он избавится от свойственного ему фатализма.

Чувствительные, но слабоголовые люди потому возмущаются против теории Маркса, что принимают ее *первое* слово за *последнее*. Маркс говорит: при объяснении *субъекта* посмотрим, в какие взаимные отношения люди становятся под влиянием *объективной* необходимости. Раз известны эти отношения, можно будет выяснить, как развивается под их влиянием человеческое самосознание. *Объективная действительность* поможет нам выяснить *субъективную сторону* истории. Вот тут-то и прерывают обыкновенно Маркса чувствительные, но слабоголовые люди. Тут-то и повторяется обыкновенно нечто удивительно похожее на разговор Чацкого с Фамусовым.— «В процессе про-

* [чувствительной материи]

изводства своей общественной жизни люди наталкиваются на известные, определенные, от их воли не зависящие отношения: отношения производства»... — Ах, батюшки, он фаталист!.. — На экономической основе возвышаются идеологические надстройки... — Что говорит! и говорит, как пишет! Он совсем не признает роли личности в истории!.. — Да выслушайте же хоть раз; ведь из предыдущего следует, что...— Не слушаю, под суд! Под нравственный суд активно-прогрессивных личностей, под явный надзор субъективной социологии!!

Чацкого выручило, как известно, появление Скалозуба. В спорах русских последователей Маркса с их строгими субъективными ценителями дело принимало до сих пор другой оборот. Скалозуб зажимал рот Чацким, и тогда Фамусовы субъективной социологии вынимали из ушей пальцы и говорили с сознанием своего превосходства: да ведь они и сказали-то всего два слова; их взгляды остаются совершенно невыясненными [1].

Еще Гегель говорил, что всякую философию можно свести на *бессодержательный формализм*, если ограничиваться простым повторением ее основных положений. Но и этим грехом Маркс не грешен. Он не ограничивался повторением того, что развитие производительных сил лежит в основе всего исторического движения человечества. Редкий мыслитель сделал так много, как он, для развития своих основных положений.

— Но где же, где развил он свои взгляды? — на разные голоса поют, вопиют, взывают и глаголют гг. субъективисты.— Ведь вот посмотрите на Дарвина, ведь у него *книга*, а у Маркса книги-то и нет, и приходится *восстановлять* его взгляды.

Что и говорить: «восстановлять» — дело неприятное и нелегкое, особенно тому, у кого нет «*субъективных*» данных для правильного понимания, а потому и для «восстановления» чужих мыслей. Но восстановлять нет надобности, и книга, об отсутствии которой скорбят господа субъективисты, давно есть. Есть даже несколько книг, одна другой лучше выясняющих историческую теорию Маркса.

Первая книга — это история философии и общественной науки начиная с конца XVIII века. Ознакомьтесь с этой интересной книгой (конечно, «*Льюиса*» тут мало): она покажет вам, почему явилась, почему *должна была появиться* теория Маркса, на какие до тех пор неразрешенные и неразрешимые вопросы она ответила и, следовательно, каков ее *истинный смысл*.

Вторая книга — это «*Капитал*», тот самый «*Капитал*», который все вы «читали», с которым все вы «согласны», но которого ни один из вас не понял, милостивые государи.

Третья книга — это история европейских событий начиная с 1848 года, т. е. со времени появления известного

«Манифеста». Дайте себе труд вникнуть в содержание этой огромной и поучительной книги и скажите нам положа руку на сердце, если только есть беспристрастие в вашем «субъективном» сердце: неужели теория Маркса не дала ему поразительной, небывалой раньше способности предвидения событий? Что сталось теперь с современными ему утопистами реакции, застоя или прогресса? На какую замазку пошла пыль, в которую обратились их *«идеалы»* при первом столкновении с *действительностью?* Ведь не осталось следа даже и от пыли; а то, что говорил Маркс, осуществлялось, разумеется в главных чертах, каждый день и будет неизменно осуществляться до тех пор, пока не осуществятся, наконец, *его* идеалы.

Кажется, свидетельства этих трех книг достаточно? И, кажется, нельзя отрицать существования ни одной из них? Вы скажете, конечно, что мы вычитываем оттуда не то, что там написано? Что же, скажите и докажите это; мы с нетерпением ждем ваших доказательств, а чтобы вы не очень запутались в них, мы выясним вам на первый раз смысл второй книги.

Вы признаете *экономические* взгляды Маркса, отрицая его историческую теорию,— говорите вы. Надо сознаться, что этим сказано очень много, а именно: *этим сказано, что вы не понимаете ни исторической его теории, ни его экономических взглядов* [1].

О чем говорится в первом томе «Капитала»? Там говорится, например, о стоимости. Там говорится, что стоимость есть *общественное отношение производства*. Согласны вы с этим? Если — нет, то вы отказываетесь от своих собственных слов насчет согласия с экономической теорией Маркса. Если — да, то вы признаете его *историческую теорию*, хотя, очевидно, и не понимаете ее.

Раз вы признаете, что существующие независимо от воли людей, действующие за их спиной их собственные отношения производства отражаются в их головах в виде различных категорий политической экономии: *в виде стоимости, в виде денег, в виде капитала* и т. п., то вы тем самым признаете, что на известной экономической почве непременно вырастают известные, соответствующие ее характеру идеологические надстройки. В этом случае дело вашего обращения уже на три четверти сделано, ибо вам остается применить ваш «собственный», т. е. заимствованный у Маркса, взгляд к анализу идеологических категорий высшего порядка: права, справедливости, нравственности, равенства и т. п.

Или, может быть, вы соглашаетесь с Марксом только со второго тома его «Капитала»? Ведь есть же такие господа, которые «признают Маркса» лишь постольку, поскольку он писал так называемое письмо к господину Михайловскому [2].

Вы не признаете исторической теории Маркса? Стало быть, по-вашему ошибочна та точка зрения, с которой он оценивал, например, события французской истории от 1848 до 1851 года в своей газете «Neue Rheinische Zeitung» * и в других периодических изданиях того времени, равно как в книге: «Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonapartes»? ** Как жаль, что вы не потрудились показать ошибочность этой точки зрения; как жаль, что ваши взгляды остаются в *неразвитом виде* и что *невозможно даже «восстановить» их за недостатком данных*.

Вы не признаете исторической теории Маркса? Стало быть, по-вашему ошибочна та точка зрения, с которой он, например, оценивал значение философских учений французских материалистов XVIII века? [1] Жаль, что не опровергли вы Маркса и в этом случае. А может быть, вы даже и не знаете, где он говорил об этом предмете? Ну, в таком случае мы не хотим вас выручать из затруднения; ведь надо же знать вам «литературу предмета», о котором вы взялись рассуждать; ведь многие из вас,— говоря языком г. Михайловского,— носят звание ординарных и экстраординарных звонарей науки. Правда, это звание не помешало вам заниматься преимущественно «приватными» науками: субъективной социологией, субъективной историософией и т. д.

— Но отчего же Маркс не написал такой книги, в которой была бы изложена, с его точки зрения, вся история человечества от древности до наших дней и были бы рассмотрены все области развития: экономического, юридического, религиозного, философского и проч.?

Первый признак всякого образованного ума состоит в умении ставить вопросы, в знании того, каких ответов можно и каких нельзя требовать от современной науки. А вот в противниках Маркса этого признака как будто и не замечается, несмотря на их *экстраординарность*, а иногда даже и *ординарность*, а может быть, впрочем, и благодаря ей. Неужели вы думаете, что в биологической литературе существует такая книга, в которой была бы уже изложена вся история животного и растительного царства с точки зрения Дарвина? Поговорите на этот счет с любым ботаником или зоологом, и он, предварительно посмеявшись над вашей детской наивностью, сообщит вам, что представить всю длинную историю видов с точки зрения Дарвина — это *идеал* современной науки, которого она неизвестно когда и достигнет; теперь же найдена *та точка зрения*, с которой только и может быть понята история видов ***. Совершенно так обстоит дело и в современной исторической науке.

* [«Новая Рейнская газета»]

** [«Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта».]

*** «Alle diese verschiedenen Zweige der Entwickelungsgeschichte, die

«Что такое вся работа Дарвина? — спрашивает г. Михайловский.— Несколько обобщающих, теснейшим образом между собою связанных идей, венчающих целый Монблан фактического материала. Где же соответственная работа Маркса? Ее нет... И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во всей марксистской литературе, несмотря на всю ее обширность и распространенность... Самые основания экономического материализма, бесчисленное множество раз повторяемые как аксиомы, до сих пор остаются между собою несвязанными и фактически непроверенными, что особенно заслуживает внимания в теории, в принципе опирающейся на материальные, осязательные факты и усваивающей себе титул по преимуществу «научной»»*.

Что самые основания теории экономического материализма остаются несвязанными между собою — это *голая неправда*. Стоит только прочесть предисловие к «Zur Kritik der politischen Oekonomie» **, чтобы видеть, до какой степени стройно и тесно связаны они между собою. Что эти положения не проверены — это тоже неверно: они проверены с помощью анализа общественных явлений и в книге «18-ое Брюмера» и в «Капитале», и притом вовсе не «в особенности» в главе о первоначальном накоплении, как это думает г. Михайловский [1], а *решительно во всех главах от первой до последней*. Если тем не менее эта теория ни разу не была изложена в связи с «целым Монбланом» фактического материала, что, по мнению г. Михайловского, невыгодно отличает ее от теории Дарвина, то и тут опять одно недоразумение. С помощью того фактического материала, который заключается, положим, в книге «The origin of species» ***, доказывается главным образом *изменяемость* видов; *истории же некоторых отдельных видов Дарвин касается лишь мимоходом и то лишь гипотетически*: дескать,

---

jetzt noch teilweise weit auseinanderliegen und die von den verschiedensten empirischen Erkenntnissquellen ausgegangen sind, werden von jetzt an mit dem steigenden Bewusstsein ihres einheitlichen Zusammenhanges sich höher entwickeln. Auf den verschiedensten empirischen Wegen wandelnd und mit den mannigfaltigsten Methoden arbeitend werden sie doch alle auf ein und dasselbe Ziel hinstreben, auf das grosse Endziel einer universalen monistischen *Entwickelungsgeschichte*». (*E. Haeckel*, Ziele und Wege der heutigen Entwickelungsgeschichte. Jena 1875, S. 96.) [«Все эти различные отрасли истории развития, которые сейчас еще далеко отстоят друг от друга и исходят из самых различных эмпирических источников познания, получат отныне более высокое развитие в связи с растущим сознанием объединяющей их связи. Шествуя по самым различным эмпирическим путям и оперируя самыми разнообразными методами, они будут все же стремиться к одной и той же цели, к великой конечной цели универсальной монистической истории развития». (*Э. Геккель*, Цели и пути современной истории развития, Иена 1875, стр. 96.)]

* «Русское Богатство», январь 1894 г., отд. II, стр. 105—106.

** [«К критике политической экономии»]

*** [«Происхождение видов»]

история эта могла идти так, могла идти иначе,— одно несомненно: *была история, изменялись виды*. Теперь мы спросим г. Михайловского: нужно ли было доказывать Марксу, что человечество не стоит на одном месте, что изменяются общественные формы, что сменяются одни другими взгляды людей,— словом, нужно ли было доказывать *изменяемость* этого рода явлений? Конечно, не было нужно, хотя для доказательства легко было нагромоздить целый десяток «Монбланов фактического материала». Что же надо было делать Марксу? Предыдущая история общественной науки и философии накопила «целый Монблан» *противоречий*, настоятельно требовавших своего разрешения. *Маркс и разрешил их с помощью теории, которая, подобно теории Дарвина, состоит из «нескольких обобщающих, теснейшим образом связанных между собою идей»*. Когда явились эти идеи, тогда выяснилось, что с помощью их разрешаются все смущавшие прежних мыслителей противоречия. Марксу нужно было не нагромождать горы собранного его предшественниками фактического материала, а, пользуясь, между прочим, и этим материалом, приступить к изучению действительной истории человечества с новой точки зрения. Это и сделал Маркс, обратившись к изучению истории капиталистической эпохи, в результате чего явился «Капитал» (мы уже не говорим о монографиях, как «18-ое Брюмера»).

Но в «Капитале», по замечанию г. Михайловского, «речь идет об одном только историческом периоде, да и в этих пределах предмет, конечно, даже и приблизительно не исчерпан». Это верно. Но мы опять напомним г. Михайловскому, что первый признак образованного ума состоит в знании того, какие требования можно предъявлять людям науки. Маркс решительно не мог охватить в своем исследовании все исторические периоды, совершенно так же как Дарвин не мог написать историю *всех* животных и растительных видов.

Даже в отношении к одному историческому периоду предмет не исчерпан, хотя бы только приблизительно.— Нет, г. Михайловский, не исчерпан даже и приблизительно. Но, во-первых, скажите нам, какой же предмет исчерпан у Дарвина, хотя бы и «приблизительно». А во-вторых, мы сейчас вам объясним, как и почему не исчерпан вопрос в «Капитале».

По новой теории историческое движение человечества определяется развитием производительных сил, ведущих к изменениям экономических отношений. Поэтому дело всякого исторического исследования приходится начинать с изучения состояния производительных сил и экономических отношений данной страны. Но на этом, разумеется, исследование не должно останавливаться: оно должно показать, как сухой остов экономии покрывается живой плотью социально-политических

форм, а затем — и это самая интересная, самая увлекательная сторона задачи — человеческих идей, чувств, стремлений и идеалов. В руки исследователя поступает, можно сказать, *мертвая материя* (тут уж, как видит читатель, мы заговорили отчасти слогом г. Кареева), из его рук должен выйти *полный жизни организм*. Марксу удалось исчерпать — да и то, конечно, лишь приблизительно — только вопросы, относящиеся главным образом к материальному быту избранного им периода. Маркс умер не очень старым человеком. Но если бы он прожил еще 20 лет, то он, вероятно, все продолжал бы (за исключением, может быть, опять отдельных монографий) исчерпывать вопросы *материального быта того же периода*. Это-то и сердит г. Михайловского. Подбоченясь, он начинает читать нотацию знаменитому мыслителю: «Как же это ты так, братец?.. только один период... И притом не вполне... Не могу, не могу одобрить... Брал бы ты пример с Дарвина!». На всю эту субъективную рацею бедный автор «Капитала» отвечает лишь глубоким вздохом да печальным признанием: Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben! *

Г-н Михайловский быстро и грозно поворачивается к «*толпе*» последователей Маркса: в таком случае вы чего же смотрели, почему не поддержали старика, отчего не исчерпали всех периодов? — Некогда нам было, г. субъективный герой,— в пояс кланяясь и держа шапки наотлет, отвечают последователи,— другим мы были заняты, мы боролись против тех отношений производства, которые лежат тяжелым гнетом на современном человечестве. Не взыщи! А, между прочим, мы кое-что все-таки и сделали и — вот дайте срок — сделаем и еще больше [1].

Г-н Михайловский несколько смягчается: стало быть, вы и сами теперь видите, что не вполне? — Как не видеть! да ведь не вполне еще и у дарвинистов **, не вполне даже в субъективной социологии, а ведь это совсем другая опера.

Упоминание о дарвинистах вызывает новый приступ раздражения в нашем авторе.— Что вы ко мне лезете с Дарвином! — кричит он.— Дарвином увлекались хорошие господа, его многие профессора одобряли, а за Марксом кто идет? Одни рабочие да никем не патентованные приват-звонари науки.

Распеканция принимает столь интересный характер, что мы поневоле продолжаем внимать ей.

* [Искусство длинно, а жизнь наша коротка.]

** Интересно, что противники Дарвина долго твердили, да и до сих пор еще не перестали твердить, что его теории недостает именно «Монблана» фактических доказательств. В этом смысле высказался, как известно, Вирхов на съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Мюнхене в сентябре 1877 г. Отвечая ему, Геккель верно заметил, что если теория Дарвина не доказывается теми фактами, которые известны нам уже теперь, то никакие новые факты ничего не скажут в ее пользу.

«В книге «О происхождении семьи и проч.» Энгельс говорит, между прочим, что «Капитал» Маркса был «замалчиваем» цеховыми немецкими экономистами, а в книге «Людвиг Фейербах и конец классической философии» указывает, что теоретики экономического материализма «с самого начала обратились, главным образом, к рабочим и встретили у них ту восприимчивость, которой и не ожидали от представителей официальной науки». Насколько верны эти факты и каково их значение? Прежде всего «замолчать» на продолжительное время что-нибудь ценное едва ли теперь возможно даже у нас, в России, при всей слабости и мелкости нашей научной и литературной жизни. Тем паче невозможно это в Германии с ее многочисленными университетами, с ее всеобщей грамотностью, с ее бесчисленными газетами, листками всевозможных направлений, с значением в ней не только печатного, но и устного слова. И если некоторая часть официальных жрецов науки в Германии и встретила «Капитал» на первое время молчанием, то едва ли можно объяснять это желанием «замолчать» работу Маркса. Вернее предположить, что мотивом молчания было недоумение, рядом с которым быстро выросли и горячая оппозиция и полное почтение, и в результате теоретическая часть «Капитала» очень быстро заняла уже бесспорно высокое место в общепризнанной науке. Совсем не такова судьба экономического материализма, как исторической теории, со включением и тех перспектив в направлении будущего, которые находятся в «Капитале». Экономический материализм, несмотря на свое полувековое существование, не оказал до сих пор сколько-нибудь заметного влияния на научные сферы, но действительно очень быстро распространяется в рабочем классе» *.

Итак, после непродолжительного молчания быстро выросла оппозиция. Это так. До такой степени горячая, что ни один доцент не получит звания профессора, если он признает правильной хотя бы «экономическую» теорию Маркса; до такой степени горячая, что всякий, даже самый бесталанный, приват-доцент может рассчитывать на быстрое повышение, если только ему удастся придумать хоть пару завтра же всеми забываемых возражений против «Капитала». Что правда, то правда: очень горячая оппозиция...

И полное почтение... И это верно, г. Михайловский: действительно почтение. Такое же точно почтение, с каким теперь китайцы должны смотреть на японское войско: хорошо, мол, дерется, и неприятно попасть под его удары. Таким почтением к автору «Капитала» были и до сих пор остаются проникнуты немецкие профессора. И чем умнее профессор, чем

* «Русское Богатство», январь 1894 г., отд. II, стр. 115—116.

больше у него знаний, тем больше у него такого почтения, тем яснее сознает он, что ему не опровергнуть «Капитала». Вот почему ни одно из светил официальной науки не решается атаковать «Капитал». Светила предпочитают посылать в атаку молодых, неопытных, нуждающихся в повышении «приват-звонарей».

Туда умного не надо,
Вы пошлите-ка Реада,
А я посмотрю...

Что и говорить: велико почтение этого рода. А о другом почтении мы не слыхали, да и не может быть его в профессоре, потому что не сделают в Германии профессором человека, проникнутого им.

Но что же доказывает это почтение? А доказывает оно вот что. Поле исследования, охватываемое «Капиталом», есть именно то поле, которое *уже обработано* с новой точки зрения, с точки зрения *исторической теории Маркса*. На это поле и не смеют нападать противники; они «почитают его». И это, разумеется, очень хорошо для противников. Но нужна вся наивность «субъективного» социолога, чтобы с удивлением спрашивать, почему же эти противники до сих пор не берутся за обработку в духе Маркса соседних полей собственными силами. «Ишь чего захотели вы, милый герой! Тут и одно-то поле, обработанное в этом духе, жить не дает! И с ним-то волком воешь, а вы хотите, чтобы мы возделали по той же системе еще и соседние поля!» Плохо вникает в суть вещей г. Михайловский, а потому и не понимает «судьбы экономического материализма как исторической теории»; не понимает также и отношения немецких профессоров к «перспективам будущего». Не до *будущего* им, батюшка, когда ускользает из-под ног *настоящее*.

Но ведь не все же профессора в Германии до такой степени проникнуты духом классовой борьбы и «научной» дисциплины. Ведь есть же специалисты, которые ни о чем не думают, кроме науки. Как не быть, есть и такие, разумеется, и не в одной Германии. Но эти специалисты — именно потому, что они специалисты,— *поглощены своим предметом*; они обрабатывают свой небольшой клочок научного поля и никакими общими философско-историческими теориями не интересуются. О Марксе такие специалисты редко имеют какое-нибудь представление, а если и имеют, то разве как о неприятном человеке, кого-то и где-то обеспокоившем. Как же вы хотите, чтобы они писали в духе Маркса? В их монографиях обыкновенно нет *ровно никакого философского духа*. Но тут происходит нечто, подобное тем случаям, когда камни вопиют, если безмолвствуют люди. Сами исследователи-специалисты ничего не знают о теории Маркса, а добытые ими результаты громко кричат в ее пользу. И нет ни

одного серьезного специального исследования по истории политических отношений или по истории культуры, которое не подтверждало бы ее так или иначе. До какой степени весь дух современной общественной науки вынуждает специалистов бессознательно становиться на точку зрения исторической теории Маркса (именно *исторической*, г. Михайловский), показывает множество поразительных примеров. Выше читатель мог уже заметить два таких примера: Оскара Пешеля и Жиро-Тэлона. Теперь приведем третий. В своем сочинении: «La cité antique» * знаменитый Фюстель де Куланж высказал ту мысль, что религиозные взгляды лежали в основе всех общественных учреждений античной древности. Казалось бы, что этой мысли и надо было держаться при исследовании отдельных вопросов истории Греции и Рима. Но вот случилось Фюстель де Куланжу коснуться вопроса о *падении Спарты*. И вышло у него, что причина падения чисто экономическая **. Случилось ему коснуться вопроса о падении римской республики — и он опять обращается к экономии ***. Стало быть, что же выходит? В отдельных случаях человек подтверждал теорию Маркса, а если бы вы назвали его марксистом, он замахал бы, вероятно, обеими руками, чем несказанно обрадовал бы г. Кареева. Что прикажете делать, если не все люди последовательны до конца?

Но позвольте,— прерывает нас г. Михайловский,— и мне привести, с моей стороны, несколько примеров. «Обращаясь... к... книге Блоса [1], мы видим, что это очень почтенная работа, на которой, однако, вовсе нет специальных следов коренного переворота в исторической науке. Из того, что Блос говорит о классовой борьбе и об экономических условиях (сравнительно очень немного), еще не следует, что он строит историю на саморазвитии форм производства и обмена: обойти экономические условия в рассказе о событиях 1848 года было даже мудрено. Выкиньте из книги Блоса панегирик Марксу как творцу переворота в исторической науке, да еще несколько условных фраз с марксистской терминологией, и вам не придет в голову, что

* [«Древняя гражданская община»]

** См. его книгу: «Du droit de propriété à Sparte» [«О праве собственности в Спарте».] Для нас здесь совершенно безразличен содержащийся в ней, между прочим, взгляд на историю первобытной собственности.

*** «Il est assez visible pour quiconque a observé *le détail* (именно le détail, г. Михайловский) et les textes, que ce sont les intérêts matériels du plus grand nombre qui en ont été le vrai mobile» и проч. («Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Les origines du système féodal». Paris 1890, p. 94.) [«Достаточно очевидно для каждого, кто изучал факты в их конкретной подробности (именно в конкретной подробности, г. Михайловский) и тексты, что именно материальные интересы большинства людей были подлинно движущей причиной» и проч. («История политических учреждений древней Франции. Происхождение феодальной системы», Париж 1890, стр. 94.)]

вы имеете дело с последователем экономического материализма. Отдельные хорошие страницы исторического содержания у Энгельса, Каутского и некоторых других тоже могли бы обойтись без этикетки экономического материализма, так как на деле в них принимается в соображение вся совокупность общественной жизни, хотя бы и с преобладанием экономической струны в этом аккорде» *.

Г. Михайловский, очевидно, твердо помнит поговорку «назвался груздем, полезай в кузов». Он рассуждает так: если ты экономический материалист, то и должен ты иметь в виду *экономическое*, а не «касаться всей совокупности общественной жизни, хотя бы и с преобладанием экономической струны». Но мы уже докладывали г. Михайловскому, что научная задача марксистов именно в том и заключается, чтобы, начав со «струны», объяснить всю совокупность общественной жизни. Как же хочет он, чтобы они одновременно и отреклись от этой задачи и оставались марксистами. Правда, г. Михайловский никогда не хотел вдуматься в смысл этой задачи, но в этом виновата, разумеется, не историческая теория Маркса.

Мы понимаем, что, пока мы не отречемся от этой задачи, г. Михайловский будет часто попадать в очень затруднительное положение: часто он при чтении «хорошей страницы исторического содержания» будет далек от мысли («в голову не придет!»), что она написана «экономическим» материалистом. Это именно то положение, о котором говорится: хуже губернаторского! Но по вине ли Маркса будет попадать в него г. Михайловский?

Ахилл субъективной школы воображает, что «экономические» материалисты должны говорить лишь о «саморазвитии форм производства и обмена». Что же это за «саморазвитие», глубокомысленный г. Михайловский? Если вы думаете, что, по мнению Маркса, формы производства могут развиваться «сами собою», то вы жестоко ошибаетесь. Что такое *общественные отношения производства*? Это отношения людей. Как же будут они развиваться без людей? Ведь там, где не было бы людей, не было бы и отношений производства! Химик говорит: материя состоит из атомов, которые группируются в молекулы, а молекулы группируются в более сложные соединения. Все химические процессы совершаются по определенным законам. Из этого вы неожиданно заключаете, что, по мнению химика, все дело в законах, а что материя — атомы и молекулы — могла бы совсем не двигаться, отнюдь не помешав этим «саморазвитию» химических соединений. Всем ясна нелепость такого умозаключения. К сожалению, не всем ясна еще нелепость совершенно аналогичного по своей внутренней стоимости про-

* «Русское Богатство», январь 1894 г., отд. II, стр. 117.

тивопоставления *личностей — законам общественной жизни*; деятельности людей — внутренней логике форм их общежития.

Повторяем, г. Михайловский, задача новой исторической теории заключается в объяснении «*всей совокупности общественной жизни*» тем, что вы называете экономической струною, т. е. на самом деле *развитием производительных сил*. «Струна» — это в известном смысле основа (мы уже объясняли, в каком именно смысле), но напрасно думает г. Михайловский, что марксист «*только и дышит струною*», как один из персонажей в «Будке» Г. И. Успенского [1].

Трудное это дело — объяснить весь исторический процесс, последовательно держась одного принципа. Но что прикажете? Наука вообще не легкое дело, если только это не «субъективная» наука: в той все вопросы объясняются с удивительной легкостью. И раз у нас уже зашла речь об этом, мы скажем г. Михайловскому, что, может быть, в вопросах, касающихся развития идеологий, самые лучшие знатоки «струны» окажутся подчас бессильными, если не будут обладать некоторым особым дарованием, именно *художественным чутьем*. Психология приспособляется к экономии. Но это приспособление есть сложный процесс, и, чтобы понять весь его ход, чтобы наглядно представить себе и другим, как именно он совершается, не раз и не раз понадобится талант художника. Вот, например, уже Бальзак много сделал для объяснения психологии различных классов современного ему общества [2]. Многому можно поучиться нам и у Ибсена, да и мало ли еще у кого? Будем надеяться, что со временем явится много таких художников, которые будут понимать, с одной стороны, «железные законы» движения «струны», а с другой — сумеют понять и показать, как на «струне», и именно благодаря ее движению, вырастает «*живая одежда*» *идеологии*. Вы скажете, что там, где замешалась поэтическая фантазия, не может не иметь места художественный произвол, фантастичность догадок. Конечно, так! дело не обойдется и без этого. И это прекрасно знал Маркс; потому-то он и говорит, что надо строго различать между *экономическим состоянием* данной эпохи, *которое можно определить с естественно-научною точностью, и состоянием ее идей*. Много, очень много еще темного для нас в этой области. Но еще больше темного для идеалистов, а еще больше для эклектиков, которые, впрочем, никогда не понимают значения встречающихся им затруднений, воображая, что они всегда справятся с любым вопросом с помощью пресловутого «*взаимодействия*». В действительности они никогда ни с чем не справляются, а только прячутся за спину встречающихся им затруднений. До сих пор, по выражению Маркса, конкретную человеческую деятельность объяс-

няли исключительно с идеалистической точки зрения. Ну и что же? Много нашли удовлетворительных объяснений? Наши суждения о деятельности человеческого «духа» по своей малой основательности напоминают суждения древних греческих философов о природе: в лучшем случае гениальные, а то и просто остроумные гипотезы, подтвердить, доказать которые невозможно за отсутствием всякой точки опоры для научного доказательства. Только там и сделали что-нибудь, где вынуждены были поставить общественную психологию в связь со «струною». И вот, когда Маркс, заметив это, посоветовал не оставлять раз начатых попыток, когда он сказал, что надо всегда руководствоваться «струною», его обвинили в односторонности и узости понятий! Где тут справедливость, известно разве только субъективным социологам.

Толкуйте! — продолжает язвить нас г. Михайловский, — ваше новое слово «50 лет тому назад сказано». Да, г. Михайловский, около того. И тем печальнее, что вы до сих пор его не поняли. Мало ли таких «слов» в науке, которые были произнесены десятки и сотни лет тому назад, но до сих пор остаются неизвестны целым миллионам беззаботных насчет науки «*личностей*»*!* Представьте, что вы встретились с готтентотом и стараетесь уверить его, что земля обращается вокруг солнца. У готтентота и насчет солнца и насчет земли своя «оригинальная» теория. Ему трудно расстаться с нею. И вот он впадает в язвительность: вы пришли ко мне с новым словом, а между тем сами же вы говорите, что ему уже несколько сот лет! — Что докажет готтентотская язвительность? Только то, что готтентот есть готтентот. Но ведь этого не надо и доказывать.

Впрочем, язвительность г. Михайловского доказывает гораздо больше того, что могла бы доказать язвительность готтентота. Она доказывает, что наш «социолог» принадлежит к числу непомнящих *родства*. Его субъективная точка зрения унаследована от Бруно Бауэра, Шелиги и прочих *предшественников* Маркса в *хронологическом смысле*. Следовательно, «новое слово» г. Михайловского во всяком случае постарше нашего даже хронологически, а по внутреннему содержанию и гораздо постарше, потому что исторический идеализм Бруно Бауэра был возвратом ко взглядам материалистов прошлого века *.

Г-на Михайловского очень смущает, что «книга американца Моргана о «древнем обществе» появилась много лет спустя после того, как были провозглашены Марксом и Энгельсом

* Что же касается применения биологии к решению общественных вопросов, то «новые слова» г. Михайловского восходят, как мы видели, по своему «типу» к двадцатым годам нынешнего века. Очень почтенные старцы «новые слова» г. Михайловского! В них «*русский ум и русский дух*» подлинно «*зады твердит и лжет за двух*»!

основы экономического материализма [1] и совершенно независимо от него». Мы заметим на это:

Во-первых, что книга Моргана не «независима» от так называемого экономического материализма по той простой причине, что сам Морган стоит именно на его точке зрения, как в этом легко убедится г. Михайловский, если прочтет указываемую им книгу. Правда, к точке зрения экономического материализма Морган пришел независимо *от Маркса и Энгельса*, но это тем лучше для их теории.

Во-вторых, что ж за беда, если теория Маркса и Энгельса была «много лет спустя» подтверждена открытиями Моргана? Мы убеждены, что еще очень много будет открытий, подтверждающих эту теорию. А вот насчет г. Михайловского мы убеждены в противном: «субъективной» точки зрения не оправдает ни одно открытие ни через пять лет, ни через пять тысячелетий.

Из одного предисловия Энгельса [2] г. Михайловский узнал, что знания автора «Положения рабочего класса в Англии» и его друга Маркса в области экономической истории были в сороковых годах «недостаточны» (выражение самого Энгельса). Г-н Михайловский скачет и играет по этому поводу: стало быть, мол, и вся теория «экономического материализма», возникшая именно в сороковых годах, была построена на недостаточном основании. Это вывод, достойный остроумного гимназиста четвертого класса. Зрелый человек понял бы, что в применении к научным познаниям, как и ко всему прочему, выражения: «достаточный», «недостаточный», «малый», «большой» — надо брать в относительном смысле. После того как были провозглашены основания новой исторической теории, Маркс и Энгельс прожили целые десятилетия; они усердно занимались экономической историей и сделали в ней огромные успехи, что особенно легко понять ввиду их необыкновенных способностей. Благодаря этим успехам их прежние сведения должны были казаться им «*недостаточными*», но это еще не доказывает, что их теория была *неосновательна*. Книга Дарвина о происхождении видов вышла в 1859 г. Можно с уверенностью сказать, что уже десять лет спустя Дарвин считал недостаточными те знания, которыми он обладал во время обнародования своей книги. Что же из этого?

Немало иронизирует также г. Михайловский и на ту тему, что «для теории, претендовавшей осветить всемирную историю, спустя сорок лет после ее провозглашения (т. е. будто бы вплоть до появления книги Моргана) древняя греческая и германская истории оставались неразрешенными загадками» *. Эта ирония основана единственно на «недоумении».

* Там же, стр. 108.

Что в *основе* греческой и римской *истории лежала борьба классов* — это не могло быть неизвестно Марксу и Энгельсу в конце сороковых годов уже просто потому, что это известно было еще греческим и римским писателям. Прочитайте Фукидида, Ксенофонта, Аристотеля, почитайте римских историков, даже хотя бы Тита Ливия, который в описании событий слишком часто переносится, впрочем, на «субъективную» точку зрения,— и у каждого из них вы увидите твердое убеждение в том, что экономические отношения и вызываемая ими борьба классов служили основанием внутренней истории тогдашних обществ. Это убеждение имело у них непосредственную форму простого констатирования простого, общеизвестного житейского факта, хотя у Полибия есть уже, однако, что-то вроде философии истории, построенной на признании этого факта. Как бы там ни было, но факт признавался всеми, и неужели г. Михайловский думает, что Маркс и Энгельс «древних не читывали»? Неразрешимыми загадками для Маркса и Энгельса, равно как и для *всех людей науки*, оставались вопросы, касавшиеся форм *доисторического быта* Греции, Рима и германских племен (как это в другом месте говорит сам г. Михайловский). *На эти* вопросы ответила книга Моргана. Но уж не воображает ли наш автор, что для Дарвина не существовало неразрешенных вопросов в биологии того времени, когда он писал свою знаменитую книгу?

«Категория необходимости,— продолжает г. Михайловский,— столь всеобща и непререкаема, что обнимает собою даже самые безумные надежды и самые бессмысленные опасения, с которыми она, повидимому, призвана воевать. С ее точки зрения, надежда прошибить стену лбом есть не глупость, а необходимость, совершенно так же как Квазимодо [1] не урод, а необходимость, Каин и Иуда не злодеи, а необходимость. Словом, руководясь в практической жизни ею одною, мы попадем в какое-то фантастическое безграничное пространство, где нет идей и вещей, нет явлений, а есть только одноцветные тени идей и вещей» *. Именно так, г. Михайловский, именно даже всякие уродства представляют собою такой же продукт необходимости, как и самые нормальные явления, хотя отсюда вовсе еще не следует, что Иуда не злодей, так как нелепо противопоставление понятия «злодей» понятию «необходимость». Но раз вы лезете, милостивый государь, в герои (а всякий субъективный мыслитель есть герой, так сказать, ex professo **), то потрудитесь же доказать, что вы не «сумасшедший» герой, что ваши «надежды» не «безумны», что ваши «опасения» не «бессмысленны»,

* Там же, стр. 113—114.
** [по специальности]

что вы не «Квазимодо» мысли, что вы не приглашаете *толпу* «прошибать лбом стену». Для доказательства всего этого вам надо бы обратиться к категории необходимости, а вы не умеете оперировать с нею, ваша субъективная точка зрения исключает самую возможность подобных операций; благодаря этой «категории» действительность превращается для вас в царство теней. Вот тут-то вы и попадаете в тупой переулок, тут-то вы и подписываете своей «социологии» *testimonium paupertatis* *, тут-то вы и начинаете твердить, что «категория необходимости» не показывает ничего, так как она будто бы показывает слишком много. Свидетельство о теоретической бедности есть единственный документ, которым вы снабжаете ваших *«взыскующих града»* последователей. Маловато, маловато, г. Михайловский!

Синица уверяет, что она героическая птица и что ей в качестве таковой ничего не стоит зажечь море. Когда ее приглашают объяснить, на каких физических или химических *законах* основывается ее план зажжения моря, она попадает в затруднение и, чтобы выпутаться из него, начинает бормотать грустным и неразборчивым говорком, что, мол, это так ведь говорится «законы», а в сущности законы ничего не объясняют и никаких планов на них обосновать невозможно; что надо уповать на счастливый случай, так как давно уже известно, что на грех и из палки выстрелишь, но что вообще la raison finit toujours par avoir raison **. Какая легкомысленная, какая неприятная птица!

Сопоставим с этим неразборчивым бормотаньем синицы мужественную, поразительно стройную историческую философию Маркса.

Наши человекоподобные предки, как и все другие животные, находились в полном подчинении *природе*. Все их развитие было тем совершенно бессознательным развитием, которое обусловливалось приспособлением к окружающей их среде путем естественного подбора в борьбе за существование. Это было темное царство *физической необходимости*. Тогда не загоралась даже *заря сознания*, а следовательно, и *свободы*. Но физическая необходимость привела человека на такую ступень развития, на которой он стал мало-помалу выделяться из остального животного мира. Он стал *животным, делающим орудия*. Орудие есть орган, с помощью которого человек воздействует на природу для достижения своих целей. Это орган, подчиняющий *необходимость* человеческому *сознанию*, хотя на первых порах лишь в очень слабой степени, если можно так выразиться,— лишь клочками, урывками. *Степень развития про-*

---

* [свидетельство о бедности]

** [разум в конечном счете восторжествует.]

изводительных сил определяет меру власти человека над природой.

Развитие производительных сил само определяется свойствами окружающей людей географической среды. Таким образом, сама природа дает человеку средства для ее же подчинения.

Но человек не в одиночку ведет борьбу с природой: с ней борется, по выражению Маркса, общественный человек (der Gesellschaftsmensch), т. е. более или менее значительный по своим размерам общественный союз. Свойства *общественного* человека определяются в каждое данное время степенью развития производительных сил, потому что от степени развития этих сил зависит весь строй общественного союза. Таким образом, это строение определяется в последнем счете свойствами географической среды, дающей людям бо́льшую или меньшую возможность развития их производительных сил. Но раз возникли известные общественные отношения, дальнейшее их развитие совершается *по своим собственным внутренним законам*, действие которых ускоряет или замедляет развитие производительных сил, обусловливающее историческое движение человечества. Зависимость человека от географической среды из *непосредственной* превращается в *посредственную. Географическая среда* влияет на человека *через общественную*. Но *благодаря этому* отношение человека к окружающей его географической среде становится до крайности изменчивым. На каждой новой ступени развития производительных сил оно оказывается не тем, чем было прежде. Географическая среда совсем иначе влияла на британцев времен Цезаря, чем влияет она на нынешних обитателей Англии. Так разрешает современный *диалектический материализм* противоречия, с которыми никак не могли справиться просветители XVIII века *.

Развитие общественной среды подчиняется своим собственным законам. Это значит, что ее свойства так же мало зависят

---

* Монтескье говорил: дана географическая среда — даны свойства общественного союза: в одной географической среде может существовать только деспотизм, в другой — только небольшие независимые республиканские общества и т. д. Нет, возражал Вольтер, в одной и той же географической среде с течением времени появляются различные общественные отношения, следовательно, географическая среда не имеет влияния на историческую судьбу человечества: все дело в мнениях людей.—Монтескье видел одну сторону антиномии; Вольтер и его единомышленники— другую. Разрешалась эта антиномия обыкновенно лишь помощью *взаимодействия. Диалектический материализм* признает, как мы видим, существование взаимодействия, но он при этом объясняет его, указывая на развитие производительных сил. Антиномия, которую просветители могли, в лучшем случае, лишь спрятать в карман, разрешается очень просто: *диалектический разум* и здесь оказывается бесконечно сильнее *здравого смысла* («рассудка») просветителей.

от воли и от сознания людей, как и свойства географической среды. Производительное воздействие человека на природу порождает новый род зависимости человека, новый вид его рабства: *экономическую необходимость*. И чем более растет власть его над природой, чем более развиваются его производительные силы, тем более упрочивается это новое рабство: *с развитием производительных сил усложняются взаимные отношения людей в общественном производительном процессе*; ход этого процесса совершенно ускользает из-под их контроля, *производитель оказывается рабом своего собственного произведения* (пример: капиталистическая анархия производства).

Но — подобно тому как окружающая человека природа сама дала ему первую возможность развития его производительных сил, а следовательно, и его постепенного освобождения из-под ее власти — отношения производства, общественные отношения, собственной логикой своего развития приводят человека к сознанию причин его порабощения *экономической* необходимостью. Этим дается возможность нового и окончательного торжества *сознания* над *необходимостью*, *разума* над слепым *законом*.

Сознав, что причина его порабощения его собственным продуктом лежит в анархии производства, производитель («общественный человек») организует это производство и тем самым подчиняет его своей воле. Тогда оканчивается царство *необходимости* и воцаряется *свобода*, которая сама оказывается *необходимостью*. Пролог человеческой истории сыгран, начинается история *.

---

* После всего сказанного ясно, надеемся, и отношение учения Маркса к учению Дарвина. Дарвину удалось решить вопрос о том, как происходят растительные и животные виды в борьбе за существование. Марксу удалось решить вопрос о том, как возникают различные виды общественной организации в борьбе людей за их существование. Логически исследование Маркса начинается как раз там, где кончается исследование Дарвина. Животные и растения находятся под влиянием *физической* среды. На общественного человека физическая среда действует через посредство тех общественных отношений, которые возникают на основе производительных сил, первоначально развивающихся более или менее быстро, смотря по свойствам физической среды. Дарвин объясняет происхождение видов не *прирожденной* будто бы животному организму тенденцией к развитию, как это делал еще Ламарк, а приспособлением организма к условиям, вне его находящимся: не *природой организма*, а влиянием *внешней природы*. Маркс объясняет историческое развитие человечества не *природой человека*, а свойствами тех общественных *отношений* между людьми, которые возникают при воздействии общественного человека *на внешнюю природу*. Дух исследования решительно одинаков у обоих мыслителей. Вот почему можно сказать, что марксизм есть дарвинизм в его применении к обществознанию (мы знаем, что *хронологически* это не так, но это неважно). И это единственное *научное* его применение, потому что те выводы, которые делали из дарвинизма некоторые буржуазные писатели, были не науч-

Таким образом, диалектический материализм не только не стремится, как это приписывают ему противники, убедить человека, что нелепо восставать против экономической необходимости, но он впервые указывает, *как справиться* с нею. Так устраняется *неизбежный фаталистический* характер, свойственный *материализму метафизическому*. И точно таким же образом устраняется всякое основание для того пессимизма, к которому, как мы это видели, необходимо приводит последовательное *идеалистическое* мышление. Отдельная личность есть лишь пена на поверхности волны, люди подчинены железному закону, который можно лишь узнать, но который невозможно подчинить человеческой воле, говорил Георг Бюхнер. Нет, отвечает Маркс, раз мы *узнали* этот железный закон, от нас зависит свергнуть его иго, от нас зависит сделать *необходимость* послушной рабой *разума*.

Я — червь, говорит идеалист. Я — червь, пока я невежествен, возражает материалист-диалектик; но я — бог, когда я *знаю*. Tantum possumus, quantum scimus! *

И против этой-то теории, которая впервые прочно обосновала права человеческого разума, которая впервые стала рассматривать разум не как бессильную игрушку случайности, а как великую непреоборимую силу, восстают во имя будто бы попранных ею прав того же разума, во имя будто бы пренебрегаемых ею идеалов! И эту теорию смеют обвинять в квиетизме, в стремлении примириться с окружающим, чуть ли не подделываться к нему, как Молчалин подделывался ко всем, кто был выше его чином! Поистине можно сказать, что здесь с больной головы сваливают на здоровую.

Диалектический материализм ** говорит: человеческий разум не мог быть демиургом истории, потому что он сам является *ее продуктом*. Но раз явился этот продукт, он *не* должен и по самой природе своей *не может* подчиняться завещанной

ным его применением к изучению развития общественного человека, а простой буржуазной утопией, нравственной проповедью очень некрасивого содержания, подобно тому как гг. субъективисты занимаются проповедями красивого содержания. Буржуазные писатели, ссылаясь на Дарвина, в действительности рекомендовали своим читателям *не научные приемы Дарвина, а только зверские инстинкты* тех животных, о которых у Дарвина шла речь. Маркс сходится с *Дарвином*, буржуазные писатели *сходятся с зверями и скотами, которых изучал Дарвин*.

* [Столько можем, сколько знаем.]

** Мы употребляем термин «диалектический материализм», который один только и может правильно характеризовать философию Маркса. Гольбах и Гельвеций были материалистами-*метафизиками*. Они боролись с *метафизическим* идеализмом. Их материализм уступил место *диалектическому идеализму*, который в свою очередь был побежден *диалектическим материализмом*. Выражение «экономический материализм» крайне неудачно. Маркс никогда не называл себя экономическим материалистом.

прежнею историей действительности; он по необходимости стремится преобразовать ее по своему образу и подобию, *сделать ее разумной*.

Диалектический материализм говорит, подобо гетевскому Фаусту:

Im Anfang war die That! *

Действие (законосообразная деятельность людей в общественно-производительном процессе) объясняет материалисту-диалектику историческое развитие разума общественного человека **. К действию же сводится вся его *практическая философия. Диалектический материализм есть философия действия.*

Когда субъективный мыслитель говорит: «*мой идеал*»,— он тем самым говорит: *торжество слепой необходимости*. Субъективный мыслитель не умеет обосновать свой идеал на процессе развития действительности; поэтому у него тотчас же за стенами крошечного садика идеала начинается необъятное поле случайности, а следовательно, и слепой необходимости. Диалектический материализм указывает те приемы, с помощью которых все это необъятное поле можно превратить в цветущий *сад идеала*. Он прибавляет только, что средства для этого превращения скрыты *в недрах самого этого поля, что надо только найти их и уметь воспользоваться ими*.

Диалектический материализм не ограничивает, подобно субъективизму, прав человеческого разума. Он знает, что права разума необъятны и неограниченны, как и его силы. Он говорит: все, что есть разумного в человеческой голове, т. е. все то, что представляет собою не иллюзию, а истинное познание действительности, непременно перейдет в эту действительность, непременно внесет в нее свою долю разумности.

Отсюда видно, в чем заключается, по мнению материалистов-диалектиков, роль личности в истории. Далекие от того, чтобы сводить эту роль к нулю, они ставят перед личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный, термин, надо признать *совершенно, исключительно идеалистической*. Так как человеческий разум может восторжествовать над слепой необходимостью, только познав ее собственные, внутренние законы, только побив ее ее собственной силой, то развитие знания, развитие человеческого сознания является величайшей, благороднейшей задачей мыслящей личности. Licht, mehr Licht! *** — вот что нужно прежде всего.

---

* [Вначале было дело.]

** «Общественная жизнь есть жизнь практическая по преимуществу. Все таинственное, все то, что ведет теорию к мистицизму, находит рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практики» (*Маркс*) [1].

*** [Света, больше света]

Но если уже давно сказано, что никто не зажигает светильника для того, чтобы оставить его под спудом, то материалисты-диалектики прибавляют: не следует оставлять светильника в тесном кабинете «интеллигенции»! Пока существуют «герои», воображающие, что им достаточно просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда им угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, что им вздумается,— царство разума остается красивой фразой, благородной мечтою. Оно начнет приближаться к нам семимильными шагами лишь тогда, когда сама «толпа» станет героем исторического действия и когда в ней, в этой серой «толпе», разовьется соответствующее этому самосознание. Развивайте человеческое сознание,— сказали мы. Развивайте самосознание производителей,— прибавляем мы теперь. Субъективная философия кажется нам вредной именно потому, что она мешает интеллигенции содействовать развитию этого самосознания, противопоставляя толпу героям, воображая, что толпа есть не более, как совокупность нулей, значение которых зависит лишь от идеалов становящегося во главе ее героя.

Было бы болото, черти будут,— грубо говорит народная пословица. Были бы герои, толпа для них найдется,— говорят субъективисты, и эти герои — это мы, это субъективная интеллигенция. На это мы отвечаем: ваше противопоставление героев толпе есть простое самомнение и потому самообман. И вы останетесь простыми... говорунами до тех пор, пока не поймете, что для торжества ваших же идеалов надо устранить самую возможность такого противопоставления, надо разбудить в толпе героическое самосознание *.

Мнения правят миром,— говорили французские материалисты; мы — представители мнений, поэтому мы — демиурги истории; мы герои, за которыми толпе остается следовать.

Эта узость взглядов соответствовала исключительности положения французских просветителей. Они были представителями *буржуазии*.

Современный диалектический материализм стремится к устранению классов; он и появился тогда, когда это устранение сделалось исторической необходимостью. Поэтому он обращается к производителям, которые должны сделаться героями ближайшего исторического периода. Поэтому, в первый раз с тех пор, как наш мир существует и земля обращается вокруг солнца, происходит сближение науки с работниками: наука

* «Mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Action wird der Umfang der Masse zunehmen, deren Action sie ist». *Marx*, Die heilige Familie. S. 120. [«Вместе с основательностью исторического действия будет расти и объем массы, делом которой оно является», *Маркс*, Святое семейство, стр. 120.]

спешит на помощь трудящейся массе; трудящаяся масса опирается на выводы науки в своем сознательном движении.

Если все это не более как метафизика, то мы, право, уже не знаем, что́ называют наши противники метафизикой.

— Но все, что вы говорите, относится лишь к области пророчеств; все это одни гадания, принимающие несколько стройный вид лишь благодаря фокусам гегелевской диалектики; вот почему мы называем вас метафизиками,— отвечают гг. субъективисты.

Мы уже показали, что припутывать к нашему спору «триаду» можно только, не имея о ней ни малейшего понятия. Мы уже показали, что у самого Гегеля она никогда не играла роли *довода* и что она вовсе не составляет отличительной черты его философии. Мы показали также, смеем думать, что не ссылки на триаду, а научное исследование исторического процесса составляет силу исторического материализма. Поэтому мы могли бы теперь оставить это возражение без всякого внимания. Но мы полагаем, что читателю небесполезно будет припомнить следующий интересный факт из истории русской литературы семидесятых годов.

Разбирая «Капитал», г. Ю. Жуковский заметил [1], что автор его в своих, как теперь говорят, гаданиях опирается лишь на «*формальные*» соображения, что его аргументация представляет собою лишь бессознательную игру понятиями. Вот что отвечал на это обвинение покойный Н. Зибер:

«Мы остаемся при том убеждении, что исследование задачи материальной всюду предшествует у Маркса формальной стороне его работы. Мы полагаем, что если бы г. Жуковский прочел книгу Маркса внимательнее и беспристрастнее, то он сам согласился бы с нами в этом. Тогда он, несомненно, увидал бы, что именно исследованием материальных-то условий того периода капиталистического развития, который мы переживаем, автор «Капитала» и доказывает, что человечество ставит себе одни лишь разрешимые задачи. Маркс шаг за шагом ведет своих читателей по лабиринту капиталистического производства и, анализируя все составные его элементы, даёт понять нам временный его характер» *.

«Возьмем... фабричную промышленность,— продолжает Н. Зибер,— с ее беспрерывной переменой рук при каждой операции, с ее лихорадочным движением, бросающим рабочих чуть не ежедневно из одной фабрики в другую; разве не являются ее материальные условия подготовительной средою для новых форм общественного склада, общественной кооперации?

* *Н. Зибер*, «Несколько замечаний по поводу статьи г. Ю. Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале»» («Отеч. Зап.», 1877г., ноябрь, стр. 6).

Разве не в том же направлении идет и действие периодически повторяющихся экономических кризисов? Разве не к той же цели стремится сокращение рынков, уменьшение продолжительности рабочего дня, соперничество разных стран на общем рынке, победа большего капитала над капиталом незначительных размеров?..» Указав затем на невероятно быстрое увеличение производительных сил в процессе развития капитализма, Н. Зибер опять спрашивал: «Или все это не материальные, а чисто формальные преобразования?.. Разве, например, не фактическое противоречие капиталистической продукции то обстоятельство, что она заваливает периодически товарами всемирный рынок и заставляет голодать миллионы в то время, когда предметов потребления слишком много?.. Разве, далее, это не фактическое противоречие капитализма, в котором, мимоходом будь замечено, охотно сознаются сами владельцы капитала, что он в одно и то же время освобождает от работы множество народа и жалуется на недостаток рабочих рук? Разве не фактическое его противоречие, что средства к уменьшению работы, каковы механические и другие улучшения и усовершенствования, он превращает в средства удлинения рабочего дня? Разве не фактическое противоречие, что, ратуя за неприкосновенность собственности, капитализм лишает большинство крестьян земли и держит на одной задельной плате громадное большинство народонаселения? Разве все это и многое другое — одна лишь метафизика и ничего этого нет на деле? Но достаточно взять в руки любой номер английского «Economist», чтобы немедленно убедиться в противном. Итак, исследователю наличного общественно-экономического быта нет вовсе надобности в искусственном подведении капиталистического производства под заранее придуманные формальные, диалектические противоречия: на его век с избытком хватит и одних действительных противоречий».

Ответ Зибера, убедительный по своему содержанию, был мягок по форме. Совершенно другой характер имеет ответ тому же г. Жуковскому, последовавший со стороны г. Михайловского.

Наш почтенный субъективист и до сих пор понимает то сочинение, которое он защищал тогда, крайне «*узко*», чтобы не сказать однобоко, и старается даже других уверить в том, что однобокое его понимание именно и есть правильная его оценка. Разумеется, такой человек не мог быть надежным защитником «*Капитала*». Поэтому его ответ преисполнен самых ребяческих курьезов. Вот, например, один из них. Обвинение Маркса в формализме, в злоупотреблении гегелевской диалектикой г. Жуковский подтверждал, между прочим, ссылкой на одно место из предисловия к книге «Zur Kritik der politischen Oeko-

nomie» *. Г-н Михайловский находил, что противник Маркса «справедливо видел отражение гегелевской философии» в этом предисловии: *«если бы Маркс написал только это предисловие* к *«Zur Kritik* **», то *г. Жуковский был бы совершенно прав»* ***, т. е. было бы доказано, что Маркс не более как формалист и гегельянец. Тут г. Михайловский так удачно попал пальцем в небо, до такой степени «исчерпал» акт подобного попадания, что невольно спрашиваешь себя: — да читал ли наш, тогда еще подававший надежды автор указанное предисловие? ****. Можно было бы привести и еще несколько подобных курьезов (один из них будет указан ниже), но не в них теперь дело. Как ни плохо понимал Маркса г. Михайловский, он все-таки тотчас же увидел, что г. Жуковский «*сболтнул*» насчет «*формализма*»; он все-таки сообразил, что такая болтовня есть простой продукт *бес...церемонности*.

«Если бы Маркс сказал,— справедливо заметил г. Михайловский: — закон развития современного общества таков, что оно само спонтанейно отрицает свое предыдущее состояние и затем отрицает это отрицание, примиряя противоречия пройденных стадий в единстве индивидуальной и общинной собственности; если бы он сказал это и *только* это (хотя бы и на многих страницах), то он был бы чистым гегельянцем, строящим законы из глубины своего духа и успокаивающимся на чисто формальных, т. е. независимых от содержания, принципах. Но ведь всякий читавший «Капитал» знает, что он сказал не только это». По словам г. Михайловского, гегельянскую формулу можно так же легко снять с втиснутого будто в нее Марксом экономического содержания, как перчатку с руки или шляпу с головы. «Относительно пройденных ступеней экономического развития тут даже никаких сомнений быть не может... Столь же несомненно и дальнейшее течение процесса: сосредоточение средств производства все в меньшем и в меньшем числе рук. Насчет будущего могут быть, конечно, сомнения. Маркс полагает, что так как концентрация капитала сопровождается обобществлением труда, то это последнее и составит ту экономическую и нравственную почву (как же это обобществление труда «составит» *нравственную* почву? и как же быть с «саморазвитием форм»? — *Г. П.*), на которой вырастут новые юридические и политические порядки. Г-н Жуковский имел полное право называть это построение гадательным, но не имел никакого права (нравственного, разумеется. — *Г. П.*) совершенно

* [«К критике политической экономии».]

** [«К критике»]

*** Сочинения Н. К. Михайловского, т. II, стр. 356.

**** В этом месте излагается Марксом его материалистическое понимание истории.

умолчать о значении, какое Маркс придает процессу обобществления» *.

«Весь «Капитал», — справедливо замечает г. Михайловский,— посвящен исследованию того, как раз возникшая общественная форма все развивается, усиливает свои типические черты, подчиняя себе, ассимилируя (?) открытия, изобретения, улучшения способов производства, новые рынки, самую науку, заставляя их работать на себя, и как, наконец, дальнейших изменений материальных условий данная форма выдержать не может» **.

У Маркса «именно анализ отношений общественной формы (т. е. капитализма, г. Михайловский, не правда ли? — *Г. П.*) к материальным условиям ее существования (т. е. к производительным силам, делающим существование капиталистической формы производства все более и более непрочным,— не правда ли, г. Михайловский? — *Г. П.*) навсегда останется памятником логической системы и громадной эрудиции автора. Г-н Жуковский имеет нравственное мужество утверждать, что этот вопрос Маркс и обходит. Тут уж ничего не поделаешь. Остается только с изумлением следить за дальнейшими головоломными упражнениями критика, кувыркающегося на потеху публики, одна часть которой, без сомнения, сразу поймет, что перед ней ломается отважный акробат, но другая, чего доброго, придаст достойному удивления зрелищу совсем другое значение» ***.

Summa summarum ****: если г. Жуковский обвинял Маркса в формализме, то это обвинение, по словам г. Михайловского, представляло «одну большую ложь, состоящую из ряда маленьких лжей».

Строг этот приговор, но совершенно справедлив. А если он справедлив по отношению к г. Жуковскому, то он справедлив и по отношению ко всем тем, которые повторяют ныне, что «гадания» Маркса основаны лишь на гегелевской триаде. А если такой приговор справедлив по отношению ко всем таким людям, то... потрудитесь прочитать сию выписку:

«Он (Маркс) до такой степени наполнил пустую диалектическую схему фактическим содержанием, что ее можно снять с этого содержания, как крышку с чашки, ничего не изменив, ничего не повредив, за исключением одного только пункта, правда, огромной важности. А именно: относительно будущего «имманентные» законы общества поставлены исключительно диалектически. Для правоверного гегельянца достаточно

* Там же, стр. 353—354.

** Там же, стр. 357.

*** Там же, стр. 357—358.

**** [Итог итогов]

сказать, что за «отрицанием» должно следовать «отрицание отрицания»; но непричастные к гегелевской мудрости не могут этим довольствоваться: для них диалектический вывод не есть доказательство, и поверивший ему *не*-гегельянец должен знать, что он именно только поверил, а не убедился» *.

Г-н Михайловский произнес свой собственный приговор.

Г-н Михайловский сам сознает, что он повторяет теперь слова г. Ю. Жуковского насчет «формальности» доводов Маркса в пользу «гаданий». Он не забыл своей статьи «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» и даже опасается, как бы не вспомнил о ней некстати и его читатель. Поэтому он сначала делает вид, будто и теперь говорит то же, что говорил в семидесятых годах. С этою целью он повторяет, что «диалектическую схему» можно снять, «как крышку», и проч. Затем следует «*один только пункт*», в отношении к которому г. Михайловский, потихоньку от читателя, совершенно сходится с г. Ю. Жуковским. Но этот «один пункт» и есть тот самый пункт «*огромной важности*», который послужил поводом к изобличению г. Жуковского в «акробатстве».

В 1877 г. г. Михайловский говорил, что Маркс и насчет будущего,— т. е. именно насчет «одного пункта огромной важности»,— не ограничился ссылкой на Гегеля. Теперь у г. Михайловского выходит, что — *ограничился*. В 1877 г. г. Михайловский говорил, что Маркс с поразительной «логической силой», с «громадной эрудицией» показал, как «данная форма» (т. е. капитализм) «не может выдержать» дальнейших изменений «*материальных условий*» своего существования. Это относилось именно к «одному пункту огромной важности». Теперь г. Михайловский забыл, как много убедительного сказал Маркс по поводу этого пункта и как много логической силы и громадной эрудиции он при этом обнаружил. В 1877 г. г. Михайловский удивлялся тому «нравственному мужеству», с которым г. Жуковский умолчал о том, что Маркс в подтверждение своих гаданий ссылался на обобществление труда, уже совершающееся в капиталистическом обществе. Это тоже относилось к «одному пункту огромной важности». В настоящее время г. Михайловский уверяет читателей, что Маркс насчет этого пункта гадает «исключительно диалектически». В 1877 году «всякий читавший «Капитал»» знал, что Маркс «сказал *не только это*». Теперь оказывается, что — «только это» и что уверенность его последователей относительно будущего «держится исключительно на конце гегелевской трехконечной цепи» **. Какой, с Божьей помощью, поворот!

---

* «Русское Богатство», февраль 1894 г., отд. II, стр. 150—151.

** Та же статья, стр. 166.

Г-н Михайловский произнес свой собственный приговор и сознает, что произнес его.

Но с чего же это вздумалось г. Михайловскому подводить себя под действие беспощадного, им же самим произнесенного приговора? Неужели этот человек, страстно обличавший прежде литературных «акробатов», на старости лет сам почувствовал склонность к «акробатскому художеству»? Неужели возможны такие превращения? Всякие превращения возможны, читатель! И люди, с которыми случаются подобные превращения, достойны всякого порицания. Не мы будем оправдывать их. Но и к ним надо относиться, что называется, по-человечеству. Припомните глубоко гуманные слова автора примечаний к Миллю: когда человек поступает плохо, то тут часто не столько вина его, сколько беда его; припомните, что говорил тот же автор по поводу литературной деятельности Н. А. Полевого:

«Н. А. Полевой был последователем Кузена, которого считал разрешителем всех премудростей и величайшим философом в мире... Последователь Кузена не мог примириться с гегелевской философией, и когда гегелевская философия проникла в русскую литературу, ученики Кузена оказались отсталыми людьми, и ничего нравственно-преступного с их стороны не было в том, что они защищали свои убеждения и называли нелепым то, что говорили люди, опередившие их в умственном движении; нельзя обвинять человека за то, что другие, одаренные более свежими силами и большею решительностью, опередили его,— они правы, потому что ближе к истине, но и он не виноват, он только ошибается» *.

Г-н Михайловский всю жизнь свою был *эклектиком*. Примириться с исторической философией Маркса он не мог по всему складу своего ума, по всему характеру своего предыдущего — если так можно выразиться по отношению к г. Михайловскому — философского образования. Когда идеи Маркса стали проникать в Россию, он сначала пробовал защищать их, причем дело не обошлось, разумеется, без многочисленных оговорок и без весьма значительных «недоумений». Он думал тогда, что и эти идеи ему удастся смолоть на своей эклектической мельнице и таким путем внести еще более разнообразия в свою умственную пищу. Потом он увидел, что для украшения мозаичных работ, называемых миросозерцанием эклектиков, идеи Маркса совсем не годятся, что их распространение грозит разрушить любезную ему мозаику. Вот он и ополчился на эти идеи. Конечно, он тотчас же оказался при этом отсталым

* «Очерки гоголевского периода русской литературы», Спб. 1892, стр. 24—25.

человеком, но, право же, нам кажется, что он не виноват, что он только ошибается.

— Но ведь все это не оправдывает «акробатства»!

— Да мы и не оправдываем его, а только указываем на смягчающие обстоятельства: совершенно незаметным для себя образом г. Михайловский благодаря развитию русской общественной мысли попал в такое положение, из которого только и можно выпутываться посредством «акробатства». Есть, правда, и еще выход, но на него решился бы только человек, полный *истинного* героизма. Этот выход: *сложить свое эклектическое оружие*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор мы, излагая идеи Маркса, рассматривали преимущественно те возражения, которые делаются ему с теоретической точки зрения. Теперь нам полезно ознакомиться и с *«практическим разумом»* по крайней мере некоторой части его противников. При этом мы употребим прием *сравнительно-исторический*. Другими словами, мы рассмотрим сначала, как встретил идеи Маркса «практический разум» *немецких утопистов*, а потом уже обратимся к разуму наших дорогих и уважаемых соотечественников.

В конце сороковых годов у Маркса и Энгельса происходила интересная полемика с известным Карлом Гейнценом [1]. Полемика сразу приняла очень горячий характер. Карл Гейнцен старался, что называется, вышучивать идеи своих противников и обнаружил в этом занятии ловкость, которая ни в чем не уступает ловкости г. Михайловского. Маркс и Энгельс в долгу, разумеется, не оставались [2]. Не обошлось и без резкостей. Гейнцен назвал Энгельса «легкомысленным, дерзким мальчишкой»: Маркс назвал Гейнцена представителем der grobianischen Literatur, а Энгельс объявил его «невежественнейшим человеком своего столетия» [3]. Вокруг чего же вертелся спор? Какие взгляды приписывал Гейнцен Марксу и Энгельсу? А вот какие.

Гейнцен уверял, что, с точки зрения Маркса, *нечего было делать в тогдашней Германии* человеку, проникнутому мало-мальски благородными намерениями. По Марксу, говорил Гейнцен, «должно сначала наступить господство буржуазии, которое должно сфабриковать фабричный пролетариат», который уже с своей стороны начнет действовать *.

Маркс и Энгельс «не принимали в соображение *того* пролетариата, который создан тридцатью четырьмя немецкими вампирами», т. е., иначе сказать, всего немецкого народа, за

* «Die Helden des deutschen Kommunismus», Bern 1848, S. 21. [«Герои германского коммунизма», Берн 1848, стр. 21.]

исключением фабричных рабочих (слово «пролетариат» означает у Гейнцена лишь бедственное положение этого народа). Этот многочисленный пролетариат не имел будто бы, по мнению Маркса, никакого права требовать лучшего будущего, потому что он носил на себе «*лишь клеймо угнетения, а не фабричный штемпель*; он должен был терпеливо голодать и умирать с голода (hungern und verhungern) до тех пор, пока Германия не сделается Англией. Фабрика есть школа, которую народ должен предварительно пройти для того, чтобы иметь право взяться за улучшение своего положения» *.

Всякий хоть немного знакомый с историей Германии знает теперь, до какой степени нелепы были эти обвинения Гейнцена. Всякий знает, закрывали ли Маркс и Энгельс глаза на бедственное положение немецкого народа. Всякий понимает, справедливо ли было приписывать им ту мысль, что в Германии нечего делать благородному человеку, пока она не сделается Англией: кажется, эти люди делали кое-что и не дожидаясь подобного превращения своего отечества. Но почему же приписывал им Гейнцен весь этот вздор? Неужели по недобросовестности? Нет, мы опять скажем: тут была не вина его, а скорее беда его. Он просто не понял взглядов Маркса и Энгельса, и потому они показались ему вредными, а так как он горячо любил свою страну, то он и ополчился против этих будто бы вредных для нее взглядов. Но непонимание — плохой советник и очень ненадежный помощник в споре. Вот почему Гейнцен и очутился в самом нелепом положении. Он был очень остроумный человек, но без понимания, на одном остроумии далеко не уедешь, и теперь «les rieurs» ** *не на его стороне*.

На Гейнцена, как видит читатель, приходится смотреть теми же глазами, какими надо смотреть у нас по поводу совершенно аналогичного спора, например, на г. Михайловского. Да и на одного ли г. Михайловского? Ведь все те, которые приписывают «ученикам» стремление определиться на службу к Колупаевым и Разуваевым [1] — а имя им легион,— ведь все они повторяют ошибку Гейнцена, ведь никто из них не придумал ни одного возражения против «экономических» материалистов, какое уже не фигурировало бы *почти пятьдесят лет тому назад* в аргументации Гейнцена. Если у них есть что-нибудь оригинальное, так это одно: наивное незнание того, до какой степени они *не* оригинальны. Им все хочется найти «новые пути» для России, а по их невежеству «бедная русская мысль» попадает лишь на старые, полные рытвин, давно заброшенные пути европейской мысли. Странно это, но совершенно понятно, если

* Ibid., p. 22. [Там же, стр. 22.]
** [«смеющиеся»]

применить к объяснению этого, повидимому, странного явления «категорию необходимости». *На известной стадии экономического развития данной страны в головах ее интеллигенции «необходимо» вырастают известные благоглупости.*

До чего комично было положение Гейнцена в споре с Марксом, покажет следующий пример. Он приставал к своим противникам, требуя от них подробного «идеала» будущего: скажите, спрашивал он их, как, по-вашему, должны быть устроены имущественные отношения? Каковы должны быть пределы частной собственности, с одной стороны, и общественной — с другой? Они отвечали ему, что в каждый данный момент имущественные отношения общества определяются состоянием его производительных сил и что поэтому можно указать лишь общее направление общественного развития, но нельзя вырабатывать заранее никаких точно определенных законопроектов. Уже теперь можно сказать, что обобществление труда, создаваемое новейшей промышленностью, должно повести к национализации средств производства. Но нельзя сказать, в каких пределах можно было бы осуществить эту национализацию, положим, через десять лет: это зависело бы от того, в каких взаимных отношениях оказались бы тогда мелкая и крупная промышленность, крупное землевладение и крестьянская поземельная собственность и т. п.— Ну, стало быть, у вас нет никакого идеала,— умозаключал Гейнцен; — хорош идеал, который будет *сфабрикован лишь впоследствии машинами.*

Гейнцен стоял на *утопической* точке зрения. Утопист при выработке своего «идеала» всегда исходит, как мы знаем, из какого-нибудь отвлеченного *понятия*, например понятия о человеческой природе, или из какого-нибудь отвлеченного *принципа*, например принципа таких-то прав личности, или принципа «индивидуальности» и т. п. и т. п. Раз дан такой принцип, нетрудно, исходя из него, с совершеннейшей точностью, с мельчайшими подробностями определить, каковы *должны быть* (разумеется, неизвестно, в какое время и при каких обстоятельствах), положим, имущественные отношения людей. И понятно, что утопист с удивлением смотрит на тех, которые говорят ему, что не может быть таких имущественных отношений, которые были бы хороши сами по себе, без отношения к обстоятельствам места и времени. Ему кажется, что у таких людей совсем нет никаких «идеалов». Если читатель не совсем невнимательно следил за нашим изложением, то он знает, что в этом случае утопист очень неправ. У Маркса и Энгельса был идеал, и очень определенный *идеал*: подчинение *необходимости — свободе*, слепых *экономических сил — силе человеческого разума*. Исходя из этого идеала, они и направляли свою практическую деятельность, которая заключалась, разумеется, не в служении

буржуазии, а в развитии самосознания тех самых производителей, которые должны со временем стать господами своих продуктов.

Марксу и Энгельсу нечего было «заботиться» о превращении Германии в Англию, или, как говорят теперь у нас, о служении буржуазии: буржуазия развивалась и без их усилий, и невозможно было остановить это развитие, т. е. не было таких общественных сил, которые способны были бы сделать это. Да и излишне было бы это делать, потому что старые экономические порядки были, в последнем счете, не лучше буржуазных и в сороковых годах настолько устарели, что стали *вредны для всех*. Но невозможность остановить развитие капиталистического производства еще не лишала мыслящих людей Германии возможности *служить благосостоянию ее народа*. У буржуазии есть свои неизбежные спутники: все те, которые действительно служат ее кошельку *в силу экономической необходимости*. Чем развитее сознание этих невольных слуг, тем легче их положение, тем сильнее их сопротивление Колупаевым и Разуваевым всех стран и всех народов. Маркс и Энгельс и поставили себе задачей развивать это самосознание: согласно духу диалектического материализма они с самого начала поставили перед собою *совершенно, исключительно идеалистическую задачу*.

Критерием идеала служит экономическая действительность. Так говорили Маркс и Энгельс, и на этом основании их заподозревали в каком-то экономическом молчалинстве, в готовности топтать в грязь экономически слабого и подслуживаться к экономически сильному. Источником таких подозрений было *метафизическое понимание того*, что разумели Маркс и Энгельс под словами *экономическая действительность*. Когда метафизик слышит, что общественный деятель должен опираться на действительность, он думает, что ему советуют мириться с нею. Он не знает, что во всякой экономической действительности существуют *противоположные элементы* и что помириться с действительностью значило бы помириться лишь с одним из ее элементов, с тем, который *господствует* в данное время. Материалисты-диалектики указывали и указывают на другой, враждебный этому элемент действительности, *на тот, в котором зреет будущее*. Мы спрашиваем: опираться на *этот* элемент, брать *его* критерием своих «идеалов»,— значит ли это прислуживаться к Колупаевым и Разуваевым?

Но если критерием идеала должна являться экономическая действительность, то понятно, что *нравственный* критерий идеала оказывается *неудовлетворительным* не потому, что нравственные чувства людей заслуживают пренебрежения или презрения, а потому, что эти чувства еще не указывают нам правильного пути в деле служения интересам наших ближних.

Врачу недостаточно сочувствовать положению своего больного: ему надо считаться с *физическою действительностью* организма, опираться на нее в борьбе с нею же. Если бы врач вздумал довольствоваться нравственным негодованием против болезни, то он заслуживал бы самой злейшей насмешки. В этом смысле Маркс и осмеивал «*морализирующую критику*» и «*критическую мораль*» своих противников. А противники думали, что он насмехается над «*нравственностью*». «Человеческая нравственность и воля не имеют цены в глазах людей, которые сами не имеют ни нравственности, ни воли»,— восклицал Гейнцен *.

Надо, однако, заметить, что если наши русские противники «экономических» материалистов в общем только повторяют — sans le savoir ** — доводы своих немецких предшественников, то все-таки они несколько разнообразят свою аргументацию некоторыми частностями. Так, например, немецкие утописты не предавались длинным рассуждениям о «законе экономического развития» Германии. У нас же рассуждения этого рода приняли поистине ужасающие размеры. Читатель помнит, что г. В. В. еще в самом начале восьмидесятых годов обещал открыть закон экономического развития России [1]. Правда, г. В. В. стал впоследствии побаиваться такого закона, но он сам же показал при этом, что боится его лишь временно, лишь до той поры, пока русская интеллигенция не откроет очень хорошего и очень доброго закона. Вообще же и г. В. В. охотно принимает участие в бесконечных спорах о том, должна или не должна Россия пройти через фазу капитализма. Еще с семидесятых годов к этим спорам припутано было учение Маркса.

Как ведутся у нас такие споры, показывает самоновейшее слово г. С. Кривенко. Этот автор, возражая г. П. Струве, советует своему противнику получше вдуматься в вопрос об «обязательности и добрых последствиях капитализма».

«Если капиталистический режим представляет роковую, неизбежную стадию развития, через которую должно пройти всякое человеческое общество, если перед этою историческою необходимостью остается только склонить голову, то следует ли прибегать к мерам, которые могут только замедлять наступление капиталистического порядка, и, наоборот, не следует ли стараться облегчать переход к нему и употреблять все усилия к скорейшему его наступлению, т. е. стараться о развитии капиталистической промышленности и капитализации промыслов, о развитии кулачества... о разрушении общины, об обезземелении населения и вообще о выкуривании лишнего мужика из деревни на фабрики?» *** [2].

* Ibid., p. 22. [Там же, стр. 22.]
** [сами того не зная]
*** «Русское Богатство», декабрь 1893 г., отд. II, стр. 189.

Г-н С. Кривенко ставит тут, собственно, два вопроса: 1) представляет ли собою капитализм роковую, неизбежную стадию? 2) Если да, то какие вытекают из этого практические задачи? Остановимся на первом.

Г-н С. Кривенко правильно формулирует его в том смысле, что одна, и притом огромнейшая, часть нашей интеллигенции в таком именно виде и задавалась им: представляет ли капитализм роковую, неизбежную стадию, через которую должно пройти всякое человеческое общество? Одно время думали, что Маркс отвечал на этот вопрос утвердительно, и очень огорчались этим. Когда было обнародовано известное письмо Маркса, будто бы к г. Михайловскому *[1], с удивлением увидели, что Маркс не признавал «обязательности» этой стадии, и тогда злорадно решили: ну и пристыдил же он своих русских учеников! Но злорадствовавшие забыли французскую пословицу: bien rira qui rira le dernier **.

От начала до конца этого спора противники «русских учеников» Маркса предавались самому «неестественному празднословию».

Дело в том, что, рассуждая о применимости к России исторической теории Маркса, забыли безделицу: забыли выяснить себе, в чем же эта теория заключается. И поистине великолепен был тот просак, в который попали благодаря этому наши субъективисты с г. Михайловским во главе.

Г-н Михайловский прочитал (если прочитал) предисловие к «Zur Kritik», в котором изложена философско-историческая теория Маркса, и решил, что это не более как гегельянщина. Не заметив слона там, где слон действительно находился, г. Михайловский стал оглядываться по сторонам, и ему показалось, что он увидел, наконец, искомого слона в главе о первоначальном капиталистическом накоплении, где речь идет об историческом движении западного капитализма, а вовсе не об истории всего человечества.

Всякий процесс безусловно «обязателен» там, где он существует. Так, например, горение спички обязательно для нее, раз она загорелась; спичка «обязательно» гаснет, раз процесс горения пришел к концу. В «*Капитале*» речь идет о ходе капиталистического развития, «обязательного» для тех стран, где это развитие имеет место. Вообразив, что в указанной главе «Капитала» он имеет перед собою целую историческую философию, г. Михайловский решил, что, по мнению Маркса, капиталистическое производство обязательно для всех стран

* В этом черновом, не получившем окончательной обработки, наброске письма Маркс обращается не к г. Михайловскому, а к редактору «Отеч. Зап.». О г. Михайловском Маркс говорит в третьем лице.

** [хорошо смеется тот, кто смеется последний.]

и для всех народов *. Тогда он стал *ныть* по поводу затруднительного положения тех русских людей, которые и проч., и — шутник!— отдав должную дань своей субъективной потребности в нытье, он важно произнес, обращаясь к г. Жуковскому: вы видите, и мы умеем критиковать Маркса, и мы не слепо следуем за тем, что magister dixit! ** Само собою разумеется, что все это ни на шаг не подвинуло вперед вопроса об «обязательности», но, прочитав нытье г. Михайловского, Маркс вознамерился было пойти к нему на помощь. Он набросал в виде письма к редактору «Отечественных Записок» свои замечания на статью г. Михайловского. Когда после смерти Маркса набросок этот появился в нашей печати, русским людям, которые и проч., дана была, по крайней мере, *возможность* правильно решить вопрос об «обязательности».

Что мог сказать Маркс по поводу статьи г. Михайловского? Человек впал в беду, приняв за философско-историческую теорию Маркса то, что вовсе ею не было. Ясно, что этому последнему нужно было прежде всего выручить из беды подававшего надежды молодого русского писателя. Кроме того, русский молодой писатель жаловался, что Маркс приговаривает Россию к капитализму. Надо было показать русскому писателю, что диалектический материализм никаких стран ни к чему не приговаривает, что он не указывает пути, общего и «обязательного» для всех народов во всякое данное время; что дальнейшее развитие всякого данного общества всегда зависит от соотношения общественных сил внутри его и что поэтому всякому серьезному человеку надо, не гадая и не ноя по поводу какой-то фантастической «обязательности», изучить прежде всего это соотношение; только такое изучение

* См. статью: «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского»—«Отеч. Зап.», окт., 1877. «В шестой главе «Капитала» имеется параграф, озаглавленный: «Так называемое первоначальное накопление». Здесь Маркс имел в виду исторический очерк первых шагов капиталистического процесса производства, но дал нечто гораздо большее—целую философско-историческую теорию». Это, повторяем, совсем пустяки: историческая философия Маркса изложена в не понятом г. Михайловским предисловии к «Zur Kritik der politischen Oekonomie» в виде «нескольких обобщающих, теснейшим образом связанных между собой идей». Но это мимоходом. Г-н Михайловский ухитрился не понять Маркса даже в том, что касалось «обязательности» капиталистического процесса для Запада. Он увидал в фабричном законодательстве «поправку» к фатальной непреклонности исторического процесса. Воображая, что, по Марксу, «*экономическое*» действует само по себе, без всякого участия людей, он был последователен, видя поправку в каждом вмешательстве людей в ход своего производительного процесса. Он не знал только, что, по Марксу, само это вмешательство, *в каждом данном своем виде*, есть неизбежный продукт данных экономических отношений. Извольте спорить о Марксе с людьми, которые не понимают его с таким замечательным постоянством!

** [учитель сказал.]

и может показать, что «обязательно» и что «необязательно» для данного общества.

Все это и сделал Маркс. Прежде всего он обнаружил «недоумение» г. Михайловского: «В главе о первоначальном накоплении я хочу нарисовать тот путь, каким в Западной Европе капиталистический строй вышел из недр феодально-экономического строя. В ней, следовательно, прослежен тот ход исторических событий, которым производитель был оторван от средств производства, при чем первый превратился в наемного рабочего (пролетария в современном смысле слова), а последние — в капитал. В этой истории каждый переворот составляет эпоху, служа рычагом развития класса капиталистов; главную же основу такого развития составляет экспроприация земледельцев. В конце главы я говорю об исторической тенденции капиталистического накопления, утверждая, что его последним словом будет превращение капиталистической собственности в собственность общественную. В этих заключительных словах я не привожу никаких доказательств в пользу сделанного утверждения, по той простой причине, что само оно есть не что иное, как общий вывод длинного ряда рассуждений о капиталистическом производстве»[1].

Для лучшего уяснения того обстоятельства, что г. Михайловский принял за историческую теорию то, что такой теорией не было и быть не могло, Маркс указывает на пример древнего Рима. Очень убедительный пример! В самом деле, если для всех народов «обязательно» пройти через капитализм, то как же быть с Римом, как быть со Спартой, как быть с государством инков, как быть со множеством других народов, которые сошли с исторической сцены, не исполнив этой своей мнимой обязанности? Марксу судьба этих народов не осталась неизвестной; следовательно, он не мог говорить о повсюдной «обязательности» капиталистического процесса.

«Моему критику,— говорит Маркс,— угодно было мой очерк истории происхождения западно-европейского капитализма превратить в целую историко-философскую теорию исторического пути народов, роковым образом предначертанного для каждого из них, каковы бы ни были условия его исторического бытия. Но я прошу извинить меня: такое толкование для меня одновременно и слишком почетно, и слишком постыдно»[2].

Ну, еще бы нет! Ведь подобное толкование превращало Маркса в одного из тех «людей с формулами», над которыми он смеялся еще в своей полемике с Прудоном[3]. Г-н Михайловский приписал Марксу «формулу прогресса», а Маркс ответил: нет, покорнейше вас благодарю, мне этого добра не нужно.

Мы уже видели, как смотрели утописты на законы исторического развития (пусть припомнит читатель, что сказали мы о Сен-Симоне). Законосообразность исторического движения принимала у них *мистический* вид; путь, по которому идет человечество, был, в их представлении, как бы *предначертан заранее*, и никакие исторические события не могли изменить направления этого пути. Интересная психологическая аберрация! «Человеческая природа» является у утопистов исходным пунктом их исследований. Законы же развития этой природы, немедленно принимающие у них таинственный характер, *переносятся куда-то вне человека и вне фактических отношений людей*, в какую-то «*супра-историческую*» область.

Диалектический материализм и здесь переносит вопрос на совершенно другую почву, тем самым придавая ему совершенно новый вид.

Материалисты-диалектики «все сводят к экономии». Мы уже объяснили, как надо понимать это. Но что же такое экономия? Это совокупность фактических отношений людей, составляющих данное общество, в их производительном процессе. Эти отношения не представляют собою неподвижной метафизической сущности. Они вечно изменяются под влиянием развития производительных сил, равно как под влиянием той исторической среды, которая окружает данное общество. Раз даны фактические отношения людей в процессе производства, из этих отношений вытекают роковым образом известные следствия. В этом смысле общественное движение законосообразно, и никто лучше Маркса не выяснил этой законосообразности. Но так как экономическое движение каждого общества имеет «*самобытный*» вид вследствие «*самобытности*» условий, среди которых оно совершается, то не может быть никакой «формулы прогресса», охватывающей прошедшее и предсказывающей будущее экономическое движение *всех* обществ. Формула прогресса — это та отвлеченная истина, которую, по словам автора «Очерков гоголевского периода русской литературы», так любили метафизики. Но, по его же справедливому замечанию, отвлеченной истины нет; истина всегда конкретна: все зависит от обстоятельств времени и места, а если все зависит от этих обстоятельств, то их, значит, и должны изучать люди, которые и проч.[1].

«Для того, чтобы с уверенностью судить о ходе экономического развития современной России, я выучился по-русски и в продолжение нескольких лет изучал официальные и другие имеющиеся в печати источники по этому вопросу»[2].

Русские ученики Маркса и в этом случае верны ему. Конечно, у одного из них могут быть более, у другого менее

обширные экономические познания, но *дело здесь не в размере познаний отдельных лиц, а в самой точке зрения.* Русские ученики Маркса руководствуются не субъективным идеалом и не какой-нибудь «формулой прогресса», а обращаются к экономической действительности своей страны.

К какому же выводу пришел Маркс относительно России? «Если Россия будет продолжать идти путем, избранным ею после 1861 года, она потеряет один из самых удобных случаев, который когда-либо исторический ход давал народу для минования всех перипетий капиталистического развития». Несколько ниже Маркс добавляет, что в последние годы Россия «довольно потрудилась» в смысле шествия по названному пути. С тех пор, как писано было это письмо (т. е. с 1877 года, прибавим мы от себя), Россия шла по этому пути все дальше и все быстрее.

Что же следует из «письма» Маркса?— Три вывода:

1) Пристыдил своим письмом он не русских своих учеников, а гг. субъективистов, которые, не имея ни малейшего понятия об его научной точке зрения, пытались переделать его самого по своему собственному образу и подобию, превратить его в *метафизика и утописта.*

2) Гг. субъективисты не *устыдились* письма по той простой причине, что, верные своему «идеалу», они и письма не поняли.

3) Если гг. субъективисты хотят рассуждать с нами по вопросу о том, как и куда идет Россия, то они в каждую данную минуту должны исходить из *анализа экономической действительности.*

Изучение этой действительности привело Маркса в семидесятых годах к *условному* заключению: «Если Россия будет продолжать итти по тому пути, на который она вступила со времени освобождения крестьян, то она сделается совершенно капиталистическою страной, а после этого, раз попавши под ярмо капиталистического режима, ей придется подчиниться неумолимым законам капитализма наравне с другими народами-профанами. Вот и все!».

Вот и все. Но русский человек, желающий трудиться для блага своей родины, не может удовольствоваться таким условным выводом: у него неизбежно возникает вопрос: будет ли продолжать она идти по этому пути? Не существует ли данных, позволяющих надеяться, что путь этот будет ею оставлен?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо опять-таки обратиться к изучению фактического положения страны, к анализу современной ее внутренней жизни. Русские ученики Маркса *на основании такого анализа* утверждают: *да, будет продолжать!*

ПИСЬМО КАРЛА МАРКСА.

Въ бумагахъ покойнаго Карла Маркса оказалось письмо его, — повидимому не отправленное — на французскомъ языкѣ, относящееся къ статьѣ „Отечественныхъ Записокъ“: „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“. Мы давно имѣли это письмо въ рукахъ, но зная, что Фридрихъ Энгельсъ передалъ его другимъ лицамъ для напечатанія на русскомъ языкѣ, воздерживались отъ его публикованія. Оно до сихъ поръ въ русской заграничной прессѣ не появлялось. Въ прошломъ году оно было издано въ Россіи нашими товарищами, но большая часть изданія попала въ руки полиціи. Теперь мы получили отъ нашихъ товарищей русскій переводъ его съ просьбою напечатать, такъ какъ имъ не удалось распространить его, а оно вызвало значительный интересъ въ русской соціалистической молодежи. Считаемъ пріятною обязанностью исполнить ихъ просьбу и украсить страницы нашего журнала произведеніемъ знаменитаго соціалиста. Упоминаемые въ письмѣ русскіе писатели суть А. И. Герценъ и Н. Г. Чернышевскій.

Ред.

—

Авторъ статьи „Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Жуковскаго“ очевидно человѣкъ остроумный, и еслибы онъ въ моемъ изложеніи, трактующемъ о „первоначальномъ накопленіи“, нашелъ хотя одну страницу въ подтвержденіе своихъ выводовъ, онъ бы на нее сдѣлалъ ссылку. За отсутствіемъ таковой, онъ принужденъ былъ взять ее не изъ самой книги, а изъ полемической выходки противъ одного русскаго беллетриста, напечатанной въ приложеніи къ первому нѣмецкому изданію „Капитала“. Въ чемъ я тамъ упрекалъ русскаго

Письмо К. Маркса в редакцию «Отечественных записок» (из журн. «Вестник народной воли»).

Нет данных, позволяющих надеяться, что Россия скоро покинет путь капиталистического развития, на который она вступила после 1861 года. Вот и все!

Гг. субъективисты думают, что «ученики» ошибаются. Им надо доказать это с помощью данных, доставляемых тою же русской *действительностью*. «Ученики» говорят: Россия будет продолжать идти по пути капиталистического развития не потому, что существует какая-то внешняя сила, какой-то таинственный закон, толкающий ее на этот путь, а потому, что нет фактической внутренней силы, которая бы могла сдвинуть ее с этого пути. Если гг. субъективисты думают, что такая сила есть, то пусть они скажут, в чем она заключается, пусть они докажут ее присутствие. Мы очень рады будем их выслушать. До сих пор мы не слыхали от них на этот счет ничего определенного.

— Как нет силы, а наши идеалы на что? — восклицают наши дорогие противники.

Ах, господа, господа! Право, вы наивны до умилительности! Ведь вопрос-то в том и заключается, как осуществить, допустим, хоть ваши идеалы, хотя они представляют собою нечто довольно-таки нескладное? Поставленный таким образом вопрос принимает, правда, очень прозаический характер, но пока он останется неразрешенным, ваши «идеалы» будут иметь лишь «идеальное» значение.

Привели доброго молодца в каменный острог, посадили за запоры железные, окружили стражей неусыпною. Добрый молодец только усмехается. Он берет заранее припасенный уголек, рисует на стене лодочку, садится в нее и... прощай тюрьма, прощай стража неусыпная, добрый молодец опять гуляет по свету белому.

Хорошая сказка! Но... *только сказка.* В действительности нарисованная на стене лодочка еще *никогда, никого и никуда не уносила.*

Уже со времени отмены крепостного права Россия явно выступила на путь капиталистического развития. Гг. субъективисты прекрасно видят это, они сами утверждают, что старые экономические отношения разлагаются у нас с поразительною, все более и более увеличивающеюся скоростью. Но это ничего, говорят они один другому: мы посадим Россию в лодочку наших идеалов, и она уплывет с этого пути за тридевять земель, в тридесятое царство.

Гг. субъективисты хорошие сказочники, но... «*вот и все!*». Вот и все,— а ведь этого страшно мало, и никогда еще сказки не изменяли исторического движения народа по той же самой прозаической причине, по которой ни один еще соловей не был накормлен баснями.

У гг. субъективистов принята странная классификация «русских людей, которые...» на две категории: те, которые *верят* в возможность уплыть на лодочке субъективного идеала, признаются хорошими людьми, истинными народными доброжелателями. Тем же, которые говорят, что эта вера *решительно ни на чем не основана*, приписывается какая-то неестественная злонамеренность, стремление уморить русского мужика с голоду. Никогда еще ни в одной мелодраме не фигурировало таких злодеев, какими должны были бы быть, по мнению гг. субъективистов, последовательные русские «экономические» материалисты. Это удивительное мнение столь же основательно, как основательно было уже знакомое читателям мнение Гейнцена, который приписывал Марксу намерение оставить немецкий народ «hungern und verhungern» *.

Г-н Михайловский спрашивает себя: почему именно теперь явились господа, способные «с спокойной совестью обрекать миллионы людей на голодную смерть и нищету»? Г-н С. Н. Кривенко думает, что раз последовательный человек решил, что в России неизбежен капитализм, то ему остается лишь «стараться... о капитализации промыслов, о развитии кулачества... о разрушении общины, об обезземелении населения и вообще о выкуривании лишнего мужика из деревни». Г-н С. Н. Кривенко думает так единственно потому, что сам не способен к *«последовательному» мышлению.*

Гейнцен признавал за Марксом, по крайней мере, пристрастие к труженикам, носившим на себе «фабричный штемпель». Гг. субъективисты не признают, повидимому, в «русских учениках Маркса» даже и этой маленькой слабости: они, мол, последовательно ненавидят всех сынов человеческих до единого. Всех их хотелось бы им уморить с голоду, за исключением, пожалуй, представителей купеческого сословия. В самом деле, если бы г. Кривенко допускал в «учениках» некоторые добрые намерения в отношении фабричных рабочих, то не написал бы он только что цитированных строк.

«Стараться... вообще о выкуривании лишнего мужика из деревни». С нами крестная сила! Зачем же стараться? Ведь прилив новых рабочих рук в среду фабричного населения поведет к понижению заработной платы. Ну, а ведь даже и г. Кривенко известно, что понижение заработной платы не может быть полезно и приятно рабочим. Зачем же станут последовательные «ученики» стараться принести рабочему вред, сделать ему неприятность? Ясно, что эти люди последовательны только в своем человеконенавистничестве, что они не любят даже и фабричного рабочего! А может быть, и любят, да на

* [«голодать и умереть с голоду».]

свой особый лад: любят — и потому стараются навредить: «люблю как душу, трясу как грушу». Странные люди! Удивительная последовательность!

«Стараться... о развитии кулачества, о разрушении общины, об обезземелении населения». Какие ужасы! Но зачем же стараться обо всем этом? Ведь развитие кулачества и обезземеление населения может отразиться на понижении его покупательной способности, а понижение его покупательной способности поведет к понижению спроса на фабричные изделия, понизит спрос на рабочую силу, т. е. понизит заработную плату. Нет, последовательные «ученики» не любят рабочего человека! Да и одного ли рабочего человека? Ведь уменьшение покупательной силы населения вредно отразится даже на интересах предпринимателей, составляющих, по уверению гг. субъективистов, предмет нежнейших попечений для «учеников». Нет, что ни говорите, а удивительные люди эти ученики!

«Стараться... о капитализации промыслов»... не «стесняться ни скупкою крестьянской земли, ни открытием лавок и кабаков, ни иною нечистоплотною деятельностью...» Но зачем же все это будут делать последовательные люди? Ведь они убеждены в неизбежности капиталистического процесса; следовательно, если бы заведение, например, кабаков было существенной частью этого процесса, то неизбежно явились бы кабаки (которых, надо думать, теперь не существует). Г-н Кривенко кажется, что нечистоплотная деятельность должна ускорять движение капиталистического процесса. Но, опять скажем, если капитализм неизбежен, «нечистоплотность» явится сама собою. Чего же так «стараться» о ней последовательным ученикам Маркса?

— Тут уже теория умолкает у них перед требованием нравственного чувства: видят, что нечистоплотность неизбежна, обожают ее за эту неизбежность и со всех сторон спешат ей на помощь, а то, мол, не скоро управится без нас бедная неизбежная нечистоплотность.

Так, что ли, г. Кривенко? Если — нет, то все ваши рассуждения о «последовательных» учениках никуда не годятся. А если — да, то никуда не годится ваша личная последовательность, ваша собственная «познавательная способность».

Возьмите чтó вам угодно, хотя бы капитализацию промыслов. Она представляет собою двусторонний процесс: появляются, во-первых, люди, *скопляющие* в своих руках средства производства, а во-вторых, люди, *употребляющие в дело* эти производительные средства за известную плату. Положим, что нечистоплотность составляет отличительную черту людей первого разряда, но ведь те, которые по найму трудятся на них, могут, кажется, и миновать эту «фазу» нравственного

развития? А если так, то что же будет нечистоплотного в моей деятельности, если я посвящу ее этим самым людям, если я буду развивать их самосознание и отстаивать их материальные интересы? Г-н Кривенко скажет, может быть, что такая деятельность замедлит развитие капитализма. Нисколько. Пример Англии, Франции и Германии покажет ему, что там такая деятельность не только не замедлила развитие капитализма, но, напротив, ускорила его, чем, между прочим, приблизила и практическое решение некоторых тамошних проклятых вопросов.

Или возьмем разрушение общины. Это тоже двусторонний процесс: крестьянские наделы скопляются в руках кулаков; все бо́льшая и бо́льшая часть прежде самостоятельных хозяев обращается в пролетариев. Все это, разумеется, сопровождается столкновением интересов, борьбой. Приходит на этот шум «русский ученик», воссылает краткий, но прочувствованный гимн «категории необходимости» и... *открывает кабак!* Так поступит самый «последовательный»; более умеренный ограничится открытием *лавочки*. Так, что ли, г. Кривенко? А почему бы «ученику» не стать на сторону деревенских бедняков?

— Но если он захочет стать на их сторону, он должен будет стараться мешать их обезземелению? — *Ну, положим, должен стараться*. — А это замедлит развитие капитализма. — *Нисколько не замедлит*. Напротив, даже ускорит его. Гг. субъективистам все кажется, что община «сама собой» стремится перейти в какую-то «высшую форму». Они заблуждаются. Единственное действительное стремление общины — это *стремление к разложению*, и, чем лучше было бы положение крестьянства, тем скорее разложилась бы община. Кроме того, разложение может произойти при условиях, *более или менее выгодных для народа*. «Ученики» должны «стараться» о том, чтобы оно совершилось при условиях, *наиболее для него выгодных*.

— А почему бы не предупредить самого разложения?

— А почему вы не предупредили голода 1891 года? Не могли? Мы верим вам, и мы сочли бы наше дело проигранным, если бы нам оставалось только относить на счет *вашей нравственности* подобные не зависевшие от вас *события*, вместо того чтобы опровергать ваши *воззрения* с помощью *логической аргументации*. Но зачем же вы воздаете нам другою мерою? Зачем вы в спорах с нами изображаете народную нищету, как будто бы она была нашим делом? Потому что там, где не вывозит *логика*, вывозят иногда *слова*, особенно *жалкие слова*. Вы не могли предупредить голода 1891 года? Кто же поручится, что вы сможете предупредить разложение общины, обезземеление крестьянства? Возьмем столь любезный эклектикам

средний путь: вообразим, что в некоторых случаях вам удастся предупредить все это. Ну, а в тех случаях, где ваши усилия окажутся неудачными, где, вопреки им, община все-таки разложится, где крестьяне все-таки окажутся безземельными,— как будете вы поступать с этими жертвами рокового процесса? Харон перевозил через Стикс только такие души, которые в состоянии были заплатить ему за этот труд. Станете ли вы принимать в вашу лодочку для перевозки в царство субъективного идеала только действительных членов общины? Станете ли вы отбиваться веслами от сельских пролетариев? Вы, вероятно, сами согласитесь, господа, что это было бы очень «*нечистоплотно*». А раз вы согласитесь с этим, то вам придется поступить по отношению к ним совершенно так, как, по нашему мнению, следует поступать всякому порядочному человеку, т. е. не заводить кабаки для продажи им дурмана, а увеличивать силу их сопротивления *против* кабака, против кабатчика и против всякого дурмана, какой только подносит или будет подносить им история.

Или, может быть, теперь *мы* начинаем рассказывать сказки? Может быть, община *не* разлагается? Может быть, обезземеление народа *не* совершается фактически? Может быть, мы выдумали это с единственной целью ввергнуть в нищету крестьянина, пользовавшегося до сих пор завидным благосостоянием? Но разверните любое исследование ваших же единомышленников, и оно покажет вам, как обстояло дело до сих пор, т. е. раньше, чем хотя бы один «ученик» открыл кабак или завел лавочку. Когда вы спорите с нами, вы изображаете дело так, как будто народ живет уже в царстве ваших субъективных идеалов, а мы по свойственному нам человеконенавистничеству тащим его за ноги вниз, в прозу капитализма. Но дело обстоит как раз наоборот: существует именно капиталистическая проза, а мы спрашиваем себя: как бороться с этой прозой, как поставить народ в положение, хоть немного приближающееся к «идеальному»? Вы можете находить, что мы отвечаем на этот вопрос неправильно, но зачем же извращать наши намерения? [1] Ведь, право же, это «нечистоплотно»; право же, такая «*критика*» недостойна даже «*суздальцев*» [2].

Но как же бороться с капиталистической прозой, которая, повторяем, уже существует независимо от наших и от ваших усилий? У вас один ответ: «закрепить общину», упрочить связь крестьянина с землей. А мы отвечаем вам, что это ответ, достойный лишь утопистов. Почему? Потому что это отвлеченный ответ. По-вашему, община хороша всегда и везде, а по-нашему, отвлеченной истины нет, истина всегда конкретна, все зависит от обстоятельств времени и места. Было время, когда община могла быть полезной *всему* народу; есть, вероятно, и теперь

местности, где она выгодна для земледельцев. Не мы станем восставать против *такой* общины. Но в целом ряде случаев община превратилась в средство *эксплуатации* крестьянина. Против *такой* общины мы восстаем, как против всего вредного для народа. Припомните того крестьянина, который у Г. И. Успенского платит «*спуста*»[1]. Как следует, по-вашему, поступить с ним? Перевести его в царство идеала,— отвечаете вы. Очень хорошо, перевозите с господом. Но пока он еще не перевезен, пока он еще не сидит на лодочке идеала, пока лодочка еще не подъехала к нему и пока еще неизвестно, когда она подъедет, не лучше ли было бы ему избавиться от платежа «спуста»? Не лучше ли ему перестать быть членом общины, которая обеспечивает ему только совершенно непроизводительные расходы, да разве лишь еще периодическую порку в волостном правлении? Мы думаем, что — *лучше*, а вы за это обвиняете нас в намерении уморить народ с голода. Справедливо ли это? Нет ли тут некоторой «нечистоплотности»? Или, может быть, вы действительно не способны понять нас? Неужели это так? Чаадаев говорил когда-то, что русскому человеку неизвестен даже силлогизм Запада[2]. Неужели это как раз votre cas?* Мы допускаем, что г. С. Кривенко совершенно искренно не понимает нас; допускаем это и по отношению к г. Карееву и по отношению к г. Южакову. Но г. Михайловский всегда казался нам человеком ума значительно более «острого».

Что придумали вы, господа, для улучшения судьбы миллионов фактически обезземеленных крестьян? Когда речь заходит о платящих «спуста», вы умеете давать лишь один совет: хотя и платит он «спуста», а все-таки надо, чтобы не разрушалась его связь с общиной, потому что, когда разрушится она, ее уж не восстановишь. Конечно, это поведет за собою временные неудобства для платящих «спуста», но... «не беда, что потерпит мужик»[3].

Таким-то образом и выходит, что наши гг. субъективисты готовы приносить в жертву *своим идеалам* самые насущные *интересы народа! Таким-то образом и выходит, что их проповедь на деле становится все более и более вредоносной для народа.*

«Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением»,— говорит Толстой об Анне Павловне Шерер[4]. Ненавидеть капитализм стало общественным положением наших субъективистов. Какую пользу мог принести России энтузиазм старой девы? Ровно никакой. Какую пользу приносит русским производителям «субъективная» ненависть к капитализму? Тоже никакой.

* [ваш случай.]

Но энтузиазм Анны Павловны был, по крайней мере, безвреден. Утопическая же вражда к капитализму начинает положительно вредить русскому производителю, потому что делает нашу интеллигенцию крайне неразборчивой по отношению к средствам закрепления общины. Едва заговорят о таком закреплении, тотчас наступает тьма, в которой все кошки кажутся серыми, и гг. субъективисты готовы любезно лобызаться с «Московскими Ведомостями». И все это «субъективное» умопомрачение идет как раз на пользу тому *кабаку*, который «ученики» собираются будто бы культивировать. Стыдно сказать, а грех утаить: *утопические враги капитализма оказываются на деле пособниками капитализма в самом грубом, в самом гнусном и в самом вредном его виде.*

До сих пор мы говорили об утопистах, старавшихся или старающихся ныне придумать то или другое возражение *против Маркса*. Теперь посмотрим, как ведут или вели себя утописты, *склонные на него ссылаться.*

Гейнцен, которого с такою поразительною точностью воспроизводят ныне гг. российские субъективисты в спорах с «русскими учениками», был утопистом демократическо-буржуазного направления. Но в Германии сороковых годов было много утопистов направления, противоположного этому[1].

Социально-экономическое положение Германии было тогда в общих чертах таково.

С одной стороны, быстро развивалась буржуазия, настоятельно требовавшая от немецких правительств всякого рода вспомоществований и поддержек. Известный Zollverein* был целиком ее делом, причем агитация в его пользу велась не только с помощью «ходатайств», но также и посредством более или менее научных исследований: напомним Фридриха Листа[2]. С другой стороны, разрушение старых экономических «устоев» сделало немецкий народ беззащитным в отношении к капитализму. Крестьяне и ремесленники были уже достаточно вовлечены в процесс капиталистического движения, чтобы испытывать на себе все его невыгодные стороны, особенно сильно дающие себя чувствовать в *переходные периоды*. Но трудящаяся масса еще мало способна была тогда к сопротивлению. Она еще не могла дать сколько-нибудь заметного отпора представителям капитала. Еще в *шестидесятых годах* Маркс говорил, что Германия страдает одновременно и от *развития капитализма и от недостатка его развития*. В сороковых годах ее страдания от недостатка развития капитализма были еще сильнее. Капитализм разрушил старые устои крестьянской жизни; *кустарная* промышленность, прежде процветавшая

---

* [Таможенный союз].

в Германии, должна была теперь выдерживать непосильную для нее конкуренцию *машинного* производства. Кустари беднели, с каждым годом попадая все в более и более тяжелую зависимость от *скупщиков*. А в то же время крестьяне должны были нести целый ряд таких повинностей по отношению к помещикам и государству, которые могли, пожалуй, быть неотяготительны в прежнее время, но в сороковых годах становились тем тяжелее, что они все менее и менее соответствовали фактическим условиям крестьянской жизни. Бедность крестьян приняла поразительные размеры; кулак сделался полным господином деревни; крестьянский хлеб нередко покупался им еще на корню; нищенство стало родом отхожего промысла. Тогдашние исследователи указывали на общины, в которых из нескольких тысяч семейств не нищенствовало только несколько сот. В иных местах — вещь почти совершенно невероятная, но своевременно констатированная немецкой печатью — *крестьяне питались падалью*. Покидая деревни, они не находили достаточно заработка в промышленных центрах, и печать указывала на возрастающую безработицу и вызываемую ею эмиграцию.

Вот как рисует один из самых передовых органов того времени положение трудящейся массы: «Сто тысяч прядильщиков в Равенсбергском округе и в других местностях немецкого отечества не могут уже жить своим трудом, они не находят сбыта своим изделиям (речь идет главным образом о кустарях), они ищут работы и хлеба, не находя ни той, ни другого, потому что трудно, если не невозможно, им найти заработок помимо пряденья. Существует огромная конкуренция между рабочими из-за самой ничтожной платы»*[1].

Народная нравственность, несомненно, падала. Разрушению старых *экономических отношений* соответствовала расшатка старых *нравственных понятий*. Газеты и журналы того времени полны жалоб на пьянство рабочих, на половой разврат в их среде, на франтовство и мотовство, развивающиеся между ними рядом с уменьшением заработной платы. В немецком рабочем еще не замечалось признаков *новой* нравственности — той нравственности, которая стала быстро развиваться впоследствии на основе нового освободительного движения, вызванного самим развитием капитализма. Освободительное движение массы тогда еще не начиналось. Ее глухое недовольство сказывалось время от времени лишь безнадежными стачками да бесцельными бунтами, бессмысленным разрушением машин. Но уже в головы немецких рабочих начинали попадать искры сознания. Книга, составлявшая ненужную рос-

* «Der Gesellschaftsspiegel», Band I, S. 78. [«Зеркало общества», т. I, стр. 78.] *Корреспонденция из Вестфалии.*

кошь при старых порядках, сделалась предметом необходимости при новых. Страсть к чтению стала овладевать рабочими.

Таково было то положение дел, с которым надо было считаться благомыслящей части немецкой интеллигенции (der Gebildeten — как говорили тогда). Что делать, как помочь народу? *Устранить капитализм*, отвечала интеллигенция. Появившиеся к тому времени сочинения Маркса и Энгельса радостно были встречены частью немецкой интеллигенции, как ряд новых научных доводов *в пользу необходимости устранения капитализма*. «Между тем как либеральные гг. политики с новой силой затрубили в Листову трубу покровительственного тарифа, стараясь уверить... что они заботятся о подъеме промышленности главным образом в интересах рабочего класса, а их противники, энтузиасты свободной торговли, старались доказать, что Англия сделалась цветущей классической страной торговли и промышленности вовсе не вследствие покровительства,— чрезвычайно кстати явилась превосходная книга Энгельса о положении рабочего класса в Англии, разрушившая последние иллюзии[1]. Всеми признано, что эта книга составляет одно из замечательнейших произведений нового времени... Рядом неопровержимейших доводов показывает она, в какую пропасть стремится упасть общество, делающее своим двигательным принципом личную алчность, свободную конкуренцию частных предпринимателей, для которых деньги — бог»*.

Итак, надо устранить капитализм, иначе Германия упадает в ту пропасть, на дне которой уже лежит Англия. Это доказано Энгельсом. Кто же устранит капитализм? Интеллигенция, die Gebildeten. Особенность Германии, по словам одного из таких Gebildeten, именно состояла в том, что в ней устранить капитализм призвана немецкая интеллигенция, между тем как «на Западе (in den westlichen Ländern) с ним борются больше рабочие»**. Как же устранит капитализм немецкая интеллигенция? Посредством организации производства (Organisation der Arbeit) ***. Что же должна делать интеллигенция для организации производства? Выходивший в Кельне в 1845 г. «Allgemeines Volksblatt» предлагал следующие меры:

1) Содействие народному образованию, организацию народных чтений, концертов и т. п.

---

* «Der Gesellschaftsspiegel», Band I, S. 86. Notizen und Nachrichten. [«Зеркало общества», т. I, стр. 86, Заметки и известия.]

** См. статью Hess'а в том же томе того же толстого журнала, стр. 1 и следующие. Ср. также «Neue Anekdoten», herausgegeben von Carl Grün, Darmstadt 1845, S. 220. [«Новые анекдоты», изданные Карлом Грюном, Дармштадт 1845, стр. 220.] В Германии, в противоположность с Францией, борьбой с капитализмом занимается и *«обеспечивает победу над ним»* образованное меньшинство.

*** [организации труда.]

2) Устройство больших мастерских, в которых рабочие, ремесленники и кустари могли бы работать на себя, а не на предпринимателя или на скупщика. «Allgemeines Volksblatt» надеялся, что со временем эти ремесленники-кустари сами собою сгруппируются в ассоциации.

3) Учреждение складов для продажи изделий, которые будут доставляться кустарями и ремесленниками, а также и национальными мастерскими.

Эти меры спасут Германию от язвы капитализма. А принять их тем легче, прибавляет цитируемый листок, что «здесь и там уже начали устраивать постоянные склады, так называемые промышленные базары, в которых ремесленники могут выставлять для продажи свои товары», получая под них тотчас же некоторую ссуду... Далее следует изображение выгод, которые проистекут изо всего этого и для производителя и для потребителя.

Устранить капитализм кажется всего легче там, где он *еще слабо развит*. Поэтому немецкие утописты часто и охотно оттеняли то обстоятельство, что Германия еще не Англия; Гейнцен даже прямо готов был отрицать существование фабричного пролетариата в Германии. Но так как для утопистов главное дело заключалось в том, чтобы доказать «обществу» необходимость организации производства, то они без труда и незаметно для себя переходили по временам на точку зрения людей, утверждающих, что *немецкий капитализм не может уже развиваться далее вследствие свойственных ему противоречий, что внутренний рынок уже переполнен, что покупательная сила населения падает, что завоевание внешних рынков мало вероятно и что поэтому число занятых в обрабатывающей промышленности рабочих непременно должно все более и более уменьшаться*. На такую точку зрения стал не раз цитированный нами журнал «Der Gesellschaftsspiegel»*, один из самых главных органов тогдашних немецких утопистов, после появления интересной брошюры Л. Буля: «Andeutungen über die Noth der arbeitenden Klassen und über die Aufgabe der Vereine zum Wohl derselben», Berlin 1845 **.

Буль спросил себя: в состоянии ли союзы для поднятия благосостояния рабочего класса справиться со своей задачей? А чтобы ответить на этот вопрос, он выдвинул другой, именно вопрос о том, откуда проистекает в настоящее время бедность рабочего класса?

Бедняк и пролетарий вовсе не одно и то же,— говорит Буль. Бедняк не хочет или не может работать; пролетарий

* [«Зеркало общества»]

** [«О нуждах трудящихся классов и о задачах союзов по улучшению их положения», Берлин 1845.]

ищет работы; он способен к ней, но ее нет, и он впадает в нищету. Такое явление было совершенно неизвестно в прежние времена, хотя всегда были бедные и всегда были угнетенные, например крепостные крестьяне.

Откуда же взялся пролетарий? Его создала *конкуренция*. Конкуренция, разбив старые узы, связывавшие производство, вызвала небывалый расцвет промышленности. Но она же заставляет предпринимателей понижать цену своих продуктов. Поэтому они стараются уменьшать заработную плату или число рабочих рук. Эта последняя цель достигается усовершенствованием машин, которые выбрасывают на улицу множество рабочих. Кроме того, ремесленники не могут выдержать конкуренцию машинного производства и тоже обращаются в пролетариев. Заработная плата все более и более падает. Буль указывает на пример ситценабивного производства, которое процветало в Германии еще в двадцатых годах. Заработная плата была тогда очень высока. Хороший рабочий мог заработать от 18 до 20 талеров в неделю. Но явились машины, с ними женский и детский труд — и заработная плата страшно понизилась. Принцип свободной конкуренции действует так всегда и всюду, где он достигает господства. *Он ведет к перепроизводству*, а перепроизводство — к безработице. И чем больше совершенствуется крупная промышленность, тем более растет безработица, тем меньше становится число занятых в промышленных предприятиях рабочих. Что это действительно так, доказывается тем обстоятельством, что указанные бедствия имеют место только в промышленных странах, земледельческие же государства их не знают. Но создаваемое свободной конкуренцией положение дел чрезвычайно опасно для общества (für die Gesellschaft), и потому общество не может оставаться равнодушным к нему. Что же делать обществу? Здесь Буль обращается к вопросу, который стоит, так сказать, в переднем углу его сочинения: в состоянии ли вообще какой-нибудь *союз* искоренить бедность рабочего класса?

Местный берлинский союз для помощи рабочему классу задался целью «не столько устранять существующую нищету, сколько воспрепятствовать возникновению нищеты в будущем». К этому союзу и обращается теперь Буль. Как предупредите вы возникновение нищеты в будущем, спрашивает он; что вы сделаете для этого? Нищета современного рабочего происходит от недостатка спроса на труд. Рабочему нужна не милостыня, а работа. Откуда же возьмет союз работу? Чтобы увеличился спрос на труд, надо, чтобы увеличился спрос на продукты труда. А этот спрос уменьшается благодаря уменьшению заработка трудящейся массы. Или, может быть, союз откроет новые рынки? Буль и это не считает возможным. Он приходит

к заключению, что задача, которую поставил себе берлинский союз, есть лишь *«благодушная иллюзия»*.

Буль советует берлинскому союзу получше вдуматься в причины нищеты рабочего класса, прежде чем вступить в борьбу с нею. *Паллиативам* он не придает значения. «Биржи труда, сберегательные и пенсионные кассы и тому подобное могут, конечно, улучшить положение немногих отдельных лиц, но не вырвут корня зла». Не вырвут его и ассоциации: «И ассоциации не избежать тяжелой необходимости (dura necessitas) конкуренции».

В чем видел сам Буль средство для устранения зла — это трудно вывести с точностью из его брошюры. Он как будто намекает, что для помощи злу нужно вмешательство государства, прибавляя, однако, что результат такого вмешательства был бы *сомнителен*. Как бы то ни было, но его брошюра произвела сильное впечатление на тогдашнюю немецкую интеллигенцию. И вовсе не в смысле разочарования. Напротив, в ней увидели новое доказательство *необходимости организации труда*.

Вот что говорит о брошюре Буля журнал «Der Gesellschaftsspiegel» *.

«Известный берлинский писатель Л. Буль издал сочинение под названием «Andeutungen» и т. д. Он думает —и мы разделяем его мнение,— что бедствия рабочего класса происходят от избытка производительных сил; что этот избыток есть следствие свободной конкуренции и новейших открытий и изобретений в физике и механике; что возвращение к цехам и корпорациям было бы так же вредно, как затруднять открытия и изобретения; что поэтому *при существующих общественных условиях* (курсив автора рецензии) нет действительных средств для помощи рабочим. Предположив, что современные эгоистические частно-предпринимательские отношения останутся неизменными, надо согласиться с Булем, что никакой союз не в состоянии уничтожить существующую нищету. Но такое предположение вовсе не необходимо; напротив, могли бы возникнуть и уже возникают союзы, которых цель есть устранение мирным путем вышеуказанной эгоистической основы нашего общества. Надо только, чтобы правительство не затрудняло такой деятельности союзов».

Ясно, что рецензент не понял или не хотел понять мысли Буля, но для нас это не важно. Мы обратились к Германии лишь для того, чтобы с помощью уроков, даваемых *ее* историей, лучше разобраться в некоторых умственных течениях современной России. А в этом смысле движение немецкой интеллиген-

* [«Зеркало общества».]

ции сороковых годов заключает в себе много поучительного для нас.

Во-первых, аргументация Буля напоминает нам аргументацию г. Н.— она. И тот и другой начинают указанием на развитие производительных сил, как на причину понижения спроса на труд и, следовательно, относительного уменьшения числа рабочих. И тот и другой говорят о переполнении внутреннего рынка и о вытекающей из этого неизбежности дальнейшего уменьшения спроса на рабочую силу. Буль не признавал, повидимому, возможности завоевания немцами иностранных рынков; г. Н.—он решительно не признает этой возможности по отношению к русским промышленникам. Наконец, и у того и у другого этот вопрос об иностранных рынках остается совершенно неисследованным: ни тот, ни другой не приводят в пользу своего мнения ни одного серьезного довода[1].

Буль не делает из своего исследования другого явного вывода, кроме того, что надо хорошо вдуматься в положение рабочего класса, прежде чем помогать ему. Г-н Н.— он приходит к тому заключению, что перед нашим обществом стоит, правда, трудная, однако не неразрешимая задача — организовать наше национальное производство. Но если дополнить взгляды Буля теми соображениями, которые высказал по поводу их цитированный нами рецензент журнала «Der Gesellschaftsspiegel», то получится как раз вывод г. Н.— она. *Г-н Н.— он=Буль+рецензент.* А эта «формула» наводит нас вот на какие размышления.

Г-на Н.— она называют у нас марксистом и даже единым «истинным» марксистом. Но можно ли сказать, что сумма взглядов Буля и рецензента на положение Германии сороковых годов равнялась взглядам Маркса на то же положение? Другими словами, был ли Буль, дополненный рецензентом, марксистом, и притом единым истинным марксистом, марксистом par excellence? * Конечно, нет. Из того, что Буль указывал на противоречие, в которое попадает капиталистическое общество благодаря развитию производительных сил, еще не следует, что он стоял на точке зрения Маркса. Он рассматривал эти противоречия с очень отвлеченной точки зрения, и уже благодаря одному этому его исследование не имело *по духу своему* ничего общего со взглядами Маркса. Наслушавшись Буля, можно было подумать, что немецкий капитализм *не сегодня-завтра* задохнется под тяжестью собственного развития, что ему дальше идти уже некуда, что промыслы окончательно капитализированы и что число немецких рабочих

* [по преимуществу.]

быстро пойдет на убыль. Таких взглядов Маркс не высказывал. Напротив, когда ему случалось говорить в конце сороковых годов, а в особенности в начале пятидесятых годов, о ближайшей судьбе немецкого капитализма, он говорил совсем другое. Только люди, совершенно не понимавшие его взглядов, могли бы признать истинными марксистами немецких Н.— онов *.

Немецкие Н.— оны рассуждали так же отвлеченно, как и наши нынешние Були и Фолльграфы. Рассуждать отвлеченно — значит ошибаться даже в тех случаях, когда исходишь из совершенно верного принципа. Знаете ли вы, читатель, что такое *антифизика* д'Аламбэра? Д'Аламбэр говаривал,

* Н.—онов было много в тогдашней Германии, и самых различных направлений. Замечательнее всего, может быть, *консервативные*. Так, например, доктор Карл Фолльграф, ordentlicher Professor der Rechte [ординарный профессор права], в брошюре, носящей чрезвычайно длинное заглавие («Von der über und unter ihr naturnothwendiges Mass erweiterten und herabgedrückten Concurrenz in allen Nahrungs-und Erwerbszweigen des bürgerlichen Lebens, als der nächsten Ursache des allgemeinen, alle Klassen mehr oder weniger drückenden Nothstandes in Deutschland, insonderheit des Getreidewuchers, sowie von den Mitteln zu ihrer Abstellung», Darmstadt 1848) [«О конкуренции во всех отраслях производства предметов питания и во всех отраслях промышленности, обслуживающих широкие потребности населения,— конкуренции, выходящей за естественно необходимые пределы или же не достигающей их,— как о ближайшей причине всеобщей нужды в Германии, более или менее давящей на все классы, в особенности как о причине хлебного ростовщичества, а равно как и о мерах к устранению ее», Дармштадт 1848], изображал экономическое положение «немецкого отечества» поразительно сходно с тем, как изображено русское экономическое положение в книге «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства». Фолльграф тоже изображал дело так, как будто развитие производительных сил *уже* привело «под влиянием свободной конкуренции» к относительному уменьшению числа занятых в промышленности рабочих. У него подробнее, чем у Буля, изображено влияние безработицы на состояние внутреннего рынка. Производители одной отрасли промышленности являются в то же время потребителями для продуктов других отраслей, но так как безработица лишает производителей платежной силы, то спрос уменьшается, вследствие чего безработица становится всеобщей и возникает полный пауперизм (völliger Pauperismus)... «*А так как и крестьянство разоряется вследствие чрезмерной конкуренции, то наступает полный застой в делах. Общественный организм разлагается, его физиологические процессы приводят к появлению дикой массы, а голод вызывает в этой массе брожение, против которого бессильны государственные кары и даже оружие*». Свободная конкуренция ведет в деревнях к измельчанию крестьянских участков. *Ни в одном из крестьянских дворов рабочие силы не находят себе достаточного приложения в течение круглого года*. «Таким образом, в тысячах деревень, особенно в малоплодородных местностях, почти совершенно как в Ирландии, бедные крестьяне стоят без работы и без занятий перед дверями своих домов. Никто из них не в состоянии помочь другому, ибо все они имеют слишком мало, все нуждаются в заработке, все ищут и не находят работы». Фолльграф с своей стороны придумал ряд «мероприятий» для борьбы с разрушительным действием «свободной конкуренции», хотя и не в духе социалистического журнала «Der Gesellschaftsspiegel».

что он на основании самых бесспорных физических законов докажет неизбежность явлений, совершенно невозможных в действительности. Надо только, следя за действием каждого данного закона, забыть на время, что существуют другие законы, видоизменяющие его действие. Результат, наверное, получится совершенно нелепый. В доказательство этого д'Аламбэр приводил несколько действительно блистательных примеров и собирался даже написать в свободное время целую *антифизику*. Гг. Фолльграфы и Н.— они уже не в шутку, а серьезно пишут *антиэкономии*. Их прием таков. Они берут известный неоспоримый экономический закон; они правильно указывают на его *тенденцию;* затем они забывают, что осуществление этого закона в жизни есть *целый исторический процесс*, и изображают дело так, как будто тенденция данного закона *уже целиком осуществилась* в жизни к тому времени, когда они стали писать свои исследования. Если при этом данный Фолльграф, Буль или Н.—он нагромоздит вороха хотя бы плохо переваренного статистического материала, да примется кстати и некстати цитировать Маркса, то его «очерк» примет вид научного, убедительного исследования в духе автора «Капитала». Но это оптический обман, не более того.

Что, например, Фолльграф многое упустил при анализе экономической жизни в современной ему Германии, показывает то бесспорное обстоятельство, что совершенно не сбылось его пророчество относительно *«разложения общественного организма»* этой страны. А что г. Н.—он совершенно всуе приемлет имя Маркса, подобно тому как г. Ю. Жуковский всуе прибегал, бывало, к интегральному исчислению, без труда поймет даже почтеннейший С. Н. Кривенко.

Вопреки мнению тех господ, которые упрекают Маркса в односторонности, этот писатель никогда не рассматривал экономического движения данной страны *вне связи его с теми общественными силами, которые, вырастая на его почве, сами влияют на его дальнейшее направление* (это пока еще не совсем ясно для вас, г. С. Н. Кривенко, но — терпение!). Дано известное экономическое состояние — этим самым даны известные общественные силы, действие которых необходимо отразится на дальнейшем развитии этого положения (терпение оставляет вас, г. Кривенко? Вот вам наглядный пример). Дана экономия Англии эпохи первоначального капиталистического накопления. Этим самым были даны те общественные силы, которые, между прочим, заседали в тогдашнем английском парламенте. Действие этих общественных сил было необходимым условием дальнейшего развития данного экономического положения, а направление их действия обусловливалось свойствами этого положения. — Дано экономическое

положение современной Англии; этим самым даны ее современные общественные силы, действие которых скажется на будущем экономическом развитии Англии. Когда Маркс занимался тем, что некоторым угодно называть его гаданиями, он принимал в соображение эти общественные силы и не воображал, что их действие может остановить по своему произволу та или другая группа лиц, сильных лишь своими прекрасными намерениями («Mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Action wird der Umfang der Masse zunehmen, deren Action sie ist») *.

Немецкие утописты сороковых годов рассуждали иначе. Когда они ставили перед собою известные задачи, они имели в виду только неудобства экономического положения своей страны, забывая исследовать те общественные силы, которые выросли из этого положения. Экономическое положение нашего народа печально, рассуждал вышеупомянутый рецензент: следовательно, перед нами стоит трудная, но не неразрешимая задача организации производства. А не помешают ли этой организации те самые общественные силы, которые выросли на почве печального экономического положения? Об этом не спрашивал себя благожелательный рецензент. Утопист никогда не считается в достаточной мере с общественными силами своего времени, по той простой причине, что он, по выражению Маркса, всегда *ставит себя над обществом.* А по этой же причине и, по выражению того же Маркса, все расчеты утописта оказываются «ohne Wirth gemacht» ** и вся его «критика» есть не более как полное отсутствие критики, неумение критически взглянуть на окружающую его действительность.

Организация производства в данной стране могла бы явиться лишь результатом действия тех общественных сил, которые в этой стране существуют. Что нужно для организации производства? Сознательное отношение производителей к производительному процессу, *взятому во всей его сложности и совокупности.* Там, где пока нет такого сознательного отношения, могут выдвигать организацию производства как ближайшую общественную задачу лишь люди, которые всю жизнь свою останутся неисправимыми утопистами, хотя бы они пять миллиардов раз произнесли имя Маркса с величайшим почтением. Что говорит о сознании производителей г. Н.— он в своей пресловутой книге? Ровно ничего: он уповает на сознание «общества». Если после этого его можно и должно признать

* [«Вместе с основательностью исторического действия будет расти и объем массы, делом которой оно является».]

** [«сделанными без хозяина»]

истинным марксистом, то мы не видим, почему нельзя было бы признать г. Кривенко единственным истинным гегельянцем нашего времени, гегельянцем par excellence *.

Но пора кончать. Какими результатами подарил нас наш сравнительно-исторический прием? Если мы не ошибаемся, следующими:

1) Убеждение Гейнцена и его единомышленников относительно того, что Маркс своими собственными взглядами был осужден на бездействие в Германии, оказалось вздором. Таким же вздором окажется и убеждение г. Михайловского относительно того, будто бы не могут принести пользы русскому народу, а, напротив, должны вредить ему люди, держащиеся у нас теперь взглядов Маркса.

2) Взгляды Булей и Фолльграфов на тогдашнее экономическое положение Германии оказались узкими, односторонними и ошибочными в силу своей отвлеченности. Можно опасаться, что дальнейшая экономическая история России обнаружит подобные же недостатки во взглядах г. Н.— она.

3) Люди, ставившие в Германии сороковых годов организацию производства своей ближайшей задачей, были утопистами. Такими же утопистами являются люди, толкующие об организации производства в нынешней России.

4) История смела иллюзии немецких утопистов сороковых годов. Есть все основания думать, что подобная же участь постигнет и иллюзии наших русских утопистов. Капитализм насмеялся над первыми; с болью в сердце предвидим, что насмеется он и над вторыми.

Но неужели эти иллюзии не принесли никакой пользы немецкому народу? В экономическом отношении ровно никакой или, если вы требуете более точного выражения, *почти* никакой. Все эти базары для продажи кустарных изделий и все эти попытки создания производительных ассоциаций едва ли облегчили положение хотя бы сотни немецких производителей. Но они содействовали пробуждению самосознания этих производителей и тем принесли им большую пользу. Такую же пользу, и уже прямым, а не обходным путем, принесла просветительная деятельность немецкой интеллигенции: школы, народные читальни и т. п. Вредные для немецкого народа последствия капиталистического развития могли быть в каждое данное время ослабляемы или устраняемы лишь в такой мере, в какой развивалось самосознание немецких производителей. Маркс понимал это лучше утопистов, и потому его деятельность оказалась более полезной для немецкого народа.

* [по преимуществу.]

То же, несомненно, окажется и в России. Не далее, как в октябрьской книжке «Рус. Богатства» 1894, г. С. Н. Кривенко «хлопочет», как говорят у нас, об организации русского производства[1]. Ничего не устранит, никого не осчастливит г. Кривенко этими «хлопотами». Его «хлопоты» неуклюжи, неловки, бесплодны: но если они, несмотря на все эти отрицательные свои качества, разбудят самосознание хоть одного производителя, они окажутся полезными, и тогда выйдет, что г. Кривенко жил на свете не затем только, чтобы делать логические ошибки или неверно переводить отрывки из «несимпатичных» ему статей, написанных на чужом языке. Бороться против вредных последствий нашего капитализма и у нас можно будет лишь в той мере, в какой будет развиваться самосознание производителя. А из этих наших слов господа субъективисты могут видеть, что мы вовсе не «грубые материалисты». Если мы «узки», то только в одном смысле: в том, что ставим перед собою прежде всего совершенно *идеалистическую задачу*.

А теперь до свиданья, гг. наши противники. Мы заранее предвкушаем все то величайшее удовольствие, которое доставят нам ваши возражения. Только присматривайте вы, господа, за г. Кривенко. Пишет он, пожалуй, и недурно, по крайней мере, с чувством, но «что к чему» — это ему не дано!

Приложение I

ЕЩЕ РАЗ г. МИХАЙЛОВСКИЙ, ЕЩЕ РАЗ «ТРИАДА»

В октябрьской книжке «Русского Богатства» г. Михайловский, возражая г. П. Струве, опять высказал несколько соображений о философии Гегеля и об «экономическом» материализме[1].

По его словам, материалистическое понимание истории и экономический материализм не одно и то же. Экономические материалисты все выводят из экономии. «Ну, а если я буду искать корня или фундамента не только правовых и политических учреждений, философских и иных воззрений общества, но и его экономической структуры в расовых или племенных особенностях его членов: в пропорциях продольного и поперечного диаметров их черепов, в характере личного угла, в размерах и направлении челюстей, в размерах грудной клетки, силе мускулов и т. д., или, с другой стороны, в факторах чисто географических: в островном положении Англии, в степном характере части Азии, в гористой природе Швейцарии, в замерзании рек на севере и т. д.,— разве это не будет материалистическое понимание истории? Ясно, что экономический материализм, как историческая теория, есть лишь частный случай материалистического понимания истории...» *

Монтескье склонен был объяснять историческую судьбу народов «факторами чисто географическими». Поскольку он последовательно держался этих факторов, он был, без сомнения, материалистом. Современный диалектический материализм не игнорирует, как мы видели, влияния географической среды на развитие общества. Он только лучше выясняет, каким образом влияют географические факторы на «общественного

* «Русское Богатство», октябрь 1894 г., отд. II, стр. 50.

человека». Он показывает, что географическая среда обеспечивает людям бо́льшую или меньшую возможность развития их производительных сил и тем более или менее энергично толкает их по пути исторического движения. Монтескье рассуждал так: известная географическая среда обусловливает собою известные физические и психические свойства людей, а эти свойства ведут за собою то или другое общественное устройство. Диалектический материализм обнаруживает, что такое рассуждение неудовлетворительно, что влияние географической среды сказывается прежде всего и в сильнейшей степени на характере *общественных отношений*, которые в свою очередь бесконечно сильнее влияют на взгляды людей, на их привычки и даже на их физическое развитие, чем, например, климат. Современная географическая наука (напомним опять книгу Мечникова и предисловие к ней Элизэ Реклю) вполне соглашается в этом случае с диалектическим материализмом. Этот материализм есть, конечно, частный случай материалистического взгляда на историю. Но он полнее, всестороннее объясняет ее, чем могут сделать это остальные «частные случаи». *Диалектический материализм есть высшее развитие материалистического понимания истории.*

Гольбах говорил, что историческая судьба народов иногда на целое столетие определяется движением атома, зашалившего в мозгу могущественного человека. Это был также материалистический взгляд на историю. Но он ничего не мог дать в смысле объяснения исторических явлений. Современный диалектический материализм несравненно плодотворнее в этом отношении. Он есть, конечно, частный случай материалистического взгляда на историю, но именно тот частный случай, который один только и соответствует современному состоянию науки. Бессилие гольбаховского материализма сказалось в возвращении его сторонников к идеализму: «мнения правят миром». Диалектический материализм выбивает ныне идеализм из его последних позиций.

Г-ну Михайловскому кажется, что последовательным материалистом был бы только тот, кто стал бы объяснять все явления с помощью молекулярной механики. Современный, диалектический материализм не может найти *механического* объяснения истории. В этом, если хотите, заключается *его слабость.* Но умеет ли современная биология дать механическое объяснение происхождению и развитию видов? — Не умеет. Это *ее слабость.* Гений, о котором мечтал Лаплас, был бы, разумеется, выше такой слабости. Но мы решительно не знаем, когда явится этот гений, и довольствуемся такими объяснениями явлений, которые наилучше соответствуют науке нашего времени. Таков *наш* «частный случай».

Диалектический материализм говорит, что не сознание людей определяет собою их бытие, а, напротив, их бытие определяет собою их сознание; что не в философии, а в экономии данного общества надо искать ключ к пониманию его данного состояния. Г-н Михайловский делает по этому поводу несколько замечаний; одно из них гласит так:

«...В отрицательных половинах (!) основной формулы социологов материалистов заключается протест или реакция не против философии вообще, а, повидимому, против гегельянской. Ей именно принадлежит «объяснение бытия из сознания»... основатели экономического материализма — гегельянцы и в качестве таковых потому так настойчиво твердят: «не из философии», «не из сознания», что не могут, да и не пытаются выбиться из круга гегельянской мысли» *.

Когда мы прочли эти строки, мы подумали, что здесь наш автор, по примеру г. Кареева, подбирается к «синтезу». Конечно, сказали мы себе, синтез г. Михайловского будет несколько выше синтеза г. Кареева; г. Михайловский не ограничится повторением той мысли дьякона в рассказе Г. И. Успенского «Неизлечимый»[1], что «дух — часть особая» и что «как материя имеет на свою пользу разные специи, так равно и дух их имеет»; но все-таки не воздержится от синтеза и г. Михайловский: Гегель — тезис; экономический материализм — антитезис, а эклектизм современных русских субъективистов — синтезис. Как не соблазниться подобной «триадой»? И вот мы стали припоминать, каково было действительное отношение исторической теории Маркса к философии Гегеля.

Прежде всего, мы «заметили», что у Гегеля историческое движение объясняется *вовсе не взглядами людей, вовсе не их философией*. Взглядами, «мнениями» людей объясняли историю *французские материалисты XVIII века*. Гегель подсмеивался над таким объяснением: конечно, говорил он, разум правит в истории, но ведь он же правит и движением небесных светил, а разве небесные светила сознают свое движение? Историческое развитие человечества разумно в том смысле, что оно законосообразно, но законосообразность исторического движения вовсе еще не доказывает, что последней его причины надо искать во взглядах людей, в их мнениях; совершенно напротив: эта законосообразность показывает, что люди делают свою историю бессознательно.

Мы не помним,— продолжали мы,— каковы выходят исторические взгляды Гегеля по «Льюису»; но что мы не искажаем их, в этом согласится с нами всякий, прочитавший знаменитую «Philosophie der Geschichte» **. Стало быть, твердя, что

* Там же, стр. 51 и 52.
** [«Философия истории».]

не философия людей обусловливает собой их общественное бытие, сторонники «экономического» материализма оспаривают вовсе не Гегеля; стало быть, *в этом отношении* они никакой антитезы ему не представляют. А это значит, что неудачен будет синтез г. Михайловского, хотя наш автор и не ограничится повторением мысли дьякона.

По мнению г. Михайловского, твердить, что философия, т. е. взгляды людей, не объясняет их истории, можно было только в Германии сороковых годов, когда еще не замечалось восстания против гегелевской системы. Мы видим теперь, что такое мнение основано в лучшем случае только на «Льюисе».

Но до какой степени «Льюис» плохо знакомит г. Михайловского с ходом развития философской мысли в Германии, показывает, кроме вышеуказанного, еще следующее обстоятельство. Наш автор с восторгом цитирует известное письмо Белинского, в котором тот раскланивается «с философским колпаком» Гегеля[1]. В этом письме Белинский говорит, между прочим: «Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здравия китайского императора (т. е. гегелевской Allgemeinheit *)». По поводу этого письма г. Михайловский делает много замечаний, но он не *«замечает»*, что у Белинского гегелевская Allgemeinheit припутана совершенно некстати. Г-н Михайловский думает, повидимому, что гегелевская Allgemeinheit есть то же самое, что дух или абсолютная идея, но Allgemeinheit не составляет у Гегеля даже главного отличительного признака абсолютной идеи. Allgemeinheit занимает у него не более почетное место, чем, например, Besonderheit или Einzelheit **. А вследствие этого и непонятно, почему именно Allgemeinheit именуется китайским императором и заслуживает, не в пример другим своим сестрам, предупредительно-насмешливого поклона. Это может показаться мелочью, не достойною внимания в настоящее время, но это не так: плохо понятая гегелевская Allgemeinheit до сих пор мешает, например, г. Михайловскому понять историю немецкой философии, до такой степени мешает, что даже и «Льюис» не выручает его из беды.

По мнению г. Михайловского, преклонение перед Allgemeinheit приводило Гегеля к полному отрицанию *прав личности*. «Нет философской системы,— говорит он,— которая относилась бы к личности с таким уничтожающим презрением и (такою?) холодной жестокостью, как система Гегеля» (стр. 55). Это верно разве только по «Льюису». Почему Гегель считал исто-

* [всеобщности.]
** [особенность или единичность.]

рию Востока первой, *низшей* ступенью в развитии человечества? Потому, что на Востоке не развита была и до сих пор не развита *личность*. Почему Гегель с восторгом говорил о древней Греции, в истории которой современный человек чувствует себя, наконец, «дома»? Потому, что в Греции была развита личность («прекрасная личность», «schöne Individualität»). Почему Гегель с таким восторгом говорил о Сократе? Почему он, едва ли не первый из историков философии, отдал справедливость даже *софистам?* Неужели потому, что пренебрегал личностью?

Г-н Михайловский слышал звон, да не знает, где он.

Гегель не только не пренебрегал личностью, но создал целый культ *героев*, целиком унаследованный впоследствии Бруно Бауэром. У Гегеля герои были орудием всемирного духа, и в этом смысле они сами были *несвободны*. Бруно Бауэр восставал против «*духа*» и тем освободил «*героев*». У него герои «*критической мысли*» являются настоящими демиургами истории в *противоположность* «*массе*», которая хотя и раздражает почти до слез героев своею непонятливостью и неповоротливостью, но кончает все-таки тем, что идет по пути, проложенному героическим самосознанием. Противоположение «*героев массе*» («толпе») перешло от Бруно Бауэра к его русским незаконнорожденным детям, и мы имеем теперь удовольствие созерцать его в статьях г. Михайловского. Г-н Михайловский не помнит своего философского родства,— это непохвально.

Итак, у нас неожиданно получились элементы для нового «синтеза». Гегелевский культ героев, находящихся в услужении у всемирного духа,— *тезис;* бауэровский культ героев «критической мысли», руководимых лишь своим «самосознанием»,— *антитезис;* наконец, теория Маркса, примиряющая обе крайности, устраняющая всемирный дух и объясняющая происхождение героического самосознания развитием среды,— *синтезис*.

Нашим склонным к «синтезу» противникам надо помнить, что теория Маркса вовсе не была первой, *непосредственной* реакцией против Гегеля, что этой первой — поверхностной вследствие своей односторонности — реакцией явились в Германии взгляды Фейербаха и *особенно Бруно Бауэра*, с которым нашим субъективистам давно уже пора родными счесться.

Немало и еще несообразностей наговорил г. Михайловский о Гегеле и о Марксе в своей статье против г. П. Струве. Место не позволяет нам перечислить их здесь. Мы ограничимся тем, что предложим нашим читателям следующую интересную задачу:

Дан г. Михайловский; дано полное незнание им Гегеля; дано совершенное непонимание им Маркса; дано его неудержимое стремление рассуждать о Гегеле, о Марксе и об их взаимном

отношении; спрашивается: сколько еще ошибок сделает г. Михайловский благодаря этому стремлению?

Но едва ли кому удастся решить эту задачу: это — уравнение со многими неизвестными. Есть только одно средство заменить в нем определенными величинами величины *неизвестные:* именно надо внимательно читать статьи г. Михайловского и *замечать его ошибки.* Дело это, правда, невеселое и нелегкое, ошибок будет очень много, если только г. Михайловский не отделается от своей дурной привычки рассуждать о философии, не посоветовавшись предварительно с людьми, более его сведущими.

Мы не станем касаться здесь нападок г. Михайловского на г. П. Струве. Поскольку речь идет об этих нападках, г. Михайловский принадлежит отныне автору «Критических заметок к вопросу об экономическом развитии России», а мы не хотим посягать на чужую собственность. Впрочем, г. Струве, может быть, извинит нас, если мы позволим себе сделать два маленьких «замечания».

Г-н Михайловский обиделся тем, что г. П. Струве «замахнулся» на него вопросительным знаком. До такой степени обиделся, что, не ограничившись указанием неправильностей в языке г. Струве, выбранил его инородцем и даже вспомнил анекдот о двух немцах, из которых один сказал «стригнулся», а другой поправил его, утверждая, что по-русски надо говорить «стриговался». По поводу чего же поднял г. Струве на г. Михайловского руку, вооруженную вопросительным знаком? По поводу слов: «Современный экономический порядок в Европе начал складываться еще тогда, когда наука, заведующая этим кругом явлений, не существовала» и т. д. Вопросительный знак сопровождает слово «заведующая». Г-н Михайловский говорит: «По-немецки это, может быть, нехорошо (как зло: *по-немецки!*), но по-русски, уверяю вас, г. Струве, ни в ком вопроса не возбуждает и вопросительного знака не требует». Пишущий эти строки носит чисто русскую фамилию и обладает столь же русскою душою, как и г. Михайловский: самый ехидный критик не решится обозвать его немцем, и тем не менее слово «заведующая» в нем возбуждает вопрос. Он спрашивает себя: если можно сказать, что наука *заведует* известным кругом явлений, то нельзя ли после этого произвести технические искусства в *начальники особых частей?* Нельзя ли сказать, например: пробирное искусство командует сплавами? По-нашему, это неловко, это придало бы искусствам *слишком военный вид*, совершенно так же, как слово *заведующая* придает науке вид *бюрократа.* Стало быть, неправ г. Михайловский. Г-н П. Струве молча схватил вопросительный знак; неизвестно, как поправил бы он неудачное выражение

г. Михайловского. Допустим, что он стал бы «стриговаться». Но что г. Михайловский уже несколько раз «стригнулся» — это, к сожалению, *уже совершившийся факт*. А, кажется, совсем не инородец!

Г-н Михайловский в своей статье поднял смешной шум по поводу слов г. Струве: «нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Г-н Михайловский хочет изобразить дело так, как будто бы эти слова означали *«отдадим же производителя в жертву эксплуататору»*. Г. П. Струве легко будет показать тщету усилий г. Михайловского, да ее, вероятно, и теперь видит всякий, внимательно прочитавший «Критические заметки». Но г. Струве все-таки очень неосторожно выразился, чем, вероятно, ввел в соблазн многих простаков и обрадовал нескольких акробатов. *Вперед наука*,— скажем мы г. Струве, а гг. акробатам напомним, как Белинский уж под конец своей жизни, когда он уж давно раскланялся с «Allgemeinheit»*, в одном из своих писем высказывал ту мысль, что культурное будущее России обеспечит *только буржуазия*[1]. У Белинского это была тоже очень неловкая угроза. Но чем была вызвана его неловкость? *Благородным увлечением западника*. Таким же увлечением причинена, уверены мы, и неловкость г. Струве. Шуметь по ее поводу позволительно только тому, кому нечего возражать, например, на экономические доводы этого писателя.

Ополчился на г. П. Струве и г. Кривенко[2]. У того своя обида. Он неверно перевел отрывок из одной немецкой статьи г. П. Струве, а тот уличил его в этом. Г-н Кривенко оправдывается, старается показать, что перевод почти совсем верен; но оправдания его неудачны, он все-таки остается виновным в искажении слов своего противника. Но взять с г. Кривенко нечего ввиду несомненного его сходства с некоей птицей, о которой сказано:

Райская птица Сирин,
Глас ее в пении зело силен,
Когда Господа воспевает,
Сама себя позабывает.

Когда г. Кривенко «учеников» пристыжает, он сам себя позабывает. Что же вы пристаете к нему, г. Струве?

---

* [«всеобщностью»]

Приложение II

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НАШИМ ПРОТИВНИКАМ

В последнее время в нашей литературе снова поднят вопрос о том, по какому пути пойдет экономическое развитие России. Об этом вопросе говорят много и горячо, так горячо, что люди, известные в общежитии под именем рассудительных, даже смущаются излишнею будто бы горячностью спорящих сторон: зачем волноваться, зачем бросать противникам гордые вызовы и горькие упреки, зачем насмехаться над ними, говорят рассудительные люди, не лучше ли хладнокровно рассмотреть вопрос, который, действительно, имеет громадную важность для нашей страны, но именно вследствие своей громадной важности требует хладнокровного обсуждения?

Как это всегда было и бывает, рассудительные люди правы и неправы в одно и то же время. Зачем волнуются и горячатся писатели, принадлежащие к двум лагерям, из которых каждый — что бы там ни говорили его противники — стремится отстоять по мере понимания, сил и возможности самые важные, самые насущные интересы народа? Повидимому, достаточно поставить этот вопрос, чтобы немедленно разрешить его раз навсегда с помощью двух-трех сентенций, годных в любую пропись: терпимость — прекрасная вещь; уважать чужие мнения надо даже тогда, когда они радикально расходятся с нашими, и т. п... Все это очень справедливо, и давно уже все это «твердили миру». Но не менее справедливо и то, что человечество горячилось, горячится и будет горячиться всякий раз, когда заходила, заходит или зайдет речь об его насущных интересах. Такова уж природа человека, сказали бы мы, если бы не знали, как часто и как сильно злоупотребляли этим выражением. Но это еще не все. Главное в том, что человечеству и нет оснований сожалеть о таковой своей «природе».

Ни один великий шаг в истории не был сделан без помощи страсти, которая, удесятеряя нравственные силы и изощряя умственные способности деятелей, сама является великой прогрессивной силой. Хладнокровно обсуждаются только такие общественные вопросы, которые совсем не важны сами по себе или еще не стали *очередными* вопросами данной страны и данной эпохи, а потому и интересуют собою только горсть кабинетных мыслителей. А раз вышел на очередь тот или другой великий общественный вопрос, он непременно возбудит великие страсти, сколько бы ни кричали о хладнокровии сторонники умеренности.

Вопрос об экономическом развитии нашей страны есть именно тот великий общественный вопрос, который не может теперь обсуждаться у нас с умеренностью по той простой причине, что он стал *очередным вопросом*. Это не значит, конечно, что только теперь экономия приобрела решающее значение в нашем общественном развитии. Ей всегда и везде принадлежало такое значение. Но у нас, как и везде, это значение не всегда сознавалось людьми, интересовавшимися общественными делами, а потому люди эти сосредоточивали силу своей страсти на вопросах, касающихся экономии лишь самым отдаленным образом. Вспомните хоть наши сороковые годы. Теперь не то. Теперь коренное, великое значение экономии сознается у нас даже теми, которые горячо восстают против «*узкой*» исторической теории Маркса. Теперь все мыслящие люди сознают, что все наше будущее сложится сообразно тому, как решится вопрос нашего *экономического* развития. Оттого и сосредоточивают на этом вопросе всю силу своей страсти даже совсем не «узкие» мыслители. Но если нельзя нам теперь обсуждать этот вопрос с *умеренностью*, то и теперь можно и должно заботиться нам об отсутствии *распущенности* как в определении наших собственных мыслей, так и в наших полемических приемах. Против этого требования решительно ничего возразить невозможно. Западные люди прекрасно знают, что серьезная страсть исключает всякую распущенность. Правда, у нас до сих пор полагают иногда, что страсть и распущенность — родные сестры, но пора же и нам цивилизоваться.

По части литературных приличий мы цивилизовались, повидимому, уж очень значительно, так значительно, что наш «передовой» человек, г. Михайловский, читает нотации немцам (Марксу, Энгельсу, Дюрингу), у которых в полемике можно будто бы найти вещи «или совершенно бесплодные, или даже извращающие предмет и отталкивающие своею грубостью». Г-н Михайловский припоминает замечание Берне, что немцы всегда «были грубы в полемике». «И я боюсь, —

прибавляет он,— что вместе с другими немецкими влияниями к нам проникнет эта традиционная немецкая грубость, осложнившись еще собственной нашей дикостью, и полемика превратится в реплику, влагаемую гр. А. Толстым в уста царевне по адресу Потока-богатыря:

Шерамыжник, болван, неученый холоп!
Чтоб тебя в турий рог искривило!
Поросенок, теленок, свинья, эфиоп,
Чёртов сын, неумытое рыло!
Кабы только не этот мой девичий стыд,
Что иного словца мне сказать не велит,
Я б тебя, прощелыгу, нахала,
И не так бы еще обругала!»*[1]

Г-н Михайловский не в первый раз вспомнил здесь о неприличной толстовской царевне. Он не раз уже советовал русским писателям не уподобляться ей в своей полемике. Совет, нечего и говорить, прекрасный. Жаль только, что наш автор сам не всегда следовал ему. Так, одного из своих противников он назвал, как известно, *клопом*, другого — *литературным акробатом*. Свою полемику с г. де ла Серда он украсил таким замечанием: «слово la cerda из всех европейских языков имеет определенное значение только в испанском и значит по-русски свинья». Зачем оно понадобилось автору — понять довольно трудно.

«Не правда ли, хорошо?» — спрашивал по этому поводу г. де ла Серда. Действительно, очень хорошо, и совершенно во вкусе толстовской царевны. Только царевна была прямодушнее, и когда ей хотелось выругаться, она так и кричала: поросенок, теленок, свинья и т. д., не прибегая к насилованию иностранных языков с целью сказать противнику грубое слово.

При сравнении г. Михайловского с толстовской царевной оказывается, что он, пренебрегая «эфиопами», «чёртовыми детьми» и т. п., налегает, если можно так выразиться, на толстокожие эпитеты. У него вы встретите и «свиней» и «поросят», и притом поросят самых различных: гамлетизированных, зеленых и т. д. Это несколько монотонно, но очень сильно. Вообще если от ругательного лексикона толстовской царевны мы обратимся к такому же лексикону нашего субъективного социолога, то перед нами, конечно, *иной картины красы живые расцветут*, но эти красы по своей силе и выразительности нимало не уступят полемическим красотам бойкой царевны. «Est modus in rebus **, или, по-русски сказать, надо же и честь знать»,— говорит г. Михайловский. Это как нельзя более

* «Русское Богатство», кн. I, 1895 г., ст. «Литература и жизнь».
** [Есть мера в вещах]

справедливо, и мы от души жалеем, что наш маститый социолог часто забывает об этом. Он может трагически воскликнуть о себе:

...Video meliora, proboque,
Deteriora sequor! *

Надо надеяться, однако, что со временем цивилизуется и г. Михайловский, что хорошие намерения возьмут у него, наконец, верх над «собственною нашею дикостью» и он перестанет кидать в своих противников «свиньями» и «поросятами». Сам г. Михайловский справедливо думает, что la raison finit toujours par avoir raison**.

Читающая публика не одобряет теперь у нас резкой полемики. Но в своем неодобрении она смешивает резкость с грубостью, между тем как это далеко не одно и то же. Уже Пушкин выяснил огромную разницу между резкостью и грубостью:

Иная брань, конечно, неприличность.
Нельзя писать: такой-то де старик,
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол, и подл — все это будет личность.
Но можете печатать, например,
Что «господин парнасский старовер
(В своих статьях) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат».
Тут не лицо, а просто литератор [1].

Если вы вздумаете, подобно толстовской царевне или г. Михайловскому, обозвать своего противника «свиньей» или «клопом», то это «*будет личность*», а если вы станете доказывать, что такой-то социологический, или историософический, или экономический старовер в своих статьях, «трудах» или «очерках» «отменно вял, отменно скучноват, тяжеловат и даже»... не умен, то «тут не лицо, а просто литератор», тут будет резкость, а не грубость. Вы можете, конечно, ошибиться в своем приговоре, и. ваши противники хорошо сделают, если обнаружат вашу ошибку. Но обвинять вас они будут иметь право только в ошибке, а вовсе не в резкости, потому что без таких резкостей не может обойтись развитие литературы. Если бы литература вздумала обходиться без них, то она немедленно превратилась бы, по выражению Белинского, *в льстивую повторяльщицу избитых общих мест*, чего ей могут пожелать только ее недруги.

Рассуждение г. Михайловского о традиционной немецкой грубости и о нашей собственной дикости вызвано было «интересной книгой» г. Н. Бельтова: «К вопросу о развитии

* [...Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему!]
** [разум в конечном счете всегда окажется прав.]

монистического взгляда на историю». Г-на Бельтова многие обвиняли в излишней резкости. Так, например, по поводу его книги рецензент «Русской Мысли» говорил: «Не разделяя односторонней, по нашему мнению, теории экономического материализма, мы готовы были бы в интересах и науки и нашей общественной жизни приветствовать представителей этой теории, если бы некоторые из них (гг. Струве и Бельтов) не вносили в свою полемику чересчур больших резкостей, если бы они не издевались над писателями, труды которых заслуживают уважения»[1].

Это написано в той самой «Русской Мысли», которая еще недавно называла сторонников «экономического» материализма «фаршированными головами» и которая объявила книгу г. П. Струве продуктом непереваренной эрудиции и полной неспособности к логическому мышлению. «Русская Мысль» не любит чересчур больших резкостей, и потому, как видит читатель, она отзывалась о сторонниках экономического материализма с большою мягкостью. Теперь она уже готова — в интересах науки и нашей общественной жизни — приветствовать представителей этой теории. Зачем же приветствовать их? Много ли сделают для общественной жизни фаршированные головы? Много ли выиграет наука от непереваренной эрудиции и полной неспособности к логическому мышлению? Нам думается, что боязнь чересчур больших резкостей заводит «Русскую Мысль» слишком далеко и заставляет ее говорить вещи, благодаря которым читатели могут заподозрить ее самое в неумении переварить кое-что и в некоторой неспособности к логическому мышлению.

У г. П. Струве совсем нет никаких резкостей (мы уже не говорим о чересчур больших), а у г. Бельтова если и есть резкости, то лишь такие, о которых, наверное, Пушкин сказал бы, что они затрагивают только литераторов и что поэтому к ним прибегать вполне позволительно. Рецензент «Русской Мысли» полагает, что труды тех писателей, над которыми смеется г. Бельтов, заслуживают уважения. Если бы г. Бельтов разделял такое мнение, то с его стороны, конечно, нехорошо было бы смеяться над ними. Ну, а что, если он убежден в противном? Что, если «труды» этих господ кажутся ему и скучноватыми, и тяжеловатыми, и совершенно бессодержательными, и даже очень вредными в настоящее время, когда усложнившаяся общественная жизнь требует новых усилий мысли от всех тех, кто не смотрит на мир, по выражению Гоголя, «ковыряя в носу». Рецензенту «Русской Мысли» эти писатели кажутся, может быть, настоящими светочами, спасительными маяками. Ну, а что, если г. Бельтов считает их гасильниками и усыпителями? Рецензент скажет, что г. Бель-

тов ошибается. Это его право; но это свое мнение рецензент должен доказать, а не довольствоваться простым осуждением «чересчур большой резкости». Какого мнения рецензент о Грече и Булгарине? Мы уверены, что если бы он высказал его, то известная часть нашей печати нашла бы его чересчур резким. Значило ли бы это, что г. рецензент «Русской Мысли» не имеет права откровенно высказать свой взгляд на литературную деятельность Греча и Булгарина? Мы не ставим, конечно, на одну доску с Гречем и Булгариным людей, с которыми спорят гг. П. Струве и Н. Бельтов. Но мы спрашиваем рецензента «Русской Мысли»: почему литературные приличия позволяют высказать резкое мнение о Грече и Булгарине, но запрещают поступить так по отношению к гг. Михайловскому и Карееву? Г-н рецензент думает, как видно, что сильнее кошки зверя нет и что поэтому кошка заслуживает, не в пример прочим зверям, особенно почтительного обращения. Но ведь в этом позволительно усомниться. Мы вот, например, думаем, что субъективная кошка — зверь не только не очень сильный, но даже весьма значительно выродившийся, а потому никакого особого почтения и не заслуживающий. Мы готовы спорить с рецензентом, если он не согласен с нами, но прежде, чем вступить с ним в спор, мы попросим его хорошенько выяснить себе ту разницу, которая, несомненно, существует между *резкостью суждения* и *грубостью литературного выражения*. Гг. Струве и Бельтов высказали суждения, которые очень многим могли показаться резкими. Но позволил ли себе хоть один из них прибегнуть для защиты своих мнений к той грубой брани, к какой прибегал не раз в своих литературных стычках г. Михайловский, этот настоящий Miles Gloriosus * нашей «передовой» литературы? Ни один из них себе этого не позволил, и рецензент «Русской Мысли» сам отдаст им эту справедливость, если вдумается в указанную нами разницу между резкостью суждения и грубостью выражения.

Кстати, о рецензенте «Русской Мысли». Он говорит: «Г-н Бельтов по меньшей мере без церемонии расточает обвинения в том, что такой-то писатель говорит о Марксе, не прочитавши его сочинений, осуждает гегелевскую философию, не познакомившись с нею самостоятельно, и т. п. Не мешает, конечно, при этом не делать самому промахов, в особенности по самым существенным вопросам. А г. Бельтов именно о Гегеле говорит совершенный вздор: «Если современное естествознание,— читаем мы на стр. 86 названной книги,— на каждом шагу подтверждает гениальную мысль Гегеля о переходе количества в качество, то можно ли сказать, что оно не имеет ничего

* [доблестный воин]

общего с гегельянством?». Но беда в том, г. Бельтов, что Гегель этого не утверждал, а доказывал противоположное: у него качество переходит в количество».— Если бы нам пришлось характеризовать это представление г. рецензента о философии Гегеля, то наше суждение, наверное, показалось бы ему «чересчур резким». Но вина была бы не наша. Мы можем уверить г. рецензента, что об его философских сведениях произнесли очень резкие суждения все те, которые прочитали его рецензию и которые хоть немного знакомы с историей философии.

Нельзя, конечно, требовать от всякого журналиста серьезного философского образования, но можно требовать от него, чтоб он не позволял себе судить о вещах, ему неизвестных. В противном случае о нем всегда будут отзываться очень «резко» люди, знающие дело.

В первой части «*Энциклопедии*» Гегеля, в прибавлении к параграфу 108, о мере, сказано: «Качество и количество еще различаются и не совершенно тождественны. Вследствие того оба эти определения до некоторой степени независимы одно от другого, так что, с одной стороны, количество может изменяться, без изменения качества предмета, но, с другой стороны, его увеличение и уменьшение, к которому предмет первоначально равнодушен, имеет границу, и при переступлении этой границы качество изменяется. Так, например, различная температура воды сначала не оказывает влияния на ее капельно-жидкое состояние, но при дальнейшем увеличении или уменьшении ее температуры наступает точка, когда это состояние сцепления изменяется качественно, и вода превращается в пар или в лед. Сначала кажется, будто изменение количества не оказывает никакого влияния на существенную природу предмета, но за ним скрывается что-то другое, и это, повидимому, бесхитростное изменение количества, неизменное для самого предмета, изменяет его качество» * [1].

«Беда в том, г. Бельтов, что Гегель этого не утверждал, а доказывал противоположное». Вы и теперь думаете, что беда именно в этом, г. рецензент? **. Или, может быть, вы теперь изменили свое мнение по этому предмету? А если изменили, то в чем же беда в настоящее время? Мы сказали бы вам в чем, да боимся, что вы обвините нас в излишней резкости.

Повторяем, от каждого журналиста нельзя требовать знания истории философии. Поэтому беда, в которую попал г. рецензент «Русской Мысли», не столь уж велика, как это может

---

* Цитируем по русскому переводу г. В. Чижова (стр. 191—192).

** В третьей книжке «Русской Мысли» г. рецензент продолжает отстаивать это свое мнение, причем советует несогласномыслящим взглянуть «хоть» в русский перевод «Истории новой философии» *Ибервега-Гейнце*. Почему бы г. рецензенту не заглянуть «хоть» в самого Гегеля?

показаться с первого взгляда. Но *«беда в том»*, что эта *беда* г. рецензента не последняя. Вторая и главная беда его горше первой: он не дал себе труда прочитать ту книгу, о которой писал свой отзыв.

На стр. 75—76 своей книги [стр. 569—570 наст. издания] г. Бельтов делает довольно длинную выписку из Большой Логики Гегеля («Wissenschaft der Logik» *). Вот начало этой выписки: «Изменения бытия состоят не только в том, что одно количество переходит в другое количество, но также и в том, что качество переходит в количество, и наоборот, и т. д.» (стр. 75).

Если бы г. рецензент прочитал хоть эту выписку, он не попал бы в беду, ибо тогда он не «утверждал» бы, что «Гегель этого не утверждал, а доказывал противоположное».

Мы знаем, как пишется в русской — да, к сожалению, и не только в русской — литературе большинство рецензий. Рецензент перелистывает книгу, быстро пробегая в ней, положим, каждую десятую, двадцатую страницу и отмечая места, как ему кажется, наиболее характерные. Затем он выписывает эти места, сопровождая их выражением своего порицания или одобрения: он «недоумевает», «очень сожалеет» или «от души приветствует» — и дело кончено, рецензия готова. Можно представить себе, сколько вздору печатается таким образом, особенно если (как это нередко случается) рецензент не имеет никакого понятия о том предмете, о котором говорится в разбираемой им книге!

Нам и в голову не приходит советовать гг. рецензентам *совсем* отделаться от этой дурной привычки: горбатого исправит могила. Но все-таки им следовало бы хоть немного серьезнее относиться к своему делу там, где — как, например, в споре об экономическом развитии России — речь идет о важнейших интересах нашей родины. Неужели они и тут будут продолжать с легким сердцем сбивать с толку читающую публику своими легкомысленными отзывами? Надо же и честь знать, как справедливо замечает г. Михайловский.

Г-ну Михайловскому тоже не нравятся полемические приемы г. Бельтова: «Г-н Бельтов человек талантливый,— говорит он,— и не лишенный остроумия, но оно, к сожалению, часто переходит у него в неприятное шутовство»[1]. Почему же в шутовство? И кому, собственно, неприятно это мнимое шутовство г. Бельтова?

Когда в шестидесятых годах «Современник» осмеивал, положим, Погодина, то Погодину, наверное, казалось, что этот журнал вдавался в неприятное шутовство. Да и не одному Погодину казалось это, а всем, кто привык почитать московского

* [«Наука логики».]

историка. Мало ли нападали у нас тогда на «рыцарей свистопляски»? Мало ли возмущались «мальчишескими выходками свистунов»?[1] А вот, по нашему мнению, блестящее остроумие «свистунов» никогда в неприятное шутовство не переходило; и если люди, осмеянные ими, думали иначе, то лишь по той человеческой слабости, в силу которой Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин находил, что *«слишком длинно»* было то письмо, где его называли «в сильнейшей степени моветоном».

— Ах, так вот оно что! Так вы хотите сказать, что г. Бельтов обладает остроумием Добролюбова и его сотрудников по «Свистку»! Это мило! — восклицают люди, которым «несимпатичны» полемические приемы г. Бельтова.

Погодите, господа. Мы не сравниваем г. Бельтова со «свистунами» шестидесятых годов; мы говорим только, что не г. Михайловскому судить о том, переходит ли и где именно переходит в неприятное шутовство остроумие г. Бельтова. Кто же может быть судьею в своем собственном деле?

Но г. Михайловский упрекает г. Бельтова не только в «неприятном шутовстве». Он возводит на него очень серьезное обвинение. Чтобы читатель мог легче разобрать, в чем дело, мы предоставим г. Михайловскому изложить это обвинение своими собственными словами:

«В одной из своих статей в «Русской Мысли» я вспоминал о своем знакомстве с покойным Н. И. Зибером и сообщил, между прочим, что этот почтенный ученый в разговорах о судьбах капитализма в России «употреблял всевозможные аргументы, но при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого трехчленного диалектического развития». Приведя эти мои слова, г. Бельтов пишет: «Нам приходилось не раз беседовать с покойным и ни разу не слышали мы от него ссылок на диалектическое развитие; он не раз сам говорил, что ему совершенно неизвестно значение Гегеля в развитии новейшей экономии. Конечно, на мертвых все валить можно, и показание г. Михайловского неопровержимо»!.. Я скажу иначе: на мертвых не всегда все валить можно, и показание г. Бельтова вполне опровержимо...

В 1879 г. в журнале «Слово» была напечатана статья Зибера, озаглавленная: «Диалектика в ее применении к науке»[2]. Статья эта (неоконченная) представляет собой пересказ, даже почти сплошной перевод книги Энгельса «Herrn Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» *. Ну, а переведя эту книгу, остаться в «совершенной неизвестности о значении Гегеля в развитии новейшей экономии» — довольно-таки мудрено не

* [«Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом».]

только для Зибера, а даже и для Потока-богатыря в вышеприведенной полемической характеристике царевны. Это, я думаю, для самого г. Бельтова понятно. Но на всякий случай приведу все-таки несколько строк из маленького предисловия Зибера: «Книга Энгельса заслуживает особенного внимания как ввиду последовательности и дельности приводимых в ней философских и общественно-экономических понятий, так и потому, что для объяснения практического приложения метода диалектических противоречий она дает ряд новых иллюстраций и фактических примеров, которые немало способствуют ближайшему ознакомлению с этим столь сильно прославляемым и в то же время столь сильно унижаемым способом исследования истины. Можно сказать, повидимому, что в первый еще раз с тех пор, как существует так называемая диалектика, она является глазам читателя в таком реальном освещении».

Итак, Зиберу было известно значение Гегеля в развитии новейшей экономии; Зибер был очень заинтересован «методом диалектических противоречий». Такова истина, документально засвидетельствованная и вполне разрешающая пикантный вопрос о том, кто лжет за двух» *.

Истина, особенно истина, документально засвидетельствованная,— прекрасное дело! В интересах той же истины мы несколько продолжим выписку, сделанную г. Михайловским из статьи Н. Зибера «Диалектика в ее применении к науке».

Как раз за теми словами, которыми заканчивается эта выписка у г. Михайловского, у Зибера следует такое замечание: «Впрочем, мы с своей стороны воздержимся от суждения о годности этого метода в применении к различным областям знания, а также и о том, представляет ли он собою или не представляет — насколько ему может быть придаваемо действительное значение — простое видоизменение или даже прототип метода теории эволюции или всеобщего развития. Именно в этом последнем смысле рассматривает его автор или по меньшей мере старается указать на подтверждение его при помощи тех истин, которые достигнуты эволюционною теориею, и нельзя не сознаться, что в некотором отношении здесь открывается значительное сходство».

Как видим, покойный русский экономист, даже и переведя книгу Энгельса «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» **, все-таки остался в неизвестности насчет значения Гегеля в развитии новейшей экономии и даже вообще насчет

* «Русское Богатство», 1895 г., январь, отд. II, стр. 140—141.

** [«Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом»]

годности диалектики в применении к различным областям знания. По крайней мере, он не хотел судить о ней. Вот мы и спрашиваем: вероятно ли, чтобы тот самый Зибер, который вообще совсем не решался судить о годности диалектики, в спорах с г. Михайловским «при малейшей опасности укрывался под сень непреложного и непререкаемого диалектического развития»? Почему же это именно только в этих случаях Зибер изменял свой обыкновенно нерешительный взгляд на диалектику? Уж не потому ли, что слишком велика была для него «опасность» быть разбитым его страшным противником? Вряд ли поэтому! Кому-кому другому, а Зиберу, обладавшему очень серьезными знаниями, такой противник едва ли был «опасен».

В самом деле, прекрасная это вещь истина, документально засвидетельствованная! Г-н Михайловский совершенно прав, говоря, что она вполне разрешает пикантный вопрос: кто лжет за двух!

Но если воплотившийся в лице кое-кого «русский дух», несомненно, прибегает к искажению истины, то он не довольствуется однократным искажением ее за двух; он за одного покойника Зибера искажает ее *дважды:* один раз, когда уверяет, что Зибер прятался под сень триады, а другой — когда с удивительной развязностью ссылается на то самое вступление, которое как нельзя более ясно показывает, что прав г. Бельтов.

Эх, г. Михайловский, г. Михайловский!

«Мудрено остаться в неизвестности насчет значения Гегеля в развитии новейшей экономии, переведя книгу Энгельса «Dühring's Umwälzung»,— восклицает г. Михайловский. Будто бы так мудрено? По-нашему, вовсе нет. Переведя названную книгу, Зиберу действительно мудрено было бы остаться в неизвестности насчет *мнения Энгельса* (и, разумеется, Маркса) *о значении Гегеля в развитии названной науки.* Это мнение Зиберу было известно, как это разумеется само собой и как это следует из его предисловия. Но Зибер мог не довольствоваться *чужим мнением.* Как серьезный ученый, не полагающийся на чужие мнения, а привыкший изучать предмет по первым источникам, он, знавший мнение Энгельса о Гегеле, еще не считал себя вправе сказать: «я знаю Гегеля и его роль в истории развития научных понятий». Г-ну Михайловскому, может быть, непонятна такая скромность ученого; он, по его собственным словам, «не имеет претензии» знать философию Гегеля, а между тем он очень развязно рассуждает о ней. Но quod licet bovi, non licet Jovi *. Г-н Михайловский, бывший

* [Что позволительно быку, то непозволительно Юпитеру.]

всю жизнь не чем иным, как бойким фельетонистом, обладает развязностью, присвоенной по штату людям этого звания. Но он позабыл, какая разница существует между ним и людьми науки. Благодаря этому забвению он и решился говорить вещи, из которых ясно следует, что известный «дух» непременно «лжет за двух».

Эх, г. Михайловский, г. Михайловский!

Да и за двух ли только искажает этот почтенный «дух» истину? Читатель помнит, может быть, историю «пропущенного» г. Михайловским «момента цветения». Пропуск этого «цветения» имеет «важное значение»: он показывает, что истина искажена также и за Энгельса. Почему г. Михайловский ни единым словом не обмолвился об этой поучительной истории?

Эх, г. Михайловский, г. Михайловский!

А знаете ли что? Ведь, может быть, «русский дух» и не искажает истины, может быть, он, бедный, говорит чистейшую правду. Ведь чтобы оставить вне всякого подозрения его правдивость, стоит только предположить, что Зибер просто подшутил над молодым писателем, пугнув его «*триадой*». Оно и похоже на правду: г. Михайловский уверяет, что Зибер был знаком с диалектическим методом; как человек, знакомый с этим методом, Зибер должен был прекрасно понимать, что пресловутая триада никогда роли довода у Гегеля не играла. Наоборот, г. Михайловский, как человек незнакомый с Гегелем, мог высказать в разговоре с Зибером ту впоследствии не раз высказанную им мысль, что вся аргументация Гегеля и гегельянцев сводилась к ссылкам на триаду. Зиберу это должно было показаться забавным, и вот он стал поддразнивать триадой горячего, но несведущего молодого человека. Разумеется, если бы Зибер предвидел, в какое печальное положение попадет со временем его собеседник благодаря его шутке, то он непременно воздержался бы от нее. Но этого он предвидеть не мог, а потому и позволил себе подшутить над г. Михайловским. Правдивость этого последнего не подлежит сомнению, если справедливо это наше предположение. Пусть г. Михайловский пороется в своей памяти: может быть, он припомнит какое-нибудь обстоятельство, показывающее, что наше предположение не совсем неосновательно. С своей стороны мы всей душой рады были бы услышать о таком обстоятельстве, спасающем честь «русского духа». Порадуется, конечно, и г. Бельтов.

Г-н Михайловский большой забавник! Он очень недоволен г. Бельтовым, который позволил себе сказать, что в «новых словах» нашего субъективного социолога «русский ум и русский дух зады твердит и лжет за двух». Г-н Михайловский полагает, что если г. Бельтов и не ответствен за содержание цитаты, то его все-таки можно было бы признать ответственным за ее

выбор. Только грубость наших полемических нравов вынуждает нашего почтенного социолога сознаться, что подобный упрек г. Бельтову был бы излишней тонкостью. Но откуда взял эту «цитату» г. Бельтов? Он взял ее у Пушкина. Евгений Онегин был того мнения, что во всей нашей журналистике русский ум и русский дух зады твердит и лжет за двух. Можно ли признать Пушкина ответственным за столь резкое мнение его героя? До сих пор, как мы знаем, никто не думал, что — да, хотя весьма вероятно, что Онегин выражал собственное мнение великого поэта. А вот теперь г. Михайловский хотел бы сделать г. Бельтова ответственным за то, что тот не находит в сочинениях его, г. Михайловского, ничего, кроме повторения задов и «лжи за двух». Почему же это так? Почему нельзя применить эту «цитату» к «трудам» нашего социолога? Вероятно, потому, что эти труды в глазах этого социолога заслуживают гораздо более почтительного отношения. Но ведь «об этом можно спорить», скажем мы словами г. Михайловского.

«Собственно, в этом месте ни в какой лжи г. Бельтов меня не уличает,— говорит г. Михайловский,— он просто так сболтнул, чтобы горячее вышло, и цитатой, как фиговым листком, стыдливо прикрылся» (стр. 140). Почему же «сболтнул», а не высказал свое твердое убеждение? Каков смысл предложения: г. Михайловский в своих статьях зады твердит и лжет за двух? Оно значит, что г. Михайловский высказывает лишь старые, давно опровергнутые на Западе мнения и, высказывая их, к *ошибкам западных людей прибавляет свои собственные, доморощенные*. Неужели, выражая подобный взгляд на литературную деятельность г. Михайловского, непременно надо прикрываться «фиговым листком»? Г-н Михайловский убежден, что можно только «сболтнуть» подобное мнение, что оно не может быть плодом серьезной и вдумчивой оценки. Но об этом можно спорить, скажем мы еще раз его собственными словами.

Пишущий эти строки совершенно хладнокровно и обдуманно, не имея нужды ни в каких фиговых листках, заявляет, что, по его убеждению, *очень невысокое мнение о «работах» г. Михайловского есть начало всякой премудрости*.

Но если, говоря о «русском духе», г. Бельтов ни в какой лжи г. Михайловского не уличает, то зачем же наш «социолог» придрался именно к этой «цитате», начиная несчастный инцидент с Зибером? Вероятно, затем, чтобы «горячее вышло». В действительности ничего горячего приемы подобного рода в себе не заключают, но есть люди, которым они кажутся очень горячими. В одном из очерков Г. И. Успенского чиновница ссорится с дворником. Дворник произносит слово *подле*.— «Как! Я подлая? — кричит чиновница.— Я тебе покажу,

у меня сын в Польше служит» и т. д. Подобно чиновнице, г. Михайловский, ухватившись за отдельное слово, поднимает «горячий» крик: «Я лгу за двух, вы смели усомниться в моей правдивости, да я вас самого сейчас уличу во лжи за многих! Посмотрите, что вы наговорили о Зибере!». Мы смотрим, что сказал о Зибере г. Бельтов, и видим, что сказал он истинную правду. Die Moral von der Geschichte * — та, что излишняя горячность ни чиновниц, ни г. Михайловского ни к чему доброму привести не может.

«Г-н Бельтов предпринял показать, что окончательное торжество материалистического монизма установлено так называемой теорией экономического материализма в истории, каковая теория находится, дескать, в теснейшей связи с «общефилософским материализмом». С этою целью г. Бельтов делает экскурсию в историю философии. О степени беспорядочности и неполноты этой экскурсии можно судить уже по названиям глав, ей посвященных: «Французский материализм XVIII века», «Французские историки времен реставрации», «Утописты», «Идеалистическая немецкая философия», «Современный материализм»» (стр. 146). Г-н Михайловский опять горячится без всякой надобности, и опять его горячность ни к чему доброму не приводит. Если бы г. Бельтов писал хотя бы краткий очерк *истории философии*, то, действительно, беспорядочна и непонятна была бы та экскурсия, в которой он от французского материализма XVIII века переходит к французским историкам времен реставрации; от этих историков к утопистам, от утопистов к немецким идеалистам и т. д. Но в том-то и дело, что г. Бельтов никакой истории философии не писал. На первой же странице своей книги он заявил, что намерен сделать краткий очерк того учения, которое неправильно называется *экономическим* материализмом. Он нашел некоторые слабые зародыши этого учения у французских материалистов и показал, что эти зародыши в значительной степени развились у французских историков-специалистов времен реставрации; затем он обратился к людям, которые, не быв историками по своей специальности, все-таки должны были много думать о важнейших вопросах исторического развития человечества, т. е. к утопистам и немецким философам. Он далеко не перечислил всех материалистов XVIII века, всех историков времен реставрации, всех утопистов и всех идеалистов-диалектиков этой эпохи. Но он указал на самых главных из них, на тех, которые более других сделали по интересовавшему его предмету. Он показал, что все эти люди, так богато одаренные и так много знавшие, путались в противоре-

* [Мораль истории]

чиях, из которых единственным логическим выводом являлась историческая теория Маркса. Словом, il prenait son bien où il le trouvait *. Что можно возразить против такого приема? И почему он не нравится г. Михайловскому?

Если г. Михайловский не только *прочитал* сочинения Энгельса «Ludwig Feuerbach» и «Dühring's Umwälzung» **, но и — что самое главное — *понял* их, то он и сам знает, какое значение в развитии идей Маркса и Энгельса имели взгляды французских материалистов прошлого столетия, французских историков времен реставрации, утопистов и идеалистов-диалектиков. Г-н Бельтов оттенил это значение, сделав краткую характеристику наиболее существенных в этом случае взглядов тех и других, третьих и четвертых. Г-н Михайловский презрительно пожимает плечами по поводу этой характеристики, ему не нравится план г. Бельтова. Мы заметим на это, что всякий план хорош, если с помощью его автор достигает своей цели. А что цель г. Бельтова была достигнута, этого не отрицают, насколько мы знаем, даже его противники.

Г-н Михайловский продолжает:

«Г-н Бельтов говорит и о французских историках и о французских «утопистах», оценивая тех и других в меру их понимания или непонимания экономики как фундамента общественного здания. Странным, однако, образом он совсем не упоминает при этом о Луи Блане, хотя одного предисловия в «Histoire de dix ans»[1] достаточно, чтобы предоставить ему почетное место в ряду первоучителей так называемого экономического материализма. Конечно, тут много такого, с чем г. Бельтов согласиться не может, но тут есть и борьба классов, и характеристика их экономическими признаками, и экономика, как скрытая пружина политики, вообще многое, что *позже* вошло в состав доктрины, так горячо защищаемой г. Бельтовым. Я потому отмечаю этот пробел, что он, во-первых, и сам по себе удивителен и намекает на какие-то побочные цели, не имеющие ничего общего с беспристрастием» (стр. 150).

Г-н Бельтов говорил о *предшественниках* Маркса, Луи Блан же был скорее его *современником*. Правда, «Histoire de dix ans» вышла в то время, когда исторические взгляды Маркса еще не окончательно сложились. Но сколько-нибудь решительного влияния на их судьбу эта книга не могла иметь уже по той причине, что точка зрения Луи Блана на внутренние пружины общественного развития не заключала в себе решительно ничего нового сравнительно со взглядами, например, Огюстэна Тьерри или Гизо. Совершенно верно, что «тут есть

* [он брал свое добро, где его находил.]
** [«Людвиг Фейербах» и «Переворот Дюринга»]

и борьба классов, и характеристика их экономическими признаками, и экономика» и т. д. Но все это было уже и у Тьерри, и у Гизо, и у Минье, как это неопровержимо показал г. Бельтов. Гизо, стоявший на точке зрения борьбы классов, сочувствовал борьбе буржуазии против аристократии, но очень враждебно отнесся к только что начинавшейся в его время борьбе рабочего класса с буржуазией. Луи Блан *сочувствовал* этой борьбе *. <В этом он расходился с Гизо. Но это разногласие было совсем не существенно. Оно не вносило ничего нового во *взгляды* Луи Блана на «экономику, как скрытую пружину политики»> **.

Луи Блан, как и Гизо, сказал бы, что политические конституции коренятся в социальном быте народа, а социальный быт определяется в последнем счете отношениями собственности. Но откуда берутся отношения собственности — это было так же мало известно Луи Блану, как и Гизо. Вот почему Луи Блан, как и Гизо, несмотря на свою «экономику», вынужден был вернуться *к идеализму*. Что в своих историко-философских взглядах он был идеалистом — это известно всякому, даже не бывавшему в семинарии ***.

В то время, когда появилась «Histoire de dix ans», очередным вопросом общественной науки был «*позже*» разрешенный Марксом вопрос о том, *откуда же берутся отношения собственности?* Луи Блан ничего не сказал нового на этот счет. Естественно предположить, что именно потому и не сказал ничего о Луи Блане г. Бельтов. Но г. Михайловский предпочитает инсинуировать насчет каких-то побочных целей. Chacun a son goût! ****

По мнению г. Михайловского, экскурсия г. Бельтова в область истории философии «еще слабее, чем можно было думать, судя по этим (вышеперечисленным) заглавиям». Почему же так? Да вот почему. Г-н Бельтов пишет, что «Гегель называл метафизической точкой зрения тех мыслителей — безразлично, идеалистов или материалистов,— которые, не умея понять процесс развития явлений, поневоле представляют их себе и другим как застывшие, бессвязные, неспособные перейти

* Да и то на свой особый лад, вследствие чего Луи Блан и играл такую жалкую роль в 1848 году. Между классовой борьбой, как ее понимал «*позже*» Маркс, и классовой борьбой по Луи Блану лежит целая пропасть. Человек, не заметивший этой пропасти, вполне подобен мудрецу, не заметившему слона в зверинце[1].

** [Примечание к изданию 1905 г.]

*** В качестве идеалиста низшего разбора (т. е. не диалектика) Луи Блан имел, разумеется, свою «*формулу прогресса*», которая при всей своей «*теоретической ничтожности*», по крайней мере, не хуже «формулы прогресса» г. Михайловского.

**** [У каждого свой вкус.]

одно в другое. Этой точке зрения он противопоставил *диалектику*, которая изучает явления именно в их развитии и, следовательно, в их взаимной связи». По этому поводу г. Михайловский ехидно замечает: «Г-н Бельтов считает себя знатоком философии Гегеля. Я рад поучиться у него, как у всякого сведущего человека, и на первый раз попросил бы г. Бельтова указать то место в сочинениях Гегеля, откуда он взял это будто бы Гегелево определение «метафизической точки зрения». Осмеливаюсь утверждать, что он мне его указать не может. Для Гегеля метафизика была учением о безусловной сущности вещей, лежащей за пределами опыта и наблюдения, о сокровенном субстрате явлений... Свое якобы Гегелево определение г. Бельтов взял не у Гегеля, а у Энгельса (все в той же полемической против Дюринга книге), который совершенно произвольно отделил метафизику от диалектики признаком неподвижности или текучести» (стр. 147).

Не знаем, что ответит на это г. Бельтов. Но «*на первый раз*» мы позволим себе, не дожидаясь его разъяснений, ответить почтенному субъективисту.

Развертываем первую часть «*Энциклопедии*» Гегеля и там, в прибавлении к параграфу 31 (стр. 57 русск. пер. г. В. Чижова), читаем: «Мышление этой метафизики не было свободно и истинно в объективном смысле, потому что оно не предоставляло предмету развиваться свободно из самого себя и самому находить свои определения, а брало его как готовый... Эта метафизика есть догматизм, потому что, соответственно природе конечных определений, она должна была принять, что из двух противоположных утверждений... одно необходимо истинно, а другое необходимо ложно» (§ 32, стр. 58 того же перевода)[1].

Гегель говорит здесь о старой, докантовской метафизике, которая, по его замечанию, «вырвана с корнем, исчезла из ряда наук» («ist so zu sagen, mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden, aus der Reihe der Wissenschaften verschwunden!») *. Этой метафизике Гегель противопоставил свою *диалектическую философию*, рассматривавшую все явления в их развитии и в их взаимной связи, а не как готовые и отделенные одно от другого целою пропастью. «Истинно только целое,— говорит он,— целое же обнаруживается во всей своей полноте лишь посредством своего развития» («Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwickelung sich vollendende Wesen») **. Г-н Михайловский утверждает, что Гегель

* «Wissenschaft der Logik», Vorrede, S. 1. [«Наука логики», Предисловие, стр. 1.]

** «Die Phänomenologie des Geistes», Vorrede, S. XXIII. [«Феноменология духа», Предисловие, стр. XXIII.]

слил с диалектикой также и метафизику, но тот, от кого он слышал это, нехорошо объяснил ему, в чем дело. У Гегеля к *диалектическому моменту* прибавляется также и *спекулятивный*, благодаря которому его философия и становится *идеалистической философией*. *Как идеалист*, Гегель делал *то же, что и все другие идеалисты:* он придавал особенно важное философское значение «таким результатам» (таким понятиям), которыми очень дорожила также и старая «метафизика». Но самые эти понятия (абсолютное в разных видах его развития) явились у него, благодаря «диалектическому моменту», именно *как результаты*, а не как первоначальные данные. Метафизика растворилась у Гегеля в логике, и вот почему он очень удивился бы, услыхав, что его, спекулятивного мыслителя, называют метафизиком ohne Weiteres *. Он сказал бы, что люди, называющие его так, «lassen sich mit Thieren vergleichen, welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben, an deren Sinn aber das Eine, die Harmonie dieser Töne, nicht gekommen ist» ** (его собственное выражение, которым он клеймил ученых педантов).

Повторяем, этот спекулятивный мыслитель, презиравший *метафизику рассудка* (опять его собственное выражение), был *идеалистом* и в этом смысле имел свою *метафизику разума*. Но разве г. Бельтов позабыл это обстоятельство или не оговорил его в своей книге? И не позабыл и оговорил. Он привел из книги Маркса и Энгельса «Die heilige Familie» *** длинные выписки, очень едко критикующие «спекулятивные» результаты Гегеля. Полагаем, что в этих выписках достаточно обнаружена неправомерность слияния диалектики с тем, что г. Михайловский называет *метафизикой* Гегеля. Следовательно, если г. Бельтов и позабыл что-нибудь, то разве лишь одно: именно то, что при удивительной «беззаботности» наших «передовых» людей по части истории философии им надо было объяснить, до какой степени резко различали в эпоху Гегеля *метафизику* от *спекулятивной философии* ****. А изо всего этого следует, что напрасно г. Михайловский «осмеливается утверждать» то, чего утверждать невозможно.

---

* [без лишних слов.]

** [«могут быть сравнены с животными, которые прослушали все звуки какой-нибудь музыкальной вещи, но до чувства которых не дошло единое, гармония этих звуков»]

*** [«Святое семейство»]

**** Кстати, если г. Михайловский захочет хоть отчасти узнать, наконец, каково было историческое значение «метафизики» Гегеля, то мы порекомендуем ему очень популярную и в свое время очень известную книжку: «Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen». [«Трубный звук страшного суда над Гегелем, атеистом и антихристом».] Хорошая книжка [1].

По словам г. Бельтова, Гегель называл метафизической даже точку зрения материалистов, не умевших рассматривать явления в их взаимной связи. Так это или не так? Потрудитесь прочитать следующую страницу из 27 параграфа 1-й части «Энциклопедии» того же Гегеля: «Самое полное и недавнее применение этой точки зрения в философии мы находим в старой метафизике, как ее излагали до Канта. Впрочем, только относительно истории философии время этой метафизики уже миновало; сама же по себе она всегда продолжает существовать, представляя собою рассудочное воззрение на предметы»[1]. Что такое рассудочное воззрение на предметы? Это именно старое метафизическое воззрение на предметы, противоположное диалектическому. Вся материалистическая философия XVIII века была *«рассудочною» по существу:* она именно не умела рассматривать явления иначе, как с точки зрения конечных определений. Что Гегель прекрасно видел эту слабую сторону французского материализма, как и всей вообще французской философии XVIII века, в этом может убедиться всякий, кто даст себе труд прочитать относящиеся сюда места из 3-й части его «Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie» *. Поэтому и точку зрения французских материалистов он не мог не считать старой метафизической точкой зрения **. Стало быть, прав или неправ г. Бельтов? Кажется, ясно, что совершенно прав? А вот г. Михайловский «осмеливается утверждать»... С этим ничего не поделает ни г. Бельтов, ни пишущий эти строки. Беда г. Михайловского именно в том и заключается, что он, вступив в спор с «русскими учениками» Маркса, «осмелился» рассуждать о вещах, ему совершенно неизвестных.

Муж многоопытный, губит тебя твоя храбрость!

Всякий знакомый с философией без труда заметил бы, что когда г. Бельтов излагает философские взгляды Гегеля и Шеллинга, то он *говорит почти везде собственными словами этих мыслителей:* так, например, его характеристика диалектического мышления представляет собою почти дословный перевод *примечания* и первого прибавления к § 81 первой

---

* [«Лекции по истории философии».]

** [Примечание к изданию 1905 г.] Впрочем, о материализме он замечал: «Dennoch muss man in dem Materialismus das begeisterungsvolle Streben anerkennen, über den zweierlei Welten als gleich substantiell und wahr annehmenden Dualismus hinauszugehen, diese Zerreissung des ursprünglich Einen aufzuheben» («Enzyklopädie», Dritter Theil, S. 54). [«Тем не менее следует признать в материализме исполненное вдохновения стремление выйти за пределы дуализма, признающего равную субстанциальность и истинность двух различных миров, и устранить эту разорванность первоначально единого». («Энциклопедия», часть III, стр. 54).]

части «Энциклопедии»; затем, он почти дословно приводит некоторые места из предисловия к «Philosophie des Rechts» * и из «Philosophie der Geschichte» **. Но этот человек, очень аккуратно цитирующий всяких Гельвециев, Анфантэнов, Оскаров Пешелей и т. д., почти ни разу не указывает, какие, собственно, сочинения Шеллинга и Гегеля и какие места из них имеет он в виду в своем изложении. Почему же он в этом случае отступил от своего общего правила? Нам кажется, что тут г. Бельтов употребил военную хитрость. Мы думаем, что он рассуждал так: наши субъективисты объявили немецкую идеалистическую философию метафизикой и этим удовольствовались; они не изучили ее, как это сделал, например, еще автор примечаний к Миллю. Когда я укажу на некоторые замечательные мысли немецких идеалистов, то гг. субъективисты, не видя никаких ссылок на сочинения этих мыслителей, подумают, что я сам сочинил эти мысли или взял их у Энгельса, и закричат: «с этим можно спорить!», «осмеливаюсь утверждать» и т. д. Тут-то я и выведу их невежество на свежую воду, тут-то и пойдет потеха! Если г. Бельтов в самом деле употребил в своей полемике эту маленькую военную хитрость, то надо сознаться, что она удалась ему как нельзя лучше: потеха вышла, действительно, немалая!

Но пойдем далее. «Всякая философская система, утверждающая, вместе с г. Бельтовым, что «права разума необъятны и неограниченны, как и его силы», что поэтому она открыла безусловную сущность вещей,— будь это материя или дух,— есть система метафизическая... Додумалась ли она при этом до идеи развития предлагаемой ею сущности вещей или нет, и если додумалась, то диалектический ли путь она усваивает этому развитию или какой иной,— это, конечно, очень важно для определения ее места в истории философии, но не изменяет ее метафизического характера» («Р. Б.», янв. 1895 г., стр. 148). Насколько можно судить по этим словам г. Михайловского, он, чуждаясь метафизического мышления, не думает, что права разума неограниченны. Надо надеяться, что за это его похвалит князь Мещерский. Не думает, очевидно, также г. Михайловский, что *силы* разума неограниченны и необъятны. Это может показаться удивительным со стороны человека, не раз уверявшего своих читателей, что la raison finit toujours par avoir raison ***: при ограниченных силах (и даже правах!) разума эта уверенность едва ли уместна. Но г. Михайловский все-таки скажет, что в окончательном торжестве разума он

* [«Философия права»]
** [«Философия истории».]
*** [разум в конечном счете всегда окажется прав]

уверен лишь в том, что касается практической жизни, сомневается же в его силах там, где речь идет о познании безусловной сущности вещей («будь это материя или дух»). Прекрасно. Что же это за безусловная сущность вещей?

Не правда ли,— это то, что Кант называл *вещью в себе* (Ding an sich)? Если — да, то мы категорически заявляем, что «вещь в себе» нам известна и что знанием ее мы обязаны именно Гегелю. (Караул! — кричат наши «трезвые философы», но мы просим их не горячиться.)

«Вещь в самой себе... есть предмет, в котором отвлеклись от всего, что делает его доступным сознанию, от всех чувственных элементов, как и от всех определенных мыслей. Очевидно, что после этого остается только чистое отвлечение, пустое бытие, которое только отнесено за пределы сознания, которое есть отрицание всякого чувства и всякой определенной мысли. Но в этом отношении легко сделать очень простое рассуждение, что это caput mortuum * само есть продукт мысли, составляющей это чистое отвлечение, или пустое «я», которое делает себе предметом свое пустое тождество. Отрицательное определение, которое дают этому отвлеченному тождеству, делая его своим предметом, упоминается в числе Кантовых категорий и так же хорошо известно, как это пустое тождество. Должно, следственно, удивляться, что так часто повторяют, будто неизвестно, что ничего не может быть легче, как знать это» ** [1].

Итак, повторяем, нам прекрасно известно, что такое безусловная сущность вещей, или вещь в самой себе. Это пустая абстракция. И этой-то пустой абстракцией г. Михайловский думает запугать людей, гордо повторяющих вместе с Гегелем: «von der Grösse und Macht seines Geistes kann der Mensch nicht gross genug denken!» ***. Стара эта песенка, г. Михайловский! Sie sind zu spät gekommen! ****

Мы уверены, что строки, только что нами написанные, покажутся г. Михайловскому пустой софистикой. «Позвольте,— скажет он,— что же в таком случае понимаете вы под материалистическим объяснением природы и истории?» — Вот что.

Когда Шеллинг говорил, что магнетизм есть внедрение субъективного в объективное,— это было *идеалистическим* объяснением природы; а когда магнетизм объясняется с точки зрения современной физики, то его явлениям дается *материа-*

* [понятие, лишенное смысла и содержания]

** *Гегель*, Энциклопедия, часть I, стр. 79—80, пар. 44.

*** [«О величии и мощи своего духа человек не может мыслить достаточно возвышенно».] «Geschichte der Philosophie», I, 6. [«История философии», I, 6.]

**** [Вы пришли слишком поздно.]

листическое объяснение. Когда Гегель или хотя бы наши славянофилы объясняли известные исторические явления свойствами народного духа, то они смотрели на эти явления с *идеалистической* точки зрения, а когда Маркс объяснял, положим, хоть французские события 1848—1850 годов борьбой классов во французском обществе, то он давал этим событиям *материалистическое* объяснение. Ясно ли? Ну, еще бы нет! Так ясно, что для непонимания сказанного нами нужна значительная доза упрямства.

«Тут что-то не так,— соображает г. Михайловский, растекаясь мыслию по древу (c'est bien le moment! *).—Ланге говорит...» Мы позволяем себе перебить г. Михайловского: нам очень хорошо известно, что говорит Ланге, но мы уверяем г. Михайловского, что его авторитет очень ошибается. В своей «*Истории материализма*» Ланге позабыл привести, например, такое характерное заявление одного из самых видных французских материалистов: Nous ne connaissons que l'écorce des phénomènes (нам известна только кора явлений). Другие, и не менее видные, французские материалисты много раз высказывались в том же самом смысле. Как видите, г. Михайловский, французские материалисты еще не знали, что вещь в себе есть лишь caput mortuum абстракции, и стояли как раз на той точке зрения, которая называется теперь многими *точкой зрения критической философии*.

Все это, разумеется, покажется г. Михайловскому очень новым и даже совершенно невероятным. Но мы пока не скажем ему, каких именно французских материалистов и какие именно их сочинения мы имеем в виду. Пусть он сначала «*осмелится утверждать*», а потом мы с ним потолкуем.

Если г. Михайловскому угодно знать, как смотрим мы на отношение наших ощущений к внешним предметам, то мы отошлем его к статье г. Сеченова: «*Предметная мысль и действительность*» в сборнике «*Помощь голодающим*». Полагаем, что с нашим знаменитым физиологом вполне согласится г. Бельтов и всякий другой, русский или нерусский, ученик Маркса. А г. Сеченов говорил вот что: «Каковы бы ни были внешние предметы сами по себе, независимо от нашего сознания,— пусть наши впечатления от них будут лишь условными знаками,— во всяком случае чувствуемому нами сходству и различию знаков соответствует сходство и различие действительное. Другими словами: сходства и различия, находимые человеком между чувствуемыми им предметами, суть сходства и различия действительные» **.

* [как раз во-время]

** Сборник, стр. 207.

Когда г. Михайловский опровергнет г. Сеченова, тогда мы согласимся признать ограниченность не только *сил*, но даже и *прав* человеческого разума *.

Г-н Бельтов сказал, что во второй половине нашего столетия в науке, с которой тем временем совершенно слилась философия, восторжествовал материалистический монизм. Г-н Михайловский замечает: «боюсь, что он ошибается». В оправдание своего опасения он ссылается на Ланге, по мнению которого, «die gründliche Naturforschung durch ihre eignen Consequenzen über den Materialismus hinausführt» **. Если г. Бельтов ошибается, то, значит, материалистический монизм *не* восторжествовал в науке. Что же,— значит, ученые до сих пор объясняют природу посредством внедрения субъективного в объективное и прочих тонкостей идеалистической натурфилософии? Боимся, что «ошибся» бы тот, кто предположил бы это; тем более боимся, что вот как, например, рассуждает имеющий очень громкое имя в науке английский *натуралист* Гексли.

«В наши дни никто из стоящих на высоте современной науки и знающих факты не усомнится в том, что основы психологии надо искать в физиологии нервной системы. То, что называется деятельностью духа, есть совокупность мозговых функций, и материалы нашего сознания являются продуктами деятельности мозга» ***. Заметьте, что это говорит человек, принадлежавший к так называемым в Англии *агностикам*. Он полагает, что высказанный им взгляд на деятельность духа вполне совместим с чистейшим идеализмом. Но мы, знакомые с теми объяснениями явлений природы, которые может дать последовательный идеализм, и понимающие, откуда происходит стыдливость почтенного англичанина, повторяем вместе с г. Бельтовым: *во второй половине XIX века в науке восторжествовал материалистический монизм*.

Г-н Михайловский, вероятно, знаком с психологическими исследованиями Сеченова? Точку зрения этого ученого когда-то горячо оспаривал Кавелин. Мы боимся, что покойный либерал очень ошибался. Но, может быть, г. Михайловский согласен

* [Примечание к изданию 1905 г.] Нашим противникам представляется очень хороший случай поймать нас на таком противоречии: с одной стороны, мы объявляем кантовскую «вещь в себе» пустой абстракцией, а с другой — мы с похвалой цитируем г. Сеченова, который говорит о предметах, как они существуют сами по себе, независимо от нашего сознания. Люди понимающие, конечно, не увидят никакого противоречия; но ведь много ли понимающих между нашими противниками?

** [«основательное исследование природы своими собственными выводами выводит за рамки материализма».]

*** *Th. Huxley*, Hume. Sa vie, sa philosophie, p. 108. [*Т. Гексли*, Юм, его жизнь, его философия, стр. 108.]

с Кавелиным? или, может быть, ему вообще требуются какие-нибудь другие разъяснения по этой части? Мы отлагаем их на тот случай, если он станет «утверждать».

Г-н Бельтов говорит, что господствовавшая до Маркса в общественной науке точка зрения «человеческой природы» подавала повод к «злоупотреблению биологическими аналогиями, которое и до сих пор дает себя сильно чувствовать в западной социологической и особенно в русской quasi-социологической литературе». Это дает г. Михайловскому повод обвинить автора книги об историческом монизме в вопиющей несправедливости и лишний раз заподозрить добросовестность его полемических приемов.

«Апеллирую к читателю, даже вполне ко мне неблагосклонному, но сколько-нибудь знакомому с моими сочинениями, хотя бы не со всеми, а только, например, с одной статьей: «Аналогический метод в общественной науке» или «Что такое прогресс?». Неправда, что русская литература особенно злоупотребляет биологическими аналогиями: в Европе, с легкой руки Спенсера, этого добра несравненно больше, не говоря уже о временах комических аналогий Блюнчли с братией. И если у нас дело не пошло дальше аналогических упражнений покойного Стронина («История и метод», «Политика как наука»), г. Лилиенфельда («Социальная наука будущего»), да нескольких журнальных статей, то, наверно, и «моего тут капля меду есть». Ибо никто не потратил столько усилий на борьбу с биологическими аналогиями, как я. И в свое время я немало претерпел за это от «Спенсеровых детей». Буду надеяться, что и нынешняя гроза в свое время минует...» (стр. 145—146). Эта тирада имеет такой вид искренности, что и, в самом деле, даже неблагосклонный к г. Михайловскому читатель может сказать себе: «Тут, кажется, г. Бельтов в своем полемическом увлечении зашел уж слишком далеко». Но это неверно, и сам г. Михайловский знает, что это неверно; если же он жалобно взывает к читателю, то единственно по той причине, по которой плавтовский Транион говорил себе: Pergam turbare porro: ita haec res postulat *.

Что, собственно, сказал г. Бельтов? Он сказал. «Если разгадки всего исторического общественного движения надо искать в природе человека и если, как справедливо заметил еще Сен-Симон, общество состоит из индивидуумов, то природа индивидуума и должна дать ключ к объяснению истории. Природу индивидуума изучает физиология в обширном смысле этого слова, т. е. наука, охватывающая также и *психические*

* [«Буду продолжать бесчинствовать и дальше: как требует это дело».]

явления. Вот почему физиология уже в глазах Сен-Симона и его учеников являлась основой социологии, которую они называли социальной физикой. В изданных еще при жизни Сен-Симона и при его деятельнейшем участии «Opinions philosophiques, littéraires et industrielles» * напечатана чрезвычайно интересная, к сожалению неоконченная, статья анонимного *доктора медицины*, под заглавием: «De la physiologie appliquée à l'amélioration des institutions sociales» (О физиологии в применении к улучшению общественных учреждений). Автор рассматривает *науку об обществе* как составную часть «*общей физиологии*», которая, обогатившись наблюдениями и опытами специальной физиологии над индивидуумами, предается соображениям «высшего порядка». Индивидуумы являются для нее лишь «органами общественного тела», функции которых она изучает, «подобно тому как специальная физиология изучает функции индивидуумов». Общая физиология изучает (автор говорит: выражает) законы общественного существования, с которыми и должны сообразоваться писаные законы. Впоследствии буржуазные социологи, например Спенсер, пользовались учением об общественном организме для самых консервативных выводов. Но цитируемый нами доктор медицины — прежде всего *реформатор*. Он изучает общественное тело в видах общественного *переустройства*, так как только *социальная физиология* и тесно связанная с нею *гигиена* дают положительные основы, на которых можно построить требуемую современным состоянием цивилизованного мира систему общественной организации».

Уже из этих слов видно, что, по мнению г. Бельтова, биологическими аналогиями можно злоупотреблять не только в смысле буржуазного консерватизма Спенсера, но и *в смысле утопических планов социальной реформы*. Уподобление общества организму играет при этом совершенно *второстепенную*, если не десятистепенную роль: дело не в уподоблении общества организму, а в стремлении обосновать «*социологию*» на тех или других выводах *биологии*. Г-н Михайловский горячо восставал против уподобления общества организму; в борьбе против этого уподобления есть, несомненно, «капля *его* меду». Но это вовсе не существенно. Существенное значение имеет вопрос о том, считал или не считал г. Михайловский возможным обосновать социологию на тех или других выводах биологии? А на этот счет никакое сомнение невозможно, как в этом убедится всякий, прочитавший, например, статью «*Теория Дарвина и общественная наука*». В этой статье г. Михайловский говорит, между прочим, следующее: «Под общим заглавием

* [«Философские, литературные и экономические взгляды»]

«Теория Дарвина и общественная наука» мы будем говорить о различных вопросах, затрагиваемых, решаемых и перерешаемых теорией Дарвина и тем или другим из ее со дня на день прибывающих сторонников. Основная наша задача состоит все-таки в определении, с точки зрения Дарвиновой теории, взаимного отношения между физиологическим разделением труда, т. е. разделением труда между органами в пределах одного неделимого, и разделением труда экономическим, т. е. разделением труда между целыми неделимыми в пределах вида, расы, народа, общества. С нашей точки зрения эта задача сводится к изысканию основных законов кооперации, т. е. фундамента общественной науки»*. Искать основных законов кооперации, т.е. *фундамента общественной науки, в биологии*—значит стоять на точке зрения французских сен-симонистов двадцатых годов; другими словами, «зады твердить и лгать за двух».

Тут г. Михайловский может воскликнуть: да ведь в двадцатых годах теория Дарвина еще не существовала! Но читатель понимает, что дело ничуть не в теории Дарвина, а в утопическом стремлении — общем г. Михайловскому с сен-симонистами — *применить физиологию к улучшению общественных учреждений*. В указанной нами статье г. Михайловский совершенно соглашается с Геккелем («Геккель совершенно прав»), который говорил, что будущим государственным людям, экономистам и историкам придется главным образом обратить свое внимание на сравнительную зоологию, т. е. на сравнительную морфологию и физиологию животных, если они пожелают получить верное понятие о своем специальном предмете. Как хотите, а если Геккель «совершенно прав», т. е. если социологам (и даже историкам!) надо обратить «*главным образом*» свое внимание на морфологию и физиологию животных, то без злоупотребления — *в ту или иную сторону* — биологическими аналогиями дело не обойдется! И не ясно ли, что точка зрения г. Михайловского на социологию есть старая точка зрения сен-симонистов?

Вот только это и говорил г. Бельтов. И напрасно г. Михайловский как бы снимает с себя ответственность за социологические идеи Бухарцева-Ножина. В своих собственных социологических исследованиях он не очень далеко ушел от взглядов своего покойного друга и учителя. Г-н Михайловский не понял, в чем заключается открытие Маркса, и потому остался неисправимым утопистом. Это очень печальное положение, но из него могло бы вывести нашего автора только новое усилие мысли; плаксивое же обращение к читателю, даже вполне благосклонному, нимало не поможет бедному «социологу».

* Соч. Михайловского, т. V, стр. 2.

Г-н Бельтов сказал два слова в защиту г. П. Струве. Это подало гг. Михайловскому и Н.— ону повод «утверждать», что г. Бельтов взял г. Струве под свое «*покровительство*». Мы очень много говорили в защиту г. Бельтова. Что скажут о нас г. Михайловский и г. Н.— он? Они, наверное, сочтут г. Бельтова нашим вассалом. Заранее извиняясь перед г. Бельтовым, что мы предвосхитили его возражения гг. субъективистам, мы спросим этих последних: неужели согласиться с тем или другим писателем — значит взять его под свое покровительство? Г-н Михайловский согласен с г. Н.— оном по некоторым очередным вопросам русской жизни. Должны мы понимать их согласие в том смысле, что г. Михайловский взял г. Н.— она под свое покровительство? Или, может быть, г. Н.—он покровительствует г. Михайловскому? Что сказал бы покойный Добролюбов, услышав этот странный язык современной нашей «передовой» литературы?

Г-ну Михайловскому кажется, что г. Бельтов исказил его учение о героях и толпе. Мы опять думаем, что г. Бельтов вполне прав и что, возражая ему, г. Михайловский играет роль Траниона. Но, прежде чем подтвердить это наше мнение, мы считаем нужным сказать несколько слов о заметке г. Н.— она «*Что же значит экономическая необходимость*?», появившейся в мартовской книжке «Русского Богатства».

В этой заметке г. Н.—он воздвигает против г. Бельтова две батареи. Мы возьмем их одну за другою.

Сила первой батареи заключается вот в чем. Г-н Бельтов сказал, что «для решения вопроса о том, пойдет или не пойдет Россия по пути капиталистического развития, надо обратиться к изучению фактического положения этой страны, к анализу ее современной внутренней жизни. Русские ученики Маркса на основании такого анализа утверждают: нет данных, позволяющих надеяться, что Россия скоро покинет путь капиталистического развития». Г-н Н.—он ехидно повторяет: «такого анализа *нет*». Будто бы нет, г. Н.— он? Прежде всего условимся насчет терминологии. Что вы называете *анализом?* Дает ли анализ новые данные для суждения о предмете или оперирует с данными, уже имеющимися налицо и полученными другим путем? Рискуя навлечь на себя обвинение в «метафизичности», мы держимся старого определения, по которому анализ новых данных для суждения о предмете не дает, а оперирует с готовыми данными. Из этого определения выходит, что русские ученики Маркса могли в своем анализе русской внутренней жизни и не давать каких-нибудь самостоятельных наблюдений над этой жизнью, а довольствоваться материалом, собранным, например, народнической литературой. Если они

сделали из этого материала новый вывод, то это уже значит, что они подвергли эти данные новому анализу. Теперь спрашивается, стало быть: какие данные по части развития капитализма имеются в народнической литературе и точно ли русские ученики Маркса сделали из этих данных новый вывод? Для ответа на этот вопрос возьмем хоть книгу г. Дементьева *«Фабрика, что она дает населению и что она у него берет»*. В этой книге (стр. 241 и следующие) мы читаем: «Наша промышленность, прежде чем приняла ту форму фабричного капиталистического производства, в какой мы находим ее теперь, прошла все те же стадии развития, как и на Западе... Одной из наиболее сильных причин, по которой мы отстали от Запада, было крепостное право. Благодаря ему наша промышленность прошла гораздо более длинный период кустарного и домашнего производства. Только с 1861 г. капитал приобрел возможность осуществить ту форму производства, к которой на Западе оно перешло почти полтора столетия раньше, и только с этого года начинается более быстрое падение кустарного и домашнего производства с превращением их в фабричное... Но за тридцать лет (протекших со времени отмены крепостного права) все изменилось. Вступив на общий с Западной Европой путь экономического развития, наша промышленность неизбежно, роковым образом, должна была принять — и приняла — ту самую форму, в которую она вылилась на Западе. Земельное обеспечение народной массы, на которое так любят ссылаться в доказательство невозможности у нас особого класса свободных от всего рабочих,— класса, представляющего неизбежного спутника современной формы промышленности,— без сомнения, было и остается до сих пор сильным задерживающим моментом, однако вовсе не настолько сильным, как обыкновенно думают. Очень нередкая недостаточность земельного надела и полный упадок сельского хозяйства, с одной стороны, и усиленные заботы правительства в целях развития обрабатывающей промышленности как необходимого элемента для равновесия экономического баланса государства — с другой,— таковы условия, которые как нельзя более способствовали и способствуют до сих пор умалению значения этого земельного обеспечения. Результат такого положения вещей мы видели: образование специального класса фабричных рабочих, класса, попрежнему носящего название «крестьян», но не имеющего с крестьянами-земледельцами почти ничего общего, лишь в ничтожной степени сохранившего свою связь с землей и наполовину, уже в третьем поколении, не покидающего фабрики никогда и не имеющего в деревне никакой собственности, кроме юридического, практически почти не реализируемого, права на землю».

Объективные данные, приводимые г. Дементьевым, говорят очень выразительно: капитализм со всеми его последствиями быстро развивается в России. Эти данные г. Дементьев дополняет рассуждением, по которому выходит, что дальнейшее движение капиталистического производства может быть остановлено и что для этого стоит только вспомнить положение: gouverner — c'est prévoir * (стр. 246). Этот вывод г. Дементьева русские ученики Маркса подвергают *своему* анализу и находят, что *остановить в этом случае ничего невозможно;* что г. Дементьев заблуждается, подобно целой *толпе* народников, сообщивших в своих исследованиях массу объективных данных, совершенно тождественных с теми, которые сообщил он, г. Дементьев **. Г-н Н.— он спрашивает, где же такой анализ. Он хочет сказать, повидимому, когда и где появился такой анализ в русской печати? На этот вопрос мы дадим ему целых два ответа.

Во-первых, в неприятной ему книге г. П. Струве есть очень дельное рассуждение о *границах возможного в настоящее время государственного вмешательства в экономическую жизнь России*. Это рассуждение есть уже отчасти тот анализ, которого требует г. Н.— он, и против этого анализа г. Н — он ничего дельного не возражает и возразить не может.

Во-вторых, помнит ли г. Н.— он спор, происходивший в сороковых годах между славянофилами и западниками? В этом споре «анализ внутренней русской жизни» тоже играл очень важную роль, но в печати этот анализ приурочивался почти исключительно к чисто литературным вопросам. На это были свои исторические причины, которые г. Н.— он непременно должен принять в соображение, если не хочет прослыть смешным педантом. Скажет ли г. Н.— он, что эти причины не имеют теперь никакого отношения к анализу «русских учеников»?[1].

* [управлять — это предвидеть.]

** «Из числа не одной сотни исследований статистических и иных, которые производились за последние двадцать лет или около того,— говорит г. Н.— он,— нам не приходилось встречаться с работами, выводы из которых были бы в чем-либо согласны с экономическими выводами гг. Бельтовых, Струве и Скворцовых». Авторы исследований, которые вы, г. Н.—он, имеете в виду, делают у нас обыкновенно двоякий вывод: один— согласный с объективной истиной и гласящий, что капитализм развивается, а ветхозаветные «устои» падают; другой — «*субъективный*» и сводящийся к тому, что развитие капитализма можно было бы остановить, если бы и проч. *В подтверждение этого последнего вывода никогда не приводится, однако, ровно никаких данных, так что он остается буквально голословным*, несмотря на большее или меньшее обилие статистического материала в тех исследованиях, которые он собою украшает. «Очерки» г. Н.—она страдают подобною же слабостью, так сказать, *анемией «субъективного» вывода*. В самом деле, какой «анализ» подтверждает ту мысль г. Н.—она, что наше общество сможет теперь же организовать производство? *Такого анализа нет*.

«Ученики» до сих пор не напечатали самостоятельных исследований о русской экономической жизни. Это объясняется крайней новостью в России того направления, к которому они принадлежат. До сих пор в русской литературе господствовало *народническое* направление, благодаря которому исследователи, сообщая объективные данные, свидетельствовавшие о падении старинных «устоев», потопляли их в воде своих *«субъективных»* упований. Но именно обилие сообщенных народниками данных и подало повод к появлению нового взгляда на русскую жизнь. Этот новый взгляд, несомненно, ляжет в основу новых, самостоятельных наблюдений. Уже теперь мы можем указать г. Н.—ону, например, на работы г. Харизоменова, которые очень сильно противоречат народническому катехизису, что хорошо почувствовал г. В. В., часто и безуспешно пытавшийся опровергнуть почтенного исследователя. Автор книги «Южнорусское крестьянское хозяйство» совсем не марксист, но едва ли г. Н.—он скажет, что взгляд г. Постникова на современное положение в Новороссии общины и вообще крестьянского землепользования согласен с обычным у нас народническим взглядом.

А вот г. Бородин, автор замечательного исследования об уральском казачьем войске, уже обеими ногами стоит на той точке зрения, которую мы защищаем и. которая имеет несчастие не нравиться г. Н.— ону. На это исследование не обратила внимания наша народническая публицистика, но не потому, что оно лишено внутренней ценности, а единственно потому, что названная публицистика имеет особый «субъективный» дух [1]. А дальше будет больше, г. Н.— он: эра марксистских исследований только что начинается в России*.

Г-н Н.— он тоже считает себя марксистом. Он ошибается. Он только *побочный* потомок великого мыслителя. Его миросозерцание представляет собой плод незаконного сожительства теории Маркса с г. В. В. От «Mütterchen» ** г. Н.— он заимствовал терминологию и некоторые экономические теоремы, понятые им, впрочем, крайне абстрактно, а потому и неверно. От «Väterchen» *** он наследовал утопическое отношение

* Мы не говорим о книге г. П. Струве потому, что она г. Н.—ону неприятна. Но напрасно г. Н.—он так решительно называет эту книгу никуда не годной. В споре с г. Н.—оном г. П. Струве очень и очень постоит за себя. А что касается собственного «анализа» г. Н.—она, то, кроме общих мест, от него останется очень немного, когда его примутся *«анализировать»* с точки зрения Маркса. Надо надеяться, что не долго заставит ждать себя этот анализ.

** [«маменьки»]

*** [«папеньки»]

к социальной реформе, с помощью которого он и воздвиг свою вторую батарею против г. Бельтова.

Г-н Бельтов говорит, что общественные отношения собственной логикой своего развития приводят человека к сознанию причин его порабощения экономической необходимостью. «Сознав, что причина его порабощения лежит в анархии производства, производитель, «общественный человек», организует это производство и тем самым подчиняет его своей воле. Тогда оканчивается царство необходимости и воцаряется свобода, которая сама оказывается необходимостью». По мнению г. Н.—она, все это совершенно справедливо. Но к справедливым словам г. Бельтова г. Н.— он делает следующее добавление: «Задача, следовательно, заключается в том, чтобы общество из пассивного зрителя проявления данного закона, тормозящего развитие его производительных сил, при помощи наличных материально-хозяйственных условий отыскало бы средство подчинить этот закон своей власти, обставив проявление его такими условиями, которые бы не только не тормозили, но способствовали бы развитию производительных сил труда (сил труда!) всего общества, взятого в целом»[1].

Совершенно незаметно для самого себя г. Н.— он сделал из «совершенно справедливых» слов г. Бельтова до крайности запутанный вывод.

У г. Бельтова речь идет об общественном человеке, о совокупности производителей, которым, действительно, предстоит победить экономическую необходимость. Г-н Н.— он на место *производителей* ставит *общество*, которое «в качестве производительного целого не может безучастно, «объективно», относиться к развитию таких общественно-хозяйственных отношений, при которых большинство его членов осуждено на прогрессивное обеднение».

«Общество в качестве производительного целого»... «Анализ» Маркса, которого будто бы придерживается г. Н.— он, не останавливался перед обществом как производительным *целым*. Он *расчленял* современное общество, согласно его истинной природе, на отдельные *классы*, из которых каждый имеет свой особый экономический интерес и свою особую задачу. Почему «анализ» г. Н.— она не поступает так же? Почему, вместо того чтобы говорить о задаче русских производителей, г. Н.— он заговорил о задаче общества в его целом? Это общество, взятое в его целом, обыкновенно, и не без основания, противопоставляется народу и таким образом оказывается, несмотря на свою «целость», лишь маленькой частью, лишь незначительным меньшинством населения России. Когда г. Н.— он уверяет нас, что это ничтожное меньшинство организует производство, то мы можем только пожать плечами и сказать.

себе: это г. Н.— он взял не у Маркса; это он унаследовал от своего «Väterchen» *, от г. В. В.

По Марксу, организация производства предполагает сознательное отношение к нему производителей, экономическое освобождение которых и должно быть поэтому их собственным делом. У г. Н.— она организация производства предполагает сознательное отношение к нему со стороны общества. Если это марксизм, то, действительно, Маркс никогда марксистом не был.

Но положим, что общество действительно выступает в качестве организатора производства. В какое отношение становится оно к производителям? Оно *организует их*. Общество является *героем;* производители — *толпою.*

Мы спрашиваем г. Михайловского, «утверждающего», что г. Бельтов исказил его учение о героях и толпе, думает ли он, подобно г. Н.— ону, что общество может организовать производство? Если — да, то он именно стоит на той точке зрения, при которой общество, *«интеллигенция»*, является *героем*, демиургом нашего будущего исторического развития, а миллионы производителей — *толпой*, из которой герой будет лепить то, что считает нужным вылепить сообразно своим идеалам. Вот теперь пусть скажет беспристрастный читатель: прав ли был г. Бельтов в своей характеристике «субъективного» взгляда на народ, как на толпу?

Г-н Михайловский заявляет, что он и его единомышленники тоже ничего не имеют против развития самосознания производителей. «Думается мне только,— говорит он,— что для программы столь простой и ясной незачем было подниматься за облака гегелевской философии и опускаться на дно окрошки из субъективного и объективного». Но в том-то и дело, г. Михайловский, что в глазах людей вашего образа мыслей самосознание производителей не может иметь такого значения, какое имеет оно в глазах ваших противников. С вашей точки зрения, производство может быть организовано «обществом», с точки зрения ваших противников,— только самими производителями. С вашей точки зрения, «общество» действует, а производитель содействует. С точки зрения ваших противников, производители не содействуют, а именно действуют. Само собой понятно, что для содействующих нужна меньшая степень сознания, чем для действующих, потому что давно и очень справедливо было сказано: «ина слава луне, ина слава солнцу, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе». *Вы относитесь к производителям, как относились к ним французские и немецкие утописты тридцатых и сороковых годов.*

* [«папеньки»]

Ваши противники осуждают *всякое утопическое отношение к производителям.* Если бы вы, г. Михайловский, лучше были знакомы с историей экономической литературы, то вы знали бы, что для устранения утопического отношения к производителям надо было подняться именно до облаков гегелевской философии и опуститься потом на дно политико-экономической прозы.

Г-ну Михайловскому не нравится слово «производитель»: конюшней, видите ли, пахнет. Мы скажем: чем богаты, тем и рады. Слово *«производитель»* впервые стали употреблять, насколько нам известно, Сен-Симон и сен-симонисты. Со времени существования журнала «Le Producteur» (Производитель), т. е. с 1825 года, оно употреблялось в Западной Европе бесчисленное множество раз и никому конюшни не напоминало. Но вот заговорил о производителях русский *кающийся дворянин* и тотчас вспомнил о конюшне. Чем объяснить такое странное явление? Вероятно, воспоминаниями и традициями кающегося дворянина.

Г-н Н.— он с большим ехидством приводит следующие слова г. Бельтова: «хотя у одного из них (русских учеников Маркса) могут быть более, у другого менее обширные экономические познания, но дело здесь не в размере познаний отдельных лиц, а в самой точке зрения». Г-н Н.— он спрашивает: «Куда же девались все требования держаться почвы действительности, необходимости детального изучения хода экономического развития (это что-то неясно, г. Н.— он: «требования необходимости детального изучения»)? Теперь оказывается, что все это нечто второстепенное, что дело «не в размере знаний, а в точке зрения».

Г-н Н.— он, как видно, любит сказать подчас что-нибудь смешное. Но мы посоветуем ему не забывать здравого смысла в тех случаях, когда он хочет посмешить людей. Иначе смеющиеся будут не на его стороне.

Г-н Н.— он не понял г. Бельтова. Постараемся выручить его из затруднения. В той же самой книжке «Русского Богатства», где напечатана заметка г. Н.— она, в статье г. П. Мокиевского *«Что такое образованный человек?»* (стр. 33, примечание) мы нашли следующие, очень поучительные для г. Н.— она строки: «Один арабский ученый говорил своим ученикам: если кто-либо скажет вам, что законы математики ошибочны, и в доказательство этого превратит палку в змею, то не считайте подобное доказательство убедительным. Это типичный пример. Образованный человек отвергнет подобное доказательство, хотя бы он (в отличие от ученого) и не знал законов математики. Он скажет: превращение палки в змею есть необычайное чудо, но из него не следует, что законы математики

ошибочны. С другой стороны, несомненно, что все необразованные люди немедленно повергнут к ногам подобного чудодея все свои убеждения и верования».

У одного из учеников умного араба могли быть более, у другого менее обширные математические познания, но ни один из них, вероятно, не упал бы к ногам чудодея. Почему? Потому, что каждый из них прошел хорошую школу; потому, что тут дело не в обширности знаний, а *в той точке зрения*, с которой превращение палки в змею не может служить опровержением математических истин. Понятно ли вам это, г. Н.— он? Надеемся, что — да: очень уж это простая, совсем даже азбучная вещь. Ну, а если понятно, то вы и сами видите теперь, что слова г. Бельтова насчет точки зрения и пр. никоим образом не устраняют им же выставленного требования держаться почвы действительности.

Но мы боимся, что вы все-таки плохо соображаете, в чем дело. Мы дадим вам другой пример. У вас не бог знает сколько экономических сведений, но все-таки их больше у вас, чем у г. В. В. Это не мешает, однако, вам стоять на одной с ним точке зрения. *Вы оба — утописты.* И когда кто-нибудь станет характеризовать взгляды, общие вам обоим, он оставит в стороне количественное различие ваших знаний и скажет: дело в точке зрения этих людей, заимствовавших ее у утопистов времен царя Гороха.

Теперь уже вам должно быть совсем ясно, г. Н.— он, что вы некстати заговорили об обращении г. Бельтова к субъективному методу, что очень большого дали вы маху.

На всякий случай скажем то же самое иными словами. Как бы ни различались между собой, по размеру своих знаний, русские последователи Маркса, но ни один из них, оставаясь верен себе, не поверит ни вам, ни г. В. В., когда вы станете утверждать, что вот какое-то там «общество» организует у нас производство. Их точка зрения помешает им *повергнуть свои* убеждения к ногам социальных чудодеев *.

Довольно об этом, но раз коснулись мы субъективного метода, то отметим, как презрительно третирует его г. Н.— он. Из его слов выходит, что названный метод не имел в себе ни капли научности, а был снабжен только некоторым облачением, «которое мало-мальски придавало ему «научную» внешность». Очень хорошо, г. Н.— он! Но что скажет о вас ваш «покровитель» г. Михайловский?

Г-н Н.— он вообще не очень церемонится со своими субъективными «покровителями». Его статья «*Апология власти денег*

* [*Примечание к изданию 1905 г.*] — Напоминаю приведенные выше слова Фейербаха о том, что именно точка зрения отличает человека от обезьяны.

как признак времени»[1] имеет эпиграф: «L'ignorance est moins éloignée de la vérité que le préjugé» *. La vérité ** — это, без сомнения, сам г. Н.— он. Он так и говорит: «Если же кто будет следовать неуклонно действительно субъективному способу исследования, тот, можно быть вполне в том уверенным, придет к заключениям если не тождественным с теми, к которым пришли мы, то близким к ним» («Р. Б.», март, стр. 54). Préjugé ***— это, конечно, г. Струве, против которого vérité направляет жало своего «анализа». Ну, а кто же та ignorance ****, которая ближе к истине (т. е. к г. Н.— ону), чем préjugé, т. е. г. Струве? Очевидно, ignorance — это нынешние субъективные союзники г. Н.— она. Очень хорошо, г. Н.—он! Вы как раз попали в слабое место ваших союзников. Но еще раз: что скажет о вас г. Михайловский? Ведь он припомнит мораль известной басни:

Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за нее не всяк умеет взяться...

Ну, кажется, довольно полемики! Кажется, мы не оставили без ответа возражения наших противников. А если нам и случилось упустить из виду какое-нибудь из них, то ведь нам придется еще не раз вернуться к нашему спору. Значит, можно положить перо. Но, прежде чем расстаться с ним, мы скажем нашим противникам еще два слова.

Вот вы, господа, все «хлопочете» об устранении капитализма; но посмотрите, что выходит: капитализм идет себе вперед и ваших «хлопот» совсем не замечает; вы же, с вашими «идеалами» и вашими прекрасными намерениями, топчетесь на одном месте. Что тут хорошего? Ни себе пользы, ни людям! Отчего это так? Оттого, что вы — утописты, что вы носитесь с *утопическими* планами социальных реформ и не видите тех прямых и насущных задач, которые, извините за выражение, находятся у вас прямо перед носом. Подумайте хорошенько. Может быть, вы и сами скажете, что мы правы. Впрочем, об этом мы еще потолкуем с вами. Теперь же — Dominus vobiscum *****.

---

* [«Невежество менее далеко от истины, чем предрассудок».]
** [истина]
*** [предрассудок]
**** [невежество]
***** [господь с вами.]

ПРИМЕЧАНИЯ

*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПРИМЕЧАНИЯ

Заключенные в квадратные скобки заголовки, переводы иностранного текста в подстрочных примечаниях и другие выражения принадлежат подготовителям текстов Г. В. Плеханова настоящего пятитомного издания.

СОЦИАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА

Работа «Социализм и политическая борьба», в которой Плеханов впервые в России подверг марксистской критике народническую идеологию, названная Лениным «первым profession de foi [исповеданием веры] русского социализма» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 264), была первым печатным выступлением группы «Освобождение труда».

Брошюра была задумана и написана Плехановым летом 1883 г., в тот период, когда назрел разрыв Плеханова с народовольцами.

Первоначально это произведение предназначалось для первого номера журнала «Вестник Народной воли», но переписка того времени, хранящаяся в Доме Плеханова в Ленинграде, а также письма, опубликованные в журнале «Дела и дни» (1921 г., № 2), показывают, что переговоры Плеханова с редакцией «Вестника Народной воли» ни к чему не привели.

Редакторы «Вестника Народной воли» Лавров и Тихомиров отказались печатать эту работу, характеризующую народовольчество как «наиболее беспринципное направление» (см. письмо Л. Тихомирова к П. Лаврову от 3 августа 1883 г.— «Группа «Освобождение труда»», сб. I, 1924, стр. 245). Группа «Освобождение труда» издала ее в октябре 1883 г. отдельной брошюрой — первым выпуском «Библиотеки современного социализма».

Лавров опубликовал рецензию на брошюру «Социализм и политическая борьба» («Вестник Народной воли» № 2, отд. 2, 1884 г., стр. 64—67), в которой с крайним неодобрением высказывался о ее полемической части. Эта рецензия подробно изложена в письме Плеханова к Лаврову, помещенном в виде предисловия к брошюре «Наши разногласия» (см. настоящее издание, т. I, стр. 115—117).

Статья «Социализм и политическая борьба» в 1905 г. была перепечатана в сборнике статей Плеханова «На два фронта», в том же году — в т. I (единственном, который вышел в свет) женевского издания Сочинений Плеханова, где была снабжена новыми примечаниями, а в 1906 г. вновь вышла отдельной брошюрой. В 90-х годах брошюра «Социализм и политическая борьба» была переведена на польский и болгарский языки.

В настоящем издании эта работа Плеханова печатается по тексту, сверенному с первым ее изданием и со сборником «На два фронта».

К стр. 51

[1] *«Земля и воля»*— журнал революционных народников, издававшийся в Петербурге с ноября 1878 г. по апрель 1879 г. организацией «Земля и воля». Всего вышло 5 номеров: первые четыре номера вышли под редакцией С. Кравчинского и Н. Морозова, с пятого номера в редакцию вошел и Плеханов.

[2] *«Черный передел»* — журнал, издававшийся с начала 1880 до конца 1881 г. одноименной революционно-народнической организацией. Первоначально в редакцию «Черного передела» входили Г. Плеханов, П. Аксельрод, Я. Стефанович и Л. Дейч. Типография «Черного передела» в Петербурге была захвачена при печатании первого номера журнала, который все же удалось издать за границей, где вышел и № 2. Остальные номера, 3—5, вышли в Минске.

К стр. 52

[1] Речь идет о биографии Желябова, написанной Л. Тихомировым и вышедшей в Лондоне в 1882 г. анонимно под заглавием «Андрей Иванович Желябов».

К стр. 53

[1] Эпиграф взят из «Манифеста Коммунистической партии».

К стр. 54

[1] Международный социалистический конгресс в городе Хуре (Швейцария) состоялся в начале октября 1881 г. *«Русский гость»* — П. Б. Аксельрод.

[2] Плеханов имеет в виду статью Л. Тихомирова, помещенную в качестве передовицы в № 7 газеты «Народная воля», от 23 декабря 1881 г., в которой содержалась резкая критика речи П. Б. Аксельрода («русского гостя») на Хурском конгрессе.

[3] Слова Валленштейна из трагедии Шиллера «Смерть Валленштейна» (*Ф. Шиллер*, Избранные произведения, Гослитиздат, 1954, стр. 384).

К стр. 57

[1] Первый том «Капитала» К. Маркса вышел в Гамбурге в 1867 г.

[2] См. *Ф. Энгельс*, Развитие социализма от утопии к науке, Госполитиздат, 1952, стр. 47.

К стр. 58

[1] *«Впередовцы»* — последователи П. Л. Лаврова в революционно-народническом движении. Получили название от издававшихся Лавровым в 1873—1877 гг. в Цюрихе и Лондоне журнала и газеты «Вперед!». Всего вышло 5 номеров. П. Лавров находился в переписке с К. Марксом и Ф. Энгельсом; он и его последователи стремились установить связи с европейским, в частности с немецким, социал-демократическим движением.

Бакунисты — последователи народника-анархиста М. А. Бакунина — считали крестьян прирожденными бунтарями, проповедовали авантюристическую тактику немедленных бунтов, за что получили название «бунтарей».

[2] Бакунин являлся руководителем тайной анархистской организации внутри I Интернационала (1864—1872). Он вел ожесточенную борьбу против Маркса и в 1872 г., на Гаагском конгрессе, был исключен из Интернационала.

[3] *«La Voix du peuple»* («Голос народа») — газета Прудона, выходившая в Париже с 1849 г.

[4] «Les confessions d'un révolutionnaire» («Исповедь революционера») — книга Прудона, содержащая изложение его миросозерцания; напечатана в 1849 г. Наиболее полно его мелкобуржуазно-анархистские взгляды изложены в другой книге, ниже упоминаемой Плехановым,— «Idée générale de la révolution au XIX siècle» («Общая идея революции в XIX веке»), вышедшей в 1851 г.

К стр. 59

[1] Автор «Системы экономических противоречий» — Прудон.

К стр. 60

[1] См. *К. Маркс*, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 592.

К стр. 62

[1] Полемика Энгельса с одним из идеологов народничества, П. Н. Ткачевым, происходила в 1874—1875 гг. В 1874 г. Ткачев опубликовал на немецком языке «Offener Brief an Herrn Fr. Engels, Zürich 1874». «Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу, Цюрих 1874» (см. *П. Н. Ткачев*, Избранные сочинения, т. 3, 1933, стр. 88—98). Энгельс ответил на это письмо статьей «Soziales aus Russland» в газете «Volksstaat», 1875 г., № 36 и сл. Переиздавая свой ответ в 1894 г., Энгельс снабдил его пояснительным примечанием, в котором говорит о письме Ткачева, что оно и по форме и по содержанию носило «обычный бакунистский отпечаток» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. XV, 1935, стр. 251). Энгельс высмеял заговорщические иллюзии Ткачева. «Более легкой и приятной революции нельзя себе и представить,— пишет он.— Стоит только в трех-четырех местах одновременно начать восстание, а там уж «революционер по инстинкту», «практическая необходимость», «инстинкт самосохранения» сделают все остальное «уже сами собою». Просто понять нельзя, как же это при такой неимоверной легкости революция давно уж не произведена, народ не освобожден и Россия не превращена в образцовую социалистическую страну» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. XV, стр. 262).

[2] «*Набат*» — народнический журнал, издававшийся под редакцией П. Н. Ткачева с конца 1875 по 1881 г. сначала в Женеве, потом в Лондоне. Журнал выдвигал задачу создания боевой организации заговорщиков-революционеров с целью захвата власти и социального переустройства России.

[3] *Бланкизм* (по имени французского революционера-утописта О. Бланки) «ожидает избавления человечества от наемного рабства не путем классовой борьбы пролетариата, а путем заговора небольшого интеллигентного меньшинства» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 10, стр. 360).

[4] См. *Ф. Шиллер*, Избранные произведения, Гослитиздат, 1954, стр. 633.

К стр. 64

[1] См. прим. 1 к стр. 58.

К стр. 65

[1] В период 1879—1882 гг. Плеханов принадлежал к революционной народнической организации «Черный передел», отрицавшей необходимость террора в целях политической борьбы, тогда как организация «Народная воля» выдвигала требование террора на первый план.

[2] «Земля и воля» распалась на две организации — «Народную волю» и «Черный передел» — на Воронежском съезде в 1879 г.

К стр. 66

[1] Взрыв в Зимнем дворце был произведен 5 февраля 1880 г. известным революционером, рабочим Степаном Халтуриным, активным членом

«Северного союза русских рабочих», которого народовольцы вовлекли в террористическую деятельность.

К стр. 67

[1] В первом издании брошюры было сказано: «периоду свободной торговли на Западе».

К стр. 68

[1] Цитата взята из передовицы первого номера газеты «Народная воля», от 1 октября 1879 г., где говорится: «Возьмем ли мы на себя инициативу противоправительственного похода и политического переворота — или будем по-старому игнорировать политическую деятельность, тратя все силы на то, чтобы биться около народа, как рыба об лед?».

К стр. 69

[1] См. Haym «Hegel und seine Zeit», Berlin 1857. (В сокр. русс. перев. Гайм «Гегель и его время», Спб. 1861.)

К стр. 70

[1] См. *К. Маркс*, К критике политической экономии, Госполитиздат, 1953, стр. 7—8.

К стр. 71

[1] «Истинный социализм» — одно из направлений мелкобуржуазного социализма, получившее распространение в середине 40-х годов XIX в. в Германии. Маркс и Энгельс подвергли взгляды «истинных социалистов» резкой критике в «Немецкой идеологии» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 3, Госполитиздат, 1955, стр. 457—544), в статье Энгельса «Истинные социалисты» (там же, стр. 545—586) и в «Манифесте Коммунистической партии» (Госполитиздат, 1955, стр. 60—64).

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 62.

[3] См. *А. И. Герцен*, Былое и думы, Гослитиздат, 1946, стр. 219.

[4] Это выражение употреблено Марксом и Энгельсом в их предисловии к первому русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии», датированному 21 января 1882 г. (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 8).

К стр. 72

[1] «Манифест Коммунистической партии» в переводе Плеханова вышел в 1882 г. в Женеве в издании «Русской социально-революционной библиотеки». Этот перевод явился первым правильным переводом «Манифеста» на русский язык, так как до него существовал лишь неудачный перевод Бакунина, напечатанный в 1869 г. в Женеве, в типографии «Колокола».

К стр. 73

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 64—65.

К стр. 74

[1] Плеханов имеет в виду книгу русского буржуазного экономиста И. Иванюкова «Основные положения теории экономической политики с Адама Смита до настоящего времени» (М. 1880), в которой Иванюков пытался, между прочим, доказать, что Маркс является противником революции в России.

[2] Речь идет о книге Прудона (см. примечание 4 к стр. 58).

К стр. 76

[1] См. *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 22.

К стр. 77

[1] Лига борьбы против хлебных законов, во главе которой стоял Ричард Кобден, в 30-х годах XIX в. вела борьбу за отмену пошлин на хлеб, выражая интересы капиталистов, стремившихся к удешевлению рабочих рук и снижению заработной платы.

К стр. 78

[1] *Чартистское движение* — первое массовое политическое движение английского рабочего класса в первой половине XIX в.

К стр. 79

[1] Представитель буржуазно-апологетической школы в политэкономии, Брентано, проповедовал «социальный мир» в капиталистическом обществе. Он восхвалял английские тредъюнионы как оплот против революционных увлечений. В книге, упомянутой в тексте,— «Ueber das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung», Leipzig 1876 («Об отношении заработной платы и рабочего времени к производительности труда», Лейпциг 1876) — Брентано утверждает, что повышение заработной платы и сокращение рабочего дня выгодны не только для рабочих, но и для капиталистов, так как повышают производительность труда.

[2] *Демократическая федерация* (с 1884 г. социал-демократическая федерация), основанная в Англии в 1881 г., проповедовала взгляды, в которых плохо усвоенный марксизм сочетался с требованиями буржуазно-демократических реформ.

Манифест, упоминаемый Плехановым,— это брошюра, написанная для демократической федерации ее основателем Гайндманом «Англия для всех» (*H. M. Hyndmann*, England for all, London 1881). См. статью В. И. Ленина «Гайндман о Марксе», Соч., т. 17, стр. 275.

К стр. 84

[1] «*Северный союз русских рабочих*» возник в конце 1878 г. в Петербурге из рабочих кружков. Он насчитывал более 200 членов и просуществовал до 1880 г. В программе Союза было сказано, что по своим задачам он примыкает к социал-демократическим партиям Запада, что своей конечной целью он ставит проведение социалистической революции, а своей ближайшей задачей — завоевание политической свободы и политических прав для народа.

Эта программа вызвала немалую тревогу среди русских народников (см. *Г. В. Плеханов*, Русский рабочий в революционном движении, Соч., т. III, стр. 184).

[2] «*Зерно*» — газета для рабочих, выпускавшаяся нелегально группой «Черный передел» в 1880—1881 гг. Всего вышло 6 номеров: № 1 — 25 октября 1880 г. в Женеве, № 2—6 в России. Особое внимание газета уделяла народнической пропаганде среди городского пролетариата.

[3] Члены «Северного союза русских рабочих» ответили землевольцам «Письмом в редакцию», помещенным в № 5 «Земли и воли», от 8 апреля 1879 г., в котором доказывали, что все их «требования так и останутся требованиями», если они не будут бороться с самодержавием. «...Мы знаем также,— говорится в «Письме»,— что политическая свобода может гарантировать нас и нашу организацию от произвола властей, дозволит нам правильнее развить свое мировоззрение и успешнее вести дело пропаганды...»

К стр. 85

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 45—46.

К стр. 86

[1] Это утверждение заимствовано Плехановым из книги «Briefe und sozialpolitische Aufsätze von Dr. Rodbertus-Jagetzow», herausgeg. von Rud. Meyer, Berlin 1882 («Письма и социально-политические статьи д-ра Родбертуса-Ягецова», изданные Руд. Мейером, Берлин 1882).

[2] Плеханов имеет здесь в виду исследования английского буржуазного экономиста-историка Торолда Роджерса, в частности его книгу «Six centuries of work and wages», Oxford 1884 («Шесть столетий труда и заработной платы», Оксфорд 1884), и работы французского журналиста и государственного деятеля мальтузианца Шарля Дюшателя, автора произведения «Traité de la charité dans ses rapports avec l'état moral et le bienêtre matériel des classes inférieures de la société», 2-me èd., 1836 («Трактат о благотворительности в связи с моральным состоянием и материальным положением низших классов общества», изд. 2, 1836).

[3] См. *Г. В. Плеханов*, Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории общественного развития. (Настоящее издание, т. II).

К стр. 87

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 44.

К стр. 88

[1] *Естественное право* — в буржуазных политических учениях понятие о праве, возникающем из природы человека, из его разума.

Сторонники естественного права рассматривают государство и право как продукт некоторых постоянных свойств, якобы неизменно присущих человеку независимо от его классовой принадлежности и уровня развития общества.

В XVIII в. Руссо, Гельвеций, Гольбах и др. разделяли идею естественного права и использовали ее для борьбы против феодализма. Феодальный строй они объявили противным «естественному» порядку вещей, несовместимым с требованиями природы и разума человека. При всей ограниченности и метафизичности представлений о естественном праве французские философы-просветители делали из принципов естественного права критические и революционные выводы.

[2] Катедер-социалисты (от нем. Katheder — кафедра) — представители буржуазно-либерального течения, возникшего во второй половине XIX в. и объединившего группу германских буржуазных профессоров, проповедовавших с университетских кафедр реформистские «теории» превращения капитализма в социализм.

К стр. 90

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, 1955, стр. 428.

К стр. 91

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 43—44.

К стр. 93

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 62.

[2] «*Народное дело*» — орган, основанный в Женеве русскими революционерами-народниками. За исключением первого номера, подготовленного

М. Бакуниным, журнал выходил под редакцией Н. И. Утина, бывшего землевольца, секретаря русской секции I Интернационала. «Народное дело» активно содействовало Марксу и Энгельсу в отстаивании их тактической линии в Интернационале, в разоблачении анархистов-бакунистов. Но «Народное дело» в основном оставалось на народнических позициях, идеализировало русскую крестьянскую общину, не понимало исторической необходимости диктатуры пролетариата.

К стр. 94

[1] Плеханов имеет в виду книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», вышедшую под псевдонимом «Бельтов». См. в настоящем томе.

К стр. 97

[1] В передовице № 2 газеты «Народная воля», от 15 ноября 1879 г., говорится об Учредительном собрании: «В этом собрании 90% депутатов от крестьян и, если предположить, что наша партия действует с достаточной ловкостью,— от партии. Что может постановить такое собрание? В высшей степени вероятно, что оно дало бы нам полный переворот всех наших экономических и государственных отношений...».

[2] Вопрос о захвате власти революционной организацией трактуется в передовой статье № 8—9 газеты «Народная воля», от 5 февраля 1882 г.

[3] Статья «Подготовительная работа партии», которую здесь и дальше цитирует Плеханов, представляет собой программную статью, помещенную на стр. 122—134 «Календаря Народной воли на 1883 год», вышедшего в Женеве.

К стр. 98

[1] Программа Исполнительного комитета «Народной воли» опубликована в № 3 газеты «Народная воля». Приведенное Плехановым положение находится в разделе В, п. 2 (стр. 6).

К стр. 99

[1] Письмо Исполнительного комитета «Народной воли» к императору Александру III вышло листовкой тотчас же после убийства Александра II, 10 марта 1881 г. Оно было перепечатано в «Календаре Народной воли на 1883 год», стр. 9—14.

[2] Исполнительный комитет «Народной воли» предлагал Александру III ввести перечисленные свободы «в виде временной меры, впредь до решения народного собрания».

К стр. 101

[1] «Железным канцлером» называли канцлера Германской империи Бисмарка.

К стр. 102

[1] Все цитаты в этом абзаце взяты из передовицы № 8—9 газеты «Народная воля», от 5 февраля 1882 г., стр. 3.

[2] В первом издании «сословиям».

К стр. 109

[1] «*Рабочая газета*» — нелегальная газета, издававшаяся с декабря 1880 г. по декабрь 1881 г. группой рабочих — членов партии «Народная воля» — в Петербурге, под редакцией А. И. Желябова. Всего вышло три номера. Издание прекратилось из-за разгрома народовольческой организации.

[2] «*Работник*» — нелегальная газета бакунистского направления, издавалась в Женеве в 1875—1876 гг. Всего вышло 15 номеров. Газета обращалась к русским «работным людям» — фабричным рабочим и крестьянам — с призывом к бунту.

К стр. 110

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 70.

К стр. 111

[1] «*Неделя*» — еженедельная газета, выходившая в Петербурге с 1866 по 1901 г. С 1876 г. перешла в руки либеральных народников и выступила с проповедью теории «малых дел», т. е. призывала интеллигенцию отказаться от революционной борьбы и заняться «культурничеством».

К стр. 112

[1] Объявление об издании «Вестника Народной воли» напечатано в № 1 этого журнала, вышедшем в 1883 г. Первые строки этого «Объявления» гласят: ««Вестник Народной воли» имеет в виду быть заграничным органом русского социализма, как он выразился в партии Народной воли, борющейся за совершенно определенные цели при совершенно определенных условиях».

НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ

Книга «Наши разногласия», написанная Плехановым летом 1884 г., и вышедшая в начале 1885 г. третьим выпуском «Библиотеки современного социализма», была вторым, после брошюры «Социализм и политическая борьба», крупным теоретическим выступлением группы «Освобождение труда». Значение этой работы Плеханова было высоко оценено Энгельсом в письме к В. И. Засулич от 23 апреля 1885 г. (см. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 1951, стр. 308 —311).

Интересным откликом на выход «Наших разногласий» является письмо петербургской группы благоевцев, одной из первых социал-демократических рабочих групп в России, к членам группы «Освобождение труда». В письме, относящемся к 1884 или к 1885 г., сохранившемся в плехановском архиве, они пишут: «Если эта книга и не заставит вполне примкнуть к мнениям нашей группы (хотя наблюдалось уже и такое явление), то несомненно, что она даст массу материала для критики народовольческой программы, а переработка этой программы положительно необходима в интересах борьбы. Если возможно будет, присылайте этой брошюры побольше...».

Сам Плеханов придавал особое значение этой книге, как важнейшему этапу идеологической борьбы против народничества. Через десять лет после ее выхода он сделал две попытки выпустить под тем же заглавием, как вторую ее часть, свои новые работы, на этот раз направленные уже против либеральных народников — Михайловского, Воронцова и др. Но так как обе эти работы выходили легально, Плеханову пришлось, чтобы не раскрыть своего авторства, дать им другие заглавия («К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и «Обоснование народничества в трудах г. Воронцова (В. В.)»). Позднее, выступая против эпигонов народничества — эсеров, Плеханов снова предполагал озаглавить так направленную против них брошюру. Но брошюра осталась незаконченной и появилась в виде нескольких статей в «Искре» в 1903 г. под названием «Пролетариат и крестьянство» (см. «Искра» № 32—35 и 39).

Как и другие ранние работы Плеханова, вышедшие в 80-х и 90-х годах, книга «Наши разногласия» не переиздавалась до 1905 г. и стала библиографической редкостью. В 1905 г. «Наши разногласия» были напечатаны в т. I (единственном, который вышел) женевского издания Сочинений Плеханова.

Публикуемый в настоящем издании текст выверен по первому изданию и по первому тому женевского издания Сочинений Плеханова.

К стр. 115

1 Заметка Лаврова помещена в библиографическом отделе «Вестника Народной воли» № 2, отд. 2, стр. 64—67, вышедшего в апреле 1884 г. В этой заметке разбираются две новые брошюры, выпущенные «Библиотекой современного социализма»: «Социализм и политическая борьба» Плеханова и «Развитие научного социализма» Энгельса. Заметка подписана: ***П. Л.***

К стр. 118

1 Из стихотворения Некрасова «Смолкли честные, доблестно павшие» (***Н. А. Некрасов***, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1945, стр. 328).

К стр. 119

1 *Нонконформисты* — протестантская секта в Англии, несогласная с господствующей англиканской церковью и подвергавшаяся за это преследованиям. Буквальное значение слова «нонконформист»—несоответственный.

К стр. 120

1 Плеханов принадлежал в 70-х годах к одному из кружков революционного народничества — бунтарям-бакунистам. См. прим. 1 к стр. 58.

К стр. 121

1 Имеется в виду статья Тарасова (Н. Русанов) «Банкротство буржуазной науки» («Вестник Народной воли», № 1, стр. 59—97).

2 Плеханов имеет в виду статью Тарасова «Политический и экономический факторы в жизни народов», начало которой было помещено в «Вестнике Народной воли» № 2, отд. 1, 1884 г., стр. 1—36. В этой статье Тарасов, опираясь на Дюринга, утверждает, что первенствующую роль в исторической эволюции играет политический фактор.

К стр. 124

1 Персонаж из философской повести Вольтера «Histoire de Genni ou l'athée et le sage», Oeuvres complétes, vol. XXI, Paris 1879, p. 529 («История Женни или атеист и мудрец», *Вольтер*, Полное собрание сочинений, т. 21, Париж 1879, стр. 529).

К стр. 125

1 Объявление «Об издании «Библиотеки современного социализма»» было выпущено группой «Освобождение труда» в Женеве за подписью: редакторы П. Аксельрод и Г. Плеханов, с датой 25 сентября 1883 г. В октябре того же года оно было напечатано в приложении к первому изданию брошюры «Социализм и политическая борьба» и в 1905 г. вошло в первый том женевского издания Сочинений Плеханова, стр. 139—140. В этом последнем издании пропущено подстрочное примечание, написанное Дейчем. Оно воспроизведено под заголовком «К сведению читателей!» на ненумерованной (по счету третьей) странице. В Сочинениях (послереволюционное издание), т. II, это объявление находится на стр. 21—23.

К стр. 126

[1] Статья Л. Тихомирова «Чего нам ждать от революции?» напечатана в «Вестнике Народной воли» № 2, отд. 1, 1884 г., стр. 227—262.

[2] В. В. — В. П. Воронцов.

К стр. 127

[1] Нечаевская организация «Народная расправа» (1869) была основана на принципах иезуитизма, запугивания, терроризма, проповедовавшихся Нечаевым и его вдохновителем Бакуниным. По словам Бакунина, задачей Нечаева было «народ не учить, а бунтовать». Маркс и Энгельс решительно выступили против нечаевщины, а нечаевские планы общественного переустройства характеризовали как «казарменный коммунизм».

К стр. 128

[1] Цитата из обозрения П. Лаврова «За пределами России» («Вестник Народной воли» № 2, отд. 2, 1884 г., стр. 3).

[2] Имеется в виду первая программа группы «Освобождение труда», вышедшая в 1884 г. Программа эта была выпущена с примечанием, в котором указывалось, что она не является окончательной и допускает поправки и дополнения, не противоречащие основным понятиям научного социализма (см. настоящее издание, стр. 371).

К стр. 129

[1] *Аттентаты* — покушения на чью-либо жизнь из-за вражды на политической почве.

К стр. 130

[1] Перефразировка выражения Данте «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно», которым Маркс заканчивает предисловие к первому изданию первого тома «Капитала».

К стр. 133

[1] Цитаты из первой части статьи Плеханова «Закон экономического развития общества и задачи социализма в России». Статья эта, в которой Плеханов еще стоял на позициях народничества, была опубликована в журнале «Земля и воля» № 3 и 4 (*Г. В. Плеханов*, Соч., т. I, стр. 62 и 66).

К стр. 134

[1] Реплика Маргариты на пантеистические речи Фауста: «Немножко лишь в других словах» (см. *Гете*, Фауст. Перев. Н. А. Холодковского).

К стр. 136

[1] Цитата из предисловия Маркса к первому изданию первого тома «Капитала» (см. *К. Маркс*, Капитал, т. I, стр. 7—8).

[2] Три письма А. И. Герцена к английскому политическому деятелю и журналисту В. Линтону были опубликованы на английском языке в 1854 г., а затем в 1858 г., в переводе, под заглавием «Старый мир и Россия». Эти письма вошли в Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. VIII, Спб. 1919. Плеханов цитирует здесь третье письмо, посвященное России (см. т. VIII, стр. 45—46).

К стр. 138

[1] Статья Н. Г. Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения» была опубликована в «Современнике» № 12 за 1858 г. (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений в 15 томах, т. V, Гослитиздат, 1950, стр. 357—392).

К стр. 140

[1] См. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. V, стр. 21—122.

К стр. 141

[1] Все приведенные выше цитаты взяты из статьи Н. Г. Чернышевского «Studien...», посвященной разбору книги А. Гакстгаузена «Исследования о внутренних отношениях народной жизни и в особенности сельских учреждениях России». Статья была напечатана в «Современнике» № 7 за 1857 г. (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, 1948, стр. 303—348).

К стр. 142

[1] В описании четвертого сна Веры Павловны Чернышевским в романе «Что делать?» дано утопическое изображение социалистического общества (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. XI, Гослитиздат, 1939, стр. 269—284).

К стр. 143

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 66.

К стр. 144

[1] Цитата из «Фауста» Гете:

«Желает вечно зла, творит всегда благое».

К стр. 145

[1] Цитата из поэмы Гейне «Германия. *Зимняя сказка*». Даем строфу с цитируемым выражением в переводе В. Левика:

«Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем:
Мы в небо землю превратим,
Земля нам будет раем».

(*Г. Гейне*, Избранные произведения, Гослитиздат, 1950, стр. 591).

К стр. 146

[1] Цитата из статьи Чернышевского о Гакстгаузене (см. прим. к стр. 141).

К стр. 147

[1] Статья Н. Г. Чернышевского «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» появилась в «Современнике» № 8 и № 9 за 1858 г. (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, 1950, стр. 213—291).

К стр. 148

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. V, стр. 216—217.

[2] Цитата из Учредительного манифеста Международного товарищества рабочих (I Интернационала), написанного Марксом в 1864 г. (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, 1955, стр. 342).

К стр. 149

[1] Плеханов дает ссылки на страницы «Манифеста Коммунистической партии» издания 1882 г. В издании 1955 г. цитата находится на стр. 44.

К стр. 152

[1] Цитата из брошюры последователя Лаврова народника В. Е. Варзара «Хитрая механика», вышедшей в начале 70-х годов в период «хождения в народ» мирных пропагандистов.

К стр. 158

[1] Статья «Русский народ и социализм» представляет собой письмо Герцена к французскому историку Ж. Мишле, написанное в 1851 г. (см. *А. И. Герцен*, Избранные философские произведения, т. II, Госполитиздат, 1948, стр. 134—166).

[2] Редактор «*Руси*» — славянофил И. С. Аксаков; редактор «*Московских ведомостей*» — реакционер М. Н. Катков.

К стр. 159

[1] Цитаты из статьи Тихомирова «Чего нам ждать от революции?».

[2] *Один русский писатель* — А. И. Герцен в упомянутом на 158 странице письме к Мишле.

[3] «Власть земли» — так озаглавлена серия рассказов Г. И. Успенского.

К стр. 160

[1] В древнеперсидской религии Ормузд — верховный бог, начало добра, Ариман — дух зла, дух бедствий.

К стр. 165

[1] *П. Н. Ткачев*, Открытое письмо господину Фридриху Энгельсу, автору статей «Эмигрантская литература» в 117 и 118 № «Volksstaat'a» год 1874 (см. *П. Н. Ткачев*, Избранные сочинения, т. 3, 1933, стр. 88—98).

К стр. 168

[1] *П. Н. Ткачев*, Задачи революционной пропаганды в России. (Письмо к редактору журнала «Вперед!»), 1874 (см. *П. Н. Ткачев*, Избранные сочинения, т. 3, стр. 55—87).

[2] «*Анархия мысли.* Собрание критических очерков П. Н. Ткачева», изд. журнала «Набат», Лондон 1879 (см. *П. Н. Ткачев*, Избранные сочинения, т. 3, стр. 303—337).

[3] «*Русской социально-революционной молодежи*» — полемическая брошюра П. Л. Лаврова, направленная против брошюры П. Н. Ткачева «Задачи революционной пропаганды в России». Эта брошюра П. Л. Лаврова вышла в Лондоне в 1874 г. за подписью: Редактор журнала «Вперед!» (см. *П. Л. Лавров*, Избранные сочинения на социально-политические темы в восьми томах, т. 3, 1934, стр. 335—372).

К стр. 169

[1] Редакционные статьи под одинаковым названием «Революционная пропаганда» печатались в ряде номеров журнала «Набат» 1877—1878 гг.

[2] Цитаты из статьи П. Н. Ткачева «Что же теперь делать?» (Избранные сочинения, т. 3, стр. 442 и 446).

К стр. 172

[1] «*Мыслящие реалисты*» — термин, употреблявшийся в работах Д. И. Писарева. Иногда так называли себя революционные народники.

К стр. 176

[1] Цитата из рецензии П. Лаврова на брошюру «Социализм и политическая борьба» («Вестник Народной воли» № 2, отд. 2, 1884 г., стр. 65).

[2] Цитата из статьи Ф. Энгельса «Эмигрантская литература», раздел II, «Программа бланкистских эмигрантов Коммуны» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. XV, 1933, стр. 225). Статья была напечатана в «Volksstaat» в 1874 г.

К стр. 179

[1] Журнал «Deutsch-Französische Jahrbücher» издавался Марксом и Арнольдом Руге в Париже в 1844 г. Вышел только один номер, содержащий два выпуска. У Плеханова речь идет о статье Маркса «К критике гегелевской философии права», опубликованной в этом номере.

[2] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, 1955, стр. 185.

К стр. 180

[1] Плеханов имеет здесь в виду статью Тарасова «Банкротство буржуазной науки», посвященную разбору книги Иванюкова «Основные положения теории экономической политики с Адама Смита до настоящего времени» (см. прим. 1 к стр. 74).

К стр. 181

[1] П. Л. Лавров (см. прим. 3 к стр. 168).

К стр. 182

[1] См. *Гегель*, Философия истории, Соч., т. VIII, Соцэкгиз, 1935, стр. 414.

К стр. 183

[1] Автором «Письма к бывшим товарищам» был О. В. Аптекман. В этом письме давалось историческое и теоретическое обоснование программы и деятельности группы «Черный передел».

К стр. 184

[1] Эта передовая статья была написана Плехановым (см. Соч., т. I, стр. 125).

К стр. 185

[1] *Индепенденты* — политическая партия периода английской буржуазной революции XVII в., выражавшая интересы средних слоев буржуазии и обуржуазившегося дворянства. Своим требованием религиозной свободы и независимости (independence) индепенденты на короткий срок увлекли за собой мелкую буржуазию и крестьянство.

[2] Все цитаты из Тихомирова в настоящей и следующей главах взяты из его статьи «Чего нам ждать от революции?».

К стр. 187

[1] Заключенные в кавычки слова представляют собой формулировку Лассаля в его известной брошюре «Программа работников».

К стр. 188

[1] См. в настоящем издании, т. I, стр. 107 и сл.

К стр. 189

[1] В статье «Подготовительная работа партии» (см. «Календарь Народной воли на 1883 год», стр. 122—134).

К стр. 190

[1] См. прим. 1 к стр. 109.

[2] В одной из своих неопубликованных заметок, хранящихся в Доме Плеханова в Ленинграде, Плеханов приводит красочные высказывания некоторых французских деятелей накануне франко-прусской войны 1870—1871 гг. Даем заметку в переводе:

«Маршал Лебеф: «Мы готовы, больше чем готовы; если война затянется даже на год, у нас ни в чем не будет недостатка, вплоть до последней пуговицы на гетрах!»

Президент Сената: «Государь, благодаря вашим заботам, Франция готова»

Военный министр: «Прусской армии нет, я ее отрицаю»».

К стр. 195

[1] Панглос — воспитатель Кандида, из повести Вольтера «Кандид». Панглос руководствовался лейбницевским положением: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

[2] По преданию, римская аристократка Лукреция (VI в. до н. э.), обесчещенная сыном царя Секстом, покончила самоубийством, что послужило якобы поводом к восстанию, завершившемуся изгнанием римских царей и установлением аристократической республики.

К стр. 196

[1] Цитата из стихотворения Гейне «Вопросы» (в переводе М. Михайлова):

«В груди его скорбь, сомненьем полна голова...»

(*Г. Гейне*, Избранные произведения, Гослитиздат, 1950, стр. 133).

К стр. 198

[1] См. *К Маркс* и *Ф. Энгельс*, Манифест Коммунистической партии, стр. 35—38.

[2] См. письмо от 6 января 1873 г. «Briefe und sozialpolitische Aufsätze von Dr. Rodbertus Jagetzow» Hrsg. von Rud. Meyer, Berlin 1882, Bd. I, S 291 («Письма и социально-политические статьи д-ра Родбертуса-Ягецова», изд. Руд. Мейером, Берлин 1882, т. I, стр. 291).

К стр. 199

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Об Англии, Госполитиздат, 1953, стр. 32—33.

К стр. 201

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, 1950, стр. 223.

К стр 202

[1] Цитата из «Фауста» Гете:

«Безумством мудрость станет, злом — благое».

[2] Цитата из «Нищеты философии» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т 4, 1955, стр. 147).

К стр. 204

[1] *«Железный закон заработной платы»* — догмат буржуазной политической экономии, основывающийся на реакционной теории народонаселения Мальтуса. Название «железный» дал ему Лассаль. Маркс следующим образом излагает этот «закон»: «Согласно ему вследствие накопления капитала заработная плата повышается. Повышенная заработная плата служит стимулом для более быстрого размножения рабочего населения, и это продолжается до тех пор, пока рынок труда не переполнится, т. е. пока капитал не сделается относительно недостаточным по сравнению с предложением рабочих. Заработная плата падает, и тогда перед нами оборотная сторона медали» (*К. Маркс*, Капитал, т. I, 1955, стр. 643).

Исходя из догмата, что заработная плата имеет «естественные», «природные» границы в росте народонаселения, буржуазные экономисты утверждали, что в нищете и безработице трудящихся классов повинны не социальные условия, характеризующие капиталистический способ производства, а природа. И в «Капитале» и в «Критике Готской программы» против лассальянской теории заработной платы, Маркс доказал несостоятельность «железного закона».

К стр. 206

[1] Цитата из статьи Л. Тихомирова «Чего нам ждать от революции?» («Вестник Народной воли» № 2, 1884 г., стр. 240).

[2] В первом издании: «Западная».

К стр. 209

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, 1955, стр. 80.

[2] Там же, стр. 101.

К стр. 210

[1] *Нимвегенский мир* был заключен в 1678 г. между Францией и Нидерландами.

[2] *Версальский мир* был заключен 3 сентября 1783 г. между США и их союзниками — Францией, Испанией и Голландией, с одной стороны, и Англией — с другой.

К стр. 213

[1] Цитата из книги: *List Friedrich*, Das nationale System der politischen Oekonomie, 2-te Aufl., Stuttgart und Tübingen 1842, Bd. I, Kap. 9, S. 154 (*Лист Фридрих*, Национальная система политической экономии, изд. 2, Штуттгарт и Тюбинген 1842, т. I, гл. 9, стр. 154).

[2] Там же, стр. 155.

К стр. 216

[1] *«Союз коммунистов»* — первая организация революционного пролетариата, основанная Марксом и Энгельсом летом 1847 г. в Лондоне. По поручению этой организации Маркс и Энгельс написали «Манифест Коммунистической партии», вышедший в феврале 1848 г. Поражение революции 1848—1849 гг. в Германии привело в 1850 г. к расколу между сторонниками Маркса — Энгельса и фракцией Виллиха — Шаппера в «Союзе коммунистов». В конце 1852 г. по инициативе Маркса «Союз» был официально распущен. «Союз коммунистов» явился одним из предшественников германской социал-демократии и I Интернационала.

[2] Здесь и в дальнейшем цитаты взяты из статьи Маркса «Разоблачения о кельнском процессе коммунистов» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. VIII, 1930, стр. 548—549, 506 и 507).

К стр. 217

[1] Плеханов имеет в виду прокламацию Исполнительного комитета «Народной воли» «К украинскому народу» от 30 августа 1881 г., выпущенную в связи с еврейскими погромами. Редакция «Народной воли» выразила полную солидарность с этой прокламацией во «Внутреннем обозрении» (см. «Народная воля» № 6, 23 октября 1881 г.).

К стр. 219

[1] «Walka klas» («Борьба классов») — орган «международной социально-революционной партии», выходивший в Женеве на польском языке. См. заметку Плеханова о втором номере этого органа (Соч., т. IV, стр. 279—280).

[2] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. VIII, стр. 507.

К стр. 222

[1] Физиократы — группа французских буржуазных экономистов второй половины XVIII в. (Кенэ, Тюрго и др.), считавшая земледельческий труд единственным производительным трудом и стоявшая за развитие промышленного земледелия.

К стр. 223

[1] *Манчестерцы* — группа английских экономистов (Кобден, Брайт и др.) первой половины XIX в., выражавшая интересы промышленной буржуазии домонополистической эпохи, ее стремления к свободной торговле, ее протест против всякого вмешательства государства в экономическую жизнь Они рьяно боролись против пошлин на хлеб, с одной стороны, против законодательного ограничения рабочего дня — с другой; основным двигателем производства считали свободную конкуренцию. Маркс показал, что за демагогией манчестерцев скрывалось стремление добиться свободы для капиталистического предпринимательства и усиления эксплуатации рабочего класса.

К стр. 224

[1] Известный русский капиталист Поляков для получения концессий на строительство железных дорог давал взятки министрам.

К стр. 226

[1] Воронцов заимствовал эту таблицу из статьи В. И. Вешнякова «Русская промышленность и ее нужды», напечатанной в «Вестнике Европы» № 10 за 1870 г.

К стр. 233

[1] Речь идет о Всероссийской художественно-промышленной выставке, состоявшейся в Москве в 1882 г.

К стр. 247

[1] В статье «Новости экономической литературы (библиография). *В. В. Судьбы капитализма в России*, Спб. 1882» («Юридический вестник», январь, 1883 г., стр. 89—110).

К стр. 251

[1] Цитата из восьмого примечания Плеханова к брошюре «Чего хотят социал-демократы?» (Соч., т. II, стр. 399).

[2] Имеется в виду книга М. Туган-Барановского «Промышленные кризисы. Очерки по социальной истории Англии», изд. 2, Спб. 1900. Есть издание 1923 г.

К стр. 252

[1] Эти, относящиеся к 1905 г., утверждения Г. В. Плеханова о В. И. Ленине абсолютно неверны. Здесь явно видно стремление меньшевика Плеханова в целях нанесения ущерба большевизму представить защиту и обоснование В. И. Лениным марксистской теории рынков как перепев теории рынков вульгарного экономиста Ж.-Б. Сэя. Именно в работе «Заметки по вопросу о теории рынков» Ленин подверг критике теорию рынков Смита — Сэя.

К стр. 255

[1] См. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1951, стр. 340—342.

К стр. 256

[1] Неточная цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, красный нос». (См. *Н. А. Некрасов*, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1945, стр. 101).

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Капитал, т. I, 1955, стр. 366.

К стр. 267

[1] *Непобедимая армада* — испанский флот, снаряженный в 1588 г. королем Филиппом II для завоевания Англии. Военные столкновения с голландскими и английскими судами и бури привели армаду к гибели.

К стр. 275

[1] Повидимому, ошибка. В книге Пругавина на стр. 40, откуда взята цитата, упоминаются следующие волости Юрьевского уезда: Спасская, Есиплевская, Давыдовская, Петровская, Горкинская, Симская.

К стр. 286

[1] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, Введение, стр. 21.

К стр. 287

[1] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, стр. 21.

К стр. 290

[1] «*Без лести предан*» — девиз на гербе Аракчеева, присвоенный ему Павлом I и ставший благодаря эпиграмме Пушкина синонимом раболения перед влиятельными лицами.

К стр. 292

[1] *Credo, quia absurdum* («Верую, потому что нелепо») — изречение, приписываемое христианскому писателю Тертуллиану (III в. н. э.).

[2] Цитата из рецензии П. Л. Лаврова на брошюру Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борьба», опубликованной в «Вестнике Народной воли» № 2, отд. 2, 1884 г., стр. 64—67.

[3] *В. З.* — Плеханов имеет в виду Веру Ивановну Засулич.

К стр. 294

[1] Объявление об издании «Вестника Народной воли», датированное августом 1883 г., помещено в № 1 этого журнала, стр. III—X.

К стр. 295

[1] *К. Т.*— К. Тарасов. Плеханов имеет здесь в виду его рецензию на книгу: *E. Laverdays*, Les assemblées parlantes. Critique du gouvernement representatif, Paris 1883 (*Э. Лавердэ*, Парламентские говорильни. Критика представительного правления, Париж 1883). См. «Вестник Народной воли» № 2, отд. 2, 1884 г., стр. 67—85.

К стр. 302

[1] Имеется в виду статья И. Лучицкого «Поземельная община в Пиренеях» («Отечественные записки» № 9, 1883 г., стр. 57—78).

К стр. 303

[1] Манифестом о вольности дворянства, изданным императором Петром III 18 февраля 1762 г., дворяне освобождались от обязательной военной или гражданской государственной службы.

К стр. 306

[1] *Факции* (от лат. factio) — партии, группировки.

К стр. 316

[1] Выделенные здесь курсивом слова в брошюре «Социализм и политическая борьба» не подчеркнуты.

[2] Выражение *«бояться данайцев»* — «timeo danaos et dona ferentes» (боюсь данайцев, даже приносящих дары) связано с легендой о троянце Лаокооне, тщетно убеждавшем своих сограждан не брать в город оставленного греками (данайцами) деревянного коня. Опасения Лаокоона сбылись: в коне оказались вооруженные воины, погубившие Трою.

К стр. 317

[1] Заговор против Наполеона, возглавлявшийся французским генералом Мале в 1812 г.

К стр. 318

[1] *Битва при Садовой*, происшедшая в июле 1866 г., явилась завершением австро-прусской войны и предопределила руководящую роль Пруссии в деле объединения Германии.

[2] *«Кающиеся дворяне»* — выражение, введенное в литературу Н. К. Михайловским, характеризовало тип человека, считавшего, что на нем лежит неоплатный долг перед народом за все грехи отцов, за все ужасы крепостничества.

К стр. 323

[1] Цитата из «Фауста» Гете:

«Коль скоро недочет в понятиях случится,
Их можно словом заменить».

К стр. 328

[1] См. книгу М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения», М. 1879.

К стр. 334

[1] Цитата из «Фауста» Гете:

«А потому, мой друг, на первый раз,
По мне, полезно было бы для вас
Курс логики пройти».

К стр. 335

[1] См. *Arthur Arnoult*, L'état et la révolution, Genéve — Bruxelles, «Rabotnik», 1877 (*Артур Арну*, Государство и революция, Женева — Брюссель, «Работник», 1877).

К стр. 338

[1] Имеется в виду работа К. Маркса «К критике политической экономии», изданная в Берлине в 1859 г.

К стр. 346

[1] *Ф. Энгельс*, Крестьянская война в Германии, 1953, стр. 96.

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, стр. 212.

К стр. 348

[1] В своей статье «Чего нам ждать от революции?» Тихомиров противопоставляет взгляды народовольцев взглядам группы «Освобождение тру-

да», которая, по его утверждениям, якобы не имеет другого выхода, как содействовать развитию русского капитализма и бороться за либеральную конституцию. По утверждению Л. Тихомирова, народовольцы добиваются конституции для передачи власти народу, а не для того, «чтобы дать буржуазии новые средства для организации и дисциплинированья рабочего класса посредством обезземеления, штрафов и зуботычин» (см. «Вестник Народной воли» № 2, 1884 г., стр. 237).

[2] Повесть А. Эртеля — либерального писателя, изображавшего в своих романах и рассказах купцов и промышленников как организаторов хозяйства и носителей прогресса,— напечатана в «Вестнике Европы» № 6—8, 1883 г.

К стр. 349

[1] Фраза Репетилова из «Горе от ума» Грибоедова.

[2] Речь идет о неудавшемся покушении на жизнь Александра II, совершенном 6 июня 1867 г. в Париже польским революционером А. И. Березовским.

[3] Из стихотворения Некрасова «Забытая деревня» (*Н. А. Некрасов*, Избранные сочинения, Гослитиздат, 1945, стр. 44).

К стр. 351

[1] Вероятно, Плеханов имеет здесь в виду то место в статье Л. Тихомирова, где он проводит параллель между консерватором, который видит спасение России в сильном дворянстве, и социал-демократом, видящим его в рабочем классе.

К стр. 354

[1] См. «Вестник Народной воли» № 2, 1884 г., стр. 236.

К стр. 356

[1] Сопоставление Плеханова относится к поведению народовольца Гольденберга после ареста. Гольденберг нарушил правила конспирации и попался на удочку охранки. Поняв, что он стал невольным предателем, Гольденберг покончил с собой в Петропавловской крепости. Желябов противопоставлен Гольденбергу как тип исключительно сильного волей подпольного революционера-конспиратора.

К стр. 357

[1] Плеханов цитирует здесь программную статью из «Календаря Народной воли на 1883 год» — «Подготовительная работа партии». Раздел этой статьи «Городские рабочие» начинается словами: «Городское рабочее население, имеющее особенно важное значение для революции как по своему положению, так и по относительно большей развитости, должно обратить на себя серьезное внимание партии» (стр. 130).

[2] Взрыв в Зимнем дворце, произведенный Степаном Халтуриным, и подкоп на Малой Садовой явились этапами в осуществлении плана убийства Александра II, задуманного Исполнительным комитетом «Народной воли» и завершившегося террористическим актом 1 марта 1881 г.

К стр. 358

[1] О «Северном союзе русских рабочих» см. прим. 1 и 3 к стр. 84.

К стр. 359

[1] Конец 70-х годов ознаменовался волной стачек, охвативших ряд отраслей промышленности, и прежде всего текстильную, где эксплуатация рабочих была наиболее тяжелой. За три года (1878—1880) произошло свыше ста стачек. Стачки эти носили чисто экономический характер,

рабочие еще верили в царя и даже обратились с «челобитной» к наследнику престола Александру III Некоторые из землевольцев, в частности Плеханов, приняли активное участие в организации этих стачек (см. корреспонденции Плеханова в Соч., т. I и статью «Русский рабочий в революционном движении», Соч., т. III).

К стр. 370

[1] Заметка Тихомирова за подписью *Л. Т.* : «*Г. Плеханов*, «Наши разногласия». Женева 1885» («Вестник Народной воли» № 5, отд. 2, 1886 г., стр. 40. Заметки о новых книгах).

[2] Статья «Неизбежный поворот» (Соч., т. III, стр. 31—40) была написана Плехановым по поводу предисловия Тихомирова ко второму изданию его книги «La Russie politique et sociale»; статья «Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова» явилась ответом на брошюру Тихомирова «Почему я перестал быть революционером». На ту же брошюру Плеханов написал небольшую рецензию (см. Соч., т. III, стр. 41—44). Статью «Новый защитник самодержавия» см. в настоящем томе.

ПРОГРАММА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

Время создания Плехановым этого первого проекта программы, очевидно, совпадает с моментом организации группы «Освобождение труда» осенью 1883 г. Это подтверждается перепиской ее членов (см. «Группа «Освобождение труда»», сб. I, стр. 187) и упоминанием о программе в письме Л. Дейча к товарищам в Россию (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. I, стр. 225).

Опубликована программа была позднее, в 1884 г., в Женеве отдельным изданием. В 1905 г. программа была напечатана в первом томе Сочинений Плеханова, вышедшем в Женеве.

Настоящая публикация производится по тексту второго тома Сочинений Плеханова, выверенному по последнему прижизненному изданию 1905 г.

К стр 372

[1] Относительно пункта о прямом народном законодательстве, сохранившегося и во втором проекте, Ленин писал в 1899 г. в статье «Проект программы нашей партии», что этот пункт не следует вносить в программу, так как «принципиально связывать победу социализма с *заменой* парламентаризма прямым народным законодательством — нельзя» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 218).

К стр. 374

[1] Здесь, как и в дальнейших формулировках проекта, касающихся «социалистической интеллигенции», дает себя чувствовать народническое прошлое составителей программы.

К стр. 375

[1] Об этой и других подобных ей формулировках Ленин говорит в 1907 г. в работе «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов»: «Ошибка этой программы состоит не в том, чтобы в ней были ошибочные принципы или ошибочные частные требования. Нет. Принципы ее верны... Ошибочность этой программы — ее абстрактность, отсутствие всякого конкретного взгляда на предмет... Разумеется, было бы нелепо ставить эту ошибку в вину составителям программы, впервые излагавшим известные принципы задолго до образования рабочей партии. Напротив, надо особенно подчеркнуть, что в этой

программе за двадцать лет до русской революции признана неизбежность «радикального пересмотра» дела крестьянской реформы» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 13, стр. 231).

[2] Пункт о производительных ассоциациях, сохранившийся и во втором проекте, отразил влияние лассальянства. Аналогичный пункт имелся и в Готской программе — программе германской социал-демократии, принятой в мае 1875 г. (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, стр. 21—22).

Ленин говорил о необходимости устранения этого пункта из программы РСДРП, считая, однако, что для периода группы «Освобождение труда» включение его в программу было естественно (см. *В. И. Ленин*, Соч., т 4, стр. 220—221).

[3] Ошибочный пункт первого проекта программы о необходимости индивидуального террора является отголоском и уступкой народовольчеству. Во втором проекте речь идет уже не об индивидуальном терроре, а о переходе в удобный момент к «общему, решительному... нападению» на правительство, причем террор уже не рассматривается как необходимое при всех условиях средство борьбы (см. «Второй проект программы», настоящее издание, стр. 379).

К стр. 376

[1] Призывая интеллигенцию к работе среди промышленного пролетариата, составители проекта допускали возможность «самостоятельного революционного движения» крестьянства. Во втором проекте это допущение отсутствует. Ни в первом, ни во втором проекте не подчеркнута с достаточной четкостью революционная роль крестьянства в буржуазно-демократической революции и та мысль, что только в союзе с крестьянством пролетариат сможет одержать победу над царизмом.

ВТОРОЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Второй проект программы группы «Освобождение труда» написан в 1887 г. Он получил высокую оценку Ленина (см. *В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 211—212).

Впервые второй проект программы был опубликован в Женеве в 1888 г. под заглавием: «Проект программы русских социал-демократов», в приложении к брошюре «Чего хотят социал-демократы?». Вторично он был опубликован лишь через десять лет в приложении к брошюре П. Аксельрода «К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов», изданной в Женеве в 1898 г. Следующая публикация имела место в «Социал-демократическом календаре на 1902 год», выпущенном в Женеве группой «Борьба». В 1903 г. проект был издан Г. А. Куклиным отдельной брошюрой вместе с «Объявлением о возобновлении изданий группы «Освобождение труда»». Это было последнее издание проекта при жизни автора.

В настоящем томе проект печатается по тексту второго тома Сочинений Плеханова, сверенному с первыми двумя и последним прижизненным изданиями.

К стр. 377

[1] См. прим. 1 к стр. 372 первого проекта программы.

К стр. 379

[1] Все эти «указания на причины «неустойчивости» и пр. интеллигенции», по мнению Ленина, должны были отпасть из принципиальной части программы (см. *В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 217).

[2] По поводу этого пункта Ленин в 1899 г. писал: «...мы думаем, что в программе *рабочей партии* не место указаниям на средства деятельности, которые были необходимы в программе заграничной группы революционеров...». И дальше: «Чтобы не оставлять места недомолвкам, оговоримся теперь же, что по нашему лично мнению террор является *в настоящее время не*целесообразным средством борьбы, что партия (*как партия*) должна отвергнуть его (впредь до изменения условий, которое могло бы вызвать и перемену тактики)...» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 217—218).

К стр. 380

[1] В двух первых изданиях: «опираясь на эти... *права* рабочая партия *выдвинет...*». Изменение было внесено в последнее прижизненное издание 1903 г., с которого, вероятно, печатался текст проекта в Сочинениях.

[2] По поводу этого пункта Ленин писал: «Мне кажется, что основная мысль, выраженная здесь, совершенно справедлива и что социал-демократическая рабочая партия действительно должна выставить в своей программе соответствующее требование» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 221). Однако для конца 90-х годов он считал это требование неотчетливым. То же признал и сам Плеханов в «Комментарии к проекту программы Российской Социал-Демократической Рабочей Партии», объясняя формулировку проекта «дипломатическими» соображениями (см. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. XII, стр. 214).

[3] Изменения и дополнения к этому пункту см. у Ленина, Соч., т. 4, стр. 219—220.

[4] См. прим. 2 к стр. 375 первого проекта программы.

К стр. 381

[1] По поводу этого примечания Ленин в 1899 г. писал: «...когда живы еще были традиции революционного народничества, достаточно было такого заявления, но теперь мы сами должны начать обсуждение «основных принципов деятельности» в крестьянстве, если мы хотим, чтобы социал-демократическая рабочая партия сделалась передовым борцом за демократию» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 4, стр. 226).

«НОВЫЙ ЗАЩИТНИК САМОДЕРЖАВИЯ, ИЛИ ГОРЕ г. Л. ТИХОМИРОВА»

(Ответ на брошюру «Почему я перестал быть революционером»)

Поводом к написанию брошюры «Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова» послужила наделавшая много шума брошюра Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», вышедшая на русском языке в Париже в 1888 г.

Лев Тихомиров, бывший землеволец, член Исполнительного комитета «Народной воли», изменил революционной борьбе, клеветал на русских революционеров. Вслед за публикацией своей позорной брошюры он подал в 1888 г. прошение о помиловании и в 1889 г. вернулся из эмиграции в Россию, став вскоре одним из самых ярых защитников и идеологов самодержавия, сотрудником, а затем и редактором реакционной монархической газеты «Московские ведомости»

Плеханов сразу же после выхода в свет брошюры Тихомирова, в августе 1888 г., откликнулся на нее рецензией, в которой. между прочим,

с большой проницательностью писал: «Вот бы кому поручить редакцию «Московских ведомостей»! Творческий ум г. Тихомирова был бы истинной находкой для нашей реакционной прессы» (*Г. В. Плеханов*, Соч., т. III, стр. 43).

Впервые брошюра «Новый защитник самодержавия» вышла в 1889 г. в Женеве в издании «Библиотеки современного социализма» (вып. девятый). В 1906 г. вышло второе, уже легальное, ее издание в Петербурге в приложении к журналу «Сокол». Это издание является перепечаткой с первого и носит заметные следы цензурной правки: наиболее острые места, особенно характеристики русских самодержцев, сильно смягчены и сглажены.

В настоящем томе печатание производится по тексту третьего тома Сочинений Плеханова, сверенному с первым, женевским, изданием 1889 г.

К стр. 382

[1] *Слава безумного грека* — Герострата — позорная слава честолюбца, добивающегося ее любым путем, вплоть до преступления.

К стр. 383

[1] См. известное письмо Белинского к Н. В. Гоголю (*В. Г. Белинский*, Избранные философские сочинения, т. II, Госполитиздат, 1948, стр. 517).

[2] «*Русский вестник*» — ежемесячный журнал. С 60-х годов стал рупором крепостнической реакции и русского самодержавия.

К стр. 384

[1] Согласно учению Ж. Кювье, органические виды исчезали с лица земли полностью после каждой из катастроф, имевших якобы место в истории Земли. Затем новый органический мир возникал путем внезапного творческого акта и существовал неизменным до следующей катастрофы.

К стр. 388

[1] Эпоха регентства во Франции (1715—1723 гг.) — период после смерти Людовика XIV, когда регентом при малолетнем Людовике XV был Филипп Орлеанский. Экономические события этого периода способствовали укреплению позиции буржуазии.

К стр. 389

[1] См. *Гегель*, Наука логики, Соч., т. V, Соцэкгиз, 1937, стр. 434—435.

К стр. 390

[1] Цитата из стихотворения Гейне: «Брось свои иносказанья...» Плеханов дает строки в переводе, искаженном цензурой. Подлинный перевод этого стихотворения, принадлежащий М. Михайлову, был опубликован впервые в журнале «Былое» за 1906 г., № 2, стр. 279. Вот этот перевод:

«...Иль воле бога
На земле не все доступно?»

(*Г. Гейне*, Избранные произведения, Гослитиздат, 1950, стр. 415).

К стр. 392

[1] Программа Исполнительного комитета «Народной воли» опубликована в газете «Народная воля» № 3, 1 января 1880 г., стр. 5—7.

К стр. 393

[1] В связи с обострением противоречий внутри организации «Земля и воля» по вопросу о методах борьбы в июне 1879 г. был созван съезд землевольцев в Воронеже. Готовясь к нему, сторонники террористической борьбы собрались на отдельный съезд в Липецке. На Воронежском съезде было принято половинчатое решение, требовавшее «особого развития» террористической борьбы с правительством, наряду с продолжением работы в народе.

Плеханов имеет в виду свою собственную позицию на Воронежском съезде, где он выступил твердым противником террора. Не встретив поддержки, он покинул съезд, изложив письменно причины своего выхода из организации «Земля и воля». Об этом см. его статью «Неудачная история партии «Народной воли»» (Соч., т. XXIV, стр. 145).

К стр. 399

[1] Плеханов имеет в виду книгу де Кюстина, которая вышла в Париже в 1843 г. под названием «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.»). Кюстин излагал свои впечатления от путешествия по России и резко осуждал самодержавие. Реакционный журналист Н. И. Греч выпустил с одобрения царя и III отделения брошюры на французском и немецком языках, в которых пытался опровергнуть высказывания Кюстина (см. об этом в «Дневнике» Герцена, *А. И. Герцен*, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, 1954, стр. 311—312, 340).

[2] *«Московские ведомости»* — ежедневная газета, начавшая выходить в 1756 г. С 60-х годов XIX в. она перешла в руки Каткова и выражала взгляды наиболее реакционных, монархических элементов.

К стр. 402

[1] Костанжогло и Муразов — персонажи из второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

К стр. 403

[1] Плеханов имеет в виду следующие исторические события. В результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг. по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 г. была признана независимость Румынии, образованной в 1859 г. из объединившихся княжеств — Молдова и Валахия. Вскоре (в 1883 г.) Румыния вступила в союз с Австро-Венгрией, направленный против России. По Сан-Стефанскому договору 1878 г. получали независимость Болгария и Сербия. Однако политика царского правительства, подчиненная интересам общеевропейской реакции, привела к сильному падению престижа российского царизма в этих странах. Вместе с тем румынский, сербский и болгарский народы были полны симпатий к русскому народу, который помог им освободиться от турецкого владычества.

К стр. 404

[1] *Кит Китыч* — искаженное имя Тита Титыча Брускова, купца из комедии А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье»,— стало нарицательным для обозначения самодура.

К стр. 405

[1] См. *А. К. Толстой*, История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева (Полное собрание стихотворений, изд. «Советский писатель», 1937, стр. 364).

К стр. 406

[1] *Лейб-кампанцы* — гренадеры гвардейской роты Преображенского полка, при помощи которых в 1741 г. был произведен дворцовый переворот и возведена на престол императрица Елизавета Петровна.

К стр. 407

[1] Александр III, напуганный усилившимся террором со стороны народовольцев, преследуемый страхом перед революционным взрывом, в начале 80-х годов (после убийства Александра II) отсиживался в своем дворце в Гатчине, куда он добровольно на два года заточил себя и свою семью. «Гатчинский пленник» — так называли его современники. В предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии» (1882 г.) Маркс и Энгельс называют Александра III «военнопленным революции».

К стр. 408

[1] Поездка американского путешественника Джорджа Кеннана в Сибирь состоялась в 1884—1886 гг. по договоренности с журналом «Century magazine», в котором он обязался обнародовать свои наблюдения. Так как в 1882 г. Кеннан публично осудил террористов, русские власти охотно разрешили ему въезд в Россию и посещение тюрем и каторги, надеясь, что при своем отрицательном отношении к русским революционерам он привлечет мировое общественное мнение на сторону русского правительства. Однако Кеннан обманул их ожидания. Вернувшись из Сибири, он выпустил ряд книг с описаниями русских тюрем и условий существования русских ссыльных революционеров. Книги произвели сильнейшее впечатление и вызвали у читающих осуждение царского режима. В России его книги подвергались запрету до 1905—1906 гг.

К стр. 412

[1] На судебном процессе революционеров-народников, известном под названием «процесса 193-х» (1877—1878 гг.), с обвинительной речью выступил прокурор Желеховский. Его речь получила скандальную известность вследствие своей бесцветности, неубедительности и явной клеветы на подсудимых. Во время процесса один из подсудимых написал стихотворение — пародию на эту речь. В 1883 г. пародия была издана народовольцами в виде гектографированной брошюры под заглавием: «Обвинительная речь прокурора Желеховского по делу 193-х (1877—1878 гг.)» (см. «Красный архив», 1929, т. 3 (34), стр. 228—230).

К стр. 415

[1] *Колупаевы и Разуваевы* — персонажи некоторых рассказов Салтыкова-Щедрина (см., например, «Пошехонские рассказы»). Имя Колупаевых и Разуваевых стало нарицательным для характеристики купцов, кулаков и других представителей деревенской буржуазии, отличавшихся консерватизмом, грубостью, стремлением к жесточайшим формам эксплуатации.

[2] «*Ён достанет*» — слова купца Разуваева из произведения Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо». На вопрос о том, откуда он будет получать свои барыши, если народ «вовсе обеднеет», Разуваев отвечает: «и ён доста-а-нет!».

К стр. 416

[1] «*Что же теперь?*» — вторая речь Лассаля «О сущности конституции», с которой он выступал перед парламентскими выборами в 1862 г. в Пруссии (см. *Ф. Лассаль*, Соч., т. II, М. 1925, стр. 45).

РЕЧЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РАБОЧЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ В ПАРИЖЕ (14—21 ИЮЛЯ 1889 г.)

Международный рабочий социалистический конгресс в Париже — первый конгресс II Интернационала — состоялся 14—21 июля 1889 г. Группа «Освобождение труда» в то время еще не имела прочной базы в России и не получила мандата на конгресс. Вместе с тем она понимала, что ее выступление на конгрессе имело бы большое значение не только для русского революционного движения, но и для международной социал-демократии.

Вопрос об участии в конгрессе был решен группой «Освобождение труда» в положительном смысле («Группа «Освобождение труда»», сб. III, стр. 238—239).

Плеханов поехал на конгресс и произнес там речь, которую закончил известными словами о победе революционного движения в России как *рабочего движения*.

В беседе с Воденом Энгельс сказал, что речь Плеханова на Парижском конгрессе «и ему и многим товарищам понравилась» (см. «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», 1956, стр. 344).

Речь Плеханова известна в двух русских переводах: один из них был опубликован в женевском «Социал-демократе», 1890 г., № 1, отд. 2, стр. 28—29; другой — посмертно в журнале «Летописи марксизма», 1926 г., № 1, стр. 78—79. В Сочинения Плеханова первый вариант вошел в т. IV, стр. 53—54, второй — в т. XXIV, стр. 319—320. Варианты значительно отличаются друг от друга, и оба имеют право на публикацию: первый — как прижизненный и безусловно прошедший через руки Плеханова, второй — как сделанный с французского подлинника, найденного в архиве Геда среди других документов конгресса.

Для настоящего издания тексты сверены с первыми русскими публикациями — в «Социал-демократе» и в «Летописях марксизма».

К ШЕСТИДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ ГЕГЕЛЯ

Статья «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» была написана Плехановым для журнала «Die Neue Zeit» на немецком языке и напечатана в ноябре 1891 г. в № 7, 8 и 9 этого журнала под заглавием «Zu Hegel's sechzigstem Todestag». Сразу же после появления этой статьи в «Neue Zeit» Энгельс дал ей высокую оценку. В письме от 3 декабря 1891 г. он писал Каутскому: «Статьи Плеханова превосходны» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. XXVIII, 1940, стр. 394).

Плеханов, узнав об этом отзыве, писал Энгельсу: «Мне передавали, что Вы написали несколько благожелательных слов обо мне Каутскому по поводу моей статьи о Гегеле. Если это верно, я не хочу других похвал. Все, чего я желал бы, это быть учеником, не совсем недостойным таких учителей, как Маркс и Вы» (Г. В. Плеханов — Ф. Энгельсу, 25 марта 1893 г., см. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 1951, стр. 325).

В 1892 г. статья Плеханова была переведена на болгарский язык и напечатана во втором номере болгарского сборника «Социал-демократ». И на этот раз Энгельс отозвался на ее публикацию. «Я очень рад был,— писал он в редакцию этого сборника 9 июня 1893 г.,— видеть перевод работ Плеханова на болгарский язык» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 461).

В 1894 г. статья Плеханова была опубликована во французском журнале «L'ère nouvelle» («Новая эра»), № 10 и 11 и только в 1906 г. впервые вышла в русском переводе в плехановском сборнике «Критика наших критиков», Спб. 1906, стр. 203—228.

При подготовке настоящего издания за основу взят текст Сочинений (т. VII, стр. 29—55), сверенный с указанным первым русским изданием, подготовленным самим Плехановым. Для уточнений использовалось также немецкое издание. В русском переводе Г. В. Плехановым опущены некоторые места, имеющиеся в «Neue Zeit», и вставлено несколько новых фраз.

К стр. 422

[1] См. *К. Маркс*, Капитал, т. I, Госполитиздат, 1955, Послесловие ко второму изданию, стр. 19, и письмо Маркса Л. Кугельману от 27 июня 1870 г. (*К. Маркс, Ф. Энгельс*, Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 239).

К стр. 423

[1] «Die Neue Zeit» («Новое время») — теоретический журнал германской социал-демократии. В журнале был напечатан ряд работ и писем Маркса и Энгельса. Однако еще при жизни Энгельса редакция журнала, во главе которой стоял К. Каутский, не проводила последовательно марксистскую линию, помещая на страницах журнала статьи, искажавшие марксизм, а позднее фальсифицировала самое литературное наследство Маркса и Энгельса.

К стр. 424

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, Соцэкгиз, 1930, стр. 31.

К стр. 425

[1] См. *К. Маркс*, К критике политической экономии, Госполитиздат, 1953, стр. 158—159.
[2] Там же, стр. 46.
[3] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, 1935, стр. 51.

К стр. 429

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, стр. 259—260.
[2] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 61.

К стр. 431

[1] Там же, стр. 149.
[2] Там же, стр. 197.

К стр. 432

[1] *Брахма* (*Брама*) — один из высших богов в религиозном учении индуизма. По представлениям индуизма, первопричиной всего сущего является безличная и бескачественная божественная субстанция, мировая душа.

К стр. 433

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 206.

К стр. 434

[1] Факции (от лат. factio) — партии, группировки.
[2] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 249.
[3] *Пелопоннесская война* (431—404 до н. э.) велась между рабовладельческой демократией Афин и рабовладельческой олигархией Спарты —

городов-государств древней Греции. Внутри городов, принимавших участие в войне, в особенности к концу войны в Афинах, шла ожесточенная борьба политических группировок.

[4] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 246.

[5] *Реформация* — социально-политическая и идеологическая борьба в различных странах Европы в XVI в. против католической церкви и феодализма. Реформация, подтачивая духовные и политические устои феодализма, идейно готовила ранние буржуазные революции.

[6] *Протестантство* — возникшая в результате Реформации в Германии и в ряде других европейских стран разновидность христианства (кальвинизм, лютеранство и др.).

К стр. 435

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 391—392.

[2] См. *Гегель*, Соч., т. VII, стр. 263.

[3] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 82.

[4] См. *Гегель*, Соч., т. VII, стр. 225.

К стр. 436

[1] Ярким примером рассуждений Монтескье, о которых говорит Плеханов, является вторая глава четырнадцатой книги произведения Монтескье «О духе законов», озаглавленная: «Насколько люди различны в различных климатах» (см. *Ш. Монтескье*, Избранные произведения, Госполитиздат, 1955).

[2] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 85.

К стр. 437

[1] В советском издании: *Л. И. Мечников*, Цивилизация и великие исторические реки, М. 1924.

Плеханов написал специальную статью «О книге Л. И. Мечникова» (Соч., т. VII, стр. 15—28).

[2] *Аттика* — в древности область на юго-востоке Средней Греции с весьма разнообразной по географическому характеру местностью. В 594 г. до н. э. Солон провел в главном городе Аттики — Афинах социальные и политические реформы, сыгравшие исторически прогрессивную роль.

К стр. 438

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 220, и т. VII, стр. 254.

К стр. 439

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 12.

К стр. 440

[1] См *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 27.

К стр. 441

[1] См. *Гегель*, Соч., т. VII, стр. 17—18.

К стр. 443

[1] См. *Ф. В. И. Шеллинг*, Система трансцендентального идеализма, Соцэкгиз, 1936, стр. 345—346.

К стр. 444

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, стр. 135—136.

[2] См. *К. Маркс*, Капитал, т. I, 1955, Послесловие ко второму изданию, стр. 19.

К стр. 447

[1] См. *Гегель*, Соч., т. V, стр. 434—435.
[2] См. *Гегель*, Соч., т. VIII, стр. 385.

К стр. 449

[1] См. *Гегель*, Соч., т. X, 1932, стр. 85.
[2] См. *Гегель*, Соч., т. VII, стр. 356.

[ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ («ОТ ПЕРЕВОДЧИКА») И ПРИМЕЧАНИЯ ПЛЕХАНОВА К КНИГЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА «ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИЧЕСКОЙ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ»]

Произведение Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» было впервые напечатано в 1886 г. в № 4 и 5 журнала «Die Neue Zeit». В 1888 г. Энгельс внес небольшие редакционные изменения и издал эту работу в виде отдельной брошюры, снабдив ее предисловием и опубликовав в приложении к ней «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса. В 1892 г. в Женеве, в серии «Библиотека современного социализма», издававшейся группой «Освобождение труда», вышел первый русский перевод книги Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах...». Перевод был осуществлен Г. В. Плехановым.

Плеханов предпослал своему переводу небольшое предисловие «От переводчика» и написал примечания. В 1905 г. в «Библиотеке научного социализма» в Женеве вышло второе издание плехановского перевода «Людвига Фейербаха», к которому Плехановым было написано новое большое предисловие, а в примечания внесены некоторые изменения и дополнения.

В настоящем томе представлены оба варианта примечаний. Дополнения и изменения, сделанные Плехановым в 1905 г., заключены в угловые скобки. В тех случаях, когда текст первого издания заменен в 1905 г. другим, вариант 1892 г. дается отдельно. Предисловие Плеханова к изданию 1905 г. войдет в третий том «Избранных философских произведений».

Примечания Плеханова печатаются по тексту Сочинений, сверенному с женевскими изданиями 1892 и 1905 гг., а также с хранящимися в Доме Плеханова почти полностью сохранившимися рукописями.

К стр. 451

[1] «*Вопросы философии и психологии*» — реакционный журнал, издававшийся в Москве с 1889 по 1918 г. Вокруг него группировались представители различных идеалистических школ и направлений, сменявших на протяжении ряда лет друг друга,—сначала неокантианцы, потом махисты, «веховцы» и т. п.

[2] Плеханов имеет в виду библиографическое приложение Я. Колубовского к книге Ибервег-Гейнце «История новой философии», Спб. 1890. В третьем разделе этого приложения, «Философия у русских», философии шестидесятых годов посвящены следующие краткие строки: «Бурные шестидесятые годы ознаменованы появлением материализма. *Чернышевский*, *Антонович* и *Писарев* — вот приверженцы этого учения, сильные не

столько основательностью, сколько тем значением, которое они тогда имели. *Юркевичу* нетрудно было справиться с этим направлением, что касается его философских основ, но зато тем труднее ему было идти против влияния этих писателей» (стр. 529).

К стр. 452

[1] Книга Маркса и Энгельса «Die heilige Familie» вышла в 1845 г. До какой степени ее трудно было достать в девяностых годах, свидетельствует хотя бы письмо В. Д. Неразича к Плеханову, написанное в ответ на просьбу последнего раздобыть для него на время эту книгу. Неразич пишет Плеханову из Вены 19 декабря 1892 г.: «...относительно «Heil[ige] Fam[ilie]». Вчера должны были быть сообщены мне результаты переговоров с д-ром Виктором Адлером, который оказался единственным в доступных мне сферах обладателем этой книги... Я постараюсь, чтобы она была переписана, и рукопись я могу отправить вам» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. I, стр. 265—266).

[2] Раздел главы из произведения Маркса и Энгельса «Святое семейство»—«Критическое сражение с французским материализмом» — под заглавием «Der französische Materialismus des XVIII Jahrhunderts» был напечатан в «Neue Zeit» в 1885 г., № 9, стр. 385—395. В 1892 г. Плеханов перевел этот отрывок и поместил в приложении к брошюре «Людвиг Фейербах». Но еще до этого, в 1885 г., он частично перевел, частично изложил его для газеты «Неделя», до того как она превратилась в орган либеральных народников. Статья эта оставалась ненапечатанной — возможно, из-за перемены направления «Недели». Она опубликована посмертно в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. I, стр. 164—168.

[3] В русском переводе книга вышла только в 1906 г. и то не полностью: *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*; Святое семейство или критика критической критики. Против Бруно Бауэра и К°. Избранные места. I. Об умозрительной философии. По поводу Прудона, «Новый голос», Спб. 1906.

[4] *Ф. А. Ланге*, История материализма и критика его значения в настоящее время, Спб. 1881.

[5] *C. N. Starcke*, Ludwig Feuerbach, Stuttgart, F. Enke, 1885.

К стр. 453

[1] Примечание Плеханова сделано после слов Ф. Энгельса: «...его звали, правда, Генрих Гейне» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 341; и в дальнейшем всюду ссылки на страницы произведения Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах» указаны по этому изданию).

[2] *Замечательный труд Гейне* — «К истории религии и философии в Германии» (*Г. Гейне*, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. VII, Academia, 1936, стр. 9—151).

[3] См. «Heinrich Heines Sämtliche Werke». Herausgegeben von Ernst Elster, B. 6, Leipzig und Wien, S. 535 (*Генрих Гейне*, Сочинения, изд. Э. Эльстер, т. 6, Лейпциг и Вена, стр. 535).

К стр. 454

[1] Второе примечание относится к стр. 341—346 произведения Ф. Энгельса. Сделано оно после слов: «Тогдашние пруссаки имели такое правительство, какого они заслуживали» (стр. 342).

[2] Статьи «Бородинская годовщина. *В. Жуковского*» и «Менцель, критик Гете» — см. *В. Г. Белинский*, Полное собрание сочинений, т. III, 1953, стр. 240—250, 385—419.

[3] См. очерк «Юная Москва» из четвертой части мемуаров А. И. Герцена «Былое и думы» (*А. И. Герцен*, Избранные философские произведения, т. II, 1948, Госполитиздат, стр. 183—185).

К стр. 457

[1] См. письмо Белинского В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. (*В. Г. Белинский*, Избранные письма в двух томах, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 141—142). Плеханов, несомненно, ошибается, говоря о снижении уровня «теоретической требовательности» Белинского с начала 40-х годов XIX в., т. е. после его отказа от «примирения с действительностью».

[2] См. письмо Белинского П. В. Анненкову от 15(27) февраля 1848 г.— там же, стр. 389.

К стр. 458

[1] Статью «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» см. в настоящем томе.

«В. Г. Белинский (Речь, произнесенная весною 1898 года по случаю пятидесятилетия со дня смерти Белинского на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне)» — см. *Г. В. Плеханов*, Соч., т. X, стр. 319—349.

[2] Третье примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «...философский плащ служил ей лишь для отвода глаз цензуре» (стр. 347).

К стр. 459

[1] Единственный, двойной выпуск журнала «Немецко-французский ежегодник» вышел в феврале 1844 г. Упоминаемые Плехановым работы Маркса «К еврейскому вопросу», «К критике гегелевской философии права. Введение» и работу Энгельса «Наброски к критике политической экономии» см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, 1955, стр. 382—413, 414—429, 544—571.

Кроме того, в «Немецко-французском ежегоднике» была напечатана рецензия Энгельса на книгу Томаса Карлейля «Прошлое и настоящее» под заглавием «Положение Англии» (там же, стр. 572—597).

[2] «Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe» («Рейнская газета по вопросам политики, торговли и промышленности») выходила ежедневно в Кельне с 1 января 1842 г. по 31 марта 1843 г. Основанная оппозиционными к прусскому правительству радикальными представителями рейнской буржуазии при участии некоторых левых гегельянцев, газета при руководстве Маркса приобрела революционно-демократический характер (см. *В. И. Ленин*, Карл Маркс, Соч., т. 21, стр. 31).

[3] Ленин в статье «Карл Маркс» указывает, что в период работы в «Рейнской газете» «намечается переход Маркса от идеализма к материализму и от революционного демократизма к коммунизму» (там же, стр. 63).

[4] Имеется в виду та же «Рейнская газета». Название «Кельнская газета» может ввести в заблуждение, так как в Кельне одновременно выходила реакционная «Кельнская газета» («Kölnische Zeitung»), возглавлявшаяся тайным агентом прусского правительства Гермесом.

[5] Статьи Маркса в «Рейнской газете» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, 1955, стр. 30—217).

К стр. 460

[1] «Новая Рейнская газета» («Neue Rheinische Zeitung») выходила с 1 июня 1848 г. по 19 мая 1849 г. Энгельс в статье «Маркс и «Новая Рейнская газета»» писал в 1884 г., что под руководством Маркса «Новая Рейнская газета» «стала самой известной немецкой газетой революционных годов...». «Ни одна из немецких газет — ни раньше, ни после — не обладала подобной силой и влиянием, не умела так электризовать пролетарские массы, как «Новая Рейнская Газета»» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, 1955, стр. 314, 319).

Ленин называл «Новую Рейнскую газету» «лучшим, непревзойденным органом революционного пролетариата» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 21, стр. 64).

[2] Четвертое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: ««субстанция» или «самосознание»» (стр. 348).

К стр. 464

[1] В русском издании: *Д. Штраус*, Жизнь Иисуса, кн. 1, перев. с нем. В. Ульриха, Лейпциг — Спб. 1907, стр. 111—112, 113, 114.

К стр. 466

[1] Полное название книги Б. Бауэра: «Правое дело свободы и мое собственное дело» (*B. Bauer*, Die gute Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit).

К стр. 468

[1] «Святое семейство, или критика критической критики. Против Бруно Бауэра и компании» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 3—230).

[2] Михайловский выступил с возражением по поводу спенсеровой теории прогресса в ряде работ: «Что такое прогресс?», «Что такое счастье?», «Записки профана» (*Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. I, т. III, Спб. 1906, 1909). В этих работах выражены разногласия между двумя направлениями буржуазной позитивистской социологии.

К стр. 469

[1] Пятое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности» (стр. 348).

[2] См. примечание 2 к стр. 451.

[3] См. *Л. Фейербах*, Избранные философские произведения, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 7—405.

[4] Плеханов использует для изложения главным образом главу вторую — «Общая сущность религии» (стр. 41—63). Цитата из Лейбница приведена Фейербахом в примечании на стр. 43 указанного издания.

К стр. 470

[1] Анкета, предпринятая социалистическим журналом «Mouvement socialiste», выходившим в Париже с января 1899 г. под редакцией Лагарделя, была вызвана ожесточенной борьбой, которую вело в начале девятисотых годов республиканское правительство Франции с католической церковью и которая закончилась в 1905 г. отделением церкви от государства.

Ответы, полученные от социалистов разных стран, были опубликованы в четырех номерах журнала за 1902 г., № 107—110 от 1 и 15 ноября и от 1 и 15 декабря.

К стр. 471

[1] См. *Ф. Энгельс*, Положение Англии (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, 1955, стр 592).

[2] См. *К. Маркс*, К критике гегелевской философии права. Введение (там же, стр. 415).

[3] Плеханов имеет в виду Бердяева, Булгакова и других «легальных марксистов», выступивших в конце девяностых годов с «критикой» Маркса с кантианских позиций и позднее, после революции 1905 г., перешедших к богоискательству и религиозному мистицизму.

[4] Шестое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «Типичным представителем этого направления был г. Карл Грюн» (стр. 349).

К стр. 472

[1] См. *Ф. Меринг*, История германской социал-демократии, т. I, 1923, стр 237 242.

[2] Критический разбор книги Карла Грюна представляет собой главу из «Немецкой идеологии» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 3, 1955, стр. 489—534).

[3] «Das Westphälische Dampfboot» («Вестфальский пароход») — ежемесячный журнал, издававшийся «истинным социалистом» О. Люнингом в Билефельде и затем в Падерборне с января 1845 г. по март 1848 г.

[4] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, 1955, стр. 451—453.

К стр. 473

[1] «Освобождение» — журнал, выходивший под редакцией П. Б.Струве в Штутгарте и Париже в 1902—1905 гг. С 1904 г. — орган либерально-буржуазного «Союза освобождения», составившего в 1905 г. ядро партии кадетов.

Контрреволюционный, антипролетарский характер журнала был разоблачен в резолюции, предложенной Плехановым и Лениным и принятой на II съезде РСДРП в 1903 г.

[2] Газета «Пролетарий» — центральный орган РСДРП. Издавалась в Женеве с 14(27) мая по 12(25) ноября 1905 г. Редактором газеты был В. И. Ленин. Газета явилась преемницей ленинской «Искры» и большевистской газеты «Вперед», став идейным и организационным центром большевизма в период первой русской революции. В газете разоблачалась меньшевистская тактика соглашения с буржуазией. В своих дополнениях в примечаниях к книге Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах», сделанных в 1905 г., Плеханов-меньшевик пытается опорочить проводимую газетой «Пролетарий» ленинскую теорию гегемонии пролетариата в буржуазной революции, изобразив ее как возвращение к «народовольству».

К стр. 474

[1] См. *Ф. Энгельс*, Крестьянская война в Германии, Госполитиздат, 1953, стр. 96.

Эти же положения Энгельса разобраны в статье В. И. Ленина «Социал-демократия и временное революционное правительство» (*В. И. Ленин*, Соч., т. 8, стр. 251—253 и сл.), где показано «различие точек зрения революционной социал-демократии и хвостизма» (стр. 253).

[2] В угоду меньшевизму, чтобы нанести фракционный ущерб большевикам, Плеханов в 1905 г. приписывает Ленину бланкизм. Плеханов выступает против решений III съезда РСДРП о необходимости создания революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, ограничивая задачи первой русской революции установлением буржуазно-демократической парламентской республики. Ленин же в создании и деятельности Временного революционного правительства усматривал важнейшую предпосылку перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

[3] Седьмое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «...тайком протаскивать материализм, публично отрекаясь от него» (стр. 352). В переводе Плеханова: «тот самый материализм, который изгоняется на глазах публики».

К стр. 475

[1] См. *Д. Юм*, Исследование о человеческом уме. Перев. с английского, Петроград 1916, стр. 178.

К стр. 478

[1] См. *И. Кант*, Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки, Соцэкгиз, 1937, стр. 87.

[2] См *П. Гольбах*, Система природы или о законах мира физического и мира духовного, Соцэкгиз, 1940, стр. 25.

[3] См. *Ф. А. Ланге*, История материализма и критика его значения в настоящее время, Спб. 1881, стр. 349.

К стр. 479

«Ничего нет внутри, ничего нет снаружи;
Ибо то, что внутри, то и снаружи.
Так схватывайте без промедленья
Святую открытую тайну»

«Göthe's Werke», Berlin, Ausgabe Gustav Humpel, T. 2, S. 230.

К стр. 480

[1] См. *Гегель*, Наука логики, Соч., т. V, 1937, стр. 43—45, 583.

[2] Полемика Пристли с Прайсом зафиксирована в вышедшей в 1778 г. в Лондоне книге: «D. Priestley, A free discussion of the doctrines of materialism and philosophical necessity».

[3] См. *И. М. Сеченов*, Избранные философские и психологические произведения, Госполитиздат, 1947, стр. 350, 359.

К стр. 481

[1] См. *И. Кант*, Общая естественная история и теория неба (Избранные отрывки) («Классические космогонические гипотезы», Гиз, 1923).

К стр. 484

[1] Статьи Плеханова против К. Шмидта см. во втором томе настоящего издания

К стр. 487

[1] В данном случае Плеханов «обнаруживает путаницу терминов», указывает В. И. Ленин (см. «Материализм и эмпириокритицизм», Соч., т. 14, стр. 128).

[2] См. *Л. Фейербах*, Против дуализма тела и души, плоти и духа, Избранные философские произведения, т. I, Госполитиздат, 1955, стр. 213—214.

К стр. 488

[1] Восьмое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «...ограниченность классического французского материализма» (стр. 354).

[2] Диалектико-материалистическое решение вопроса о недопустимости смазывать специфический характер качественно различных форм движения материи, о недопустимости сведения этих форм к одной из них дал *Ф. Энгельс* (см. «Диалектика природы», Госполитиздат, 1955, стр. 197, 200).

[3] См. *Ренэ Декарт*, Избранные произведения, Госполитиздат, 1950, стр. 595—623 («Страсти души», часть первая, «Страсти вообще и кстати о всей природе человека»).

[4] «Система природы или о законах мира физического и мира духовного» — главное произведение Гольбаха, изданное в Амстердаме в 1770 г. под псевдонимом М. Мирабо и с обозначением на титульном листе вымышленного места издания — Лондон. «Система природы» долгое время приписывалась группе авторов.

[5] См. *Поль Гольбах*, Система природы, Соцэкгиз, 1940, стр. 56.

К стр. 489

[1] *Поль Гольбах*, Система природы, стр. 199.

[2] Девятое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «А между тем Гегель был законченный идеалист» (стр. 357).

[3] У Успенского в цикле рассказов «Живые цифры» есть такие слова: «Так вот какие иногда многосложные вещи таятся в статистических дробях! Думаешь, думаешь над этими ноликами, делаешь разные вычисления, а нежданная слеза возьмет, да все и запачкает!» (*Г. И. Успенский*, Полное собрание сочинений, т. X, кн. 2, изд. АН СССР, 1954, стр. 179).

К стр. 491

[1] См. *Р. Штаммлер*, Хозяйство и право с точки зрения материалистического понимания истории, т. II, Спб. 1907, стр. 97.

[2] См. *И. Кант*, Критика практического разума, Спб. 1908, стр. 20.

[3] См. *И. Кант*, Основоположение к метафизике нравов, М. 1912, стр. 45.

К стр. 492

[1] См. *Hegel*, Werke, Bd. I, Berlin 1832, S. 349—359 (*Гегель*, Сочинения, т. I, Берлин 1832, стр. 349—359). Изложение этого места имеется в «Истории новой философии» К. Фишера, т. VIII, ч. I, М.—Л. 1933, стр. 209—210.

[2] См. *И. Кант*, Основоположение к метафизике нравов, М. 1912, стр. 61.

К стр. 493

[1] «*Ксении*» (греч.— застольные дары гостеприимства) — сатирические эпиграммы Шиллера и Гете. Бóльшая часть их написана Гете и Шиллером совместно.

[2] Цитата в подстрочном примечании представляет собой конец стихотворения «Философы» (1796 г.) (см. *Шиллер*, Собрание сочинений в восьми томах, т. I, Academia, 1937, стр. 164).

К стр. 494

[1] См. *Ч. Дарвин*, Происхождение человека и половой отбор, гл. V (Соч., т. 5, изд. АН СССР, 1953, стр. 240—256). Критику попыток перенесения биологических понятий в область общественных наук дал В. И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (Соч., т. 14, стр. 314—315).

[2] См. *Hegel*, Werke, Bd. I, Berlin 1832, S. 105—106 (*Гегель*, Сочинения, т. I, Берлин 1832. стр. 105—106), Приведенную Гегелем цитату из Якоби см. *Jacobi*, Werke, Bd. 3, S. 37—38 (*Якоби*, Сочинения, т. 3, стр. 37—38).

[3] Десятое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «Непрерывным доказательством этого служит, например, история феодализма и буржуазии» (стр. 362).

К стр. 495

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, стр. 347 и сл., 437 и сл.

К стр. 496

[1] Одиннадцатое примечание сделано после слов Ф. Энгельса: «Но, разумеется, здесь мы не можем пускаться в подобное исследование» (стр. 376).

[2] См. *Л. Морган*, Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Перев. с англ. под ред. М. О. Косвена. Со статьей Ф. Энгельса «К доистории семьи (Баховен, Мак Леннан, Морган)», Л. 1935.

[3] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. II, стр. 160—310.

[4] См. *H. Cunow*, Die soziale Verfassung des Inkareichs. Eine Untersuchung des altperuanischen Agrarkommunismus, Stuttgart, Dietz, 1896 [*Г. Кунов*, Социальный строй государства инков. Исследование древнеперуанского аграрного коммунизма, Штутгарт, изд. Дитца, 1896] и его статьи «Les bases économiques du matriarcat» («Экономические основы матриархата»), опубликованные в журнале «Le devenir social» («Социальное будущее»), 1898, № 1, 2 и 4.

К стр. 497

[1] См. *К. Штейнен*, Среди первобытных народов Бразилии, «Молодая гвардия», 1935.

[2] См. *Ф. Ратцель*, Народоведение, т. I, Спб. 1900, стр. 25—26.

[3] См. *Э. Гроссе*, Происхождение искусства, М. 1899; *К. Бюхер*, Работа и ритм, 1899.

К стр. 498

[1] См. *Э. Зелигмэн*, Экономическое понимание истории. Перев. с англ. Б. Смирнова, Спб. 1905, стр. 81 и сл.

К стр. 501

[1] Критику ошибки Плеханова по вопросу об «иероглифах» В. И. Ленин дал в «Материализме и эмпириокритицизме» (Соч., т. 14, стр. 219—226).

К стр. 503

[1] *Ф. Ленорман*, Руководство к древней истории Востока до Персидских войн, т. 1—2, Киев 1876—1879.

[2] *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения, т. I, стр. 208—302.

[3] *Ж. Телон*, Происхождение семьи. О состоянии общества до патриархального периода, Спб. 1876.

БУРЖУА ПРЕЖНИХ ВРЕМЕН

Статья «Буржуа прежних времен» была написана Плехановым в связи с международным пролетарским праздником 1 Мая для французского журнала «Le Socialiste» и появилась в № 135 этого журнала от 23 апреля 1893 г. под заглавием «Les bourgeois d'autrefois». На русском языке она была опубликована впервые только посмертно в Сочинениях Плеханова, т. XXIV, стр. 335—337.

В настоящем издании печатание производится по тексту Сочинений, сверенному с французской публикацией статьи в журнале «Le Socialiste».

К стр. 504

[1] См. *К. А. Гельвеций*, О человеке, его умственных способностях и его воспитании, Соцэкгиз, 1938, стр. 304—305.

[2] Там же, стр. 302.

[3] Там же, стр. 303.

К стр. 505

[1] См. *К. А. Гельвеций*, О человеке, его умственных способностях и его воспитании, стр. 252—253.

К стр. 506

[1] См. *К. А. Гельвеций*, О человеке, его умственных способностях, стр. 264.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МОНИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА НА ИСТОРИЮ

Книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», лучшая из марксистских работ Плеханова, вначале была озаглавлена им «Наши разногласия, ч. II» для нелегальной публикации. Однако ввиду открывшейся возможности напечатать книгу легально отпало и заглавие

«Наши разногласия», которое немедленно разоблачило бы автора (см. примечание в настоящем издании к «Нашим разногласиям» на стр. 782). Книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» вышла в январе 1895 г. под псевдонимом Бельтов. История этой книги раскрылась сравнительно недавно по сохранившимся в архиве Плеханова отрывкам первоначальных редакций, по найденным корректурным листам, уже набранным за границей, и по другим неизвестным до настоящего времени материалам (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV).

Небезинтересно отметить, что первой написанной Плехановым главой книги была заключительная, трактующая вопрос о применимости марксизма в России и о взгляде на этот вопрос самого Маркса, высказанном в его знаменитом письме в редакцию «Отечественных записок». При разборе плехановского архива были найдены две первоначальные редакции этой главы, написанные, по всем данным, в конце 1892 г. и предназначавшиеся для помещения в легальном журнале. Плеханов хотел поместить ее в «Северном вестнике», но это ему не удалось. Озаглавленная в одной редакции «Странное недоразумение», в другой— «Маленькое недоразумение», она тогда не увидела света и была напечатана впервые только посмертно, в 1937 г., в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. IV.

Труд «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» печатается по тексту седьмого тома (1925 г.) Сочинений Плеханова, выверенному для настоящего издания по первому изданию 1895 г. и по второму изданию 1905 г.

К стр 507

[1] Близость революции 1905 г. дала возможность выпустить второе издание книги в России. Предполагаемое второе издание книги за границей не вышло. В это же время (1904 г.) умер Михайловский, главный противник, против которого в первую голову были направлены полемические стрелы Плеханова. Как второе издание 1905 г., так и третье издание 1906 г. вышли без каких-либо существенных перемен. А между тем назрела необходимость в дополнениях к первому изданию, о чем пишет Плеханов в письме от 9 февраля 1904 г. к Бернской группе содействия РСДРП (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, 1937, стр. 203). В архиве сохранился интересный документ — сжатый черновой набросок таких дополнений, ряд намеков, которые должны были получить в книге Бельтова развитие. Этот документ в расшифрованном виде опубликован в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 203—236. Ниже, в комментарии, приведены некоторые из этих дополнений.

К стр 508

[1] См. примечание на стр. 824 настоящего издания к статье «Несколько слов нашим противникам».

[2] Имеется в виду статья Н. Кудрина «На высотах объективной истины», представляющая собой рецензию на книгу Бельтова; напечатана в № 5 «Русского богатства» за 1895 г., стр. 144—170.

[3] Кудрин упрекает Бельтова (Плеханова) в том, что он «взял цитату не в самом тексте Плутарха, а случайно напал на плохой ее перевод в какой-нибудь книжке» (стр. 146).

К стр. 509

[1] Цитируемая здесь и в дальнейшем статья Н. К. Михайловского, напечатанная в «Русском богатстве», 1894 г., № 1, как одно из очередных его обозрений, шедших в этом журнале под общим заголовком «Литература и жизнь», была одной из первых статей, которыми либеральные народники открыли поход против марксистов.

К стр. 516

[1] Книга В. В. (Воронцова) «Судьбы капитализма в России» вышла в 1882 г. Сборник «Итоги экономического исследования России по данным земской статистики, т. I. Крестьянская община» — в 1892 г.

К стр. 522

[1] Эпоха реставрации Бурбонов во Франции охватывает 1814—1830 гг., со времени вступления на престол Людовика XVIII до Июльской революции 1830 г.

К стр. 523

[1] Гегель говорит о французских материалистах XVIII в. в третьей книге своих «Лекций по истории философии» (см. *Гегель*, Соч., т. XI, Соцэкгиз, 1935, стр. 381—399).

К стр. 526

[1] *Англиканская церковь* — государственная церковь в Англии, возникла в XVI в. в результате реформации, проведенной королевской властью, заинтересованной в подчинении церкви и усилении абсолютистского государства.

Пресвитериане — последователи кальвинизма в Англии и Шотландии, стояли в оппозиции к господствующей англиканской церкви. Они выражали интересы крупной буржуазии и сыграли видную роль в английской буржуазной революции XVII в.

[2] *Виги* — английская политическая партия, возникла в 1679—1682 гг., опиралась на высшие финансовые круги, обуржуазившуюся земельную аристократию и купеческий капитал; сыграла большую роль в революции 1688—1689 гг. К середине XIX в. преобразовалась в либеральную партию.

К стр. 527

[1] *F. A. Mignet*, Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814, Paris 1824 (*Ф. О. Минье*, История французской революции от 1789 до 1814, Париж 1824). Имеется несколько русских изданий.

К стр. 529

[1] *F. P. G. Guizot*, «Histoire générale de la civilisation en Europe» и «Histoire générale de la civilisation en France» (*Ф. П. Г. Гизо*, «История цивилизации в Европе» и «История цивилизации во Франции»).

К стр. 531

[1] См. *Огюстен Тьерри*, Завоевание Англии норманнами, М. 1900, стр. 51 и 55.

[2] См. *Огюстен Тьерри*, Опыт истории происхождения и успехов третьего сословия (*О. Тьерри*, Избранные сочинения, Соцэкгиз, 1937, стр. 1—204).

К стр. 532

[1] Эти мысли Кондорсэ развивает в книге «Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain», t. 1—2, Paris 1794, на которую Плеханов неоднократно ссылается и в других работах (см. *Кондорсэ*, Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума, 1936).

К стр. 533

[1] *F. Arnaud*, l'abbè, Discours, prononcé dans l'Académie française le 13 mai 1771 à la réception de M. l'abbé Arnaud, Paris 1771 (*Ф. Арно*, аббат, Речь, произнесенная во Французской академии 13 мая 1771 г. при принятии аббата Арно, Париж 1771).

К стр. 537

[1] Автор примечаний к Миллю — Н. Г. Чернышевский, который посвятил ряд страниц критике мальтузианства (см. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. IX, Гослитиздат, 1949, стр. 251—334).

[2] Впервые термин «герои и толпа» употреблен Михайловским в так озаглавленной его статье, написанной в 1882 г. (см. *Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. II, Спб. 1907, стр. 95—190).

К стр. 545

[1] *Сикофанты* — в древних Афинах профессиональные сутяги и доносчики

К стр. 546

[1] Н. Г. Чернышевскому.

К стр. 547

[1] Английские социалисты-утописты 20-х годов XIX в., которых имеет здесь в виду Плеханов,— Роберт Оуэн и его ученики Уильям Томпсон, Томас Годскин, Джон Грей и др.

К стр. 550

[1] В формулировке Михайловского дуализм выражался в утверждении существования двух правд — «правды-истины» (действительное) и «правды-справедливости» (должное).

К стр. 551

[1] *Доктринеры* — группа умеренных буржуазных либералов, игравшая видную роль в политической жизни Франции в эпоху реставрации. Доктринеры были ярыми противниками демократии и республики, отрицали самые принципы революции и ее правомерность, но признавали новый гражданский порядок, т. е. новый, буржуазный экономический строй.

[2] *Костанжогло* — персонаж из второй части «Мертвых душ» Гоголя.

К стр. 552

[1] См. *К. А. Гельвеций*, О человеке, его умственных способностях и его воспитании, Соцэкгиз, 1938, стр. 336.

К стр. 553

[1] Цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», ч. 2, гл. IV.

К стр. 554

[1] Крестьянский поземельный банк, на который возлагали свои надежды либеральные народники, был учрежден царским правительством в 1882 г. якобы для содействия крестьянам в покупке земли. На деле этот банк, идя навстречу дворянству, вздувал цены на помещичьи земли и служил орудием для насаждения и укрепления кулацких элементов в деревне.

[2] Слова «ликовавшие» и «праздноболтавшими» — перефразировка стихотворения Некрасова «Рыцарь на час»:

> «От ликующих, праздно болтающих,
> Обагряющих руки в крови,
> Уведи меня в стан погибающих
> За великое дело любви!»

К стр. 556

[1] *Николай — он* (Даниельсон), русский народник, был первым переводчиком на русский язык «Капитала» Маркса, отчего приобрел незаслуженную репутацию марксиста. Первый том «Капитала» (переведенный им вместе с Германом Лопатиным) вышел в 1872 г., второй — в 1885 г. и третий — в 1896 г. В связи с этим у Николая — она завязалась оживленная переписка с Марксом и Энгельсом.

К стр. 557

[1] «Le producteur» («Производитель») — орган сен-симонистов, выходивший в Париже в 1825—1826 гг. Он был основан перед смертью самим Сен-Симоном и редактировался его учениками Базаром, Анфантеном, Родригесом и др. Эпиграфом этого журнала были слова:

«L'âge d'or, qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans le passé, est devant nous» («Золотой век, который слепая традиция до сих пор относила к прошлому, находится впереди нас»).

[2] «Globe» («Земной шар») — орган сен-симонистов с 1831 г. Основан Пьером Леру в 1824 г.

К стр. 559

[1] Альбион — древнее название Британских островов.

К стр. 566

[1] Гете так писал об этом в «Wahrheit und Dichtung» («Поэзия и правда»): «Запрещенные книги, осужденные на сожжение, производившие тогда много шума, не имели на нас никакого влияния. Для примера я назову «Système de la Nature», с которой мы познакомились из любопытства. Мы не могли понять, как такая книга могла быть опасной; она представлялась нам такою мрачной, киммерийской, мертвенной, что нам трудно было выносить ее содержание, и мы содрогались перед ней, как перед призраком» (*Гете*, Собрание сочинений в тринадцати томах, т. X, 1937, стр. 48).

К стр. 567

[1] Цитата из «Фауста» Гете.

[2] В комедии Шекспира «Венецианский купец» ростовщик Шейлок ссужает деньги молодому купцу Антонио под условием, что в случае невыплаты долга в срок он может взять у должника фунт мяса, вырезав его как можно ближе к сердцу. Выступающая под видом адвоката возлюбленная Антонио высказывается в пользу Шейлока ввиду формальной законности его иска. Но в то же время, предлагая ему осуществить свое право, она настаивает на точном соблюдении буквы договора: «Тут в векселе ни слова нет о крови... и ровно фунт, не больше и не меньше» (см. *В. Шекспир*, Избранные произведения, Гослитиздат, 1950, стр. 196—197).

К стр. 572

[1] См. *Ф. Лассаль*, Система приобретенных прав, Соч., изд. «Круг», т. III, стр. 231.

К стр. 575

[1] *Марафонская битва* афинян с персами (490 г. до н. э.) закончилась победой Афин. Эта битва предопределила благоприятный для греков исход второй греко-персидской войны и способствовала расцвету афинской демократии.

[2] См. *Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947, стр. 208.

К стр. 577

[1] См. *Н. Г. Чернышевский*, Критика философских предубеждений против общинного владения, Полное собрание сочинений, т. V, Гослитиздат, 1950, стр. 391.

К стр. 578

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, Госполитиздат, 1955, стр. 123.

К стр. 579

[1] Белинский писал Боткину 1 марта 1841 г. о философии Гегеля: «Благодарю покорно, Егор Федорыч,— кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лествицы развития,— я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II, и пр., и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою» (*В. Г. Белинский*, Избранные письма, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 141).

К стр. 581

[1] Статья Михайловского, из которой заимствованы настоящая и следующая цитаты,— «О диалектическом развитии и тройственных формулах прогресса»,— вошла в Полное собрание его сочинений, т. VII, Спб. 1909, стр. 758—780.

[2] См. *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 127—128.

К стр. 582

[1] Куплет из оперетты Оффенбаха «Прекрасная Елена» (авторы текста Мельяк и Галеви).

К стр. 583

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, 1930, стр. 334—335.

[2] Имеется в виду высказывание Энгельса о Руссо в гл. XIII «Анти-Дюринга» (см. *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, стр. 131—132).

К стр. 585

[1] См. *Ж. Ж. Руссо*, О причинах неравенства, Спб. 1907, стр. 104.

К стр. 587

[1] Статья Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» была напечатана в «Отечественных записках» за 1877 г., № 10 (см. *Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. IV, Спб. 1909, стр. 165—206).

[2] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, стр. 134.

К стр. 588

[1] *Ф. Энгельс*, Анти-Дюринг, стр. 20—21.

[2] Первое полное русское издание «Анти-Дюринга» вышло в 1904 г.

К стр. 589

[1] Гегель пишет в предисловии к «Философии права»: «Когда философия начинает рисовать своей серой краской по серому, это показывает, что

некоторая форма жизни постарела, и своим серым по серому философия может не омолодить, а лишь понять ее; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерок» (*Гегель*, Соч., т. VII, 1934, стр. 17—18).

Плеханов говорит об этих положениях Гегеля в статье «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» (см. настоящее издание, т. I).

К стр. 591

[1] *Leibnitz*, Essais de Theodicée.—В кн.: «Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibnitz», Bd. 6, Berlin 1885, S. 130 (*Лейбниц*, Теодицея. — В кн.: «Философские произведения Готфрида Вильгельма Лейбница», т. 6, Берлин 1885, стр. 130).

[2] См. *Б. Спиноза*, Письмо Г. Г. Шуллеру от октября 1674 г. — В кн.: *Б. Спиноза*, Переписка, 1932, стр. 188—191.

К стр. 594

[1] См. *Шеллинг*, Система трансцендентального идеализма, 1936, стр. 355.

К стр. 596

[1] Эти мысли Гегель развивает в своей книге «Философия истории».

К стр. 597

[1] Плеханов имеет здесь в виду Маркса. Приведенная ниже цитата взята из «Святого семейства» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 63—64).

К стр. 598

[1] См. *Schelling*, Ideen zu einer Philosophie der Natur, Landshut 1803, S. 223 (*Шеллинг*, Идеи из области философии природы, Ландсхут 1803, стр. 223).

[2] См. *Гегель*, Философия истории, Соч., т. VIII, 1935, стр. 246.

К стр. 604

[1] Автор «Исторических писем» — П. Л. Лавров. «Исторические письма» вышли в Петербурге в 1870 г. под псевдонимом П. Л. Миртов.

[2] *Демиург* — создатель, творец.

К стр. 606

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 94—95.

[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 12.

К стр. 608

[1] *К. Маркс*, Предисловие к «К критике политической экономии» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, 1955, стр. 321).

К стр. 610 и 611

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, 1955, стр. 63.

К стр. 612

[1] Плеханов имеет в виду книгу Марциуса «Von dem Rechtszustande unter den Ureinwohnern Brasiliens», München 1832 («О правовом состоянии первобытных обитателей Бразилии», Мюнхен 1832).

К стр. 613

[1] См. *К. Маркс*, Капитал, т. I, 1955, стр. 517.

К стр. 617

[1] В дополнениях, не включенных во второе издание, Плеханов развивает эти мысли значительно полнее (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, 1937, стр. 209).

[2] См. *Л. Морган*, Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Перев. с англ. под ред. М. О. Косвена. Со статьей Ф. Энгельса «К доистории семьи (Баховен, Мак Леннан, Морган)», Л. 1935.

[3] Посмертную публикацию статьи Плеханова против Вейзенгрюна, одного из ранних «критиков» Маркса, см. в «Литературном наследии Г. В. Плеханова», сб. V, стр. 10—17.

К стр. 622

[1] *Историческая школа права* — реакционное направление в германской юриспруденции конца XVIII и первой половины XIX в., выступившее в защиту крепостничества и феодальной монархии против государственно-правовых идей французской революции. Главными представителями этой школы были Гуго, Савиньи и Пухта.

К стр. 627

[1] Ковалевский цитирует в упоминаемой Плехановым книге известного французского юриста Лерминье (см. цитированную книгу Ковалевского, стр. 54).

К стр. 630

[1] Имеется в виду книга: *H. Rink*, Tales and traditions of the eskimo with a sketch of their habits, religion, language and other peculiarities, Edinbourgh and London 1875 (*Г. Ринк*, Легенды и предания эскимосов с кратким очерком их обычаев, религии, языка и других особенностей, Эдинбург и Лондон 1875).

К стр. 633

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, 1955, стр. 322.

К стр. 635

[1] См. *К. Маркс*, Капитал, т. I, 1955, стр. 184.

К стр. 637

[1] См. *Георг Бюхнер*, Письмо к невесте, Весна 1834 г., Соч., Academia, 1935, стр. 295.

К стр. 639

[1] Плеханов говорит о книге Л. И. Мечникова «La civilisation et les grands fleuves historiques». Avec une préface de M. Elisée Reclus, Paris 1889 («Цивилизация и великие исторические реки». С предисловием Элизэ Реклю, Париж 1889). В советском издании «Голос труда», 1924.

К стр. 640

[1] Плеханов имеет в виду возражения, сделанные Марксу Паулем Бартом в книге «Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer bis auf Marx und Hartmann», Leipzig 1890, S. 49—50 («Философия истории Гегеля и гегельянцев до Маркса и Гартмана», Лейпциг 1890, стр. 49—50).

К стр. 643

[1] «*Слово и дело*» государево — условное название царского политического сыска в Российской империи XVIII в. «Сказывать слово и дело» значило доносить о государственных преступлениях.

К стр. 645

[1] Цитата из статьи Н. И. Кареева «Экономический материализм в истории», «Вестник Европы», июль 1894 г., стр. 7.

К стр. 652

[1] Цитата из статьи Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. I, 1955, стр. 235—236, 238).

К стр. 653

[1] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, 1955, стр. 425.

К стр. 657

[1] Имеются в виду трагедии Сумарокова, Княжнина, Хераскова и других русских драматургов XVIII в.

К стр. 658

[1] «*Glorious revolution*» («Славная революция») — государственный переворот 1688—1689 гг. в Англии; «*great rebellion*» («великий бунт») — Французская буржуазная революция конца XVIII в.

[2] Во всех изданиях ошибочно напечатано «Псевдоклассическая английская литература».

К стр. 662

[1] Автор «Нового христианства» — Сен-Симон.

К стр. 665

[1] Цитата из «Введения» к «К критике гегелевской философии права» — см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 1, 1955, стр. 425—426.

К стр. 668

[1] Цитата из диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (Полное собрание сочинений, т. II, 1949, стр. 10—11).

К стр. 673

[1] Цитата из первого тезиса Маркса о Фейербахе (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, 1955, стр. 383).

К стр. 674

[1] В новом издании Плеханов собирался расшифровать это место, умышленно завуалированное из цензурных соображений. В сохранившихся в архиве неиспользованных им дополнениях к этому месту относится следующая заметка: «Скалозуб — цензура. Пояснить историей того же Бельтова, «Сборника», «Нового слова» и «Начала»».

Этот перечень включает издания, пострадавшие от цензурных гонений: книга Плеханова (Бельтова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», быстро разошедшаяся в первом издании и к тому же изъятая из библиотек, не могла быть переиздана в течение десяти лет, до 1905 г.; марксистский сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития», напечатанный в 1895 г., пролежал в цензуре полтора года, а затем весь тираж, кроме случайно сохранившихся нескольких экземпляров, был сожжен; журнал «Новое слово» был закрыт уже в декабре 1897 г.; журнал «Начало», явившийся в 1899 г. его продолжением, был закрыт на пятом номере. Таким образом, марксисты были почти лишены легальной трибуны, в то время как народники пользовались ею совершенно свободно.

К стр. 675

[1] В неопубликованных дополнениях Плеханов делает к этому месту такое замечание:

«Не понимали, что нельзя признавать *экономические* взгляды Маркса и отрицать его *исторические* взгляды: «Капитал» есть также и историческое исследование. Но «Капитал» плохо поняли и многие «марксисты». Судьба 3-го тома, Струве, Булгаков, Туган-Барановский искажали экономические теории Маркса» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 223).

[2] Речь идет о знаменитом письме К. Маркса в редакцию «Отечественных записок», написанном в конце 1877 г. по поводу статьи одного из редакторов журнала, Н. К. Михайловского, «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» («Отечественные записки», 1877 г., № 10). Письмо это осталось неотправленным и было найдено Энгельсом в бумагах Маркса уже после его смерти. Оно было опубликовано в «Вестнике Народной воли», 1886 г., № 5, и в легальном «Юридическом вестнике», 1888 г., № 10. Обычно письмо это именовали неправильно письмом к Михайловскому, хотя Маркс говорит в нем о Михайловском только в третьем лице (см. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», Госполитиздат, 1951, стр. 220—223).

В письме Маркс возражает против искажения его взглядов, против желания превратить его «...исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены итти все народы, каковы бы ни были исторические обстоятельства, в которых они оказываются...». За это место в письме и ухватились народники, усмотрев в нем подтверждение своих упований на особые пути развития России (см. *Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. VII, Спб. 1909, стр. 327; см. также настоящее издание, прим. к стр. 706).

К стр. 676

[1] Маркс говорит о французских материалистах XVIII в. в «Святом семействе», в разделе «Критическое сражение с французским материализмом» главы «Третий поход абсолютной критики» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 138—148), а также в «Немецкой идеологии» (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 3, 1955, стр. 409—412).

К стр. 677

[1] В 1892 г. Михайловский писал в «Русской мысли», № 6, стр. 90, что философская теория Маркса «изложена в шестой главе «Капитала» под скромным заглавием «Так называемое первоначальное накопление»» (см. *Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. VII, Спб. 1909, стр. 321).

К стр. 679

[1] К этому месту Плеханов хотел сделать дополнение: «О «*некогда*». Объяснить борьбой классов» (см. «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 223).

К стр. 682

[1] Имеется в виду книга В. Блоса «История германской революции 1848 г.». В издании 1922 г.: «Германская революция. История движения 1848—1849 года в Германии».

К стр. 684

[1] В рассказе Глеба Успенского «Будка» старик, занимающийся снабжением маленького бродячего оркестра струнами, с гордостью говорит, что струны у него дорогие, «не какая-нибудь собачья дрянь», потому что ему иначе нельзя: «ежели я только что и дышу струною, так уж я должен, чтобы она в полном звуке была».

[2] Характеризуя творчество Бальзака в письме к Маргарет Гаркнес от начала апреля 1888 г., Энгельс писал, что из романов Бальзака он «даже в смысле экономических деталей узнал больше... чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные письма, Госполитиздат, 1953, стр. 405—406).

К этому месту имеется следующая заметка Плеханова: «Г. И. Успенский смело может быть поставлен рядом с Бальзаком в этом отношении. Его «Власть земли». См. мою статью: «Г. И. Успенский» в сборнике «*Социал-демократ*»» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 224). В Сочинениях Плеханова статья об Успенском находится в т. X.

К стр. 686

[1] Книга Моргана вышла в 1877 г.

[2] Энгельс говорит об этом в предисловии к своей книге «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии», датированном 21 февраля 1888 г. (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, 1955, стр. 340).

К стр. 687

[1] *Квазимодо* — персонаж из романа Гюго «Собор парижской богоматери».

К стр. 692

[1] Г. В. Плеханов цитирует восьмой тезис Маркса о Фейербахе (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, 1955, стр. 385).

К стр. 694

[1] Ю. Жуковский разбирает «Капитал» в статье «Карл Маркс и его книга о капитале» («Вестник Европы», 1877 г., кн. 9).

К стр. 701

[1] Энгельс дает такую характеристику Карла Гейнцена: «Г-н Гейнцен — бывший либеральный мелкий чиновник, который еще в 1844 г. мечтал о прогрессе в рамках закона и о жалкой немецкой конституции» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, 1955, стр. 269).

[2] Плеханов имеет здесь в виду статьи Маркса и Энгельса против Гейнцена, напечатанные в 1847 г в газете «Deutsche-Brüsseler-Zeitung». Энгельсу принадлежат там две статьи: «Коммунисты и Карл Гейнцен», Марксу — статья «Морализирующая критика и критизирующая мораль». В Собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса эти статьи вошли в т. 4, 1955, стр. 268—285, 291—321.

[3] Приведенные слова Энгельса находятся в следующем тексте: «Г-н Гейнцен воображает, конечно, что можно изменять и приспосабливать по произволу отношения собственности, право наследования и т. д. Г-н Гейнцен — один из невежественнейших людей этого столетия — может, конечно, не знать, что отношения собственности каждой эпохи являются необходимым результатом присущего этой эпохе способа производства и обмена» (*К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, стр. 273—274).

К стр. 702

[1] Либеральные народники обвиняли марксистов в том, что они радуются капитализации деревни, приветствуют сопряженный со страданиями отрыв крестьян от земли и готовы всячески способствовать этому процессу об руку с деревенскими кулаками и хищниками, героями «первоначального накопления» Колупаевыми и Разуваевыми, изображенными в сатирическом произведении Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо».

К стр. 705

[1] Плеханов имеет здесь в виду предисловие В. В. (В. П. Воронцова) к сборнику его статей «Судьбы капитализма в России», вышедшему в 1882 г. В этом предисловии Воронцов мотивирует перепечатку своих старых статей тем, что он хочет «вызвать наших ученых и присяжных публицистов капитализма и народничества на изучение закона экономического развития России — основу всех остальных проявлений жизни страны. Без знания этого закона невозможна систематическая и успешная общественная деятельность» (стр. 1).

[2] Цитата из статьи С. Н. Кривенко «По поводу культурных одиночек», см. «Русское богатство», декабрь 1893 г., отд. II, стр. 189.

К стр. 706

[1] В 1884 г. Ф. Энгельс послал копию неотосланного письма К. Маркса В. И. Засулич. «Прилагаю при сем рукопись Маркса (копию),— писал он ей в письме от 6 марта,— которой можете распорядиться так, как найдете нужным. Не знаю, в «*Слове*» ли или в «*Отечественных записках*» он нашел статью: «Карл Маркс перед судом г. Жуковского». Он написал этот ответ, который, повидимому, был предназначен для опубликования в России, но так и не послал его в Петербург, боясь, что одно его имя поставит под угрозу существование журнала, где будет напечатан его ответ» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 1951, стр. 306).

К стр. 708

[1] Настоящая цитата, как и ряд дальнейших, взята из письма Маркса в редакцию «Отечественных записок» (см. прим. 2 к стр. 675).

[2] По существу вопроса мысль Маркса сводилась к тому, что община «может явиться исходным пунктом коммунистического развития», если «русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе». В этом смысле высказались Маркс и Энгельс и в 1882 г. в предисловии к первому русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии». Еще раньше ту же мысль высказал Энгельс в статье «Soziales aus Russland», напечатанной в 1875 г в «Volksstaat» в ответ на «Открытое письмо» П. Н. Ткачева (см. *Ф. Энгельс*, Об общественных отношениях в России, *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избранные произведения в двух томах, т. II, 1955, стр. 47—48).

Однако в 90-х годах Энгельсу уже было ясно, что община в России быстро разлагается под давлением развивающегося капитализма. Об этом он упоминает в ряде своих работ этого времени, как то: «Внешняя политика русского царизма» (1890), «Социализм в Германии» (1891), «Может ли Европа разоружиться?» (1893) и др. Наконец, в 1894 г. в «Послесловии» к «Ответу П. Н. Ткачеву» он пишет: «Уцелела ли еще эта община в такой мере, чтобы в нужный момент, как Маркс и я еще надеялись в 1882 г., она смогла при сочетании с переворотом в Западной Европе стать исходным пунктом коммунистического развития,— судить об этом я не берусь. Но одно не подлежит сомнению: для того чтобы от этой общины хоть что-нибудь уцелело, необходимо прежде всего низвержение царского деспотизма, не-

обходима революция в России» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 1951, стр. 297).

[3] См. *К. Маркс*, Нищета философии, *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 4, 1955, стр. 65—185.

К стр. 709

[1] Взгляд Чернышевского на вопрос о конкретности истины развит им в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (*Н. Г. Чернышевский*, Полное собрание сочинений, т. III, Гослитиздат, 1947).

[2] Маркс говорит это в письме в редакцию «Отечественных записок» (см. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 1951, стр. 221).

К стр. 717

[1] Это место Плеханов хотел дополнить следующим образом: «Тут я имею в виду деятельность социал-демократов. Она способствовала развитию капитализма, устраняя отжившие способы производства, например домашнюю промышленность. Отношение западной социал-демократии к капитализму кратко определяется следующими словами Бебеля на Бреславльском съезде партии (1895 г.): «Я всегда спрашиваю себя, не повредит ли данная мера развитию капитализма. Если — да, я *против нее...*»» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 229).

[2] Слово «суздальцы» употребляется в переносном смысле, как символ грубости, топорности. Ведет свое начало от старинного ремесла суздальских кустарей-богомазов, из которых многие писали далеко не художественно; однако их иконы были дешевы и поэтому имели массовый сбыт.

К стр. 718

[1] В рассказе Г. Успенского «Ноль целых!», из серии «Живые цифры», крестьянин, платящий «с-пуста», т. е. с необрабатываемой им земли, высказывает твердое убеждение в том, что платить «с-пуста» гораздо удобней, чем заниматься обработкой надела.

[2] П. Я. Чаадаев говорил это в своем первом «Философическом письме» — см. *П. Я. Чаадаев*, Философические письма, М. 1906, стр. 11.

[3] Из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

[4] В романе «Война и мир».

К стр. 719

[1] К этим словам Плеханов думал сделать пояснение: «т. е. я хочу сказать: *социалистического*» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 230).

[2] Немецкий экономист Фридрих Лист—идеолог немецкой промышленной буржуазии в эпоху, когда капитализм в Германии был еще слабо развит, — выдвигал на первый план развитие производительных сил отдельных национальных хозяйств. Для осуществления этой цели он считал необходимым содействие государства (например, покровительственные пошлины на промышленные товары).

К стр. 720

[1] Цитата из журнала «Der Gesellschaftsspiegel» («Зеркало общества»), издававшегося в Эльберфельде в 1845—1846 гг. В этом журнале были напечатаны некоторые статьи Маркса и Энгельса. Программу его см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. III, 1929, стр. 595—598.

К стр. 721

[1] Работа Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» вышла в Лейпциге в 1845 г. (см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Соч., т. 2, 1955, стр. 231—517).

К стр. 725

[1] К этому месту имеется следующее замечание Плеханова: «Об Н.—оне. В чем его основная ошибка. Плохо понял «закон стоимости». Взглянул на него *статически*, а не *динамически*... Что сказал Энгельс о возможности ошибки и Струве, и Н.—она...» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 230—231).

Энгельс писал Плеханову 26 февраля 1895 г.: «Что касается Даниельсона [Н.—она], боюсь, что с ним ничего не поделаешь... Совершенно невозможно полемизировать с тем поколением русских, к которому он принадлежит и которое все еще верит в стихийно коммунистическую миссию, якобы отличающую Россию, истинную *святую Русь*, от других неверных народов» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 1951, стр. 341).

К стр. 730

[1] Плеханов имеет в виду статью С. Н. Кривенко «К вопросу о нуждах народной промышленности», окончание которой напечатано в № 10 «Русского богатства» за 1894 г.

ЕЩЕ РАЗ г. МИХАЙЛОВСКИЙ, ЕЩЕ РАЗ «ТРИАДА»

Это приложение («Еще раз г. Михайловский, еще раз «триада»») имелось уже в первом издании книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

К стр. 731

[1] В обозрении «Литература и жизнь» («О г. П. Струве и его «Критических заметках по вопросу об экономическом развитии России»») — «Русское богатство», 1894 г., № 10 (*Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. VII, Спб. 1909, стр. 885—924).

К стр. 733

[1] Рассказ Г. И. Успенского «Неизлечимый» входит в серию «Новые времена, новые заботы».

К стр. 734

[1] Цитата из письма Белинского к Боткину от 1 марта 1841 г. — см. настоящее издание, прим. к стр. 579.

К стр. 737

[1] В письме к П. В. Анненкову от 15(27) февраля 1848 г. Белинский писал: «Когда я, в спорах с вами о буржуази, называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек... А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» (*В. Г. Белинский*, Избранные письма, т. 2, Гослитиздат, 1955, стр. 389).

[2] Кривенко писал о книге П. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», вышедшей в 1894 г., в послесловии к своей статье «К вопросу о нуждах народной промышленности» («Русское богатство», 1894 г., № 10, стр. 126—130).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НАШИМ ПРОТИВНИКАМ

Настоящее приложение является ответом на статью Михайловского «Литература и жизнь («К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Н. Бельтова)», напечатанную в № 1 «Русского богатства» за 1895 г. (см. *Н. К. Михайловский*, Полное собрание сочинений, т. VIII, Спб. 1914, стр. 17—36).

Статья «Несколько слов нашим противникам» была напечатана впервые под псевдонимом Утиса в 1895 г. в сожженном цензурой марксистском сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» (стр. 225—259). Сохранившиеся сто экземпляров сборника стали библиографической редкостью, и потому статья сделалась доступной для широкой публики лишь через десять лет, когда она вошла в виде приложения во второе издание книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

В настоящем издании статья печатается по седьмому тому Сочинений Плеханова. Текст сверен с рукописью, полностью сохранившейся в архиве Плеханова, а также с первой публикацией в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» и со вторым изданием книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», куда статья вошла в виде второго приложения.

К стр. 740

1 Из баллады «Поток-богатырь» А. К. Толстого (см. Полное собрание стихотворений, изд. «Советский писатель», 1937, стр. 288).

К стр. 741

1 Цитата из эпиграммы Пушкина «Журналами обиженный жестоко...» (см. *А. С. Пушкин*, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. III, изд. «Академии наук СССР», 1949, стр. 108).

К стр. 742

1 Рецензент «Русской мысли» — либерал В. Гольцев. Его небольшая рецензия, которую цитирует здесь Плеханов, помещена в № 1 «Русской мысли» за 1895 г., стр. 8—9.

К стр. 744

1 См. *Гегель*, Соч., т. I, Соцэкгиз, 1930, стр. 186.

К стр. 745

1 Цитата из той же статьи Михайловского «Литература и жизнь» (см. вводное примечание).

К стр. 746

1 Речь идет о сатирическом отделе в журнале «Современник» — «Свисток» (1859—1863 гг.). Одним из главных сотрудников и авторов «Свистка» был Добролюбов, который писал там под псевдонимом Конрада Лилиеншвагера.

2 Статья Н. Зибера «Диалектика в ее применении к науке» была напечатана под инициалами *Н. З.* в «Слове», 1879 г., № 11, стр. 117—169.

К стр. 752

1 «Histoire de dix ans» («История десяти лет») — пятитомный труд, написанный Луи Бланом в 1841—1844 гг. Автор подвергает в нем резкой критике политику орлеанистского правительства Франции, изображая экономические и социальные отношения десятилетия 1830—1840 гг. Эту книгу очень ценил Энгельс.

К стр. 753

[1] Предполагавшееся дополнение ко второму изданию было сделано в несколько иной формулировке: «О том, как Луи Блан взывал к *примирению классов*. В этом отношении его и сравнивать нельзя с Гизо: тот был непримирим. Михайловский, как видно, читал только «Histoire de dix ans»» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 233).

К стр. 754

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, стр. 69.

В неопубликованных дополнениях к настоящей статье есть такие строки: «К стр. 22 на обороте, приложение I. Привести еще более точную цитату из I части «Энциклопедии» Гегеля». С большим вероятием можно отнести эти слова к данному месту. «Более точная цитата» из Гегеля — это, повидимому, § 80 и в особенности «прибавление» к нему, где дана характеристика диалектического и метафизического методов мышления (см. там же, стр. 131—132).

К стр. 755

[1] Автором этой вышедшей анонимно в 1841 г. книги был Бруно Бауэр.

К стр. 756

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, стр. 64.

К стр. 758

[1] См. *Гегель*, Соч., т. I, стр. 91.

К стр. 766

[1] К этому месту имеется следующее дополнение: «Указать на нашу *нелегальную* литературу, которая не могла остаться неизвестной Н.—ону. Недобросовестно было делать вид, что ее нет, зная, что цитировать нелегальные книги цензура не позволит» («Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. IV, стр. 234).

К стр. 767

[1] Плеханов имеет здесь в виду работы русских экономистов и статистиков: «Покровский и Александровский уезды» С. Харизоменова (в книге «Промыслы Владимирской губернии», вып. 3, М. 1882), «Южно-русское крестьянское хозяйство» В. Е. Постникова (М. 1891) и «Уральское казачье войско. Статистическое описание в двух томах» Н. А. Бородина (Уральск 1891).

К стр. 768

[1] Все цитаты, приводимые здесь Плехановым, взяты из заметки Николай — она «Что же значит «экономическая необходимость»?», напечатанной в № 3 «Русского богатства» за 1895 г.

К стр. 772

[1] Статья Николай — она «Апология власти денег как признак времени» напечатана в № 1 и № 2 «Русского богатства» за 1895 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович
Избранные философские произведения,
том I

Редактор *В. Козерук*
Оформление художника *М. Чубасова*
Технический редактор *М. Пиотрович*
Ответственные корректоры *А. Беляев, З. Покровская, Т. Тонконогова* и *Ю. Болховитянов*

Сдано в набор 19 июня 1956 г. Подписано в печать 8 сентября 1956 г. Формат 60×92 1/16. Физ. печ. л. 53 + (1 вклейка) 1/8. Условн. печ. л. 53 1/8. Учетно-изд. л. 55,03. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1892. Цена 13 руб.

Государственное издательство политической литературы.
Москва, В-71, Б. Калужская, 15.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности.
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ГОСПОЛИТИЗДАТ
1956